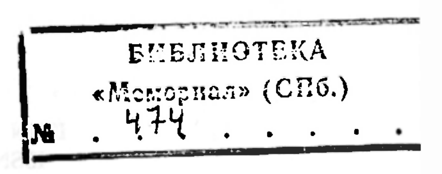
В. А. ОБОЛЕНСКИЙ

МОЯ ЖИЗНЬ
МОИ СОВРЕМЕННИКИ



1988



ОСНОВАНА А. И. СОЛЖЕНИЦЫНЫМ

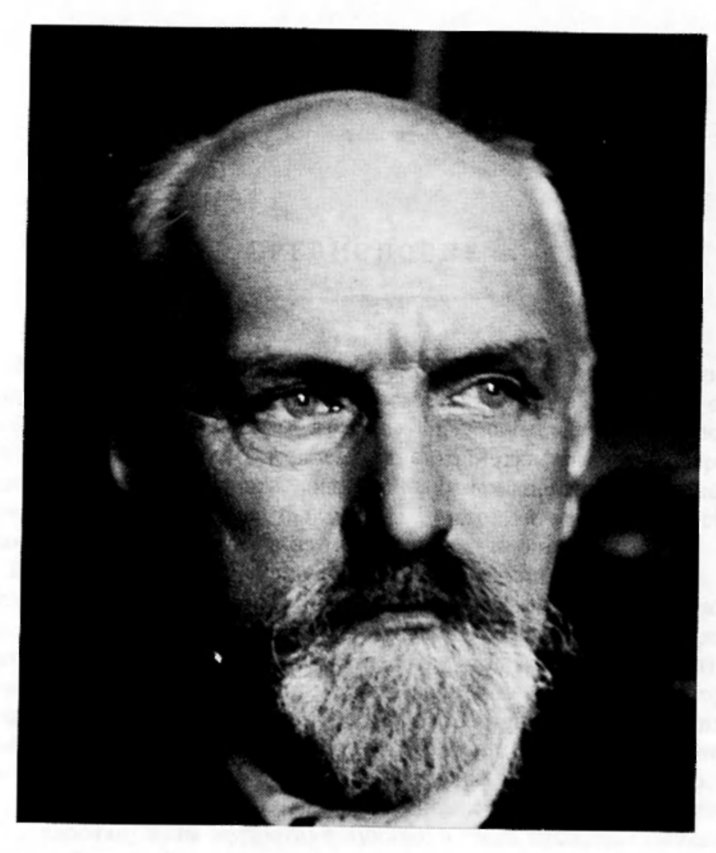
СЕРИЯ

НАШЕ НЕДАВНЕЕ

8

YMCA-PRESS
11, Rue de la Montagne-Ste-Geneviève – 75005 - Paris

ISBN 2-85065-127-3
ISSN 0295-7469



Владимир Андреевич Оболенский,
ок. 1922 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1933 году Русский Исторический Архив в Праге обратился к ряду русских эмигрантов с просьбой составить для него свои автобиографии. Получил и я такое предложение. Архив вполне правильно полагал, что коллекция автобиографических очерков общественных, государственных и научных деятелей дореволюционной России явилась бы богатым историческим материалом, характеризующим русскую жизнь недавнего прошлого.

К сожалению, на предложение Архива откликнулись немногие и цель его едва ли была бы достигнута, если бы эти немногие ограничились лишь кратким сообщением о себе автобиографических сведений. Что, в самом деле, могут дать историку краткие автобиографии десятка или двух десятков лиц, из которых большинство, подобно мне, были второстепенными деятелями своей эпохи? Между тем, каждое из этих лиц может, расширивши заданную тему и придав своей биографии мемуарный характер, дать более или менее полную характеристику той среды, в которой жил и работал, и, не мудрствуя лукаво, а лишь правдиво описывая то, что наблюдал, создать исключительно напряжением своей памяти весьма полезный исторический материал. Такую задачу я и поставил себе, когда приступил, пользуясь вынужденным обстоятельствами досугом, к писанию своей автобиографии.

Моя работа – автобиография постольку, поскольку я соблюдал в ней хронологическую последовательность моей жизни, но вместе с тем моя личность не является в ней основной темой повествования, а служит, главным образом, как бы фонарем, освещающим окружавшую меня жизнь. Освещение поневоле получается субъективное, но я полагаю, что стремление к чрезмерной объективности не улучшило бы, а ухудшило историческое качество

моей работы, ибо сам я со своими взглядами, чувствами и настроениями могу считаться одним из типичных представителей той эпохи, которую описываю.

Без лишней скромности я могу сказать, что вправе считать себя лицом вполне подходящим для того, чтобы быть автором исторических мемуаров. Во-первых, я прожил долгую жизнь и много видел, во-вторых, благодаря случайным обстоятельствам, я был знаком с жизнью и бытом самых разнообразных слоев населения России, его верхов и низов, ее столиц и провинции, что было доступно весьма немногим, а в-третьих, не играя сколько-нибудь крупной роли в исторических событиях, я нередко находился в самой их гуще и был знаком почти со всеми крупными политическими и общественными деятелями своей эпохи.

Главные актеры исторических драм и трагедий поневоле тенденциозны в своих мемуарах. Мои же мемуары, при всем их субъективизме, не могут быть тенденциозными просто потому, что, не совершив больших дел, я не нуждаюсь в самооправдании перед историей.

Вот эти мои преимущества перед многими моими сверстниками и побудили меня к составлению автобиографии, размер которой обратно пропорционален скромной роли, которую мне приходилось играть в общественной и политической жизни России.

Я старался правдиво изобразить все то, чему я был свидетелем, восстанавливая при этом и свои собственные переживания. Писал я по памяти, не имея под руками почти никаких материалов и документов. Поэтому допускаю, что сделал ряд фактических ошибок, в особенности хронологического характера. Пусть меня не осудят за такие невольные погрешности.

То обстоятельство, что источником моей автобиографии служила мне моя память, является причиной другого, еще более крупного, дефекта настоящего труда: я имею в виду несоразмерность его частей. В моей памяти образовалось много пробелов. Отдельные часы и дни моей жизни запомнились мне во всех подробностях, а с другой стороны – целые годы не оставили по себе никаких следов. Еще хуже то, что яркость моих воспоминаний часто не находится в соответствии со значительностью событий. Мелкие события, в которых сам принимал деятельное участие, запоминаются лучше, чем крупные, которые проходили перед глазами, но в которых я исполнял роль статиста, а то и просто зрителя.

В частности, война и революция обременили мою уже ослабевшую с возрастом память множеством сменявшихся событий, которые не могли в ней сколько-нибудь правильно и систематически расположиться. И мой рассказ об этом самом значительном по насыщенности историческими событиями периоде моей жизни поневоле приобретает наиболее случайный и отрывочный характер.

Вероятно, в этой части моей работы можно найти наибольшее число фактических неточностей и ошибок.

Свои воспоминания я сознательно ограничил моей жизнью в России. Попытка продолжить их и включить в них период эмиграции оказалась неудачной. Объясняется это тремя причинами: во-первых, моя жизнь в эмиграции протекала тускло, в ней не было сколько-нибудь ярко запомнившихся событий; во-вторых, старческая память, сохраняющая иногда самые мелкие подробности давно прошедшей жизни, с трудом восстанавливает даже важные моменты недавно пережитого; в-третьих, – и это может быть самое существенное, – вспоминая свою прошлую жизнь, я старался освещать ее по возможности не с точки зрения своего нынешнего отношения к ней, а воспроизводя свои современные ей мысли и чувства. Между тем в период эмиграции моя психология и мое отношение к русским и к мировым событиям несомненно изменялись, изменялись постепенно и для меня незаметно, и я чувствую свое полное бессилие установить как степень, так и сроки этих изменений. Объективно они, вероятно, значительнее, чем это мне представляется, а потому я боюсь, что не сумел бы правдиво изобразить теперь те настроения, в которых я и люди, меня окружавшие, жили в первый период эмиграции.

Я старался придать своей автобиографии по возможности литературную форму, облегчающую ее чтение, но не смотрю на нее как на цельное литературное произведение. Мысленно расположив свою жизнь в хронологическом порядке, я писал то, что запомнилось, не заботясь о литературной архитектонике. Соразмерность отдельных глав пострадала от того, что я писал их разновременно. Так, последние главы о периоде гражданской войны, которые я писал для журнала "Голос минувшего", под непосредственным впечатлением пережитого и в качестве самостоятельной темы, изложены значительно подробнее, чем, например, главы, посвященные февральской и октябрьской революциям, составленные мною через двадцать лет.

Литературный стиль моих воспоминаний пострадал также от целого ряда отступлений от хронологического порядка изложения благодаря тому, что я ввел в них краткие характеристики разных людей, с описанием последующей их судьбы. Между тем без этих характеристик я бы считал свою основную задачу – передать по возможности дух эпохи – не исполненной. Имея в виду эту задачу, я озаглавил свой труд "Моя жизнь и мои современники", дав в нем ряд образов не только своих знаменитых современников, но и малоизвестных, типичных, однако, для своего времени.

Еще одно предварительное замечание: живя в эмиграции, я помещал в разных русских периодических изданиях отрывки своих

воспоминаний, часть которых издана отдельной книжкой под заглавием "Очерки минувшего". Некоторые из этих отрывков и очерков в переработанном (сокращенном или дополненном) виде, отчасти же полностью, я поместил в тексте настоящей своей автобиографии.

В. А. Оболенский

23 ноября 1937 г.

Глава 1

МОИ РОДИТЕЛИ И ИХ СРЕДА

Моя родина – Петербург. Мой отец, кн. Андрей Васильевич Оболенский. Моя мать, кн. Александра Алексеевна Оболенская. Среда и родственники моих родителей. Открытие моей матерью женской гимназии.

Родился я в России, уже освободившейся от крепостного ига, в 1869 году, в Петербурге. Четырехэтажный оранжевый дом на Малой Итальянской, в котором я впервые увидел свет, был одним из самых больших домов этой улицы, застроенной тогда маленькими деревянными или каменными домиками с мезонинами. Хорошо помню, как в раннем моем детстве я каждое утро, проснувшись, бежал к окну и смотрел, как по нашей улице шел пастух с огромной саженной трубой. На звуки его трубы отворялись ворота возле маленьких домиков и из них выходили разноцветные коровы. Так по улицам тогдашнего Петербурга двигались утром целые стада коров, отправлявшихся на пастбища, а вечером – та же картина возвращавшихся стад. Ко времени революции Малая Итальянская, ставшая улицей Жуковского, была уже одной из центральных улиц Петербурга. Гладкий асфальт заменил булыжную, полную колдобин, мостовую, редкие и тусклые фонари с керосиновыми лампами уступили место великолепно сияющим электрическим фонарям, а дом, в котором я родился, не только не возвышался уже над другими, а казался совсем маленьким среди своих многоэтажных соседей.

Из этого оранжевого дома няня в хорошую погоду водила меня гулять. Для этого меня облекали в подпоясанную красным кушаком маленькую поддевку, а на голову надевали круглую ямщицкую шапку с павлиньими перьями. Таков в те времена был обычный костюм дворянских детей.

Свою няню, Авдотью Михайловну, чистенькую старушку с мягкой бородавкой на носу, я очень любил и горько плакал, когда она умерла от весьма странной болезни: горничная Аксюша таинственно сообщила мне, очевидно в педагогических целях, что она умерла оттого, что потихоньку курила... Я знал, что она курила потихоньку, и любил знакомый мне запах табака, которым она

меня, целуя, обдавала, но был совершенно озадачен известием, сообщенным мне Аксюшей.

Итак, няня ведет меня гулять. Обычная наша прогулка – скверик при Греческой церкви.

Когда впоследствии, уже взрослым, я проходил мимо этого скверика, то каждый раз удивлялся, что он такой маленький, ибо в детстве он мне казался очень большим, так же, как огромной казалась и маленькая, как бы вросшая в землю, Греческая церковь.

Но я предпочитал другую, более далекую прогулку – к Летнему саду. Туда мы с няней ходили редко, но каждый раз я испытывал от этой прогулки величайшее удовольствие.

Не самый Летний сад с его дедушкой Крыловым и с загадочными белыми людьми прельщал меня. Этих белых голых людей я даже несколько побаивался, особенно одного страшного каменного человека, пожиравшего белого ребенка. Я старался не проходить мимо этого страшного человека и тянул няню в боковую аллею к доброму дедушке Крылову, окруженному добрыми зверями.

Привлекательность прогулки в Летний сад была для меня не в самом Летнем саду, а в том, что путь к нему лежал через Цепной мост.

Молодое поколение петербуржцев не помнит этого удивительного по своеобразности и по-своему красивого моста, перекинутого через Фонтанку и висевшего на системе пестро раскрашенных цепей. Экзотическая красота Цепного моста в моем раннем детстве восхищала меня, но самым привлекательным в нем было то, что он плавно качался на своих цепях, когда по нему проезжали экипажи. Я и сейчас представляю себе отчетливый конский топот по доскам Цепного моста и его мерное покачивание, приводившее меня в полный восторг. Я готов был без конца взад и вперед ходить по этому волшебному мосту.

Как изменился Петербург за время моей жизни! Подобно многим европейским городам, он рос больше ввысь, чем вширь, и в моем детстве занимал площадь почти такую же, как и теперь. Но тогда не было единого Петербурга. Петербург – центр и петербургские окраины жили совершенно обособленной жизнью. "Наш" Петербург, т.е. Петербург дворянско-чиновничий, был по площади в сущности небольшим городом. Таврический сад, Лиговка до Невского, Загородный проспект, Большой театр, Сенатская площадь и течение Невы, с захватом небольшой части Васильевского острова – вот примерные границы всего Петербурга, где жили все наши родственники и знакомые, где мы росли, учились, гуляли, служили и умирали.

На Выборгскую сторону ездили только к Финляндскому вокзалу, а на Петербургскую сторону – при катанье на острова. Это были по виду захолустные уездные городки с деревянными домиками, с огородами, окаймленными покосившимися заборами, с

универсальными лавочками, в которых продавались и духи, и деготь...

Таким же захолустьем были и "Пески", как называлась вся часть Петербурга за Таврическим садом и Лиговкой. Пески мне казались в детстве какой-то загадочной, а потому интересной страной, которая начиналась как раз после столь знакомой мне Греческой церкви. На Пески меня гулять не пускали, считая, что я там могу заразиться разными болезнями, а няня находила прямо неприличным водить туда гулять господского сына. Живя совсем близко от этой части города, я туда в первый раз забрел уже будучи гимназистом.

Кто из петербуржцев не знал Пушкинской улицы, начинающейся от Невского, недалеко от Николаевского вокзала. Теперь это одна из видных центральных улиц, сплошь застроенная многоэтажными домами. А в моем детстве эта улица, носившая тогда название Новой улицы, проходила среди пустырей и дровяных складов, а вечером считалось опасным по ней ходить, потому что там часто грабили.

Наша семья среди богатой отцовской родни считалась "бедной". Понятие это, конечно, весьма относительное, но во всяком случае мои родители не имели возможности держать собственных лошадей, а потому, когда нужно было куда-нибудь ехать, то на четыре рубля нанималась "извозчичья" карета, на козлы которой садился наш лакей. Извозчичьи кареты имели какой-то особый кисловатый запах, который мне очень нравился.

Общественных экипажей в 70-х годах прошлого века в Петербурге не было, кроме "сорока мучеников" – огромных колымаг, запряженных четверкой тощих лошадей, ходивших по Невскому и далее – на острова. Первая конка появилась уже на моей памяти. Поэтому по Петербургу либо ходили пешком, либо ездили на своих лошадях и на извозчиках, которые за 30-40 копеек возили с одного конца города на другой.

Но что это были за извозчики, или "ваньки", как их тогда называли! Лошади – одры, а экипажи, неудобнее которых и не представишь себе. Это были дрожки со стоячими рессорами. Сиденья на них были так узки, что два человека, несколько склонные к тучности, могли уместить на них лишь половину своих тел, а вторые половины висели в воздухе. Трясли "ваньки" на булыжных мостовых отчаянно, а рессоры их дрожек постоянно ломались и обычно были перевязаны веревками. Моя мать редко решалась сесть на "ваньку" и, конечно, не позволяла мне на них кататься, считая такие прогулки опасными для моей жизни. Вот почему, между прочим, мне так памятны милые извозчичьи кареты с приятным кислым запахом и с уютно дребезжащими стеклами.

Милый старый Петербург! Потому ли, что я провел в нем детство, или потому, что он неразрывно связан с пушкинской

поэзией, но воспоминания о нем во мне всегда вызывают поэтические ощущения.

Вспоминаю вербы перед Гостиным двором, где я неизменно покупал каждый год пару серенъких чечеток с малиновыми головками, а затем выпускал из окна (такова была старинная традиция, веками соблюдавшаяся русскими людьми) и смотрел, как они, лесные жительницы, растерянно и неумело прыгают по крыше противоположного дома. Сколько было традиционной прелести в пучках верб с восковыми ангелочками, в танцующих в пузырьках "американских жителях", в разложенных на лотках стручках — маковых пряниках, в гомоне, шуме, зазывании торговцев, в веселой смешанной толпе, накупающей всякую дрянь в парусиновых лавочках!

Когда впоследствии, порядка ради, вербное гулянье перевели с Невского на Конногвардейский бульвар, как-то сразу пропало его обаяние. А восковые ангелочки и "американские жители" казались уже какими-то не настоящими.

А балаганы на Царицыном Лугу!.. Я не жил в Петербурге, когда их оттуда перевели куда-то на окраину города, но, узнав об этом, испытал ощущение горькой обиды.

Сколько в них было непосредственного народного творчества!..

Лучшими считались балаганы Малофеева и Лейферта. Нелепые, примитивные пьесы, непременно с выстрелами, сражениями, убитыми и ранеными, примитивные актеры с лубочно намалеванными лицами и неуклюжими движениями... Но что-то увлекало в этих сумбурных зрелищах. Не говоря уже о простонародье, которое валом валило в балаганы, где зрители с увлечением участвовали в игре бурным смехом или возгласами поощрения и негодования, но и так называемая "чистая публика" охотно их посещала. Очевидно, в этом народном лубке было нечто от подлинного искусства.

А балаганные "дедки" с длинными бородами из пакли, рассказывавшие с балаганных балкончиков тысячной гогочущей толпе всякие смешные сказки или истории, не всегда приличные, но полные блестящего простонародного юмора! Тут была и проза, и импровизированная рифмованная речь, уснащенная всякими приговорками и прибаутками... Были среди балаганных дедок и настоящие самородные таланты.

Попадая в веселую густую толпу на балаганах, как-то сразу сливался с ней и радостно чувствовал себя в ней "своим". Балаганы были, может быть, единственным местом старого Петербурга, где в одной общей толпе смешивались люди всех кругов и состояний, где рядом с поддевкой ломового извозчика можно было видеть бобровую шинель и треуголку лощеного правоведа или лицеиста и где все были равны в общем незамысловатом веселье. В балаганной толпе растворялись все касты, еще сохранившиеся тогда в русском быту от старой крепостной России, и, вероятно, именно эта ее

демократичность, или, говоря русским словом — народность, увлекала и бессознательно радовала и людей в поддевках, и людей в шинелях.

Вокруг Царицына Луга на масленой неделе неслись веселые компании на звенящих бубенчиками "вейках", обгонявших чопорно едущие придворные кареты с институтками. Это тоже была установленная с екатерининских времен традиция — катать институток в придворных каретах вокруг балаганов. В балаганную толпу их, конечно, не пускали, и из каретных окон, потихоньку от чинных классных дам, они посылали улыбки своим бальным кавалерам — учащимся разных военных и штатских учебных заведений, приходившим на балаганы, чтобы обменяться украдкой нежными взглядами с юными затворницами, дамами своего сердца.

Балаганы с Царицына Луга исчезли еще до революции, и я даже не знаю, где их ставили. А старое название площади, связанное в моей памяти с поэзией балаганного веселья, тоже изменилось. Она стала называться Марсовым Полем. Теперь нет и Марсова Поля, а разросся большой парк вокруг братской могилы "жертв революции".

Исчезли на моей памяти и "вейки". Точнее говоря, не исчезли, а были полицейскими распоряжениями оттеснены на окраины города. Да и вейки-то последних лет перед революцией были не настоящие, а по большей части — переряженные петербургские извозчики. В моем детстве это были настоящие вейки, подлинные "пасынки природы" — финны, приезжавшие на своих маленьких сытых лошадках из далеких финских деревень. С первого дня масленой недели весь город заполнялся вейками (Бог знает, почему их так называли). Они не знали улиц Петербурга и за любой конец брали "ривенник" — единственное русское слово, которое умели произносить. И вот за "ривенник" в маленькие санки садилось 4-5 человек, а суровый флегматик-финн мчал такую веселую компанию через весь Петербург. По Невскому вейки носились целыми тучами наперегонки, поощряемые подвыпившими седоками. Мужчины гикали, женщины визжали, а бубенчики заполняли воздух своими веселыми переливами. Мало кто в дни масленой недели садился на извозчиков, которые имели угрюмый вид и норовили хлестнуть кнутом всякого обгонявшего их вейку: "Ишь черт желтоглазый!"

Масленичные вейки были одной из достопримечательностей Петербурга. И как-то странно, что этот самый холодный и чинный из русских городов умел так преображаться в дни широкой масленицы.

Если бы я был композитором, я бы создал музыкальное произведение из разнообразных напевов разносчиков, ходивших по дворам старого Петербурга. С раннего детства я знал все их певучие скороговорки, врывавшиеся весной со двора в открытые окна вместе с запахом распускающихся тополей.

Вот мальчик тоненьким голоском выводит:

Вот спички хоро-о-о-о-ши,
Бумаги, конверта-а-а-а...

Его сменяет баба со связкой швабр на плече. Она останавливается среди двора и, тихо вращаясь вокруг своей оси, грудным голосом поет:

Швабры по-оловыя-а-а-а-ааа.

Потом, покачиваясь и поддерживая равновесие, появляется рыбак с большой зеленой кадкой на голове. На дне кадки в воде полощется живая рыба, а сверху, на полочке, разложена сонная:

Окуни, ерши, сиги,
Есть лососина-а-а-а.

За ним толстая торговка селедками с синевато-красным лицом звонко и мелодично тянет:

Селллледки голлански, селлледки-и-и-и.

А то въезжает во двор зеленщик с тележкой и поет свою заунывную песню:

Огурчики зелены,
Салат кочанный,
Шпинат зеленый,
Молодки, куры биты.

В это разнообразие напевов и ритмов то и дело врывается угрюмое бурчание татар-старьевщиков:

Халат, халат,
Халат, халат.

Иногда поющих торговцев сменяли шарманщики-итальянцы с мотивами из Травиаты и Риголетто, или какая-нибудь еврейская девица пела гнусавым голосом:

Я хочу вам рассказать,
рассказать, рассказать...

А из форточек высовывались руки и бросали медные монеты, завернутые в бумажку.

Шарманщики, певцы и торговцы пленяли нас своими мотивами только во дворах. На улицах эта музыка была запрещена. Но среди торговцев были привилегированные. Так, торговцы мороженым ходили по улицам с кадушками на головах и бодро голосили:

Морожина харо-шее.

Я с завистью смотрел на уличных ребят, окружавших такого мороженщика и с упоеним лакавших мороженое из маленьких стаканчиков костяными ложечками. Мне это удовольствие было строго-настрого запрещено, потому что делали это мороженое... из молока, в котором купали больных в петербургских больницах. Непонятно, откуда взялась эта странная легенда. Но она была, очевидно, весьма старинного происхождения, ибо и предшествовавшее мне поколение нисколько не сомневалось в больничном происхождении мороженого. Курьезно, что подобной глупости верили не только дети, но и взрослые культурные люди.

Большое впечатление в моем детстве производили на меня иллюминации, устраивавшиеся в Петербурге в царские дни. На всех улицах, на расстоянии трех-четырех саженей друг от друга, расставлялись так называемые "плошки", т.е. маленькие стаканчики, в которых горело какое-то масло. Любители выволакивали на улицу старые галоши, наливали в них керосин и тоже поджигали. От горящих плошек и галош на улицах стоял вонючий смрад. Казенные и общественные учреждения обязаны были ставить на каждое окно по паре свечей. Полиция строго за этим следила.

Только на Невском, Морской и еще нескольких больших улицах, где керосиновые фонари уже были заменены газовыми, иллюминации имели более торжественный вид, ибо фонари отвинчивались и заменялись звездами, светившими рядами язычков горящего газа. Но в детстве все это представлялось и красивым, и интересным. В дни иллюминаций мне разрешалось позже ложиться спать и кто-нибудь брал меня прогуляться по нашей Малой Итальянской и по Литейной. По Невскому считалось неприличным ходить пешком по вечерам, а потому знаменитые газовые звезды я видел редко, лишь из окна кареты.

Помню, как мы в карете ездили по Невскому и Морской смотреть на иллюминацию по случаю взятия Плевны. Иллюминация была столь же незатейливая, но настроение торжественное. Весь Петербург высыпал на улицы. По Невскому экипажи двигались в несколько рядов сплошной вереницей, а на панелях, стиснутые в густой толпе, люди кричали ура.

Невский во время самых торжественных иллюминаций был все-таки значительно темнее Невского последующих времен, освещенного электрическими фонарями.

Первые электрические фонари появились в Петербурге, когда мне было лет девять, на только что построенном тогда Александровском (Литейном) мосту. По имени изобретателя системы фонарей, Яблочкова, петербуржцы называли электрическое освещение яблочковым освещением и ходили толпами к Литейному мосту смотреть на это новое чудо.

До постройки Литейного моста существовал через Неву только один постоянный мост – Николаевский. Остальные мосты были

пловучими, на баржах. При поднятии воды в Неве мосты горбились и извозчики взбирались на них, как на горы. А во время наводнений они совсем разводились и с островами сообщение прерывалось. Понятно, что до постройки каменных мостов окраины города, расположенные на правом берегу Невы, кроме Васильевского острова, сообщавшегося с центром через Николаевский мост, заселялись медленно.

Когда я в детстве вместе с матерью возвращался в Петербург из-за границы, он мне казался каким-то захолустьем по сравнению с европейскими столицами. Но, конечно, сравнительно с русскими городами, не исключая Москвы, он имел вид европейского города.

В причудливой смеси европейской культуры со старым русским бытом и заключалась своеобразная прелесть старого Петербурга.

Таков был и образ его великого основателя.

И не мудрено, что Петербург имел свой говор, менее характерный, чем московский, но все-таки "свой", отличный от других.

Петербургское простонародье в своем говоре избегало мягких окончаний. Говорили: "Няня пошла гулять с детям", или "принесли корзину с грибам". Даже петербургская интеллигенция в некоторых словах переняла это отвержение окончаний. Только в Петербурге говорили "сем" и "восем" вместо "семь" и "восемь".

Впрочем, это были единственные слова, в произношении которых петербуржцы больше отступали от правописания, чем москвичи и другие русские средней России. Вообще же петербургский "интеллигентский" язык ближе следовал написанию слов, чем московский. Петербуржца можно было отличить по произношению слова "что" вместо "што", "гриб" вместо "грыб", и уже, конечно, в петербургском говоре по-писаному произносились "девки", "канавки", "булавки", а не "дефьки", "канафьки", "булафьки", как в московском.

Некоторые неправильные обороты русской речи, заимствованные из французского и немецкого языков, были свойственны только петербуржцам. Одни только петербуржцы лежали "в кроватях", тогда как остальные русские ложились "в постель", или "на кровать". Горничные, отворяя дверь, говорили визитерам: "Барыня в кровати и не принимают". В хорошую погоду петербуржцы не гуляли, а "делали большие прогулки" и т.д.

Петербург был большим мастером русификации иностранных слов и выражений. Некоторые из них так и оставались достоянием одного Петербурга, другие распространялись из него по России. Я помню, как в моем детстве соперничали между собой два немецких слова, обозначавших один и тот же предмет, совершенно не существующий в Западной Европе: "форточка" и "васисдас", ставший знаменитым благодаря Пушкину. В русской речи чаще употреблялась форточка, но по-французски всегда говорили: "Ouvrez le vassisdass". Теперь "васисдас" исчез из русского языка, а форточка стала общерусским словом.

Еще было одно распространенное петербургское слово, теперь исчезнувшее: "фрыштыкать". В других городах России закусывали или завтракали, а в Петербурге фрыштыкали, и лакеи с длинными седыми бакенбардами спрашивали хозяйку: "На сколько персон прикажете накрывать фрыштык?" или торжественно докладывали: "фрыштык подан".

Некоторые из иностранных слов, ассимилированных Петербургом, как "амуниция", "полиция","ефрейтор","платформа" – продолжали звучать по-иностранному, а другие "шаромыжник" (cher ami), "шарманка", "oh, que c'est charmant" – говорили наши бабушки, впервые слышавшие шарманку, "кулебяка" (kohl gebacken) совсем обрусели и, если бы были живыми существами, с негодованием отвергли бы свое иностранное происхождение.

Давно уже не существует того Петербурга, который я видел в детстве. Нет больше вербных ангелочков, нет ни "ванек", ни "веек", нет ни пастухов с длинными трубами, ни певучих разносчиков, ни вонючих плошек. А пушкинский немец-булочник навсегда закрыл свой васисдас. Но старая память еще хранит полный своеобразия образ Петербурга былых времен.

Своего отца, князя Андрея Васильевича Оболенского, я плохо помню. Умер он, когда мне было 6 лет, 52-х лет от роду. С детства он был сильно близорук и всегда носил очки, а за несколько лет до смерти и совсем ослеп. Помню, как сидел у него на коленях, играя с его огромной седой бородой, и как водил его, держа за палец, по комнатам. Помню его старого камердинера Тихона с седыми бакенбардами, который, когда няне было некогда, ходил со мной гулять по Петербургу.

Впоследствии я узнал кое-что из биографии моего отца. Окончив училище Правоведения, он поступил, как и все, на государственную службу. Одноклассником его и близким другом был К.П. Победоносцев. Но политических взглядов Победоносцева он не разделял, сблизившись с кружком славянофилов – Аксаковых, Киреевских, Кошелева и др., с которыми близко сошелся. Отец мой был горячим сторонником освобождения крестьян и принимал близкое участие в освободительной реформе в качестве назначенного от правительства члена Калужского Комитета. Там он, вместе с губернатором В.А. Арцимовичем, входил в состав левой части Комитета и составил записку об организации всесословной волости. За эту записку, создавшую ему репутацию "крайнего либерала", он был уволен от занимаемой им должности и, поступив на службу в министерство финансов, был председателем Казенной Палаты в Ковно и в Ярославле, а затем был переведен в Петербург. По общим отзывам, отец мой был прекрасным и очень добрым человеком, чрезвычайно религиозным, воспитанным в строго православном духе. Но был у него один коренной недостаток: страсть к азартной карточной игре. Даже в Калуге, когда он с увлечением отдавался работе по освобождению

крестьян, он иногда целые ночи проводил за карточной игрой и проиграл бо́льшую часть своего немалого состояния. Поэтому я уже воспитывался в семье небогатой, считавшейся даже "бедной" среди богатых родственников.

Моя мать, княгиня Александра Алексеевна Оболенская, рожденная Дьякова, родилась в Москве в 1830 году. Дьяковы считались "хорошей" дворянской семьей и принадлежали к верхам тогдашнего московского общества.

Отец ее, Алексей Николаевич, был три раза женат. Мать моя родилась от его второй жены, урожденной баронессы Дальгейм де Лимузэн, родители которой были эмигрантами французской революции, принятыми Екатериной Великой к своему двору. Из семерых детей Алексея Николаевича моя мать была предпоследней. Моя бабушка умерла в родах последней дочери, когда матери моей было полтора года. Дед же женился в третий раз на Елизавете Алексеевне Акуловой и вскоре затем умер. Дети остались на попечении мачехи, которая трем младшим сестрам заменила мать. Елизавету Алексеевну Дьякову, бабушку Лизу, как я ее называл, я хорошо помню. Когда мать моя со мной приезжала в Москву, мы всегда у нее бывали. Бабушка Лиза принимала нас, сидя в большом глубоком кресле. Была она уже сгорбленной старушкой с белыми как лунь волосами, аккуратно навернутыми на "мышки" над ушами, а длинный нос ее снизу всегда был запачкан, ибо бабушка со страстью нюхала табак из золотой табакерки, с которой никогда не расставалась.

Бабушка Лиза мне пела детские песенки приятным старческим голосом и я был очень горд, когда узнал, что сам Пушкин, написавший чудесные сказки, которые я знал наизусть, восторгался ее пением, о чем сообщил в письме какому-то приятелю в следующих выражениях: "Вчера слушал чудесное пение длинноносой девицы Акуловой".

В моем письменном столе в Петербурге хранилась пожелтевшая от времени обложка тетрадки, на которой детским почерком было написано: "Alexandrine Diakoff agée de 4 ans".

По этой надписи можно судить, что моя мать была способной девочкой и рано начала учиться, притом, как полагалось в хороших дворянских семьях, – на французском языке. В качестве реликвии ее более позднего детства сохранилась у меня еще толстая тетрадь ее дневника, когда ей было лет 12. Вела она свой дневник тоже на французском языке, описывая в нем свое путешествие с мачехой и двумя сестрами по Европе. Ездили они в Рим, где гостили у известной княгини Зинаиды Волконской. Путешествие совершили на пароходе между Петербургом и Гавром, а затем по всей Франции и Италии – на лошадях, кроме небольшого кусочка – между Руаном и Парижем, где матери моей в первый раз пришлось ехать по железной дороге. Рим произвел огромное впечатление на живую

и увлекающуюся девочку. В доме кн. Волконской, принявшей католичество, она слушала проповеди красноречивого аббата Жербе и в один прекрасный день заявила мечехе о своем желании сделаться католичкой. Бабушка Лиза испугалась столь пагубного влияния общества кн. Волконской на своих падчериц и поторопилась увезти их из Рима.

О ранней юности моей матери я мало что знаю. Знаю, что семья Дьяковых жила в Москве и поддерживала близкое знакомство с семьей Толстых. Мой дядя, Дмитрий Алексеевич Дьяков, был близким приятелем Льва Толстого и дружба их поддерживалась до старости. Часто бывая в доме Дьяковых, Толстой увлекся умной и интересной девушкой и даже сделал предложение моей матери, но получил отказ. Вернувшись с Кавказа, он снова в семье Дьяковых встретил мою мать, которая уже была замужем, и опять увлекся ею. На этот раз и он произвел на нее настолько сильное впечатление, что она поторопилась вернуться к мужу в Петербург и с тех пор не виделась с Л.Н. Толстым. В опубликованных дневниках Толстого можно найти места, где он говорит о своей любви к моей матери.

Моя мать вышла замуж по нравам того времени довольно поздно. Ей шел 22-ой год. Семья Оболенских, в которую ввел ее муж, была ей не по душе. Семья была старозаветная и чрезвычайно консервативная. Отец в ней считался "вольнодумцем", но его объединяла с семьей его приверженность к православной церкви. Что касается моей матери, то ее правдивой и свободолюбивой натуре претила царившая в семье мужа атмосфера затхлых традиций и святошества.

Особенно сказалось расхождение взглядов моих родителей с семьей Оболенских, в большинстве сторонников крепостного права, когда в воздухе повеяло духом Великих реформ.

В конце 50-х годов отец получил назначение в Калугу, о котором я выше упоминал, и приехал туда со всей семьей. В то время у них было двое детей — мои старшие сестры — Елизавета и Мария.

Калужским губернатором был известный В.А. Арцимович, убежденный либерал и энергичный администратор. Проводя крестьянскую реформу, ему приходилось вести беспощадную борьбу с местными крепостниками-помещиками, посылавшими на него в Петербург донос за доносом. К работе по освобождению крестьян он привлек в Калугу целый ряд молодых либеральных чиновников, привлек к этому делу и двух недавно вернувшихся из ссылки и проживавших в Калуге декабристов — Свистунова и Батенкова.

Моя мать принимала горячее участие во всех перипетиях реформы, собирая по вечерам в своей гостиной всех местных ее деятелей. Здесь, в Калуге, ее врожденное свободолюбие оформилось

в определенные либеральные политические убеждения, которым она оставалась верна до своей смерти.

Впоследствии, когда я уже появился на свет, в Петербурге, многие из бывших калужских знакомых моих родителей продолжали бывать у нас. Хорошо помню декабриста Свистунова – высокого старика с белыми кудрявымы волосами, в коричневом бархатном пиджаке. Помню даже исходивший от него приятный запах одеколона, когда он качал меня на кончике ноги.

Но особенно близко сошлась наша семья с семьей Арцимовичей. После смерти отца В.А. Арцимович был моим опекуном. Он часто приходил к нам обедать из Сената, где занимал пост первоприсутствующего в первом департаменте, и рассказывал о борьбе, которую ему приходилось вести со все усиливавшимися реакционерами. Благодаря влиянию моей матери и В.А. Арцимовича, я с детства усвоил либерально-демократические взгляды, которые многим из моих сверстников приходилось вырабатывать в борьбе с окружавшей их средой.

Мои родители переехали в Петербург из Ковно за год до моего рождения, т.е. в 1868 году. Кончилась эпоха Великих реформ. На верхах петербургского общества уже чувствовались реакционные настроения, но в широких кругах русской интеллигенции передовые идеи все более и более распространялись. Между прочим, в это время горячо обсуждался вопрос об эмансипации женщин. Образовался кружок интеллигентных женщин, предполагавших основать высшую женскую школу. В него входили А.П. Философова, М.А. Быкова, Е.О. Лихачева, Трубникова и др. Вошла в него и моя мать. В то время как в кружке разрабатывался вопрос о высших женских курсах, мать моя, ознакомившись с постановкой среднего женского образования в России, пришла к выводу, что оно недостаточно для подготовки к университетскому курсу, а так как была женщиной энергичной и ощущала потребность свои мысли завершать делом, то решила открыть частную женскую гимназию. В родне моего отца это решение вызвало бурю негодования. Занятие педагогической деятельностью считалось в этих кругах делом низменным, как вообще всякое дело, кроме сельского хозяйства и государственной службы, связанное с заработком. Княгиня Оболенская, и вдруг – начальница гимназии! Позор для всей семьи... Мать мне рассказывала, как к ней приезжал генерал Потапов (впоследствии шеф жандармов), женатый на ее золовке, убеждать ее отказаться от ее затеи. "Почему бы вам, Alexandrine, не открыть прачечного заведения?" – язвительно говорил он ей.

Гимназия была открыта в 1870 году, т. е. через год после моего рождения, и просуществовала до превращения ее в XI Ленинградскую школу второй ступени в 1918 году. За полгода до нее открылась в Петербурге еще одна частная женская гимназия г-жи Спешневой. Это были две первые в России женские гимназии с

программами, соответствующими примерно программам мужских реальных училищ. Для того, чтобы стать начальницей своей гимназии, моей матери недоставало официального диплома. Она была, вероятно, одной из самых просвещенных женщин своего времени, но развитие свое приобрела главным образом из чтения книг. В детстве она училась, как тогда полагалось, знанию языков (главным образом – французского), немного истории (главным образом – древней) и неизбежной греческой мифологии для светских разговоров. Математики, кроме четырех правил арифметики, она совсем не знала. И вот, в сорок лет ей пришлось сесть за учебники и сдавать экзамен на звание домашней учительницы.

Преподавателями гимназии были приглашены преимущественно молодые, увлеченные делом педагоги, и во главе их – инспектор Е. С. Волков. Это был военный инженер, блестяще шедший по службе. Но, увлекшись педагогическим делом, он вышел в отставку и, сняв военный мундир, стал скромным учителем математики. Вскоре он женился на моей старшей сестре, Елизавете Андреевне. Характерно, что этот несомненно выдающийся человек, отдав долг увлечениям эпохи Великих реформ, впоследствии остыл, поступил на государственную службу и стал типичным петербургским чиновником, целиком поглощенным карьерными интересами. На пятый год существования гимназии Е.С. Волкова сменил известный педагог А.Я. Герд, получивший звание директора гимназии, когда она приобрела права средних казенных учебных заведений.

В раннем детстве у меня не было интимной близости с матерью. Со страстью увлекшаяся организацией своей гимназии, она в ней проводила целые дни, а по вечерам участвовала в разных педагогических совещаниях. Мне поэтому она не могла уделять много внимания. И тем не менее ее личность оказывала на меня очень большое влияние, и я привык относиться к ней с особым благоговением.

Воспитывался я свободно. Мать не требовала от меня внешних знаков почтения к себе. Я не был выдрессирован на целование дамских ручек и на шарканье ногами, мне не запрещалось разговаривать за столом со взрослыми, и если я не злоупотреблял этим правом, то по своей скромности и молчаливости. Если бонны и гувернантки меня обучали хорошим манерам, т. е. уменью прямо сидеть за столом, не чавкать, пережевывая пищу, не резать рыбу ножом и т. п., то наказаний я не знал никаких: меня не только не секли, но даже не ставили в угол и не лишали вкусных кушаний за обедом. Единственный раз, выведенная из себя моим длительным капризом, мать моя заперла меня в гардеробный шкаф. Я там затих, но, не привыкший к такому обращению с моей маленькой личностью (мне было тогда 5 лет), я жестоко отомстил за себя, сорвав с крючков все висевшие в гардеробе платья и истоптав

их ногами. Когда моя мать открыла шкаф и увидела там маленького человечка, копошащегося в огромной груде низверженных платьев, она не могла удержаться от заразившего и меня смеха. Так весело кончилось единственное в моей жизни наказание.

Если, несмотря на такое свободное воспитание, я все же был мальчиком дисциплинированным и послушным, то главным образом благодаря огромному нравственному авторитету матери. Ибо она была женщиной выдающейся не только по уму, но и по всему своему духовному облику. Не только я, но и все знавшие ее испытывали на себе ее обаяние, любили ее и боялись ее осуждения.

С тех пор, как я себя помню, помню свою мать постоянно болеющей: бронхиты, воспаления легких, плевриты... По-видимому у нее был медленно прогрессирующий туберкулез, обострявшийся и снова затихающий. Врачи много раз посылали ее лечиться за границу, чаще всего на французскую Ривьеру. Из этих путешествий, в которых я ей сопутствовал, она всегда возвращалась с восстановленным здоровьем, которое снова расшатывалось от петербургской зимы.

Но в хрупком теле моей матери жил дух необыкновенной силы и крепости. Эта маленькая, иссохшая от болезни женщина вся горела умственными, духовными и общественными интересами. Читала много книг исторического, философского и религиозного содержания, следила за политической жизнью и за литературой. Розовато-оранжевые книжки "Revue de deux mondes" и красно-оранжевые "Вестники Европы" до сих пор мне напоминают семейную обстановку моего детства.

В период моего раннего детства, в 70-х годах прошлого века, русская интеллигенция еще сохраняла любовь к бесконечным спорам, доводившимся до виртуозности более старым поколением, выросшим в режиме Николая I, когда эти кружковые споры были потребностью мысли, лишенной возможности более широкого распространения. Моя мать, принадлежавшая по возрасту к поколению, непосредственно следовавшему за знаменитой плеядой славянофилов и западников, усвоила от них эту любовь к спорам. Спорила с увлечением, до самозабвения. При этом никогда не могла усидеть на месте, бегала по комнате, жестикулировала, не замечая, что платок, всегда покрывавший ее плечи, давно упал на пол, что чепчик на голове съехал на сторону, и только кашель, начинавший ее душить, останавливал поток ее речей.

И каких только споров мне не приходилось слушать, притаившись где-нибудь в уголке так, чтобы взрослые меня не заметили и не отправили спать. Споры о религии, политике, педагогике, о литературе, главным образом о появлявшихся тогда романах Тургенева. Я, конечно, многого не понимал, но как-то проникался свободолюбием и каким-то бесконечно честным и правдивым духом своей матери.

Свободолюбие и правдолюбие были основными эмоциями ее души. Ложь и раболепие она ненавидела во всех видах. Поэтому, будучи глубоко верующей христианкой, она не переносила церковного ханжества и осуждала обрядовую сторону православия, противоречащую заветам Христа; поэтому она ненавидела самодержавие, но вместе с тем осуждала народовольцев не только за пролитие крови, но и за ложь и обман, неразрывно связанные с их конспиративной деятельностью. А в частном быту и в педагогической работе она выходила из себя от соприкосновения с ложью и фальшивой неискренностью. Мне часто приходилось слушать, как она пушила учениц своей гимназии за какой-нибудь проступок. Но стоило ученице сознаться в своем "преступлении", как гнев ее проходил немедленно и разговор кончался в самых дружественных тонах. А ученицы боялись не столько ее гневных криков, сколько ее морального осуждения.

Своих чувств и своего негодования моя мать не могла скрыть ни при каких обстоятельствах; с одинаковой запальчивостью и резкостью она кричала на горничную, разбившую чашку и скрывшую это, и на директора гимназии Герда, если усматривала в его действиях какой-либо прием, коробящий ее чувство правды, и на любого из знакомых в пылу теоретического спора. Часто говорила при этом очень резкие и обидные вещи, обидные особенно тогда, когда в своем образном остроумии выставляла смешные стороны своего противника. Но как-то никто на нее не обижался, зная, что в ее резкостях нет ничего, что бы отзывалось неуважением к человеку. "Ну и досталось же мне от княгини", – говорила с добродушной улыбкой в пух и прах распушенная горничная, а директор гимназии, выслушивая ее бурные нападки, спокойно и кротко парировал их; иногда же, когда, увлекшись спором, она со свойственным ей блестящим юмором изображала его в смешном виде, он не мог удержаться от смеха, заражая им свою запальчивую собеседницу.

Правдолюбие и прямота моей матери, так же, как и ее оценка всех жизненных явлений прежде всего с точки зрения морали, оказали на меня огромное воспитательное влияние. Она умерла, когда мне было 20 лет, и за всю мою жизнь с ней, как в детстве, так и в юношеские годы, я не припомню ни одного случая, чтобы я сказал ей неправду. Конечно, были у меня свои секреты, не все из моей жизни я ей рассказывал, но никогда не отвечал ложью на прямо поставленный вопрос. Когда мы с сестрой ставили памятник нашей матери на Алексеевском кладбище в Москве, то поместили на нем слова Христа из Нагорной проповеди: "Блаженни алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся".

Внушенное мне моей матерью правдолюбие я воспринял и сохранил в течение всей своей жизни, и до сих пор мне трудно лгать даже в тех случаях, когда от меня требуют маленькую, так называемую "условную" ложь, принятую в общежитии.

Воспоминания моего детства неразрывно связаны с женской гимназией моей матери. Я знал в лицо почти всех учениц, знал, как кто учится и как себя ведет, часто присутствуя при разговорах матери с преподавателями и с классными дамами. С детства был также в курсе тех трений, которые происходили между директором гимназии и министерством народного просвещения, чинившим всевозможные формальные препятствия всякому новому начинанию. Я запомнил как "врага" министра народного просвещения графа Толстого, и такими же врагами считал приезжавших в гимназию министерских ревизоров, называвшихся окружными инспекторами. Даже лицо чаще других появлявшегося инспектора Лаврентьева, одетого в вицмундир тощего человека с длинным носом и маленькими хитрыми глазками, которого моя мать называла землеройкой, до сих пор мне кажется исключительно противным.

Борьба между министерством и гимназией была неравной. Министерство не соглашалось дать гимназии права среднего учебного заведения без соответствующих изменений ее программы. Эта программа была шире казенного образца, а потому, как это теперь ни кажется странным, ее приходилось не расширять, а сокращать. Моя мать и директор гимназии Герд долго колебались, не желая коверкать программу, с такой любовью составленную преданными делу опытными педагогами. Однако пришлось уступить, так как родители, заинтересованные тем, чтобы их дочери имели официальные дипломы, этого требовали. Капитуляция происходила на моих глазах, и все ее перипетии мне хорошо памятны, так как мне было тогда уже 8-9 лет.

В связи с этим произошло и радостное для меня событие: я получил в подарок огромную клетку с птицами, переделанную из застекленного шкафа для химических опытов, ибо химия, как наука неблагонадежная, была изгнана из предметов преподавания в женских гимназиях.

Гимназия в значительной степени определила круг наших знакомств в тот период, когда складывалась моя личность. Большая часть родных моей матери, с которыми она поддерживала дружеские связи, жила в Москве, а петербургская родня отца, в особенности после его смерти, от нас отвернулась. Да и у моей матери не было никакого желания поддерживать знакомство в этих чуждых ей по духу кругах. Зато через гимназию наша семья связалась с кругами петербургской интеллигенции.

Глава 2

РАННЕЕ ДЕТСТВО
(Семидесятые годы)

Смерть отца. Первый период моего сознательного детства до поступления в гимназию. Родственники, друзья и знакомые моей матери. Семья моего дяди, кн. Алексея Васильевича Оболенского, семья кн. Прозоровского, Виктор Антонович Арцимович, Герды, Костычевы. Поездки за границу. Мой дядя поэт Жемчужников. Мой крестный отец Александр Михайлович Сухотин, Наденька Мухина. Сестра моей матери Марья Алексеевна Ладыженская и ее сын Гриша. Мои московские впечатления. Кудринский переулок. Поездки в деревню и деревенская жизнь. Первое соприкосновение с политическими событиями.

Мой отец умер, когда мне было 6 лет. Его смерть прошла для меня малозаметно, ибо умер он в Петербурге, а я в это время находился с больной матерью на юге Франции, в Ментоне. Помню только смутное ощущение недоумения, слезы матери и черные чулки вместо цветных на моих ногах. А теперь, глядя на портрет отца, я никак не могу себе представить, что этому глубокому старику с огромной седой бородой до пояса было тогда только 52 года. Тогда люди не то старели, не то старили себя раньше, чем теперь.

После смерти отца моя мать из всех его многочисленных родственников продолжала общаться лишь с его двумя братьями, кн. Алексеем и Егором Васильевичами Оболенскими, и с его младшей сестрой — Натальей Васильевной Карамзиной, которая была замужем за сыном знаменитого историка. Из них в Петербурге жил со своей семьей лишь князь Алексей Васильевич, артиллерийский генерал, участвовавший в обороне Севастополя и получивший, после краткой административной карьеры в должности московского губернатора, почетную полуотставку в виде покойного сенаторского кресла в департаменте герольдии. Моя мать расходилась с ним в политических взглядах, но любила этого недалекого, но доброго старого генерала с зачесанными на висках волосами по старинной моде.

Дядя Алеша Оболенский, как мы его называли, был женат на графине Сумароковой, от которой имел пятерых детей. В середине 60-х годов его жена со всеми детьми поехала в заграничное путешествие и в Риме, в одной из лучших гостиниц познакомилась с польским политическим эмигрантом Мрочковским, который служил в ней чем-то вроде метрдотеля. Красавец Мрочковский поразил воображение экзальтированной кн. Оболенской рассказами о польском восстании, в котором принимал участие, и она без памяти в него влюбилась... Так в Россию больше не вернулась и поселилась в Швейцарии. Мрочковский ввел ее в среду русских, польских и других революционеров, которые стали завсегдатаями в гостиной этой революционной аристократки. В числе их часто навещали мою тетку анархисты Элизэ Реклю и Михаил Бакунин, всецело подчинившие ее своему идейному влиянию.

Можно себе представить, в каком ужасе от этой политико-романтической истории была вся наша аристократическая родня. А дядя мой был, конечно, в полном отчаянии, лишившись одновременно жены и пятерых детей. К тому же он, человек консервативных взглядов и глубоко преданный православной религии, не мог примириться с мыслью, что его дети живут с матерью, находящейся в открытой связи с любовником, и воспитываются в духе атеизма и анархизма. И вот он обратился к швейцарскому правительству с требованием вернуть ему его детей. Швейцарские власти признали это требование вполне законным. Дети были насильственно отняты от матери швейцарской полицией и отправлены к отцу в Петербург. При матери осталась только одна дочь, случайно в это время гостившая у знакомых, но она вскоре умерла.

Эта семейная драма в свое время наделала много шума в заграничной печати левого направления. Герцен поместил в "Колоколе" негодующую статью о том, как нарушаются естественные права матери в угоду политическим соображениям. Негодование было вполне понятно. Но, с другой стороны, нельзя не понять и отцовских чувств старого генерала. Как бы то ни было, четверо детей к нему вернулись. Из них старшей, Екатерине Алексеевне, было уже 15 лет, и пребывание в обществе видных революционеров не могло не оказать влияния на ее взгляды. Живя у отца в Петербурге, она поставила себя самостоятельно, завела свой круг знакомых и в аристократическом обществе считалась "нигилисткой". Хорошо помню эту "нигилистку" со стриженными волосами, в очках и в платьях мужского покроя. Рано выйдя замуж за некоего Мордвинова и овдовев, она вступила во второй брак с знаменитым врачом и профессором С.П. Боткиным, после чего семья Боткиных стала тоже близкой нам семьей, но уже в более поздний период моего детства.

Добрый и мягкий по натуре, старый генерал мирился с "причудами" своей дочери, равно как и с либерализмом моей матери, с

которой большинство наших родственников прекратило знакомство, когда она стала начальницей гимназии. Все же через дядю Алешу Оболенского и его младших детей, ровесников моих старших сестер, наши связи с консервативными кругами петербургской аристократии никогда совершенно не прекращались.

Кроме семьи моего дяди, кн. А.В. Оболенского, в период моего детства у нас была еще одна близкая семья, принадлежавшая к высшей аристократии – семья Прозоровских. Княгиня Мария Александровна Прозоровская, урожденная Львова, была двоюродной сестрой моей матери и большим ее другом. Ее рано выдали замуж за богатого саратовского помещика, лейб-гусара князя Прозоровского, который был лет на 20 старше ее и, благодаря бурно проведенной молодости, уже в 60 с небольшим лет превратился в старика, впадавшего в детство. Шести лет я его считал как бы своим сверстником, часами играя с ним в шашки или в дурачки. При этом он постоянно плутовал и очень обижался на меня, когда я его ловил на какой-нибудь предосудительной манипуляции.

Главой семьи была княгиня, дававшая тон всему дому. Сама она была женщиной просвещенной и дала прекрасное домашнее образование своим трем дочерям. В их доме собиралось блестящее общество: с одной стороны, наиболее культурные представители петербургской аристократии, а с другой – профессора и приват-доценты университета, читавшие лекции княжнам. Княгиня больше всего интересовалась вопросами философии и религии. Одно время в ее салоне произносил проповеди Редсток, известный английский проповедник, основавший секту "пашковцев" в кругах русской аристократии.

Княгиня Прозоровская часто у нас бывала, и я присутствовал при горячих спорах моей матери и ее двоюродной сестры на религиозно-философские темы.

Мать моя со свойственной ей горячностью нападала на "редстокистов" и "пашковцев" за эгоцентрическое погружение в свои личные религиозные переживания и за культ веры без дел, ссылаясь на евангельские слова, что "вера без дел мертва есть". Княгиня Прозоровская обиженно возражала. Иногда споры двух кузин кончались большими резкостями. "Фарисейка ты, – кричала на нее моя мать, – сгоняешь своих лакеев слушать проповеди в атласной гостиной, а потом они калоши тебе на ноги натягивают. Как ты не видишь, что все это ложь и лицемерие!"

Спор переходил в ссору, и княгиня Прозоровская уезжала от нас вся в красных пятнах, заявляя, что больше не намерена выслушивать таких оскорблений. Скоро однако мир и дружба между двумя кузинами восстанавливались.

Прозоровские были очень богаты. Они нанимали роскошный особняк на Фонтанке с множеством комнат, держали выездных лошадей и огромное количество мужской и женской прислуги. Мое

детское воображение поражало, что, в отличие от других наших знакомых, у них было три гостиных — белая, красная и синяя. И, пока княгиня Прозоровская вела религиозные беседы в белой гостиной, в синей гостиной ее старшая дочь Анна принимала своих гостей-студентов и молодых ученых. Она увлекалась модными тогда естественными науками, а в философии — Огюстом Контом.

Я, конечно, о Конте не имел понятия, но в памяти моей сохранилась посвященная юной Анне Прозоровской песенка, которую сочинил тщетно ухаживавший за ней мой двоюродный брат М.С. Сухотин (впоследствии зять Л.Н. Толстого), студент московского университета, находившийся тогда под философским влиянием своего университетского товарища Владимира Соловьева. Песенка эта заканчивалась следующими куплетами:

Дайте мне образование,
Уважение к Прянику, *
Напитаю ум свой знанием,
Изучу ботанику.
Если б отличать умел бы я
Сор от едкой щелочи,
Конта лучше Канта счел бы я
И всей прочей сволочи...

А в третьей гостиной в это время шло веселье и смех зеленой молодежи, по преимуществу аристократической, состоявшей из подруг и поклонников двух младших, менее ученых дочерей княгини.

Близкое знакомство связывало нас с семьей Арцимовичей, о которой я уже упоминал.

В. А. Арцимович, бывший тогда председателем первого административного департамента Сената, часто приходил к нам обедать прямо из сенатских заседаний. Я очень любил этого благородного старика с мягкими бакенбардами, в раннем детстве играл его цилиндром, в который засовывал голову до подбородка, а когда стал постарше, всегда старался остаться в обществе больших, чтобы слушать его рассказы о сенатских заседаниях. В период моего детства, т.е. в последние годы царствования Александра II и в начале царствования Александра III, правившая Россией бюрократия все больше и больше проникалась реакционной психологией. Судебная реформа, крестьянские учреждения, земские и городские самоуправления, словом все здание новой России, воздвигнутое в эпоху Великих реформ, находилось под угрозой разрушения. Первому департаменту Сената, рассматривавшему жалобы на злоупотребления администрации, приходилось вести борьбу с ее произволом, восста-

---

* Молодой ботаник Пряничников.

новляя действие еще не отмененных либеральных законов. Борьба становилась все труднее и труднее, т.к. сам Сенат заполнялся реакционерами и В. А. Арцимовичу часто приходилось по целому ряду вопросов оставаться в меньшинстве. Особенно трудно ему было отстаивать законные права евреев, когда антисемитизм стал одной из основ внутренней политики правительства. Помню, как Арцимович рассказывал моей матери о заседаниях Сената, где все чаще начали задавать тон вновь назначенные сенаторы реакционеры, заменявшие умиравших либеральных стариков – его друзей и соратников, участников Великих реформ.

Хотя в семье Арцимовичей у меня не было сверстников, но я часто у них бывал с матерью и старшими сестрами. Чтобы меня занять, мне давали рассматривать английский иллюстрированный журнал "Grafic", перелистывая который я прислушивался к разговорам взрослых, преимущественно на политические темы. Среди частых посетителей Арцимовичей хорошо помню стариков Кавелина и Стасюлевича и сравнительно еще молодого Кони, всегда блистающего остроумием и художественностью своих повествований, в которых, впрочем, чувствовалось слишком много самолюбования.

Совсем к другому кругу принадлежала семья Гердов. Александр Яковлевич Герд, директор гимназии моей матери, давал мне уроки естествознания. Лучшего преподавателя я не встречал. Каждый его урок был праздником для его учеников, которые слушали его рассказы об удивительной закономерности природы с замиранием сердца. Его изложение было настолько ясным и четким, что уроков мне не приходилось готовить: все запоминалось до мельчайших подробностей. Дети Герда учились вместе со мной, а потому я часто бывал в их чудесной семье, центром которой был отец, прирожденный педагог.

В семье Гердов преобладали научные интересы. В гостях у них бывали преимущественно учителя и учительницы, увлеченные своей культурной работой. Политика не была на первом плане, но это была среда типичной демократической разночинной интеллигенции, проникнутая духом философского и политического радикализма.

Между прочим, у Гердов я часто встречал их ближайшего друга, писателя В.М. Гаршина. Он уже страдал тяжелым психическим недугом, но весь преображался, играя с нами в различные детские игры, и забывал давившие на его психику тяжелые образы и мысли. Я знал, что Гаршин известный писатель, и чувство невольного пиетета к нему с трудом уживалось во мне с нежной любовью к этому взрослому товарищу моих детских игр. Из всех друзей нашего семейства наибольшее влияние на формирование моих взглядов имела семья Костычевых.

Авдотья Николаевна Костычева, урожденная Фокина, была учительницей моих сестер еще до моего рождения. Приехала она в Петербург в конце 60-х годов, тайно бежав от матери, саратовской

помещицы. Цель ее приезда заключалась в страстном стремлении к просвещению. В то время вопрос о высшем женском образовании еще был лишь предметом обсуждения в некоторых кругах петербургского общества, но существовал кружок педагогов, в котором частным образом и совершенно бесплатно читались лекции на всевозможные темы. А.Н. Фокина слушала лекции в этом кружке и одновременно приготовилась и сдала экзамен на диплом домашней учительницы. Умная, живая и талантливая девушка и притом блестящая преподавательница очень понравилась моей матери и вскоре, несмотря на разницу лет (она была лет на 15 моложе), стала одним из самых близких ее друзей. В студенческих кругах А.Н. Фокина познакомилась со студентом Лесного института Павлом Андреевичем Костычевым и вышла за него замуж.

Биография П.А. Костычева представляет собой исключительный интерес. Он был сыном крестьянина Тамбовской губернии и мальчиком 13 лет был взят в услужение в дом своего барина, просвещенного помещика. Барин обучил его грамоте и, обратив внимание на исключительные способности мальчика и на страстную любовь к чтению, разрешил ему пользоваться книгами из своей обширной библиотеки. Мальчик с жадностью набросился на книжки, читал подряд и беллетристику, и научные сочинения, вначале мало что в них понимая. Однако скоро освоился с чтением, и, когда его барин, подолгу живший за границей, вернулся однажды после длительного отсутствия в свою усадьбу, его встретил уже не дворовый мальчик Павлушка, а вполне интеллигентный 16-летний юноша. Эта метаморфоза так поразила просвещенного помещика, что он немедленно дал отпускную П.А. Костычеву и определил его в московское низшее земледельческое училище, которое он и кончил через три года.

К этому времени покровительствовавший ему барин умер, и ему самому приходилось добывать средства к существованию грошовыми уроками.

Училище не давало прав поступления в высшие учебные заведения, а между тем П. А. стремился к расширению своего образования. И вот он едет в Петербург, поступает вольнослушателем в Лесной институт, а одновременно готовится держать выпускной экзамен в реальном училище. Экзамены в училище шли одновременно с переходными на второй курс экзаменами Лесного института, и П. А., жившему в Лесном (тогда не только трамваев, но и конок еще не существовало) иной раз приходилось чуть свет отправляться пешком за несколько верст в Петербург на экзамен в училище, чтобы таким же порядком вернуться во вторую половину дня в Лесное и держать другой экзамен, ничего общего с первым не имевший.

П. А. был выдающимся студентом. Будучи на третьем курсе института, он уже написал обратившую на себя внимание научную

работу и получил место лаборанта. Специальностью он взял агрономическую химию. Но молодежь 60-х годов не могла удовлетворяться узкими специальностями. Прежде всего необходимо было выработать себе целостное мировоззрение, для чего нужно было проникнуть по возможности во все отрасли знания. П.А.Костычев так и поступил. Изучая, кроме естественных наук, историю, философию, политическую экономию и т.д. Не хватало времени во дне. Но для этого были ночи. Летние белые петербургские ночи можно было проводить за книгами напролет, но зимой бывало хуже, ибо читать приходилось при свете лампы, а на покупку керосина не было денег. Но голь на выдумки хитра, и он нашел способ обходиться без дорогостоящего керосина: отворял дверцу печки, ложился перед ней на пол и читал при свете горящих дров, благо дрова были хозяйские.

У П.А.Костычева была блестящая память, и содержание раз прочитанной книжки запечатлевалось в ней навсегда. Он положительно все помнил и все знал. Но, будучи от природы исключительно скромным человеком, никогда не показывал своего превосходства над своими собеседниками. В бурных спорах, происходивших в гостиной Костычевых, он редко принимал участие, но иногда вдруг раздавался его ровный, тихий голос, и несколькими деловыми замечаниями, в которых обнаруживалось полное знание предмета, он сразу выяснял вопрос, вытягивая запутавшийся спор из клубка нависших на нем сумбурных аргументов. Из всех своих многочисленных знакомых я мог бы назвать, пожалуй, одного П.Б.Струве, который разносторонностью своих познаний мог бы сравняться с П.А.Костычевым.

Русскую литературу он знал в совершенстве. Когда Грот составлял словарь русского языка, то, зная необыкновенную память Костычева, он посылал ему корректурные оттиски с просьбой вставлять в них случайно им пропущенные в алфавитном порядке слова. П.А. в часы досуга с увлечением занимался этим делом. Однажды, когда я уже был студентом, ему принесли корректуры при мне, и, разговаривая со мной, он водил по ним глазами. Вдруг остановился, прервал разговор, задумчиво потер пальцем переносицу и протянул руку к полке с книгами.

— В чем дело, Павел Андреевич? — спросил я его.

— А видишь ли, тут на букву "в" пропущено одно слово, слово редкое, но оно встречается у Тургенева.

Через две минуты это слово было найдено им в одном из рассказов Тургенева и вставлено в корректурный лист.

В моем детстве Костычевы жили в Лесном, где П.А. читал курс агрономической химии. Несмотря на то, что поездки в Лесное на петербургских "ваньках" брали много времени, меня часто брали с собой мои старшие сестры и мы проводили там целые дни.

Трудно найти двух людей, столь различных по своему внутреннему облику, какими были А. Н. и П. А. Костычевы. Она – живая, бурная, экспансивная, увлекающаяся, он – тихий, скромный, замкнутый, молчаливый. Оба они были недюжинными по уму людьми. Но его ум был создан для научного творчества, с преобладанием логики над интуицией и со склонностью глубоко подходить ко всякому изучаемому явлению. Ее ум был поверхностный, интуитивный, в котором логика затмевалась художественной чуткостью. Она была одарена исключительной изобразительной талантливостью и необыкновенным юмором. Я никогда не встречал таких, как она, оригинально остроумных людей. Слушая ее художественные рассказы, можно было хохотать до слез. До сих пор некоторые из них запечатлелись в моей памяти, но передать их невозможно, т. к. они теряют все свое очарование без ее богатой мимики и жестикуляции. К сожалению, она никогда ничего не писала и ее талант угас вместе с ней.

Супруги Костычевы были типичными представителями поколения молодежи конца шестидесятых годов не только тем, что восприняли господствующие тогда материалистические идеи, но и тем, что стремились неукоснительно проводить в жизнь свои принципы, ломая старый быт и старые традиции. Так, например, отвергая религию и в особенности обрядовую ее сторону, они долго и упорно не хотели венчаться в церкви и около десяти лет прожили в так называемом незаконном сожительстве. Для женщины это было в те времена своеобразным геройством. Таких женщин часто не принимали в "порядочных домах", а простонародье тоже относилось к ним с презрением. Через все это прошла А.Н. Костычева, упорно отказываясь пойти на компромисс в своих принципах. Костычевы венчались лишь перед рождением их первого ребенка, дабы его узаконить. Впрочем, к этому времени они оба приобрели некоторую жизненную мудрость и стали менее ригористичны.

В активной политической борьбе Костычевы не принимали участия, но все их симпатии были на стороне социалистов и революционеров. Мне приходилось у них встречать как законсервированных прямолинейных "нигилистов" 60-х годов, так и участников современных революционных кружков. Между прочим Костычевы мне рассказывали, что Вера Засулич, перед покушением на петербургского градоначальника Трепова, приезжала к ним в Лесное практиковаться в стрельбе из револьвера.

Несмотря на то, что в семье Костычевых у меня не было сверстников – он и она по возрасту могли бы быть моими родителями, а их двое детей были значительно моложе меня, – эта семья стала для меня почти родной. Дружбу с ними я сохранил до самой их смерти, а их сын, недавно умерший академик Костычев, всегда навещал меня в Париже, когда получал заграничные командировки из советской России.

Из людей, оказавших наибольшее влияние на мое духовное развитие, я на первое место ставлю А. Н. и П. А. Костычевых, наравне с моей матерью и моим опекуном В. А. Арцимовичем.

Итак, еще в раннем детстве мне пришлось соприкасаться с самыми различными общественными слоями — с придворно-консервативными передовыми кругами аристократии, с либеральным чиновничеством, радикальным кругом педагогов и с революционной молодежью. Я хорошо познакомился с бытом всех "миров" русского культурного общества, отделенных друг от друга полным взаимным отчуждением и непониманием, и везде чувствовал себя более или менее "своим" человеком. Это обстоятельство, с одной стороны, помогало мне всегда объективно относиться к положительным и отрицательным сторонам этих "миров", но, с другой стороны, парализовало мою активность в их взаимной борьбе. Этим отчасти объясняется, что я всю свою жизнь был скорее "свидетелем истории", чем ее активным участником.

Три зимы в моем детстве мы провели на французской Ривьере, в Ментоне, куда врачи посылали мою мать, заболевшую туберкулезом. Там мы жили на даче у моей тетки-эмигрантки, о которой я уже упоминал, и ее второго мужа, польского повстанца Мрочковского, сделавшегося ментонским фотографом под фамилией Острага. Двое их детей — сын и дочь — были моими сверстниками и товарищами детских игр. Через много лет, уже в старческом возрасте, я встретился с ними в Париже. Его недавно похоронил и в ее семье часто бываю. Она стала совсем француженкой, хотя говорит по-русски довольно правильно, а следующее поколение уже по-русски не говорит. Меня, впрочем, называют diadia Volodia.

Моя мать была единственной родственницей, продолжавшей поддерживать знакомство со своей belle sœur после произведенного ею семейного скандала, хотя и не разделяла ее анархических взглядов. Она вступала в горячие споры с посещавшими ее иностранными анархистами и русскими революционерами. Я мало что понимал в этих разговорах между взрослыми, но часто слушал их и, конечно, сочувствовал моей матери. Тем не менее я привык видеть этих таинственных "нигилистов" в семейной обстановке и не испытывал к ним ни ненависти, ни страха, как другие дети из нашего круга.

Во время заграничных поездок мы всегда встречались с семьей поэта Жемчужникова, женатого на младшей сестре моей матери.

Тетя Лиза Жемчужникова умерла от чахотки. Последние годы жила со всей семьей (мужем и двумя дочерьми) за границей, переезжая из курорта в курорт. Незадолго до ее смерти мы навестили Жемчужниковых во Флоренции, где на соседней даче умирал от того же недуга поэт Алексей Толстой, доводившийся моему дяде Жемчужникову двоюродным братом. Я знал, что Толстой знаменитый писатель, а потому среди детских достопримечательностей Флоренции, кроме множества ящериц в саду, летающих светлячков

и странных процессий каких-то братств, носивших больных и мертвых по улицам города, в длинных черных и белых балахонах с прорезями для глаз, мне запомнился также на всю жизнь образ худого бородатого человека в коричневом бархатном пиджаке.

С дядей Алешей Жемчужниковым мы продолжали встречаться за границей и после смерти его жены, а потом в Петербурге. Лишь за несколько лет перед своей смертью он переехал на постоянное жительство к своей замужней дочери в Тамбов, где и умер, если не ошибаюсь, в 1911 году, девяноста лет от роду. В моем детстве, следовательно, ему было за 50, но, как и все люди его поколения, он уже казался и чувствовал себя стариком.

Смуглый, с черными выразительными глазами, с раздваивающейся бородой стального цвета и с такими же стальными, слегка вьющимися волосами, окружавшими уже откровенную лысину, он был на редкость красивым человеком. Когда он шел по улице, прохожие невольно оглядывались на него, чувствуя какую-то значительность во всем его облике. Они не ошибались, ибо он действительно обладал блестящим умом, неиссякаемым остроумием и большим литературным талантом. Но не использовал этих даров природы и отошел в прошлое лишь как хороший, но второстепенный русский поэт и как один из главных авторов знаменитого Козьмы Пруткова.

Мешало развитию дарований А.М. Жемчужникова то, что он был на редкость ленив. После смерти жены он остался за границей на много лет. Эту добровольную эмиграцию объяснял своим свободолюбием и ненавистью к самодержавию, но не принимал никогда участия в политической борьбе и жил в комфортабельном безделии, переезжая из отеля в отель, то во Франции, то в Германии или Австрии, а больше всего в Швейцарии. В Россию вернулся только тогда, когда елецкое имение уже не могло поддерживать его комфортабельной жизни за границей.

В качестве плодов этой праздной жизни изредка появлялись в русских журналах его стихотворения, всегда звучные, но в которых подлинная поэзия чувства покрывалась какой-то искусственной красивостью. И не мудрено: сочинял он стихи преимущественно утром, которое начиналось поздно, разгуливая по комнате в халате. Торопиться было некуда, и, написав одну или две рифмы, он откладывал их до следующего утра. На следующий день написанное накануне подвергалось длительному обдумыванию; слова переставлялись, фразы менялись местами, рифмы заменялись новыми. Иногда маленькое стихотворение писалось и смаковалось в течение двух-трех недель. Такое ленивое творчество губило недюжинный талант поэта.

В раннем детстве я побаивался дядю Алешу Жемчужникова из-за желчности его характера, проявлявшегося по отношению ко мне иногда в резких замечаниях, касавшихся моего "русского

разгильдяйства и плохих манер". Выросши же, я очень полюбил этого милого, благородного старика, который до глубокой старости умел наслаждаться всем, что давала ему жизнь.

Перечисляя здесь людей, с которыми связаны мои детские годы, не могу не упомянуть о своем крестном отце, Александре Михайловиче Сухотине.

Он принадлежал к особому типу "декоративных" людей, каких в настоящее время уже не существует. В век аэропланов, радио, а главное — тяжкой борьбы за существование, такие люди вывелись совершенно. А сколько их мы еще находим в романах Тургенева и Толстого! С точки зрения утилитарной это люди лишние, человеческие трутни, а в эстетической оценке — чудные художественные произведения.

А. М. Сухотин был свояком моей матери (братом первого мужа ее сестры). Крупный помещик Тульской губернии, он редко жил в своем имении Кочетах и совсем им не занимался. Служил в молодости в гусарском полку и участвовал в защите Севастополя, был контужен и, получив Георгия за храбрость, вышел в отставку. С тех пор он уже нигде не служил. Был гласным Новосильского уездного земского собрания, но редко показывался на его сессиях. Большая часть его жизни протекала в трех городах: в Москве, Петербурге и Париже. Во всех трех столицах у него было множество друзей и знакомых, у которых он всегда был желанным гостем. Ибо А. М., исключительно мягкий, деликатный и незлобивый по натуре человек, был вместе с тем литературно образованным и интересным салонным собеседником, а также блестящим чтецом беллетристических новинок, русских и французских. Европейскую литературу он знал превосходно и обладал большим художественным вкусом.

Когда он читал, то надевал пенсне на самый кончик носа, и, держа одной рукой книгу на далеком расстоянии, другой жестикулировал. В этой позе ярче всего сохранился в моей памяти его образ.

В Петербурге он часто у нас бывал, так как был глубоко предан моей матери, к которой в юности был неравнодушен.

В одном из опубликованных дневников Льва Толстого он описывает, как, влюбленный в мою мать, он, после вечера, проведенного в ее семье, пошел ночевать к А. М. Сухотину и как оба отвергнутых поклонника ночью изливались друг другу. О своей юношеской платонической любви А. М. часто вспоминал, что не мешало ему постоянно влюбляться в хорошеньких барышень, делать им предложения и всегда получать отказы. Так всю жизнь и оставался холостяком.

В моем раннем детстве ему было лет пятьдесят. Он хотел казаться молодым, но седеющая щетка подстриженных усов и совершенно лысая голова выдавали его возраст, которого он не мог скрыть ни военной осанкой, ни безукоризненным костюмом, ни запахом

тонких духов, который струился от кокетливо высовывавшегося из верхнего кармана носового платка.

И точь-в-точь таким же, только совсем белым, я помню его через тридцать лет, когда он оправлял привычным жестом сгибавшуюся поясницу и старался придать твердость походке ослабевших ног.

На седьмом десятке он уже перестал помышлять о браке и не делал предложений, но всегда был неравнодушен к какой-нибудь хорошенькой даме или барышне. Эти платонические любви менялись у А. М. постоянно. Иногда он поклонялся одной, иногда – нескольким сразу, но неизменно у него был предмет поклонения, дама сердца, которой он подносил конфеты и цветы, дарил подарки и которой читал литературные новинки.

Конечно, он не был святым, заводя романы и не платонического характера. Так, еще молодым, в один из своих редких наездов в деревню, он увлекся красивой женой кучера, у которой вскоре родилась дочь.

Мало кто из помещиков того времени не имел незаконных детей от крепостных крестьянок. И в огромном большинстве случаев отцы не интересовались судьбой таких своих "случайных" детей. А.М.Сухотин тоже мог свободно забыть о своей дочери, тем более, что у нее был законный отец – кучер, смотревший снисходительно на любовную связь жены с его барином. Но врожденное благородство не позволяло ему отказаться от дочери, и он счел своей обязанностью дать ей надлежащее воспитание и образование.

В детстве я никак не мог понять, в каком родстве нахожусь с миловидной девочкой-подростком, которая иногда приезжала к нам на праздники из института и называла мою мать и тетку "тетей Сашей" и "тетей Машей", а А.М.Сухотина "дядей Сашей". Эта загадочная девочка впоследствии окончила педагогические курсы, вышла замуж за московского врача, и старый "дядя Саша", приезжая в Москву, всегда у нее останавливался.

В практической жизни А. М. был совершенным младенцем. Получал деньги из имения, а когда их не хватало, должал. Всякое дело было для него нестерпимой обузой и помехой в жизни, заполненной романтическими фантазиями. В увлекательном для него разговоре он мог забыть о самом важном для него практическом деле, и вообще был невероятным путаником.

Однажды, отправляясь в свой любимый Париж, он предложил моей больной матери, которую врачи послали на юг Франции, помочь ей в трудностях дороги. Помощь эта началась с того, что, беря билеты, он по рассеянности купил один лишний, что обнаружилось уже в дороге. В Париже, на Gare du Nord, он предложил нам пройти вперед, а сам остался с носильщиком возиться с багажом. Долго мы ждали в проходе его появления, но он как в воду канул. Моя сестра, отправившаяся на его розыски, нашла его на платформе около сложенных вещей, в оживленной беседе с носильщиком.

Оказалось, что носильщик был участником севастопольской войны, и батальные воспоминания так увлекли моего крестного, как я его называл, что он совершенно о нас забыл и вспомнил лишь тогда, когда сестра стала тащить его за рукав.

Александр Михайлович был вольнодумцем, как в вопросах политических, так и религиозных. Но его вольнодумство было особого вида, я бы сказал — дворянское. В церковь он ходил редко и вообще не любил православия и православного духовенства, "les Popes", как он не без брезгливости называл русских батюшек. Помню, как однажды, приехав из Тулы, он нам рассказывал: "On nous a nommé comme evêque un certain Pitirime. Pitirime, drôle de nom, n'est ce pas"?

Ничего себе, служит торжественно, "mais il est un peu prokhvost, да, prokhvost".

Он любил русские слова произносить на французский манер, и в его устах такое искажение русской речи было действительно колоритным и шло к его колоритному образу. Сам он это понимал и, сказав такое словечко, лукаво посматривал на собеседника, самодовольно поглаживая снизу вверх щетку своих усов. В данном случае характеристика тогда еще безвестного Питирима была довольно меткой, судя по его дальнейшей распутинской карьере.

А. М. не скрывал своего религиозного вольнодумства и не прочь был в этой области пошутить и позубоскалить. Но вот вспоминается мне, как в раннем моем детстве, лежа на нижней койке спального вагона, я наблюдал, как на верхней укладывался спать мой крестный. Когда он лег, то выпростал из-под одеяла правую руку и стал ею странно чертить по воздуху. Я спросил его, что он делает, и он объяснил мне, что каждый вечер, ложась спать, вспоминает всех своих друзей и родных и благословляет их крестным знамением.

Через много лет, когда я уже был взрослым, он, смеясь, напомнил мне эту сцену: "Помнишь, как ты меня спросил: крестный, крестный, что ты делаешь"? И добавил: "Да, мой друг, que voulez vous, эта старая привычка у меня осталась, et je ne sais si c'est de la religion ou de la superstition".

Вольнодумцем он был и в политике. Читал, конечно, "Русские Ведомости" и "Вестник Европы", поклонялся Франции и Парижу, но больше походил на вольтерьянца крепостных времен, чем на либерала. Ибо прежде всего он был барин и русский дворянин. Мужики были для него — "ces braves gens", о Нарышкиных, Голицыных и других родовитых людях говорил, как о равных, и с почти неуловимой пренебрежительностью — об "un certain Popoff" или о "ce bon petit Ivanoff".

Сторонник свободы, равенства и братства, он сам не замечал в себе неравного отношения к людям и даже бывал подчеркнуто вежлив с интеллигентными людьми "не из своего общества", однако не без некоторой гордости носил свою дворянскую фамилию.

Рассказывали про него такой характерный эпизод: однажды, уже в старости, находясь в совершенно запутанном материальном положении, он зашел к своему старому портному-французу. Портной рассказал ему, что один из его друзей умер, не заплатив крупной суммы за свои заказы. А. М., выслушав повествование портного, вынул из своего бумажника все его содержание и передал портному: "Les amis d'Alexandre Soukhotine payent toujours leurs dettes", — заявил он гордо. А вот еще случай, происшедший почти на моих глазах. Как-то А. М. приехал ко мне в гости, когда я жил в Орле. Носильщик вынес ему из вагона чемодан, и старичок по слепоте дал ему вместо двугривенного пятирублевую золотую монету. Увидав, что старичок ошибся, честный носильщик протянул ему золотой обратно: "Ваше превосходительство, вы по ошибке мне пять рублей изволили дать". А. М. посмотрел на протянутую ладонь с золотой монетой, отодвинул ее и гордо сказал: "Что я дал — то дал, и сдачи не беру". А затем сел на извозчика и уехал.

И жил себе А.М. Сухотин, не сеял, не жал, не собирал в житницы, питаясь доходами своего имения Кочеты Новосильского уезда. Но на вечные поездки за границу, где ему было нипочем для встречи с друзьями, а особенно с дамами своего любвеобильного сердца, нестись в первом классе курьерского поезда из Парижа в Ниццу, оттуда — в Рим и Неаполь, потом в какой-нибудь немецкий курорт, чтобы еще месяца два-три провести в любимом Париже, обедать в лучших ресторанах, а вечера проводить в театрах и дорогих кафе, — на все это требовались такие деньги, каких Кочеты дать не могли. Пришлось влезать в долги... Когда ему было уже под семьдесят, оказалось, что жить дальше как птице небесной больше не на что. Но дворянский гонор не позволил ему продать родовое имение Сухотиных. Поэтому он подарил его своему богатому племяннику М.С. Сухотину, который очистил его от долгов и обязался пожизненно содержать своего беспутного дядю.

Нелегко было старику решиться на такой шаг, связанный с лишением свободы передвижения, которой он неумеренно пользовался всю свою жизнь. Но делать было нечего. М.С. Сухотин, новосильский предводитель дворянства, поселив дядю в Кочетах, исхлопотал ему место земского начальника.

После совершенно праздной жизни приходилось исполнять какие-то обязанности. Это было для А. М. очень трудно. Законов он не знал и питал к ним органическое отвращение. Поэтому судил по совести, а если нужно было писать решения, то на то у него имелся дельный письмоводитель.

Крестьяне-подсудимые его любили за справедливость и называли — "наш барин". Нужно сознаться, что "наш барин" позволял себе иногда в судебных заседаниях совершенно недопустимые выходки, особенно когда подсудимый обвинялся в избиении женщины. Тогда, побагровев от негодования, он ударял кулаком

по судейскому столу и по-помещичьи распекал виновного: "Ах ты с. с., да как ты смеешь бить женщину, да я тебя упеку, уж ты, с. с., посидишь у меня..."

Тульский губернатор Шлиппе как-то получил одновременно два доноса на земского начальника Сухотина, один как будто исключавший другой: в одном говорилось, что земский начальник бьет подсудимых палкой, а в другом, что он занимается революционной пропагандой. И, как ни странно, оба доноса имели некоторые основания. Конечно, А. М. не бил подсудимых, но однажды, возмущенный поведением одного из них, он вскочил со своего места и бросился на него, угрожая палкой, с которой по старости не разлучался: "Вон отсюда, негодяй!" ... И толпившиеся во дворе крестьяне с удивлением увидели, как из камеры земского начальника вылетел мужик, а за ним сам земский с поднятой палкой... А "пропаганда" заключалась в том, что А. М., большой поклонник Герцена, сочинения которого имелись в его библиотеке, охотно давал читать их местной деревенской интеллигенции.

Александр Михайлович умер незадолго перед революцией 1905 года, оставив во мне ощущение перевернутой страницы яркого художественного произведения. Не знаю, удалось ли мне передать это ощущение будущим читателям моих воспоминаний, которые уже не встретят в своей жизни таких людей, созданных другой эпохой.

Если А.М.Сухотин, как тип, казался анахронизмом уже в период моего детства, в последней четверти XIX века, и более соответствовал эпохе грибоедовской Москвы, то в еще большей степени это можно сказать о подруге детства моей матери, Надежде Александровне Мухиной, с образом которой неразрывно связаны мои воспоминания детства и юности.

Н.А.Мухина, так же, как и моя мать, принадлежала по рождению к московскому дворянству, но, по-видимому, более мелкопоместному, чем семьи Дьяковых, Толстых, Сухотиных и др., в кругу которых вращалась в детстве и юности моя мать. Типичным признаком ее более "низменного" происхождения был ее французский язык. Этим языком петербургские и московские аристократы, выросшие и воспитанные в начале и середине XIX века, владели в совершенстве. Между тем Н.А.Мухина, постоянно пересыпавшая свою речь французскими фразами, говорила по-французски вроде мадам де Курдюков.

Думаю, что семейство Мухиных считало за честь поддерживать дружеские отношения с семьей более высокопоставленных Дьяковых, и маленькая Наденька естественно смотрела несколько снизу вверх на свою подругу детства, тем более, что мать моя была несравненно выше ее по уму и образованию. И такое отношение между ними сохранилось у них на всю жизнь.

Надежда Александровна замуж не вышла. Жила она в Петербурге, недалеко от нас, и часто у нас бывала. Звала мою мать — Alexandrine, а мать называла ее — Наденька. Это уменьшительное имя так шло к этой старомодной старой деве, что и мы, дети, привыкли называть ее — "Наденька Мухина".

О наивности Наденьки ходило много анекдотов. Помню рассказ моей матери о том, как Наденька, когда ей было уже более 25-ти лет, пришла к ней однажды чрезвычайно смущенная и сказала ей на своем русско-французском языке: "Знаешь, Alexandrine, мой cousin меня поцеловал в плечо. Как ты думаешь, я не сделаюсь от этого enceinte?" Моя мать ее успокоила, но я далеко не уверен, что и в шестьдесят лет познания Наденьки в этой области обогатились. Уже будучи студентом, я не раз слышал от нее такие наивности, которые мало чем отличались от повествования насчет плеча и cousin.

Жила Наденька Мухина много лет в одной и той же квартире, в Басковом переулке, в которой я бывал с матерью в раннем детстве, поедая там всевозможные вкусные вещи, бывал потом с обязательными визитами в гимназические и студенческие времена, заходил и позже, когда моей матери уже не было в живых. И всегда испытывал при этом ощущение антиквара-любителя, рассматривающего предметы древности, из которых главную художественную ценность имела сама хозяйка квартиры.

В общем мое знакомство с Наденькой Мухиной длилось свыше 30-ти лет. Помню ее с тех пор, как помню себя самого. Когда я родился, ей было около сорока, а дожила она до семидесяти с лишком. Закончились царствования Александра II и Александра III, произошла революция 1905-го года, а на квартире в Басковом переулке ничего не менялось. И Наденька была все та же. Всегда свежая, румяная, туго затянутая в корсет. У нее были две служанки — горничная и кухарка, ее бывшие крепостные, Марья Васильевна и Елена Васильевна, которые носили такие же огромные шиньоны фальшивых волос, как и их хозяйка, называя ее "наша барыня". В квартире все блестело чистотой и пахло нафталином от множества сундуков со старыми платьями. Мебель была старинная, на стенах — старые портреты, среди которых преобладали дагерротипы, предшественники фотографий, множество фарфоровых безделушек и статуэток на столах, полочках и этажерках... Все сохранялось в неизменном виде и каждый предмет имел свое место, на котором стоял или висел десятки лет.

Время лишь несколько изменило состав жителей этой квартиры. Наденька приютила у себя свою племянницу-сиротку, которая, окончив институт, стала с ней жить, постепенно превратившись в старую деву, тоже старомодную для своего времени и лишь менее наивную, чем ее тетушка. Умерла кухарка Елена Васильевна, и чистенькая старушка Марья Васильевна с огромным шиньоном осталась одной прислугой. Держать вторую уже не было средств,

ибо Наденька проживала постепенно свой унаследованный от предков капитал.

Во всем остальном ничего не изменилось, Наденьку продолжали посещать старые подруги ее молодости – "Lise Kireyevsky","ma cousine Konevalsky", "ma cousine Zagriagesky" и др., предававшиеся с ней воспоминаниям и сообщавшие ей сведения, кто на ком женился, кто разошелся с женой ("c'est horrible!") и др. Сама Наденька перестала думать о романах, которые заменились "обожанием" знаменитых певцов и музыкантов. Главными предметами ее поклонения были Антон Рубинштейн и итальянский певец Мазини. "Знаешь, mon cher, – говорила она, – я вчера была на концерте и сидела прямо против Рубинштейна, et il m'a salué, когда его вызывали". Или: "Мой душка Мазини, comme il chantait! Я даже ночь плохо спала. Ну как же его сравнить с каким-то Фигнером!"

В начале 90-х годов одновременно выступали в Петербурге два тенора: в русской опере пел Фигнер, а в итальянской – Мазини. И петербургские старые девы разделились на две партии – "фигнеристок" и "мазинисток". Наденька Мухина, добродушнейшее в мире существо, относившаяся с полным доброжелательством ко всем людям, все же не могла побороть своей антипатии к фигнеристкам, недооценивавшим таланта ее кумира Мазини, и говорила о них с большим негодованием.

Умерла эта милая старомодная старушка около 1910 года, – в то время я жил в провинции, – прожив все свое состояние почти до последней копейки. Ее племянницу, служившую компаньонкой в аристократических петербургских домах, я встречал кое-когда, и, когда ее видел, мне казалось, что я снова вдыхаю знакомый запах нафталина и вижу расставленные по своим местам фарфоровые безделушки.

Старенькая Марья Васильевна пережила свою барыню. Когда и где она умерла – мне неизвестно...

В течение всего моего детства и отрочества самым близким человеком нашей семьи была сестра моей матери Марья Алексеевна Ладыженская. В раннем моем детстве она жила в Москве, в Кудринском переулке, где у нее был собственный дом, точнее говоря, собственная усадьба.

Каждую весну, проездом в деревню, мы проводили у нее недели две. После зимнего заточения в петербургском каменном доме, в Москве я попадал в полудеревенскую обстановку. Я мог с двоюродным братом Гришей играть в прятки в саду, поросшем густыми кустами сирени и бузины, пускать змея на обширном дворе, забегать в конюшню, где так успокоительно фыркали две сытые лошади темно-караковой масти. До сих пор запах свежей земли мне всегда напоминает Кудринский переулок, очевидно потому, что там я впервые вдыхал этот совершенно незнакомый петербургскому ребенку живительный весенний запах.

Да и вся обстановка и образ жизни обитателей Кудринского переулка гораздо были ближе к деревне, тогда еще недавно освободившейся от крепостного ига.

В Петербурге у нас была вольнонаемная прислуга, а здесь, в Кудрине, еще сохранились старые дворовые, хотя и получавшие жалованье, но жившие в Кудринском дворе больше по старой привычке, чем по необходимости. Все это были скорее друзья, чем услужающие.

Главной персоной во дворе была бывшая дворовая моей тетки, вынянчившая ее старших детей, Лизавета Лактионовна. Болезнь сделала ее кривобокой, но ее маленькая кривая фигурка постоянно мелькала во дворе, проносясь из дома во флигель и обратно. Ведая всем домашним и дворовым хозяйством, она на ходу властным голосом отдавала приказания другим слугам, беспрекословно признававшим ее авторитет.

Сестра моей матери, Марья Алексеевна, моя тетя Маша, казалась мне старой женщиной, когда мы останавливались у нее в Кудринском переулке, хотя ей было менее пятидесяти лет. Говорили, что в юности она была красавицей. И не мудрено, что уже с шестнадцати лет к ней стали свататься женихи. В те времена браки по любви были величайшей редкостью. Так было и с моей тетей Машей.

В московском свете блистал тогда преображенский офицер, Сергей Михайлович Сухотин. Он был богат, для своего времени образован, и в возрасте достаточно солидном для супружеской жизни, к которой сам стремился. И вот мачеха, воспитавшая мою мать и ее двух сестер, решила выдать за него свою старшую падчерицу Машу.

Сухотин был приглашен бывать в доме, и в первый свой визит попал на домашний урок танцев. Красавица Маша танцевала при нем модные танцы того времени, и он сразу так ею пленился, что в следующий свой визит сделал предложение и получил согласие мачехи.

Маша стала Марьей Алексеевной Сухотиной, одной из самых красивых и обаятельных женщин Москвы.

В муже ей посчастливилось. Сергей Михайлович оказался почтенным и добрым человеком, нежно любил и опекал свою жену, которая была лет на двадцать моложе его, и гордился ее успехами в свете, где у нее появилось много поклонников. Она тоже привязалась к нему, но, выйдя замуж без любви, все же имела потребность в настоящем чувстве.

И вот, когда у них было уже трое детей, в Марью Алексеевну страстно влюбились одновременно два человека: один — мой дядя, морской офицер, князь А.В. Оболенский, а другой — студент московского университета, С.А. Ладыженский.

Последний стал героем романа, и вскоре добрый Сухотин, убедившись, что его молодая жена не может справиться с заполнившим ее чувством, предложил ей развод.

Марья Алексеевна обвенчалась с Ладыженским и поселилась с ним в Кудрине, а ее прежний муж жил неподалеку, в своем особняке в Денежном переулке и, хотя по светским понятиям это считалось "ridicule", часто бывал в доме своей прежней жены в качестве хорошего знакомого.

А другой поклонник Марьи Алексеевны, кн. Оболенский, уехал в кругосветное плавание на знаменитом фрегате "Паллада", вместе с Гончаровым.

Прошло несколько лет. Фрегат "Паллада" вернулся из плавания и привез моего дядю в неизлечимом недуге: из-за болезни спинного мозга он лишился ног и стал постепенно угасать. Он сознавал, что умирает, и имел одно лишь желание: перед смертью жить поблизости от глубоко любимой им женщины.

Марья Алексеевна не могла отказать ему в этом последнем желании и пригласила его поселиться во флигеле своей кудринской усадьбы.

Мечта несчастного больного осуществилась. Обожаемая им женщина навещала его каждый день, и он, сидя в кресле на колесах, в котором его выкатывали в кудринский сад, любовался ею, пока она читала ему вслух. Она присутствовала и при его смерти...

Еще прошло лет десять, и смерть унесла страстно любимого ею человека — С.А. Ладыженского, умершего во цвете лет.

С тех пор тетя Маша облеклась в черное полумонашеское одеяние, столь мне знакомое в моем детстве и юности, и вскоре со своим младшим сыном Гришей переселилась к нам, в Петербург, слившись с нашей семьей.

А старый Сухотин продолжал жить в Денежном переулке. Образ этого свеженького, бритого старичка, распространявшего вокруг себя запах одеколона, запомнился мне навсегда. Когда, проездом через Москву, моя мать меня водила к нему, он всегда возился со мной, балагурил и добродушно поддразнивал...

И еще прошли годы... Однажды тетя Маша, которой было уже под шестьдесят, гостила у своей дочери в Кудринском переулке. Ее первый муж, как и прежде, жил неподалеку, в Денежном. Он уже совсем состарился, почти впал в детство. Одиночество тяготило старика; он стал часто заходить к дочери, в Кудринский переулок, и длинными вечерами играл там в безик и раскладывал пасьянсы. Иногда его оставляли ночевать. В конце концов он совсем переселился в кудринский дом, где на этот раз и застала его его бывшая жена, к которой он сохранил привязанность на всю жизнь. И вышло так, что он точно ждал ее приезда, чтобы она присутствовала при его смерти...

Переселившись в Петербург, тетя Маша передала кудринскую усадьбу своей замужней дочери, Елизавете Сергеевне Фогт, которая вскоре овдовела и вышла второй раз замуж за московского вице-губернатора Л.А. Боратынского (сына поэта).

Каждую весну мы продолжали заезжать в Кудрино, направляясь в деревню. И долго в течение моего детства и юности кудринская усадьба хранила свой особый быт, — нечто от старой дореформенной Москвы, — столь отличный от нашего петербургского полуевропейского быта.

Постепенно богатая когда-то усадьба оскудела. Не только большой дом в саду, уже в моем детстве сдававшийся в наем, но флигель и даже часть дома, выходившего на улицу, в котором жила семья моей двоюродной сестры, заселились платными жильцами. Исчезли караковые лошади, полиняла бессменная обивка знакомой мебели в гостиной... И, несмотря на все это, Кудрино сохраняло старый облик моего детства. Даже старая кривобокая Лизавета Лактионовна продолжала, гремя ключами, распоряжаться во дворе. Только вместо нескольких слуг в ее распоряжении находилась одна горничная.

В Петербурге, где я постоянно жил, у нас не было "знакомых" извозчиков, а у кудринских жителей было несколько, считавших их "своими господами". И когда кто-нибудь ехал из Кудрина в город, то посылали на Кудринскую площадь горничную нанять не просто извозчика, а Ивана или Петра, и наказывали, что если сегодня Петр выехал на вороной — то Петра, а если на гнедой — то Ивана. И у меня, садившегося в родном городе на первого попавшегося извозчика, в Москве, где я юношей бывал даже не каждый год, был свой извозчик Яков, который, завидев меня издали, снимал шапку и, отвешивая низкий поклон, говорил: "Здравья желаем вашему сиятельству, давненько к нам не жаловали", а затем, нахлобучив шапку на затылок, небрежно добавлял: "Куда отвезти прикажете?" И я чувствовал, что он "мой", но в гораздо большей степени я был "его", ибо не сесть на него и не поехать без торга было бы с моей стороны нарушением какого-то его права, а моей обязанности, заключавшейся также в том, чтобы платить ему раза в три дороже нормы.

Кроме своих извозчиков были в Кудрине и "свои" нищие, которых прикармливали, одевали и снабжали копейками на проной. Имен этих нищих никто не знал, но каждый имел свое прозвище: одного, помню, звали "Болячка", другого — "Бородавка", третьего — "Сухорук" и т.д. Каждый имел свой день для появления на кудринском дворе, и в эти дни происходили такие разговоры:

— Лиза, принеси старые клетчатые штаны, что я отложила для Болячки.

— Зачем вы его балуете, Елизавета Сергеевна, он ведь их все равно пропьет!

— Что же делать, нельзя же, чтобы человек по морозу в таких штанах ходил, как у него, — одна дыра.

И клетчатые штаны появлялись в объятиях Болячки, который, конечно, находил, что водка, на них обмененная, является более действенным средством для согревания его хилого тела.

Весь Кудринский переулок состоял всего из нескольких домов. Два-три барских особняка, а ближе к Кудринской площади – извозчичий двор и питейное заведение – "распивочно и на вынос". Редко кто проходил или проезжал по Кудринскому переулку. Поэтому шум приближавшегося экипажа вызывал в кудринских обитателях живейший интерес: кто едет и к кому? К нам или к соседям? Спорили: "Вот я говорила, что не к нам" и т.д.

Иногда выходившие из питейного заведения пьяные затевали драку. Это тоже было событием в Кудринском переулке. Посылали узнать – из-за чего дерутся, волновались за судьбу избиваемого, иногда вызывали знакомого городового...

Москва разрасталась и застраивалась столичными многоэтажными домами, водопровод сменил ленивых водовозов, черпавших в моем детстве бадьями воду из Кудринского фонтана, менялась жизнь, менялись нравы старой Москвы. А Кудрино точно застыло... И всякий человек, долго проживший в Кудрине, будто уходил от общей жизни, покрываясь плесенью.

Моя тетка после смерти мужа никуда оттуда не выходила, а переселившись к нам, в Петербург, сохранила эти затворнические привычки. А когда хозяйкой кудринской усадьбы стала ее дочь, то эта прежде общительная, умная и образованная женщина внезапно тоже стала затворницей. Никто не мог ее заставить пойти или проехать по улицам Москвы. Зиму и лето она ходила в домашних ситцевых балахонах, кутая колени в знакомый нам всем ваточный ватерпруф с облезлой лиловой подкладкой. Так и прожила двадцать лет.

В теплые летние дни можно было видеть эту оригинальную вице-губернаторшу сидящей в переулке, у ворот своего дома, и поджидающей сыновей из гимназии или мужа со службы.

Муж ее, тоже культурный и умный человек, как и она, нигде почти, кроме службы, не бывал. Ходил в затрапезном, замусленном пиджачишке, а летом – в грязной чесунче и белой мятой фуражке. Вообще своим внешним видом больше походил на провинциального статистика, чем на столичного вице-губернатора. Такая внешность, замкнутый образ жизни и неосторожный выбор некоторых неблагонадежных знакомых помешали его дальнейшей карьере.

Кудринский дом представлял собой в это время какой-то Ноев ковчег. Кроме семьи хозяев, состоявшей из шести человек, в целом ряде комнат жили постояльцы, которые; благодаря необыкновенному благодушию моей двоюродной сестры, чувствовали себя как дома. Часто неделями и месяцами, кроме того, в Кудрине гостили родные и друзья, приезжавшие из провинции. Все эти люди приходили и уходили, обедали, распивали чаи и создавали невероятную сутолоку. А так как добродушная хозяйка плохо

следила за порядком, то грязь в доме развелась ужасающая. Клопы в нем так и кишели.

Зайдя как-то в комнату своих племянников, я застал их за оригинальным спортом. Они выковыривали из щелей клопов и пригвождали их к стене булавками. Оказалось, что этот вид охоты был обычным развлечением маленьких гимназистов.

Никогда не забуду, как однажды, когда я приехал в Кудрино, моя двоюродная сестра спросила меня: "На каком диване ты хочешь ночевать – на узком без клопов или на широком с клопами?" Такие вопросы могли задавать только в Кудрине... Но замечательно, что нашелся другой ночлежник, который тут же заявил, что предпочитает широкий диван с клопами...

Таково было Кудрино во время своего декаданса, когда я посещал его, уже будучи взрослым.

В начале девяностых годов умерла его хозяйка, Е.С. Боратынская, а вскоре за ней и ее муж. Наследниками усадьба была продана.

Незадолго перед войной 1914 года я был в Москве и зашел в Кудринский переулок. Место, на котором была расположена усадьба, было разрыто, и рабочие закладывали фундамент нового строящегося дома. Дом в саду и флигель были разрушены, а главный дом, столь знакомый мне по воспоминаниям детства и юности, стоял лишь наполовину разобранный. Точно ждал, чтобы я мог ему сказать последнее прости...

Но возвращаюсь к своему детству.

Останавливались мы в Кудрине обычно весной и осенью, на пути из Петербурга в деревню и обратно. Проводили мы лето в Смоленской губернии, в имении Ольхи, принадлежавшем моему дяде, смоленскому губернскому предводителю дворянства, князю Егору Васильевичу Оболенскому.

Эти поездки в деревню были одним из самых ярких впечатлений моего детства, и с нетерпением я ждал всегда окончания занятий в гимназии моей матери, которые задерживали нас в шумном и вонючем Петербурге.

Теперь, когда так упростились пути сообщения и так сократились потребности, когда, меняя место жительства, все свое скудное имущество умещаешь в один чемодан и переезжаешь налегке из одного государства в другое, странно вспоминать эти переезды в деревню, которые были не только для меня, но и для взрослых членов моей семьи большим и сложным событием. Укладка вещей во множество сундуков и чемоданов длилась несколько дней. Все волновались, суетились. Наконец, в условленный для отъезда день, надев через плечи дорожные сумочки (почему-то пассажиры I-го и II-го классов обязательно носили дорожные сумочки, даже мне подарили сумочку, с которой я не расставался в путешествиях), вся наша семья с моей гувернанткой, горничной и кухаркой отправлялась

в путь. Ехали немного меньше суток до Москвы, там отдыхали несколько дней у моей тетки М.А.Ладыженской, и, забрав ее и ее сына Гришу, двигались дальше.

От Москвы ехали ночь до Вязьмы, где утром пересаживались в поезд Сызрано-Вяземской дороги, доставлявший нас на нашу Мятлевскую станцию. Пересадка в Вязьме была самым волнительным моментом нашего путешествия. Пересчитывались все многочисленные чемоданы, корзины и тюки, сестры бегали высаживать из III-го класса наших слуг, не привыкших к путешествиям и неграмотных, и следили, чтобы кто-нибудь из них не влез в неподходящий поезд. Хотя ждать в Вязьме прибытия нового поезда нужно было около двух часов, но, заказав чай, мы торопились его пить, чтобы не опоздать. Так в сплошной сутолоке и суетне проходили эти два часа.

Уже сам будучи взрослым, я долго еще ощущал на железнодорожных пересадках беспричинную тревогу, сохранившуюся от детских переживаний на станции Вязьма.

Но вот наконец и наша Мятлевская станция. Из окна вагона я уже вижу большую дорожную коляску с тиковой полосатой обивкой, запряженную тройкой серых. Каждая лошадь этой тройки мне знакома. Я знаю все их достоинства и пороки, но особенно люблю старую, совсем белую пристяжку – мою верховую лошадь. На козлах – кучер Николай с рыжими усами и с бельмом на глазу. Он какой-то без лет, не то ему сорок, не то семьдесят. Угрюм и молчалив с людьми, но на козлах, взяв вожжи в руки и чмокнув губами, оживает и, следя за каждым движением лошадей, ровняет пристяжек, укоризненно или поощрительно беседуя с ними. А когда нужно брать гору, встает, натягивает вожжи и весело покрикивает:

Эх вы любки, голубки,
Головоступки,
Хвосты пестры...
С горки на горку,
Барин даст на водку...
Но, вы, любезныя-а-а!

Старые лошади не выдают его и послушно, одним махом взлетают на гору.

Мое место, конечно, рядом с Николаем на козлах. И если мы едем вместе с двоюродным братом Гришей, то меняемся, зорко следя за верстовыми столбами, чтобы соблюсти справедливость.

В коляске, на "выездных" лошадях, едут "господа", а сзади, в тучах пыли, на трех тарантасах, запряженных рабочими лошадьми, – прислуга и вещи. От станции до Ольхов сорок верст. Покормив лошадей и выпив чаю на полпути, на постоялом дворе, где так увлекательно пахнет навозом и дегтем, едем дальше.

А за восемь верст перед Ольхами новое развлечение: река Угра и паром через нее. По деревянному настилу парома неожиданно приятно топают лошади и стучат колеса. После долгой езды под неумолчный звон колокольчика вдруг становится тихо-тихо. Уставшие лошади понурили головы и, раздувая ноздри, тщетно тянутся к воде через перекладину парома и, отгоняя слепней, бьют себя по животу ногами. Было заснувший колокольчик от этого лениво звякает и опять затихает... Пахнет сыростью, смолой и веревками...

– Отчаливай! – командует паромщик подручному... И кажется, что мы стоим на месте, а берег медленно отодвигается и придвигается противоположный...

Вот и дядя Егор в белом генеральском кителе и с такой же белой бородой, ожидающий нас, – на другой стороне Угры. Он приехал в знакомой мне, обитой коричневым сукном пролетке, на тройке вороных. Эта тройка вороных составляла предмет моего поклонения. Взмыленные пристяжки лихо кривили головы и смотрели вбок дикими косящими глазами, а коренник, стоя у крыльца, всегда храпел и рыл землю копытом. Увы, мне строго-настрого было запрещено не только на них кататься, но даже подходить в конюшне к их стойлам, и только дяде разрешалось брать меня в свою пролетку.

Не без колебаний мать отпускала меня, прося дядю ехать потише. Напрасная просьба! Стоило нам усесться в пролетку – и уже сразу тяжелая коляска с тройкой серых исчезала в клубах пыли, и мы неслись по знакомым местам, среди благоухающих полей, спугивая жаворонков, которые, взлетая, наполняли воздух звоном своих песен.

Вот и куща деревьев с торчащей из нее колокольней. Это наша усадьба. Пронесшись мимо приземистой белой церкви с зеленой крышей, мимо грязного пруда, в котором, визжа, плавают, подкидывая задами, несколько баб, миновав ряд служб, подъезжаем к крыльцу большого деревянного дома стиля ампир, желтого с белыми колоннами. На крыльце собралась приветствовать нас вся "дворня" (пятнадцать лет прошло с отмены крепостного права, а это слово еще в обиходе). Мужчины почтительно снимают шапки, женщины кланяются в пояс.

В комнатах знакомый запах приятной затхлости. В столовой накрыт стол, на котором кипит самовар и стоят большие кувшины с молоком, крынки с простоквашей и стопочки севрских тарелок с картинками из мифологии. У каждого из нас были свои любимые тарелки. На моей был изображен мужчина в римской тоге, указывающий перстом на виднеющееся вдали подобие Акрополя полуобнаженной женщине, подталкиваемой амурчиком с колчаном за спиной. Под картинкой надпись: "L'Amour et l'Hymene l'entrainent dans leur Hotel", которую я переводил так: "Амур и

Имен ведут ее в свою гостиницу", совершенно недоумевая, почему взрослые подымают меня на смех за такой точный перевод.

Три месяца в Ольхах проходили быстро, среди сплошных удовольствий. Все мне было занимательно: конюшня, где стояли "выездные" лошади, которых я всех знал по именам; табун рабочих лошадей, пасшийся на выгоне, с новыми рождающимися жеребятами, веселыми и грациозными; возвращающееся вечером домой стадо коров со страшным быком, от свирепых глаз которого и грозного мычания душа уходила в пятки. Особенно увлекался я птичьим двором, где к нашему приезду вылуплялись цыплята, утята и индюшата. Старая крепостная, птичница Авдотья, встречала меня там поясным поклоном, и, хотя величала меня, как "барчука", по имени и отчеству, но относилась ко мне покровительственно, а ее племянница, моя сверстница Степуха, брала меня за руку, и мы отправлялись пасти стадо индюшек.

А сад, со стриженными по-версальски шпалерами деревьев, окопанный рвом, в котором мы с Гришей и с деревенскими ребятами мастерили среди зарослей индейские вигвамы и, украсив себя индюшачьими перьями, чувствовали себя подлинными могиканами, делаварами или гуронами (Купер был в это время моим любимым писателем)! А оранжерея с абрикосами и огромными персиками "венусами" и грунтовой сарай со "шпанскими" вишнями! А собирание грибов в лесу! – Нас, детей, одних в лес не пускали из-за волков, водившихся там во множестве, о чем свидетельствовали разбросанные по всему лесу кости животных. И жутко было углубляться в лес, и интересно.

Трудно перечислить бесконечный ряд удовольствий, которые давала мне деревня. Пожалуй, самыми большими из них были верховая езда под наблюдением швейцарца-сыровара Христиана Христиановича и катанье в маленьком шарабанчике на самой смирной лошади, которой мне разрешалось править.

Я не припомню случая, чтобы кто-нибудь из помещиков того времени гулял пешком за пределами усадьбы. Чтобы отправиться за грибами или к соседям помещикам, за 1-2 версты, нам, молодежи, запрягали тарантасик в одну лошадь, а если ехали мать или дядя, то подавалась пролетка в пару, с пристяжкой, а кучер Николай надевал кучерской армяк и шапку с павлиньими перьями.

Очень любил я ездить за спиной дяди на беговых дрожках наблюдать за сельскохозяйственными работами. Особенно весело было на сенокосе. Тогда не только мы, дети, но и взрослые, привыкшие к помещичьей праздной жизни, так не гармонировавшей с трудовой жизнью крестьян, не представляли себе подготовлявшегося грозного социального конфликта. Мне казалось, что наполнявшая меня радость деревенского житья испытывается и крестьянами, весело меня приветствовавшими и певшими хоровые песни в перерывы между косьбой. Одну из них, которую потом мне никогда не

приходилось слышать, я помню до сих пор и не могу удержаться, чтобы не увековечить ее здесь, в своих воспоминаниях. Вот она:

Над серебряной рекой,
На златом песочке
Долго девы молодой
Я искал следочки.

Но следочков не нашел,
Будто не бывало...
Я увидел вдалеке –
Речка всколыхнулась,

И услышал в высоке –
Колкол раздается.
Быстро сел я на коня,
Полетел стрелою,
К Божьей церкви подъезжал,
Конь остановился.

В Божью церковь я вошел –
Там народ толпою.
Вижу – милую мою
Водят вкруг налоя.

Она, неверная моя,
На меня взглянула,
Залилась горькими слезами,
Ручками всплеснула.

Я ж к иконе пресвятой
Бросился с мольбою:
Боже, счастье ей пошли
И любовь святую.

В этой трогательной по содержанию песне любопытна ее форма: ритм соблюден везде, но рифмуются строфы лишь в начале и в конце ее. Вероятно, это объясняется тем, что она изменялась при передаче из уст в уста неграмотными людьми.

У дяди служил приказчиком красивый мужик с окладистой черной бородой и хитрыми карими глазками. Дядя звал его Ильей, а мы – Ильей Григорьевым. На "ич" мужиков величать не полагалось. Не уменьшительными именами, без отчеств, звали только солидных, степенных мужиков, а молодых и даже старых, но пьяниц и бездельников, продолжали, по обычаю крепостных времен, именовать Ваньками, Яшками, Митьками и т.п. Меня уже тогда коробило такое презрительное отношение к людям, тем более, что в Петербурге в нашей семье прислуге говорили "вы", а солидную, хотя и неграмотную горничную, которую моя мать по

старой привычке называла Машей, мои сестры и я звали Марьей Васильевной.

По вечерам Илья Григорьев приходил к дяде с докладами по имению. Я не любил этих докладов, так как они часто сопровождались бурными сценами: дядя кричал на приказчика, который систематически его обворовывал, грозил прогнать со службы или отдать под суд. Но Илья, всегда спокойный и невозмутимый, только говорил — "слушаю-с", или — "как угодно вашему сиятельству". В конце концов все кончалось благополучно: обозванный вором и мошенником, Илья получал деньги по своим дутым счетам, а распоряжения, отдававшиеся на следующий день, исполнялись постольку, поскольку они входили в планы приказчика.

По воскресеньям я надевал вместо будничной красной кумачовой рубашки — белую, вышитую петухами, и отправлялся в церковь, где носил свечу на малом и большом входах. Церковь была всегда битком набита народом — степенными мужиками с лоснящимися от масла затылками и пестрыми бабами и девками. А впереди, на вышитых розами коврах, стояли наши домашние и соседи-помещики. Дядя забирался на клирос и отчаянно фальшивым голосом подтягивал дьячку. Служил отец Василий. Немудреный это был батюшка, с красными слезящимися глазами и с хроническим насморком, который он унимал, утирая нос, издававший при этом хлюпающий звук, ладонью, снизу вверх. А флюс, как нарочно вздувавшийся у него к воскресенью, подвязывал розовым платком. Служил он гнусавой скороговоркой, а в конце обедни говорил совершенно невразумительные проповеди.

У отца Василия мне в первый раз в жизни пришлось исповедоваться. Помню, с каким волнением я готовился к этой первой исповеди, тщательно припоминая все свои маленькие грехи. И какое я испытал разочарование, когда отец Василий, спросив меня, молюсь ли я утром и вечером и порекомендовав всегда слушаться маму и дядю, накрыл меня эпитрахилью и, пробормотав что-то невнятное, отпустил! Я глубоко был оскорблен несерьезностью исповеди, и уже тогда в моем восьмилетнем сознании возник дух критики к обрядам православной религии.

После обедни соседи-помещики рассаживались по своим экипажам и въезжали в нашу усадьбу, находившуюся в сотне саженей от церкви. Там лошади распрягались и кормились овсом, а господа приглашались к обеду. Затем молодежь играла в крокет, а дядя, большой любитель "пульки", устраивал преферанс. В крокет я играл со страстью и обучил этой игре своих приятелей — деревенских ребят, с которыми вообще большую часть дня проводил неразлучно.

В крепостные времена к имению моего деда принадлежали две деревни: село Ольхи и сельцо Плоское. Крестьяне села Ольхи

отбывали барщину, а плосковские были на оброке. Разница недавнего прошлого этих двух деревень сказывалась как на общем их обличье, так и на характере их обитателей: ольховские крестьяне были бедны, вороваты и низкопоклонны, плосковские же жили зажиточно, считались честными и держали себя с достоинством. И как-то само собой выходило, что среди ольховских крестьян у моей матери и сестер были пациенты и пациентки, приходившие за лекарствами, у меня – товарищи игр, но семей знакомых у нас не было. А в Плоском у нас были знакомые крестьянские семьи и мы их навещали, когда бывали там.

От плосковских крестьян мне приходилось слышать рассказы из времен нашествия Наполеона. Тогда ведь со времени 1812-го года прошло каких-нибудь 65 лет и в деревнях еще жили старики – живые свидетели этого страшного времени. Служивший у нас садовником древний старик Никифор скакал в 1812 году форейтором перед каретой, отвозившей моего деда в действующую армию. Были и другие старики, эпически рассказывавшие, как помнят, что мужики образовывали партизанские отряды и ходили "бить француза", а бабы ошпаривали отставших от своих частей французов, которых холод и голод заставляли искать прибежище в деревнях. Ведь отступление великой армии шло через наши места.

Неподалеку от Плоского было болото, носившее название "французского". По рассказам мужиков, в это болото свозили трупы убитых французов и топили там. Вечером всегда жутко было проезжать мимо французского болота, вокруг которого, казалось, бродят призраки этих людей, так страшно погибших вдали от родной земли.

Детское чувство жути связано в моей памяти еще с одним событием моей деревенской жизни. Однажды под вечер пришел к нам из деревни староста и посоветовал никому вечером из дома не выходить, так как бабы будут искать коровью смерть...

Этот обычай, очевидно весьма древнего языческого происхождения, сохранялся, насколько мне приходилось слышать, в глухих деревнях еще до недавнего времени. Тогда он был очень распространен в средней России и заключался в следующем: когда в округе появлялась какая-нибудь эпидемия на рогатом скоте, крестьяне на сходе принимали постановление – "опахать село от коровьей смерти". Постановление выносилось мужчинами, а приводилось в исполнение женщинами, и притом с соблюдением полной тайны, так что сами домохозяева, сделавшие постановление, не знали, кто из женщин будет его приводить в исполнение.

Женщины выбирали из своей среды трех вдов и девять девок, которые вечером, когда вся деревня уже спит, выходили из своих изб в одних рубашках и с распущенными волосами. Четыре из них впрягались в соху, а остальные шли впереди, распевая колдовские

песни. Процессия двигалась по улице, стуча дубинками во все жилые избы и спрашивая: "Здесь ли коровья смерть?" Получив отрицательный ответ, шли дальше и проводили сохой сплошную борозду через дороги, поля и межи. Всякий человек, встречавшийся на пути этой дикой процессии, кто бы он ни был, будь то отец одной из ее участниц, считался коровьей смертью, принявшей человеческий образ, и немилосердно избивался дубинками, иногда до смерти.

В этот вечер, хотя меня в обычное время отправили спать, я, конечно, долго не мог заснуть в ожидании зловещего стука в дверь. Было и любопытно, и страшно... Вдруг они решат, что коровья смерть спряталась в помещичьем доме?.. Что тогда?..

Вот из темноты ночи, через окно, послышались женские голоса: "Девять девок, три вдовы"... Это было не то пение, не то размеренно-певучая речь, вроде былинного сказа... Воображение рисовало Бабу-Ягу "на липовой ноге, на березовой клюке"... Дальнейших слов я не уловил, но услыхал отчетливо три сильных удара в дверь и резкий женский голос: "Коровья смерть здеся?" В ужасе я нырнул под подушку, стараясь укрыться от происходящей наяву страшной сказки, но сейчас же услышал успокоительный ответ горничной: "Нетути, проходите своей дорогой". "Девять девок, три вдовы"... запели удалявшиеся голоса, и я скоро заснул, как засыпают дети, перевернутые на другой бок после мучившего их кошмара.

На следующий день мы узнали, что вольнодумец-конюх захотел подшутить над искательницами коровьей смерти и на вопрос – "коровья смерть здеся?"– ответил утвердительно. Такое вольнодумство ему чуть не стоило жизни. Окно его горницы немедленно разлетелось вдребезги, а он сам должен был обратиться в позорное бегство от преследовавших его фурий, получив при этом несколько ударов дубинкой по спине. А за опушкой нашего сада, за которой начиналось поле, шла полоса помятой ржи с сошной бороздой посередине.

В Ольхах я полюбил русскую деревню. Вскоре после смерти дяди Ольхи были проданы, и в период моей гимназической и студенческой жизни я проводил каникулы на даче в Финляндии. Но любовь к русской деревне прочно закрепилась во мне, и думаю, что она в значительной степени в конечном счете повлияла на ту служебно-общественную карьеру, которую я впоследствии себе избрал.

В Петербурге, в период, предшествовавший моему поступлению в гимназию, в нашу семью, кроме матери, двух старших сестер и мужа одной из них, Е.С. Волкова, вошла также только что овдовевшая сестра моей матери, М.А. Ладыженская, со своим младшим сыном Гришей. Тетя Маша Ладыженская помогала матери в заведовании гимназией, а двоюродный брат Гриша был моим

товарищем по учению и играм. Курс первых классов гимназии мы проходили дома. Наши матери устроили для нас домашнюю школу, в которой вместе с нами училось 10 мальчиков, а преподавателями были лучшие педагоги гимназии, в числе которых учил нас и директор ее А.Я. Герд. О замечательных уроках Герда я уже писал выше. Уроки пения, танцев и рисования мы брали в гимназии вместе с девочками. В числе своих гимназических подруг, с которыми учился, вспоминаю Н.А. Герд, впоследствии ставшую женой П.Б. Струве, и А.В. Тыркову, с которой через много лет меня свела судьба в центральном комитете кадетской партии.

Период моего уже сознательного детства до поступления в гимназию совпадает с концом 70-х годов прошлого века. Поэтому я хорошо помню русско-турецкую войну и революционный террор народовольцев.

Не знаю почему, но события русско-турецкой войны воспринимались мною довольно поверхностно. Конечно, слова – Рущук, Силистрия, Плевна, Карс, Адрианополь казались мне какими-то особо почетными, связанными с представлением о воинских подвигах и славе русского оружия, имя Скобелева было окружено героическим ореолом. Когда я по вечерам в кругу своей семьи щипал корпию (заменявшую тогда марлю и вату) для раненых солдат, я к этому занятию относился с большим благоговением, так же как с благоговением разглядывал своего двоюродного брата Алексея Оболенского, отправлявшегося на войну и пришедшего к нам проститься в парадной военной форме. А когда у Нарвских ворот из квартиры знакомых я смотрел на вступление в Петербург победоносных войск, то зрелище это даже вдохновило мое поэтическое творчество. Но самый характер этого моего детского стихотворения указывает на то, что уже тогда, сквозь воинственные эмоции, я ощущал трагизм войны. Привожу его целиком:

Гадает старушка и ночи и дни,
Сыночка ее на войну увели.
Не знает она, что погиб он давно,
Что тело его уж песком занесло.
Сражался он храбро, и в честном бою
Сложил за Россию головку свою.
Но вот входят в город полки за полками,
Солдаты и кони обвиты венками,
Народ веселится, ликует, шумит...
Одна лишь старушка уныло сидит.
Рыдает старушка и ночи и дни, –
Сыночек ее не вернулся с войны.

Это стихотворение мой учитель, впоследствии известный переводчик русских поэтов, а тогда – студент Ф.Ф. Фидлер, тут же перевел на немецкий язык, к великой моей гордости, и листок

бумажки с этим переводом долго хранился у меня среди разных детских драгоценностей.

В деревне помню пленных турок. Я смотрел на них с трепетом и недоумением: во-первых, это были пленные, т.е. люди, как мне тогда казалось, непременно захваченные в рукопашной схватке, а следовательно – "герои", но, во-вторых, это были турки, страшные, кровавые турки, вырезывавшие целые селения мирных жителей, убивавшие женщин и детей... И я никак не мог представить себе этих добродушных оборванцев, объяснявшихся с нами жестами и полусловами, ни героями, ни злодеями. Рослые, красивые люди с симпатичными загорелыми лицами и большими задумчивыми глазами, они поставили меня впервые лицом к лицу с загадкой противоречий человеческой души, с загадкой, перед которой и под старость лет, после всего виденного и пережитого, я стою с тем же недоумением.

Но гораздо больше волновали меня более близкие события, связанные с революционным террором. Как я выше упоминал, революционеры не представлялись мне таинственными злодеями. Молодежь, так или иначе связанную с революционными кружками, я видел как за границей, в доме моей тетки-эмигрантки, так и в Петербурге, в семействе Костычевых, часто слышал споры на политические темы, и хотя авторитет моей матери, всегда осуждающей методы насилия, стоял для меня очень высоко, но я ощущал какую-то правду и во взглядах ее оппонентов, а самопожертвование революционеров не могло не увлекать моего детского воображения. Помню свое волнение по поводу террористических актов и связанных с ними арестов, происходивших в Петербурге. Я радовался оправданию Веры Засулич, бегству Кропоткина, исчезновению Кравчинского после убийства Мезенцева. Мне было жаль осужденных по процессу 193-х. И только убийство Александра II вызвало во мне другие эмоции.

Хорошо помню это воскресенье 1-го марта, которое я проводил в семье Гердов, играя в шашки с В.М.Гаршиным. Когда я возвращался домой, я был поражен происходившим на улицах смятением. Незнакомые люди подходили друг к другу и что-то возбужденно друг другу рассказывали. Проходя мимо какой-то кучки людей, я услышал, что государь убит... Дома уже об этом знали от пришедшего к нам обедать В.А.Арцимовича, сообщавшего последние сведения.

Страшные подробности сцены убийства – трупы конвойных, лошади, дергающиеся в предсмертных судорогах, и сам несчастный царь, лежащий на мостовой с ногами, превращенными в кровавую кашу – все это не могло не возмущать детскую душу. Однако, когда был вынесен смертный приговор участникам убийства 1-го марта и когда я услышал стук колес "позорной

колесницы", на которой везли мимо нашего дома на казнь пятерых осужденных, мои симпатии перешли вновь на их сторону.

"Я с удовольствием сам бы их повесил", – злобно сказал мне при этом мой двоюродный брат Гриша, раннее свое детство проведший в Москве и почерпнувший свои политические эмоции от консервативной родни.

"А я бы повесил тех, кто их вешает", – ответил я ему, побледнев от охватившего меня негодования.

В связи с таким настроением я помню чувство благоговения к Владимиру Соловьеву по поводу речи, которую он произнес на Высших женских курсах в Петербурге с протестом против смертной казни цареубийц.

Он был товарищем по университету моего двоюродного брата, М.С. Сухотина, и бывал у нас иногда, когда приезжал в Петербург. На этот раз сестра, слушавшая его речь на курсах, прямо оттуда привезла его к нам. Помню, как моя мать прослезилась от волнения, когда появился у нас в гостиной этот замечательный человек с лицом пророка, которого я тогда впервые увидал.

О том, как тревога, охватившая русское общество в связи с систематическими покушениями на жизнь Александра II, переживалась детьми, свидетельствует следующий запомнившийся мне эпизод.

Не помню точно, когда именно, по Петербургу распространился слух о подготовлявшейся "Варфоломеевской ночи". Вероятно, слух этот был связан с возникновением так называемой "священной дружины", которой приписывался план организации массового убийства революционеров.

Обрывки соответствующих разговоров взрослых между собой доходили до детей и преломлялись в их детском воображении.

Мы с Гришей еще не учили истории и не знали, что такое Варфоломеевская ночь. Но самое это название казалось нам таинственным и страшным. Я просто таил в себе этот страх, но Гриша, обладая большим воображением, решил определенно, что какие-то убийцы будут врываться в дома и убивать спящих. Он заявил мне, что "живым не сдастся", и в течение нескольких дней подряд, ложась спать, вытаскивал свою коллекцию перочинных ножей, открывал их и раскладывал на стуле возле кровати.

Глава 3

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ГОДЫ (1881–1887)

Поступление в гимназию. Гимназия Бычкова и ее преподаватели. Гимназисты великовозрастные и юные, развращенные и добродетельные. Уличные бои. Новый директор Яков Григорьевич Гуревич. И. Ф. Анненский. Кружок моих близких товарищей. Интересы кружка. Мои учебные занятия. Образовательный уровень гимназистов. Религиозные сомнения. Окончание гимназии.

Когда мне минуло 11 лет, а Грише 12 с половиной, наши матери решили отдать нас в среднее учебное заведение. По этому поводу между ними шли долгие споры. Моя мать с ненавистью относилась к тогдашней постановке классического образования в России и хотела отдать меня в третью военную гимназию, славившуюся своим педагогическим составом (тогда еще существовали созданные Милютиным военные гимназии, вскоре вновь преобразованные в закрытые кадетские корпуса). Тетя Маша горячо ей возражала. Она непременно хотела, чтобы сын ее получил университетское образование, и доводы моей матери о том, что, окончив военную гимназию, мы сможем сдать экзамен на аттестат зрелости, ее не убеждали. В этом споре мы с Гришей были в оппозиции каждый своей матери. Он мечтал быть военным, а я стремился попасть в университет. Наконец моя мать, когда пошли слухи о реорганизации военных гимназий, уступила. Но отдали нас не в казенную гимназию, а в частную гимназию Бычкова, где преподавание древних языков велось в несколько смягченных формах.

Преподавательский состав в гимназии Бычкова был значительно лучше, чем в казенных гимназиях, и отношение к ученикам было менее формальное. Блестящим преподавателем математики был сам Бычков, автор самого распространенного задачника по алгебре. Вообще преподавание математики было поставлено отлично. Другие два математика, Билибин и Вульф, были тоже превосходными учителями, а уроки учителя физики Гольдштейна были прямо увлекательны. По другим предметам были у нас и хорошие, и плохие учителя, среди них довольно много молодых – Е.Ф. Шмурло (недавно скончавшийся в Праге историк), И.Ф. Анненский (впоследствии известный поэт) и др., – еще не заросших мхом рутины.

В особенности хорошо велось преподавание в младших классах, где было мало учеников. Так, в третьем классе, куда я поступил, нас было всего 16, а в четвертом — 11. Между тем в казенных гимназиях в классах бывало по 40 человек, что очень затрудняло преподавание. Малочисленность классов чрезвычайно сближала между собою учеников. В четвертом классе мы все хорошо познакомились друг с другом не только в стенах гимназии, но по субботам и воскресеньям часто ходили друг к другу в гости. Это близкое знакомство с товарищами младших классов сохранялось у меня не только в течение всей гимназической и университетской жизни, но и значительно позже. Теперь большинство из них умерло, трое живут в советской России, но с одним, А.Н. Потресовым, я продолжал в Париже свое 52-летнее знакомство и дружбу вплоть до его смерти.

Наша детская сплоченность предохранила нас от разлагающего влияния школьных товарищей, которые поступали в средние и старшие классы гимназии. Это были по преимуществу великовозрастные гимназисты, исключенные из других учебных заведений за неспособность, лень или дурное поведение.

Дисциплина в гимназии Бычкова была довольно слабая. Не имели мы и форменной одежды. Это облегчало гимназистам старших классов кутежи и посещения всевозможных "злачных мест". Мы, младшие гимназисты, тоже пользовались своей "штатной" внешностью. Гимназия Бычкова помещалась в собственном доме, на углу Лиговки и Бассейной улицы. В те времена эта часть города была малозаселенной. Улицы и переулки, окружавшие гимназию, были застроены маленькими деревянными домиками; прохожих и проезжих там было мало, и дворники почти не счищали с них снега. Эти тихие переулки и были использованы нами для игр и состязаний. После уроков мы отправлялись туда и устраивали форменные сражения: дрались снежками, кулаками, ремнями. Бывало, что участники этих боев возвращались домой с "фонарями" на скулах и кровоточащими носами. Помню, как в третьем классе мы по необъяснимой для меня причине возненавидели двух великовозрастных товарищей. Они, конечно, вступили между собою в союз и объявили нам войну. Темперамент у них был боевой, а мускулы значительно крепче, чем у всей прочей мелюзги. Тем не менее принять открытый бой со всем классом они не решались, а, выходя из гимназии, скрывались в переулках и за каким-нибудь углом выжидали удобного случая выместить свою злобу на шедших в одиночку или небольшой группой товарищах. Страшновато поэтому нам было возвращаться домой, но казалось унизительным менять свой маршрут из-за грозившей нам опасности. Поэтому с бьющимися сердцами и стараясь держаться кучками, мы все же шли опасными переулками и принимали бой, кончавшийся, если нас было много, блестящей победой и бегством коварных врагов.

К директору Бычкову мы, гимназисты, относились с огромным уважением. Уроки его были необыкновенно талантливы и увлекательны, а кроме того он отличался каким-то особым педагогическим тактом: он никогда не повышал голоса, но достаточно было его прямой, строгой фигуре появиться в рекреационном зале, чтобы немедленно прекратились в ней неистовый гомон и драки. Ибо он умел внушить нам к себе не только любовь и уважение, но и страх.

Когда я был в 5-ом классе, гимназию купил Г. Я. Гуревич и стал ее директором. Это был почтенный и добрейший человек, прекрасный преподаватель истории, но ни уважения, ни страха внушить нам не смог.

Тем не менее ему удалось несколько дисциплинировать гимназию. Он завел форму установленного образца, стал исключать из гимназии наиболее кутящих и развращенных гимназистов и несколько повысил учебные требования.

При Гуревиче, как и при Бычкове, преподавательский состав гимназии был в общем хороший, но были и исключения, как например, наш учитель словесности, заставлявший нас подробно изучать Домострой и Моление Даниила Заточника, но доведший курс истории литературы только до Пушкина. Весь период русской литературы после тридцатых годов так и остался нами не пройденным.

Чтобы несколько усилить, в соответствии с требованиями министерства, запущенное при Бычкове преподавание древних языков, Гуревич пригласил новых преподавателей.

О своем учителе греческого языка, И.Ф. Анненском, я уже упоминал. Он вел наш класс в течение всего гимназического курса, и я с любовью о нем вспоминаю. По мягкости своего характера, он не мог нас заставить заниматься как следует, и мы кончали гимназию с очень слабыми знаниями греческого языка. Через несколько лет после окончания мною гимназии, когда на Парнасе русской поэзии внезапно появился новый поэт, утонченный эстет Иннокентий Анненский, начавший печататься впервые в сорокалетнем возрасте, мне трудно было представить себе, что это тот самый бледнолицый блондин с козлиной бородкой и задумчивыми глазами, наш милый "Инокеша", как мы его называли, которого, не приготовив урока, мы "заводили", спрашивая о происхождении разных слов. Страстный филолог и знаток сравнительного языкознания, Анненский всегда попадался на ловко закинутую хитрыми мальчишками удочку и подолгу объяснял нам санскритские корни. На доске появлялись столбцы этих корней – разные "бха", "рха", "рхи" и т.д., а мы, в ожидании звонка, смотрели на часы, изредка задавая ему новые вопросы, чтобы поддержать "завод".

Когда праздновался какой-то юбилей нашего директора, Анненский принес нам для произнесения на чествовании написанное

им от лица учеников стихотворение. Возможно, что эти довольно банальные стихи были первым творением известного поэта. Помню их начало:

Мы собрались тесной гурьбой
И на праздник веселый пришли.
Видишь, книг у нас нету с собой, –
Мы цветов для тебя принесли.

Как я выше упоминал, с третьего класса я попал в тесный кружок одноклассников, близкое знакомство с которыми у меня продолжалось в течение всего учебного периода. Некоторые из них стали впоследствии людьми заметными. Например, А.Н.Потресов – один из вождей русских социал-демократов, К.А.Красусский – профессор химии, Я.Я.Гуревич – сын нашего директора, занявший потом место отца, известный педагог, Д.Е.Жуковский – издатель философских книг, Г.М.Григорьев – самый популярный из преподавателей физики в петербургских гимназиях. Последний вошел в наш кружок позже других, поступив лишь в седьмой класс гимназии.

По субботам и воскресеньям мы часто бывали друг у друга, устраивали совместные игры, чтение русских классиков, а то и любительские спектакли. Разговаривали о гимназических делах, о каникулярной жизни, о прочитанных книжках, иногда философствовали. Но, в отличие от большинства гимназистов, наших сверстников, никогда не сквернословили и не вели скабрезных разговоров о женщинах. Не знаю, природная ли стыдливость, или внушенная домашним воспитанием порядочность мешала нам говорить друг с другом о "похабной" стороне жизни, но она была по молчаливому соглашению совершенно устранена из нашего товарищеского общения.

Само собою разумеется, что каждый из нас не мог не интересоваться так называемыми "вопросами пола", в особенности в переходном к возмужанию возрасте, но мы считали долгом свои размышления на эту тему скрывать друг от друга. Я, например, поступая в гимназию, не имел никакого понятия о существовании половой жизни. Гимназисты очень любят "просвещать" таких невинных мальчиков, а меня так никто и не "просветил". Первоначальное понимание половых отношений я получил из наблюдений над животными.

В младших классах мы все более или менее добросовестно учились. В средних началась дифференциация на три категории: наиболее прилежные остались первыми учениками и затем окончили гимназию медальерами; более ленивые, но способные, учились лишь столько, сколько было нужно для переходов из класса в класс; наконец, третью категорию составили те, кто заводил дружбу со "шпаной" нашего класса и вступал на дорогу кутежей и разврата. Эти совсем забрасывали учебу, оставались в классе на

второй год и выбывали из нашего дружного кружка. В числе последних был мой двоюродный брат Гриша Ладыженский, тот, которого его мать так страстно стремилась довести до университета. Был хорошим мальчиком, умным, способным. В младших классах считался одним из первых учеников. Потом стал полениваться, завел друзей из великовозрастных кутил, и в шестом классе уже ходил с ними во время большой перемены в какую-то молочную, куда они таскали водку, и возвращались часто в гимназию в нетрезвом виде. Затем пошли ночные кутежи, женщины... Так Гриша и не мог окончить классической гимназии. Еще при жизни матери он поступил в Николаевский кадетский корпус – заведение, в которое стекались кутящие юноши, не осилившие наук в других корпусах и гимназиях. После смерти матери Гриша, окончив корпус, поступил в Николаевское кавалерийское училище, но умудрился быть из него исключенным за то, что приехал на переэкзаменовку в совершенно пьяном виде. Денег у него было много от продажи имения, а потому, поступив вольноопределяющимся в стоящий в Москве Сумской драгунский полк, он предался кутежам уже без всякого удержу. Кончилось тем, что, прокутив в два года все свое состояние и женившись на цыганке из "Яра", он поступил сначала мелким чиновником в канцелярию московского генерал-губернатора, а затем получил место земского начальника одного из пригородов Москвы.

Тучный, обрюзгший, расстроивший здоровье беспутными кутежами, он скучно доживал свою жизнь, ежедневно играя в винт по маленькой, и рано умер.

Карьера другого отставшего от нас товарища, Г.Ф.Шмурло, была более благополучной. В гимназии он тоже закутил, хотя не в такой степени, как мой милейший Гриша, а потому, отстав от нас на год, все же окончил гимназический курс. Но далее, поступив благодаря недюжинным способностям в Горный институт, не мог учиться из-за увлечения биллиардом. Из-за "биллиардного запоя" он принужден был бросить Горный институт и чуть совсем не опустился на дно. Все же удержался, с опозданием кончил университет, женился и уехал в Оренбургскую губернию управлять своим имением и железоделательными заводами. Оказался он отличным администратором и скоро стал видным уральским промышленником. В качестве представителя торговли и промышленности Г.Ф. Шмурло был избран членом Государственного Совета и недавно умер в эмиграции.

Я принадлежал к средней из перечисленных выше трех категорий моих товарищей. С пятого класса стал лениться и как следует занимался одной лишь математикой, которую любил. Другим предметам учился спустя рукава, а по древним языкам в двух старших классах совсем перестал готовить уроки.

Среди нас были мальчики, с детства много читавшие, а в старших классах увлекавшиеся чтением серьезных и научных книг. Самым

начитанным был А.Н. Потресов. Сравнительно с ним я читал немного и притом почти исключительно беллетристику. К 12-ти годам прочел Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Тургенева, в 13-14 лет увлекался Толстым, а в 15-16 – Достоевским.

В частной гимназии Бычкова, а затем Гуревича, была довольно высокая плата за право учения; поэтому почти все мои товарищи принадлежали к зажиточным семьям петербургской интеллигенции и бюрократии. В этой среде дети в те времена воспитывались в религии. Большинство по воскресеньям ходило в церковь. Моя мать не любила церковности, но была глубоко религиозным человеком, и в моем домашнем воспитании религия занимала почетное место, хотя с раннего детства я усвоил от матери отрицательное отношение к обрядовой ее стороне. Во всяком случае, поступая в гимназию, мы все были верующими. Но уже с 4-го класса, т.е. с 12-13 лет, мы начали переживать период религиозных сомнений, связанный, для меня по крайней мере, с очень большими душевными переживаниями.

Помню, как много разговаривали мы на религиозные темы с моим товарищем Жуковским, старавшимся меня вернуть в лоно православной церкви. Увы, церковная казенщина действовала тогда на детские сердца отталкивающим образом, и вскоре сам пламенно-православный Жуковский, прочтя "Исповедь" и "В чем моя вера", ушел от православия в толстовство. С утратой религии перед сознанием вставали глубоко трагические вопросы о смысле и цели жизни, которые волновали и терзали меня в средних и старших классах гимназии. Чтение Толстого и в особенности Достоевского лишь еще сильнее растравляло больную мысль, погрязшую в "проклятых вопросах", тем более, что я не находил выхода из тупика сомнений ни в учении Толстого, ни в мистическом православии Достоевского. Часто я ставил себе вопрос о том, стоит ли жить, и, разрешая его отрицательно, собирался даже кончать жизнь самоубийством.

Пессимистическое направление моих мыслей, столь часто овладевающее юношами в период физического возмужания, не мешало мне увлекаться театром, а на праздниках Рождества и Пасхи – до упаду танцевать на семейных вечерах. Вообще танцевальные вечера были одним из наиболее увлекавших нас развлечений, когда мы были гимназистами. У нас дома детские балы устраивались два раза в год – в дни моего и Гришиного рождений. На эти балы мы приглашали наших товарищей, а дамами нашими были наши сверстницы – гимназистки из гимназии моей матери. Это были самые веселые балы. Кроме того, нас приглашали на танцевальные вечера знакомые. В старших классах гимназии, во время рождественских каникул, я танцевал иногда по несколько ночей подряд. Я очень любил легкие танцы: польку, вальс, мазурку и хорошо их танцевал, но кадрили, во время которых полагалось занимать дам разговорами, до сих пор вспоминаю с мучительным чувством. Я с

завистью смотрел на товарищей, весело болтавших со своими дамами и "ухаживавших" за ними. Сам я не мог придумать никакой темы для разговора и конфузливо молчал, с нетерпением ожидая момента, когда вновь заиграет музыка и мое глупое молчание прервется веселым танцем.

В 1887 году я благополучно окончил гимназию. Для поступления в университет, кроме аттестата об окончании классической гимназии, требовалось еще свидетельство об исповеди и причастии. Поэтому, хотя в 8-м классе гимназии я был неверующим, все же мне пришлось на Страстной неделе пойти исповедоваться в ближайшую церковь. Как я ни старался себя убедить, что это простая формальность, но, становясь в хвост исповедников, я чувствовал себя отвратительно от насилия над своей совестью.

Когда после часового ожидания я зашел за ширмы, за которыми исповедовал священник, он задал мне трафаретный вопрос: "Веруете ли в Бога?"

Как ответить на такой вопрос? Ложь всегда мне была противна, а лгать в обстановке исповеди просто было невозможно. С другой стороны, я боялся оскорбить священника резко отрицательным ответом. Поэтому робко ответил: "Сомневаюсь, батюшка"... Священник удивленно посмотрел на меня и, сделав строгое лицо, сказал: "Так зачем же вы пришли исповедоваться?" "Это требуется для поступления в университет", – честно ответил я.

Мой ответ привел священника в бешенство. "Вон отсюда!" – крикнул он и, когда я вышел из-за ширм, выскочил за мной и продолжал вопить: "Вон, вон, вон!"

С недоумением смотрела толпа исповедников на бледного юного гимназистика, быстро покидавшего церковь с едва сдерживаемыми слезами...

Придя домой, я рассказал обо всем случившемся матери, которая пришла в негодование от поведения священника и попросила моего дядю А.М. Жемчужникова пойти с ним объясниться.

Результаты объяснения оказались неожиданными: узнав от моего дяди, что я князь Оболенский, священник стал сконфуженно извиняться за свою выходку, а затем велел мне придти исповедоваться на следующее утро, предварительно прочитав какую-то молитву не то 10, не то 20 раз. А утром, встретив меня в алтаре, уже не задавал мне никаких вопросов, а, покрыв эпитрахилью, пробормотал молитву и отпустил.

Свидетельство об исповеди я получил, но получил также отвращение от нравов, обычных тогда для православной церкви. Ведь будь на моем месте гимназист, не обладающий звонкой фамилией и связями, двери университета были бы для него закрыты навсегда.

Конечно, большинство моих сверстников-гимназистов лгало на исповеди, чтобы попасть в высшее учебное заведение, и таким

образом церковь в союзе с государством превращала таинство в кощунство.

Несмотря на то, что гимназия Гуревича по составу преподавателей была значительно лучше казенных и что относились к нам менее формально, все же гимназическая учеба надоела нам до тошноты и день окончания гимназии вспоминаю как один из счастливейших дней моей жизни. Само собой разумеется, что к этому дню мы все приготовили себе штатские костюмы, в которые и облеклись, придя домой с последнего экзамена. А затем справляли окончание гимназии обедом в ресторане, пригласив на это торжество только одного из учителей — нашего любимца Иннокентия Анненского.

Старшая сестра, с которой я вдвоем оставался в это время в Петербурге, ждала моего возвращения с обеда в большом волнении. Боялась, что я напьюсь и товарищи поведут меня по злачным местам Петербурга. Она была на 14 лет старше меня и я ей казался еще мальчиком. Да я и действительно был семнадцатилетним мальчиком. Однако беспокоилась она напрасно. После обеда наша дружная компания не присоединилась к великовозрастным кутилам, до утра праздновавшим окончание гимназии. Мы, хотя и разгоряченные вином, благонравно сели в наемное ландо и, проехавшись по благоухавшим тополями островам, вернулись домой ранее полуночи.

Глава 4

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГОДЫ (1887–1891)

Университетский устав 1884 года. Университетский режим после покушения на Александра III в 1887 г. Выбор факультета. Лучшие профессора естественного факультета – Менделеев, Лесгафт – и мое увлечение ими. Студенческие беспорядки 1887 года и их влияние на формирование моих политических взглядов. Исключенные из университета мои товарищи, Жуковский и Сабашников, и их дальнейшая судьба. Мое участие в постановке "Царя Федора" А. Толстого в доме Волконских. Александринский театр, русская и итальянская оперы. Конец светской жизни и участие в университетской общественной жизни. Мода на естественные науки сменилась модой на политическую экономию. Нелегальная студенческая касса. Семинарий Свешникова. Кружки самообразования. Экзамены. Сближение с семьей Костычевых. Н.Н. Ге и передвижные выставки. Семья М.Е. Салтыкова-Щедрина. Семья В.К. Винберга, его биография и характеристика. Путешествия за границу и по России. Я поступаю на юридический факультет.

Я поступил в петербургский университет в самую глухую пору реакции царствования Александра III, в 1887 году. С 1884 года действовал новый университетский устав, отменивший университетскую автономию, заменивший ежегодные переходные экзамены государственными и облекший студентов в форменные сюртуки и мундиры военного покроя со шпагами. Для надзора за студентами была учреждена инспекция в составе инспектора и нескольких его помощников, из которых некоторые выполняли обязанности агентов политической полиции. В университетском дворе особое здание было отведено под карцеры для студентов, нарушивших правила установленной дисциплины.

За несколько месяцев до моего поступления в университет, около Аничкова дворца, в котором жил Александр III, были задержаны три студента с пакетами книг, внутри которых оказались бомбы, начиненные динамитом. Следствие раскрыло террористический заговор, главными участниками которого были студенты петербургского университета. Это неудавшееся покушение на цареубийство послужило причиной репрессий, предпринятых

правительством по отношению к высшим учебным заведениям, а в особенности по отношению к петербургскому университету. Более сотни студентов было исключено из университета по требованию департамента полиции. Популярный ректор Андреевский был уволен, а на его место назначен известный своей реакционностью профессор логики и психологии Владиславлев. Бездарный лектор, автор учебника, служившего темой бесконечных насмешек, этот грузный семинарист с мутными раскосыми глазами навыкате был назначен ректором со специальной целью искоренения крамолы. Профессора его презирали, студенты ненавидели. При появлении его в коридоре университета студенты отворачивались от него, чувствуя непреодолимое отвращение к его коренастой фигуре, бледному, одутловатому лицу и мутным, бесстрастным глазам. Он знал, что студенты его ненавидят, и старался без особой необходимости не проходить по длинному университетскому коридору. А если проходил по нему, то лишь под охраной суб-инспекторов и педелей (университетских сторожей).

Владиславлев закрыл объединявшее наиболее культурную часть студенчества научно-литературное общество, вообще запретил студентам образовывать какие бы то ни было научные общественные организации. Действовавшая ранее студенческая касса взаимопомощи была ликвидирована, а в помещении упраздненной студенческой читальни был устроен клозет, на стене которого долго красовалось двустишие, написанное неизвестным остряком:

> В дни Андреевского была у нас читальня,
> В дни Владиславлева сменила ее с . . . .

Страх перед каким бы то ни было местом, могущим служить для объединения студентов, был так велик, что даже закрыли буфет в здании университета и нам приходилось либо брать из дома бутерброды и жевать их в прихожей между шинелями, либо портить себе желудки в дешевых закусочных Васильевского острова.

Суровый университетский режим дал себя почувствовать в первый же день занятий: мой гимназический товарищ, Я.Я.Гуревич, не успел заказать себе форменного пальто. А день был дождливый. Не желая пропускать первых лекций, он поверх студенческого сюртука надел штатское пальто. В шинельной, когда мы расходились, его подозвал к себе суб-инспектор и безапелляционно сказал ему: "За смешение формы – на три дня в карцер". Так с карцера и началась университетская жизнь будущего директора гимназии.

Я поступил в университет 17-летним мальчиком, испытывая особое благоговейное чувство и к профессорам, и к "старым" студентам, и отчасти к самому себе. Сменив гимназическую рубашку на студенческий сюртук, я сразу почувствовал себя взрослым. Ни до поступления в университет, ни после я не переживал столь

глубокого психологического переворота. В моей личной и в окружавшей меня общественной жизни происходили, конечно, значительно более крупные события, оказывавшие влияние на мою психику. Но все же личность моя эволюционировала медленно и постепенно. Между тем окончание гимназии и поступление в университет ощущалось мною как внутренний революционный переворот с внезапным переходом от неполноправного состояния к самостоятельной свободной жизни. Это ощущение происшедшего в сознании переворота давало радость и счастье, по сравнению с которыми казались ничтожными мелкие жизненные неудачи и неприятности. Так же, вероятно, чувствовали себя и мои гимназические товарищи.

Из 22-х моих гимназических товарищей, вместе со мной окончивших гимназию, один поступил по чисто карьерным соображениям в императорский лицей, один, с детских лет обнаруживший исключительные математические способности – на математический факультет, а 8 – на естественный. Это были те две группы гимназистов, которые я характеризовал в предыдущей главе. На юридический факультет поступили все худшие ученики, лентяи, кутилы, большинство которых не обнаруживало никаких умственных интересов. На естественный факультет пошли лучшие ученики и вся та более интеллигентная часть нашего класса, которая входила в состав кружка моих ближайших товарищей. Это "бытовое" разделение между юристами и естественниками объяснялось тем, что юридический факультет считался самым легким. Можно было целый год ничего не делать, а весной засесть за учебники и, при средних способностях, сдать удовлетворительно зачеты и экзамены. Кроме того, этот факультет более других давал нужные познания для административной и судебной карьеры. Поэтому на него поступали все молодые люди, не имеющие определенных научных интересов. Избиравшие этот факультет по склонности к юридическим наукам составляли исключение.

Я бы не сказал, что и для большинства моих товарищей, поступивших на естественный факультет, выбор специальности был вполне сознательным. В этом мы убедились впоследствии, когда обнаружилось, что только двое из нас использовали в жизни свои познания в естественных науках. Остальные шесть работали на поприщах, совершенно с ними не связанных.

Чем же объяснить нашу тягу к естествознанию по окончании гимназии?

В гимназии мы естественных наук совсем не проходили, если не считать физики. Правда, я еще сохранял воспоминание об интересных уроках А.Я. Герда в гимназические времена. Физикой, которую преподавал нам талантливый М.Ю. Гольдштейн, я тоже увлекался. В восьмом классе прочел без особого увлечения "Происхождение видов" Дарвина. И этим ограничивалось мое знакомство

с естественными науками. Но именно наша неосведомленность в естественных науках выдвигала их на первое место среди других наук, набивших нам оскомину гимназическим курсом. Кроме того, мода на естественные науки среди молодежи, причислявшей себя к интеллигенции, еще не сменилась модой на политическую экономию. Расставшись с религией еще в младших и средних классах гимназии, мы считали себя матерьялистами и чувствовали потребность в научном обосновании наших материалистических взглядов, главную опору которых мы искали в естественных науках. Ведь мы принадлежали к последнему поколению русской молодежи, которое жило еще идеологическими традициями шестидесятых годов.

В те времена философский радикализм базировался на естественных науках и был тесно связан с радикализмом политическим, а потому естественные и медицинские факультеты университетов заполнялись преимущественно "левыми" студентами в отличие от юридического факультета, в котором преобладали "правые". Правда, в гимназии мы политикой не занимались просто потому, что еще не считали себя взрослыми. В этом отношении столичные гимназисты отличались от провинциальных, которые уже в средних классах попадали в положение взрослых — одни заводили романы с гимназистками, другие принимали участие в революционных кружках, третьи занимались и тем, и другим. В столицах, как на поприще романов, так и на стезе революции, подвизались студенты, а мы, гимназисты, себя чувствовали мальчиками, т.е. тем, чем и были в действительности. Тем не менее, левые настроения мы впитывали в себя не столько из чтения, сколько непосредственно из воздуха той среды, в которой жили и воспитывались. И, конечно, желание сопричислить себя к левому студенчеству играло немалую роль в выборе нами естественного факультета.

На естественном факультете состав профессоров был в общем прекрасный. Но с наибольшим увлечением мы слушали Д.И.Менделеева и П.Ф.Лесгафта.

Менделеев, крупнейший ученый с мировым именем, был вместе с тем изумительным лектором. По установившейся традиции, он ежегодно посвящал первую свою лекцию общим вопросам просвещения и науки, и слушать эту двухчасовую лекцию собирались студенты всех курсов и всех факультетов. В год моего поступления он избрал темой критику классического образования. Можно себе представить, какое огромное впечатление произвела эта лекция на нас, только что окончивших классические гимназии и еще носивших в себе обиды от двоек и единиц за ненавистные "экстемпорале" (письменные переводы с русского на древние языки).

Вступительные лекции, впрочем, не характерны для Менделеева. Его исключительный лекторский талант развертывался во всю свою

мощь в каждой обычной лекции. Говорил он с внешней стороны из рук вон плохо, точно рожал в тяжелых усилиях каждое слово. Не находя подходящего выражения, рычал и мычал, смещая подлежащие и сказуемые, дополнения и определения с их насиженных мест и группируя их в какие-то причудливые комбинации. И все-таки каждая его лекция звучала какой-то вещей поэзией науки, совершенно зачаровывая слушателей. Помню, как на одной из лекций о водороде и азоте мой товарищ Красусский (будущий профессор химии) прослезился от обуявшего его вдохновения.

Менделеев не любил, как некоторые другие профессора химии, объяснять подробности химических реакций и технику устройства разных приборов. "Ну, видите, – говорил он, – тут трубка, винтик, крантик (кран всегда называл крантиком), тут течет, там вытекает, и прочее. Об этом вы прочтете в учебнике. А важно следующее"... И он начинал излагать принцип и теорию происходившей реакции.

А больше всего мы любили лекции, на которых, окончив изложение какой-либо теории, он вдруг начинал перед нами раскрывать горизонты будущих научных достижений: "А может быть когда-нибудь наука покажет человечеству", – отчеканивая каждое слово, с тяжелым сибирским оканьем, говорил он... и бросал перед нами какую-нибудь из своих научных фантазий, увлекательных и красивых, которые мы часто сами после лекции дополняли и развивали в товарищеской компании. Ни один из профессоров, которых мне приходилось слушать, не умел поддерживать в своих слушателях такого увлечения отвлеченной наукой, как Д.И. Менделеев. Даже экзаменоваться у него было величайшим удовольствием, ибо он требовал не столько подробных знаний, сколько понимания предмета, и, при наличности такого понимания у экзаменующихся, экзамен превращался в интересную научную беседу.

Совсем в другом роде был кумир естественников первого курса П.Ф. Лесгафт.

С П.Ф. Лесгафтом я познакомился еще в 8 классе гимназии, т.к. мой товарищ Красусский жил у него на квартире вместе со своей сестрой Анной Адамовной, верной спутницей жизни П.Ф., поклонницей его научных теорий и ближайшей его помощницей, как в занятиях анатомией, так и в организации курсов созданной им так называемой "лесгафтовской гимнастики". Благодаря этому мне удалось ближе познакомиться с Лесгафтом, чем с другими моими профессорами, и я могу характеризовать его не только как профессора, но и как исключительного по оригинальности человека.

Рабочий день Лесгафта начинался в 7 часов утра двухчасовой лекцией на дому для лиц, не состоявших его университетскими слушателями. С 10 ч. утра до 4 ч. дня он проводил в университете, читая лекции и руководя занятиями в анатомическом кабинете.

Вечером, от 8 до 10 – снова лекции на дому. А в промежуток между этими преподавательскими занятиями – прием больных, ожидавших исцеления "лесгафтовской" гимнастикой.

По воскресеньям – также лекции на дому и прием больных. Нужно добавить, что медицинские советы он давал бесплатно и бесплатно же читал свои домашние лекции всем желающим, кого только могла вместить его небольшая квартира. Вообще вся жизнь его была "служением", и сил своих на это служение он не щадил. Помню такой случай: я был болен и недели две не посещал университета. Когда я поправился и пришел на лекцию Лесгафта, он отозвал меня в сторону и сказал: "Я заметил, В. А. (он звал своих учеников не по фамилиям, а по именам и отчествам, что очень льстило нашему восемнадцатилетнему самолюбию), что вы пропустили несколько моих лекций. Приходите в воскресенье и мы с вами догоним курс". И в ближайшее воскресенье он мне одному читал лекцию в течение двух-трех часов.

А когда петербургский университет был закрыт после осенних беспорядков 1887 года, он предложил мне и нескольким моим товарищам посещать его домашние лекции. И вот, чтобы лишний раз послушать своего любимого учителя, я вставал в 6 утра и, наскоро выпив оставленный мне с вечера чай, отправлялся по пустынным, освещенным фонарями улицам не проснувшегося еще Петербурга на квартиру Лесгафта, встречая на своем пути лишь дворников, сгребавших снег с тротуаров, да запоздалых кутил, нетвердыми шагами возвращавшихся домой.

А на квартире Лесгафта маленькая его гостиная, тускло освещенная керосиновой лампой, была уже полным-полна молодежи, преимущественно женской. После свежего морозного воздуха сразу попадал в спертую духоту натопленной комнаты с знакомым запахом смеси человеческого пота с миазмами от разложенных на столе анатомических препаратов – "свежих", т.е. просто гниющих частей трупа, и заспиртованных. Эти заспиртованные препараты пахли еще хуже "свежих", издавая какой-то специфический сладковатый запах не то яблок, не то шоколада, который был особенно противен. Но когда быстрым шагом, беззвучным и легким, благодаря ботинкам без каблуков, входил в нашу комнату Лесгафт в своем неизменном черном сюртуке с перекинутым через плечо грязным вонючим полотенцем, о которое он вытирал руки, копавшиеся в мертвечине, и когда начиналась его лекция, живая и страстная, – все эти чудовищные запахи как-то сразу точно выветривались и исчезали в ощущении благоговения перед открывающимися нам научными истинами (как нам казалось, самыми что ни на есть истинными и самыми что ни на есть научными). И приятно было себя чувствовать слившимся в благоговейном внимании со всей толпой девушек и юношей, раскрасневшихся от жары и следивших блестевшими увлечением глазами за каждым словом и жестом учителя.

П.Ф.Лесгафт преподавал нам анатомию человека. Два года подряд мы проходили полный курс, знали превосходно скелет, мышцы и пр., все, что полагается по программе. Но анатомия была лишь основой лекций Лесгафта, их канвой. На них он касался самых разнообразных научных вопросов, заставляя нас смотреть на мир через анатомические очки его собственной шлифовки. В курс его входили отделы педагогики, гигиены, теория наследственности, теория происхождения видов и т.д. Все это разнообразие тем объединялось одной общей философской идеей, точнее говоря – мировоззрением, которое он с неуклонностью фанатика проводил везде и во всем – на лекциях и в частной жизни, в главном и в мелочах.

Мировоззрение это было материалистическим, но носило в интерпретации и изложении Лесгафта особый характер, тесно связанный с личностью и специальностью его проповедника, а потому не без основания именовалось "учением Лесгафта". П.Ф.Лесгафт в сущности не был настоящим ученым. Он давно перестал заниматься научными исследованиями и не имел времени следить за научной мыслью. Да и не хотел следить. Ибо задачей его была проповедь истины, которую он когда-то постиг в период своих научных занятий и которую считал абсолютной, незыблемой и единственно научной. Всякую научную теорию, хотя бы она основывалась на неопровержимых фактах, если она находилась в противоречии с его учением, он безапелляционно отвергал. "Пустяки, пустяки, пустяки!" – восклицал он на лекциях о работах общепризнанных ученых, не укладывавшихся в его теоретические схемы.

Будучи, если можно так выразиться, максималистом материализма и представляя себе весь мир как комбинацию материи со слепыми силами природы, действующими по определенным физическим законам, он не допускал в природных явлениях ничего неясного и загадочного, не замечая, что самое существование закономерности материалистически необъяснимо.

Помню, как он объяснял нам строение костей, доказывая, что внутренняя конструкция вполне аналогична конструкции самых механически совершенных построек. И слушатели его естественно приходили к заключению о необыкновенной целесообразности устройства человеческого тела. Лесгафт, однако, делал обратный вывод. Он скрещивал на груди руки и, после небольшой паузы, торжественно произносил: "Вам скажут: смотрите, как мир целесообразно построен... Пустяки, пустяки, пустяки! Целесообразности, следовательно здесь, нет". "Следовательно здесь" было характерной присказкой, которую к месту и не к месту П.Ф. вставлял в свою речь через каждые несколько слов.

Понятие о целесообразности, связанное с представлением о высшем разуме, о Боге, вообще о чем-то необъяснимом, не мирилось с его материалистическими взглядами. Лесгафт был

горячим приверженцем теории эволюции Ламарка. Эта теория привлекала его своей простотой и кажущимся отсутствием чего-либо необъяснимого: организм и среда. Организм приспособляется к среде, органы, нужные для приспособления, усиленно функционируют и развиваются, а ненужные бездействуют и атрофируются. Все просто и ясно... Одной из основных заслуг Лесгафта перед русской наукой считается то, что он первый, в период господства дарвинизма, выдвинул забытую теорию Ламарка, в настоящее время прочно укоренившуюся в мировой науке. Но, борясь с дарвинизмом, этот страстный фанатик отрицал всякую научность за дарвиновскими теориями. Дарвинизм раздражал и возмущал его до глубины души тем, что оставлял в науке неясности вроде инстинкта, который мог быть истолкован в смысле чего-то направленного извне и целесообразного, а в самом сочетании слов "половой подбор" видел нечто планомерно-разумное. И мы, еще на гимназической скамье привыкшие благоговейно относиться к теории Дарвина, считая ее одной из скреп нашего материалистического мировоззрения, были крайне смущены, услышав от такого завзятого материалиста резкую критику этой теории, даже не критику, а грубое, малодоказательное зубоскальство: "Вам говорят – Дарвин, Дарвин. А что такое знаменитый Дарвин? – Модный, следовательно здесь, ученый. Половой подбор? – Белый голубь, следовательно здесь, льнет к белому голубю, а серый к серому. Чепуха, чепуха, чепуха! А борьба за существование? – В морду, следовательно здесь, дал и готово"... И, разделавшись такими неостроумными шутками с Дарвином, Лесгафт переходил к любовному изложению теории Ламарка.

С такой же злобой и раздражением П. Ф. относился ко всем теориям наследственности. В наследственности, в передаче тех или иных индивидуальных, а не видовых свойств от родителей к детям есть нечто механически необъяснимое. Этого он допустить не мог. В науке все ясно, на все есть ответы... По теории Лесгафта, которую он нам излагал, наследственности от отца не существует. Что касается индивидуальной наследственности от матери, то она существует лишь в меру влияния внешней среды на ее организм во время утробной жизни ребенка. Отсюда вытекали его педагогические взгляды. Раз не существует наследственности, то, если ребенок не искалечен алкоголизмом, сифилисом и пр. во время своей утробной жизни, все его дальнейшее развитие всецело зависит от внешней среды, в которой он растет и воспитывается. Поэтому, если подходить к воспитанию "научно", можно из каждого ребенка создать совершенного человека. Теория наследственности Лесгафта возбуждала даже в нас, студентах первого курса, большие сомнения. Мы все-таки кое-что читали и слышали о других теориях. Кроме того, она находилась в противоречии с целым рядом конкретных фактов. Но Лесгафта никакие научные доводы и очевидные факты

не могли выбить из его теоретических позиций. Он крепко и упорно стоял на своем. Ибо вся жизнь этого человека, от главного до мелочей, была построена и в деталях разработана на основании его горячей веры в систему истин, которые он считал единственно научными. Стоило вынуть какое-либо звено из этой цепи истин – и не стало бы Лесгафта, Лесгафта-профессора, проповедника своих идей, кумира зеленой молодежи, врача, педагога и просто всем нам знакомого милого Петра Францевича с его курчавой бородой, гимнастической походкой, проницательным взглядом, характерными словечками и ботинками без каблуков. Ибо вся работа его мысли, все формы общения с людьми, движения, характер пищи и одежды и всякие мелочи его обстановки и его жизни – все было построено, скроено, склеено из принципов, вытекавших из его стройного мировоззрения.

Фанатик своих взглядов, Лесгафт требовал от своих учеников полного подчинения своему идейному руководству не только в основах мировоззрения, но и в деталях, вплоть до жизненного поведения, на этом мировоззрении основанного. Он был более, чем учителем, напоминал скорее главу идейной секты. Достаточно было студенту выразить сомнение в его любимых теориях или начать их оспаривать, чтобы навсегда утратить его симпатию. "Краснобай, следовательно здесь", – презрительно говорил он о таком студенте и переставал им интересоваться.

Студенты первого курса, малосведущие, но поступившие в университет с потребностью упрочить свое мировоззрение, с жадностью слушали проповедь Лесгафта, сводившего всю сложную жизнь организмов к простейшим законам физики и механики. Все это нам казалось откровением. Но уже со второго курса эти упрощенные схемы переставали нас удовлетворять, и мы сбрасывали с себя идеологическую кабалу нашего учителя. Выбыл и я из строя его учеников после целого года большого увлечения им.

Вообще почти все мужчины, проведя год или два в изучении мира через лесгафтовские очки, уходили из-под его влияния. Верными и длительными последовательницами его оставались преимущественно женщины, которые думали его мыслями и говорили его словами. Таковы были "лесгафтички", преподававшие в 90-х годах прошлого века "лесгафтовскую гимнастику" в петербургских женских гимназиях. Последовательницы Лесгафта копировали его жесты и выражения, ходили без обязательных в то время корсетов, в простых блузках, и носили ботинки без каблуков. Большинство стригло волосы по-мужски, имело резкие манеры и вообще приобретало вид каких-то существ среднего пола, подобно "нигилисткам" шестидесятых годов. В отличие от них, однако, лесгафтички не курили, ибо Лесгафт сам не курил и с негодованием относился к курильщикам, отравлявшим свой организм никотином. Много было курьезного и даже смешного

в этом, порой казавшемся юродивым, старом профессоре. Но вспоминаю о нем с глубокой благодарностью и даже нежностью. Как бы ни были сомнительны его теории, но фанатизм его проповеди и огненность его изложения встряхивали мысль и заставляли ее работать.

Живо вспоминается мне анатомическая аудитория с полукругом поднимающихся в гору скамеек. В центре — маленький седой человек в замусоленном сюртуке бегает от стола к доске и обратно, хватает тарелку с вонючими препаратами и проносит ее по рядам слушателей. "Ткните пальцем, ткните пальцем!" — неистово кричит он, делая страшные глаза. И мы обязательно должны дотронуться до этой вонючей мерзости, иначе он не отстанет... Или вот он показывает нам черепные кости и рассказывает, что швы между ними зарастают рано у людей, не занимающихся умственным трудом. Вдруг хватает со стола череп с толстыми стенками и заросшими швами — трах, трах, трах — со всей силы ударяет им по столу, говоря: "Это череп женщины, которая много рожала и мало думала". А при описании внутренних органов — внезапное отступление о вреде корсетов с изображением в лицах целой сцены: "Приходит ко мне мамаша с дочкой и говорит (Лесгафт делает томное лицо) — больна, малокровие...

— Разденьтесь, — говорю девице. Смотрю — вся белая, мышцы, следовательно здесь, вэлые, дрэблые (Лесгафт "я" почему-то произносил, как "э") . Прощупываю печень: не печень, следовательно здесь, а длинная кишка. Ну, сразу понимаю в чем дело — корсет. С детства мамаша дочку засупонивает.

— Ну что, профессор?

— Снимите, сударыня, с вашей дочки этот безобразный предмет. Пусть ходит без корсета.

— Как же, господин профессор, ведь она у меня выезжает...

— Выезжает, следовательно здесь, выезжает, а вместо печени кишка".

И дальше следует филиппика о мамашах, превращающих своих детей в уродов.

Аудитория смеется, но Лесгафт резко прерывает свою речь, поднимает руку и перекрикивает смеющихся: "Тут ничего смешного нет, это в высшей степени серьезный факт".

Восстанавливая в памяти живые, полные огня лекции П.Ф., невольно переживаешь период своего чистого увлечения "лесгафтовской религией", которая, как ни была слаба в научном отношении, была превосходной школой для ума юной, рвущейся к свету души.

Менделеев и Лесгафт были кумирами студентов первого курса. Они были главными возбудителями научных интересов. Но, как на первом, так и на старших курсах, был целый ряд профессоров блестящих, как Бородин и Коновалов, и менее блестящих, как

Меншуткин, Иностранцев, Докучаев, Шимкевич, лекции которых мы слушали с интересом. Но были и такие, слушать которых было совершенно невозможно. Аудитории их постепенно таяли, а через месяц к ним на лекции являлось не более одного-двух студентов.

Как я уже говорил, в гимназии мы стояли в стороне от каких-либо революционных организаций, но все же поступили в университет с определенными левыми симпатиями. В университете же, уже в первые месяцы, мы получили боевое крещение.

В течение моего четырехлетнего пребывания в университете мне пришлось несколько раз принимать участие в так называемых "беспорядках", т.е. в студенческих сходках, тогда еще запрещенных, и в разных демонстрациях политического характера, правда, весьма скромных (похороны Салтыкова, панихида по Шелгунову), всегда сопровождавшихся арестами отдельных студентов и их увольнением из университета. Но особенно памятны мне беспорядки 1887 года потому, что тогда мне только что минуло 18 лет и что я впервые приобщился, хотя и в качестве простого статиста, к общественной борьбе.

Беспорядки 1887 года начались в Москве, где студент Синявский на балу в пользу недостаточных студентов дал пощечину инспектору Брызгалову. Сам по себе факт публичного рукоприкладства не вызвал бы сочувствия в морально чутком студенчестве, но карцерный строй университетской жизни был настолько невыносим, что эта пощечина явилась как бы сигналом ко всеобщему студенческому восстанию.

Синявский был исключен из университета и без суда и следствия отправлен для отбывания наказания в арестантские роты. И вот во всех университетах и других высших учебных заведениях начались сходки, выставлявшие два основных требования: 1) гласного суда над Синявским и 2) отмены нового университетского устава.

Уже за несколько дней до начала беспорядков в петербургском университете почувствовалось нервное настроение. Мы, вновь испеченные студенты, с волнением ожидали — что будет. И вот однажды в аудиторию Лесгафта пришли два лохматых студента и объявили, что в обеденный перерыв назначена в коридоре общестуденческая сходка.

В год моего поступления в университет министр народного просвещения издал циркуляр, вскоре отмененный, запрещавший принимать в петербургский университет гимназистов из других учебных округов. Этим имелось в виду отстоять Петербург от учащихся провинциалов, всегда отличавшихся политической неблагонадежностью. Поэтому даже естественники моего курса, почти сплошь состоявшие из петербургских гимназистов, в своем большинстве далеко не склонны были бунтовать. И не мудрено, что известие о назначенной сходке привело их в паническое состояние.

По окончании лекции Лесгафта они гурьбой, перегоняя друг друга, бросились бежать из университета. Осталась группа человек в двенадцать, в том числе и все мои товарищи по гимназии.

Не могу сказать, чтобы и мы (по крайней мере — я) испытывали прилив боевой энергии. Мы тоже трусили порядочно перед тем таинственным и неведомым, что представляла собой нелегальная студенческая сходка. Однако долг требовал от нас участвовать в ней в согласии с нашими убеждениями. И с холодком в душе, но придавая себе бодрый и независимый вид, мы двинулись по коридору к тому месту, где собралась небольшая студенческая толпа, из которой нам кричали: "Сюда, товарищи, на сходку!"... Сходка была малочисленная — человек в двести. Меня поразила бледность лиц ее участников. Особенно бледны были ораторы, говорившие прерывающимися от волнения голосами. Ведь каждый из них знал, что за произнесенную речь ему грозит если не тюрьма и ссылка, то во всяком случае исключение из университета. Вдруг крики: "Полиция, полиция". Толпа дрогнула, метнулась... некоторые, оглядываясь по сторонам, поторопились исчезнуть.

В это время из помещения механического кабинета показалась громадная гривастая фигура Менделеева. "Приглашаю студентов придти на практические занятия в механический кабинет", — зарычал он своим могучим басом.

Малодушные революционеры всех курсов и факультетов ухватились за этот якорь спасения, и большая часть сходки прямо хлынула в помещение механического кабинета. Но в коридоре осталась кучка человек в шестьдесят, решившая пострадать за идеи...

Оказавшись с несколькими своими ближайшими товарищами, в том числе и с одним из будущих лидеров революционной с.-д. партии Потресовым, среди "малодушных" и испытывая угрызения совести, я тщетно пытался вернуться в коридор, чтобы разделить участь "героев". Дверь, через которую мы вошли, была предусмотрительно заперта на ключ. И пока лаборант Менделеева показывал нам какие-то опыты, мы с тоской и тревогой смотрели через застекленную дверь на то, как появившиеся в коридоре околоточные и городовые оцепили наших товарищей и куда-то их повели. В числе арестованных были двое из нашего гимназического кружка — Д.Е.Жуковский и Ф.В.Сабашников.

Как всегда бывает в таких случаях, арест шестидесяти студентов за одно лишь участие в сходке сразу подлил масла в огонь довольно вяло начавшегося движения. Для многих политически индифферентных студентов такие лозунги, как гласный суд над Синявским, и даже автономия университетов, были слишком далекими и мало волнующими. Другое дело — появление полиции в стенах университета и арест шестидесяти товарищей. Это были факты, происшедшие у всех на глазах и ощущавшиеся как оскорбление всему студенчеству. И вот на следующий день сходка

возникла сама собой, и участие в ней приняло до полутора тысяч человек, т.е. больше 3/4 из всех студентов университета (тогда числилось в университете всего 2 000 студентов).

Помню, что, отправляясь в университет, я предусмотрительно захватил с собой зубную щетку, будучи уверен, что проведу ночь в участке. Оказалось, однако, что арест полутора тысяч студентов не входил в намерения правительства.

Два дня подряд мы собирались на сходки и слушали речи ораторов, большинство которых старалось ограничивать свои речи темой университетского протеста ради сохранения единства настроения. Два дня подряд полиция появлялась в университете и вытесняла нас на улицу. К концу третьего дня мы себя уже чувствовали в тупике. Ораторы выговорились. Оставаться в пределах той формы протеста, в какую вылилось студенческое движение, было невозможно, а более резкие методы борьбы внесли бы раскол в ряды только что сплотившегося студенчества. Тогда никому еще в голову не приходила мысль об организации пассивного сопротивления в виде забастовки, ставшей через десять лет самой обычной формой студенческой борьбы.

Правительство вывело нас из затруднительного положения. Когда, уже с выдохшимся увлечением и тяжелым сердцем, я на четвертый день беспорядков подошел к зданию университета, то все входы в него были заперты и оцеплены полицией, а на стене висело объявление, что по распоряжению министра народного просвещения университет временно закрыт.

Вынужденные каникулы, слившиеся с рождественскими, продолжались около двух с половиной месяцев. За это время начальство производило очередную "чистку". Два мои товарища – Жуковский и Сабашников – были исключены из университета, и оба, будучи состоятельными людьми, поехали кончать образование за границей. Жуковский, мой ближайший гимназический друг, тот набожный мальчик, с которым я вел в детстве споры на религиозные темы и который поступил в университет убежденным толстовцем, попав в университетскую передрягу и проведя несколько дней под арестом в участке, вышел оттуда уже революционером.

За границей его революционность оформилась в социал-демократические убеждения. Жуковский окончил Гейдельбергский университет со степенью доктора зоологии. Но зоология его мало интересовала. В Гейдельберге он слушал лекции по истории философии у знаменитого Куно Фишера и, вернувшись в Россию, занялся издательством философских книг и журналов. Постепенно его увлечение социализмом прошло. Во время революции 1905 года он принимал деятельное участие в Союзе Освобождения, а затем, правея больше и больше, проделал ту же политическую эволюцию, что и П.Б.Струве, под влиянием которого находился долгое время. Теперь он в России. Чтобы как-нибудь существовать,

он использовал свой заграничный диплом и получил место ассистента при кафедре зоологии. Слышал я, что побывал он и в тюрьмах, и в ссылке, но жив до сей поры.

Более оригинальна судьба Ф.В.Сабашникова. Поступил он к нам в гимназию в седьмой класс, и хотя вошел в наш гимназический кружок, но водил компанию и со шпаной нашего класса.

Это был очень странный юноша. Значительно образованнее и зрелее большинства из нас, много читавший и много думавший, он был революционером не столько по убеждениям, сколько по натуре. Был дерзок с учителями, а когда принимал участие в кутежах, то удивлял необузданностью своих похождений даже великовозрастных товарищей, специалистов по ночным дебошам. Во всем он искал крайностей. Мне лично он не внушал симпатии, и я не входил с ним в близкие отношения.

Сабашников принадлежал к богатой семье московского просвещенного купечества. Когда он был арестован на университетской сходке, его богатые родственники нашли пути для его освобождения через любовницу высокопоставленного лица, вероятно, подкупив ее. В день его освобождения из участка несколько его товарищей, в том числе и я, были приглашены к его тетке Евреиновой, издательнице "Северного Вестника", на торжественный обед. Но Федя Сабашников явился из участка в совершенно расстроенных чувствах, был во время обеда угрюм и говорил резкости своим родственникам. Он не мог им простить своего освобождения в порядке протекции в то время, как его товарищи оставались под арестом. Как только кончился обед, он надел шинель и вышел из дому. Я пошел за ним, и добрую половину ночи мы проблуждали вдвоем по островам в интимной беседе. Он поведал мне о тех путях, какими был освобожден, и заявил, что сейчас же уезжает в Москву, а оттуда – учиться за границу. В первый раз за все наше знакомство этот внутренно изломанный юноша говорил со мной тоном неподдельной искренности, открывая мне доступ к своей сложной душе. Но это был и последний наш разговор. На заре я проводил его до его дома и мы облобызались на прощанье, с тем, чтобы более не встречаться в жизни.

О дальнейшей его судьбе я знаю лишь понаслышке. Поселившись в Париже, Сабашников увлекся анархизмом и принимал какое-то участие во французском анархистском движении. Потом заболел и некоторое время провел в психиатрической лечебнице. Уже здесь, в эмиграции, я узнал, что он поправился и, переселившись в Италию, большую часть жизни посвятил изучению Леонардо да Винчи, о котором написал на итальянском языке весьма солидную книгу. Умер он в 1923 или 1924 году.

Первое боевое крещение, полученное мною уже на первом курсе университета, оказало на меня, как, очевидно, и на моих товарищей, огромное влияние. Убеждения человека в гораздо

большей степени зависят от испытываемых эмоций, чем от "ума холодных наблюдений". В университет я поступил без оформленных политических взглядов. Будучи по природе демократом, я с детства, как уже упоминал, соприкасался с разными общественными слоями, но умеренно-либеральные взгляды матери оказывали на меня преобладающее влияние. После беспорядков 1887 года я ушел из-под влияния матери, заведя знакомства в кругах радикального студенчества, и стал по своим настроениям левее ее. А эти левые "настроения" стали благоприятной почвой для посева соответствующих "убеждений". На первых двух курсах я, впрочем, мало занимался политикой и общественной университетской жизнью. Да таковой и вообще не существовало. Чистка, произведенная в университете перед моим поступлением, а затем после сходок 1887 года, изъяла из студенческого состава наиболее ярких руководителей студенческой общественной жизни. Землячества были разгромлены, касса взаимопомощи уничтожена, запрещены какие бы то ни было студенческие организации, до научных включительно. Студентам было воспрещено участвовать и в каких бы то ни было общественных организациях вне университета. Поэтому я усердно занимался естественными науками, на первом курсе проводя значительную часть времени в анатомическом кабинете Лесгафта, а на втором – в химической лаборатории. Вне университета я вел довольно светскую жизнь и много танцевал. Меня охотно приглашали на балы, ценя во мне добросовестно танцующего кавалера, т.к. большая часть светских молодых людей считала признаком хорошего тона не танцевать, лишь показываясь на балах.

Из этого периода моей кратковременной светской жизни особенно памятно мне участие в любительском спектакле у тогдашнего министра народного просвещения кн. М.С. Волконского. В истории русской сцены спектакль этот был крупным событием. Ставился "Царь Федор Иоаннович" Алексея Толстого. Это было первое представление "Царя Федора", тогда еще запрещенного театральной цензурой на сценах императорских театров. Главную роль убогого царя играл старший сын Волконского, Сергей, впоследствии ставший директором театра. Он первый создал этот, впоследствии ставший в исполнении Орленева и Москвина столь нам знакомым, трагический и вместе с тем очаровательный облик слабовольного и слабоумного царя-праведника. Спектакль прошел блестяще, т.к. все актеры (были среди них и талантливые) с увлечением и добросовестностью исполняли свои роли под управлением режиссера императорской оперы Палечека, который муштровал нас изрядно и добился того, что трудные сцены с толпами бояр и простонародья проходили без сучка и задоринки. В числе актеров помню С.Д. Сазонова, известного впоследствии министра иностранных дел, изображавшего патриарха Иова. Из числа других лиц, впоследствии попавших в историю, помню младшего сына Волконских

Владимира, или "Володьку", как звали его братья. Все братья Волконские окончили университет и были очень культурными и образованными людьми, "Володька" был неудачником: не осилив гимназической премудрости, он поступил в принимавшее тогда всех неудачников Тверское кавалерийское училище. Братья немного свысока смотрели на неуча "Володьку" и довольно сурово с ним обходились. В спектакле он не участвовал. Кто бы мог представить себе тогда, что этот "Володька" станет самым известным из братьев Волконских, заняв пост товарища председателя Государственной Думы.

На первом спектакле "Царя Федора" присутствовал наследник, будущий император Николай II, и множество великих князей с семьями. Был приглашен и император Александр III, но не приехал. В высшем свете было известно, что княгиня Волконская приняла тайно католическую веру, и передавали, будто бы Александр III, получив приглашение на спектакль, сказал: "Моей ноги не будет в доме у этой католички".

На этом историческом спектакле я в первый раз в жизни дебютировал в качестве актера. Впоследствии я неоднократно выступал на любительских спектаклях в Петербурге и в провинции, любил играть и, как говорили, играл недурно.

Вообще увлечение театром в течение всей моей юности, начиная со старших классов гимназии, занимало большое место в моей жизни и в моих интересах. Это было время расцвета Александринского театра, когда в его труппе состояли самые блестящие актеры – Давыдов, Варламов, Свободин, Киселевский, Савина, Стрепетова и др.

Театральная публика в те времена делилась на два лагеря – поклонников Стрепетовой и Савиной. Эти театральные разногласия отчасти совпадали с разногласиями политическими. Радикальная молодежь боготворила Стрепетову, а Савину превозносили преимущественно люди светские. По моим тогдашним настроениям я, конечно, поклонялся Стрепетовой.

Первым драматическим произведением Чехова, поставленным на сцене Александринского театра в конце 80-х годов, был "Иванов". В спектакле участвовали все лучшие силы труппы, причем в первый раз две соперницы – Савина и Стрепетова – согласились играть вместе. Сама пьеса и игра актеров произвела на меня такое сильное впечатление, что я через несколько дней пошел смотреть "Иванова" во второй раз.

В этот же юношеский период моей жизни я выработал и свой музыкальный вкус.

В детстве меня пытались обучать игре на фортепьяно, но, хотя я обладал природной музыкальностью и хорошим слухом, это искусство мне не давалось. Я совершенно был неспособен одновременно смотреть на две нотных строчки и играть левой

рукой не то, что правой. Немало слез пролил я над тщетными усилиями овладеть игрой, пока моя мать не согласилась прекратить мучительные уроки музыки.

Тем не менее мое музыкальное образование не кончилось. Дома у нас постоянно была музыка, так как тетя Маша любила играть на рояле и зимой почти ежедневно играла в четыре руки с какой-либо из живущих у нас гимназисток старших классов. Чаще всего играли симфонии Бетховена, из которых я особенно любил пятую. Впоследствии, когда мне приходилось слушать эту симфонию в исполнении симфонических оркестров под управлением знаменитых дирижеров, мне всегда казалось, что ее играют не так, как надо, т. е. не так, как играла ее тетя Маша, шепча про себя – "раз, два, три, четыре".

В студенческие годы я был неизменным абонентом симфонических концертов, дававшихся через субботу в зале Дворянского Собрания. И там преобладал классический репертуар, с которого началось мое музыкальное образование в детстве. На нем оно почти и остановилось. Впрочем, русских музыкальных новаторов – Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина, а также немецкого – Вагнера, я воспринял всецело.

Хорошо помню потрясающее впечатление, произведенное на меня "Хованщиной", которая впервые давалась частной оперой в зале Кононова. Я был тогда гимназистом 5-го класса, и взрослые смеялись над моим восторгом, ибо музыкальные критики того времени отнеслись к "Хованщине" более чем сурово. Моя же мать, воспитанная на немецких классиках с одной стороны и на легких мелодиях итальянских опер с другой, даже Вагнера совершенно отрицала. Я в этом отношении шел больше "с веком", но до сих пор остался равнодушен к еще более новой музыке Стравинского, Дебюсси, Равеля и др.

В годы студенчества я был абонирован в Итальянской опере и слышал всех приезжавших в Петербург знаменитых певцов и певиц – Мазини, Котони, Баттистини, Зембрих, Ферни-Жерманто и др. Русская опера была менее доступна, так как билеты в Мариинский театр раскупались заранее и публика стояла перед кассой в хвостах иногда целыми ночами. Однако раз до десяти в зиму мне удавалось проникнуть и туда. Любимой моей оперой была "Руслан и Людмила". Не проходило года, чтобы я ее не слушал, а потому знаю ее почти наизусть. И как ни совершенны были голосовые средства и техника пения у итальянских певцов, пение русских артистов меня все-таки больше брало за душу. Особенно памятен мне, теперь совершенно затменный Шаляпиным, баритонный бас Мельников.

Моя светская жизнь навсегда закончилась с переходом на 3-й курс университета. К началу 90-х годов, несмотря на продолжавшуюся реакционную политику правительства, реакция, охватившая русскую общественность после убийства Александра II, пошла на

убыль. Зарождалось общественное движение, которое, расширяясь и углубляясь, привело через 15 лет к революции 1905 года. Как всегда, первые признаки общественного оживления проявились в кругах университетской молодежи. Среди студентов появились первые марксисты. Влияния они еще не имели, но произошел какой-то перелом в настроениях и вкусах университетской молодежи, благоприятный для восприятия марксистских идей. Интерес к естественным наукам стал проходить среди радикально настроенного студенчества, которое увлеклось изучением политической экономии. Мы, естественники старших курсов, тоже поддались новой моде. Появились кружки самообразования, в которых стали изучать Адама Смита, Милля и Карла Маркса. Учение Маркса казалось нам последним словом науки.

Одновременно с кружками самообразования стали возникать землячества, создалась и касса студенческой взаимопомощи. Так как всякие студенческие объединения были запрещены, то и эти организации, вначале не преследовавшие никаких революционных целей, все же были тайными. Но этот конспиративный их характер отпугивал студентов более умеренных настроений, а потому они как-то сами собой попадали в руки радикальной части студенчества.

Студенческая касса вначале объединяла всего 100 студентов, имея в своем правлении 10 человек, по одному представителю от каждых десяти участников. В качестве такого представителя мне пришлось принимать участие в ее первоначальной организации и затем состоять в правлении в течение двух лет.

Ввиду того, что при университете существовало официальное общество помощи студентам (мы в нем не имели права участвовать), выдававшее студентам стипендии во время прохождения курса, наша тайная и в значительной степени тощая касса сосредоточила свою деятельность на помощи студентам исключенным и арестованным, лишившимся официальных стипендий. Поэтому, хоть мы считали себя организацией аполитической, сама жизнь обволакивала нас политикой. За два года моего участия в кассе она постепенно левела, как по персональному составу, так и по своим задачам. Из связи ее с землячествами других высших учебных заведений Петербурга и провинции впоследствии образовалась всестуденческая организация, руководившая перед революцией 1905 года всем студенческим движением. При мне этого объединения еще не существовало, но о нем уже шли разговоры. Инициатором выступал студент Технологического института Красин, будущий нарком и полпред СССР.

После смерти ректора Владиславлева на его место был назначен профессор Никитин, человек консервативных взглядов, но просвещенный и гуманный. Он несколько ослабил пресс, давивший на всю университетскую жизнь, и, когда я был на 4-ом курсе, в

университете были снова разрешены научные объединения студентов. Начало было положено приват-доцентом государственного права Свешниковым, открывшим семинарий по своему предмету, на который в качестве референтов и участников прений были допущены все желающие студенты университета. На семинариях Свешникова читались рефераты и на другие научные темы, в том числе и из области вошедших в моду социологии и политической экономии.

Новая мода на политическую экономию отразилась на группировках студентов по факультетам. Стремление к изучению политической экономии повлияло на заполнение юридического факультета той левой идейной молодежью, которая прежде шла почти исключительно на естественный факультет. И если толпа университетских революционеров по-прежнему состояла еще из естественников, то лидерство в студенческом движении переходило к политически более образованным юристам.

Семинарии Свешникова, на которых присутствовало всегда много народа, и явились тем местом, где выдвигались студенческие лидеры. Наиболее видными из выступавших на них референтов и оппонентов были Н.В. Водовозов, Борис Никольский, П.Б. Струве. Первые два, самые блестящие из студенческих ораторов, стали признанными лидерами, Водовозов – левого, а Никольский – правого студенчества.

На нас, левых студентов, особенно действовали пламенные речи Водовозова, неразрывно связавшиеся в моей памяти с бледным лицом этого почти мальчика и удивительно умными синими его глазами, в которых чувствовалась неукротимая энергия, мужественность и сдерживаемая волей страсть.

Что касается П.Б. Струве, то этот безбородый и безусый естественник второго курса с некрасивым веснушчатым лицом был лишен всякого ораторского таланта. Однако, благодаря своей исключительной эрудиции во всех почти областях знания, он импонировал аудитории, часть которой уже находилась под влиянием марксистской идеологии. Через два года он был уже кумиром петербургской молодежи в качестве главного апостола учения Карла Маркса в России.

На семинариях Свешникова студенты знакомились между собой, и как грибы множились кружки самообразования по общественным наукам. В кружке, в котором я участвовал, припоминаю П.Б. Струве, А.Н. Потресова, Е.В. Аничкова (впоследствии профессора), Н.Д. Соколова, рано умершего молодого марксиста Бауэра и двух братьев моей будущей жены Винбергов.

Университетская общественная жизнь, конечно, отвлекала меня от специальных занятий естественными науками, а главное, от научных интересов, возбужденных во мне на первом курсе Менделеевым и Лесгафтом. Тем не менее, я сдал экзамены, как

полукурсовые, так и государственные, почти на круглых пятерках (хотя отметки официально были заменены словесными отзывами, но профессора по-прежнему ставили на экзаменах отметки по пятибалльной системе). Экзамены были трудные. По принятой в новом университетском уставе системе, в один день нужно было сдавать экзамен по целому циклу наук. Так, например, я в один день экзаменовался по анатомии, физиологии, эмбриологии, гистологии и зоологии позвоночных. Из этих пяти предметов по трем приходилось держать в памяти по 500-800 страниц печатного текста. Но память была молодая и свежая и как губка впитывала нужные познания.

Время экзаменов было бодрое и веселое. Готовился я к ним вместе с тремя товарищами. На подготовку по тем предметам, которыми мы не занимались в течение зимы, давалось слишком мало времени. Поэтому мы придумали особую систему занятий: зубрили несколько суток без перерыва, причем попеременно один из нас читал громко курс, один слушал, а двое спали. Через известные промежутки времени спавших будили, слушавший рассказывал им усвоенное, а читавший по книге делал поправки. Потом роли менялись, и т.д. Система оказалась удачной, и все мы благополучно сдавали экзамены. А после каждой сдачи – небольшой кутеж всей компанией при свете белой петербургской ночи.

Все шло гладко до последнего экзамена по метеорологии. Этого предмета я не слушал и совершенно им не занимался. В три дня нужно было его постичь. Между тем стояла чудная погода и заниматься метеорологией после десяти или более сданных экзаменов было невмоготу. А так как в аттестате выводился средний балл по метеорологии и по физике, по которой я уже получил пятерку, и так как диплом первой степени мне был обеспечен отметками за все другие предметы, то я мог себе позволить роскошь получить по метеорологии даже единицу. На этом и порешил, захлопнул книжку и не заглядывал в нее.

Придя на экзамен, я спокойно вытянул билет, на котором прочел: "циклоны". О циклонах я имел весьма слабое представление, зная о них столько, сколько знает всякий более или менее культурный человек, но тем не менее стал что-то рассказывать несколько удивленно глядевшему на меня профессору. Через полминуты я умолк.

– Ну, вы мало знаете предмет, – сказал профессор, укоризненно покачивая головой. – Скажите же, как узнают о приближении циклона?

Я почувствовал прилив веселого озорства.

– По телеграфу, – ответил я спокойно.

Профессор смотрел на меня с полным недоумением.

– То есть как это по телеграфу?

– А очень просто: если циклон идет, например, из Атлантического океана, то сейчас же нью-йоркская обсерватория телеграфирует об этом стокгольмской, стокгольмская – петербургской и т.д.

Ошеломленный профессор широко развел руками.

– Ну, знаете, я больше двойки не могу вам поставить.

Едва ли профессору приходилось видеть более веселого провалившегося на экзамене студента. Я поблагодарил его и с сияющим лицом вышел в коридор, ибо знал, что кончил курс с дипломом первой степени.

За годы моей университетской жизни семья, в которой я рос и воспитывался, перестала существовать. Умерли мать, старшая сестра и тетка – М.А. Ладыженская. Мой двоюродный брат Гриша переселился в Москву, а вторая сестра вышла замуж за нашего двоюродного брата кн. А.Б. Мещерского. Она вместо матери стала начальницей гимназии и продолжала жить со своей семьей на нашей старой квартире. Жил и я с ней. Мы были очень близки, но все же ее семья перестала быть моей. Ее муж, человек реакционных взглядов, ввел ее снова в те родственные круги, которые покинула моя мать и куда я ни под каким видом возвращаться не хотел. Таким образом, влияние семьи, которое при жизни матери и старшей сестры я сильно на себе ощущал, совершенно прекратилось к концу университетской жизни. В семье моей сестры, женщины исключительно мягкой по характеру и терпимой, продолжали бывать прежние друзья нашей семьи, но круг ее родственников по мужу и других знакомых из реакционного общества петербургской аристократии и бюрократии был мне совершенно чужд. Свои новые знакомства я заводил исключительно в радикальных, социалистических и революционных кругах столицы. Из близких знакомых моей матери я продолжал бывать в семье В.А. Арцимовича, который до моего совершеннолетия вел мои имущественные дела, и в семье Костычевых.

В.А. Арцимовича я посещал большею частью по утрам, когда он сидел за письменным столом в своем кабинете, просматривая и подписывая сенатские дела. Он по старой памяти все еще смотрел на меня, как на маленького мальчика и редко разговаривал со мной на серьезные темы. А я любил этого чудеснейшего старика, обвеянного славой деятелей 60-х годов, и любовался им.

Что касается Костычевых, то они стали как бы второй моей семьей. В это время они жили в двух шагах от меня и я значительную часть свободного времени проводил у них. У Костычевых было много знакомых, и на их еженедельных "журфиксах" собиралось человек 15-20. П.А. Костычев хотя и занимал в это время пост директора департамента земледелия, но его бюрократическая карьера не отразилась ни на его политических убеждениях, ни на окружавшей его домашней обстановке. На "журфиксах" у Костычевых бывали либеральные земцы – Родичев, Корсаков,

художники – Мясоедов, Забелло, городской голова Лихачев с женой, академик Веселовский, профессора, писатели, учащаяся молодежь. Всегда было очень оживленно. Обсуждались политические события, спорили о литературе, об искусстве. Каждую весну, ко времени открытия передвижной выставки картин приезжал в Петербург Николай Николаевич Ге и всегда останавливался у Костычевых, с которыми еще с молодых лет был в тесных дружеских отношениях.

Передвижные выставки устраивались в Петербурге ежегодно, вплоть до 1917 года, но последнее время петербуржцы, увлекавшиеся новыми и новейшими течениями в искусстве, уделяли им мало внимания. В восьмидесятых годах передвижники сами были новаторами, бунтарями против официального ложно-классического искусства Академии Художеств и находились в апогее славы. Каждая передвижная выставка была крупным общественным событием. Выставки посещались толпами народа, газеты и журналы посвящали им большие статьи, об отдельных картинах спорили целыми вечерами. Молодежь, воспитанная на позитивной философии и реалистической литературе, увлекалась исключительно реалистическим направлением в живописи и скульптуре, направлением, лучшие представители которого были основателями передвижных выставок. Я считал своим долгом раза три-четыре побывать на каждой передвижной выставке, не только любуясь картинами, но изучая их. А между тем к шедеврам Эрмитажа был совершенно равнодушен. Восторгаясь картинами Репина, Ге и даже малоталантливого Ярошенко, я с раздражением относился к Васнецову, Нестерову и Врубелю, видя в них нарушителей основ "подлинного" реалистического искусства.

Пишу о себе, но думаю, что был в этом отношении типичным представителем молодежи того времени. Эстетические эмоции вызывало в нас только реалистическое искусство. Мне самому теперь трудно себе представить эту невероятную узость наших эстетических вкусов.

Н.Н. Ге был одним из любимейших моих художников, и я всегда с радостью и интересом ожидал его приезда в Петербург с новыми произведениями его таланта.

В те времена он уже стал увлеченным последователем учения Толстого, что отражалось на его творчестве. Его картины "Христос и Пилат" и "Распятие", которые он привозил с собой на выставку, вызывали страстные споры.

Ге приезжал из Черниговской губернии, где жил на своем хуторе с женой (сестрой скульптора Забелло) и старшим сыном, тоже последователем Толстого. Он был человеком совершенно обаятельным. С первого же знакомства он покорял своих новых знакомых простотой и душевностью обращения, равного со всеми – умными и глупыми, с людьми известными и безвестными. А карие с

добродушной хитринкой глаза светились не только умом, но какой-то особой нежностью и лаской. Однако в его толстовстве чувствовались искусственность и поза.

Костюм его был исключительно неряшлив: рубашка без крахмального воротничка, грязный пиджачишко и неизменная серая вязаная жилетка с масляным пятном посередине. Много раз А.Н.Костычева хотела вывести это пятно бензином, но он не позволял. Так оно и уезжало на груди Николая Николаевича в деревню, а на следующий год снова возвращалось в Петербург. Говорил Ге картинно, красочно и художественно. Был очень остроумен, любил шутить и рассказывать смешные анекдоты. Но, как только разговор переходил на темы, соприкасавшиеся с учением Толстого, тон его разговора менялся, становился каким-то смиренно-елейным. Этим елейным тоном он обыкновенно обращался с поучениями к молодым людям и девушкам, которых редко называл по именам, а говорил так: "Ну вот, милый юноша, я рад, что вы меня об этом спросили", или: "Я вижу, что эта хорошая, милая девушка меня понимает".

Я уверен, что позировал он бессознательно, но, представляя себя апостолом "толстовской церкви", непроизвольно стилизовал себя под проповедника первых времен христианства. В качестве "милого юноши" я чувствовал себя неловко, но все же маска елейного проповедника не скрывала от меня образа яркого, талантливого и вместе с тем чуткого и доброго человека.

В числе новых знакомых, приобретенных мною в первые два года студенчества, не могу не упомянуть семьи знаменитого русского писателя М.Е.Салтыкова-Щедрина. Знакомство это было случайное, но образ Салтыкова был настолько ярок, а его семейная обстановка так оригинальна, что я чувствую потребность ввести в свои воспоминания описание этого знакомства, несмотря на его кратковременный, эпизодический в моей жизни характер.

Лето 1887 года, непосредственно по окончании гимназии, я проводил, как и все предшествовавшие гимназические каникулы, в Финляндии, возле ст. Мустамяки, в нашем имении. Там я и познакомился с семьей Салтыковых, нанявших на это лето одну из наших дач.

Был я тогда птенцом желторотым, но произведения Салтыкова-Щедрина уже читал и относился с благоговением к великому сатирику. Помню, с каким нетерпением мы ждали выхода очередной оранжевой книжки "Вестника Европы", в котором, после закрытия "Отечественных Записок", печатались очерки и рассказы Щедрина. И вот, этот знаменитый Салтыков-Щедрин должен был поселиться у нас на даче... Я с нетерпением ждал дня, когда его увижу.

Наконец, по въездной аллее, куда мы в условленный день вышли встречать знаменитого писателя, мимо нас проехало ландо, в котором рядом с довольно красивой дамой сидела неопределенная

фигура, укутанная шубами, несмотря на теплую погоду. Тяжелый плед, по-женски надетый на голову, совершенно закрывал лицо Салтыкова.

Было очень досадно: целый час мы сидели в аллее, ожидая увидеть "самого" Салтыкова, а увидели лишь ряд шуб и пледов...

На следующий день в той же аллее я познакомился с женой М. Е., Елизаветой Аполлоновной, и с его детьми – Костей и Лизой. Елизавете Аполлоновне было тогда лет тридцать пять. Склонная к тучности фигура, туго затянутая в корсет, лицо миловидное, но совершенно невыразительное, несмотря на красивые, слегка искусственно ретушированные серые глаза. Такие лица тысячами встречаются на улицах, в вагонах железных дорог, на званых вечерах, но памяти они не загромождают.

Несмотря на деревенскую обстановку нашей жизни, одевалась она по-городски и, когда ходила гулять, надевала шляпку и перчатки. Она явно стилизовала себя под светскую даму. И разговаривала не просто, а так, как по ее представлению должна была разговаривать дама из высшего общества: как-то поверхностно скользила по теме разговора, перепархивая с одного предмета на другой, щебетала всякий вздор, который мог бы показаться милым в устах шестнадцатилетней девочки, но совершенно не к лицу был женщине "бальзаковского возраста", а тем более – жене известного писателя.

Дочка ее, Лиза, тоже должна была изображать un enfant comme il faut.

Несмотря на то, что ей было тогда уже лет четырнадцать, одевали ее à la bébé: всегда с распущенными волосами, в коротеньком платьице выше колен, с неизменным серсо в руках и с большим мячиком в сетке, перекинутой через плечо. Ну, словом, – девочка с модной картинки того времени. А рядом с ней гувернантка, без которой Лиза не отпускалась из дому.

Во всем этом чувствовалось стремление матери во что бы то ни стало достичь настоящего "хорошего тона", а выходило нелепо и карикатурно. Хороший тон нарушался увальнем-гимназистом Костей, грубоватым, балованным, но симпатичным и умным мальчиком 15-ти лет, огорчавшим мать своими дурными манерами. Впрочем, через год она его отдала в привилегированный Александровский лицей, и Костя быстро пополнил пробелы своего воспитания. Но об этом будет речь еще впереди.

Хорошо помню мое первое посещение дачи Салтыковых. Через несколько дней после их приезда мы с матерью и сестрой отправились к ним с визитом. М. Е. был уже серьезно болен всеми теми болезнями, которые через два года свели его в могилу. Он и поселился у нас главным образом потому, что в двух верстах от нас, на своей даче, жил его приятель, знаменитый профессор Боткин, лечивший его уже несколько лет подряд. Однажды, когда

моя мать спросила С.П. Боткина, какой болезнью болен Салтыков, он ответил, что спросить нужно иначе: какой болезнью он не болен. Все внутренние органы его были в ужасном состоянии, и доктора недоумевали, как он еще может жить.

Салтыков с женой приняли нас в гостиной. В сером мягком пиджаке и с неизменным тяжелым пледом на плечах, он сидел в кресле неестественно прямо, положив руки на тощие колени. Мне сделалось сразу как-то не по себе от одного вида этого хмурого и сурового старика (тогда он мне казался стариком, хотя, если не ошибаюсь, ему было не более 55-ти лет). Чувство неловкости еще более увеличилось, когда он без всяких вводных любезных фраз, которые обычно произносят люди при первом знакомстве, стал с желчной раздраженностью, как будто нарочно, чтобы сделать нам неприятность, ругать Финляндию, ее природу и жителей, наконец дачу, владелица которой в первый раз пришла с ним познакомиться. А затем пошли жалобы на болезнь, на плохой уход за ним и т.д.

Мрачно смотрели на нас с неподвижного желтого лица, изредка нервно подергивавшегося, огромные, строгие и какие-то бесстрастно отвлеченные глаза, а отрывистые злые фразы, прерывавшиеся тяжелым дыханием, производили скорее впечатление рычания, чем человеческой речи. Представлялось как-то вполне отчетливо, точно чувства горечи, гнева и раздражения и есть те болезни, которые разлагают его организм, вырываясь наружу стонами, кашлем и жестокими словами. Но вдруг на его каменном лице, в мускуле щеки, появлялась едва заметная юмористическая складка, а из уст вылетала чисто щедринская острота, до такой степени неожиданная и комическая, что все присутствующие невольно разражались смехом. А он продолжал сидеть так же неподвижно, глаза смотрели так же строго, и так же бурлила его гневно-рычащая речь. И становилось неловко от собственного смеха...

Потом мы стали часто видаться с Салтыковыми. Михаил Евграфович очень сошелся с моей матерью и охотно беседовал с ней на литературные и политические темы. Иногда он рассказывал ей эпизоды из своей личной жизни, давая в одном-двух словах удивительно меткие характеристики разных людей. Пересказывая нам эти рассказы, мать моя иногда до слез смеялась, припоминая какое-нибудь невзначай брошенное Салтыковым словечко или фразу. Общий тон его рассказов все-таки был мрачный и угрюмый. Бесконечно мрачны были его воспоминания о своем детстве, о семье, особенно о матери, которую он так ярко изобразил в госпоже Головлевой. "Я до сих пор ненавижу эту ужасную женщину", – как-то сказал он про свою мать.

Елизавета Аполлоновна иногда присутствовала при этих беседах, но вступала в разговор всегда невпопад, делая внезапно наивно-щебечущим тоном совершенно не идущие к делу замечания, что страшно раздражало ее мужа. Случалось, что он

сдерживался, обнаруживая свое раздражение на жену лишь небольшим подергиванием щеки, причем на лице его появлялось выражение человека, услышавшего фальшивую ноту. Порой, однако, он не мог сдержаться:

— Замолчи, вечно всякий вздор болтаешь, у-у-у-у, — рычал он.

— Ах, Мишель, — щебетал в ответ наивный голосок.

— Молчи, дура! . . .

Когда в первый раз при моей матери Салтыков назвал ее дурой, Елизавета Аполлоновна плаксивым голосом ей сказала: "Не верьте, пожалуйста, княгиня, тому, что Мишель обо мне говорит".

Е. А. часто говорила такие глупости, которые свежего человека совершенно ставили в тупик. Может быть она и не была так глупа, как казалось. Конечно, не блистала умом, но глупостями и наивностями, которые она изрекала на каждом шагу, она сознательно кокетничала. Они представлялись ей стильными для молоденькой, хорошенькой femme enfant, какой она продолжала себе казаться. Одна из таких очередных глупостей мне запомнилась.

Как-то раз Салтыковы предложили мне поехать с ними кататься в их ландо. Мы ехали вдоль озера, версты в две шириной, на противоположной стороне которого, на горе, виднелась большая дача С.П. Боткина. Е. А. смотрела на эту дачу и вдруг обратилась ко мне с вопросом: "Скажите, отчего С.П. Боткин не построит моста через озеро. Так бы хорошо было кататься". Плед, покрывавший с головой Мих. Евгр., нервно зашевелился, и из отдушины, оставленной для воздуха, послышалось рычание и обычное — "ду-у-ра!"

— Ах, Мишель, ведь он же такой богатый, — продолжала невозмутимо Е. А.

— Замолчи-и, не могу я слушать твоего вздора, — снова раздался почти умоляющий голос из глубины пледа.

Как известно, Салтыков женился на своей "Лизе", дочери мелкопоместной помещицы Великолуцкого уезда, когда ему было уже за тридцать, а ей — всего шестнадцать лет. Говорили, что женился он по любви, очарованный ее красотой и милой детской наивностью. И, вероятно, детский лепет этой хорошенькой девочки в свое время приводил в умиление сурового мужа. Но время шло, Е. А. из миленькой девочки превратилась в зрелую даму, но по-прежнему продолжала лепетать всякий вздор. И этот стилизованный вздор в устах созревшей femme enfant и претенциозное имя "Мишель", которым она называла больного, старого человека — все это было глубоко безвкусно, для Салтыкова же, органически не переносившего пошлости, — прямо мучительно.

И тем не менее у меня сложилось впечатление, что он глубоко был привязан к этой женщине, которая каждым словом, каждым жестом раздражала его и которую он так грубо и безжалостно унижал, не стесняясь присутствием посторонних. Помню, была

уже осень, дул холодный пронзительный ветер и моросил дождь. Мы с сестрой зашли к Салтыкову и застали его одного, как всегда, за письменным столом, над рукописями, исписанными ужасным корявым почерком (он писал тогда "Пошехонские рассказы", которые моя сестра, вооружившись лупой, с большим трудом разбирала и переписывала для печати).

— Ну, скажите, пожалуйста, — обратился он к нам, — куда ее понесло в такую погоду!

Мы поняли, что он говорил о жене, которая часа за два перед тем велела запрячь и поехала кататься.

— Говорил ей, что холодно. Так нет, не послушала, понеслась куда-то в легкой кофточке. Вот простудится и заболеет... Как за малым ребенком смотреть надо.

Видно было, что он серьезно волновался и беспокоился за жену. А потом посмотрел на нас как-то растерянно и сказал:

— Уж будьте добры, пошлите ей навстречу какие-нибудь теплые вещи. Ведь в самом деле простудится.

И в голосе у него прозвучала едва уловимая нотка нежной заботливости о жене. Мы пошли исполнять его просьбу, но в дверях встретили благополучно вернувшуюся, веселую и здоровую Елизавету Аполлоновну. Салтыков просиял, и хотя принялся ее отчитывать за проявленное легкомыслие, но больше так, по привычке...

Оскорбляя свою жену на каждом шагу самым беспощадным образом, он вместе с тем требовал от других полного к ней уважения. На этой почве у него выходили столкновения даже с близкими друзьями. Рассказывали тогда о его ссоре с известным тверским общественным деятелем, А.М.Унковским, с которым он был связан многолетней дружбой. Ссора произошла при таких обстоятельствах: однажды Унковский играл в винт у Салтыковых. Мих. Евгр., страстный винтер, но именно поэтому особенно раздражительный во время винтового священнодейства, за что-то рассердился на жену и, как всегда, грубо выругал ее. Вероятно, Е. А. действительно сказала какую-нибудь большую глупость, и Унковский, в тон ему, тоже как-то непочтительно над ней подтрунил. И вдруг, совершенно для себя неожиданно, он увидал исказившееся злобой лицо Салтыкова, который стучал кулаком по столу и кричал, что не позволит оскорблять свою жену.

Унковский, видя возбужденное состояние друга, просил его успокоиться, извинялся, оправдывался, но Салтыкова уже нельзя было унять. Он потребовал, чтобы Унковский немедленно оставил его квартиру, и заявил, что больше никогда его принимать не будет. Я не помню, кто из двух друзей умер раньше, но, кажется, примирения между ними так и не произошло.

Елизавета Аполлоновна, при всех своих недостатках, была существом весьма добродушным и незлобивым. Она кротко и

терпеливо переносила все грубости и оскорбления, ежедневно сыпавшиеся на нее при детях и при посторонних. Привыкла к этому. А кроме того она знала, что сколько бы ее "Мишель" не ворчал и не ругался, она в каждом отдельном случае поступит не так, как этого требует грозный Мишель, а так, как решила она — "дура" — Лиза.

Жизнь Салтыковых в Петербурге шла так, как ей хотелось. Правда, у него были свои знакомые и друзья, но, за немногими исключениями, это были знакомые, так сказать, его кабинета, где оживленно говорили о литературе и о политике, горячо спорили, а иногда играли в винт. Остальная семья жила совсем другой жизнью, ничего не имевшей общего с кабинетом ее главы: театры, балы, светские визиты... И дети получили "светское" воспитание, светское в условном смысле, в соответствии с несколько вульгарным представлением о "свете" Елизаветы Аполлоновны.

Дочь свою Лизу она отдала в пансион г-жи Труба, где больше обучали хорошим манерам, чем наукам, и лишь тогда, когда она поняла, что такое "образование" уже вышло из моды, перевела ее в гимназию моей матери. Успехи дочери в науках мало интересовали мать. Ее больше занимали ее туалеты и выезды.

Когда я в первый раз пришел к Салтыковым на их петербургскую квартиру, Ел. Ап. пошла мне показывать заново меблированную комнату Лизы. "Посмотрите, — щебетала она, — какое я своей Лизе устроила уютное гнездышко. Моя Лиза хорошенькая девочка и любит смотреться в зеркало. Вот я и поставила ей зеркала так, чтобы она могла себя видеть en face и в профиль". И все это мне сообщалось в присутствии самой Лизы.

Когда Лизе исполнилось пятнадцать лет, мамаша удлинила ей платье и стала вывозить ее к знакомым на танцевальные вечера. У Салтыковых тоже завелись журфиксы и балы. Появились лощеные правоведы, лицеисты, юнкера, которые прикладывались к ручке Ел. Ап., вели пустые разговоры, играли в petits jeux и вообще придавали дому Салтыковых тот вид, о котором, вероятно, мечтала Ел. Ап., когда еще барышней жила в великолуцком захолустье. Салтыков сердился, но изменить образа жизни своей семьи не был в силах. Он сидел за письменным столом и писал сатиру "Ангелочек", в которой со злобным юмором изображал свою жену и свою дочь.

Сын Салтыковых, Костя, учился в гимназии Гуревича, но матери казалось, что это заведение недостаточно comme il faut. И вот, несмотря на протесты "Мишеля", Костю перевели в лицей, в тот самый лицей, в котором учился отец и который он с чувством глубокого возмущения клеймил в своих сатирах. И на моих глазах, в один год, милый, способный мальчик превратился в фатоватого юнца, а еще через год стал кутить и пьянствовать.

Матери очень нравилось, что сын ее покучивает со светскими молодыми людьми, и она с удовольствием рассказывала знакомым

о похождениях своего Кости, ибо считала, что хороший тон ее дома требует, чтобы сын ее был лицеистом, и тот же хороший тон обязывает лицеиста кутить. Бедный Костя, однако, не сумел выдержать пропорции "хорошего тона" и за какой-то пьяный скандал в цирке был исключен из лицея.

Это случилось после смерти отца, когда я уже перестал бывать у Салтыковых. Слышал я, что Костя, получив отцовское наследство, в течение нескольких лет спустил его в Париже, а затем, вернувшись в Россию, поступил на службу где-то в провинции.

В такой семейной обстановке медленно умирал Салтыков. Ярко запечатлелось в моей памяти мое последнее свидание с ним. Салтыков в пледе сидел за письменным столом, бессильно положив на него свои желтые исхудалые руки. Огромные глаза строго смотрели в пространство.

— Спасибо, что зашли навестить меня, — сказал он, тяжко переводя дух после каждого слова. — А вашей матушке передайте, что я ...умираю.

Я робко стал говорить банальные слова, как принято в таких случаях, что напрасно он так мрачно смотрит на свое положение, что вид его совсем не такой плохой и что, Бог даст, он поправится.

Салтыков нервно задергал щекой и резко перебил меня:

— Не говорите мне вздора! Я знаю, что умираю... Вот сижу за письменным столом, а писать больше не могу... Конец...

Голос его задрожал и оборвался.

Два года медленно разрушался организм человека, но писатель жил еще полной жизнью. В тяжелой одышке садился он за стол и творил художественные образы. И сильный дух приспособился к существованию в умирающем теле. Но, когда Салтыков почувствовал, что творить больше не может, когда, усаженный за письменный стол, он тщетно пытался вызвать в себе живительное напряжение мысли, а слабеющая рука отказывалась водить пером по бумаге, — он понял, что все кончено, что пришла смерть... Писатель умер. Доживало последние дни больное, изнуренное тело. И я понял, что никакими словами утешения не облегчить страшной трагедии человека, сознающего себя уже мертвецом...

Наступило молчание. Салтыков тяжело дышал и глухо, беспомощно стонал. А из гостиной, через полуоткрытую дверь доносились обрывки веселой болтовни. Там Елизавета Аполлоновна с Лизой принимали молодых визитеров. Молодые люди отпускали остроты, дамы кокетливо смеялись: "Вы думаете? Ах, какой вы злой! Не смейте так говорить, я рассержусь"...

— У-у-у, — застонал Салтыков, — я умираю, а они... — Лицо его гневно задергалось, и вдруг со страшной ненавистью в голосе он закричал:

— Гони их в шею, шаркунов проклятых! Ведь я у-ми-ра-ю!

В соседней комнате сразу затихли разговоры, послышался скреб отодвигаемых стульев и удаляющиеся шаги. Через минуту в кабинет вбежала Елизавета Аполлоновна и, надув губки, хныкающим голосом обиженной гимназистки сказала: "Ну вот, ты всегда, Мишель, такие грубости говоришь. К нам никто ходить не будет".

"Мишель" не ответил. Он устал от только что пережитого возбуждения, сидел молча, по-прежнему положив ладони на письменный стол и уставившись в одну точку своими огромными отвлеченными глазами...

А через несколько дней по Лиговке тянулась огромная толпа, предводимая с опаской поглядывавшими на нее конными жандармами. Студенты стройно пели Вечную память.

Русская интеллигенция хоронила великого русского писателя, одного из своих любимых вождей в борьбе за свободу и человеческое достоинство.

И среди этой густой толпы, непосредственно за гробом, под руку с юным лицеистом, шла в глубоком трауре женщина, для которой он был только скучным, сварливым "Мишелем". Самый близкий и вместе с тем самый далекий из всех этих чужих людей ему человек.

Вскоре после похорон я зашел навестить вдову Салтыкова.

— Ах, В. А., — сказала она мне печальным голосом, — могла ли я думать, что в той же шляпке, в которой я хоронила С.П. Боткина, я буду хоронить своего Мишеля!

Мы сидели в том самом кабинете, где несколько дней тому назад меня принимал Салтыков.

Салтыков умер, когда я перешел на третий курс университета и совершенно порвал со светской жизнью. Все же в течение следующей зимы я изредка заходил к Салтыковым. Ел. Ап. была занята главным образом подыскиванием жениха для своей Лизы. О "Мишеле" уже не вспоминала. Потом я перестал у них бывать. Живы ли теперь Костя и Лиза и где они — не знаю.

На старших курсах университета я стал заводить новые знакомства в кругах петербургской радикальной интеллигенции. Ближе всего сошелся с семьей Владимира Карловича Винберга. Семья эта состояла из двух родителей, четырех дочерей, из которых две старшие окончили высшие курсы, а младшая только что на них поступила, и трех сыновей — студентов и гимназистов старших классов. В семье Винбергов царила какая-то исключительная внутренняя спаянность, привлекавшая к ней посторонних и делавшая ее центром притяжения молодежи. Через несколько лет знакомства я сам вошел в эту семью, женившись на младшей дочери В.К. Винберга. Благодаря этому я хорошо узнал этого замечательного человека, на характеристике которого хочу остановиться здесь подробнее.

Отец В.К.Винберга был шведского происхождения. Вероятно, принадлежал к финляндским шведам, ибо В.К. по паспорту значился шлиссельбургским дворянином. Мать его была балтийская немка. Русской крови у него не было ни капли, а родным языком в семье был немецкий. Но как раз на немца В.К. был меньше всего похож. Русскую культуру он воспринял целиком, и, может быть, прививка русской культуры на скандинавском корне содействовала развитию в нем совершенно исключительных человеческих качеств.

В раннем детстве лишившись родителей, В.К. был отдан в петербургский кадетский корпус, по окончании которого поступил в высшее военное училище – Корпус Лесничих, – впоследствии ставшее Лесным институтом. Молодым офицером он был назначен лесничим в Ялту, где вскоре женился на дочери местной помещицы и вышел в отставку.

Начинались реформы 60-х годов. В.К.Винберг, усвоивший еще в Лесном корпусе либеральные взгляды, сразу с увлечением отдался работе на новых поприщах, открытых реформами. Сначала был в Ялте мировым судьей и гласным ялтинского земства, а затем был избран председателем таврической губернской земской управы. Четыре трехлетия подряд он избирался на эту должность и целиком сросся с земским делом, входя во все его подробности и проявляя массу инициативы. В частности, по его инициативе была учреждена губернским земством Сакская грязелечебница, приобретшая впоследствии всероссийскую известность.

Так бы и длилась плодотворная работа В.К.Винберга на земском поприще, если бы, в связи с наступившей реакцией, не началась борьба правительства с земскими самоуправлениями. В.К., конечно, принял горячее участие в этой борьбе. Но одновременно с земской борьбой, шедшей в легальных формах, шла революционная борьба народовольцев. Многие из либералов того времени, ощущая собственное бессилие, поддались обаянию этой героической борьбы кучки молодежи, жертвовавшей своими жизнями за благо народа, как они его понимали. К числу таких либералов принадлежал и В.К., несмотря на то, что всякое насилие так не гармонировало с его духовным обликом. Среди его знакомых было немало террористов, которых он укрывал от властей в своем крымском имении, а Софья Перовская даже служила одно время у него фельдшерицей в больнице губернского земства, проживая по фальшивому паспорту.

При вступлении на престол Александра III тайная организация либеральных земцев, к которой В.К. принадлежал, решила провести через губернские земские собрания обращения к новому императору с указанием на необходимость введения в России конституционного образа правления. С проектом такого обращения он и выступил в таврическом земском собрании 1881 года.

Хотя собрание отвергло большинством голосов его предложение, он все же был арестован, а затем выслан из Крыма под гласный надзор полиции. С этого момента надолго прерывается общественная деятельность В. К. Семь лет ему пришлось прожить под гласным надзором в Юрьеве, без права въезда в столицы и в Крым. Само собой разумеется, что он не сидел без дела и за это время составил фундаментальное руководство по виноградарству и виноделию, впоследствии выдержавшее несколько изданий.

В 1889 году он наконец получил разрешение переселиться в Петербург, где городская Дума избрала его мировым судьей. Однако сенат, на утверждение которого по закону представлялись мировые судьи, его не утвердил в этой должности, получив от департамента полиции сведения о его связях с народовольцами. И опять этот горевший общественной энергией человек остался не у дел. Прожив года два в Петербурге, он уехал в свое имение на южный берег Крыма и 10 лет занимался там хозяйством.

Только в 1903 году, когда В. К. было уже 66 лет, он наконец снова получил возможность заняться общественной работой: ялтинское земство выбрало его председателем управы, а губернатор не без колебаний согласился его утвердить. Опять любимое дело закипело в его руках. За 9 лет его управления ялтинское земство совершенно преобразилось и по своим культурным учреждениям заняло среди русских земств видное место: образцовые больницы, усиленное школьное строительство, постройка огромного ночлежного приюта для пришлых рабочих в Алуште, учреждение кассы мелкого кредита и т. д. – во всем проявлялась творческая энергия и неукротимая работоспособность замечательного старика.

75-ти лет В. К. был избран в Государственную Думу и работал в ней до революции 1917 года. В образовавшемся после переворота Комитете Государственной Думы он занимал должность казначея. Помню, как в первые дни революции, когда в Петербурге бастовали трамваи, он ежедневно отправлялся пешком с Петербургской стороны, где мы жили, в Таврический дворец, делая в оба конца не менее 12-15 километров. Мало кто из его сверстников (ему исполнилось уже 80 лет) имеет достаточно сил для таких прогулок.

Последние четыре года своей жизни, во время гражданской войны, В. К. жил в Крыму, в своем имении, и умер в начале 1922 года.

Приведенные мною краткие биографические сведения еще мало говорят об этом примечательном человеке. За всю мою долгую жизнь я не встречал никого, кто бы обладал в такой полноте, как он, какой-то необыкновенной внутренней гармонией, создававшей исключительную ясность во всех его отношениях к людям. Здоровое тело, здоровый разум и здоровый дух были основой этой внутренней гармонии. Ни одно из этих трех начал человеческой природы не преобладало и не угнетало других, вследствие чего он может считаться подлинно совершенным человеком.

За тридцать лет моего близкого знакомства с ним я ни разу не помню его больным. Всегда бодрый, свежий, работоспособный. Он легко мог не спать несколько ночей подряд, мог подолгу не принимать пищи, и все такие лишения нисколько не уменьшали его жизненной энергии. Но если спал, то спал как убитый, а ел все, что перед ним ставили на стол. В 75 лет, будучи председателем ялтинской земской управы, он еще делал верхом по много верст, объезжая горные деревни своего уезда, и только раз сказал мне: "Езда меня не утомляет, но сегодня в первый раз почувствовал головокружение, проезжая по тропинке над обрывом. Очевидно, начал стареть". Пешком же в это время он ходил в гору без всякой одышки. Всякая физическая работа была ему легка и приятна. Живя и хозяйничая в своем имении, он всегда был в работе: колол дрова, чинил заборы и исполнял разную столярную и плотничью работу. И все спорилось в его ловких руках. Оставался силен физически до глубокой старости. В 83 года еще работал топором и пилой.

В. К. обладал умом преимущественно практического характера, не склонным к отвлеченному мышлению. Я бы сказал, что он был не так умен, как безукоризненно разумен. Он мыслил всегда конкретно, ясно и четко, отвергая в области рассуждений всякую зыбкость и неопределенную интуитивность. Смолоду усвоив материалистическое мировоззрение, дополненное контовским позитивизмом, он остался ему верен до старости. Отрицал в человеке всякое высшее духовное начало и глубоко был убежден, что все люди в своих поступках руководствуются лишь эгоистическими побуждениями. Свою общественную и частную жизнь, полную любви к людям и самопожертвования, объяснял тем, что ему так жить "приятно", и был совершенно убежден в отсутствии принципиальной разницы между эгоизмом и альтруизмом, и что лишь социальная жизнь человечества в своей естественной эволюции постепенно наполняет эгоистические побуждения людей альтруистическим содержанием.

Между его материалистическими взглядами и духовным содержанием его личности была непроходимая пропасть, искусственно заполнявшаяся им довольно-таки наивными рассуждениями, но сам он не ощущал этого, а потому гармоничность его личности не нарушалась.

Я не знал человека, более проникнутого чувством долга и глубокой любви к человеку – ближнему и дальнему. Был идеальным семьянином. Обожал свою жену, которая была старше его на 4 года и состарилась умственно и физически гораздо раньше него. Это была милая, хорошая женщина, но, получив "светское" воспитание, была непрактична и неработоспособна, а любила сентиментальные и выспренние разговоры. В. К. любовался ею и старался ее избавить от всяких забот. Когда у них пошли дети, не

она, а он вставал к ним ночью и убаюкивал их, а когда они подрастали, играл с ними в разные игры, посвящая им редкие часы отдыха. Словом, для детей он был не только отцом, но в значительной степени и матерью. И понятно, что в семье Винбергов, не в пример другим семьям, не мать находилась в ее центре, а отец. И дети, очень любившие свою мать, отца все же любили сильнее и крепче. А когда они подросли, он сделался их ближайшим другом, входя во все их интересы и обдумывая вместе с ними все их намерения и дела. Неизменно бодрый, веселый, уравновешенный, он никогда не наказывал детей, даже не повышал на них голоса, но его слово было для них законом, а авторитет непререкаемым. Таким же авторитетом он пользовался впоследствии у своих многочисленных внуков, которым их дедушка представлялся каким-то высшим существом.

У людей, настолько любовно вросших в свою семью, в большинстве случаев общественные интересы отходят на задний план. В. К. в этом отношении составлял редкое исключение. Его хватало на все, и общественная работа была для него не только призванием, он ощущал ее как обязанность, как долг.

Я знал многих так называемых общественных деятелей, вся жизнь которых проходила в заседаниях, совещаниях или в произнесении речей. В. К. был в другом роде: он не только "заседал", но и работал. Всякое дело, за которое он принимался (а инициативы у него было много), он изучал и обдумывал во всех деталях, а когда к нему приступал, то не только руководил работой, но и сам принимал в ней участие. Это качество во все разраставшемся земском деле становилось даже отчасти недостатком: не было возможности везде поспеть и во все проникнуть. На отдых не оставалось времени. Мне приходилось видеть его на работе на восьмом десятке его жизни, в Ялте. Люди, знакомые с земской деятельностью, знают, в какой ежедневной сутолоке она происходила, благодаря тому, что земства (я имею в виду земства активные) стояли в центре всей местной общественной жизни, а земское хозяйство состояло из самых разнообразных отраслей. День председателя управы проходил поэтому в чрезвычайно нервной обстановке: заседания управы, школьного и санитарного советов, доклады разных ответственных служащих, прием просителей, сношения письменные и личные с администрацией, иногда – поездки по неотложным делам, и т.д. У В. К. было кроме того особое дело, отнимавшее у него массу времени и связанное с исключительной популярностью его среди местного татарского населения. Татары звали его – "наш дедушка". И они приходили к "нашему дедушке" из ближних и дальних деревень за юридическими советами. В. К. терпеливо их выслушивал и, наведя справки в законах и сенатских решениях, давал им нужные советы. Часто татары совещались с ним и по своим семейным делам, и в этих случаях каждый получал совет или слово

сочувствия и утешения. Эти семейно-юридические консультации возникли уже давно, когда он жил в своем имении, лишенный права общественной деятельности, а когда он стал председателем управы — отнимали значительную часть его рабочего времени. Но отказать татарам в советах он не считал себя вправе, да и сам увлекался своей деятельностью вольного юрисконсульта.

Появлялся В. К. в управе ежедневно раньше всех служащих, в 8 часов утра и раньше, уходил последним. А затем, наскоро пообедав дома, снова возвращался в управу. Ялтинские жители, проходя мимо управского здания в 11-12 часов вечера, постоянно видели в светящемся окне седую голову старика, склоненную над ворохами бумаг. Работал он не менее 12-ти часов в сутки, часто отдавая работе и значительную часть воскресного отдыха. Его пример заражал служащих, которых он никогда к работе не принуждал, и все работали охотно, испытывая на себе огромное влияние его нравственного авторитета.

Только такой гармонически построенный человек, как В.К. Винберг, мог в глубокой старости так работать, как он. Не помню, чтобы он когда-либо сказал — "я устал", не помню, чтобы он позволил себе заснуть среди дня, не помню, чтобы он попросил кого-либо из детей и внуков пойти куда-нибудь или сделать что-нибудь за него. В последние годы его жизни дети и внуки всячески старались избавить его от лишней работы и забот, но им приходилось оберегать его так, чтобы он этого не заметил.

Лишь во время гражданской войны, когда ему перевалило за 80, он стал иногда задремывать, сидя в кресле после обеда. Но эти признаки своей старческой слабости упорно старался скрыть, и мы делали вид, что этого не замечаем.

Умер В.К. Винберг в Крыму, когда я был уже в эмиграции. Но знаю от своих детей, живших тогда с ним, что еще за две недели до смерти он работал по хозяйству.

Ему, старому либералу и законнику, трудно было приспособиться к большевистскому режиму первых лет революции. Он тщетно искал в установившемся образе правления каких-либо общих норм и принципов, чтобы положить их в основу своих отношений с новой властью, и совершенно растерялся, не видя вокруг себя ничего, кроме грубого насилия. Тем не менее, когда его имение было превращено в совхоз и его назначили управляющим, он с исключительной добросовестностью и честностью исполнял свои новые обязанности.

Не случись революции, этот могучий старик, здоровый телом и духом, прожил бы еще с десяток лет, но с революцией на него обрушились несчастья. Конечно, не бедность, не голод (приходилось и голодать) подорвали его богатырские силы. Материальные лишения он переносил бодро и легко. Но старческое сердце, хранившее глубокие привязанности, в особенности к своим семейным, не

выдержало тревоги за них, когда большевики арестовали его сына, дочь и нескольких внуков и грозили им смертной казнью. Вскоре после их ареста, просидев и сам в тюрьме две недели, он стал заметно слабеть умственно и физически, а однажды заснул и более не проснулся.

Характеризуя В.К. Винберга, мне волей-неволей пришлось нарушить хронологию моего повествования и коснуться событий, происходивших через тридцать лет после времен моего студенчества. Теперь возвращаюсь к этим временам.

Когда я познакомился с Винбергами, В.К. было под шестьдесят лет, но его молодая душа находила больше созвучия в молодом поколении, которое, как магнитом, притягивалось к нему и к его дружной семье. Поэтому у Винбергов собиралась преимущественно радикальная молодежь – молодые приват-доценты, писатели, студенты. Разговоры вращались преимущественно вокруг политических вопросов. Иногда собрания носили полуконспиративный характер.

Были у Винбергов приемные вечера, но и в любое время у них всегда можно было застать какого-либо завсегдатая. Среди их гостей помню будущего академика С.Ф. Ольденбурга и его брата, сестер Ленина – Ульяновых (бывал и будущий Ленин, но его я тогда не встречал), П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Соколова, семью Беренштамов и др. Многие из названных лиц и других посетителей этой семьи впоследствии приобрели известность в науке и в общественной жизни.

Бывая у Винбергов, я сразу почувствовал огромное нравственное влияние старика, в котором так естественно и прочно связывались его радикальные убеждения с велениями нравственного долга. Но я не знал еще, что его семья скоро станет моей собственной семьей.

В период моего университетского учения я два лета провел в путешествиях со своим товарищем А.Н. Потресовым. Оба эти путешествия много способствовали расширению моего кругозора.

Первое путешествие мы предприняли в 1889 году на Парижскую выставку. Я и раньше несколько раз бывал за границей с матерью, но в сознательном возрасте впервые знакомился с европейской жизнью.

Проездом через Дрезден, мы побывали в знаменитой Дрезденской галерее, и перед Сикстинской мадонной моей душе внезапно стали доступны подлинные эстетические эмоции, прежде ограничивавшиеся впечатлениями от реалистической живописи.

В шумном, веселом Париже мы впитывали в себя самые разнообразные впечатления: Лувр и международное разнообразие всемирной выставки, ночные кабачки и Палата депутатов, где в это время шла борьба между республиканцами и буланжистами и т.д.

Мы попали в Париж как раз в период подготовлявшегося франко-русского союза и все возраставших в связи с этим симпатий французов к России и русским. Поэтому мы особенно радушно были

приняты в ассоциации парижских студентов, помещавшейся в Латинском квартале, в собственном доме. С завистью мы осматривали это свободное студенческое учреждение, имевшее ресторан, большую библиотеку с читальней, залы для игр и гимнастики и пр.

Студент, президент ассоциации, пригласил нас на раут в честь приехавших на выставку чешских студентов. Сидя в густой толпе, мы слушали приветствия, которыми обменивались студенты чешские и французские. Вдруг председатель ассоциации встал со своего места и, заявив, что на рауте присутствуют русские студенты, произнес нам приветственную речь. Приходилось отвечать. После тщетных усилий с моей стороны заставить говорить моего товарища Потресова, я встал и что-то пролепетал на французском языке. До тех пор я и по-русски никогда не говорил речей, а потому мой французский лепет едва ли был красноречив. Тем не менее речь моя была покрыта бурными аплодисментами и раздались крики: "L'hymne russe, l'hymne russe!" Откуда-то появились ноты русского гимна, и один из студентов сел за рояль.

В России мы, радикальные студенты, относились к гимну русского самодержавия враждебно, но в Париже не решились протестовать против его исполнения, и, скрепя сердце, пришлось выслушать его стоя. Это был первый урок международной корректности, который я получил.

А через несколько дней в "Новом Времени", ведшем тогда германофильскую кампанию, появилась корреспонденция из Парижа, в которой говорилось, что парижская ассоциация студентов чествовала каких-то двух жидов, которые, назвавшись представителями русского студенчества, произносили франкофильские речи.

За границей мы, конечно, накупили всяких нелегальных книг и брошюр и две недели провели на берегу Ламанша, в Нормандии, взасос читая Герцена, тогда еще запрещенного в России. Благодаря Герцену, мои радикальные политические настроения впервые приобрели социалистическую окраску.

На следующий год мы совершили большое путешествие по России. Проехали по Волге и Каме, а затем пробрались на Урал, где осматривали железные заводы и золотые россыпи. В Нижнем Новгороде мы познакомились с Н. Ф. Анненским и В. Г. Короленко. С тех пор с первым из них у меня на много лет завязалось знакомство, а через него — связь с сотрудниками "Русского Богатства", одним из редакторов которого он состоял.

Я окончил университет в 1891 году. Если день окончания гимназии вспоминается мне как один из счастливейших дней моей жизни, то с окончанием университета у меня были связаны чувства иного рода. Тревожили вопросы: куда деваться? Что делать? Ту часть молодежи, к которой я принадлежал и которая считала себя "интеллигенцией" par exellence, совершенно не интересовал

вопрос о личном устройстве и материальном преуспеянии. Я имел небольшие средства для безбедного существования, но и те из моих товарищей, которые никаких средств не имели, столь же мало заботились о своих будущих заработках.

В соответствии с нашими взглядами, главной нашей задачей в жизни была общественная польза, работа на благо народа. Само собой разумеется, что каждый из нас в глубине души мечтал об известности и славе, но эти тайные эгоистические мечты, в которых не всякий бы признался, были как бы придатками наших альтруистических побуждений.

"Работа на благо народа" — формула отвлеченная, которую как-то нужно облечь в конкретное содержание. Нужно избрать какую-то определенную деятельность, в которой можно, в соответствии со своими способностями, принести наибольшую пользу. Выбор затруднителен. Давно уже думал об этом, но пугался ответственности решения и отсрочивал его. Помню, как я жалел, что еще при жизни матери был, как единственный сын, освобожден от воинской повинности, которая дала бы мне возможность еще на год отсрочить вступление в практическую жизнь.

Наши убеждения очень ограничивали для нас выбор будущей деятельности. Конечно, всякий из нас мог поступить на государственную службу, ибо тогда не было перепроизводства интеллигенции и спрос на чиновников с высшим образованием был неограничен. Но этого рода карьера была для нас неприемлема. Мы с презрением говорили о "хождении в чиновничество" наших предшественников, разочаровавшихся в революции радикальных студентов 80-х годов. Мы рассуждали так: власть правительства враждебна народу. Поэтому всякий чиновник, находящийся на государственной службе, хотя бы и общеполезной, в конечном счете приносит народу вред уже тем, что усиливает правительственную власть. Кроме того, мы видели перед собой целый ряд примеров того, как люди самых левых убеждений, поступив на государственную службу, постепенно привыкали к компромиссам и теряли свой оппозиционный пыл.

Какие же поприща деятельности нам оставались? Наука, литература, искусство — это были, конечно, с нашей точки зрения, почтенные профессии, в которых можно было принести много пользы, не запятнав себя компромиссами. Педагогическая деятельность также была приемлема с этой точки зрения. А затем оставалась наиболее привлекательная, но в достаточной степени неопределенная "общественная деятельность", непременно, как нам казалось, оппозиционная или революционная по отношению к существовавшему строю.

Выбор был труден, и невольно хотелось отложить решение.

Глава 5

ГОЛОДНЫЙ 1891–1892 ГОД

Общественное движение, возникшее в голодный год, и борьба с ним правительства. Студенческая организация помощи голодающим. Споры о голоде в кругах радикальной интеллигенции. Мы с В.Д. Протопоповым открываем "движение в народ" петербургской молодежи. Наша работа в Богородицком уезде Тульской губернии и знакомство с земскими деятелями. Л.Л. Любенков, Н.В. Чехов и граф В.А. Бобринский. Переезд из Тульской губернии в Николаевский уезд Самарской губернии. Первые впечатления. "Пшеничная рулетка" как одна из причин голода. В мире легенд. Попытки революционной пропаганды. Неудачная попытка культурного воздействия на темные массы. 300 рублей и их достижения. Конокрады. Около холерного бунта. Прощание с Николаевским уездом. Доклады о голоде на конспиративном собрании в Петербурге. Пребывание на голоде оказало влияние на мои взгляды и на выбор деятельности.

Не долго мне пришлось учиться на юридическом факультете. Пробыв на нем три месяца, я даже не успел приступить к занятиям. Отвлекали другие дела.

В 1891 году в центральной и восточной России был полный неурожай хлебов. Земские собрания неурожайных губерний возбуждали ходатайства перед правительством о продовольственных ссудах, но ходатайства эти либо отклонялись, либо удовлетворялись в далеко не полной мере. Крестьяне начинали голодать. В Петербурге получались письма из разных губерний с описанием крестьянской нищеты и голода, но сообщать о голоде в печати было запрещено цензурой. Передавали, что Александр III на докладе одного из министров, в котором упоминалось о голодных крестьянах, сделал пометку: "У меня нет голодающих, есть только пострадавшие от неурожая". Эта формула была принята в руководство цензорами, которые вычеркивали из газетных столбцов слова "голод", "голодающие" и заменяли их словами – "неурожай" и "пострадавшие от неурожая".

Официальный запрет говорить о бедствии, происходившем у всех на глазах и волновавшем широкие круги столичного общества,

не только не действовал успокоительно, как того хотело правительство, а вносил еще больше волнения, раздражения и беспокойства, ибо слухи, бороться с которыми правительство было бессильно и которым верили, даже преувеличивали размеры голода. Создалась целая "подпольная литература" из писем с описанием голода, которые переписывались или гектографировались и распространялись во множестве.

В Петербурге образовались кружки для сбора денег в пользу голодающих, и собранные средства отправлялись на места тем или другим местным жителям, на свой страх и риск приступавшим к устройству столовых и пекарен.

Местные власти по предписанию из Петербурга пытались бороться с возникавшей везде частной инициативой по помощи голодающим. Происходили аресты, высылки...

Однако, ни строгая цензура газет, ни административные кары не могли остановить общественного движения. Правительству пришлось уступить. Голод был официально признан, ссуды земствам увеличены. Правительство сделало было попытку монополизировать все дело частной благотворительной помощи голодающим в руках официального общества Красного Креста, но и эта плотина была прорвана. Жертвователи не доверяли Красному Кресту и продолжали посылать деньги на места частным лицам. В частности, огромные суммы посылались Льву Толстому, организовавшему помощь голодающим в Тамбовской и Самарской губерниях.

Сборы стали производиться и в университете. Хотя организация частной помощи голодающим, благодаря нелепому отношению правительства, приняла так сказать оппозиционный оттенок, однако левое радикальное студенчество вначале относилось к этому делу отрицательно. В кругах революционных или сочувствовавших революции на голод уповали как на революционный фактор. Поэтому многие придерживались формулы "чем хуже — тем лучше" и высказывались против участия левой революционной интеллигенции в борьбе с голодом. Благодаря таким настроениям, господствовавшим в левом студенчестве, инициатива сбора в пользу голодающих в университете попала в руки кружка умеренно-прогрессивных студентов, в составе которых припоминаю А.А. Куломзина (впоследствии губернатор), Д.В. Философова (впоследствии известный публицист) и В.Д. Протопопова. Из радикальной части студенчества, насколько помню, присоединились к этому кружку лишь братья Винберги и я.

С разрешения инспекции в университетском коридоре был поставлен стол, за которым мы устраивали дежурства и собирали довольно крупные суммы. Студенческая организация помощи голодающим была связана с целым рядом частных кружков столицы, производивших аналогичные сборы. Участники этих кружков получали много писем из голодающих районов, в которых

говорилось, что на местах не хватает работников для организации планомерной помощи. Письма эти меня очень волновали. Я поступил на юридический факультет, загипнотизированный мыслью о "пользе", которую я принесу народу, предварительно изучив политическую экономию. И невольно возникал вопрос о том, что в погоне за этой отвлеченной "пользой" я отказываюсь от случая принести вполне реальную пользу, к которой призывают меня письма из провинции. Некоторое время я колебался, но чувствовал, что в борьбе между отвлеченной и реальной пользой последняя окажется победительницей.

На вечерах у Винбергов в это время шли горячие споры о голоде и его политических последствиях. Споры эти очень напоминали позднейшие эмигрантские споры об оборончестве и пораженчестве. И в них также создался целый разворот мнений, которые кратко можно формулировать так: "свергать, не кормя", "свергать кормя", "кормить, свергая" и "кормить, не свергая".

Старый В.К.Винберг горячо доказывал, что интеллигенция должна принять участие в голодной кампании не только по требованию общечеловеческой морали (он резко осуждал аморальную формулу "чем хуже – тем лучше"), но и по политическим соображениям. Я всецело был на его стороне, а потому и решил обратиться к нему за советом о том, ехать или не ехать. Я заранее знал, что он скажет (потому к нему и обратился), и не ошибся. "Конечно, поезжайте, – сказал он мне, – большое дело сделаете". И тут же сообщил, что богородицкое земство Тульской губернии ищет двух добровольцев из молодежи в помощь земской управе по борьбе с голодом.

Через несколько дней мы с моим новым приятелем, студентом В.Д.Протопоповым, выехали из Петербурга. На Николаевский вокзал нас пришло провожать много народа, главным образом – студенты университета. Мы были первыми добровольцами из петербургской молодежи, отправившимися на борьбу с голодом.

Наш пример оказался заразительным. Вскоре после нас молодежь валом повалила в голодные места и поездки на голод приобрели характер целого "движения", своего рода "хождения в народ".

Первоначально мы направились в город Богородицк Тульской губернии и стали там работать при земской управе, объезжая нуждающиеся деревни, составляя списки голодающих семей и определяя размер земской ссуды для каждой из них. Здесь, в Богородицке, я в первый раз близко познакомился с земской работой, которой впоследствии мне много лет пришлось заниматься, впервые познакомился я и с провинциальной жизнью.

Вся работа в богородицком земстве держалась на трех лицах – на члене управы Л.Л.Любенкове (сын известного московского мирового судьи), на служащем управы В.Н.Чехове (известный впоследствии деятель по народному образованию) и на предводителе

дворянства графе В. А. Бобринском (впоследствии лидер националистов в Государственной Думе). Все трое были совершенно различными людьми. Любенков, выросший в средней помещичьей среде, сын либерала-шестидесятника, был типичным либеральным земцем с народническим оттенком. Ходил в косоворотке и высоких сапогах, любил чаепития с бесконечными спорами, но, резкий в своих суждениях, был органически неспособен к серьезной и выдержанной борьбе.

Н. В. Чехов – типичный радикальный интеллигент 80-х годов, когда после разгрома Народной Воли молодежь, прежде заполнявшая кадры революционеров, с пылом принялась за так называемые "малые дела", за культурную работу. Свято сохраняя свой социалистический образ мыслей, он в практической работе делал неизбежные компромиссы, старался быть в добрых отношениях со всей его окружавшей средой, но упорно добивался осуществления тех практических задач, которые перед собою ставил.

В. А. Бобринский – представитель высшей аристократии, той культурной ее части, которая сохраняла независимый образ мыслей и жизни. Эта независимость легко приобреталась благодаря богатству и связям. Он получил образование в Англии, куда переселились его родители, изгнанные из России за сектантскую проповедь. Пробыв полгода студентом московского университета и выйдя из него с протестом после того, как во время беспорядков 1887 года власти отказались его, графа Бобринского, арестовать вместе с товарищами, В. А. поступил вольноопределяющимся в лейб-гусарский полк. Там он сдал офицерский экзамен и служил вместе с будущим царем Николаем II, а затем, избранный предводителем дворянства Богородицкого уезда, вышел в отставку и поселился в Богородицке, во дворце, некогда построенном Екатериной II своему незаконному сыну, родоначальнику всех графов Бобринских.

Мне передавали, что планировка города происходила одновременно с постройкой дворца так, что все улицы расходились от него радиусами в соответствии с расположением окон. Усадьба и огромное имение, к ней принадлежащее, находились в совместном владении многочисленной семьи Бобринских, состоявшей из нескольких братьев и сестер. Старший из них, Алексей Алексеевич, тоже жил там с женой, Варварой Николаевной, урожденной Львовой, доводившейся мне троюродной сестрой, и с двумя детьми.

Екатерина Великая подарила своему сыну большую часть территории Богородицкого уезда. Эта громадная латифундия была поделена между двумя семьями ее потомков, из которых старшая линия владела главным дворцом с прилегающими землями, а младшая обосновалась в другом центре – селе Михайловском. Оба

имения имели свои сахарные заводы и свекловичные плантации, с которыми тесно переплеталась жизнь большей части населения уезда. Поэтому Бобринские себя чувствовали как бы его хозяевами. Так к ним относились и крестьяне, никогда не называвшие их по фамилии, а звавшие их графами Богородицкими и графами Михайловскими.

Когда я познакомился с В. А. Бобринским, это был еще совсем молодой человек, красивый, стройный, энергичный. Он с утра до вечера носился по уезду, организуя помощь голодающим крестьянам, и вел борьбу с тульским губернатором, систематически мешавшим его работе. Придворные и аристократические связи В.А.Бобринского делали его неуязвимым с точки зрения неблагонадежности, и в начале девяностых годов, когда правительство с особой энергией вело борьбу с земствами, в газетах часто мелькало его имя, как одного из видных молодых земских либералов, инициаторов всевозможных протестов против администрации. Впоследствии либерализм Бобринского не выдержал испытаний революции 1905 года. Аграрные волнения перебросили его в стан консерваторов, где он с такой же бурной страстностью повел борьбу против своих бывших союзников.

В Богородицком уезде мне впервые пришлось увидеть, как живут крестьяне центральной черноземной полосы. Впечатление было потрясающее: нищета, вонь, грязь и бесконечные униженные жалобы на тесноту и малоземелье. Значительная часть изб была с полураскрытыми, скормленными скоту соломенными крышами, а внутри был страшно спертый воздух от смеси запаха жженой соломы, которой топились печи, и скотского навоза. Ибо зимой крестьяне держали в своих жилых помещениях овец, телят, а иногда даже коров. Полы были земляные и влажные от наносимого на валенках снега. А в этой грязи копошились дети, большею частью босые и в одних рубашонках. Ежедневно я возвращался домой с головной болью от дня, проведенного в вонючих избах, в которых крестьянам приходилось жить с осени до весны.

Все же у меня составилось впечатление, что бедность богородицких крестьян хроническая и что в голодный год, при помощи земской ссуды, им живется лишь немного хуже обычного. К тому же работа наша по составлению списков нуждающихся приходила к концу. Поэтому мы с В.Д.Протопоповым охотно приняли предложение графа Ал.Ал.Бобринского перебраться в Николаевский уезд Самарской губернии, на его хутор Мордвиновку, и там организовать благотворительную помощь. Заволжье считалось районом, наиболее пострадавшим от неурожая, и оттуда приходили наиболее тревожные вести о голоде.

Не могу удержаться, чтобы не рассказать некоторых курьезных подробностей полученного нами от графа Бобринского предложения. Граф А.А.Бобринский (брат известного Вл.Бобринского, о

котором я говорил выше) и его жена Варвара Николаевна были оба людьми мистических настроений, до некоторой степени наследственных: его родители были сектантами, последователями английского проповедника Редстока, а ее отец, двоюродный брат моей матери, Н.Н. Львов, был увлеченным спиритом. В моем детстве он бывал у моей матери и устраивал столоверчения, а однажды, после смерти своей племянницы, юной княжны Прозоровской, привез моей сестре, которая была ее близкой подругой, от нее письмо с того света. Письмо это состояло из ряда банальных фраз на французском языке, а на конверте была наклеена американская марка. Моя мать, конечно, возмущалась этим пошлым обманом и негодовала на своего кузена за легковерие, но он решительно утверждал, что письмо продиктовали духи его друзьям – американским спиритам.

Эта давняя история вспомнилась мне, когда, поселившись в Богородицке, я стал бывать у дочери Львова графини Бобринской. В разговорах со мной она постоянно затрагивала религиозные темы, стараясь поколебать мои тогдашние материалистические взгляды.

Однажды, рано утром, ко мне явился ливрейный лакей графини и передал мне от нее записку с приглашением придти немедленно по весьма важному делу. Я застал ее в повышенном настроении, и вот что она мне рассказала: она только что получила от своего мужа из Москвы письмо, в котором он сообщает, что к нему явились два купца, Майнов и Решетников, и заявили, что во время спиритического сеанса духи им велели выдать в его, Бобринского, распоряжение два миллиона рублей на помощь голодающим. Ввиду этого он решил отправиться на голод в Самарскую губернию и предлагает В.Д. Протопопову и мне ехать с ним. Графиня посмотрела на меня торжествующим взглядом: "Согласны? – спросила она, а затем добавила: – Поезжайте, и я уверена, что этот удивительный случай приведет вас к вере".

Я ответил моей экзальтированной родственнице, что в духов не верю, но если купцы им верят и исполнят их приказание, то готов ехать. Однако я объяснил ей, что закупка муки на два миллиона рублей и распределение ее между нуждающимися требуют обширной организации и что мы втроем с таким делом не справимся. Поэтому было решено, что, пока ее муж будет оформлять в Москве дело с получением двух миллионов, я спишусь с петербургскими организациями помощи голодающим, а затем, как только деньги окажутся в нашем распоряжении, поеду в Петербург набирать нам в помощь группу молодежи.

Через несколько дней снова явился ливрейный лакей с вызовом к графине. Она, вся сияющая, протянула мне телеграмму от мужа, в которой я прочел: "Все идет хорошо". – "Эта телеграмма условная, – пояснила графиня, – и означает, что мой муж получил два миллиона".

Само собой разумеется, что на следующее утро я был уже в Москве и первым делом отправился к А. А. Бобринскому. Застал его полуголым, с наслаждением оплескивающим из умывальника свое богатырское тело холодной водой.

— Ну что, — спросил я его, — получили деньги?

Он не сразу ответил, продолжая плескаться и фыркать. Наконец, взяв полотенце, в свою очередь спросил меня:

— Какие деньги?

Я совершенно опешил...

— А купцы, а духи, а два миллиона?

— Вы про это? Тут какое-то недоразумение. Очевидно, жена что-то напутала.

— А ваша телеграмма?

— Я послал телеграмму о своем здоровье, только и всего.

Все это он говорил с таким видом, что я невольно усомнился в его вменяемости. Ведь о миллионах я слышал не только от его жены, но и от него, когда он приезжал в Богородицк из Москвы.

Делать было нечего. Но я настолько свыкся с мыслью о предстоящей мне поездке в самарские голодные места, что уже не мог от нее отказаться и поехал в Петербург собирать деньги. Собрав вместо миллионов 400 рублей, мы с Протопоповым туда и отправились. Потом деньги потекли к нам самотеком.

Месяца через два, когда мы уже жили на хуторе Бобринского в Николаевском уезде Самарской губернии, нас навестил его владелец. Вечером, когда мы улеглись и потушили свет, я вдруг услышал его голос из темноты:

— А знаете, В. А., я все-таки уверен, что два миллиона мы получим, и тогда вы уверуете в спиритизм.

Сумасшедший, решил я, и притворился спящим.

Так до сей поры я и не знаю, что в этой всей истории правда и что — фантазия ненормального человека.

Во всяком случае я рад, что, благодаря духам, я получил много ярких впечатлений, несомненно оказавших влияние на мое понимание русской жизни.

После убогих тульских деревушек с покосившимися грязными избушками самарские деревни меня поразили видом зажиточности и благосостояния. Самарские села и деревни по своей населенности не уступали уездным городам. Иногда с версту и более тянутся широкие деревенские улицы между двух рядов опрятных изб, крытых тесом, с украшенными резьбой большими светлыми окнами. Чисто и опрятно одетые крестьяне выгодно отличались от своих лохматых и грязных тульских земляков, да и держали себя независимее. Видно было, что еще недавно население жило здесь сравнительно хорошо. Но теперь в этих больших, опрятных избах люди страдали от недоедания и его последствий — цинги и куриной слепоты.

Если в средней России была применима кем-то сочиненная тогда крылатая поговорка — "неурожай от Бога, а голод — от царя", то в самарском голоде "царь" был менее повинен и население должно было винить главным образом себя. Действительно, наделы у крестьян были большие, аренда дешевая, земля плодородная. Все зависело от своевременного выпадания дождей. При благоприятной погоде урожаи бывали колоссальные, а при засухе — полные неурожаи. Эта неустойчивость урожаев, при обилии надельных и арендных земель, способствовали развитию пшеничной спекуляции. На посевах пшеницы спекулировали все — помещики, купцы, священники, сельские учителя, писаря и, конечно, все крестьяне. Каждый старался засеять весной возможно большую площадь, рискуя в этой "пшеничной рулетке" последней копейкой, последним зерном. Иногда в какие-нибудь два урожайных года бедняк становился богатым человеком, а один неурожай совершенно разорял вчерашнего богача.

Неурожай 1891 года был полный, семян не собрали. И вот крестьяне, выстроив себе в урожайные годы красивые и просторные избы, обзаведясь 6-8 лошадьми и столькими же коровами, постепенно проедали весь свой инвентарь (лошади продавались по 10-15 рублей за штуку) и во вторую половину зимы стали по-настоящему голодать.

Начав нашу работу с устройства пекарен в ближайших к нашему хутору двух деревнях, мы вскоре, благодаря щедро притекавшим пожертвованиям, значительно расширили свой район, и слава о нас пошла по всему уезду. Эта слава приняла легендарные формы. Крестьяне никак не могли понять, что мы приехали в эти глухие места как частные люди, побуждаемые естественным желанием помочь голодающим, не верили, что живем мы на собственный счет, а хлеб покупаем на деньги, тоже пожертвованные частными людьми. И вот создались всевозможные легенды, объяснявшие наше странное поведение более понятным для примитивной психологии образом.

По наиболее распространенной версии, мой товарищ Протопопов (импонировали золотые пуговицы его студенческого сюртука, блестевшие под распахнутым полушубком) был наследником престола, а я — не то его адъютантом, не то великим князем. Местный земский начальник рассказывал мне, как один из старшин его участка явился к нему с письменным рапортом, начинавшимся словами: "Неизвестная личность, именующая себя Протопоповым, ночевала у меня в волостном правлении..." Подавая этот рапорт, старшина добавил:

— Позвольте доложить вашему высокородию, что, служа в гвардии, я много видел высочайших особ, и между ними наследника цесаревича Николая Александровича. Так поверьте мне, что господин Протопопов — не кто иной как его высочество и есть...

Крестьян совсем не удивляло, что наследник живет на скромном хуторе, ночует там на сеновале, сам составляет списки нуждающихся, отвешивает хлеб и т.д. Они были убеждены, что такая простота жизни не больше, как маскарад, предпринятый царскими особами для лучшего проникновения в народную жизнь и народные нужды. Большею частью они пытались вывести нас на чистую воду всякими хитроумными разговорами, но иногда проявляли свою веру в наше царское происхождение совершенно откровенно.

Однажды, проезжая по степи, я увидел издали двух баб, бегущих мне наперерез и машущих мне, чтобы я остановился. Подойдя, они стали на колени и стали причитать:

— Мы к вашей милости... Вдовые мы, с малыми детками, сами знаете, как нынче кормиться... А обчество нам в казенном пособии отказало. Ходили к земскому — говорит, что ничего сделать не может... А тут видим — вы едете, решили вас просить: окажите божескую милость, прикажите, чтобы нам с детками хоть проса выдали...

Я объяснил бабам, что, не будучи начальством, никому ничего приказать не могу. Бабы встали с колен, хитро на меня посмотрели, и одна из них, более молодая и бойкая, ответила:

— Как это не можете. Вы все можете... Бают, царской крови будете...

Другой раз я оказался в еще более глупом положении: как-то я отправился верхом за сорок верст, в большое село Богородское для раздачи пожертвованной нам американцами муки. Остановился в волостном правлении и попросил поставить самовар. Мой приезд, конечно, заметили, и через пять минут явился ко мне волостной старшина, вытянулся в струнку и произнес, запинаясь:

— Ваше... Ваше... Извините, не знаю, как величать вас прикажете?

— Никак величать не нужно. Садитесь, будем чай пить.

Старшина неловко сел на кончик стула, от волнения обжигался горячим чаем и все время посматривал в окно. Выпив стакан, встал, поблагодарил, поклонился в пояс и вышел.

Вдруг я услышал гул голосов, посмотрел в окно и увидел, что со всех концов огромного села на площадь перед волостным правлением стекается народ.

Снова вошел старшина:

— Ваше вел... Ваше... ство, народ вас видеть желает.

Сконфуженный, выхожу на крыльцо. Вся площадь запружена народом. При моем появлении все снимают шапки и становятся на колени. Впереди на коленях стоит старик с белой окладистой бородой и, держа одной рукой над головой какую-то бумагу, другой бьет себя в грудь и говорит:

— Ваше царское, ваше царское высочество... Обижают народ, житья нет от земского... Явите милость, рассудите наше дело.

Уже не впервые меня принимали за особу царского происхождения, но на этот раз, неожиданно оказавшись перед коленопреклоненной толпой, требовавшей от меня справедливого суда, я совершенно растерялся. Пробовал объяснить им, что я не царь и не наследник, никакой власти над их начальством не имею и ничем им помочь не могу, но, видя, что никто мне не верит, беспомощно махнул рукой и скрылся за дверью волостного правления...

На следующий день я составил списки нуждающихся и раздавал муку. Крестьяне со мной не заговаривали о вчерашнем. Но что они обо мне думали?..

Порой молва несколько снижала наше высокое звание. Убедившись, что мы не цари, нас принимали все же за посланцев царя, свитских генералов. Так, однажды к нам на хутор пришли за 30 верст два крестьянина, которых становой пристав отправил под арест за какую-то провинность. Они подали мне прошение с ходатайством освободить их от ареста. Прошение начиналось так:

"Генералу Лейтенанту, Энералу Адъютанту и Кавалеру Орденов".

Таковы были легенды, нам благоприятные. Но создавались и враждебные. Так, ходили слухи, что мы приехали от "англичанки" сманивать народ в ее подданство. А то шептались о том, что мы слуги антихриста.

Как-то раз ранним утром к нам на хутор пришла женщина из далекой деревни. Мы еще спали. Увидела ее жена приказчика и спрашивает:

— Что надо? За пособием пришла?

— Нет, мне пособие не нужно, своего хлеба хватает.

— Что же тебе нужно?

— Посмотреть пришла на ваших-то.

— Что же на них смотреть? — Люди как люди.

— Да, люди... А вот бают, что они царской крови...

— Охота вам всякие басни слушать.

— А коли не царской крови, то бают — непременно антихристы...

Посмотрев, какое впечатление на собеседницу произвело высказанное ею предположение, баба добавила со вздохом:

— И то сказать, милая, с голоду и у антихриста поешь...

Весной в наши места понаехало много столичной молодежи. Одни помогали нам в кормлении голодных, другие (студенты медики и фельдшерицы) лечили больных тифом и цингой.

Это еще более способствовало распространению всевозможных легенд.

Клубок легенд, нас опутавших, сильно охлаждал мой революционный пыл. Конечно, главной целью своей поездки я ставил кормление голодных, но в петербургских кругах радикальной молодежи предполагали, что наша помощь произведет на крестьян иное впечатление: царь мол не кормит, или плохо кормит, а вот приехали его враги-студенты и накормили.

И вдруг нас объединили с царем, с антихристом, с "англичанкой".

В ближайших деревнях у нас все-таки завелись связи с отдельными более культурными крестьянами, через которых нам удавалось рассеивать окружавшие нас легенды.

Таких крестьян, с которыми можно было разговаривать вполне откровенно, было очень мало. Особенно дружеские отношения у меня завязались с крестьянской семьей Дворянкиных в 40 верстах от меня, в деревне Плюсковке, где я поселил позже меня приехавшего своего товарища В.А.Герда. Василий Дворянкин был красивый мужик с черной как смоль бородой и умными, хитрыми карими глазами. Он был неграмотен, но, благодаря исключительному уму, был одним из лидеров сельского и волостного схода и постоянно выбирался своими односельчанами для переговоров со всевозможным начальством по делам общества. Благодаря хлопотам Дворянкина, земство открыло в Плюсковке школу, которую окончили два его сына. Старший служил где-то волостным писарем, а младший, Михаил, мой ровесник, летом помогал отцу в хозяйстве, а зимой нанимался в приказчики к местному купцу и торговал красным товаром на зимних ярмарках.

Михаил Дворянкин любил чтение, покупал на ярмарках всякие дешевые книжки и читал их вслух. Отец часто слушал чтение сына и проявлял большой интерес ко всем областям знания.

Мы с Гердом часто беседовали с отцом и сыном Дворянкиными на социально-политические темы и радовались тому, что наша пропаганда находила благодарную почву. Особенно увлекался разговорами с нами отец. Когда он говорил о бесправном положении мужиков, о том, как ему самому приходится гнуть спину перед начальством, его умные карие глаза загорались огнем ненависти. Глядя на него в такие моменты, я представлял себе, что именно таким был Пугачев, который проходил когда-то самарскими степями.

Когда мы с Гердом после нового урожая покидали самарские степи, нам пришла мысль использовать торговые навыки Михаила Дворянкина, превратив его в книжного офеню. Михаил, влюбленный в книжки, охотно отозвался на такое предложение. Так как мы понимали, что сразу развернуть книжную торговлю среди неграмотного в своем большинстве населения невозможно, то решили, что Михаил должен соединить ее с торговлей красным товаром. А на закупку этого товара я дал ему взаймы 300 рублей; популярные же книжки мы выписали в кредит из магазина А.М.Калмыковой.

Уже в Петербурге я получил письмо от Михаила Дворянкина, что он начал торговлю, но что полиция отняла у него все книжки, хотя все они были разрешены цензурой. Так с первых же шагов прекратилось заведенное нами культурно-просветительное дело.

С полгода еще продолжалась наша переписка с молодым Дворянкиным. В последнем своем встревоженном письме он сообщил, что полиция производит о нас какое-то расследование и что в уезде ходят слухи о том, будто нас "провезли по городу в черных повозках и казнили". Мир легенд, окружавший нас, когда мы появились в Николаевском уезде, не рассеялся, очевидно, и после нашего отъезда. Во всяком случае, боясь скомпрометировать своими письмами Дворянкина, я прекратил свою переписку с ним.

Прошло 15 лет. Я давно забыл про Михаила Дворянкина и про 300 рублей, которые когда-то ему одолжил.

Однажды, во время I-ой Думы, я сидел в думском ресторане и завтракал. Подходит лакей и говорит, что кто-то меня спрашивает. Я вышел в переднюю и увидел лысого человека с небольшой бородой, в длиннополом сюртуке купеческого стиля.

— Вы меня не узнаете, В. А., — спросил он.

— Признаться, нет.

— Я Михаил Дворянкин. Приехал по делам в Питер, и захотелось побывать в Думе и вас повидать, а кстати и уплатить вам мой должок.

Он вынул из бокового кармана толстый бумажник и выдал мне из него 300 рублей. Я повел его завтракать, и он рассказал мне свою биографию за истекшие 15 лет. После того, что у него отобрали книжки, его самого арестовали, но скоро выпустили за отсутствием состава преступления. Между тем, торговля красным товаром, закупленным на мои 300 рублей, у него пошла бойко. В несколько лет он составил себе капиталец и приобрел в Николаевске лавку. Дело все больше и больше расширялось. Его лавка превратилась в самый большой в городе галантерейный магазин. Он ведет большие дела с Москвой и Лодзью, ежегодно торгует на Нижегородской ярмарке. Политикой по-прежнему интересуется и состоит членом николаевского комитета кадетской партии.

Мы долго дружно беседовали, а расставаясь со мной, он очень звал меня в гости к себе в Николаевск.

Еще через пять лет, собирая материал о столыпинских хуторах для "Русской Мысли", я снова попал в Николаевский уезд и провел три дня в гостях у М.В. Дворянкина. Жил он скромно, но в хорошей городской квартире. В гостиной стояли шкафы с книгами, на столе лежали газеты и журналы. Дети его, внуки неграмотного деда, были гимназистами, старшая дочь кончила гимназию и собиралась в Петербург на высшие курсы. Мне приятно было сознавать, что мои 300 рублей не пропали даром. Вместо книжной торговли они создали поколение культурных людей.

Но возвращаюсь снова к голодному 1891-1892 году.

Когда был собран новый урожай и нужда в продовольствии прекратилась, у нас еще оставалось около двух тысяч рублей, и мы

решили употребить их на покупку лошадей для обезлошадевших за время голода крестьян ближайших к нам двух деревень. Вполне порядочную рабочую лошадь можно было тогда приобрести на ярмарке за 25-30 рублей. Купленных лошадей мы продавали безлошадным по пяти рублей за штуку, а вырученные деньги снова пускали в оборот для покупки следующей партии, и т.д.

За первой партией лошадей мы отправились на ярмарку в большое село Марьевку, за 60 верст. Мы знали, что если на ярмарке станет известно, что "комитет" (так нас называли крестьяне) закупает лошадей, то цены на них сразу увеличатся раза в полтора. Поэтому мы вели себя конспиративно: сидели в избе, а крестьяне, которых мы взяли с собой, ходили по ярмарке и производили закупки как будто от себя. Купив лошадей тридцать, мы на заре погнали их домой.

Был я тогда юношей, полным сил и здоровья, а потому испытывал величайшее удовольствие от этой поездки по степи верхом, без седла, на одной попоне. Скакал за отбившимися лошадьми, загоняя их в табун, и казался себе чем-то вроде ковбоя.

Поздно вечером, покрытые слоем черной пыли, усталые и голодные, мы пригнали наш табун к себе на хутор. Вызвали из деревни нескольких крестьян, которым предназначались купленные лошади, и поручили им караулить табун до утра. Сами же, сытно поужинав, завалились спать на сеновал.

Рано утром меня разбудили караульщики и сообщили, что одна лошадь пропала.

— Кто его знает, сколько раз за ночь просчитывали — все были, а как под утро снова считать стали — одной как не бывало... И как это мы не доглядели — ума не приложим.

— Что же она, убежала, что ли?

— Куды ей убежать. Свели, верно. Все Алимкины штуки, без него дело не обошлось.

Я знал этого Алимку, конюха деревенского табуна. Часто видел его лихо скачущим верхом по степи с длинным арапником в руке и наводящим порядок в своем огромном табуне. Вид у него был молодого русского богатыря — стройный красавец с вьющейся белокурой бородой. Был как-то и у него в избе, на краю деревни, когда составлял список детей для детской столовой. Он жил бедно, но чисто, имел такую же, как он сам, дородную красавицу жену и двоих детей. В его семье я как-то сразу почувствовал столь редко встречающуюся в крестьянских семьях атмосферу любви, связывавшую всех ее членов. Красивые родители были влюблены друг в друга, как новобрачные, и с большой нежностью относились к своим на редкость чистеньким краснощеким ребятам. И странно было представить себе, что Алимка профессиональный конокрад, еще месяц тому назад отбывавший тюремное заключение.

Конокрадство в самарских степях было больше, чем профессией. Конокрады составляли как бы особую касту, имевшую свои обычаи и законы, свои правила чести и морали. Население же относилось к ним со страхом, не лишенным, однако, уважения.

Правда, при поимке конокрада с поличным мужики с ним расправлялись самосудом самым жестоким образом. Избивали до полусмерти, а часто и до смерти. Таков был издревле установившийся обычай. Сами конокрады признавали этот обычай, считались с ним, и если возникали судебные дела об изувечении и убийстве конокрадов, то лишь по инициативе полицейских властей, а отнюдь не самих пострадавших или их родных. И население, среди которого жил конокрад, никогда не доносило на него властям, а предпочитало расправляться с ним самосудом, но только при самой покраже или уводе лошади. В прочее же время конокрад считался равноправным членом общества. Соседи, наравне со всеми, приглашали конокрадов на свадьбы или поминки и вообще вели с ними знакомство, как с вполне порядочными людьми, в то время как обычных воров, уличенных в краже у соседей зерна или домашнего скарба, презирали и сторонились их. Сами конокрады отнюдь не считали себя ворами. Конокрадство было для них не только средством существования. Они увлекались им, как спортом, сопряженным с опасностью и риском, в котором приходилось проявлять исключительную удаль, лихость и сообразительность.

Редко случалось, чтобы человек, ставший конокрадом, менял затем свою профессию на более мирную. Азарт конокрадства затягивал, как азарт карточной игры. И почти все конокрады, отбыв тюремное заключение, снова возвращались в свою касту, пока не попадались в какой-нибудь неловкой краже и не становились жертвами самосуда.

В самарских степях между кастой конокрадов и населением существовал как бы неписаный договор, заключавшийся в следующем: конокрад, нанимавшийся конюхом табуна, гарантировал хозяевам, что ни одна лошадь из его табуна не пропадет, и всегда честно соблюдал это условие. Ибо все конокрады были связаны друг с другом круговой порукой и ни один из них не имел права выкрасть лошадь из табуна, охраняемого товарищем. Но стоило какой-нибудь деревне или помещику нанять конюхом не конокрада, чтобы лишиться большей части своего табуна.

Понятно, что конюхами табунов, как помещики, так и крестьяне, нанимали исключительно конокрадов. И из табунов лошади не пропадали. Крали лошадей из дворов и усадеб, из обозов, расположившихся на ночлег и т. д. Табуны были неприкосновенны, но служили для укрывательства краденых лошадей. По ночам их перегоняли из табуна в табун и продавали где-нибудь на ярмарке верст за двести-триста. От момента кражи до продажи лошадь проходила через руки 10-15 конюхов-конокрадов. Вероятно, нужна

была очень сложная бухгалтерия для распределения барышей между участниками и укрывателями кражи.

Вот одним из таких удальцов-конокрадов был мой знакомый Алимка. Бусурманскую кличку, которая так не шла к этому чисто русскому красавцу, он, вероятно, получил от своих товарищей по профессии – киргизов, которых было очень много среди местных конюхов-конокрадов.

Я решил позвать Алимку и переговорить с ним наедине о пропавшей лошади. Он явился смущенный и сконфуженный. Его всегда веселое и улыбающееся лицо на этот раз было серьезно.

– Ей же Богу, не сводил я вашей лошади, – ответил он мне на ребром поставленный вопрос, нервно теребя руками свою фуражку. – Разве ж я не понимаю, что таких лошадей грешно сводить.

Очевидно, он намекал на благотворительный характер наших лошадиных покупок и хотел мне понравиться.

Я подхватил эту мысль и стал стыдить его.

– Не я, видит Бог, не я свел лошадь, – продолжал он твердить. И вдруг опять засиял своей добродушной улыбкой и, хитро подмигнув, добавил: – А знаешь что, барин, отпусти-ка ты со мной твоего кучера и пару лошадок под верх предоставь нам. Авось разыщем.

Через пять минут они ускакали в степь. А к вечеру вернулись и привели украденную лошадь.

Кучер мне рассказал, как они ездили от табуна к табуну, как Алимка о чем-то перешептывался со всеми конюхами и как, наконец, когда проехали верст сорок, сказал: "Айда домой". Кучер подумал, что приходится возвращаться с пустыми руками. И вдруг, отъехав верст пять от последнего табуна, он увидел возле дороги мирно пасущуюся лошадь. "Она самая", – спокойно сказал Алимка и ловким движением накинул на нее аркан.

Молва об этом замечательном случае и о моей таинственной власти над всесильными конокрадами распространилась по всему уезду. И вот, недели через две, пришла ко мне старушка. Приплелась пешком верст за сорок из деревни, в которой я никогда не бывал. Пришла и – в ноги. Плачет... – Заступись, кормилец. Рассказала, что у нее со двора свели лошадь.

– Одна лошадка у нас всего и была. Остатнюю свели, ироды. Мужики бают, будто видали меренка моего позавчерашней ночью в мордвинском табуне, у Алимки... Так вот я к тебе: уж будь милостив, прикажи Алимке, чтобы он мне меренка вернул. Без лошади семейству хоть помирать.

Я решил попробовать счастья и переговорить с Алимкой. Когда он пришел, я снова попытался играть на его добрых чувствах, стараясь разжалобить его судьбой бедной плачущей старушки. Оказалось, однако, что существует предел моему всемогуществу в деле

возвращения краденых лошадей. Алимка признался, что действительно два дня тому назад лошадь эту привели к нему в табун, но что она теперь уже далеко, под Оренбургом.

— Кабы ты раньше сказал — достал бы, ей Богу, а теперь и рад бы тебе услужить, да никак не выйдет, не догонишь.

Может быть он правду говорил, а может быть и лукавил. Во всяком случае не верить ему у меня не было оснований.

Незадолго перед моим отъездом из Николаевского уезда мне пришлось быть свидетелем глухого брожения, возникшего в поволжских деревнях в связи с появившейся холерной эпидемией.

Весной 1892 года эпидемия вспыхнула в Астрахани и оттуда стала постепенно распространяться вверх по Волге. Холеру разносили люди, в панике бежавшие из астраханского района, а с этими паническими людьми бежали и слухи, нелепые, зловещие и фантастические слухи о докторах, отравляющих колодцы, об агентах "англичанки", снабженных баночками с холерным ядом, о том, что в городах людей насильно сажают в "черные дома" и там убивают, и т.д. Мы, сколько могли, боролись с этими слухами. Собирали крестьян, читали им газеты, рассказывали им о том, что такое холера и как от нее уберечься: крестьяне нас слушали без возражений, но видно было, что они думают что-то свое, от нас скрывавшееся.

Как-то пришел ко мне знакомый крестьянин, бывший гвардеец, хорошо грамотный и вообще бывалый. Он находился в большом возбуждении, рассказывал мне всякие небылицы о холере, сообщенные ему татаркой, бежавшей из Астрахани, которую он встретил на дороге.

Я убеждал его не верить вздорным рассказам глупой бабы, но тщетно.

— Как же не верить, В. А., — говорил он, — ведь я ж с этой женщиной говорил вот так, как с вами теперь. И не с чужих слов она болтала. Сказывала, что ее самое в саван завернули и в гроб положили. Так живьем бы и схоронили, да народ за нее вступился. По дороге к кладбищу отбили...

Против столь "достоверных" свидетельских показаний спорить было невозможно.

Вскоре в наших местах стало совсем тревожно. В 70-ти верстах от нас, за Волгой, в Хвалынске, уличная толпа убила доктора во время санитарного осмотра базара. Участники этого кровавого действа бежали оттуда от преследования властей и скрывались в наших местах. Проходя по деревенской улице, я стал встречать незнакомых мне подозрительного вида людей, глядевших на меня исподлобья с вызывающим видом.

По рукам ходили таинственные "списки". Говорили, что это списки лиц, отравлявших колодцы. В них были помещены фамилии ряда известных в уезде купцов, земцев, земских начальников,

докторов. Было несомненно, что в подготовке холерного бунта участвовала какая-то организация. Но какая?

Списки, которые мне показывали, были написаны коряво, рукой полуграмотного человека. В подборе имен не чувствовалось никакой определенной тенденции. Пестрели в них имена правых и левых, местного начальства, народников-интеллигентов и сельских кулаков.

Что нужно было этим таинственным людям, подготовлявшим холерный бунт? Рассчитывали ли они поживиться чужим добром во время беспорядков? Сводили ли личные счеты с занесенными в списки людьми? Были ли это просто озорники, или говорила в них бунтарская кровь их предков, соратников Стеньки Разина? В самарских степях ведь жила еще легенда (мне ее рассказывали крестьяне) о том, что Стенька не умер, а со своим братом Фролкой бежал на Урал, где нечистая сила их запрятала в железную пещеру. Но придет время, когда братья снова выйдут на свет божий и снова пойдут гулять по Волге-матушке... Как бы то ни было, какая-то темная агитация была налицо и находила благоприятную почву. Народ волновался...

Приехав однажды по делу к земскому начальнику нашего участка А. А. Ушакову, я застал его в крайне нервном состоянии: он только что получил от грузчиков ближайшей волжской пристани полуграмотное письмо, в котором сообщалось, что народ приговорил его к смерти и что грузчики сами придут с ним расправиться.

Сам он не считал себя вправе дезертировать со своего поста, но семью отправлял в Самару. В соседней комнате шла спешная укладка вещей и горничная выносила в сени увязанные чемоданы...

Наконец и о нас стали поговаривать нехорошо. Гипотеза о нашем царском происхождении все больше уступала место гипотезе о том, что мы слуги антихриста. Нам передавали, что в соседнем селе Захаркине даже священник в разговорах с крестьянами поддерживал эту гипотезу.

Один мой знакомый захаркинский крестьянин в тайне от своих односельчан приходил ко мне с предупреждением:

– Не грех бы вам отсюда уехать: народ невесть что болтает; как бы чего не случилось. Вот наденьте мой армяк и шапку, да и айдате в Самару. Потом вернете с кучером. Так-то вернее будет... Господам нынче в дорогу пускаться вовсе неладно: за дохтура примут, али еще за кого... А мужиком всюду проберетесь.

Мне не пришлось воспользоваться услугами моего тайного доброжелателя. Холера распространилась по Волге, а затем и по всей России, но почему-то пощадила Николаевский уезд, где население готово было ее встретить бессмысленным бунтом. Народное возбуждение улеглось и темные слухи о нас прекратились.

Перед нашим отъездом из Николаевского уезда крестьяне нам подносили благодарственные адреса и служили благодарственные

молебны, на которых пели "многая лета" нам и ... царской фамилии. Адреса, написанные витиеватым стилем, долго хранились в моем письменном столе, но через 15 лет были отобраны у меня при обыске. Все же я запомнил из них некоторые характерные выражения. В одном из них крестьяне благодарили "Владимира Андреевича Оболенского и Владимира Александровича Герда за то, что они от голодной смерти нас спасали и от болезней наших излечили посредством сестры милосердия Питерской". Милая фельдшерица Е.Г. Питерская, выхаживавшая тифозных больных, не заслужила в качестве "бабы" благодарности крестьян, а за ее самоотверженную деятельность благодарили нас, представлявшихся им ее начальством. В другом адресе, составленном волостным писарем из бывших дьячков, велеречиво говорилось в церковно-славянском стиле о таких наших благодеяниях, что "око не виде, ухо не слыша и на сердце человеческо николи взыдоша". Когда волостной старшина после молебна, служившегося на площади огромного села Селезнихи, читал нам в присутствии собравшейся толпы крестьян этот высокопарный адрес, то, дойдя до слова "взыдоша", прослезился от умиления, а бабы в толпе завыли и стали причитать... А еще одна деревня постановила на сходе послать о наших подвигах статью в "Московский Листок", копия которой нам была вручена при торжественной обстановке. Статья тоже была чрезвычайно высокопарная. В ней говорилось, что мы кормили голодных "в бурю и непогоду, не щадя живота своего".

Осенью мы все, "ходившие в народ", снова собрались в своих городских центрах. В Петербурге кому-то пришла мысль подвести итоги. Было устроено собрание молодежи для заслушания наших впечатлений, на котором, кроме учащейся молодежи, присутствовали и более солидные люди. Среди них помню В.Г. Короленко. Большинство докладчиков категорически утверждало, что крестьяне настроены революционно и что революционная пропаганда встречала горячий отклик в крестьянских сердцах. Один студент сообщил, что вел с крестьянами систематические беседы по государственному праву и что все они вполне усвоили преимущества конституционного и республиканского образа правления по сравнению с самодержавием.

Я не мог не высказать своего скептицизма по поводу этих утверждений. Не отрицая, что с отдельными крестьянами и нам удавалось достичь взаимного понимания, я утверждал, что масса крестьянства живет еще в полной темноте и ни о каком сознательном революционном движении не может быть и речи. В подтверждение своего вывода я привел целый ряд иллюстраций из того мира легенд, который меня окружал во время голодной кампании. Мое выступление было встречено слушателями недружелюбно, а одна юная курсистка с милым личиком и горящими

глазками заявила: "Совершенно очевидно, что вы держали себя барином и не сумели подойти к народу".

Семь месяцев, проведенных мною на голоде, оказали большое влияние как на направление моих мыслей, так и вообще на всю мою будущую судьбу. Русская деревня по-прежнему осталась близка моему сердцу, но реальные крестьяне, хоть и симпатичные мне, утратили в моих глазах сходство с сентиментальными образами сусальных мужичков, о которых я читал в народнической литературе.

В постоянных разговорах с крестьянами я познакомился с их хозяйством и с общинными порядками, от которых получил самые отрицательные впечатления. Пресловутая русская община, считавшаяся народниками проявлением духа высшей справедливости, предстала передо мной в неприкрашенном виде, с постоянными раздорами и тяжбами, с кулаками и эксплуататорами и с вопиющим неравенством и несправедливостью.

По своим политическим настроениям я остался революционером, но мне стало до очевидности ясно, что упования русских революционеров-народников на темного крестьянина как на главного двигателя предстоявшей революции совершенно ошибочны.

Однако все это были мысли, еще не оформленные окончательно. Я чувствовал, что мои наблюдения еще слишком поверхностны, и решил в будущем их углубить, тем более, что все виденное мною в Николаевском уезде усилило мой интерес к крестьянской жизни. И впервые, обдумывая свою предстоящую деятельность, я связывал ее мысленно с земством, с работой которого я тоже познакомился, пробыв два месяца на голоде в Богородицком уезде Тульской губернии.

Глава 6

ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ (1892–1893)

Я еду продолжать свое образование в Берлин. Скромный Берлин того времени. Вильгельм II, играющий в солдатики. Интерес к политике мешает учению. Выборы в рейхстаг. Первая вспышка антисемитизма. Доктор Чермак и его семья. Синявский. Потухающий очаг православия под Берлином. Семинарий римского права, подготовляющий русских профессоров. Возвращение в Россию.

Работа на голоде нарушила мои учебные планы. Юридический факультет я рассчитывал окончить года в два, но год уже был потерян. Кроме того, я уже прикоснулся к большой практической работе и не хотелось надолго засаживаться за учебники. Поэтому я решил для пополнения своего образования ассигновать еще только один год, и с этой целью я поехал за границу и поступил в берлинский университет.

В Берлине я поселился в центральной части города, недалеко от университета, на Dorotheenstrasse, в скромном пансионе. Дешевизна жизни была тогда удивительная. За маленькую, но хорошо меблированную комнату с полным пансионом я платил всего 100 марок в месяц. Большинство русских студентов, селившихся преимущественно в районе Моабита, устраивалось еще значительно дешевле.

Из своего окна я часто наблюдал, как Вильгельм II, тогда еще молодой император, проезжал на рослой гнедой лошади из дворца в казармы своего любимого полка, который затем под своей командой выводил на прогулку по городу. Такой игрой в солдатики этот роковой человек забавлялся почти каждое утро.

Берлин был тогда еще одной из скромных европейских столиц. Лучшая часть нынешнего Берлина состояла из пустырей, отделявших от него пригород – Шарлотенбург. Новое здание рейхстага, подожженное впоследствии гитлеровскими провокаторами, тогда только строилось и было окружено лесами, из которых торчала его золотая верхушка. Об этой верхушке берлинцы острили: "Der Gipfel des Reichstages ist der Gipfel der Geschmaklösigkeit" – (верх рейхстага есть верх безвкусия).

Я несколько запоздал к началу университетских занятий. А между тем для поступления в университет от русских подданных требовалось предъявление свидетельства о благонадежности от прусской полиции. Знакомые предупредили меня, что получить таковое в ускоренном порядке невозможно, если не дать взятку, правда — в размере всего 2-3 марок. Это было неприятно. Мне и в России не приходилось давать взяток, и я не мог себе представить, как я дам взятку в "честной" Германии. Тем не менее, отправляясь в полицию, я сунул во внешний карман пальто три серебряных марки.

Меня принял аккуратно одетый чиновник интеллигентного вида. Взяв мое прошение, он заявил мне, что, к сожалению, начальник полиции болен, а потому раньше месяца я едва ли получу ответ.

Не решившись прямо предложить деньги этому почтенному с виду чиновнику, я положил руку в карман и, как бы нечаянно, звякнул в нем монетами.

Услышав этот соблазнительный звук, чиновник любезно улыбнулся и сказал: "Завтра получите свидетельство". Тогда я уже смело вынул три марки из кармана и положил перед ним на стол.

В те времена Германия славилась честностью, в особенности по сравнению со славянскими и латинскими странами, но оказалось, что полиция и в ней подкупна. А после войны 1914—1918 гг., в связи с голодным режимом и инфляцией, продажность крепко укоренилась в германском быту, а затем развилась на благодатной почве антисемитизма.

На следующий день, получив свидетельство о благонадежности, я пошел к ректору университета, знаменитому профессору анатомии и депутату рейхстага Вирхову для "имматрикуляции".

"Имматрикуляция" была университетским обычаем еще со средних веков. Состояла она в следующем: ректор созывал всех вновь поступающих в университет юношей и говорил им приветственную речь, после которой каждому пожимал руку. После этого обряда все поступающие провозглашались студентами и получали удостоверение на латинском языке, в котором говорилось, что "vir sapientissimus" такой-то зачислен в студенты.

Так как я опоздал к общей имматрикуляции, то мне пришлось отдельно явиться на дом к ректору. На мой вопрос — дома ли профессор, важный швейцар поднял палец и произнес: "Nicht Professor, Geheimrath" (не профессор, а тайный советник).

Вирхов был в рейхстаге одним из лидеров "свободомыслящих" — партии оппозиционной и демократической, а все-таки полагалось называть его не профессором или депутатом, а тайным советником. Насколько русские нравы при самодержавном режиме были демократичнее! Немало было тайных советников и среди русских профессоров, но звание профессора считалось много

почетнее генеральского, и ни у кого из студентов язык не повернулся бы назвать профессора "вашим превосходительством".

Меня принял маленький сухонький старичок, скороговоркой произнес приветствие и пожал руку. С этого момента я стал студентом берлинского университета.

В берлинском университете было много ученых с европейскими именами и блестящих лекторов. Я слушал главным образом экономистов, среди которых первое место занимал профессор Адольф Вагнер, основатель школы так называемых "катедр-социалистов". Он был как бы предтечей национал-социализма, хотя мыслил эволюцию национал-социализма в формах консервативной конституционной монархии.

Вначале я рьяно принялся за занятия, но ненадолго. Рейхстаг, отвергший ассигнования на увеличение вооружений, был распущен, и началась избирательная кампания. С приехавшим из России в качестве корреспондента моим петербургским знакомым В.В. Водовозовым я каждый вечер ходил на митинги и избирательные собрания, слушая политические речи знаменитых ораторов – Рихтера, Либкнехта, Бебеля и др. По сравнению с Россией Александра III современная ей Германия поражала меня своей политической свободой. Когда ораторы выступали с беспощадной критикой правительства, мне казалось, что в зал должна ворваться полиция и нас разогнать. Но толпа аплодировала, шумела, а присутствовавшие монументальные шуцманы с налитыми пивом животами только снисходительно ухмылялись.

Впрочем, в поведении полиции сказывалось разное отношение власти к различным партиям. Так, на митингах, на которых выступали консерваторы или национал-либералы, полиция дежурила на улице. На собраниях свободомыслящих полицейские присутствовали в публике, а на социал-демократических собраниях один из полицейских сидел на трибуне, за столом президиума. Рядом с ним на столе лежала каска. Если оратор злоупотреблял свободой слова, т.е. либо касался особы императора, либо призывал к революционным действиям, полицейский спокойно брался за каску и, надевая ее на голову, произносил сакраментальное слово – "geschlossen". Тогда митинг считался распущенным и должен был немедленно прекратиться.

Раз мне пришлось присутствовать на бурном собрании. Устроители его были социал-демократы, но на него сплошной толпой проникли "независимые социалисты" (немногочисленная партия, признававшая лишь "прямое действие", т.е. революционные методы борьбы, и отрицавшая борьбу парламентскую). "Независимые" ходили на собрания социал-демократов, срывая их всевозможными методами обструкции. Так действовали они и на этот раз: не давали говорить ораторам, кричали, шумели, мяукали. Настроение с обеих сторон было повышенное, казалось, вот-вот дойдет до драки. Но

когда шум и гам достигли апогея, сидевший на трибуне полицейский надел каску и спокойным голосом сказал – geschlossen. Этого было достаточно для того, чтобы разбушевавшиеся страсти моментально улеглись. Все встали со своих мест и спокойно разошлись по домам.

Тогда я пришел в восторг от такой дисциплины немецкой толпы, приписывая ее главным образом влиянию режима законности и свободы, отсутствовавшего в России. Теперь я понимаю, что дело тут было не в "законности и свободе", а в особенностях немецкого народа и его склонности к порядку и подчинению власти.

Особенно шумную кампанию вела вновь образовавшаяся тогда партия антисемитов. На одно из их собраний, несмотря на помещенное на афише предупреждение, что на собрание приглашаются "только немцы", я имел неосторожность пойти вместе со знакомым русским, похожим на еврея. Публика заметила нас, тем более, что мы разговаривали по-русски. Нас окружали толстые немцы с зверскими физиономиями, сжимавшие кулаки и хором кричавшие – "долой жидов". Воспользовавшись появлением на трибуне оратора, отвлекшего от нас внимание толпы, мы поторопились уйти, чтобы нас не избили.

Антисемиты, несмотря на шумную агитацию, провели тогда в рейхстаг всего двух-трех депутатов, а через несколько лет они совсем исчезли из политической жизни Германии, вытесненные из своих избирательных округов социал-демократами. Бебель тогда утверждал, что антисемитизм является порождением малой культурности масс. "Антисемитизм – это социализм дураков", – самоуверенно заявлял он. Ни он и никто другой не мог тогда себе представить, что через сорок лет, когда Германия стала еще значительно культурнее, звериный антисемитизм овладеет большинством немецкого народа.

В Берлине я встретил знакомого приват-доцента петербургского университета доктора Костенича, который ввел меня в кружок командированных за границу с научной целью врачей и юристов. Этот кружок собирался каждую субботу на чаепития в семье доктора Николая Карловича Чермака. Чермак, впоследствии ставший профессором юрьевского университета, был очаровательным человеком необычайной доброты и мягкости.

На субботах у Чермаков я встретился со знаменитым студентом Синявским, тем самым, судьба которого в 1887 году волновала русскую молодежь. Отбыв наказание в арестантских ротах, Синявский учился теперь в Берлине на медицинском факультете на средства, собранные для него в России.

Здесь он также прославился, и опять из-за пощечины, но уже не "политической", а по пьяному делу. Пощечину он дал какому-то студенту-еврею на русской студенческой вечеринке. Когда возмущенные товарищи потребовали от него извинения перед

оскорбленным, он стал на колени перед ним и, бия кулаком себя в грудь, сказал заплетающимся языком: "Смотрите все, как русский дворянин стоит на коленях перед жидом". Не удивительно, что этот бывший герой русской радикальной молодежи был после этого скандала зачислен в черносотенцы и исключен из товарищеской среды. Проспавшись, Синявский, конечно, сожалел о своем пьяном хулиганстве, но уже было поздно. С горя он запил, но на его счастье судьба свела его в одном из медицинских кабинетов с добрым Н.К. Чермаком, который сжалился над ним и ввел в свой кружок.

Синявский был, что называется, рубаха-парень. Добрый товарищ, охотник до спиртных напитков, но при этом очень недалекий и совсем малокультурный. Для меня стало ясно, что его студенческое бунтарство носило не идейный, а эмоциональный характер, и "героем", из-за которого несколько сот студентов поплатились своей судьбой, он стал совершенно случайно.

Так же случайно сложилась его семейная жизнь. Нанимая комнату у квартирной хозяйки, он завел роман с ее молоденькой дочкой Клэрхен. Вскоре Клэрхен забеременела, и Синявский, не лишенный известного благородства, решил на ней жениться. Бракосочетание, на котором я присутствовал в качестве одного из шаферов, происходило в русской посольской церкви. Посольский священник Мальцев совершил православный обряд на немецком языке, для того, чтобы Клэрхен сознательно к нему отнеслась.

Перевод этот сделал сам протоиерей Мальцев для православных немцев, потомков песенников Преображенского полка, подаренных Александром I прусскому королю Фридриху Вильгельму I.

Король построил для этих песенников, оказавшихся его собственностью, деревню возле Потсдама, женил их на немках, и от них пошли уже немецкие поколения. Однако русское правительство заботилось о том, чтобы немецкое потомство русских песенников сохраняло православную религию. Русская казна давала субсидии тем из них, кто оставался в православии, и в их деревне была сооружена церковь, в которой посольский священник обязан был раз в месяц совершать богослужение. С целью удержать этих немцев в православии протоиерей Мальцев и перевел богослужение на немецкий язык. Все эти меры в конце концов оказались мало действенными. В третьем и четвертом поколении русских песенников православие сохранила только одна семья Яблочковых, которая стоила русскому правительству довольно дорого, принимая во внимание получавшуюся ею субсидию и прогонные деньги священнику и причту на ежемесячные поездки из Берлина в Потсдам. А этот Яблочков говорил интервьюировавшим его русским: "Mein Nahme ist Jabloschkoff. Es heisst Apfelmann, nicht wahr?" (Меня зовут Яблочков. Не правда ли, это значит Апфельман?).

Вот, венчая Синявского, я и слушал церковную службу, переведенную на немецкий язык для этого Апфельмана.

Через несколько лет меня снова судьба свела с Синявским в его родном городе Смоленске, куда он приехал со своей Клэрхен и двумя детьми, окончив берлинский университет. Поселился он в собственном домишке на окраине Смоленска и очень бедствовал, подготовляясь к необходимому для медицинской практики в России экзамену. После семи лет пребывания за границей этот русский человек был в полном упоении от русской жизни. Немцев ненавидел и был преисполнен квасным патриотизмом. А бедная Клэрхен, попав из очень скромной, но культурной берлинской обстановки в пригородную смоленскую слободу с ее грязью и вонью, не зная русского языка, а потому лишенная возможности даже общаться с соседями, плакала горючими слезами с утра до вечера. Дальнейшая судьба этой несчастной семьи мне неизвестна.

На чаепитиях у Чермаков я познакомился с группой стипендиатов русского правительства, учившихся в семинарии по римскому праву. Этот семинарий, руководившийся берлинскими профессорами, был учрежден на средства русского правительства в период его борьбы с университетской автономией. В берлинский семинарий министерством народного просвещения, по его выбору, отправлялись молодые люди, окончившие юридические факультеты в России, для завершения научного образования. По отношению к своим товарищам, командированным университетами, они находились в привилегированном положении: получали повышенные стипендии и пользовались правом, по возвращении в Россию, занимать профессорские кафедры без полагавшихся для других магистерского и докторского экзаменов.

Заканчивая описание своего пребывания за границей, хочу упомянуть об одном полученном мною ярком впечатлении.

На Троицу я приехал из Берлина в Иену навестить своего гимназического товарища, Д.Е. Жуковского, учившегося в иенском университете. Иена расположена совсем рядом с Веймаром, в котором Гете прожил более полувека. Понятно, что поклонники Гете со всего мира постоянно посещают этот маленький германский городок. Но особенно много гостей появлялось в Веймаре в дни Троицы, когда в веймарском театре ставились обе части Фауста и лучшие актеры со всей Германии съезжались туда для участия в этом традиционном спектакле.

Решили и мы с Жуковским посмотреть на это исключительно интересное представление. Приехав в Веймар утром, мы с трудом нашли номер в одной из его переполненных гостиниц и взяли билеты на спектакль.

Оперу Фауст я видел много раз, но на представлении подлинного гетевского Фауста присутствовал единственный раз в жизни.

Сам Гете своего Фауста не приспособил для сцены, и постановка его была задачей исключительно сложной для режиссера. Во-первых, вместо четырех-пяти действий обычных театральных произведений,

перед глазами зрителя проходило бесконечное множество сцен со сменяющимися декорациями, и перемена декораций после каждых пяти-десяти минут действия представляла огромные технические трудности. Но еще было труднее поддерживать внимание зрителей на представлении, длившемся с 5-ти часов дня до 2-х часов ночи. Без дополнительных эффектов это было просто невозможно. И вот Фауст, с сохранением полного его текста, был превращен в мелодраму, и все действие шло с аккомпанементом очень красивой музыки. Временами музыка была лишь фоном действия и игралась заглушенно, но иногда, как например в сцене народного гулянья, становилась в центре внимания. Все это было сделано с величайшим вкусом и производило совершенно неизгладимое впечатление, усиливавшееся превосходной игрой актеров.

До сих пор помню целый ряд сцен из этой постановки Фауста в Веймаре. Из наиболее эффектных сцен запомнился мне пролог, где Мефистофель в своем сатанинском виде — с рожками и козьими копытами, с накинутой поверх трико звериной шкурой — вылезает из ада, вход в который застилает пламя и из которого слышатся жуткие бесовские звуки. А наверху сцены, в облаках, ангелы поют горние мотивы. Мефистофель обращается с вызовом к Богу, который ему отвечает из-за сцены.

Театральная цензура несколько испортила впечатление от пролога, ибо Богу, именовавшемуся в афише "Der Herr", а не "Der Herr Gott", запрещено было петь мужским голосом, и из-за сцены этот "Herr" пел женским контральто.

Вернулись мы в гостиницу с представления Фауста в два часа ночи, совершенно подавленные огромностью впечатления, но и разбитые усталостью от напряжения, в котором находились в течение всего представления, длившегося 9 часов. Смотреть на следующий день вторую часть Фауста просто не было сил, и мы решили вернуться в Иену.

Когда окончился год, ассигнованный мною на свою заграничную поездку, я возвратился в Россию, мало обогатив свои познания в политической экономии, но зато хорошо познакомившись с политической жизнью Германии.

Глава 7

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ 90-Х ГОДОВ (1893–1896)

Мое поступление на службу в министерство земледелия. Петербургская бюрократия. Похороны Александра III. Слухи о новом императоре и первые разочарования. Идейный раскол интеллигенции. А.Н. Потресов и П.Б. Струве. Первая попытка основать легальный марксистский орган печати. Журнал "Начало" и его редактор-издатель. Группировки радикальной интеллигенции в Комитете грамотности и в Вольном экономическом обществе. Г.А. Фальборк и В.И. Чарнолусский. Воскресно-вечерние школы для рабочих. Братская школа и ее краткая история.

С осени 1893 года, вернувшись из-за границы, я снова водворился в Петербурге. Настало время окончательно избрать себе какую-либо деятельность. Меня привлекала работа по земской статистике, но не хотелось еще покидать Петербурга, где ощущалось заметное нарастание настроения общественной борьбы. Поэтому я решил поступить временно на службу в министерство земледелия, в отдел сельской экономии и сельскохозяйственной статистики, что, как мне казалось, давало мне некоторую подготовку в будущей земско-статистической работе. Поступив сначала в качестве причисленного к министерству, я через несколько месяцев получил штатную должность "младшего редактора", что соответствовало должности столоначальника в других департаментах. Моя бюрократическая карьера начиналась блестяще. Большинство молодых бюрократов дослуживалось до должности столоначальника после 3-5-ти лет службы.

У меня, однако, не было никаких карьерных стремлений, и я скоро стал службой тяготиться. Дела у нас было очень мало. Мы приходили в министерство к часу дня, а уходили в половине шестого. Рабочий день, следовательно, продолжался всего четыре с половиной часа. Но значительную часть и этого краткого служебного времени мы проводили в буфете за чаепитием и разговорами. Только в сроки выпуска печатных бюллетеней о состоянии посевов и урожая нам приходилось работать по-настоящему, но и этой срочной работой мы главным образом занимались по вечерам, у себя на

дому, прерывая ее хождением в министерство, где в общей атмосфере безделья работать было трудно.

Я не хочу этим сказать, что петербургские чиновники вообще ничего не делали. Были и в нашем и в других министерствах отделения, где работы было больше, но наш отдел во всяком случае не составлял исключения. Несомненно, в Петербурге было перепроизводство чиновников, и многие из них на низших должностях не имели достаточно работы. Работали по-настоящему высшие должностные лица, начиная с начальников отделений, а министры были перегружены работой.

Таким образом, служба давала мне много досугов, которые я мог посвятить общественным делам, для меня более интересным.

Краткий период моей государственной службы совпал с переменой царствования: умер Александр III и на престол вступил злополучный Николай II.

Хорошо помню похороны Александра III, на которые я смотрел из окна Академии Художеств. Я не знал тогда, что присутствую при последних похоронах русского императора, совершаемых по традиционному пышному ритуалу.

Гроб с останками Александра III прибыл из Крыма на Николаевский вокзал, откуда и потянулась похоронная процессия через весь город: по Невскому, мимо Исаакиевского собора, через Николаевский мост, по набережной Васильевского острова, и далее — до Петропавловской крепости. Думаю, что длину этого пути нужно определить километров в десять. Самая процессия заняла не менее 5-ти километров. Впереди двигались гвардейские кавалерийские полки в парадных мундирах. Непосредственно за ними — две символические фигуры: рыцарь в золотых латах верхом на белой лошади и пеший рыцарь в черных латах с опущенным забралом, вероятно, символизировавшие жизнь и смерть повелителя России. Мне говорили, что с трудом удалось найти богатыря, способного прошагать через весь Петербург закованным в латы, но такой мощный человек все-таки нашелся. За рыцарями длинной вереницей шли лошади, покрытые черными покрывалами с длинными шлейфами, на которых были вышиты гербы всех российских земель в соответствии с "большим" императорским титулом. Лошадей вели под уздцы чиновники средних рангов, а шлейфы их несли чиновники низших рангов в соответствующих мундирах. Наконец, появилась траурная колесница с гробом, на которой, держась за кисти балдахина, тряслись четыре генерала самых высших рангов. Я видел этих несчастных стариков из окна Академии Художеств, среди них узнал генералов Ванновского и Ганецкого, после того, что они проехали в таком неудобном положении большую часть пути. Вид у них был чрезвычайно жалкий. Колесницу окружали тоже старики — сенаторы и члены Государственного Совета. Они несли подушки с приколотыми

к ним орденами покойного императора. Старые сановники едва передвигали ноги, а подушки беспомощно болтались в их уставших руках. За гробом шли и ехали в каретах члены царской семьи, иностранные монархи и их представители, придворные и т. д. Наконец, шествие замыкалось пехотой и артиллерией.

На меня этот пышный церемониал не произвел импозантного впечатления, потому ли, что не соответствовал моим тогдашним настроениям, или вообще такие процессии не в русском духе. По крайней мере в окружавшей меня разнообразной толпе не чувствовалось торжественного настроения.

О вступившем на престол новом императоре ходили тогда в Петербурге самые разнообразные слухи. Но преобладали слухи доброжелательные. Многие верили в либерализм молодого монарха и надеялись, что настал конец беспросветной реакции царствования Александра III. Надеждам, возлагавшимся на Николая II, искали подтверждения даже в самых мелких фактах. Так, например, в дни похорон Александра III в Петербурге из уст в уста передавался совершенно необыкновенный рассказ о новом императоре, рассказ, в котором видели доказательство присущего его натуре демократизма. Рассказывали, что он вышел из Мариинского дворца без всякой свиты и, купив в табачном магазине папирос, вернулся обратно. Эту необычную для России картину наблюдали многие случайно проходившие по Невскому люди, и молва о необыкновенной простоте и доступности молодого монарха моментально распространилась по городу. Оказалось, однако, что покупал себе папиросы на Невском не Николай II, а его двоюродный брат, будущий Георг V, который как близнец был на него похож.

Через месяц всем этим иллюзиям настал конец после знаменитой речи о "бессмысленных мечтаниях", произнесенной молодым монархом на приеме депутаций от земства и дворянства. Я встречал некоторых из земцев у Костычевых и Винбергов и видел, в каком они были подавленном настроении. Многие не поехали из дворца на торжественный молебен в Исаакиевский собор. Большинство все-таки на нем присутствовало. По этому поводу мой дядя, поэт Жемчужников, написал в одном своем нелегальном стихотворении следующие строки:

Жить надо прилично,
Дворянам – подавно.
Их свыше публично
Ругнули недавно.
И что же? Всей кучей
Признали потребным
Почтить этот случай
В соборе молебном.

Как известно, Николай II, вскоре после восшествия на престол, переехал из Аничкова дворца, где жил его отец, в Зимний. По этому поводу мне пришлось слышать от петербургского городского головы, В.И. Лихачева, любопытный рассказ.

Однажды двое гласных петербургской городской Думы ехали на извозчике через Дворцовую площадь и обратили внимание на группу рабочих, разбиравших мостовую. Удивленные этим странным зрелищем, они спросили у рабочих, что они делают, и получили ответ, что государь распорядился разбить себе на площади сад.

Гласные сейчас же отправились к Лихачеву и сообщили ему об этом. Лихачев ничего об этом не знал. Между тем площадь принадлежала городу, и, конечно, без особого постановления городской Думы никто не мог себе присваивать ее отдельные части. Создалось крайне неудобное положение: государь оказался захватчиком не принадлежащего ему имущества. Лихачев поехал объясняться с министром двора Воронцовым-Дашковым, который был также очень смущен происшедшим: нельзя же объяснить государю неловкое положение, в котором он оказался. Порешили, что Дума задним числом сделает постановление о поднесении в дар Николаю II соответствующей части площади. Так и было сделано.

Этот мелкий эпизод все же характерен для тех представлений, какие имел, вступая на престол, новый император о своей самодержавной власти...

Как я упомянул выше, начало 90-х годов было периодом большого общественного оживления в Петербурге. В прессе и в кругах левой интеллигенции шли жесточайшие споры между народниками и марксистами. Большое место в этих спорах занимал вопрос о крестьянской общине. Типично для настроений левой интеллигенции того времени, что в этом вопросе меньше всего придавали значения самому основному, т.е. влиянию общинного землевладения на хозяйственный прогресс деревни. Главное, что волновало, это значение общины для грядущей революции. Народники видели в ней зачаток социалистического строя, а следовательно – фактор грядущей социальной революции, а марксисты радовались ее распаду, связанному с увеличением армии пролетариата – главного двигателя всех революций.*

---

* Интересно отметить, что параллельно с этими спорами в левых кругах интеллигенции, в правой печати и в правительственных кругах шел тот же спор, только как бы вывернутый наизнанку: сторонники общины доказывали, что она мешает развитию пролетариата, а следовательно предохраняет Россию от революции, а противники видели в ней опасный очаг социализма. И по мере того, как в левых кругах побеждали противники общины – марксисты, в правых одерживали верх ее сторонники, проведшие в Государственном Совете закон о неотчуждаемости крестьянских надельных земель.

История двух русских революций показала, что те и другие были одинаково правы и не правы: если городской пролетариат был, вместе с интеллигенцией, главным "бродилом" революции, то крестьяне-общинники дали ей силу и сокрушающий размах.

Во главе народнического направления стояли Н.К.Михайловский, писавший громовые статьи против марксистов в "Русском Богатстве", и ныне совершенно забытый писатель-экономист В.Воронцов, книжка которого в защиту народничества произвела большую сенсацию. Признанным вождем марксистов был П.Б.Струве, тогда еще почти юноша, выпустивший небольшую книжку с резкой полемикой против народничества, которая кончалась чудовищной с точки зрения старых социалистов фразой – "пойдем на выучку к капитализму!" Несколько менее популярным, но тоже весьма почитаемым молодежью марксистским лидером был молодой приват-доцент М.И.Туган-Барановский, написавший толстую, мало кем читавшуюся, но быстро составившую славу ее автору книгу о мировых экономических кризисах.

В спорах между марксистами и народниками я принял сторону первых и близко познакомился с руководителями марксистского движения. Особенно часто я встречался с А.Н.Потресовым и П.Б.Струве, из которых с первым меня связывала еще детская дружба, а со вторым – знакомство по университету. С обоими я сохранял дружеские отношения в течение десятков лет, а потому считаю себя достаточно компетентным, чтобы дать их характеристику в пределах своего разумения.

В этот начальный период бурного расцвета марксизма они были неразлучными друзьями и единомышленниками, а через несколько лет стали политическими врагами. Потресов остался марксистом, а Струве пережил огромную идейную эволюцию. И совершенно понятно, что Потресов, относясь к Струве, как к "ренегату", возненавидел своего прежнего друга, Струве же навсегда сохранил добрые чувства к своему бывшему единомышленнику, верному тем идеалам, которым и он искренне служил в дни своей молодости.

С тех пор, как Струве вышел из социал-демократической партии, они перестали встречаться, и только в эмиграции, в Париже, Струве попытался возобновить старое знакомство. Это, однако, ему не удалось. Потресов был с ним любезен, но сухо официален, не проявив ни малейшей склонности восстановить прежние дружеские отношения. Впрочем, и дружба их в тот период, который я здесь описываю, зиждилась не на сердечном влечении, а лишь на единомыслии. Оба были людьми глубоко искренними, честными и благородными в лучшем смысле этого слова, готовыми отстаивать свои убеждения и верования даже вопреки собственным интересам. В своей политической деятельности они оба не способны были стать на путь демагогии, а потому оба, влиятельные в некоторых кругах интеллигенции, не могли сделаться вождями. Струве не задумался отказаться от своей дешевой славы 90-х годов, когда изменились его взгляды, а Потресов разошелся с большинством своей партии в период ее наибольшего влияния на массы.

Несмотря на эти сходные черты, они были людьми глубоко различными.

Потресов, принадлежа по рождению к поместному дворянству, своим внутренним обликом очень напоминал идеалистов сороковых годов. Его убеждения были тесно связаны с эстетичностью его натуры и с сильным моральным чувством. В юности он до самозабвения увлекался искусством – поэзией, живописью, театром, был необыкновенно чуток к проявлениям человеческой лжи, грубости и пошлости. У таких людей мысль тесно переплетена с эмоциями, которыми она движется. Сухой, рассудочный марксизм поэтому претворился у него подсознательно в религию, которой он оставался верен до последнего дня своей жизни, в религию добра, справедливости, свободы и красоты. Трагически переживал он крушение и опошление в жизни своих высоких идеалов, но упорно не хотел допустить, что они гибнут от внутреннего противоречия. Когда в Париже, во время его последней тяжелой болезни, я как-то коснулся в разговоре с ним этой темы, он стал спорить со мной с такой запальчивостью, что я поторопился переменить разговор.

А.Н. Потресов был чрезвычайно деликатен в личных отношениях с людьми. Демократ по натуре, он никогда не давал понять людям, более низким по уму и культуре, своего умственного превосходства. И эта врожденная "демократическая" деликатность привлекала к нему сердца. Его любили и уважали, как друзья, так и политические враги.

Унаследовав от родителей довольно большой капитал, он значительную часть его отдал на служение тому делу, в которое верил. Много средств употребил на издание легальных марксистских книг и нелегальной литературы, много затратил энергии на создание русской социал-демократической партии и был одним из самых видных и влиятельных ее основателей. Но как-то всегда держался в тени, не любил выступать не только на публичных, но и на закрытых собраниях, хотя, говорят, был хорошим оратором. Писал талантливые статьи, но в большинстве случаев скрывался под псевдонимами. Поэтому был мало известен за пределами своего партийного круга. Впрочем, к известности особенно и не стремился.

Струве родился в полунемецкой бюрократической семье. Ни национальностью, ни бытом он не был связан с дворянскими гнездами, первоначальными рассадниками русской интеллигенции. Двигателем его духовного развития была ненасытная любознательность, а не морально-эстетические эмоции. К искусству подходил он не путем непосредственного восприятия, а путем изучения, как вообще ко всем областям человеческой жизни, творчества и мысли.

Я почти не встречал людей такого широкого энциклопедического образования, как Струве. Обладая исключительными способностями, невероятной памятью и сильным аналитическим умом, он в 20 лет мог по богатству и глубине мысли равняться с самыми

культурными людьми старших поколений, а в 22 года его имя стало знаменем для петербургской марксистской молодежи.

Не столько искания правды и справедливости привели его к марксизму, сколько его увлекла теоретическая стройность и схематическая логичность этого учения. Убеждения, созданные его сильным умом, Струве всегда отстаивал с резкой страстностью, но со страстностью не религиозного фанатика, а человека, гордого познанием истины и проявленным в этом познании творчеством собственной мысли. В эволюции своих философских и политических взглядов он был всегда безусловно искренен и независим. Среда, в которой он вращался, оказывала весьма малое влияние на эту эволюцию. Наоборот, он сам подбирал себе общественную среду в соответствии с менявшимися взглядами.

Человеческая толпа и ее поклонение никогда не увлекали Струве, что не мешало ему быть в известной мере честолюбивым человеком. Но честолюбие его было особенным. Оно влекло его к отталкиванию от трафаретно мыслящей толпы, к оригинальности и парадоксальности, к бросанию новых идей, заостренных и облекавшихся в форму, которая коробила и озлобляла прежних единомышленников. Идя против господствующих течений с нарочитою резкостью, он возвышал себя над толпой, находя в этом удовлетворение своему честолюбию. Такому человеку подлинный демократизм органически чужд, и если Струве был когда-то демократом и социалистом, то лишь случайно, встретившись с этими доктринами на путях своего мышления. Простой в обращении с людьми, он все же всегда давал чувствовать собеседникам свое умственное и культурное превосходство.

Несомненно, Струве принадлежит к числу крупных русских политико-социальных мыслителей, но схематичность и парадоксальность его мышления всегда мешали ему в практической политике. Между тем, большую часть своей жизни он посвятил политической деятельности, тогда как был создан для чисто научного творчества.

Я всегда относился с большим уважением и симпатией к этому крупному человеку, охотно признавал и признаю превосходство его умственной эрудиции, но всегда чувствовал в его обращении со мной некоторую покровительственную надменность. Это мешало моему сближению с ним. И если наше знакомство и в общем добрые отношения длятся более 40 лет, то главным образом потому, что он женат на Н.А. Герд, подруге моего детства и товарке по гимназии и по курсам моей жены.* Между тем с Потресовым, несмотря на

* Просматривая в 1944 году то, что я здесь написал о П.Б. Струве 10 лет тому назад, когда он и его жена были еще живы, мне захотелось прибавить несколько слов о моих последних впечатлениях о нем перед его смертью, когда мы встретились в Париже после нескольких лет разлуки. Я был ⟶

разницу наших политических взглядов, я больше полувека был связан прочной дружбой, взаимной симпатией и взаимным пониманием, вследствие общности основ нашей психологии.

Благодаря знакомству с Потресовым и Струве, я попал в начале 90-х годов в самый центр возникавшего тогда марксистского движения, и, когда марксисты затеяли издание своего легального ежемесячного журнала, я был приглашен в состав его редакции.

В состав редакции входили, насколько помню, следующие лица: Струве, Туган-Барановский с женой, Потресов, Бауер, В.В.Водовозов, А.А.Никонов, Н.А.Рейтлингер и я. Кроме того, из живших в это время в провинции – А.С.Изгоев и В.И.Ульянов (Ленин), с которым я тогда еще не был знаком. Зная дальнейшую судьбу этих людей, странным кажется, что некогда они были единомышленниками. Если не считать Бауера, вскоре умершего, только Потресов и Ленин остались марксистами и социал-демократами, но и они, начиная с 1903 года, после раскола партии на меньшевиков и большевиков, сделались злейшими политическими врагами.

Фактическим редактором намечался П.Б.Струве. Но, чтобы приступить к изданию легального печатного органа, нужно было получить разрешение от Главного управления по делам печати, а потому нужно было прежде всего найти благонадежных официального издателя и ответственного редактора. Мои коллеги по редакции надеялись на мой княжеский титул как на достаточную вывеску благонадежности, а потому просили меня, в качестве официального издателя, подать прошение в Главное управление. Ответственного редактора мы в своей среде найти не могли. Сам Струве был явно неблагонадежен, а прочие никакого желания не имели нести реальную ответственность за фиктивное звание. Приходилось искать "тюремного редактора" на стороне из лиц, готовых жертвовать своей свободой за определенное денежное вознаграждение. А.А.Никонов

поражен происшедшей переменой в его внешнем облике. Мы были ровесниками и оба стали стариками, но он казался лет на десять старше меня: это был сгорбившийся старик с большой белой бородой и с ослабевшими от старости ногами. Изменился он и внутренне, отчасти в связи со смертью верной спутницы своей жизни, умершей за год до его кончины.

Я почувствовал в нем какую-то особую теплоту чувства к себе, как к старому другу их семьи, которую прежде не замечал. Несмотря на хилость тела, он сохранил всю силу своего духа и ума. Даже поразительная его память не ослабела от старости.

На фоне страшных мировых событий стушевались все прежние наши политические несогласия. К Гитлеру и национал-социалистической пошлости он относился со страстной ненавистью и твердо верил в победу союзников, в том числе и России. Последнее время он много отдавал времени предпринятой им большой научной работе по экономической истории России, целые дни проводя в парижской Национальной библиотеке. Понимал, что жить осталось немного, а потому торопился ее закончить. Это оказалось ему не по силам. Смерть все-таки пришла раньше, чем он ожидал.

наконец нашел нужного нам человека неопределенной профессии и повез меня как "издателя" к нему. Не знаю, чем занимался этот человек, но жил он неплохо. Комната, в которую нас ввела горничная, была вся увешана портретами балерин в кисейных юбочках, из чего заключаю, что предполагавшийся редактор первого марксистского журнала любил не то хореографическое искусство, не то его представительниц. Физиономия его, однако, свидетельствовала лишь о пристрастии к спиртным напиткам: лицо было сонное, а нос лилового цвета.

Не помню, какую мзду мы предложили ему за тюремное сидение, но соглашение произошло быстро и он охотно подписал заготовленное нами прошение, на котором уже стояла моя подпись.

Ответа мы долго не получали из Главного управления. Когда, наконец, я сам отправился туда за справками, то принявший меня чиновник весьма любезно заявил мне, что в ходатайстве нам отказано.

– Почему?

– А, видите ли, Главное управление нашло, что у нас достаточно издается ежемесячных журналов и в новом издании надобности не встречается...

Года через полтора петербургским марксистам удалось купить журнал "Новое Слово", а еще через год, когда журнал этот был закрыт, они основали новый под названием "Начало". На этот раз удалось найти подходящего редактора-издателя, некоего Гуровича, который добыл необходимые средства и легко получил разрешение на издание в Главном управлении по делам печати. Тогда я жил уже не в Петербурге, а в Пскове, но каждый раз, приезжая в Петербург, заходил в дружественную редакцию, где среди моих знакомых марксистов встречал совершенно неподходящего к ним по внешности сытого еврея с выкрашенными в лиловато-черный цвет волосами и бородой. Это и был редактор-издатель Гурович. Так как не ему платили за отсидку в тюрьме, а наоборот, он давал деньги на издание, то его волей-неволей пришлось ввести в состав редакции, где он присутствовал при откровенных беседах.

Через несколько месяцев "Начало" было закрыто правительством, а некоторые члены его редакции и сотрудники арестованы. Тогда выяснилось, что Гурович был тайным агентом департамента полиции, откуда и добывал средства на издание журнала.

Радикальная петербургская интеллигенция, внутри которой происходила ожесточенная идейная борьба между народниками и марксистами, однако, ощущала потребность в создании общего фронта борьбы с правительством. И вот в небольшом кружке лиц возникла мысль устроить боевой плацдарм из скромного культурного общества, именовавшегося Комитетом грамотности. Комитет грамотности был основан при Вольном экономическом обществе, одном из редких тогда в России свободных и автономных

общественных учреждений, имевшем по уставу, дарованному ему Екатериной II, очень широкие права в деле распространения в России полезных знаний и пользовавшемся большой свободой обсуждения теоретических экономических проблем и их практического применения в общественной и государственной жизни. Членами Вольного экономического общества были преимущественно ученые и наиболее просвещенные сановники. В состоявшем же при нем Комитете грамотности работали по преимуществу зрелые, серьезные люди, хотя и либерального образа мыслей (в те времена русские консерваторы вообще были врагами просвещения низших слоев населения), но благонадежные в политическом отношении. Главная их работа заключалась в издании дешевых популярных книг для народа, и исполняли они ее с любовью и знанием дела. Они принадлежали к поколению старше нашего, прожили в сознательном возрасте реакцию 80-х годов и уберегли от нее Комитет грамотности.

У нас, радикальной молодежи, было к комитету совсем другое отношение. Нам казалось, что дело его можно расширить, а главное, он нам представлялся подходящей ареной для политической борьбы. И вот, в недрах комитета образовалась группа, решившая завоевать его для этих целей. Во главе этой группы стояли члены комитета Г.А. Фальборк, В.И. Чернолусский, М.А. Лозинский (впоследствии реакционный губернатор) и Д.Д. Протопопов. На квартире Протопопова на Васильевском острове устраивались полуконспиративные собрания, в которых и я принимал участие, где намечался план предстоящей борьбы. Мы повели агитацию и стали привлекать в число членов комитета своих единомышленников. Ко времени перевыборов президиума мы имели уже большинство, забаллотировали всех прежних почтенных членов президиума и выбрали в него своих. Тут "пошла уж музыка не та". Деятельность комитета получила более широкий размах: издательство расширилось, составлялись народные библиотеки, рассылавшиеся земствам, собирались и разрабатывались анкеты по народному образованию. Но главная перемена произошла в общих собраниях комитета. На них стали выступать докладчики с резкой критикой постановки народного образования в России; прения часто принимали характер митинговых речей, а через Вольное экономическое общество направлялись правительству всевозможные ходатайства о коренных реформах в деле просвещения. Вскоре Комитет грамотности сделался общественным центром, а собрания его, происходившие публично, привлекали толпы молодежи. Эта молодежь не только возбужденно слушала речи и аплодировала. Деятели Комитета грамотности сумели приобщить ее и к работе. Мне, как статистику, приходилось руководить подсчетом анкеты о постановке школьного дела в России. От бесплатных работников (главным образом работниц) отбоя не было. Юные курсистки брали от меня скучнейшую счетную работу с вдохновенным видом. Им, очевидно,

казалось, что, подбивая безвозмездно столбцы цифровых итогов, они вносят какую-то свою лепту в дело русской революции...

Само собой разумеется, что в царствование Александра III такой "очаг революции", как Комитет грамотности, долго не мог существовать. Распоряжением министра земледелия Ермолова, в ведении которого находилось Вольное экономическое общество, комитет был вскоре закрыт. Но мы уже привыкли к "свободной трибуне" и решили не сдаваться. На совещании бывших деятелей Комитета грамотности было решено "оживить" Вольное экономическое общество, завладев им так же, как мы завладели в свое время Комитетом грамотности. Задача эта была несколько более сложной. По уставу, новые члены выбирались на общих собраниях и притом должны были быть рекомендованы двумя старыми членами и обладать некоторым цензом – принадлежать либо к практическим деятелям в экономической, финансовой и сельскохозяйственной областях, либо иметь в тех же областях научные труды. Я лично, как редактор (хотя и младший) отдела сельскохозяйственной статистики, таким цензом обладал, но многие из молодых людей, "завоевывавших" вместе со мной Вольное экономическое общество, мало подходили под указанные в уставе правила. Но мы их толковали весьма распространительно: землевладелец, никогда своей земли не видавший, превращался в сельского хозяина, публицист – в экономиста и т.д.

Старые члены почтенного общества не особенно вникали в эти мелочи и, т.к. по традициям общества было принято забаллотировать лишь лиц с заведомо запятнанной репутацией, они спокойно избирали в члены всех этих им неведомых молодых людей, по 10-12 в каждом заседании, лишь удивляясь внезапному интересу, который появился к их научному обществу в кругах петербургской интеллигенции. А когда они поняли наш маневр и повели борьбу против "вторжения улицы" – было уже поздно: мы, вновь избранные члены, являлись на общие собрания сплоченной группой и все-таки проводили "наших" большинством голосов. Наконец, когда мы почувствовали себя в силах, мы свергли старого президента общества гр. Бобринского и избрали на его место известного либерального земского деятеля гр. П.А. Гейдена, введя также "своих людей" в председатели отделений и в совет. И сразу изменился характер заседаний общества: прежде их посещало 20-30 членов и 2-3 гостя, интересовавшихся предметом заседания. Теперь число членов возросло в 2-3 раза, а публика густой толпой заполняла все свободные места в зале, громоздилась на хорах и даже теснилась в прихожей. Изменились и темы докладов. Они затрагивали самые животрепещущие вопросы государственной и экономической жизни.

Вольное экономическое общество стало ареной диспутов между народниками и марксистами. Среди членов его все еще продолжали преобладать лица народнического направления, но по настроению публики было видно, какие быстрые успехи делает марксистское

учение. Выступления молодых марксистов, и в особенности П.Б.Струве, покрывались шумными аплодисментами, несмотря на то, что говорил он весьма мудреным языком, непонятным большинству аудитории, а по внешней форме говорил очень плохо, подыскивая слова и делая паузы в ненужных местах. В те времена, впрочем, вообще у русской интеллигенции совершенно не было практики публичного произнесения речей и большинство говорило плохо. Вольное экономическое общество стало таким образом до известной степени школой красноречия.

Из наиболее интересных тем, дебатировавшихся в это время, мне запомнились две: о золотом обращении и о хлебных ценах. Марксисты поддерживали Витте в его финансовой реформе и громили помещиков и союзных с ними в этом вопросе народников, отстаивавших биметаллизм. Прения о хлебных ценах продолжались чуть ли не целый месяц. На эту тему по заказу министерства финансов целым рядом крупных экономистов с проф. Чупровым во главе был составлен объемистый сборник, в котором доказывалось, что низкие цены на хлеб более выгодны многомиллионному крестьянству, чем высокие. Марксисты выступали с резкой критикой этих мыслей. Для отстаивания своих идей на заседании Вольного экономического общества приезжали московские профессора, и прения носили весьма бурный характер. Марксистам приходилось плохо. Небольшой группе марксистских экономистов нужно было вести теоретический спор с наиболее признанными авторитетами русской экономической науки. Конечно, ничего не понимавшая в этом споре учащаяся молодежь из публики поддерживала своих марксистских кумиров бурными аплодисментами. Не помню, чем кончился этот спор, но жизнь вскоре доказала, что в нем были правы марксисты, а сборник почтенных ученых о пользе низких хлебных цен для земледельческой страны уже через несколько лет нельзя было читать без иронической улыбки.

Главными возбудителями начавшегося в Петербурге общественного оживления, центром которого сделалось Вольное экономическое общество, были два только что появившихся в кругах петербургской радикальной интеллигенции, ранее никому не известных молодых человека – Генрих Адольфович Фальборк и Владимир Иванович Чарнолусский. Их было двое, но раздельно они как бы не существовали. Была фирма "Фальборк и Чарнолусский".

Трудно сказать, кто из них двоих являлся действительным руководителем фирмы в ее общественной и политической работе. Со стороны казалось, что главным лицом был Фальборк. Он выступал на собраниях, он выдвигался на почетные должности. Вещал, бросал мысли, брал инициативу, но сам не мог ничего провести в жизнь, организовать. Речь его была так же беспорядочна, как и вся его фигура, и растрепана, как его волосы. Он не говорил, а как-то

выкликал отдельные фразы, соединенные между собою ненужными словечками вроде: "этот" или "тот", "следовательно", "знаете", "как его". Мучительно было его слушать. Формулировать же свои мысли на бумаге он по-видимому совсем не был в состоянии. На то был аккуратный и выдержанный Чарнолусский.

Кажется непонятным, почему "фирма" пользовалась таким ужасающим граммофоном, каким был Фальборк, тогда как Чарнолусский, обладающий вполне нормальным даром человеческой речи, всегда почти молчал. Объясняется это условиями времени, когда они выступили на общественную арену. В конце восьмидесятых и начале девяностых годов в России требования к красноречию были весьма пониженные. В общественных собраниях ценились не столько форма и содержательность речи, сколько смелость и дерзость ее. А кликушество Фальборка было всегда смело и дерзко. Вот он и увлекал аудиторию.

Реформа, вводившая земских начальников, была по идее шагом назад к крепостному праву, т. е. создавала на местах если не экономическую, то юридическую зависимость крестьянского сословия от дворянского. Понятно, что она была встречена крайне враждебно всем либеральным обществом того времени. Просвещенные дворяне бойкотировали эти должности, на которые поступали в большинстве случаев прокутившиеся военные и недоучки. Были, конечно, исключения. Были идейные люди, искавшие сближения с крестьянами, стремившиеся на посту земского начальника принести населению пользу, оказывая на него благотворное влияние. Для Фальборка и Чарнолусского, демократов и радикалов по убеждениям, поступление в земские начальники было своего рода хождением в народ. В их задачу входила и защита крестьян от помещиков, и просвещение темного крестьянства, и, вероятно, осторожная пропаганда политическая и социальная. Само собою разумеется, что с такими задачами, диаметрально противоположными тем, которые возлагались на земских начальников правительством, они скоро должны были покинуть свой пост, и вот появились в Петербурге.

Когда я вернулся из-за границы, они уже находились в числе лидеров общественного движения, участвуя во всех совещаниях общественно-политического характера среди нотаблей радикальной интеллигенции, а затем стали и инициаторами всех выступлений Комитета грамотности и Вольного экономического общества, вице-президентом которого мы избрали Фальборка. Странно было видеть эту растрепанную фигуру на посту, который обыкновенно занимали видные сановники. Фальборк старался в своих речах поддерживать торжественный тон, соответствующий достоинству старейшего российского общества. Он с особым смаком произносил важные официальные слова, но злосчастные ненужные словечки вертелись на его языке, мешая официальному пафосу и вызывая невольный

смех в аудитории. Рассказывали, что на каком-то юбилейном заседании, излагая историю общества, он сказал: "Этот, как его, император Александр Первый"...

Годы, предшествовавшие революции 1905 года, я провел в провинции, и самое бурное время, пережитое Вольным экономическим обществом, прошло без моего участия. Когда я снова вернулся в Петербург, фирмы "Фальборк и Чарнолусский" уже не существовало.

В конце 90-х и в начале 900-х годов политическая борьба в России усложнилась и приняла более отчетливые линии, и доморощенный фейерверк "сиамских близнецов" уже никому не импонировал. Вдобавок Чарнолусский женился, и хотя остряки говорили, что женился Фальборк и Чарнолусский, но фактически семейством обзавелся лишь второй, и они перестали, как прежде, жить в одной комнате. Лишенные постоянного общения, они постепенно разошлись и политически.

Фальборк изменился сильно. Пополнел, приобрел весьма округлое брюшко, а вместе с ним важность и солидность, мало напоминая прежнего вихрастого, неистового и истерического молодого человека. Однако две его характерные особенности сохранились: он по-прежнему говорил бессвязные, хотя и более умеренные и уравновешенные речи, без соблюдения элементарных правил грамматики и синтаксиса, и по-прежнему склонен был сильно привирать в передаче фактов. Это свойство Фальборка было мне известно и раньше. Но тогда, если он уж очень сильно завирался, всегда присутствовавший при нем Чарнолусский спокойно и тактично приближал его к истине. Но, когда он разошелся с Чарнолусским, свойственная его природе хлестаковщина расцвела полным цветом. Иной раз прямо совестно было слушать его неправдоподобные рассказы. По-видимому, он сам стеснялся этого своего свойства и когда, зарапортовавшись и видя на лице слушателя выражение конфузливого недоумения, вдруг обрывал разговор и, сам как бы недоумевая, произносил: "что?", а затем менял тему разговора.

Выражение "врет, как Фальборк" стало ходячим среди знакомых этого странного человека. Он не лгал, т.е. не говорил неправды ради какой-либо определенной цели, а врал совершенно безобидно и бесцельно. Вранье его состояло в самом пошлом хвастовстве. То он рассказывал о своем таинственном происхождении от каких-то русских высокопоставленных лиц или шведских магнатов, то подробно описывал свои беседы с Плеве, Дурново и другими министрами, якобы вызывавшими его, чтобы послушать его советы. Помню, как однажды, вернувшись с Кавказа, он передавал мне свою беседу с Воронцовым-Дашковым, хотевшим узнать его мнение о положении России для доклада царю, и как после этой беседы он тайно ездил в Тавриз, вызванный туда персидскими

революционерами, которым он дал ряд руководящих указаний о методах политической борьбы. Трудно было понять, как этот во всяком случае очень неглупый человек мог так нелепо и глупо врать. Точно он страдал какой-то недоразвившейся манией величия, принявшей столь странные формы.

Все знакомые Фальборка привыкли к этой мании, как привыкают к гримасам людей, страдающих нервными передергиваниями. Выслушивали от него какую-нибудь нелепую историю, пропускали ее мимо ушей и продолжали разговаривать о деле. Во всем остальном Фальборк был типичным представителем русской интеллигенции со всеми ее качествами и недостатками. Аскетичный в своих привычках и вместе с тем бесконечно безалаберный, всеми помышлениями преданный общественным делам, которым отдавал свое время вполне бескорыстно. Получая очень скудное жалование от Вольного экономического общества, жил кое-как, без всякого комфорта и горел исключительно общественными интересами. Когда началась война, он не остался в стороне, а поехал на фронт во главе организованного петербургскими студентами передового перевязочного отряда. Не мог, конечно, скрыть своего удовольствия, надев генеральские погоны уполномоченного.

Несколько раз встречался я с ним во время революции. Роли в ней он не играл. Для людей типа Фальборка, не способных к планомерной органической работе и значение которых заключалось лишь в обладании каким-то дрожжевым началом, вызывающим брожение в окружающей среде, революционная стихия является благодатной почвой для блестящей политической карьеры. К чести Фальборка нужно сказать, что он от революции не полевел, как многие другие. Даже, как будто, еще поправел. В этом нельзя не видеть искренности его убеждений.

Что он делал в годы гражданской войны – я не знаю. Последний раз я встретил его в Ростове-на-Дону, на улице. Он стал мне что-то рассказывать о новой созданной им организации спасения России.

– Вступите в мою организацию. Она очень быстро развивается. У нас уже более миллиона членов. – Что?

"Врет, как Фальборк", – вспомнилось мне...

После этой встречи я о нем ничего не слышал. Кажется, он умер. Странный был человек. Неуравновешенный, увлекающийся, но верный и стойкий.

А его бывший друг Чарнолусский, уравновешенный, спокойный, флегматичный и казавшийся верным и стойким, впрягшись вначале в колесницу мартовской революции и занимая в рядах ее петербургских деятелей почетные, хотя и не первые места, "приял" и октябрьскую революцию, продолжая работать в области народного просвещения. Это весьма похвально. Но как-то мне пришлось читать в заграничной печати выдержку из его статьи, в которой этот старый народник неумеренно восхвалял новых хозяев

России. Искренно или нет, вынужденно или добровольно? Бог ему судья...

Общественное оживление, начавшее проявляться в 90-х годах и охватившее петербургскую радикально-социалистическую молодежь, выразилось в поисках деятельности, в которой она могла бы применить свои силы в борьбе за лучшее будущее или в подготовке этой борьбы. Одни входили в революционные кружки и занимались подпольной работой, другие примыкали к легальным формам борьбы, третьи участвовали как в нелегальных, так и в легальных организациях, создавая таким образом общий фронт. Движение, созданное кружком Фальборка в Вольном экономическом обществе, являлось одной из форм легальной борьбы с правительством. Параллельно возникло и другое легальное движение, в котором мне пришлось принять участие, движение, направленное к просвещению рабочих в воскресно-вечерних школах.

Вспоминая теперь своих товарищей, учителей воскресных школ, и беззаветное увлечение, с которым они относились к делу, наконец, то значение, которое эти школы имели на известных этапах развития русской революции, я сознательно называю движением это "хождение" в учителя воскресных школ, хотя в нем принимала участие сравнительно небольшая часть столичной интеллигенции.

Когда осенью 1893 года я из-за границы вернулся в Петербург, то в одном из крупнейших фабрично-заводских центров, на Шлиссельбургском тракте, уже существовали созданные Императорским Техническим обществом, с субсидией наиболее просвещенных промышленников (Варгунина и др.), воскресно-вечерние школы для рабочих.

Мой школьный товарищ и ближайший друг Г.М. Григорьев, преподававший физику в средних учебных заведениях, отдавал все свои досуги на преподавание того же предмета рабочим на Шлиссельбургском тракте. Он мне много и с увлечением рассказывал о том, какое удовлетворение ему дают занятия с рабочими, и рассказами своими увлек меня.

Учителя, преподававшие в воскресно-вечерних школах, никакого вознаграждения за свой труд не получали. Наоборот, им самим приходилось расходовать свои деньги на проезд на медленно двигавшихся конках в школы, находившиеся в рабочих районах, на окраинах Петербурга, и даже далеко за пределами городской черты. Молодые люди и девушки (женский элемент преобладал среди учителей), в огромном большинстве материально необеспеченные, наскоро пообедав после трудового дня, отправлялись в далекое путешествие на городские окраины и возвращались домой лишь к полуночи. А единственный свободный день, воскресение, тоже проходил в преподавательской работе и далеких поездках.

Несмотря на утомительность этой работы и отсутствие вознаграждения, число желающих стать преподавателями воскресно-вечерних

школ для рабочих всегда было значительно больше учительских вакансий и ждать своей очереди приходилось долго. Мне, однако, посчастливилось. На Глазовской улице, в районе Обводного канала, в здании детской школы, основанной каким-то православным братством, а потому именовавшейся "Братской", Техническое общество организовало по воскресеньям и по вечерам в будние дни школу для взрослых рабочих. Старшая группа учеников этой школы только что сдала выпускные экзамены, но пожелала продолжать учение в дополнительном классе, в котором между прочими предметами должны были преподаваться геометрия и физика. Кроме того, учителя этой школы не имели в своем составе подходящего лица на должность школьного инспектора, ответственного перед Техническим обществом. Оказалось, что я удовлетворяю этим условиям. Поэтому я одновременно был приглашен педагогическим советом школы учителем физики и геометрии и назначен Техническим обществом ее инспектором.

Вокруг воскресных школ для рабочих велась сложная борьба. Согласно уставу, школы эти были приравнены к народным училищам, с определенной, весьма ограниченной программой. Законно в них можно было преподавать лишь грамоту, т. е. учить беглому чтению и письму и арифметике. Взрослым рабочим, стремившимся получить в школе общее развитие, этого было мало. Такому настроению рабочих вполне соответствовало настроение учителей, которые не стали бы проявлять столько жертвенного пыла, имея в виду научить своих учеников лишь чтению, письму и счету. Техническое общество в этих пределах держало сторону рабочих и учителей, отвоевывая у правительства право расширить программу преподавания, и постепенно его отвоевало, несмотря на бесконечные препятствия со стороны министерства народного просвещения.

Однако учителя не считали возможным дожидаться завершения этой борьбы. Под видом "объяснительных чтений" в школах преподавались история, география, естественные науки, геометрия, физика, химия и т.д. Все это делалось открыто, прикрываясь лишь формальными отписками. Техническое общество до известных пределов закрывало глаза на нашу "незаконную" деятельность, но его инспектора должны были уметь в официальных сношениях гладко отписываться. Вот эта сложная обязанность выпала и на мою долю. Но положение мое осложнялось еще больше тем, что я состоял по установившемуся обычаю равноправным членом педагогического совета школы и, став ее инспектором, дал обязательство своим коллегам этого обычая не нарушать и не пользоваться некоторыми своими начальственными правами. Между тем, в школьном преподавании не только проводилось незаконное расширение программы, но и известная политическая тенденциозность. А это все не входило в намерения Технического общества. То, что теперь я считаю тенденциозным, тогда мне представлялось в ином

свете, а задачу школы "подготовить кадры борцов за свободу и справедливость" я считал чрезвычайно важной и существенной. Поэтому и в моих отношениях с почтенным Техническим обществом мне приходилось лукавить.

Скажу несколько слов об учителях и учительницах нашей Братской школы.

Учителя (больше – учительницы) были в большинстве молодыми людьми. Лица, перевалившие за 30 лет, были среди нас исключениями. Значительную часть составляли учительницы городских школ и женских гимназий, но были и люди других профессий, а также курсистки и студенты. Некоторые принадлежали к революционным социал-демократическим и народническим организациям (партии с.-д. и с.-р. возникли позже), но большинство было просто радикального образа мыслей, с симпатиями к социалистическим учениям.

Между всеми нами установились самые дружеские отношения, но по вопросу о задачах школы мы держались разных взглядов. Так сказать, правую группу среди нас составляли опытные учительницы городских школ, видевшие свою задачу лишь в сообщении ученикам знаний в пределах преподаваемого предмета. Они преподавали главным образом в младшей группе, обучая неграмотных, и в короткий срок достигали блестящих успехов. Любили они школу, как школу, и боялись вторжения политики в дело преподавания, ибо знали, что это рано или поздно ее погубит. Среднюю группу, к которой и я принадлежал, составляли учителя, смотревшие на задачу школы как на "подготовку борцов". Эта задача, имевшая в виду результаты в более или менее отдаленном будущем, тоже требовала "бережения" школы, но вместе с тем мы стремились не только обучать наших учеников, но и внушать им известные идеи. Наконец, третья группа, в которую преимущественно входила кружковая революционная молодежь, ценила школу лишь как средство пропаганды социалистического учения и организации революционных ячеек.

Помню, как однажды выяснилось, что один из преподавателей этой группы на уроках арифметики читал ученикам брошюры, популяризирующие учение Маркса. Само собою разумеется, что мы отчитали этого наивного пропагандиста, из-за которого школа могла быть закрыта в 24 часа.

Мы категорически заявили нашим левым коллегам, что не хотим и не можем вмешиваться в их конспиративную работу с нашими учениками на стороне, но требуем от них обещания, что внутри школы они такой прямой политической пропаганды вести не будут. Они нам это торжественно обещали, но, как потом оказалось, устроили конспиративную квартиру на той же лестнице, где помещалась школа, и после уроков, в тайне от нас, водили туда учеников. То, чего мы не знали, узнала полиция, школа была

закрыта, несколько учителей и учеников арестовано, а над оставшимися на свободе (и надо мной в том числе) был учрежден негласный надзор полиции. Много лет этот негласный надзор служил мне помехой в моей дальнейшей деятельности.

Что касается учеников нашей Братской школы, то они проявляли не меньше самоотверженности в своем стремлении к просвещению, чем их учителя в стремлении приобщить их к культуре и... к революции. Работая ежедневно на фабриках и заводах с 7 утра до 7 вечера, с двухчасовым перерывом для обеда, они находили в себе силы каждый вечер отдавать учению 2 часа, а по воскресениям – четыре. Ради учения они систематически недосыпали. Вернувшись с фабрики, они имели лишь один час времени, чтобы умыться, переодеться и поужинать, в школе сидели до 10 вечера и, следовательно, ложились спать не раньше 11-ти. А в 6 утра должны были вставать... Понятно, что не все могли выдержать такую нагрузку. С осени в школу поступало до 150 человек, из которых к Рождеству оставалось не больше трети. Но этот отбор уже действительно был образцовый. Школа становилась для них счастливым отдыхом в их скучной однообразной и трудовой жизни, а умственная работа – потребностью после целого дня физического труда. Любовь к школе объединяла учителей с учениками, и между ними создавались самые тесные и дружеские отношения. Ученики, окончившие школу и получившие диплом, не хотели расставаться с ней. Я поступил в Братскую школу преподавателем в дополнительную, 5-ую группу, состоявшую из окончивших учеников. Но на следующий год образовалось уже две дополнительные группы, на 3-ий – три. Вначале группы эти были нелегальные, но затем Техническое общество добилось расширения программы преподавания. Нужно думать, что наши ученики и этим бы не удовлетворились, и, если бы школа не была закрыта, — нам пришлось бы нелегально проходить с ними целый гимназический курс.

На праздниках Рождества и Пасхи мы устраивали в школе литературные вечера. Обыкновенно читались произведения русских классиков. Моей специальностью было натаскивать учеников в чтении по ролям комедий Гоголя или Островского. Это доставляло как читавшим, так и слушавшим огромное наслаждение. Чтение поминутно прерывалось дружным хохотом и бесхитростными замечаниями публики. Литературные вечера обыкновенно кончались танцами. Потные и красные ученики неуклюже крутили в польке своих учительниц, а затем под гармошку плясали русскую.

Последний из этих вечеров, на Рождестве 1896 года, ярко запечатлелся в моей памяти. На заводах шла в то время усиленная агитация. Рабочие готовились объявить стачку. Наши ученики, конечно, принимали в этом движении деятельное участие. Настроение

среди них поэтому было нервное. Тем не менее, литературный вечер прошел, как всегда. Но, когда начались танцы, я заметил, что принимают в них участие немногие. Другие появляются и исчезают. Зайдя в соседний класс, я увидел там необычную для школы картину: один из учеников моей группы стоял на столе и произносил зажигательную революционную речь, которую другие слушали, видимо, с едва сдерживаемым напряжением. По лицам их я понял, что прекратить этот митинг уже нельзя. Оставалось лишь заглушать его музыкой и танцами, чтобы полиция и дворники не заметили ничего предосудительного. Когда вечер кончился и все разошлись, в школе остались лишь два ответственных лица — я, инспектор, и А. В. Простотина, заведующая школой.

— Конец? — грустно спросил я ее.

— Конец, — ответила она мне...

К нашему удивлению, однако, это не был конец. Митинг прошел незамеченным, и школа просуществовала до весны, пока не разразилась стачка и не пошли аресты. Тогда-то полиция обнаружила над школой конспиративную квартиру, о которой я упоминал, и школа была закрыта.

Глава 8

ЗЕМСКАЯ СТАТИСТИКА

Моя женитьба. Я становлюсь земским статистиком. Н.М.Кисляков. Из истории земской статистики. Закон 1893 года об оценке недвижимых имуществ. Организация статистических бюро. "Запорожская сечь". Коллегиальность. Состав статистических бюро. Партийные с.-д. и с.-р. конфликты. Трудность положения заведующих бюро.

Весной 1896 года произошло крупное событие в моей личной жизни: я женился на Ольге Владимировне Винберг, дочери известного крымского земского деятеля, о котором я упоминал выше. Долгую жизнь мы прожили вместе, вместе взрастили огромную семью и расстались лишь недавно, в 1938 году. Ее не стало, а я еще доживаю свой век.

В своих мемуарах я старался дать характеристики целого ряда моих умерших современников, хотелось бы посвятить и ее памяти несколько страниц, тем более, что по своему нравственному облику она была человеком совершенно исключительным. Однако чувствую, что не в силах этого сделать. За 42 года нашей совместной жизни я так привык к ощущению нашей слитности, настолько не мог себе представить своего существования без нее, равно как и ее жизни без своей, что говорить о ней как об отдельном от меня человеке не могу. Скажу только, что крепкая наша взаимная привязанность была основным фоном моей жизни и помогала, как мне, так и ей, переживать все испытания судьбы.

Перелом в моей личной жизни послужил поводом перелома и в моей жизни общественной.

Три года по окончании университета я прожил в своем родном Петербурге, где имел множество друзей и знакомых и где принимал активное участие в общественной жизни. Я еще не отказался от своего плана связать свою судьбу с земством и начать работу в земской статистике, но чувствовал, что расстаться со столичной жизнью становится все труднее и труднее. Теперь настал решительный момент. Если бы, став семейным человеком, я не ушел бы с государственной службы и не покинул Петербурга, я, вероятно, остался бы в нем на долгие годы, и вся моя жизнь сложилась бы иначе. Это и тогда было мне ясно. Жена моя, как и я, столичная жительница, всецело

поддерживала мое стремление заново строить свою жизнь и перебраться на работу в провинцию. Так мы и сделали.

Как раз в это время мой знакомый, член смоленской губернской земской управы, Б.Т. Садовский, предложил мне пост заведующего земской статистикой при смоленском земстве. Предложение было соблазнительное, но я считал себя недостаточно компетентным для такого ответственного поста.

Пошел поделиться своими сомнениями с одним из отцов земской статистики, Н.Ф. Анненским, который в это время вместе с Короленко редактировал "Русское Богатство". Анненский со свойственной ему энергией и решительностью убеждал меня не отказываться от сделанного мне предложения. "Не боги горшки обжигают, — говорил он мне, — а вы человек способный, интересующийся делом, легко его охватите. К тому же спрос на земских статистиков велик, а компетентных кандидатов на заведующих бюро очень мало. Если вы откажетесь, на ваше место все равно лучшего не найдут".

Чтобы практически ознакомиться с методами работы, Анненский посоветовал мне провести лето на статистическом обследовании Псковской губернии под руководством его бывшего сотрудника, заведующего псковским статистическим бюро Н.М. Кислякова.

Анненский вдохнул в меня решимость, и я дал согласие с осени занять пост заведующего смоленским статистическим бюро, а в начале лета, вернувшись из заграничного свадебного путешествия, мы с женой отправились в Псков, к Кислякову, который радушно нас принял и включил меня в партию статистиков, отправлявшихся на летние работы в Опоческий уезд.

Н.М. Кисляков, с которым я на много лет связался узами близкого знакомства и дружбы, принадлежал к числу людей примечательных. Отец его был крепостным лакеем одного тверского помещика. Получив волю, он переселился в город Горбатов Нижегородской губернии, поступив буфетчиком в местный клуб. Своих сыновей, — а было их пятеро, — он с ранних лет стал приучать к своей профессии, и маленький Коля по окончанию школы был отдан "мальчиком" в местную гостиницу. Коля учился блестяще, и учитель выхлопотал ему стипендию в нижегородской учительской семинарии, но отец решительно воспротивился дальнейшему учению сына. Поэтому, когда наступило время отправляться в Нижний, в семинарию, Коля все еще ставил самовары в гостинице.

Раз он принес самовар какой-то заезжей барыне. Она заметила его заплаканные глаза и спросила о причине его грусти. Мальчик рассказал ей, что хочет учиться, а отец не отпускает. Барыня расчувствовалась и дала Коле 3 рубля, чтобы он мог взять место на пароходе и поехать в Нижний. Осчастливленный Коля так и сделал, потихоньку удрав из родительского дома. С этого момента дальнейшая судьба его определилась. Кончив учительскую

семинарию, Н.М. стал народным учителем, а когда Анненский организовал при казанской губернской земской управе статистическое бюро, поступил к нему на службу. Человек исключительно даровитый, Н. М., не обладая никакой научной подготовкой, быстро выдвинулся среди своих товарищей и, перебравшись вместе с Анненским на службу в нижегородское губернское земство, вскоре занял в его бюро руководящее положение. Таково было начало карьеры Н.М.Кислякова, ставшего впоследствии одним из наиболее видных русских земских статистиков. Характерна дальнейшая судьба его братьев. Следующие за ним два брата пошли по стопам отца и стали поварами, один – на ст. Лозовой, другой – в Харькове. Профессия оказалась весьма выгодной. Они разбогатели и сделались собственниками больших гостиниц на юге России. Образованием младших братьев уже ведал Н. М. Они жили у него в Нижнем, где окончили гимназию, а затем стали, как и старший брат, земскими статистиками, притом весьма заурядными. Интеллигенты-статистики, не исключая и самого Н. М., у которого была большая семья, жили очень скудно, а повара процветали и не раз выручали из нужды своих братьев статистиков.

Н.М.Кисляков был не только выдающимся земским статистиком. Он чрезвычайно интересовался всем земским делом и хорошо его изучил. Упорство в достижении целей и колоссальная трудоспособность, отсутствие личного карьеризма при даровитости натуры, гибком уме и уменье в нужных случаях находить необходимые компромиссы – все это вместе взятое создавало Н.М.Кислякову влиятельное положение везде, где ему приходилось жить и работать. Эти же свойства помогли ему много лет занимать в псковском губернском земстве пост заведующего статистическим бюро. По собственному опыту знаю, как это было трудно.

Около 10 лет работал я в земской статистике и хорошо познакомился как с экономикой и бытом русской деревни, так и со своеобразной средой моих товарищей по работе. Характеристике этой среды я хочу уделить особое место, нарушая этим хронологическую последовательность моего изложения.

Еще в начале 80-х годов некоторые губернские земства учредили при своих управах статистические бюро для изучения экономического положения крестьянского населения. Одни, как, например, московское губернское земство, не связывали с этими исследованиями определенных практических задач, предполагая использовать добытые путем всеобщей переписи сведения для самых разнообразных целей земского хозяйства. Другие (черниговское, нижегородское) ставили главной задачей статистических работ – переоценку недвижимых имуществ для более справедливого обложения их земским сбором. До 1893 года статистические бюро существовали в половине земских губерний. Витте, в качестве министра финансов, заинтересовался оценочными работами земских

статистиков и, считая – не только в интересах земского обложения, но и в целях общегосударственных, – весьма существенной правильную постановку оценочных работ, провел в 1893 году через Государственный Совет закон, по которому эти работы становились для земств обязательными, причем правительство ассигновало в качестве субсидии на этот предмет по одному миллиону рублей в год.

Надзор за исполнением оценочных работ, равно как и окончательное утверждение оценок, были возложены на особые губернские оценочные комиссии, под председательством губернаторов, в составе представителей разных ведомств. В руководство комиссиям была издана особая инструкция, к выработке которой Витте привлек известных статистиков с Н.Ф. Анненским во главе. Таким образом, статистические бюро становились какими-то особыми учреждениями, находящимися, с одной стороны, в ведении земств, а с другой – в некоторой степени подчиненными губернским бюрократическим учреждениям. Поэтому те земства, где статистические бюро возникали вновь, по закону 1893 года, относились к ним с равнодушием и даже с некоторой враждебностью и терпели их лишь потому, что они были обязательны и что на них в земскую кассу поступали казенные деньги.

Что касается оценочных комиссий, то представители ведомств, в них входившие, совершенно не интересовались делом и ничего в нем не понимали, губернаторы же, в них председательствовавшие, заботились только о том, чтобы не допустить на службу по статистике политически неблагонадежных лиц.

Это сложное положение, созданное двойной подчиненностью, требовало от заведующих статистическими бюро особых личных свойств и, главное, – уменья ладить с людьми. Лично я этими свойствами обладал, привыкши с детства иметь дело с людьми самых разнообразных общественных кругов. Если заведующий обладал достаточным тактом, то двойное подчинение, при малом интересе начальства к самой сути работы, помогало ему отстаивать свою самостоятельность в программе исследования и разработки. А это было очень важно, ибо нас привлекала в земской статистике возможность изучения экономической жизни крестьянства, а совсем не задача оценки недвижимых имуществ, и мы контрабандой, пользуясь полным невежеством в деле наших земских и бюрократических патронов, параллельно с работами чисто оценочного характера, собирали и разрабатывали чрезвычайно интересные и полезные экономические данные, ничего общего, однако, с возложенной на нас задачей не имевшие.

Гораздо труднее было положение заведующих статистическими бюро как руководителей подчиненной им вольницы статистиков.

Из среды бывших земских статистиков вышло немало крупных большевистских деятелей, и едва ли я ошибусь, если скажу, что большая часть деятелей старой большевистской гвардии в какой-то

период своей жизни проходила через земские статистические бюро. Это обстоятельство побуждает меня несколько подробнее остановиться на описании своеобразной среды земских статистиков.

Земские статистические бюро представляли собой как бы маленькие, раскинутые по губернским городам запорожские сечи. Эта аналогия невольно мне приходит в голову, ибо, подобно казакам запорожской сечи, земские статистики были преимущественно людьми, не ужившимися в нормальных для того времени условиях государственной и общественной жизни и создавшие свои вольницы с особым бытом и неписаными законами.

Из кого вербовались земские статистики? Специалистов, статистиков-теоретиков среди нас почти не было. Даже большинство заведующих статистическими бюро черпало свои статистические познания главным образом из практического опыта. Имея общие сведения по политической экономии, они в своем большинстве были полными невеждами в области математической статистики и статистические методы, основанные на теории вероятности, усваивали из практики и от здравого смысла. Это обстоятельство, впрочем, не умаляет огромного значения трудов земских статистиков для изучения России.

Если руководители земских статистических бюро были все же людьми культурными и образованными, то рядовые статистики в этом отношении представляли чрезвычайную пестроту. Людей с законченным высшим образованием среди них было немного. Много было недоучившихся студентов. Некоторые из них, приглашенные в качестве регистраторов на подворную перепись, увлекшись работой и кочевой жизнью, просто теряли вкус к продолжению учения и поступали в штат постоянных сотрудников, другие (и таких было много) были исключены из университетов за какие-нибудь политические истории. Довольно много было бывших административных ссыльных, получивших право жить и работать в провинциальных городах. Попадались среди статистиков и бывшие чиновники, не поладившие с начальством, много было народных учителей, доучившихся и не доучившихся провинциальных гимназистов и т. д.

Тип земского статистика и особенности службы и быта в статистических бюро сложились в 80-х годах, когда земства еще не получали правительственных субсидий, а потому ассигновали на статистические работы весьма скромные средства. Поэтому оклады статистиков были минимальные. Для первых статистиков работа была своего рода подвижничеством, на которое они шли из-за воодушевлявшего их интереса. Даже в 1896 году, когда я приехал на практику в Псковскую губернию, заведующий получал 100 рублей в месяц, статистики – от 40 до 80 рублей, а счетчицы – 25 рублей. Прежде оклады были еще меньше. Они могли быть соблазнительными разве для народных учителей, получавших

совсем голодные жалования; любой же окончивший гимназию юноша всегда мог найти себе лучше оплачиваемую частную или государственную службу.

Сознание своей жертвенности и отсутствие материального интереса, связывавшего их со службой, делало статистиков особенно требовательными в отстаивании своих прав, ибо человек, связанный с работой почти исключительно интересом умственным, естественно желает проявлять в ней свою инициативу и творчество.

Отсюда возникла пресловутая "коллегиальность" статистических бюро, ставшая основой их неписаных конституций.

Формально статистики были подчинены своим заведующим бюро, а эти последние — земским управам, ответственным перед земскими собраниями. Фактически взаимоотношения сложились совершенно иначе: заведующие статистическими бюро, поступая на службу, обычно проводили свою программу в земских собраниях и выговаривали себе полную автономию в вверенном им деле и независимость от управских коллегий. Управы охотно соглашались на эти условия, тем более, что деньги на статистические работы поступали от казны, а наблюдение за ними возлагалось законом на оценочные комиссии. Предоставляя заведующим автономию, управы перелагали на них и свою ответственность за ведение дела перед земскими собраниями. В большинстве земских собраний установился обычай приглашать в заседания заведующих статистическими бюро с нравом совещательного голоса. В дебатах о статистике председатели и члены управы обычно соблюдали нейтралитет, и вся тяжесть защиты дела вместе с ответственностью за него падала на заведующего. Это узаконенное обычаем переложение ответственности принимало иногда совершенно несуразные формы. Так, в орловском земском собрании мне однажды пришлось выступить с докладом, против которого высказался сам председатель губернской земской управы С.Н.Маслов, формально ответственный за мой доклад и за мои, как лица ему подчиненного, суждения. Исход этого спора был предрешен. Собрание не могло не поддержать своего избранника, председателя управы. Но самая возможность нашего спора в земском собрании показывает ненормальность постановки всего дела земской статистики.

Во внутренней жизни статистических бюро противоречие между формальным правом и реальными взаимоотношениями проявлялось в еще большей степени. Формально все служащие статистических бюро были подчинены заведующим, фактически же заведующие вынуждены были считаться с неписаной конституцией, по которой они были лишь первыми между равными. По этой "обычной" конституции, статистические бюро управлялись коллегией статистиков. Коллегии устанавливали программы исследований и принципы разработки собранных материалов. Они же распределяли работу между сотрудниками. Без их согласия заведующие не могли приглашать

новых сотрудников. Во всех этих вопросах за заведующими было признано лишь право вето, которым они, впрочем, пользоваться избегали, боясь создать так называемый "конфликт".

В новом бюро, каким было псковское, куда я попал на обучение, "коллегиальность" проводилась неукоснительно. Все свободное от работы время статистики проводили в заседаниях, на которых велись бесконечные споры из-за деталей программы или требовались от заведующего объяснения по поводу его отношений с управой, с губернатором и т.д. Плохо приходилось тем заведующим, которые, доведенные до отчаяния притязаниями своей вольницы, раньше времени показывали когти, отстаивая свои формальные права. В таких случаях разражался неминуемый "конфликт". Статистики коллективно подавали в отставку, и работа приостанавливалась. Единственно правильной тактикой заведующих был также "измор". Нескончаемые заседания со спорами о выеденном яйце начинали надоедать самим статистикам, не говоря уже о том, что задерживался ход работы. И вот, когда они запутывались в сетях "коллегиальности", заведующие начинали прибирать к рукам бразды правления.

Работать нам приходилось очень много. Летом, на исследованиях, начинали работать в 5 утра, а кончали в 7-8 вечера, делая лишь краткий перерыв для обеда, а зимой сверхурочная вечерняя работа длилась иногда месяцами. Такая напряженная работа естественно отбивала охоту от непроизводительных заседаний коллегии. Возникновение частых заседаний в старых, налаженных бюро было плохим признаком: это означало, что в жизни бюро наступил какой-то кризис и подготовляется "конфликт". Ни одно бюро, как бы успешно ни шли его работы, не было гарантировано от периодически возникавших "конфликтов", ибо основной причиной их было не самое дело и его постановка, а мятежный дух статистической вольницы, соединенный с созданным ею же самою бытом узкой кружковщины.

Трудно теперь, через много лет, восстановить совершенно специфическую атмосферу, существовавшую в статистических бюро. Статистики, поселявшиеся большой группой в губернском городе, в редких случаях были местными жителями. Чуждые местной жизни, они и не стремились заводить новые знакомства. Жили обыкновенно своим тесным кружком, как жили политические ссыльные в городах русского Севера и Сибири. Конечно, провинциальная жизнь того времени, ярко изображенная в рассказах Чехова, была убогой, но замкнутая жизнь статистиков содействовала развитию в них нездорового ощущения своего коллективного превосходства. В большинстве случаев это ощущение было обратно пропорционально объективному положению вещей: чем тупее и невежественнее был человек, тем больше, попав в среду статистиков, он проникался чувством самодовольства. Уже проходили времена, когда статистики

были своего рода подвижниками и имели некоторое право своим подвижничеством гордиться. Кадры интеллигенции быстро возрастали, а спрос на нее сокращался. Поэтому в конце 90-х годов уже немногим из лиц, шедшим в земскую статистику, приходилось отказываться от более выгодной карьеры. К тому же и оклады статистиков возрастали, а квалификация их, в связи с увеличением на них спроса, падала. Таким образом, мало оставалось от духа жертвенности и подвижничества прежних времен. Но осталось сознание как бы своей избранности и презрительное отношение к окружающей среде. Со статистиками происходила приблизительно та же эволюция, какая более ярко проявилась в среде революционных партий, когда люди, действительно рисковавшие своей жизнью из-за идеи, прошедшие через ссылку и каторгу, продолжали ощущать свою геройскую исключительность в пореволюционной обстановке, никаких жертв от них не требовавшей, и когда даже всякий приклеивший себе ярлык с.-д. или с.-р., не имея в прошлом никаких заслуг, чувствовал свое превосходство над заслуженными общественными деятелями, этих ярлыков не носившими. Та же психология избранности сохраняется и современным коммунистическим "дворянством".

Состав земских статистиков был пестрый. Были среди них профессионалы чистой воды, в большинстве случаев провинциалы из семинаристов или народных учителей с наивной народнической душой и таким же наивным убеждением в своей "избранности". Очкастые, бородатые, в неизменных мягких рубашках со шнурками вместо галстуков, иногда в высоких смазных сапогах, они внешним своим видом напоминали нигилистов 60-х и 70-х годов. Многие из них были уже не первой молодости, т.е. лет 35-40, побывали в разных статистических бюро доброго старого времени и хранили старые традиции. Работали упорно, добросовестно, педантично, но с таким же педантизмом относились к соблюдению статистических традиций и охране своих прав. Тяжеловозы и тяжелодумы, звезд с неба не хватали, но составляли основную рабочую силу бюро. Вместе с тем часто они были инициаторами "конфликтов", в которых держали себя упрямо, мелочно и прямолинейно. К этим статистическим "сектантам", часто помятым жизнью, но сохранившим какую-то детскую наивность души, я всегда чувствовал симпатию, несмотря на то, что своими претензиями и болезненным самолюбием они много испортили мне крови. В большинстве это были хорошие люди, честные и с открытой душой.

Немалую группу среди статистиков составляли столичные интеллигенты, частью поступившие в земскую статистику из научного интереса, частью из-за присущего им вольнолюбия и нежелания подчиниться какой бы то ни было служебной дисциплине. К этой же категории можно отнести и часть политических ссыльных, отошедших от революционной работы и находивших удовлетворение в работе

полунаучного характера. Эта группа составляла своего рода "аристократию" статистического бюро. Из нее вербовались "текстовики", т.е. составители текстов статистических сборников, а также будущие заведующие бюро. Большинство из них сотрудничало в местной или столичной прессе и многие впоследствии становились журналистами или писателями. Много было среди нас и молодых людей, главным образом из исключенных студентов, примкнувших к революционным партиям с.-р. и с.-д. после их образования. Интересовались они преимущественно организацией кружков из гимназистов и рабочих, а на свою службу в статистике смотрели только как на необходимый для существования заработок. Эта группа, с годами все возраставшая, в особенности партийные с.-д. (большевики и меньшевики), мало вносила интереса и инициативы в работу. Относясь с большим высокомерием к беспартийным товарищам, эти молодые революционеры были большею частью недобросовестны в работе, что не мешало им щепетильно отстаивать свои права в статистической коллегии. Благодаря этой группе статистиков, старая коллегиальность, основанная на жертвенности равноправных членов бюро, работавших за малое вознаграждение без счета часов и по праву считавших земскую статистику своим делом и своим детищем, стала полным абсурдом. Эти молодые люди смотрели на заведующих не как на товарищей, а как на работодателей, постоянно требовали регулирования рабочего времени, усиленной оплаты сверхурочных часов, повышения окладов и т.п. И постепенно статистические бюро превратились в уродливые учреждения, подобные частновладельческим фабрикам, управлявшимся комитетами рабочих в первой стадии революции 1917 года.

Кроме указанных трех главных групп земских статистиков, были еще две небольшие группы: к одной я причисляю людей малоинтеллигентных, тупых и бездарных, как-то затесавшихся в статистическую компанию и приобретших навыки в счетной работе. Им из статистики деваться было некуда. Конфликты были не в их интересах, а потому в большинстве случаев они примыкали к "правительственной" партии. К другой группе можно отнести забулдыг и запойных. Ни в одном другом учреждении они служить бы не могли. Но статистическая вольница была к ним терпима. В каждом бюро было 2-3 запойных статистика, которые от коллегии получали как бы негласные отпуски во время запоев. Я знал нескольких статистиков с регулярными запоями, которые служили в своих бюро по много лет. Но, если запои становились "не регулярными", долготерпению товарищей наступал конец. Приходилось их увольнять, и они исчезали из нашей среды, погибая где-либо "на дне".

Таков был в общих чертах состав статистической вольницы, в которую я попал после трех лет службы в одном из центральных учреждений правительственной статистики.

Однако и статистическая вольница не могла избежать естественного деления на классы. В статистических бюро были свои патриции и плебеи. Патриции, обладавшие званием статистиков, были полноправными гражданами своих республик и участниками внутреннего самоуправления. Это было все же меньшинство. Большинство составляли счетчицы, или "барышни", как их называли в просторечии. Барышни были нашими чернорабочими, никаких прав по управлению бюро не имели, да на них и не претендовали. Впрочем, в период подъема революционных настроений перед 1905 годом в некоторых бюро стремление к эгалитарности доходило до абсурда и "барышни" были введены в коллегии с правом решающего голоса. Такие порядки, например, я застал в таврическом статистическом бюро, когда был выбран членом таврической губернской земской управы.

Явившись на общее собрание, на котором обсуждались очень сложные вопросы программы исследования, я был совершенно поражен тем, что увидел. В коллегии принимали участие человек 10 статистиков разной опытности и квалификации и около 20-ти "барышень"-счетчиц. В большинстве это были юные девицы, недавно окончившие симферопольскую гимназию. И вот оказалось, что эти 20 девиц, предводительствуемые молодыми и неопытными статистиками, проводили решения, против которых возражало несколько старых опытных работников, в том числе и я.

Мое положение было особенно щекотливое, ибо я, как член управы, был начальством для бюро и его заведующего Неручева и по долгу службы не мог потерпеть, чтобы абсурдные с моей точки зрения решения проводились в жизнь. Зная по опыту нравы статистиков, я понимал, что последствием моего протеста неизбежно будет "конфликт", который, благодаря моему статистическому прошлому, примет характер всероссийского скандала. Я все же заявил Неручеву, что отказываюсь состоять членом этой противной здравому смыслу коллегии, и вероятно скоро начался бы между нами конфликт, если бы не наступил период революции, который закрутил и меня, и Неручева в своем водовороте.

Совершенно понятно, что управление вольницей в большинстве неуживчивых, самодовольных, самолюбивых и прямолинейных людей, вольницей, образовавшейся не на основании законов, но вопреки им, и державшейся лишь на традициях, которые создались при совершенно иных обстоятельствах, было делом непосильным для заведующих, даже самых авторитетных и тактичных. И не мудрено, что так называемые "конфликты" возникали по самым разнообразным поводам. То отдельные статистики, не ужившись с заведенными порядками, оставляли службу, то к ним присоединялись целые группы. Иногда бунтовало большинство бюро против заведующего, или все бюро вместе с заведующим — против управы.

Требования, ультиматумы, коллективные отставки, третейские суды...

За свою десятилетнюю работу в земской статистике мне пришлось принимать участие в целом ряде подобных историй. В таких случаях мы проводили время в бесконечных заседаниях, происходивших иногда в течение двух-трех недель почти каждый вечер и длившихся порой до глубокой ночи. Все ходили нервные, хмурые. Вчерашние друзья, примкнув к разным партиям, внезапно делались заклятыми врагами, переставали кланяться друг другу... Нечего и говорить, что во время "конфликтов" работа у всех валилась из рук.

Не имея впереди никаких карьерных перспектив, не дорожа, как и большая часть старой русской радикальной интеллигенции, материальными благами, не связанные с данной губернией ни родственными связями, ни знакомствами, строптивые и неуживчивые статистики, в особенности холостяки, легко шли на всякие "конфликты" и перекочевывали из одной губернии в другую. Если не считать кочевых инородцев и актеров, в России не существовало более кочевой группы населения, чем земские статистики. Статистики, работавшие в одном и том же бюро более 2-3 лет, составляли редкое исключение. И если, несмотря на это, земская статистика дала России много ценных трудов и исследований, то объясняется это тем, что среди нас было все же немало способных и талантливых людей, а кроме того, в периоды внутреннего мира все мы, хранившие старые традиции, работали не за страх, а за совесть, не считаясь с официальным распорядком рабочего дня.

Глава 9

МОЯ ЖИЗНЬ В СМОЛЕНСКЕ (1896)

Смоленское земство и его деятели. Выборные земцы и служащие по найму. Смоленское общество – аристократия и интеллигенция. Мои смоленские знакомые. Доктор Д.Н. Жбанков. Председатель губернской управы Н.А. Рачинский и комический эпизод на земском собрании. Земец Б.Т. Садовский и странное завершение его жизни. Мой доклад отвергнут земским собранием и я покидаю Смоленск.

Возвращаюсь к последовательному изложению событий моей жизни. Итак, лето 1896 года я провел в учебе у Н.М. Кислякова, на исследовании Опочецкого уезда Псковской губернии. Кочевал из деревни в деревню, от помещика к помещику, познакомился с приемами исследования и как выжимать правдивые цифры из лживых показаний. А лгали все – крестьяне и большая часть помещиков. Крестьяне старались прибедниться, предполагая, что от их показаний зависит размер тщетно ожидавшейся ими земельной прирезки, а помещики, знавшие, что работа производится в оценочных целях, но не представляя себе, что оценка предстоит нормальная, а не индивидуальная, старались приуменьшить доходность своих имений.

Получив в Псковской губернии некоторый практический опыт в организации статистических исследований, я все же не без душевного трепета отправлялся в Смоленск, где мне предстояло руководить этим сложным делом и, прежде всего, представить на губернское земское собрание проект организации и сметы статистического бюро.

Осенью 1896 года мы с женой перебрались в Смоленск и поселились в маленьком уютном домике, предполагая прожить в нем несколько лет. Но прожили мы в нем всего четыре месяца.

В Смоленске я впервые вошел в среду земских деятелей, если не считать моего краткого пребывания на голоде в Богородицком уезде Тульской губернии.

В конце XIX века в русской жизни происходили крупные перемены в связи с развитием промышленности, железнодорожного строительства, народного просвещения и других факторов

цивилизации, нарушающих веками установленные особенности отдельных местностей. Тем не менее, эти местные особенности еще значительно сохраняли свою силу. Сказывались они в говоре и костюмах крестьян, отличавших жителей отдельных уездов и волостей, в нравах, быте и даже нравственном облике отдельных деревень. Во время статистических работ это в особенности бросалось в глаза. Вот группа деревень, занимающихся изготовлением колес, а другая группа состоит из горшечников, в третьей – никаких местных промыслов нет, а существуют промыслы отхожие. Одна деревня много лет поставляет дворников в петербургские дворцы, другая – текстильных рабочих на петербургские фабрики, третья – рабочих по сплаву леса и т.д. Попалась мне как-то деревня, все население которой зимой ходило в "кусочки", т.е. занималось профессиональным нищенством. Деревни имели и свою нравственную репутацию. Часто приходилось слышать, что крестьяне какой-нибудь Подшибаевки воры, а зуевские – честные, деревня Надеждинка ленивая, а Синицыно – трудолюбивая и т.д.

Имели свою местную коллективную физиономию и помещики тех времен, физиономию, которая ярко проявлялась на земских и дворянских собраниях. Были земства прогрессивные и ретроградные, просвещенные и культурно отсталые, деятельные и инертные. Эти свойства их прочно держались десятки лет, несмотря на персонально менявшийся состав гласных.

То же было и в Смоленской губернии.

На основании своих многолетних наблюдений над земской жизнью я могу утверждать, что в большинстве случаев выборный состав земских управ работал не много. Главную работу исполняли земские служащие из третьего элемента, и им преимущественно принадлежала инициатива новых культурных начинаний. Этим я не хочу умалить значения в земской работе выборного состава земских управ. И среди так называемого "цензового элемента" были люди с большой инициативой. Но основное их значение было в общем руководстве работой, которое в той или иной степени им принадлежало и в котором они играли роль сдерживающего начала. Теоретики из третьего элемента, специалисты в отдельных областях, в своих планах и проектах не всегда считались с практическими возможностями культурной работы. Земцы же, охватывавшие в управских коллегиях все земское дело целиком и считавшиеся с господствовавшими течениями в земских собраниях, претворяли утопии своих специалистов в практическое, жизненное дело.

В смоленском губернском земстве было много земских служащих. Я уже говорил о том, в какой замкнутой кружковщине протекала жизнь земских статистиков. Однако некоторые из статистиков и земские служащие других специальностей пускали часто более глубокие корни в местной жизни, заводя знакомства среди среднего чиновничества, более просвещенного купечества,

учителей средних учебных заведений, сотрудников местной газеты и т.п. Этот круг лиц составлял местную интеллигенцию губернских городов, жизнь которой протекала обособленно от местной "аристократии", состоявшей из крупного чиновничества, земцев и дворян-помещиков, группировавшихся вокруг губернаторов. К "аристократии" обыкновенно принадлежали и наиболее левые земцы, находившиеся в оппозиции правительству, но как люди "своего круга", принятые в доме губернатора и других местных аристократов. Некоторые из этих левых земцев вращались также в кругах "интеллигенции", где, впрочем, к ним относились не совсем как к своим. Все же они были единственной связью между "интеллигенцией" и "аристократией" губернских городов. Эти два слабо сообщавшиеся между собой круга давали физиономию местному провинциальному центру. Всякий новый человек, не желавший исчезнуть в общей обывательской массе губернского города, входил либо в круг его аристократии, либо в круг интеллигенции (эти термины я употребляю в некотором условном смысле). Губернская аристократия и губернская интеллигенция имели каждая свои общественные дела и учреждения, в которых они объединялись. Аристократия группировалась вокруг разных благотворительных учреждений и местных отделений Красного Креста, устраивала с благотворительной целью базары, балы и т.п. Почему-то занятие археологией тоже было монополией аристократии, представители которой ведали делами губернских архивных комиссий. Интеллигенция группировалась преимущественно вокруг культурно-просветительных учреждений. В каждом губернском городе, в котором мне приходилось жить, я принимал участие в создании общественной библиотеки, в устройстве народных чтений с волшебным фонарем и других просветительных учреждений. И так же, как просвещенному губернскому "аристократу" полагалось быть членом архивной комиссии, губернский "интеллигент" неизбежно состоял членом учительского общества взаимопомощи. Не будучи профессиональным педагогом, я неизменно выбирался либо членом правления, либо председателем учительского общества взаимопомощи.

Губернская "аристократия", ядро которой составляли местные дворяне, имела связи со столицами, но совершенно не общалась с "аристократиями" других губернских городов. Губернская же "интеллигенция", состоявшая в значительной части из земских служащих, довольно часто переходивших на службу из одного земства в другое, имела, благодаря этому, прочные связи не только в столицах, но и во всех губернских городах. Все более или менее крупные представители губернской "интеллигенции" во всей России знали друг друга, если не лично, то понаслышке. Приезжая в какой-нибудь незнакомый мне губернский город, я всегда мог зайти к любому из представителей местной "интеллигенции", заранее

зная, что во всяком личном и общественном деле встречу активное содействие.

Хотя исчезнувшее в первой четверти XIX века из русской жизни масонство в период, предшествовавший революции 1905 года, еще не возродилось, но всероссийские связи русской левой интеллигенции весьма напоминали масонское братство. Это обстоятельство чрезвычайно содействовало общественной борьбе первых лет XX-го века. В частности, возникший в 1903 году Союз Освобождения сразу приобрел в этих кадрах провинциальной "интеллигенции" уже готовый остов организации, которая через левых земцев ввела в свою орбиту и часть провинциальной "аристократии".

В Смоленске мы с женой, конечно, сразу попали в круг местной "интеллигенции" и приняли участие во всех ее культурных начинаниях. Объединялись мы на еженедельных журфиксах, чаще всего на квартире известного русского психиатра Литвинова, заведовавшего в это время психиатрической лечебницей смоленского губернского земства. Из более видных участников этих журфиксов вспоминаю фабричного инспектора А.Н.Быкова, впоследствии видного деятеля партии Народной Свободы, расстрелянного большевиками в 1921 году, редактора газеты "Смоленский Вестник" В.Я.Яковлева, приобретшего литературную известность под псевдонимом Богучарский, и заведовавшего санитарным бюро губернского земства Д.Н.Жбанкова.

С Быковым в моей последующей общественной и политической деятельности мне приходилось часто встречаться, а с В.Я.Богучарским я поддерживал дружеские отношения до самой его смерти. Оба они были людьми выдающимися по уму и широкому образованию. Д.Н.Жбанков значительно уступал им в этом отношении, но был чрезвычайно ярок как тип – для того времени уже несколько старомодный – провинциального русского интеллигента.

Недавно умерший в советской России глубоким стариком доктор Жбанков уже в те времена не был молодым человеком. Длинная неопрятная борода его была с сильной проседью, на голове волосы редели. Это был типичный семидесятник, воспитанный на Конте, Спенсере, Дарвине, Чернышевском, Писареве и Добролюбове. Это не значит, что он перечитал всех этих властителей дум своего поколения, но идеи их тем не менее впитал в себя прочно и считал их абсолютно непогрешимыми. Столь же непогрешимыми считал он и свои социалистические народнические взгляды, относясь ко всем инакомыслящим с грубой насмешкой и тупым презрением.

Будучи деятельным членом всех Пироговских съездов врачей, Жбанков всегда выступал на них с трафаретными речами, в которых требовал отмены винной монополии, телесных наказаний и смертной казни, и проводил соответствующие резолюции.

Телесные наказания были в свое время отменены, продажа казенной водки прекратилась во время войны, но вновь возродилась

при большевиках, а смертные казни стали в советской России повседневным явлением. Увы, на Пироговских съездах, созывавшихся большевиками, в которых Жбанков продолжал принимать участие, перестали раздаваться его горячие речи против смертной казни, с которыми он выступал ранее, лет пятнадцать подряд. Очевидно, принципиальность старого семидесятника не выдержала большевистского террора...

Смоленская земская управа состояла из людей прогрессивного направления, но пассивных и ленивых. Председатель – милейший и добродушнейший Н.А.Рачинский, большой хлебосол и веселый собеседник, приходил в управу поболтать, но решительно ничего не делал. Единственным деловым человеком из членов управы был Б.Т.Садовский, впоследствии, после смерти Рачинского, выбранный председателем. Но и Садовский, хороший хозяин-практик, не обременял себя составлением докладов к земскому собранию. Доклады писались земскими служащими, каждым по своей специальности, а большинство составлял секретарь управы Петровский, которому перед земскими собраниями приходилось сидеть за ними и днями и ночами.

Когда я закончил писание своего доклада об организации статистических работ, Петровский обратился ко мне с просьбой ему помочь. Я стал отказываться, т.к. за два месяца жизни в Смоленске еще совершенно не успел познакомиться с земскими делами. Лишь после упорного настаивания Петровского, доказывавшего мне, что он все равно не успеет написать всех докладов, а в случае моего отказа передаст их другому служащему, не лучше меня знакомому с делом, я взял от него целую кучу мелких докладов по народному образованию, касающихся ряда ходатайств уездных земских собраний. Петровский дал мне целый ряд прежних постановлений губернского земства, которыми я должен был руководствоваться, предлагая от лица управы принять или отклонить те или иные ходатайства. Мои доклады к собранию были напечатаны за подписями председателя и членов управы, из чего я заключил, что написал именно так, как было нужно. Я не мог себе представить, что добродушный председатель управы Рачинский, ведавший делом народного образования, не только не пишет, но и не прочитывает предварительно собственных докладов.

И вот на губернском земском собрании произошел следующий комический эпизод.

Рачинский монотонным голосом скороговоркой читает мелкие доклады по народному образованию. Гласные подремывают и молча их принимают. Вдруг, оглашая предложение управы по ходатайству бельского земства о субсидии на народное образование, председатель начинает говорить неуверенно и, читая, что по таким-то и таким-то основаниям ходатайство подлежит отклонению, он робко и растерянно оглядывает молчаливых

гласных. Один из бельских гласных встает и с недоумением спрашивает:

— Я не ослышался, управа предлагает это ходатайство отклонить?

— Д-д-а,— почти шепотом отвечает председатель управы.

— Как же, Николай Алексеевич, ведь бельское земство возбудило его по вашей же инициативе...

Гласные переглядываются и улыбаются, а несчастный Рачинский лепечет в свое оправдание что-то несвязное, высказывая предположение, что это опечатка.

Только я, сидевший в публике, и секретарь Петровский понимали смысл происходившего недоразумения...

Выше я упомянул о члене управы Б.Т.Садовском, фактически руководившем делами смоленского губернского земства. Его я знал со времени моего детства, т.к. был товарищем его младшего брата. Он меня и пригласил на должность заведующего статистическим бюро.

Любопытна судьба этого человека.

Рано женившись, он поселился в своем смоленском имении и вскоре с увлечением принял участие в земской работе. Способный, умный, деловитый, с репутацией честного человека, он в течение нескольких трехлетий выбирался на должность сначала члена уездной и губернской земской управы, а затем, после смерти Рачинского, лет девять был председателем губернской управы. В земских кругах он считался одним из лучших председателей, принимал участие в земских съездах перед революцией 1905 года, где пользовался всеобщим уважением. Имел он две слабости: водку пил, как воду, совершенно при этом не хмелея, и до страсти любил театральное искусство, сам с большим талантом выступал на любительских спектаклях в самых разнообразных комических и трагических ролях.

И вот — это было, вероятно, уже в 1910–1911 году — Смоленск был взволнован известием об исчезновении председателя губернской земской управы. При проверке земской кассы была обнаружена растрата. Профессор Садовский, выехавший в Смоленск для устройства дел братниной семьи, покрыл растрату и этим потушил возникавшее уголовное дело. Все родные предприняли розыски пропавшего, обратившись в частное сыскное бюро, и примерно через год сыщики обнаружили исчезнувшего председателя губернской управы в Киеве, где он, проживая по подложному паспорту, состоял в труппе актеров местного театра. Еще через год пришло известие об его смерти.

Так никто никогда и не узнал, какие причины побудили этого всеми уважаемого и уже немолодого (ему было более 50 лет) общественного деятеля столь бесславно закончить свою жизнь. Чужая душа — потемки...

На том же декабрьском земском собрании, на котором произошел смешной эпизод с моим докладом по народному образованию, рассматривался и мой проект организации статистического бюро. Это было первое земское собрание, на котором мне пришлось присутствовать. Я внимательно слушал речи ораторов, выгодно отличавшиеся от мудреного краснозычия, к которому я привык на собраниях петербургской интеллигенции.

По вопросу об организации земской статистики возникли горячие прения. Я и теперь очень негладко говорю в публичных собраниях, а тогда это был мой первый дебют, и я защищал свое дело из рук вон плохо. Незначительным большинством мой проект был провален. Приходилось складывать чемоданы и уезжать из Смоленска.

Своему неуспеху я отчасти был рад, ибо чувствовал себя еще недостаточно опытным для руководства статистическими работами, и решил предварительно пройти школу рядового статистика под руководством Н.М. Кислякова, который меня охотно принял постоянным сотрудником своего псковского бюро.

Глава 10

МОЯ ЖИЗНЬ ВО ПСКОВЕ В 1896–1900 ГОДАХ

Псковское захолустье. Две культуры в одной губернии: архитектура церквей, язык, характер населения, сельское хозяйство. Псковское губернское земство. Граф П. А. Гейден. Впечатления, вынесенные мною из объезда Псковской губернии еще больше отклоняют меня от народничества и приближают к марксизму. Мечты крестьян о земельном переделе. Мои псковские приятели: П. А. Блинов, Н. Ф. Лопатин и В. В. Бартенев. Знакомство с Лениным. Споры между социал-демократами "политиками" и "экономистами". Рождение первого заграничного с.-д. органа "Искра". Н. Н. Лохов и его оригинальная судьба.

Три года, с весны 1896 года до лета 1899 года, я работал в псковской земской статистике, вначале — в качестве рядового статистика с окладом в 80 руб. в месяц, а затем в качестве помощника заведующего. В многотомных трудах псковского бюро моему авторству принадлежит целый ряд статей и монографий. За десять лет моего пребывания в земской статистике эти первые три года, пожалуй, были самыми продуктивными, ибо потом, когда я был заведующим, у меня много времени отнимали административные обязанности. Поэтому свою работу в псковском бюро вспоминаю с особым удовлетворением.

Псков — исключительно живописный древнерусский город, который еще в начале XVII века по числу жителей был больше Москвы, а в конце XIX стал одним из самых маленьких губернских городов. После сравнительно оживленного Смоленска, Псков показался мне сонным захолустьем. С проведением Варшавской железной дороги, приблизившей его к Петербургу, он перестал быть местным культурным центром. Семьи богатых псковских помещиков проводили зимы в Петербурге, а потому Псков, в отличие от большинства среднерусских городов, не имел своей местной "аристократии". Верхний слой псковского общества составляли чиновники, не представлявшие собой ярко очерченного круга. Чрезвычайно малочисленным и разобщенным был и круг местной "интеллигенции", благодаря тому, что губернское земство было одним из самых серых и отсталых в России, а потому третий

земский элемент, составлявший в других городах ядро "интеллигенции", во Пскове почти отсутствовал.

Несмотря на близость Петербурга, Псковская губерния была в те времена одной из самых глухих местностей России. Оно и понятно, если принять во внимание, что из семи ее городов только два – Псков и Остров – находились на линии Варшавской железной дороги, проходившей по западной окраине губернии, а другая железная дорога – Псково-Бологовская – пересекала лишь небольшую северную ее часть. Вся остальная губерния, покрытая в восточной половине дремучими лесами, не имела других сообщений, кроме трех-четырех плохих шоссе. Из уездных городов Порхов находился в 40 верстах от железной дороги, Опочка – в 75, Новоржев – в 80, Холм – в 100, Великие Луки – в 150 и Торопец – в 200. Впоследствии, с проведением Московско-Виндавской и Петербурго-Киевской железных дорог, Псковская губерния в значительной степени утратила свой захолустный характер, но тогда это была глушь, в которой население жило еще старым укладом жизни. Мне приходилось иногда ночевать в курных избах, а осенью ложиться спать при свете лучины. Были целые местности, где крестьяне не возили зерна на мельницы, а в каждом дворе имелись ручные жернова, и перед тем, чтобы приступить к печению хлеба, бабы мололи ими себе муку.

В языке псковских крестьян сохранилось еще много старинных, вышедших из употребления слов. Так, например, в восточной ее части крестьяне называли помещика древним словом "боярин", во всей остальной России уже давно замененным "барином". Сохранилось слово "шабры" – "соседи", употребляемое в украинском языке и исчезнувшее из великорусского, старшие и младшие братья назывались по-разному: старший – "братан", младший – "брательник" и т.д.

Через территорию Псковской губернии когда-то проходила граница двух культур – московской и новгород-псковской, и разница этих двух культур еще была очень заметна. Она сказывалась в архитектуре церквей, в языке населения, в его внешнем облике, нравах и характере.

В западной части губернии преобладали церкви старой новгородской архитектуры, с ровными зелеными полуовальными крышами, без затейливых луковиц и со звонницами вместо колоколен. В восточной – большинство церквей имело характерные маковки в виде луковиц, преимущественно синего цвета, а рядом возвышались высокие колокольни. В западной части мужики подбривали себе затылки и подстригали усы, а женщины по праздникам надевали особые костюмы и увешивались старинными монетами, хранившимися в кованых сундуках. На востоке не сохранилось во внешности крестьян никаких остатков старой культуры: мужики были лохматые, бабы неопрятные. На западе крестьяне "цокали", т.е.

вместо "ч" говорили "ц", на востоке — "чокали". В языке запада сохранилось гораздо больше местных характерных словечек: "пойду посоцить блицы" — говорила баба, отправляясь за грибами. "Блиц" — очевидно усвоенное в ганзейские времена немецкое слово piltz, а "социть" (сочить) — старинное слово одного корня с "сочевом", "сочельником", означающее — шарить (мять), а в переносном смысле — искать. Роясь в сундуке в поисках каких-либо нужных им вещей, бабы говорили: "социла, социла, ницево не насоцила". Нигде, кроме западной части Псковской губернии, я не слышал слова "патебник" и "парусник", или "прусняк", обозначавшее плохой лес или кустарник. А в восточной ее части мне запомнились только два местных слова — "журавы" вместо клюквы, и "глыжи" вместо морошки.

Восточные псковичи, жители лесных Холмского и Торопецкого уездов, были ленивы и инертны, жили, по их выражению, "как в стариках было положено". В урожайные годы были сыты, в неурожайные питались впроголодь, почти не ходили в отхожие промыслы, и если имели посторонние заработки, то лишь те, которые, так сказать, сами к ним шли — по рубке и сплаву леса. Это к ним, очевидно, по преимуществу относилась известная кличка: "псковичи-мякинники". Западные псковичи, в особенности крестьяне Псковского и Островского уездов, сохраняли предприимчивость своих далеких предков, жителей вольных Новгорода и Пскова, колонизаторов русского севера и торговых ганзейцев. В поисках лучшей жизни они использовали все имевшиеся возможности: скупили большую часть земель у разорившихся помещиков в своей округе, а затем двигались в качестве колонистов на восток, вместе с соседними эстонцами и латышами, скупая и там помещичьи земли из-под носа у инертных и вялых "мякинников". Излишки же своего населения отправляли на заработки в Петербург. Громадная разница была и в сельскохозяйственной культуре запада и востока Псковской губернии. На востоке хозяйство было натуральное, и крестьяне сеяли злаки лишь для своего потребления. Обработка полей производилась первобытной сохой. На западе основным возделываемым растением был лен, являвшийся предметом торговли. Сеяли его и на своих, и на помещичьих землях. А так как крестьяне по опыту знали, что лен сильно истощает почву и что урожаи его повышаются при многопольном севообороте с посевами клевера, то начали применять в своем хозяйстве травосеяние. Льняную культуру и травосеяние несли с собой в восточные уезды их западные колонисты, которых там называли "островни" (по Островскому уезду). И деревни "островней" среди убогих деревушек холмских и торопецких крестьян поражали своим опрятным и зажиточным видом. Плуги, ставшие обычным орудием обработки у западных псковичей, на востоке можно было встретить тоже только у

этих "островней", равно как и у других западных колонистов – у эстов и латышей.

Резкие отличия разных частей Псковской губернии были заметны не только на крестьянском населении, но и на помещиках, что ярко проявлялось в земских собраниях.

Как и в остальной России, отдельные земства Псковской губернии и их представители в губернском земском собрании имели свою особенную общественную физиономию. Традиционно либеральными были опочецкие и новоржевские гласные, правыми, но в общем просвещенными – островские и порховские. Большинство из них были жителями Петербурга, только лето проводившими в своих имениях. Совершенно особую группу составляли гласные глухих Торопецкого и Холмского уездов. Все они имели какой-то неопрятный вид, но, гордые своим дворянским происхождением, все носили дворянские фуражки с красными околышами. Приезжали они во Псков на земские собрания главным образом с целью кутежа. Веселой гурьбой, но с помятыми и заспанными лицами являлись на заседания, садились на самые далекие от председателя места и пили содовую воду для протрезвления. Не помню ни разу, чтобы кто-нибудь из них высказал свое мнение по какому-либо вопросу.

Псковское губернское земское собрание вообще было серым и тусклым. В прениях участвовало всего несколько человек. Руководил собранием граф Петр Александрович Гейден. Этот умный, образованный и благородный старик выделялся принципиальностью своих суждений и превосходным знанием земского дела. Он был блестящим оратором и в течение многих лет был полным хозяином дела, как в своем Опочецком уезде, где бессменно состоял предводителем дворянства, так и в губернском земстве. Председатель губернской управы Горбунов перед ним заискивал, а гласные боялись ему возражать, так как он умел двумя-тремя саркастическими словами совершенно обезоружить своих противников.

Конечно, гр. Гейден понимал, что влияние его все-таки имеет границы, а потому тянул отсталое псковское земство на путь новых культурных начинаний медленно и осторожно. Эта осторожность, впрочем, соответствовала всему общественно-политическому облику этого либерала-постепеновца.

Большую часть Псковской губернии я исколесил во время летних исследований на всевозможных безрессорных экипажах, на тарантасах, телегах и двухколесных навозных "кошах" и хорошо познакомился с хозяйством и бытом населения. Если из моей жизни на голоде в Самарской губернии я вынес самое печальное впечатление о культурном уровне русского крестьянства, то здесь эти впечатления еще более усилились. Особой примитивностью отличались крестьяне двух восточных, Холмского и Торопецкого, уездов, где в большинстве деревень нельзя было найти ни одного грамотного крестьянина.

Во взаимоотношениях крестьян и помещиков там еще сохранялись нравы крепостных времен. Воспрещенных законом телесных наказаний помещики, конечно, не применяли, но ударить мужика кулаком по физиономии или избить его палкой считалось вполне нормальным. Рукоприкладство было бытовым явлением, которое сами крестьяне принимали как должное. Мужику и в голову не приходило подать жалобу на дерущегося "барина".

В свое время впечатления, полученные мною от помещиков и крестьян этой глухой части Псковской губернии, я изложил в "Русской Мысли", а затем поместил в моей книжке "Очерки минувшего". Включаю их сюда, выделив в отдельную следующую главу.

В общем наблюдения над жизнью крестьян Псковской губернии еще больше укрепили меня в отрицательном отношении к народнической идеологии. В частности, еще больше, чем в Самарской губернии, я убедился в отмирании крестьянской земельной общины. И мне стало совершенно ясно, что сохранившиеся еще общинные распорядки были огромным злом в крестьянской жизни.

Весь уклад сословного крестьянского самоуправления, тесно связанный с общинным землевладением, прогнил до основания. Задерживая сельскохозяйственный прогресс, община, несмотря на уравнительное землепользование, благоприятствовала развитию деревенского кулачества. Зажиточные крестьяне нещадно теснили своих обедневших безлошадных соседей, "покупая", т.е. арендуя на долгие сроки за бесценок их земли, а волостные суды, действуя не по писаному закону, а на основании обычного права, точнее говоря — совершенно произвольно, держали в тяжбах сторону деревенских богатеев, угощавших судей водкой и кормивших взятками волостных писарей. Так "уравнительный" крестьянский сословный строй содействовал неравенству и несправедливости.

Из своих наблюдений над русской деревней я все больше убеждался в правильности марксистских прогнозов в отношении России. Будучи социалистом по своим тогдашним взглядам, я усвоил марксистскую уверенность в том, что Россия, чтобы стать страной социализма, должна предварительно пройти через фазу развития капиталистического прогресса — индустриального и сельскохозяйственного и что переход крестьян от общинного к частному землевладению не только влечет за собой повышение культуры, но, в конечном счете, приближает Россию к социалистическому строю.

Впрочем, я и тогда не считал себя правоверным марксистом. Меня, правда, увлекала своей стройностью теория экономического материализма и казалась мне правильной в качестве метода подхода в объяснении исторических явлений, но я никогда не мог признать эволюцию форм производства единственным фактором эволюции

человеческих отношений и человеческих идей, как это утверждали марксисты.

Вообще я не принадлежал к типу людей, взгляды которых создаются из увлечения отвлеченными теориями и доктринами. Мои воззрения слагались главным образом из наблюдения над явлениями жизни, которые направляли мою мысль в русло той или иной теории. Я всегда был плохим "идеологом". Всякая общественная проблема мыслилась мне конкретно, не с точки зрения отношения ее к той или иной идеологической схеме, а с точки зрения возможности ее реального разрешения.

В частности, мое знакомство с рабочими через Братскую школу и с крестьянами во время голода и статистических обследований привело меня к убеждению, что грядущая революция (а тогда я иначе не мыслил прогресса России, как через революцию) не может черпать свои силы в крестьянском движении, как полагали народники, а должна, в соответствии с учением марксистов, базироваться на рабочем движении. Однако в своей вере в силу и значение рабочего движения я и тогда не разделял создавшегося в марксистских кругах "рабочепоклонства" и не склонен был видеть в пролетариате какого-то избранника экономического процесса, которому предопределено вести все остальное человечество в царство Свободы и Справедливости. Так, не став правоверным марксистом, я во многом разделял взгляды марксистов правоверных, идейная близость с которыми у меня создалась еще в Петербурге.

Во Пскове она еще более укрепилась.

Псковская губерния дала мне также много ярких впечатлений, убедивших меня вскоре окончательно в неотложности аграрной реформы, которой тогда марксисты совершенно не интересовались.

Большинство помещичьих крестьян Псковской губернии получило при выходе на волю сравнительно большие наделы – по шесть десятин на мужскую душу. Конечно, с увеличением населения норма эта сократилась вдвое, но все же здесь не было такой земельной тесноты, какая существовала, например, в центральной полосе России. Тем не менее и псковские крестьяне в такой же мере, как тульские, орловские, тамбовские и другие, жили верой в грядущий передел земель. Крестьяне были уверены, что мы, статистики, и присланы царем собирать нужные для этого сведения.

Вера в земельный передел была основной эмоцией в тусклой и убогой крестьянской жизни. Эта эмоция была особенно сильна потому, что покоилась она на глубоко вкорененном правосознании и на чувстве справедливости. Реформу 1861 года крестьяне считали несправедливой потому, что во владении помещиков остались земли, принадлежавшие, по их мнению, крестьянам "по праву". Мирились они с реформой лишь как с установлением временным и

уверенные в том, что, когда наступит земельная теснота (а по их мнению она уже наступила), царь велит закончить начатое дело и всю помещичью землю передаст им. В частности, в Псковской губернии распространено было мнение, что на каждую крестьянскую "душу мужского пола" полагается по 6 десятин и что, следовательно, царь должен приказать нарезать из помещичьих и государственных земель по 6 десятин на каждого мужика, родившегося после освобождения крестьян, или, как они выражались, после "последней ревизии".

Когда через несколько лет я принимал участие в кадетской партии и в комиссии I Государственной Думы в разработке земельной реформы, я часто вспоминал псковских крестьян, земельные мечты которых, связанные с представлением не только об общей справедливости, но и о их неотъемлемом праве на помещичьи земли, казались им столь просто осуществимыми.

Все лето, с мая по октябрь, мы проводили на статистических исследованиях, а по зимам жили во Пскове и обрабатывали собранные материалы.

Знакомых во Пскове у меня было мало, и я почти исключительно вращался в кругу статистиков, к которому примкнуло два-три человека из местной интеллигенции. Некоторые из них были людьми крупными и оригинальными, другие – шаблонными, но все были типичны для своего времени. Поэтому я хочу о некоторых из них, кроме Н.М. Кислякова, о котором уже выше говорилось, сказать несколько слов.

П.А. Блинов был товарищем Н.М. Кислякова по нижегородской учительской семинарии и его ближайшим другом. С юности он воспринял народнические идеи, но кристаллическая честность и прямота натуры мешали ему заниматься подпольной революционной деятельностью, неизбежно связанной с обманом. Поэтому он сознательно устранился от политики и, кроме статистики, интересовался преимущественно делами народного образования, принимая деятельное участие в разных просветительных обществах. Лет на 10 старше меня, он был старым холостяком с устоявшимися привычками, которые педантически сохранял. Потребности имел самые ограниченные. Все его имущество помещалось в небольшом ящике, который путешествовал с ним повсюду, но в комнате его всегда было чисто и опрятно, ботинки всегда вычищены, а серый пиджак весьма почтенного возраста на нем казался много моложе своих лет. Сурового и нелюдимого Блинова товарищи уважали, но несколько побаивались, и редко кто сходился с ним близко. Да и он не стремился к интимности, ибо был крайне чуток ко всякой неискренности и строго относился к человеческим слабостям. Мне, впрочем, посчастливилось ближе сойтись с этим угрюмо-молчаливым человеком. Он жил рядом со мной и часто заходил к нам. Редко мы с ним разговаривали, но он как-то сразу сумел внушить симпатию

моим маленьким дочкам, которые доверчиво рассаживались у него на коленях. Тогда его угрюмое лицо преображалось, а иногда во время игры с детьми его тучное тело колыхалось от веселого смеха, а из-под рыжих усов весело сверкали ровные белые зубы.

Вскоре после моего отъезда из Пскова в псковском бюро разразился очередной "конфликт", в котором принципиальный Блинов оказался противником своего старого друга Н.М. Кислякова. Блинов очень тяжело переживал размолвку с другом, но, упрямый и прямолинейный, уступить не хотел. Уйдя из Пскова, он поступил в мое орловское бюро, а когда я был выбран членом таврической губернской земской управы, то пригласил его заведовать там отделом народного образования. Девять лет совместной работы нас очень сблизили. Перед революцией 1905 года П.А. Блинов тяжело заболел. Я каждый день навещал его сначала на дому, а потом в больнице. Умер он как раз в разгар октябрьских революционных событий, совершенно одинокий, ибо, закрутившись в этих событиях, даже я, единственный близкий ему человек, о нем забыл...

Совершенно непохожим на Блинова был другой мой псковский приятель, Н.Ф. Лопатин. Происходил он из купеческой семьи и унаследовал от родителей солидный капитал. Исключенный за политическую неблагонадежность из Петровской академии, он уехал учиться в Берлин, но и там умудрился попасть в тюрьму из-за какой-то политической истории. Человек очень умный и даровитый, убежденный социал-демократ, он стал земским статистиком исключительно из интереса к народной жизни. Он имел все данные, чтобы выдвинуться в первые ряды русской интеллигенции, но этому мешала какая-то присущая ему внутренняя раздвоенность. Он весь был соткан из непримиримых противоречий, его терзавших. Сознавая свои крупные дарования, он с упорством маньяка себя принижал, страстный и властный по натуре, заставлял себя быть кротким и даже сладким, склонный к мистике – тренировал себя в стопроцентном материализме. В семье его были сумасшедшие и алкоголики, и, ощущая в своей натуре психическую неуравновешенность, он силою воли постоянно держал себя в узде. Но иногда тихий и скромный Н.Ф. терял власть над своей бурной натурой. И в припадках злобы и бешенства он становился страшен. Редко я встречал среди революционеров людей, до такой степени, как он, преисполненных органической ненависти к господствующим классам – дворянству и буржуазии, но по натуре он все же оставался купцом-самодуром. И во время статистических исследований никто из нас не позволял себе так резко и начальственно-грубо держать себя с крестьянами. Это тоже были порывы его натуры, которых он стыдился. Уехав из Пскова, я редко встречался с этим странным человеком. Слышал, что он играл в местной жизни крупную роль во время революции 1905 года и в

разгаре ее умер. Псковские революционеры устроили ему торжественные похороны под красными флагами...

Как фамилия, так и красивое лицо А.М. Стопани, напоминавшее апостола с картины итальянского художника эпохи Возрождения, свидетельствовали об его южном происхождении. Но живости и легкости ума он не унаследовал от своих предков. Он был тяжелодумом, трудно усваивавшим новые мысли, но, раз усвоивши их, упрямо их сохранял и отстаивал даже против очевидности. Усвоив учение Маркса, он стал типичным марксистом-сектантом, ограниченным и узким. Свои идеи он упорно защищал, как в частных беседах, так и на собраниях, и говорил длинно, мудрено, путанно и нудно. Слушать его речи было истинным мучением, да, впрочем, никто их и не слушал...

От марксистских сектантов, по большей части сухих и черствых, Стопани отличался исключительной душевной мягкостью и добротой, соединенной с какой-то детской чистотой и наивностью. Был он хорошим семьянином, обожал свою жену и детей, хворых, худосочных и пискливых, которых, работая с утра до вечера, нянчил по ночам. Я очень полюбил этого недалекого марксиста с нежной душой и всегда был рад встречаться с ним, когда судьба нас разделила и он получил место статистика в Баку в синдикате нефтепромышленников.

Последняя встреча наша, однако, была недружелюбной. Когда во время революции 1917 года он был в Петербурге и по старой памяти зашел ко мне, мы оказались заклятыми врагами, ибо он состоял в партии большевиков. Свидание наше было кратко. Он понял, что между нами не может быть дружеских отношений, и поторопился уйти. Я его не удерживал... У большевиков Стопани не пользовался большим влиянием, – говорят, что Ленин называл его "наша итальянская дура", – но все-таки, в качестве заслуженного партийца, занимал довольно высокий пост и жил в Кремле среди большевистских сановников. Как этот человек с нежной детской душой, притом несомненно честный и порядочный, мог мириться с кровавым коммунистическим режимом – остается для меня загадкой. Даже кличка, данная ему Лениным, недостаточно эту загадку объясняет. Но для таких случаев существует ничего не объясняющая и все объясняющая пословица – "чужая душа – потемки". Недавно я узнал о смерти Стопани на его коммунистическом посту.

Чрезвычайно интересную фигуру представлял мой пятый псковский приятель, В.В. Бартенев. Знал я его еще студентом. Он был одним из первых русских марксистов еще ранее основания социал-демократической партии и до появления в Петербурге плеяды молодых марксистских вождей с П.Б. Струве во главе. В университете он славился как организатор студенческих кружков самообразования, в которых выступал с рефератами

на самые разнообразные темы — по истории, социологии, литературе, философии, естественным наукам и т.д., ибо был широко, хотя и довольно поверхностно образованным юношей. Если бы какому-нибудь актеру пришлось изображать на сцене революционера 70-х или 80-х годов, он мог бы с успехом загримироваться под Бартенева. В университетском коридоре его лицо и фигура невольно обращали на себя внимание. Высокий, тощий, со впалой грудью и падающей на лоб прядью черных волос, с суровым взглядом близоруких глаз, мрачно смотревших через дымчатое пенснэ, он вечно вел полушепотом таинственные разговоры, затаскивая своих собеседников в темные углы и держа их за пуговицы сюртуков. Достаточно было взглянуть на него, чтобы безошибочно причислить к "нигилистам". Товарищи шутя говорили, что у Бартенева печать проклятия на челе. Но когда его смуглое лицо озарялось мягкой, почти детской улыбкой, можно было понять, что за суровой его внешностью скрывается чудеснейшее доброе сердце. На четвертом курсе университета В.В. Бартенев был арестован и сослан на пять лет в Обдорск за то, что, как он сам мне рассказывал, читал на берегу Невы, под опрокинутой лодкой, изложение теории Маркса двум рабочим, из которых один был провокатором. В Обдорске он тоже нашел учеников в лице местного исправника, священника и двух рыбопромышленников, которым читал рефераты о теории Дарвина, о законах социального прогресса, о французской революции и т.д. Рефераты эти чередовались с выпивками, во время которых пьяный исправник, обнимая своего поднадзорного, пел с ним революционные песни.

По натуре тихий и кроткий, В.В. Бартенев был меньше всего революционером. В ссылке он не изменил своих социалистических убеждений марксистского толка, но понял, что сам он не создан для революционной деятельности. К тому же он путем долгих одиноких размышлений пришел к выводу, что Россия, больше, чем в революции, нуждается в просвещении, и поставил целью своей жизни просветительную работу в провинции. Вернувшись из ссылки в свой родной Псков, он поступил на службу акцизным чиновником. В это время я и возобновил с ним наше старое университетское знакомство. Он был одним из немногих жителей Пскова, принятых в нашу статистическую компанию, как свой человек. Обладая живым умом и обширными познаниями, он вносил большое оживление в нашу среду, а когда, усталые от повседневной работы, мы устраивали выпивки, называемые им "прочиханками", тоже не отставал от других в веселье и смехе.

В. В. служил в акцизе ради заработка, но от цели своей жизни — внесения культуры в темные углы России — не отказывался. Поэтому вскоре он перевелся в один из самых захолустных городков губернии — Торопец и там организовывал кружки самообразования, руководил чтением взрослых и юношей, вообще

собственной персоной представлял подобие народного университета. Так, постепенно двигаясь в служебной иерархии, он переезжал из одного глухого городишки в другой, везде создавая маленькие культурные центры, и наконец оказался в Архангельске. Там его застала революция 1917 года. Волей-неволей пришлось отказаться от культурной работы и заняться политикой. Само собой разумеется, что в лоно своих прежних единомышленников, социал-демократов, он не вернулся. Примкнул к партии к.-д. и вел решительную агитацию против большевиков. Бартенев был органически смелым человеком, обладая той естественной смелостью, которую окружающие не замечают. Когда началась эвакуация Архангельска, он не захотел эмигрировать. Друзьям говорил, что не мыслит себя вне России. Понимал ли он, что рискует своей жизнью? Вероятно, понимал. И все же остался... А через несколько дней большевики расстреляли его, не подозревая, что этот "царский чиновник" и "контрреволюционер" в свое время был одним из первых пионеров русского марксизма.

Во Пскове В. В. Бартенев, Н. Ф. Лопатин, А. М. Стопани и я в компании народнически настроенных статистиков составляли исключение своими марксистскими и полумарксистскими взглядами. Мы образовали замкнутый кружок и собирались регулярно, по разу в неделю, для совместного чтения марксистской литературы и обсуждения социально-политических вопросов.

Зимой 1899–1900 гг. Пскову суждено было сделаться историческим городом русского марксизма. В начале этой зимы во Пскове поселился вернувшийся из ссылки мой товарищ А. Н. Потресов, уже ставший видным марксистским публицистом. Вскоре после него приехал к родителям административно высланный из Петербурга за агитацию среди рабочих студент Лохов, и наконец прибыл из сибирской ссылки Владимир Ильич Ульянов, имя которого, или точнее говоря – псевдоним, стало впоследствии одним из самых громких имен всемирной истории. Тогда ему еще не было 30 лет. Нам, статистикам, он был известен как автор книги, вышедшей под псевдонимом Ильина. Книга эта давно забыта, но тогда она произвела большую сенсацию как первая попытка переработки данных земской статистики, до тех пор неизменно обрабатывавшихся народниками с определенной народнической тенденцией, в марксистском духе.

В.И. Ульянов – впоследствии Ленин (далее я буду его называть его историческим псевдонимом), имел очень невзрачную наружность. Небольшого роста, как коленка лысый, несмотря на свой молодой возраст, с серым лицом, слегка выдающимися скулами, желтенькой бородкой и маленькими хитроватыми глазками, он своим внешним видом скорее напоминал приказчика мучного лабаза, чем интеллигента.

Поселившись во Пскове, Ленин вошел в наш марксистский кружок, в котором сразу сделался центральной фигурой, благодаря

своей эрудиции в экономических вопросах и в особенности в их марксистской интерпретации. Историю социализма от Сен-Симона до Бебеля и Бернштейна он знал превосходно, знал — что и где сказали Маркс и Энгельс, где и как объяснял слова своих учителей Каутский, подробно изучил полемику между ортодоксальным Каутским и еретиком-ревизионистом Бернштейном и т. д. Ленин не принадлежал к числу людей, поражающих силою и оригинальностью мысли. Во всяком случае мысль его была замкнута в трафарете марксистских идей. Больше поражал он своей феноменальной памятью и совершенно исключительными способностями. Раз как-то я запоздал на заседание нашего кружка и, войдя в комнату, застал Ленина, который читал вслух какую-то книжку. Читал он совершенно бегло и гладко. Каково же было мое изумление, когда, заглянув в его книжку, я увидел, что он читает статью Каутского в немецком журнале. Смотря глазами в немецкий текст, он без всякого усилия читал его нам по-русски на вполне отделанном литературном языке.

Я затруднился бы сказать, насколько Ленин был широко образованным человеком. Он был настолько поглощен социально-политическими вопросами, что никогда на другие темы не разговаривал с нами. Я даже представить себе не могу его разговаривающим о поэзии, живописи, музыке, еще меньше — о любви, о сложных духовных переживаниях человека, а тем более о каких-либо житейских мелочах, не связанных с конспирацией. Интерес к человеку ему был совершенно чужд. Общаясь с ним, я всегда чувствовал, что он интересуется мною лишь постольку, поскольку видит во мне более или менее единомышленника, которого можно использовать для революционной борьбы. Поэтому он считал нужным ко мне заходить, беседовать со мной, иногда спорить. Моя личность с ее чувствами и переживаниями его абсолютно не интересовала. Будь я тогда социалистом-народником или либералом, я бы для него просто не существовал. Холодность Ленина к людям бросалась в глаза. Помню, как однажды кто-то мне сказал, что Ленин и Потресов живут душа в душу. Я ответил: "Живут они не душа в душу, а голова в голову, так как у Ленина души нет".

Среди русских социал-демократов шла тогда борьба между двумя тактическими течениями, между так называемыми "экономистами" и "политиками". Экономисты считали, что организовать рабочий класс следует лишь на почве его экономических нужд, ему более близких, чем вопросы общей политики; политики находили, что необходимо разъяснять рабочим связь между их экономическим положением и политическим строем России, дабы создать им центральное положение среди других общественных классов, борющихся за политическую свободу и конституционный образ правления (тогда о возможности осуществления в ближайшем будущем республики никто серьезно не помышлял), и этим облегчить дальнейший этап борьбы уже за социализм.

Практическое руководство рабочим движением находилось тогда преимущественно в руках "экономистов", в частности, в Петербурге, главном центре социал-демократической пропаганды, и одним из главарей этого течения был прибывший к нам во Псков бородатый студент Лохов. "Политики", к которым принадлежали все крупные теоретики марксизма — Плеханов, Струве, Ленин и др., были крайне раздражены против "экономистов", впавших, с их точки зрения, в ересь, но у них еще не было органа печати, в котором они могли бы проводить свою тактическую точку зрения, а потому споры между представителями этих двух течений происходили в кружках.

С появлением Ленина и Лохова во Пскове и у нас начались эти горячие споры. Закрытые собрания, на которые допускались лишь человек 10 верных людей, происходили на моей квартире. Обычно все мы молчали, а спорили Ленин с Лоховым. Оба они были блестящими полемистами и эрудитами в марксистской литературе. Конечно, спорили и по существу, но главное содержание спора, как всегда у марксистов, состояло в талмудическом толковании учения "святых отцов" — Маркса и Энгельса. В этом искусстве Ленин был виртуозен и несомненно одерживал верх над своим юным противником. Положение Лохова было особенно трудным, т.к. ему приходилось отстаивать точку зрения, которая не разделялась никем из участников собраний. Я тоже был всецело на стороне Ленина, хотя личная антипатия, которую он мне внушал, усиливалась во время этих споров. Спорил он исключительно неприятно — высокомерно и презрительно, усыпая свою гладко льющуюся речь язвительными и часто грубыми выходками по отношению к противнику. При этом внешне он казался совершенно спокойным, но его маленькие монгольские глазки становились острыми и злыми.

Пребывание Ленина во Пскове связано с довольно крупным событием в истории русской революции. Я имею в виду создание первого социал-демократического нелегального органа печати — "Искры".

Обсуждение программы и техники издания "Искры" происходило во Пскове. Кроме живших во Пскове видных социал-демократов — Потресова, Ленина и супругов Радченко, к нам приезжали с этой целью из Петербурга П.Б. Струве, А.М. Калмыкова и Цедербаум, более известный под псевдонимом Мартова. Собирались обычно либо у меня, либо на квартире Радченко. Я был в курсе этих разговоров, хотя, не принадлежа официально к партии с.-д., не принимал в них участия. Все же Зиновьев оказал мне большую честь, упомянув мое имя в истории коммунистической партии. А в 1924 году, после смерти Ленина, какие-то коммунисты разыскали в Москве мою дочь и просили им сообщить мой бывший псковский адрес, чтобы отметить тот дом, в котором когда-то заседал Ленин и

где родилась знаменитая "Искра". Моя дочь не могла удовлетворить их просьбы, так как родилась в этом доме лишь на несколько месяцев раньше "Искры", а затем вскоре уехала со мной в Орел. Впрочем, я думаю, что этот исторический деревянный дом, ветхий уже в те времена, давно разрушен.

В результате псковских совещаний, Потресов, Ленин и Мартов эмигрировали за границу, где совместно с Плехановым стали издавать "Искру" – орган социал-демократов "политиков". Само собою разумеется, что конкурирующие с ними "экономисты" тоже не могли обойтись без заграничного органа. От них поехали за границу Лохов и Иваншин и стали издавать "Рабочее Дело". Иваншин, больной туберкулезом, вскоре умер, а дальнейшая судьба Лохова настолько замечательна, что я не могу о ней не упомянуть.

Между "Искрой" и "Рабочим Делом" началась беспощадная полемика. "Искра" победила и стала руководящим органом всей партии, а "Рабочее Дело" зачахло, лишившись всякой материальной поддержки, и Н. Н. Лохов остался без всяких средств к существованию и без возможности вернуться в Россию. В России он кое-когда брал в руку кисть и, как дилетант, исключительно для себя, писал недурные картины. Теперь он вспомнил о своем зарытом таланте и занялся писанием копий с картин знаменитых художников в разных галереях. Копии его нравились публике и раскупались. Дело его постепенно расширялось и сам он им все больше и больше заинтересовывался. Подробнейшим образом, по архивным материалам, изучил он технику знаменитых мастеров эпохи Возрождения и достиг в своем деле такого совершенства, что копии его совершенно нельзя отличить от подлинников. В настоящее время он считается самым знаменитым в мире копиистом, и иностранцы, приезжающие во Флоренцию, посещают его мастерскую как одну из ее достопримечательностей.

Несколько лет тому назад я возобновил свое знакомство с Н. Н. Лоховым, когда он приезжал из Флоренции в Париж. От бывшего социал-демократа в нем не осталось и следа. Большевиков ненавидит и с некоторой гордостью вспоминает, что более четверти века тому назад уже был врагом Ленина. Весь свой пыл, который он тогда отдавал революции, теперь он отдал искусству, и беседовать с ним об искусстве эпохи Возрождения мне было чрезвычайно интересно. Но все-таки он не стал просто художником. Идеи, в которых воспитывалось наше поколение, а среди них – принесение пользы своему народу, как основная жизненная цель, – руководят им и до сих пор. Он продает свои знаменитые копии богатым американцам лишь в количестве, потребном для скромного существования со своей семьей. Большую часть своих копий он сохраняет с тем, чтобы со временем, когда

большевиков сменит другая власть, перевезти их в Москву и пожертвовать городу для устройства музея.

В мае 1900 года я был приглашен орловской губернской земской управой заведующим статистическим бюро и отправился в Орел проводить в земском собрании проект организации оценочно-статистических работ. Помню, как перед отъездом из Пскова я сидел с Лениным на берегу живописной реки Псковы. Он приглашал меня сотрудничать в "Искре" и объяснял, как пользоваться шифром для переписки с ним. Ключом нашего шифра мы избрали "Ангел" Лермонтова. Насколько помню, этим шифром я воспользовался лишь один раз, послав корреспонденцию из Орла, а Ленина увидел лишь через много лет, да и то издали, когда он произносил отвратительно демагогическую речь с балкона особняка Кшесинской...

Глава 11

В РУССКОЙ ГЛУШИ*

(Из воспоминаний земского статистика)

1

В пути

В 1898-м году, ранней весной, я выехал на статистическое исследование самой глухой части Псковской губернии. В течение лета нашему исследованию должны были подвергнуться два уезда, о дикости которых мы уже заранее наслышались. Заросшие лесом, обильно населенным медведями, Холмский и Торопецкий уезды находились в центре большого пространства с полным отсутствием железных дорог. До ближайшей станции железной дороги от Холма было сто, а от Торопца – двести верст. Данные, почерпнутые нами из списков новобранцев, свидетельствовали о почти полной неграмотности населения.

Ехать приходилось сначала по железной дороге до Старой Руссы, а затем до Холма сто верст на лошадях. Для нас, статистиков, привычных ко всяким расстояниям, такое путешествие не представлялось затруднительным, однако таких ста верст мне ни раньше, ни позже не приходилось делать.

Весенняя распутица была в полном разгаре. Дождь лил без перерыва. Мы колыхались в каком-то огромном, нелепого вида безрессорном тарантасе, поминутно ныряя в глубокие колеи, заполненные тяжелой, липкой грязью. Ехать возможно было только шагом, да и то приходилось опасаться, как бы клячи, везшие нас, не стали. Тяжело по грязи чавкали ноги лошадей, и как-то нервно и неровно, то очень гулко, то совсем замирая, звякал колокольчик. В первый час езды мы сделали всего пять верст. Следовательно, приходилось ехать двадцать часов, не считая остановок на почтовых станциях.

---

* Очерки, составляющие эту главу, были напечатаны, по свежим впечатлениям, тридцать лет тому назад. Воспроизвожу их здесь, заменяя лишь вымышленные тогда по понятным причинам собственные имена и фамилии подлинными. – *Автор.*

Раздражение на погоду, дорогу, ямщика, лошадей, на все окружающее овладело всем моим существом. Но человек так счастливо устроен, что не может длительно пребывать в бесплодной злобе и раздражении. Если эти чувства не могут вылиться наружу действиями или речами, то они быстро тухнут, сменяясь противоположными – равнодушием и апатией. Так было и со мной. Уже на десятой версте я окутался толстой броней равнодушия ко всему, а в частности и к собственной участи. И, когда, по приезде на почтовую станцию, смотритель заявил мне, что может дать лошадь не раньше, как через пять часов, я отнесся к этому вполне философски, не стал писать жалобы в жалобную книгу, как полагается в таких случаях, а мирно подошел к окну и, барабаня по стеклу пальцами, погрузился в созерцание петуха, который, скрывшись от дождя под нашим тарантасом, приглашал в это удобное место своих подруг веселым весенним криком.

Удивительное состояние души человека, едущего большое расстояние на лошадях. Ни в каких других случаях жизни ничего подобного не испытываешь. Когда садишься в экипаж, – в голове бродят обычные мысли, а если рядом сидит попутчик, то продолжаешь начатый с ним перед поездкой разговор. Но вот под ритмический стук колес и меланхолический звон колокольчика разговор затихает, переходя в редкое перекидывание словами, мысли тоже меняют направление, становясь то неясно-тягучими, то отрывочными. Чтобы перебить эту всегда неприятную неясность мыслей, начинаешь им давать искусственное направление: делаешь разного рода вычисления о том, какая часть пути осталась позади и какая часть его еще впереди, каково среднее расстояние между почтовыми станциями, или высчитываешь, сколько выиграл бы часов, если бы ехал не на лошадях, а по железной дороге... Но и подобными вычислениями нельзя надолго удержать бодрости клонящейся к упадку мысли, и наконец, она окончательно глохнет. Все душевные процессы как бы остановились, действуют только органы чувств, при посредстве которых воспринимаешь впечатления окружающего, а сознание лишь ненадолго фиксирует эти впечатления: "вот мужик сеет", – говоришь себе, – "вот баба за водой идет, вот лес, вот деревня, вот собака лает, ямщик машет кнутом..." И все это мчится мимо, не комбинируясь, не требуя обобщений... А колокольчик звенит, тарантас тарахтит... Дойдя до такого состояния, можно проехать бесчисленное количество верст, не чувствуя усталости. Но в эту поездку я все же был физически разбит от бесконечного колыхания по колдобинам и колеям.

Поздно вечером второго дня, т.е. пробыв в пути около 40 часов, мы наконец добрались до цели нашего путешествия. Перегон между последней станцией и Холмом казался особенно мучительным. Пока мы ехали по территории соседнего уезда, окружающая

природа давала нам еще разнообразные впечатления: поля, перелески, выгоны с пасущимися стадами, деревни. Но, по мере приближения к границам Холмского уезда, пейзаж становился все однообразнее и диче, и наконец дорога, окаймленная с двух сторон стенами бесконечного леса, приобрела характер длинной монотонной просеки.

Мы ехали молча, в тупом полудремотном состоянии. Ямщик, молодой парень лет 19-ти, сидел на облучке и будто нехотя перебирал вожжи и чмокал губами на лошадей. Я курил папиросу. Ямщик обернулся ко мне и как-то робко спросил:

– А мне, барин, дозволите закурить, страсть курить охота?

– Пожалуйста, – ответил я и предложил ему папиросу.

Ямщик с наслаждением затянулся.

– Да, всякие господа бывают, – сказал он, как бы размышляя про себя, а затем, обернувшись ко мне, продолжал:

– А иной барин так ни за что и не дозволит ямщику курить. Вот намедни вез я земского нашего. Так с ним никак не закуришь, не позволяет. Ехали мы поздно вечером, вот примерно как с вами. Оглянулся я – вижу, барин мой покачивается и глаза закрыл. Спит, значит. А курить хочется, во!.. Ну, достал табачок, скрутил цигарку, засыпал; только спичку зажег, чтобы закурить, а он меня, земский-то, вдруг по шее как хватит, – проснулся, значит, – я так под облучок в ноги лошадям и свалился. Еще добро – кони остановились, а то как раз переехало бы меня тарантасом.

Рассказав мне эту историю вполне спокойным эпическим тоном, ямщик снова повернулся к лошадям, передернул вожжами, и, после небольшой паузы, весело покрутив головой, добавил: – Занятно!..

По голосу его было слышно, что он во весь рот улыбается...

В бурные дни освободительного движения 1905 года, когда порой казалось, что Россия ежедневно пробегает неизмеримые пространства на пути к прогрессу и к лучшему светлому будущему, я иногда вспоминал юного ямщика из Холмского уезда. "Занятно", слышался мне его веселый голос. И этот веселый голос наводил на тревожные мысли и тяжелые предчувствия.

2

Первые впечатления о захолустной жизни

Город Холм стоит на высоком берегу Ловати, по которой некогда шел великий путь "из варяг в греки". В настоящее время Ловать служит лишь для сплава леса и вся покрыта лесными плотами. Достопримечательностей город не имел никаких, если не считать небольшого памятника в виде обелиска с орлом наверху,

воздвигнутого в память посещения города одним из великих князей, как значилось на прибитой к нему чугунной дощечке. "Событие" это произошло за несколько лет до нашего приезда. Памятник был воздвигнут гражданами города Холма, очевидно, от избытка верноподданнических чувств, но затем эти чувства остыли, и он принял самый печальный вид: штукатурка обвалилась, обнажив незамысловатую кирпичную кладку.

В нашем статистическом бюро было принято по приезде в уезд направлять двух более солидных и "обходительных" статистиков с визитом к председателю земской управы и к предводителю дворянства. К числу таких "обходительных" принадлежал и я, а потому на мою долю всегда выпадала обязанность делать официальные визиты.

На следующее утро по приезде в Холм мы с товарищем отправились в земскую управу, отчасти с визитом к ее председателю, отчасти для собирания кое-какого необходимого для нас материала.

— Что, председатель в управе? — спросил я управского сторожа, входя в невероятно грязное помещение, пропитанное специфическим запахом русских присутственных мест.

— Никак нет.

— А скоро он придет?

— Они нынче совсем не будут.

— А завтра?

— Да и завтра, верно, не будут, они уехавши в имение. Нынче у них именины.

— А кто-нибудь из членов управы здесь?

— Никак нет.

— А будет из них кто-нибудь на службе?

— Никак нет, обои члены живут у себя в имениях: г. Елагин приезжают раз в неделю, а г. Калитина иной раз и несколько месяцев не видим.

— Ну, хоть секретарь-то управы здесь?

— Никак нет, они на именинах у председателя.

— Да кто же у вас тут есть, кроме вас?

— Бухгалтер здесь.

Мы отправились к бухгалтеру.

Маленький юркий человечек старого канцелярского типа, с хитрыми, умными глазами, высматривавшими из-за золотых очков, принял нас любезно и сейчас же предоставил в наше распоряжение весь чрезвычайно скудный материал, который мог служить нашим целям. Мы разговорились.

— Скажите, пожалуйста, что, у вас в управе всегда такая пустыня?

Бухгалтер презрительно махнул рукой.

— Да вот поживете у нас — полюбуетесь на наши порядки. Вот, как видите, я один здесь за председателя, секретаря и за всех вообще. Умри я вот хоть бы завтрашний день — и никто из моего

начальства концов не соберет. Председатель, как изволите видеть, все на именинах-с: то сам гостей угощает, то к именинникам и именинницам в гости ездит. А у нас, знаете, каждые именины не один и не два дня, а целую неделю справляются. Только заедет когда в управу, бумаги подпишет, да и был таков. С ним все-таки, коли выспится, да с утра в управу заедет, можно и о деле переговорить. Ну, а насчет членов-с и того нельзя сказать. Один из них — Калитин — считается, что дорогами ведает, а как земские дороги вне города находятся, то он в город только за жалованием приезжает, а постоянно в своем имении проживает. Так он у нас и прозывается уездным членом, а господин Елагин — городским, потому что два раза в неделю к нам из имения приезжает. Сегодня или завтра поджидаем. Вот познакомитесь. Э, да если бы они каждый день здесь бывали, толку бы все равно не вышло. Сами посудите: Капитин двух слов правильно написать не может, разве что фамилию подмахнет, Елагин пограмотнее будет, но зато уж в арифметике совсем плох. И не думайте, что они из мужиков или там мещан каких-нибудь, как мы грешные, нет-с, все настоящие столбовые дворяне, иначе как в фуражке с красным околышем из дому не выходят.

Во всем, что говорил о своем начальстве бухгалтер, в тоне его речи, в горько-саркастическом выражении лица чувствовалась глубокая ненависть, накопленная годами службы. Впоследствии мы узнали, что наш новый друг сумел воспользоваться своим положением фактического хозяина земского дела в уезде: сколотил порядочный капиталец и построил себе несколько домов на свои "сбережения". А все-таки он ненавидел этих людей, благодаря которым так хорошо устроил свои материальные дела. Может быть в нем говорил протест здравого смысла против нелепости окружающей жизни, а может быть отчасти и возмущенное гражданское чувство, которого даже нечестные люди не всегда лишены...

С большим интересом слушали мы повествование бухгалтера, полное юмора и метких язвительных характеристик.

Много я видал земских управ, хороших и плохих, но такое еще не приходилось встречать. Обыкновенно плохих земцев заменяет в работе кто-либо из наемных служащих.

— А каков ваш секретарь? — спросил я нашего собеседника.

Он ядовито взглянул через очки:

— На что им толковый секретарь, позвольте вас спросить? С председателем пьянствовать?.. Текущих дел у нас немного. Да и что греха таить, бумаги по два месяца без ответа лежат.

— Кто же доклады пишет к земскому собранию?

— Да никто не пишет. В прочих земствах, я в газетах читал, действительно по разным вопросам доклады бывают и там меры всякие возникают, а у нас же этого нет-с.

— Как же без докладов?

— А очень просто-с: смету, раскладку, счета капиталам и пр., что требуется по бухгалтерской части, это, конечно, мною делается. Ну там, конечно, за два-три дня до собрания я все это председателю докладываю. А затем с моими голенькими цифрами управа и является на собрание. Собрание проходит в один день, да и то, если считать с закуской да с выпивкой, а собственно само заседание не больше трех часов продолжается. Председатель управы смету читает, а князь (князь Шаховской — предводитель дворянства) знай себе после каждой цифры приговаривает: "принято". Вот так все собрание молчком и проходит. Редко-редко какой-нибудь гласный решится вопрос задать, да и то уж наш князь брови морщит: "что, мол, задерживаете собрание"...

На улице послышался стук экипажа, и к земской управе подкатила коляска, запряженная великолепной тройкой вороных. Из экипажа вылез толстый блондин весьма добродушного вида, в длинном парусиновом пыльнике и в дворянской фуражке.

— Вот и Елагин подъехал, наш городской член, — сообщил бухгалтер.

Радушно поздоровавшись с нами, Елагин усадил нас около своего стола, на котором никаких письменных принадлежностей не лежало. Из вопросов, которые он нам задавал, выяснилось, что он понятия не имел не только о том, что предстоит статистическое обследование Холмского уезда, о чем губернская управа давно уже известила уездную, но для него было даже открытием, что при губернском земстве имеется какое-то статистическое бюро. Оказалось все-таки, что к статистике у него есть интерес особого рода.

— Знаете, я сам немного статистик, — говорил он, — пятнадцать лет состою корреспондентом министерства земледелия и аккуратно доставляю им всякие сведения... Вот, кстати, батенька, — вдруг обернулся он ко мне, — ведь вы по этой части: мне давно говорили, что за пятнадцать лет доставления сведений корреспондентам министерства полагаются медали. Так нельзя ли мне этакую медаль получить, а? А то, знаете, обидно: пятнадцать лет работаю, а никакой награды.

Медали были манией Елагина, над которой все в уезде подтрунивали. Нам потом передавали, что он каким-то образом себе уже добыл три медали и теперь надеялся получить четвертую.

— Я собираюсь писать им в министерство, что, если не дадут медали, я откажусь быть корреспондентом. Как вы думаете?

Я очень огорчил Елагина, объяснив ему, что, хотя я и статистик, но к министерству земледелия отношения не имею и протекции ему оказать не могу. Он грустно вздохнул и стал говорить о другом. Болтлив был не в меру. Нарассказал нам всяких историй о местных помещиках и даже посвятил нас в свои личные и семейные дела: сообщил, что год тому назад был совершенно

разорен, но к счастью подвернулась богатая невеста из купчих и теперь он вполне обеспечен, и т.д. Мы пытались было задать ему несколько вопросов о земских делах, но тут он окончательно пасовал и обращался за помощью к бухгалтеру.

Время, однако, шло, а мы хотели еще в тот же день съездить за 10 верст от города, к предводителю дворянства князю Шаховскому, чтобы сразу отделаться от всех обязательных визитов. Поэтому, прервав болтовню Елагина, мы простились с ним и пошли на почтовую станцию, чтобы сейчас же ехать в имение князя Лутово.*

Погода стояла солнечная, ясная, пахло весенним паром земли, новой травой и набухшими почками. Ехать приходилось не большаками, а проселочной дорогой, довольно песчаной, а потому, несмотря на распутицу, лошади бежали хорошей рысью, и мы незаметно доехали до Лутова.

Лутовская усадьба была красиво расположена на горе над небольшой речкой, к которой спускался тенистый парк. Мы подъехали к каменному одноэтажному дому в глубине обширного двора, заросшего травой и окаймленного хозяйственными постройками.

В передней, из-за чучела огромного медведя, грозно простиравшего свои лапы навстречу гостям, вышел одетый казачком мальчик и, взяв наши визитные карточки, отправился доложить о нас хозяину. В соседней комнате был слышен звон посуды и оживленный разговор. Очевидно, мы приехали как раз во время обеда. Через минуту вышел в переднюю с салфеткой в руках, аппетитно дожевывая пищу, сам князь Шаховской — плотный, совершенно лысый человек с большими черными усами на круглом плоском лице.

— А, очень рад, что заехали, милости просим, господа. Вы еще не обедали? Так не угодно ли с нами пообедать. Пожалуйте, пожалуйте. Пообедаем, а затем в винтик можно сыграть. Не правда ли? — говорил он, зайдя нам в тыл и слегка подталкивая в ту дверь, откуда слышались обеденные звуки.

В столовой за столом сидело человек пятнадцать, преимущественно молодежи обоего пола. Среди них было две дочки хозяина, три сына и несколько человек гостей. Хозяин усадил нас рядом с собой, усиленно подливал вино и весело и добродушно болтал с нами. Рассказал, что учился в университете, потом служил несколько лет на военной службе и наконец поселился у себя в имении, состоя уже шесть трехлетий предводителем дворянства.

С особым удовольствием он рассказывал о своем пребывании в университете.

— Мы ведь в университете с вашим главным статистиком, Н.Ф. Анненским, товарищами были. Хороший человек, очень мне

---

* Название имения вымышлено, ибо подлинное название забыл.

нравился. Ведь он теперь в Питере живет? Если увидите, передайте ему поклон от старого приятеля.

После обеда, отказавшись от винта, мы пошли с хозяином пить кофе в кабинет. Тут приятель Анненского завел разговор на политические темы и стал всячески поносить местную администрацию. Сначала мне и вправду стало казаться, что благодушный старик был заражен крамольными идеями своим "приятелем". Однако я скоро убедился в противном.

— Дело в том, — говорил он нам, — что не знают народа, понятия о нем не имеют. Все из центра управлять хотят. Народ, знаете, не любит всей этой формалистики. Я вот всегда с губернским присутствием и со всеми губернаторами на ножах. Им все чтобы по букве закона было, а я этого терпеть не могу. Вот мы с начальством и воюем. Особенно не любил меня бывший губернатор из остзейских немцев, как его... этот ... шустрый такой либералишка. Но я ему раз хорошо нос натянул: заезжал к нам в уезд как-то великий князь Владимир Александрович. Ну, известно, дворянство ему на границе уезда обед закатило. Приехал он со свитой, и губернатор этот либеральный тоже около него юлит. В конце обеда великий князь вынул из кармана свои золотые часы, положил их возле себя и сказал, что хочет подарить их лучшему волостному старшине уезда. "Кого прикажете считать лучшим старшиной, ваше высочество? — спрашивает губернатор. — Я полагаю, что этот вопрос можно разрешить на основании дел губернского присутствия". — "Нет, это слишком сложно, — ответил великий князь, — я предоставляю часы в распоряжение предводителя дворянства, а он уж пускай решит, кто из старшин более их заслужил". Губернатор прикусил губу, а я, поблагодарив великого князя за доверие, оказанное мне, а в моем лице всему местному дворянству, положил часы в карман и тут же попросил исправника, чтобы он через два дня созвал в город всех волостных старшин уезда.

Собрались мои старшины в земской управе. Все приехали. Я вышел к ним и держал такую речь (князь приосанился, выпятил грудь вперед, изображая, как он стоял перед старшинами):

— Ну, братцы, отвечайте мне, кто из вас самый строгий? У кого в волостном правлении больше порют? — Ведь если крепкий, хороший старшина, то приговоры волостного суда в значительной степени от него зависят... — Вижу, шепчутся старшины, друг друга подталкивают, наконец, выталкивают вперед здорового, степенного бородатого мужика. "Вот, — говорят, — уж куды лютый, лютее и в губернии не найти". Смеются все, а сам лютый старшина самодовольно ухмыляется да бороду поглаживает, видно, цену себе знает...

Тогда я вынул из кармана часы, передал их ему и говорю: "Вот тебе, старшина, за твою верную службу его высочество великий князь жалует свои золотые часы".

Рассказав нам эту историю, князь залился веселым смехом, потрясавшим его упитанное тело, и, видимо, удивился, не найдя на наших лицах сочувствия своему веселью.

Во время своих разъездов я никогда ни с кем не вступал в принципиальные споры и старался, сам не высказываясь, побольше выспрашивать своих случайных собеседников. Благодаря такой системе, во-первых, работа шла глаже, без лишних и ненужных осложнений, а во-вторых, можно было делать массу интересных наблюдений. Да и спорить с людьми, которых я больше никогда не увижу, было бы бессмысленно.

Так и в данном случае, несмотря на чудовищную нелепость рассказа Шаховского, я не стал оспаривать его мнения о качествах волостных старшин. Мой товарищ тоже молчал. Однако "лютый" старшина все же помешал непринужденности нашей беседы, и, заявив, что торопимся в город, и несмотря на радушное приглашение остаться ночевать, мы простились с гостеприимным хозяином и уехали.

Ямщик, весело помахивая кнутом, сообщил нам, что его хорошо накормили, да и лошадям овса дали.

— Уж тут, в Лутове, всегда так, потому — господа хорошие.

— А любят у вас князя Шаховского?

— А как же, человек хороший, дерется только больно.

— Как так дерется?

— А так, коли что не по ём, так он прямо те в зубы и закатит. Вот сын у него, большак, — он у него теперь хозяйствует, — так тот еще покруче тятьки будет.

— Тоже дерется?

— А как же. Работник ихний сказывал: надысь мужику одному с ихней деревни зуб вышиб...

3

По деревням

Старая лошадка с отвислой нижней губой и толстым животом, трущимся об оглобли, с трудом вывозит на пригорок из сырого, устланного вечерним туманом лога навозный кош, в котором везут, впрочем, не навоз, а меня, статистика псковского губернского земства.

Навозный кош — это ящик на двух колесах. Когда нужно из него выгружать навоз, то спереди его приподымают, а сзади отодвигают стенку, и навоз соскальзывает кучей на землю.

Растрясши себе бока в крестьянских телегах на лесных проселочных дорогах Холмского и Торопецкого уездов, я понял, что

навозный кош является не только остроумным приспособлением для вывозки навоза, но, по местным условиям, и наилучшим экипажем для человека. Поэтому, переезжая из деревни в деревню, я всегда просил, чтобы мне запрягли лошадь в навозный кош.

В кош клали туго набитый сеном веревочный кошель, а поверх него мою дорожную подушку. Получалось для меня удобное сидение. Возница помещался спереди, на моих папках, закинув ноги через переднюю стенку коша и поставив их на оглобли. Словом, экипаж хоть куда, — и не тряский и легкий на ходу.

На пригорке — деревня дворов в десять. В Псковской губернии деревеньки маленькие (иногда 10-15 деревень составляли одно сельское общество), и деревня в десять дворов уже считалась довольно большой.

— Где у вас деревенный? — спрашиваю у бабы, которая ждет у ворот свою корову из стада.

Баба смотрит на меня растерянно.

— А вам на что?

— Нужно, дело есть.

— Сейчас кликну, — отвечает баба, продолжая с любопытством меня разглядывать.

Но "деревенный", или, как он именовался полным титулом, деревенный старшина (нечто вроде помощника старосты по данной деревне), уже тут как тут.

— Ты деревенный?*

— Он самый.

— Так вот, первым делом отведи мне квартиру для ночевки, а затем приходи за распоряжениями.

— Слушаю. Подъезжайте вон к той избе, что посправнее.

Через минуту в указанной мне избе начинается бабья возня. Ее подметают вениками, выносят матрацы, подушки. А через пять минут на крыльце показывается хозяйка и, оправляя подол, с поклоном нараспев произносит:

— Милости просим, боярин. (В этих глухих местах "боярин" еще не сократился в "барина". Боярами называли, конечно, не только потомков боярских родов или помещиков, но всех одетых по-европейски людей).

Весть о моем приезде сразу разнеслась по деревне, и, когда появился деревенный за распоряжениями, около отведенной мне избы уже собрались все ее жители — мужчины, женщины, дети.

---

* Статистики из новичков часто пытались говорить крестьянам "вы", но скоро переходили на "ты", так как в те времена местные крестьяне, сами сбивавшиеся на "ты" с начальством, не ценили такой деликатности. На "вы" они отвечали — "мы", а порой просто не понимали, к кому относится местоимение множественного числа.

Более смелые осторожно входят в избу и, перекрестившись на образа, молча рассматривают меня, очевидно, ожидая начала интересующего их разговора.

О том, что какие-то люди ездят и "переписывают", уже знают в уезде, и мы, статистики, обросли всевозможными легендами. Все они в общем сводятся к тому, что мы присланы царем для "ревизии", т. е. для прирезки крестьянам помещичьей земли на все "мужские души", народившиеся после освобождения крестьян от крепостной зависимости.

Усталый от длинного рабочего дня, я не склонен вступать в разговоры. Разворачиваю списки деревень и даю распоряжение деревенному созвать на завтра домохозяев ближайших из них. Так как работаем мы в страдную пору, и я понимаю, как трудно крестьянину отрываться от своего хозяйства, то деревни у меня распределены по группам, и я говорю деревенному:

— Васютино, Лапшино и Лямцево — с утра, Княжье, Лебедку и Чижи — после перехватки, а Доманово, Хлюстово и Ляды — после обеда. Понял?

— Так точно.

Заставляю деревенного повторить мое распоряжение, и он точно его повторяет.

— Можно идти, ваше высокоблагородие?

Уходя, деревенный долго убеждает собравшуюся в избе толпу оставить меня в покое. Никто не возражает, но все стараются незаметно остаться, пока деревенный их не выталкивает наружу.

После целого дня, проведенного на людях, настает блаженная для меня минута одиночества. Одиночество, впрочем, относительное, так как все женщины из семьи, давшей мне приют, присутствуют при моей вечерней трапезе и рассматривают меня во всех подробностях.

Внимательные хозяйки иногда приготовляют ужин по своему вкусу, не дожидаясь моих распоряжений. В таких случаях хозяйка, ставя кушанье на стол, неизменно произносит местную "угощательную" формулу: "Кушайте, если желаете, а не желаете — как хотите".

Но встречались и хозяйки негостеприимные. Помню, как однажды я остановился в очень зажиточной избе и заказал на ужин яичницу. Хозяйка беспрекословно исполнила мое распоряжение, но яичница была приготовлена из тухлых яиц и есть ее было невозможно. Я попросил, чтобы мне сделали новую из свежих яиц.

— Нет у нас, боярин, других яичек-то, — заявила баба, — хозяйство наше бедное, курочек держим мало, а нонче они чтой-то и не несутся.

— Ну, так вот на, возьми двугривенный и купи мне яиц у соседей.

Баба хитро улыбнулась.

— Так бы сызначала и сказали, что деньги платите. За деньги и у нас, чай, свеженькие найдутся.

И через пять минут передо мной стояла яичница из самых свежих яиц.

Вообще население привыкло, что "начальство" за постой и продовольствие, а тем более — за прогоны, денег не платит. Поэтому, хотя мы расплачивались аккуратно и платили более чем щедро, тем не менее, как случайно удалось установить, наши хозяева неукоснительно предъявляли сельским обществам счета за наши разъезды и продовольствие, получая таким образом вдвойне.

После ужина приходит время сна.

Крестьянские избы в Псковской губернии просторны и сравнительно чисты, в особенности так называемые "летние половины", которые нам обычно отводили. Но домашних насекомых, именуемых на местном наречии собирательным словом "копоса" (то, что копошится), было видимо-невидимо. Перед тем, как расположиться ко сну, я всегда задавал хозяйкам вопрос: "А что, у вас копосно?" — и в случае отрицательного ответа доверчиво ложился на кровать, а в случае положительного — клал посреди комнаты ворох сена и на него уже стлал простыни. Злая "копоса" запутывалась в сене, и я был вне пределов досягаемости. Только в конце ночи более умные — клопы, отчаявшись добраться до меня через сенные заграждения, вползали на потолок и оттуда сыпались прямо на мою простыню.

Итак, женщины стелят мне постель, ощупывая при этом мои простыни и одеяло, и шепотом делятся друг с другом впечатлениями о их добротности. Потом становятся вокруг постели и ждут.

Первое время я пытался их выпроводить.

— Ну, спасибо, теперь можете идти, я спать буду.

Однако всегда получал один и тот же ответ:

— Ничего, подождем.

И я понимал, что жестоко их обижу, если настою, вопреки обычаю, на их уходе. Так постепенно привык раздеваться в женском обществе...

— Спите спокойно, — говорила хозяйка, убедившись, что я уже лежу под одеялом, и тушила свет.

Усталый от нервной работы в течение двенадцати-(и более) часового рабочего дня, я засыпал как убитый. А часа в четыре утра просыпался от гула голосов, слышавшегося с улицы.

Несмотря на расписание, точно усвоенное деревенским старшиной, с утра собрались домохозяева всех заказанных на целый день деревень.

— Я же тебе говорил, чтобы с утра только три деревни пришли, а ты согнал девять, — говорю укоризненно деревенному.

— Ничего, ваше благородие, подождут.

— Как же подождут! Ведь до некоторых только к вечеру дойдет очередь, а время страдное.

— Иначе никак невозможно. Коли не собрать их с утра, разбредутся, а потом ищи их по полям. Мороки не оберешься.

И вот оторванные от работы, голодные люди, неведомо для чего созванные неведомым начальством, покорно ждут моего опроса иногда с четырех часов утра до семи-восьми вечера.

Приказываю деревенному впустить в избу домохозяев очередной деревни. Входят один за другим бородатые мужики, снимают шапки, крестятся на образа и отвешивают мне низкие поклоны.

— Садитесь, старики (стариками полагалось звать всех домохозяев, независимо от их возраста).

— Ничего, и постоять можем.

— Садитесь, садитесь, долго спрашивать вас буду.

Мужики долго церемонятся, но наконец несколько человек садится, а остальные продолжают стоять...

Все это повторялось с неукоснительной точностью в каждой деревне, в которой мне приходилось вести опрос. Я заранее знал все жесты, ужимки, все слова, которые услышу. Порой даже жутко становилось от этого отсутствия живых индивидуальностей. В других местностях России, где мне приходилось работать, среди крестьян я встречал ярких людей, с которыми беседовал на различные темы. Здесь же, в Холмском и Торопецком уездах, эти серые, убогие мужики были точно все на одну колодку. Нивелированные своей дикостью и поголовной неграмотностью, они вдобавок еще искусственно в разговорах с неведомым начальством прятали свои мысли и чувства, прикрывая их стереотипными словами и жестами.

Вот и теперь, разбирая свои бланки перед опросом, я заранее знаю то, что услышу.

Один из усевшихся на лавку мужиков обиняком заводит разговор:

— Ох ты, Господи, — обращается он в пространство, — что же это будет-то!..

Так как вопрос обращен не ко мне, то я молчу.

Другой в том же тоне и тоже в пространство произносит:

— Все пишут, пишут, а к чему — неизвестно.

— Им-то известно, — уныло говорит кто-то из задних рядов.

Я понимаю, куда клонятся эти разговоры, но продолжаю молчать.

— Господи!.. — Следует длительная пауза.

— А скажите, боярин, к чему это вы ездите и списываете нас? — наконец обращается ко мне прямо кто-то из толпы.

Когда-то я пытался разъяснять крестьянам смысл статистического обследования, но убедился, что они мне все равно не верят, а потому отвечаю лаконически:

— Для сведениев. (Эта безграмотная и нелепая формула иногда помогала отделаться от назойливых расспросов).

После минуты молчания тот же смельчак решается уже прямо взять быка за рога.

— А у нас толкуют, что это насчет поравнения земли. Потому утеснение большое. Опять же душ новых народилось сколько, а земли на них нема. Вот мужики и смекают, быдто время пришло и что вы от царя присланы по этому, значит, делу.

В избе становится тихо от напряженного волнения. Все мужики смотрят на меня в упор и ждут ответа, затаив дыхание.

— Никакого поравнения не будет, — заявляю я, но вижу по лицам, что это мое категорическое отрицание еще больше укрепляет их веру в мою миссию. Вижу, как они многозначительно перемигиваются между собой: "Ишь ты, не выманишь из него. Видно, так приказано, чтобы разговора лишнего не было".

Начинаю подворную перепись. По очереди спрашиваю каждого домохозяина о семейном составе, количестве скота, посевах, аренде и пр.

Проходит вереница серых людей без фамилий и прозвищ. Все Ивановы, Петровы, Сидоровы. Перепись идет быстро, но иногда происходят недоразумения.

— Как зовут?

— Водянист (так называли Венедиктов).

— Отчество?

— Петров.

Моего собеседника прерывает его сосед:

— Какой те Петров, чего дурака валяешь. Богданов он, пиши — Богданов.

— Ну, Богданов так Богданов, — скромно соглашается опрашиваемый...

В Псковской губернии обыкновенно всех незаконных детей называли Богдановыми (Богом данные). Так как в результате нашей переписи крестьяне ожидали прирезки земли, как юридического акта, исходящего свыше на основании неведомого им закона, то на всякий случай незаконные сыновья старались себя вписать в наши карточки законными, а соседи, боясь их конкуренции, обязательно восстанавливали истину. Иногда на этой почве возникали бурные споры. Спорили о том, при каких обстоятельствах родился сорок лет тому назад стоявший передо мной бородатый мужик от матери-солдатки, — при жизни солдата или после его смерти. Если при жизни, то можно ли считать его законным и писать Петровым, или он должен числиться Богдановым, и т. п.

— Сколько лошадей? — прерываю я эти споры.

— Два меренка.

— Коров?

— Три.

— Телят?

— Одно.

О всех несозревших животных говорили в среднем роде: одно жеребенок, одно поросенок и т. п.

Когда доходила очередь до регистрации внеземледельческих промыслов, то неопытные статистики ставили вопрос в наиболее понятной форме: — Ну, а зимой чем занимаешься? — На такой вопрос следовал, однако, всегда один и тот же совершенно непристойный ответ, конфузивший статистика и вызывавший веселье и остроты в толпе.

Подворная перепись шла в общем гладко. Гораздо труднее было составить так называемый "поселенный бланк" с установлением качества земли и распределения ее на хозяйственные угодья.

Первым делом я требовал предъявления документов и плана. Деревенный старшина опрашиваемой деревни доставал из-за пазухи и осторожно разворачивал грязные платки, в которых хранились документы. К этим документам (планам, уставным грамотам и владейным записям) крестьяне относились с особым благоговением.

Однажды из платков мужики вынули карту Европейской России и предъявили мне.

— Это что же такое?

— А плант наш.

— Какой же это плант! Это плант всей России, а не вашей деревни.

Крестьяне долго спорили со мной, водя корявыми пальцами по карте Ильина и указывая, где проходят их межи.

Как попала карта России в поголовно неграмотную деревню и какой шутник подменил ею деревенский план — мне выяснить не удалось. Во всяком случае много лет лежала карта Ильина, завернутая в платки, за образами, и, вероятно, не раз эти неграмотные люди в спорах с неграмотными соседями доказывали свое право владения каким-нибудь лужком на основании очертаний Балтийского и Черного морей...

То обстоятельство, что, никогда не видав расположения их угодий, я ориентировался в распределении их по плану, очень импонировало крестьянам.

— Ишь ты, ему там все видно, — удивленно говорили они. Но тем не менее старались всячески меня надуть. Ведь в их представлении дело шло об "ревизии", и они считали, что чем меньше за ними будет числиться хорошей земли, тем больше им прирежут.

— Кака у нас земля, хверщ один.

— Скала, одно слово — скала...

— А вот в ржаном поле земля у вас совсем хорошая, мягкая, суглинистая (я видел их ржаное поле проездом, но делаю вид, будто вижу это на плане).

— Я говорил, что он все в планту видит, — уныло произносит один из мужиков.

— По планту-то сугниль показана, — не унимается другой, — а она как есть гнила. Засохнет — сохой не нять, а как размокнет — прямо глей один, др..туха...

Одновременно с нами почвоведы собирали образцы почв, и на основании объективного материала я мог делать поправки к сбивчивым показаниям крестьян. Гораздо хуже обстояло дело с лесами и сенокосами. Тут нужно было доводить их всевозможными словесными маневрами до полуистины, а истину получать уже путем субъективных догадок, основанных на долгом опыте.

— Ну, какой у вас покос в аржаном поле? Хороший?

— Хоро-ший?.. — Остречек да облец (местное название трав из семейства осоковых), а где помочливее — осока. Вот какие у нас покосы. Не съестная трава. Коровы, те еще жуют, а лошади не принимают, ей-богу.

— Я ж видел, едучи к вам, этот покос. Травы там мягкие растут — все дятлева (клевер) да тимофейка.

— Оно, конечно, куль меж трава будет помякше, — соглашается только что божившийся мужик, — а вот вглыбь, как зайдешь в самый лог, так, право слово, — одна осока.

Долго торгуемся из-за каждого лужка, каждой пожни, спорим из-за укосов и т.д. ...

Задаю вопрос о лесе.

— Лес у вас есть?

— Какой у нас лес! — Прусняк да патебник, корзину и ту не сплетешь.

— А в плане у вас показано двадцать десятин леса.

— Где же тот лес, старики? — обращается разговаривающий со мной деревенский лидер к своим односельчанам, и в тоне его столько искреннего недоумения, что я даже начинаю сомневаться в существовании березовой рощи, которую видел собственными глазами возле самой деревни.

— Ту-уу, — отвечают мужики хором, — леса мы у себя и не видали.

— Нет, старики, нужно им правду говорить, — спохватывается какой-то хитрый мужичонка подхалимского вида. — Им в планту лес виден. Дозвольте сказать ваш благородию, точно, был тот лес в стариках, когда землю им нарезали, да свели его еще родители наши, нам не оставили.

— Но березовая роща возле деревни ведь ваша?

— Разве же это роща! Так, куль дороги деревца поостались, а дальше и не ступить — мхи да топь. Позапрошлый год корова зашла — утопла. Правда, старики?

— А как же, Федорова корова, рыжая. Вся провалилась, одни рога торчат. Вот осенью, как заморозки пойдут, приезжай-ка, боярин, к нам. В этот самый лес пойдем журавы (клюква) да глыжи (морошка) собирать. Этого добра много. Бабы полные

корзины таскают. А за дровами мы к барину в его рощу ездим. Нужно правду говорить, старики, так-то...

Одни за другими проходят мимо меня васютинские, лапшинские, чижевские мужики. Одни как другие, одинаково крестятся, отвешивают поклоны, мнутся, когда их усаживают, заводят разговоры на тему о "ревизии", одинаково хитрят, приуменьшают размер своих владений, урожаев, укосов... И все время между мной и ими происходит глухая борьба. Я задаю им сбивающие их с толку вопросы, тоже хитрю и всячески добиваюсь правды. Я их мучаю и они меня мучают. В конце концов мои вопросы доводят их до полного обалдения, и уходят они от меня усталые, потные, но все же убежденные в том, что меня надули и что земли им прирежут вволю. И, чем больше мы колесим по уезду, чем чаще объявляем, что никакой прирезки они не получат, тем больше в них крепнет вера в "царскую милость".

Однажды, после произведенной мною переписи, богатый крестьянин-собственник вырубил и продал весь лес со своей пустоши. А когда соседний помещик спросил его, зачем он это сделал, ответил:

— Не слыхали разве, что ездят здесь люди от царя, переписывают. Значит и землю скоро делить будут. Что ж, думаю, лесу моему пропадать. Ведь на кровные денежки куплен. Ну и вырубил. Теперь пускай делят землю. Свое с нее выручил.

А то помню еще такой случай: во время переписи я услышал во дворе шум, крики и женский плач. Выглянув в окно, я увидел женщину, которая рвалась к двери, а мужики ее держали за руки и не впускали.

— В чем дело? — спросил я мужиков.

— Да так, ваше благородие, глупая баба. Ни к чему ей здесь быть. Только зря беспокоить хочет вашу милость.

Баба продолжала рваться и голосить, и я велел впустить ее. Она ворвалась вихрем и бух мне в ноги:

— До вашей милости, до вашей милости, — бормочет, а слезы так и льются ручьями.

Я с трудом поднял ее:

— Ну, что тебе надо? Говори.

— До вашей милости... Семь верст проперла, все боялась, что уедешь; тогда что бы я делать стала...

Снова рыдания прервали ее речь, а я смотрел на нее в полном недоумении. Наконец она немного успокоилась, утерла глаза фартуком и продолжала:

— Вдовая я, одна с мальчонком живу. А на него надел не записан, значит — безземельный. Вот нынче, как мужики наши сюда писаться-то собрались, и я с ними хотела пойти, чтобы мальчонка-то записать. А они меня не берут, бают — нет на мальчонка никаких правов. Изобьем, говорят, если за нами пойдешь... Ну, так

я их вперед пропустила, а потом одна прибегла. Думала, что они уже отписались. А вот вышло, что поймали меня, да кабы ты в окошко не глянул, избили бы до смерти...

Я пытался объяснить бабе, что мы землю не раздаем, и ее мальчик никакой выгоды не получит от того, что я его запишу, но мои объяснения вызвали лишь новый поток слез. Она снова упала на колени и, цепляясь за мои ноги, голосила:

— Запиши мальчонку, будь милостив, запиши!..

Чтобы избавиться от бабьих слез и причитаний, я вынужден был взять перо и поводить им по бумаге.

Баба сразу успокоилась, встала с колен и, широко улыбаясь, отвесила мне степенный поясной поклон.

— Спасибо, кормилец, что пожалел меня вдовую...

Перепись в данном районе закончена. Нужно перебираться в следующий. Завязываю папки, укладываю вещи. Особенно скучно каждый день засовывать подушку, одеяло и простыни в чехол...

У крыльца уже ожидает меня навозный кош, вокруг которого толпятся все жители деревни — мужики, бабы с грудными детьми, белобрысые мальчишки и девчонки в одних рубахах. При моем появлении мужики почтительно снимают шапки.

— Счастливо, — говорят хором.

И опять еду душистыми полями и сырыми логами до следующей намеченной мною деревни.

4

Помещики

Отроги Валдайских гор, густо заросшие лесами, среди которых то блестят на солнце голубые озера, то бурыми, желтыми и зелеными заплатами пестрят поля, окружающие приютившуюся на опушке леса деревеньку или помещичью усадьбу, скрытую зеленью берез. А где-нибудь на пригорке одинокий погост с приземистой добродушной церковкой, длинной колокольней и рядами покосившихся могильных крестов. Таков общий вид Холмского и Торопецкого уездов.

В дремучих лесах во множестве водились медведи. Медведь "овсянник" — большой любитель овса. Потому так и называется. Подойдя к овсяному полю, он садится на землю, забирает передними лапами пригоршню колосьев, притягивается к ним, обгладывает и снова загребает и притягивается. Таким манером он, как на салазках, ездит в разных направлениях по всему полю, оставляя после себя полосы с примятыми и объеденными колосьями. Мимо

таких изъезженных медвежьими задами полей мне часто приходилось проезжать.

Само собой разумеется, что и люди, населявшие эту медвежью глушь, большой культурностью не отличались. Крестьяне, как я упоминал, были почти поголовно неграмотны и по характеру своей жизни, вероятно, мало чем отличались от своих далеких предков – кривичей, когда-то засевших в этих лесах. Что же представляли собой местные помещики?

Не в пример прочей России, где количество помещиков убывало из года в год и где сохраняли свои земли лишь сильнейшие из них, сумевшие приспособиться к изменившимся после падения крепостного права условиям жизни, в старых дворянских гнездах Холмского и Торопецкого уездов жили еще почти все потомственные дворяне, унаследовавшие свои поместья и вотчины от прадедов, водворенных здесь еще, быть может, Иваном Грозным после разгрома вольного Пскова. Многочисленные дворянские роды Кутузовых, Арбузовых, Кушелевых, Челищевых, Елагиных, Калитиных и др. все между собой перероднились и продолжали увеличиваться в числе. Среди них, конечно, встречались культурные люди, принадлежавшие к петербургскому чиновничеству и интеллигенции, но большинство дичало в этой глуши и, продолжая вести прежнюю беззаботную и веселую помещичью жизнь, материально оскудевало и морально опускалось. Между тем крестьяне, жившие так, как "в стариках положено", имели ограниченные потребности и не покупали земель своих оскудевших господ, будучи к тому же уверены в том, что получат их даром от царя. Это обстоятельство еще больше прикрепляло помещиков к их усадьбам, а большинству, не получившему достаточного образования, и деваться было некуда. Так и жили, постепенно отказываясь от материальных удобств и комфорта, но стараясь до последней возможности сохранить внешний дворянский престиж: разъезжали по уезду на великолепных тройках, держали охотничьих собак и все с важностью носили дворянские фуражки с красным околышем.

Как-то вечером я закончил описание одного имения и собирался отправиться на ночлег в ближайшую деревню. Лил проливной дождь, и хозяин ни за что не хотел меня отпустить.

– Останьтесь ночевать, – говорил он, – чайку попьем, поболтаем... Только уж, извините, положу вас с собой в одну комнату, – другой нет.

Действительно, весь большой дом помещика был заколочен и постепенно разрушался. Он сохранил для себя только одну комнату и кухню.

Ехать под дождем искать приюта для ночлега было неуютно, и я охотно принял любезное предложение хозяина.

Это был не старый еще мужчина, но какой-то помятый. Видимо, он был рад побеседовать со свежим человеком и долго держал меня

за чайным столом. Наконец, когда пришло время отправляться ко сну, он, по оставшейся от крепостного права привычке, захлопал в ладоши и крикнул:

— Эй, девка, девка.

Из кухни появилась, шлепая по полу босыми ногами, заспанная, растрепанная девица.

— Раздень барина, — приказал он ей.

Я, конечно, отказался от таких услуг.

— Ну, как знаете. Мы еще по-старому живем, привыкли, — сказал мой хозяин и, развалившись на кровати, отдался в руки растрепанной девке, которая стаскивала с него сапоги, пиджак и панталоны.

Когда я, раздевшись, улегся в приготовленную для меня на старинном диване постель, то долго не мог заснуть от мыслей, навеянных этой причудливой комбинацией старых барских привычек с убогой обстановкой современности.

Приходилось мне встречать помещиков и совершенно разорившихся и опустившихся.

В Торопецком уезде богател и скупал дворянские земли крестьянин Яковлев. Во всем уезде это, кажется, был единственный разбогатевший крестьянин. Окрестные помещики занимали у него деньги под большие проценты, ездили к нему в гости и в глаза величали на "ич" — Василий Яковлевич, но за глаза относились к нему свысока, называя Василием Яковлевым или просто Василием. А он глубоко их презирал. Нарочно, чтобы их дразнить, нанял себе кучером спившегося вконец и разорившегося дворянина с громкой фамилией — Долгово-Сабурова, который лихо правил его тройкой. "Все хочу ему дворянскую фуражку купить, — говорил Яковлев статистику, производившему описание его имений, — довольно дворяне на нас, мужиках, ездили. Пускай смотрят теперь, как мужик на дворянине катается".

Мне рассказывали про бывшего холмского предводителя дворянства Арбузова, в молодости славившегося своей веселой жизнью, что умер он в полной нищете. Две его дочери, унаследовавшие от него заложенное и перезаложенное имение, тщетно искали подходящих женихов, пока, наконец, не решились выйти замуж за соседних крестьян. Стали бабами, и ничто в их внешнем виде более не напоминало бывших барышень, дочерей предводителя. Зато материально процвели, ибо трудовое их хозяйство легко справилось с неоплатными предводительскими долгами.

Пришлось мне как-то описывать маленькое имение, владелец которого, местный дворянин, не по идейным соображениям, а из прямого хозяйственного расчета, стал крестьянствовать на своей земле. Но случаи такого разумного и сознательного деклассирования были редки. Гораздо чаще приходилось наблюдать случаи полного морального одичания местных дворян.

Однажды заехал я в небольшую помещичью усадьбу и застал ее владельца с утра уже пьяным. Это был плюгавого вида мужчина с красным носом и маленькими бегающими глазками. Жил он один в своем доме, поражавшем полным отсутствием мебели. В столовой стоял буфет, стол и два стула, а в других комнатах, кроме нескольких разрозненных стульев, – ровно ничего.

Я хотел сейчас же уехать, закончив несложное описание его имения, но отвертеться от его пьяного гостеприимства было невозможно.

– Чем богаты, тем и рады, – говорил он, таща меня за рукав к столу.

Богатством он действительно похвастать не мог, ибо в буфете ничего, кроме водки, черного хлеба и соленых огурцов, не было. Пил он рюмку за рюмкой и занимал меня такими разговорами, при воспоминании о которых я долго ощущал некоторую тошноту. А рассказал он мне, что состоит под судом по обвинению в изнасиловании глухонемой девушки из соседней деревни. Подробно описав со сладострастными подмигиваниями, как у него вышло это "дело", он с негодованием обрушился на современные порядки:

– Ведь это черт знает что такое! Меня, порядочного человека, дворянина, позорят, привлекают к суду, и за что же? Из-за какой-то глухонемой девки!

С трудом отделавшись от этих отвратительных излияний, я простился и уехал. Оглянувшись, я увидел на крыльце плюгавую фигурку хозяина. Он, покачиваясь, держал в одной руке огурец, а другой приветливо махал мне дворянской фуражкой...

В городе Торопце мне пришлось присутствовать при такой необыкновенной сцене: во двор гостиницы, в которой я остановился, въехала великолепная тройка вороных. Седок, человек средних лет, с окладистой черной бородой и в дворянской фуражке, был совершенно пьян. В таком же состоянии находился и кучер. Из окна я видел, что пьяный помещик ругал пьяного кучера и, придя в ярость, ударил его по физиономии. Пьяный кучер ответил тем, что ухватил своего барина за бороду, и в драке они повалились на землю. Случайные свидетели этой сцены разняли дерущихся и отнесли их просыпаться.

Каково же было мое удивление, когда, справившись о личности драчливого дворянина, я узнал, что это председатель уездной земской управы Ратманов, пьяница и забулдыга, которого иначе не называли, как Колькой...

Хозяином гостиницы, в которой я остановился, был какой-то толстенький человечек неопределенной национальности, говоривший одинаково плохо на всех европейских языках. Помимо своей основной профессии, он занимался ростовщичеством и сводничеством. Все помещики останавливались в его гостинице, пьянствовали и, сидя за ужином, громогласно рассказывали всевозможные скандальные

истории из местной жизни, преимущественно скабрезного содержания. Обедая с этими в общем добродушными людьми, я невольно погружался в мир торопецких сплетен. Между прочим рассказывали об амурных похождениях уже стареющей помещицы К.

Как-то я проезжал мимо ее имения и обратил внимание на небольшой, вновь отстроенный хуторок вблизи дороги.

— Чей это хутор? — спросил я ямщика.

— А Филарета К.

Дорога свернула в сторону, и я снова увидал такой же хуторок.

— А это чей хутор?

— Тоже Филаретов, — невозмутимо ответил ямщик, а затем, улыбнувшись, добавил: — Ентих Филаретов тут пять ай шесть понасажено. Двое здесь, а другие вон там, за горкой.

Я решительно ничего не понял. Что за Филареты? Точно племя какое-то. Стал расспрашивать подробнее и получил такие разъяснения от ямщика:

— Помещица тут одна, богатая барыня, К. по фамилии. Живет справно, земли и всякого добра много. Только скучно ей одной-то жить. Муж ейный давно помер, а для нового замужества из лет вышла. Вот и стала с мужиками путаться. Всегда у ней какой-нибудь мужик в полюбовниках, по-нашему — в Филаретах, состоит. Один наскучит — другого возьмет. А за прежние, значит, услуги земельку дарит да домик строит. Скоро целая деревня из ейных Филаретов наберется.

Тут я только догадался, что некогда в эту лесную глушь дошли слухи о блестящих фаворитах Екатерины II и что это иностранное слово здесь обрусело: фавориты обратились в филаретов.

Ведь тогда вся Россия была такой же глушью, как эти дикие места, которые все же, благодаря сравнительной близости к Петербургу, имели с ним более частые сношения. В Холмском уезде, например, я посетил большое имение Краснополец, некогда принадлежавшее министру Павла I Кушелеву-Безбородко. Это было одно из немногих имений, переменивших здесь коренных владельцев.

Огромный дворец с облупленной штукатуркой и рядом разбитых стекол стоял в глубине большой грязной площади. Большая часть мебели была вывезена и продана. Говорят, в Петербург отправлялась она целыми обозами. Роскошный парк с фонтанами, тенистыми аллеями и шпалерами стриженых лип был частью вырублен, а частью зарос бузиной и крапивой. А на старинной гравюре, еще висевшей на стене, я видел этот дворец в его прежнем великолепии: мощеный двор был окружен красивой массивной решеткой, а в ворота въезжали запряженные цугом кареты с форейторами впереди.

Несколько комнат дворца еще поддерживались в пригодном для жилья состоянии. В них и мне отвели помещение для ночлега.

Там еще сохранялась разрозненная мебель красного дерева, а со стен глядели на меня вынутые из дорогих рам екатерининские вельможи и их декольтированные жены.

Когда-то, проездом за границу, в Краснопольце останавливался Павел I. Безбородко заказал специально для него своим столярам кровать из карельской березы. Эта кровать еще стояла на прежнем месте. Она была мне так широка, что мне и моему помощнику-студенту постелили постели не вдоль, а поперек. Можно было на ней свободно разместить еще пять ночлежников.

Разрушающаяся усадьба Безбородко свидетельствовала о материальном оскудении дворянских гнезд, моральное оскудение которых я описал выше.

Описывал я то, что видел, однако вовсе не хочу изображать виденное как типичное для всей тогдашней России. Эта лесная глушь являлась все же исключением. Да и к моим описаниям этих лесных дебрей нужно сделать некоторую поправку: многое из того, что кажется обычным и нормальным, проходит мимо нас, не зарегистрированное памятью, которая вместе с тем надолго сохраняет впечатления и образы, отклоняющиеся от привычной нормы.

Стараясь вспомнить каких-либо местных культурных помещиков, которые, конечно, мне встречались и в этих диких местах, память моя восстанавливает, однако, только один образ, поразивший меня своей оригинальностью.

Приехал я как-то в имение, принадлежавшее по документам "бракоразводной жене" генерала Куропаткина, госпоже Прюссинг. В гостиной, куда меня ввела горничная, я обратил внимание на свежеразрезанные книжки столичных толстых журналов. Такой культурной роскоши мне ни разу не пришлось видеть у помещиков этих мест, у которых зачастую нельзя было найти даже порядочных чернил и перьев. Вид этих журналов меня сразу расположил к хозяйке, тем более, что из соседней комнаты до меня доносился мерный женский голос, читавший вслух какую-то серьезную статью. Наконец-то увижу интеллигентного человека, подумал я. В это время дверь отворилась, и вместо дамы, которую я ожидал увидеть, в комнату быстрыми, энергичными шагами вошел молодой человек в серой тужурке, полосатых брюках и в высоких смазных сапогах. Сняв при входе в комнату с головы белую фуражку с черным кожаным козырьком, молодой человек протянул мне руку и, рекомендуясь, произнес: – Прюссинг.

Если бы не голос, ничто не выдало бы в этом молодом человеке присущего ему женского естества. Энергичные черты загорелого лица, волосы с боковым пробором, прикрывавшие прорезанный глубоким шрамом лоб, мужской взгляд умных карих глаз, особая мужская свобода движений и жестов.

А между тем, по какой-то злосчастной ошибке природы, это была женщина, бывшая жена военного министра генерала

Куропаткина. Разведясь с мужем, которого когда-то верхом сопровождала в среднеазиатских походах, она поселилась в деревне со своей кузиной. Сама она управляла имением, заведуя полевым хозяйством, а ее подруга ведала женскими отраслями — скотным и птичьим дворами, кладовыми и домоправительством. Крестьяне называли ее "барчуком", говорили о ней в мужском роде и не любили за то, что не давала им спуска в порубках и потравах.

Я с огромным наслаждением провел время за чайным столом в беседе с умным и образованным "хозяином" и с миловидной хозяйкой, сидевшей за самоваром. Мы расходились в политических взглядах, но очень приятно было в разговорах с "барчуком" отвлечься от окружавшей нас убогой жизни...

"Барчук"-Прюссинг является в моем повествовании вводным персонажем, оригинальным, но совершенно не типичным для описываемого мною захолустья. Для него гораздо характернее гоголевские типы, у двоих из которых — у Плюшкина и Ноздрева — мне пришлось побывать.

5

Плюшкин

Я ехал описывать довольно большое имение. По окладному листу в нем значилось 1 500 десятин земли, но я знал, что владелец его кроме того имеет столько же земли в соседнем уезде.

— Скоро доедем? — спросил я везшего меня молодого парня.

— А вот на горе самое село видать ("селами" в этих местах назывались помещичьи усадьбы), — ответил он, указав на хохолок березовой рощи, среди которой можно было рассмотреть очертания большого дома.

— А вы этого барина знаете? — спросил меня мой возница с иронической улыбкой.

— Нет, не знаю. А что?

— Вот увидите, что за барин. Вы таких господ, верно, и не видывали. Наши мужики, когда в лес по дрова ходят, норовят что похуже из одежи надеть, да и то постыдились бы на улице показаться так, как барин этот ходит.

Мы переехали через насыпь строившейся тогда Петербурго-киевской железной дороги и, поднявшись на пригорок, въехали в усадьбу.

Я увидел двор, густо заросший травой и окаймленный ветхими деревянными постройками. Налево от ворот — просторный, но тоже ветхий дом с мезонином и с примыкающей к нему березовой рощей.

Стук колес моей телеги не привлек ничьего внимания. Не только людей не было видно на этом дворе, но даже животных и домашней птицы. Казалось, что мы въехали в мертвое царство.

Подъехали к крыльцу, не парадному, а так называемому "черному".

— Дайте, барин, я вас проведу, — предложил мне ямщик.

Он улыбался во весь рот, уловив на моем лице смущение от вида этой мертвой усадьбы, и с видимым удовольствием демонстрировал мне местные достопримечательности.

Взяв мою папку с бумагами, он вбежал на крыльцо и вошел в сени. Я последовал за ним. В сенях было темно и плохо пахло. Тщетно стучали мы в запертую дверь. Наконец сами открыли ее и вошли в комнату, совершенно лишенную мебели. Опять оказались перед закрытой дверью. Я закашлял, застучал ногами, чтобы привлечь чье-нибудь внимание... Никто не откликнулся.

Вошли в следующую комнату. Она уже носила следы жилья. Стоял потертый кожаный диван, перед ним стол, а на стене застекленная полка с несколькими стаканами.

Я опять прокашлялся, но опять напрасно.

Тут даже ямщик смутился, нерешительно поглядывая на новую закрытую дверь. Распахнув ее, я остановился на пороге, пораженный представшей перед моими глазами картиной.

Среди большой комнаты, некогда служившей чем-то вроде зала, лежала огромная куча картофеля, занимавшая добрую ее половину; с одной стороны этой кучи стоял большой стол, заваленный всякой рухлядью, а с другой стороны — старинный рояль. Между роялем и картофельной кучей, профилем ко мне, в глубоком кресле сидел старик со всклокоченными седыми волосами и щетинившейся от редкого бритья бородой. На нем был грязный халат из грубого крестьянского холста, из-под которого виднелись сухие, желтые старческие ноги, всунутые в туфли-шлепанцы. Неподвижным взглядом смотрел он на возвышавшуюся перед ним кучу картофеля и не сразу заметил мое появление.

Я подошел к нему, отрекомендовался и объяснил цель моего приезда. Старик засуетился и быстро заговорил хриплым старческим голосом, ежась и запахивая полы халата:

— Извините, пожалуйста, что вас так принимаю. Мы здесь, в глуши, по-деревенски живем, совсем попросту... Я сейчас переоденусь и буду к вашим услугам. А пока сестра с вами посидит.

— Анна Петровна, — позвал он, — займи гостя, пока я оденусь, да кстати и самоварчик вели поставить.

— Сейчас, Сергей Петрович, — послышался голос из-за ширмы, стоявшей в глубине комнаты.

Через минуту оттуда появилась старушка, в противоположность совершенно легко одетому брату — в рваной ватной кофте и теплом пледе.

— Милости просим, садитесь,— обратилась она ко мне.

Мы уселись около стола с рухлядью.

Не зная, о чем с ней беседовать, я заговорил о строящейся рядом с их усадьбой линии железной дороги.

— И не говорите мне про эту железную дорогу, — замахала она на меня руками, — я ведь из-за нее даже языка лишилась.

Заметив недоумение на моем лице, она продолжала:

— Как же, просто беда. Вот как весной приехали сюда анженеры, да как начали рубить мою любимую рощу, — я увидала, ахнула и ни слова сказать не могу — язык отнялся. Теперь ничего, отошло, а то думала, что помру.

Действительно, было заметно, что она говорила с некоторым затруднением.

— А вы откуда к нам приехали, из Пскова?

— Да, из Пскова.

— Вы там служите?

— Да.

— А скажите, вы наверное с университетским образованием?

— Да, я был в университете.

— Это сейчас видно по вашему деликатному обхождению.

В это время из-за ширмы вышел Сергей Петрович, одетый в старый потертый сюртук.

— Братец, Сергей Петрович,— обратилась к нему сестра, — знаешь, они университет окончили. Я еще раньше догадалась, чем они сказали.

— А, очень приятно, — прохрипел братец, — вы какой университет окончили?

— Петербургский.

— Ну, стало быть, мы коллеги, я тоже петербургского университета, только давно кончил, в 1857 году.

По его "обращению", хотя и "деликатному", это было мало заметно. Я приступил к работе, с трудом очистив себе место за столом.

Добывать сведения у Плюшкина (а передо мной был Плюшкин, самый подлинный) о его имении было истинным мучением. По его словам, все его имение состояло сплошь из моховых болот. Удобной земли — самая малость. На мое счастье, он не вел самостоятельного хозяйства, а всю землю по частям сдавал соседним деревням. Благодаря этому я приехал к нему уже с полным почти описанием имения со слов арендаторов и мог исправлять его показания.

Наконец работа была окончена, и мы направились пить чай в соседнюю комнату, где Анна Петровна уже расставляла на столе стаканы. Мы с хозяином разместились на старом диване.

Вошла тощая грязная баба с самоваром. Но что это был за самовар! Нечищеный, густо засиженный мухами и покрытый медной зеленью. Кроме того, он когда-то распаялся и был спаян домашними

средствами совершенно криво. Поэтому, поставленный грязной женщиной на стол, имел вид пьяного, теряющего равновесие.

Любительница университетского образования налила нам жидкий и отдававший веником чай, много раз слитый. Это было бы, впрочем, с полбеды. Хуже всего было то, что она не позаботилась предварительно вымыть стаканы, покрытые застарелой грязью. По всему было видно, что брат и сестра разрешали себе пить чай только в исключительных случаях, с почетными гостями.

Чувствуя себя виновником этого торжественного чаепития, я заставлял себя пить чай из ужасного стакана, хотя судорога омерзения сжимала мне горло...

За чаем старик разговорился. Как и следовало ожидать от Плюшкина, он начал с жалоб на плохое поступление арендной платы от мужиков и на тяжесть налогов.

— Уж я и не знаю, до чего скоро дойдет, — говорил он, — скоро все, что получаю, придется отдавать земству. Помилуйте, разве так можно! Совсем нас разоряют. А если бы вы знали, как с мужиков теперь трудно деньги получать, просто беда. Своего хозяйства мы с сестрой уже вести не можем — стары и слабы стали, — волей-неволей приходится землю в аренду сдавать. И вот извольте с них деньги собирать! Народ стал грубый, невежливый. А главное, религию забыл... Тут вот рядом есть погост, где возле церкви покоится прах моих покойных родителей. Так я, знаете, вот уже несколько лет прошу мужиков, чтобы они исправили ограду, а они и думать об этом не хотят. Совсем о благолепии храма не радеют... Вы, впрочем, может быть, тоже не религиозны, как и вообще ваше поколение? А я, знаете, строго придерживаюсь религии отцов...

И он стал пространно рассказывать, как не пропускает ни одной службы, соблюдает посты и пр. Казалось, что из всех человеческих чувств в этом старике не осталось ничего, кроме скупости и любви ко всему церковному. Впрочем, при конфликте этих чувств скупость одерживала победу, как, например, в истории с могилами предков.

Время стало клониться к вечеру и, не желая оставаться на ночь в этом грязном доме, я распростился с Плюшкиным и его сестрой и поехал искать ночлега в ближайшую деревню. Впрочем, брат с сестрой и не уговаривали меня остаться.

— Ну что, хорош барин? — улыбаясь, спросил меня ямщик, когда мы выезжали из ворот мертвой плюшкинской усадьбы.

— Да, я таких никогда не видал.

— А знаете, мне кухарка ихняя сказывала, — они это только для вас самовар поставили. Сами чая никогда не пьют...

Мы снова спустились с пригорка и переехали полотно строившейся железной дороги. Плюшкин и железная дорога! Может ли быть более нелепое сочетание!..

Через несколько дней я передавал свои впечатления одному из местных помещиков.

— Знаете, — сказал я ему, — я нашел в вашем уезде настоящего Плюшкина.

— А, вы нашего Лошакова так называете? Да, удивительный субъект, скупердяй и ханжа, каких не сыщешь. Мы с ним в родстве, но никогда друг у друга не бываем. Впрочем, в прошлом году он у меня был. И знаете, из-за чего он ко мне приехал? Из-за пятачка. Хотите, расскажу, как это было? Нужно вам сказать, что через мое имение проходит дорога, ведущая в соседний уезд, в котором у Лошакова есть тоже имение. Дорога прерывается рекой, через которую ходит паром. Право держать паром через реку арендует у меня один мужик, который и взимает с проезжающих по пятачку от лошади за перевоз. Вот однажды, едучи в свое имение, Лошаков переправлялся на пароме через реку, но решительно отказался платить паромщику установленный пятачок. Паромщик вступился за свои права, и они пришли ко мне за разрешением их спора. "Помилуйте, — говорил мне Лошаков, — я, местный дворянин, должен платить за проезд на пароме! Укажите мне такой закон. Этого не может быть". Старик ужасно разволновался, и я поспешил его успокоить, сам отдав пятачок паромщику. Он сразу повеселел и, уходя, осведомился, верно ли, что через несколько дней в нашей церкви престольный праздник. "Видите ли, — заявил он, — это день поминовения моей покойной матушки. Так я хотел приехать сюда и заказать, чтобы ее помянули". Суть дела заключалась в том, что в своей церкви в этот день ему пришлось бы заказать специальную панихиду, а это по меньшей мере полтинник стоит. Здесь же поминовение во время обедни обойдется в пятак или гривенник. Так вот для сохранения сорока копеек он решил ехать за тридцать верст поминать родителей. Такой, пожалуй, и Плюшкину несколько очков вперед даст.

6

Ноздрев

Конечно, это был не тот Ноздрев, которого изображал Гоголь, а Ноздрев конца девятнадцатого века. Звали его — Василий Лукич Кушелев. Он жил на юге Холмского уезда, в своем имении Волок, которое было заложено и перезаложено и должно было быть продано с молотка, если бы женитьба на богатой купчихе не вывела его владельца из затруднительного положения.

Это был высокий, красивый мужчина лет около пятидесяти, с большой, окладистой, черной с проседью бородой. Одет был "по-

помещичьи": в синюю, тонкого сукна поддевку поверх белой вышитой рубашки навыпуск. Легкая чесунчевая фуражка, высокие сапоги и нагайка, пристегнутая к поясу, дополняли живописность костюма.

Встретив меня на крыльце своего старого уютного дома, он сразу огорошил меня неожиданным вопросом:

— Скажите, вы дворянин? Впрочем, и так вижу, что дворянин. Рыбак рыбака видит издалека, — продолжал он, не дождавшись моего ответа. — Дворянина всегда рад принять. Гостеприимство — это наша дворянская черта. Я, знаете, как-то путешествовал по России на своей тройке. Ездил из усадьбы в усадьбу по незнакомым людям. И везде был принят прямо как родной: поили и кормили до отвала, пикники устраивали, за барышнями ухаживал. Очаровательно провел время. Вот и вы живите у меня, сколько хотите, неделю, месяц, сколько понравится. Не стесняйтесь.

Я хотел приступить к описанию имения, но он решительно запротестовал:

— Завтра с раннего утра буду к вашим услугам, а сегодня вам отдохнуть нужно.

И вот я, умывшись с дороги, сел за стол, уставленный водками и закусками, и повел с хозяином дружескую беседу. Впрочем, это была не беседа, а непрерывный монолог радушного Ноздрева.

Чего-чего он мне не нарассказал. Фантазия его была безбрежна, но одна тема повторялась в разных вариациях: кого-нибудь он непременно бил.

— Был я молодым гвардейским офицером (он произносил "афцером") во время турецкой войны, — рассказывал Ноздрев, — служил в штабе Скобелева. Вот как-то Скобелев призывает меня и говорит: "На нас наступает армия Османа-паши, и нужно во что бы то ни стало ее задержать, пока не подойдут наши резервы. Ну, так вот, братец, возлагаю эту миссию на тебя и даю в твое распоряжение сотню казаков". Ослушаться приказа Скобелева невозможно, а у самого кошки скребут на сердце. Как же я с сотней казаков целую армию задержу!.. Въехал я с сотней казаков на пригорок, спешил их и велел лечь. И только мы эту позицию заняли, уж на горизонте показалась армия Османа-паши. — Ну, говорю, братцы, стрелять у меня без промаха, чтобы каждым выстрелом одного турка класть. Командую — пли! А сам смотрю в бинокль, валятся ли турки. Чуть замечу, что какой-нибудь казак промахнулся, подхожу и со всей силы его нагайкой. Пли! — нагайка, пли! — нагайка... И что же вы думаете, добился того, что без промаху стрелять стали: как скомандую — пли, так ровно сто турок из рядов выбывает. Целый час продержались, а там, слава Богу, наши подошли и турок прогнали. После сражения все казаки меня обступили. Ну, думаю, плохо дело. На войне всяко бывает. Прикончат, а после скажут, что, мол, выбыл из строя. А ведь я их основательно

нагайкой колошматил... И вдруг подхватывают меня на руки и давай качать: "Спасибо, ваше высокородие, что научили!" Хороший народ, а только драть нужно. Без этого никак нельзя...

После супа батальонные воспоминания Ноздрева сменились более мирными рассказами о заграничных путешествиях.

— Вы бывали в Швейцарии? Паршивая страна отельщиков. И наживаются они на нашем брате, путешественнике! Кормят всякой залежавшейся дрянью. Я, знаете, как-то заметил, что к десерту никогда не подают свежих бисквит, и решил сделать опыт: незаметно брал бисквиты из вазы, надписывал на нижней стороне мою фамилию и клал обратно. И, представьте себе, остановился я как-то в Интерлакене, в лучшем отеле. Подают бисквиты к мороженому. И вдруг на одном бисквите вижу свою фамилию, которую надписал в Цюрихе полгода назад! Так всякая заваль у них из города в город, из отеля в отель путешествует, пока мы ее не слопаем... Да, народец, можно сказать, торгаши. Нам с нашей широкой натурой трудно с ними ужиться.

Ноздрев выпил залпом стакан вина и продолжал:

— Вот какой со мной раз случай был: подъезжаю как-то в Лозанне к своему отелю на извозчике и даю швейцару два франка, чтобы с ним рассчитаться. Швейцар потребовал еще франк. Что мне франк?! А только обидно стало: я знал, что такса — два, а не три франка, и не хотелось поощрять мошенника. Сказал ему, что больше не дам. А он мне грубостью какой-то ответил. Тут уж я не стерпел и съездил ему по морде. Время было обеденное, и я прямо из передней сел за табльдот и рассказываю соседям о случившемся. А нужно вам сказать, что рядом со мной сидел товарищ президента швейцарской республики. Противная толстая и самоуверенная рожа. Выслушал он мой рассказ и говорит: "Вы, очевидно, мосье, думаете, что в Швейцарии людей можно так же бить, как у вас в России. Но вы ошибаетесь. Это вам даром не пройдет".

— А что же мне за это будет?

— Попадете под суд.

— А к чему меня могут присудить?

— Да заставят заплатить штраф франков двадцать.

— А скажите, — спросил я его, — ведь у вас в Швейцарии все равноправны?

— Конечно.

— Значит, кого ни ударить — мужика или сановника — одно наказание.

— Само собой разумеется.

Тут я вынул из кармана золотой, положил перед ним на стол и, размахнувшись, хлясть его по самодовольной физиономии.

— Вот тебе, — говорю, — двадцать франков, подавись ими в своей свободной республике!..

Розовая горничная в чистом белом переднике уже подавала малину с чудными густыми сливками, а он все говорил без умолку. Под влиянием выпитых водки и вина его беседа приняла интимно-откровенный характер, нисколько, впрочем, не ограничивший полета его пылкой фантазии.

— Вот, дорогой мой, — говорил он, протягивая мне ящик дорогих гаванских сигар, — видите вы меня теперь в достатке, а еще недавно совсем было погиб. Дошло до того, что в Петербурге на Калашниковской набережной мешки таскал. Это я-то, дворянин, гвардейский афцер! В ночлежках жил... Всего повидал... А вот выскочил и сигары гаванские с вами раскуриваю... И куда меня только не носило! В Сахаре был, на львов охотился. А потом прямо на Мурманск угодил. Промыслы рыбные изучал, книжку целую о Мурманске написал. Хорошая книжка. Если бы под своей фамилией выпустил — известность приобрел бы. Да не пришлось. В ту пору это было, когда о хлебе насущном помышлял. Вот один рыбопромышленник и предложил мне, чтобы я изучил промыслы и описал их, только под его фамилией. Что же, пришлось согласиться. Деньги до зареза нужны были...

Говорил Ноздрев гладко, выразительно и даже талантливо, так что, несмотря на полную неправдоподобность его рассказов, слушать их было занимательно, и наша дружеская беседа, как говорится, затянулась до позднего вечера.

А на следующее утро, когда мы занялись делом и мне с его слов пришлось составлять описание его имения, я оказался в непривычном для себя положении: я привык, что не только крестьяне, но и большинство помещиков стремились прибедняться в своих показаниях. Ноздрев же в этом отношении оказался исключением. Он органически мог врать лишь в сторону преувеличения. Оказалось, что имение у него образцовое и ведется по всем правилам агрономической науки и техники. На меня сыпались невероятные цифры урожаев, укосов, удоев, и все это было настолько фантастично, что не давало никакого подхода к реальности...

Трудно мне было вырваться из гостеприимных объятий радушного хозяина, но в конце концов он меня отпустил, взяв обещание, что я скоро его опять навещу.

Больше я уже никогда не встречался с Кушелевым-Ноздревым. Но через несколько лет в газетах его фамилия мелькала среди ораторов съезда объединенного дворянства. Речи его были правее всякого здравого смысла, но наверное производили впечатление на специфическую аудиторию. Все-таки это был человек талантливый.

О дальнейшей трагической судьбе этого человека я узнал уже много позже появления в прессе моих о нем воспоминаний. В 1918 году в его имение нагрянула вооруженная толпа. Старика вывели

в парк, поставили перед вырытой ямой и расстреляли. Говорят, что он не захотел, чтобы ему завязали глаза. Стоял, высоко и гордо подняв голову, и спокойно ожидал смерти.

7

Область болот и ее жители

В начале девятисотых годов русское правительство предприняло большие работы по осушению огромной болотистой равнины, расположенной в северо-западной части Холмского уезда Псковской губернии и в юго-западной части Старорусского уезда Новгородской губернии. Но в 1898 году, когда я в качестве земского статистика посетил эти места, план их осушения еще разрабатывался в Петербурге и болота имели свой первобытный вид.

Мне не приходилось бывать в северной тундре, но, судя по ее описаниям, холмские болота представляли собой нечто вроде кусочка тундры, капризом природы перенесенного на двадцать градусов южнее тех мест, где ей полагается находиться.

Среди этой тундры, должно быть, некогда сплошь покрытой водой, сохранились два озера, Цевло и Полисто, а на сухих островках между болотами разбросано было десятка два деревень, которые и подлежали статистическому описанию. Самая крупная деревня этого района, Ратча, находилась по прямому направлению от города Холма верстах в тридцати, но ехать туда приходилось объездом на лошадях около ста тридцати верст.

До сих пор с ужасом вспоминаю последние тридцать верст этой дороги, уже посреди болот. Тридцать верст в безрессорном тарантасе по гати, т.е. по бревнам и сучьям, набросанным на болото поперек дороги!

Было жарко. Комары вились вокруг меня целыми стаями и немилосердно кусали. Лошади шли шагом, с трудом везя тарантас, колеса которого перескакивали с одного бревна на другое, а порой увязали в размоинах. Трясло невыносимо. Я пытался идти пешком, но ноги скользили по бревнам, путались в сучьях, и, пройдя какую-нибудь версту, я так уставал, что снова, изнеможденный, валился в тарантас и предоставлял свое усталое тело мукам безнадежно угнетающей тряски. А кругом безотрадно однообразная и унылая природа: бесконечно расстилающееся болото, покрытое розовым мхом, среди которого кое-где торчали врассыпную маленькие сосенки — "седушки", старые карлики ростом в 2-3 аршина. Местами исчезали и уродливые сосенки, открывая горизонт, где в дымке дрожащих туманов голубое небо сливалось с розовою гладью мхов.

Поздно вечером подъехал я к полистово-ратчинскому волостному правлению и был встречен молодым угреватым писарем с пленяющим деревенских красавиц коком взбитых волос на голове. Угощая меня ужином, казавшимся необыкновенно вкусным после путешествия по гати, он доказывал мне, что дальше ехать незачем.

— Будьте покойны, всю волость сгоню сюда. Народ у нас послушный. А я здесь царь и бог, — говорил он гордо, покручивая белесые усики. — Старшина — мужик неграмотный, а земский и становой в наши болота носа не кажут. Вот и распоряжаюсь, с позволения сказать, как самодержец, что прикажу — будет исполнено. Да и где же вам по болотам трепаться. Совсем замучаетесь. А кроме того, откровенно сказать, у нас здесь не все благополучно: сыпной тиф, много народа повымерло.

Я все же не сдался на увещания писаря и на следующий день мы с моим сотрудником, студентом Иорданским, провожаемые любопытной толпой крестьян, уселись в плоскодонный досчаник и поплыли по гладкой поверхности озера Полисто.

Мне приходилось совершать морские путешествия, но никогда в открытом море я не испытывал такого ощущения оторванности от мира, как тогда, медленно скользя в досчанике по этому странному, точно сказочному озеру. Море всегда движется, живет, и его жизнь вас бодрит, рассеивая чувство жути от его бесконечности. А здесь, на серой озерной глади, незаметно сливавшейся с тянувшимися к горизонту серыми туманами, была мертвая тишина, нарушавшаяся лишь движениями весла, которым на корме орудовал наш лодочник. И было неуютно плыть в эту серую бесконечность...

Проехав около часа по этой водяной пустыне, я облегченно вздохнул, когда наш досчаник, пробившись через прибрежные камыши, завернул в реку Полист, вытекающую из озера Полисто. Мы быстро понеслись вниз по течению по извилистой речке, среди двух шпалер зеленых камышей. В камышах весело плескались рыбы, а иногда, испуганно свистя крыльями, вылетали утки. И сразу от этой жизни и движения веселее становилось на душе. Но стоило немного приподняться и посмотреть вдаль, через веселые зеленые камыши, чтобы вновь почувствовать тоску от окружавших со всех сторон бесконечных болотных пространств.

Сделав водным путем верст двадцать пять, мы около полудня причалили к большому острову. На нем была расположена деревня.

Местные крестьяне жили зажиточно на своих окруженных болотами островах. Полуболотные земли отличались хорошими качествами, и урожайность полей была высокая. При отмене крепостного права пахотные и сенокосные земли здесь целиком отошли крестьянам, а за помещиками остались сотни тысяч десятин непроходимых болот. Само собой разумеется, что эти помещичьи земли были просто заброшены владельцами. Между тем среди

них кое-где попадались оазисы с хорошим лесом и сенокосами, которыми и пользовались местные крестьяне. Обилие сенокосов давало им возможность держать много скота, благодаря помещичьему лесу избы были у всех солидные и просторные, бани топились по два раза в неделю, а в свободное время все крестьяне занимались изготовлением всевозможных древесных изделий.

Три четверти года эти "островитяне" почти не сносились с окружающим миром, лежавшим за пределами болот, и только зимой, когда болота покрывались снегом, сами ездили за покупками в ближайшие города и принимали у себя купцов, скупавших деревянные изделия, а также клюкву и морошку, в огромных количествах произраставшие на моховых болотах. Нужно ли добавить, что школ в этих забытых местах совсем не было и что все взрослые и дети были неграмотны.

Жили сытно, справно, но первобытно, храня старые добрые нравы и обычаи. Нигде мне не приходилось встречать столько гостеприимства и вежливой предупредительности со стороны крестьян, и притом без всякого низкопоклонства. Начальство к ним никогда не заглядывало, и они чувствовали себя на равной ноге с редкими приезжими "господами". Помню, как мне трудно бывало платить деньги за постой и прокорм.

— Помилуй, барин, кой-то веки в наши места новый человек заглянет. Нам и посмотреть-то на тебя лестно, а угостить да поговорить — и подавно.

И чем дальше я забирался вглубь болот, тем сердечнее меня принимали.

В деревне, к которой мы подъехали на лодке, мы пробыли остаток дня и, переночевав, отправились в дальнейший путь. Для начала путешествия нам подали неоседланных лошадей, на которых, окруженные целой кавалькадой крестьян, мы проехали версты три до противоположного конца острова. Дальше начиналась топь, через которую уже нужно было идти пешком по "кладкам". Кладки — это стволы деревьев, положенные на болоте вдоль, одни за другими, в два ряда, в виде узких рельс.

И началось путешествие, по трудности своей мало чем уступающее путешествиям по центральной Африке.

Едва ли в своей жизни я более уставал, чем в это утро, пройдя по кладкам всего пять верст. Шли мы вчетвером: впереди два крестьянина, нагруженные нашими вещами, а сзади мы с Иорданским. Нам дали в руки по длинному шесту для поддержания равновесия, соблюдать которое, передвигаясь по скользким кладкам, было необходимо, ибо, оступившись, попадал ногою в вязкую топь. Сойти с кладок, чтобы отдохнуть хоть на минутку от этой постоянной гимнастики, не рискнув жизнью, было невозможно. Привычные местные жители быстро двигались по кладкам, ступая босыми ногами, а мы едва поспевали за ними. Иногда недоставало

второй кладки, и приходилось, балансируя, двигаться по одной. Часто кладки погружались в колдобины, заполненные водой. Тогда, стоя на одной ноге, другой шарил в воде, нащупывая место, на которое можно ступить. Но самое неприятное случалось тогда, когда кладки под водой расходились. В таких случаях оказывался в самом плачевном положении, стоя на растопыренных ногах и не имея возможности ни двигаться вперед, ни соединить ноги на одной кладке. Приходилось пятиться, с тем, чтобы снова двинуться в путь уже по одной кладке.

Посреди пути мы прошли мимо островка, уставленного могильными крестами.

— Вот тут мы своих покойников хороним, — пояснил мне один из наших провожатых. — Со всех деревень сюда свозим их. Покойника на сани положим, сами впрягаемся за лошадей. Ступаем по кладкам, а сани по болоту едут. В других же санях пироги всякие везем, водку да брагу, чтобы на могиле поминки справить.

— Ну а священник как же сюда приезжает?

— Какой те священник! Разве можно ему из-за каждого покойника из Ратчи на лодке приезжать да, задрав рясу, по кладкам бежать? Так без попа и хороним. А зимой батюшка на санках приезжает и по всем летним покойникам на могилах панихиды служит.

Совершенно измученные после нескольких часов путешествия по скользким кладкам, добрались мы наконец до деревни. Все население высыпало на нас смотреть. Вид у местных жителей был ужасный: бледные, со впалыми щеками, они казались какими-то привидениями.

— Уж не знаю, какую избу вам отвести, — уныло говорил деревенный старшина. — Болесть у нас, вроде как бы мор. Во всех избах больные. Померло народа сколько! прямо сказать — половина. В иной избе все лежат без чувствиев, кормить-поить некому. Картошку надо бы копать, да тоже некому... А дети, видишь, какие хволые ходят после болезни.

— А доктор к вам приезжал?

— Дохтур!.. Разве какой дохтур до нас доберется. Фершала как-то присылали, да какая от него польза. Говорим ему, чтобы лекарства какого дал, а он ругается. Некогда, говорит, с вами, олухами, возиться. Побыл с часок, закусил и ушел.

Мы расположились под навесом и принялись за работу. Скоро подошли крестьяне и из соседних деревень. Оказалось, что и там поголовно все население переболело сыпным тифом. Все покорно болели, поправлялись или умирали, лишенные медицинской помощи... Трудно представить себе, что так жили люди в последние годы девятнадцатого века, и не в центральной Африке, а в 300 верстах от российской столицы Санкт-Петербурга...

Вернулись мы в Ратчу опять по кладкам, по речке, заросшей камышами, и по мертвому озеру.

Предстояло еще составить описание одного имения, тоже расположенного на острове, среди болот. С окружающим миром имение это сообщалось уже описанной мною гатью, проехать по которой было истинным подвигом, а возить грузы летом, весной и осенью было совершенно невозможно. И все же владелец имения фон Глауэр жил в нем круглый год и вел хозяйство.

Когда я сказал волостному писарю, что мне нужно побывать у фон Глауэра, он стал меня отговаривать.

– Не стоит вам туда ехать. Толку все равно не добьетесь, а неприятности могут выйти большие-с.

– Какие же неприятности?

– Трудно предвидеть-с. Совсем шальной человек. Может нипочем изругать, а то и хуже – собак с цепи спустит... С ним всякие истории у нас бывали. Я тут за всех властей в волости, а к нему избегаю заезжать. Если дело есть – больше письменными сношениями стараюсь обходиться. Дочку свою старшую до того тиранил, что она с деревенским парнем сбежала, ей-богу. Теперь в Питере кухаркой служит.

Я все же должен был по обязанностям службы отправиться к этому страшному человеку, да, признаться, было и интересно его повидать.

По документам, имевшимся в моем распоряжении, он был владельцем 24 000 десятин земли, из коих лишь 6 000 приобрел по купчей крепости, а остальные закрепил за собой по давности владения. Это тоже было странно и загадочно.

Усадьба фон Глауэра находилась рядом с деревней, в которой я ночевал, и я решил отправиться к нему пешком. Хозяин мой, однако, не пустил меня одного и взялся проводить окольными путями, через сад, так как идти к подъезду через двор было опасно: собаки могли загрызть.

Благополучно избежав собачьей опасности, я подошел к дому. На мой стук мне не сразу отворили. За дверьми слышна была беготня босых ног, а из окон выглядывали украдкой молодые женщины. Слышно было, как они фыркали от сдерживаемого смеха. Я насчитал в окнах три женских фигуры, с виду похожих на прислугу.

Но дверь мне отворила не горничная, а сам хозяин. Высокий человек лет пятидесяти с лишним, в старом люстриновом пиджаке, надетом поверх грязноватой ночной рубашки.

– Чем могу служить? – спросил он меня, отчеканивая слова с явно польским акцентом.

Я объяснил ему цель оценочно-статистического обследования.

– Заходите, – сказал он сухо и, когда мы вошли в комнату, указал на стул.

– Только, знаете, что я вам скажу: все ваши обследования яйца выеденного не стоят. Один извод денег. А вы за это праздное занятие деньги получаете.

Предупрежденный волостным писарем, я сразу сообразил, что он вызывает меня на резкий ответ, чтобы устроить скандал, и решил не принимать боя. Молча развязал папки с бланками и стал с любопытством разглядывать своего собеседника. Я редко встречал более отталкивающую физиономию. В ней все было противно: и желтые, точно мертвые, волосы, обрамлявшие каймой бледный голый череп, и зеленые злые глаза, нагло смотревшие из-за больших круглых очков, и, в особенности, хищная улыбка влажного рта, открывавшая одиноко торчавший из-под желтых усов большой нечищенный зуб.

– Сколько бумаги изводите, – продолжал он язвительно, – а зачем? Вот я, например, если не захочу вам давать показаний, так и не дам, а захочу соврать – совру, и вы будете записывать эту чепуху и какие-то средние выводить.

Он явно издевался надо мной. Я ответил спокойно, что если он откажется давать показания или будет давать заведомо неверные сведения, то имение его будет обложено по высшим нормам, и затем приступил к опросу.

На все вопросы, которые я ему задавал, он нес всякий несуразный вздор, нагло улыбаясь противной улыбкой.

– Сколько пудов сена с десятины снимаете?

– Пять.

– Таких укосов не бывает.

– А у меня бывает.

И все в таком роде...

Я чувствовал, что начинаю терять хладнокровие.

– Я вижу, что совершенно напрасно с вами время теряю, – сказал я сухо.

– Я тоже это вижу, – невозмутимо ответил он.

Мне ничего не оставалось, как сложить свои бумаги и уйти.

– Куда же вы так скоро собрались? – иронически сказал фон Глауэр. – Останьтесь, поужинайте со мной.

Я хотел отказаться от этого предложения, но любопытство взяло верх. Такие люди ведь не часто встречаются... И, к удивлению хозяина, который никак не ожидал, что после всех его издевательств надо мной я соглашусь остаться его гостем, я все же остался. Перешли в кабинет и стали разговаривать.

В это время в комнату вошла босоногая девушка лет семнадцати, одетая по-деревенски.

– Там мужики пришоцци, чего-то насчет покосу...

– Позвольте мне представить мою дочь, – сказал Глауэр, видимо радуясь изумлению, выразившемуся на моем лице.

Девица подала мне руку "дощечкой" и ушла с отцом. Вернувшись, он продолжал:

– Я, знаете, дочерям своим никакого образования не дал. Считаю это лишним, хотя сам когда-то окончил Гейдельбергский

университет. Женщине зачем образование? Чтобы замуж выйти? Я полагаю, что для этого вернее хорошее приданое. Три дочери у меня, и все хозяйством занимаются. Прислугу не держу. Зато я не промотал имения, а приумножил его. Теперь вот стареть начинаю, да и дочерям замуж пора. Продам имение за хорошую цену — и переедем жить в Лугу. Там всегда какой-нибудь полк стоит. Выберу подходящих офицеров, хозяйственных, не кутящих, и выдам дочек замуж. С хорошим приданым всякий их возьмет. А с образованием без приданого — в девках бы сидели...

Из дальнейшей беседы выяснилось, что фон Глауэр уроженец Польши. Получив в Гейдельберге диплом доктора прав, он некоторое время продолжал жить за границей и, по его выражению, "оказывал услуги русскому правительству". В чем состояли эти "услуги" — для меня стало ясно, когда он упомянул о долголетнем своем знакомстве с шефом жандармов Дрентельном. Скопив такими праведными трудами капитал, он вернулся в Россию, купил имение посреди псковских болот и поселился в нем со своей женой. Жена скоро умерла (крестьяне уверяли, что он ее "угробил"), оставив ему четырех дочерей, которых он столь своеобразно воспитывал. Более двадцати лет прожил фон Глауэр безвыездно на острове среди болот, ненавидимый всеми окрестными жителями, которых он тоже в ответ ненавидел и презирал.

Будучи несомненно умным человеком, он, в своем циническом презрении к людям, заставлял себя бояться, издеваясь над ними в глаза и за глаза. С каким-то садическим наслаждением он рассказывал мне множество отвратительных историй из местной хроники, злобно ругая всех, — администрацию, земство, помещиков и крестьян.

— Кушать подано, — объявила еще одна босоногая девица, которую Глауэр снова представил мне как свою дочь.

Мы перешли в столовую и сели за стол, на котором было поставлено два прибора. А босоногая дочка подавала кушанья.

Во время ужина я спросил фон Глауэра, каким образом он закрепил за собой по давности 18 000 десятин земли.

— А очень просто, — охотно ответил он. — Вы знаете, что в наших болотах помещики побросали свои обрезы, оставшиеся им после наделения крестьян. Вот я и думаю себе: почему ими пользуются крестьяне, а не я? Им какая польза! — Где дерево срубят, где косой поболтают. А я себе из этих обрезов целое состояние составить могу. Поехал во Псков, получил планы в нашей губернской чертежной, а затем стал уездной управе налоги платить. Налоги самые пустячные. Ведь все это топь непролазная и в неудобных землях числится. Облюбую себе несколько обрезов, съезжу в управу, заплачу налоги за десять лет назад и получу соответствующие расписки. А в управе не спрашивают — чья земля. Плачу — значит моя. Потом подаю в суд о закреплении за

мной земли по давности владения... А дальше нужно только, чтобы двенадцать свидетелей подтвердили, что земля моя. Ну, это совсем уж просто: у нас свидетель с присягой двугривенный стоит, а без присяги – пятиалтынный...

Раз приехал ко мне на эту процедуру уездный член суда Хохлов. Я сразу увидел, что он меня поймать хочет: едва поклонился и сквозь зубы разговаривает... Собрал он окрестных крестьян, написал на бумажках их имена и какого-то невинного младенца поставил, чтобы двенадцать бумажек из шапки вытянул. Ну, думает, сейчас я этого Глауэра поймаю. А мне только смешно... Само собой разумеется, что все двенадцать крестьян показали, что земля была моей испокон веков. Пришлось Хохлову акт подписывать. Когда все формальности были закончены, я ему и говорю: "Вот вы, господин Хохлов, хотели меня в мошенничестве уличить, а я вас могу уверить, что если бы я захотел, то эти же двенадцать свидетелей показали бы, что вы не член суда Хохлов, а беглый каторжник"...

Фон Глауэр залился веселым смехом, нагло глядя на меня через очки и показывая зеленый нечищенный зуб.

– А теперь у меня, – продолжал он, – имение в 24 000 десятин, которое я намерен продать за хорошую цену. Раз уж продавал заочно по плану. На нем, конечно, показаны болота, но, по моему распоряжению, чертежник многие из них осушил, хе-хе-хе... По этому плану я задаток получил. Но когда покупатель приехал да увидел, как мы тут в болотах живем, то решительно отказался купчую совершить. Задаток же, конечно, у меня остался, хе-хе-хе. Теперь еще какой-то дурак приторговывается. Если даст хорошую цену – охотно продам, а если опять задаток даст и откажется, мне же лучше, хе-хе...

Глауэр с особым удовольствием рассказывал мне о своих мошенничествах, и слушать его было противно. Я даже стал раскаиваться, что остался. Встал и стал прощаться. Любезно проводив меня через двор, по которому бегали злющие собаки, он сказал мне на прощание:

– Я знаю, вам обо мне всяких ужасов наговорили. Теперь можете всем рассказывать, что фон Глауэр совсем не такой страшный человек, каким его изображают. Покойной ночи.

Он подозвал своих собак и исчез с ними в сумерках вечера.

– Ну что, повидали нашего барина? – спросил меня мой хозяин, когда я вернулся к нему в избу. – Что-то долго засиделись. Мы уж и то опасались, как бы с вами там чего не приключилось. Он ведь как когда. Иные, кто у него побывал, за версту усадьбу его обходят...

Глава 12

МОЯ ЖИЗНЬ В ОРЛЕ В 1900–1903 ГОДАХ

Орловское губернское земство и его политическая окраска. Умеренно-прогрессивное большинство, правые и левые крылья. Председатель собрания М. А. Стахович. Гласные: А. А. Нарышкин, Ф. В. Татаринов и его "тургеневская" семья. Орловская интеллигенция. Председатель управы С. А. Хвостов. Председатель управы С. Н. Маслов. Статистическая работа. Обследование Кромского и Дмитровского уездов. Старик Шеншин, кромской предводитель дворянства. Великокняжеские имения Дмитровского уезда. Город Дмитровск. Оригинальный исправник Иваненко. Поднадзорный князь. Предреволюционные настроения. Комитеты о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Мое кратковременное пребывание в рядах с.-д. партии. Е. Н. Колышкевич. Возникновение Союза Освобождения. Я покидаю с.-д. партию и становлюсь членом Союза Освобождения. Конец моей земской работы в Орловской губернии.

В Орле, заняв ответственный пост заведующего статистическим бюро, я гораздо больше, чем во Пскове, вошел в земскую жизнь и земские интересы. Орловское губернское земство было совершенно не похоже на псковское. В Пскове земское собрание протекало скучно, без борьбы, без ярких прений. Совсем другая атмосфера была на орловском земском собрании. Собиралось оно в огромном двусветном зале Дворянского Собрания, хоры которого всегда были заполнены многочисленной публикой. Ибо каждая земская сессия была большим событием в жизни орловского общества. На председательском месте восседал блестящий М. А. Стахович, являвшийся на открытие сессии в золотом камергерском мундире. Под его руководством прения протекали стройно, как в маленьком парламенте, и каждому голосованию он предпосылал сжатую и ясную формулировку возникших разногласий.

По своему составу орловское губернское земское собрание было одним из наиболее блестящих. Большинство в нем состояло, я бы сказал, из просвещенных консерваторов, но считалось оно либеральным, ибо в те времена (до революции 1905 года) всякий земец, стоявший за просвещение народа, за развитие земской медицины, агрономии и т. д., почитался за либерала.

Для периода, предшествовавшего революции, было вообще довольно характерным явлением, что земства, в которых главную роль играли крупные землевладельцы и сановники, позволяли себе более резкие выступления против правительства и его местных представителей, чем земства мелкопоместные, разночинные и крестьянские.

Орловское земство принадлежало к первой группе. Среди гласных его было много крупных землевладельцев, придворных и высокопоставленных чиновников, а тон задавал губернский предводитель, камергер М.А.Стахович. Сам Стахович считал себя славянофилом и сторонником самодержавия, но твердо охранял дарованные земству права от посягательств на них со стороны администрации. Он находил в своей оппозиции поддержку со стороны большинства близких к нему по политическим настроениям гласных, которых я уже охарактеризовал как просвещенных консерваторов. Либерализм их заключался лишь в том, что они хотели быть хозяевами того дела, которым они ведали согласно существовавшим законам.

Как раз на первом земском собрании, на котором мне пришлось присутствовать, группой гласных поставлен был вопрос о возбуждении перед правительством ходатайства об отмене системы классического образования в средних учебных заведениях. В сущности, этот вопрос выходил за пределы компетенции земства и в большинстве земств был бы снят с обсуждения, но орловское земство и его председатель всегда склонны были толковать свои права распространительно. Прения с чисто парламентскими речами развернулись во всю ширь и продолжались два дня. Хоры ломились от публики, шумно аплодировавшей ораторам, говорившим против всем ненавистного классического образования, считавшегося в то время одной из основ реакционного государственного строя. И вдруг, ко всеобщему изумлению, А.А.Нарышкин, считавшийся "либералом", выступил с обстоятельной двухчасовой речью в защиту классицизма. И сразу все почувствовали, что он один говорит с глубоким знанием дела, сняв с него нелепо приставшие к нему политические ярлыки, тогда как другие, более блестящие ораторы, ограничивались общими местами.

Честный, убежденный консерватор, А.А.Нарышкин, как в качестве товарища министра, так и в качестве земского гласного, имел репутацию либерала лишь на фоне официального мракобесия 80-х и 90-х годов. После революции 1905 года, когда в России возникли парламентские учреждения и более четко обозначившиеся политические партии, он, нисколько не меняя своих основных убеждений, сделался одним из лидеров крайней правой Государственного Совета.

Лидером крайней правой оппозиции орловского собрания был брянский гласный В.Э.Ромер. Он систематически выступал против

всяких ходатайств, имевших хоть отдаленный политический привкус, а также против всяких новых ассигнований на культурные нужды. Остальные реакционные гласные не умели связно говорить и участвовали лишь в голосованиях. Исключение составлял орловский уездный предводитель дворянства Володимеров. В этом человеке все было карикатурно. Длинный, нескладный, с довольно красивым лицом, казавшимся уродливым благодаря лошадиной форме головы и маленькому, сильно покатому лбу, он говорил совершенно бессвязно, но считал своим долгом выступать с речами по всякому поводу. Любил употреблять кстати и не кстати мудреные и витиеватые слова, вроде "конъюнктура", "абстрагируя" и т.д. Каждая его речь вызывала веселье среди гласных и публики. Часто случалось, что он начинал говорить по вопросу уже законченному. Тогда Стахович останавливал его:

– Гласный Володимеров, вопрос этот проголосован и не подлежит обсуждению.

– Ах, виноват, – говорил тогда Володимеров, стараясь придать язвительную значительность своим словам, и затем, расправив свои длинные усы и приподняв фалдочки сюртука, садился на место под дружный смех всего собрания.

Каково же было мое изумление, когда я узнал, что этот человек сделал блестящую политическую карьеру. Он был избран депутатом в 3-ю Государственную Думу и стал редактором содержавшейся на казенные деньги черносотенной газеты "Земщина". Помню, как во время одного из очередных скандалов, устраивавшихся в Думе крайними правыми, я видел нескладную длинную фигуру Володимерова в одном из первых рядов кресел. Он что-то кричал, показывал язык и делал "нос" левому оратору...

В Орле я близко сошелся с семьей председателя уездной земской управы Ф.В. Татаринова. Семья эта по всему складу своей жизни была пережитком тургеневских времен и в период, когда уже слышались подземные шумы надвигавшейся революции 1905 года, представляла собой милый анахронизм. Ф.В. Татаринов был на 10 лет старше меня. Одаренный блестящими способностями, он в свое время получил широкое гуманитарное образование. Хорошо знал историю, философию и в особенности русскую литературу, цитируя наизусть не только поэтов, но и большие отрывки из Толстого и Тургенева. Вероятно, он мог бы в свое время пойти по научной дороге, но его потянуло к общественной жизни.

Он перебрался в свое имение близ Орла, а затем, избранный уездным и губернским гласным и, последовательно, мировым судьей и председателем уездной земской управы, стал жить в самом Орле. Русская провинциальная жизнь, как помещичья, так и городская, протекала в те времена тихо и медлительно. В имениях хозяйничали приказчики, а помещики поздно вставали, объезжали поля на беговых дрожках и выслушивали их доклады. В городах

присутственные места закрывались в 3 часа дня, а летом нередко и в 2 часа. Досуга было много, и люди, по натуре ленивые, окончательно обленивались. Обленился и мой приятель Ф.В. Татаринов. Ходил в управу, проводя там большую часть времени в коллегиальных заседаниях и разговорах деловых и праздных, а дома принимал гостей, а если гостей не было, раскладывал пасьянсы. Книг не читал, за текущей жизнью следил по газетам, и если не опускался умственно, то лишь благодаря приобретенному в юности большому образовательному капиталу, процентов с которого хватало для продолжения умственной жизни. Семья Ф.В. Татаринова состояла из на редкость красивой жены и четырех детей-подростков. Их большое черноземное имение, при плохом управлении, давало доходов немного, было заложено и перезаложено, а жалование председателя управы было небольшое. Поэтому Татариновы вечно нуждались в деньгах. Их орловская квартира была всегда грязна и нуждалась в ремонте, мебель потерта, из кресел и диванов торчал волос. Но художественная прелесть таких старых дворянских гнезд состояла как раз в свободе от норм мещанского бюджета. На рваных креслах всегда сидели гости, которые чувствовали себя уютно, как дома. Некоторые оставались обедать и ужинать. Ели скромно, но всем хватало. А летом, когда семья Татариновых переезжала в свое Хатетово, на праздники и воскресенья к ним съезжались орловские знакомые. Ночевали кто на кроватях, кто на полу, гуляли, пели песни, запоем играли в крокет.

Дом Татариновых в Орле был единственным центром, в котором встречались люди из двух замкнутых кругов – местной "аристократии" и местной "интеллигенции". Бывали у них и земцы из разных политических лагерей, бывали представители третьего элемента – агрономы, статистики, по преимуществу социалисты, студенты, поклонники живой, остроумной и кокетливой хозяйки, гимназические подруги дочерей. Всегда было шумно и весело. Игры молодежи чередовались с музыкой, музыка со спорами на философские, литературные и, в особенности, – на политические темы. Споры чисто русские, безбрежные, тянувшиеся далеко за полночь. "Своими" в доме Татариновых все же были мы, представители "интеллигенции", в большинстве социалисты. Среди нас Татаринов был единственным чистым либералом, и в спорах на политические темы ему чаще приходилось защищаться, чем нападать.

Дружбу с семьей Татариновых я сохранил на всю дальнейшую жизнь. Проезжая мимо Орла, всегда заезжал к ним повидаться и поспорить, а в 1906 году сидел с Ф. В. рядом в 1-ой Государственной Думе. Потом судьба свела нас в Крыму, во время гражданской войны, и наконец, здесь, в эмиграции.

Проведя несколько лет в Болгарии, Ф. В. перевез свою заболевшую раком жену во Францию и поселился под Парижем, в

Кламаре, где я часто их навещал. Она в старости, в тяжкой болезни и безысходной материальной нужде, еще сохраняла свою прежнюю милую безалаберность, беззаботную веселость и остроумие. За несколько дней до смерти, в перерыве между мучительными болями, она шутила и смеялась. Ф. В., вышибленный революцией из привычной ему обстановки, как-то растерялся, очень поправел в своих политических взглядах и потерял всякий вкус к общественной деятельности. Ни с кем из прежних своих знакомых (а в Париже их было много) не видался и угрюмо и одиноко доживал свой век. Раскладывал любимые свои пасьянсы, как 35 лет тому назад, но уже сплошь, с утра до вечера. При моих посещениях он по-прежнему пытался спорить со мной на разные темы, но его софизмы уже заржавели от времени, а ум потерял прежнюю изворотливость. Похоронив свою жену на кламарском кладбище, он через три года лег там рядом с нею.

В Орле, как в Смоленске и во Пскове, я сразу сделался "своим" человеком среди местной интеллигенции и принял участие в целом ряде обществ и учреждений культурно-просветительного характера. Как и в других городах, эти учреждения и общества никакой революционной деятельностью не занимались, но, группируя вокруг себя лиц политически неблагонадежных, находились под подозрением у местных властей, которые всячески стесняли их общественную просветительную работу. На этой почве возникала борьба, по существу, бессмысленная и ненужная ни той, ни другой из боровшихся сторон, но вовлекавшая в политику целый ряд совершенно лояльных и мирных культурных работников.

Заведующим статистическим бюро местный губернатор Трубников не решился меня утвердить ввиду полученного им плохого отзыва департамента полиции, но, после долгих переговоров с председателем управы, согласился на формальный компромисс: председатель управы фиктивно взял на себя заведование бюро, а я был утвержден его помощником. Дело от этого ничуть не менялось. Председатель управы С.А. Хвостов, по соглашению со мной, не вмешивался во внутренние дела бюро, в котором действовала вышеописанная мною "конституция", а в земском собрании не председатель управы, а я был докладчиком по своему отделу. "Власть" заведующего я получил со всеми ее терниями, — постоянно лавируя между своей статистической вольницей и управой, хлопоча у губернатора об утверждении неблагонадежных статистиков и отбиваясь внутри бюро от нападок наиболее строптивых сотрудников.

Гораздо труднее мне было ладить со сменившим С.А. Хвостова на посту председателя управы С.Н. Масловым. Это был человек весьма почтенный, широко образованный, строгих нравственных правил и твердых политических умеренно-либеральных убеждений. Был он также добросовестным работником, но его мелочное

вмешательство в работу земских специалистов раздражало этих последних и постепенно вело к порче личных отношений и всевозможным неприятностям. Нас, заведующих отделами земского хозяйства, он прямо замучивал, требуя, чтобы мы представляли ему подробнейшие доклады о ходе дела, и доводил нас на этих докладах, происходивших по несколько часов подряд, до нервного состояния. Привыкнув во времена легкомысленного и мало вникавшего в дела Хвостова к самостоятельной работе, заведующие роптали и постепенно начали покидать свои насиженные места в орловском земстве. Мое положение было особенно трудное между придирчивым и въедливым председателем управы и моей статистической вольницей.

В конце концов я не выдержал и, проработав в орловском земстве три года, подал в отставку. Все же работа за эти три года шла успешно. За это время под моей редакцией было издано несколько сборников по текущей и по школьной статистике, с монографиями по некоторым специальным вопросам, и два двухтомных выпуска оценочно-экономического обследования Кромского и Дмитровского уездов.

Два лета я провел в разъездах с партией статистиков по Кромскому и Дмитровскому уездам. Здесь, как и во Псковской губернии, крестьяне связывали наши работы с надеждами на предстоявший передел помещичьих земель, а потому принимали нас весьма радушно. И так же, как и там, меня поразила разница культурности двух смежных местностей, разделенных лишь случайно проведенной административной границей.

В Кромском уезде было много школ, помещавшихся в хороших собственных зданиях, и мало помещиков, большинство которых продали свои земли крестьянам. К счастью для уезда, сохранил свое имение древний старик с огромной седой бородой, уездный предводитель дворянства Шеншин (родственник Фета). Всю свою жизнь он посвятил школьному делу и под старость лет видел плоды своих трудов: по проценту грамотных крестьян Кромской уезд занимал первое место в Орловской губернии. Наоборот, в соседнем Дмитровском уезде было довольно много помещиков, но т.к. среди них не было Шеншина, то было мало школ и крестьяне были дики и неграмотны. В Дмитровском уезде находились два огромных имения — Лобаново, принадлежавшее великому князю Сергею Александровичу, и Брасово, приобретенное Александром III и перешедшее по наследству к его младшему сыну Михаилу. В Брасове велось рациональное хозяйство с большими свеклосахарным и винокуренным заводами и с образцовым рыбоводством в больших прудах. В Лобанове значительная часть доходов от эксплуатации чудеснейшего леса, тянувшегося на протяжении нескольких верст, шла на содержание оранжереи, поставлявшей персики, абрикосы и другие фрукты к обеденному столу тогдашнего московского

генерал-губернатора. Особенно дорого стоило возделывание земляники, созревавшей в зимние месяцы. В Брасове с крестьянами обращались сурово, но все же на средства великого князя содержались больницы и школы, в Лобанове же для нужд крестьян не делалось ничего. Лобановские управляющие беспощадно притесняли местных крестьян, и Лобановский район считался одним из самых бедных в уезде.

Культурно отсталое крестьянство Дмитровского уезда представляло зато большой интерес для этнографов. Нигде я не встречал такого разнообразия русских национальных костюмов: в одних деревнях бабы носили кички с селезневыми перьями, в других – платки с высоко торчавшими в виде рогов концами, в некоторых деревнях девушкам полагалось ходить простоволосыми, с лентами вокруг головы, пропущенными сзади под косами, и в одних холщевых рубахах, подпоясанных под грудями. Лишь выйдя замуж они накрывали головы кичками, а рубахи сарафанами.

Город Дмитровск своею захолустностью напоминал мне самые глухие городки Псковской губернии. Выстроен он был в песчаной местности, а потому на его немощеных улицах колеса экипажей глубоко уходили в рыхлый песок и ехать приходилось шагом. В этом городе я провел несколько дней, и на всю жизнь у меня сохранилось ощущение какой-то безысходной тоски от его широких, занесенных песком улиц, совершенно безлюдных и бесшумных, по которым с утра до вечера блуждал юродивый в длинной рубахе и громко выкрикивал бессмысленные слова в назойливом полурифмованном такте.

Единственной достопримечательностью Дмитровска был его исправник Иваненко. Это был довольно грузный старик, добродушный и хлебосольный, но вместе с тем культурный и интересный собеседник. Был большим книголюбом и собрал хорошую библиотеку, в которой между прочим имелось полное собрание сочинений Герцена, запрещенного тогда в России. Иваненко очень любил Герцена и с увлечением о нем говорил. Такого исправника я встретил в первый раз в моей жизни и поинтересовался узнать у него – "как дошел он до жизни такой". Он охотно рассказал мне о себе. Он был помещиком Курской губернии и завел в имении "образцовое" хозяйство, которое оказалось, однако, убыточным. А когда сверх того пустился в аферы и сделался участником каких-то промышленных предприятий, то разорился вконец. Имение было продано за долги, и он с семьей оказался без средств.

– Что было делать, – говорил он мне, весело блестя хитрыми старческими глазами, – куда деться человеку, не имеющему специальности? Выручил приятель, член правления Киево-Воронежской дороги, предложив мне место пробователя буфетов.

– Что же это за должность? – спросил я удивленно.

— А должность чудеснейшая: жалование 2000 рублей в год. Бесплатный билет I класса. А работа приятная: ездить кое-когда по линии, останавливаться на больших станциях и есть. Проверять, значит, чем кормят пассажиров. Ну, меня, конечно, кормили превосходно. Так вот прослужил я в этой должности некоторое время, но вижу, что место хоть приятное, однако непрочное. А ну как признают, что и без пробователя обойтись можно. Стал искать другой должности. Кстати в это время в Орле губернатор знакомый был. Я к нему. Знаете, какое у нас отношение к полицейской службе. А вместе с тем, думаю, — куда же мне с детьми деваться! Вот и согласился. Это лет двадцать тому назад было. Так с тех пор и засел исправником. И нахожу — отличная служба, если с толком к ней относиться. Я же считаю: чем меньше начальство вмешивается в жизнь населения — тем лучше. Поэтому я никуда почти из Дмитровска не выезжаю, все больше дома сижу и книжки почитываю. И населению от этого спокойнее живется, и мне польза: прогонные получаю и не трачу...

Рассказав мне свою биографию, Иваненко залился добродушным веселым смехом. Само собой разумеется, что этот добродушный человек был все-таки исправником и, получив от губернатора предписание следить за неблагонадежным князем Оболенским, сейчас же разослал соответствующую секретную бумагу волостным старшинам. В результате произошло следующее: однажды я ехал на своей ямщицкой паре в помещичью усадьбу, где должно было у меня происходить деловое совещание с работавшими в уезде статистиками. Примерно за версту до этой усадьбы я увидел на дороге двух конных урядников. Как только я до них доехал, они выехали вперед и галопом помчались передо мной, махая нагайками и сгоняя встречные подводы с дороги. А когда я въехал в усадьбу, то был встречен вытянувшимися в струнку местным старшиной и старостами, одетыми по-праздничному. Я совершенно не понимал — в чем дело. Когда я вошел в дом, старшина робко обратился к одному из статистиков:

— Позвольте узнать, ваше высокородие, это князь и есть?

— Да.

— А почему же они не в мундире и губернатор их не сопровождает?..

Оказалось, что старшина, получив от исправника бумагу, в которой предписывалось наблюдать за князем Оболенским и донести ему о всех разговорах князя, понял ее по-своему. Он решил, что ездит по уезду великий князь Сергей Александрович, владелец имения Лобаново, ездит, конечно, от царя "насчет земли" и что начальство интересуется, доволен ли князь местными порядками.

Я отступил от своего повествования, чтобы дать маленькую иллюстрацию патриархальных нравов, недалеко ушедших от

гоголевских времен, существовавших, однако, в начале XX века в одной из центральных губерний России. Для всей России они уже не были характерными, но таких углов все же было много, как в центре, так, в особенности, на окраинах огромного Государства Российского.

Между тем в это же самое время в столицах и в крупных промышленных центрах усиливалась волна общественного движения и чувствовалось приближение революционных бурь. Студенческие волнения принимали затяжной характер, рабочие волновались и устраивали забастовки, кое-где вспыхивали жестоко подавлявшиеся крестьянские бунты. Правительство в целом продолжало вести свою прежнюю реакционную линию, подавляя репрессиями не только революционные выступления, но даже самые скромные формы общественного протеста. Земские учреждения окончательно стали считаться неблагонадежными, и министерство внутренних дел через губернаторов тормозило земскую работу мелкими придирками – опротестовыванием постановления земских собраний, неутверждением земских выборов и т. д. Раздражение против правительства росло и проникало даже в умеренные и правые круги русского общества.

Бессменным членом орловской земской управы состоял несколько трехлетий Н. П. Римский-Корсаков. Это был милый, добродушный старик из бывших гвардейских офицеров. Конечно, убеждений был правых, но многолетнее пребывание в земстве приучило его к известной независимости по отношению к властям предержащим. Он позволял себе с нами посмеиваться над губернатором или поваркивать на стеснявшие земскую работу меры правительства, но ни о каком изменении государственного строя слышать не хотел, а если об этом заходила речь, сердился и поднимал крик на всю управу.

И вот, когда пришла в Орел весть об убийстве Сипягина, этот верноподданный старик вбежал запыхавшись в мой кабинет, помахивая экстренно выпущенной телеграммой.

– Угадайте, что случилось, – весело крикнул он мне.

– А что?

– Сипягин убит.

Очевидно, он был уверен, что это известие доставит мне, "красному", огромное удовольствие, поэтому и вбежал ко мне запыхавшись на верхний этаж. И очень был разочарован, когда я, относившийся отрицательно к политическому террору, никакой радости не обнаружил.

Среди тогдашних министров был, однако, один, министр финансов Витте, который понимал, что государственный строй не может держаться на одних полицейских мерах репрессий, что нужны для его поддержания крупные реформы и что эти реформы нужно предпринять при поддержке общественных сил. С этой целью

во всех губерниях и уездах земской России были учреждены "Комитеты о нуждах с.-х. промышленности" с участием земских гласных и других сведущих лиц по приглашению губернаторов и предводителей дворянства. Эти комитеты должны были высказать свое суждение о местных нуждах с тем, чтобы впоследствии правительство могло ими воспользоваться для своего законодательства. В одном Витте ошибся: если бы такие комитеты были созваны раньше, они имели бы то значение, на которое он рассчитывал. Но в 1902 году всеобщее недовольство правительством зашло уже так далеко, что комитеты сделались центром, объединившим во всей провинциальной России оппозиционные силы. Главную роль играли в них левые земцы и третий элемент. Они писали доклады и выступали на собраниях комитетов, а более умеренное и правое большинство этих комитетов, втянутое против своей воли в оппозицию раздражающей их реакционной политикой правительства, их поддерживало. Таким образом, "Комитеты о нуждах с.-х. промышленности", труды которых составили много печатных томов, хотя никакого практического значения не имели (вскоре вспыхнула Японская война и о реформах перестали думать), но явились как бы преддверием революции 1905 года, начав громко обсуждать государственные вопросы, о которых раньше могли иметь суждение лишь сановники Государственного Совета. Правда, некоторые из участников комитетов, например, воронежский врач Мартынов и др., поплатились за свои суждения ссылкой, но этим еще больше подчеркнуто было политическое значение этих учреждений. О конституции в комитетах не говорили, но был выдвинут целый ряд вскоре популяризированных революцией 1905 года требований. Значительная часть комитетов настаивала на уравнении крестьян в правах с другими сословиями, на расширении компетенции земских учреждений и на восстановлении их всесословности, на введении мелкой земской единицы или всесословной волости, на отмене выкупных платежей и винной монополии. Высказывались разные пожелания и в области сельскохозяйственной, пожелания, в которых сказывался землевладельческий характер комитетов, состоявших преимущественно из помещиков, не склонных забывать и своих интересов. Часть указанных здесь вопросов обсуждалась и в уездных комитетах Орловской губернии.

Я принимал участие в заседаниях орловского уездного комитета и состоял его секретарем. Состав комитета был тусклый и серый, и председателю управы, Ф.В. Татаринову, не трудно было проводить в нем те постановления, которые мы с ним заранее составляли, постановления не очень радикальные, которые не могли бы объединить большинство, но все же с довольно яркой либеральной политической тенденцией.

Все постановления уездных комитетов поступали в губернский комитет под председательством губернатора, а его делопроизводство

было сосредоточено в губернской земской управе. Председатель управы, С.Н.Маслов, поручил мне составить доклад, в котором нужно было охарактеризовать экономическое положение Орловской губернии и в особенности местного крестьянства, дабы подвести фундамент под постановления уездных комитетов, пополнив их кое-какими дополнительными проектами резолюций. Работа была чрезвычайно интересная. В течение двух месяцев я забросил все свои текущие дела и занимался исключительно составлением доклада, который мы затем во всех деталях обсуждали с Масловым. В результате получилась довольно обширная записка, напечатанная особой брошюрой, а затем перепечатанная в общих трудах комитетов.

Работа в "Комитетах о нуждах с.-х. промышленности" приобщила меня к начинавшемуся в России перед революцией открытому общественному движению. Но по моим взглядам и политическому настроению меня этого рода деятельность мало удовлетворяла. В те времена я был глубоко убежден, что борьбу с самодержавием бесполезно вести исключительно легальными путями, а что нужно содействовать революции, подготовлять ее. Между тем, я не принадлежал ни к одной из двух существовавших тогда революционных партий. Партия социалистов-революционеров, во-первых, мне была чужда идеологически, а во-вторых, неприемлема для меня была и тактика ее, ибо к политическому террору я относился отрицательно. Социал-демократы мне были идеологически ближе, но я не мог проникнуться их классовой психологией. Между тем, революционное движение в России разрасталось, и я понимал, что вложиться в него я смогу, лишь примкнув к одной из этих двух революционных партий. Я выбрал социал-демократов и стал членом тайного орловского комитета партии. (В этот комитет вошли мой помощник по статистическому бюро, – в 1917 году был революционным прокурором петербургской Судебной Палаты, – Н.С.Каринский, присяжный поверенный А.Н.Рейнгарт и статистик Е.Н.Колышкевич. В сущности, настоящим марксистом и социал-демократом был лишь последний из них, а первые два вошли в партию приблизительно по тем же мотивам, как и я. Колышкевичу же принадлежала в комитете наиболее активная роль). Орел был городом мало промышленным, а потому вести в нем массовую с.-д. пропаганду не было смысла. Поэтому через наш комитет велась пропаганда главным образом на Брянских заводах, куда от нас ездили студенты, переодетые рабочими (среди них упомяну П.С.Бобровского, впоследствии министра крымского Временного правительства, с которым я до сей поры поддерживаю дружеские отношения). Комитет наш просуществовал около года, и скоро все мы потянули в разные стороны. Из нашей деятельности мне вспоминается теперь лишь несколько эпизодов.

Орел, в котором не велось пропаганды, был именно поэтому удобным местом для организации таких партийных учреждений, как

склад литературы и типография. Этими делами мы и занялись. Большой запас литературы был прислан из-за границы на мое имя в мягком кресле, в подушках которого, под тонким слоем волоса, было напихано очень много брошюр и листовок. Тяжесть этого кресла была необыкновенная, и, получив его, я удивился, как оно могло не показаться подозрительным таможенным властям. Когда мы его выпотрошили, оно потеряло не менее 2/3 своего веса. Склад наш существовал благополучно и распространял литературу между пропагандистами.

С типографией дело вышло менее удачно. Нам прислали никуда негодный испортившийся шрифт. Несколько дней, или, точнее, ночей, мы неопытными руками разбирали спутанные шрифты, а затем попробовали набрать составленную нами прокламацию к рабочим Брянских заводов. Вместо прокламации вышла сплошная мазня. Эксперт, которого мы тайно консультировали, сказал нам, что шрифты никуда не годятся. Получилось чрезвычайно глупое положение: ящик с типографскими принадлежностями стоял на моей квартире. Если бы полиция произвела у меня обыск и его обнаружила, – мне грозили бы многолетняя тюрьма и ссылка. Сейчас мне вообще трудно себе представить, как мы, люди семейные, могли ставить на карту свою свободу и всю судьбу свою и своих семей из-за такого, в сущности, маленького дела, как кустарное печатание прокламаций в провинциальном городе. Впрочем, и тогда я понимал несоответствие между делом, которое делал, и грозившим риском. Однако, состоя членом революционного комитета, я считал для себя морально недопустимым подвергать риску других, сам оставаясь в безопасности. А кроме того, захваченные волной надвигающейся революции, мы тогда вообще легко относились к риску. Все-таки подвергаться большому риску из-за хранения ни на что не годной типографии и в те времена казалось полной бессмыслицей. И пока "машина", как мы ее конспиративно называли, стояла в моей квартире, мы с женой не очень себя уютно чувствовали. Но куда девать негодную "машину"? Ведь за окно ее не выбросишь!.. Наконец нашли на окраине Орла какого-то партийного человека, который согласился закопать ее в своем огороде. Рейнгард заехал за мной на своем сером рысаке, и, погрузив в сани преступный ящик, мы повезли его в условленное место. Я облегченно вздохнул, когда мы его опустили в могилу.

Из кратковременного моего пребывания в партии с.-д. вспоминаю еще состоявшийся на моей квартире съезд каких-то партийных делегатов. Съехалось человек 10, и два дня, с утра до вечера, в моей гостиной происходили нескончаемые прения. Мы, члены местного комитета, не состояли членами съезда, и, хотя я возбудил вопрос, что в целях конспирации мне следовало бы присутствовать на заседаниях в качестве хозяина, принимающего

гостей, однако люди, расположившиеся в моей квартире, мне в этом отказали. Не знаю, что думала наша кухарка о странных людях, вытеснивших хозяев из их гостиной, что думали об этом приходившие ко мне знакомые, от которых не могла ускользнуть необычная обстановка у нас... Как бы то ни было, все прошло благополучно, и хотя к концу второго дня против моей квартиры появились подозрительные фигуры филеров, но мои "гости" свободно уехали из Орла и для меня их пребывание не имело никаких последствий.

Наиболее деятельным членом орловского с.-д. комитета был Е. Н. Колышкевич, человек незаурядный, о котором хочу сказать несколько слов. Очень некрасивый, тощий, с огненно-рыжей бородой и близорукими белесыми глазами, умно и сухо смотревшими через большие круглые очки, он, как по внешнему облику, так и по внутреннему содержанию, казался идейным аскетом. Увлекшись марксизмом, он смотрел на мир через марксистскую призму, и казалось — для него ничего, кроме марксистской философии и марксистской практики не существовало. Не пил, не курил, в веселой компании как-то ежился и других разговоров, кроме серьезных, главным образом на социалистические темы, не признавал. А вместе с тем, у этого сухого и аскетического по виду, некрасивого человека не переводились романы. Вечно при нем состояла какая-нибудь помощница, смотревшая на него влюбленными глазами и всецело подчинявшаяся его воле. Тогда мне казалось, что всякая эстетика чужда этому скучноватому, сухому марксисту, что романтическая атмосфера вокруг него создается помимо его воли, благодаря какому-то непонятному, излучаемому им на женщин магнетизму. Сам покинув партию с.-д., я был уверен, что он-то будет верен ей по гроб жизни.

Не знаю, какое участие принимал Е.Н. Колышкевич в революции 1905 года. Слышал, что из Орла он перебрался в Петербург, и только.

А затем, года через три после революции, он появился в Симферополе, где я тогда жил, в сопровождении необыкновенно красивой женщины. К моему величайшему изумлению, я увидел совершенно другого человека. Вместо привычного мне серого пиджачишки, небрежно надетого на синюю рубаху-косоворотку, он был элегантно одет, носил крахмальные воротнички, а складки на брюках были тщательно проглажены. От марксистских убеждений не осталось ровно ничего. Да и вообще политикой он более не интересовался. В Петербурге он вращался в кругах чистых эстетов, всплывших на поверхность русской жизни после революционных неудач 1905—1906 гг. Цитировал наизусть современных молодых поэтов и сам писал стихи. В личных отношениях стал мягче и терпимее, но мне были совершенно чужды его новые

увлечения, а потому наше вторичное знакомство было довольно поверхностным. Потом я мельком встречал его в Петербурге. Чем он жил – не знаю. Знаю, что он (ему уже было 30 лет) снова поступил студентом в Технологический институт, из которого когда-то был исключен, и что называл себя "мистическим анархистом" – термином, мне не очень понятным. Потом слышал, что он женился на саратовской помещице и уехал в ее имение.

Лет шесть я ничего не знал об Е.Н.Колышкевиче. Вдруг в разгар революции 1917 года, незадолго до октябрьского переворота, он пришел ко мне с просьбой внести его в списки кадетской партии и связать с ее петербургским комитетом, ибо он поступил рабочим на завод с тем, чтобы вести на нем антисоциалистическую пропаганду и агитацию. Просьбу я его исполнил, но, к сожалению, не имел времени подробно расспросить этого странного человека о пережитой им идеологической и психологической эволюции. Это было последнее мое с ним свидание. Никогда больше о нем ничего не слышал.

Из Пскова я часто ездил в свой родной Петербург и поддерживал старые знакомства. Из Орла было труднее предпринимать такие поездки, но все же раза два в году, минуя мало мне знакомую Москву, я появлялся в Петербурге. Наиболее памятна мне поездка в Петербург летом 1902 года, на съезд земских статистиков, организованный Вольным экономическим обществом. Съезд был многочисленный и оживленный, со множеством докладов на общеэкономические и специально-технические темы. Закончился он банкетом в ресторане "Малый Ярославец" под председательством маститого Н.Ф.Анненского. Настроение на банкете было повышенное, а речи если не прямо революционные, то во всяком случае чрезвычайно резкие по отношению к правительству и его внутренней политике. Съездом статистиков воспользовалась инициативная группа возникавшего тогда Союза Освобождения и устроила в частной библиотеке Н.А.Рубакина закрытое собрание, на которое было приглашено человек пятьдесят из съехавшихся со всех концов России земских статистиков. В число приглашенных попал и я. Вступительное слово к нашей беседе произнес незнакомый мне человек лет сорока в золотых очках, с редкой желтоватой бородкой и умными глазами под шишковатым лбом. Это был П.Н.Милюков. Он начал речь осторожно, издалека. Говорил о разобщенности нашей интеллигенции, которая, однако, может представить собой большую силу, имея в виду, что даже люди разномыслящие невольно объединяются в своих ближайших политических целях, т.е. в борьбе за свободу и правопорядок. Не хватает лишь у них организованности, которую и надлежало бы создать.

В этой неопределенной и туманной речи присутствовавшие на собрании правоверные социал-демократы сразу почувствовали

зарождение конкурирующей политической группы, опасной для них ввиду их стремления стать вместе с организуемыми ими рабочими "авангардом русской революции". Поэтому они решительно восстали против мыслей Милюкова о самостоятельной организации интеллигенции. Завязался нескончаемый спор, так ничем и не закончившийся. Однако присутствовавшие на этом собрании инициаторы Союза Освобождения, прислушавшись к происходившему обмену мнений, наметили среди нас людей, сочувствовавших их делу, и несколько человек (в числе их и я) получили приглашение на следующий день явиться на дачу Н. Ф. Анненского в Куоккале (станция Финляндской железной дороги), на конспиративное собрание. В Куоккале собралось человек двадцать. В числе их помню, кроме хозяина, Н. Ф. Анненского, еще следующих лиц: кн. Д. И. Шаховского, А. В. Пешехонова, П. Н. Милюкова, В. Я. Богучарского, Г. А. Фальборка, В. И. Чарнолусского, В. А. Мякотина, Н. А. Белоконского. Остальных забыл.

На этом собрании я узнал, что организация Союза Освобождения, предполагающая объединить в своих рядах либералов и социалистов на программе минимум, т. е. на борьбе за гражданские права и конституционный образ правления, хотя еще окончательно не оформлена, но уже создалась; узнал я также, что собраны значительные средства на издание заграничного органа под редакцией П. Б. Струве, который уже с этой целью отправился за границу. Тут же я дал согласие вступить в члены Союза Освобождения. Мне казалось, что принадлежность к этому Союзу не мешала мне оставаться в рядах социал-демократической партии, ибо ближайшие цели этих двух организаций совпадали, а Союз не требовал от своих членов никакого отступничества от социалистических идеалов, которые мне тогда были дороги. Иначе отнеслись к этому вопросу руководители с.-д. партии. Они не только отказались содействовать Союзу Освобождения в его борьбе с правительством, но заняли по отношению к нему враждебную позицию в своем заграничном органе "Искра". А местные комитеты были уведомлены о том, что членам с.-д. партии запрещается одновременно состоять членами Союза Освобождения. Мне пришлось сделать выбор. Я продолжал быть социалистом по своим социально-политическим идеалам, но, как говорил выше, вступил в ряды социал-демократической партии, не вполне разделяя ее марксистскую идеологию. Кроме того, мне психологически был чужд тот сектантский дух, который господствовал среди моих партийных товарищей. А главное, что мне претило в партии, — это ложь вольная и невольная в ее агитации и пропаганде. Ведь все руководители партии, в соответствии с учением Маркса, считали, что социалистический строй в России неосуществим в ближайшем будущем, что Россия должна еще пройти через стадию капиталистического развития и что задачей грядущей

русской революции должно быть лишь установление такого либерально-демократического режима, при котором возможна дальнейшая борьба за социализм в легальных формах, существовавших во всех культурных странах Европы. Все это можно было прочесть в руководящих органах социал-демократии.* Но вместе с тем социал-демократы ставили себе и другую задачу: развить в русском пролетариате его классовое самосознание, т.е. противопоставить его классовые интересы интересам всех других социальных классов и создать из него, как тогда говорилось, "авангард русской революции", который, завоевав свободу, сохранил бы свою организацию для дальнейшей борьбы за социализм. Между тем, было совершенно невозможно внедрять в малокультурных рабочих классовую ненависть к буржуазии, одновременно рекомендуя им содействовать классовым врагам в их борьбе за конституционный образ правления. Как, в самом деле, можно было втолковать рабочему, что для осуществления строя, сулящего ему счастье и благосостояние, он должен предварительно допустить к власти своего самого заклятого врага – "коварную буржуазию", высасывающую из него все соки. Такая концепция была для рабочих психологически неприемлема. Они шли в ряды социал-демократической партии потому, что она обещала им социалистический рай, но не когда-то в отдаленном будущем. Они хотели завоевать этот рай теперь же, своими руками, и только поэтому готовы были жертвовать своей свободой и жизнью. И пропагандисты, имевшие непосредственное дело с рабочими, не могли не учитывать эту психологию рабочих. Рабочих призывали бороться за социализм, бороться с буржуазией, а с самодержавием – лишь потому, что оно эту буржуазию поддерживает. Свобода же в этой проповеди из самоцели превращалась в одно из средств в борьбе за социализм. Увлекая рабочих на революционную борьбу, руководители партии совершенно не стремились к захвату власти, надеясь, что каким-то образом, согласно схеме Маркса, эта власть попадет в руки либеральной буржуазии, а затем разочарование рабочих, своею кровью добившихся лишь буржуазной конституции или республики, послужит цементом для дальнейшей борьбы за осуществление социалистического идеала.

---

* Через 15 лет, во время революции 1917 года, коммунисты отказались от этой части марксистской теории, логически связанной с учением экономического материализма, и стали насаждать социалистический строй в экономически отсталой России. И оказалось, что правы были они, а не Карл Маркс и его прежние последователи, к которым принадлежал и сам Ленин. Россия стала первой в мире социалистической страной. Правда, государственный социализм, осуществленный в России, сильно отличается от того социализма, о котором мечтали социалисты старых поколений, но все же нельзя отрицать, что коммунисты блестяще опровергли на практике марксистскую теорию.

Вот с этой двусмысленной позицией социал-демократов, не только русских, но и западноевропейских, я не мог примириться. Как и все социалисты того времени, я был уверен, что социализм неосуществим в ближайшем будущем, и делал отсюда логический вывод, что все силы русских либералов и социалистов должны быть сосредоточены в данный момент на борьбе за свободу и демократический образ правления, тем более, что свободу я воспринимал как самоцель, а не только как трамплин для скачка в социалистический рай.

Все эти соображения побудили меня порвать с партией социал-демократов и приобщиться к движению, начатому Союзом Освобождения. Зимой 1903 года я был вызван в Петербург, чтобы принять участие в заседаниях съезда представителей Союза Освобождения. Кажется, это был первый формальный съезд Союза, а раньше происходили лишь совещания организаторов в России и за границей. Съезд происходил, конечно, конспиративно, на квартире профессора Лутугина, которую он занимал в здании Горного института. Принимало в нем участие человек тридцать петербуржцев, москвичей и провинциалов. Помню, что председательствовал князь Павел Долгоруков, а из присутствовавших кроме него припоминаю кн. Петра Дм. Долгорукова, кн. Д. И. Шаховского, Н. Н. Львова, З. Т. Френкеля, Е. Д. Кускову, В. Я. Богучарского, Н. Ф. Анненского, А. В. Пешехонова, Н. Д. Соколова, Н. Н. Ковалевского. Были еще и другие видные общественные деятели, но после этого я принимал участие в стольких аналогичных совещаниях, что память моя отказывается связывать их с определенными участниками. Кроме того, тогда я еще многих видел в первый раз и не знал их в лицо. Совершенно так же изгладилось из моей памяти то, что обсуждалось на съезде и какие были приняты постановления.

Весной 1903 года я представил на экстренное земское собрание план дальнейших статистических работ, в котором предусматривалось, между прочим, производство подворной переписи крестьянского населения, результаты которой по двум обследованным уездам были отпечатаны в статистических сборниках. С возражениями против моего плана выступил председатель управы С. Н. Маслов, доказывавший, что оценочные работы можно произвести и без сплошной подворной переписи. По существу он был прав. Конечно, для оценки недвижимых имуществ сплошная подворная перепись дает много существенных материалов, но возможно обойтись и без нее. Против этого я и не спорил. Не прав он был только в предположении, что без подворной переписи оценка земель обойдется значительно дешевле и будет закончена гораздо скорее. В споре между председателем управы и заведующим статистическим бюро собрание, конечно, поддержало первого, мой

проект дальнейших работ был отвергнут, а я, сделав отсюда логический вывод, подал заявление об уходе со службы из орловского губернского земства. Результат для орловского земства был печальный: после моего ухода никто из опытных статистиков не хотел браться за работу по указанной программе. В конце концов кого-то нашли, но дело затянулось, и, насколько мне известно, оценка недвижимых имуществ Орловской губернии так и не была закончена ко времени революции 1917 года.

Глава 13

В ТАВРИЧЕСКОМ ЗЕМСТВЕ (1903–1905)

Ялтинское земство и председатель управы по назначению Рыбицкий. Свержение Рыбицкого. Председатель ялтинской управы В.К. Винберг и его кипучая деятельность. Бессменный член управы А.М. Дмитревский. Гласный ялтинской управы А.Е. Голубев и его жена Н.П. Голубева, бывшая Суслова. Таврическое губернское земское собрание, его состав и его обычаи. Влиятельные старики – В.К. Винберг, Новиков, Рыков и Колчаков. Видный гласный С.С. Крым. Политическая аморфность губернского собрания. Гласные татары. Татарское дворянство. Особенности внешнего вида и общественной жизни народов Крыма. Демократический уклад местного общества. Таврическая губернская земская управа и ее председатель Я.Т. Харченко. Член управы М.К. Мурзаев. Оживление и расширение работы губернского земства. Съезд земцев в Петербурге по страховому делу, закончившийся арестом одного из его членов.

Летом 1903 года я переселился с семьей на южный берег Крыма, где у моего тестя, В.К. Винберга, было виноградное имение, а у меня небольшой участок, на котором только что я воздвиг собственную дачу. Со времени моей женитьбы я каждый год проводил около месяца на южном берегу Крыма, а моя разраставшаяся семья жила там каждое лето. Теперь же мы окончательно становились постоянными жителями Крыма, тем более, что я собирался баллотироваться там в земские гласные и сделаться местным земским деятелем. Летом я хорошо отдохнул от семилетней работы в земской статистике, а осенью был последовательно избран гласным Ялтинского уезда, губернским гласным и членом губернской земской управы. 1903 год был для ялтинского уездного земства годом резкого перелома, ибо в этом году правительство удовлетворило наконец давнишнее ходатайство губернского земства и провело через Государственный Совет местный закон о понижении избирательного ценза в приморской полосе. Раньше полный ценз был установлен для всего уезда в 150 десятин. Если принять во внимание, что десятина земли на южном берегу стоила от 4-х до 10-ти и более тысяч, то полным цензом

обладали лишь десятка полтора земельных магнатов-миллионеров, из которых большинство принадлежало либо к царской фамилии, либо к высшим придворным кругам, и не являлось на земские выборы. На съезды мелких землевладельцев-дворян тоже почти никто не являлся. Большинство из них состояли владельцами мелких участков и почти не имели никаких шансов попасть в гласные, ибо, собравшись в числе 50-100 человек, они могли составить лишь два-три ценза, а следовательно избрать 2-3-х выборщиков на избирательное собрание полноцензовых владельцев. Поэтому на избирательном собрании землевладельцев-дворян большей частью выборов не происходило, а все присутствовавшие объявляли себя гласными. Иногда получался даже недобор гласных по дворянской курии. А так как по не дворянским куриям в гласные проходили почти одни татары, из которых добрая половина была по-русски неграмотна, то ялтинское земство, со времени уничтожения всесословных выборов, с трудом могло найти в своем составе лиц, желающих баллотироваться на должности председателя и членов управы и сколько-нибудь для этого пригодных. Должности эти оставались вакантными и, как в таких случаях полагалось по закону, замещались лицами по назначению от правительства.

Председателем ялтинской земской управы уже несколько трехлетий назначался некий Рыбицкий. Это был красивый, изящный старик, некогда богатый, но прокутивший все свое состояние. Вращался он в кругах ялтинской аристократии, где "le beau Ribitzky" считался веселым и остроумным собеседником, особенно в обществе дам, за которыми он умел ухаживать. Сумел он втереться и в ливадийские придворные круги. И вот, когда Рыбицкий прожил последнюю копейку своего состояния, его придворные друзья решили его "устроить" и добились от министра внутренних дел назначения его председателем земской управы. Рыбицкий так и смотрел на свою земскую службу, как на кормление, а для того, чтобы закрепить ее за собой, стал высказывать ультрареакционные взгляды, которые обеспечивали ему назначение на каждое следующее трехлетие. Будучи уверен в своей несменяемости, он совершенно запустил земские дела и не только не проявлял никакой инициативы, но годами не исполнял постановлений земских собраний. Зато его всегда можно было видеть с хорошей сигарой во рту в лучшем ялтинском кафе, в избранном аристократическом обществе. Земские ревизионные комиссии находили всякие неправильности в расходовании земских сумм, но Рыбицкий к этим мелким неприятностям относился совершенно спокойно.

Во главе оппозиции Рыбицкому в земских собраниях стояли два всеми уважаемых старика — мой тесть, В.К.Винберг, снова вернувшийся к земской деятельности после вынужденного перерыва ее из-за составления им в 1881 году конституционного адреса

Александру III, и бывший профессор Казанского университета А.Е. Голубев. В.К. Винберг, в высшей степени деликатный и корректный человек, вел борьбу с Рыбицким в строго парламентских формах, а Голубев совершенно не стеснялся в личных выпадах против председателя управы, называя его "этот господин" и квалифицируя его действия вполне откровенными эпитетами: "форменное надувательство", "жульнические приемы", "беззастенчивая наглость" и т.п. Все эти комплименты Рыбицкий слушал с мирной улыбкой, говорившей: "болтай себе, старик, вволю, все равно не сковырнешь меня с насиженного места".

В год моего избрания гласным ялтинского земства, благодаря понижению избирательного ценза, все стало по-иному. На избирательном собрании, ставшем сразу довольно многочисленным, нам удалось забаллотировать всех сторонников Рыбицкого и провести в гласные новых людей, по преимуществу прогрессивного направления. Собрание было бурное. Рыбицкий в первый раз почувствовал непрочность своего положения и на целый ряд предъявленных обвинений отвечал бессвязными оправданиями, как школьник, не приготовивший урока.

Собрание закончилось избранием в председатели В.К. Винберга. Рыбицкий надеялся, что губернатор его не утвердит, но ошибся. В это время таврическим губернатором только что был назначен В.Ф. Трепов. Он был известен своими правыми взглядами, но, как умный человек, не хотел начинать свою службу в губернии мелкой борьбой с местным земством, в особенности в Ялте, рядом с царской резиденцией. Он отлично понимал, что старый, опытный земец Винберг приведет в порядок запущенное Рыбицким земское хозяйство, а сам, сильный придворными связями, не боялся упреков в утверждении опального земца. В.К. Винберг был утвержден, и ялтинское земство вступило в период своего расцвета. 9 лет, до своего избрания членом четвертой Государственной Думы, этот замечательный старик работал с утра до ночи над управскими делами, объезжая строившиеся больницы и школы, вникал во все организационные и технические мелочи. Строились новые школы и больницы, учреждена была делавшая большие обороты касса мелкого кредита, найдены новые источники обложения путем переоценки недвижимых имуществ и т.д. Словом, через 9 лет Ялтинский уезд нельзя было узнать.

Выше я дал подробную характеристику В.К. Винберга и его земской деятельности, а потому перехожу к характеристике других ялтинских земцев.

Из деятелей ялтинского земства я хочу сказать несколько слов о двух примечательных и несомненно выдающихся людях – об А.М. Дмитревском и об упоминавшемся уже А.Е. Голубеве.

А.М. Дмитревский до своего переезда в Ялту служил на государственной службе. Тяжко заболев, он по совету врачей переехал

на жительство в Ялту и, нуждаясь в заработке, поступил на земскую службу мелким служащим. Рыбицкий, сам не способный к какой бы то ни было работе, сумел, однако, оценить по достоинству этого широко образованного и исключительно трудоспособного человека, и скоро Дмитревский сделался в управе главной и единственной рабочей силой. На много лет он сросся с ялтинским земством и сделался одним из самых видных его деятелей и помощников В.К.Винберга. Это был необыкновенно оригинальный человек. Невзрачный на вид, преждевременно полысевший, с бледным каменным лицом, окаймленным рыжеватой бородой, с маленькими белесоватыми глазками, как-то равнодушно смотревшими через золотые очки, он всегда был внешне спокоен среди кипевших вокруг страстей и молчалив, а когда говорил, то исключительно по делу, которое он досконально знал. Голос его звучал каким-то каменным звуком, гармонировавшим с его каменным лицом. И только изредка, если ему приходилось защищать любимое дело от нападок оппонентов, он, не меняя каменных модуляций голоса, отпускал по отношению к противникам едва уловимо саркастическое замечание, которое совершенно уничтожало их аргументы. Жил он жизнью аскета. Ходил всегда в одном и том же коричневом пиджаке, не признавал никаких развлечений и никого не пускал в тайники своей замкнутой души, в которой, однако, все чувствовали присутствие нежной, греющей доброты. Он был болен всевозможными болезнями, часто говорил мне, что жить ему осталось немного, и остаток своей жизни посвятил своему любимому делу – народному образованию. Хорошо осведомленный в педагогических вопросах, он был главным руководителем народного просвещения в Ялтинском уезде, но скромно и конфузливо отклонял от себя всякое внешнее доказательство своей крупной роли, прячась за спины других.

Не помню уже, почему он ушел из ялтинского земства во время революции и стал заведующим народным образованием города Симферополя. Сколько его ни уговаривали занять более ответственный пост, соответствующий его знаниям и дарованиям, – он упорно от этого отказывался, ссылаясь на свои скромные силы и болезнь. С тех пор теперь прошло 20-30 лет. Большинство из людей, с которыми мне пришлось иметь дело в Крыму, давно уже покоятся в могилах, а об Дмитревском я еще недавно слышал. Он и под большевиками остался работать в Крыму над своим излюбленным делом. И я ясно представляю себе, как он обезоруживал полуграмотное начальство своей мерной каменной речью с неуловимыми сарказмами.

А.Е. Голубеву было уже за 60, когда я впервые с ним познакомился. Это был старик с крупными твердыми чертами лица и с глубоко сидящими под густыми бровями умными проницательными глазами. Носил длинную белую бороду, а густые

белые волосы подстригал в скобку по-мужицки. Вообще внешним видом он очень напоминал среднерусского деревенского кулака. Старик по-видимому очень ценил свою простонародную внешность и подчеркивал ее костюмом: носил всегда рубашки навыпуск, подвязанные шнурками.

А.Е. Голубев был по происхождению крестьянином Тамбовской губернии, выбившимся благодаря большим способностям в интеллигенцию. Окончив медицинский факультет, он избрал себе научную карьеру и вскоре получил кафедру по гистологии в Казанском университете. Однако его научная карьера скоро окончилась. Когда, вследствие какой-то политический истории, из Казанского университета был удален профессор Лесгафт, несколько профессоров, в их числе и Голубев, заявили протест министру народного просвещения и, не получив удовлетворения, подали в отставку. Человек чрезвычайно самолюбивый и страстный, Голубев не захотел после этого продолжать свою научную деятельность и уехал в Сибирь, взяв должность приискового врача. Однажды, пробираясь верхом по тайге, он случайно нашел в какой-то речке большой самородок золота. Сделал заявку, вошел в компанию с сибирским купцом Таюрским и стал золотопромышленником. Через несколько лет он вернулся в Россию миллионером.

Но прежде чем продолжать мой рассказ о том Голубеве, которого я знал, необходимо для полной характеристики этого любопытного человека заглянуть в его дальнее прошлое, которое я знаю понаслышке.

Голубев кончил медицинскую академию вместе со своим другом, впоследствии известным профессором Эрисманом. В начале 60-х годов оба друга, оставленные при академии, жили в Петербурге, подготовляясь к профессуре, и познакомились с двумя сестрами Сусловыми, приехавшими в Петербург учиться. Обе сестры стали впоследствии знамениты. Одна своими романами с Достоевским и Розановым, другая – тем, что, отправившись учиться за границу, была первой женщиной в России, – а если не ошибаюсь, и во всем мире, – получившей диплом доктора медицины. Вот в эту-то вторую Суслову, Надежду Прокофьевну, влюбились одновременно оба друга – Голубев и Эрисман. Она предпочла Эрисмана и вышла за него замуж, а Голубев уехал профессором в Казань, а оттуда в Сибирь. Вернувшись из Сибири в конце 70-х годов, он снова встретился с Н.П. Сусловой, уже разошедшейся со своим первым мужем. Его любовь к ней снова разгорелась. На этот раз он оказался счастливее. Н. П. тоже полюбила своего давнего друга и поселилась с ним на южном берегу Крыма, где Голубев купил себе большое имение. С тем же увлечением и упорством, с каким он прежде занимался наукой, а потом золотопромышленностью, он занялся виноградарством и виноделием. И скоро вина Голубева стали известными по всей России. Жена его, знаменитая русская

женщина, вела домашнее хозяйство, смотрела за курами, разливала чай, сидя за самоваром. Кое-когда лечила татар соседних деревень, когда они к ней обращались за советом. Гости у Голубевых бывали редко, да и то только летом, когда соседние имения и дачи заполнялись приезжими. А долгие зимы проводили они в полном одиночестве. И прожили так более сорока лет. Что побудило этих двух значительных и талантливых людей отказаться от прежних интересов жизни и обречь себя на одинокую жизнь в Крыму — об этом можно только догадываться. Властный, деспотический и невероятно ревнивый по натуре, он по-видимому не мог примириться с ее блестящей медицинской карьерой, в то время как сам он уже не рассчитывал быстро восстановить свои научные успехи. А кроме того, он не прощал ей ее первого брака со своим другом проф. Эрисманом, которого она когда-то предпочла ему и которого он с тех пор возненавидел. Вероятно и она, склонная к сентиментальности, полюбив Голубева, решила искупить последующей жизнью причиненные ему страдания. Отказалась от видного общественного положения, покинула навсегда своих друзей и знакомых и уехала с любимым человеком делить с ним его одиночество.

Голубев был несомненно человеком выдающимся, но самомнение его превышало его умственные качества. Считая себя головой выше всех окружающих, он ко всем относился свысока и часто оскорблял людей своими глумлениями и издевательствами. Он сам изъял себя из общения с верхами русской интеллигенции, но переживал свой добровольный остракизм как незаслуженное непризнание со стороны общества. Озлобился и вымещал свое озлобление на горячо любимой жене и на всех, с кем входил в соприкосновение. В молодости, отстаивая университетскую автономию, он был либералом. Но огромное самомнение и самолюбие не позволяли ему мыслить "по трафарету". И он создал себе какую-то доморощенную идеологию из смеси толстовства со славянофильским народничеством. Он гордился своим крестьянским происхождением и часто, защищая свои сумбурные идеи, противопоставлял их, как "мужицкие", "барскому либерализму". Выработал себе особый стиль не то простонародной, не то древнерусской речи: "милости просим откушать нашего хлеба-соли", "не посетуйте" и т.п. Англичан иначе не называл, как "рыжие варвары", а русских либералов — "гуси лапчатые". Как-то всегда неловко становилось от его простонародных словечек, шуток и прибауток. Чувствовалось, что все это фальшивое и напускное.

Два раза в году, в день св. Александра Невского и на "Веру, Надежду, Любовь", Голубевы приглашали своих соседей на именинный обед. Непременно подавалась осетрина и какое-то приторно-сладкое пирожное. Вино, конечно, было собственное, и о нем полагалось вести специальный винодельческий разговор. А после обеда, за чайным столом, — обязательно разговоры на политические темы.

Голубев страстно любил спорить, но спорил не по существу предмета, а, подхватывая какую-либо второстепенную и неудачно выраженную мысль противника, начинал зло, иногда очень остроумно, над ним измываться. Во время этих споров маленькая Надежда Прокофьевна тихо сидела за самоваром, спрашивая гостей: "Вам два или три куска? Хотите варенья?" Если же позволяла себе вставить несколько замечаний в завязавшийся политический спор, то муж ее останавливал: "Не вашего это женского ума дело, дитятко". (Они были на "вы". Он называл ее – "дитятко", а она его – по имени и отчеству). Бедная старушка привыкла к таким выходкам мужа. Сразу умолкала и принималась усердно вытирать чашки полотенцем, близко поднося их к своим близоруким глазам. Вообще при муже она или молчала, или говорила о хозяйственных мелочах. Но, когда приезжала к нам в гости одна, язык у нее развязывался. И тут мы слушали интереснейшие рассказы о ее прежней жизни в Цюрихе, где она была единственной женщиной-студенткой, пребывание которой в университете было встречено негодованием не только со стороны большинства студентов, но и со стороны некоторых профессоров, позволявших себе по отношению к ней грубые выходки. Была она женщина умная и образованная, имевшая о многом свои оригинальные суждения. И всегда не хотелось ее отпускать, когда старый кучер на стареньких лошадях отвозил ее в "замок Черномора", как мы называли голубевскую дачу, где она опять превращалась в бессловесную рабыню.

Единственный человек, к которому Голубев, при всей своей мизантропии, относился с уважением и даже любовью, был мой тесть, В.К. Винберг. С ним вместе он вел в Ялте борьбу с назначенным председателем управы Рыбицким. Эта борьба создала Голубеву в кругах местной администрации репутацию неблагонадежного, и даже раз случилось, что он не был утвержден губернатором в какой-то выборной должности. Это характерное для того времени недоразумение выяснилось в земскую сессию 1904 года, когда ялтинское земство вместе с другими вошло в орбиту политического движения. Голубев резко разошелся со своими прежними друзьями и союзниками. А на выборы больше уже не приезжал, зная, что его забаллотируют. Так окончилась его земская деятельность, которой он увлекался со страстностью, свойственной его натуре. Революция 1905 года еще более озлобила Голубева. "Новое Время", которое он прежде читал от доски до доски, не удовлетворяло больше его потребности в злопыхательстве. Он стал выписывать "Земщину", и каждый день заставлял старую подругу своих дней выслушивать длинные статьи о жидо-масонах, о купленных заграничными банкирами кадетах и т.п., сопровождая их соответственными заключениями в русском лубочном стиле. Разговаривать с ним я уже больше не мог и перестал бывать

у Голубевых. Мой тесть через силу продолжал старое знакомство, появляясь в "замке Черномора" в именинные дни, но возвращался оттуда всегда расстроенным неприятными столкновениями с прежним приятелем. Постепенно Голубев своим агрессивным черносотенством оттолкнул от себя большинство старых знакомых, и они с женой зажили еще более одиноко. Он заскучал и внезапно решил в 75 лет возобновить свои научные занятия. Но и тут остался верен себе: упорно отрицал новые общепринятые теории и пытался создать свои собственные. Возил свою работу в Москву на съезд естествоиспытателей, но вернулся с уязвленным самолюбием, т.к. его доклад не вызвал никакого интереса.

Незадолго до войны Голубев стал слепнуть, но продолжал работать, научившись ощупью писать на машинке. Злобное отношение к людям в нем все росло. Он вечно ссорился с татарами, штрафуя их за ничтожные потравы и порубки, своих секретарш и чтиц, без помощи которых не мог уже обходиться, доводил своими ехидными издевательствами до слез и истерик. Одна только старенькая жена продолжала любить своего злобного старика и кротко за ним ухаживала.

Началась революция 1917 года. На южном берегу она вначале проходила мирно, и татары оставались в добрых отношениях со всеми помещиками. Исключение составлял один Голубев. Ненавидевшие его татары перестали платить ему аренду, а скот свой демонстративно гоняли по его обширным владениям. Слепой старик, всю жизнь свою считавший себя народолюбцем, тяжело переживал такое к себе отношение. А тут его еще постигло личное горе: внезапно умерла Надежда Прокофьевна, к которой он был глубоко привязан, хотя и мучил ее всю свою жизнь. Часто ходил он на ее могилу, над крутым обрывом к морю, нащупывая палкой дорогу, и, вероятно, думал о своей и ее бессмысленно загубленной жизни...

В январе 1918 года Крым был занят большевиками. Имение Голубева было превращено в совхоз, а в его доме поселились матросы-комиссары. Добравшись до его подвалов, они пьянствовали и дебоширили, а иногда приходили куражиться над ним. Оказавшись в это время в Крыму, мы с женой решили навестить несчастного старика. Он принял нас так, как будто мы виделись только вчера, хотя со дня нашей последней встречи прошло более 10 лет. Было ему уже за восемьдесят, но он казался еще совсем бодрым, несмотря на слепоту. Большевиков не боялся и ругал их за глаза и в лицо. Жил один на попечении старого кучера, который из жалости его кормил. Большевики отняли у него самый драгоценный ему предмет – пишущую машинку. Так и сидел он целые дни один, устремив мутные слепые глаза в пространство. Мы провели у него около часа, но совершенно ясно почувствовали, что в нашем обществе он не нуждается.

Начался период гражданской войны. При Деникине и Врангеле Голубев вновь становился богатым землевладельцем, и снова появлялись у него чтицы и секретарши, которых он по-прежнему изводил. Потом опять приходили большевики, и он становился нищим. Пишущую машинку ему вернули. Незадолго до его смерти кто-то из знакомых зашел к нему. Он сидел возле своей машинки, а рядом на столе лежал топор. "Это для них, – сказал он злобно, – я решил, что живым не дамся". Но ему пришлось еще долго тянуть свою одинокую жизнь под властью укрепившихся большевиков. Умер он почти 90 лет от роду.

На ялтинском земском собрании я был избран гласным губернского земства и в декабре месяце поехал в Симферополь на губернское земское собрание. В Таврической губернии, не имевшей своего родового дворянства, кроме татарского, значительная часть землевладельцев состояла из разбогатевших крестьян, немецких колонистов и купцов-армян, греков и караимов. В одном только Днепровском уезде дворян было много, и он был главным поставщиком губернских предводителей. Такой состав местного землевладения отражался и на составе губернского земского собрания. Несмотря на земское положение 1890 года, превратившее прежнее всесословное земство в дворянское, таврическое земское собрание осталось всесословным и многоплеменным. Едва ли не половину гласных составляли татары, греки, немцы, армяне. В состав русской половины входило двое крестьян. Это было много по сравнению с другими известными мне земскими собраниями. Сравнительно демократический состав таврического земства отражался и на его политической физиономии. Убежденных реакционеров почти не было. Большинство было в общем настроено либерально. Но гласные по своему общественному положению не принадлежали к влиятельным кругам общества. Поэтому собрание не решалось вступать в открытый бой с местной администрацией, подобно гораздо более консервативному орловскому земству, и было на хорошем счету у правительства. Собрания проходили деловито и тускло, а места для публики обычно пустовали.

Привычка ладить с властями создала особую процедуру открытия сессии, какой мне нигде в других земствах не приходилось наблюдать. На открытие собрания все гласные приезжали во фраках и ехали вереницей по городу на извозчиках, заранее нанятых управой, делать визиты – губернатору, губернскому предводителю дворянства и председателю управы. А заканчивалось собрание торжественными обедами с тостами и речами. Один обед давал губернатор всем гласным, другой – предводитель дворянства, и наконец третий – гласные давали губернатору и предводителю. Эти старые обычаи, конечно, мешали даже либеральным гласным вести резкую оппозицию по отношению к властям. Как, в самом деле, сказать что-либо неприятное губернатору, а затем поехать

есть и пить на его счет? Поэтому если возникал какой-нибудь вопрос, неприятный для администрации, то он обычно обсуждался на частном совещании всех гласных и выносился на открытое заседание лишь в виде единогласно принятой резолюции, в которой слишком острые углы тщательно закруглялись.

Была еще одна особенность таврического губернского собрания, особенность, усвоенная от татар. Я имею в виду почет, который оказывался старикам. В собрании было четыре седобородых старика, все совсем разные люди: 1) мой тесть, В.К. Винберг, человек твердых либеральных взглядов, абсолютно бескорыстный и принципиальный человек, к каждому самому мелкому вопросу относившийся со щепетильной добросовестностью. 2) Н.В. Новиков, который тоже был давним гласным. Широко образованный, блестящий человек, убежденный либерал, он всегда любил хорошо пожить и отличался неумеренной склонностью к спиртным напиткам. 3) Е.В. Рыков, мелитопольский предводитель дворянства, на вид мрачный и угрюмый старик, белый как лунь. Но наружность его была обманчива. Человек он был исключительно добрый и мягкий, к тому же чрезвычайно благородный, не переносящий никакой неискренности и интриги. 4) Четвертый старик, А.М. Колчаков, председатель днепровской земской управы, был совсем в другом роде. Фигурой он напоминал гоголевского Пацюка. Добродушный на вид толстяк, появляясь на земские собрания, он всегда заключал всех гласных в свои могучие объятия и весело с ними лобызался. Но добродушие это было лишь внешнее. Человек он был себе на уме, ловкий и хитрый. Земское дело искренне любил, но никогда не забывал интересов своего уезда и своих собственных.

Для того, чтобы провести какой-либо вопрос в собрании, необходимо было заранее сговориться с этими четырьмя стариками. Без их благословения всякое предложение было обречено на провал. Даже самый блестящий и даровитый гласный собрания, лучший и, пожалуй, даже единственный его оратор, вкладывавший в дорогое ему земское дело больше всего инициативы, притом человек чрезвычайно умный и честолюбивый, С.С. Крым, не обладая достаточно импозантным возрастным стажем, перед каждым своим выступлением должен был советоваться с четырьмя стариками. Вследствие политической аморфности таврического земства, политика почти не играла роли при выборах, как это имело место в других знакомых мне земствах. Поэтому представители уездов в губернском земском собрании не имели коллективной политической физиономии. Только Ялтинский уезд, где в гласные попадали представители столичной интеллигенции, из которых туберкулез сделал постоянных жителей и землевладельцев южного берега, поставлял в губернские собрания сплоченную левую группу, которая в 1905 году заняла в политических вопросах руководящее положение.

В губернском собрании было несколько гласных из татар. Они сидели молча в своих барашковых шапках, не вникая в происходившие прения. Оживлялись лишь во время выборов. В выборной механике они хорошо разбирались и порой очень ловко надували доверявшихся им кандидатов. Все они были представителями местного дворянства – так называемые "мурзаки". В 1903 году, когда я переехал на постоянное жительство в Крым, во всем Крыму был один только татарин с высшим образованием – присяжный поверенный Муфти-Задэ. Большинство мурзаков отдавало своих детей в средние учебные заведения, но по большей части, из-за неспособности к учению и национальной лени, они не могли переварить гимназической премудрости. Дотягивали до 4-го-5-го класса, а затем поступали в окружные юнкерские училища, откуда выходили офицерами в Крымский кавалерийский полк. Ведя широкий образ жизни, татарская молодежь постепенно прокучивала огромные родовые имения отцов, принадлежавшие им еще со времен Крымского ханства. Татары любили почет и выборные должности. Им доставляло даже удовольствие избрание на бесплатные должности заведующих военно-конскими участками. Земцы им в этом удовольствии не отказывали тем более, что все они любили лошадей и в конской области были хорошими знатоками. Бывало хуже, если татарское большинство выбирало своих излюбленных людей на должности, сопряженные с заведованием общественной кассой. Милые, добродушные люди, гостеприимные и радушные, они любили хорошо пожить и часто не отличали собственных денег от общественных. Редко бывали случаи, чтобы предводитель дворянства или председатель земской управы из татарских мурзаков не кончал свою карьеру большей или меньшей растратой.

Вообще татарское дворянство, заключавшее родственные браки в целом ряде поколений, проявляло несомненные признаки вырождения. Что касается татарских крестьян, то они мало приобщались к европейской культуре, обучая своих детей в национальных духовных школах зубрежке текстов из Корана. Впрочем, с конца прошлого века земские школы стали заполняться татарчатами, а после революции 1905 года, когда в них начали преподавать татарский язык, они уже успешно конкурировали с "мектабэ" (духовными школами). Татарская демократия оказалась способнее вырождающегося дворянства. Окончив земскую школу, более способные и состоятельные ученики поступали в гимназии, а оттуда в университеты, и на моих глазах появлялись потом врачи, учителя, адвокаты из татарской демократии.

На земском собрании 1903 года я почти единогласно был избран членом губернской земской управы и стал жителем города Симферополя.

Симферополь совсем не походил на среднерусские провинциальные города, в которых мне приходилось жить.* Он скорее был похож на европейский провинциальный город, чем на русский. В то время даже Москва была еще наполовину застроена деревянными домами, а в провинциальных городах даже на главных улицах нередко можно было встретить деревянные строения, на окраинах же каменных домов почти не было. Преобладали деревянные особняки, обнесенные деревянными покосившимися заборами с нависшими над ними кустами сирени и бузины.

Симферополь был весь каменный. Это объясняется, конечно, не большей культурностью населения, а сравнительной дороговизной дерева и дешевизной камня. Камень придавал городу более опрятный и культурный вид. Но на внешнем облике города сказывалась и бóльшая культурность населения. Улицы, частью шоссированные, частью замощенные хорошей мостовой, содержались в чистоте и были засажены деревьями, преимущественно акациями, которые весной пропитывали воздух опьяняющим ароматом. Летом по ним ездили бочки, поливавшие уличную пыль. Городской сад был чист и опрятен, дорожки посыпались песком, а в центре его, вокруг памятника Екатерине II, разбиты были клумбы с красивыми цветами.

Все это столь элементарное благоустройство самого мелкого европейского города совершенно отсутствовало в то время даже в больших губернских городах. Типичный русский губернский город имел мостовые с глубокими выбоинами и ухабами, а окраины утопали в непролазной грязи. Всякий из них обязательно имел городской общественный сад, посаженный каким-нибудь усердным губернатором. Летом по воскресениям там играла музыка и толпился народ. Но что это были за сады! Грязные, забросанные окурками и бумажками, заросшие всяким бурьяном. Редко встречались засеянные газоны и цветы.

И население Симферополя сильно отличалось от населения русских городов. В среднерусском провинциальном городе сословные и общественные различия людей проникали весь его быт. В каждом прохожем по одежде и манере держаться вы сразу могли отличить помещика-дворянина, чиновника, радикального интеллигента, купца, мещанина, крестьянина. Здесь, в Крыму, все эти внешние отличия были нивелированы. В симферопольской уличной толпе, как и в толпе европейской, все как-то подделывались к среднему типу, к типу торгового приказчика. Преобладали пиджаки, крахмальные воротнички, а на головах – зимой котелки, а летом – соломенные канотье.

---

* Особенности Симферополя, о которых речь впереди, имели все города Крыма.

Эта внешняя нивелировка жителей соответствовала и нивелировке внутренней. Обычное деление на "аристократию", "интеллигенцию" и серую массу обывателей, столь типичное для любого губернского города, здесь отсутствовало. Дворяне, богатые немцы-колонисты, купцы разных темноволосых национальностей (евреи, греки, караимы, армяне), чиновники, третий земский элемент, — все были между собою знакомы и относились друг к другу, как равные к равным. Этой общественной нивелировке подчинялись даже губернаторы, обычно назначавшиеся из лиц, близких к придворным кругам. В салоне у губернатора можно было встретить за чашкой чая русского аристократа, татарского мурзака, еврейского адвоката, караима, ведущего торговлю табаком, и т.д. В других губерниях такого смешанного общества в губернаторских салонах не бывало. Симферополь, как и весь Крым, если не считать курортной Ялты с Ливадией, не только по внешнему виду, но и по своему быту и нравам был ближе к городам западно-европейских демократий, чем к русским городам, вся жизнь которых складывалась в соответствии с существовавшим еще сословно-самодержавным государственным строем России. Демократическая атмосфера, в которой подрастало молодое поколение русских граждан в Крыму, была, вероятно, одной из причин того, что уроженцы Крыма, начиная с Желябова и Перовской, всегда заполняли ряды русских революционеров в непропорциональном количестве.

Особенность крымских городов составляли сильно развитые у жителей местные муниципальные интересы, что, может быть, объясняется средневековыми традициями тех времен, когда приморские города Крыма были генуэзскими колониями. Я три года прожил в Орле, не зная даже фамилии местного городского головы. Оно и понятно. Купечество, господствовавшее в городских думах провинциальных городов, было малокультурно и больше заботилось о своих собственных интересах. Только в самых крупных городах — Москве, Петербурге, Одессе, Киеве — городские думы в большинстве своем состояли из культурных людей со средним и высшим образованием. В Крыму муниципальная жизнь была в центре внимания жителей. Вопросы базара, водопровода, трамвая волновали местных жителей, которые нередко заходили послушать прения отцов города. И к думским выборам население относилось активно. Этим объясняется интеллигентный состав городских гласных. Симферопольская дума, например, по уровню образовательного ценза гласных едва ли уступала московской. Сравнительно высокий культурный уровень населения и его интерес к местной жизни были причиной расцвета местной прессы. Когда я поселился в Симферополе, в нем издавались две частных газеты, и еще одна — в Севастополе, а через несколько лет в Крыму насчитывалось уже от 5 до 6 газет. Это было тогда, когда в остальной России во всяком

случае более половины губерний не имели ни одной местной газеты, кроме официальных "Губернских Ведомостей".

Пришлые люди, поселяясь в Крыму, невольно заинтересовывались местной жизнью, проникались местными интересами и начинали чувствовать себя крымцами. Этому содействовало, конечно, южное солнце и красота окружающей природы. Так случилось и со мною. Псков и Орел, в которых я прожил несколько лет, остались мне чужими, а блестевший на солнце белизной домов и утопающий в зелени Симферополь сделался мне близким, таким же близким, как Петербург, в котором я родился и учился.

В земской управе я сразу попал на большую и интересную работу. Таврическое губернское земство, несмотря на то, что Таврическая губерния была одной из богатейших губерний в России, принадлежало к числу наиболее отсталых. Оно содержало, конечно, больницу, психиатрическую лечебницу и приют для подкидышей, — учреждения, доставшиеся ему от Приказа общественного призрения, но кроме этих обычных для каждой губернии учреждений оно основало только два крупных дела: имевшую всероссийскую известность Сакскую грязелечебницу, основанную в 70-х годах, и ветеринарную лабораторию, вырабатывавшую вакцины против разных эпизоотий. Дорожное и страховое дело было поставлено слабо, не существовало ни губернской агрономии и санитарии, ни отдела по народному образованию. Оценочно-статистические работы велись, как и в других земствах, за счет казенной субсидии. Главная работа сосредотачивалась в уездах.

Тем не менее собрание 1903 года решило несколько оживить деятельность губернского земства. Намечалась реорганизация страхового дела, основание печатного органа для разработки земских вопросов и реформа эмеритальной кассы служащих, поставленной явно убыточно. Это и было причиной того, что в помощь прежнему составу управы было избрано два новых члена — М.К. Мурзаев и я. Состав управы, в который мы вошли, был такой же серый и тусклый, как и земское собрание, его выбравшее. Один из членов управы, М.Е. Серебряков, был занят исключительно двумя больницами, где дело шло по трафарету. Другой, В.В. Конради, добрейший и милейший человек, сидел у кассы, а так как за деньгами приходили всевозможные люди — служащие, поставщики, подрядчики и пр., то его кабинет сделался чем-то вроде клуба, в котором обсуждались всякие вопросы местной жизни и общей политики, сообщались новости, городские сплетни... В.В. Конради был весьма радикально настроен, и нередко можно было услышать в его кабинете самые резкие суждения. В управских заседаниях он тоже больше всех кипятился и кричал, но никакого влияния не имел, ибо ни к какому делу был органически неспособен. Председатель управы Я.П. Харченко был умным и дельным человеком. До моего и М.К. Мурзаева появления в управской коллегии, он был

единственным руководителем всего дела, ибо совершенно не считался с мнениями своих коллег. Земское дело он любил и знал превосходно. Был он сыном крестьянина Бердянского уезда, окончил учительскую семинарию и несколько лет состоял сельским учителем. Потом, выбранный членом бердянской земской управы, он проявил большую деловитость и вскоре стал ее председателем и гласным губернского земства по должности. Создав себе без связей и протекции крупное общественное положение, он очень им дорожил, тем более, что жалование получал по тому времени огромное: 7 000 рублей в год. Если не ошибаюсь, таких больших окладов не существовало в других земских губерниях. Понимая, что ему, как крестьянину, не имеющему даже среднего образования, закрыта всякая дальнейшая карьера, он все усилия употреблял, чтобы удержаться на своем посту. Поэтому, и сделавшись председателем управы, он старался держаться линии большинства собрания, избегая проявлять инициативу. С мужицкой хитростью умел, если это было нужно, говорить верноподданнические слова, но в частных беседах высказывал либеральные суждения и со скрытой ненавистью относился к привилегированному сословию. Со всеми губернаторами поддерживал лучшие отношения, что не помешало ему, однако, на первом общеземском съезде 1904 года присоединиться к большинству конституционалистов. Думаю, что он тогда был искренен, а может быть просто остался верен своей тактике – идти всегда вместе с большинством. Так, лавируя между разными земскими течениями, между администрацией, земством и третьим элементом, заводя нужные связи и знакомства и постепенно богатея, ибо, при скромных потребностях, он не мог тратить огромного жалования, которое получал, никем особенно не любимый, но всем удобный, спокойный и деловитый, Харченко был бессменным председателем таврической губернской земской управы в течение 17-ти лет. Вероятно, так и умер бы на своем посту, если бы не произошла революция. К ее требованиям, при всей его гибкости, он приспособиться не умел. Слишком крепко врос в быт разрушенного ею мира. И был свергнут со своего поста.

В управской коллегии я особенно близко сошелся с М.К.Мурзаевым. Он так же, как и я, начал свою службу земским статистиком, но затем перешел в адвокатуру и много лет был присяжным поверенным в Мелитополе. Был он еще молодым человеком, но тяжелая болезнь (язва желудка) его преждевременно состарила физически и духовно. Когда-то он увлекался социализмом, но практическая жизнь увела его от идеалов молодости, и, когда я познакомился с ним, он причислял себя к умеренным либералам. К моему еще молодому радикализму Мурзаев относился с душевной симпатией и старческой покровительственной иронией, но иногда его южная армянская кровь брала верх над болезнью. Тогда его

красивые, печальные глаза зажигались огнем борьбы и негодования, и в такие минуты он способен был на большую политическую активность и даже на самопожертвование. Мы с Мурзаевым являлись в затхлой атмосфере губернской управы, руководимой Я.Т. Харченко, как бы двумя бродильными грибками. Помню один принципиальный спор между нами и им, ясно определивший наши земские позиции.

По нашему мнению, управа, непосредственно руководящая земским делом, должна вести за собой собрание, а не только исполнять его волю. Харченко держался диаметрально противоположного мнения. Он категорически заявил, что считает себя "слугою собрания" и в своей работе исключительно руководится мнениями его большинства. Понятно, что при таком взгляде на земскую работу председателя губернская управа постепенно превратилась в скучную канцелярию, деловито и толково им управляемую. Управа не вносила никаких новых предложений, и доклады ее были по преимуществу деловыми отчетами об исполнении постановлений собрания. Эти доклады, скучные и стереотипные, писались секретарем или бухгалтером и лишь подписывались председателем и членами управы. Из всего ее пятичленного состава только мы с М.К. Мурзаевым возбуждали новые вопросы и собственноручно составляли доклады, в частности, страховое дело, которое попало в мое заведование, находилось в совершенно примитивном состоянии. Обязательное страхование шло по давно установленному трафарету, а добровольное совершенно не развивалось, предоставляя широкое поле деятельности частным страховым обществам. В управе не было даже страхового отдела, а был лишь так называемый "страховой стол", управляемый одним служащим, глубоким стариком, страдавшим периодическими запоями. Запои не мешали ему являться на службу и добросовестно вписывать красивым почерком в страховые полисы все, что полагалось. Его ненормальное состояние проявлялось лишь в том, что, составивши полис, он откладывал перо и начинал дуть на чернильницу и махать над нею рукой, отгоняя назойливых чертиков, ему надоедавших. За страховое дело я принялся вплотную и провел на первом же земском собрании его полную реорганизацию на тех основах, которые уже давно вошли в жизнь во всей земской России. Другим моим достижением было создание губернского отдела народного образования, которого прежде не существовало. Завел школьную статистику, разработал план школьной сети для всеобщего обучения, учредил школьный музей и музей учебных пособий, которым впоследствии пользовались не только земские и городские школы, но и средние учебные заведения. Учредить отдел народного образования в таврическом земстве с его духом уездного сепаратизма было не легко. В каждом новом начинании губернского земства гласные видели посягательство на уездную самостоятельность. Поэтому мне приходилось идти

в намеченном направлении медленно и осторожно. Все же, покинув через два года свою земскую службу, я оставил в управе приглашенного мною специалиста по школьному делу, упоминавшегося уже раньше П.А. Блинова. С чувством большого удовлетворения, вернувшись к земской работе через 14 лет в качестве председателя управы, я застал свое скромное начинание в виде большого дела, глубоко вошедшего в земскую жизнь. Так же разрослось и усовершенствовалось страховое дело, во главе которого вместо старика, ловившего чертиков, стоял опытный страховой специалист. Революция разрушила плоды многолетней земской работы, но я все-таки надеюсь, что какая-нибудь крупица, внесенная мною, уцелела и до сей поры.

В период моего заведования страховым делом, по инициативе министерства внутренних дел был созван в Петербурге съезд представителей земств для обсуждения вопроса об образовании земского союза перестрахования пожарных рисков. Правительство тогда не разрешало не только земских съездов, но даже каких бы то ни было общеземских экономических организаций. Так, например, оно долго тормозило инициативу орловского земства о создании на совместные средства с земствами соседних губерний центрального склада с.-х. орудий. Однако развитие страхового дела шло столь быстрыми шагами, что бороться против естественного стремления земств к объединению для перестрахования более крупных рисков было уже даже с точки зрения правительства явной бессмыслицей. Ибо перед земствами ставилась дилемма – либо принимать на страх крупные имущества, рискуя, в случае пожара, полным банкротством, либо предоставлять это страхование частным обществам, сокращая этим обороты своих капиталов. И то и другое не могло входить в виды правительства. Поэтому министр внутренних дел Плеве решил в этом вопросе пойти навстречу ходатайствам, но так, чтобы земский перестраховочный союз был организован при министерстве внутренних дел, которое получало бы возможность следить за его деятельностью. Министерство разработало проект устава перестраховочного союза и созвало съезд представителей земств для его обсуждения. Упоминаю об этом съезде, ибо на нем произошел эпизод, мелкий, но весьма характерный для режима, существовавшего в России до революции 1905 года. Таврическая земская управа командировала на съезд меня. От других земств съехались также члены управ, руководившие страховым делом, из третьего элемента. Незадолго перед тем Плеве произвел разгром тверской губернской земской управы. Не утвердив выборного состава управы, он назначил председателем ее Штюрмера, приобретшего впоследствии столь печальную известность, а членами – нескольких тверских дворян крайне правого направления. Тверской coup d'état имел последствием уход со службы целого ряда служащих тверского земства, а в их числе и

заведующего страховым отделом Юрлова. Конфликт между правительством и земством взволновал широкие общественные круги, а служащие других земств объявили вакантные места в тверской губернской управе под бойкотом. Тем не менее нашлись штрейкбрехеры, соблазнившиеся хорошими окладами и предстоявшей карьерой, что сулило им покровительство всемогущего министра внутренних дел.

Вот один из таких штрейкбрехеров со своим "правительственным" членом управы и приехал к нам на страховой съезд. На первом общем собрании никто к ним не подходил, никто не знакомился с ними, и они чувствовали себя, вероятно, весьма неуютно... На следующий день все члены съезда разошлись по подготовительным комиссиям. Оказавшись в одной комиссии с моим бывшим псковским сослуживцем Н.Ф. Лопатиным, приехавшим на съезд от псковского земства, тверской штрейкбрехер подошел к нему знакомиться и протянул руку. Но Лопатин отказался ее пожать. Инцидент прошел незамеченным, ибо ставленник Штюрмера не счел нужным реагировать на нанесенное ему оскорбление. Но, спокойно просидев на заседании, он побежал жаловаться начальству. А далее произошло следующее: собравшись в этот день на товарищеский обед в Европейской гостинице, съехавшиеся в Петербург земцы, участники страхового съезда, узнали, что Н.Ф. Лопатин вызван в министерство внутренних дел для объяснения по поводу происшедшего инцидента. Это известие нас взволновало. Конечно, выходка Лопатина была груба, но грубость эта имела личный характер, и вмешательство министерства в это дело казалось совершенной нелепостью. Между тем оно могло иметь неприятные последствия для съезда, и земцы чувствовали себя обязанными как-то на него реагировать. Прежде всего нужно было повидать Лопатина и узнать от него о разговоре, который он имел в министерстве внутренних дел. Но никто не знал его адреса. Поэтому мы решили немедленно послать к подъезду министерства двух лиц, которые дождались бы там выхода Лопатина и привели его в Европейскую гостиницу. Миссия эта была возложена на меня и на Ф.А. Головина (будущего председателя 2-ой Думы).

Погода была скверная — типичная петербургская зимняя слякоть. С поднятыми воротниками под пронзительным ветром и хлопьями мокрого снега, мы с Головиным бродили возле министерского подъезда, но Лопатин не появлялся. Не понимая, в чем дело, мы вернулись в Европейскую гостиницу и застали наших товарищей земцев в крайнем возбуждении. Им только что дали знать, что Лопатина в министерстве внутренних дел арестовали и через другой подъезд отправили в дом предварительного заключения.

Двух мнений по поводу этого совершенно дикого ареста не могло быть. Посадить человека в тюрьму за неподачу руки! Такой

разнузданный произвол власти даже при режиме Плеве казался чудовищным. Мы должны были протестовать. Но как?

И сейчас же за недоконченным обедом возникли между земцами бурные прения. Более левые из нас (и я в том числе) настаивали на немедленном прекращении съезда, сделав заявление Плеве, что в таких условиях мы отказываемся продолжать занятия. Но возобладало мнение умеренного большинства. Решили послать депутацию к Плеве и настаивать на освобождении Лопатина, не предрешая вопроса о заседаниях съезда. Депутация во главе с председателем московской губернской земской управы Д. Н. Шиповым посетила Плеве, который согласился освободить Лопатина, но с тем, чтобы он больше в заседаниях съезда участия не принимал. Съезд продолжался, но само собой разумеется, что происшедший эпизод не мог не отразиться не только на самочувствии его участников, но и на их деловой работе.

Глава 14

ЯПОНСКАЯ ВОЙНА И ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ (1904–1905)

Начало Японской войны. Пораженческие настроения русской интеллигенции. Земские объединения. Совещания председателей губернских управ. Общеземский союз помощи больным и раненым воинам с кн. Г. Е. Львовым во главе. Шиповская "Беседа". Съезды земцев-конституционалистов. Убийство Плеве и "весна" кн. Святополк-Мирского. Последнее лето перед революцией в имении моего тестя Саяни. Подготовка общеземского съезда в Петербурге 6-го ноября 1904 г. Союз Освобождения организует "банкетное" движение, а земцы-конституционалисты – политические выступления земских собраний. Крым опаздывает. Адрес черниговского земства и приветствие Муханову, за которое мы с М. К. Мурзаевым уволены с должностей членов таврической земской управы. Мы с М. К. Мурзаевым, Л. С. Заком и В. А. Могилевским раскачиваем революцию в Симферополе. Попытки привлечь к политическим выступлениям симферопольских "нотаблей". Таврическое губернское земское собрание посылает государю адрес с конституционными пожеланиями. Первый политический митинг в Симферополе. Мы с Л. К. Заком составляем приветствия политического характера от симферопольцев всем происходившим в столицах профессиональным съездам. Политические платформы Союза Освобождения и земцев-конституционалистов. Мои поездки в Москву на земские съезды. Политические группировки съездов. Майский земский съезд, пославший депутацию к Николаю II. Польский вопрос на съезде. Врублевский. Спор Гучкова с Милюковым. Булыгинская Дума и переговоры Витте с земцами об образовании смешанного министерства. Квартира на Малой Бронной и семья Мороз.

В первую зиму моего пребывания в Симферополе началась Японская война. Теперь из целого ряда мемуаров, в особенности из мемуаров графа Витте, мы знаем все подробности авантюры с концессиями на реке Ялу, из-за которой началась злосчастная война. Тогда об этой авантюре ходили лишь темные слухи, и то больше в кругах столичного общества, с которыми я был связан через Союз Освобождения, для большинства же провинциальной

интеллигенции война эта являлась непонятной неожиданностью. Постепенно, однако, столичные слухи сделались всеобщим достоянием. Говорили, что Витте был решительным противником агрессивной политики России на Дальнем Востоке, а Плеве — ее сторонником, что именно Плеве настаивал на твердой политике по отношению к Японии, рассчитывая, что победоносная война, связанная с ростом шовинистических настроений в обществе, поможет ему в борьбе со все увеличивавшимся революционным движением. Само собой разумеется, что все эти слухи делали войну в глазах подавляющего большинства левой интеллигенции крайне непопулярной.

Народные массы, конечно, ничего не знали о причинах войны. Для них она была просто непонятна. Знали только, что война ведется где-то далеко, на чужой территории. Поэтому относились к ней совершенно равнодушно. Но когда начались частичные мобилизации, и людей, не понимающих смысла войны, погнали за тридевять земель проливать свою кровь, в низах населения появилось раздражение против власти. Непопулярность войны создавала "пораженческие" настроения, господствовавшие в социалистических и отчасти либеральных кругах русского общества. Сам пережив эти настроения, я не считаю нужным, подобно многим моим современникам, каяться в них. Пораженческие мысли и чувства, конечно, ненормальны, но я до сих пор не вижу в них ничего морально недопустимого. Морально недопустима война, а не пожелания того или другого ее исхода. Не характерно ли, что через много лет, когда советской России снова стала угрожать война с Японией, в лагерь "пораженцев" попали те самые люди, которые негодовали и продолжают негодовать на нас за наше пораженчество 1904 года. С своей стороны, я их не осуждаю, ибо, вероятно, сам стал бы пораженцем, если бы война не грозила распадом России, т.е. если бы международное положение теперь было бы таким же, каким оно было тогда. А ведь если судить по результатам русско-японской войны 1904 года, то они вполне оправдывают наше пораженчество того времени: поплатившись потерей Порт-Артура, перед тем отобранного Россией у Китая, и половиной Сахалина, Россия в короткое время достигла такого культурного и материального расцвета, о каком в случае победы не могла бы и мечтать. Другими словами, пораженцы оказались более прозорливыми патриотами, чем их противники. Однако и тогда я, как, вероятно, и большинство моих единомышленников, переживал свое пораженчество как большую внутреннюю трагедию. Помню, какое страшное впечатление произвело на нас известие о первом поражении русских войск под Тюренченом. Не радость это была, а жестокая боль оскорбленного национального чувства и ужас от потоков пролитой крови. Потом, как и во время Великой войны, все

постепенно привыкли к японским победам. Привыкли, хотя патриотическое чувство не могло с этим примириться. Ответственность за войну, за поражение русских армий и за бессмысленно проливаемую кровь лежала на Николае II, личная политика которого привела к дальневосточному столкновению. Поэтому-то больное патриотическое чувство порождало ненависть не к японцам, а к самодержавию.

Разница между нашим пораженчеством 1904 года и пораженчеством Ленина или современных правых "патриотов" заключалась в том, что мы не исходили из принципа "цель оправдывает средства", а потому не желали войны, не шли сражаться против России в рядах врага и не призывали армию сложить оружие и брататься с врагом. Мы только пользовались японскими победами для свержения самодержавия – самого главного, по нашему убеждению, врага русского народа. Я лично принадлежал к тем левым общественным кругам, которые искали путей для свержения самодержавия и до Японской войны. Война создала для нас лишь благоприятную обстановку. Но более умеренной части русской интеллигенции, менее остро ощущавшей недовольство старым режимом, равно как и народным массам, война открыла глаза. Явилось всенародное ощущение – "так жить больше нельзя", которое вскоре превратилось в лозунг – "долой самодержавие".

Еще до начала революции я принял участие в начавшемся земском движении.

Как известно, еще в конце 70-х годов, по инициативе И.И.Петрункевича, либеральные земцы разных губерний образовали тайную организацию под названием Земский Союз, которая ставила себе целью добиваться для России конституционного образа правления. В течение 80-х годов эта организация заглохла и наконец перестала существовать. Однако мысль о необходимости земского объединения, не только в целях политических, но и для координации практической деятельности, продолжала жить в умах наиболее видных земских деятелей. По мере расширения земской работы вопрос об общеземской организации приобретал все более практическую почву. Земское объединение становилось уже не политической мечтой либеральных земцев, а требованием хозяйственной жизни государства, в которой земства играли крупную роль. Но правительство из страха перед земским либерализмом упорно сопротивлялось этой очевидной необходимости.

Земцы не могли ждать, пока правительство осознает необходимость земского объединения, отсутствие которого отражалось на их деятельности. Приходилось, однако, приспособляться к правительственному запрету и вместо открытых съездов для обсуждения общих земских вопросов создавать суррогаты в виде частных совещаний, которые трудно было запретить. Инициативу в этом деле взял на себя председатель московской губернской земской управы

Д.Н.Шипов, который стал созывать в Москве частные совещания председателей губернских земских управ. Об этих совещаниях правительство не могло не быть осведомлено, но не решалось принять карательных мер против всех председателей управ, утвержденных министром внутренних дел в их должностях и числившихся на государственной службе. Это имело бы характер всероссийского скандала, вовсе правительству нежелательного, тем более, что на этих совещаниях, состоявших из людей самых различных по политическим убеждениям, вопросы о перемене государственного строя не затрагивались.

Так создалась земская организация, просуществовавшая несколько лет. Когда вспыхнула Японская война, это совещание таким же явочным порядком организовало на земские средства Общеземский союз помощи больным и раненым воинам, во главе которого стал председатель тульской губернской земской управы кн. Г.Е. Львов. Плеве попытался приостановить деятельность Союза, как незаконной организации, притом вышедшей за пределы земской компетенции, однако не решился прекратить ее полицейскими мерами из боязни произвести этим плохое впечатление в действующей армии. Так Земский союз, работая на фронте и получая на свою деятельность крупные ассигнования от правительства, оставался нелегальной организацией.

Из совещания председателей управ возникло и другое объединение земцев. Как я сказал выше, в это совещание входили люди самых разнообразных политических взглядов. Между тем политика правительства по отношению к земствам принимала все более и более агрессивный характер, втягивая и их в политическую борьбу. Поэтому вопросы земской политики приобретали все большее значение. Обсуждать такие острые вопросы на совещаниях председателей было невозможно. И вот Д.Н.Шипов образовал новый кружок земцев под названием "Беседа", в котором объединил наиболее видных земских гласных разных губерний, принципиальных сторонников свободных самоуправлений. И этот кружок не состоял из политических единомышленников. Сам Д.Н.Шипов принадлежал к славянофильскому течению русской мысли и был сторонником самодержавия, но самодержавия просвещенного и культурного, опирающегося на сочувствие народных масс и на свободное от административной опеки самоуправление. Его единомышленниками в "Беседе" были орловский и смоленский губернские предводители дворянства – М.А.Стахович и Н.А.Хомяков. Деятельное участие в "Беседе" принимали и умеренные либералы, как граф П.А.Гейден, кн. Е.Н.Трубецкой, С.Н.Маслов и др., а также более радикальное крыло земской оппозиции – И.И.Петрункевич, Ф.И.Родичев, Ф.Ф.Кокошкин, кн. Д.И.Шаховской, кн. Долгоруковы и др. Впоследствии эти группы земцев разошлись по разным политическим партиям, но в 1900–1901 годах их объединяла общая земская

политика. На заседаниях "Беседы" обсуждались вопросы о расширении компетенции земства, о его всесословности, о мелкой земской единице, а также очередные вопросы земской тактики по борьбе с правительственными мероприятиями, направленными к урезыванию прав местного самоуправления. В частности, много толков тогда вызывал разрабатывавшийся в канцеляриях проект создания министерства здравоохранения, которое должно было ведать всей земской медициной.

Я не принимал участия в "Беседе", ибо тогда не был еще земским гласным, но, живя в Орле, через М.А. Стаховича, С.Н. Маслова и Ф.В. Татаринова был в курсе обсуждавшихся там вопросов.

Когда я был избран гласным таврического земства, "Беседа" уже доживала последние дни. В преддверии революции политическая жизнь в России становилась интенсивнее, росли и оппозиционные настроения в земской среде. Наставало время для земств перейти от оборонительной политики к наступательной. Для этого "Беседа", руководимая сторонником самодержавия Шиповым, не годилась. И вот входившие в нее члены Союза Освобождения образовали новое земское объединение — Союз земцев-конституционалистов, в который приглашались лишь земцы, отрицавшие самодержавный строй и готовые вести борьбу за конституционный образ правления. Будучи уже членом Союза Освобождения, я сейчас же, ставши гласным таврического земства, был приглашен принимать участие и в Союзе земцев-конституционалистов. В отличие от "Беседы", особенно себя не скрывавшей, это была организация конспиративная. Перед каждым заседанием председатель предупреждал нас, что, в случае появления полиции, мы должны заявить, что собрались для создания какого-то акционерного общества, проекты устава которого раскладывались перед нами на столе. Однако полиция ни разу не нарушила наших заседаний. Может быть, она не была о них осведомлена, хотя скорее нужно думать, что Плеве о них знал и ждал лишь удобного случая, чтобы одним ударом разделаться с ненавистными ему земскими либералами. Но Плеве был убит, а сменивший его кн. Святополк-Мирский повел иную политику.

Первое заседание Союза земцев-конституционалистов, в котором я принял участие, происходило в Москве в конце 1903 года в великолепном особняке темниковского уездного предводителя дворянства Ю.А. Новосильцева. На меня оно произвело импонирующее впечатление. Во-первых, казалось совершенно невероятным, что в пору самой крупной реакции многочисленное собрание в огромном зале барского особняка откровенно обсуждало вопросы борьбы с существующим государственным строем в присутствии избранной публики, сидевшей вдоль стен. Было странно также видеть среди членов этого нелегального общества людей уже немолодых, известных своими умеренными либеральными взглядами и совершенно не приспособленных к какой-либо конспиративной деятельности, как

например, сам наш хозяин – Ю.А.Новосильцев, граф П.А.Гейден, кн. Н.С. Волконский и др. Если такие люди решились принять участие в обществе "заговорщиков" – то это уже само по себе показывало, что во всей структуре русской общественности происходят какие-то громадные сдвиги, подготовляющие взрыв старого самодержавия. На заседания земцев-конституционалистов съезжалось в Москву из разных мест 50-60 губернских гласных. (Из более видных земцев я встречал там от Тверской губернии – И.И.Петрункевича, Ф.И.Родичева и В.Д.Кузьмина-Караваева, от Ярославской – кн. Д.И.Шаховского, от Новгородской – А.М.Колюбакина, от Московской – кн. Павла Долгорукова, Ф.Ф.Кокошкина и Н.Н.Щепкина, от Орловской – А.А.Стаховича и Ф.В.Татаринова, от Курской – В.Е.Якушкина, А.Н. фон Рутцена и кн. Петра Долгорукова, от Вологодской – председателя управы Кудрявого, от Самарской – Д.Д.Протопопова, от Саратовской – Н.Н.Львова, от Харьковской – Н.П.Ковалевского и П.М.Линтварева, от Калужской – кн. Е.Н.Трубецкого, от Тамбовской – Петрово-Соловово, Ю.А.Новосильцева и И.П.Демидова, от Рязанской – кн. Н.С.Волконского, от Псковской – гр. П.А.Гейдена, от Черниговской – А.А.Свечина, от Екатеринославской – проф. Н.А.Карышева, от Нижегородской – Савельева и Килевейна и многих других). Вообще я едва ли ошибусь, если скажу, что все 34 земских губернии имели в организации земцев-конституционалистов хотя бы по одному представителю, а некоторые – по несколько. Каждый из этих лиц имел единомышленников среди губернских гласных в своей губернии, а многие были влиятельными гласными земских собраний. Большинство земских гласных не подозревало о существовании Союза земцев-конституционалистов, что облегчало ему проведение своих решений через земские собрания. Решения принимались в самой общей форме, и это давало возможность на местах приспособлять их к господствовавшим в собраниях настроениям. В одних земствах вопросы ставились более остро, в других – более осторожно, но везде члены тайного общества стремились действовать в одном направлении. Уже очередные собрания 1903 года прошли под заметным влиянием земцев-конституционалистов, а сессия 1904 года ознаменовалась организованными политическими выступлениями почти всех губернских земств. Но об этом будет сказано ниже.

Лето 1904 года ознаменовалось событием, которое может считаться отправным этапом революции 1905 года: 15-го июля был убит всемогущий министр внутренних дел фон Плеве. Это был первый случай в истории революционного террора, когда террористический акт повлек за собой не усиление реакции, а, наоборот, ее ослабление.

Начался период так называемой общественной "весны", вскоре сменившийся периодом революционных бурь. Однако конец лета

и начало осени 1904 года прошли внутри России относительно спокойно. В газетах мы читали интервью с новым министром внутренних дел, объявлявшим при всяком удобном случае, что его политика – политика доверия к обществу, в своей наивности совершенно не понимая, что общество уже не искало этого доверия, а стремилось к созданию власти, заслуживающей его доверия. "Доверие" Святополк-Мирского к обществу, выражавшееся в некотором облегчении цензуры и в более терпимом отношении к свободе устного слова на общественных собраниях, явилось лишь благоприятной почвой для подготовляющегося натиска на власть. Летние месяцы, однако, для этого были неподходящим временем, ибо значительная часть столичной интеллигенции проводила их вне города, а сессии земских собраний начинались лишь с осени.

Я хорошо помню это последнее тихое лето перед революцией. Я спокойно работал в земской управе, подготовляя ряд деловых докладов к очередному земскому собранию, а раз в две недели садился на симферопольского извозчика и, мягко покачиваясь в рессорном экипаже под большим белым зонтиком, защищавшим меня от палящего солнца, ехал на южный берег Крыма провести два дня с моей семьей. Обыкновенно извозчик довозил меня до Алушты, откуда 7 верст я уже шел пешком. (Дешевизна сообщений тогда была поразительная. За проезд из Симферополя в Алушту (48 верст) на тройке лошадей я платил всего 8 рублей).

Семья моя каждое лето проводила на южном берегу, в имении моего тестя Саяни. По крымскому масштабу это было довольно большое имение: около 30 десятин земли, из коих 8 десятин под виноградниками. Семья у тестя моего была большая. В это время, кроме семерых взрослых детей, появилось уже десять внуков. Зимой все жили в разных городах России, а на летние месяцы съезжались к дедушке и бабушке в Саяни. Старый дом уже не вмещал все это нисходящее потомство. Пришлось построить еще два дома – мне и моему шурину. Летом все три дома заполнялись до отказа, так как, кроме своих, всегда жили у нас и гости. В нашем муравейнике было шумно и весело. Купались, объедались фруктами и виноградом, предпринимали большие экскурсии в горы. Семья была исключительно дружная и, разросшись, превратилась уже в какой-то клан или племя, составлявшее свой замкнутый мирок со своими интересами, с общими печалями и радостями. Само собой разумеется, что для всего нашего племени Саяни представлялось лучшим местом земного шара. Дети знали и любили в нем каждый уголок, каждое деревце. Да и мне оно казалось каким-то особым счастливым миром, где, среди лучезарной южной природы, я отдыхал душой от суетливой общественной и политической жизни. Когда я приезжал в Саяни и, заменив городские одежды просторной блузой, выходил на балкон, завитый гирляндами роз, с видом на бесконечное синее море, я ощущал себя

как бы в другом плане бытия. Оставленная по ту сторону Крымских гор бурлящая общественная и политическая жизнь, со всеми ее волнениями и заботами, казалась далеким прошлым, которое я как-то умел забывать в мирной жизни нашего клана. Нигде поэтому я не отдыхал душой и не набирался новых сил так, как в этом очаровательном уголке Крыма.

Тогда мне казалось, что настоящей жизнью, важной и значительной, хотя и сопряженной с неприятностями и волнениями, я жил лишь в тех городских центрах, где протекала моя общественная деятельность, а здесь, за Крымскими горами, я лишь отдыхал в недрах своей семьи. Теперь, оглядываясь назад и оценивая свою прошлую жизнь, я думаю иначе. Ведь от всей моей политической деятельности и общественной работы не осталось почти никаких следов, а дружная семья, объединявшаяся на южном берегу Крыма, существует и до сей поры. И то ценное, что она дала моим детям, ими не растрачено...

В конце октября 1904 года я получил из Москвы приглашение приехать на совещание земцев-конституционалистов. Само собою разумеется, что я сейчас же отправился туда, понимая, что, при создавшейся в России политической обстановке, настает момент для решительных действий. В Москве я узнал, что бюро земцев-конституционалистов, совместно с шиповской "Беседой", наметило создать съезд, который должен открыто высказать политические пожелания земской России. Обсуждалась резолюция, которая затем была принята большинством на первом общеземском съезде в Петербурге 6 ноября 1904 года. Предполагалось, что на этот съезд соберутся председатели губернских управ и земские гласные, выбранные для участия на съезде частными совещаниями гласных. Так как меня никто не выбирал, то я не счел себя вправе участвовать в съезде и из Москвы поехал назад в Симферополь. Оказалось потом, что я проявил излишнюю щепетильность. Добрая половина членов съезда не имела, подобно мне, никаких полномочий, и я очень жалел, что не был участником этого исторического события.

Постановления первого земского съезда с четко формулированными требованиями конституционных реформ были началом "военных действий" в открывшейся с этого момента войне между Россией и ее правительством. Громкое и ясное заявление того, о чем до сих пор русская интеллигенция могла говорить лишь эзоповским языком, произвело огромнейшее впечатление во всей стране, а то обстоятельство, что смелый поступок земцев не вызвал никаких репрессий со стороны правительства, поощрял даже самых робких людей в проявлении своего недовольства властью. На собравшемся вслед за земским съездом съезде Союза Освобождения было решено поддержать земские требования в разных городах России на целом ряде публичных собраний, приуроченных к празднованию сорокалетия введения судебных уставов, а земцы-конституционалисты

решили использовать ближайшую ноябрьско-декабрьскую сессию губернских земских собраний для политической демонстрации. Повод для нее тоже представился удобный: императрица только что произвела на свет наследника русского престола, и земские собрания могли по этому случаю непосредственно обращаться к царю с поздравительными приветствиями.

В ноябре и декабре в большинстве русских губернских городов царило невероятное политическое возбуждение по случаю начавшегося так называемого "банкетного" движения. Газеты были полны описаниями политических банкетов с изложением совершенно непривычно смелых речей ораторов, из которых цензура, однако, неукоснительно вычеркивала слово "конституция". Потом пошли сессии земских собраний с обращениями к царю о необходимости коренных реформ. Инициаторы, земцы-конституционалисты, приспособляясь к господствующим в собраниях политическим настроениям, давали этим обращениям различные формы и содержание. Слово "конституция" в них не упоминалось, но все единодушно настаивали на даровании политических свобод и на созыве народного представительства. В обращениях более левых или смелых собраний при этом указывалось, что народное представительство должно участвовать в законодательстве, в составлении бюджета и в контроле за администрацией, т.е. ему присваивались функции парламента; более умеренные или робкие собрания ограничивались пожеланием, чтобы царь "услышал голос представителей народа", что можно было толковать как пожелание о созыве не парламента, а лишь земского собора.

В Крыму в это время было совершенно тихо. Сессия земского собрания была отложена на январь месяц, а раскачать местных "нотаблей" на политический банкет, несмотря на усилия освобожденцев, было трудно. Как я уже писал выше, структура крымского общества сильно отличалась от того, что было в других местностях России. Местная интеллигенция, которой принадлежала в начале революции инициатива всяческих выступлений, здесь тесно срослась с разноплеменной обывательской массой. Это создавало ей большее влияние в населении, но слабость сословных и бытовых перегородок мешала кружковой сплоченности, необходимой для производства революционных фейерверков. Поэтому в своих революционных выступлениях Крым отставал от других местностей России, несмотря на то, что может быть нигде отрицательное отношение к самодержавному режиму не было так сильно и сознательно. Мне лично, впрочем, пришлось принять участие в маленьком акте политического протеста. Первым земством, выразившим пожелание о созыве народного представительства, было черниговское. Адрес его был составлен в весьма почтительных и умеренных выражениях, с отсутствием даже намека на конституционные реформы. Однако это были первые полученные царем либеральные пожелания земских

людей после тех, которые он при вступлении на престол назвал "бессмысленными мечтаниями". Возобновление "бессмысленных мечтаний" привело в негодование придворные сферы. Негодование было тем большее, что на черниговском собрании председательствовал губернский предводитель дворянства А.А. Муханов, камергер двора его величества, хорошо известный Николаю II как бывший его однополчанин по лейб-гвардии гусарскому полку. То, что крамольный адрес был допущен Мухановым к обсуждению в собрании и прошел единогласно, было принято Николаем II не только как неуместная политическая демонстрация, но и как личная дерзость придворного. Муханов не мог быть смещен с должности предводителя дворянства, но о его неправильных действиях было немедленно возбуждено дисциплинарное расследование, на время которого он устранялся от председательствования в собрании, а независимо от этого по высочайшему повелению он был лишен придворного звания.

Расправа с Мухановым вызвала негодование в широких общественных слоях, и он был засыпан сочувственными телеграммами со всех концов России.

В Симферополе инициативу посылки приветствия Муханову взяли на себя два члена губернской земской управы – М.К. Мурзаев и я. Мы составили текст приветствия и стали собирать подписи. Но для сбора подписей требовалось время, и мы решили послать Муханову телеграмму от граждан Симферополя за нашими двумя подписями, а подлинный адрес дослать потом по почте. Так как мы с Мухановым не были лично знакомы, то сочли необходимым подписать телеграмму, обозначив на ней наши должности – членов губернской земской управы.

Через несколько дней губернская управа получила от губернатора уведомление, что за посылку приветствия Муханову мы оба, по распоряжению министра внутренних дел, уволены от занимаемых нами должностей. Если не ошибаюсь, это была единственная репрессивная мера, примененная к земским деятелям Святополк-Мирским. Это обстоятельство создало нам на короткое время всероссийскую известность. В течение нескольких дней наши имена не сходили с газетных столбцов. Нечего и говорить, что в Симферополе мы сделались самыми популярными людьми. На улице малознакомые люди нам пожимали руки. В одном частном доме было даже организовано наше чествование с весьма высокопарными речами. По всей вероятности, и своим избранием в 1-ю Государственную Думу я отчасти был обязан этому маленькому происшествию с адресом Муханову, подписывая который мы не представляли себе, что он будет чреват для нас такими последствиями.

Из симферопольской интеллигенции только я один входил в Союз Освобождения и поддерживал с ним связь, участвуя в его

съездах в Москве и Петербурге. В Симферополе я не образовал группы Освобождения. Это было и не нужно, и даже могло бы вредно отразиться на моей политической работе в первый, так сказать, "словесный" период революции, когда было важно сохранять общий фронт борьбы, в котором социал-демократы и социалисты-революционеры принимали участие вместе с освобожденцами. К Союзу Освобождения левые партии, особенно эсдеки, относились враждебно, и, если бы в Симферополе появилась группа Освобождения, наш общий фронт неизбежно дал бы трещину. Между тем, в этом мирном городе было мало людей, способных на инициативу в политических выступлениях и готовых идти на сопряженный с ними риск своей карьерой или даже свободой. Поэтому мы, "делавшие" в конце 1904 и начале 1905 года революцию в Симферополе, не присваивали себе никакой партийной или групповой клички. Нас было четверо: упоминавшийся уже выше мой коллега по земской управе М.К.Мурзаев, редактор "Вестника таврического земства" Л.С.Зак, исключенный из Лесного института студент В.А.Могилевский и я. Могилевский, впоследствии хорошо знакомый парижской эмиграции заведующий конторой "Последних Новостей", был тогда юношей 22-23 лет. Он был социал-демократом и одним из самых влиятельных членов местной с.-д. подпольной организации. По натуре, однако, он не был сектантом, имел связи с местным буржуазным обществом и особенно тяготел к общественной деятельности, выходящей за узкие партийные рамки. Все любили этого доброго и отзывчивого юношу, всегда готового помочь и услужить всякому, кто в нем нуждался. Он и до сих пор остался таким. Социал-демократическими теориями он не занимался, но, попав еще студентом в ряды с.-д. партии, оставался ей верен всю свою жизнь. Л.С. Зак был экономистом научной складки. По убеждениям был социалистом народнического направления, но по свойствам натуры не мог войти в ряды профессиональных революционеров, примкнув к этой партии лишь на короткое время после революции 1917 года, когда перед ней, казалось, открывалась возможность государственного строительства. М.К.Мурзаев был самым правым в нашей компании. Он был убежденным либералом, сторонником буржуазного строя и врагом социалистических утопий. Разница наших взглядов, однако, не мешала нам в этот период медового месяца революции 1905 года составлять сплоченную группу.

В период "банкетного движения" мы взяли на себя инициативу устройства банкета в Симферополе. Для того, чтобы банкет вышел импозантной демонстрацией, мы поставили себе целью привлечь к его организации не революционеров, а людей с видным положением в местном обществе, известных сравнительно умеренными взглядами. Собрали инициативную группу человек в пятнадцать, в которую вошло несколько земских гласных, несколько

адвокатов, землевладельцы, коммерсанты, практикующие врачи, т.е. весь цвет симферопольской интеллигенции. Мы собирались в доме самого видного симферопольского врача, доктора Минята. Это был высокий старик с огромной седой бородой по пояс. Прежде, когда эта борода была белокурой, в течение многих лет он был главным врачом Сакской грязелечебницы и прославился не только как талантливый врач, но и как неотразимый сердцеед. Курортные дамы бегали за ним табунами, и о его романах ходило множество городских сплетен. Теперь этот бывший лев, оставшийся старым холостяком, сколотил себе хорошее состояние и жил один в своем удобном особняке, кое-когда выезжая на врачебные консилиумы. Он любил хорошо поесть и хорошо угостить. И все наши собрания заканчивались обильным ужином со спиртными напитками. Ужинали мы у доктора Минята в ноябре, ужинали в декабре... Волна банкетов прокатилась за это время по всей России, а у нас ничего не вытанцовывалось. Наши "нотабли", как мы их называли, говорили за ужином либеральные слова, но боялись скомпрометировать на политическом банкете свое политическое благонравие, и всякое практическое предложение встречало бесконечное число мелких возражений. Пропустили мы юбилей судебных уставов, пропустили еще другие разные поводы. Наконец остановились на таком плане: в Симферополе когда-то возникло сельскохозяйственное общество с утвержденным уставом. Оно влачило жалкое существование и наконец совсем захирело. Но устав остался. Вот и решили воскресить его с тем, чтобы использовать одно из его заседаний для публичного произнесения речей политического содержания. Если Общество после этого будет закрыто – беда не велика, ибо оно все равно существовало лишь на бумаге. Много времени ушло на всевозможные формальности – выборы новых членов, президиума и пр. Только на 10 января 1905 г., т.е. с двухмесячным опозданием по отношению к периоду политических демонстраций в других городах, нам удалось устроить в зале городской Думы с такими трудностями подготовленное публичное собрание. Оно совпало с сессией губернского земского собрания, которое тоже должно было присоединить свой запоздавший голос к политическим заявлениям других земских собраний, большинство которых уже состоялось в ноябре и декабре.

Я заготовил к земскому собранию текст адреса государю по случаю рождения наследника, в который включил конституционные пожелания. Накануне открытия собрания мы созвали группу либеральных гласных, человек десять, для обсуждения проекта адреса. Из четырех стариков собрания присутствовало трое. Колчакова мы не пригласили, опасаясь какого-либо подвоха с его стороны. Адрес был одобрен, хотя старики высказывали почти полную уверенность, что собрание его отвергнет. Особенно пессимистически был настроен мой тесть В.К.Винберг, который сам в 1881 году потерпел поражение

в собрании по аналогичному случаю. Ввиду того, что я имел репутацию крайнего радикала, решено было скрыть от собрания мое авторство, и поручили выступить с проектом адреса С.С.Крыму, имевшему репутацию осторожного и умеренного. Эта маленькая хитрость решила судьбу всего дела.

В моей памяти ярко сохранилось воспоминание о первом дне земского собрания в первых числах января 1905 года. Против обыкновения, все места для публики были заняты, многие стояли в проходах, толпились, вытягивая шеи, в дверях. Открывая собрание, губернатор Трепов, в камергерском мундире, произнес обычную трафаретную речь. Он, конечно, знал о готовящейся политической демонстрации и видимо волновался, но ничего не сказал по этому поводу. Время было такое, что запретить подачу адреса он не решался, но все же опасался возникновения каких-либо резких прений при его обсуждении. От того, как в дальнейшем развернутся события, зависела его будущая карьера. В большом волнении находился и председательствовавший в собрании симферопольский предводитель Чабовский. Поэтому перед собранием он заезжал советоваться с губернатором о том, как быть. Трепов придумал очень хитроумную комбинацию: перед собранием Чабовский заявил гласным, что он допустит оглашение адреса на собрании лишь в том случае, если он будет принят единогласно и без прений. Для обсуждения же его должно быть созвано закрытое частное совещание всех гласных. Трепов надеялся, что 73 гласных земского собрания, среди которых есть левые и правые, решительные и робкие, не смогут единогласно одобрить какое бы то ни было заявление политического характера. В таком случае неприятный для его карьеры адрес будет похоронен без всякого его вмешательства и все неудовольствие гласных обрушится на глупого Чабовского.

Расчет казался правильным, и, когда я узнал о поставленных Чабовским условиях, я тоже был уверен, что дело наше проиграно.

Пришедшая на собрание публика была крайне разочарована, когда, после его открытия, Чабовский предложил гласным удалиться на частное совещание, отложив публичное собрание до следующего дня.

На частном совещании С.С.Крым прочел текст моего проекта адреса. "Ваше императорское величество! Таврическое губернское земское собрание приветствует вас, государь, с рождением сына, наследника русского престола. В трудную годину появился он на свет, в годину войны жестокой и кровопролитной, в годину тяжелой внутренней смуты. Да будет мир! Мир внутри России и на ее границах – вот лучшие пожелания, какие могут выразить все ваши верноподданные у колыбели царственного сына вашего"... Дальнейшего текста не помню дословно. В нем указывалось, что достигнуть

внутреннего мира невозможно без коренных реформ: без дарования русским гражданам свободы слова, печати, собраний и т.д. и без созыва представителей всего народа для участия в законодательстве, в составлении государственного бюджета и для осуществления контроля над действиями администрации. Заканчивался адрес еще несколькими заключительными фразами о том, что после проведения указанных реформ – "вы передадите вашему наследнику мощную державу, свободную внутри и несокрушимую извне, охраняемую любовью всех верноподданных ваших".

Впечатление, произведенное на гласных чтением этого адреса, было огромное. Когда Крым кончил чтение, водворилось какое-то торжественное молчание. Кто-то вполголоса произнес: "Очень хорошо, превосходно". Некоторые подошли к С.С.Крыму, которого считали автором, и сочувственно пожимали руку. Большинство гласных не понимало, что между всеми этими пышными словами высказано пожелание о коренном изменении государственного строя, весьма неприятное адресату. По существу же, все единодушно желали прекращения войны и внутренней смуты и не видели ничего предосудительного в том, что их ("представителями всего народа" они по наивности считали себя) призовут к участию в законодательстве и к контролю над администрацией, которая в это время особенно была склонна не считаться с действующими законами. Правые думали, что адрес, вносимый "левыми", будет недостаточно почтителен, и готовились его проваливать. И вдруг оружие выпало из их рук. По существу, они тоже не понимали главного, что составляло его содержание. А тут еще старый либерал В.К.Винберг сказал несколько слов о том, что адрес его не удовлетворяет своей неопределенностью. С его стороны эта критика "слева" была военной хитростью, которая удалась блестяще. Видя, что левые недовольны адресом, правые стали его поддерживать. Потребовали, чтобы адрес был прочтен еще раз, и опять все остались довольны. И вот произошло то, чего я, автор адреса, совершенно не ожидал. Он был принят единогласно.

На следующий день, снова при огромном скоплении публики, открылось земское собрание. По предложению председателя все гласные встают и стоя выслушивают текст адреса, который читает С.С.Крым красивым грудным голосом, слегка дрожащим от волнения. Гласные стоят неподвижно. Лица серьезные, напряженные, сосредоточенные. У некоторых на глазах слезы. Они текут по щекам старого Е.В.Рыкова и скатываются на его седую бороду...

Чтение кончено.

– Возражений нет? – спрашивает председатель.

Адрес принят единогласно.

Под неистовые аплодисменты публики объявляется перерыв заседания.

Одна маленькая подробность: перед самым открытием заседания ялтинский предводитель дворянства Попов от лица трех гласных заявил Чабовскому, что они все-таки будут голосовать против адреса, если в него не будет вставлена фраза, усиливающая его верноподданнический характер. Срочно опять было созвано частное совещание. Я было собрался возражать против допустимости поправок в тексте, уже принятом единогласно, но мои друзья убедили меня уступить. Фраза была вставлена. И все-таки ее авторы, произведшие такое насилие над собранием, в момент оглашения адреса поднялись со своих мест и демонстративно вышли из зала. Очевидно, им кто-то раскрыл, что адрес содержит пожелания об ограничении самодержавия, то, чего эти глупые и невежественные люди сами понять не могли, когда первоначально голосовали за его принятие. Своей поправкой они надеялись сорвать единогласие, а когда это не удалось, трусливо нарушили свое обязательство за него голосовать. Говорили, что и тут за кулисами действовал губернатор Трепов.

Собрание приступило к текущим делам, но бурные и волнительные для меня дни продолжались.

10 января собралось в здании городской Думы воскрешенное нами Сельскохозяйственное общество, которое должно было, тоже по выработанному заранее плану, высказаться за необходимость конституции. Мы заранее заготовили речи и распределили их между инициаторами, собиравшимися на ужинах у доктора Минята. Местный садовладелец А.И.Пастак должен был прочесть доклад о положении сельского хозяйства, а затем в речах других ораторов сельскохозяйственная тема подлежала расширению в целом ряде речей уже политического содержания.

Мне была поручена заключительная речь об ограничении самодержавия, после чего предполагалось принятие Обществом заранее подготовленной политической резолюции.

Все, однако, вышло совсем не так, как мы предполагали. Из симферопольских "нотаблей", которых мы так тщательно вербовали в члены общества, почти никто не пришел. Не пришли даже многие из инициаторов, не исключая и нашего милого хозяина д-ра Минята. А из намеченных ораторов явилось не более половины. Между тем весть о том, что на заседании Сельскохозяйственного общества будут говориться политические речи, быстро разнеслась по городу, и когда я в намеченный час вошел в здание городской Думы, то едва мог протискаться в зал заседания через плотно стоявшую толпу. Толпа состояла из совершенно мне неизвестных людей – торговцев, приказчиков, рабочих, т.е. из разношерстной и разноплеменной симферопольской демократии, жаждавшей впервые услышать публичное свободное слово.

Немногочисленные члены общества уселись вокруг стола, и председатель, благодушный добряк, крупный землевладелец

Ф.Ф. Шнейдер,* открыл заседание. Но уже во время вступительного доклада публика, входившая с улицы, двинулась густой толпой по лестнице, надавила на стоявших в зале, а те в свою очередь навалились на нас. Всем пришлось встать со своих мест, и лишь один председатель, притиснутый столом к стене, продолжал сидеть на своем кресле, растерянно улыбаясь. Помимо нашей воли, заседание превратилось в митинг. Говорить нам, стоя в густой толпе, было невозможно. Непривычные к митинговой обстановке, мы было совсем растерялись, тем более, что, отделенные друг от друга толпой, не могли сговориться между собой. Первый нашел выход из положения один из наших ораторов – В.И. Якобсон. Нарушая установленную очередь (ему полагалось говорить предпоследним о равноправии), он ловко вскочил на стол и произнес блестящую импровизированную речь, включив в нее темы всех отсутствующих ораторов – о всех свободах, веротерпимости и равноправии. Его речь увлекла слушателей, и он соскочил со стола под гром аплодисментов.

Когда наконец очередь дошла до меня и, взобравшись на стол, я увидел перед собой эту толпу возбужденных людей с красными и потными лицами, почувствовал устремленные на меня со всех сторон выжидательные взгляды, то у меня с непривычки даже слегка закружилась голова. Ораторским талантом я совсем не обладаю, не обладаю даже необходимой для публичных выступлений гладкостью речи. Но в этой необыкновенной обстановке я чувствовал себя точно в хмельном состоянии, и язык мой развязался. А когда я кончил речь словами: "Нам нужны гражданские свободы, нужен парламент, избранный всеобщим голосованием, словом, нужна конституция", – публика пришла в неистовство. Раздались бурные аплодисменты, восторженные крики. Я пожимал тянувшиеся ко мне руки и, соскочив со стола, едва мог пробраться в соседнюю комнату между приветствовавшими меня со всех сторон незнакомыми мне людьми. Таково было действие первого свободного слова. Мне ставили в особую заслугу публичное произнесение слова "конституция", которое в это время цензура вычеркивала из всех газетных статей.

По выработанному нами плану, моя речь должна была быть последней. Но уже не мы, организаторы собрания, были хозяевами положения. А кроме того, внезапно в толпе распространилось известие о полученной из Петербурга тревожной телеграмме. Это было сообщение о расстрелах 9 января. Кто-то вскочил на стол и возбужденно сообщил толпе о происшедшем. А затем один за другим на столе стали появляться неизвестные мне люди, из

---

* В 1918 году этот милый и безобиднейший человек был одной из первых жертв большевистского террора в Крыму.

которых каждый старался революционностью стиля перещеголять своего предшественника. Бедный наш председатель хотел закрыть собрание, но никто его не слушал, и он продолжал беспомощно сидеть, затиснутый толпой на своем кресле.

Митинг кончился поздно ночью, и только при выходе нас встретила полиция, разгонявшая останавливавшиеся на тротуарах группы людей.

Через несколько месяцев ко мне на южный берег приехал жандармский ротмистр производить дознание о митинге 10 января. Он чувствовал себя очень неловко и старался скорее закончить свой допрос. Революционные события за это время развернулись настолько, что наш митинг даже жандармам представлялся детской игрушкой.

Земское собрание, между тем, продолжалось. Когда я пришел на его заседание на следующий день после митинга, некоторые гласные смотрели на меня с робким почтением, другие — с неприязнью.

По мере развития революции в аморфном собрании началась политическая дифференциация. Все же, когда настал момент выборов двух членов управы, вместо М.К.Мурзаева и меня, уволенных распоряжением министра внутренних дел, наши старики настояли на том, чтобы снова выбрали нас. Сейчас же отправилась делегация к губернатору просить о том, чтобы он нас утвердил. Трепов согласился утвердить одного лишь Мурзаева, а обо мне выразился так: "При всем добром желании не могу утвердить членом управы общественного деятеля, скачущего по столам". Собрание нашло выход из положения: по земскому положению, оно имело право выбирать из своей среды лиц в помощь управе по заведованию отдельными отраслями земского хозяйства. На эти должности не требовалось утверждения губернаторов. Вот и выбрали М.К.Мурзаева членом управы, а меня (на этот раз — далеко не единогласно) заведующим несколькими отделами земского хозяйства. Фактически я снова сделался таким же членом управы, каким был до своего увольнения.

На этом же земском собрании вполне официально происходили выборы делегатов на не разрешенные правительством общеземские съезды. Из шести намеченных записками гласных я получил наименьшее число голосов. Были избраны: В.К.Винберг, А.В.Новиков, С.С.Крым, М.К.Мурзаев, П.Н.Толстов и я.

За периодом "банкетов" и земских собраний с политическими заявлениями наступил период профессиональных съездов в Москве и Петербурге. Главными их организаторами были, конечно, члены Союза Освобождения. Происходили съезды учителей, врачей, ветеринаров, адвокатов, инженеров и других интеллигентных профессий, и все они действовали по одному общему шаблону. Вначале шли деловые доклады, в которых указывались недостатки в

постановке того или иного профессионального дела. Затем выступали ораторы, доказывавшие, что главной причиной этих недостатков является государственный строй, стесняющий свободную инициативу и тормозящий развитие культуры и просвещения, а затем единогласно, под гром аплодисментов, принималась резолюция с требованием свобод и конституции.

Заканчивались съезды постановлениями об образовании соответствующих профессиональных союзов и выбором их правлений. К осени 1905 года почти все существовавшие в России интеллигентные профессии имели свои представительства в столицах, которые, объединившись между собою и с некоторыми рабочими профессиональными союзами, образовали центральную организацию под названием Союз Союзов, председателем которой был избран недавно вернувшийся тогда из Болгарии П.Н. Милюков.

Провинция, не имевшая своих съездов, считала, однако, своим долгом посылать на столичные съезды приветствия с более или менее революционными пожеланиями в виде телеграмм или длинных адресов с подписями лиц соответствующей профессии или иной какой-либо объединенной группы, которые оглашались на съездах. И чем больше в таких приветствиях было резких слов по отношению к правительству, тем восторженнее их выслушивали на съездах.

В Симферополе большую часть таких приветствий приходилось писать мне и Л.С. Заку. От врачей и педагогов, от агрономов и ветеринаров и т.д. Как-то мне пришлось приветствовать какой-то съезд даже от симферопольских женщин... В конце концов все эти трафаретные приветствия набили оскомину. Я старался варьировать в них слова и выражения, но все-таки не мог вылезти из надоевшего мне своей стереотипностью трафарета. Вспоминая это время, спрашиваешь себя: как могло правительство, располагавшее еще надежными кадрами полиции и войск, допустить это массовое нарушение существовавших тогда законов — все эти бурные собрания, созывавшиеся, как тогда говорилось, явочным порядком, т.е. без надлежащего разрешения, все эти со всей России несшиеся революционные заявления, в которых все чаще и чаще звучали по отношению к нему угрозы и слышались призывы к ниспровержению власти? На этот вопрос может быть дан только один ответ: власть в это время находилась в полной прострации. Под давлением поражений на японском фронте, она сделала попытку несколько ослабить вожжи реакции, но, привыкшая к беспрекословному себе подчинению, не умела управлять страной, в которой подданные ощутили себя гражданами. Вернуть старый режим она уже чувствовала себя не в силах, а стать на путь реформ не только боялась, но и не хотела. Вот и создалась революционная ситуация: власть не меняла существовавших законов, а в бессилии смотрела на то, как эти законы сами падают под напором толпы.

Ниспровергнуты были законы о собраниях и союзах, потом упразднена была цензура, потом начался период забастовок, военных бунтов, восстаний, частичных захватов власти и т.д.

Для меня, волею судеб попавшего в самую гущу революции 1905 года и ясно представляющего себе общественные настроения того времени, не подлежит сомнению, что, если бы так называемая Булыгинская конституция была дарована не в августе, а в январе 1905 года и сопровождалась бы точно изложенными законами о свободе собраний, союзов, печати и т.д., русское общество приняло бы эти реформы с восторгом и правительство легко справилось бы с неизбежными в таких случаях революционными эксцессами. Но время это было упущено, а когда в стране происходит революция, положение борющихся сил меняется на протяжении не только месяцев, но недель и дней. Средства, пригодные вчера, завтра уже не годятся...

Значительную часть бурного 1905 года я провел в поездках в Москву на общеземские съезды и приноравливавшиеся к ним съезды Союза Освобождения и земцев-конституционалистов. В этот период революции, когда натиск на власть вела главным образом интеллигенция, а народные массы еще почти не выступали на арену борьбы, руководство движением принадлежало Союзу Освобождения. На его съездах разрабатывались как программные, так и тактические вопросы, и принятые директивы передавались, с одной стороны, в Союз Союзов, а с другой – в земскую среду через союз земцев-конституционалистов. Решения, принятые Союзом Освобождения, легко проходили у земцев-конституционалистов, где освобожденцы составляли сплоченную группу, а затем земцы-конституционалисты проводили их через общеземские съезды, резолюции которых получали всероссийскую огласку.

Все шло гладко в начальных стадиях революции, когда можно было удовлетворяться провозглашением общих лозунгов о свободах, правовом строе и народном представительстве. Но уже в первой трети 1905 года революция вышла из "приготовительного класса". Все чувствовали, что власть дала трещину и не сегодня-завтра сдаст свои позиции. Нужно было думать не только о борьбе с нею, а и о тех основах, на которых должно быть построено обновленное русское государство. Поэтому приходилось сговариваться относительно положительной политической программы. В Союзе Освобождения эта программная работа шла сравнительно успешно. Члены Союза, принадлежавшие преимущественно к левой либеральной и правой социалистической интеллигенции, уже в его организационном периоде нашли некий объединяющий их компромисс, а во время двухлетней конспиративной работы хорошо познакомились и научились понимать друг друга с полуслова. Поэтому общие вехи

программы, или, как ее называли, "платформы",* были намечены легко. О республиканской форме правления тогда еще никто не думал. Вопрос об Учредительном собрании возник уже после. Легко сошлись на всеобщем, прямом, равном и тайном избирательном праве, на расширении прав самоуправлений и их демократизации и т.д. Камнем преткновения явился вопрос о дву- или однопалатной системе. Тут наши государствоведы решительно запротестовали против всего левого фронта. Но, не желая на этом не слишком принципиальном вопросе раскалывать союз, решили этот пункт программы оставить открытым. Что касается социальных реформ, то тут большинство было единодушно. В частности, вопрос аграрный, связанный с принудительным отчуждением частновладельческих земель в пользу крестьян, прошел довольно легко, при слабой оппозиции, и поручено было С.Н.Прокоповичу более детально его разработать. Так, благодаря взаимным уступкам со стороны правой и левой групп союза, он благополучно существовал до 17 октября.

На съездах земцев-конституционалистов все эти программные вопросы были выдвинуты освобожденцами уже летом 1905 года. Там они проходили со значительно меньшим единодушием. Члены этих съездов были гораздо менее сплочены. К участию в них были привлечены земцы, объединявшиеся на отрицательном отношении к самодержавию и на стремлении заменить его конституционным государственным строем. На этом вопросе сходились и либеральные аграрии, которые в любом западном государстве входили бы в правые, консервативные партии, и умеренные либералы старой манчестерской школы, вроде графа Гейдена, и демократы всех оттенков, до социалистов включительно. Но уже вопрос о всеобщем и, в особенности, о прямом избирательном праве встретил там бурную оппозицию, которая не подчинилась большинству сторонников "четыреххвостки".

Русская интеллигенция в своей массе, в особенности социалисты, считали четыреххвостку незыблемым догматом. Стоило в каком-нибудь документе или резолюции высказаться за всеобщее избирательное право, хотя бы просто в интересах стиля не упомянув об остальных трех "хвостах", как в прессе и на митингах поднимался гвалт. Вас начинали обвинять в двуличности, в недопустимом компромиссе с крупной буржуазией, в измене принципам демократии и т.д. Я знал многих людей, которые с глазу на глаз высказывали мне свои сомнения в целесообразности прямых выборов, но из страха перед общественным мнением за них голосовали. Я лично

---

* "Программа" считалась принадлежностью партий, а Союз Освобождения, вырабатывая программу, должен был называть ее платформой во избежание принципиальных расхождений между своими флангами.

был сторонником "четыреххвостки" по целому ряду соображений, теперь мне кажущихся легкомысленными и неправильными, хотя и тогда не проявлял в этом вопросе особого ригоризма. Старые опытные земцы-практики готовы были мириться со всеобщими выборами, через силу уступая давлению на них более левых коллег, но прямые выборы им казались совершенной нелепостью. Помню, как на одном из общеземских съездов, на котором обсуждалась резолюция об избирательном праве, один из земцев-конституционалистов, кн. Н.С.Волконский, заявил: "Господа, как себе хотите, а моя дурья башка постичь не может, как неграмотные мужики будут голосовать за неизвестных и чуждых им партийных кандидатов". Если бы он дожил до революции 1917 года, то понял бы, как это происходит, но еще больше укрепился бы в правоте своей "дурьей башки".

Вторым камнем преткновения для земцев-конституционалистов был аграрный вопрос. Помню, какие страсти разгорелись при его обсуждении. Правда, и между сторонниками аграрной реформы вскрылись крупные разногласия. С одной стороны – старые народники, В.Е.Якушкин, проф. Н.А.Каблуков и проф. А.А.Мануйлов, а с другой – сторонник мелкой крестьянской собственности М.Я.Герценштейн. Редко мне приходилось слышать такие блестящие доклады, как доклад Герценштейна по аграрному вопросу на заседании земцев-конституционалистов в Москве. Все речи его противников были чрезвычайно бледны, а может быть казались мне такими, ибо я всецело разделял его точку зрения. Но противников реформы оказалось тоже много. Расхождение во взглядах по аграрному вопросу показало, что пришел конец организации земцев-конституционалистов.

Было и еще одно бурное заседание этой организации, на котором еще больше обнаружилось расхождение и взаимное раздражение между ее членами. В начале июля на заседании появился председатель Союза Союзов П.Н.Милюков и предложил нам, в качестве одного из действующих союзов, войти в состав этой центральной организации. Это предложение произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Союз Союзов, в котором руководящая роль принадлежала представителям левой радикальной и социалистической интеллигенции, занял по отношению к правительству резко революционную позицию, совершенно не соответствовавшую настроениям земцев, хотя и конституционалистов, привыкших к лояльным и корректным формам борьбы. Для многих из них присоединение к Союзу Союзов было равносильно отказу от самих себя. Кроме того, сохраняя самостоятельность, они еще могли рассчитывать, что представляют собой ту общественную среду, которая создаст необходимый для нормальной государственной жизни компромисс между властью и революцией, а переходя окончательно на сторону революции, они устраняли возможность такого компромисса. Все эти соображения

были высказаны в заседании. Милюков, почувствовав, что его предложение пройти не может, ответил чрезвычайно резко и грубо. Смысл его речи был таков: "Не хотите с нами идти – вам же хуже. Революция вас раздавит". Надменный тон милюковской речи раздражил даже его сторонников, и его предложение было отклонено значительным большинством голосов. Не помню, это ли собрание, или то, на котором обсуждался аграрный вопрос, было последним собранием земцев-конституционалистов, после которого организация эта, не приспособленная к революционным формам борьбы, перестала существовать. Заседания Союза Освобождения и земцев-конституционалистов в Москве обычно приурочивались к моменту созыва общеземских съездов. Не помню точно, сколько раз собирались эти съезды в период между первым петербургским съездом 6 ноября 1904 года и Манифестом 17 октября 1905 г. Вероятно – раз пять или шесть. При воспоминании о своих поездках в Москву из Симферополя я до сих пор отчетливо ощущаю настроение какого-то радостного оживления, которое тогда мною переживалось. Тогда еще верилось, что весь мир идет быстрыми шагами вперед по пути прогресса, который нам иначе не представлялся, как в виде направляющейся вдаль прямой дороги к осуществлению блага и счастья человечества. И радостно было ощущать, что и наша родина наконец прорывается через преграды, до сих пор ее отклонявшие от этого пути.

Между моими поездками в Москву происходили какие-либо события, представлявшиеся нам как этапы в нашей победоносной борьбе со старым самодержавием, которое сопротивлялось еще, но сдавало одну позицию за другой. Особую радость доставляли с каждым разом усиливавшиеся крики деревенских мальчишек, атаковывавших поезда с криками – "газету, газету!.." Пассажиры умилялись этому проснувшемуся в народе интересу к общественной жизни, с радостными улыбками бросали в окна пачки прочитанных газет и смотрели, как ребята гнались за ними и, поймав, весело мелькали голыми пятками, унося родителям эти "плоды просвещения". Теперь я думаю, что интерес к газетам в деревнях, появившийся в начале Японской войны, лишь отчасти поддерживался умственными запросами, а в большей степени – курительными потребностями населения.

Курьерский поезд, мчавшийся из Крыма в Москву, был местом первого свидания земцев, направлявшихся на съезд. На каждой узловой станции появлялись знакомые лица, обменивались рукопожатиями, начинались оживленные разговоры. Вся земская компания собиралась в вагоне-ресторане, все бодрые, оживленные, шумные, обменивались мнениями о текущих событиях, сообщали друг другу местные новости... А в Москве, на съездах, на которые съезжалось человек 150-200, и на общих обедах в ресторане "Прага" на Арбате – новые встречи, новые интересные беседы.

До лета 1905 г., когда революция вступила уже в период крови и насилий с обеих сторон, земские съезды были крупными событиями, сосредоточивавшими на себе внимание всей интеллигентной России. И мы, участники съездов, видя себя центром исторических событий, невольно, кроме естественного возбуждения, испытывали от этого и некоторую гордость удовлетворенного честолюбия. Теперь, когда вся эта описываемая эпоха отошла в далекое прошлое, земские съезды со всеми их красивыми речами и резолюциями представляются маленьким историческим эпизодом, но тогда, когда будущие события, своей значительностью затмившие земские съезды, еще были скрыты от нас, мы естественно преувеличивали роль всего того, в чем принимали участие.

Общеземские съезды по самой своей конституции не могли состоять из единомышленников даже в той слабой степени, как съезды земцев-конституционалистов. Члены их выбирались либо земскими собраниями, как это имело место у нас, в Таврической губернии, либо частными собраниями всех губернских гласных. Только там, где реакционные группы гласных срывали такие выборы (например, в Курской губернии), избирательные коллегии составлялись из прогрессивного большинства или меньшинства гласных. Поэтому на общеземских съездах диапазон политических настроений был довольно значителен. На них не составилось еще группировок политического характера, но уже более или менее определилось несколько политических течений. Небольшую группу составляли сторонники самодержавия. Среди них было несколько настоящих реакционеров, однако не решавшихся открыто выступать и поддерживавших при голосованиях группу славянофилов с Д.И. Шиповым во главе, находившуюся в оппозиции к реакционному режиму, но не желавшую изменять формы правления. Многочисленную группу составляли умеренные конституционалисты во главе с графом Гейденом, председательствовавшим на первых съездах. Эта группа резко отмежевывала себя от революционеров, отрицательно относилась к широким социальным реформам и готова была сотрудничать с правительством, если оно станет на путь умеренных политических реформ. Столь же многочисленна была более левая группа, руководимая И.И. Петрункевичем, состоявшая из ряда земцев, входивших в Союз Освобождения и объединившихся на его демократической программе. Под давлением революции эта группа занимала по отношению к правительству все более и более непримиримое положение. К ней принадлежали самые крупные ораторы съезда — И.И. Петрункевич, Ф.И. Родичев, Н.Н. Львов и др., и хотя она не располагала абсолютным большинством голосов, однако имела наибольшее влияние. Наконец, крайний левый фланг занимала небольшая группа земцев, определенно сочувствовавших революции и преимущественно принадлежавших к левому социалистическому крылу Союза Освобождения. К этой

небольшой группе, наиболее видными ораторами которой были А.М. Колюбакин и тамбовский гласный Брюхатов, принадлежал и я. При таком развернутом веере политических мнений и настроений все труднее и труднее достигалось на съездах единодушие, без которого они утрачивали свое политическое значение и силу.

Между тем правительство не выражало готовности пойти навстречу высказанным на первом съезде пожеланиям земцев, а в стране революционное брожение усиливалось. При таких обстоятельствах земцы могли бы, признав свое бессилие, отойти в сторону и предоставить арену борьбы революционерам. Этого, однако, они не хотели, все еще надеясь найти какой-либо спасительный компромисс. А продолжая собираться на съезды, они не могли оставаться при прежних своих заявлениях. Им приходилось отзываться на происходившие события и все более уточнять свою собственную политическую позицию. Так постепенно и общеземские съезды, вслед за Союзом Освобождения и земцами-конституционалистами, принуждены были приступить к обсуждению вопросов политической программы и тактики, т.е. стать на путь, приводивший эти разномастные собрания к резким разногласиям и расколу, в свою очередь подрывавших их авторитетность, как в глазах правительства, так и в широком общественном мнении.

В.А. Маклаков в своих воспоминаниях сообщает, что уже на апрельском съезде 1905 года, когда большинство съезда в своей резолюции сочло необходимым подчеркнуть требование конституции и решительно выразилось против народного представительства с совещательным голосом, правое меньшинство с Д.Н. Шиповым во главе откололось и вышло из состава съезда. Я этого обстоятельства не помню, но охотно допускаю, что В.А. Маклаков, стоявший тогда ближе меня к руководящим группам съездов, правильно изображает то, что было. Однако, на следующем майском съезде, который, как мне кажется, Маклаков неправильно называет "коалиционным", все земства были представлены полностью.

Этот съезд я очень хорошо помню, как последний, на котором, хотя и с трудом, удалось достигнуть не только единодушия, но и единогласия. Собрался он после злосчастного Цусимского боя, в котором погибла эскадра Рожественского. Это был страшный удар по патриотизму даже тех, кто считался "пораженцами". Чувство оскорбленного патриотизма естественно связывалось с еще более усилившейся ненавистью к власти, столь самоуверенно пославшей на убой тысячи молодых моряков. Даже та часть общества, которая до этого момента надеялась еще на победу русского оружия, поняла, что прогнивший строй не способен вести войну даже с маленьким японским народом и что необходимо заключить мир во что бы то ни стало. Бюро съездов решило воспользоваться этим моментом для объединенного выступления земцев. Было решено предложить

земскому съезду послать к царю депутацию, которая должна была ему указать на невозможность дальнейшего ведения войны в условиях старого строя, при все усиливающейся смуте, и на необходимость скорейшего созыва народного представительства, которое должно помочь ему в деле заключения почетного мира и внутреннего умиротворения страны. Соответствующий проект адреса было поручено составить проф. кн. С. Н. Трубецкому.

В Москве стояли чудные ясные весенние дни. Мы собрались в огромном особняке-дворце кн. Павла Долгорукова, неподалеку от снесенного теперь большевиками храма Христа Спасителя, ослепительно блестевшего на солнце своими белыми стенами и золотыми куполами. Долгоруковский особняк был окружен большим парком, по тенистым дорожкам которого мы бродили во время перерывов заседаний. Прения были чрезвычайно жаркие. Трубецкой составил свой адрес так, чтобы он не мог вызвать возражений со стороны правой части съезда. О созыве народного представительства в нем говорилось в очень неопределенных выражениях. Не то – земский собор, не то – парламент. Весь стиль адреса был выдержан в византийских верноподданнических тонах, совершенно не соответствовавших настроениям большинства. Понятно, что адрес подвергся жесточайшей критике, несмотря на то, что лидеры левой части съезда, входившие в состав бюро, его поддерживали своим авторитетом. Ораторы резко осуждали и стиль адреса, и явное отступление в нем от конституционных позиций, закрепленных постановлениями предыдущих съездов. Наконец, мы, представители крайней левой, вообще высказывались против какого бы то ни было адреса царю, говорили, что полгода тому назад большинство земств уже делало царю подобные представления, встреченные с его стороны с явной враждебностью, и что повторять их во второй раз унизительно для нашего достоинства. В первый раз съехавшиеся из провинций земцы подняли бунт против своих столичных лидеров.

Лишь после долгих споров удалось добиться постановления о передаче составленного Трубецким проекта адреса в комиссию для окончательной редакции. К участию в комиссии были привлечены все члены съезда, желавшие внести определенные поправки. Я имел предложить несколько поправок, а потому явился в комиссию. Собрались мы в отдельном кабинете Большой московской гостиницы за завтраком. Почему-то мне хорошо запомнилось, что по случаю жаркого дня мы ели чудеснейшую ботвинью с осетриной. Аппетита, впрочем, ни у кого не было. Все находились в большом возбуждении. Пришло человек двадцать. Среди них помню, кроме автора адреса – С.Н. Трубецкого, Петрункевича, Родичева, Колюбакина, проф. Васильева, кн. Шаховского... Еще до завтрака несколько левых земцев-провинциалов обступили Трубецкого и с азартом, перебивая друг друга, нападали на него за "раболепный

тон" его произведения и за туманность основных мыслей. Милый Трубецкой с добродушной улыбкой как-то растерянно отбивался от нападавших. Мы в буквальном смысле наступали на него гурьбой, а он, пятясь, отступал. Наконец, притиснутый к камину, он с отчаянием в голосе, стараясь нас перекричать, произнес хорошо запомнившуюся мне фразу: "Да поймите же, господа, что я высказывал в адресе не свои мысли. Я старался сделать его приемлемым для всех, включая и правых членов съезда. Если бы я мог сказать то, что мне хотелось бы, я бы просто сказал: "Поросенок, давай нам конституцию".

Сейчас мне как-то неловко писать это грубое выражение, употребленное Трубецким по отношению к человеку, так трагически искупившему все свои вины перед родиной. Конечно, душевно тонкий Трубецкой и не произнес бы его, если бы мог предвидеть роковую судьбу Николая II. Но все же считаю нужным привести подлинную фразу Трубецкого. По ней можно судить о том, какое враждебно-презрительное отношение было уже тогда к реальному представителю монархической власти у убежденных монархистов, каким был покойный С.Н. Трубецкой.

Эта фраза Трубецкого, произнесенная им с подкупающей искренностью, сразу парализовала резкость наших нападок. И самое заседание комиссии уже происходило в мирных тонах. Петрункевич горячо убеждал нас оценить значение единогласия в такой общественной демонстрации, которая, как в случае удачи, так и в случае неудачи, явится важным этапом нашей борьбы с самодержавием. В конце концов мы сдались. Все же комиссия внесла в проект адреса ряд существенных поправок (в частности и мои), которые придали ему более удовлетворявшие нас стиль и тон. На следующий день адрес был принят единогласно, и избранная съездом депутация отправилась в Петербург.

Когда я читал в газете о приеме этой депутации царем и о том, как торжественно Трубецкой читал перед ним составленный им адрес, я невольно вспомнил сцену у камина в Большой московской гостинице и тот "адрес", который Трубецкой поднес бы царю, если бы мог откровенно высказать свои убеждения.

В сущности, этим актом кончилась политическая роль земских съездов. Но мы продолжали собираться и обсуждать разные программные и тактические темы, порождавшие все больше и больше разногласий в нашей среде.

Особенно яркое впечатление у меня осталось от заседаний, посвященных обсуждению польского вопроса. На эти заседания были приглашены видные представители польской интеллигенции. Большинство из них принадлежало к польским народово-демократам, которых я на следующий год увидел депутатами 1-ой Государственной Думы. Среди поляков обращал на себя внимание один маленький невзрачный человек с непропорционально

большой лысеющей головой и с белокурой козлиной бородкой. Он скромно уселся вдали от своих соотечественников, в задних рядах, и молча пускал дым из маленькой трубочки, не вынимая ее изо рта... По-видимому, он был мало кому известен. Но по открытии зеседания он тихим голосом попросил слова. "Слово принадлежит г-ну Врублевскому", — провозгласил председатель граф Гейден. Врублевский поднялся и стал говорить. С первых же его слов зал замер... Всякий, бывавший на больших собраниях, знает, как трудно человеку совсем неизвестному, притом с невзрачной фигурой и ординарным лицом, овладеть вниманием аудитории. Это доступно лишь ораторам с огромным талантом, каким обладал Врублевский. Говорил он с польским акцентом, мягким музыкальным голосом, иногда понижая его до такой степени, что малейший шорох мог бы его заглушить. Мы сидели как зачарованные, и ни одного слова из его речи не терялось. Его речь, пластичная и полная образов, для русского оратора могла бы показаться чересчур вычурной, но польский акцент придавал этой вычурности художественный характер. "Четвертое поколение военнопленных явилось к вам, господа представители русского народа, и ожидает от вас протянутой руки". Так начал Врублевский свою речь, посвященную изображению национальной трагедии, переживаемой Польшей в течение целого столетия. Некоторые образы его были так ярки, что я теперь, через тридцать лет, помню отрывки его речи дословно:

"Если бы всю кровь, пролитую польским народом за свое освобождение, вылить на главную площадь Вильны, где стоит памятник Муравьеву, то бронзовому тирану не пришлось бы нагнуться, чтобы испить этой крови". И еще отрывок: "И когда дым от пороховых выстрелов рассеялся, мы увидели добродушные лица русских солдат, которые, расстреливая нас, расстреливали собственную свободу"... Когда Врублевский кончил, наступила длинная пауза, какая бывает в концертах после блестящего исполнения какого-либо музыкального произведения. А затем раздались бурные аплодисменты. Я посмотрел на своего соседа М.К.Мурзаева. Он вытирал слезы, катившиеся из его глаз.

Мало кому известный виленский адвокат Врублевский после этой речи вдруг сделался знаменитостью. Когда через несколько месяцев слушалось дело о восстании лейтенанта Шмидта, группа адвокатов, организовавшая защиту, пригласила его в качестве защитника главного подсудимого. Присутствовавшие на этом процессе передавали мне о потрясающем впечатлении, произведенном речью этого изумительного оратора. Все слушали ее с неописуемым волнением. А когда Врублевский кончил говорить, это волнение прорвалось в слезах. Плакали все — подсудимые, защитники и даже суровые военные судьи. Впрочем, утерши слезы в совещательной комнате, они все-таки приговорили Шмидта к смертной казни, а других подсудимых к каторжным работам.

Казалось, что этот изумительный оратор был предназначен для какой-либо крупной политической роли. Но после процесса Шмидта он снова исчез с политического горизонта. Перед выборами в первую Думу, куда он попытался выставить свою кандидатуру, стало известно, что Врублевский несколько лет тому назад выступал защитником какого-то участника еврейского погрома. Этого было достаточно, чтобы еврейское население Вильны голосовало против него, да и вообще чтобы его политической карьере в рядах левой русской интеллигенции пришел конец. Что же касается поляков, то они его не считали своим, ибо в польском вопросе он не проявлял достаточной национальной непримиримости.

Случайно я узнал, что Врублевский, продолжая быть скромным виленским адвокатом, дожил до революции 1917 года, в которой, однако, уже не пытался играть роли. В Вильне он был известен как библиофил, собравший за свою жизнь огромную библиотеку. Умер он, если не ошибаюсь, лет 10 тому назад, уже польским гражданином.

Земский съезд, на котором обсуждался вопрос о польской автономии, происходил в августе или в сентябре. К тому времени некоторые более правые члены съездов перестали на них появляться. Зато съезды пополнились гласными городских Дум, а также разными видными представителями интеллигенции, приглашавшимися с правом совещательного голоса. В этом съезде, в числе представителей города Москвы, принимал участие А.И. Гучков, а из петербургской интеллигенции приехали П.Н. Милюков, В.Д. Набоков и М.М. Винавер. Самым интересным моментом прений была словесная дуэль между Гучковым и Милюковым. Милюков обосновывал необходимость польской автономии (о независимости Польши даже поляки-националисты не решались тогда говорить), Гучков решительно ему возражал. Тут впервые два лидера будущих политических партий ясно установили свои разногласия в национальном вопросе, которые в течение многих лет разделяли два течения русской политической мысли. Само собою разумеется, что большинство членов съезда разделяло мысли Милюкова, и резолюция об автономии Польши была принята значительным большинством голосов. Тогда мы представить не могли себе, что через тринадцать лет Польша станет самостоятельным государством, которое не только не допустит на своих разноплеменных территориях никакой автономии, но что за русскими, ее населяющими, даже не будет признано прав национального меньшинства.

Я затруднился бы теперь последовательно изложить занятия земских съездов. Помню только, что после майского съезда, пославшего депутацию царю, у меня создалось впечатление постепенного отмирания земского движения, уступавшего место другим, более острым проявлениям революции: сначала съездам объединившегося Крестьянского Союза, решительным протестам Союза Союзов,

частичным выступлениям и бунтам и, наконец, выступившему на авансцену Совету рабочих депутатов и всеобщей забастовке. Особенно ясно бессилие земских съездов в новой фазе революционной борьбы сказалось, когда, не получив от царя удовлетворения высказанных ему депутацией пожеланий, мы ставили вопрос — "а что же делать дальше?" Единогласие, достигнутое на майском съезде, далось нам не легко. Многие из нас пошли на компромисс со своей политической совестью, ожидая, что единогласием хоть что-нибудь будет достигнуто. А в результате — лишь не без колебаний данный "милостивый" прием и больше ничего. Все пышные слова Трубецкого упали в какую-то вату...

Неужели же после этой неудачи возможно было продолжать отвлеченные споры по программным вопросам! Бюро съездов поняло, что психологически это невозможно, и придумало выход — обращение к народу. Увы, это обращение было самоубийством для земских съездов. Земцы в своем большинстве далеко не были революционерами. Но, призывая народ к борьбе с властью, нельзя же было не указать на средства этой борьбы. Что же, призывать к бунтам, к восстаниям, к которым уже призывали народ революционеры?.. Большинство земцев этого не хотело, одни по соображениям принципиального свойства, другие — из робости, третьи — из чувства ответственности. И вот составили какое-то нудное и малоубедительное воззвание, в котором призывали население собираться и громко заявлять о своих нуждах и необходимых реформах, т.е. делать то самое, в бесполезности чего мы только что убедились по собственному опыту.

Еще помню знаменательный момент на одном из последних земских съездов после того, как под давлением революции правительством был издан указ 27 августа о предполагаемом созыве так называемой "Булыгинской" совещательной думы.

Между тем, в это время революция уже провозгласила своим лозунгом Учредительное собрание, и даже земские съезды требовали созыва парламента "с учредительными функциями". И то, что самой власти казалось уступкой, воспринималось общественными кругами как издевательство над требованиями всей страны. Левые призывали к бойкоту выборов, а земцы решили идти в Думу с тем, чтобы добиться расширения ее прав.

В это время Витте вернулся из Америки после заключения Портсмутского мира. Через третьих лиц он стал зондировать почву о настроениях у земцев на предмет возможного обновления правительства и привлечения в его состав общественных деятелей. Эта попытка Витте перекинуть мост через ров, отделявший правительственные круги от общественных, встретила решительный отпор со стороны руководителей земских съездов. Вопрос о возможном участии во власти был поставлен на съезде, поставлен был теоретически, хотя все мы частным образом знали о начале негласных переговоров.

И.И.Петрункевич произнес блестящую речь, в которой доказывал невозможность соглашения с правительством на почве булыгинской реформы. Если не ошибаюсь, ему почти не возражали, и съезд точку зрения Петрункевича одобрил. Этому съезду уделяет большое внимание в своих мемуарах В.А.Маклаков, упрекая земских либералов и ставя им в вину отказ от предлагавшегося им участия во власти. Со своей стороны, я не могу не считать крайне неудачной его попытку давно прошедшие события заново переиграть как бы на шахматной доске и с большей или меньшей логикой доказать, что игра велась неправильно и что если бы политики того времени делали иные шахматные ходы, то вся история России пошла бы по-иному. Один из таких неправильных ходов русского либерализма и земского движения в частности, по мнению Маклакова, заключается в том, что либералы поддерживали революцию, вместо того, чтобы заключить против нее компромисс с властью. Он совершенно упускает из виду, что всякий компромисс с противником возможен либо в том случае, если противник честен, либо, — если он не честен, — при условии, что имеешь за собой силу, могущую его принудить к соблюдению условий компромисса. Ни того, ни другого условия не было налицо во время революции 1905 года. Дальнейшие события показали, что власть шла на компромисс лишь тогда, когда ее брали за горло, а как только снова чувствовала за собой силу — сейчас же отказывалась от всех данных ею обещаний. Если даже лукавый Витте не мог удержаться в правительстве лишь потому, что царь не мог ему простить Манифеста 17 октября и стремления честно его соблюдать, то еще более эфемерно было бы участие в правительстве общественных деятелей до издания этого манифеста. Тем более, что силы за ними не оказалось бы никакой с момента заключения ими союза с самодержавием. Нужно ясно представить себе настроения революционного периода, когда самые умеренные обыватели, большинство чиновников и даже некоторые высшие сановники вдруг стали революционерами, чтобы понять, что вожди либерализма, заключившие в такой момент союз с враждебной им властью, тем самым перестали бы быть вождями, а стали бы игрушками в руках своих новых недобросовестных союзников...

Во время своих поездок в Москву я всегда останавливался на Малой Бронной, в семье Мороз. Это были исключительно добрые и симпатичные люди. Александра Ивановна Мороз, урожденная Корнилова, когда-то принимала участие в народовольческом движении, была сослана в Сибирь по приговору суда в знаменитом процессе 193-х, там вышла замуж за М.С.Мороза и вернулась с мужем и двумя сыновьями в Москву. В 1905 году она была уже немолодой женщиной, но сохранила свой молодой идеализм. Только с возрастом стала умереннее во взглядах. Муж, добродушный старик, хлебосол, любивший порой выпить и кутнуть с приятелями,

плохо разбирался в политических вопросах, считал себя правее жены, но в сущности был целиком под ее влиянием. Большинство их знакомых и друзей состояли либо из бывших народовольцев, либо из более молодых революционеров. Не мудрено, что оба сына их, в это время студенты первого курса Петровской Академии, совсем еще желторотые птенцы, попали в компанию юных социалистов-революционеров и принимали деятельное участие в подготовлявшемся тогда в Москве революционном восстании.

У Морозов всегда было людно, шумно и весело. Среди их постоянных посетителей помню тогда еще молодого писателя Чирикова. Он порядком выпивал за трапезами, а затем пел народные песни и с азартом отплясывал русскую. Тогда он причислял себя к социал-демократам и был единственным представителем марксистского мировоззрения среди морозовских друзей, главным образом народнического направления. Да и к его бесшабашной натуре марксизм подходил как корове седло. У Морозов была большая квартира, которой пользовались для ночлегов их многочисленные знакомые, приезжавшие из провинции на разные съезды явные и тайные. Ложась спать на один из диванов, я не знал, кого увижу утром на другом диване, стоявшем в моей комнате. Появлялись на нем иногда и совсем незнакомые мне люди. А когда мне пришлось пожить у Морозов недели две незадолго до Московского восстания, смены людей на втором диване стали происходить чаще. Вместо прежних солидных бородатых незнакомцев на нем появлялись спящие фигуры безусых юношей, рядом с которыми непременно лежали заряженные браунинги или маузеры. Это были товарищи сыновей, состоявшие дружинниками эсеровских организаций. Революционность сыновей пугала добродушного отца, который ссорился с ними не столько из-за существа их политических настроений, сколько из-за их неосторожного поведения. Мать, не менее за них боявшаяся, однако, памятуя о своих молодых увлечениях, не считала себя вправе им мешать и явно любовалась своими сыновьями. Когда я, проезжая Москву через несколько дней после восстания, заехал к Морозам на Малую Бронную, я никого не застал на их квартире, кроме старой кухарки. "Ах, барин, — говорила она мне взволнованно, — и что у нас было! На Бронной у нас были все брегаты да брегаты (баррикады), пушки палили, думали, что никто из нас в живых не останется". Действительно, Малая Бронная оказалась одним из центров восстания, и громадные дыры в стенах домов свидетельствовали о недавно происходивших уличных боях.

Мальчики Морозы принимали деятельное участие в Московском восстании, но сумели скрыться и избежать преследований. Через несколько лет они стали агрономами и очень интересовались своей специальностью, совершенно потеряв вкус ко всякой политике.

Глава 15

ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА В КРЫМУ

Бунт "Потемкина". Восстание лейтенанта Шмидта. Крестьянский союз. Бунт запасных. Конец Союза Освобождения. Я вступаю в партию к.-д. Всеобщая забастовка. Митинг в городском саду 17-го октября. Еврейский погром и "Комитет охраны". Первое после 17 октября совещание членов к.-д. партии в Москве. Основание газеты "Жизнь Крыма" и ее редакция. Еврейский националист В.И. Якобсон. Период революционной анархии и анархии власти. Ограбление почты социалистами-революционерами. Ялтинский владыка полковник Думбадзе и феодосийский – полковник Давыдов. Организация таврического отделения партии Народной Свободы. Н.Н. Чихачев и его карьера.

Принимая участие в московских съездах в качестве третьестепенного их члена, в Симферополе, в особенности после описанного выше митинга, я сделался центральной фигурой. Проведя шесть лет земским статистиком, я хорошо знал психологию левых революционеров и сохранял с ними в Симферополе дружеские отношения. Они тоже ко мне относились с доверием. Симферопольская либеральная буржуазия меня считала несколько "крайним", но, отдавая долг революционному моменту, признавала меня своим лидером, чему содействовали мои связи с крупными политическими деятелями. Правые притихли и несколько меня побаивались. А на воображение широких кругов обывателей действовал мой княжеский титул: князь – и вдруг такой простой в обращении и притом демократ. Нечто вроде местного Филиппа-Эгалитэ. Так, естественным путем, уже создавалась моя бесспорная кандидатура на будущих выборах в первый русский парламент.

Из местных событий весной, летом и в начале осени 1905 года вспоминаются мне два крупных эпизода, происшедшие без моего участия, и два мелких, в которых я участвовал и о которых тоже приходится упомянуть, ибо они характерны для того времени.

Крупные события – это два восстания в Черноморском флоте – бунт броненосца "Потемкин" и восстание лейтенанта Шмидта. Бунт на "Потемкине" был первой революционной вспышкой в войсках, а потому он произвел огромное впечатление во всей

России. С особым волнением переживалось это событие на берегах Черного моря, вдоль которых носился этот взбунтовавшийся броненосец. Как известно, бунт возник на почве недовольства матросов пищей. Конечно, часть матросов, возглавлявших восстание, находилась в сношениях с местными представителями революционных партий, но, чтобы большинство экипажа присоединилось к бунту, они должны были избрать этот повод для восстания, а не какие-либо политические требования.

Когда вспыхнул бунт и матросы "Потемкина", убив самых ненавистных им офицеров и арестовав остальных, оказались хозяевами самого сильного в черноморском флоте броненосца, то сами они не знали, что дальше делать. Да и их партийные руководители, привыкшие на всех митингах призывать к вооруженному восстанию безоружных людей, совершенно растерялись, когда оно вспыхнуло на вооруженном пушками "Потемкине". Когда "Потемкин" прибыл в одесский порт и сделал неудачную попытку привлечь на свою сторону стоявшую там эскадру, партийные молодые люди подплывали к нему на лодочках, произносили восторженные речи, но, конечно, никакого разумного плана действий не могли предложить. Так и стал злосчастный броненосец блуждать под красным флагом вдоль русских берегов, внушая страх одной части населения, а другой – восторг и радостные надежды. Между прочим, заходил он в Феодосию за продовольствием и углем. С.С. Крым рассказывал мне свои впечатления от посещения им "Потемкина" в качестве парламентера от феодосийских граждан, опасавшихся бомбардировки города. Он был поражен добродушным видом бунтовщиков, только что так жестоко расправившихся с офицерами. Удивлен был также поддерживавшимся порядком – чистотой и строгой дисциплиной и субординацией выборному начальству. Однако начальство это проявляло большое беспокойство за дальнейшую судьбу. Все пути к отступлению были отрезаны, а надежды на победу – никакой. Как известно, "Потемкин" ушел в Констанцу, где экипаж его сдался румынским властям, матросы перешли на положение эмигрантов, а самый броненосец был возвращен России. Но вот эпизод мало кому известный: можно себе представить, какой переполох произвел потемкинский мятеж в высших морских кругах. Из Петербурга был отдан приказ комплектовать новый состав нижних чинов броненосца сводными командами с других военных судов, дабы между ними не было сплоченности. А чтобы изгладить в памяти черноморской эскадры воспоминание о мятеже – переименовать "Потемкина" в "св. Пантелеймона". И вот, несмотря на все эти мудрые меры, через несколько месяцев "св. Пантелеймон" первый присоединился к восставшему под водительством лейтенанта Шмидта крейсеру "Очаков". Оказалось, что командиры судов, получив предписание из Петербурга о комплектовании экипажа "Пантелеймона", обрадовались этому случаю, чтобы избавиться от политически неблагонадежных

матросов и отправили, согласно поговорке "на тебе, Боже, что нам негоже", на бывшего "Потемкина" отборных революционеров, из которых и составилась его сводная команда. Не мудрено, что мятежный броненосец превратился после этого в революционный пороховой склад, готовый вспыхнуть от каждой искры.

Во время восстания лейтенанта Шмидта я был в Москве, но много слышал о нем от моего шурина, А.В.Винберга, бывшего защитником одного из матросов в военно-морском суде, разбиравшем дело об этом восстании. Последнюю ночь перед казнью Шмидта он, с разрешения тюремного начальства, провел с осужденным лейтенантом, который на него произвел чрезвычайно странное впечатление. Такие главари восстаний едва ли возможны в какой-либо другой стране, кроме России. Под его командой были все самые крупные суда, стоявшие в Севастопольской бухте. Открыв пальбу по батареям Севастополя, ему ничего не стоило завладеть городом. Что бы из этого вышло – трудно предвидеть, но несомненно, что правительству, не уверенному уже в своих силах и в надежности войсковых частей, было бы нелегко справиться с восставшими. Но этот сентиментальный революционер-непротивленец не хотел проливать человеческой крови. Он ограничился посылкой царю телеграммы с требованием Учредительного собрания и предоставил севастопольским батареям расстреливать себя и своих товарищей. Несмотря на просьбы и настояния матросов, он категорически запретил своим судам отвечать на выстрелы. Не мудрено, что крейсер "Очаков" был в несколько минут пущен ко дну, а все остальные восставшие суда, не желая подвергаться его участи, капитулировали.

И перед казнью Шмидт не только не сожалел о том, что столь бессмысленно поднял восстание, руководить которым был неспособен, но продолжал радоваться тому, что на его душе нет пролитой крови (за кровь матросов "Очакова" он на себе ответственности не чувствовал). Он спокойно и радостно шел на смерть, картину которой изображал моему шурину заранее в красочных образах какого-то стихотворения в прозе в таком роде: "И вот повезут лейтенанта Шмидта на пустынный остров, освещенный лучами восходящего солнца. Завяжут глаза. Раздастся команда"... и т.д. Он был уверен, что смерть его – событие огромной важности и что, умирая за счастье своей родины, он приближает час ее освобождения. Был уверен также, что его имя будет вписано в истории вместе с именами других знаменитых героев-патриотов. Бедный Шмидт! Он не представлял себе, что среди надвинувшихся на Россию событий маленький эпизод с маленьким неудачным восстанием в Севастополе будет вскоре почти забыт. Все же поэтические иллюзии облегчили ему смерть...

Из мелких эпизодов моей общественной жизни за лето 1905 года особенно вспоминаются мне два: моя поездка в Мелитопольский уезд для организации крестьянского союза и экстренное губернское

земское собрание, на котором обсуждался вопрос о помощи семьям солдат, призванных на войну.

Союз Освобождения, сорганизовав интеллигенцию в профессиональных союзах, летом 1905 года решил сделать попытку утвердить свое влияние в рабочей и крестьянской среде. Рабочие союзы освобожденцев развивались слабо, ибо социал-демократы уже подчинили своим директивам почти все рабочее движение. Что касается крестьянства, то, хотя эсеры уже имели свои крестьянские организации, но они были еще незначительными песчинками в море аморфного крестьянства. Поэтому работа освобожденцев, которым принадлежала инициатива в организации всероссийского Крестьянского союза, вначале пошла успешно. Было чрезвычайно существенно, с одной стороны, приобщить крестьянские массы к освободительному движению, а с другой – отвлечь их путем организации планомерной борьбы за свои интересы от начавшихся уже кое-где погромов помещичьих усадеб, не только безобразных и бессмысленных, но и опасных для дела освобождения России, которому мы тогда отдавали все наши силы и помыслы.

Решил и я с небольшой группой моих местных единомышленников приступить к организации Крестьянского союза в Таврической губернии. Но как к этому приступить? Как подойти к крестьянам мне, человеку не местному, доверять которому они никаких оснований не имеют? Да и с точки зрения конспиративной было очень трудно организовать дело. Я слишком был известен всей местной администрации для того, чтобы мог незаметно приехать в какое-нибудь село и повести там агитацию. И вот пришло мне в голову воспользоваться своими добрыми отношениями с мелитопольским уездным предводителем дворянства Е.В.Рыковым и ввести его в нашу конспирацию. Об Е.В.Рыкове я уже упоминал выше, характеризуя наше губернское земское собрание. Это был простецкий добродушный старик с кристально чистой душой. Выросший в своем мелитопольском имении, он провел там, занимаясь хозяйством и местными общественными делами, всю свою жизнь. В вопросах политики плохо разбирался, но всей душой сочувствовал освободительному движению. Я изложил ему, какое значение придаю Крестьянскому союзу, и просил содействовать мне в деле его организации. Он охотно согласился, тем более, что в Мелитопольском уезде уже начались погромы помещичьих усадеб, предотвратить которые полицейскими мерами было в условиях нараставшей революции невозможно. В этот момент Крестьянский союз, который должен был вести борьбу с помещиками более мирными средствами, представлялся ему меньшим злом по сравнению с анархией поджогов, погромов и возможных при этом убийств.

Мы сговорились с Рыковым, что он созовет к себе, якобы по какому-нибудь делу, известных ему своей порядочностью окрестных крестьян, а мы с Л.С. Заком приедем к нему в этот день в гости.

Наша беседа с крестьянами приобретет таким образом характер случайной встречи.

Так и сделали. Собралось крестьян человек 20, и мы с ними повели разговоры об организации союза. Крестьяне очень охотно приняли наше предложение и решили немедленно составить союз и приступить к действиям. Таким образом начало Крестьянскому союзу было положено на балконе старого предводителя дворянства и крупного землевладельца и при его содействии. Считаю нужным отметить этот незначительный эпизод из-за его характерности для первого периода революции 1905 года. Ничего подобного не могло бы произойти в более позднее время, когда классовые интересы в деревне обострились и когда крестьяне стали смотреть на каждого помещика как на своего заклятого врага.

Составляя политико-экономическую программу Крестьянского союза, освобожденцы не могли, конечно, не выдвинуть земельного вопроса. Но, намечая его разрешение мирным путем, в законодательном порядке, не могли и не считали себя вправе проповедовать безвозмездный переход земель от помещиков к крестьянам. Крестьяне обыкновенно не возражали. Это тоже до некоторой степени их устраивало, но в глубине души, убежденные, что помещичьи земли им принадлежат по праву и незаконно захвачены помещиками, относились к ним со скрытым недоверием. Это обстоятельство помогло эсерам, программа которых более соответствовала крестьянскому правосознанию, оттеснить освобожденцев от руководства разраставшимся Крестьянским союзом и целиком подчинить его своему влиянию. Боясь отпугнуть от себя крестьян политическим радикализмом, они проникали в союз не под знаменем своей партии, предусматривавшей в программе замену монархии республикой и применявшей в борьбе с властью систематический террор, а под видом людей беспартийных. Но свою земельную программу развертывали перед крестьянами во всю ширь. Эта тактика быстро принесла плоды, и к концу 1905 года Крестьянский союз, ставший самой многочисленной, хотя и малоактивной организацией, пользовавшейся огромным авторитетом среди крестьян во всех уголках России, состоял под негласным руководством центрального комитета эсеровской партии. То же произошло и с основанным нами местным Крестьянским союзом. Вскоре эсеры им окончательно завладели. Во главе его стал член местного эсеровского комитета, заведующий статистическим бюро А.В. Неручев. Это был человек глупый, очень упрощенно смотревший на самые сложные вопросы политики и экономики. Поэтому его демагогическая агитация была совершенно искренней, а следовательно не могла не действовать на крестьян. Среди них он приобрел огромную популярность. В Симферополе к нему ездили за советами и указаниями крестьяне из всей губернии. Помню, как в земскую управу однажды явилась

группа крестьян и осведомлялась: "Где живет безрукий генерал, который землю раздает?" По странной случайности, фамилия Неручева вполне соответствовала его физическому недостатку: у него не было одной руки.

Моя память не сохранила уже всех событий, будораживших в течение лета 1905 года нашу, недавно еще такую тихую, провинциальную жизнь. Хорошо запомнился мне лишь еще один трагикомический эпизод.

Насколько помню, это происходило осенью 1905 года, когда взятые на Японскую войну запасные только что вернулись к своим семьям. Шло чрезвычайное собрание губернского земства, на котором должен был, между прочим, обсуждаться составленный мною доклад о помощи семьям запасных. Если память мне не изменяет, доклад предлагал продлить помощь семьям запасных еще на полмесяца, а затем, ввиду возвращения запасных домой, продолжать помощь лишь семьям раненых и убитых.

Собрание было мирное, вопросы разбирались мелкие, не возбуждавшие страстей и не привлекавшие постороннюю публику. Места для публики поэтому были пусты. Вдруг, читая свой доклад, я услышал какой-то шум, доносившийся с лестницы, а через минуту широко распахнулись двери и зал стала заполнять непривычная для земского собрания публика: дюжие усатые люди в солдатских рубахах.

Как потом выяснилось, толпа запасных направилась к губернаторскому дому и испугавшийся их угрожающего вида вице-губернатор сказал им, что пайки выдает земство, к которому и надлежит обратить свои претензии.

Запасные быстро заняли все места для публики, заполнились и проходы вокруг стола, за которым сидели гласные.

Читая свой доклад, я чувствовал, как дышал мне в затылок какой-то парень с большими рыжими усами, обдавая меня запахом винного перегара.

Толпа шумела. Я тщетно напрягал свой голос, чтобы дочитать доклад. Мои слова не были слышны, да и никто из гласных их уже не слушал. Дальше заседать в такой обстановке было невозможно. Председатель объявил перерыв, и все гласные ушли в соседнюю комнату.

Когда через несколько минут я вернулся в зал, я застал там уже митинг в полном разгаре. Какой-то молодой парень стоял на стуле и произносил речь: "Товарищи, не отступайте от своих требований, потрясите хорошенько этих толстосумов!" Один из "толстосумов", добродушный и неизменно молчаливый гласный полковник Муфти Заде попробовал было подействовать на запасных своим военным авторитетом. Выпрямился и по-военному крикнул: "Братцы!" В ответ послышался нахальный смех. Полковник растерянно посмотрел кругом и, очевидно, сразу решив

изменить тактику, рявкнул со всей мочи: "Товарищи!" Хохот еще усилился. – "Какой ты нам товарищ, вишь пузо-то отъел"... Это была явная гипербола. Старый полковник был сухопарого вида.

Опять кто-то стал произносить зажигательную речь. Толпа, в которой было много пьяных, возбуждалась все больше и больше. Казалось, что вот-вот начнется безобразное буйство.

Вдруг раздался резкий звонок. Толпа на минуту затихла. Лысый маленький человечек, газетный корреспондент Воскресенский, усевшись на председательское место, неистово зазвонил в колокольчик.

– Товарищи, – обратился он к запасным. – Зачем зря шуметь, кричать и безобразничать, предлагаю вам сесть за этот стол, покинутый гласными, и обсудить свои нужды. Объявляю заседание открытым.

– Это он дело говорит, правильно, – отозвались из толпы.

И минуту перед тем бушевавшие люди стали робко приближаться к столу, покрытому зеленым сукном, и неловко рассаживаться на кончики стульев. Полчаса тому назад за этим столом спокойно заседали губернские гласные, а теперь вместо важной мундирной фигуры губернского предводителя – плюгавый человечек в сереньком грязном пиджачишке со съехавшим набок галстуком, на месте председателя губернской управы – толстая женщина в платочке, а на местах гласных – люди в солдатских гимнастерках, не знающие, куда девать свои большие, заскорузлые красные руки. Картина была символическая и... пророческая.

Из гласных в зале остались только трое: В.К. Винберг, П.Н. Толстов и я. Остальные еще во время бушевавшего в зале митинга обратились в бегство. Исчез и капитан находившегося в опасности корабля – председатель управы.

Мы трое скромно сели на места для публики и ожидали событий, чтобы вмешаться в них, если того потребуют обстоятельства.

– Кто желает высказаться? – обратился председатель к сидевшим и стоявшим вокруг стола запасным.

После долгого неловкого молчания наконец протискался к столу тот рыжеусый парень, который дышал мне в затылок во время собрания.

– Товарищи, – начал он, – так что мы воевали, кровь проливали, а помещики только богатели на нашей кровушке. Не так ли, товарищи?

– Верно, правильно, – послышалось со всех сторон.

Тогда еще люди из простонародья не умели говорить речей, и рыжеусый солдат быстро запутался после первых заранее заготовленных фраз. Затем заговорили в том же духе другие. О бедственном положении, о "кровушке", о женах и детях... Лишь после вмешательства председателя стали намечаться требования. "Чтобы нам еще полгода земство пайки выдавало", – заявил кто-то

из толпы. Поднялся невероятный шум: "Ишь, дурья голова, чего брещет. Разве в полгода мы справимся. Меньше года никак нельзя!"

— Два года, — рявкнул какой-то пьяный голос. И опять пошел длительный галдеж.

Тогда я попросил слова и стал подсчитывать в цифрах, сколько потребуется денег, чтобы прокормить семьи запасных еще один год. Выходило так, что с прекращением правительственной помощи земство должно увеличить свой бюджет в несколько раз. А откуда земство берет деньги? — Главным образом с крестьян, и по закону оно не может облагать одних помещиков. Среди запасных есть бедные, а есть и зажиточные, так же, как и среди других крестьян. Так зачем же бедные крестьяне будут содержать семьи зажиточных запасных и т.д.

Бурное настроение толпы прошло уже с того момента, как вожаки ее сели за стол. Поэтому моя речь была прослушана спокойно, без протестов, и хотя некоторые из запасных еще пытались со мной спорить, подбадривая товарищей резкими бессвязными речами, но большинство пришло уже в апатичное состояние. Двое-трое пьяных задремали, облокотясь о стол, а ряды стоявших стали редеть. Закончилось заседание естественным путем, как говорится — "за отсутствием кворума".

На следующий день к началу собрания снова к зданию управы привалила толпа запасных. Я вышел к ним на улицу и заявил, что собрание не состоится, если они снова толпой ввалятся в зал. Пусть выберут делегатов для переговоров. Предложение мое было принято.

С тремя делегатами я быстро закончил дело "компромиссом". Обещал им ходатайствовать перед собранием о том, чтобы паек их семьям был продлен на лишних две недели. Поторговавшись немного, они уступили, а собрание, конечно, охотно приняло мое предложение.

Несмотря на свое отрицательное отношение к совещательной Булыгинской Думе, все же после указа 6-го августа о ее созыве Союз Освобождения, в отличие от трех социалистических партий (эсеров, меньшевиков и большевиков), постановивших бойкотировать выборы, определенно высказался за участие в выборах и за продолжение борьбы с правительством через Думу. Предполагалось, однако, что революционная борьба будет продолжаться и возглавит ее Государственная Дума. Однако наши теоретики считали, что для новых форм политической борьбы союзная организация не годится и что союз должен быть преобразован в политическую партию с более определенной программой и со строгой партийной дисциплиной. Я не принимал участия в съезде Союза, принявшем это решение, но и тогда не сочувствовал ему и теперь считаю его ошибочным, ибо благодаря этому в Союзе произошел раскол, в значительной степени ослабивший силы и связи с населением

образовавшейся вскоре кадетской партии в ее борьбе с правительством в первой Государственной Думе. В это время Союз Освобождения в сущности уже имел свою совершенно достаточную для избирательной борьбы программу, нисколько не терявшую значения от того, что она называлась "платформой". Но тогда мы еще были неопытны в практической политике и теоретические соображения брали верх над здравым смыслом. Наши лидеры – П.Н. Милюков и И.И. Петрункевич – упорно настаивали на создании либерально-демократической партии, и большинство союза их поддерживало. Но меньшинство, состоявшее из людей, считающих себя социалистами, руководствовалось в еще большей степени теоретическими и отвлеченно-принципиальными соображениями. Социалисты считали возможным принимать участие в "союзе" с несоциалистами, но состоять с ними в одной "партии" считали для себя принципиально недопустимым. Ибо "партия", по их мнению, должна иметь общую идеологию. И они не пожелали принадлежать к партии, не имеющей в своей программе указания, что она, хотя бы в далеком будущем, стремится к осуществлению социалистического строя. Все дело было лишь в номенклатуре, ибо партия к.-д. положила в основу своей программы программу Союза Освобождения, в составлении которой принимали деятельное участие и представители меньшинства. Так, например, автором аграрной программы был С.Н. Прокопович, отказавшийся войти в состав к.-д. партии по вышеуказанным принципиальным соображениям. Впрочем, откололись от к.-д. партии главным образом столичные социалисты: В.Я. Богучарский, Е.Д. Кускова, С.Н. Прокопович, Н.Д. Соколов, Н.Ф. Анненский, В.А. Мякотин, А.В. Пешехонов и др. Большинство провинциальных социалистов, как марксистского, так и народнического толка, состоявших членами Союза Освобождения и принадлежавших главным образом к земскому третьему элементу, решило этот вопрос для себя иначе и вошло в партию к.-д. Очевидно, практическая общественная работа сделала из них более реальных политиков. Не без внутренней борьбы с "принципиальными" соображениями и со своей "социалистической совестью" и я принял решение. Я хотел принимать участие в дальнейшей политической борьбе, но понимал, что, как по своим способностям, так и по свойствам характера, я не мог претендовать в ней на руководящую роль. Поэтому я по необходимости должен был примкнуть к какой-либо крупной политической партии. К своим прежним друзьям социал-демократам я уже вернуться не мог. Слишком уже велико было у меня психологическое расхождение с ними. К программе и тактике эсеров я всегда относился отрицательно. Оставалась лишь партия к.-д., программу которой, как программу минимум, я всецело разделял и с деятелями которой я был связан уже двумя годами борьбы в рядах Союза Освобождения. Вот я и стал членом кадетской партии со дня ее основания.

Вскоре я и идейно отошел от социализма, когда для меня стало ясно, как продолжает быть ясным и до сих пор, что интегральный социализм, если и осуществим, не принесет счастья человечеству; когда я понял, что принципы индивидуализма и коллективизма хотя и противоречат друг другу, но одинаково ценны, как в общественной и государственной, так и в хозяйственной жизни народов, и отсюда сделал вывод, что основная, хотя и труднейшая, проблема общественной жизни заключается в возможном сочетании этих двух принципов путем постепенных реформ. По отношению к России таковой и представлялась мне задача партии Народной Свободы.

На 17 октября в Москве был созван первый учредительный съезд этой партии, тогда еще не имевшей названия, и я собирался на него ехать. Но принять участие в этом съезде, как мне, так и большинству его провинциальных членов, не удалось из-за начавшейся всеобщей забастовки.

В Симферополе, где я находился в это время, вся жизнь замерла и наполнилась тревогой, усиливавшейся от полного неведения того, что происходило не только в столицах, но и в ближайших городах. Вместо не получавшихся писем и газет ходили слухи, передавались из уст в уста волнующие вести, неведомо кем и как полученные. Каким-то путем дошли до нас слухи об образовавшемся в Петербурге Совете рабочих депутатов. Говорили о том, что он сверг правительство и управляет Россией. Местные власти, тоже не получавшие никаких известий и распоряжений из центра, совершенно растерялись.

Таврическим губернатором в это время был генерал Волков, товарищ Николая II по лейб-гусарскому полку и находившийся в его свите, когда он, наследником, путешествовал по востоку. Это был человек очень порядочный, но слабый и нерешительный. В дни всеобщей забастовки он как-то совсем смяк и предоставил событиям развиваться стихийно. Подчиненные ему исправники, становые и прочие полицейские и административные власти тоже выпустили бразды правления из своих рук.

Между тем с каждым днем нервное настроение во всех слоях общества и народа возрастало. Социал-демократы и эсеры открыто вели агитацию среди крестьян, рабочих и солдат, призывая к вооруженному восстанию. Улицы приняли какой-то особый тревожный вид. Мирные обыватели попрятались, боясь выходить из дому, а разгуливали по ним с мрачным видом с утра до вечера праздные из-за забастовки толпы рабочих. Между 10-м и 16-м октября мне пришлось быть в Ялте на очередном земском собрании. Во время одного из заседаний с улицы к нам ворвалась толпа возбужденных людей, потребовав прекращения сессии земского собрания. Полиция отсутствовала. Гласным пришлось подчиниться, и вместо собрания начался митинг, на котором произносились разные страшные слова.

Впрочем, на следующий день мы возобновили свои занятия, которые больше уже не прерывались.

Бывают в жизни каждого человека дни, которые навсегда запоминаются. Ни время, ни позднейшие переживания не в состоянии изгладить из вашей памяти даже самых мелких подробностей этих памятных дней. Вот так подробно помню я вечер 17-го и весь день 18 октября 1905 года.

17 октября под вечер я вернулся из Ялты в Симферополь. О том, что в Петербурге уже провозглашен манифест, обещавший народу свободу и даровавший конституцию, в Симферополе еще не знали. Бастующий город имел по-прежнему мрачный и тревожный вид. Было холодно и сыро. Вечером был назначен большой митинг в городском саду, куда я отправился в знакомой компании.

Толпа в несколько тысяч человек плотно стояла вокруг открытой сцены летнего театра, откуда ораторы произносили речи. Чтобы не быть опознанными, они прикрывали свои лица шляпами. Речи были самые демагогические. Юный большевик Лобов, сын моего знакомого земского служащего, держа перед лицом белую фуражку, призывал безоружную толпу к вооруженному восстанию. Это был тот самый Лобов, имя которого в 1917 году было обнаружено в списке отборных провокаторов.

Толпа, для которой митинги и демагогические речи были тогда еще в диковину, находилась в возбужденном состоянии, шумела, бурно аплодировала...

— Смотрите, это наверное переодетые жандармы, — шепнул мне на ухо стоявший рядом со мной знакомый.

Я посмотрел в ту сторону, в которую он указывал.

В нескольких шагах от меня, вне митингующей толпы, в темнеющей в вечернем сумраке аллее сада стояли двое. Оба были элегантно одеты в штатское платье, но осанка, жесты и в особенности распущенные усы с подусниками одного из них выдавали в них военных.

Они внимательно наблюдали за сменявшимися на трибуне ораторами, тихо перешептываясь между собой.

Вдруг человек с подусниками обернулся и тихонько свистнул. Из темноты сада послышался ответный резкий свисток, и мимо меня, пригибаясь к земле, пробежали два оборванца. "Бей жидов", — вдруг загорланил один из них во всю глотку. "Бей жидов", — неистовым голосом отозвался другой.

Говоривший оратор осекся на полуслове, а толпа, от неожиданности заколебавшись одну секунду, вдруг в панике хлынула из сада.

Прекратить панику было невозможно. Кто-то с трибуны призывал к спокойствию, но никто уже не слушал оратора. Мужчины и женщины с искаженными страхом лицами бежали к выходу и проталкивались локтями через калитку. Митинг был сорван. Два

оборванца обратили в бегство тысячную толпу, только что шумно одобрявшую призыв к вооруженному восстанию...

Я возвращался домой по темным, пустынным улицам Симферополя в самом мрачном настроении духа. Тревожила таинственная загадочность сцены, которую я только что наблюдал на темных дорожках городского сада, а главное, противно было видеть проявление человеческой трусости. И победа революции, уже одержанная в действительности в этот день, казалась мне недостижимой...

Что может быть прекраснее ясных октябрьских дней в Крыму, когда солнце нежит вас ласковой теплотой, краски кажутся особенно яркими, звуки чеканными, а туманные дали становятся близкими и доступными. В такие дни всегда чувствуешь себя бодро и легко.

После длительного ненастья такой день наступил в Симферополе 18 октября 1905 года. С утра весело и ярко светило солнце, и бесконечно мирным казался накануне еще такой мрачный и тревожный Симферополь.

Рано утром пришел ко мне мой знакомый В.В.Келлер, с которым мы вечером в самом угнетенном настроении расстались в городском саду. Я сразу заметил особую торжественность в выражении его лица.

Он протянул мне полоску свежеотпечатанной телеграммы: Манифест 17 октября...

В столицах, где люди, интересовавшиеся политикой, заранее знали о готовившемся манифесте и о том, что происходило в правительственных и придворных сферах, самое опубликование его, вероятно, не произвело такого ошеломляющего впечатления. Но в провинции, лишенной, благодаря забастовке, возможности знать что бы то ни было из того, что делалось в Петербурге, манифест своим неожиданным появлением вызвал прилив бурного воодушевления. Про себя скажу, что ни раньше, ни после ни одно крупное политическое событие не давало мне ощущения такой огромной непосредственной радости.

Инстинктивно я взял шляпу и выбежал на улицу без всякой определенной цели, а просто ощущая потребность разделить свою радость с населением города, в котором жил. Очевидно, те же чувства испытывались множеством людей, весело выходивших из своих домов и направлявшихся в центр города. С некоторыми встречными знакомыми я облобызался. То же, я видел, делали и другие. Весь этот человеческий поток вливался в главную Екатерининскую улицу, по которой уже двигалась наспех организованная социал-демократическая манифестация. Впереди шла с красным флагом высокая, красивая молодая женщина, Е.С.Бобровская, служащая земского статистического бюро. В эту минуту партийные счеты были всеми забыты, и к манифестации, украшавшейся все новыми и новыми ярко-красными знаменами, присоединялись самые мирные обыватели.

Весело двигалась радостная толпа вдоль улицы. Из окон домов и с балконов нам приветливо махали платками и присоединялись к громовому ура, то и дело раскатывавшемуся по толпе. Шествие двигалось без определенной цели. Вдруг какой-то молодой человек в очках неуклюже вскарабкался на телеграфный столб и тонким голосом прокричал:

— Товарищи, к тюрьме! Потребуем освобождения политических!

Толпа послушно пошла к тюрьме. Подошли и стали стучать в ворота. Сначала стучали кулаками, потом палками и зонтиками, наконец откуда-то появились люди. В тюрьме все было тихо. Но вдруг из верхнего окна со свистом полетели кандалы. Это уголовные, видя, что толпа осаждает тюрьму, подняли бунт.

И вот из какой-то задней двери один за другим стали выскакивать люди в арестантских одеждах. Как звери, выпущенные из клетки, они на минуту как бы застывали от ощущения внезапной свободы. Потом, осторожно оглядываясь по сторонам и наметив место, куда спасаться, пригибаясь к земле и вбегая в толпу, исчезали в ней. Наконец открылись главные ворота и показались политические: впереди шел мой знакомый эсер Борис Неручев в большой фетровой шляпе и коричневом пальто. Очевидно, вышли они без разрешения начальства, так как вслед за ними выбежали тюремные сторожа и стали их загонять в тюрьму. Один из сторожей сзади подошел к улыбавшемуся Неручеву, поднял шашку... и вдруг Неручев исчез, а черная шляпа и коричневое пальто беспомощно опустились на землю...

"Неручева убили", — крикнул кто-то, и вся толпа отхлынула назад, оставив посреди площади коричневый комочек и черную шляпу. Мы с каким-то молодым офицером подбежали к Неручеву и приподняли его. Он был весь в крови, но уже пришел в сознание. Потащили его в соседние казармы, где с помощью солдат омыли рану, перевязали, а затем на извозчике повезли к врачу. Этот эпизод вывел меня из толпы манифестантов. Из казарм я слышал выстрелы на тюремной площади и потом узнал, что это спешно вызванная рота солдат усмиряла бунт уголовных. Несколько человек было убито, но около сотни арестантов успели бежать и приняли деятельное участие в последовавшем потом разгроме магазинов.

Будучи накануне свидетелем панического настроения толпы, я был уверен, что после слышанных мною выстрелов манифестация закончится, и отправился домой. Мне отворила горничная.

— В городе убивают, — сообщила она мне задавленным голосом.

— Где убивают? Кого убивают?

— В городском саду солдаты стреляют, слышите.

Я прислушался, и до меня отчетливо донеслись со стороны городского сада звуки нескольких выстрелов. Не рассуждая, я выбежал на улицу, вскочил на проезжавшего извозчика и поехал

к городскому саду. На мосту, ведущем через Салгир к городскому саду, меня остановили городовые:

— Нельзя сюда, барин, не велено пускать.

Я слез с извозчика. Через Салгир были видны солдаты, оцепившие городской сад и, по-видимому, стрелявшие в воздух.

Кругом меня толпились бледные, встревоженные люди.

Тщетно пытался я у них узнать, что произошло. Никто, в сущности, ничего не знал толком, кроме того, что и было очевидно, т. е., что "там стреляют", а некоторые добавляли: "Народу-то сколько перебили, страсть". Я решил отправиться в городскую Думу. В такие минуты не рассуждаешь, а подчиняешься каким-то подсознательным решениям воли. Вот и в Думу я направился без какого-либо определенного плана (я даже не был городским гласным), а просто в сознании, что как-то нужно действовать. Извозчик мой уехал, через мост не пускали, а потому я побежал окружным путем через другой дальний мост. Улицы, по которым я бежал, были совершенно пустынны. Очевидно, весть о каких-то страшных событиях уже разнеслась по городу, и жители его заперлись в своих домах. Только возле часовни архиерейского дома толпились какие-то подозрительного вида люди, вооруженные большими белыми кольями. Подходя к часовне, я услышал молитвенное пение; затем пение прекратилось и, очевидно, началась проповедь. Слов ее я не мог разобрать, но слышал звуки мягкого елейного голоса, несомненно принадлежавшего священнику. Я еще не знал того, что происходило в городе, но при виде вооруженных кольями людей, заполнявших часовню, где для них служился молебен и говорилась проповедь, почувствовал острое чувство моральной гадливости от совершавшегося страшного кощунства.

Не успел я еще завернуть за угол улицы, на которой находилось здание городской Думы, как эта самая толпа людей, вооруженных кольями, с пением "Спаси, Господи", пронеслась мимо меня, а еще через минуту я услышал впереди себя звон разбивавшихся стекол магазинов. За толпой тихо двигался в полном бездействии небольшой отряд кавалерии... Мое чувство меня не обмануло. Непосредственно из церкви и как бы с ее благословения, с пением молитв, темные люди отправились грабить и убивать... Больше — грабить. Главную массу крови, как оказалось, они пролили еще до молитвы, на которой стояли с окровавленными кольями. Когда я подходил к городской Думе, во дворе первой полицейской части, против городского сада, уже складывали рядами трупы убитых людей. Их было больше пятидесяти.

В городской Думе беспомощно слонялись по комнатам взволнованные люди, так же, как и я, случайно туда забредшие. События от нас требовали каких-то действий, но каких?.. Попробовали отправиться к губернатору, но полиция, оцепившая центральный квартал города, в котором происходили главные убийства и где

находился губернаторский дом, нас не пропустила, пробовали снестись с губернатором по телефону, но нам ответили, что он уехал неизвестно куда. Между тем, наступал вечер, погромщики, уставшие от своей работы, разбрелись по домам, и в городе стало тише. Но что будет, когда настанет темнота? Войска и полиция, по заявлениям всех очевидцев, бездействовали, и на них положиться нельзя. Как относится к погрому губернатор – нам неизвестно. Необходимо было до ночи сорганизовать защиту безоружных людей. Решили, что единственным для этого авторитетным органом может быть городская Дума. Я поехал к городскому голове Ракову.

– Дома барин? – спросил я у открывшей дверь горничной.

– Дома, только они спят после обеда.

– Разбудите, скажите, что по срочному делу.

Я знал немного этого ленивого добродушного старика, много лет подряд выбиравшегося в городские головы за то, что никогда никому не противоречил и не проявлял собственной инициативы, но все же не мог себе представить, чтобы во время погрома какой бы то ни было городской голова мог мирно покоиться послеобеденным сном.

Через пять минут вышел ко мне заспанный старик в больших войлочных туфлях.

– Что вам угодно?

– Как что, разве вы не знаете, что в городе погром и много убитых?

– Так ведь что же тут сделаешь...

– Я приехал вас просить немедленно созвать городскую Думу.

На его лице появилось выражение полной растерянности.

– Зачем? – пролепетал он испуганно.

– Как зачем, ведь завтра погром может снова повториться, если не принять экстренных мер.

– Но ведь повестки не поспеют, – продолжал он защищаться.

Кончилось тем, что я заставил его написать распоряжение о созыве экстренного заседания Думы и с этой бумажкой поехал в управу, чтобы затем, при помощи добровольцев, разнести повестки всем гласным.

Оказалось, что городской голова знал лучше меня психологию своих гласных. Вечером на заседание Думы пришло всего человек пятнадцать. Кворума не состоялось.

Нам, однако, было не до формальностей. Кроме гласных, в зале Думы собралось еще около 20 человек городской интеллигенции, и мы вместе стали обсуждать положение. Решили взять охрану города на себя, приняли наименование "Комитета охраны Симферополя" и довели об этом до сведения губернатора. Но губернатор сам приехал к нам. Он был совершенно подавлен происшедшим, и когда присутствующие стали упрекать его в бездействии власти, только беспомощно разводил руками и что-то

лепетал в свое оправдание. Сам он, видимо, не мог понять, как это случилось, что он, порядочный и гуманный человек, оказался в положении пособника убийств. А это было так, ибо его полиция бездействовала, а им вызванные войска спокойно плелись за погромщиками, равнодушно взирая на грабежи и убийства.

Против образования "Комитета охраны" губернатор не возражал, даже обещал предписать полиции оказывать этому революционному учреждению полное содействие и категорически заявил, что всякая новая попытка беспорядков будет подавлена.

Эту ночь мы не спали. Быстро сорганизовались. Я был избран председателем Комитета охраны, а гласный Романюк думским полицеймейстером. А затем наняли извозчиков и ездили по темным улицам Симферополя в разных направлениях. Все было тихо, и только местами разбитые стекла домов и валявшийся на улице изорванный и поломанный домашний скарб напоминали о бывшем несколько часов тому назад погроме.

Рано утром после этих ночных путешествий вновь состоялось заседание комитета, открывшееся докладом нашего полицеймейстера.

– В городе все обстоит благополучно, – начал он стереотипной фразой заправского казенного полицеймейстера...

Губернатор сдержал свое слово. Хулиганы, сделавшие на следующий день попытку продолжать погром, были моментально рассеяны полицией. Но наш комитет собирался ежедневно еще в течение двух недель. Я целые дни проводил в городской управе, организуя охранительные отряды, которые патрулями обходили город. Каждый член нашей охраны получал особый билет за моей подписью, и губернатор отдал распоряжение полиции оказывать всяческое содействие предъявителям таких билетов. Насчет оружия у нас было слабо: несколько плохоньких револьверов. Но голь на выдумки хитра. Придумали разрезать на куски резиновые шланги, отрезками которых вооружили всех дружинников. При нейтральности войск и полиции такое оружие было достаточно для предотвращения погрома.

Каждый вечер собирался комитет, и неизменно гласный Романюк, вытянувшись по-военному, но с совершенно серьезным лицом, выпаливал: "В городе все обстоит благополучно", а затем все мы расходились по кварталам, к которым были приписаны, и обходили их дозором. Не знаю, насколько все это было нужно. Вероятно, и без наших дружин погром не возобновился бы. Но мы тогда очень серьезно и добросовестно относились к своим полицейским обязанностям. Все-таки, бродя со своими "десятками", вооруженными револьверами и резинами, по заснувшим темным переулкам, мы вносили мир и успокоение в души наших встревоженных сограждан. И это давало нам удовлетворение.

На некоторое время легальная городская Дума перестала существовать, уступив место какому-то революционному комитету

из гласных и посторонних лиц. Он делал постановления, которые приводились в исполнение, сносился с властями и т.д. Захватив в свои руки городскую Думу, комитет невольно стал расширять свои функции.

Судебные власти долго не назначали следствия о погроме, очевидно ожидая распоряжения свыше. Тогда наш комитет решил начать расследование от имени городской Думы. На помощь нам пришли местные адвокаты. И закипела работа. Свидетели валом повалили к нам, и мы с утра до вечера их допрашивали, не имея на то, конечно, никакого формального права. Впоследствии материал нашего частного расследования, произведенного непосредственно после погрома, был передан следователю по особо важным делам и сослужил большую службу для уяснения всего дела. Между прочим, весьма ценные показания нам дал один раскаявшийся провокатор. Он боялся придти в городскую Думу. Поэтому с присяжным поверенным В.М. Гимельфарбом наняли номер в гостинице, куда он явился под покровом темноты, и целую ночь вели допрос.

Только участвуя в этом расследовании, я совершенно отчетливо представил себе всю картину симферопольского погрома. Вот что произошло в Симферополе в злополучный день 18 октября.

Когда на площади возле тюрьмы появился взвод солдат, толпа с красными флагами разбежалась. Но небольшая кучка снова собралась на Екатерининской улице и, снова обрастая как снежный ком, двинулась в противоположную от тюрьмы сторону. Решили пойти в городской сад и там устроить митинг под открытым небом. В это время из ворот 1-ой полицейской части вышла другая толпа, вооруженная новыми, кем-то заранее приготовленными кольями. Несколько человек вошли в здание Казенной палаты и забрали с собой висевший на стене большой царский портрет. В узком переулке две манифестации – одна многотысячная с красными флагами и с пением революционных песен, и другая – с царским портретом и с пением "Спаси, Господи", состоявшая из нескольких десятков человек, только что вышедших из полицейского двора, – встретились. Началась перебранка, два-три кола были пущены в ход, но численное соотношение было настолько не в пользу людей, вооруженных кольями, что они отступили и направились другими улицами к базарной площади. И так же, как толпа с красными флагами на своем пути обрастала публикой, отчасти сочувствующей, отчасти просто любопытной, так, путешествуя по городским улицам, стала увеличиваться и толпа с кольями и с царским портретом.

Через час, когда толпа с красными флагами митинговала в городском саду, толпа с царским портретом проходила по улице, ведущей вдоль городского сада к губернаторскому дому. Откуда-то раздался выстрел, и через минуту люди, несшие царский портрет,

показывали его вышедшему на балкон губернатору Волкову, возбужденно крича, что жиды его только что прострелили. Действительно, портрет был продырявлен. Судебное следствие потом установило, что он был просто проткнут палкой, но легенда о "жидах, простреливших портрет", сразу распространилась по городу. Это обстоятельство долгое время служило аргументом, которым многие если не оправдывали погром, то во всяком случае переносили долю вины с палачей на их жертвы. Не имел основания не поверить этому и губернатор, который заявил толпе, стоявшей вокруг балкона, что вполне сочувствует ее патриотическому негодованию, но убедительно просит не чинить никаких насилий и разойтись по домам. Слова его были слышны лишь стоявшим впереди главарям, которые, как только он ушел с балкона, объявили толпе: "Губернатор разрешает три дня бить жидов". И, как по команде, люди с кольями, перепрыгивая через решетку, ринулись в городской сад, а остальная толпа двинулась по направлению к базару, громя и грабя еврейские дома и магазины.

Людьми с кольями руководил полицейский чиновник Александров и околоточный надзиратель Ермоленко. Стреляя из револьверов, с криком "бей жидов", они бежали впереди нападавших. "Самооборона" социалистических партий совершенно растерялась. Дав несколько разрозненных выстрелов, одним из которых Александров был убит, "самооборонщики" вместе с остальной массой обратились в паническое бегство.

Но бежать было некуда. Все выходы из сада охранялись людьми с кольями, никого не пропускавшими. Несчастные люди беспомощно метались по саду, от выхода к выходу, лезли на решетки, но всюду их настигали палачи. Убито было в этот день в городе более 50 человек, из них около 45 в городском саду. Раненых было не меньше двухсот. Сравнительно скромные цифры убитых объясняются тем, что избивающих было раз в двадцать-тридцать меньше, чем избиваемых, значительному числу которых поэтому в конце концов удалось спастись, главным образом вброд через огибающий сад Салгир. Большинство убитых мужчин и женщин были евреи, но среди них оказались и русские. Из моих знакомых было убито трое: русский Харченко и евреи Шарогородский и Майданский. Все трое ничего общего с революцией не имели. Маленький добродушный Харченко, приказчик книжного магазина, часто продавал мне книги и писчебумажные принадлежности. Очевидно, увидев на улице толпу с красными флагами, пошел за ней и заинтересовался речами на митинге.

Шарогородский был учителем еврейской школы. Тихий, скромный человек. Мечтой его жизни было получить высшее образование. За несколько дней до погрома он был у меня в земской управе и поделился своей радостью: он получил наследство, дающее ему

возможность поехать учиться за границу, забрав с собой жену и двоих детей.

— Зашел проститься, — сказал он весело. — Паспорт у меня уже в кармане. Как только забастовка кончится, мы уезжаем.

Забастовка действительно кончилась, но он не уехал, а лежал с размозженной головой во дворе полицейской части.

Майданский был газетным репортером. Каждый день он приходил в управу, и мне хорошо знакомы были его нескладная конфузливая фигура, его бледное, некрасивое лицо, окаймленное молодой рыжей бородкой, и длинная белая шея в грязном крахмальном воротничке, не раз осторожно просовывавшаяся в дверь моего кабинета. Это был несчастный, забитый жизнью и нуждой, еще совсем юный еврей, заика и робкий до жалости. В этот день он, конечно, из присущей ему робости побоялся присоединиться к толпе с красными флагами, а встретился со своими убийцами случайно на одной из тихих симферопольских улиц. "Жид", — крикнул из них кто-то и замахнулся колом. Очевидцы этой страшной сцены мне передавали, что несчастный Майданский упал на колени и стал истово креститься, уверяя, что он не еврей. Ему, конечно, не поверили и убили несколькими ударами кольев по голове...

Среди убитых не было ни одного сколько-нибудь известного в революционных кругах человека. Погибли случайные люди, либо евреи, либо похожие на евреев. Так всегда бывает при организации массовых убийств.

Через год погромщиков судили и приговорили убийц к каторжным работам, а грабителей к тюремному заключению. В числе приговоренных за убийство находился и околоточный надзиратель, выведший из двора полицейской части отряд вооруженных кольями людей.

Но недолго им пришлось отбывать наказание. Вскоре после приговора все они по высочайшему повелению были освобождены.

Вообще все грабители и убийцы, участвовавшие в еврейских погромах, если им не удавалось по протекции властей избежать правосудия, систематически миловались Николаем II. Отсюда несомненно можно вывести заключение, что он лично сочувствовал погромам. Но были ли погромы организованы с его ведома и благословения — об этом едва ли когда-либо станет известно. Несомненно лишь, что погромы 1905 года были организованы из центра, если не через департамент полиции и охранное отделение, то через видных служащих этих учреждений, а инструкции на местах давались помимо губернаторов, во всяком случае помимо порядочных губернаторов. Картина симферопольского погрома, детально мною изученная и подтвердившаяся на суде, ясно свидетельствует как о причастности местной полиции, так и о полной непричастности губернатора Волкова.

Вскоре после погромов Волков вышел в отставку, а на его место был назначен местный прокурор Новицкий, человек совершенно беспринципный и беззастенчивый карьерист, о котором мне придется еще упоминать в дальнейшем изложении событий.

Конец октября и начало ноября я провел целиком за работой в городской Думе, а затем отправился в Москву на первое после малочисленного октябрьского съезда совещание членов новой конституционно-демократической партии. Не помню, было ли это совещание, или съезд, но присутствовавших было тоже немного, человек 40. Собрались в особняке кн. Павла Долгорукова. Большинство наших будущих лидеров было налицо: Милюков, Петрункевич, Родичев, Набоков, Винавер, Кокошкин и др. Общий доклад о конструкции партии, о ее месте среди борющихся в России сил и о ее предстоящей тактике сделал Милюков. Сущность его доклада заключалась в следующем: после Манифеста 17 октября и учреждения Государственной Думы с законодательными функциями партия, уже на первом съезде получившая название конституционно-демократической, должна вступить на путь конституционной парламентской борьбы для осуществления своей программы, отказавшись от борьбы революционной, в которой до сего времени участвовали ее члены в составе Союза Освобождения и других революционных организаций. Она должна поставить себе задачей привлечь к этой борьбе все оппозиционные силы. Для этого ее программа достаточно широка. С одной стороны, оставив в ней открытым вопрос о форме правления, как не имеющий в данный момент актуального значения, она может объединить в своих рядах монархистов и республиканцев, с другой – ее программа широких социальных реформ может удовлетворить либеральных демократов и социалистов, не помышляющих о возможности немедленного введения в России социалистического строя. К партии, таким образом, могут примкнуть люди различных идеологий для осуществления общих им ближайших целей. В таком широком фронте – сила партии, которая мыслится ему, Милюкову, подобной английской либеральной партии, где уживаются представители самых различных классов населения – и буржуазия, и крестьяне, и рабочие.

Все присутствующие вполне согласились с Милюковым, хотя у многих, не исключая докладчика, далеко не было уверенности в том, что английские формы политической борьбы применимы в русских условиях.

Став на путь легальной политической борьбы и отвергнув революционные методы, конституционно-демократическая партия резко и навсегда отмежевалась от своих "друзей слева", не исключая и тех, которые до 17 октября работали с нами в Союзе Освобождения. Расхождения эти вскоре еще усилились, и мечта Милюкова о создании английской либеральной партии в России так и осталась завлекательной утопией.

На этом же совещании, или съезде, партия к.-д. получила свое русское название. Конституционно-демократической она была окрещена уже на первом съезде 17 октября. Но все находили, что сочетание малопонятных для населения слов будет помехой для ее популярности и может повредить выборной агитации. Решено было придумать русское название. Долго не могли найти простых слов, формулирующих главную сущность партии. Первый выдвинувший приемлемое название для партии был бывший народоволец и каторжанин Караулов. Он сообщил, что они в Сибири уже создали партийную газету, которая называется "Свободный Народ". Почему бы и партию не назвать партией Свободного Народа. Название это всем понравилось, но казалось несколько неуклюжим, а кроме того возражали, что народ еще не свободен и свобода его еще впереди. Стали предлагать всякие изменения: "партия народного освобождения", "народная партия", "народ и свобода" и т.д. Наконец Родичев нашел удовлетворившее всех название: "Партия Народной Свободы". Оно и было окончательно принято. С тех пор это название партии мы употребляли во всех официальных выступлениях и документах, но первое название — "конституционалисты-демократы" (к.-д.), давшее нам кличку "кадетов", стало ходовым. Кадетами нас называли не только посторонние, но и мы сами пользовались этой кличкой в разговорном языке. Мы не предвидели, что в революции 1917 года большевики ловко используют эту звучавшую по-военному кличку, которая во время гражданской войны объединила нас с участниками вооруженной борьбы. "Кадетами" стали называть всех военных "контрреволюционеров", и благодаря этому смешению названий многие из моих провинциальных товарищей были в свое время расстреляны.

Наше совещание продолжалось несколько дней. Вероятно, на нем обсуждались вопросы программы и тактики, связанной с предстоявшей избирательной кампанией, но все это изгладилось из моей памяти.

Вернувшись в Симферополь, я принял участие в новом для меня деле. В кружке близких мне лиц был поднят вопрос о создании политической газеты. Это был период полной свободы печати в России. Старые законы считались отмененными Манифестом 17 октября, а новых еще не было. Поэтому цензура просто сложила руки, а газеты и журналы писали все, что хотели. Такой свободы, которую имела в России, если не ошибаюсь, в течение трех месяцев, печать, до издания "Временных Правил", она не пользовалась ни в одном государстве мира. Некоторые органы злоупотребляли этой свободой. В особенности юмористические журналы, печатавшие остроумные, но грубые карикатуры на Николая II, который как-никак был главой Российского государства. Само собой разумеется, что при этих условиях в столицах и в провинции новые органы печати росли как грибы.

В Симферополе до этого времени издавалось две маленьких газеты — "Крым" и "Салгир", главным образом занимавшихся культурой местных сплетен. Редактор-издатель "Крыма", не бездарный, но совершенно спившийся старик Балабуха, не брезговал шантажом, за что его испитая физиономия не раз покрывалась синяками. Обе газеты совершенно зачахли от конкуренции издававшегося в Севастополе "Крымского Вестника" — газеты бойкой, имевшей талантливых сотрудников, но пошловатой и совершенно неопределенной в политическом отношении. Таким образом, местные жители, которые не выписывали столичных газет, а таких было множество, были лишены политического руководства в такой ответственный в русской жизни момент, когда приближался срок выборов в первый русский парламент. Этот момент казался нам благоприятным для создания новой серьезной политической газеты в Крыму. Кружок инициаторов состоял из 10-12 человек, которые, образовав редакционную коллегию будущей газеты, приступили к собиранию необходимых для ее издания средств и к обсуждению ее программы. И то и другое оказалось делом далеко не легким. Мы подсчитали, что для того, чтобы приступить к изданию, нужно нам собрать не менее 10-12 тысяч рублей. Составили подписной лист и сами внесли кто 100, кто 500, кто 1 000 рублей. Собрали таким образом около 4 500 рублей. Но от посторонней публики никаких взносов не поступало. В конце концов решили удовлетвориться этой скромной суммой.

Сговориться о направлении было еще труднее. Для издания партийного органа с определенным направлением в Симферополе было слишком мало людей, способных владеть пером. Приходилось объединять в редакционной коллегии лиц разных направлений. И в нашей редакции оказались люди беспартийные, кадеты, эсеры и меньшевики. К счастью, из последних двух партий вошли к нам люди сговорчивые. Легко сговорились на том, что орган будет беспартийным, либерально-демократическим. Но далее шли подводные камни: между направлениями, объединившимися в нашей газете, в столичной прессе шла в это время жестокая полемика. Как же нам быть? Долго спорили и наконец согласились ничего не писать по спорным вопросам. Для газеты, стремившейся влиять на общественное мнение, да еще в такой исторический момент, решение это было совершенно нелепо, но мы все так стремились иметь свою газету, что приняли его скрепя сердце. По своим политическим взглядам я занимал в нашей редакционной коллегии центральное место, и волей-неволей мне приходилось брать на себя инициативу в принимавшихся компромиссах. Особенно трудно было замалчивать в газете один самый животрепещущий вопрос, вопрос о выборах в Государственную Думу. Левые члены нашей коллегии считали необходимым поддерживать решения

социалистических партий о бойкоте выборов, большинство же стояло за активное участие в них. Примирить эти точки зрения мы не могли, а ничего не писать о выборах было невозможно. Поэтому решили допускать по этому вопросу статьи, отстаивающие противоположные точки зрения. Это решение было необходимо для того, чтобы редакция не раскололась, но практического значения не имело. Наши левые коллеги в душе желали, чтобы на выборах победила партия Народной Свободы, и не пользовались своим правом писать статьи в пользу бойкота выборов. Мы же, сторонники выборов, использовали свое право полностью, и наша газета имела большое значение во время избирательной агитации.

Итак, имея в руках всего 4 500 рублей и такую внутреннюю конституцию, которая в другое время загубила бы всякую газету, мы приступили к делу. Арендовали на краю города небольшую типографию и стали готовиться к выпуску первого номера к 1 января 1906 года. Газету назвали "Жизнь Крыма". Я взялся подписывать ее в качестве официального редактора. Внутренняя редакция была предоставлена коллективу редакционной коллегии, а обязанности редакторов, составляющих и выпускающих газету, были возложены на меня и Л.С. Зака, через день сменявших друг друга. Труднее всего было найти писателей, ибо, за исключением Л.С. Зака, никто из членов редакции никогда не сотрудничал в периодической печати, а для приглашения сотрудников со стороны у нас не было средств. Обоим редакторам и всем главным сотрудникам приходилось работать даром.

Много души вложили мы в эту маленькую провинциальную газету. Накануне нового года все члены редакции собрались в типографию и с замиранием сердца смотрели, как выскакивали листы за листами из печатной машины и аккуратно складывались в стопочку. А затем, выйдя на улицу, наблюдали, как газетчики, весело покрикивая, — "новая газета, Жизнь Крыма", — продавали "завтрашний"* номер.

У меня газета отнимала все свободное время. Приходя из управы, я наскоро обедал, а затем либо садился за писание статей, либо бежал на противоположный конец города редактировать и выпускать очередной номер. Возвращаться приходилось по темным окраинам города. Время было тревожное. Я получал по почте письма от каких-то "мстителей" с изображением мертвой головы, где мне грозили смертью за то, что я "продался жидам". Поэтому, на всякий случай, направляясь в редакцию, я клал в карман заряженный браунинг. Это был единственный период моей жизни, когда я, поддавшись моде того времени, носил с собой револьвер. Впоследствии

* В провинции типографии не работали по ночам. К 8 часам вечера заканчивалось печатание газет, а в 9 часов номер уже поступал в продажу.

приходилось переживать и более тревожные моменты, но я понял, что стрелять в живого человека я мог бы решиться лишь после того, как он меня убьет из моего же револьвера, а потому никогда не носил револьвера, более опасного для моей жизни, чем для жизни предполагаемого врага.

Первое время "Жизнь Крыма" почти не имела объявлений, очень мало корреспонденций и хроники, а потому большую часть ее приходилось заполнять статьями. Это было очень трудно ввиду нашей неопытности, а кроме того, из 12 членов редакционной коллегии были способны писать регулярно только четверо: Л.С. Зак, В.И. Якобсон, В.А. Могилевский и я. Большинство же так и не решилось написать в газете ни одной строчки.

Особенно много писать приходилось мне и Л.С. Заку, ибо мы получали материалы от других и заполняли пробелы текущих номеров. Раньше мне приходилось писать лишь статьи для статистических сборников, а тут — вынь да положь — строчи на очередные темы! Понатужился и стал писать под разными псевдонимами не только политические статьи, фельетоны на местные и общие темы, но даже стихи...

Наша редакционная коллегия отражала на себе пестрый национальный состав местного населения. В ней участвовало пятеро русских, четверо евреев, два караима и один немец. Но постоянными писателями оказались три еврея и один русский. Вышло это само собой, просто потому, что евреи очевидно энергичнее и решительнее представителей других национальностей и кроме того несомненно имеют вкус к журналистике. Поэтому среди сотрудников газет всего мира евреи преобладают. Наша "Жизнь Крыма" не составляла исключения, и, конечно, в правых кругах Симферополя ее называли "жидовской газетой".

Успех "Жизни Крыма" превзошел все наши ожидания. Через какие-нибудь два месяца она стала самой распространенной газетой в Таврической губернии и печаталась в нескольких тысячах экземпляров. И дальше тираж ее продолжал расти. Мы могли уже привлекать платных сотрудников и пригласили в качестве выпускающего редактора опытного журналиста А.П. Луриа. Несколько раз запрещавшаяся и менявшая свои названия, наша газета перешла в 1907 году в собственность С.А. Усова, затем в 1917 году была арендована губернским земством, затем местным союзом кооперативных обществ и просуществовала под названием "Южных Ведомостей" до конца 1920 года, когда Крым уже окончательно был занят большевиками, а бессменный редактор ее, милейший и благороднейший человек А.П. Луриа, был ими расстрелян.

Одним из главных сотрудников "Жизни Крыма" был, как я уже упоминал, В.И. Якобсон. Судьба этого человека настолько оригинальна, что я не могу не сказать о нем несколько слов. В.И. Якобсон принадлежал к зажиточной еврейской семье. Крымские евреи были

евреями лишь по крови и по религии. По культуре они были совершенно русскими. В то время, как у евреев из Польши или из бывших Западного Края и Малороссии родным языком был так называемый еврейский жаргон, а в русской речи на всю жизнь сохранялся еврейский акцент и еврейские интонации (в этом отношении даже люди, занимавшие видное место в русской общественности, как М.М. Винавер, В.Г. Слиозберг и др. не составляли исключения), крымские евреи не знали жаргона. Их родной язык был русский. На нем они говорили с родителями, на нем учились в гимназиях и университетах. С языком они приобретали русские манеры и даже русские выражения лиц.

Таким вполне русским человеком был В.И. Якобсон. Окончив университет, он вернулся в свой родной Симферополь и состоял членом правления местного Общества взаимного кредита. Это был человек исключительно одаренный и блестящий. Умный, широко образованный, отличный оратор. Так же, как большинство из постоянных сотрудников "Жизни Крыма", В.И. впервые выступил в роли журналиста и сразу же выделился яркостью своих статей, в особенности в области литературной критики.

Совместная работа в газете дала мне возможность ближе познакомиться с этим интересным человеком, несмотря на некоторую сдержанность и холодность, проявлявшуюся им в личных отношениях. Я часто бывал у него в гостях, в маленькой квартирке, которую он занимал со своей женой. Разговоры с ним мне всегда давали большое удовольствие, и я постоянно заходил к нему, возвращаясь по вечерам из редакции, благо идти приходилось мимо его дома. Каких только тем не затрагивалось в наших разговорах! Но особенно интересовала меня одна специальная тема, касающаяся его отношения к своей национальности. Наше знакомство с В.И. Якобсоном произошло как раз в период переживавшегося им глубокого духовного кризиса. Он увлекся сионизмом. Не зная ни одного слова ни на идиш (еврейский жаргон), ни на древнееврейском языке, он стал серьезно изучать оба эти языка. Несмотря на свое с детства воспринятое вольнодумство, стал соблюдать еврейские праздники и обряды и мечтал о создании себе новой родины в Палестине. Мне все это казалось странным в этом типичном для своего времени русском интеллигенте.

— Послушайте, Виктор Исаакиевич, — допрашивал я его, — ведь вы такой же русский, как и я. Еврейский быт, еврейская религия — все это вам чуждо, два еврейских языка изучаете только теперь, на четвертом десятке, как языки иностранные. В России вы выросли, прожили 35 лет, любите и хорошо знаете русскую литературу, участвуете в общественной и политической жизни. Что вам какая-то Палестина? Я бы понял еще, если бы вы хотели покинуть Россию из-за преследований, которым подвергаются

евреи. Но как раз теперь происходит революция, и мы с вами добиваемся и, надеюсь, добьемся еврейского равноправия. В чем же дело?

Якобсон смотрел на меня задумчивыми глазами и отвечал:

— Вам этого не понять. Да и сам я понимаю, что моя тяга в Палестину с точки зрения здравого смысла иррациональна. Но иррациональное в нашей жизни часто играет доминирующую роль. Так и со мной случилось. Во мне заговорила кровь моих предков. Русский по культуре, я по крови еврей и все больше и больше чувствую, что кровь сильнее культуры. Кровь, а не преследования объединяют меня с моим народом, и я стремлюсь создать для него родину.

Эта мистика крови была мне непонятна, непонятна и теперь, хотя существования ее, как факта, отрицать, конечно, нельзя, особенно нашему поколению, бывшему свидетелем восстановления ряда новых национальностей, казавшихся давно исчезнувшими, и воскрешения забытых языков и наречий.

Года через два-три после моих бесед с Якобсоном он навсегда покинул Россию. Вначале я кое-что о нем слышал как о сионистском деятеле, когда он служил в еврейском колонизационном банке в Константинополе. Потом совершенно потерял его из вида.

Прошло более двадцати лет. Как-то я сидел в гостях у своих знакомых евреев в Париже. Звонок. В комнату входит маленький старичок. — Виктор Исаакиевич, это вы!... — Владимир Андреевич!.. Мы обнялись и облобызались. Через несколько дней я у него обедал. Обед был вкусный, с винами, ликерами, как полагается в хороших домах. В обширном кабинете, где мы пили послеобеденный кофе, большие шкафы с книгами, среди которых на видном месте красовались в дорогих переплетах русские классики.

Оказалось, что за 20 лет, прошедших со времени нашего последнего свидания, В.И. Якобсон разошелся со своей женой, которую я знал в Симферополе, и женился на берлинской немке, которая в угоду ему приняла иудейство. Две миловидные девочки-подростка, родившиеся от этого брака, тоже с нами обедали. В качестве палестинского гражданина Якобсон сделал после войны блестящую карьеру и, избранный представителем еврейского народа при Лиге Наций, поддерживал там интересы своей "родной" Палестины.

Мы по-стариковски вспоминали давно прошедшие времена. Было это приятно как мне, так, по-видимому, и ему. Но когда зашел разговор о том, что творится в России теперь, то оказалось, что В. И. русских газет не читает и о России судит по иностранной прессе, главным образом социалистической. Две-три банальных фразы изобличили его полное невежество в русских делах, и он поспешил переменить разговор, сказав мне:

— Знаете, я боюсь высказываться о ваших русских делах. Я совсем отошел от русской жизни, мало в ней понимаю, да, признаться, и мало ею интересуюсь.

Последние слова он произнес таким тоном, который задел мое национальное самолюбие. Мне сразу стало как-то тяжко продолжать разговор с человеком, так безучастно относящимся к страданиям своей прежней родины, за лучшее будущее которой мы когда-то совместно с ним боролись.

Я ничего ему не ответил, а, переменив разговор, поторопился откланяться. Вероятно, он понял, что эта попытка возобновить наше старое знакомство оказалась неудачной, и мы больше не видались. Недавно я прочел в газетах о его смерти.

Но пора возвратиться из Парижа 30-х годов в Россию 1906 года и продолжать последовательно рассказ о том, "свидетелем чего Господь меня поставил".

После усмирения московского восстания в России наступило время настоящей анархии. Правительство почувствовало себя достаточно сильным, чтобы подавить всякую вспышку организованного бунта и восстания, но революция приобрела стихийный характер и шла самотеком, никем не направляемая. Начался период распыленного террора. В разных частях России появились вооруженные люди, группами и одиночками нападавшие на местные власти. Убивали жандармов, становых, урядников, стражников. Начались и так называемые "экспроприации", т.е. попросту грабежи почты, банков и просто богатых людей. В них принимали участие лишь в редких случаях центральные революционные организации. Большею частью действовали местные группы революционных партий за свой страх и риск. Появились и просто грабители под личиной революционеров. К этому времени, между прочим, относится начало карьеры впоследствии знаменитого батьки Махно, тогда еще 16-летнего юноши. Происходили и в Крыму кровавые события. В памяти моей осталось воспоминание об ограблении почты в горах, на шоссе между Симферополем и Алуштой. Грабители убили почтальона и унесли с собой все перевозившиеся им деньги. Власти так и не нашли преступников, но мне потом удалось узнать из вполне достоверного источника, что этот грабеж был совершен по постановлению местного комитета социалистов-революционеров и что руководил им на месте хорошо мне знакомый студент-зоолог, готовившийся к научной карьере. Тогда это открытие повергло меня в жуткое недоумение. Теперь, после всего, что перед лицом всего мира совершалось в России, я перестал удивляться каким бы то ни было моральным несообразностям.

На распыление революции правительство ответило распылением власти, на анархию террора – анархией власти. Как ни безобразна была эта система, изобретенная министром Дурново, но она помогла ему в борьбе с распыленным террором. Ее довел уже до победного конца сменивший его Столыпин. Система эта заключалась в создании целой сети маленьких генерал-губернаторств. Каждая местность, каждый город, где начинались революционные эксцессы,

объявлялись на военном положении, причем вся власть переходила к начальнику местного военного гарнизона.

И, Боже мой, чего только не выделывали эти в большинстве совершенно невежественные полковники и генералы над подчиненными им жителями. В Крыму таких сатрапов образовалось несколько. В Севастополе властвовал командир флота (кажется, в это время эту должность занимал убитый впоследствии адмирал Чухнин), в Керчи распоряжался местный градоначальник, в Феодосии – какой-то полковник Давыдов, в Ялте – приобретший вскоре всероссийскую известность генерал, а тогда еще полковник Думбадзе. Наш Симферополь сохранил свои "вольности", и, пользуясь свободой печати, мы помещали в нашей газете резкие корреспонденции из местностей, объявленных на военном положении, писали протестующие статьи и всячески измывались над маленькими самодержцами в фельетонах и в сатирических стихах.

В особенности много приходилось писать о деятельности правителей Феодосии и Ялты. Они очень на нас негодовали, жаловались губернатору Новицкому, но он не решался принять против нас каких-либо репрессивных мер в это неопределенное время, а кроме того сам был раздражен тем, что эти глупые полковники лишали его принадлежавшей ему по закону власти. Особенно рассердились полковники, когда в "Жизни Крыма" появилось мое стихотворение, в котором высмеивались их нелепые распоряжения.

А они были действительно нелепы. Думбадзе действовал главным образом при посредстве высылок. Из Ялты и Ялтинского уезда высылались люди за всякую безделицу, за неосторожно сказанное слово, за непочтительный поклон, на основании непроверенных доносов, анонимных писем и т.д. В Симферополь постепенно переселялись давнишние ялтинские жители, преимущественно люди, страдавшие туберкулезом, которым перемена климата грозила смертью. Ялта лишилась доброй половины своих лучших врачей, ялтинское земство – лучших земских служащих. Особенно много шума наделала высылка из Ялты некоей госпожи Лапидус, жены довольно видного чиновника, за то, что, по доносу, полученному Думбадзе, она 17 октября вышла на балкон в красной мантилье. Даже управляющий удельными имениями Качалов, чем-то не понравившийся Думбадзе, был выслан из Ялты в 24 часа. Впрочем, благодаря придворным связям он смог скоро вернуться.

Не могу не записать одного курьезного факта из деятельности этого опереточного властелина. В Ялте было прачечное заведение, хозяином которого был какой-то еврей. Он соблазнил одну из молодых прачек, которая затем разрешилась от бремени. Она подала на него в суд, требуя алименты, но доказать, что он отец ее ребенка, не могла. Тогда кто-то надоумил ее подать прошение Думбадзе, который тотчас же учинил Соломонов суд. Вызвал

еврея, приказал ему уплатить тысячу рублей штрафа и, получив деньги, выслал его из Ялты. Затем вызвал прачку и сказал ей:

— Вот тебе тысяча рублей в пособие на ребенка от жида, тебя соблазнившего. А за то, что ты путалась с жидом, — вон из Ялты!

Феодосийский "халиф на час", полковник Давыдов, творил еще больше чепухи. В отличие от Думбадзе, он никого не высылал из Феодосии, а за малейшее нарушение его обязательных постановлений — сажал в тюрьму. Феодосийская тюрьма была переполнена мирными жителями, вольно или невольно нарушившими его распоряжения. А распоряжения были одно нелепее другого. Так, например, опасаясь покушений на свою особу, он издал обязательное постановление о том, что всякий житель Феодосии, когда он, Давыдов, проезжал по улице, должен был останавливаться и поднимать руки вверх. Женщины с зонтиками, корзинами или покупками из магазинов должны были при встречах с Давыдовым класть эти предметы в грязь и стоять с поднятыми руками. Рассеянные и невнимательные люди попадали в тюрьму... Существовало обязательное постановление, нормировавшее число знакомых, которых можно было одновременно у себя принимать. За случайное превышение этой нормы хозяин отправлялся на несколько дней в тюрьму. Озлившись на нашу газету, Давыдов распорядился сажать в тюрьму всякого, кого полиция застанет с номером "Жизни Крыма" в руках, и т.д. Я теперь уже забыл бесконечное множество смешных анекдотов об этом армейском полковнике, совершенно потерявшем голову от внезапно врученной ему власти, но жить под этой властью несчастным феодосийцам было невесело. А в Симферополе в это время мы пользовались свободой, какой не знали ни раньше, ни позже. Начали готовиться к выборам в Первую Государственную Думу.

Предварительно нужно было организовать местные отделы партии Народной Свободы. Во всех городах Таврической губернии, в одних — открыто и свободно, в других — конспиративно, образовались местные комитеты, а затем в Симферополе был созван губернский съезд, который выбрал губернский комитет под моим председательством. В партию мы принимали всех желающих, а потому первое партийное собрание в Симферополе было многолюдным. Я ознакомил присутствующих с программой новой партии и предложил ее обсудить для внесения на будущем всероссийском съезде предложений о тех или иных изменениях.

Собрание проходило довольно серо и скучно, пока его не оживил только что вступивший в партию член губернского правления Н.Н. Чихачев. Человек умный, образованный и способный, он был правой рукой всех сменявшихся губернаторов и таким образом в течение нескольких лет почти управлял Таврической губернией. Умел со всеми ладить, но, само собой разумеется, имел репутацию вполне благонамеренного чиновника. И вдруг

метаморфоза: Н. Н. записался в партию Народной Свободы, а придя к нам на собрание, стал высказывать уже совсем радикальные мысли, настаивая даже на национализации земли. Речь Н.Н.Чихачева на собрании нашей партии в маленьком Симферополе произвела сенсацию. Вероятно, не очень одобрил ее и губернатор. По этой или другой причине, Чихачев стал хлопотать о переводе на службу в другую губернию, конечно – с повышением, и уехал в Петербург искать протекции у своего бывшего начальника В.Ф.Трепова, имевшего большие связи. По этому поводу в Симферополе передавалась такая сплетня: до сведения Трепова дошли, конечно, слухи о внезапной "левизне" его бывшего подчиненного, и между ними произошел будто бы такой разговор:

– Как же вы хотите, Н. Н., чтобы я хлопотал за чиновника, который принадлежит к революционной партии, да еще публично произносит революционные речи? – решительно заявил Трепов.

– А вам известно, ваше превосходительство, с какими намерениями я записался в эту партию?

Трепов понял намек, и вскоре Чихачев получил место киевского вице-губернатора.

К этому времени правительство укрепилось и решительно приняло реакционный курс. Чихачев, делая карьеру, плыл по течению. Но его тянуло к большой политической карьере, которую он так неудачно начал в Симферополе в 1906 году. В 1912 году он был выбран правыми депутатом от Киевской губернии и в Государственной Думе вошел в партию националистов. Увы, и на этот раз он ошибся в расчетах... Я слыхал, что, вернувшись в Киев в 1917 году, он был убит большевиками.

Глава 16

ВЫБОРЫ В ПЕРВУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

Выборы от мелких землевладельцев в Алуште. Выборы в городе Симферополе. Выборы членов Думы на губернском земском собрании. Я избран большинством в один голос. Депутат Сипягин. Н. В. Некрасов избран представителем от Таврической губернии на всероссийский съезд кадетской партии. Губернатор Новицкий и мои с ним отношения. Проводы депутата.

В конце марта начались выборы в 1-ую Государственную Думу. Таврический комитет партии Народной Свободы выставил мою кандидатуру в выборщики от города Симферополя. Но я имел еще ценз мелкого землевладельца Ялтинского уезда и, конечно, принял, в качестве одного из избирателей, участие в выборах своей ялтинской курии. Эти выборы были так красочны, что я не могу устоять от искушения рассказать о них подробно.

Яркое солнечное утро. По береговой дороге, вдоль моря, мы с моим тестем, председателем ялтинской земской управы В.К. Винбергом, едем на линейке из деревни Бьюк-Ламбата в Алушту, где должны происходить выборы избирателей в 1-ую Государственную Думу от мелких землевладельцев Алуштинского района. Мой тесть будет председательствовать. Я – избиратель. По закону, впоследствии отмененному, выборы в курии мелких землевладельцев должны были производиться баллотировкой шарами, а потому мы везли с собой семь избирательных ящиков и около сотни баллотировочных шаров. Первые выборы в первую Думу! Как-то они пройдут? Мелкие землевладельцы – народ разношерстный и неопределенный. А между тем от их вотума в значительной степени может зависеть состав выборщиков от общей землевладельческой курии. Наши политические противники – преимущественно крупные землевладельцы. Поэтому чем больше мелкие землевладельцы выберут своих представителей для участия в общей землевладельческой курии, тем больше имеет шансов на успех наша партия Народной Свободы. Неясность положения невольно вызывает во мне чувство тревоги, какое бывает у гимназистов перед экзаменами. И оно так не гармонирует с беспредельным спокойствием, разлитым в весенней крымской природе.

Тревожиться же есть о чем. В северных, русских частях губернии на прошедшие уже собрания мелких землевладельцев явилось совершенно ничтожное количество избирателей. Думалось, что и наши южнобережные татары, люди в большинстве малограмотные, не проявят большей политической зрелости...

Въезжаем в Алушту с ее широким пляжем, на который с шумом накатываются спокойные зеленые волны. Наша линейка заворачивает вглубь этого маленького местечка, где в только что выстроенном здании земского ночлежного приюта для пришлых рабочих должны происходить выборы. Вдруг — полная для нас неожиданность: на площадке перед приютом въезжаем в густую толпу татар. Тут и муллы в серых халатах и белых чалмах, и старые седобородые "хаджи"* в зеленых чалмах, и алуштинские франты — комиссионеры и проводники в лазоревых куртках и высоких лакированных сапогах, и рядовые татары южного берега — молодежь в пиджаках и барашковых шапках, старики — в синей домашней одежде, подтянутые красными кушаками и обутые в легкие кожаные пасталы,** и горные татары в коротких безрукавных полушубках. Одни стоят группами, оживленно между собою разговаривая, другие расположились на земле и, вытащив из мешков продовольствие, закусывают.

Оказалось, что казанский центральный Мусульманский комитет издал приказ всем избирателям явиться к урнам. А татары — народ дисциплинированный и в точности исполнили этот приказ своего неведомого начальства, только что благодаря революции возникшего. Пришли буквально все домохозяева*** из всех деревень, причисленных к Алуштинскому району. Жители более дальних горных деревень вышли из дому еще накануне и шли пешком целую ночь. Всего собралось татар свыше шестисот человек. А из русских дачников, тоже во множестве живших в Алуште и ее окрестностях, людей по преимуществу культурных, которые должны были бы, казалось, с полным вниманием относиться к исполнению своего "гражданского долга", явилось всего семеро. На нас семерых выпала трудная задача — организовать самую процедуру выборов, в которых должна была участвовать эта пестрая толпа татар, не имевших, само собою разумеется, никакого понятия ни об избирательном законе, ни об избирательной технике.

---

* Татары, побывавшие в паломничестве в Мекке.

** Татарские туфли из кожи, тонкими ремешками привязывающиеся к ногам.

*** Благодаря тому, что татары владели землей по праву частной собственности, они являлись избирателями не только по курии крестьянской, но и по курии мелких землевладельцев. Впоследствии Сенат разъяснил, что наделенные крестьяне, владеющие землей по праву частной собственности, не могут участвовать в выборах по курии мелких землевладельцев.

Закон требовал, чтобы в помещение, в котором происходят выборы, никто, кроме избирателей, не допускался. Желая соблюсти это требование закона, мы поставили у входа в ночлежный дом столики и по спискам, врученным нам старостами деревень, стали проверять каждого входившего. Но что это были за списки! Прежде всего в них стояли "официальные" фамилии татар, часто не имевшие ничего общего с их "уличными" фамилиями, под которыми они сами себя знали. Приходилось на слово верить старосте, что какой-нибудь Мустафа Кулумбаш, подошедший к столу, но отсутствующий в списке, то же лицо, что проставленный в списке Мустафа Беков.

Но часто бывало хуже:

— Как зовут? — спрашиваю, например, молодого подошедшего к столу татарина.

— Амет Рамазан Гусар.

Перелистываю длинный список, в котором избиратели помещены не в алфавитном порядке, а в порядке расположения их жилищ в деревне, и не нахожу такого. Призываю на помощь старосту. Он долго водит корявым пальцем по списку, но столь же безрезультатно. В дело вмешиваются другие татары. Волнуются, о чем-то спорят на непонятном мне языке. Наконец староста решительно перелистывает список и, тыча пальцем в какое-то имя, говорит мне:

— Вот он.

— Но ведь здесь никакого Гусара не значится, — возражаю я с недоумением, — здесь написано — Курт Сеит Умеров.

— Ничего, — говорит староста, — это дядька его был. Дядька помер, теперь его земля, Амет хозяин.

По закону, я не имею права допустить к участию в выборах лиц, не значащихся в списках. Но списки так и пестрят "мертвыми душами", и, если придерживаться закона, пришлось бы лишить права участия в выборах добрую половину пришедших татар, которые сами себя по праву считают законными избирателями. Объяснять им, что ошибка в каком-то списке лишает их этого права, — невозможно. Поэтому, посовещавшись между собой, мы решаем нарушить закон во имя здравого смысла. И вот я зачеркиваю умершего Умерова и вписываю стоящего передо мной живого, улыбающегося Амета Гусара.

На поиски имен в списках, на установление настоящих фамилий и на замену мертвых душ живыми тратится бесконечное количество времени. Между тем, татары, сидящие во дворе, не понимают, в чем задержка. Они начинают нажимать на передних, а те упираются в наши столы, которые постепенно отодвигаются вместе с нами вглубь помещения. Наконец передние татары не выдерживают. Столы совершенно раздвигаются, и толпа, уже ничем не сдерживаемая, вливается в ночлежный приют. Закон окончательно попран. Но не можем же мы снова удалить всех и опять начинать проверку. Решаем подчиниться обстоятельствам и продолжаем нашу работу, подзывая

к себе уже вошедших татар в порядке списков. Так дело идет значительно скорее. И все же на одну лишь проверку списков тратим несколько часов.

Наконец можно приступить к выборам. Предлагаем татарам сговориться о кандидатах, а сами обсуждаем вопросы технические. Избирателей имеется свыше шестисот, а потому для семи ящиков нужно около пяти тысяч шаров. Между тем шаров имеется всего сто. Как быть?.. Кому-то пришла блестящая мысль купить мешок орехов, которые должны заменить избирательные шары. Потом решили к каждому из семи ящиков приставить по татарину, который объяснял бы, куда нужно класть избирательные и куда — неизбирательные шары, а около стола, на котором будут находиться ящики, поставить старост со списками, чтобы они поочередно вызывали своих односельчан. Мы же, распорядители, станем у мешка с орехами и будем выдавать каждому подходящему к ящикам избирателю по семи орехов, соответственно числу ящиков.

Установив эту "диспозицию", поставили на стол ящики, и председатель предложил татарам указать своих кандидатов. Но для них это оказалось делом нелегким. Из соседней комнаты, где происходило совещание представителей деревень, обсуждавших кандидатуры, слышались неистовые крики и ругань. Когда мы с моим тестем вошли туда, то увидели человек тридцать татар, потных и красных, которые галдели, перекрикивая друг друга, и с азартом нападали на оттесненных в угол представителей Алушты. Еще немного, и началась бы потасовка.

Оказалось, что все деревни, кроме Алушты, достигли между собой полного соглашения, заключавшегося в следующем: из двадцати трех мест выборщиков, подлежавших избранию по числу составившихся полных цензов, два было предоставлено русским — мне и управляющему имением Токмакова Егорову. Это было проявлением необыкновенного джентельменства со стороны татар, имевших полную возможность совершенно игнорировать нас, русских, при своем численном превосходстве. Остальные двадцать одно место распределялись между татарскими деревнями пропорционально размерам их земельного владения (очевидно, цензовая система выборов тогда вполне соответствовала правосознанию татарского населения), причем каждой деревне предоставлялось самостоятельно избрать желательных ей кандидатов. Но представители Алушты требовали для своей деревни три лишних места, мотивируя свое требование тем, что Алушта является чем-то вроде столицы этого района южного берега и должна пользоваться поэтому некоторыми привилегиями.

Вот эта-то заносчивость алуштинцев и привела всех остальных в ярость, которая дошла бы до кулачной расправы, если бы мы вовремя не появились среди спорящих. В.К. Винберг объяснил татарам, что сейчас они не выбирают, а лишь назначают кандидатов,

что никто не может запретить алуштинцам выставить любое количество своих кандидатов, но затем при выборах никому не возбраняется нежелательных кандидатов забаллотировать. Это разъяснение сразу успокоило спорящих. Список кандидатов был немедленно составлен, и когда алуштинцы, вместо полагавшихся им трех кандидатов, внесли в него шестерых, то эта их бессильная демонстрация уже вызвала не злобу, а всеобщий смех.

Тесть мой занял за столом, уставленным ящиками, председательское место, и выборы начались.

— Мемет Рамазан, Аметка Али, Осман Тохтар, Абибулла Офицер, — выкликает староста по списку. А около ящиков стоят глашатаи, объявляющие имена баллотирующихся и объясняющие, куда класть белые и куда — черные шары. Они барабанят ладонями по правой и левой части ящиков и кричат во всю мочь: — Ариф Осман, Бекир Булюбаш, биас, кара, биас, кара, биас, кара (т.е. белый, черный).

Кричит староста, кричат, перекрикивая друг друга, глашатаи и мерно стучат по ящикам: бум, бум, бум, биас, кара, биас, кара. И среди этого шума и гвалта, с важными серьезными лицами, гуськом, строго соблюдая очередь, тянутся к столу бесконечной лентой татары: старики с длинными белыми бородами и молодые с жесткими черными усами. Мы вручаем каждому по семи орехов, которые они аккуратно опускают в ящики. Все кандидаты, кроме трех строптивых алуштинцев, получают "биас", а алуштинцы, поддерживаемые только односельчанами, от остальных получают "кара". Южнобережные татары, более бывалые, проделывают эту операцию уверенно и спокойно, а пришедшие из дальних горных деревень явно стесняются и подолгу держат орехи в корявых руках, прежде чем решиться сунуть их в дыру ящика.

Один древний старик, совсем не понявший процедуры выборов, важно останавливался перед каждым ящиком, прищуривал один глаз, долго издали целясь орехом, и наконец бросал его в отверстие ящика. Когда орех благополучно попадал в дыру, старик самодовольно улыбался и переходил к следующему ящику. А орехи его ложились направо или налево уже по собственному усмотрению.

К десяти часам вечера удалось подвергнуть баллотировке всего только семь первых кандидатов. Начали подсчитывать шары, или, точнее, орехи. Оказалось, что перегородки внутри ящиков, не рассчитанные на такое количество баллотирующихся, были слишком низки, а потому орехи, заполнив правую сторону ящика, перекатывались в левую, и все избранные, несмотря на полное единодушие голосовавших, имели по изрядному количеству неизбирательных шаров. А забаллотированные алуштинцы получили больше избирательных шаров, чем им полагалось.

Было уже за полночь, когда мы кончили подсчет голосов и составили протокол. Погруженный в это кропотливое дело, я

совершенно не заметил метаморфозы, постепенно совершавшейся с избирательным собранием. Татары, с утра ничего не евшие, уселись на полу, раскрыли свои мешки и с аппетитом закусывали. Воздух был пропитан едким запахом чеснока. Те же, кто успел поужинать, подложили мешки под голову и мирно спали. Слышалось мерное дыхание спящих и храп. Ночлежный приют, превращенный нами в избирательное собрание, стал отправлять свои нормальные функции.

В этой удивительной обстановке председатель, стараясь сохранить серьезный вид, объявил перерыв собрания до следующего дня.

Нельзя было и думать об очищении помещения от спящих избирателей. Так они там и заночевали. Впрочем, мы уже столько раз нарушали требования закона, что одно лишнее нарушение его нас больше не пугало.

На следующий день дело пошло быстрее. Налаженная избирательная машина действовала исправно. "Бум, бум, бум, биас, кара, биас, кара"...

После моего избрания ко мне подошел старый хаджи и, похлопывая меня по плечу, таинственно сказал мне на ухо: "Знаем, знаем, наша партия"...

Вернувшись в Симферополь, я целиком погрузился в избирательные дела. Симферополь должен был избрать двух выборщиков на губернское избирательное собрание. Так как социалистические партии бойкотировали выборы, а Союз Русского Народа еще не возник, то борьба шла между двумя партиями – кадетами и октябристами. "Союз 17 октября" – партия умеренно-либеральная по своей программе, лидерами которой были весьма почтенные люди – граф Гейден, А.И. Гучков, М.А. Стахович, в провинции попала в руки крайних правых и, по приказу из Петербурга, поддерживалась администрацией. В Симферополе кандидаты октябристов тоже были порядочные люди, но они были затерты черносотенцами, которые вели антисемитскую агитацию, как на митингах, так и в маленькой газетке, основанной во время избирательной кампании. О характере этой агитации можно судить по стихотворению, посвященному в этой газетке двум кандидатам нашей партии – мне и присяжному поверенному Дувану. Оно было столь красочно, что я заучил его наизусть и помню до сих пор:

Если ты прохвост вселенский,
Враг России, подлый жид,
То конечно Оболенский
Ближе всех к тебе лежит.
Он твой друг, он твой радетель,
Он оратор, он делец,
Для жида он благодетель,
А для русского подлец.
А за ним пиши Дувана,
Будет парочка – пятак,

Разыграешь роль болвана
И смеяться будет всяк,
А над русскою землею
Будет реять лапсердак.

Главным оратором на октябристских митингах был местный подрядчик Гранкин, впоследствии сделавшийся председателем Союза Русского Народа. В день выборов он расставил на всех перекрестках улиц, ведущих к Дворянскому собранию, где стояли избирательные урны, пикеты своих людей, останавливавшие евреев и татар. Первых запугивали угрозами избиения и заставляли поворачивать назад, у вторых отбирали наши бюллетени и вручали им свои. Но эти меры оказались недейственными. Евреи стали собираться толпами, с которыми не могли справиться 2-3 стоявших на каждом перекрестке хулигана, а татары прятали бюллетени под свои барашковые шапки. Гораздо большее значение имел другой прием избирательного мошенничества. В октябристском генеральном штабе состоял инженер, начальник участка, который, получив под расписку повестки для железнодорожных рабочих, передал их своим наемным людям, которые по несколько раз под разными именами являлись к урнам. Утром эти фальшивые избиратели в густой толпе избирателей подлинных были неуловимы для контроля, но к вечеру, когда толпа поредела, контролеры ловили их целыми пачками. В большинстве случаев они были пьяны и не могли назвать значившихся в повестках имен лиц, за которых себя выдавали.

Эти избирательные мошенничества, конечно, изменили соотношение в числе поданных записок, но не могли повлиять на результаты выборов. Мы прошли значительным большинством. Евреи, татары и отатарившиеся цыгане, которых тоже было много среди избирателей, голосовали за нас все как один человек.

Помню, как накануне выборов ко мне в земскую управу пришел на костылях нищий цыган, которого я хорошо знал в лицо и не раз на улице давал ему пятачки.

– Гаспадин Оболенский, – обратился он ко мне, – я тибе выбирать буду, пиши.

И он протянул мне пустой бюллетень для заполнения.

Я немного удивился, зачем он именно ко мне пришел с такой просьбой, но все же взял перо и начертал свою фамилию и фамилию другого кандидата. Цыган взял заполненный листок, помахал им по воздуху и еще раз повторил:

– Я тибе выбирать буду. А ты мне старые штаны подари.

Я, конечно, ответил, что именно теперь ему штанов не дам, чем, по-видимому, крайне его удивил и огорчил.

Но в конце концов он все-таки взял свое. Когда я после роспуска Думы снова поселился в Симферополе и проходил по улице мимо

нищего цыгана, он неизменно ковылял за мной на своих костылях и упорно твердил одну и ту же фразу: "Подари мине старые штаны. Я тибе выбирал".

На десятый или двенадцатый раз я наконец не выдержал и... капитулировал.

Щеголяя в моих старых панталонах, он уже больше ко мне не приставал.

Как председатель губернского комитета партии Народной Свободы, я естественно являлся первым ее кандидатом в члены Государственной Думы. Это обстоятельство усугубляло мое волнение во время избирательной кампании, вообще приводящей во всех странах население в нервное возбуждение.

Оказаться в числе первых народных избранников России! Это было и радостно и интересно, и льстило моему самолюбию. Но было и жутко. Я чувствовал огромное бремя ответственности, которое на себя принимал. Главное, тревожила полная неясность и неопределенность того, что нас ожидает. После усмирения московского восстания власть снова начала укреплять свое положение. На бесчинства распылившейся революции она отвечала бесчинством еще небывалого, тоже распылившегося террора, от которого страдали не только революционеры, но и все население. Значительная часть России была объявлена на военном положении. О реформах, обещанных Манифестом 17 октября, ничего не было слышно. Напротив того, ходили более или менее достоверные слухи о том, что царь считает этот акт как бы исторгнутым от него силой и для него необязательным, что он продолжает себя считать самодержавным монархом и что инициатор манифеста Витте впал в немилость. Каково в таких условиях будет положение Государственной Думы? Сможет ли она заниматься законодательной работой? По-видимому — нет. Какова же ее роль и ее судьба? Напряженная мысль не давала ответов на эти тревожные вопросы. Ясно было лишь, что предстоит еще серьезная схватка с властью и что победит тот, кто будет располагать физической силой, т.е. что революция еще не закончена, а пойдет лишь новым руслом — через Государственную Думу.

Все эти мысли волновали меня до последних пределов, когда наступил наконец день губернского избирательного собрания. Мне хочется описать его подробно, ибо это было первое избирательное собрание, в котором участвовали выборщики от крестьян, еще не понимавшие хорошенько ни роли Государственной Думы, ни взаимоотношения политических партий, ни сложной техники выборов. При этом нужно сказать, что крестьянство Таврической губернии было значительно культурнее, чем в большей части остальной России.

При выборах в последующие Думы крестьяне относились к ним более сознательно.

Выборщики съехались в Симферополь заблаговременно, за несколько дней до выборов. Мы, кадеты, использовали эти дни для предвыборной агитации. Созывали собрания выборщиков и излагали на них программу нашей партии. Наши враги, правые, избранные на съездах землевладельцев пяти уездов (три, Ялтинский, Феодосийский и Симферопольский, избрали кадетов), не приходили на эти собрания, не решаясь публично с нами спорить. Крестьяне приходили всей гурьбой, но загадочно молчали. Несколько оживились они лишь при обсуждении аграрной части программы, но и то сами не высказывались по существу, а лишь задавали вопросы, а мы давали разъяснения. Мы сразу почувствовали, что крестьяне нам не доверяют. Правые собраний не устраивали, но тайно от нас обрабатывали отдельных крестьян. Если мы в нашей агитации на первое место выдвигали аграрный вопрос, то коньком правых был антисемитизм. Они говорили крестьянам, что мы "куплены жидами" и что, пройдя в Думу, создадим в России "жидовское царство". Конечно, и им особого доверия крестьяне не оказывали.

Среди крестьян было трое или четверо более развитых, которые заявили нам, что охотно вступили бы в партию Народной Свободы, но что остальные крестьяне недоверчиво относятся вообще ко всем "господам", как правым так и левым, а потому, чтобы не потерять среди них влияния, они открыто к нашей партии примкнуть не могут. Так нам и не удалось завербовать в кадетскую партию ни одного из выборщиков крестьян.

Накануне выборов выяснилось, что борьба предстоит между тремя группами. Всех выборщиков было 98. Из них 32 (от всех городских курий и от трех землевладельческих) принадлежали к кадетской партии, 22 помещика были правыми, а остальные 44 были крестьяне, образовавшие свою особую группу. Ни одна из групп не обладала абсолютным большинством, а потому мы вступили с крестьянами в переговоры для заключения союза. Предстояло избрать шестерых депутатов. По закону, один из них избирался от одних крестьян, а пять – от всего собрания. Долго крестьяне намечали своего кандидата. Спорили, шумели, наконец согласились на волостном писаре Нечипоренко, тайном члене кадетской партии. Затем пошли торги. Мы соглашались провести еще одного крестьянина, а четыре места просили предоставить нашим кандидатам. Доказывали крестьянам, что законодательная работа сложная, требует присутствия в Думе людей образованных и что нельзя заполнять Думу одними крестьянами от сохи. Крестьяне упирались. Они нам не доверяли и хотели, чтобы Дума была чисто крестьянская. После длительных переговоров они предложили провести от нашей группы лишь одного человека: на бóльшие уступки не шли. Мы на такую комбинацию, конечно, согласиться не могли. Пришлось прервать переговоры. В конце концов мы дали крестьянам знать, что голосовать мы будем лишь за их первого

кандидата, хорошо грамотного бердянского крестьянина Притулу, а от них получили сведения, что они будут голосовать за пятерых крестьян и за одного из "господских" кандидатов. На "господском", впрочем, они не сговорились: часть решила голосовать за меня, а часть – за губернского предводителя Скадовского. Таким образом, мы пошли на выборы, совершенно не представляя себе, каковы будут их результаты. По закону полагалось намечать кандидатов записками, а затем производить баллотировку шарами. Двери избирательного помещения запирались, и выборщики не имели права из него никуда выходить, пока не будут пробаллотированы все кандидаты, намеченные записками. Если бы в первом туре не был избран полный комплект депутатов, собрание закрывалось и вся процедура возобновлялась заново для избрания недостающих. Наша группа наметила своих четырех кандидатов, но, понимая, как трудно будет их провести, мы сговорились на всякий случай дать по одной записке всем остальным членам кадетской партии.

В большом волнении собрались все 98 выборщиков в зале Дворянского собрания и приступили к писанию записок. Результат сразу выяснил положение. Большинство записок получил крестьянин Притула. Оказалось, что крестьяне, сговорившись о своих кандидатах, нарушили дисциплину и в тайных записках писали прежде всего самого себя, а затем – своих уездных земляков. Таким образом в списке кандидатов оказалось не менее 90 человек. Между тем, ящиков было всего 5 с соответствующим количеством шаров. Следовательно, если кандидаты не откажутся, приходилось голосовать 16 раз. Первый ящик Притулы. Его избрание обеспечено. Мы аплодируем. Потный и красный Притула широко улыбается. Потом следует мой ящик. Все замирают в ожидании. Правые меня считают вреднейшим человеком, вели против моей кандидатуры специальную агитацию среди крестьян и надеются на успех. Мы далеко в успехе не уверены. Начинается счет шаров. Председатель опускает руку в левый ящик и привычным жестом роняет шары на тарелку, отсчитывая их число: раз, два, три... двадцать пять, двадцать шесть... тридцать семь, тридцать восемь... Волнение в зале возрастает. Лица моих друзей становятся сумрачными, враги же не могут скрыть радостных улыбок. Сорок пять, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь... Еще один шар – и я забаллотирован. Но его не оказывается. Председатель опрокидывает пустой ящик и приступает к счету избирательных шаров. Так же мерно падают шары на тарелку и так же тянется счет. Сказав сорок восемь, председатель немного останавливается. Но затем стукает еще один шар: сорок девять... Я избран одним голосом. Раздаются аплодисменты, друзья меня поздравляют, враги мрачны.

За моим ящиком очередь ящика Скадовского. Опять водворяется напряженное молчание. Скадовский, которого обещала поддержать большая часть крестьян, имеет тоже шансы пройти.

счет избирательных шаров: сорок шесть, сорок семь, сорок восемь... Сорок девять, со вздохом произносит председатель. Скадовский забаллотирован одним голосом.

А затем пошло сплошное изничтожение всех кандидатов. Забаллотированы были все старшие кандидаты кадетской партии, все кандидаты правых, все кандидаты крестьян. На пяти ящиках меняются записки с фамилиями, но результаты все те же: 57 неизбирательных, 70, 80 неизбирательных. Благодаря партийной дисциплине наши кандидаты получают больше других, но и только. Меньше всего избирательных голосов получают крестьяне. Каждый из них хочет попасть в члены Думы и забрасывает черняками всех конкурентов.

Наступает вечер. Все измучились, устали. Интерес к выборам прошел. Начинают баллотировать лиц, получивших по одной записке. Выборщики уходят в буфет, в курильню, никто больше не слушает подсчета голосов... И вдруг раздаются аплодисменты. Члены нашей партии С. С. Крым и А. В. Новиков, имевшие по одной кандидатской записке, оказались избранными порядочным большинством. Произошло это потому, что правые, потеряв надежду пройти, решили голосовать за Крыма и Новикова, которых считали более умеренными кадетами. Надеялись они также, что крупный землевладелец Крым не подаст в Думе голоса за принудительное отчуждение собственных земель.

В первом часу ночи в списке не баллотировавшихся кандидатов оставалось лишь несколько крестьян. Но от пережитого волнения, голода и усталости мы совершенно обессилели. Решили прервать собрание до утра и разошлись по домам, недовыбрав одного члена Думы. Утром нам сообщили тревожное известие, что правые предложили крестьянам голосовать за их двоих кандидатов. Один предполагался ими на вакантное место, а второй, если получит больше меня избирательных шаров, тем самым вытеснит меня из числа депутатов. Таким образом, второй день тоже начался волнительно. Но и оба крестьянина при поддержке правых не могли набрать больше голосов, чем Скадовский: 48 избирательных и 49 неизбирательных. Первый тур окончился. Пять депутатов было избрано. Оставалось доизбрать шестого. Снова записки, снова баллотируем и снова все кандидаты по очереди забаллотировываются. Видя безнадежность положения, мы предложили крестьянам поддержать одного из их кандидатов, показавшегося нам культурным и симпатичным, но и из этого ничего не вышло. На второй день выборов крестьяне, все желавшие попасть в Думу, окончательно перессорились между собой и забрасывали друг друга черняками. Выборная процедура всем надоела. Запертые на ключ в Дворянском собрании, мы большую часть времени проводили за чаепитием в буфете. И вот возник спор по аграрному вопросу, во время которого выборщик кадетской партии Сипягин

сумел как-то завоевать симпатию крестьян. Этого было достаточно, чтобы утомленные непривычной обстановкой мужики вдруг решили отдать ему свои голоса. Он и был избран. Если бы они знали дальнейшую карьеру этого странного человека, они бы не стали за него голосовать. Скажу о ней несколько слов. Сипягин до выборов в Думу состоял учителем географии севастопольской гимназии. Считался хорошим преподавателем. Обладая некоторым красноречием, хотя и провинциального масштаба, он выдвинулся на политических митингах и был избран в выборщики. В Симферополе, на наших партийных собраниях, Сипягин произносил напыщенные речи и явно надеялся попасть в депутаты. Однако, когда мы намечали наших кандидатов, он не получил ни одного голоса. Все же на избирательных собраниях мы, как условились, писали его имя на одной записке, что давало ему возможность баллотироваться. И вдруг неожиданно для всех нас он-то как раз и попал в члены Думы. В Думе Сипягин редко посещал наши фракционные заседания и вообще мало проявлял интереса к большим вопросам политики. Но раз он удивил нас своим волнением по поводу ничтожного вопроса о правильности избрания виленского депутата, католического епископа, барона Роппа, которому при его появлениях в Думе всегда целовал руку. Оказалось, что Сипягин еще в Севастополе тайно принял католическую религию и был страстным католиком. После роспуска Думы я зашел к нему в гостиницу, в которой он жил, и застал его в паническом состоянии.

– Как вы думаете, В. А., меня не арестуют?

Он почти дрожал от волнения и от страха. Когда я его несколько успокоил, он сообщил мне, что заранее взял заграничный паспорт, чтобы в случае чего бежать из России и покинуть ее навсегда.

– Так вы думаете, что меня не задержат на границе?

– Уверен, что нет.

Очень было неприятно видеть человека, да еще "народного представителя", в такой панике. Я холодно простился с ним, пожелав ему счастливой дороги. Оказалось, однако, что я не вполне был справедлив, приписав паническое состояние Сипягина простому страху за свою шкуру. Очевидно, он боялся за крушение своей мечты, которая уже зародилась в его сердце...

Через несколько лет до меня дошли слухи о том, что жена Сипягина умерла, а он постригся в монахи и уехал католическим миссионером в Австралию. А когда весною 1920 года я как-то сидел в Константинополе в помещении Земского Союза, туда пришел по делу бритый католический священник. Я, конечно, не мог в нем признать своего бывшего товарища по первой Думе. Но он меня узнал. Поговорили о том о сем и снова расстались. На этот раз навсегда...

Два дня подряд, с утра до поздней ночи, мы бросали шары в избирательные ящики. От этого бессмысленного занятия и

пережитых волнений все так устали, что ни у кого не было энергии праздновать одержанную победу. Из Дворянского собрания всей гурьбой прошли в земскую управу, где нас ожидала публика, выслушали несколько приветственных речей и разошлись по домам.

До открытия Думы оставалось еще дней 10, но мне нужно было попасть в Петербург несколько раньше, чтобы участвовать в партийном съезде, в котором, кроме только что избранных депутатов, должны были принять участие еще по три делегата от каждого губернского комитета. Одним из трех представителей партии от Таврической губернии был избран молодой, красивый ялтинский кадет, впоследствии сделавший блестящую политическую карьеру, Н.В. Некрасов. Тогда он был скромным доцентом томского политехникума и временно жил в Ялте из-за болезни жены. Бодрый, веселый, энергичный, недурной оратор, он сразу завладел симпатиями своих ялтинских партийных товарищей, которые послали его на симферопольский съезд, а затем провели делегатом всероссийского съезда партии.

На следующий день после выборов я зашел к губернатору Новицкому за получением соответствующего удостоверения. С Новицким я был в очень кислых отношениях после нашей случайной первой встречи на Бьюк-Ламбатской почтовой станции, когда он еще был прокурором суда. Зайдя туда однажды за получением почты (имение моего тестя было от нее в полуверсте), я увидел незнакомого мне господина в судейской форме, который бешено кричал на стоявшего перед ним навытяжку старого смотрителя за то, что тот не дал ему вне очереди лошадей, а пропустил до него других пассажиров. На несчастного смотрителя сыпались самые оскорбительные слова, хотя вопрос шел о каких-нибудь пяти минутах задержки, а кроме того он ни в чем не был виноват, ибо поступил согласно вывешенным на стене правилам почтовой езды.

Я принадлежу к числу людей мирных и уравновешенных и не отличаюсь вспыльчивостью. Но есть вещи, для меня совершенно непереносимые. В особенности не переношу унижения человеческой личности, совершенно выводящее меня из равновесия. В таких случаях (их было пять-шесть в моей жизни) меня охватывает бешенство и я уже собой не владею. Вот и тут я почувствовал, как бледнею и как спазматически сжимается горло. А затем я не своим голосом закричал на незнакомого мне судейского: "Молчать!.." Что я дальше кричал – не помню, но, к удивлению моему, мы не подрались. Неизвестный поторопился вскочить в поданный экипаж и, уезжая, что-то неопределенное кричал по моему адресу. Через год, в первый раз придя по делу к нашему новому губернатору Новицкому, я узнал в нем незнакомца, на которого я кричал на почтовой станции. Вероятно, и он меня признал. Понятно, что мы друг к другу симпатии не питали. Но когда я пришел к нему в

качестве только что избранного члена Думы, он рассыпался в любезностях. Уверял, что вполне разделяет политическую программу партии Народной Свободы и только смущает его слишком радикальное решение земельного вопроса. Прощаясь, он горячо пожал мне руку и пожелал всяческого успеха...

Не прошло, однако, и года после нашего разговора, и на красном лацкане его губернаторской тужурки появился значок Союза Русского Народа, программу которого он тоже "вполне разделял", оказывая ему всевозможное содействие.

С южного берега, где я провел дня два, я прямо приехал на симферопольский вокзал к курьерскому поезду, чтобы ехать в Петербург. О дне своего отъезда я никому не сообщил, кроме двух-трех друзей, ибо терпеть не могу оваций, которых трудно было бы избежать депутату, отправляющемуся в первый русский парламент из города, его избравшего. Провожали меня лишь ближайшие друзья. Мы сидели в ожидании поезда в буфете и пили чай. Наше чаепитие было прервано носильщиком, который, почтительно подойдя ко мне, таинственно сообщил:

– Татары пришли и желают вас видеть.

Я вышел в проходной зал, где стояла группа татар человек в двадцать. Среди них мулла в белой чалме. Поздоровавшись со мной, он сказал: "Татары хотят Богу молиться, чтобы тебе все благополучно было". Обернулся лицом к востоку и стал бормотать молитвы. Я совершенно оторопел от неожиданности, но тоже повернулся лицом к востоку и растерянно глядел на строгие, сосредоточенные лица окружавших меня татар.

О чем молились они? Чего, какого подвига от меня ожидали? Кругом шумела обычная вокзальная толпа, проходили торопящиеся пассажиры, носильщики задевали нас чемоданами. Никто не замечал нас, кроме нескольких праздношатающихся людей, удивленно разинув рты глядевших на странное зрелище.

Молитва кончилась. Я до глубины души был тронут знаком внимания ко мне этих неизвестных мне людей, какими-то неведомыми мне путями узнавших о моем отъезде и пришедших благословить своего избранника на тяжкий подвиг. Мне хотелось что-нибудь им сказать, поделиться с ними моими чаяниями, надеждами и опасениями, но в этой странной обстановке мысли путались и слова не складывались. И я остался молчалив, так же, как и они... Все подходили ко мне, пожимали руку и со сдержанным вздохом произносили: "Ну, с Богом, счастливо". После рукопожатий мы вышли на платформу, к которой уже подходил, блестя огнями, курьерский севастопольский поезд... Так закончились немые проводы депутата.

Глава 17

ПЕРВАЯ ДУМА

Мой приезд в Петербург. Возбужденное настроение депутатов. Кадетский съезд. Состав Государственной Думы. Крестьянские депутаты. Образование Трудовой группы. Прием в Зимнем дворце. Заключенные в Крестах приветствуют избранников народа. Первое заседание Думы. Муромцев – председатель. Речь Петрункевича. Приветствия толпы. Законодательная забастовка правительства. Дума за работой. Министры в Думе. Вся Дума против правительства. Тактика кадетской партии. Крестьянские ходоки. Переговоры о кадетском министерстве. Дума дискредитируется на митингах. Муромцев – блюститель корректности думских нравов. Бурное заседание по вопросу о смертной казни. Батюшка Афанасьев. Белостокский погром. Земельный вопрос в Думе. Гурко и Герценштейн. Речь крестьянина Лосева.

В Петербурге я всегда останавливался у своей сестры, кн. Мещерской, ставшей после смерти нашей матери начальницей гимназии. На этот раз, однако, я решил переменить свое место жительства и поселился на Сергиевской улице, у своей двоюродной сестры Е.А. Боткиной, откуда мне было ближе до Таврического дворца. Такова была, так сказать, официальная версия моего переселения. В действительности я сделал это, чтобы не нарушать моих добрых отношений с сестрой, муж которой был весьма правых убеждений.

В начале 1906 года, когда далеко еще не было ясно, кто победит в завязавшейся борьбе, все мы, правые и левые, находились в состоянии повышенной политической чувствительности, и мне было бы чрезвычайно трудно, встречаясь ежедневно со своим деверем и его архиправыми родственниками, избегать таких разговоров, которые могли бы нас окончательно поссорить. Сестра моя, горячо любившая нас обоих, понимала мою осторожность и не обижалась на меня за то, что я не поселился у нее и редко посещал ее семейство.

Настроение съехавшихся депутатов было тревожное. Отставка Витте и назначение премьер-министром старого чиновника Горемыкина, бывшего министром внутренних дел в период глухой реакции

начала 90-х годов, были плохими предзнаменованиями. Значительная часть России продолжала жить под тяжелым прессом военного положения, и вновь назначенный министр внутренних дел Столыпин проявлял большую энергию в подавлении революции. Тюрьмы были переполнены, а военно-полевые суды безжалостно отправляли на виселицы своих подсудимых. Режим периода 1906 года я здесь характеризовал так, как мы тогда его воспринимали. Теперь он представляется сравнительно мягким. Едва ли я ошибусь, если определю число казненных за весь период революции 1904–1906 годов в несколько сот человек. Что значат такие цифры по сравнению с количеством казней, производившихся в России после октябрьской революции! Да и теперь правительственный террор в республиканской Франции, освобожденной от немцев, в несколько раз превосходит террор царского режима того времени.

За несколько дней до открытия Государственной Думы были обнародованы, составленные по инициативе Витте, новые "Основные Законы", которыми компетенция Думы была чрезвычайно ограничена. А так как в Манифесте 17 октября, по оплошности Витте, было сказано, что отныне ни один закон не будет иметь силы без одобрения Государственной Думы, то самое издание Основных Законов в порядке простого высочайшего указа представлялось нам незаконным нарушением наших депутатских прав. Дума лишилась учредительных функций и возможности проводить в спешном порядке коренные государственные преобразования, о которых мы мечтали во время избирательной кампании и которые обещали своим избирателям. Все это создавало крайне нервное настроение у съехавшихся депутатов, и съезд нашей партии, начавшийся за неделю до открытия Думы, протекал бурно. Ораторы произносили чрезвычайно резкие речи, и нашим столичным лидерам стоило больших трудов удержать провинциальное большинство от принятия резолюций революционного характера.

Понемногу стал выясняться состав только что избранной Думы. Немного менее половины членов Думы состояло из членов партии Народной Свободы. В наших рядах было не более 10-15 крестьян, остальные же кадеты принадлежали к разным интеллигентным профессиям. Октябристы — главные наши конкуренты на выборах — провели в Думу не более 25 человек. Прошло в Думу человек 30-40 беспартийных интеллигентов, по большей части социалистически настроенных, но не пожелавших подчиниться директивам социалистических партий о бойкоте выборов. Не подчинились этой директиве и грузинские социал-демократы, избранные Закавказьем. Они, вместе с примкнувшими к ним депутатами от курий промышленных рабочих и с несколькими единомышленниками из русских интеллигентов, составили фракцию человек в 20. Сплоченную группу составляли 20-30 польских депутатов. Вся остальная масса, около 1/3 состава

Думы, состояла из беспартийных крестьян, которые подозрительно относились к "господам" всех партий.

Еще до открытия Думы на этих крестьян пошла охота со всех сторон. Открыло охоту министерство внутренних дел. Правый октябрист Ерогин, снабженный достаточным количеством казенных денег, организовал общежитие для крестьянских депутатов, где они имели прекрасное помещение и отличный стол по баснословно дешевым ценам. Приезжавшие в Петербург крестьяне, останавливавшиеся в гостиницах самого последнего разбора, хозяева которых обирали их как могли, охотно переселялись из своих грязных и дорогих номеров в опрятное и дешевое общежитие. А туда приходили пропагандисты, ведшие монархическую и антисемитскую агитацию.

Крестьянское общежитие получило среди депутатов название "ерогинской живопырни". Однако "живопырня", поглотив немало казенных денег, оказала весьма малое воздействие на настроения ее обитателей. Ерогину удалось завербовать в самую правую фракцию, октябристов, лишь нескольких крестьян, преимущественно из юго-западного края, уже ранее подвергшихся политической обработке со стороны монахов Почаевской Лавры – оплота тогдашнего религиозного черносотенства. Большинство же крестьян, для которых весь смысл Государственной Думы заключался в надежде получить при ее посредстве в свое владение помещичьи земли, слушало ораторов "живопырни" совершенно равнодушно.

Кадеты тоже делали попытки привлечь крестьян в свою фракцию, но тоже безуспешно. Заседания нашей фракции происходили в так называемом кадетском клубе, помещавшемся в самом аристократическом квартале Петербурга, на углу Сергиевской и Потемкинской улиц. Там всегда было людно, и публика, среди которой преобладали богатые петербургские евреи, была нарядная: дамы в шелковых платьях, с бриллиантовыми брошками и кольцами, мужчины – с буржуазно лощеными, упитанными и самодовольными физиономиями. Даже нас, демократически настроенных депутатов, вид этого "кадетского клуба" несколько шокировал. Можно себе представить, как неуютно себя там чувствовали крестьяне, приходившие на заседания нашей фракции. Не менее смущали их мудреные речи ораторов на этих заседаниях, на которых обсуждались совершенно непонятные им вопросы о думской тактике, о государственном бюджете и о ряде предполагавшихся законопроектов, из которых их интересовал только один – земельный. "Господская партия", решали они про себя и переставали к нам ходить.

В числе депутатов от крестьянской курии прошел в Думу А.Ф. Аладьин. По сословной принадлежности он был крестьянином Симбирской губернии, но жил и учился в Лондоне. Выйдя в интеллигенцию, но не имея официального русского образовательного

ценза, сохранил свою крестьянскую сословность. Перед выборами он приехал в Россию и, попав в выборщики от своей волости, был затем избран депутатом. В Петербурге он сразу приобрел популярность между крестьянскими депутатами благодаря своему крестьянскому происхождению и демагогическому красноречию и решил образовать самостоятельную крестьянскую фракцию. Он понял, что для объединения крестьян не нужно никакой подробной политической программы. Достаточно придумать подходящую вывеску, которая дала бы им почувствовать, что в этом объединении они являются хозяевами, а затем пустить в оборот два-три соблазнительных для них лозунга. Вывеску он придумал привлекательную для крестьян — "Крестьянская Трудовая группа", а главный лозунг — "земля трудящимся", и, конечно, даром.

Таким образом за два-три дня до открытия Думы возникла просуществовавшая до самой революции 1917 года "Трудовая группа", превратившаяся впоследствии в "Трудовую народно-социалистическую партию".

Большинство перводумских крестьян сразу же записалось в Трудовую группу. Вошла в нее и большая часть прошедших в Думу тайных социалистов-революционеров, а также депутатов, принадлежавших к распространенному тогда в России типу интеллигентов "левее кадетов", которым нравилось быть "левыми", но которые не имели личного мужества, чтобы войти в революционные партии, а вместе с тем не имели гражданского мужества примкнуть к партии Народной Свободы, отказавшейся от революционной тактики и за это подвергавшейся резким нападкам толпы.

За два дня до открытия Думы члены ее получили приглашение явиться в Зимний дворец на царский прием. Провинциальные депутаты нашей фракции предлагали демонстративно отказаться от приема в виде протеста в ответ на умаление прав Думы Основными Законами. Однако стараниями наших лидеров этот щекотливый вопрос был снят с обсуждения. Да и левые кадеты перестали настаивать на своем предложении, узнав, что все думские крестьяне непременно желают попасть во дворец. При таких условиях демонстрация наша теряла смысл.

Накануне царского приема мы ходили в Таврический дворец занимать себе места. Партии еще не совсем дифференцировались, а потому мы разместились по губерниям. Только штабы партий выделились особо: октябристы с графом Гейденом во главе заняли крайние правые сиденья, кадетские лидеры поместились на передних креслах в центре и слева, социал-демократы сразу отвоевали себе несколько мест на крайней левой, а лидеры только что образовавшейся Трудовой группы сели сзади, вверху амфитеатра, очевидно из подражания монтаньярам.

Провинциальные кадеты из вполне понятного для того времени революционного позерства стремились сесть как можно левее, а

опоздавшие с большим неудовольствием размещались на центральных и правых сидениях. Мы, тавричане, заняли места во втором секторе слева, рядом с тульскими депутатами, и моим соседом оказался князь Г.Е. Львов, с которым я тогда впервые познакомился.

Через две недели, когда большинство членов Думы было уже расписано по партиям, "земляческое" размещение было заменено "парламентским" и мы были сдвинуты значительно правее, уступив свои места трудовикам.

Настал наконец памятный день 27 апреля.

Весна 1906 года была в Петербурге исключительная. И этот день был солнечный и жаркий. Я не без труда влез в свой старый фрак, который мне давно уже не приходилось надевать, сел на извозчика и отправился в Зимний дворец.

Нам всем выдали особые пропускные билеты, которые наши извозчики пристраивали к своим шапкам. Околоточные и городовые, завидев извозчика с билетом на шапке, расступались и почтительно отдавали честь.

Во дворце всех депутатов направляли в Николаевский зал. Этот суровый зал в первый раз за все свое существование вмещал такую пеструю толпу. Добрая половина депутатов не имели ни мундиров, ни фраков, но, конечно, все принарядились по-своему: кто надел старомодный длиннополый сюртук, кто – старательно вычищенный пиджак и в первый раз в жизни крахмальную рубашку, воротник которой немилосердно давил и тер шею. Некоторые крестьяне были в поддевках и в высоких, вычищенных до зеркальности сапогах. Было несколько украинцев в поддевках, подпоясанных ярко-красными и зелеными кушаками, несколько польских крестьян в пестрых национальных костюмах. Мундиров было мало. Помню красивую фигуру М.А. Стаховича в шитом золотом камергерском мундире и А.А. Свечина, которого я даже не сразу узнал в бравом лейб-гусарском полковнике, с белым ментиком, закинутым за плечо.

Настроение у всех было приподнятое, но не торжественное. Особенно меня поразили крестьяне, которые чувствовали себя во дворце, как дома: осматривали и ощупывали мебель, свободно разговаривали, обменивались шутками, а когда нас уж очень долго продержали в Николаевском зале стоя, ибо стульев в нем было мало, то начали роптать.

Наконец появился один из церемониймейстеров и пригласил нас перейти в Тронный зал, где направо от трона, или, точнее говоря, от стоявшего на возвышении обыкновенного кресла, на котором лежала горностаевая мантия, выстроились во всю длину зала члены Государственного Совета в разных мундирах с красными, темно-синими и голубыми лентами и орденами, а слева – мы.

Это были два враждебных стана, расположившиеся друг против друга: пестрая с золотом толпа царских сановников и серо-черная

с цветными крапинами толпа депутатов. Старые, седые сановники, хранители этикета и традиций, надменно, хотя не без страха и смущения, разглядывали "улицу", приведенную во дворец революцией, и тихо между собой перешептывались. Не с меньшим презрением и ненавистью смотрела и серо-черная толпа на золотые мундиры.

Вдруг вдали послышались звуки гимна и в зале стало совершенно тихо.

По своему душевному настроению я никогда не был монархистом, но музыка русского национального гимна меня всегда волновала. А в этот торжественный момент – в особенности. Далекий гимн, вначале едва слышный, стал приближаться...

Мне передавали, что во время торжественных выходов во дворце, во всех залах, через которые проходила царская процессия, на хорах помещались оркестры музыки. При вступлении процессии в каждый зал гимн подхватывался соответствующим оркестром, и у стоявших в Тронном зале получалось впечатление, как будто гимн движется вместе с процессией.

Все громче и громче становились звуки гимна, все мощнее и мощнее, торжественнее и торжественнее... Казалось, что надвигается что-то огромное и могущественное. Царь идет – сильный, державный, царь самодержавный!..

Звуки накатывающегося гимна подымали настроение. Я невольно вспомнил великолепное описание царского смотра в "Войне и мире" и чувства Николая Ростова, когда перед ним появился русский император.

Наконец оркестр грянул над нашими головами, и в дверях показалась процессия. Но достаточно было взглянуть на шедших впереди ее вылощенных, гладко припомаженных церемониймейстеров в шитых золотом мундирах, чтобы сразу исчезло торжественное настроение, навеянное чарующими звуками гимна. Они имели вид заводных кукол. Их современные европейские лица с застывшим на них выражением скуки были совершенно неподвижны, а движения – механичны. Шли они медленно, неестественно отбивая такт гимна ногами, а главный церемониймейстер – жезлом.

За церемониймейстерами шло духовенство в парчовых ризах и в усыпанных драгоценными камнями митрах.

А вот и императорская пара. Маленький полковник Преображенского полка шел тоже как заводная кукла, глядя вперед в одну точку и отбивая такт ногами. А рядом с ним высокая женщина, на полголовы выше его, с красивым лицом, но покрытым от едва сдерживаемого волнения сизыми пятнами. Казалось, что она вот-вот расплачется... И тем большее напряжение чувствовалось в ее неестественной походке в такт гимну, походке, затруднявшейся тяжелым платьем с огромным шлейфом, который за ней несли шесть камер-пажей.

За царской парой таким же шарнирным шагом выступали великие князья и великие княгини, а дальше – пестрая толпа мужчин в золотых мундирах и декольтированных дам.

– Ишь бесстыдницы, – буркнул стоявший рядом со мной крестьянин своему соседу.

Вероятно, при дворах французских королей XVI-XVIII веков их выход во время торжественных приемов производил сильное впечатление. И костюмы, и весь строгий церемониал должны были создавать иллюзию сказочной феерии. Может быть и здесь старым придворным, свыкшимся с дворцовыми нравами и этикетом, процессия эта казалась привычно импозантной. Но на меня, человека со стороны, "большой выход" производил впечатление какой-то карикатуры, пародии на сказку, обидной для лиц, в ней участвовавших.

При входе в зал царской четы из рядов членов Государственного Совета раздалось громкое ура, а с нашей стороны крикнули ура лишь несколько человек, и сразу осеклись, не встретив поддержки. Молчаливая демонстрация вышла как-то сама собой, т.к. никто заранее не сговаривался. Она явилась просто непосредственным выражением чувств не только большинства интеллигентных депутатов, но и крестьян к монарху, сумевшему за 12 лет своего царствования подорвать престиж, которым пользовались в народе его предки.

Государь не мог не заметить нашей невольной демонстрации, но ни один мускул не дрогнул на его лице. Он подошел к трону, взошел на ведшую к нему ступеньку и мягким, приятным голосом произнес короткую приветственную речь, в которой мы были названы "лучшими людьми".

Прием окончился. Царская фамилия покинула Тронный зал, а депутаты направились к выходу через толпу придворных, с любопытством их рассматривавших. В этих устремленных на нас взглядах чувствовался тревожный вопрос: "кто кого?"...

Было приятно из непривычной обстановки придворного этикета попасть на набережную Невы, залитую весенним солнцем. Полиция никого не подпускала к дворцу, но из-за ее оцепления какие-то руки приветливо нам махали шляпами. А с балкона дворца вслед нам смотрела пестрая толпа придворных. Оглядываясь на них, мы тоже ставили себе вопрос: "кто кого?"...

Маленькие финские пароходики, поданные нам к царской пристани, повезли нас вверх по Неве к Таврическому дворцу. Мы ехали с обнаженными головами, т.к. все время приходилось отвечать на приветствия людей, густыми толпами стоявших вдоль набережной Невы. Когда пароходики проходили мимо Крестов, то из-за решеток выходящих на Неву окон этой тюрьмы показались руки заключенных, махавших нам платками. В ответ все депутаты, как один человек, замахали шляпами. У многих навернулись на

глаза слезы. Мысль о том, что мы, вознесенные волнами революции, в значительной степени своим положением обязаны этим несчастным, продолжавшим сидеть в тюрьмах в счастливый день рождения первого народного представительства, давила на наше сознание. Тогда мы не могли себе представить, что многие из этих людей, с мольбой протягивавших к нам руки из-за решеток, станут впоследствии нашими палачами. Ведь Кокошкин, граф П.П. Толстой, Бардиж, Огородников, Черносвитов, священник Огнев и другие перводумцы, убитые большевиками в 1918–1919 годах, тоже стояли на финских пароходиках и махали шляпами своим будущим убийцам...

В Таврическом дворце мы спешно разместились на своих местах при содействии вылощенных молодых чиновников государственной канцелярии. Заняли свои места и министры: впереди, с краю, маленький сутулый старичок Горемыкин с невыразительным лицом и с длинными белыми бакенбардами – совершенный Фирс из "Вишневого сада", рядом с ним – красивый и изящный Столыпин, потом Коковцов, Щегловитов и др. Все были нам известны по газетам, но большинство видело их в первый раз.

Теперь, когда смерть и изгнание объединили общей участью людей, сидевших тогда на депутатских и на министерских скамьях, когда житейский опыт умудрил многих, доживших до наших дней, трудно восстановить в себе ощущение резкой вражды и почти ненависти, с какой смотрели друг на друга эти люди двух разных миров, встретившиеся во дворце Потемкина...

После официальной речи статс-секретаря Фриша, которому было поручено открыть первое заседание Думы, начались выборы председателя. Единственным кандидатом был С.А. Муромцев, который был избран единогласно.

Как только красивая, властная фигура Муромцева появилась на председательской трибуне, беспорядочная толпа депутатов точно каким-то волшебством сразу превратилась в "высокое собрание" законодателей, которое должно было импонировать правительству.

Никто кроме Муромцева не сумел бы поднять престиж Государственной Думы на надлежащую высоту. При его председательстве Столыпин, главный вдохновитель ее роспуска, не решился бы бросить в лицо депутатов свою крылатую фразу – "не запугаете", которою однажды закончил свою речь во второй Думе.

Вступительная председательская речь была коротка, но в каждом ее слове ощущалась безапелляционность высшего беспристрастия. А фраза – "соблюдая прерогативы конституционного монарха, Государственная Дума будет отстаивать свои законные права" – вызвала гром аплодисментов, ибо подчеркивала то, что отрицалось властью, но что формально произошло со времени опубликования Манифеста 17 октября: монарх самодержавный превратился в монарха конституционного.

Импозантность, приданная Муромцевым формальной процедуре открытия Думы, не могла заглушить в нас чувств, вызванных тянувшимися к нам из-за тюремных решеток руками. Оставаться под этим тягостным впечатлением и перейти к текущим делам — выборам остальных членов президиума и пр. — было невозможно. И наш престарелый лидер, И.И.Петрункевич, выразил наше настроение, когда попросил слова у Муромцева и заявил: "Долг чести, долг нашей совести, — говорил он в совершенно затихшем зале, — чтобы первая наша мысль, первое наше свободное слово было посвящено тем, кто пожертвовал своей свободой за освобождение дорогой нам всем России. Все тюрьмы в стране переполнены, тысячи рук протягиваются к нам с надеждой и мольбой, и я полагаю, что долг нашей совести заставляет нас употребить все возможности, которые дает нам наше положение, чтобы свобода, которую покупает себе Россия, не стоила более никаких жертв. Мы просим мира и согласия..."

Свою короткую, но с жаром сказанную речь Петрункевич закончил словами: "Свободная Россия требует освобождения всех пострадавших".

Трудно описать волнение, охватившее депутатов после речи Петрункевича. Все повскакали со своих мест и, обращаясь к министрам, кричали: "Амнистия, амнистия!"

А они сидели спокойно и неподвижно, презрительно глядя на волнующихся депутатов...

Борьба началась. Никто не мог еще сказать, кто из нее выйдет победителем. Но неравенство сил уже сказывалось в том, что министры были спокойны, а депутаты волновались...

Речью Петрункевича закончилось первое заседание Думы.

При выходе из Таврического дворца на Шпалерную мы оказались в густой толпе народа. "Амнистия, амнистия!" — кричали со всех сторон тысячи людей.

Я с трудом отдаю себе отчет в том, что затем происходило. Чувствовал только какое-то восторженное состояние, сливавшее меня с уличной толпой. Помню, что какие-то незнакомые люди пожимали мне руки, а оказавшаяся рядом толстая незнакомая дама радостно крутила меня в своих объятиях...

"Амнистия, амнистия!" — кричали депутаты во все горло, размахивая шляпами. "Амнистия, амнистия, ура депутатам!" — отвечала толпа... И опять кто-то обнимает, жмет руку, кругом видишь возбужденные лица, глаза полные слез...

Кто-то подхватил Родичева на руки, и его длинная фигура заколыхалась над толпой. Петербургского депутата, профессора Кареева, тоже пронесли мимо меня. Он беспомощно трепался на чьих-то плечах, махая широкополой шляпой, а седая грива его волос развевалась по ветру.

"Ура депутатам! Амнистия, амнистия!"...

Когда я, с трудом пробираясь через густую толпу, подошел к углу Сергиевской и Потемкинской, где помещался кадетский клуб, Родичев уже стоял на балконе и говорил речь ревевшей от восторга толпе.

Толпа долго не расходилась и требовала все новых и новых речей. И один за другим выходили на балкон ораторы.

Так закончился первый день первого русского парламента.

Мы отлично понимали все трудности, которые нам предстояли, но в этот радостный день о них забыли. В этот день все депутаты, даже наиболее скептически настроенные, верили в свою победу. И долго перводумцы чествовали этот счастливый день своей жизни, ежегодно собираясь 27 апреля на товарищеский обед. С каждым годом ряды наши редели, но до 1916 года эта традиция соблюдалась. 27 апреля 1917 года обед уже не состоялся. Не до того было...

Я не ставлю себе задачей подробно, день за днем, излагать историю борьбы первой Думы с правительством. Для этого существуют стенографические отчеты. Мне хочется, главным образом, восстановить обстановку, в которой приходилось действовать первому народному представительству, и передать психологию членов первой Думы и ее противников справа и слева. Попутно, конечно, придется остановиться на некоторых эпизодах, наиболее ярко запомнившихся.

В жизни нормального парламента "большие дни", когда обсуждаются принципиальные вопросы общей политики и когда оппозиция дает генеральное сражение правительству, бывают сравнительно редко, и большая часть парламентской работы, весьма почтенной и государственно необходимой, сводится к обсуждению мелких вопросов текущего законодательства — "законодательной вермишели", по крылатому выражению, принятому в третьей Думе. "Вермишель" после "больших дней" лучше валериановых капель успокаивает нервы депутатов.

Вот этого-то успокоительного средства была лишена первая Государственная Дума, и в течение 72-х дней ее существования депутаты ее находились в непрерывном нервном возбуждении. Ибо почти каждое заседание Думы превращалось в "большой день".

Я не сомневаюсь, что если бы кто-нибудь занялся взвешиванием депутатов до начала думской сессии и после роспуска Думы, то обнаружилось бы, что каждый из нас потерял в среднем не менее четверти своего обычного веса. Когда через полтора года мы встретились на скамье подсудимых, меня поразило, как потолстели все мои товарищи во время вынужденно спокойной жизни.

Бурные заседания, красивые речи и... никакого следа в русском законодательстве. Почему так вышло? Почему собрание исключительно блестящих людей, многие из которых были известны

всей России не только как теоретики, но и как практические земские и городские деятели, оказалось бесплодным?

"Собрание праздных болтунов",— говорили тогда в правых кругах. А через 30 лет ту же характеристику первой Думе дает в своих мемуарах В.Н.Коковцов. Он до сих пор считает, что она была неработоспособна и что руководившая ею партия Народной Свободы состояла из бездельников и честолюбцев, стремившихся свергнуть правительство, чтобы самим добраться до власти. И он теперь, несмотря на страшные уроки истории, по-прежнему убежден, что, разогнав Думу, правительство, к которому он тогда принадлежал, поступило правильно и целесообразно. Этот бывший русский сановник, способный, но недалекий, до сих пор не может понять, что роспуск первой Думы тесно связан с установлением в России того самого режима, который через десять лет погубил монархию и вверг Россию в одну из самых страшных и кровавых революций, какие знала история.

В действительности члены первой Думы работали не меньше, если не больше, депутатов любого парламента. Но работа их была работой Данаид. Чтобы понять трагизм положения первой Думы, нужно ясно представить себе политическую обстановку того времени.

Революция 1905 года завершилась Манифестом 17 октября, торжественно провозгласившим новый государственный строй, основанный на праве и свободе. Но старые законы оставались в силе. Само собой разумеется, что первая забота правительства, после созыва народного представительства, должна была бы заключаться в том, чтобы устранить это вопиющее противоречие, поддерживавшее в стране анархию. Население осуществило обещания Манифеста "явочным порядком", а власти действовали по усмотрению, то основываясь на не отмененных законах, то не применяя их и действуя в духе Манифеста.

Если бы правительство само стало на путь пересмотра действовавших законов, если бы оно внесло в Думу два-три, хотя бы самых умеренных, законопроекта в духе Манифеста, то между властью и либеральной общественностью мог бы еще создаться спасительный компромисс, который оказал бы благотворное влияние на дальнейшее развитие исторических событий. Но в том-то и беда, что правительство сознательно похоронило Манифест 17 октября. И Николай II, и его ближайшие советники смотрели на этот акт как на военную хитрость, не связавшую власть ни морально, ни политически, притом же хитрость, предпринятую по ошибке, благодаря внушенному царю графом Витте неправильному представлению о якобы грозившей трону опасности. Такое же легкомыслие обнаружило правительство и в земельном вопросе. Анархическое аграрное движение разрасталось, в разных местах России горели помещичьи усадьбы, уничтожался скот и

инвентарь, а правительство боролось с этим движением исключительно репрессивными мерами.

Если теперь, умудренные опытом революции, мы уже не можем стоять на точке зрения — "прежде реформы, а потом успокоение", точке зрения хотя и не формулировавшейся, но все же вытекавшей из занятой Государственной Думой политической позиции, то и обратная формула — "сначала успокоение, а потом реформы", не раз высказывавшаяся представителями правительства, нисколько не стала более убедительной. На нее ответила революция.

Отказ правительства от реформ, обещанных Манифестом 17 октября, и от выполнения чаяний большинства крестьянского населения, связанных с этим Манифестом, создал полную невозможность сотрудничества правительства с парламентом при первой их встрече в момент не утихшей еще революции.

Единственный (если не считать срочно отпущенного Думой по требованию правительства кредита на продовольственные нужды) законопроект, который правительство внесло в Государственную Думу, считавшую себя призванной осуществлять коренные реформы, касался ... переустройства прачечных Юрьевского университета.

Помню, как председатель Думы Муромцев спокойным, ровным голосом довел об этом до сведения "высокого собрания". Наступила пауза. Депутаты переглядывались, как бы спрашивая друг друга, верно ли они поняли сообщение председателя, — настолько оно казалось чудовищно нелепым. Вдруг кто-то громко рассмеялся, и безудержный хохот овладел Думой. Смеялись все депутаты, от левых скамей до правых, улыбались пристава, даже на строгом лице Муромцева дрожала с трудом сдерживаемая улыбка. Серьезность сохраняли только присутствовавшие министры, но имели несколько сконфуженный вид. Вероятно, более умные из них понимали карикатурность своего положения.

Так законодательная инициатива правительства и ограничилась переоборудованием прачечных. После внесения этого "законопроекта" оно стало совершенно игнорировать Думу как законодательное учреждение, и ей самой пришлось взять законодательную инициативу в свои руки.

Но думская инициатива была чрезвычайно стеснена законом. Не перечисляя подробно эти стеснения, скажу только, что между возбуждением законодательного предположения и возможностью его обсуждать в думской комиссии, нужно было ожидать целый месяц отзыва соответствующего министра. Дума сумела формально обойти эти препятствия. По инициативе наших юристов — Новгородцева, Набокова, Петражицкого и Винавера, в обход стеснительного закона, было принято постановление об образовании комиссий для обсуждения законопроектов "на предмет направления

дела". В действительности комиссии разрабатывали законопроекты, которые подвергались принципиальному обсуждению на заседаниях Думы по существу, хотя в повестках значился лишь вопрос об образовании комиссии "на предмет направления дела". Путем таких формальных ухищрений Дума создавала себе работу, которую правительство не хотело ей давать, хотя, конечно, считаясь с ограничениями закона, не имела возможности вести ее в желательном для нее ускоренном темпе.

Работать приходилось главным образом кадетской фракции: во-первых, потому что она была инициатором большинства законопроектов, а во-вторых, имела в своих рядах наибольшее число депутатов, подготовленных для законодательной работы. В короткий срок ею был внесен в Думу ряд законопроектов о "конституционных свободах", разрабатывались законопроекты о печати, о реформе местного самоуправления, о всеобщем избирательном праве, о земельной реформе и др.

Обыкновенно в законодательной деятельности парламентов вся черновая подготовительная работа производится чиновниками министерских канцелярий. Первая Дума была лишена их помощи, и вся работа лежала на самих депутатах.

Лично я состоял членом думских бюджетной и земельной комиссий и работал в подготовительных комиссиях кадетской фракции по выработке законопроектов о реформе избирательной системы при выборах в Государственную Думу и о реформе земского самоуправления. Если бюджетная комиссия еще не успела как следует приняться за работу, то во всех остальных работа шла полным ходом. Приходилось не только устанавливать принципы и находить надлежащую формулировку для проектируемых законов, но и проделывать большую подготовительную работу, которую депутаты нигде не производят. Так, например, у меня довольно много времени отняло составление расписания гласных земских собраний от сельских местностей и от городов для законопроекта о реформе земского самоуправления.

Если мне, рядовому члену Думы, приходилось не только заседать в Думе, в ее комиссиях и во фракции, но и работать, то наши лидеры и специалисты – Петрункевич, Винавер, Набоков, Кокошкин, Герценштейн и др., которые руководили законодательной работой и думской политикой, – положительно не имели отдыха: заседали во время трапез, работали ночью и систематически недосыпали.

Я не буду отрицать, что первые депутаты первого парламента страдали естественной по новизне дела болезнью многословия, затягивавшего и думские и фракционные заседания, но эта потеря времени наверстывалась почти полным отказом от нормального отдыха.

Конечно, как в каждом парламенте, и в нашей среде были депутаты-трутни, являвшиеся в Думу на полчаса, а затем исчезавшие,

но если не считать неграмотных и полуграмотных крестьян, совершенно непригодных для парламентской работы, то такие бездельные депутаты были немногочисленны.

В мае и в июне 1906 года в Петербурге стояла исключительно жаркая погода, и в моей памяти эти знойные дни и теплые белые ночи неразрывно связались с чувством острой тревоги и до пределов доведенного нервного возбуждения, возраставшего вместе с сознанием безвыходности положения.

Первое время министры являлись на заседания Думы в полном составе и все места министерской ложи, впоследствии пустовавшей, бывали заняты. На первом от председательской трибуны кресле дремал маленький старичок Горемыкин. Он даже не делал попытки бороться с одолевавшим его старческим сном. Лишь только садился в свое кресло, голова его опускалась, бакенбарды ложились на лацканы сюртука, и он крепко засыпал, просыпаясь лишь от подымавшегося порой шума. Тогда он медленно поднимал голову, обводил сонными глазами депутатские скамьи и снова засыпал.

С трибуны Государственной Думы, если не ошибаюсь, Горемыкин выступил один только раз, когда читал тронную речь. Читал он ее глухим старческим голосом, без малейшей выразительности, запинаясь и делая паузы в ненадлежащих местах, так что даже сидевшие в первых рядах депутаты в этом невнятном бормотании могли расслышать лишь отдельные фразы.

Уже тогда, в 1906 году, казалось совершенно нелепым, что эта человеческая руина поставлена во главе управления величайшей в мире страной. Но никому не могло придти в голову, что еще через десять лет этот роковой старик будет снова призван к власти, чтобы во время мировой войны дремать на председательском кресле в Совете министров...

Рядом с Горемыкиным помню мундиры военного и морского министров, но лица их забыл. Зато хорошо помню рослую фигуру министра внутренних дел Столыпина, его красивое лицо и надменно-вызывающий взгляд, направленный на депутатов. Его резкие и властные речи, неприятные нам по своему содержанию, все же выслушивались Думой сравнительно спокойно, благодаря внешней искренности тона и несомненной талантливости формы.

Рядом со Столыпиным всегда садился министр финансов, неизменно свежий как огурчик и корректный граф Коковцов, который, взойдя на трибуну, мог говорить без записи сколько угодно времени совершенно плавно, снабжая свою речь обильным цифровым материалом. Я много в своей жизни слышал ораторов, но Коковцов был в своем роде единственным. Он обладал совершенно исключительной способностью координации мысли и слова. Казалось, что все его мысли написаны на какой-то длинной ленте, которую он без всякого усилия разворачивает перед слушателями. К тому же мысли Коковцова были столь же водянисты, как и его речи.

Рядом с Коковцовым помню высокого человека с седеющей бородкой клинышком — министра юстиции Щегловитова. Вид имел он скромный и тихий, голос вкрадчивый, речь — слегка слащавую. Но никого из министров в Думе так не ненавидели, как его. И его слащавые речи больше всего вызывали негодования и шума.

Щегловитов был типичным ренегатом-карьеристом. Еще в 1904 году он писал либеральные статьи в выходившем под редакцией Набокова и Гессена "Праве", а через два года оказался в лагере крайних правых. Теперь, на фоне большевистского неправосудия двадцатых годов, щегловитовская юстиция может казаться сравнительно беспристрастной, но тогда мало что так возмущало культурное русское общество, как тот дух произвола и беззастенчивого карьеризма, который насаждал Щегловитов в славном своими традициями русском суде. Кто бы сказал тогда, что этот лицемерный чиновник, не пользовавшийся уважением даже своих коллег по правительству, таит на дне своей души запас большой моральной силы! Члены политического Красного Креста, навещавшие при большевиках сидевших в тюрьме сановников, передавали мне, что он выделялся среди них благородством поведения и принял смерть мужественно и спокойно...

Крайнее место справа на министерских креслах занимал старый грузный мужчина с красным, точно распухшим лицом — государственный контролер Шванебах. Речей он не говорил, но всем было известно, что в составе Совета министров он был самым заклятым врагом Государственной Думы.

Если не ошибаюсь, история парламентов, не только в мирные времена, но даже в периоды революций, не знала такого удивительного политического расхождения между законодательной палатой и правительством, какое существовало между первой Думой и русским правительством 1906 года. Всякое, даже непопулярное, правительство всегда имеет в стране сочувствующие ему группы населения, достаточно численные, чтобы провести в парламент хотя бы небольшое число депутатов, готовое оказать ему поддержку. Между тем, несмотря на сравнительно высокий избирательный ценз, на оказывавшееся властями давление на выборы и несмотря на то, что крайние левые партии в выборах участия не принимали, правительство 1906 года не могло опереться ни на одну из образовавшихся в первой Думе партий. Эти партии и группы были различны по своим конечным политическим и социальным целям, но по отношению к правительству все без исключения были в оппозиции. Тактические разногласия сводились лишь к спору о том, как целесообразнее бороться с властью: увещаниями и готовностью к компромиссу в случае уступок (октябристы), непримиримой парламентской борьбой (кадеты), или организацией революции (трудовики и с.-д.).

Левое меньшинство кадетской фракции, к которому и я тогда принадлежал, тоже склонялось к тактике революционного характера, но лидеры вели нас по строго конституционному пути.

В.А.Маклаков в своих мемуарах, посвященных этому периоду времени, осуждает поведение своей партии и доказывает, что если бы она держалась умеренной тактики октябристов, то вся дальнейшая история России сложилась бы более благоприятно.

Мне кажется, что такие запоздалые рассуждения, оперирующие совершенно гадательными предположениями, порочны по существу. В опровержение мыслей Маклакова достаточно сказать, что если бы кадеты были не сами собой, а октябристами, то население их не послало бы в Думу, а следовательно Дума была бы еще левее и революционнее. Оставаясь же честными политиками, а не обманщиками (не могла же большая партия идти заведомо в Думу, чтобы обмануть возлагавшиеся на нее населением надежды), перводумские кадеты могли выбирать лишь между непримиримой, но строго парламентской борьбой и тактикой революционной, создававшей из Думы центр приложения революционных сил для свержения власти.

Но кадетская фракция первой Думы по своему составу сильно отличалась от революционного Союза Освобождения, ее породившего. В нее вошло много умеренных земских и городских деятелей, солидных профессоров и других лиц из разных слоев общества, органически неспособных к революционной борьбе, да и совершенно не желавших продолжения революции. Наши лидеры не могли не учитывать этого обстоятельства, да и сами понимали, что всякая длительная революция, кто бы в ней ни оказался победителем, гибельна для идей свободы и демократии.

Если бы они могли предвидеть, что власть, оставшаяся в руках безвольного монарха, приведет Россию к страшному государственному кризису, от которого она долго не сможет оправиться, они, вероятно, вместе с социалистами продолжали бы революционную борьбу. Ведь все равно хуже того, что случилось с Россией, не было бы. Но кто же мог это предвидеть!

Тактику, задним числом рекомендуемую Маклаковым, проводил в третьей Думе А.И.Гучков, поддерживая правительство Столыпина в его борьбе с революцией. К чему же эта тактика привела? – Столыпин, все же шедший на некоторые уступки общественному мнению, потерял доверие царя, и только смерть предупредила его опалу. Гучков же разочаровался в своей тактике и стал подготовлять государственный переворот. А партия октябристов перестала существовать с первого же дня революции 1917 года.

Таким образом, тактика компромиссов, психологически для нас неприемлемая, оказалась бесцельной и по существу. Революционная же казалась гибельной для идеалов свободы и демократии. Остава-

лась лишь тактика парламентской непримиримости, в надежде, что правительство, под давлением Думы и не прекращавшегося революционного брожения в народных массах, пойдет на уступки. В частности, мы никоим образом не могли отказаться от аграрной реформы, которую обещали провести своим избирателям.

Первое время казалось, что такая тактика может иметь успех. Не окрепшее еще после революции правительство некоторое время не решалось распустить Думу, которая была очень популярна среди крестьян, ожидавших от нее обещанной земельной реформы. Со всех концов России депутаты получали приговоры крестьянских сходов, обещавшие Думе поддержку в ее борьбе за землю. Ежедневно в Таврическом дворце появлялись бородатые деревенские ходоки, робко бродившие по паркетным полам среди депутатов и журналистов и с благоговением слушавшие речи думских ораторов.

Общение с этими полными наивной верой в "нашу Думу" простыми людьми давало депутатам огромную моральную поддержку даже тогда, когда мы теряли надежду на благоприятный исход нашей борьбы.

Обнадеживающие слухи доходили до нас и с другой стороны, чередуясь со слухами о неминуемом роспуске Думы.

Как известно, слухи об образовании кадетского министерства не были лишены основания, ибо в это время в придворных кругах происходили разногласия по вопросу об отношении к Думе, и во главе течения, настаивавшего на примирении с Думой и на приглашении в состав правительства представителей думского большинства, стоял влиятельный дворцовый комендант Д.Ф.Трепов. Он начал даже вести предварительные переговоры с нашими лидерами. Вступил в переговоры с Милюковым и Столыпин. Но по-видимому с его стороны это был лишь политический маневр, прикрывавший уже созревшее решение распустить Думу.

Хорошо помню заседание кадетской фракции, на котором товарищ председателя центрального комитета Милюков поставил вопрос об условиях участия членов нашей партии в правительстве. Нам, привыкшим к положению безответственной оппозиции, трудно было встать на точку зрения здорового компромисса. Но положение обязывало, и фракция, скрепя сердце, дала согласие на вхождение в правительство своих представителей, но, если память мне не изменяет, при двух условиях: во-первых, в Совете министров ее члены должны иметь абсолютное большинство голосов, а во-вторых, государь должен дать принципиальное согласие на земельную реформу. Милюков в заключительном слове сказал, что вполне разделяет принятое решение, но не может скрыть от фракции, что начатые им переговоры едва ли могут иметь успех при таких условиях, ибо власть ни под каким видом не согласится на земельную реформу.

Независимо от Милюкова, какие-то закулисные переговоры с власть имущими вел частным образом и князь Г.Е. Львов. Он жил на одной квартире с моим приятелем Ф.В. Татариновым, и я часто к ним заходил. Кн. Львов был настроен весьма оптимистически. Во время самых острых конфликтов между Думой и правительством, когда роспуск Думы казался неизбежным, кн. Львов, глядя на меня своими ласковыми глазами, таинственно говорил: "Не верьте слухам о роспуске. Это простая шумиха. Вот увидите, что все образуется. Я из самых достоверных источников знаю, что правительство готово пойти на уступки". Он никогда не говорил мне, с кем именно он вел переговоры (потом я так и забыл его об этом спросить), но я не сомневаюсь, что разговаривал он с самыми влиятельными людьми, которые либо сознательно его морочили, либо, поддаваясь обаянию его личности, невольно смягчали в разговорах с ним острое положение.

Как бы то ни было, придерживаясь тактики непримиримой борьбы в легальных парламентских формах, Дума имела некоторые основания рассчитывать на успех.

Главный недостаток этой тактики заключался в том, что населению были непонятны парламентские формы борьбы. Не понимало оно и всей сложности законодательной работы. Дума ему представлялась каким-то подобием Иерихонской трубы, от звуков которой должны были сразу рухнуть стены помещичьего самодержавия. А между тем шли дни за днями, речи текли за речами, а ничего не изменялось...

Дума пугала правительство народом, не изжившим еще революционных настроений, который якобы готов встать на ее защиту, а между тем возможность активной поддержки народных масс убывала с каждым днем, ибо эти массы переставали верить в Думу. Правительство хорошо понимало создавшееся положение и ожидало лишь благоприятного момента, чтобы отделаться от нее. Неожиданного союзника оно приобрело в левой социалистической интеллигенции.

В Петербурге, Москве и в других городах, при благоприятном попустительстве правительства, шли многочисленные народные митинги, на которых представители левой интеллигенции громили Думу и руководившую ею партию Народной Свободы, доказывая неискушенным в политике рабочим и крестьянам, что им нечего ждать от ее "буржуазного" состава и что только Учредительное собрание, избранное путем всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, может удовлетворить насущные потребности населения.

Приходя поздно вечером из фракционных или комиссионных заседаний домой, на квартиру моей двоюродной сестры Боткиной, у которой я жил, я часто ужинал с ее юными дочерьми, возвращавшимися с народных митингов, ежедневно происходивших в разных районах Петербурга. Они вели светский образ жизни и даже бывали

при дворе, но вместе с тем, поддавшись радикальной моде, считали себя социал-демократками и относились с презрением к моей "умеренности". Отправляясь на митинги, они надевали вместо дорогих платьев, в которых ходили, простенькие блузки с красными ленточками на шее и воображали себя стопроцентными революционерками.

Не имея времени ходить по митингам, я от них слышал о том, что там говорилось и до какой степени митинговая аудитория возбуждалась против Думы. Самыми популярными ораторами этих митингов были народный социалист В.А.Мякотин, эсер И.И.Фондаминский-Бунаков, выступавший под кличкой "товарища Непобедимого", и большевик "товарищ Абрам", впоследствии, под собственной фамилией Крыленко, ставший прокурором СССР.

Каждый законопроект, принимавшийся Думой, каждое ее постановление подвергались беспощадной критике и осуждению. Теперь даже трудно себе представить, что выступавшие тогда на митингах культурные люди, вроде профессора Мякотина, могли обвинять Думу в "реакционности", например, за то, что в своем законопроекте о собраниях она ввела три вполне естественных ограничения их свободы: запрещение устраивать их в непосредственном соседстве с царской резиденцией, с местонахождением парламента и на железнодорожных путях.

Разрыв между Думой и массами населения крупных городов, в частности — Петербурга, созданный усилиями левой интеллигенции, помог правительству решиться на ее роспуск. Оно понимало, что наиболее организованная и революционно настроенная часть населения — городские рабочие — отнесется равнодушно к роспуску этой "буржуазной" Думы. Так оно и было.

В.Н.Коковцов, описывая в своих мемуарах взаимоотношения правительства и Думы, негодует на неприличное поведение депутатов первой Думы, якобы осыпавших министров грубостями и оскорблениями. Курьезно, что так отзывается о нравах первой Думы человек, почти двадцать лет проживший в Париже и читавший во французских газетах описания заседаний Палаты депутатов, где в "большие дни" министры и депутаты походя говорят друг другу самые оскорбительные вещи, где председателю из-за шума, криков и стука пюпитрами приходится прерывать заседания. Очевидно, у русских министров была иная психология, чем у французских. Они не считали себя ровней с депутатами и требовали с их стороны такого же почтения, к которому привыкли в своей служебной деятельности. Такого почтения им, конечно, Дума не оказывала. Но если не сравнивать думские нравы с нравами подчиненных министрам канцелярий, то я не могу, в противность Коковцову, не засвидетельствовать, что первая Дума, несмотря на то, что заседала она в период еще не совсем закончившейся революции, по корректности своих нравов отличалась в выгодную сторону не только от последующих

Дум, где с правых скамей нередко раздавались площадные ругательства и непристойные слова, но и от современных ей европейских парламентов. За корректностью думских нравов неукоснительно следил ее председатель С.А.Муромцев. Он еще с юности мечтал занять когда-нибудь этот почетный пост и основательно готовился к предполагаемой роли.

Помню, как на одном из земских съездов в Москве ему пришлось однажды сменить на председательском месте их постоянного испытанного председателя графа Гейдена. И всем нам сразу стало ясно, что Гейден просто хороший председатель, а Муромцев — особый, единственный в своем роде "председатель Божьей милостью".

Но, помимо несомненного председательского таланта, которым обладал Муромцев, он, как хороший актер, изучил свою роль во всех деталях и, став председателем Думы, проникся этой ролью. Со дня открытия первой Думы и до ее роспуска не существовало более ни крупного московского адвоката Муромцева, ведшего большие гражданские дела, ни профессора Муромцева, читавшего лекции в московском университете, ни Муромцева — члена ЦК кадетской партии, участвовавшего в разработке ее программы, ни Муромцева — веселого и интересного собеседника. Муромцев стал только председателем первого русского парламента. Как на заседаниях Думы, так и вне ее он всем давал понять, что после монарха "Божьей милостью", которому отдавал дань полного уважения, он, Муромцев, должен почитаться высшим "волею народа" сановником Российской империи. Нигде, ни при каких условиях он не забывал своего высокого положения. Выработал себе манеры, жесты такие, какие, согласно его артистической интуиции, должна была иметь его председательская особа. Мне казалось, что он даже ел и спал не так, как все, а "по-председательски". И, несмотря на то, что во всем этом искусственно созданном им облике было много наигранного и напускного, всем казалось, что такой он и есть — торжественный, величавый и властный. Члены Думы не только уважали его, но и боялись.

Муромцев был небольшого роста, но его фигура с гордо поднятой головой казалась большой и какой-то монументальной. Когда в Думе возникал беспорядок и шум, достаточно было Муромцеву встать со своего места и властным жестом взяться за колокольчик, чтобы сразу наступило спокойствие. "Прошу членов Думы соблюдать тишину", — раздавался спокойный голос председателя, и тишина более не нарушалась.

Вспоминается мне такой маленький эпизод: однажды, после принятия подавляющим большинством одного из законопроектов, с депутатских скамей раздались шумные аплодисменты. Муромцев окинул нас презрительным взглядом и, позвонив в колокольчик, холодно заявил: "Государственная Дума не нуждается в одобрении

своих постановлений". И все были сконфужены, поняв, что аплодируют самим себе.

Председательствовал Муромцев с исключительным беспристрастием, а вне думских заседаний соблюдал полную беспартийность. Со дня своего избрания он перестал участвовать в заседаниях кадетской фракции, а если появлялся там, то исключительно с целью сделать какое-либо сообщение. Поддерживая строго конституционную точку зрения, предполагающую полное ограничение власти монарха, он даже в небольшой компании партийных товарищей не позволял себе высказывать какого-либо суждения о Николае II, хотя было известно, что на приемах вел с ним долгие беседы. Даже имени царя он старался не произносить, а если нужно было сообщить о своем приеме, то говорил приблизительно так: "Я был принят весьма милостиво. Там отнеслись весьма благосклонно к моему докладу и выразили надежду на то, что Дума найдет в себе силы для плодотворной работы на пользу родины. Однако, само собой разумеется, что там весьма огорчены возникшими между Думой и правительством трениями". Мудрено было расшифровать эти нарочито туманные официальные сообщения, которые председатель Думы делал на частных собраниях ее членов.

Много труда положил Муромцев на установление ранее не существовавших в России форм парламентских заседаний, ибо думский регламент только еще разрабатывался в комиссии. Приходилось заимствовать эти формы из регламентов иностранных парламентов. Обычно он разрешал тот или иной процессуальный вопрос по своему усмотрению. Но в отдельных случаях, когда чувствовал затруднение, прибегал к помощи специалиста по парламентским регламентам, депутата Острогорского: "Член Думы Острогорский, будьте любезны изложить Государственной Думе ваше мнение". И на трибуну всходил маленький еврей, похожий на мышку в золотых очках. Сложив перед собой маленькие ручки так, как будто он собрался произнести молитву, он начинал перед нами самым подробным образом излагать, как возникший вопрос разрешается регламентами различных парламентов, среди которых иногда фигурировали почти никому неизвестные регламенты парламентов японского, греческого, аргентинского и др., введших у себя какую-либо процессуальную новинку. Дума скучала, а Муромцев с видимым наслаждением слушал своего "первого ученика", как мы называли Острогорского.

Отдельные ораторы, главным образом из числа социал-демократов и трудовиков, позволяли себе иногда резкие, не парламентские выражения по отношению к правительству, но Муромцев сейчас же их прерывал. Когда же на ораторской трибуне появлялся Аладьин, щеголявший резкостью своих речей, Муромцев приподымался и, перегибаясь через председательскую кафедру, внимательно слушал каждое слово, чтобы вовремя

его остановить. Депутаты острили, что Муромцев "делает стойку" над Аладьиным.

Таким образом, несмотря на отдельные прорывы, Муромцеву удавалось поддерживать в Думе общий тон, достойный этого, как он любил выражаться, "высокого собрания".

Наиболее изысканным думским оратором был В.Д. Набоков, умевший резкие мысли облекать в самую корректную форму. Ему, между прочим, кадетская фракция поручила прочесть с трибуны и комментировать ответный адрес Думы на тронную речь. Это выступление Набокова было по изяществу формы образцом парламентского красноречия, а заключительная фраза — "исполнительная власть да подчинится власти законодательной", — произнесенная спокойным тоном, но гордо и с достоинством, вызвала овацию всей Думы.

Только один раз в Думе произошла сцена, довольно обычная в большинстве парламентов, но недопустимая с точки зрения парламентских приличий и по существу весьма грубая, когда на запрос Думы по поводу незаконного привлечения к военному суду каких-то лиц с объяснениями от правительства выступил военный прокурор Павлов. Перед этим Павлов провел ряд процессов, кончившихся по его настоянию смертными казнями.

Мы тогда представить себе не могли, что настанет время, когда жестокие расправы царского правительства с революционерами нам будут казаться на фоне большевистского террора мерами весьма невинного характера. Тогда каждый случай смертной казни, кто бы ни был казненный преступник, возмущал общественную совесть. И понятно, что Думе трудно было спокойно выслушивать человека, загубившего на виселице несколько десятков молодых жизней.

И, как только Павлов поднялся на трибуну, в Думе поднялась буря. "Вон, долой, палач, мерзавец!" — раздалось с депутатских скамей. Какое-то заразительное безумие охватило Думу. Я видел рядом с собой обычно тихих, уравновешенных людей, которые с искаженными от бешенства лицами орали бранные слова или свистели, засунув пальцы в рот. Я чувствовал, что и мне точно судорога подступила к горлу и точно не я, а кто-то другой за меня вопил каким-то отвратительным фальцетом... На этот раз даже Муромцев не мог водворить спокойствие, и буря затихла лишь тогда, когда бледный как полотно Павлов сошел с трибуны, так и не произнеся ни одного слова.

Вообще вопрос о смертной казни много раз подымался в Государственной Думе. О ней говорилось и в ответном адресе на тронную речь, и в речах, посвященных ряду запросов, и, наконец, при обсуждении специального законопроекта об отмене смертной казни. И замечательно, что среди членов Думы нашелся лишь один, екатеринославский депутат Способный, который решился отстаивать необходимость сохранения института смертной казни. Все остальные, независимо от партийной принадлежности, были ее противниками.

Из всех речей, произнесенных в осуждение смертной казни, наибольшее впечатление на меня произвела бесхитростная речь священника Афанасьева. Батюшка Афанасьев, депутат от Донской области, был членом нашей фракции. Скромный, молчаливый, с милым, ласковым лицом, он всегда садился на фракционных заседаниях где-нибудь в стороне, внимательно слушал других, а сам стеснялся высказываться. И вдруг, неожиданно для всех, заговорил с думской трибуны о смертной казни. Ряса, наперсный крест и простые евангельские слова, им сказанные, все это производило гораздо более глубокое впечатление, чем любая речь заправского оратора. После этой речи батюшки Афанасьева я и мои товарищи по фракции, прежде не замечавшие этого скромного человека, сразу почувствовали к нему большую симпатию.

Совершенно неожиданной оказалась дальнейшая судьба батюшки Афанасьева.

Недели через две после роспуска Думы я встретил батюшку в зоологическом саду. Он был там с женой и несколькими детьми, которых посадил на барьер перед клеткой с обезьянами, видимо наслаждаясь своими малышами и что-то оживленно им рассказывая. Достаточно было увидеть эту сцену, чтобы понять, какая это была счастливая и дружная семья.

– Скоро едете домой? – спросил я его.

– Да куда же мне деваться, – грустно ответил он. – Не знаю только, чем буду жить. Священником мне, видимо, уже не быть.

Действительно, на процесс о Выборгском воззвании он уже приехал "расстригой", в штатском платье. Был такой же тихий и скромный, ласково и грустно улыбаясь нам своей милой улыбкой... А в 1917 году, при рассмотрении секретных дел ростовского градоначальника, было обнаружено, что бывший священник Афанасьев несколько лет состоял сотрудником департамента полиции, получая за это по 100 рублей в месяц. Жена и дети долго не хотели верить этому, но поверить пришлось...

Вероятно, большевики расстреляли его.

Много возбужденного внимания уделила Дума страшному событию, случившемуся во время ее сессии. Я имею в виду еврейский погром в Белостоке. Дознание, произведенное на месте командированными в Белосток членами Думы Стаховичем, Аранцевым и Якубсоном, подтвердило слухи об организации погрома агентами полиции. Был сделан запрос правительству, произносились негодующие речи. Особенно памятна речь депутата князя Урусова, бывшего бессарабского губернатора, с большим знанием дела вскрывшего полицейскую провокацию. Было установлено между прочим, что погромная литература печаталась в самом здании департамента полиции и что "тайной типографией" руководил жандармский полковник Комиссаров. Оглашение этих чудовищных фактов не помешало, однако, полковнику Комиссарову продолжать

свою служебную карьеру, получая награды и высокие назначения вплоть до революции 1917 года.

В центре внимания первой Думы стояла все-таки земельная проблема. В 1917–1918 годах аграрный вопрос в России был временно разрешен не путем закона, а путем лозунга "грабь награбленное". Крестьяне как-то поделили помещичью землю, а кое-где большевики отстояли крупные имения от уравнительной разверстки, образовав совхозы. Все прошло быстро и гладко, если не считать крови и слез ограбляемых землевладельцев и зажиточных крестьян. Что из такой "реформы" вышло – вопрос особый, но большевики доказали, что трудно разрешимый земельный вопрос "разрубить" довольно просто.

Но первая Дума задалась целью провести земельную реформу путем стройного законодательства. И это было чрезвычайно трудно. Мы, работавшие в земельной комиссии Думы, лучше других знаем, сколько крупных и мелких затруднений стояло на пути этой реформы, которая должна была быть осуществлена в огромной разноплеменной стране с целым рядом местных особенностей быта и правосознания. Последний месяц работы первой Думы был главным образом посвящен комиссионной разработке земельного законопроекта под руководством председателя земельной комиссии М.Я. Герценштейна, всецело посвятившего себя этому сложному делу.

Но для того, чтобы начать разработку в комиссии, нужно было постановление пленума Думы. А получить его не так было легко. Не потому, чтобы в Думе было много противников земельной реформы, а наоборот, потому что было слишком много ее сторонников, каждый из которых желал высказаться по этому волновавшему все русское крестьянство вопросу.

Как только были оглашены предложения фракции к.-д. о дополнительном наделении крестьян землею и трудовиков – о национализации земли, депутаты компактной массой двинулись к трибуне председателя, дабы записаться в список ораторов. Записалось более семидесяти человек. Никакие призывы к партийной дисциплине не могли задержать этого словесного потока. Будучи до некоторой степени специалистом по земельному вопросу, я тоже записался в очередь и оказался сороковым оратором. Но когда очередь дошла до меня, я воспользовался словом только для того, чтобы мотивированно отказаться от речи и призвать остальных 30 ораторов последовать моему примеру. Дума мне бурно аплодировала, но примеру моему последовали лишь несколько человек. Каждый думский крестьянин считал своим долгом перед избирателями заявить, что, мол, надо у помещиков землю отобрать и отдать крестьянам. Ведь для этого их и посылали в Думу их односельчане.

Первый день аграрных прений прошел с большим подъемом. Шла дуэль между товарищем министра внутренних дел И.В. Гурко и

Герценштейном. Нужно отдать справедливость покойному Гурко — речь его в защиту крупного землевладения была блестяща и снабжена цифровым материалом со ссылками на ряд научных авторитетов. Но недоставало в ней главного аргумента о том, возможно ли для власти в крестьянской стране вести аграрную политику, в корне противоречащую веками сложившимся крестьянским чаяниям и крестьянскому правосознанию. (Впоследствии большевики доказали, что возможно, но при помощи такого кровавого террора, на который старая власть была неспособна). Надменный тон речи представителя власти, которым он давал чувствовать Думе, что в этом коренном вопросе правительство не пойдет ни на какие уступки, звучал вызывающе. И нужно было видеть восторг думских крестьян, когда слово взял искуснейший полемист и специалист по аграрному вопросу Герценштейн и стал разбивать аргументы Гурко.

Вопрос об экономических преимуществах мелкого или крупного сельского хозяйства весьма спорен. В разных странах и в разное время он разрешается по-разному. И если Герценштейн был прав, указывая на процветание мелкого крестьянского хозяйства в Дании, то столь же был прав Гурко, ссылаясь на крупных землевладельцев западной Америки. Но в той части своей речи, где Герценштейн говорил о пылающих помещичьих усадьбах и о том, что если земельная реформа не придет сверху, то неизбежна аграрная революция, он безусловно был прав и ошибся лишь в сроках.

За свое пророчество, исполнившееся через одиннадцать лет, Герценштейн после роспуска Думы поплатился жизнью. Но в этот день он был триумфатором. Ни одна речь, произнесенная с думской трибуны, не имела такого успеха, как среди депутатов, так и во всей стране.

После первого дня блестящих речей по аграрному вопросу потянулись бесконечно скучные заседания в течение целых двух недель. Дума прямо тонула в косноязычных речах крестьян, на все лады варьировавших тему из "Плодов просвещения" о куренке, которого некуда выпустить. Слушать их было мучительно, но в отдаленных деревнях речи эти внимательно читали и похваливали своих депутатов: "Наш-то Иван Федорович, даром что мужик, а за своих постоять умеет".

Среди моих товарищей-депутатов от Таврической губернии был один очень культурный, но скромный крестьянин Нечипоренко. Он не решился выступать по земельному вопросу. Молчание Нечипоренко односельчане сочли за измену крестьянскому делу и до такой степени преследовали его, когда он вернулся домой, что ему пришлось с семьей переселиться из своей деревни в Симферополь, где я устроил его на службу в земскую управу.

Но среди массы скучных и однообразных крестьянских речей была произнесена одна, произведшая на нас потрясающее

впечатление. Это была речь тамбовского крестьянина Лосева. Серенький мужичок, невзрачный, с редкой белокурой бородкой, он заговорил тихим, мягким голосом. И от первых его слов глубокое волнение охватило Думу. Он рассказал историю Самсона, ослепленного филистимлянами и прикованного к колонне храма. Русский народ – это слепой Самсон. Он чувствует свою силу, но, прикованный, не может себе помочь... И вот настал последний срок развязать руки могучему Самсону. А то повторится библейская история: когда у Самсона отросли волосы, он сказал: "Умри душа моя вместе с филистимлянами", – и потряс колонну, к которой был прикован. И храм рухнул, погребя под своими развалинами и филистимлян, и Самсона...

Впечатление от этой речи было так сильно и так неожиданно, что с минуту мы все сидели как зачарованные и никто не аплодировал. Может быть предчувствовали, что будем свидетелями почти буквального исполнения этого страшного предсказания...

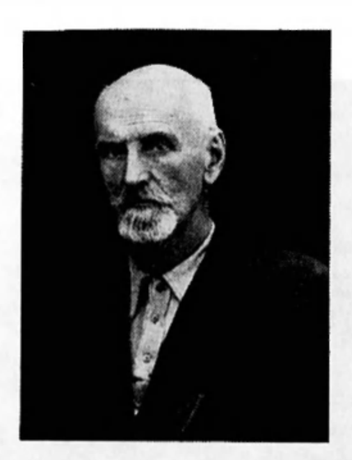
Я чувствую, что увлекся воспоминаниями о первой Думе и начинаю чересчур подробно излагать события, более или менее известные. Между тем моя задача – восстановить обстановку, в которой протекала жизнь первой Думы, и настроения, ее воодушевлявшие, – еще не выполнена. Первая Дума, как общественное явление, не может быть охарактеризована без хотя бы краткой характеристики ее деятелей и ораторов. Этой характеристике людей, с которыми я пережил столько общих надежд, чаяний и разочарований, я и хочу посвятить несколько страниц.

Кн. Андрей Васильевич Оболенский.

Кн. Александра Алексеевна Оболенс
рожд. Дьякова.



Виктор Антонович Арцимович,
опекун В. А. Оболенского.



1941 г.

В последний год жизни, Bussy-en-Othe, 1950 г.

Глава 18

ДЕПУТАТЫ ПЕРВОЙ ДУМЫ

Лидер кадетской фракции И.И. Петрункевич и совместное его с Милюковым руководство думской политикой. Ф.И. Родичев. В.Д. Набоков. М.М. Винавер. Ф.Ф. Кокошкин. Л.И. Петражицкий. Кн.Д.И. Шаховской. Кн. Петр Дм. Долгоруков. Н.Н. Львов. А.А. Муханов. Кн. Г.Е. Львов. М.М. Ковалевский. В.Д. Кузьмин-Караваев. М.А. Стахович. Граф П.А. Гейден. А.Ф. Аладьин. Аникин. И.В. Жилкин. Ной Жордания. Рамишвили, Михайличенко. Странная судьба некоторых депутатов первой Думы: политические "оборотни". Необыкновенные карьеры. Перводумцы-эмигранты.

Начну с фракции Народной Свободы (кадетской). Ее лидерами были П.Н.Милюков и И.И.Петрункевич. Милюков не был депутатом, но в качестве товарища председателя ЦК кадетской партии принимал постоянное участие в заседаниях ее думской фракции. Официальным же нашим лидером в Думе был председатель ЦК фракции Иван Ильич Петрункевич.

Имя Петрункевича мало говорит современному поколению, но тогда он был известен всей культурной России как вождь земского либерального движения. В правых кругах – бюрократических и придворных – его имя произносилось с ненавистью и с некоторым страхом, в левых – с любовью и уважением. Более тридцати лет, когда печать была скована цензурой, свободное слово только изредка раздавалось в земских собраниях, и выступления Петрункевича, сначала в черниговском, а затем в тверском земских собраниях, были крупными местными, а иногда и всероссийскими событиями. За эти выступления он подвергался разным административным карам. В 1905 году ему еще был воспрещен въезд в Петербург, и это запрещение было в силе, когда его принимал Николай II в составе депутации от земского съезда.

В первой Думе он был уже на седьмом десятке своей жизни, но сохранял почти юношескую бодрость и энергию. Бодростью и энергией одухотворялось его некрасивое лицо с выдающейся нижней челюстью, покрытой небольшой жесткой бородкой, и с тонкими губами, сложенными в не покидавшую их саркастическую улыбку. Она светилась и в его умных глазах, пронзительно глядевших через

очки. Человек блестящего ума, широкого образования и исключительного благородства чувств, Петрункевич был одним из лучших представителей старого либерального дворянства, с традициями, ведшими свое начало от декабристов, через кружки Грановского и Герцена к деятелям эпохи Великих реформ. Для нашего времени он казался несколько старомодным. Его речи были классическим образцом красноречия: очень содержательные, построенные из безукоризненно правильных фраз, без лишнего крикливого пафоса, но с подъемом настроения в определенных местах, с легким переходом от бичующего сарказма к неподдельному негодованию, но всегда корректные по отношению к противнику, без резких и грубых слов.

В личных отношениях Петрункевич был прост и джентльменски любезен, но чрезвычайно сдержан. Не любил излишней фамильярности, а люди, ему неприятные, всегда ощущали холодность с его стороны и побаивались его корректной язвительности. Рядовые члены партии испытывали глубокое уважение к этому старому заслуженному борцу, но сдержанность его делала его для них малодоступным. Он мало с ними общался, восседая на партийном "Олимпе", среди наших лидеров. Впоследствии, избранный в члены ЦК, а следовательно попав сам в общество "олимпийцев", я ближе с ним познакомился, и беседа с этим умным и тонко культурным человеком доставляла мне всегда большое удовольствие.

Хотя Петрункевич был официальным лидером кадетской партии и выступал с кафедры Государственной Думы с самыми ответственными речами, но, как я уже говорил, в первой Думе у нас было два руководителя – Петрункевич и Милюков, которых связывало долгое знакомство и совместная работа в Союзе Освобождения. В сущности, сложная тактика строго парламентской борьбы во время еще не утихшей революции инспирировалась главным образом Милюковым. Петрункевич для этого был слишком горяч и прямолинеен. Хотя он вполне разделял взгляды Милюкова и намеченную им тактическую линию, но больше умом, чем сердцем. Аристократизм его натуры с трудом мирился с неизбежными компромиссами, вытекавшими из этой тактики, и раздвоение ума и сердца всегда сказывалось в его речах, которые в таких случаях теряли свою обычную убедительность. Без постоянного наблюдения Милюкова он едва ли смог бы вести в Думе так называемую "правильную кадетскую линию". Нужна ли была эта линия, или нет – другой вопрос, и притом едва ли разрешимый.

Но если Петрункевич для руководительства фракцией в Думе постоянно нуждался в содействии Милюкова, то и Милюкову нужно было сотрудничество Петрункевича. Оба они были крупными людьми, оба были преданы объединявшим их идеалам, но Милюков в своей политике исходил исключительно из "ума холодных наблюдений", как шахматист за шахматной игрой. Холодный

и рассудочный, он лишен был не только порывистости собственной души, но и чуткости в понимании чужих эмоций. Петрункевич же принадлежал к числу немногих людей, политической чуткости которых доверял и мнения которых высоко ценил. И, вероятно, если бы Петрункевич из-за преклонного возраста и болезни не устранился вскоре от активной политической работы, Милюков в своей дальнейшей деятельности не совершил бы ряда ошибок, вытекавших из отсутствия чуткости и интуиции у этого умнейшего и выдающегося русского государственного человека.

В глубокой старости (умер он в эмиграции 84-х лет) Петрункевич стал мягче и приветливее с друзьями, но сохранил прежний пыл непримиримости к врагам свободы и ненависть к человеческой подлости и фальши – черт неприемлемых для его рыцарски-благородной натуры. В эмигрантской общественной жизни он уже не мог принимать участия. Жил с обожавшей его женой сначала в Женеве, а затем в Праге, продолжая горячо принимать к сердцу все события бурлившей вокруг него политической жизни. Революция не повлияла на его прочно сложившиеся убеждения, и умер он, сохранив все идеалы, которые светили ему в середине 60-х годов, когда начиналась его общественно-политическая деятельность.

Совсем в ином роде был сподвижник Петрункевича по тверскому земству и близкий его друг Федор Измайлович Родичев. Он был на десять лет моложе своего друга и попал в Думу еще в полном расцвете сил и дарований. Он тоже принадлежал к числу наиболее просвещенных людей своего времени, а по мощности своего красноречия был ни с кем несравнимым оратором. Его называли "оратором Божьей милостью". Красноречие давалось ему без труда. Он никогда не готовился к своим речам, и наиболее блестящими были как раз те, которые он даже не успевал обдумать, когда он выходил на трибуну, движимый внезапно охватившим его чувством, не зная наверное – что именно скажет, когда творил свою яркую красочную речь во время ее произнесения.

С Родичевым я был знаком еще со времен своего студенчества, встречая его в Петербурге, в семье Костычевых. Он уже тогда был известен как крупный земский деятель и оратор тверского земства. И в частной беседе он поражал яркостью своего образного языка. С ораторской трибуны я впервые его услышал на одном из земских съездов. Говорил Родичев не гладко, бросая отрывочные, точно с трудом дававшиеся ему фразы, плохо между собою связанные. Но, по мере развития его речи, все громче и громче звучал его богатырский голос, отрывочные фразы загорались огнем страсти, били как молотом врагов, воодушевляли единомышленников. Пламенная вера в лучшее будущее, гимн правде и свободе, благородное негодование и сарказм, – все это в художественной форме и в неожиданно блестящих образах. Он совершенно завладевал аудиторией, которая сливалась с ним в порывах его чувства.

Говорить спокойно и сдержанно Родичев совершенно не умел, а потому слушать его речи слишком часто было утомительно. На меня, например, уже в первой Думе его пламенное красноречие перестало действовать. К тому же оно было неровное. Как все ораторы "Божьей милостью", он не мог говорить по обязанности, когда тема его не увлекала. Тогда свойственный ему пафос звучал фальшиво и порой даже казался смешным. Фракция редко поручала Родичеву ответственные выступления, ибо он сам не знал вперед – куда его приведет владевшее им красноречие. И бывали случаи, когда он говорил совсем не то, что было нужно по тактическим соображениям.

Этот большой человек с могучим голосом обладал душой младенца и не умел лукавить. Большим влиянием в партии он не пользовался, хотя был членом ЦК со дня его образования и высказывал всегда очень умные и глубокие, порой – несколько парадоксальные мысли. Не помню случая, чтобы он составил какой-либо ответственный документ. Набросать он мог, но отредактировать тщательно не был в состоянии. Вообще не умел работать. Трудно сказать – по природной лени, или от отсутствия навыков в работе. Впрочем, и редко появлявшиеся в печати его статьи были всегда неизмеримо бледнее его речей.

По рождению Родичев был помещиком, но, отвлекаемый общественной деятельностью, мало занимался своим хозяйством. Адвокат по профессии, он не любил адвокатуру и почти не выступал в судах. В качестве уездного предводителя дворянства и земского гласного был энергичным деятелем, но это была именно "деятельность", а не работа. А когда наконец он был выбран председателем губернской земской управы и рассчитывал работать в деле, которое любил, министр внутренних дел не утвердил его в должности. Так и прошла вся жизнь Родичева в заседаниях и речах, в речах и заседаниях. И стал он "народным трибуном", как его называли левые, а по мнению правых – "праздным болтуном". Последняя кличка, конечно, глубоко несправедлива, ибо слово Родичева было всегда искренно и значительно. Сам он претворять его в дело не умел, но в известные исторические моменты ведь само слово уже является делом...

Печально доживал свою жизнь Ф. И. Родичев в эмиграции. Устранившись от эмигрантской общественной жизни, в большой материальной нужде, он тихо жил в Лозанне со своей маленькой старушкой-женой, с которой до самой смерти его связывала дружба и любовь. Умерли они почти одновременно. Я очень любил этого бурно-пламенного человека, грозные речи которого так не гармонировали с его мягким сердцем. Мы довольно часто переписывались. Последнее письмо от него я получил накануне его смерти...

Товарищами председателя нашей фракции в Думе были Владимир Дмитриевич Набоков и Максим Моисеевич Винавер. Они же

заменяли Петрункевича в качестве наших лидеров в заседаниях Думы. Оба они были людьми очень крупного калибра, но диаметрально противоположные во всех прочих отношениях. Внешне изысканно любезные друг с другом, они были полны взаимной антипатии, которую не скрывали от своих партийных товарищей. Несмотря на это судьба их связала на много лет: с 1905 года по 1917 они состояли членами ЦК партии, постоянно встречаясь на его заседаниях и конкурируя при выборах товарищей председателя, а во время гражданской войны вместе были в составе крымского краевого правительства. Окончательный разрыв произошел между ними лишь в эмиграции, когда остатки кадетской партии в Париже раскололись и Винавер вошел в так называемую "демократическую" группу, возглавлявшуюся Милюковым, а Набоков оказался в другой группировке. В вышедших за границей воспоминаниях о революции 1917 года Набоков не очень лестно отозвался о Винавере, после чего они стали уже открытыми врагами.

Постараюсь по возможности беспристрастно охарактеризовать этих двух выдающихся людей.

В.Д.Набоков был сыном министра юстиции. Не будучи аристократом по происхождению, он вырос и воспитался в среде петербургской аристократии и высшей бюрократии. Это был довольно замкнутый круг людей консервативных убеждений, но в общем весьма культурных. Петербургская аристократия, по преимуществу чиновная, сильно отличалась от московской и провинциальной аристократии помещичьего типа, тесно связанной с деревней и ее бытом. Московские аристократы одевались небрежно, имели мягкие, но размашистые манеры, говорили певучим московским говором, были сердечны в личных отношениях и свободно объединялись с представителями других общественных слоев. Они знали крестьянскую жизнь, любили деревню и находили общий язык с ее обитателями. Это был круг, давший нам Тургенева, Толстого и даже отчасти Пушкина, хотя он и вращался преимущественно в кругах петербургской аристократии. Высшая московская аристократия была демократична по духу и быту. Она же в свое время была лабораторией идей, увлекавших ее представителей в разные стороны.

Совсем в другом роде была аристократия петербургская. Холодные, несколько надменные, петербуржцы твердо придерживались умеренно-консервативных взглядов и вращались почти исключительно среди людей "своего круга". Менее способные делали карьеру в гвардейских полках, более способные оканчивали Лицей, Училище правоведения, реже — университет, и преуспевали на поприще бюрократическом. Все более или менее были близки ко двору. Обязательным признаком хорошего тона в этой среде считалось знание иностранных языков. Впрочем, не столько знание, сколько безукоризненное произношение, в особенности — французское и

английское. Постоянное употребление в светских разговорах французского языка в течение 100 с лишком лет, от Екатерины II до Александра III, не могло не повлиять на русскую речь петербургской аристократии. Мне еще приходилось встречать старых аристократок, совершенно неправильно говоривших на родном языке. Конечно, в мое время такие уже были редки. Русский язык уже стал господствующим и на нем говорили правильно. Но от старых времен остался у петербургских аристократов русский говор с легким иностранным акцентом, проявлявшимся особенно в произношении гласных букв.

Связанная службой с Петербургом, петербургская аристократия проводила лето по большей части на дачах в его окрестностях и редко посещала свои родовые имения. Поэтому молодежь мало приходила в соприкосновение с народными низами и плохо знала подлинную русскую жизнь.

Вот к этому кругу и принадлежал Набоков. Достаточно было взглянуть на этого стройного, красивого, всегда изящно одетого человека с холодно-надменным лицом римского патриция и с характерным говором петербургских придворных, чтобы безошибочно определить среду, из которой он вышел. Всем бытом своей молодости, привычками и знакомствами он был тесно связан с петербургской сановной средой. Родители дали ему прекрасное образование. Он безукоризненно говорил на иностранных языках, а окончив университет, стал готовиться к научной карьере, избрав своей специальностью уголовное право. Нужно еще добавить, что, воспитанный в состоятельной семье, он женился на девушке из богатейшей московской купеческой семьи Рукавишниковых.

Итак, богат, красив, умен, талантлив, образован, с большими придворными связями. Карьера перед ним открывалась блестящая. Но, в отличие от молодых людей его круга, Набоков был склонен к либеральному образу мыслей. В 1903 году он принял участие в редакции журнала "Право", который поставил себе задачей борьбу за установление в России конституционного режима. Постепенно он порывает свои старые связи и заводит знакомства в кругах радикальной петербургской интеллигенции. На поставленный ему ультиматум о несовместимости его общественной деятельности с придворным званием камер-юнкера он отвечает отказом от этого звания, чем сразу создает себе популярность в левых кругах.

Вступив в новую среду, Набоков, однако, сохранил как внешний облик, так и все привычки богатого барина-аристократа. В его особняке на Морской, в котором стали появляться лохматые петербургские интеллигенты, наполнявшие его изящный кабинет клубами табачного дыма, они чувствовали себя неуютно, нарушая непривычный им этикет налаженной жизни барского дома. Удобства жизни, к которым Набоков с детства привык, он очень ценил. Когда после роспуска Думы депутаты съехались в Выборг для составления

"Выборгского воззвания", он приехал туда со своим лакеем, а в тюрьму привез с собой резиновый таз, ибо не мог отказаться от хорошей привычки ежедневно обливаться холодной водой.

В Государственной Думе я не мог не любоваться этим стильным аристократом, но его внешняя холодность и надменность в обращении мешали сближению с ним. Да и сам он не искал сближения с новыми знакомыми. Впоследствии, в Крыму и за границей, мне пришлось ближе с ним познакомиться, и я понял, что типичная для него надменность была отчасти внешней формой, прикрывавшей свойственную ему замкнутость, отчасти же вытекала из глубокой эстетичности его натуры, которой органически противна была человеческая пошлость, не чуждая даже очень крупным людям. Все-таки он был, вероятно, холодным человеком не только внешне, но и внутренне, однако сильные эстетические эмоции заменяли ему теплоту и глубину чувств, и внутренне он был так же изящен, как внешне. Все его речи и поступки поэтому отличались особым тактом и благородством. И умер Набоков так же красиво, как жил: когда на собрании русских эмигрантов в Берлине правый изувер выстрелил в читавшего доклад Милюкова, сидевший в публике безоружный Набоков первый бросился его защищать и был сражен пулей, не ему предназначенной.

М.М.Винавер во многом был антиподом Набокова. Уроженец Польши, он вырос в небогатой еврейской семье и в университете должен был содержать себя собственным трудом. Окончив университет, он склонен был посвятить себя научной работе, но этому помешало его еврейское происхождение. Став поневоле адвокатом, он вскоре сделался одним из самых видных цивилистов петербургской адвокатуры. Богатство, славу, положение в обществе – все он приобрел исключительно благодаря свойствам своей одаренной натуры – громадным способностям, большому уму и исключительной энергии и работоспособности. Наружность у него была невзрачная: маленький, щупленький, с неопределенными чертами бледно-желтого лица и с неопределенного цвета седеющей бородкой. Он обращал на себя внимание лишь непропорционально большой головой. В этой голове с огромным шишковатым лбом было что-то сократовское. А из-под нависших надбровных дуг смотрели на вас умные, серые, проницательные глаза.

До революции 1905 года я слышал о Винавере лишь как об адвокате, ведшем крупные гражданские дела. Я никогда не встречал его в тех кругах петербургской радикальной интеллигенции, из которых вербовались кадры общественных деятелей и участников революции 1905 года. Насколько знаю, в Союзе Освобождения он тоже не состоял. Потому ли, что он, как "законник", не признавал нелегальных действий, или просто не обладал необходимой для этого личной смелостью – не знаю.

Политическая карьера его началась лишь с образованием кадетской партии, вступив в которую он быстро выдвинулся в первые ряды ее деятелей. Для этого у него были все данные. Это был один из умнейших людей, каких я встречал в своей жизни. Ум его обладал чрезвычайной ясностью. Не отвлеченный ум, обычно питающийся априорными абстракциями, а конкретно логический, который к тому же изощрился в юридических тонкостях гражданских процессов. Никто лучше Винавера не мог логически доказать наименее доказуемое. Речи его были блестящи по форме и насыщены содержанием. Все в них было четко, выпукло и убедительно. Он с необыкновенной легкостью умел затушевывать в них слабые стороны защищаемого им положения и направлять мысль слушателей на сильные его стороны.

Чрезвычайно обходительный в личных отношениях, умевший, если нужно, незаметно польстить своему собеседнику и поиграть на слабых струнах его души, Винавер был незаменим в переговорах с другими политическими группами, в особенности с левыми. Своей тонкой диалектикой он добивался совершенно удивительных результатов, заставляя своих противников сдавать позицию за позицией и при этом внушая им, что не они ему, а он им уступил.

В партии он имел репутацию "левого кадета", чем очень импонировал рядовым ее членам, которые большею частью были левее своих руководителей из ЦК, и в трудные моменты, когда умеренная политика ЦК подвергалась на партийных собраниях резкой критике, Винавер спасал положение, принуждая критиков путем ловко подобранных левых аргументов делать выводы, соответствовавшие умеренной позиции ЦК.

Винавер не принадлежал к числу людей с горячим сердцем, но было бы несправедливо назвать его сухим или черствым. Я лично ему симпатизировал, зная его как хорошего семьянина, нежного отца и несомненно доброго человека, охотно помогавшего людям в нужде советом и деньгами. Но в каждом отдельном случае трудно было определить, является ли его отзывчивость и обходительность потребностью его души, или лишь приемом для приобретения популярности. Ибо он был исключительно тщеславен. Его природный ум и естественная тактичность не могли скрыть мелкого тщеславия. Оно выпирало наружу по каждому поводу. Помню, как он во время гражданской войны во что бы то ни стало хотел занять пост министра внешних сношений в маленьком эпизодическом крымском правительстве и как явно наслаждался своим званием министра, которым любил козырнуть даже в эмиграции. Этот мелкий недостаток крупного человека очень мешал его политической карьере. Тщеславие, умело скрываемое, часто помогает карьере, но гипертрофия тщеславия, которое скрыть нельзя, вредит ей. Так было и с Винавером. Я не сомневаюсь, что в своей общественной деятельности он руководствовался мотивами главным

образом идейного характера. Но благодаря тому, что мелочное тщеславие проходило красной нитью через все его действия, его многие считали неискренним и не доверяли ему. Большой ум выдвинул его в первые ряды политических деятелей, но все же он больше оставался в тени, чем того заслуживал. Был незаменимым "мужем совета", но не мог стать вождем. К тому же, чтобы стать вождем кадетской партии, ему не хватало мужества и решительности Милюкова и духовного аристократизма Петрункевича.

К числу наиболее выдающихся членов первой Думы из партии Народной Свободы принадлежал Федор Федорович Кокошкин. Это был человек весьма странной внешности, резко выделявшей его среди людей "интеллигентского" вида нашей фракции. На незнакомых он производил неприятное впечатление подчеркнутой фатоватостью своей наружности. Всегда в застегнутом сюртуке, сшитом в талию, в ботинках самой последней моды и в неимоверно высоких крахмальных воротничках, из которых выглядывало маленькое сухонькое личико с маленькими глазками, умно блестевшими из-за пенсне, — таков был внешний облик Кокошкина. Но главной особенностью его были огромные усы, всегда закрученные вверх тонкими ниточками. В Германии такие усы носил император Вильгельм и подражавшие ему офицеры, а в России — только Кокошкин, да разве еще какие-нибудь провинциальные фаты дурного тона. Но эта неизвестно для чего им самим опошленная внешность совершенно не соответствовала глубокой внутренней одаренности Кокошкина. В таком же противоречии находилось резкое косноязычие его речи с большим ораторским дарованием. Он не мог правильно произносить почти ни одной согласной буквы: не только картавил на "р", совсем не произносил "л", но вместо "с" говорил "ш", вместо "г" — "д", вместо "к" — "т". А все же был одним из лучших русских ораторов. Его речи, лишенные цветов красноречия, но полные аргументов и ссылок на научные авторитеты и опыт практики, не только импонировали своей убедительностью, но увлекали особой красотой логических построений, искренностью тона и убежденностью самого оратора. Он никогда не шарлатанил. Говорил лишь о предметах, ему хорошо известных, и доказывал лишь то, в чем был сам глубоко убежден.

Кокошкин был специалистом государственного права, которое читал в московском университете, но,состоя несколько лет земским гласным и членом московской губернской земской управы, приобщился и к практической общественной работе. Сочетание больших теоретических познаний с практическими навыками чрезвычайно ценно для всякого парламентария, и понятно, что Кокошкин в первой Думе и в ее кадетской фракции был завален комиссионной работой, принимая участие в составлении и в редактировании почти всех подготовлявшихся законопроектов.

Человек с обширным образованием и широкими взглядами, притом всей душой преданный общественному делу, он, однако, был недостаточно честолюбив и властолюбив и, может быть, слишком скромен для большой политической карьеры. Больших трудов стоило в 1917 году заставить его занять министерский пост в составе Временного правительства. Но, когда среди членов партии возникали разговоры о том, кто мог бы стать ее лидером в случае болезни или смерти Милюкова, все единодушно называли Кокошкина.

В личных отношениях Кокошкин был совершенно обаятельным человеком: живой и интересный собеседник, знаток литературы и искусства, а главное – простой, добродушный и сердечный, никогда не выставлявший своего умственного превосходства, что так обычно у людей его калибра. Еще одна характерная для него черта: болея туберкулезом, сопровождавшимся частым подъемом температуры, а иногда и кровохарканиями, болезнь свою он переносил чрезвычайно бодро. Умел он беречь свое здоровье так, что другим это было не заметно, был всегда жизнерадостно настроен и работал значительно больше среднего здорового человека, точно торопился по возможности больше сделать в краткий отрезок жизни, отведенный ему судьбой. Но, на несчастье Кокошкина, туберкулез его пощадил, и этот обаятельный и любимый всеми знавшими его человек стал жертвой тупой человеческой злобы...

Из других наиболее крупных людей нашей фракции упомяну еще Герценштейна, Новгородцева и Петражицкого. О Герценштейне я уже говорил выше. Новгородцев, очевидно, принадлежал к типу людей, творческие силы которых развертываются поздно. Тогда ему было немного за тридцать. Он был приват-доцентом московского университета, но не приобрел еще известности ни как выдающийся ученый, ни как политик. Усердно работал в законодательных комиссиях, но редко выступал с речами в Думе и во фракции. Знаком я с ним был поверхностно. Л.И. Петражицкий, крупнейший ученый и блестящий профессор, в вопросах практической политики был чрезвычайно наивен. Я уже писал, что познакомился с ним в юности, когда мы оба слушали лекции в берлинском университете. И тогда еще он производил на меня обаятельное впечатление соединением научной серьезности ума с детской чистотой души. Только ему фракция прощала еретические с точки зрения партийной программы выступления с думской кафедры по аграрному вопросу, понимая, как трудно его юридической голове, привыкшей к догмам римского права, примириться с принудительным отчуждением земель. Глядя на этого спокойного и уравновешенного ученого, трудно было бы себе представить, что, дожив до шестидесятилетнего возраста, он покончит жизнь самоубийством...

Средний культурный уровень фракции Народной Свободы в первой Думе был очень высок, и если я выделил из общей массы несколько человек, то лишь потому, что они и в этой высококуль-

турной среде выделялись умом, образованием и талантом. Но ведь не только эти качества определяют роль человека в общественной жизни. Кадетские депутаты первой Думы отличались не только высоким умственным, но и нравственным цензом. Обозревая весь прожитый период моей жизни, я не припомню ни одного объединения людей столь высокого нравственного уровня. Конечно, были и исключения, но мало. В нашей среде почти не было политических карьеристов, заполняющих европейские парламенты и появившихся в России в Думах 3-го и 4-го созывов. Это было даже отчасти недостатком первой Думы. Ведя борьбу с правительством за власть, мы продолжали еще жить психологией дореволюционной интеллигенции, боявшейся "осквернить" себя властью, и для которой не власть, а "жертва" была подсознательной целью политической борьбы.

Одним из наиболее ярких представителей такой "жертвенной" интеллигенции в нашей фракции был секретарь Думы, князь Дмитрий Иванович Шаховской. Пришел он в партию приблизительно теми же путями, как и я. Аристократ по рождению, он еще со студенческих времен порвал с аристократической средой и вращался в кругах радикальной интеллигенции. Но он был лет на 10 старше меня. Поэтому, если я отдал дань идеологической моде, увлекшись на время марксизмом, Шаховской шел в фарваторе народничества и толстовства. Когда пришло для него время практической работы, он стал земским деятелем и избрал своей специальностью народное образование. Демократ по натуре и по убеждениям, он был духовно ближе к пролетарской интеллигенции, чем к цензовым либеральным земцам и, войдя в Союз Освобождения в числе его организаторов, примыкал к левому его крылу. Он был главным активным деятелем Союза. Носясь с одного конца России на другой, основывал его провинциальные отделы, распространял литературу и т.д. Во время революции 1905 года Д.И. был одним из самых популярных людей в левом лагере русской общественности, импонируя как политическим друзьям, так и противникам исключительной честностью своих убеждений, полным бескорыстием и искренностью. Он ни к кому не подлаживался, иногда бывал резок и умел говорить правду в глаза. Но все ему прощалось, и все уважали и любили его. В его длинной, тощей фигуре, в сухом лице с тонким горбатым носом и с длинной рыжей клинообразной бородой было что-то напоминающее монахов с картин Нестерова. И внешность правильно отражала внутреннее содержание этого почти святого человека. Он имел жену и детей, но семьи для него почти не существовало. Всего себя он отдал общественной работе. Вне составления брошюр по народному образованию, устройства школ, библиотек, а затем – заседаний, совещаний, выработки инструкций, воззваний, издания популярных книжек по политическим вопросам и т.д. – для него ничего не

существовало. Всегда в приподнятом настроении, фанатически преданный своему делу, он мог, если это было нужно, не спать, не есть, не отдыхать. В своих привычках был совершенным аскетом. Помню, как мы работали с ним в какой-то подкомиссии по аграрному вопросу; сошлись в 9 часов утра и не вставая проработали до 2-х. Наконец я почувствовал голод и предложил пойти куда-нибудь позавтракать. Шаховской удивленно посмотрел на меня и сказал:

– Да неужели вам это нужно?

Только он один мог совершенно серьезно задавать такие вопросы. Стоит ли добавлять, что в период первой Думы, когда большинство ее членов переживало состояние повышенной энергии, Д.И. Шаховской, будучи секретарем Думы и секретарем ЦК кадетской партии, весь ушел в свою внешне малозаметную работу и часто проводил дни без еды, а ночи без сна.

В партийной политике он не играл руководящей роли, но все считались с его огромным моральным авторитетом.

Был в нашей фракции еще один Рюрикович-демократ – князь Петр Дмитриевич Долгоруков, так же, как и Шаховской, демократ по натуре. Но, в отличие от Шаховского, был очень богат, а по своим связям и привычкам оставался барином-аристократом.

Если Шаховской своей наружностью, костюмом, манерой держать себя и говорить производил впечатление типичного интеллигента, Долгоруков, как и его брат и близнец Павел Дмитриевич, выделялся аристократическим лицом, говором и осанкой. И не случайно Шаховского все знакомые называли просто по имени и отчеству – Дмитрий Иванович, а братьев Долгоруковых большею частью титуловали: князь Петр Дмитриевич, князь Павел Дмитриевич.

С Петром Дмитриевичем я познакомился в Союзе Освобождения. Он был известен как земский деятель Суджанского уезда Курской губернии, где состоял председателем управы. Как и Шаховской, он специализировался в школьном деле и принимал деятельное участие во всех съездах по народному образованию, где всегда избирался в председатели. Вероятно, на этих съездах он сблизился с Шаховским, который привлек его и его брата к нелегальной работе в Союзе Освобождения. Для них, вращавшихся до тех пор преимущественно в аристократической среде и соприкасавшихся с левой интеллигенцией только на земской работе, положение "заговорщиков" было ново, и Петр Дмитриевич со всем пылом неофита вложился в конспиративную деятельность. В Союзе он был один из самых активных его членов, организуя местные его отделы и привлекая к ним земцев.

Будучи дельным земцем с большой инициативой, Долгоруков, однако, не обладал качествами, необходимыми для крупного политического деятеля. Слишком много в нем было какой-то детской наивности. В Думе он был избран товарищем председателя.

Во всем подражая председателю Муромцеву, старался казаться "важным" и властным, и это плохо ему удавалось. Но обаяние личности этого простого душой и добрейшего человека было большое. Свою ясную, чистую душу Петр Дмитриевич сохранил до старости. И теперь, лишившись своего огромного состояния и живя в Праге в крайней материальной нужде, он переносит ее с большим достоинством, всегда занятый хлопотами за других своих товарищей по эмигрантскому несчастью.

Сила партии Народной Свободы заключалась в том, что она объединила в своих рядах людей двух миров, людей двух как бы разных культур, если можно так выразиться – культур "пушкинской" и "некрасовской". С одной стороны, в партию вошли представители столичной и провинциальной левой интеллигенции, бывшие социалисты, участники революционных кружков, тюремные сидельцы. Для людей этого типа политическая борьба была делом привычным со студенческих времен. Все принимали участие не только в революции 1905 года, но и в ее подготовке. Для этих "левых кадетов", к которым и я принадлежал, борьба с правительством в Государственной Думе была естественным продолжением прежней политической деятельности, и только ее формы казались нам непривычными своей умеренностью.

Что касается правого фланга кадетской партии, то его составляли преимущественно представители цензовых органов местного самоуправления, главным образом – земцы. Большинство из них никогда не было революционерами. Многие принадлежали к правым кругам, служили в гвардейских полках, некоторые были приняты при дворе. Не теории, почерпнутые из книг, не университетские товарищи, а опыт жизни привел их в ряды левых политических деятелей. Уходя из пустоты светской жизни, они поселялись в своих барских усадьбах и, постепенно входя в местную общественную жизнь, становились земскими гласными, председателями управ или предводителями дворянства. И тут, наблюдая сословно-самодержавный строй не сверху, а снизу, испытывая на каждом шагу своей культурной деятельности бессмысленное сопротивление местных властей, превращались в убежденных либералов-конституционалистов, сохраняя, однако, привычные с детства монархические чувства. Новые убеждения давались им не без большой внутренней борьбы и привели некоторых из них даже в революционный Союз Освобождения. Большинство из людей этого типа все же в Союз не входило и вступило в партию Народной Свободы после того, как она на учредительном съезде образовавших ее "освобожденцев" отказалась от революционных методов борьбы.

Сам принадлежа к левому флангу партии и не разделяя монархических взглядов этих представителей правого ее крыла, я не мог все-таки не любоваться ими и их не уважать. Ведь политика кадетской партии, казавшаяся нам, революционно настроенным

кадетам, рассудочно-компромиссной, давалась им путем величайшего напряжения протестующего чувства и делала их врагами своих родных и недавних друзей. В этом смысле они были жертвеннее нас, честнее и благороднее.

Наиболее яркими представителями этой группы кадетов были в первой Думе Николай Николаевич Львов и Алексей Алексеевич Муханов. Первый еще на съездах Союза Освобождения и на земских съездах выделился своим сильным, хотя несколько истерическим красноречием. Говорил не гладко, вставляя в свою речь ненужные вводные словечки – "видите ли", "понимаете ли" и т. п., – но увлекал слушателей искренностью своего пафоса и необыкновенно вдохновенным выражением красивого тонкого лица и глаз, горевших каким-то мистическим огнем. В первой Думе еще раздавались его патетические речи, но из-за эксцессов продолжавшейся революции он значительно поправел, а после роспуска Думы, отказавшись подписать Выборгское воззвание, вышел из кадетской партии. Избирался затем в 3-ю и 4-ю Думы, но как-то потух в рядах малозаметных депутатов.

Когда после большевистского переворота началась гражданская война, Н.Н. Львов снова воспламенился бурной энергией. Поехал с двумя сыновьями на Дон и сопутствовал генералу Корнилову в его кубанских походах. В этих походах погибли оба его сына. Личное горе, конечно, сильно повлияло на него, но в эмиграции он еще первое время пытался своими пламенными речами поддержать Белое движение. Дело это было безнадежное, и пылкий Львов снова потух, сойдя с эмигрантской авансцены. От его прежних "кадетских увлечений" ничего не осталось. Одно время он сотрудничал в "Возрождении" и вращался в правых кругах эмиграции. Потом затих и незаметно окончил свое земное существование.

Политическая эволюция Н.Н. Львова типична для людей его общественной среды, многие из которых к концу революции 1905 года оказались в рядах партии Народной Свободы. Чуткие и честные, они не могли мириться с тяжелым и несправедливым гнетом самодержавия, хотя сами, принадлежа к привилегированным слоям общества, лично на себе его не испытывали. Жизнь, которую они наблюдали вокруг себя, сделала из них либералов. Но, когда революция показала им себя во всей своей неприглядности грубых насилий и крови, когда народ, интересы которого они бескорыстно отстаивали в земствах и в Думе, стал разрушать их дворянские гнезда, где протекали их детство и юность, они с такой же импульсивностью, под давлением жизненных впечатлений, метнулись вправо.

Внешне менее ярким, но, как мне казалось, внутренне более значительным и цельным был другой правый кадет первой Думы, А.А. Муханов. В этом некрасивом, похожем на татарина человеке было что-то рыцарски благородное. Всю молодость он провел при

дворе. Был полковником лейб-гвардии гусарского полка, в котором под его начальством служил Николай II, когда был наследником. В 90-х годах Муханов вышел в отставку, получив звание камергера от своего бывшего подчиненного, и, выбранный черниговским губернским предводителем дворянства, с увлечением отдался общественной работе. В 1904 году, председательствуя на губернском земском собрании, он допустил принятие в адресе с поздравлением государя по случаю рождения наследника пожелание о созыве народного представительства. За это пожелание, через год удовлетворенное царским манифестом, он был лишен камергерского звания и устранен от должности предводителя дворянства. Уже ранее сделавшись сторонником представительного образа правления, Муханов, устраненный от общественной работы, окончательно перешел в оппозицию и, продолжая быть убежденным монархистом, вступил в ряды партии Народной Свободы при ее возникновении. В ней он занял влиятельное положение благодаря своей искренности, прямоте и честности. Он был решительным противником тогда еще сильных в партии революционных настроений, резко отрицательно отнесся и к Выборгскому воззванию, но, как привыкший к дисциплине солдат, подписал его и отбыл за это тюремное заключение. Обратной эволюции слева направо Муханову не пришлось проделать, ибо он умер до революции 1917 года.

Среди членов фракции Народной Свободы первой Думы был один человек, которому суждено было впоследствии выдвинуться на авансцену истории. О нем я уже писал. Это был князь Георгий Евгеньевич Львов. Сознаюсь, что мне очень трудно дать его характеристику, ибо во многих отношениях его внутренний облик до сих пор составляет для меня загадку. Мне редко приходилось встречать человека, "личина" которого, показывавшаяся другим людям, так мало говорила бы о его подлинной личности. Многие принимали его личину за личность и находились под ее обаянием, другие, чуя несоответствие между двумя обликами князя Львова, считали его неискренним и фальшивым человеком, относились к нему с резким осуждением, а ввиду роли, которую он играл во Временном правительстве, — и с ненавистью.

Т.И. Полнер, ближайший сотрудник кн. Львова по Земскому Союзу, написал целую книгу, посвященную его характеристике. Образ получился яркий и оригинальный, но, как мне кажется, не вполне верный. Как правильно отметил Полнер, кн. Львов во многом напоминал среднерусского хозяйственного мужика. Благолепный, одинаково ласковый в обращении с высшими и низшими, но всегда себе на уме. Демократ до мозга костей, любивший простую деревенскую жизнь, он только в деревне, среди русской природы и простых русских людей чувствовал себя счастливым. Любовь к деревне и ее обитателям — мужикам была основной эмоцией всей его жизни. Любил он не идеализированного

народнической литературой, а подлинного тульского мужика со всеми его качествами и недостатками. Через мужика же до страсти любил Россию. Почвенный, органический патриотизм был отличительной чертой его души, сближавшей ее с душой Толстого и славянофилов. Народник по духу, он был далек от всякой "идеологии", в том числе и народнической, а представители русской интеллигенции были ему совершенно чужды.

За мое многолетнее знакомство с князем Львовым я никогда не слышал от него рассуждений отвлеченного теоретического характера. Его острый ум был исключительно практический, то, что в просторечии называется "смекалка". Своей "смекалкой" он легко разбирался в технических вопросах, сам был отличным столяром и поваром (поварским искусством завоевал симпатии арестантов, сидевших вместе с ним в большевистской тюрьме), но так же легко ориентировался в сложных вопросах русской политической жизни. "Смекалка" же помогала ему в оценке людей, нужных ему для его общественной работы, которая отличалась всегда большим размахом.

Однако было бы ошибкой причислить кн. Львова к людям энергичным, хотя таково было о нем общее мнение, когда Земский Союз, во главе которого он стоял, сделался своего рода государством в государстве. Наоборот, мне кажется, что по натуре это был человек пассивный. Присущий ему оптимизм он любил выражать знаменитым словом лакея Стивы Облонского – "образуется". Наметив своим тонким чутьем то дело, которое должно было впоследствии развиться, он умел использовать энергию своих помощников, предоставляя им свободу в проявлении инициативы. Бросал им идеи, а дальше полагался на то, что "все образуется". Верил в свою счастливую звезду, и до революции она верно ему служила. Как человек в основе своей пассивный, князь Львов был совершенно неспособен на открытую борьбу и всячески ее избегал, предпочитая, подобно среднерусскому мужику, достигать своих целей хитростью или обаянием своего обхождения с людьми. В его общественной карьере главную роль играло его уменье подставлять свою спину под господствующий общественный ветер, толкавший его вперед и продвигавший на положение "вождя", которым он по свойственной ему пассивности быть не мог.

Князь Львов никогда не был политиком. До революции 1905 года он шел в земском фарватере, вдали от всяких революционных течений, более или менее ориентируясь на земских либералов, но не порывая добрых отношений с правыми. Выбранный в первую Думу, вошел в кадетскую партию, но ушел из нее, не пожелав скомпрометировать себя Выборгским воззванием. Затем до войны, продолжая возглавлять общеземскую организацию, расширил свои связи влево и вправо, никогда не высказываясь публично.

Война увеличила его популярность как председателя Земского Союза. Коллективная работа земцев и земских служащих в тылу и на фронте, которою он не столько руководил, сколько поощрял, пуская в ход, создала ему славу и симпатии в армии и в стране. При поддержке армии, нуждавшейся в помощи Земского Союза, он вырывал миллионы у правительства, боявшегося популярности этого таинственного, но лично столь обворожительного и мягкого человека. И как-то само собой вышло так, что он, симпатичный левым, но все же приемлемый и для правых, еще до революции считался единственным кандидатом в премьеры ответственного министерства, или министерства "общественного доверия". Я думаю, что на этом посту он был бы на своем месте, обвораживая царя своим мягким обращением, лавируя между всеми политическими течениями, устанавливая со всеми добрые отношения и управляя страной при содействии энергичных помощников и крепкого бюрократического аппарата.

На его несчастье, его дореволюционная популярность привела его к власти во время революции, когда уже нельзя было действовать обычными для него приемами. Те общественные течения, между которыми он так удачно лавировал в дореволюционное время, утратили свою силу, которая оказалась в руках совершенно чуждой ему социалистической интеллигенции. Страсти разгорались, и с ними уже нельзя было справиться келейными переговорами и увещеваниями. Нужно было бороться, и бороться открыто. А на это князь Львов был совершенно не способен. Органическое миротворчество, помогавшее ему прежде во всех трудностях, теперь привело его к полному подчинению революции. Без воли и без инициативы, стоя в течение нескольких месяцев во главе Временного правительства, он со всеми соглашался, ни на что не решался, постоянно твердя своим друзьям: "Верьте в здравый смысл русского народа, все образуется". В конце концов понял, что он лишний...

В эмиграции, в Париже, в качестве члена возглавлявшегося кн. Львовым Земско-городского комитета, я мог близко наблюдать этого странного человека, и его личность стала для меня еще более загадочной.

Прежде всего я убедился в том, что князь Львов, очаровывавший всех своим ласковым обращением и лучистой добротой нежно смотревших на собеседника глаз, был внутренне холоден и равнодушен к людям. Приняв какого-нибудь просителя, обворожив его, обласкав и обнадежив, он забывал о нем сейчас же после его ухода и переставал интересоваться его судьбой. Даже в судьбе своих друзей и старых сотрудников он мало принимал действительного участия.

Мне представляется, что такое противоречие между внешним и внутренним обликом кн. Львова отнюдь не было сознательной

двуличностью, ибо его внешняя ласковость была естественным свойством его миротворческой природы, не переносившей никаких резкостей в отношениях с людьми, к которым он вполне искренне относился пассивно-доброжелательно.

Благодаря уменью князя Львова добывать средства, Земско-городской комитет вначале широко развил свою культурную и благотворительную деятельность. Но вся она шла как-то помимо председателя комитета. Существом ее он абсолютно не интересовался и не вникал в нее. На заседаниях молчал и своего мнения не высказывал, но, как бы по инерции, продолжал находиться в плену у преобладавшей в комитете группы членов, принадлежавших к социалистическим партиям. Эта группа, как я узнал впоследствии, устраивала с ним, в тайне от остальных членов, частные совещания и предварительно решала вопросы, подлежавшие нашему рассмотрению. Мы, конечно, не подозревали своего глупого положения, ибо кн. Львов, участвуя в таком "заговоре" против нас, был с нами, как вообще со всеми, неизменно ласков и приветлив.

Вероятно, таким келейным, антиобщественным методом кн. Львов пользовался и в прежней общественной деятельности. Думаю также, что и существом работы Земского Союза, во главе которого он стоял, он столь же мало интересовался, как и работой Земско-городского комитета в Париже. Не мог же этот человек до такой степени измениться в эмиграции! Конечно, его увлекал размах работы, но и только...

Я часто задавал вопрос – что же в конце концов влекло кн. Львова к общественному делу? Карьеризм, тщеславие? Достаточно было хоть немного узнать этого скромного и по существу пассивного человека, склонного к фатализму, чтобы отвергнуть это предположение. О властолюбии и говорить не приходится: получив в свои руки власть, он боялся ее проявлять и легко, без борьбы от нее отказался. Враги подозревали его в нечестности, в присвоении себе общественных денег. Эти отвратительные подозрения, конечно, ни на чем не основаны. Сотни миллионов рублей проходили в России через руки князя Львова, миллионы франков добывал он в Париже, а жил скромно, в соответствии со своими демократическими вкусами, и умер в бедности, ничего не оставив своим наследникам. Слава? – Пожалуй, отчасти да. Но, как мне кажется, его славолюбие было неразрывно связано с мистической верой в провиденциальность своей личности, с верой, которая слилась в нем с любовью к России.

Незадолго до своей смерти он с глубокой уверенностью говорил мне, что мы еще пригодимся России, когда туда вернемся. Я чувствовал, что это не простая банальная фраза, а подлинная вера в свое призвание. И на свое пребывание в Земско-городском комитете, деятельностью которого он совершенно не интересовался, он смотрел, по-видимому, как на переходное положение, облегчавшее

ему возможность, как и прежде, быть снова выдвинутым попутным ветром на славный пост спасителя России. Конечно, определенного плана у него не было никакого, а была лишь мистическая вера в русский народ и в собственную "народность".

Близко примыкавшей к партии Народной Свободы по своим политическим взглядам была в первой Думе партия Демократических реформ. В сущности это была не партия, а четыре депутата, не пожелавшие войти ни в одну из политических группировок, т.к. не мирились с какой бы то ни было партийной дисциплиной. Двое из них – Максим Максимович Ковалевский и Владимир Дмитриевич Кузьмин-Караваев – были людьми значительными.

М.М.Ковалевский, известный не только в России, но и за границей социолог и государствовед, соединял с большой ученостью неисчерпаемое добродушие и жизнерадостность. Был богат, любил хорошие яства и пития, не прочь был поухаживать за красивыми дамами. С кафедры Государственной Думы, а затем в Государственном Совете, где он был лидером левой "академической группы", он выступал с речами, напоминавшими лекции по государственному праву. Его солидная, грузная фигура и авторитетный профессорский тон импонировали слушателям. Даже правые его противники и министры считались с его научным авторитетом. Устраненный из числа профессоров московского университета из-за политической неблагонадежности, Ковалевский долго жил за границей и с русской жизнью был мало знаком. Поэтому часто проявлял в вопросах практической политики некоторую наивность, которая, уснащаясь научной эрудицией, производила впечатление легкомыслия. По-видимому это свойство было действительно присуще самой природе блестящего и вместе с тем милого, доброго и жизнерадостного Максим Максимовича.

В.Д.Кузьмин-Караваев был совсем в другом роде. Военный по профессии, он окончил военно-юридическую академию и дослужился до чина генерал-майора. Еще до революции 1905 года он был известен как либеральный гласный тверского земства. Умный, образованный, он занял влиятельное положение на земских съездах и, конечно, был избран в Думу. Чрезвычайно живописен был на ее трибуне этот красивый, сравнительно молодой генерал с густыми серебряными эполетами, когда он выступал с речами, осуждающими политику правительства. Либеральные генералы бывали еще в царствование Александра II, но затем постепенно вымерли, и Кузьмин-Караваев был своего рода уникум. С его репутацией крупного общественного деятеля, с его ораторским дарованием и большой энергией, он мог бы сделать большую политическую карьеру, но его сгубили невероятное самомнение и тщеславие. Всюду он стремился играть первую роль и отказался вступить в кадетскую партию, где были люди крупнее его. Поэтому, когда при выборах во вторую Думу шла уже борьба между прочно сформированными партиями, Кузь-

мин-Караваев не мог рассчитывать на поддержку кадетов. Но он был настолько уверен в своей известности и популярности, что сам от себя выставил свою кандидатуру в Петербурге против всех боровшихся там партий. Результаты получились для него унизительные, т. к. за него голосовало лишь несколько десятков его друзей и знакомых. Получив такой афронт, этот неумеренный честолюбец сошел с политической авансцены навсегда.

После роспуска первой Думы я бывал у В. Д. на заседаниях общества помощи перводумцам, им основанного. В этом деле он проявлял большую сердечность, и многие из перводумцев, находившихся в тюрьмах или просто лишившихся должностей и заработков, главным образом ему обязаны получавшейся ими материальной и моральной поддержкой.

Встречался я с ним и в эмиграции, где, конечно, он оказался в числе ее "нотаблей", состоя членом бюро Национального комитета. Активности, впрочем, не проявлял, ибо уже был больным и дряхлым стариком. Несколько лет тому назад я шел за его гробом, вспоминая о красивом молодом генерале на трибуне первой Думы...

Лидерами "октябристов" – самой правой фракции первой Думы – были Михаил Александрович Стахович и граф Петр Александрович Гейден. О них я уже ранее писал.

Стахович имел такую эффектную и значительную наружность, что публика на хорах Думы всегда спрашивала: "А это кто?" Высокий, статный, с шапкой белокурых с проседью волос на голове и с кудрявой бородой Моисея Микеланджело. Блестящий светский causeur, хорошо, хотя поверхностно, образованный, любитель шумных кутежей с цыганами, он с молодых лет и до старости был неотразим для женщин и разбивал на своем победном пути немало женских сердец. В дореволюционные времена Стахович славился как один из лучших ораторов земских и дворянских собраний. Особенно известна была его речь, сказанная в защиту свободы совести. Не знаю, были ли у него определенные политические убеждения. Мне казалось, что он их приспособляет к стилю свободомыслящего фрондера-аристократа, к стилю, казавшемуся красивым его эстетической натуре. Он как-то умел соединять дружбу со Львом Толстым и симпатию к его учению со светской жизнью, кутежами, камергерским мундиром и дворянской гордостью. Утверждал, что он сторонник самодержавия, и произносил свободолюбивые речи. Помню, как одну из них на каком-то дворянском съезде он закончил такой эффектной фразой: "Исконный девиз русского дворянства таков: за Бога – на костер, за царя – на штыки, за народ – на плаху". А Лев Толстой, как мне рассказывали, прочтя в газете эту пышную фразу своего молодого друга, иронически добавил: "а за двугривенный – куда угодно".

Революция 1905 года сбила Стаховича с его красивого фрондерского пьедестала. После Манифеста 17 октября, даровавшего

России конституцию, прогрессивным людям уже нельзя было оставаться сторонниками самодержавия. И волей-неволей пришлось Стаховичу вместе с славянофилами – Шиповым и Хомяковым – стать умеренным конституционалистом, примкнув к партии октябристов. Но с этого времени тухнет былая слава Стаховича. В первой Думе он оказался на правом фланге, – положение, не располагающее к звонким и пылким речам, которые он раньше привык произносить, а Государственный Совет, куда потом выбирало его орловское дворянство, был вообще неподходящим местом для его легкого и изящного красноречия. Он был слишком поверхностным человеком для серьезной законодательной работы, да и не привык работать. О Стаховиче перестали говорить. Все же он сохранил связи и знакомства с политическими деятелями, и когда Временному правительству понадобился декоративный человек на пост финляндского генерал-губернатора, Стахович получил это назначение. Перед большевистским переворотом он был назначен посланником в Испанию, но туда не доехал и стал эмигрантом. В эмиграции и умер.

Гораздо менее талантливым и блестящим, но гораздо более крупным по внутреннему содержанию человеком был другой лидер октябристов, граф П.А. Гейден. Если Стахович в Думе значительно померк, то Гейден, несмотря на свой старческий возраст, приобрел наибольшую яркость, ибо от природы имел все данные, чтобы стать выдающимся парламентарием. Он, в сущности, был единственным руководителем своей думской фракции (Стахович был для этого непригоден). О Гейдене, как о влиятельном гласном псковского земства и как о председателе земских съездов, я уже писал в своем месте. Всю жизнь стойко отстаивая свои умеренно-либеральные взгляды, этот красочный старик (ему было тогда 63-64 года) с лицом и манерами английского лорда не мог, конечно, не попасть депутатом в первый русский парламент. Но совершенно для себя неожиданно оказался не в левом центре, где ему быть надлежало, а на крайнем правом фланге. Плоскость поляризации политических лучей, действующих на чувства обывателей, во время всякой революции неизбежно отклоняется влево, а центр силою вещей соответственно отодвигается вправо. Так было и в первой Думе, всплывшей на гребне революции. И невольно люди умеренных убеждений, попав на крайний фланг борющихся сил и вынужденные обстоятельствами бороться с более левыми противниками, сами постепенно правели. Стойкий, убежденный и выдержанный граф Гейден, однако, не поддался этому естественному соблазну. Он твердой рукой управлял своей очень разношерстной фракцией, не позволяя ей сойти с умеренно-либеральных позиций, и, ведя борьбу с левым большинством Думы, оставался в оппозиции к правительству, отказывавшемуся от всяких либеральных реформ.

Граф Гейден был заикой и заикался смешно. Но, несмотря на это, его умные и содержательные речи, иногда блестевшие тонкой язвительностью и всегда корректным, хотя и убийственным для противника юмором, выслушивались Думой с огромным вниманием. Даже социал-демократы относились с уважением и любовью к благородному и стойкому старику.

Трудовая группа имела трех признанных лидеров: Аладьина, Аникина и Жилкина.

Алексея Федоровича Аладьина я увидел впервые накануне открытия Думы, когда он с несколькими крестьянами пришел на заседание кадетской фракции и заявил нам об образовании им Трудовой группы. Заявление это было сделано развязным тоном и сопровождалось рядом грубых выпадов против той партии, на заседание которой он явился. На всех присутствующих он произвел отвратительное впечатление внешностью провинциального хлыща, пошлыми манерами и наглостью речи. Взятый им с этого момента наглый и резкий тон Аладьин сохранял во всех своих выступлениях с трибуны Государственной Думы, причем любил говорить — "мы, крестьяне". Это был типичный авантюрист, делавший карьеру на революции. Внешность у него была в высшей степени безвкусная и вульгарная — "моветон", как говорили в старину. Ходил в обтягивавших его тонкую талию куртках и столь же узких брюках, а вместо шляпы носил каскетку, которую, очевидно, считал более подходящим головным убором для демократа. Красная гвоздика в петлице должна была также свидетельствовать о его революционном образе мыслей. Он несомненно был талантливым оратором, хотя не для интеллигентных слушателей, которых раздражал своим позерством и пустозвонством. Но на митингах увлекал толпу, а в Думе импонировал крестьянам грубыми и резкими выходками против министров. Эти выходки казались им необыкновенно смелыми в устах их лидера. Большое впечатление производил он и на думских "барышень"-телефонисток и стенографисток, которые бегали за ним по кулуарам Таврического дворца целыми табунами.

Сомневаюсь, чтобы Аладьин был связан с революционными организациями, но делал вид, что все нити революции в его руках. Помню, как незадолго до роспуска Думы я завтракал один в думском буфете. Вошел Аладьин и сел за мой стол.

— Что невеселы, князь? — сказал он мне своим обычным развязным тоном.

— Да что же веселиться, — ответил я. — Вероятно, Дума скоро будет распущена. Я не знаю, что тогда произойдет, но ничего хорошего не ожидаю.

— Это, князь, у вас меланхолия чисто кадетская. Я вот убежден, что правительство Думу разогнать не посмеет. А если посмеет, то раскается. Мне стоит только кликнуть клич, и петербургский гарнизон встанет на защиту Думы. Я только что

получил заверение от Преображенского полка о том, что он всегда в моем распоряжении.

Я невольно улыбнулся его хлестаковщине. Он это заметил, и наш разговор прекратился.

Роспуск Думы произошел во время отсутствия Аладьина, который в это время был в Лондоне, в думской депутации, отправившейся туда по приглашению английского парламента. Из Лондона же он, боясь репрессий со стороны русского правительства, не вернулся.

Революция кончилась, и Аладьин понял, что кончилась и его революционная карьера. Не хотелось ему, однако, исчезнуть с политической сцены. Он быстро перекрасил свои убеждения и сделался лондонским корреспондентом "Нового Времени". Вероятно, надеялся получить амнистию через эту влиятельную газету, но все же ее не получил. Лишь после переворота 1917 года Аладьин снова появился в России, с английской военной миссией и в английской военной форме. К революции ему возврата не было, и он стал выступать уже не с революционными, а с патриотическими речами. Попав в ставку главнокомандующего, он принял активное участие в организации Корниловского восстания в числе нескольких авантюристов, сумевших завладеть доверием этого благородного, но недалекого генерала, а затем оказался на юге России.

Незадолго перед эвакуацией армии Врангеля из Крыма Аладьин появился в Симферополе и зашел ко мне. Внешне он мало изменился, несмотря на английскую военную форму, в соответствии с которой старался придать себе молодцеватый вид. Своим прежним хлестаковским тоном он стал мне рассказывать, что стоит по главе какого-то крестьянского союза и представил Врангелю проект аграрной реформы.

— Врангель вынужден считаться с моим мнением. В нас единственное его спасение, — отчеканил Аладьин с такой же властностью в голосе, как тогда, когда он говорил мне о готовности петербургского гарнизона его поддержать.

Через несколько дней мы с ним встретились в Севастополе, в приемной генерала Врангеля. Увидев меня, Аладьин смутился. Да и было от чего: Врангель, выйдя в приемную, поздоровался со мной и весьма холодно и сухо поклонился Аладьину. А затем, уйдя со мной в свой кабинет, раздраженно сказал: "Чего еще этому... от меня надо!"

Умер этот честолюбивый авантюрист в новой эмиграции, отойдя в историю в качестве второстепенного актера русской исторической трагедии.

Другие два лидера Трудовой группы, в отличие от Аладьина, были людьми идейными и искренними. Аникин, сельский учитель Саратовской губернии и партийный социалист-революционер, вошел в Трудовую группу, т.к. его партия бойкотировала выборы и это

помешало ему выступать под ее флагом. Крестьянин по происхождению, широкоплечий, широкоскулый, с огромными кулачищами, которыми он грозно стучал о кафедру, он выступал в Думе с демагогическими речами. Других, за недостатком настоящей культурности, он произносить и не мог. Но демагогия его была вполне искренняя, соответствовавшая элементарности его мышления. Его речи нравились крестьянам, ибо в них чувствовалась подлинная мужицкая ненависть к привилегированным классам общества и презрение к представителям высшей интеллигенции. Что-то было стихийное в этом могучем человеке и, как-никак, талантливом ораторе. И несмотря на малую содержательность его речей, насыщенных уже набившей нам оскомину трафаретной революционной фразеологией, в них чувствовалась большая разрушительная сила и неукротимая воля.

После роспуска первой Думы я ничего не слыхал об Аникине. Он исчез в народной гуще так же быстро, как из нее появился.

Тихий, скромный И.В. Жилкин был, если не ошибаюсь, до избрания в Думу провинциальным журналистом. Его речи не отличались блеском, но подкупали безыскусственной простотой и искренностью. Для себя лично Жилкин не искал славы и популярности, но благодаря видному положению все же сделал небольшую карьеру: из провинциальных журналистов стал журналистом столичным и в течение ряда лет сотрудничал в "Вестнике Европы". Не отличаясь большим талантом и оригинальностью мысли, он пользовался в литературных кругах всеобщей любовью и уважением. В революции 1917 года он активной роли не играл.

Вождем социал-демократов, фракция которых состояла наполовину из грузин, а наполовину из случайно прошедших в Думу рабочих (с.-д. официально бойкотировали выборы в Думу), был ныне известный грузинский сепаратист Жордания. Но, будучи от природы сильным заикой, он не появлялся на думской трибуне, и наиболее ответственные речи произносил другой грузин – Рамишвили. Рамишвили принадлежал к той породе цельных людей, которые, раз уверовав в определенную доктрину, остаются ей верны по гроб жизни и всего себя отдают на служение тому, чему верят. Был он уже не первой молодости, с седеющей головой и бородой, но сохранял юношескую наивность души, которая, в соединении с природным добродушием, покоряла сердца даже его политических противников. Немного смешной грузинский акцент как-то особенно подчеркивал наивность его речей, бесхитростных и глубоко искренних. Ему трудно было привыкнуть к парламентскому этикету и к парламентской выдержке, и речи его часто прерывались замечаниями председателя. Помню, как однажды, возмущенные какими-то его резкими словами, министры встали со своих мест и направились к выходу. Рамишвили прервал свою речь и, обратившись к ним, произнес: "Министры, погодите, послушайте еще, что я вам скажу"...

Часто выступал также от с.-д. фракции Михайленко, рабочий из Екатеринослава. Огненно-рыжий мужчина с громовым голосом, он любил пугать Думу страшными революционными словами, которыми на митингах привык срывать аплодисменты. Охотно козырял также заковыристыми иностранными словами. Как-то он призывал нас стать на путь революции, доказывая, что Дума бессильна, "если перед ней в виде "прерогативы" поставили Государственный Совет". Прерогатива ему, очевидно по созвучию, представлялась чем-то вроде рогатки.

В 1917 году, на Московском государственном совещании, меня снова судьба свела с Михайленко. От времени огненные волосы его поседели, а революционный пыл остыл. Освободившись от трафаретной революционной фразеологии, он производил впечатление очень неглупого и чрезвычайно симпатичного человека. Был – так же, как и все перводумцы – решительным противником большевиков.

Теперь, через много лет, прошедших со времени первой Думы, можно проследить судьбу некоторых из ее членов, для одних – бесславную, для других – блестящую, для третьих – трагическую.

О бесславной судьбе батюшки Афанасьева, ставшего агентом охранного отделения, я уже упоминал. Тут дело было простое: заела нужда – и, чтобы спасти от голода свою семью, человек продал душу. Афанасьев не прикрывался никакой идейной эволюцией, а просто за 100 рублей в месяц предавал своих добрых знакомых. Гораздо сложнее были "оборотни", изменявшие свою политическую физиономию, приспособляясь к менявшимся обстоятельствам. Они предавали не людей, а свои собственные идеалы.

Из депутатов первой Думы мне вспоминаются лишь три таких "оборотня", по странной случайности – три профессора высших учебных заведений.

В Трудовой группе довольно видную роль играл профессор Локоть. Лично я с ним почти не был знаком, но по его выступлениям с думской трибуны я составил о нем мнение как о довольно глупом человеке. Говорил он длинные, скучные речи, не скупясь на резкие и грубые слова по отношению к более правым думским фракциям и подчеркивая свою "левую" непримиримость. После роспуска Думы я года два ничего не слыхал о профессоре Локте, а потом, когда стало ясно, что на левых фразах карьеры не сделаешь, его имя, как одного из киевских профессоров крайне правого направления, начало мелькать в газетах. Писал он злобные черносотенские статьи, столь же грубые и глупые, как и его бывшие левые речи в Государственной Думе. В 1917 году он, вероятно, пожалел о своем ренегатстве, но уже было поздно. Пришлось эмигрировать и в кругу белградских "зубров" поддерживать свой черносотенный грим.

Вспоминается мне на председательской трибуне маленькая фигурка товарища председателя Думы, профессора Николая

Андреевича Гредескула. Выбран он был нами на этот пост по настоянию левых, которым импонировало его недавнее прошлое: незадолго до выборов он был сослан в Архангельскую губернию за какую-то речь, произнесенную им в харьковском университете, и был возвращен из ссылки после избрания депутатом от Харьковской губернии. Маленький, тщедушный, с длинной куриной шеей, уныло торчавшей из крахмального воротничка, с хитренькими карими глазками за большими круглыми очками, он произносил тоненьким слащавым голосом скучные речи. Слащавость и вкрадчивость были присущи ему и в личных отношениях. Он как-то особенно горячо пожимал руки своих знакомых и выражал им свою симпатию в неумеренно сладких выражениях. Когда в заседаниях фракции Народной Свободы, к которой он принадлежал, слово брал профессор Гредескул, слышались глубокие вздохи, а курящие торопились уйти покурить в соседнюю комнату. Ибо речи его были всегда длинны и неясны. Он всегда сомневался, ни на что не решался, и трудно было понять основную мысль, которую он отстаивает.

После роспуска Думы, по мере усиления реакционного курса, его колебания и сомнения все больше и больше стали относиться к прежним увлечениям. В первой Думе он считался "левым кадетом", во время третьей Думы, на заседаниях ЦК партии, он уже примыкал к правому ее крылу, а во время войны поправел настолько, что вынужден был выйти из партии. Хорошо помню заседание ЦК партии, на котором, как всегда тягуче, нудно и невразумительно, Гредескул мотивировал свой разрыв с партией, в которую вошел с начала ее основания. Уход его из партии стал всем понятен, когда через короткое время он стал редактором газеты, основанной сумасшедшим министром Протопоповым и получавшей правительственную субсидию.

После февральской революции Гредескул стушевался как политический деятель. Только читал скучные лекции студентам Политехникума. Но зато быстро всплыл на поверхность после октябрьского переворота, полевев сразу на 180 градусов. Тем же слащаво-плаксивым голосом он отрекался от своих прежних "буржуазных" взглядов, льстиво восхваляя новых правителей России. Он был одним из первых "красных" профессоров. Большой карьеры у большевиков он все-таки не сделал, презираемый не только враждебными большевикам профессорами, но и самими большевиками, покровительствовавшими вначале своему красному профессору, когда он им был нужен.

Если Гредескул, мягкий и вкрадчивый в обхождении, казался нам вначале хоть и скучным оратором, но симпатичным человеком, то другой будущий "оборотень", профессор Евгений Николаевич Щепкин, на большинство своих товарищей по фракции производил отталкивающее впечатление. Всем противна была его двуличность. Часто выступая с трибуны с резкими, почти революционными и

всегда бестактными речами, от которых себя неловко чувствовали ответственные руководители партии, он в закрытых фракционных заседаниях высказывался за умеренную тактику по отношению к правительству. Однако неизменно подчеркивал, что на путь компромисса должны стать лидеры партии, чтобы добиться власти, он же, Щепкин, для себя предпочитает сохранить позицию народного трибуна. Эта двуликая тактика, которую с откровенным цинизмом отстаивал Щепкин, глубоко возмущала его партийных товарищей. После роспуска Думы Щепкин в Выборг не поехал, а прислал туда телеграмму, прося поместить его подпись под воззванием. Когда же через полтора года мы съехались в Петербурге и сели на скамью подсудимых, он на предварительном совещании внес предложение, чтобы депутаты, давшие свою подпись под воззванием, но не бывшие в Выборге (таких было несколько человек), заявили об этом на суде и тем освободили бы себя от наказания. Однако другие, бывшие в его положении, с негодованием отвергли его предложение, а один он выступить не решился.

Вскоре Щепкин ушел из партии и на выборах в последующие Думы выступал против нее на избирательных собраниях. А после революции 1917 года оказался сначала левым эсером, а затем вошел в коммунистическую партию. Как раз в это время большевики в Москве расстреляли его брата, Н.Н.Щепкина...

Ранняя смерть помешала ему сделать в СССР большую карьеру.

Другая категория перводумцев с неожиданной для них самих дальнейшей биографией – это депутаты окраин.

Лидеру думской фракции "российской" социал-демократической партии Ною Жордания, конечно, не могло придти в голову, что через 12 лет он окажется главой правительства независимой грузинской республики и станет непримиримым грузинским сепаратистом. У скромного и абсолютно молчаливого члена кадетской фракции Чаксто не могло возникнуть мысли, что он умрет на посту президента независимой Латвийской республики.

В одной из подкомиссий по разработке земельного законопроекта я познакомился с благообразным, очень образованным и изысканно корректным депутатом польского Коло Грабским. Мы с ним часто разговаривали, бродя во время перерывов думских заседаний по кулуарам... А несколько лет тому назад, хлопоча о польской визе для своего знакомого, я напомнил в письме польскому министру внутренних дел Грабскому о нашем давнем знакомстве в Государственной Думе.

Часто выступал с думской трибуны светлый блондин с трескучим голосом. Говорил он по-русски правильно, но с ясно выраженным прибалтийским акцентом. Это был депутат от Эстонской губернии Тенисон. Речи его были содержательны, но необыкновенно длинны, а трескучий монотонный голос нагонял сон. Когда Тенисон всходил на трибуну, в Думе подымался шум от выходивших в кулуары

депутатов, а Муромцев звонил в колокольчик, прося соблюдать тишину. Думские крестьяне остроумно переделали фамилию Тенисон в "Тянивсон".

Тенисон принадлежал к правому крылу кадетской партии, отстаивая "русскую государственность" от "опасных левых экспериментов". Через несколько лет, во время революции, я встретился с Тенисоном на Московском совещании и был поражен происшедшей с ним переменой. Стал он непримиримым эстонским националистом. Его выступления по национальному вопросу на заседаниях перводумцев были настолько полны вражды к русской государственности, что представители других народностей России сочли нужным от него отмежеваться. Но и тогда он, вероятно, еще не мог себе представить, что через два года станет председателем Совета министров маленького эстонского государства.

Второй депутат от Эстонской губернии, Геллат, в противоположность речистому Тенисону, был чрезвычайно молчалив. Он никогда не выступал с речами, но умное и доброе лицо его мне хорошо запомнилось. Этому скромному и, казалось, мягкому человеку пришлось в качестве эстонского министра внутренних дел жестоко расправляться с коммунистами. Левые эстонцы прозвали его "кровавым Геллатом"...

Несколько лет тому назад, в Париже, на одном собрании, посвященном обсуждению национального вопроса в России, ко мне подошел пожилой бритый господин небольшого роста.

— Вы меня не узнаете?

— Признаться, нет.

— Бывший член Думы, Топчибашев.

Трудно было признать в этом бритом стареющем человеке хорошо мне памятного бакинского молодого депутата Топчибашева, носившего тогда кругленькую бородку. Но судьба его не менее изменилась, чем внешний вид. Тогда, в Петербурге, он был членом кадетской фракции русского парламента, а теперь, в Париже, — представителем несуществующей Азербайджанской республики...

В 1906 году невозможно было себе представить, что столько моих товарищей по первой Думе, этих "лучших людей", как нас назвал в тронной речи Николай II, погибнет насильственной смертью. Между тем, вскоре после роспуска Думы, двое из них — Герценштейн и Иоллос — были убиты наемными убийцами Союза Русского Народа. От руки большевиков первым пал наш общий любимец, блестящий и талантливый Ф. Ф. Кокошкин. Все знали, что этому обаятельному человеку недолго осталось жить. Больной туберкулезом, он слишком растрачивал свои силы. Но что именно он, противник всякого насилия, станет первой жертвой большевистского террора, — этого представить себе было невозможно.

Жертвы массового террора всегда случайны. Случайны были они и среди перводумцев. Расстреляны большевиками и горячий левый кадет Н.А. Огородников, и уравновешенный умеренный уфимский земец граф П.П. Толстой, и видный член партии К.К. Черносвитов, и Н.Л. Бардиж, ничем себя не заявивший в качестве парламентария, но неизменно избиравшийся депутатом во все четыре Думы. Тяжкие минуты пришлось перед смертью пережить Огородникову и Бардижу, расстрелянным вместе с их сыновьями. Убит был большевиками и вятский депутат священник Огнев. Царское правительство его лишило сана, а большевики расстреляли. Вероятно, убитых большевиками перводумцев больше, но сколько их – мне неизвестно.

Наконец, уже в эмиграции, всем еще памятна смерть одного из наших лидеров – Набокова, убитого правым изувером, покушавшимся на жизнь Милюкова.

Менее трагична, но не менее парадоксальна наша судьба, судьба перводумцев-эмигрантов. Потерпев поражение в борьбе с правительством старого режима, разве мы могли думать, что когда-нибудь окажемся в положении "контрреволюционеров", вынужденных покинуть родину под ударами торжествующей революции.

По моим подсчетам, если не считать лиц, сделавшихся гражданами лимитрофных государств, во время революции покинуло родину 36 перводумцев, из которых большинство уже умерло. Свой век доживают в эмиграции 12 стариков.* Из них едва ли кому-нибудь суждено дожить до возвращения...

---

* Этот подсчет произведен мною в 1936 году.

Глава 19

РОСПУСК ДУМЫ И ВЫБОРГСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ

Собрание кадетской фракции за две недели до роспуска Думы. Обстановка роспуска. П.Б.Струве приглашает членов Думы ехать в Выборг. В поезде между Петербургом и Выборгом. Выборг, переполненный приезжими. Обсуждение воззвания. Приезд Муромцева и клеветническая легенда о нем. Трагикомическое положение депутата Букейханова. Возвращение в Петербург. Психология депутатов, подписавших воззвание. Совещание в Териоках.

Слухи о досрочном роспуске Думы ходили с первого дня ее созыва, чередуясь со слухами об образовании кадетского министерства. Но недели за две до ее фактического роспуска руководители нашей фракции получили из самых достоверных источников сведения, что роспуск окончательно решен и что правительство ждет лишь для этого благоприятного повода. Перед депутатами ставился вопрос – что делать, как реагировать на роспуск?

В странах с давними парламентскими учреждениями такого вопроса возникнуть не может. Роспуск парламента – законная прерогатива верховной власти. Если она досрочно распускает парламент, депутаты разъезжаются и готовятся к новым выборам.

Но Россия в 1906 году не была вполне нормальным конституционным государством. В ней еще кипели не улегшиеся революционные страсти, а власть, давшая ей конституцию, продолжала считать себя самодержавной. Сама первая Дума родилась в революции и вела борьбу с правительством за самые основы конституционного строя. Население, посылавшее нас в Думу, воспринимало ее как Учредительное собрание, которое должно было перестроить Россию на новых основаниях, и депутаты, ехавшие в Петербург, слышали напутствия: "Вы должны победить или погибнуть". Этой психологией жили и сами депутаты первого парламента. В их представлении только Дума могла вывести Россию на путь мирного строительства, а преждевременный роспуск ее знаменовал собой либо окончательное возвращение к старому самодержавию, либо возобновление революционной борьбы и длительной анархии. В целом ряде губерний в начале лета 1906 года уже шли погромы помещичьих усадеб, и

нам казалось, что только Дума, спешно разрабатывавшая проект земельной реформы, может спасти Россию от наступавшего революционного хаоса.

Вот почему вопрос о том, что делать в случае роспуска Думы и как на него реагировать, имел в наших глазах большое значение.

В один из теплых и светлых вечеров второй половины июня мы собрались в левом боковом зале Таврического дворца под председательством нашего маститого лидера, И.И.Петрункевича. Одним из первых слово взял Гредескул. В длинной и, как всегда, тягучей речи, в которой было и "с одной стороны", и "с другой стороны", он изложил создавшуюся политическую ситуацию, и, принимая во внимание, что Дума не может становиться на революционный путь, но не может и молча разойтись, не скомпрометировав себя в глазах населения, предложил "составить эпитафию", как он выражался, в которой довести до сведения населения о своих перед ним заслугах.

Гредескулу возражал курский депутат Долженков. Он напомнил своим товарищам по фракции, что население послало их в Думу для завоевания свободы и земли. Волю населения мы обязаны исполнить, а не исполнивши ее, не имеем морального права разойтись, подчинившись указу о роспуске. Мы должны продолжать работать, а если нас будут разгонять штыками, то должны быть готовы умереть...

Словом, Долженков в корявой форме говорил то же, что в начале французской революции сказал Мирабо в своей исторической фразе: "Мы здесь по воле народа, и уйдем только под силою штыков". Но французская революция победила, и фраза Мирабо цитируется в каждом учебнике истории. А в России события пошли по-иному, и речь Долженкова кажется нам наивной...

Тогда, однако, несмотря на неуклюжую форму, она произвела сильное на нас впечатление своей искренностью. Ибо никто не сомневался, что этот старик действительно готов пожертвовать своей жизнью, отстаивая народные чаяния. Несомненно, он высказал то, что, если не думало, то чувствовало большинство нашей фракции.

Хотя мы не были зелеными юношами, но находились еще во власти политического романтизма, охватившего нас во время быстро развивающихся событий 1905 года. Роспуск Думы нам представлялся не в столь прозаическом виде, как он действительно был совершен через несколько дней. Нам представлялось, что, заслушав указ о роспуске, мы гордо откажемся уйти из Таврического дворца, и никому не приходило в голову, что нам просто не дадут в него войти...

П.Н.Милюков, принимавший участие в заседаниях фракции в качестве товарища председателя партийного ЦК, решил вылить ушат холодной воды на наши романтические головы. Его речь шла вразрез

с настроением подавляющего большинства. Он говорил, что мы не революционеры, а члены оппозиционной парламентской партии. С нашей точки зрения, роспуск Думы, как бы мы к нему ни относились, составляет законную прерогативу монарха. Мы должны ему подчиниться и готовиться к новым выборам. Он допускает, что в ответ на роспуск Думы в стране вспыхнет революция, но в этом случае мы должны отойти в сторону и предоставить действовать тем, кто приспособлен к революционной борьбе. Мы же обязаны сохранить наши кадры для последующей парламентской борьбы, ибо мы — единственная русская демократическая конституционная партия, распыление которой в революции было бы величайшим несчастьем для России.

До поздней ночи продолжались горячие прения, и большинство говоривших в общем поддерживало Долженкова.

Видя столь возбужденное состояние собрания и опасаясь какого-либо необдуманного решения, наши руководители решили вопроса не голосовать. Бюро фракции заявило нам, что ЦК примет во внимание высказывавшиеся мнения и в нужный момент предложит определенное решение. Затем было условлено, что, в случае внезапного роспуска Думы, все члены фракции должны прибыть на квартиру Набокова, где получат соответствующие инструкции.

Как известно, поводом для роспуска Думы послужило следующее обстоятельство: появилось правительственное сообщение, в котором Дума осуждалась за неработоспособность и сообщались неверные сведения о разрабатывавшемся ею земельном законопроекте, явно его опорачивавшие.

В.Д.Кузьмин-Караваев выступил с резкой речью по этому поводу и предложил Думе со своей стороны обратиться к населению с опровержением инсинуаций правительства. Встревоженный этим предложением, Муромцев снял его, как не внесенное в повестку дня, с обсуждения, но Дума большинством голосов постановила внести его в повестку следующего дня.

Вечером произошло бурное заседание нашей фракции. В положении о Государственной Думе не было предусмотрено ее права обращаться непосредственно к населению, и было совершенно очевидно, что правительство опубликовало этот чудовищный с точки зрения конституционного права документ с провокационной целью — вызвать со стороны Думы как раз те действия, к которым призывал ее Кузьмин-Караваев, и создать таким образом повод для ее роспуска. Наши лидеры убеждали нас не поддаваться провокации и отклонить предложение Кузьмина-Караваева. Мы все понимали логичность их точки зрения, но, с другой стороны, оставить без ответа эту циничную провокацию казалось нам невозможным. А кроме того, было очевидно, что если правительство решило разогнать Думу (а это не подлежало сомнению), то оно

не сегодня, так завтра найдет для этого другой подходящий повод. В конце концов согласились на компромиссе: голосовать за предложение Кузьмина-Караваева, но формулировать протест Думы так, чтобы придать ему характер не обращения к населению, а формулы перехода к очередным делам.

На следующий день нашему лидеру, Петрункевичу, пришлось взять на себя неблагодарную задачу провести в Думе соответствующее решение. Это была самая неудачная речь красноречивого Петрункевича. Он весь кипел негодованием, а должен был не только сдерживать себя, но и других призывать к выдержке и умеренности.

Трудовики и социал-демократы с яростью набросились на кадетов, капитулирующих перед правительством, и наотрез отказались голосовать за их формулу перехода к очередным делам. Против нее, с другой точки зрения, высказались октябристы и польское Коло. Большинства не получалось. Для Думы создавалось унизительное положение : она могла бы игнорировать правительственное сообщение, сделав вид, что считает ниже своего достоинства опровергать его. Она, однако, этого не сделала и поставила на повестку вопрос об опровержении. И вдруг оказалось, что ответить правительству она не может... Все понимали, что в таком положении оставаться нельзя. И вот начались межфракционные переговоры о компромиссе. Собирались фракционные заседания, совещания представителей фракционных бюро и т.д. Спорили, волновались, суетились... Наконец наскоро составили какой-то документ промежуточного характера, не удовлетворявший ни ту, ни другую сторону, но все же, при тенденциозном толковании, дающий возможность правительству признать его незаконным актом со стороны Думы.

После принятия этой компромиссной формулы кадеты чувствовали себя отвратительно: скомпрометировали себя своими колебаниями в общественном мнении, а Думы не спасли...

8-го июля было воскресенье. Я сидел дома за утренним кофе, когда ко мне неожиданно пришел бывший статистик таврического земства Неручев, на два года сосланный в Вологодскую губернию за революционную деятельность и принадлежность к партии с.-р.

— Вы откуда?

— Прямо из ссылки. Бежал.

Я в недоумении посмотрел на него.

— Что же вас побудило бежать? Когда люди бегут с каторги или с поселения в Сибири — это мне понятно. Но бежать из Вологодской губернии за год до окончания срока ссылки — совершенная бессмыслица! Может быть вы рассчитываете на Думу и на амнистию? Так позвольте мне, как члену Думы, вас заверить, что на амнистию нет никакой надежды, а Дума вот-вот будет разогнана. Мой совет вам — сейчас же возвращаться в ссылку, пока не поздно.

Неручев, слушая мою речь, снисходительно улыбался, а затем заявил мне, что никаких расчетов на Думу не имеет, а рассчитывает на новую вспышку революции, для участия в которой и бежал из ссылки. Начался спор между нами о возможности и желательности революции, который был прерван появлением моего товарища по первой Думе С.С.Крыма.

Крым имел очень взволнованный вид. Он рассказал мне, что пошел утром в Таврический дворец за забытым накануне портфелем, но дворец оказался оцепленным солдатами и в него не впускали. Тут только он заметил висевший на стене плакат о роспуске Думы. Читавший его прохожий, с виду рабочий, обернулся и сказал Крыму: "Вот это хорошо, Думу-то разогнали! Теперь нам дадут Учредительное собрание".

Вероятно, так относились к Думе многие из рабочих Петербурга. На рабочих митингах левые ораторы всячески поносили "буржуазную Думу", противопоставляя ей "Учредительное собрание", и рабочие ждали, что кто-то его "даст"...

Неручев не почувствовал в словах этого рабочего присущего им пассивного настроения и очень им обрадовался:

— Ну вот, я же вам говорил. Революция снова начинается...

Я жил почти рядом с помещением "кадетского клуба", где всегда можно было застать нескольких товарищей по фракции, а потому, прежде чем ехать к Набокову за инструкциями, мы с Крымом решили зайти туда, чтобы узнать более подробно о роспуске.

В клубе уже собралось человек тридцать. Когда я вошел в зал наших фракционных заседаний, то увидел их всех, толпившихся вокруг члена ЦК П.Б.Струве, который стоял на стуле и возбужденно рассказывал о событии. Свою речь он закончил сообщением, что ЦК предлагает всем депутатам сегодня же ехать в Выборг, где мы сможем свободно рассуждать о том, как реагировать на роспуск Думы.

Это предложение было неожиданно для всех присутствовавших, и со стороны некоторых (в том числе и с моей) вызвало резкие возражения. Отъезд депутатов из Петербурга в такой момент мне представлялся до известной степени подчинением указу о роспуске, а отъезд в Финляндию, почти за границу, — дезертирством с ответственного поста и уклонением от открытой борьбы, которая одна достойна избранников народа.

Все подобные возражения в довольно сумбурной форме раздавались из толпы, окружавшей Струве, а он, перекрикивая нас, вопил:

— Поймите, что, если Дума останется в Петербурге, начнется кровопролитие... Мы не можем допустить кровопролития... Менять решения ЦК нельзя... Будет дезорганизация... Левые согласились уже ехать в Выборг...

Струве слез со стула и направился к выходу. Мы шли за ним, продолжая спорить, а он, отмахиваясь руками, весь красный от волнения, кричал на ходу: "В Выборг, в Выборг!"

Делать было нечего. Оставалось только подчиниться решению ЦК.

В 5 часов дня я сел в поезд, отправлявшийся в Выборг. Значительная часть депутатов отбыла в Выборг с более ранними поездами, но и наш поезд был переполнен знакомыми лицами. Ехали депутаты, журналисты, члены партийных центральных комитетов, и просто частные лица, близкие к думским кругам. В общих вагонах, в купе, в коридорах и на внешних площадках шли оживленные разговоры. Люди более левых настроений приветствовали кадетов, решившихся на такой "революционный" шаг, как поездка всей Думой в Выборг. Наши юристы возражали им, доказывая, что никакой революционности в наших действиях не заключается. А мне было не по себе. Со времени Манифеста 17 октября я стал противником революционных форм политической борьбы, а потому и вошел в конституционно-демократическую партию. Но моя антиреволюционность была еще условной и обусловливалась наличием легальных, парламентских форм борьбы. Между тем, необычная форма роспуска Думы создавала уверенность, что мы возвращаемся к прежнему самодержавию, при котором возможность такой борьбы утрачивалась. К тому же, в думских кругах господствовало убеждение, что с роспуском Думы в России неизбежно снова вспыхнет революция. И хотя я знал, что среди петербургского населения, стараниями наших "друзей слева", Дума в значительной степени дискредитирована, но все же казалось, что не исключена возможность движения в защиту народного представительства, руководить которым, по моим представлениям, Дума была обязана. И вдруг в такой решительный момент вместо руководящего центра образовалось пустое место... Депутаты отбыли в Выборг на совещание!..

Все, конечно, было не так, как я себе тогда представлял. Если бы мы попытались собраться в Петербурге, нас просто развезли бы по полицейским участкам и выслали бы на родину.

Впрочем, и теперь, лишенный политического романтизма, я думаю, что такой прозаический конец первой Думы был бы лучше, а главное – понятнее для населения, чем предпринятая нами поездка в Выборг и составление воззвания, тактический смысл которого даже для многих сочувствовавших нам остался непонятным...

В Выборг я приехал вечером и долго тщетно искал ночлега. Все номера во всех гостиницах были заняты приехавшими раньше меня. В таком же бесприютном положении оказались многие, и мы, в поисках ночлега, постоянно встречались друг с другом на улицах этого маленького городка, совершенно переполненного наехавшими из Петербурга гостями. Почему-то мне запомнилась моя встреча с

с.-д. Ноем Жордания на набережной Финского залива. Он поразил меня тем, что был не в обычной мягкой шляпе, а в старомодном цилиндре, в котором походил на факельщика. Очевидно, этот маскарад был предпринят им в конспиративных целях, на всякий случай.

Потеряв всякую надежду найти себе номер, я зашел в гостиницу "Бельведер" – нашу штаб-квартиру, где костромской депутат, доктор Френкель, предоставил мне половину своей кровати. Так мы с ним и ночевали на одном ложе все время нашего пребывания в Выборге.

Как известно, проект воззвания был выработан центральным комитетом партии к.-д. еще в Петербурге. На заседаниях в Выборге, в зале гостиницы "Бельведер", этот проект и обсуждался. Он вызвал горячие споры. Главными противниками его были некоторые члены кадетской же партии – Герценштейн, Петражицкий, Муханов и др., одни – видя в призыве к неплатежу налогов и к отказу от воинской повинности явное нарушение принципа легальности, на котором строилась вся тактика партии, другие – считая, что такой призыв не может иметь никаких реальных последствий, являясь попыткой с негодными средствами. С другой стороны, трудовики и социал-демократы стремились ввести в воззвание более революционные призывы.

Общие собрания с длинными и страстными прениями шли с перерывами, во время которых редакционная комиссия в составе Винавера, Кокошкина и трудовика Бондарева тщетно пыталась найти всех удовлетворявшие формулировки.

На второй день появился среди нас Муромцев. Вошел он в зал заседаний не своей, столь привычной нам, величавой походкой, а скромно пробираясь вдоль стены к свободному стулу и стараясь поскорее выйти из центра внимания. Это, однако, ему не удалось. Появление его среди нас вызвало энтузиазм присутствовавших. Все, как один человек, поднялись со своих мест и устроили своему председателю шумную овацию. Председательствовавший И. И. Петрункевич уступил Муромцеву свое место, а из рядов депутатов послышались голоса: "Муромцеву слово!"

А он среди этого шума и приветствий стоял молча и смотрел на нас через очки своими красивыми большими глазами, в которых вместо прежней властности мы видели лишь глубокую грусть и растерянность. И мы сразу поняли, что ему невозможно говорить. "Муромцеву слово!" – продолжал кто-то настаивать. "Не надо, не надо!" – послышалось в ответ с разных сторон...

Муромцев понял, что собрание оценило его душевную драму, и молча сел на председательское место. Ему, старому законнику, не раз свидетельствовавшему перед монархом свою лояльность, нельзя было, не заслужив упрека в лицемерии и предательстве, призывать народ к явному неповиновению власти, но, с другой стороны, в этот

трагический момент для членов Думы, единогласно избравших его своим председателем, он не мог отказаться от солидарности с ними. Это внутреннее раздвоение и колебания, которые он пережил, прежде чем решился ехать в Выборг, не могли не положить свою печать на его красивое, выразительное лицо. Всегда спокойный и умевший владеть собой, он вдруг как-то смяк и невольно вызывал к себе чувство жалости. Опустив голову, сидел он на председательском месте, вяло руководя прениями, а когда принесли корректурный лист составленного воззвания, покорно его подписал.

В придворных и правых кругах подпись Муромцева под Выборгским воззванием произвела сильное впечатление. Его считали, и не без основания, одним из самых умеренных кадетов, он нравился царю и импонировал ему корректностью и почтительностью своего обращения, шли даже разговоры о его кандидатуре на пост председателя Совета министров. И вдруг этот почтенный, лояльный Муромцев совершил явно революционный акт!

И на него посыпались обвинения в лицемерии и предательстве. А для того, чтобы сделать смешным его всем памятный горделивый облик председателя Думы, создалась легенда, будто, приехав в Выборг, он открыл заседание депутатов в гостинице "Бельведер" словами: "Заседание Государственной Думы продолжается". Этот глупый и не соответствующий действительности анекдот много раз опровергался участниками выборгских совещаний, что не помешало, однако, через четверть века бывшему министру, В. Н. Коковцову, выдать его в своих мемуарах за подлинный факт.

В действительности, как я выше упоминал, Муромцев приехал в Выборг значительно позже открытия наших заседаний, нехотя занял председательское место и поторопился уступить его кн. П. П. Долгорукову.

Между тем прения продолжались. Противники воззвания из нашей партии не сдавались, а трудовики вносили в него бесконечные поправки. Список ораторов все увеличивался. Депутаты нервничали, а более робкие, под предлогом, что все равно сговориться не удастся, стали уезжать из Выборга. К концу второго дня мы были дальше от какого бы то ни было решения, чем в начале наших заседаний.

Из этого безысходного положения нас вывел выборгский губернатор: частным образом он довел до нашего сведения, что русское правительство требует от него прекращения наших заседаний. Так как финские законы охраняют свободу собраний, то он не может исполнить этого требования, но все же, не желая по такому поводу создавать конфликт с русским правительством, он просит нас по возможности считаться с создавшимся для него неприятным положением.

Мы поняли, что дольше злоупотреблять оказанным нам Финляндией гостеприимством невозможно. По предложению

Петрункевича, совещание решило прекратить прения и приступить к голосованию текста воззвания в последней редакции комиссии. После кратких фракционных совещаний текст этот был принят, хотя социал-демократы предпослали своему утвердительному вотуму длинную мотивировку, в которой говорилось, что они стоят за более решительные методы борьбы, но не возражают и против предложенных в воззвании.

В кадетской фракции, в которой целая группа депутатов состояла из принципиальных противников воззвания, возник вопрос о том, является ли его подписание для них обязательным. Против обязательности говорили В.Д. Набоков и я (оба – сторонники воззвания). Мы считали, что в таком важном вопросе совесть депутата должна быть свободна от партийной дисциплины тем более, что вопрос этот был не программного, а тактического характера.

В комнате, в которой мы совещались, не было столов, и все стояли вокруг стула, превращенного в ораторскую трибуну. Не успел Набоков с него сойти, как на стуле оказалась А.В. Тыркова (член ЦК), с чрезвычайной запальчивостью обрушившаяся на нас за наши еретические мысли. Ее поддержал Милюков, и большинством всех голосов против наших двух и воздержавшихся противников воззвания было принято решение об обязательности его подписания.

Отказавшиеся подчиниться принятому решению кн. Г.Е. Львов и Н.Н. Львов тут же заявили о своем выходе из партии и уехали из Выборга, другие же противники воззвания (Герценштейн, Муханов, Петражицкий, Котляревский, Муромцев и др.) не сочли для себя возможным отгородиться от большинства и дали свои подписи.

Подписи было решено ставить на корректурном оттиске воззвания, а для этого нужно было срочно его отпечатать. За это дело взялись мы с Н.А. Бородиным. Когда мы несли текст воззвания в типографию, мы встретили нашего знакомого киргиза Алихана Букейханова. Оказалось, что, избранный депутатом от Акмолинской области, он добрался до Петербурга лишь после роспуска Думы и, узнав, что мы в Выборге, приехал нас разыскивать. Мы сообщили ему, что и в Выборг он опоздал.

– Ну, что же делать, – покорно сказал он, – пойду с вами в типографию.

В типографии он с нами дождался первого оттиска воззвания, держал его корректуру, а затем не поморщившись подписал. Так, не побывав ни на одном заседании Думы и не участвуя в составлении Выборгского воззвания, он, можно сказать, не солоно хлебавши, попал на скамью подсудимых, а затем в тюрьму, лишившись избирательных прав вплоть до революции 1917 года. Недавно промелькнул в газетах слух, что этот милейший интеллигентный киргиз расстрелян в советской России.

Когда мы уезжали из Выборга, на вокзал привалила большая толпа народа. Кричали нам "ура", махали шляпами. На промежуточ-

ных между Выборгом и Петербургом станциях многочисленные дачники тоже выходили нас приветствовать, а мы бросали им в окна листки воззвания.

Не знаю, как другие мои товарищи, а я с тяжелым чувством возвращался из Выборга. Нас приветствовали как "героев", а между тем в собственном сознании я видел всю бутафорию своего "геройства".

В свое время много было споров о Выборгском воззвании. Одни им возмущались, другие над ним издевались, называя "выборгским кренделем". Даже некоторые из подписавших воззвание спешили от него отречься. Противники доказывали, что воззвание было актом революционным, и возмущались лицемерием кадетской партии, на словах признававшей лишь легальные методы борьбы. Лидеры кадетской партии оправдывали себя тем, что роспуск Думы был по форме не конституционным актом, ибо в указе о роспуске не был назначен срок новых выборов, а потому Дума, отстаивая свои бюджетные права, была вправе призывать население к неплатежу налогов и к отказу от воинской повинности впредь до созыва новой Думы.

Должен сознаться, что и тогда меня мало интересовал вопрос о конституционности нашего жеста. Волновало и угнетало противоречие между долгом народного избранника, как я его понимал, обязавшегося перед населением вести борьбу до конца, и необходимостью для политика выбирать в этой борьбе лишь целесообразные средства.

Если бы мы остались в Петербурге, этого противоречия не возникло бы по той простой причине, что полиция так или иначе ликвидировала бы всякую нашу попытку протеста, а в случае нашего упорства – арестовала бы нас. Роковая же поездка в Выборг нас завела в тупик: под охраной финляндской конституции мы могли спокойно заседать и принимать решения... Но какие у нас были возможности?

Члены нашего центрального комитета передавали мне, что эсеры предлагали Думе объявить себя Учредительным собранием, избрать из своей среды временное правительство и, сев на находившийся в их распоряжении пароход, руководить долженствующим вспыхнуть народным восстанием. Как известно, они уже подготовляли восстание в Свеаборге, которое и произошло через несколько дней. В этом фантастическом плане была своя логика, но, конечно, он был отвергнут кадетами. Комический эпилог Думы, плавающей по волнам Балтийского моря без возможности пристать к берегу, только порадовал бы всех врагов народного представительства. Путь, на который встала четвертая Дума, сделавшись на несколько дней организационным центром революции, не ею вызванной, для первой Думы был закрыт: в Выборге мы имели сведения о полном спокойствии, царившем в Петербурге, и о равнодушии его населения

к разгону Думы. При таких обстоятельствах политическая мудрость подсказывала простой выход из положения, который предлагал Милюков на фракционном собрании в Таврическом дворце: просто подчиниться указу и молча разъехаться по домам. Но этому мешала наша психология нравственной обязанности "борьбы до конца", которую учел и сам Милюков, ставший одним из инициаторов Выборгского воззвания. А кроме того, самый факт нашей поездки в Выборг лишал нас возможности отступления по этому пути. Молчать мы не могли, просто заявить протест и разъехаться — не считали себя вправе. Мы чувствовали себя обязанными указать населению пути для борьбы за восстановление народного представительства, ибо были уверены, что добровольно правительство не созовет Думы. Но как же бороться?..

Вооруженная борьба была для многих неприемлема, да и в успех ее мы не верили. А призывать население к вооруженному сопротивлению считали для себя морально недопустимым. Правда, в возможность всенародного пассивного сопротивления тоже большой веры не было, но в нашей памяти была еще свежа забастовка 1905 года, принудившая Николая II дать конституцию. Значит, если не вера, то слабая надежда все же оставалась. Удастся — хорошо, а не удастся — по крайней мере не будет кровавых жертв. Таким образом, Выборгское воззвание, несмотря на то, что многих из голосовавших за него оно не удовлетворяло, стало для нас единственным психологически возможным актом.

Приехав в Петербург, мы крайне удивились, даже отчасти огорчились тому, что нас не арестовали. Со стороны правительства это было весьма мудро: оно показало этим, что мы ему не страшны, и тем еще больше подчеркнуло наше бессилие в борьбе с ним.

Три дня подряд после Выборга мы ездили в Териоки, на фракционные собрания, устраивавшиеся на даче нашего товарища Комиссарова. Тягучие и нудные это были заседания, несмотря на то, что погода была чудесная и мы сидели в саду, под тенью огромных сосен. Говорили о том, как проводить в жизнь призывы Выборгского воззвания, говорили много, снова спорили задним числом о его целесообразности и, насколько помню, приняли какие-то неопределенные и расплывчатые решения, точнее говоря, ничего не решили.

Помню, как во время одного из этих заседаний на лоне природы в ворота вбежал потный, запыхавшийся человек и, увидев нас, радостно воскликнул: "Ну, слава Богу, наконец-то я вас нашел!" Оказалось, что это был один из думских фотографов, потерявший нас во время наших скитаний, а вместе с нами и свой заработок. Он так искренне радовался своей находке, что мы исполнили его просьбу, прервав заседание и предоставив ему снимать нас в разных видах. Эти снимки кадетской думской фракции среди сосен много лет потом украшали стены квартир бывших перводумцев.

В наших прениях совершенно не принимал участия самый решительный противник воззвания – М.Я. Герценштейн. Он жил с семьей в Териоках и аккуратно приходил на наши заседания, слушая прения со скучающим видом. Как-то во время прений я подошел к нему. Он лежал в стороне на садовой скамейке, заложив руки за голову, и мрачно смотрел на колеблемые ветром верхушки сосен.

– Глупость сделали, ну и расхлебывайте теперь. Все равно ничего умного не придумаете, – сказал он мне, ядовито взглянув на меня поверх своих золотых очков.

Это были последние слова, которые я слышал от Герценштейна...

Через три дня, там же, в Териоках, во время прогулки с женой и маленькой дочерью, он был убит. Как потом выяснилось на суде над его убийцами (они были осуждены финляндским судом, но затем помилованы Николаем II), они с оружием в руках приходили на дачу Комиссарова во время наших заседаний и, прячась за соснами, выслеживали свою жертву...

В то время нам казалось, что мы участвуем в крупнейших исторических событиях. Вскоре мы поняли, что переоценили значение первой Думы. Однако, если бы не произошло революции 1917 года, 72 дня жизни первой Думы все же считались бы важным этапом в борьбе народного представительства с неуступчивой властью.

Теперь, после всего пережитого, я хорошо понимаю, что первая Дума была лишь очень маленьким историческим эпизодом. Но в моей личной жизни она все-таки была одним из самых ярких событий, и невольно я уделил воспоминаниям о ней непропорционально много страниц.

Глава 20

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА МОЕЙ ЖИЗНИ В КРЫМУ (1906–1908)

Я возвращаюсь в ряды третьего элемента. Судебные плоды моего редакторства. Выборы во 2-ую и 3-ю Государственные Думы и избирательные маневры администрации. Обстоятельства роспуска 2-ой Думы. Моя поездка в Петербург и процесс по Выборгскому воззванию. Обстановка суда. Речь Маклакова. Последнее слово Муромцева. Приговор. Арест. День в симферопольской тюрьме. Моя высылка из Таврической губернии под гласный надзор полиции.

Вернувшись после роспуска Думы в Крым, я отдохнул два месяца на южном берегу, а затем снова поехал в Симферополь, случайно ставший для меня главным местом моей общественной и политической деятельности. Настроение у меня было скверное. Выборгское воззвание, как я и ожидал, оказалось мертворожденным. Страна и не подумала на него откликнуться. Над ним издевались не только правые, но и многие из кадетов. Аграрные беспорядки, террористические покушения и "экспроприации" продолжались, вызывая со стороны правительства не менее кровавый террор. Смертная казнь, отмененная еще императрицей Елизаветой, стала, по выражению Короленко, бытовым явлением русской жизни.

Мое общественное положение значительно изменилось: привлеченный к суду за подписание Выборгского воззвания, я лишился права участвовать в земских выборах, а следовательно и служить на выборных должностях. Управа мне предложила занять вакантную после ссылки Неручева должность заведующего статистическим бюро, на что я охотно согласился. Таким образом я снова стал в ряды "третьего элемента", вернувшись к исходной точке моей общественной карьеры.

В "Жизни Крыма" я продолжал сотрудничать и принимал близкое участие в редактировании газеты, официальным редактором которой еще числился, хотя за мое отсутствие фактическим редактором ее стал А.П. Луриа.

Как-то на улице я встретился с вице-губернатором Муравьевым. Он сообщил мне, что только что подписал бумагу об устранении

меня от редакторства "Жизни Крыма". При этом он извинился передо мной за то, что сделал это слишком поздно. По закону, он должен был устранить меня от редакторства уже после первого моего привлечения к ответственности по 129 статье, но, отвлеченный своими многочисленными обязанностями, просто об этом забыл. Между тем, за это время меня еще два раза привлекали по той же статье. Поэтому по его вине мне предстояло не один, а три раза садиться на скамью подсудимых.

Газета переменила своего официального редактора, а затем и название, превратившись в "Южные Ведомости". По существу же в ее внутренней конструкции ничего не изменилось, и в течение двух лет я посвящал ей значительную часть своего свободного времени.

В течение этих же двух лет в выездных сессиях одесской Судебной Палаты три раза слушались мои дела. Один раз — в Симферополе, один раз в Севастополе, и один раз — в Феодосии. По закону, подсудимые, привлеченные по 129 статье, должны были лично присутствовать на суде. Статья 129-я, как я выше упоминал, имела весьма серьезное содержание — "призыв к ниспровержению существующего строя", — но, в зависимости от разных обстоятельств дела, предусматривала весьма разнообразные наказания: от месяца тюрьмы до нескольких лет каторжных работ. По литературным делам Судебная Палата обычно приговаривала к 1 году крепости, а потом — во время усилившейся реакции — к двум годам.

Мне в этом отношении повезло. Дела мои были стереотипны: каждый раз я вызывал только одного свидетеля — моего товарища по первой Думе С.С. Крыма. Когда его приводили к присяге, он, по караимским правилам, надевал на голову свой котелок и произносил клятву "заветами гор Синая и Фавора" показывать всю правду. А затем сообщал Судебной Палате, что во время напечатания инкриминируемой мне газетной статьи я находился в Петербурге, в Государственной Думе, а следовательно вина моя чисто формального свойства и состоит в том, что я забыл снять свою подпись с газеты, которую фактически не редактировал.

Политические дела рассматривались тогда особым присутствием Судебной Палаты, в котором, кроме четырех коронных судей, заседало три сословных представителя — предводитель дворянства, городской голова и волостной старшина. Первые два были моими знакомыми и коллегами по земским собраниям. Волостные старшины тоже знали меня как депутата, довольно популярного среди местных крестьян. Когда я садился на скамью подсудимых, эти мои судьи чувствовали большую неловкость и старались не встречаться со мною глазами. Понятно, что они в совещательной комнате высказывались либо за оправдание, либо за смягчение наказания. Благодаря всем этим обстоятельствам все мои дела заканчивались приговорами от одного до трех месяцев

тюрьмы. Кроме дел по 129 статье, я привлекался еще по целому ряду мелких дел за нарушение разных статей временных правил о печати. Эти дела вел мой адвокат, который в случае осуждения подавал кассационные жалобы, рассматривавшиеся в Одессе Судебной Палатой. Таких дел было не менее десяти и тянулись они вплоть до 1910 года. А так как, по закону, судебные приговоры приводились в исполнение "по совокупности", т.е. высшее наказание поглощало низшее, то до окончания моих судебных дел я продолжал пребывать на свободе. Лишенный права баллотироваться в Государственную Думу, я, однако, в качестве председателя таврического комитета партии Народной Свободы, принимал близкое участие в проведении избирательной кампании во вторую и третью Думы.

С каждыми новыми выборами правительство все более оказывало давление на избирателей и прибегало к самым разнообразным приемам, чтобы получить правое большинство депутатов.

Коковцов в своих мемуарах рассказывает о крупных ассигнованиях казенных средств, которые ему приходилось с этой целью отпускать из секретных фондов министру внутренних дел на каждую избирательную кампанию. Губернаторы на фальсификации выборов делали карьеру. И, несмотря на эти приемы, Думы хотя не отображали подлинных, весьма враждебных государственной власти настроений населения, но все же оказывались левее проводившегося правительством Николая II политического курса. В частности, наша Таврическая губерния не послала ни в одну из четырех Дум ни одного депутата правее октябристов.

Для характеристики грубых фальсификаторских приемов администрации приведу любопытный эпизод, относящийся к выборам во 2-ую Думу.

Перед выборами министерство внутренних дел разъяснило избирательным комиссиям, что, в отличие от предшествовавших выборов, когда действительным считался каждый бюллетень с написанными или отпечатанными именами кандидатов, каждому избирателю должны вручаться лишь два чистых бюллетеня официального образца (второй – запасной) и что только эти бюллетени с казенной печатью и с писаными от руки фамилиями кандидатов должны считаться законными.

Для людей неграмотных, – а большинство татар было по-русски неграмотно, – это нововведение было крайне стеснительно. Поэтому связанный с нашей партией татарский избирательный комитет, заседавший на Базарной площади, в посещаемой татарами кофейне Мерави, распорядился, чтобы татары приносили туда свои бюллетени для заполнения. Накануне выборов все татарские избиратели имели у себя заполненные таким образом бюллетени.

Утром, в день выборов, мне сообщили, что полиция обходила ночью дома татарских избирателей, отбирала от них заполненные

бюллетени, заявляя, что они "незаконные", и вручала им "законные" со вписанными в них именами правых кандидатов.

Получив это ошеломляющее известие, я сейчас же на извозчике полетел в кофейню Мерави. Там все было тихо. За столиками, как всегда, сидели татары, пили кофе и мирно беседовали. Увидав меня, Мерави, хозяин кофейни, хитрый и юркий татарин, подошел и шепнул мне на ухо:

– Ничего, все хорошо. Пойдем.

Он повел меня узким темным коридором и привел в еще более темный погреб, где вокруг бочки, на которой тускло горела свеча, я увидел несколько человеческих фигур. Рядом с бочкой, за столом, кто-то писал. Обстановка была таинственная. Наше появление вызвало было некоторое смятение. Но, узнав меня, татары успокоились и стали весело здороваться.

– Видишь, – сказал Мерави, – татары умные.

Оказалось, что татарский комитет раздал лишь первые экземпляры бюллетеней, а вторые на всякий случай оставил у себя. Эта предусмотрительность и спасла положение.

Пока я находился в погребе, туда, один за другим, крадучись, входили татары, брали заполненные бюллетени и так же беззвучно уходили.

Выйдя на улицу, я заметил городового, очевидно специально поставленного возле кофейни для наблюдения за татарским комитетом.

– Наш, – шепнул мне на ухо Мерави.

Под свежим впечатлением мною виденного, я поехал к губернатору Новицкому с жалобой на действия полиции. Губернатор уверял меня, что слух о том, будто бы полиция отбирала у татар бюллетени, – злонамеренная выдумка и ничего подобного не было. Однако, разговаривая со мной официальным и корректным тоном, он не мог скрыть довольной улыбки, невольно говорившей мне: "А ловко мы вас таки провели". Вероятно, он удивлялся моему спокойствию и моей невольной ответной улыбке. Я ведь уже знал, кто кого провел... И действительно, город Симферополь избрал наших двух кандидатов – М.К. Мурзаева и П.Н. Толстова.

После роспуска второй Думы система выборов была значительно изменена. Между прочим, городские избиратели были распределены по двум куриям, избиравшим равное число выборщиков. В первой курии голосовали немногочисленные обладатели более крупных цензов, а во второй – остальная масса граждан. Кроме того, министру внутренних дел было предоставлено дробить каждую курию по национальному признаку на две или несколько курий. Перед выборами в третью Думу первая курия симферопольских избирателей была распоряжением министра разделена на две – русскую и не русскую. Получив такую инструкцию свыше, местная избирательная комиссия решила, что единственным объективным критерием для такого

деления может быть только вероисповедание, и зачислила в русскую курию православных, а людей всех прочих вероисповеданий – в не русскую.

Когда в министерстве внутренних дел узнали о решении комиссии, то очень встревожились. Ибо при такой комбинации в русскую курию попадали крещеные евреи. В Симферополь срочно была отправлена телеграмма, отменяющая решение комиссии и предлагающая делить избирателей не по вероисповеданиям, а по национальному происхождению. Пришлось переделывать списки. Комиссия совершенно запуталась в спорах о том, кого из лиц, носящих иностранные фамилии, следует считать русскими. А кроме того, заволновалась местная администрация, лучше министерства разбиравшаяся в настроениях избирателей: при делении по вероисповедному признаку в русскую курию попадали богатые греки, все как на подбор правые. С ними избрание правого выборщика было обеспечено. Теперь же греки, как лица не русского происхождения, попадали в инородческую курию, где их голоса терялись среди массы еврейских голосов. А русская курия, очищенная от греков, обеспечивала большинство кадетам.

В таком смысле губернатор сделал срочное представление министру, который, убедившись в своей оплошности, новой телеграммой отменил прежнее распоряжение. Греки и крещеные евреи снова были соединены с русскими, и первая курия Симферополя избрала выборщиком глупейшего генерала, но все же крайне правого. В Думу он не прошел, ибо даже умеренно правое большинство выборщиков не решилось избрать депутатом такого круглого дурака.

Кстати, забегая вперед, расскажу о манипуляциях администрации при выборах в 4-ю Думу. Тогда я уже не жил в Симферополе и не принимал участия в избирательной кампании, однако был хорошо осведомлен о ней своим тестем, В.К. Винбергом, избранным членом 4-ой Думы.

Предшествовавший избирательный опыт выявил политические настроения отдельных городов и национальностей, и администрация решила этот опыт использовать. Прежде всего, в уездах с двумя и более городами решено было выбрать города более благонадежные и лишь в них производить выборы, а жителям других, менее благонадежных городов предоставить за свой счет путешествовать на выборы по железной дороге или на лошадях. Так, жители Керчи должны были ехать в Феодосию, а жители Севастополя – в Симферополь. Таким образом, большая часть избирателей этих городов фактически лишалась избирательных прав. Была принята в расчет и степень политической благонадежности разных населяющих Крым народностей, не только при построении городских, но и землевладельческих курий.

Благонадежные греки и немцы должны были в разных комбинациях перевесить неблагонадежных татар и евреев. Поэтому, в

зависимости от численности этих национальных групп, в одних уездах в общую группу объединяли всех нерусских избирателей, в других соединяли немцев с евреями, а татар с греками, в третьих – татар с немцами, а евреев выделяли особо и т.д. Для создания этой сложной избирательной паутины, в которой должны были запутаться левые избиратели, затрачено было много административного глубокомыслия и кропотливого труда. Но во всех этих сложных арифметических расчетах упущено было лишь одно обстоятельство: за пять лет, прошедших со времени выборов в третью Думу, все почти избиратели, независимо от их места жительства и национальности, полевели. Так, в инородческой курии землевладельцев Феодосийского уезда, где немцы были многочисленнее соединенных с ними татар и караимов, а потому, по расчетам администрации, должны были забаллотировать неугодного ей С.С.Крыма, этот последний был избран единогласно. После выборов он послал губернатору следующую телеграмму: "Вашими стараниями избран выборщиком единогласно".

Летом 1907 г. я лечился в Карлсбаде и оттуда следил по газетам за продолжением русской политической трагедии, закончившейся роспуском 2-ой Думы и произведенным 3 июня государственным переворотом сверху.

Как известно, поводом для роспуска Думы послужил отказ ее лишить депутатской неприкосновенности членов социал-демократической фракции, изобличенных в революционной агитации в войсках. Теперь документально установлено, что инициатива этого "заговора" принадлежала департаменту полиции, подославшему к с.-д. свою провокаторшу Жученко, которой удалось вовлечь в это дело депутата Озола и нескольких его товарищей. Тогда это не было известно, но кадетская фракция, от голосов которой зависело решение Думы, поняла, что дело это специально инсценировано правительством, и, после бурного заседания, в котором Струве, Маклаков и некоторые другие депутаты убеждали своих коллег пойти правительству на уступки, постановила голосовать против лишения неприкосновенности социал-демократов. Прочтя в газетах о том, как Струве с Маклаковым по своей инициативе ездили к Столыпину, пытаясь склонить его к какому-нибудь компромиссу, я написал следующую эпиграмму на Струве:

Ты знаменит был как марксист,
Философ и экономист,
Известен был как публицист,
Как эмигрант-"освобожденец".
Теперь же кто ты? Wer du bist?
Кадет ты или октябрист?
Быть может – мирнообновленец?..
Я знаю, ты душою чист,
Но ты в политике младенец.

Я не знал тогда, как я был прав в оценке политического поведения Струве. Только теперь, в эмиграции, из воспоминаний графа Коковцова, я узнал, что роспуск второй Думы был предрешен правительством еще ранее ее созыва и что непосредственно после роспуска 1-ой Думы уже было заготовлено новое положение о выборах, опубликованное в указе 3-го июня 1907 года. Коковцов с нескрываемой иронией рассказывает о жалкой роли Струве и Маклакова, приехавших к Столыпину искать компромисса для сохранения Думы, самое существование которой было лишь инсценировкой, необходимой Столыпину для оправдания перед умеренными кругами заранее им задуманного государственного переворота.

Следствие по делу о Выборгском воззвании длилось почти полтора года. Дело было несложное: люди открыто составили воззвание и подписали его. Никто из привлеченных к суду членов Думы этого не отрицал. Юридическое затруднение для применения 129 статьи заключалось в том, что эти действия были нами совершены на территории Финляндии. Для того, чтобы обвинить нас в "призыве к ниспровержению государственного строя" — квалификация и по существу не вполне подходящая к воззванию, призывавшему лишь не платить налогов и не отбывать воинской повинности до созыва новой Думы, — нужно было доказать, что воззвание распространялось нами в России. Иначе не было бы самого преступления, а лишь покушение его совершить. Поэтому следствие тщательно собирало всевозможные факты о распространении Выборгского воззвания. Факты были одиночные, и притом отсутствовала связь между составителями и распространителями преступного акта. Главным козырем обвинения был точно установленный факт, что из окон поездов, везших депутатов из Выборга в Петербург, кем-то разбрасывались свежеотпечатанные листки воззвания.

Вот эти-то затруднения следствия и затянули его до поздней осени 1907 года.

Если не ошибаюсь, вызвали нас в Петербург на судилище в ноябре. Не помню точно числа подсудимых. Во всяком случае их было больше 150 человек. Правительство само было заинтересовано в ограничении числа подсудимых, дабы не создалось впечатления, что участвовало в воззвании большинство Думы. Поэтому список подсудимых был составлен по корректурному оттиску воззвания, и все члены Думы, либо уехавшие из Выборга до конца заседаний, либо отсутствовавшие, хотя бы они присоединили свои подписи впоследствии, не были привлечены к суду. В частности, не был привлечен Ф.И.Родичев, находившийся в это время с думской делегацией в Лондоне и присоединивший свою подпись телеграммой. Это обстоятельство дало ему возможность быть бессменным депутатом всех четырех Дум. С другой стороны, несколько

депутатов, хотя не бывших в Выборге, но заранее давших полномочие поставить свою подпись под воззванием, оказались вместе с нами на скамье подсудимых.

Как радостно было встретиться вновь со своими товарищами по первой Думе, с которыми столько было пережито за 72 дня ее существования! Создавалась иллюзия, что наша Дума опять воскресла. Снова фракционные и общие заседания, снова знакомые лица и речи ораторов. Только предмет обсуждения другой: не законопроекты и не ответный адрес на тронную речь, а целый ряд вопросов о том, как вести себя на скамье подсудимых, кому поручить произнесение ответственных речей, в какой последовательности и пр. Партия Народной Свободы выдвинула лучших своих ораторов — Петрункевича, Винавера, Набокова, Кокошкина, трудовики и эсдеки тоже выставили своих. Заключительное слово было предоставлено бывшему председателю Думы Муромцеву.

В назначенный для суда день мы собрались в здании Окружного суда. Обстановка скорее походила на один из больших дней думских заседаний. Еще на улице, проходя в ворота Окружного суда, мы попадали в плен к знакомым по Думе фотографам, которые со всех сторон направляли на нас свои аппараты. Во дворе и коридорах суда — завсегдатаи думских заседаний: журналисты, видные политические деятели, "политические" дамы. При входе публика нас осыпала цветами, и каждый в отдельности получил по цветку. Эта пошловатая демонстрация была многим не по вкусу, но, чтобы не обидеть сочувствующих нам дам, мы вошли в судебное заседание с цветами в петлицах. Со времени процесса 193-х судебные залы не вмещали такого количества подсудимых. Садимся на стулья, поставленные амфитеатром. Впереди, за столиками, наши защитники — Маклаков, Тесленко, Зарудный, Бернштам, Соколов и другие адвокаты, приобретшие известность на политических процессах.

— Суд идет, приглашаю встать, — говорит стереотипную фразу судебный пристав.

Появляются наши судьи во главе с председателем Палаты Крашенинниковым и занимают места за столом против нас. До иллюзии создается впечатление возобновленных заседаний Думы. Слева социал-демократы, правее — трудовики, еще правее — кадеты. Наши судьи — министры на скамьях правительства, адвокаты — секретари. Только нет в центре властной фигуры Муромцева. Он сидит сбоку, среди депутатов, во втором ряду, подперев красивую седую голову рукой, и старается быть незаметным.

Я не буду описывать подробно процесса, стенографический отчет которого издан особой книгой. Скажу лишь, что из речей подсудимых наибольший успех имела речь Набокова, как всегда изящная, спокойная, корректная и гордая. Но центром процесса была исключительно блестящая речь Маклакова. Он сумел построить ее так, что весь процесс как бы повернулся вокруг своей оси. Он

был не защитником, а прокурором, мы — не подсудимыми, а судьями, прокурор же и судьи превратились в подсудимых. И они сами это почувствовали. Сидели потупившись, а Крашенинников закрыл лицо рукой, стараясь не встречаться глазами с подсудимыми, ставшими его судьями. Впечатление от речи Маклакова совершенно испортила речь Муромцева, которую он произнес в конце процесса, когда предоставлено было подсудимым последнее слово.

Муромцев по натуре был талантливым актером. Как в частной, так и в общественной жизни он всегда несколько позировал. Но есть актеры, одинаково блестяще исполняющие самые разнообразные роли, а есть и другие, которые могут перевоплощаться лишь в определенные типы и образы. Муромцев принадлежал к актерам последнего рода. Роль председателя парламента он играл блестяще. Хотя это была только роль, но он всем существом с нею сливался, и создавалось впечатление, что он так и родился на председательском кресле. Но для этой роли нужна была и соответствующая обстановка. Скамья подсудимых такой обстановки не давала. Уже во время выборгских заседаний мы почувствовали, что Муромцева точно подменили, а во время процесса это ощущение еще усилилось и вызывало досаду и разочарование. Перед нами говорил не председатель Думы, а адвокат, изощренный в юридических тонкостях. Муромцев-адвокат защищал Муромцева-председателя Думы, полемизируя с обвинительным актом и доказывая юридическую несостоятельность обвинения. Он не обвинял, а оправдывался. И во время его речи исчезли наши иллюзии: мы не ощущали себя больше депутатами в заседании Думы, как в начале процесса, не чувствовали себя больше судьями наших судей, как во время речи Набокова и особенно Маклакова. Речь Муромцева вернула нас к реальности: мы были подсудимыми...

Как известно, Судебная Палата приговорила нас к трем месяцам тюрьмы. По слухам, ходившим в Петербурге, часть судей стояла за полное оправдание, но в дело вмешался министр юстиции Щегловитов, давший знать по телефону Крашенинникову, что царь во что бы то ни стало желает сурового приговора. В результате судьи приняли компромиссное решение. Приговор был обвинительный, но не суровый. Для нас мягкость его была приятной неожиданностью. Если нас что в нем огорчало, то не тюремное заключение, а то, что мы навсегда лишались избирательных прав не только в Государственную Думу, но также в земские и городские самоуправления, работе в которых многие из нас отдали лучшие годы своей жизни.

Вернувшись после суда в Симферополь, я целиком погрузился в работу по земской статистике. Революция кончилась, и провинциальная жизнь вошла в свою обычную колею. Только газеты стали интереснее дореволюционных, ибо выходили без предварительной цензуры.

Я продолжал находиться в курсе происходившей в Думе политической борьбы, посещая устраивавшиеся от времени до времени в Петербурге конференции партии Народной Свободы, но этим ограничивалось все мое участие в политике. Отчасти я был этому рад, ибо около трех лет провел в бурлящем котле политических страстей и вынужденный отдых был мне приятен. Много работал и много времени проводил в своей все возрастающей семье.

Так тихо проходила зима 1907–1908 года. Но если я устранился от политики, то политика от меня не устранилась. Ранней весной я заболел и лежал в 40-градусной температуре. Вдруг ночью сильный звонок. Это полиция явилась с обыском. Одевшись и войдя в свой кабинет, я увидел нескольких жандармов с офицером во главе. Мне предъявили приказ севастопольского жандармского управления о производстве у меня обыска и о моем аресте. Обыск производился чрезвычайно тщательный. Особняк, в котором мы жили, был оцеплен городовыми с винтовками, а жандармы, вошедшие в дом, шарили везде, где только было возможно: тщательно обыскали все комнаты, залезали руками под тюфяки, на которых спали дети, лазили на чердак... Казалось, точно ищут у меня склад оружия и ожидают вооруженного сопротивления. Часов в пять утра обыск был окончен. Жандармы забрали с собой целые вороха исписанной бумаги и предложили мне отправиться в тюрьму. Мое заявление о болезни не было принято во внимание. Наскоро собрав необходимые вещи, я сел на стоявшего у подъезда извозчика и в сопровождении жандармского унтер-офицера покатил по пустым улицам Симферополя. Солнце еще не встало, но уже было светло. Утренний бодрящий воздух был насыщен пряным запахом цветущих акаций. Из-за сильного жара я чувствовал полную апатию. Все, что со мной происходило, казалось каким-то отдаленным, но приятно нежил свежий, душистый воздух. Въехали во двор тюрьмы, и жандарм провел меня в канцелярию, где дремал за столом жирный человек в штатском. Он вяло поднял на нас свои осоловелые глаза и стал записывать меня в книгу тюремного живого инвентаря. Услышав мою фамилию, толстяк сделал любезное лицо и предложил сесть.

Жандарм ушел, и мы остались вдвоем.

– Уж извините, ваше сиятельство, что вам придется здесь просидеть часика полтора, пока проснется начальник тюрьмы. Я не имею распоряжения об отводе вам камеры. Чаю не хотите ли?

Измученный бессонной ночью, я с большой охотой принял его предложение.

– Мишка, разогрей-ка самоварчик!

Из-за перегородки выскочил юный дежурный писаренок и стал раздувать самовар. За чаем началась беседа.

Неожиданно для меня оказалось, что добродушный толстяк, которого я принял за свое тюремное начальство, был моим

товарищем по заключению, мелитопольским исправником, недавно приговоренным к тюрьме за лихоимство, мздоимство и растрату казенных денег. Начальник тюрьмы поручил ему заведовать тюремной канцелярией. Ему разрешили поэтому ходить в штатском платье, а в свободное от занятий время он мог даже выходить из тюрьмы и разгуливать по городу.

Горячий чай привел в порядок мои мысли, и я решил использовать расположение ко мне этого добродушного взяточника.

— Скажите, — спросил я его, — нельзя ли мне послать телеграмму моей сестре в Петербург?

— Отчего же, сделайте одолжение, — любезно ответил он, — садитесь за мой стол и пишите. Мишка, сейчас побежишь на вокзал и пошлешь телеграмму его сиятельства, слышишь!

Я телеграфировал сестре, что арестован, и просил хлопотать, чтобы меня по случаю болезни отпустили на поруки.

Только в России могли происходить такие эпизоды! Политический преступник из тюрьмы посылает телеграмму на основании разрешения, полученного от уголовного преступника! Так добродушный произвол нравов смягчал суровый произвол управления. Бывали, конечно, и обратные случаи, но реже.

Время шло, и я, сидя на деревянной лавке, стал впадать в дремотное состояние. В половине седьмого утра быстрыми шагами вошел в канцелярию начальник тюрьмы. Он, очевидно, как и большинство жителей Симферополя, знал меня в лицо и, вероятно, два года тому назад положил в избирательную урну бюллетень с моей фамилией. На его физиономии выразилось удивление.

— И вы, князь, к нам пожаловали! Черт бы побрал этих жандармов, зря арестуют порядочных людей. Не проходит ночи, чтобы не привозили сюда одного или нескольких политических. И ведь большинство арестуется без малейших оснований. Тюрьма переполнена до отказу. Тиф в городе, а они знать ничего не знают. А если, не дай Бог, эпидемия начнется в тюрьме, я же буду в ответе. Мерр-завцы!

И он в волнении стал шагать взад и вперед по комнате.

— Вот и теперь, куда вас поместить? В одиночных камерах по два и по три человека сидят.

И он стал с толстым исправником, который доложил ему о моей болезни, рассматривать списки камер и заключенных.

Обсудив разные комбинации, он наконец остановился на одной. После какой-то перетасовки заключенных для меня освободилось место в одной камере.

— Уж простите, свободной камеры нет и вам придется поместиться с другим арестантом, — говорил мне начальник тюрьмы с видом хозяина гостиницы, извиняющегося перед знатным иностранцем, что не может его комфортабельно у себя устроить.

Через полчаса меня ввели в камеру, где для меня была приготовлена хорошая мягкая кровать, против которой на тюремной

койке лежал бледнолицый молодой человек. Добравшись до кровати, я с наслаждением на ней растянулся и заснул глубоким сном.

Проснулся я среди дня с ощущением большой слабости, как бывает у людей после болезни. Очевидно, кризис прошел и температура была нормальная. Приоткрыв глаза, я стал рассматривать своего сожителя. Это был бледный юноша лет 19-ти, типичный представитель расплодившихся во время революции молодых людей неопределенной профессии в матерчатых каскетках, скандаливших на митингах и участвовавших в демонстрациях, а затем превратившихся в полубандитов, полуреволюционеров, участников всевозможных "экспроприаций". Он уныло лежал на своей койке, заложив руки за голову, и тупо смотрел в потолок.

Вдруг я услышал шепот в замочную скважину:

— Товагищ Оболенский, товагищ Оболенский! — шептал кто-то с сильным еврейским акцентом.

Я поднялся и приложил ухо к двери.

— Товагищ Оболенский, — услышал я снова, — берегитесь, вы сидите с пговокатогом.

Шепот прекратился. Я невольно оглянулся на своего сожителя. Он следил за мной тревожными глазами.

Я лег на свою кровать, и некоторое время мы молча смотрели друг на друга.

Наконец мой юный сожитель нарушил молчание.

— Я слышал, — сказал он унылым голосом, — что вам сказали. Это ужасно, ужасно! Они меня считают провокатором. Что мне делать! Как уверить их, что это неправда! Разубедить их нельзя... И я знаю, что после суда, когда я попаду в общую камеру, они меня убьют.

И вдруг он зарыдал:

— Убьют, убьют, я это знаю. Что же мне делать!..

Мне стоило больших усилий успокоить несчастного, хотя я ничего не мог найти утешительного в его положении.

Постепенно он затих и рассказал мне свою "обыкновенную" историю.

Находился под следствием как участник какой-то экспроприации, ожидает, что приговорят его к нескольким годам каторги. Все это было бы ничего, если бы товарищи не вообразили вдруг, что он провокатор, а это совсем неверно: он никого, никого не выдал.

По тону, которым он говорил, я почувствовал, что не все в его словах правда.

Для меня стало очевидно, что этот глуповатый, трусливый парень случайно попал в компанию революционных бандитов и, конечно, на роль провокатора не годился и им никогда не был. Но под угрозами допрашивавших его жандармов, очевидно, выдал

товарищей. Поэтому его и держат не в общей с ними камере, а отдельно. Во всяком случае, он имел все основания опасаться их мести.

Во время наших разговоров в коридоре послышался звон кандалов.

— Это смертники, — сказал равнодушно мой сожитель, — их ведут на прогулку. Через несколько дней повесят...

Только один день провел я в камере симферопольской тюрьмы. На следующее утро в нее вошел начальник и с неподдельной радостью сообщил, что из департамента полиции пришло телеграфное распоряжение о моем освобождении. Потом я узнал, что сестра, получив мою телеграмму, предприняла соответствующие шаги и легко добилась благоприятного результата.

Я вышел из тюрьмы и на извозчике отправился домой.

Болезнь моя не совсем прошла. Температура понизилась, но все же оставалась слегка повышенной. Я взял в управе длительный отпуск и отправился к себе на южный берег лечиться чистым воздухом и солнцем.

Прошло около двух месяцев. О своем аресте я стал забывать, считая, что это было простое недоразумение.

Вдруг в одно прекрасное утро к нашей даче подъехал алуштинский становой пристав. Соскочив с лошади, он любезно щелкнул шпорами и приложился к ручке моей жены. Мы сидели за чайным столом, за который и его пригласили. Разговаривали о том о сем, но видно было, что становой как-то неловко себя чувствует, не решаясь заговорить о цели своего приезда. Наконец решился:

— Извините, ваше сиятельство, но я обязан вам предъявить эту "карт бланш" (очевидно, он это выражение где-то вычитал и считал нужным в княжеском доме выражаться деликатно). На официальной бумажке, которую он мне предъявил, было написано, что я, по распоряжению министра внутренних дел, за принадлежность к революционным партиям, высылаюсь из Таврической губернии под гласный надзор полиции на 2 года, с правом выбора места жительства, кроме столиц и крупных промышленных городов.

Я был в полном недоумении от нелепой формулировки моего "преступления". Кадетская партия, к которой я принадлежал, не была революционной и за принадлежность к ней никого не преследовали. А затем это множественное число: "принадлежность к революционным партиям". Полная бессмыслица. Любезный становой, конечно, не мог дать никаких объяснений. Сказал только, что ему предписано на следующий день меня доставить в ялтинское полицейское управление.

— Я понимаю, ваше сиятельство, что вам не очень удобно путешествовать под охраной полиции. Поэтому позвольте предложить

такой проект: завтра с утренним пароходом я выеду из Алушты, а вы на него сядете прямо из вашего имения, в Ялте же мы независимо друг от друга зайдем в полицейское управление.

На следующее утро, простившись с семьей, я отправился в Ялту, решив избрать местом своей ссылки имение моей сестры в Финляндии, около станции Мустамяки.

— А паспорт мы перешлем вашей местной полиции, куда вы обязаны явиться тотчас же по приезде, — напутствовал меня ялтинский полицейский чиновник. И он выдал мне так называемое "проходное свидетельство", в котором было сказано, что предъявитель сего, такой-то (приметы: волосы русые, глаза голубые, лицо чистое, особых примет не имеется) отправляется из г. Ялты в Великое Княжество Финляндское. Провожая меня на отходящий пароход, алуштинский становой горячо пожал мне руку и пожелал всего хорошего.

Глава 21

ССЫЛКА И ТЮРЬМА (1908–1910)

Беседа с товарищем министра внутренних дел Макаровым. Я поселяюсь в финляндском имении сестры, близ станции Мустамяки. Отношение финских властей к поднадзорным. Счастливая жизнь в финляндской ссылке. Конец моих судебных процессов. Заключение в тюрьму по протекции министра. Первые впечатления от тюрьмы Кресты. Тюремные строгости. Перестукивание. Мои тюремные соседи. Мой тюремный режим. Уголовный уборщик и цена свободы. Надзиратель Лазукин и его благоговейное отношение к первой Думе. Распределение тюремного дня. Прогулки. Свидания в клетках. Баня. Выход из тюрьмы.

Мой путь в Финляндию лежал через Петербург, и я решил проездом пойти на прием к заведующему полицией товарищу министра внутренних дел Макарову, чтобы объясниться по поводу явной нелепости моей ссылки. С Макаровым у меня произошел следующий характерный разговор, который помню почти дословно.

Я рассказал ему о постигшей меня участи и просил его объяснить мне, за что именно министр внутренних дел подверг меня каре в административном порядке.

— Извольте, — сказал сухо Макаров, — сейчас наведу справку. Он позвонил и велел вошедшему чиновнику принести мое "дело".

Через минуту в его руках была довольно толстая папка в синей обложке, которую он быстро перелистал.

— Ну-с, вы изобличены в принадлежности к революционным партиям, — повторил он знакомую мне уже формулировку.

— Как же это возможно? Вам должно быть известно, что я принадлежу к партии Народной Свободы и был ее представителем в Государственной Думе. Не могу же я одновременно принадлежать к другой партии, да еще ко многим зараз, как вы только что мне сообщили.

Макаров поморщился.

— Ну, хорошо, я выражусь точнее: вы изобличены в сношениях с революционными партиями.

— А в чем же состояли эти сношения?

— Этого я вам не имею права сказать.

– Я полагаю, наоборот, что вы обязаны мне сказать. Вы юрист и понимаете, что всякий обвиняемый имеет право знать, в чем его обвиняют. Я же не только обвиняемый, но уже несу наказание за какие-то действия. Между тем, обвиняя меня в сношениях с революционными партиями, вы отказываетесь сообщить мне, в чем эти сношения заключаются. Я нисколько не намерен отрицать знакомства с разными представителями этих партий, но ведь за знакомства не ссылают. Укажите же, в каких именно преступных сношениях меня обвиняют. Мне это нужно знать, чтобы я смог доказать свою невиновность, ибо в таковых сношениях я не находился.

– Повторяю, что я не вправе ничего вам сказать больше того, что сказал. Если же вы считаете себя невиновным – докажите свою невиновность, и ваше дело будет пересмотрено.

Макаров встал, показывая этим, что аудиенция окончена.

Я почувствовал, что дальнейшие объяснения бесполезны да и унизительны для меня. Предложение доказать свою невиновность в неведомом преступлении было с его стороны явным издевательством, на которое ответить можно было лишь дерзостью. Сделав над собой усилие, чтобы не поддаться этому естественному искушению, я поторопился выйти из министерского кабинета, захлопнув дверь несколько громче, чем требуют приличия.

Причину постигшей меня административной кары, которую от меня скрывал Макаров, мне случайно удалось выяснить через несколько лет. Оказалось, что жена моего шурина, Ек. Н. Винберг, по просьбе своего двоюродного брата Никитенко, члена боевой организации партии с.-р., впоследствии казненного, дала приют на своей даче какой-то скрывавшейся от полиции террористке. Из конспирации (девице грозила смертная казнь) она, конечно, нам об этом не сообщила. Между тем, полиция узнала о том, что эта террористка скрывалась в наших местах, узнала из доноса, когда она уже уехала. Производить расследование было поздно. Но подозрение в укрывательстве пало на меня, как самого "неблагонадежного" из всех жителей нашего имения Саяни. Жандармы были, конечно, субъективно уверены в моей вине, но доказать ее не могли. Понятно, что и Макаров не решился предъявить мне такое обвинение, основанное на простом подозрении.

Если я, все-таки человек с общественным положением и с княжеской фамилией, оказался жертвой административного произвола, то можно представить себе, как бесцеремонно обращались с людьми менее видными и заметными и сколько из них сидело в тюрьмах и отправлялось в ссылку без всякой вины.

Прибыв на место своей ссылки, в имение сестры, я сейчас же отправился к местному лендсману (полицейский начальник округа), чтобы явиться ему в качестве поднадзорного.

Меня любезно принял гладко выбритый штатский господин. Когда я объяснил ему цель моего посещения, он удивленно развел руками:

— У нас такая сакона нет. Я не снаю, сто телать. Фот мне прислали вас паспорт. Восмите позалуста.

Я поблагодарил любезного лендсмана, взял свой паспорт и вернулся домой.

За два года моего пребывания в Финляндии мне ни разу не приходилось иметь дело с финской полицией, а возвращенный мне паспорт дал мне возможность свободно ездить в Петербург, когда мне было нужно. Финский урядник предупредил меня, что на станции Мустамяки живет русский сыщик, который за мной наблюдает. Поэтому, отправляясь в Петербург, я садился в поезд на другой ближайшей станции — Усикирко. А на границе, в Белоострове, предъявлял свой паспорт проходившим через вагон жандармам, которые, увидав в нем мой княжеский титул, любезно козыряли: извольте, ваше сиятельство.

Осенью ко мне приехала семья.

Два года, проведенные в ссылке в Финляндии, прошли незаметно. После ряда пережитых бурных лет я основательно отдохнул. На душе было спокойно и беззаботно. На два года я был устранен от нервной общественной жизни. Правда, экономическое благосостояние наше сильно пошатнулось. И прежде моих скромных заработков не хватало на содержание моей огромной семьи и унаследованный мною от матери небольшой капитал постепенно сокращался, а теперь приходилось его растрачивать окончательно. Но это обстоятельство мало меня смущало. Денег хватит, чтобы поставить на ноги старших детей. О дальнейшем заботиться не приходилось.

Ссылку тяжело переносить в одиночестве, вдали от близких, а я жил с женой и детьми (во время ссылки у меня родилась младшая дочь, восьмой номер по порядку), дышал чудесным финским воздухом и пользовался всеми удобствами и удовольствиями помещичьей жизни. Мы много гуляли, катались на лыжах, учили с женой старших детей, подготовлявшихся к гимназиям, по вечерам читали вслух. Нас часто навещали петербургские друзья, а летом было даже слишком людно в этой дачной местности.

Особенно хороши были финские зимы с удивительно красочными солнечными закатами, белыми лучами северных сияний, соснами и елями, покрытыми пушистым снегом, залитым лунными ночами мягким зеленоватым светом. Дети наслаждались деревенской жизнью, лошадьми, коровами, курами, катаньем на лодках летом и на лыжах зимой. Они заметно окрепли и поздоровели. Словом, когда окончился срок моей ссылки и пришлось из Финляндии переселиться в Петербург, я не без грусти расставался с этой привольной и свободной жизнью. Как это ни парадоксально, но

никогда я не чувствовал себя свободнее, чем во время ссылки. Внешних ограничений я не испытывал, ибо, имея в руках паспорт, мог беспрепятственно ездить куда угодно, а внутренне был освобожден от всяких забот, которые часто из свободного человека делают раба.

На втором году ссылки я получил извещение от своего адвоката, что все мои судебные дела во всех инстанциях закончены и что максимальное наказание, к которому я присужден, не превышает трех месяцев тюрьмы. Таким образом, приговор по делу о Выборгском воззвании был чем-то вроде мешка, в котором благополучно уместились все прочие мои преступления.

Теперь я был заинтересован в том, чтобы поместить этот мешок в другом, более обширном, — в двухлетнем сроке моей ссылки. Но это было не так просто. Тюрьмы были переполнены, и людям, пребывание которых на свободе не считалось опасным (а я принадлежал несомненно к этой категории) подолгу приходилось ждать своей очереди. И вот, чтобы сесть в тюрьму, мне снова пришлось прибегнуть к протекции сестры, которая два года тому назад меня из тюрьмы освободила. Пользуясь своим случайным знакомством с министром юстиции Щегловитовым, дочь которого училась в ее гимназии, она обратилась к нему со странной просьбой — поскорее посадить в тюрьму ее брата. Просьба была уважена, и в феврале 1910 года я незаконно поехал в Петербург, въезд в который мне был запрещен, чтобы там по протекции сесть в тюрьму. Такие парадоксальные положения создавала только своеобразная русская жизнь...

— Извозчик!

— Куда прикажете?

— В Кресты, на Выборгскую сторону, полтинник!

— Пожалуйте.

Усевшись с чемоданом на извозчика, я отправился, как в гостиницу, в петербургскую тюрьму Кресты, предварительно справившись по телефону о том, отведена ли мне камера согласно распоряжению министра юстиции. Позвонил у канцелярского подъезда. Тюремный сторож впустил меня. И вот, на три месяца я стал арестантом.

Первое впечатление было не из приятных. У меня отобрали деньги, часы, перочинный ножик и другие мелкие предметы, обшарили всего с ног до головы, но не сняли ботинок, в которые были засунуты на всякий случай две трехрублевые бумажки, а потом долго вели по бесконечным коридорам до моей камеры № 848, если не ошибаюсь. И однообразно потянулись тюремные дни моей жизни.

Тюрьма Кресты состоит из двух многоэтажных корпусов, каждый из которых имеет форму креста. В центре креста помещается железная лестница с площадками на каждом этаже, от которых в четыре стороны отходят длинные, во всю длину здания балконы, по два в каждую сторону. На балконы выходят двери всех камер.

С верхней площадки лестницы вся внутренняя часть огромного корпуса – как на ладони.

Моя камера была самой крайней в нижнем коридоре здания.

После грязной симферопольской тюрьмы, где в камере, в которой я провел один день, предмет, именуемый в тюрьмах парашей, представляет собой небольшую деревянную шайку, испускавшую отчаянное зловоние, Кресты производили очень благоприятное впечатление хорошим воздухом и чистотой, напоминавшей чистоту больших пароходов. Чисто было и в коридорах, и в камерах. Камеры были маленькие: шесть шагов в длину, три в ширину. Меблировка состояла из небольшого столика, деревянной табуретки, маленькой полочки и прочно закрывавшейся параши в углу. Койка железная, примкнутая к стене днем, а ночью откидывавшаяся.

После революции 1905 года режим в тюрьме был установлен суровый. Достаточно сказать, что арестантам было запрещено подходить к окнам, а караульным солдатам было приказано стрелять без предупреждения в каждого арестанта, показывавшегося у оконных решеток. За время моего трехмесячного сидения мне неоднократно приходилось слышать эти ружейные выстрелы. Но жестокость начальства смягчалась добродушием солдат, которые старались не попадать в цель. Все же единичные случаи ранений и убийств в тюрьмах бывали. Эта слишком жестокая мера имела, однако, некоторые основания. Во время революции дисциплина в тюрьмах, как и везде, ослабела. Арестанты постоянно торчали у окон, перекликались друг с другом, сообщали друг другу волнующие новости, передавали тревожные слухи. А так как нервы у арестантов, из которых многие в те времена ожидали для себя тяжких наказаний, до смертной казни включительно, были напряжены до последних пределов, то каждое сенсационное известие и непроверенный слух вызывали нечто вроде массовых психозов. Во всей тюрьме подымались крики, стук, шум, истерики, происходили массовые голодовки. Только режим самой суровой дисциплины мог положить конец этому, ставшему обычным в тюрьмах, хаосу.

Пребывание в тюрьме, хотя и кратковременное, меня убедило в том, что для блага самих арестантов необходима строгая дисциплина, как она необходима в больницах для душевнобольных. Но все-таки угроза смертной казнью за приближение к окну была мерой совершенно чудовищной. Запрещено было также перестукиваться с соседями. Арестанты, три раза попадавшиеся за этим занятием, отправлялись в карцер, но так как перестукивались буквально все, то у надзирателей не хватало времени для борьбы со стуками, тем более, что уловить ухом, из какой именно камеры раздается стук, было очень трудно. Поэтому надзиратели старались не обращать на перестукивание внимания.

И каждый вечер, когда затихали другие шумы тюрьмы, она вся наполнялась трескотней этих стенных разговоров.

Я заранее обучился стенной азбуке и, оставшись один в своей камере, начертал ее ключ на бумажке. Оказалось, однако, что дело перестукивания совсем не такое простое и требует известных навыков. В первый же вечер я услышал стуки в свою стену. Вынул азбуку и стал следить. Стучали так быстро, что я не успевал составлять фраз, а улавливал лишь отдельные слова. Попробовал сам постучать, но в ответ получил: "Замолчите, не вам". Я ничего не понял: стучат мне в стену, а говорят не со мной. Еще раз попробовал постучать, и опять из ответных слов понял, что я вмешиваюсь в чужой разговор. Решил прекратить разговоры, пока не угадаю, в чем дело. Дня три я прислушивался к стукам, разрешая эту трудную задачу и напрягая всю свою сообразительность. Наконец понял. Каждая камера имеет общие стены с восьмью другими камерами: с двумя соседними, с тремя, расположенными этажом выше, и с тремя этажом ниже. Следовательно, каждый арестант может иметь восемь собеседников. Так как моя камера была крайняя в нижнем этаже, то у меня было лишь три возможных собеседника: один сосед, один, сидящий над моей головой, и один – наискосок сверху. Вслушиваясь в их разговоры, я понял, что каждый имеет свой условный знак, например, стук кулаком один раз, стук два раза, шлепанье ладонью, царапанье по стене карандашом и т.д. Желающий с вами разговаривать подает знак, давая вам и другим понять, что он хочет говорить именно с вами.

Через несколько дней я уже имел двух постоянных собеседников. Третьего, сидевшего над моей головой, я так и не мог вызвать на разговоры. Не разговаривал он и со своим соседом. Только ночью будил меня своими тяжелыми шагами: пять шагов в одну сторону, пять шагов в другую, и так без конца, пока не раздастся стук надзирателя в его дверь. Кто был этот мрачный, очевидно, глубоко страдавший человек – я так и не узнал. С другими двумя собеседниками я разговаривал часто и вполне овладел техникой стенной азбуки. "Писать" и "читать" стал совершенно свободно, уже не нуждаясь в "ключе". Особенно много я разговаривал с непосредственным своим соседом. Знал его и в лицо, т.к. нас вместе выводили на прогулку. Это был маленький бледный человек в серой арестантской одежде, лет тридцати с лишним, с окладистой черной бородой. Стуками он поведал мне свою историю. Был он крестьянином с юга России. Толковый и хорошо грамотный, он приобрел влияние в своем селе, враждовавшем в это время со своим бывшим помещиком из-за спорных земельных угодий. Борьба велась в двух направлениях: подавались жалобы на помещика в разные присутственные места, а одновременно производились запашки меж, потравы и другие самовольные действия. Мой сосед занял в этой борьбе руководящее положение. Ездил ходатаем в губернский город, писал разные прошения и пр. Во всяком случае, начальство знало его как человека беспокойного, а потому, когда

начались вышеупомянутые самовольные действия, его, как "вожака", арестовали и сослали в административном порядке в Архангельскую губернию. До ссылки сосед мой был просто честным, грамотным крестьянином, не затронутым никакими революционными идеями. Вероятно, таким бы и остался на всю жизнь, если бы начальство не сделало из него без всякой его вины политического преступника. Само собой разумеется, что несправедливое наказание его озлобило, и в ссылке, попав в компанию революционеров, он стал прекрасным объектом для революционной пропаганды. Вернулся он из ссылки в свою деревню в 1905 году уже революционером. Началась полоса аграрных беспорядков и бунтов. Взбунтовалось и село моего соседа. При подавлении бунта полицией крестьяне оказали вооруженное сопротивление, и в схватке с полицией мой сосед убил одного из стражников. За это в столыпинские времена грозил военно-полевой суд и виселица. Пришлось скрываться... Бросив жену и двух детей в деревне, мой сосед бежал в Петербург, где товарищи социалисты-революционеры снабдили его фальшивым паспортом и устроили рабочим на завод. Три года он благополучно жил в Петербурге, распространяя среди рабочих нелегальную литературу. За эти три года ему даже удалось под страхом ареста и казни съездить на побывку к семье, которую он мечтал переселить в Петербург, ибо нежно любил жену и двух своих маленьких детей. И вдруг, во время массовых арестов в Петербурге, он попал в тюрьму. Жандармы установили подложность его документов, но так и не могли выяснить, кто он такой. Теперь дело его заканчивалось. Обвинение не страшное – распространение нелегальной литературы, но, независимо от приговора, он, как бродяга, "не помнящий родства", подлежал ссылке на поселение в Сибирь. Значит, семью свою больше никогда не увидит... И на этого маленького, тихого с виду человечка иногда находили припадки отчаяния. Я слышал, как он вдруг начинал бить железной койкой о стену.

– Что с вами? – стучал я ему.

– Тоска, – отвечал он. – Как буду жить, ничего не зная о своих!

А иногда вдруг стучит:

– Как думаете, не объявиться ли? Я знаю – повесят, а все-таки перед смертью жену и деток обниму...

Я всячески успокаивал его, доказывая, что настанет, может быть, время, когда он сможет назвать себя, не рискуя быть повешенным, да, наконец, из ссылки бежать можно.

Он на время успокаивался, начинал мечтать о лучшем будущем и несколько дней опять спокойно со мной перестукивался. А потом вдруг снова – припадок тоски и отчаяния...

Я ушел из тюрьмы до окончания его дела и так и не знаю дальнейшей участи этого несчастного человека. Если он дожил до революции 1917 года, то, вероятно, стал большевиком.

Другой мой собеседник из верхнего этажа наискосок был молодым петербургским рабочим. Он только что был арестован и еще не

вызывался на допросы, которые всегда приводят людей в нервное состояние. Был бодр и жизнерадостен, выстукивал мне песни и стихи, а я ему отвечал тем же. Перед моим выходом из тюрьмы он продиктовал мне длинное нежное письмо своей невесте, которое я, конечно, доставил по указанному адресу.

В русских тюрьмах сидели четыре категории арестантов: подследственные и приговоренные по суду на разные сроки к содержанию в "крепости", к "тюрьме" и к каторжным работам. Наиболее строго содержались каторжане, которые заковывались в кандалы. Из остальных трех категорий строже других содержались приговоренные к тюрьме, к которым и я принадлежал. Больше всего льгот имели приговоренные к крепости и подследственные. Последние, впрочем, до окончания следствия были лишены большой льготы – свидания с родными. Я, как приговоренный к тюрьме, был лишен права получать съестные припасы с воли и обязан был либо кормиться из казенного котла, либо за свой счет заказывать себе обеды в тюремной кухне. Обеды эти были весьма невкусные. Ограничены мы были и в праве писания писем. В первый месяц своего сидения я имел право написать одно письмо, во второй – два, в третий – четыре. Получать же письма мог в любом количестве. Выходило так, что наказывался не я, имевший ежедневно сведения о своих, а моя семья. Свидания были ограничены так же, как и письма.

Подследственные и "крепостные" арестанты могли в любое время дня отдыхать на койке. У нас, "тюремных", в 7 часов утра надзиратели примыкали койки к стене и запирали их на ключ до 7 часов вечера. Днем мы могли сидеть только на табуретке, что для людей старых было довольно мучительно. Подследственные и "крепостные" имели право носить свою одежду, а для уборки их камер назначался какой-либо уголовный арестант. "Тюремные" сами убирали свои камеры и носили одежды арестантские. Начальство Крестов сделало частным образом послабление бывшим депутатам, и в последнем отношении мы были приравнены к "крепостным".

Каждое утро приходил убирать мою комнату молодой уголовный. Он же приносил мне обеды и кипяток. Хотя мне не полагалось с ним разговаривать, но мы все же беседовали, когда надзиратель нас оставлял вдвоем. По профессии он был карточный шулер и мелкий вор. Уже несколько раз попадался в мелкой краже и сидел в тюрьмах. На этот раз, в качестве многократного рецидивиста, он был приговорен к ссылке на поселение в Сибирь.

Перед уходом из тюрьмы я поблагодарил его за услуги и дал ему нелегально хранившуюся у меня в башмаке трехрублевую бумажку.

Парень весь так и засиял от радости.

– Ну вот спасибо, барин, теперь я себе сменку устрою.

– Какую сменку?

И он объяснил мне, что когда его пошлют по этапу в Сибирь, то где-нибудь на ночевке он подкупит тремя рублями какого-либо арестанта из встречного, возвращающегося из Сибири этапа. На перекличке они обменяются фамилиями, и подкупленный арестант под его именем вернется на поселение в Сибирь, а он получит свободу. Вот как дешево расценивалась в России свобода.

Высшее тюремное начальство редко нас навещало. За три месяца, проведенных мною в тюрьме, только один раз обходил камеры начальник тюрьмы со стереотипным вопросом: "Не имеется ли претензий?" Редко появлялся и старший надзиратель. Старших надзирателей на каждый корпус тюрьмы было по одному, а нашим непосредственным начальством были два младших надзирателя. Их было по два на каждый тюремный коридор и дежурили они сутки посменно. Это были преимущественно гвардейские унтер-офицеры, хорошо дисциплинированные. Из моих двух надзирателей один был суровый служака. Точно исполнял предписания начальства и никогда не вступал со мной в разговоры. Проходя по коридору, он часто заглядывал в дверные "глазки", снаружи прикрытые дощечкой, и, если заставал арестанта за перестукиванием, делал замечания, а в повторных случаях отправлял в карцер. В дни его дежурств арестанты перестукивались меньше. Другой, по фамилии Лазукин, был совсем в другом роде. Был к арестантам внимателен и потихоньку от начальства делал им разные послабления. А к депутатам первой Думы он относился с особенным уважением.

Надзиратели обязаны были минут за пять до звонка, вызывавшего нас на прогулку, обойти все камеры для того, чтобы арестанты заранее оделись. Они шли по коридору, стуча ключами в дверь каждой камеры, и приговаривали: "Гулять, гулять, гулять". Но Лазукин при этом умел каждый раз оттенять свое ко мне уважение. "Гулять, гулять, гулять", – издали доносился до меня его голос. А подойдя к моей камере, он, с видом швейцара из хорошей гостиницы, быстро отворял дверь и, распахнув ее настежь, торжественно произносил: "Ваше сиятельство, пожалуйте на прогулку".

Ежедневно старший надзиратель уходил из тюрьмы в 4 часа дня и возвращался в 7 часов вечера. Вероятно, ходил с докладами по начальству. Этим пользовался в свое дежурство мой милейший Лазукин для того, чтобы оказать мне трогательное внимание. В 4 часа я слышал его приближающиеся шаги, затем дверь моей камеры отворялась и появлялся Лазукин с добродушной улыбкой на усатом лице. "Отдохните, ваше сиятельство, утомились, чай, на табуретке сидючи". И он отмыкал мою кровать от стены, а затем, став в дверях так, чтобы одним глазом следить, не появится ли невзначай в коридоре старший, вступал со мной в беседу:

– Эх, ваше сиятельство, разве же мы не понимаем, что вы за нашего брата страдаете... Вот, скажем, третья Дума, на что она нам нужна? Господская Дума! То ли дело ваша первая Дума

была... Уж как мы на нее радовались, как ждали, что через нее землю получим.

И Лазукин из усатого унтер-офицера и тюремного начальства превращался в калужского мужика. Рассказывал о своей деревне, о своей семье, о том, как трудно им живется на маленьком крестьянском наделе.

— Разве я служил бы здесь, в этой проклятой тюрьме, если бы земельки у меня побольше было. Домик бы построил, хозяйство бы завел...

И о чем бы мы с ним ни разговаривали, он все возвращался к своим мечтаниям о деревенской жизни.

Должен сказать, что от трехмесячного тюремного сидения у меня остались неплохие воспоминания. Прежде всего, у меня не было тревоги от неизвестности своей дальнейшей судьбы. Я знал, что должен отсидеть ровно три месяца, а затем буду свободен. Я представлял себе, что совершаю в каюте парохода кругосветное плавание. Разграфил бумажку на 90 клеток, на которых были написаны стоянки моего парохода — Коломбо, Сингапур, Шанхай и т.д. И очень было приятно смотреть на эту бумажку со все сокращающимися белыми клетками. Все время у меня было правильно распределено, а потому шло незаметно. Утром в половине седьмого вставал, открывал форточку и ходил взад и вперед по камере. Приятно было дышать утренним морозным воздухом, тем более, что в это время по всей тюрьме распространялось зловоние от выносившихся из камер параш. В 7 часов уголовных арестантов собирали на молитву. Раздавалось стройное пение "Спаси Господи люди твоя", мотив которого до сих пор ассоциируется в моем ощущении с приятным дуновением морозного воздуха в открытую форточку. В половине восьмого появлялся надзиратель в сопровождении прислуживавшего мне вора. Кровать примыкалась к стене, а на стол ставился чайник с кипятком. Во время чаепития тихо становилось в тюрьме. И вдруг тишина нарушалась зычным голосом надзирателя: "Выходяшша, пошел"! А затем в коридоре раздавался торопливый топот сапог. Это отбывшие свой срок арестанты покидали тюрьму. Я не мог видеть этих ежедневно проходивших мимо моей камеры людей, но их шаги звучали бодро и радостно, и мне казалось, что лица у них веселые и улыбающиеся.

После утреннего чая я приступал к занятиям по строго установленному расписанию. Утром, до прогулки, читал какие-либо книги серьезного содержания, от прогулки до обеда писал, после обеда, подремав немного на табурете, часа два читал беллетристику (с особым наслаждением перечитал "Войну и Мир"), под вечер снова садился за писание. В тюрьме я понял, как можно производительно работать, когда никто не мешает и никто не отвлекает от работы. За три месяца я написал для таврического земства книжку о плодоводстве в Крыму на основании собранных

статистических материалов и еще несколько очерков для "Русской Мысли". Вечером, с 6 часов, начинались разговоры с соседями. Вся тюрьма заполнялась этими легкими стуками, напоминавшими стрекотание кузнечиков. В 7 часов отмыкали кровать, и, взяв книжку в руки, я с блаженством на ней растягивался и читал до тех пор, пока в 8 часов не потухало электричество. Самым неприятным моментом дня были для меня прогулки по тюремному двору. В своей камере, за своими занятиями, я часто забывал, что я арестант. Во время же прогулок арестантская подневольность чувствовалась особенно сильно. Гуляли мы в небольшом внутреннем дворике тюрьмы под наблюдением двух-трех вооруженных тюремных стражей. Нас выстраивали в ряд так, что между каждыми двумя политическими арестантами становился уголовный. Затем, по команде, шеренга делала полуоборот и в течение 20 минут, полагавшихся на прогулку, мы ходили гуськом вокруг палисадника, разбитого в середине двора. Под страхом наказания, мы не имели права произнести ни одного слова. Так и кружились вокруг палисадника, точно лошади, которых гоняли на корде. Во всей этой процедуре было что-то унизительное, и я всегда с нетерпением ждал звонка, извещавшего о конце прогулки. И так было приятно возвращаться к себе, в свою одиночную камеру, где я снова обретал ощущение свободы. Если бы не сознание необходимости ежедневных прогулок для здоровья, я бы от них отказался.

Чрезвычайно неприятна также была обстановка свидания с родными. Минуты свиданий с близкими людьми — счастливейшие в жизни арестанта. Помню, с каким нетерпением после месячного заключения я ждал первого свидания с женой и двумя старшими дочерьми, приехавшими для этого из Финляндии. Но внешняя обстановка свиданий отравляла радость встречи. Огромный зал, в котором происходили свидания, напоминал своим видом зверинец, ибо вдоль его стен были расположены клетки, отделенные от публики барьером, как это делается в зверинцах для того, чтобы публика не дразнила зверей. Между барьером и клетками ходили надзиратели, а в клетках помещались мы, арестанты. Клетки, затянутые железными сетками, были полутемные, и родные иногда подолгу разыскивали своих заключенных. Разговаривать было трудно из-за гула одновременно говоривших людей. Все старались друг друга перекричать. Все это не способствовало интимности разговоров с близкими людьми, в которой чувствовали потребность арестанты. Приятнее было бы молча смотреть друг на друга...

Развлечением в моей тюремной жизни была баня, в которую меня водили через субботу. Я не большой любитель русской бани с ее удушливым паром, палатями и вениками, но я всегда невольно поддавался господствовавшему в них общему радостному и благодушному настроению. В тюремной же бане особенно весело. Арестант, снявший с себя свои серые одежды, всегда напоминавшие

ему его подневольное положение, в голом виде чувствует себя равноправным с таким же голым караульным, приведшим его в баню. А для тех, кто сидит в одиночных камерах, баня являлась единственным местом, где они могли поговорить с товарищами по несчастью. Ибо, по непонятной мне причине, в бане мы пользовались правом свободно разговаривать между собой, которого лишены были во время прогулок. Впрочем, вероятно, начальство заботилось о том, чтобы политические в банях не могли встретиться. Я, по крайней мере, мылся исключительно в обществе уголовных. Были среди них и старые, и молодые, но в бане все превращались в детей: боролись, били друг друга вениками, острили, смеялись. Тела их были татуированы. У одних татуированы были только руки маленькими рисунками, буквами, вензелями, но я видел людей, почти сплошь покрытых татуировкой. Помню одного арестанта, у которого большими буквами на груди было написано — "Спаси и сохрани", а один изобразил посреди груди древо познания добра и зла со спускавшейся с него змеей, а по бокам — фигуры Адама и Евы. Казалось бы, что простая осторожность должна была удержать уголовных преступников от создания этих "особых примет", облегчавших их розыск полиции; и тем не менее, арестанты, если я не ошибаюсь, татуируют себя и друг друга в тюрьмах на всем земном шаре. Я спрашивал своих татуированных товарищей — зачем они это делают, и получал ответ: "Нельзя, засмеют". Операция татуировки довольно болезненная, и арестант, спокойно ее переносящий, получает как бы стаж мужества и стойкости.

Три месяца тюремного сидения прошли довольно быстро. В середине мая я зачеркнул последний квадратик, на котором значился Петербург, как пункт моего возвращения из кругосветного путешествия. А утром пришел ко мне в последний раз мой добрый Лазукин. Мы дружески попрощались. Уходя, он оставил дверь камеры открытой. В пальто и шляпе я ожидал команду о выходе из тюрьмы.

"Выходяшша, пошел!" — раздался знакомый мне крик Лазукина. Но на этот раз я уже не слушал радостных шагов по коридору, а другие слушали мои бодрые шаги. Свобода все-таки высшее благо для человека...

Глава 22

МОЯ ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ И МОИ ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗНАКОМЫЕ ПЕРЕД ВОЙНОЙ (1910–1914)

Служба в Русско-Азиатском банке. Путешествия сибирских и среднеазиатских мехов. Поездка по хуторам от "Русской Мысли" и мои сенсационные статьи. Работа по экономическому исследованию проектирующихся железных дорог. П. П. Червинский. Исследовательские поездки по России. Встречи в Черниговской губернии с "американцами". Л. К. Чермак. Впечатления от поездки в Прибалтийский край. Семья Григорьевых. Я выбран членом центрального комитета. Крылатая фраза Милюкова об "оппозиции его величества". П. Н. Милюков и зигзаги его политики. Состав ЦК партии Народной Свободы. Н. В. Некрасов. А. И. Шингарев. Петербургский комитет партии. О. К. Нечаева. Масонство. Мое участие в делах Вольного Экономического Общества. В. Я. Яковлев-Богучарский. Моя сестра и круг ее правых знакомых. Круг моего знакомства и его границы. Кое-что о Распутине. Политические бури и мирная семейная жизнь.

Из тюрьмы я вновь вернулся в место своей ссылки – в Финляндию. Но срок ссылки уже кончился. Пришлось думать о том, где устроиться на жительство с моей многочисленной семьей (у меня только что родился восьмой ребенок) и как ее содержать. Вопрос о заработке приобретал важное значение. До этого времени я был исключительно счастливым человеком в том смысле, что этот вопрос никогда не играл роли в тех путях жизни, которые я себе намечал. Я выбирал себе деятельность и работу по двум признакам: во-первых, взвешивал то, что она могла дать мне – моим умственным интересам и моральным запросам, а во-вторых, то, что я мог дать полезного обществу и народу. Из-за все возраставшей семьи я давно уже не мог обходиться без заработка, но он как-то естественно связывался с приятной мне работой. Колебания его меня не смущали, ибо недостающее на жизнь я мог пополнять за счет своего капитала или процентов с него. И вот, только теперь, шагнув в пятый десяток своей жизни, я в первый раз стал искать работу для заработка и интересоваться его размером, ибо к 1 000 рублям в год, которые мне давал мой истаявший капитал, мне нужно было

приработать не менее 3000 рублей, чтобы иметь возможность содержать семью в десять человек при самом скромном существовании. Лишенный избирательных прав судебным приговором, я не мог продолжать ни земской, ни политической деятельности, а политическая неблагонадежность мешала как поступлению на государственную службу, так и возвращению в ряды третьего земского элемента. Приходилось искать какую-либо частную службу. Благодаря громадному кругу знакомых, приобретенных мною за время моей общественной деятельности в столице и провинции, я без особого труда устроился на службу в Русско-Азиатском банке. Мне предложили хорошо оплачиваемую должность инспектора банка и дали некоторый срок для ознакомления с банковским делом, как в центре, так и в командировках.

Получив этот, казавшийся прочным, заработок, я перебрался осенью 1910 года на жительство со всей семьей в свой родной Петербург после многолетнего из него отсутствия.

Однако банковская деятельность оказалась не по мне. Я еще мог осилить бухгалтерию, которая даже заинтересовала меня своей необыкновенной стройностью, но финансистом оказался никуда не годным. Принимая участие в ревизиях отделений банка, я как-то не способен был оценить выгодность или невыгодность тех или иных предприятий и комбинаций, видел риск там, где его не было, и обратно. А затем, не мог заставить себя проникнуться интересами банка, которые были мне абсолютно чужды, отбывал службу, как скучную повинность, и, проработав положенное время, старался о ней позабыть. Среда моих сослуживцев была тоже не по мне. Это были преимущественно люди, большая часть интересов которых была направлена на стяжание и обогащение. Они следили за биржевым курсом бумаг, играли на бирже и делали банковскую карьеру. Услужливые по отношению к начальству, они подсиживали своих конкурентов, не брезгуя никакими интригами, и были грубы с подчиненными. Со мной были любезны, но тайно старались меня выжить, предоставляя мне делать ошибки в моей работе, дабы показать начальству мою непригодность. Вся эта обстановка, столь непохожая на атмосферу дружной и бескорыстной работы, к которой я привык в земских учреждениях, действовала на меня угнетающе. Поражало меня также формальное отношение начальства к подчиненным, которого я не встречал не только на земской, но и на правительственной службе. Возможно, что этот дух формализма создавали французы, заседавшие в правлении банка. Приходя утром на службу, мы все должны были расписываться в особой книге. Перед книгой стояла чернильница и лежало перо. Но ровно в 9 часов чернильница с черными чернилами заменялась чернильницей с красными чернилами. Каждый опоздавший должен был, так сказать, сам уличать себя в неисправности, начертав штрафными чернилами свою фамилию. Три красных подписи влекли за собой денежный

штраф. Но служащие очень простым способом обходили эту расставленную для них ловушку, нося с собой стило. К такому унизительному надувательству начальства прибегали даже высшие служащие, получавшие крупное жалование.

Из всей моей работы в банке в моей памяти осталось лишь путешествие в Казань, где я принимал участие в ревизии местного отделения. Главная работа этого отделения состояла в выдаче подтоварных ссуд купцам, торговавшим мехами. Меня эта операция поразила во-первых своей замечательной четкостью, а затем я впервые узнал о тех путешествиях, какие совершают сибирские и туркестанские меха, прежде чем попасть в русские шубы. Казань издавна была центром обработки шкур, привозившихся из Сибири и Туркестана по Иртышу и Оби и перегружавшихся в Перми на Каму. С проведением Сибирской и Среднеазиатской железнодорожных линий этот водный путь, связанный с дорогостоящими перегрузками, был оставлен, и партии шкур стали доставляться в европейскую Россию по железным дорогам. Однако, за отсутствием других заводов по первичной обработке шкур, все транспорты по-прежнему направлялись в Казань, совершая большой окольный путь, ибо полуобработанные в Казани меха шли дальше для окончательной обработки и отделки в единственный мировой центр меховой промышленности — Лейпциг. Таким образом, шкура молодого барашка, пасшегося в среднеазиатских или монгольских степях, попадала в Лейпциг через Казань, а затем уже возвращалась в Россию, чтобы украсить витрины московских и петербургских меховых магазинов. За время всего этого огромного путешествия меха и шкуры меняли несколько раз своих владельцев, которые, однако, приобретая их, денег из кармана не вынимали, ибо все операции с этим товаром — поступление на заводские склады, переработка, новая погрузка в вагоны и т. д. — производились за счет выдававшихся банком подтоварных ссуд. Эти ссуды, покрывая одна другую, погашались окончательно лишь после поступления товара на рынок.

Прослужил я в Русско-Азиатском банке несколько месяцев и почувствовал, что как обстановка работы, так и ее содержание совершенно не по мне. Чувствовал я также, что отсутствие интереса к банковскому делу мешает мне вникнуть в его детали и что доклады, которые мне приходилось представлять начальству, обнаруживают мое невежество и непригодность. Меня еще терпели, но явно были мною недовольны. Все это вместе взятое побудило меня совершить весьма легкомысленный поступок: не имея никаких реальных перспектив в отношении будущих заработков, я подал в отставку. Мне не в первый раз приходилось ломать свою карьеру и начинать ее сызнова, но с каждым разом такие прыжки в неизвестное будущее становились затруднительнее. Посторонние люди меня часто осуждали за такое легкомыслие и за недостаточную

заботливость о материальном благосостоянии моего многочисленного потомства. Но я неизменно находил поддержку в своей жене, на которую больше всего падали заботы о воспитании детей. И мы с ней приходили к выводу, что душевное спокойствие во много раз лучше материальных благ и что скромная обстановка семейной жизни и отсутствие в семье напряженного стремления к "буржуазному" благополучию являются наилучшей почвой для воспитания в дружной семье будущих хороших людей. Теперь, пережив революцию, обнаружившую всю непрочность материального богатства перед богатством духовным, я убедился, что мы тогда были правы.

Безработным, однако, я не оставался. Мой приятель Н. М. Кисляков, заведующий псковским земско-статистическим бюро, стал присылать мне материалы статистических обследований для текстовой их обработки, а П. Б. Струве предложил мне от редакции "Русской Мысли" совершить путешествие по России и ознакомиться с вопросом о новом устройстве крестьян на отрубах и хуторах, согласно проведенному Столыпиным закону 1906 года. Столыпинская реформа стояла тогда в центре общественного внимания. Проведенная Столыпиным после роспуска первой Думы в порядке 87 статьи Основных Законов, т. е. без участия законодательных учреждений, она возбудила вокруг себя политические страсти. Оно и понятно. Столыпин задался целью разрешить аграрный вопрос путем, обратным тому, который намечался первыми двумя Думами и который считался левой частью русского общества единственно правильным и справедливым. Вместо принудительного отчуждения частновладельческих земель в пользу малоземельных крестьян – почти принудительное разрушение крестьянской общины и "ставка на крепкого крестьянина-собственника".

Реформа проводилась спешно и энергично. Во всей России действовали землеустроительные комиссии с целым штатом землемеров и агрономов. На бывших общинных землях возникали ежегодно тысячи и десятки тысяч хуторов и отрубов. Все это делалось с большим шумом и рекламой. Казенные перья строчили в официальной правой прессе дифирамбы Столыпину и его землеустроителям и изливали неумеренные восторги над ее чудотворным действием на благосостояние деревни. С другой стороны, левая пресса глумилась над реформой и была полна ламентаций над участью миллионов крестьян, благосостояние которых принесено в жертву помещичьим интересам и интересам немногих "кулаков"-собственников, искусственно создаваемых Столыпиным при помощи насильственного разрушения старой крестьянской общины. Среди политической тенденциозности, со всех сторон обволакивавшей столыпинскую аграрную реформу, было совершенно невозможно уловить ее подлинное экономическое действие

и значение для сельскохозяйственной культуры. Струве, редактировавший тогда "Русскую Мысль", решил подойти к вопросу объективно, сняв с него окружавшую его политическую шелуху. Он, конечно, теоретически понимал ее значение для крестьянского хозяйства, но ему не хватало жизненных впечатлений. Мы с ним были старые знакомые, но в это время наши политические настроения значительно разошлись. Он вышел из к.-д. партии, отрицательно относясь к ее слишком левой политике, я же примыкал к левому ее крылу. Несмотря на разницу наших политических взглядов, Струве, зная присущую моей натуре правдивость и объективизм, обратился именно ко мне, в то время своему политическому противнику, с предложением объехать хуторские и отрубные хозяйства и дать о них ряд очерков в "Русской Мысли". С большой радостью я принял предложение Струве и летом 1911 года отправился кружить по русским деревням. Для своего обследования я выбрал две губернии – Псковскую и Самарскую. В первой я работал в качестве земского статистика и знал ее как свои пять пальцев. Во второй я проделал голодную кампанию 1891 года и тоже был знаком с бытом самарской деревни и ее хозяйством. Путешествие было интересное и богатое самыми разнообразными впечатлениями, которыми я и поделился с читателями "Русской Мысли". Сам я никаких выводов не делал, правдиво описывая лишь то, что видел и слышал на местах, но эти выводы сами собой вытекали из собранных мной материалов. Вкратце они заключались в следующем: естественные условия нечерноземной полосы России способствуют развитию хуторского хозяйства, и в Псковской губернии столыпинская реформа оказалась чрезвычайно благодетельной для крестьянской с.-х. культуры. Наоборот, в степной Самарской губернии, в которой естественные хозяйственные условия не допускают развития интенсивной культуры, реформа ни в какой степени не содействовала улучшению хозяйства, но, проводимая спешно и в известном смысле принудительно, способствовала нездоровой земельной спекуляции и обогащению части крестьянства за счет его большинства. Словом, реформа, сама по себе чрезвычайно нужная, проводилась по приказу из Петербурга по одному шаблону в огромной России, невзирая на разнообразие ее природных, бытовых и хозяйственных условий, и не в ней самой, а в методах ее осуществления заключался главный ее недостаток.

Первыми появились в печати мои очерки по Псковской губернии, в которых столыпинская реформа была представлена с положительной стороны. Струве писал мне из Москвы, что ни одна из помещавшихся в "Русской Мысли" статей не вызывала столь многочисленных отзывов в периодической печати. Правая печать – "Новое Время" и казенная "Россия" – давала длиннейшие выдержки из них, восхваляя мою объективность и проницательность. Они захлебывались от радости, что кадет, член первой Думы

и сторонник принудительного отчуждения, вдруг прозрел и стал защищать аграрную политику правительства. Левая пресса отнеслась к моим очеркам сдержанно, но все же в "Речи", резко выступавшей против столыпинской аграрной политики, была помещена очень лестная для меня статья А.А.Кауфмана. Обрадовались и в правительственных кругах, получивших неожиданно союзника из левых партий. В один прекрасный день ко мне на дом явился курьер министерства земледелия и вручил мне два тома в дорогих переплетах роскошного казенного издания, посвященного вопросу о развитии хуторского хозяйства, с превосходными фотографическими снимками, диаграммами и картограммами. Этот подарок сопровождался любезным письмом, составленным в весьма лестных выражениях.

А когда в следующей очередной книжке "Русской Мысли" появились мои очерки по Самарской губернии, то то же "Новое Время", которое не скупилось на комплименты моей вдумчивости и проницательности по поводу предыдущих статей, теперь не стеснялось в выражениях, стараясь изобличить меня во лжи, невежестве и партийной тенденциозности. Само собой разумеется, что вся левая пресса осталась на этот раз мною довольна.

Вернувшись в Петербург из поездки по хуторам, я получил наконец прочный заработок, который сохранился вплоть до революции 1917 года. В это время в России шла усиленная постройка новых железнодорожных линий. Часть из них строилась казной, а часть частными акционерными обществами. Проекты новых линий рассматривались особой междуведомственной комиссией при министерстве путей сообщения, после одобрения которой правительство приступало к постройке или давало разрешение на постройку тех или иных линий частным обществам. Каждый проект должен был иметь полное обоснование с точки зрения технической, финансовой, экономической, а иногда и стратегической. Экономическими исследованиями проектировавшихся линий ведал в министерстве путей сообщения бывший черниговский земский статистик П.П.Червинский. Он состоял на государственной службе, но всю работу вел не при помощи подчиненных ему чиновников, а приглашал для этой цели специалистов-статистиков по вольному найму, образовав при министерстве путей сообщения некое подобие земского статистического бюро.

Около трех лет работал я с Червинским, и от этой работы у меня в общем остались самые хорошие воспоминания.

Летом я колесил по России, собирая нужные экономические сведения, а зимой их разрабатывал, сидя за своим письменным столом. Так как я получал сдельное вознаграждение, то мог вполне свободно располагать своим временем, работая в те часы дня и вечера, когда мне это было удобно. А если прибавить к этому, что сама работа была интересной, что я жил в Петербурге, т.е. в центре

русской культурной, общественной и политической жизни, то о лучшем положении не приходилось думать. За три года работы у Червинского я побывал на исследованиях в Уфимской, Самарской, Казанской, Вятской, Черниговской, Витебской, Могилевской, Минской, Ковенской и Курляндской губерниях и получил много новых и интересных впечатлений. Я и раньше много путешествовал по России, но в западный край попал впервые. Между прочим, наткнулся в Черниговско-Могилевском районе на весьма любопытное явление местной жизни, о котором прежде никогда не слышал. Это был район черты еврейской оседлости, из которого ежегодно множество евреев выселялось в Соединенные Штаты Северной Америки. Поэтому во всех уездных городках находились конторы пароходных обществ, вербовавшие эмигрантов. Постепенно к этому еврейскому эмигрантскому потоку стали присоединяться и местные крестьяне. Они, впрочем, не делались эмигрантами, а ехали в Америку лишь на отхожие промыслы с тем, чтобы, проработав там несколько лет, вернуться на родину. С каждым годом число их увеличивалось, ибо заработки в Америке были хорошие, и крестьяне, проведшие там лет 5-6, возвращались домой по могилевским масштабам "богатыми". Было любопытно беседовать с этими "американцами", как их называли односельчане. В короткий срок Америка перекраивала на свой лад этих корявых и забитых мужиков-белорусов. Одного только она не могла из них вытравить — тяги к земле. "Американцы", вернувшись домой из-за океана, прежде всего выделялись из деревни на хутора, прикупали еще, сколько могли, земли, строили хорошие избы, обзаводились скотом и становились крепкими зажиточными крестьянами. По внешнему виду они резко отличались от своих соседей. Большею частью брили бороды, по воскресеньям ходили в пиджаках, нередко даже в крахмальном белье, и, главное, держали себя с "господами" независимо и свободно, охотно вставляя в свою речь английские слова и выражения. Так постепенно западная культура вливалась в одно из самых захолустных мест России.

Совместная работа у Червинского сблизила меня с Львом Карловичем Чермаком. Мы жили недалеко друг от друга и часто видались. Постепенно деловые отношения перешли у нас в приятельские. Знакомство наше было давнее. Познакомились еще в середине 90-х годов через брата Л. К., доктора медицины и профессора Н.К. Чермака, с которым мы подружились, когда по окончании университета я провел год в Берлине. Вскоре после нашего знакомства Л.К. Чермак был административно сослан в Среднюю Азию, а я поселился в провинции. Возобновилось оно лишь в 1911 году, когда мы оба снова сделались петербуржцами.

Братья Чермаки принадлежали к тому типу людей, которых все любят и у которых нет ни врагов, ни недоброжелателей. Отличительным свойством их была исключительная доброта, незлобивость

и доброжелательное отношение ко всем, с кем им приходилось общаться. Трудно было представить себе, что Л. К. принадлежит к партии с.-р., которая ведет борьбу с правительством путем жестокого террора. Сам он, кажется, мухи не обидел бы. В сущности, в это время Л. К. был связан с партией социалистов-революционеров главным образом старыми личными связями и традициями. От социализма он был далек, как по складу своего реалистического ума, так и по образу жизни, а по характеру был меньше всего революционером. Разговаривая с ним на историко-философские и общественно-политические темы, я видел, что наши взгляды мало чем друг от друга отличаются, а если отличаются, то в обратном отношении к нашей партийной принадлежности. Люди же, мало его знавшие, не подозревали в нем эсера: умеренный либерал – не больше. И все-таки он не порывал с партией, исполняя целый ряд ее поручений во время своих разъездов по России. А когда после революции 1917 года партия с.-р. вышла из подполья, он занял в ее рядах видное положение.

Я часто задавал себе вопрос – что побуждает Л.К.Чермака состоять членом партии, не соответствовавшей его натуре и взглядам. Объясняю это себе особым поэтическим ореолом, которым в широких кругах русского общества была осенена грядущая революция и революционеры, посвятившие ей свою жизнь. И Л. К. чувствовал потребность охранять в себе поэтическую искорку, вспыхнувшую когда-то в нем в дни его молодости. Тогда ради своих идеалов он готов был жертвовать многим. Теперь идеалы потускнели, практическая жизнь завладела его интересами, жертвенность ослабела, жена тянула его в болото мещанской пошлости... Только связь с партией продолжала удовлетворять потребность его души в каких-то поэтических ощущениях. И он вел двойную жизнь, жизнь явную, проходившую у всех на глазах, работал в деле, которое интересовало его, но не давало поэтических ощущений, и жизнь конспиративную, полную риска и опасностей для его партийных товарищей, а отчасти и для него самого. Эта вторая жизнь давала недостающее первой ощущение поэзии, а главное – собственной избранности, отличавшей его от всех прочих людей, не причастных к конспиративным опасностям.

Такая психология была свойственна очень большому числу русских интеллигентов, перевалившах за 30-летний возраст, когда интересы практической жизни начинают преобладать над утопическими мечтами.

Двойная жизнь, которую вел Л. К., как и многие другие люди в его возрасте и положении, оказывала на него развращающее действие. Она обязывала его к неискренности и ко лжи. Ему приходилось лукавить с людьми, самым искренним образом к нему расположенными, и обманывать их в угоду партии. И мне было неприятно видеть, как этот добрейший и милейший человек искажает, сам не чувствуя этого, свое красивое моральное лицо.

Во время революции мы из единомышленников оказались в положении политических врагов. Впрочем, единомышленниками остались. В партии с.-р. он очутился на крайнем правом ее фланге и очень страдал, когда на заседаниях петербургской городской Думы, куда мы оба были избраны гласными, ему приходилось, подчиняясь партийной дисциплине, голосовать против своих собственных взглядов. Но он слишком много лет был связан со своей партией, чтобы уйти из нее в момент ее победы, впоследствии оказавшейся столь эфемерной.

После большевистского переворота я на время потерял из виду милого Льва Карловича и встретился случайно с ним на улице Ростова-на-Дону в период гражданской войны. Он сильно постарел, борода из черной с проседью стала белой. Узнал от него, что политикой он больше не занимается, а живет с женой на Черноморском берегу, хозяйничая в своем плодовом саду. Расставаясь, мы крепко обнялись и расцеловались, оба понимая, что, вероятно, больше не увидимся. Жив ли он еще – я не знаю. Принимая во внимание, что он был лет на 8 старше меня и страдал сердечными припадками, думаю, что его больше нет на свете.

Четыре года, прожитых мною вновь в моем родном городе до начала мировой войны, прошли быстро. Зимой я значительную часть времени проводил за своим письменным столом, обрабатывая собранные летом статистические сведения и вычисляя по ним и по данным железнодорожной статистики будущий грузооборот предполагаемых линий железных дорог, а летом колесил в тарантасе по разным глухим местам России, которые казна или частные общества предполагали прорезать новыми железнодорожными магистралями. Мое знание России, приобретенное во время земских статистических исследований, благодаря этому расширялось и углублялось. Между прочим, объезжая район предполагавшейся линии Львов–Либава, я впервые попал в Прибалтийский край, посетив Ригу и Митаву.

В Митаве я познакомился с тогдашним курляндским губернатором Набоковым (братом известного кадета). Меня поразило, что в этой пограничной с Германией губернии почти все губернаторские чиновники были немцами, да и сам губернатор в значительной степени находился под влиянием немецкого дворянства. Период германофобства, поощрявшегося националистической политикой Александра III, закончился после революции 1905 года. Правительство, испуганное аграрными бунтами, вновь стало искать опоры в среде немецких баронов против латышей и эстонцев, составлявших подавляющую по численности массу местного населения. И социальная борьба естественно приобретала национальный характер.

Между тем возобновившаяся политика германофильства представляла большую опасность для русских интересов в этом крае. Международное положение, при наличии двух враждебных коалиций

великих держав, было неустойчиво, и можно было ожидать войны с Германией в ближайшие годы. В этих условиях было весьма рискованно создавать "немецкое засилье" в местной администрации. С другой стороны германофильство русской власти вызывало враждебное к ней отношение со стороны массы латышского и эстонского населения, которое уже перед революцией 1905 года стало ощущать свою национальную обособленность.

Помню, что я вернулся из поездки (это было года за два до войны) в очень тревожном настроении, но все же не мог себе представить, что так скоро России придется пожинать печальные плоды неудачной политики ее старорежимного правительства.

Каждое лето семья моя жила в Крыму, куда и я ездил на месячный отдых. Пять лет земской службы создали мне в Крыму прочные связи, которые возобновлялись естественным путем каждое лето. Гласный надзор полиции, тяготевший надо мной с 1908 по 1910 год, прекратился, и я предполагал, что вместе с этим отпало и постановление о моей высылке из Ялтинского уезда. Но я ошибся. Ялтинский уезд продолжал находиться в особом положении, составляя отдельное генерал-губернаторство под управлением генерала Думбадзе, который распоряжался в своих "владениях" независимо от центральной власти. И вот однажды, приехав на несколько дней в Ялту к своему тестю, председателю ялтинской управы, я получил предписание от полиции в 24 часа покинуть пределы Ялтинского уезда. Однако этому предписанию я подчинился не вполне: из Ялты уехал и больше там до революции 1917 года не показывался, но уехал не за пределы уезда, а лишь на свою дачу возле Алушты. И в течение ряда лет я ездил туда и жил беспрепятственно, избегая лишь прописываться в полиции. Местная полиция меня не тревожила, хотя не могла не знать о моем пребывании, ибо в губернии, избравшей меня депутатом в первую Думу, я был фигурой заметной.

На этом маленьком примере подтверждается уже отмеченная мною характерная особенность русской жизни, в которой суровый режим часто смягчался добродушием его агентов.

В Петербурге в последние перед войной годы значительную часть моих интересов поглощали семейные дела. Старшие дети учились в гимназиях, средних подготовляла в учебные заведения моя жена, а младшие две дочери хотя и были еще в ведении няни, но требовали внимания и от родителей. Кроме того, в такой большой семье, какая была у меня, нельзя избежать эпидемических детских болезней со всякими карантинами, переселениями и пр. Хотя главная забота о детях лежала на моей жене и я был лишь довольно плохим ее помощником, но во время детских болезней мне приходилось уделять детям довольно много времени.

Поблизости от нас, на Петербургской стороне, жила семья брата моей жены, присяжного поверенного А.В. Винберга, а также

два моих старых друга — географ Э.Ф.Лесгафт и физик Г.М. Григорьев, с которыми мы находились в постоянном общении. У Григорьевых и Винбергов дети по возрасту подходили к нашим и составляли с ними как бы одну семью. Особенно близка нам была семья Григорьевых, о которой мне хочется сказать несколько слов. Григорий Михайлович Григорьев был моим гимназическим и университетским товарищем. За четыре года студенчества мы с ним очень сблизились, и с тех пор до самой его смерти нас связывала самая тесная дружба. Это был человек в высшей степени одаренный и талантливый. В детстве лишившись отца, он жил с матерью, бывшей классной дамой одного из петербургских институтов, и со старшим братом. Материнской пенсии не хватало на содержание семьи, и обоим братьям еще со средних классов гимназии приходилось добывать средства к существованию частными уроками. Когда я стал бывать в семье своего друга, старший его брат уже женился и жил отдельно, так что вся забота о старушке-матери лежала на Г.М. Мать и сын нежно любили друг друга, но жили каждый своей жизнью и своими интересами.

Еще студентом Г.М. стал преподавать физику и химию на вечерних курсах для рабочих, организованных в фабричном районе, на Шлиссельбургском тракте. Все свободное время, остававшееся от университетских занятий и от частных уроков, которые ему давали возможность существования, он посвящал этой бесплатной работе и отдавался ей с огромным увлечением. На этих курсах для рабочих и развернулся его недюжинный преподавательский талант. От предложенного ему места ассистента при кафедре метеорологии Григорьев отказался. Он был ярким представителем последних "общественников", для которых решающее значение при выборе профессии имел вопрос о степени пользы для народа от предстоящей деятельности.

Несколько лет Г.М. был одним из самых деятельных педагогов рабочих школ и курсов, принимал участие в организации дела и в выработке программ преподавания. Ученики его любили и с увлечением занимались у него физикой и химией.

Вскоре, однако, Григорьев женился и, чтобы содержать семью, стал преподавать в средних школах. В Петербурге он считался лучшим преподавателем физики, а его учебник, заменивший устаревшего Краевича, приобрел всероссийскую известность и, если не ошибаюсь, до сих пор принят в средних школах СССР.

Г.М. был не только талантливым педагогом, он вообще был талантливым человеком. Никогда не учившись рисованию, писал картины масляными красками, пел романсы красивым бархатным баритоном, был остроумным собеседником и художественным рассказчиком. А если прибавить ко всем этим качествам красивую интересную наружность (мы его называли Зигфридом), то станет понятным, что он без труда одерживал победы над сердцами как

своих коллег женского пола, так и учениц старших классов, от которых часто получал любовные записки. Сам он был мало влюбчив и тяготился окружавшей его атмосферой влюбленности. Но пришла и для него пора любви.

Со своей будущей женой он познакомился в школе для рабочих на Шлиссельбургском тракте, которой она заведовала. Небольшого роста, с кудрявыми, стриженными по-мужски волосами и с умным энергичным лицом, по виду она напоминала нигилистку 60-х годов. Носила косоворотые блузки, не признавала обязательных тогда корсетов и вообще манерой себя держать и разговаривать более была похожа на мужчину, чем на женщину. Была она уже не первой молодости (старше него на 12 лет), и в ее каштановых кудрявых волосах появлялись серебряные блестки.

Разница лет, существовавшая между супругами, с годами стала еще более заметной. Он был на редкость моложав. Свежий, румяный, без признаков седины в его белокурых с рыжинкой волосах. Она – совсем седая, с морщинистым лицом. Только умные карие глаза долго сохраняли молодой блеск, а добрая улыбка обнаруживала нетронутые ряды крепких блестящих зубов. Но что значит разница лет при беспредельной духовной близости! Через 15 лет супружеской жизни, когда ему было 45, а ей под 60, они так же любили друг друга, как и в первый год женитьбы.

Для меня память о моем друге меньше всего связана с его педагогическими успехами. Я вспоминаю о нем, как об одном из лучших людей, которые встречались на моем жизненном пути, а его семью – как семью образцовую, крепко сплоченную взаимной любовью и взаимным уважением. И хотя я был дружен с Г.М. Григорьевым в течение ряда лет до его женитьбы, но я не могу восстановить его образа вне его семьи, без верной спутницы его жизни – Евгении Валентиновны и без двух милых девочек – Наташи и Тани.

Отличительной особенностью обоих супругов была исключительная честность и правдивость, делавшая их иногда резкими в отношении к посторонним людям. Их слово не расходилось с делом. Убежденные демократы, они строго проводили демократизм в своей личной и семейной жизни. Много лет прожили, не обзаводясь мягкой мебелью, и лишь тогда, когда он по болезни, а она из-за возраста стали нуждаться в домашнем отдыхе, их мебель отяготилась оттоманкой и парой глубоких кресел. А письменного стола он так себе и не завел, довольствуясь простым столом, вроде кухонного, за которым занимался. Он имел хорошие заработки благодаря множеству уроков в гимназиях и раскупавшемуся учебнику, но лишние деньги у Григорьевых не держались и шли либо на общественные дела, либо на частную помощь нуждающимся друзьям. Самая большая роскошь, которую они себе позволили в жизни, – это приобретение в Финляндии маленького кусочка

земли. Там они построили себе домик и каждое лето проводили в нем каникулы.

Своих девочек Григорьевы обожали, и те им отвечали такой же любовью. С самых малых лет девочки привыкли видеть в родителях своих старших друзей, с которыми они были абсолютно откровенны. Ни обмана, ни лицемерия не было в этой образцовой семье, никаких условностей или лжи. Говорилось то, что думалось, делалось то, что говорилось. Бывая у них, я всегда испытывал ощущение какого-то особого радостного уюта.

Григорьевы, как муж, так и жена, были по преимуществу культурными деятелями и в этом отношении отличались от большинства левой русской интеллигенции, для которой политика была на первом плане. Но цельности усвоенных ими убеждений мог бы позавидовать любой профессиональный политик. Думаю, что многие из их друзей и знакомых, а также из многочисленных его и ее учеников и учениц с благодарностью вспоминают о их благотворном влиянии.

Г. М. умер в 1915 году, 48 лет, от припадка грудной жабы. Его старенькая жена пережила его и дожила до первых лет революции. Теперь ее уже нет в живых. А обе дочери их живы. Насколько знаю, живут по-прежнему в Петербурге. Они остаются мне близкими, и я совершенно уверен, что, несмотря на все, что было пережито ими в советской России за истекшие 20 лет, в них сохранилась старая моральная закваска, заложенная в них их родителями.

В 1910 году я был избран в члены центрального комитета кадетской партии и благодаря этому в течение последующих семи лет принимал близкое участие в текущей политической жизни. Так как все члены центрального комитета входили по должности в состав парламентской фракции партии Народной Свободы, то я постоянно участвовал во фракционных заседаниях, на которых решались вопросы парламентской политики и тактики. Кроме того, несколько лет подряд я состоял товарищем председателя петербургского комитета нашей партии, председателем которого был М.М. Винавер. Таким образом, значительная часть моих свободных вечеров уходила на партийные дела.

Вспоминая теперь этот период моей жизни, я думаю, что время, отданное мною партийным заседаниям, которые для меня, редко выступавшего с речами, заключались в выслушивании умных или глупых мнений, я мог бы провести много продуктивнее, занявшись каким-либо культурным делом. Но я, подобно большинству современных мне так называемых общественных деятелей, страдал гипертрофией политических эмоций. Тогда казалось, что принимаешь участие в крупных событиях, какими представлялась борьба левого сектора Думы с правительством. Теперь же, на фоне происшедшего впоследствии, понимаешь, как все это было малосущественно. И не мудрено, что почти все, что говорилось на заседаниях, что волновало, вызывало страстные споры, в настоящее время совершенно мною

забыто. Много ненужных волнений всегда вызывали зигзаги политической тактики нашего лидера, П.Н. Милюкова. Так, огромное возбуждение вызвала речь, произнесенная им во время его поездки в Англию, в которой он счел нужным подчеркнуть монархическую позицию своей партии, заявив, что является представителем оппозиции не "его величеству", а "его величества".

Эта формула была совершенно неверна, ибо, при отсутствии парламентаризма в России, всякая оппозиция правительству являлась вместе с тем "оппозицией его величеству". Но, независимо от этого, речь Милюкова вызвала страстные нападения на партию в левых общественных кругах, упрекавших его в измене освободительному движению, а равно и большое смущение внутри самой партии, большинство которой хотя и мирилось с монархическим режимом, но совершенно не желало подчеркивать принципиальность своего монархизма. Бестактная фраза Милюкова об "оппозиции его величества" около двух лет фигурировала на всех митингах и собраниях и, вероятно, отвлекла от кадетской партии немалое число голосов при выборах в 4-ую Думу.

Партия Народной Свободы имела в своем составе многих выдающихся людей. Ни одна русская политическая партия не могла конкурировать с нашей в этом отношении, а в ее центральный комитет попадали наиболее блестящие и талантливые люди из профессоров, земских и городских деятелей и т.д. Провинциалов в ЦК было мало. Большинство составляли петербуржцы и москвичи. Среди петербуржцев кадеты левого направления (точнее – настроения) были в меньшинстве, преобладали так называемые центральные кадеты, всегда дружно поддерживавшие Милюкова, и более правые. В Москве, наоборот, господствовали левые кадетские настроения, и только Маклаков и, пожалуй, еще Челноков составляли там оппозицию справа. Так как пленарные и экстренные заседания ЦК происходили обыкновенно в Петербурге и москвичи редко появлялись на них в большом количестве, то нередко принятые решения вызывали негодование москвичей. Но внутрипартийные бури всегда кончались благополучно благодаря авторитету Милюкова и его умению находить примиряющие словесные формулы, дававшие удовлетворение оппозиции, но не мешавшие ему вести свою линию.

Здесь уместно сказать несколько слов об этом замечательном человеке, политическая деятельность которого в течение 12 лет проходила перед моими глазами.

Я считаю П.Н. Милюкова одним из самых выдающихся людей своего времени. К сожалению, он, как и большинство русских интеллигентов конца XIX начала XX века, придавал политической работе больше значения, чем она заслуживала, а потому, имея все данные для того, чтобы сделаться крупным ученым, стал профессиональным политиком. Наука, которой он посвятил годы своей

юности, впоследствии из главного его занятия превратилась в подсобное. И все-таки в числе русских историков он занял видное место. Природа наградила Милюкова всеми ценными для научной деятельности качествами: строго логическим умом, феноменальной памятью, исключительной трудоспособностью, умением ясно и убедительно излагать свои мысли устно и письменно, наконец, глубоким активным интересом ко всем областям знания. Познания его (когда я пишу эти строки, Милюков, хотя глубокий старик, еще жив) огромны, способности совершенно недюжинные. Достаточно сказать, что он походя научился объясняться почти на всех европейских языках, не исключая испанского, шведского, греческого, турецкого, и свободно на них читает. Человек холодный, рассудочный, не склонный к аффектам, он обладает ценнейшим для историка свойством — полным беспристрастием и объективностью в оценке событий. Все эти свойства, конечно, ценны и для политика. А если к ним прибавить огромную силу воли, смелость и пренебрежение к опасностям, то становится понятным, что он сделался крупным политическим деятелем и признанным лидером партии, которую в значительной степени сам создал и про которую он с полным правом мог бы сказать: "Кадетская партия — это я".

Но у Милюкова-политика были и очень крупные недостатки. Если холодная рассудочность для ученого является при всех обстоятельствах огромным плюсом, то для политика ее гипертрофия становится минусом, в особенности в периоды смутного времени, когда крупную роль в государственной жизни играют человеческие страсти.

С его кипучей энергией, обширными знаниями, трудоспособностью и с ясным пониманием социально-исторических процессов, Милюков был бы прекрасным премьер-министром английского конституционного правительства и руководителем внешней и внутренней политики конституционной Англии, оставив потомству не только свое историческое имя, но и глубокий след от своей плодотворной работы. В России же ему пришлось заниматься политикой в период назревания двух революций и их взрывов. И вот, пользуясь огромным личным авторитетом и влиянием, этот крупнейший человек не был в состоянии повлиять на происходившие события, ибо не ощущал биения горячечного пульса своей страны и не обладал необходимой для политика революционного времени интуицией. Был рабом своей логики, игнорируя психологию людей, которыми руководил или пытался руководить. Поэтому, ясно понимая прошедшее и верно прозревая будущее, часто не умел ориентироваться в настоящем.

С юности выработав себе прочное мировоззрение и в соответствии с ним построив свои политические идеалы, он всю жизнь честно стремился к их достижению, но его холодный ум не только не был в состоянии увлекаться иллюзиями, которыми увлекались

другие, но с этими увлечениями он попросту не считался. Он шел к своим целям теми путями, которые подсказывались ему оценкой объективного положения вещей и исторических фактов и которые были бы вполне правильны, если бы часто не находились в противоречии с преобладавшими настроениями общества и народа, считаться с которыми он не умел и не хотел.

В связи с тем, что перемены во внешней политической обстановке происходили в бурный период начала XX века быстрее, чем перемены в народной психологии, находились и резкие зигзаги его политической тактики. Революционер в 1905 году и строгий монархист-конституционалист с 1906 по 1917 г.; сторонник войны с Германией "до победного конца" с 1914 по 1917 г. и сторонник "германской ориентации" в 1918 г.; участник Белого движения во время гражданской войны и решительный противник его в эмиграции; проповедник военной диктатуры, отрицавший какие-либо соглашения с левыми в России с 1918 по 1920 г., противник уфимской Директории и Учредительного собрания, а в 1921 году участник воссоздания Учредительного собрания в Париже, принципиально отвергавший всякую диктатуру в любой стране и при любых обстоятельствах, непримиримый республиканец и демократ.

Только люди, хорошо знавшие Милюкова, понимали, что все эти резкие изменения его политики не находятся в противоречии с основными его убеждениями и являются лишь тактическими приемами на пути к достижению неизменных для него политических целей. Большинство оценивало его как оппортуниста, менявшего свои взгляды применительно к обстоятельствам. Отсюда не только атмосфера острой ненависти, с которой относились к нему многочисленные противники справа и слева, попеременно бывавшие его союзниками, но и совершенно несправедливое и незаслуженное неуважение к этому во всяком случае честному политическому деятелю, бескорыстно отдавшему весь запас своих огромных сил и дарований служению своей родине и своим идеалам. Нужно добавить, что перемены в своей политической тактике Милюков проделывал с чрезвычайной резкостью и бестактностью, не щадя самолюбия своих вчерашних друзей и не считаясь с господствующими политическими настроениями, и поэтому вполне справедливо заслужил ироническое прозвище "бога бестактности".

Считая себя реальным политиком, он во всех своих политических зигзагах исходил из соображений о том, в чем в данный момент нуждалась Россия. И соображения эти были вполне логичны. Но политика – не шахматная доска, на которой бездушные деревянные фигурки двигаются исключительно по воле игроков. И строго обдуманные шахматные ходы Милюкова сплошь да рядом оказывались неудачными вследствие сопротивления одушевленных фигурок.

Вся конституционная тактика Милюкова, при помощи которой он рассчитывал принудить правительство к уступкам, ни к чему не привела, ибо конституционный монарх Николай II продолжал считать себя самодержцем. Последним усилием Милюкова на пути его конституционной борьбы был созданный по его мысли прогрессивный блок. Но, оказавшись бессильным в конституционной борьбе, прогрессивный блок, невольно втянутый в борьбу с монархом, сделался одним из факторов революции, которую его создатель и лидер хотел предотвратить. Овладение проливами, соединяющими Черное море с Средиземным, было жизненной задачей для России. Милюков был прав, ставя эту задачу одной из целей вспыхнувшей мировой войны. Но он продолжал настаивать на этой цели в качестве министра иностранных дел во время революции, когда русская армия была уже не способна продолжать войну. Между тем, следствия его патриотического упорства были печальны: ему самому пришлось уйти из состава Временного правительства, а его иностранная политика дала благоприятную почву для демагогической пропаганды большевиков против войны и "империалистической буржуазии". И далее, во время гражданской войны, он поддерживал диктатуру Деникина, которая гибла от внутреннего разложения, вел переговоры с немцами об оккупации русских столиц перед полным разгромом немецких армий, а за границей образовал эмигрантскую республиканско-демократическую группу, совершенно чуждую психологии как большинства русской эмиграции, так и настроениям выросшей в России под властью большевиков молодежи.

Понятно, что этот крупнейший человек и дальновидный политик в течение своей полувековой политической деятельности систематически терпел неудачи. Русская жизнь с ее кипучими страстями постоянно выбивалась из рамок его политических расчетов...

Я высказал свое мнение о Милюкове-политике, но затруднился бы дать его образ как человека, ибо, несмотря на то, что наше знакомство длится уже более тридцати лет и что в последние семь лет моей петербургской жизни я с ним постоянно встречался на всевозможных партийный заседаниях и совещаниях, личных отношений у меня с ним не было.

С другими членами кадетского ЦК у меня тоже мало завязалось очень близких отношений (лишь со времени гражданской войны я интимно сошелся с П.П. Юреневым, Н.И. Астровым и С.В. Паниной), но все-таки давнее знакомство создавало какую-то личную связь. При встречах после долгой разлуки, например, с Винавером, Шингаревым, Петрункевичем, Родичевым и другими, мы всегда расспрашивали друг друга не только о политических событиях, но также о частной и семейной жизни, как это водится между добрыми знакомыми. Я знал, что для них я не только

партийный товарищ, но и человек. И я всегда себя чувствовал с ними просто и естественно. В общении же с Милюковым я ощущал какую-то натянутость и неловкость, так как для меня было совершенно ясно, что мною, как человеком, он совершенно не интересуется.

Холодность Милюкова я особенно ярко почувствовал, когда в первый раз встретился с ним в эмиграции. Перед этой встречей мы не видались более двух лет, полных для меня самых трагических переживаний. И я невольно испытывал волнение в ожидании свидания с ним. А он встретил меня так, как будто мы виделись вчера: сухо протянул мне руку, сказал "здравствуйте" и стал разговаривать со мной на темы дня.

На своем веку я много встречал холодных людей, но они обычно старались скрыть этот свой эмоциональный недостаток за внешней любезностью и обходительностью. В этом отношении Милюков был честнее. Но откровенная холодность Милюкова парализовала всякое чувство личной к нему симпатии и любви. Да он в них и не нуждался.

В ЦК кадетской партии не существовало определенных политических подразделений, но условно все же можно было установить три группы – небольшую правую группу, состоявшую преимущественно из петербуржцев и немногих москвичей (Вернадский, Ольденбург, Маклаков, Челноков, В. Гессен, Новгородцев, Изгоев, Гредескул, Протопопов, Соколов и др.), обширный центр (Милюков, Шингарев, Петрункевич, Кокошкин, Набоков, Родичев, И. Гессен, Степанов, кн. Павел Долгоруков, Корнилов, Демидов и др.) и довольно многочисленную левую группу, к которой можно причислить большинство москвичей, почти всех провинциалов и лишь отдельных петербуржцев (Винавер, Некрасов, Колюбакин, кн. Шаховской, Астров, Тесленко, Юренев, Щепкин, Григорович-Барский и др.). В левой группе было маленькое наиболее радикальное крыло (Некрасов, Колюбакин, Григорович-Барский), к которому и я себя причислял и которое по своим настроениям примыкало к более левым кругам русской общественности.

У меня лично было всегда больше друзей среди левых, чем среди кадетов, но внутри кадетской партии наибольшими моими симпатиями пользовались как раз не крайние левые. Наиболее мне были симпатичны из правых кадетов Вернадский и Вл. Гессен, из центра – Шингарев, Кокошкин, Родичев и Корнилов, из левых – Шаховской, Астров и Юренев. Наоборот, признанный лидер радикальной группы Некрасов мне никогда не внушал большого доверия.

Ввиду крупной роли, которую Некрасову пришлось играть во Временном правительстве, считаю нужным дать несколько штрихов его характеристики. С Некрасовым я познакомился в Крыму, на местном партийном съезде, перед созывом первой Государственной

Думы. Сын петербургского протоиерея, блестяще окончив институт путей сообщения, он тогда только что был назначен профессором томского политехникума. Впоследствии от его бывших товарищей по институту я узнал, что во времена студенчества он не только не проявлял никакого радикализма, но принадлежал к группе студентов весьма правых политических настроений.

В Крым Некрасов попал случайно, привезя в Ялту свою больную жену, и задержался там из-за революционных событий. В Ялте он записался в кадетскую партию, сразу выдвинулся на первые роли, попал на губернский съезд партии и был выбран одним из делегатов на всероссийский ее съезд, созванный в Петербурге за несколько дней до открытия Думы. Молодой, энергичный, румяный, как кровь с молоком, с красивыми, несколько мистическими, синими глазами, обладавший даром слова, он легко покорял не только женские сердца, но производил обаятельное впечатление и на мужчин искренним тоном своих речей и добродушной простотой обращения.

Уже на кадетском съезде он обратил на себя внимание своими левыми речами, несколько демагогического характера. Настроение большинства членов съезда перед первой Думой было боевое и левые речи дотоле никому неизвестного молодого человека покрывались бурными аплодисментами. Было ясно, что он скоро выдвинется в первые ряды партии. Так оно и случилось. Через полтора года Некрасов был выбран членом Думы от Томской губернии и занимал депутатское кресло в течение 10 лет до революции 1917 года, состоя одновременно членом ЦК партии.

Наше знакомство с Некрасовым, начавшееся еще в Крыму, продолжалось и в Петербурге. Я бывал у него, познакомился с его умной и симпатичной второй женой, но чем больше я его узнавал, тем меньше он внушал мне симпатии. Под личиной его внешнего добродушия и даже некоторой слащавости чувствовался внутренний холод и двоедушие алчного карьериста, каковым, как мне кажется, он и был.

Чрезвычайно характерна для него двойственная тактика, которую он применял, когда был депутатом: на заседаниях фракции и ЦК был лидером радикальной оппозиции, отчасти открыто, отчасти в частных беседах постоянно нападая на Милюкова за его умеренность, а в Думе выступал исключительно по деловым вопросам, избегая в своих речах всякой политической заостренности в правую или левую сторону. Это давало ему возможность одновременно слыть умеренным в правых кругах Думы и тайным революционером в левых ее кругах.

Политическую карьеру он делал быстро. В 30 лет был товарищем председателя думской кадетской фракции, имевшей в своем составе много видных политических деятелей, а в 35 был избран товарищем председателя Государственной Думы.

Выдвинув его на этот высокий политический пост, Милюков избавился от беспокойного противника внутри партии, ибо Некрасов, заняв место на председательской трибуне, сразу поправел.

Неизвестно, чем кончилась бы карьера Некрасова, если бы не произошла революция. Вероятно, тем или иным способом он достиг бы министерского поста. Сам он делал ставку на дворцовый переворот, приняв участие с Гучковым и с Терещенко в заговоре против царя.

Революция ускорила его блестящую карьеру, но и приблизила ее конец. Исключительно умный и способный человек, Некрасов не имел достаточно широкого образования для того, чтобы стать политическим вождем в трудное революционное время. Помню, как я был поражен, когда он, уже будучи членом Государственной Думы, как-то в разговоре со мной обнаружил полное незнакомство с программами социалистических партий, так что мне пришлось объяснять ему разницу между социалистами-революционерами и социал-демократами.

Быстро ориентируясь в политической обстановке, он умел ловко лавировать между борющимися партиями и группами, прибегая то к демагогии, то к интриге. Легкая интуиция заменяла ему глубокое понимание исторических и социальных процессов, и в этом отношении, как политик, он был антиподом Милюкова.

Скользя по поверхности политической жизни, Некрасов, подобно ловкому игроку, делал ставку на "фаворитов". В революционное время, когда фавориты часто сменяют одни других, такая игра рискованна. Поняв безнадежность кадетских позиций, он свою судьбу соединил с Керенским, но не успел перескочить к Ленину.

Мне передавали, что, оставшись в России, он делал попытки восстановить свою карьеру в хозяйственных органах советской власти, но большевики ему не доверяли.

Большинство других видных членов кадетской партии я уже характеризовал выше, когда писал о своем участии в земских съездах и в первой Государственной Думе. Скажу лишь несколько слов об А.И.Шингареве, с которым несколько ближе познакомился в последние до революции годы благодаря тому, что наши сыновья учились вместе в частной гимназии Лентовской.

Шингарев сам запечатлел свой благороднейший внутренний облик в дневнике, который он вел, сидя в Петропавловской крепости и который был опубликован после его трагической смерти. У меня же осталось воспоминание о нем не только как о выдающемся общественном и политическом деятеле, но и как о человеке безукоризненной честности и высокой марали. Он был моим сверстником, т.е. принадлежал к поколению, вступившему в общественную жизнь в конце 80-х годов, но по духу был больше меня связан с народнической идеалистической интеллигенцией 70-х годов. В зрелых годах, как и в юности, основным стимулом

его деятельности было чувство долга по отношению к своему народу, служить которому, игнорируя собственные интересы, он считал своей основной обязанностью. Блестяще окончив медицинский факультет московского университета, Шингарев отказался от открывшейся перед ним научной карьеры, взяв место земского врача в глухой провинции, а затем специализировался на земской санитарии и вскоре приобрел заслуженную известность своими работами в этой области.

Мировоззрение Шингарева, его социально-политические идеалы и среда провинциальной интеллигенции, в которой он вращался, – все это объединяло его с социалистическими народниками, но, ощущая органическое отвращение ко всякому насилию, он был принципиальным противником революционных методов политической борьбы. Это обстоятельство и привело его в кадетскую партию, в рядах которой, отстаивая умеренную, строго конституционную тактику, он одновременно являлся всегда сторонником радикальных экономических и финансовых реформ.

Избранный депутатом 2-ой Государственной Думы от Воронежской губернии, Шингарев сразу выдвинулся своими речами и работой в первые ряды кадетской партии и в последующие две Думы уже проходил в числе ее кандидатов от Петербурга. В течение 10 лет он состоял членом ЦК партии и товарищем председателя ее думской фракции.

Шингарев, конечно, был человеком умным, но далеко не выдающимся по своему уму, которому не хватало творческой яркости и оригинальности. Среди членов кадетского ЦК было немало людей умственно более крупных. Но он обладал блестящими способностями, мог работать по 24 часа в сутки и имел дар просто, гладко и убедительно говорить. Таких способных и одновременно трудоспособных людей я редко встречал в своей жизни. Благодаря своим способностям и трудолюбию врач Шингарев, сделавшись депутатом, превратился в специалиста по экономическим и финансовым вопросам. Настоящие финансисты скептически относились к думским выступлениям Шингарева против финансовой политики правительства. Вероятно, они были правы. И тем не менее удивительно, что он так быстро сумел ориентироваться в чуждой ему области государственного хозяйства и что с его мнением приходилось считаться и Думе, и правительству.

Если в вопросах государственного хозяйства Шингарев пользовался в своей партии значительным влиянием, то в области общей политики он всецело подчинялся Милюкову, который подавлял его силой и ясностью своего ума, ученым авторитетом и определенностью политических позиций. Милюков мог быть всегда уверен в поддержке Шингарева, который никогда почти с ним не расходился во мнениях. В кадетской фракции Милюкова в шутку называли "папой", а Шингарева "мамой". Названия – чрезвычайно

меткие. "Папа" и "мама" удивительно друг друга дополняли, ибо Шингарев обладал свойствами, недостававшими Милюкову: его все любили и уважали, а в речах его было всегда столько искренности и подлинного чувства, что, отстаивая мысли Милюкова, он оказывался более убедительным, чем их рассудочный автор.

В частной жизни Шингарев был чрезвычайно добрым и отзывчивым человеком, готовым всегда помочь всякому, кто к нему обращался. Был он и прекрасным семьянином. Семья Шингаревых, состоявшая из родителей и пятерых детей, была крепко спаяна. Во время революции на Шингарева обрушился целый ряд несчастий: умерла сестра его жены, оставившая на его попечении и содержании четырех детей, а вскоре заболела и умерла жена. Смерть жены была для него страшным ударом. Он сразу как-то осунулся, постарел и сам стал хворать припадками печени. Между тем в качестве министра Временного правительства ему приходилось нести непосильную работу, осложнявшуюся политической борьбой и революционным хаосом. Жалко было смотреть на этого благороднейшего человека, больного душой и телом, через силу исполнявшего свой долг перед родиной. Как известно, эта трагическая жизнь закончилась трагической смертью. Смерть избавила его от еще более тяжких переживаний. Шингарев принадлежал к категории русских людей, для которых Россия больше, чем родина. Как рыба без воды, эти люди не могут жить вне России, они просто задыхаются на чужбине (к такому разряду людей принадлежал и покойный А.В.Пешехонов). Я просто не могу себе представить Шингарева в эмиграции. А затем ему пришлось бы пережить новые семейные несчастья. Один из его двух сыновей погиб во время гражданской войны, а другой сидит во Франции в сумасшедшем доме и, по мнению врачей, не имеет шансов из него выйти...

В центральном комитете кадетской партии были люди мне лично симпатичные и антипатичные, но большинство из них были прежде всего людьми идейными, у которых личные карьерные или материальные интересы стояли на втором плане.

Совсем в другом стиле были петербургские члены партии, с которыми мне приходилось иметь дело в качестве товарища председателя петербургского партийного комитета. Преобладали среди них представители преимущественно еврейской буржуазии — гладкие мужчины с массивными золотыми цепочками на животах и стареющие дамы с бриллиантовыми кольцами. Кадетская партия в известном условном смысле была партией буржуазной, но в провинции и в Москве состав ее был преимущественно демократическим (в Москве, например, в ней участвовало много приказчиков) и только в Петербурге она была действительно "буржуазной" по своему составу и по духу. И я всегда себя чувствовал плохо среди этих вылощенных самодовольных людей, с хвастливой гордостью пожимавших руки партийным знаменитостям — Милюкову, Винаверу,

Родичеву и др. и говоривших им льстивые слова. В петербургском комитете партии было мало симпатичных мне людей. Из этих немногих особенно памятен мне очень умный и благородный А.Н. Быков, впоследствии расстрелянный большевиками, и милейшая, добрейшая Ольга Константиновна Нечаева с большими лучистыми голубыми глазами. Это была женщина, полная энергии, отдававшая все свое время общественной деятельности. Была она председательницей всевозможных культурных и благотворительных учреждений Петербурга и неизменным членом петербургского комитета кадетской партии, преданная ее идеям, преклонявшаяся перед ее вождями и своим организационным талантом много содействовавшая ее успехам в столице. Эта немолодая уже женщина (ей было лет за пятьдесят) сохраняла юношеский пыл и какую-то милую наивность по отношению к людям и событиям.

Период времени, который я описываю, ознаменовался в России одним новым общественным явлением: после перерыва в три четверти века снова возникло русское масонство. Зимой 1910-1911 года стал масоном и я.

Как известно, всякий человек, вступающий в масонскую ложу, дает обещание хранить в тайне все, что он увидит и узнает в масонстве, и, хотя за время моего шестилетнего пребывания в этой организации я никаких особых "тайн" не узнал, все же не считаю себя вправе, ввиду данного обещания, рассказывать ни о лицах, состоявших масонами, ни о том, что мы обсуждали на масонских собраниях. Однако думаю, что не погрешу против этики, если сообщу кое-что не из того, что было, а из того, чего не было.

Написать о том, чего не было, я даже чувствую себя обязанным, желая рассеять некоторые легенды, прочно установившиеся в довольно широких кругах. Я знаю, что тех, кто не может жить без веры в разные таинственные оккультные силы, я не переубежу, но надеюсь, что кое-кто все-таки поверит моим утверждениям о том, "чего не было", тем более, что здесь мною написанное если будет опубликовано, то во всяком случае после моей смерти.

В русском масонстве я занимал достаточно влиятельное положение: был председателем одной из петербургских лож; регулярно выбирался делегатом на областные и всероссийские конвенты; на всероссийских конвентах три года подряд избирался одним из трех выборщиков Верховного совета, которым председатели лож сообщали имена всех масонов по их первому требованию; два года был членом петербургского областного совета и его секретарем, в качестве какового находился в сношениях со всеми ложами Петербурга; наконец, три года состоял членом Верховного совета, руководившего всем русским масонством.

Пишу все это для того, чтобы было ясно, что я был некоторое время (с 1913 по 1916 включительно) в курсе всего, что происходило

в недрах русского масонства, и с полной компетентностью могу утверждать как то, что было, так и то, чего не было.

Прежде всего я хочу опровергнуть весьма распространенное мнение о связи с масонством большевиков. За шесть лет моего пребывания в масонстве был членом одной из масонских лож только один из партийных большевиков, да и тот настолько малоизвестный, что фамилия его не осталась в моей памяти.

Преобладающее влияние евреев в масонстве считается не подлежащим сомнению. Принято даже называть масонство "жидо-масонством".

О том, насколько многочисленны евреи в масонских ложах других стран, – мне не известно. Среди же русских масонов в предшествовавший революции период евреев было немного, хотя двери масонских лож для них, конечно, были открыты.

Я объясняю себе это тем, что в состав русского масонства вербовались преимущественно люди значительные, известные своим влиянием в различных кругах русского прогрессивного общества. Между тем, более видные евреи распределялись в этих кругах далеко не равномерно. Преобладающее влияние они имели главным образом в социалистическом секторе русской интеллигенции, в особенности среди социал-демократов, меньшевиков и большевиков. А эти политические течения относились отрицательно ко всем видам объединения с буржуазной демократией, в том числе и к масонству. Из большевиков состоял в масонстве, как я упомянул уже, лишь один второстепенный член партии, что касается меньшевиков, то их было больше, но тоже немного. В этом, как я полагаю, заключается основная причина малочисленности евреев в русском масонстве. В частности, в Верховном совете, в период моего трехлетнего в нем пребывания, насколько помню, не состояло ни одного еврея. Таким образом, о руководящем влиянии евреев не могло быть и речи.

В правых кругах, как в России, так и в эмиграции, никто не сомневался в принадлежности к масонству П.Н.Милюкова, и его влияние на русскую политическую жизнь склонны были приписывать его "жидо-масонским" связям. Между тем П.Н.Милюков никогда не состоял в масонской организации. Само собой разумеется, что масоны неоднократно делали попытки привлечь в свою организацию этого выдающегося человека, но все эти попытки встречали с его стороны самый решительный отпор. Он не только не принимал участия в русском масонском движении, но относился к нему отрицательно.

Совершенно неверно утверждение, будто революция в России подготовлена была масонами. Среди масонов были, конечно, люди, желавшие революции и занимавшиеся революционной пропагандой, но много было и ее противников. Большинство, к которому и я принадлежал, во всяком случае, отвергало революцию во время войны. Таким образом, масонство в целом не могло содействовать

революции. Но если масоны не вызвали революцию, то, может быть, они использовали ее в каких-то своих целях? На этот вопрос тоже приходится ответить отрицательно.

Революция не сплотила русское масонство, а наоборот его разложила.

Незадолго до революции я выбыл из состава Верховного совета, а потому его деятельность во время революции мне неизвестна. Однако, зная приблизительно его состав, я представляю себе, что он не мог играть крупной роли в революционных событиях, ибо в него входили члены разных боровшихся между собой политических партий, спайка с которыми оказалась гораздо сильнее масонского "братства". Вражда между "братьями" в это время была настолько сильна, что я, например, состоя председателем одной из петербургских лож, не мог созвать после февральского переворота ни одного ее собрания, ибо члены моей ложи просто не могли бы сесть за общий стол. В других ложах, вероятно, происходило то же. Ко времени большевистского переворота и гражданской войны русское масонство фактически перестало существовать.

В Париже, как известно, много русских эмигрантов вступило во французскую масонскую организацию. Вошли в нее и некоторые из бывших русских масонов. Я знаю, однако, несколько видных членов бывшего Верховного совета, которые по разным причинам не захотели вновь стать масонами. Мне тоже предлагали вступить в парижскую масонскую ложу, но я по ряду принципиальных соображений, о которых не буду распространяться, эти предложения отклонял. Масоном, следовательно, не состоял с 1917 года.

В моей петербургской общественной жизни в последние перед войной годы довольно видное место занимало участие в делах Вольного Экономического Общества. В 1910 году, когда я вернулся в Петербург после четырнадцатилетнего отсутствия, Вольное Экономическое Общество уже пережило период бурь. Завоеванное в 1896 году петербургской радикальной интеллигенцией, оно тогда было единственным местом, где можно было сравнительно свободно говорить. И оно бурлило политическими страстями. В маленьком зале, битком набитом учащейся молодежью, происходили тогда бои между народниками и марксистами. В его стенах заседал закрытый правительством за неблагонадежность Комитет грамотности, а на съездах земских статистиков революционеры всех оттенков конспиративно вербовали членов в свои организации. Уже после моего отъезда из Петербурга, во время революции 1905 года, в скромном зале общества, в котором со времени Екатерины Великой и до конца XIX века выступали с солидными докладами делавшие карьеру сановники, водворился Совет рабочих депутатов, пытавшийся диктовать свою волю растерявшемуся правительству. В то время, которое я описываю, революционные бури миновали. Свободное слово не нуждалось в тесном зале Вольного Экономического

Общества, проникнув в печать и на трибуну Государственной Думы. Устраненное новыми условиями от непосредственного участия в политической борьбе, общество постепенно становилось тем, чем было раньше, т.е. научно-просветительным учреждением. В стенах его стало тихо. На заседаниях читались научные и полунаучные доклады, которые затем печатались в его "Известиях", происходили спокойные прения, но широкая публика, мало интересующаяся вопросами экономики и хозяйства, его почти не посещала. По правде сказать, вернуть общество к научно-общественной работе не удалось. Ученые, прежде принимавшие в нем участие, испугавшись вторгшейся в него политики, из него ушли и не вернулись, а в составе его правления преобладали люди, мало имевшие общего с наукой. Правда, президентом его был европейский ученый М.М. Ковалевский, а председателем 3-го экономического отделения проф. Туган-Барановский; были еще среди его членов 2-3 молодых ученых, но главное руководство делом находилось в руках общественных деятелей, интересовавшихся главным образом вопросами общей политики, а при выборах в правление члены общества руководствовались, по старой памяти, преимущественно политической физиономией кандидатов.

Так и я, имея лишь стаж земского статистика и автора очерков о хуторской России, незаслуженно попал в товарищи председателя экономического отделения. Так как председатель его М.И. Туган-Барановский в это время мало интересовался делами общества и редко его посещал, то на меня выпала обязанность подыскивать докладчиков и председательствовать на заседаниях экономического отделения.

Скромной работой Вольного Экономического Общества продолжали руководить те люди, которые некогда вели в его стенах сомкнутым строем борьбу против старого режима. Правительство не могло с этим примириться. И борьба между ним и обществом продолжалась. Но теперь нападающей стороной были не мы, а правительство Столыпина, придиравшееся ко всяким мелочам и стремившееся изменить устав общества так, чтобы парализовать влияние левых общественных деятелей. Нам приходилось защищаться.

Совет общества часто собирался на квартире своего президента, благодушного М.М. Ковалевского, обсуждая план самозащиты в отстаивании прав, дарованных этому старому учреждению императрицей Екатериной II. Эти заседания совета затягивались до поздней ночи, так как милейший и ученейший Максим Максимович совершенно не умел председательствовать. Вместо того, чтобы руководить прениями, он сам начинал разговоры на посторонние темы. При этом говорил всегда интересно, и мы невольно отвлекались от главного предмета наших суждений.

Покладистый и уступчивый, М. М. всегда добросовестно исполнял возлагавшиеся на него советом поручения, ведя ответственные

переговоры с министрами, но, бесхитростный по натуре и непрактичный, вел их неудачно, а затем добродушно выслушивал упреки со стороны членов совета.

Главная работа в Вольно-Экономическом Обществе лежала на его секретаре – В. Я. Яковлеве, более известном по своему литературному псевдониму – Богучарский.

О нем я хочу сказать несколько слов. Мое знакомство с ним началось в 1896 году, в Смоленске, где он в это время, вернувшись из ссылки, редактировал местную газету "Смоленский Вестник". Вместе с Кусковой, Прокоповичем и другими марксистами и полумарксистами он остался внепартийным. Богучарский много сотрудничал в современных изданиях и приобрел известность как историк русского революционного движения. Но мне дорога память о нем как о честном, необыкновенно благородном и отзывчивом человеке и как об одном из последних могикан старой идеалистической русской интеллигенции. Умер он незадолго до революции в 1917 году, не пережив тех разочарований, которые выпали на долю его сверстников и единомышленников.

Итак, с 1910 г. я снова влился в общественную и политическую жизнь Петербурга, возобновив старые знакомства и заведя новые. Но с той средой, с которой я был связан родственными связями, со средой петербургской аристократии, я имел мало общего. С людьми из так называемого "высшего общества" я лишь изредка встречался в семье моей сестры, кн. Мещерской, с которой у меня сохранились прежние близкие отношения. Выйдя замуж за человека недалекого, но властного, она если не вполне усвоила его реакционные политические взгляды и приверженность к узкоцерковному православию, то во всяком случае постепенно подпала под его влияние. Однако нас связывало с ней глубоко проникшее в нас обоих моральное влияние нашей матери. Общность моральных эмоций сглаживала разницу наших убеждений. Я знал, что никогда не услышу от нее одобрения смертной казни, избиения студентов казачьими нагайками или преследования евреев, т. е. ничего такого, что политические разногласия людей осложняет взаимным моральным отталкиванием. Поэтому я хорошо себя чувствовал в ее обществе. С мужем ее у меня бывали неприятные столкновения, но ради нее мы старались по возможности не затрагивать в разговорах опасных для наших отношений тем. От встреч в гостиной моей сестры с ее ультраправыми знакомыми и родственниками я уклонялся, а сестра мне в этом помогала.

Изредка все-таки такие встречи происходили, и я получал тягостные впечатления от убожества мысли этих людей, считавших себя белой костью, убежденных не только в прочности, но и в справедливости сословно-самодержавного строя и считавших всех его противников коварными "жидо-масонами", а в лучшем случае (меня в том числе) – жертвами жидо-масонов, преследующих какие-то темные цели.

Среди петербургской бюрократии у меня тоже было мало знакомых. Зато круг моих знакомств в среде либеральной и радикально-социалистической интеллигенции был чрезвычайно обширен. Я знал лично почти всех выдающихся городских, земских и политических деятелей, писателей, ученых и людей разных свободных профессий. Продолжал иметь знакомства и среди революционеров всех оттенков, хотя более близкие связи с ними после революции 1905 года у меня порвались.

Но в среде русской столичной интеллигенции за время моей провинциальной жизни появились новые течения, к которым я уже пристать не мог, и благодаря этому, связанный общностью работы и идеологии со старшим поколением русской интеллигенции, я мало общался с ее более молодыми поколениями, идеология и вкусы которых слагались после революции 1905 года. И уже тогда, не достигши пятидесятилетнего возраста, я чувствовал себя среди столичной жизни несколько "старомодным" провинциалом. Так, мимо меня прошли новые движения религиозной мысли, выявлявшиеся на собраниях Религиозно-Философского Общества, которые я не посещал, хотя и был знаком с некоторыми его деятелями. Остался я в стороне и от новых течений в литературе, живописи и музыке. Я даже с раздражением относился к стихам Александра Блока, огромный талант которого теперь всецело признаю. И вся жизнь предреволюционной петербургской богемы с ее беспутными нравами, болезненно изощренным эстетизмом и с ночными кабаре, где подлинно талантливые люди объединялись с литературными и революционными авантюристами, мне совершенно не была знакома. Между тем, эта столичная богема, образовавшаяся после революции 1905 года и численно увеличивавшаяся в последующие годы, взрастила в известной части интеллигенции настроения, нашедшие богатую почву для своего применения в разрушительный период революции 1917 года.

В сущности, вне интересов семьи и статистической работы, которая заполняла значительную часть моего времени, я исключительно был занят вопросами текущей политической жизни.

Это был период усиления влияния на государственные дела Распутина, который находился в центре внимания всех слоев петербургского общества. Об его развратных оргиях, о светских дамах, которых он водил в баню, о предполагаемой связи его с императрицей и о странном влиянии на государя, о министрах, которых он третирует и которые исполняют все его прихоти и т. д., сначала полушепотом и конфиденциально, а затем все громче и громче говорили и в кулуарах Государственной Думы, и в аристократических салонах, и в богатых ресторанах, и в простонародных трактирах. Особенно волновалась придворная среда, где хорошо знали всех "распутинцев" и "распутинок" и где получались о Распутине самые достоверные сведения.

Муж моей сестры избегал со мной говорить о Распутине, явно компрометировавшем тот государственный строй, к которому он был привержен, но от сестры я слышал о смятении, которое вызывала его близость с царской четой в высшем петербургском обществе. Между прочим, сестра мне рассказала, как Распутин был у нее в гостях. Это было еще тогда, когда он только что появился в Петербурге в салоне графини Игнатьевой. Графиня и привела его к моей сестре, желая показать ей этого замечательного, мудрого и святого человека. Однако Распутин совершенно разочаровал мою сестру, очень чуткую ко всякой фальши. Как она мне рассказывала, он выпил у нее несколько стаканов чая, потел и важно изрекал какие-то бессвязные и бессмысленные фразы с набором церковнославянских слов. Она совершенно недоумевала потом, как этот полуграмотный мужик и явный шарлатан мог импонировать культурным людям, духовным и светским, из салона графини Игнатьевой.

Помню еще рассказ сестры о негодовании, вызванном в ее круге отставкой воспитательницы великих княжон Тютчевой. Рассказывали, что Распутин стал появляться в спальне царских дочерей, старшие из которых уже вышли из детского возраста. Однажды Тютчева застала его сидящим на кровати у одной из них. В негодовании она пошла к императрице и потребовала, чтобы Распутину было запрещено входить в комнату молодых девушек. В этом ей было отказано, и ей пришлось подать в отставку. О несуществовавшей в действительности любовной связи Распутина с императрицей, о которой говорилось везде и всюду, я никогда не слышал от моей сестры, но у меня составилось впечатление, что даже в ее круге, хорошо осведомленном о закулисной стороне придворной жизни, странное влияние неграмотного и развратного мужика на царицу объясняли тоже этим не высказывавшимся открыто предположением.

За 4 года, прошедших с моего возвращения в Петербург до начала войны, в моей личной жизни не произошло никаких особых событий. Выбитая из колеи революционными событиями 1904–1906 годов, она снова наладилась и текла гладко, без перебоев. Дети учились в гимназиях, а каникулы проводили в Крыму, где в имении моего тестя летом собиралось все его многочисленное потомство (семеро детей, зятья, невестки и шестнадцать внуков). Я тоже каждое лето выкраивал себе месяц отдыха в Крыму, что мне было легко делать, ибо, по роду своей работы, сам распределял свое время. За эти 4 года происходили в России крупные события и шла интенсивная политическая борьба, постепенно переходившая из борьбы левой общественности с правительством в борьбу всех порядочных людей против царя и его "распутинского" окружения. Все перипетии этой борьбы проходили перед моими глазами, волновали меня, возмущали,

приводили в уныние или радовали и обнадеживали, однако мало затрагивали мою личную жизнь. Я принадлежу к тому поколению русской интеллигенции, для которого критика старого режима, возмущение им и негодование на действия его агентов вошло в привычку. Мы мечтали для своего народа о лучшем будущем, боролись за него, некоторые жертвовали своим благосостоянием и даже жизнью. Но в известном смысле сами были "старорежимными". Мы были органически связаны со старым режимом. Страдания, которые он нам причинял, возвышали нас в собственных глазах, а потому те, кого он не искалечивал окончательно длительным пребыванием в тюрьмах и на каторге, могли жить вполне счастливой жизнью. Вот и я вспоминаю об этом периоде своей жизни перед началом войны как о времени счастливом. Война снова выбила мою жизнь из налаженной колеи.

Глава 23

НА ВОЙНЕ (ЯНВАРЬ–ИЮЛЬ 1915)

Петербург в последние дни перед войной. Народ и царь в первый день объявления войны. Патриотические настроения. Уверенность в победе. Родичев-Кассандра. Первые добровольцы из интеллигенции. Отъезд на войну А. М. Колюбакина. Я избран городской Думой уполномоченным врачебно-питательного отряда Союза городов. Выработанная земским и городским Союзами схема организации отрядов и ее крушение в условиях фронта. Формирование моего отряда. Отъезд в действующую армию. Две недели в Варшаве на запасных путях. Назначение отряда в пятую армию. Длительное бездействие при штабе 4-го корпуса в Воле Пинкашевской. Бои под Волей Шидловской и переезд в Жирардово. А. И. Гучков в роли уполномоченного Красного Креста. Его энергичная работа и популярность среди военных. Затишье на нашем фронте и организация питательных пунктов, чайных, бань и починочной мастерской. Молодежь отряда томится от отсутствия военных действий. Студент Петя Капица. Впечатления от жизни населения на фронте. Причудливое сочетание мирной жизни с военными действиями. Выселения евреев. Привычка к войне, к смерти и страданиям. Медвеницкая Божья Матерь. После атаки. Газы. Два еврея. Жирардово перед эвакуацией. Мой отъезд с фронта. Варшава за несколько дней до сдачи. Возвращение в Петербург летом 1915 года.

Хорошо помню лето 1914 года. Весной в министерстве путей сообщения был учрежден особый отдел новых железных дорог, в ведение которого были переданы все экономические обследования проектируемых линий. Для меня эта реформа была неприятна, ибо ограничивала мою свободу. Со сдельной платы, которую я до тех пор получал, я был переведен на месячный оклад и был обязан ежедневно являться на службу в министерство. В июне я поехал в отпуск в Крым и, вернувшись оттуда в начале июля, жил в Петербурге без семьи, с моим шурином, присяжным поверенным К. В. Винбергом. Напряженное состояние, в котором находилась вся Европа после Сараевского убийства, может быть, более, чем где-либо, ощущалось в Петербурге. С волнением каждое утро мы принимались за чтение

газет, а вечером, вернувшись со службы, я постоянно подходил к телефону, сообщая по требованию своих знакомых известную мне политическую информацию, которую получал тем же порядком от более меня осведомленных лиц.

В Петербурге происходили патриотические манифестации, ходившие по улицам с национальными русскими и сербскими флагами, организованные, по-видимому, при покровительстве властей. Вначале эти манифестации были малочисленны и прохожие с любопытством и недоумением смотрели на столь непривычное для петербуржцев зрелище, но по мере того, как в русском обществе возрастали симпатии к маленькому сербскому народу, решившему отстаивать свою независимость во что бы то ни стало, к этим полуказенным демонстрациям стали присоединяться самые разнообразные люди из петербургского чиновничества и интеллигенции. Заметно было все-таки отсутствие простонародья.

За день или два перед объявлением войны большая толпа собралась перед зданием сербского посольства и устроила шумную овацию сербскому посланнику Сполайковичу, говорившему речь с балкона.

Вечером 18 июля старого стиля я долго не ложился спать, получая по телефону сведения о переговорах Сазонова с германским послом Пурталесом о готовящейся мобилизации и т. д. Конечно, сведения, получавшиеся мною из третьих рук, не всегда были правильны и точны, но во всяком случае для меня было ясно, что война начинается. И мы с моим шурином долго не могли заснуть в эту роковую ночь.

19 июля мы встали поздно и, развернув газету, прочли манифест с объявлением войны, а одновременно с ним известие о вступлении немецких войск в Калиш. Несмотря на то, что в неизбежности войны я не сомневался, но тем не менее весть о начале военных действий произвела на меня ошеломляющее впечатление. Таково уж свойство человеческой природы. Как бы вы ни были уверены в предстоящей смерти близкого вам человека, вас до последней минуты не покидает иррациональная надежда, и самый факт смерти поражает вас своей мнимой неожиданностью. В таком смысле и война, всеми ожидавшаяся, вдруг поразила меня своей внезапностью. Люди, которым не приходилось переживать таких событий, как война или революция, не смогут понять охвативших меня чувств в эти первые дни войны. Ужас перед начинающимся кровопролитием и тревога перед неведомым будущим соединялись с каким-то почти радостным ощущением своего национального самоутверждения, наполнявшим все мое существо восторженным приливом энергии. Никогда раньше я не испытывал такого чувства стихийного патриотизма.

Сидеть дома было невозможно. Потребность слить свои чувства с чувствами национальной массы была настолько сильна, что мы

с моим шурином, не сговорившись, надели шляпы и выбежали на улицу. Стояла чудная солнечная погода. В такие дни Петербург необыкновенно красив, а в этот исключительный день красота Петербурга особенно гармонировала с торжественным настроением его жителей.

На Каменноостровский проспект Петербургской стороны, на который мы вышли, изо всех боковых улиц вливались толпы народа. Достаточно было попасть в этот человеческий поток, чтобы почувствовать напряженность господствовавшего настроения. Не слышно было ни шуток, ни смеха обычной праздничной толпы, но не было также заметно злобности и угрюмости, свойственных толпе политических демонстраций. Лица у всех были серьезные и сосредоточенные, но вместе с тем какие-то растворенные, какие бывают у участников религиозных процессий. Полиция отсутствовала. Петербуржцы так привыкли видеть наряды полиции при всяких скоплениях народа, что отсутствие ее в густой толпе, запружавшей весь Каменноостровский проспект, сразу бросалось в глаза. Впрочем, в полиции не было нужды. Чувства толпы были столь единодушны, что никаких беспорядков возникнуть не могло. Толпа двигалась по направлению к Неве, двигалась медленно, ибо местами останавливалась из-за потребности взаимно делиться наплывавшими чувствами. Незнакомые люди затевали друг с другом разговоры, и то там то тут возникали импровизированные митинги. Говорили не ораторы, а случайные люди, преимущественно из простонародья. И смысл всех речей был один и тот же: "Немцы на нас напали и мы все должны защищать свою родину". Какой-то рабочий, успевший с утра как следует угоститься, говорил, ударяя себя в грудь: "Все пойдем за Расею. Вот у меня к примеру жена и двое ребят. Ну что ж из этого... Пойду... Коли убьют — добрые люди о них позаботятся"... Из толпы слышались возгласы одобрения этой немудреной речи, а стоявшая рядом с пьяненьким оратором старушка утирала платком слезы умиления.

Мы двигались во все возраставшей толпе по направлению к центральным частям Петербурга. По-видимому никто не задумывался над тем — куда именно мы направляемся. То же стихийное чувство, которое погнало нас на улицу, в толпу, руководило теперь всей толпой. У всех была потребность объединяться с возможно большим числом своих сограждан, а потому направлялись мы к центру города, а не на его периферию.

Только перейдя Троицкий мост, толпа как бы поняла цель своего движения. Раздались голоса: "К Зимнему Дворцу!" — и весь человеческий поток устремился на Дворцовую площадь. Когда я, потеряв собственную волю, влился вместе с толпой в эту огромную площадь, она уже была почти заполнена людьми. Сколько нас было? Может быть двадцать, а может быть двести тысяч. Никто нас не считал. Но, сколько бы нас ни было, в нашем ощущении мы

были огромным монолитом, объединенным общностью настроения. Много было котелков и фетровых шляп, но еще гораздо больше фуражек, что указывало на преобладание в толпе рабочих. Несколько лет назад сюда направлялись столь же огромные толпы рабочих, но они были встречены пулеметами. Теперь все старые счеты были забыты. Патриотический подъем снова привел рабочих на Дворцовую площадь, ибо они, как и я, как и вся окружавшая меня пестрая толпа петербургских жителей, подававших на выборах в Думу свои голоса за кадетов и социалистов, пришла в этот тревожный для родины день приветствовать нелюбимого и даже презираемого монарха* как символ российского единства. Все мы, стоявшие в толпе, чувствовали потребность совершить какой-то обряд, санкционирующий единство наших чувств, засвидетельствовать перед тем, кто принял за Россию вызов со стороны ее врагов, что Россия с ним солидарна. И взоры многочисленной толпы были напряженно устремлены на пустой балкон Зимнего Дворца. Наконец двери на балкон распахнулись и на нем показалась маленькая фигурка Николая II, окруженная придворными в золотых мундирах. Передние ряды стали на колени, и громовое "ура" прокатилось по толпе. Маленькая фигурка несколько раз покивала головой и удалилась. Эта сцена повторялась несколько раз, и с каждым разом я чувствовал, как у меня проходит торжественное настроение. Слишком ярко выступила вдруг пропасть, разделявшая окружавших меня на площади людей, из которых добрая половина будет убита или искалечена на войне, и эту кучку мундиров на балконе Зимнего Дворца. Здесь, в толпе, – священнодействие, там, на балконе, – привычная церемония. Маленький царь появляется и исчезает, кивая нам привычными ему поклонами, такими же, какие мне много раз приходилось видеть, когда он проезжал по улицам Петербурга. Придворные мужчины и дамы стоят на балконе в небрежных позах и о чем-то друг с другом беседуют, улыбаются, смеются. А одна из царских дочек, разговаривая с кем-то, обернулась к нам спиной и небрежно махала нам платочком... Думаю, что не я один, а и многие, бывшие в этот день на Дворцовой площади, испытали неприятное чувство, точно в стройном симфоническом оркестре прозвучал фальшивый аккорд.

И невольно в душу закрались тревожные предчувствия...

Теперь мне неприятно описывать эту сцену после страшной трагедии царской семьи. Допускаю, что и тогда я несправедливо оценивал то, что происходило перед моими глазами. Но хорошо помню эту сцену и свое от нее впечатление. А в данном случае важно зарегистрировать не предполагаемые чувства царя, а ощущение

---

* Все знали о приобретенном Распутиным влиянии на царскую семью, и Николай II утратил в глазах населения Петербурга не только царское обаяние, но даже элементарное уважение.

толпы его подданных, через два с половиной года принявших участие в стихийном движении революции.

С этого дня наша жизнь коренным образом изменилась. Я не имею в виду материальной ее стороны, которая менялась постепенно и малозаметно. Коренное изменение произошло в нашей психологии. Война заполнила собой все наши интересы и помыслы, у одних – бескорыстные, у других – корыстные. Началась жизнь, полная эмоций и нервного возбуждения, приливов и отливов энергии, жизнь среди моря крови и страданий... Несколько лет войны и революции притупили нашу нервную восприимчивость, и только благодаря этому мы были в силах пережить то, что пережили.

В мою задачу автобиографа не входит описание всех последующих и общеизвестных исторических событий. Я буду их касаться постольку, поскольку сам был их непосредственным свидетелем и участником, да и то только тех, которые ярко сохранились в моей памяти.

Хорошо помню, как энтузиазм первого дня войны сменился в Петербурге на несколько дней паническим настроением. Англия еще не вступила в войну, а потому все ждали, что немецкий флот появится перед Кронштадтом. Обычная учебная стрельба наших судов принималась за бомбардировку кронштадтской крепости. "Слышите, слышите, – говорили взволнованные петербуржцы друг другу, – это наверное стреляют немцы. Через два дня они займут Петербург"...

Не мудрено, что объявление Англией войны Германии было для петербуржцев вдвойне радостным событием, ибо гарантировало им личную безопасность.

В общем, если не считать этого двухдневного периода малодушия, настроение у всех было бодрое. Все были уверены в победе союзников.

Исключительно бодрое настроение господствовало и среди членов ЦК кадетской партии. Вопрос о тактике почти не обсуждался. Все понимали, что борьба с правительством должна быть приостановлена на время войны и должна смениться полным ему содействием со стороны общественности. Несмотря на отрицательное отношение к власти, мы надеялись, что и она в этих трудных обстоятельствах будет искать опоры и содействия в обществе и народе. В том, что немцы будут побеждены соединенными силами русских, французов и англичан, почти никто не сомневался. Исключение среди нас составлял Ф.И.Родичев. Он мрачно предсказывал поражение, утверждая, что такое правительство, каким было правительство Николая II, не может победить врага. Другие члены ЦК смеялись над мрачными предсказаниями Родичева, в шутку называя его Кассандрой, и никто не понимал, как он был проницателен. Как теперь известно, в России были еще два человека, с начала

войны уверенные в грядущем поражении русских армий – граф Витте и П.Н. Дурново. У них, впрочем, как у бывших министров, было больше реальных оснований для такого предвидения, чем у Родичева.

Подъем патриотических чувств, охвативших в начале войны все слои населения, особенно был заметен в кругах русской интеллигенции. Гимназисты и студенты бросали свою учебу и либо поступали в юнкерские училища, откуда через полгода выпускались офицерами, либо прямо ехали на войну добровольцами в качестве нижних чинов. Ехали добровольцами и более зрелые люди. Помню приват-доцента Рыбакова, сотрудника "Русской Мысли". Я встречал его у П.Б. Струве. Человек широко образованный и талантливый, он вместе с тем был чрезвычайно скромен и застенчив. Мне он был как-то особенно симпатичен, хотя почти всегда молчал. С первых же дней войны он перестал показываться на журфиксах у Струве, и мне сказали, что он уехал на войну. А через месяц я был на панихиде по нем. Одним из первых добровольцев был также сын П.Н. Милюкова – юноша, только что окончивший гимназию. И он тоже был убит в Галиции в первом сражении, в котором участвовал.

Да и люди моего возраста ощущали потребность как-то влить свои силы в общее дело войны. Одни ехали на фронт с отрядами земских и городских союзов, другие принялись энергично работать в тылу по санитарной части или по снабжению армии. С первых дней войны и мне не сиделось в Петербурге. Будучи отцом многочисленного семейства, я, конечно, не мог отправиться на фронт солдатом-добровольцем, но искал какой-нибудь возможности работать на войну в тылу или на фронте. Несмотря на свой солидный возраст (мне было 45 лет), я еще не утратил некоторой романтичности чувств, а потому предпочитал работать на месте военных действий. Осенью 1914 года такой случай представился. Секретарь кадетской фракции Государственной Думы А.М. Колюбакин, бывший строевой офицер, считал своим профессиональным и нравственным долгом поступить в действующую армию. Его, однако, не мобилизовали. Наведя справки в военном министерстве, он узнал, что состоит в списке неблагонадежных офицеров запаса, которых военное начальство, опасаясь их вредного влияния в армии, решило не мобилизовать. Тогда Колюбакин подал прошение на высочайшее имя с просьбой разрешить ему исполнить свой долг гражданина и офицера. Ответа долго не получалось. В это время петербургская городская Дума приступила к формированию на свои средства передового врачебно-санитарного отряда и предложила А.М. Колюбакину поехать с ним на фронт в качестве уполномоченного. А. М., отчаявшись в благоприятном разрешении своей просьбы, согласился. Но не успел он приступить к формированию отряда, как получил уведомление, что его ходатайство удовлетворено и что он зачислен офицером в один из сибирских

полков. А на освободившееся место уполномоченного петроградского санитарного отряда городская Дума выбрала меня.

В тусклый октябрьский день я провожал А.М. Колюбакина на Варшавском вокзале. Странно было видеть его долговязую фигуру в военной шинели и в большой, нахлобученной на затылок барашковой папахе. Я знал его еще со времени земских съездов как лидера крайнего левого их течения и страстного патетического оратора, привык слушать его резкие суждения на заседаниях кадетской фракции и центрального комитета. И вдруг он офицер, и притом офицер, полный воинского духа. Несмотря на то, что провожали его жена и дети, он имел не только бодрый, но и счастливый вид. Мы облобызались, поезд тронулся, и, смотря ему вслед, я долго видел улыбающееся лицо и руку, размахивающую папахой. А через три месяца мне пришлось в маленькой польской деревушке грузить вырытый из земли гроб с замерзшим трупом А.М. на автомобиль нашего отряда. Полковой священник наскоро служил панихиду под грохот разрывавшихся поблизости немецких снарядов...

Мой санитарный отряд был третьим по счету отрядом Союза городов, отправлявшимся на фронт. Во главе первого отряда города Москвы поехал кн. Павел Долгоруков, во главе второго — Сибирского — Н.В. Некрасов. Оба они формировались в Москве, а мой отряд — в Петербурге. Земский Союз приступил к формированию отрядов раньше Союза городов, и в ноябре 2-3 из них уже работали на фронте. Таким образом, из отрядов двух общественных организаций мой был пятым или шестым. Когда в начале ноября я приступил к образованию своего отряда, у двух Союзов не было еще боевого опыта. Уполномоченные Союзов ездили в Галицию на театр военных действий, чтобы изучить на месте постановку санитарного дела. На основании своих наблюдений они составили схему конструкции передовых санитарных отрядов, которой и нам предложили руководствоваться. В основание этой схемы было положено совершенно правильное утверждение, что военно-санитарная часть поставлена в армии отвратительно. Лазареты и госпиталя плохие, эвакуация — ниже всякой критики, в санитары назначаются худшие солдаты, которые иногда грабят раненых, а подчас и добивают их с целью грабежа и т.д. Но из этих фактов делался вывод если не неправильный, то во всяком случае непрактичный, а именно, что общественные организации должны действовать самостоятельно, образовав независимую сеть санитарных учреждений.

На бумаге схема получалась стройная: впереди — два-три летучих перевязочных пункта, снабженных лошадьми и повозками для перевозки раненых; в ближайшем тылу — лазарет, который снабжается ранеными из своих "летучек"; при лазарете санитарные автомобили, на которых раненые, подлеченные в лазарете, отправляются на санитарные поезда; в глубоком тылу — база со складами,

снабжающая лазарет и летучки необходимым оборудованием и съестными припасами.

Схема эта была выработана во время наступления наших войск в Галиции, и предполагалось, что, по мере продвижения фронта вперед, будет двигаться и весь комплекс наших учреждений в соответственном порядке.

На практике скоро оказалось, что весь этот план, выработанный людьми весьма почтенными, но не имевшими личного военного опыта, на деле оказался подобным высмеянному Толстым плану генерала Пфуля – "Erste Kolonne marschiert" и т.д.

Во-первых, составленный в предположении дальнейшего наступления, он оказался непригодным ни для отступающих и перебрасываемых с места на место армий, ни для позиционной войны. А во-вторых, он не учитывал очень простого обстоятельства, а именно, что военные действия на каждом участке фронта не происходят непрерывно. И вот, в периоды затишья намеченная схема работы отрядов не выполнялась за отсутствием раненых, а во время боев некогда было думать о ее выполнении: раненых из летучек отправляли в ближайшие лазареты, не считаясь с ведомством, к которому они принадлежали, а наши лазареты заполнялись ранеными, доставленными нам с полковых перевязочных пунктов. Кроме того, наши летучки на фронте обслуживали определенные дивизии, которые очень ими дорожили. И, когда соответствующая дивизия переводилась на другие участки фронта, она забирала с собой и наши передовые отряды. Это было в порядке вещей, сопротивляться которому было бы бессмысленно. Но от намеченного и строго разработанного плана ничего не оставалось. Летучки отрывались от своих лазаретов и вместо одного сложного отряда получалось несколько упрощенных.

Ввиду рассказов о том, как солдаты-санитары грабят раненых, рассказов по-моему весьма преувеличенных, Земский и Городской Союзы решили не пользоваться "казенными" санитарами из солдат и, значительно увеличив свои бюджеты, стали приглашать в отряды санитаров вольнонаемных. Предполагалось главным образом брать на эти должности студентов. Но далеко не все студенты умели ходить за лошадьми и управлять автомобилем. Кроме того, нужны были разные мастеровые. Весь этот персонал приходилось вербовать из случайных людей, из которых лишь немногие являлись с рекомендацией. Этот люд, не связанный военной дисциплиной, попав в обстановку войны, где периоды напряженной работы сменяются длительными досугами и где уважение к чужой собственности может поддерживаться главным образом страхом суровых репрессий, быстро развратился. Одни пьянствовали,* другие воровали, третьи

* В моем отряде был повар Асан, казанский татарин, знавший особый способ очистки денатурата. Напиток его изготовления под названием "шпиндюля" скоро приобрел славу, правда кратковременную, ибо, узнав о винокуренном заводе Асана, я его рассчитал.

и пьянствовали и воровали. Солдаты-санитары, обслуживавшие военные санитарные учреждения и учреждения Красного Креста, подчинялись военной дисциплине, и если среди них попадались грабители, то с ними, по крайней мере, возможна была борьба. С нашими же развращенными вольницами не было никакого сладу. Через два месяца пребывания на фронте мне пришлось уволить, кроме студентов, почти всех своих вольнонаемных санитаров, заменив их солдатами из так называемых "слабосильных команд", т.е. выписывавшихся из лазаретов, но еще непригодных для строевой службы.

Когда эта слабосильная команда явилась ко мне военным строем и на мое приветствие ответила отчетливо: "Здравия желаем вашему высокородию", – я почувствовал огромное облегчение.

Эти люди, понимавшие, что только добросовестная работа в отряде спасает их от жизни в окопах под вечным страхом увечий и смерти, вели себя образцово и безукоризненно исполняли свои обязанности.

Так постепенно организация земских и городских отрядов, приспособляясь к условиям войны, отклонялась от заранее установленной теоретической схемы.

В конце октября я приступил к формированию своего отряда. Хотя я имел за собой солидный стаж земского деятеля, но знал себя за человека весьма малопрактичного, да и в своей земской работе я заведовал преимущественно отраслями "нехозяйственными" (статистика, страховое дело, народное образование). Поэтому я постарался пригласить себе в помощники двух практических людей. Мой выбор остановился на горном инженере И.А.Рейнвальде и на рекомендованном мне сибирскими депутатами томском коммерсанте А.А.Евсееве. В этом выборе мне впоследствии не пришлось себя упрекать. Пылкий и увлекающийся Рейнвальд вносил много инициативы в наше общее дело, в котором весьма пригодились его технические знания, а спокойный, хотя несколько ленивый, Евсеев, впоследствии сам сделавшийся уполномоченным одного из сибирских отрядов, хорошо разбирался в нашем сложном хозяйстве.

Кроме этих двух моих непосредственных помощников, должность заведующей хозяйством взяла на себя моя коллега по ЦК кадетской партии А.В.Тыркова, которую я знал еще с детских лет. Эта умная и талантливая женщина все же мало подходила для практического дела, которое ей скоро надоело, и через два месяца пребывания на фронте она покинула мой отряд. Впрочем, уже при ней внутреннее хозяйство отряда перешло в руки моей жены, поехавшей со мной на фронт в качестве заведующей бельем.

Медицинский персонал состоял из трех врачей, трех фельдшеров и десяти сестер милосердия. Низшие служащие – из шести шоферов и сорока человек под общим названием "санитаров", в числе

коих – около пятнадцати студентов и около двадцати пяти человек людей разных профессий физического труда – мастеровых, рабочих, крестьян.

Оборудование отряда было рассчитано на один лазарет в 30 коек и на два летучих перевязочных пункта. Транспорт состоял из шести автомобилей (4 – для перевозки раненых и 2 – для персонала) и из 30 лошадей со столькими же повозками, приспособленными для поклажи во время передвижения отряда и для перевозки раненых.

Петербургский областной комитет Союза городов предоставил нам две комнаты в своем помещении на Невском проспекте, а городская управа отвела нам пакгауз для склада вещей, гараж для автомобилей и конюшню для лошадей во дворе Рождественской пожарной части, и в начале ноября мы приступили к спешному оборудованию отряда.

Евсеев и Тыркова взяли на себя покупку всяких хозяйственных предметов и продовольствия, Рейнвальд занялся транспортом, а я – приглашением персонала.

В начале войны в России было еще легко приобрести все необходимое. В особенности удачно были куплены прекрасные финские лошади на ярмарке в Вильманстранде. Но автомобили добыть было трудно, так как в России еще не было автомобильных заводов, а все наличные машины были реквизированы военным ведомством. Наконец Рейнвальду с трудом удалось достать в Гельсингфорсе две машины американской марки и четыре немецкой, ибо оказалось, что, несмотря на полгода, прошедшие с начала войны, немецкие коммерсанты находили еще нелегальные пути для сбыта автомобилей в России через Швецию.

В наборе личного персонала отряда тоже встречались некоторые затруднения. Сестер милосердия было найти легко. Я получал целые груды прошений, которые приходилось игнорировать, ибо десять сестер я мог набрать из лично мне известных молодых девушек или по рекомендации моих друзей. Не раз девушки, которым я отказывал, рыдали от отчаяния, что им не удастся попасть на войну, которая им представлялась в романтическом ореоле.

Так же легко я набрал пятнадцать студентов-санитаров. Но найти врачей и фельдшеров было очень мудрено, т.к. большинство из них было мобилизовано, а остальные были по горло завалены работой в тылу на земской и городской службе. Выбирать поэтому особенно не приходилось, и первый состав врачей, с которым я выехал на фронт, был малоудовлетворителен. По счастью, через два месяца главный врач моего отряда нас покинул и на его место мне удалось пригласить блестящего хирурга и умелого администратора, врача елецкого земства И.М. Валуйского.

Другого рода затруднение я испытывал при наборе низшего персонала. Желающих было много. Ведь служба в санитарном отряде

избавляла от призыва в ряды войск. Но как и кого приглашать? Были среди кандидатов все нужные нам профессии, но, за исключением двух-трех, имевших рекомендации, все это были совершенно неизвестные люди. Приходилось руководствоваться интуицией, тем впечатлением, которое человек производил своим внешним обликом и разговором. Как я выше упоминал, этот интуитивный метод оказался крайне неудачным.

Выехать из Петербурга нам удалось лишь в Сочельник вечером, так что Рождество мы встретили в пути. В день нашего отъезда городская Дума устроила молебен. Мы все явились в непривычных нам формах военного образца, причем я надел полковничьи погоны, каковые полагалось носить уполномоченным Союза городов. Женщины были в костюмах сестер милосердия. Настроение было торжественное. Городской голова, граф Толстой, произнес речь, на которую я ответил. Потом пили шампанское за наше здоровье.

Военное начальство направило наш отряд на Западный фронт, которым командовал тогда генерал Рузский. Его главная квартира находилась в Варшаве, откуда мы и должны были получить назначение.

В газетах мы читали о том, как плохо наша армия обеспечена врачебно-санитарной помощью, как во время больших сражений не хватало ни врачей, ни сестер, ни перевозочных средств для раненых. Поэтому мы предполагали, что отряд сразу получит работу, как только появится на театре военных действий.

Двухмесячные сборы в Петербурге, в особенности последние две недели, когда все было готово и когда со дня на день мы ждали отправки, привели персонал отряда, в особенности студентов и сестер, в нервное состояние. Все жаждали работы, а в романтическом воображении молодежи, еще не испытавшей ужасов военной прозы, эта работа представлялась сопряженной с опасностью и геройством среди разрывающихся шрапнелей и свистящих пуль. Поэтому, когда поезд наш подъезжал рано утром к Варшаве, никто уже не спал. Все, взволнованные и возбужденные, стояли у окон, стараясь уловить какие-то внешние признаки войны. Но ничего особенного не было видно из окон вагона. Поезд наш подолгу стоял на разъездах, пропуская встречные длинные товарные поезда с привычными надписями на пустых вагонах – "40 человек, 8 лошадей". И наконец, минуя вокзал, остановился на одном из запасных путей.

Наша жизнь на театре военных действий началась с томительных двух недель, проведенных в вагонах на запасных путях.

Я ежедневно ездил в управление заведующего санитарной частью Западного фронта, прося ускорить наше причисление к одной из армий, но начальство не торопилось, относясь ко мне, как к назойливо надоедающей мухе.

В первый период войны санитарные отряды общественных организаций были еще малочисленны, и военно-санитарное управление

относилось к ним если не враждебно, то с недоверием. Никаким уставом они не были предусмотрены и вклинивались в привычную сеть полковых, дивизионных, корпусных и армейских санитарных учреждений, как посторонние тела. Поэтому начальник санитарного управления и его подчиненные, хотя были со мной любезны и корректны, про себя, мне казалось, думали: "Черт бы побрал эти общественные организации, суются не в свое дело!" А затем они писали запросы санитарному начальству армий, те со своей стороны запрашивали начальство корпусов, которое тоже не особенно желало пускать к себе постороннюю организацию. А мы все сидели в Варшаве на запасных путях. Каждый день я назначал караулы для охраны нашего имущества, а остальной персонал праздно шатался по улицам Варшавы.

Прежде я не бывал в Варшаве, но этот красивый, нарядный и веселый город по-видимому мало изменил свой облик по сравнению с мирным временем. Только военные, щеголявшие прежде по улицам Варшавы в разнообразных цветных мундирах, ходили теперь в однообразной походной форме. Трудно было себе представить, что в двух переходах от Варшавы стоят германские войска.

По главным улицам двигалась нарядная оживленная толпа, театры, рестораны, кафе были переполнены, магазины бойко торговали. На лицах обывателей не заметно было печати беспокойства и тревоги. Все как всегда. Война мне совсем *такой* не представлялась.

Наконец, после двухнедельной жизни в вагонах, казавшейся нам вечностью, мы получили назначение отправиться на фронт в распоряжение командующего Пятой армией генерала фон Плеве. Штаб Пятой армии находился верстах в семидесяти от Варшавы, в местечке Гроицы, куда я и поехал на автомобиле за указаниями моего нового военного начальства.

Несясь по шоссе на своем новеньком автомобиле, я с напряжением всматривался вдаль, где должны были находиться немецкие окопы, но ничего не видел, кроме мирных лесов и полей с кое-где мелькавшими среди них деревушками. И только тянущиеся по шоссе военные обозы и эшелоны войск напоминали о том, что где-то поблизости идет война.

В Гроицах я впервые услышал звук редких и монотонных пушечных выстрелов. По неопытности я представил себе, что где-то идет сражение, ибо люди, не слыхавшие хотя бы издали звуков настоящих боев, не могут представить себе этого жуткого стального рева, в котором сливаются треск ружей, воркотня пулеметов и гул орудий разных калибров.

Маленький генерал Плеве, брат знаменитого министра, любезно меня принял, позвал каких-то других штабных военных, и они стали обсуждать – куда бы направить наш отряд. Меня крайне поразило, что вопрос ставился не о том, где мы будем нужнее, а о

том, где удобнее можно нас разместить. Точно любезные хозяева, к которым приехали гости в не совсем урочное время, желающие устроить этих гостей возможно лучше и комфортабельнее.

На следующий день наш отряд, оставив свой склад в Варшаве, двинулся "в походном порядке" в Волю Пинкашевскую, деревню, расположенную в нескольких верстах от маленького городка Мщенова. Мы с А.В. Тырковой и И.А. Рейнвальдом поехали на автомобиле, чтобы подготовить помещения.

Штаб корпуса помещался в великолепной помещичьей усадьбе, очевидно принадлежавшей очень богатым владельцам. Командующий корпусом генерал и все его штабные офицеры оказались действительно очень любезными хозяевами. Казалось, что мы приехали в гости к радушным помещикам. Но в деревне большинство помещений было реквизировано под разные корпусные учреждения или под жилье многочисленных писарей, служащих комендатуры и т.д. С большим трудом комендант корпуса нашел для нас четыре халупы (избы), из которых выселил их хозяев. Куда денутся эти несчастные крестьяне, изгнанные в середине зимы из собственных домов, — этим никто не интересовался. Возражать они не смели и покорно мыли и подметали для нас свои грязные халупы. Мне с моей штатской психологией было очень неприятно участвовать в этом насилии, но делать было нечего: à la guerre comme à la guerre. И все-таки четырех халуп для лазарета и его многочисленного персонала нам было мало. Пришлось половину отряда оставить в резерве в городе Мщенове.

Поселились мы в Воле Пинкашевской числа около 10 января 1915 года. Это был период, когда русские войска Западного фронта, после отступления из Восточной Пруссии и жестоких арьергардных боев возле Лодзи, окопались к югу от Варшавы, на берегах реки Равки. Главные силы русской армии вели тогда наступление на Юго-Западном фронте, овладевая Галицией и двигаясь дальше на Карпаты. Со своей стороны немцы, оттеснив нас под Варшаву, вновь перебросили свои войска на запад, где происходили главные операции, оставив против нас в окопах на реке Равке лишь небольшие заслоны. Таким образом, мы оказались на участке второстепенного фронта, на котором происходили лишь мелкие стычки при рекогносцировках, но больших боев не было.

Погода стояла отвратительная, больше похожая на осень, чем на зиму. В халупах было сыро и промозгло, печи топились плохо и нестерпимо угарили. Поэтому мы почти их не топили. Днем сидели в шубах и валенках, а ночью залезали в спальные мешки. Все эти неудобства были бы терпимы, если бы мы сознавали, что переносим их ради какого-то нужного дела. Но дела у нас не было никакого. Первое время молодежь нашего отряда — юные сестры и студенты-санитары — находились еще в повышенном настроении от впервые слышанных ими пушечных выстрелов. Думали — вот-вот начнется

то страшное, но вместе с тем привлекательное, ради чего они приехали сюда из Петербурга, то, что еще питало их неискушенное воображение грезами. Но пушечные выстрелы раздавались днем и ночью, лениво и медленно следуя один за другим, а к нашей помощи никто не обращался. Очевидно, немцы стреляли исключительно для соблюдения военных приличий. С нашей же стороны, из-за недостатка снарядов, им почти не отвечали. В конце концов к выстрелам привыкли и перестали их замечать, как не замечают тиканья часов.

Труднее было привыкнуть к безделью. На деревенской улице непролазная грязь, в халупах – угар и холод. Деваться некуда и делать нечего. Всех заедала тоска. Молодежь роптала, настаивала, чтобы я перевел отряд на более активный участок фронта. Но этого я сделать не мог, во-первых, потому, что формально отряд мой был причислен к определенному корпусу, а во-вторых, не было никакой гарантии, что и на новом месте мы не попадем в полосу военного затишья.

Только один раз корпусное начальство обратилось за содействием к нашему отряду. Это было в конце января, когда я внезапно получил распоряжение штаба корпуса отправить врача в штаб одного из полков на передовых позициях ввиду предполагавшейся небольшой ночной рекогносцировки. Наш отряд пришел в волнение: наконец началось... Вся молодежь стремилась отправиться в экспедицию, но осчастливил я немногих, составив отряд из врача, фельдшера и шести студентов-санитаров.

Нагрузив на повозки носилки, перевязочные средства и хирургические инструменты, мы отправились в путь, когда уже начало смеркаться. Днем выпал хороший снег и к вечеру стало подмораживать. Мы тихо двигались по лесу. Я и сопровождавший нас казак – верхом, а за нами три повозки с персоналом и кладью. Вечер был ясный, но безлунный, на небе одна за другой загорались звезды. Было тихо-тихо и от этой тишины как-то особенно волнительно. Нам предстояло увидеть вблизи то, что, проведя около месяца на фронте, мы еще не видели, – войну. Если у меня, уже немолодого человека, учащенно билось сердце от ожидания этого неизвестного, то юные студенты, видимо, еще более волновались и уже до некоторой степени чувствовали себя "героями".

С приближением линии окопов вялые пушечные выстрелы немцев, к звуку которых мы уже привыкли, стали раздаваться отчетливее. В Воле Пинкашевской мы слышали только "бум, бум", т.е. далекий выстрел и разрыв, а теперь этот двойной звук стал тройным: "бум-ви-и-бум", т.е. выстрел, свист полета ядра и разрыв. И это зловещее "ви-и", казалось, повизгивает над самыми нашими головами. Проехав верст восемь, мы выбрались из леса на покрытое снегом поле, а затем спустились в ложок, где находилась деревня Ерузаль – цель нашего путешествия.

Было около 11 часов ночи, но привыкшие к темноте глаза различали вдоль улицы, по которой мы ехали, ряды разрушенных домов. Среди развалин были и случайно уцелевшие домики, к одному из которых нас направил наш проводник. Это был штаб полка. Снаружи домик был совершенно темен, т.к. окна его были закрыты ставнями и изнутри завешены темными шторами, но внутри было тепло, светло и... весело. Только что произошла смена одного батальона другим, и офицеры, прожившие в окопной грязи в течение трех недель, умытые и переодетые, праздновали выпивкой свой кратковременный отпуск. От них я узнал, что их Имеретинский полк, побывавший в начале войны в Восточной Пруссии, поспел в течение полугода уже три раза почти полностью обновить свой состав... Они, конечно, понимали, что это "обновление" не кончилось и что у каждого из них почти нет шансов вернуться домой живым и здоровым. И все-таки, сидя в тепло истопленной комнате, в чистом белье, выпивая разбавленный водой спирт и заедая его старой заплесневелой колбасой, они чувствовали себя бесконечно счастливыми от того, что три недели будут жить в относительной безопасности, т.е. в сфере лишь артиллерийского огня, а не ручных гранат и пулеметов, со вшами, но не с миллионами вшей, с возможностью погулять по лесу, поухаживать за польскими девушками и т.д. После трех недель окопной жизни три недели убогого отдыха им казались раем. И они шумели, болтали, смеялись, как гимназисты во время перемены между двумя скучными уроками.

Командир полка сказал нам, что через час предполагается экспедиция наших лазутчиков в немецкие окопы. Мы выгрузили носилки, перевязочный стол, марлю, вату и хирургические инструменты. Врач и фельдшер все это разложили в определенном порядке, и мы стали ждать, тихо попивая чай с командиром полка и слушая доносившийся из соседней комнаты бурный смех пирующих офицеров.

Вдруг в комнату вошел человек в белом халате и в белом капюшоне, держа в руках обмотанную белым коленкором винтовку.

— Готовы? — спросил командир полка.

— Готовы, — ответил белый человек.

— Ну, с Богом...

Мы вышли на крыльцо, перед которым стояла шеренга человек в двадцать таких же белых фигур.

Это были добровольцы, вызвавшиеся произвести опасную вылазку в немецкие окопы и захватить "языка".

— С Богом, — еще раз повторил командир.

И сейчас же двадцать белых привидений, беззвучно шагая белыми валенками по снегу, точно растаяли в сумраке ночи...

С замиранием сердца мы стояли на крыльце, вглядываясь в снеговую даль и стараясь уловить малейший звук. Но все было тихо.

Никогда в такой степени, как в эти несколько минут, проведенных мною среди ночи на крыльце уцелевшего дома разрушенной деревни Ерузаль, я не ощущал с такой очевидностью бессмысленность и жестокость войны: вот только что передо мной стояло двадцать здоровых молодых людей. А мы для них уже подготовили носилки, на которых через десять минут наши санитары понесут их искалеченные тела или трупы, а за дверью стоит уже операционный стол, на котором будут перевязывать их раны, а может быть отрежут кому-нибудь руку или ногу. А там, в версте от нас, сидят в окопах такие же люди, только наши "враги". Они не ожидают, что двадцать белых призраков уже направились их калечить и убивать, одни спят, другие разговаривают о своих делах. И вдруг... Вдруг из снежной дали раздался треск выстрела, а затем воркотня пулемета... И сразу тихая ночь наполнилась зловещими звуками: та-та-та, та-та-та, воркования пулеметы, трах-трах-трах, сухо трещали ружейные залпы...

– Заметили, черт бы их побрал, ничего не выйдет, – флегматично пробормотал полковой командир и вошел в дом. Действительно, оказалось, что маскарад не помог нашим разведчикам: немцы увидали их и открыли огонь.

Через пять минут все двадцать привидений целыми и невредимыми подошли к нашему крыльцу.

Признаюсь, что в этот момент я не мог не радоваться тому, что вылазка окончилась для нас неудачно, но наша молодежь была, конечно, недовольна. Мы стали быстро укладываться и запрягать лошадей. Поле, отделявшее деревню Ерузаль от леса, находилось под обстрелом немецких батарей, а потому сообщения с тылом расположенных в ней военных частей происходили только по ночам. Благополучно переехав через опасное поле, мы тихо поплелись через лес домой. Рано утром, когда мы приехали в Волю Пинкашевскую, весь наш отряд был уже на ногах в ожидании нашего возвращения. Юные сестры и студенты ожидали встретить "героев", получивших боевое крещение, и были очень разочарованы, узнав, что никаким опасностям мы не подвергались.

Больше месяца мы провели в праздности в Воле Пинкашевской. Наконец в середине февраля мы услышали вдали гул начавшегося сражения. Это наши войска на соседнем участке фронта предприняли частичное наступление возле деревни Воли Шидловской. Это и было то сражение, в котором, как я выше упоминал, погиб А.М. Колюбакин.

Сражение происходило в районе расположения нашей 1-ой армии, где уполномоченным Красного Креста состоял А.И. Гучков. Зная о том, что наш отряд бездействует, Гучков прислал ко мне с нарочным письмо, в котором писал, что сражение большое, наши потери очень велики и что в Жирардове, где он находится, не хватает ни медицинского персонала для ухода за ранеными, ни транспортных средств для них. Поэтому он просил меня ему помочь. Я сейчас же

послал в Жирардово весь персонал, живший в резерве в городе Мщенове, – двух врачей, нескольких сестер и санитаров с лазаретным оборудованием и автомобилями для перевозки раненых. На следующий день приехал из Жирардова мой помощник и передал мне просьбу Гучкова, чтобы я спешно перевел туда и весь остальной отряд, для которого имеется там прекрасное помещение.

Размышлять долго не приходилось. Мое корпусное начальство хотело воспрепятствовать нашему отъезду, но по-видимому не вполне отдавало себе отчет в степени зависимости отрядов общественных организаций от местных военных властей. Поэтому я решился на самовольный отъезд из Воли Пинкашевской, явно нарушив этим военную дисциплину.

С этого времени и до конца моего пребывания на войне, т.е. более 4-х месяцев, я провел в Жирардове.

Жирардово представляло собой большой фабричный поселок, расположенный вокруг огромной текстильной фабрики. Эта фабрика в несколько пятиэтажных корпусов была передана санитарному ведомству под лазареты. В ней помещались и военные госпитали, и лазареты Красного Креста. В ней же поместился и наш лазарет в огромной мастерской с текстильными машинами, среди которых мы расставили кровати. Кроме того, мы получили в наше распоряжение просторный дом, где находились квартиры служащих жирардовской мануфактуры с примыкающим к нему двором с сараями, конюшнями и другими постройками. После сырых халуп Воли Пинкашевской наше новое убежище нам казалось дворцом.

Лазарет наш, как и все другие жирардовские лазареты, был переполнен ранеными, и в течение нескольких дней весь наш медицинский персонал был и днем и ночью перегружен работой. Но, когда наши войска, понеся большие потери, прекратили атаку неприятельских позиций и, слегка попятившись назад, засели в окопах, на всем нашем фронте вновь наступила полоса длительного затишья, не прерывавшегося более в течение двух месяцев, если боями не считать нескольких вылазок с той и с другой стороны.

В Жирардове я познакомился с А.И. Гучковым. В Петербурге я с ним встречался несколько раз, раскланивался при встречах, но беседовать с ним ни разу не приходилось. К тому же мы принадлежали к двум враждующим партиям, что не способствовало созданию личных отношений.

Здесь, на войне, политика нас больше не разъединяла, а общее дело создавало почву для добрых отношений.

Гучков, как я выше упоминал, был уполномоченным Красного Креста при 1-ой армии. Но, благодаря своей энергии, организационным талантам и престижу, которым он пользовался среди командного состава после его выступлений в Думе по военным вопросам, он в сущности руководил всей санитарной частью Первой армии, объединяя деятельность военно-санитарных учреждений с

учреждениями Красного Креста и двух общественных организаций – Земского Союза, который имел при Первой армии свой отряд во главе с членом Думы Герасимовым, милым, благородным человеком, впоследствии расстрелянным большевиками, и Союза городов, представителем которого был я.

Гучков устраивал под своим председательством совещания представителей этих разных "ведомств", в которых принимали участие и некоторые врачи. На них принимались решения о размещении различных санитарных отрядов и о распределении между ними работы, решения, которые затем получали санкции высшего военного начальства. Эти совещания представляли собой нечто вроде земских врачебных советов, перенесенных в военную обстановку. Все работали дружно и чрезвычайно продуктивно.

Гучков, имевший в Петербурге славу политического карьериста и интригана, представился мне в Жирардове в другом аспекте. И я с тех пор проникся не только уважением к этому умному, одаренному человеку и горячему патриоту, но и большой симпатией, хотя и теперь знаю, что у него, как и у большинства выдающихся людей, было много весьма крупных недостатков. Работать с Гучковым было чрезвычайно приятно: никаких лишних формальностей и бумажной волокиты. Он легко брал на себя ответственность за действия, формально требовавшие длинной процедуры и переписки с военным начальством. Так же, как он просто вызвал наш отряд из района соседней армии, так же просто во время затишья на своем фронте отправлял имевшийся в его распоряжении персонал, перевязочные средства и целые лазареты в соседние армии, когда там происходили крупные сражения. На такие действия он, конечно, не имел формального права, но дело от его "беззакония" только выигрывало. С его благословения так поступал и я, и мои санитарные автомобили с врачом и несколькими санитарами и сестрами два раза предпринимали экспедиции на фронты других армий. Сам он находился в вечном движении, объезжая войска 1-ой армии, стоявшие в окопах, и поддерживая постоянные личные сношения с командирами корпусов и дивизий. Благодаря этому он был всегда в курсе нужд различных частей войск.

В один из таких объездов я поехал вместе с ним и видел, с какой приветливостью его везде встречали. Трехдневное путешествие по фронту с Гучковым произвело на меня глубокое впечатление не только от личного общения с ним, но и от общения через него с чуждой мне дотоле военной средой. Генералы и полковники, командиры частей и начальники штабов говорили с нами совершенно откровенно о положении армии и тыла. И если не решались еще касаться личности императора, то не скрывали своей ненависти к императрице, находившейся под влиянием Распутина, и к покровительствуемому ею военному министру Сухомлинову. Все находились в повышенном нервном состоянии, везде видя шпионов

и предателей, и были уверены, что центр предательства находится где-то вблизи царского дворца.

Во время этой поездки с Гучковым по фронту, которую я совершил в апреле 1915 года, т.е. на 9-ом месяце войны, я ясно ощутил тревожное предчувствие грядущей революции. Сам Гучков мало высказывался в этих разговорах, но очень умело наводил на них своих военных собеседников, и мне казалось, что его частные поездки по фронту отчасти предпринимались им не только для организации санитарной помощи, Не знаю, была ли у него тогда уже мысль о дворцовом перевороте как о способе спасти Россию от военного разгрома и от революции, но из наших разговоров у меня осталось впечатление, что он об этом думал. А мне казалось, что он именно тот человек – решительный и смелый, притом не лишенный большой доли авантюризма, – который может, опираясь на свои связи с армией, захватить власть в свои руки. Дальнейшие события показали, что я переоценил Гучкова. Он действительно принял участие в заговоре для осуществления дворцового переворота, но действовал слишком осторожно и нерешительно, а потому не успел предотвратить взрыва революционной стихии.

Жирардово, где расположился наш лазарет, находилось в 12 верстах от линии окопов, а два перевязочных отряда, так называемые "летучки", мы отправили на передовые позиции. Одна из них кое-когда еще перевязывала раненых в случайных небольших стычках, неизбежных, когда окопы противников находятся на расстоянии друг от друга в 100-200 саженей, а другая совершенно бездействовала, превратившись в питательный пункт для солдат, сменявших друг друга в окопах.

Одним из главных занятий нашего отряда в период военного затишья было устройство бань для солдат. Бани у нас действовали три – две в тылу, в Жирардове и Мщенове, а одна в летучке на передовых позициях. Вымывшимся в банях солдатам мы выдавали чистое белье, а их грязное и вшивое пропускали через дезинсектор, а затем оно передавалось в оборудованные нашим же отрядом прачечные и починочную мастерскую. Наши бани приобрели большую популярность на фронте. Для солдат, заеденных вшами в окопах, баня была одним из высших наслаждений, и не мудрено, что к нам офицеры приводили солдат целыми ротами, так что пришлось устанавливать очередь. Видеть красные, счастливые лица солдат, выходивших из бани, было для нас большим удовольствием. Чтобы понять степень их блаженного состояния, достаточно было взглянуть на кучи оставленного нам белья: оно все шевелилось от покрывавших его густым слоем вшей.

Чайные, бани, починочная мастерская – все это давало работу лишь части нашего многочисленного персонала. Другая часть – врачи, фельдшеры и половина сестер были обречены на вынужденное бездействие. Все ужасно скучали в Жирардове, где пришлось свернуть

наш лазарет за полным отсутствием раненых. В особенности тосковала наша зеленая молодежь, приехавшая на войну, чтобы испытать все ее опасности, и вынужденная жить в мирном безделии вне района военных действий. Юные сестры и студенты во что бы то ни стало домогались от меня назначения в летучку, где все-таки вокруг них летали снаряды. Особенно стремился в летучку самый младший из наших студентов, 18-летний Петя Капица. А его-то как раз я не хотел туда пускать, опасаясь, что он из-за молодого фанфаронства будет там бессмысленно рисковать своей жизнью. Кроме того, он, как хороший механик, был нужен в тылу для починки автомобилей. Петя Капица при каждой встрече со мной совсем по-детски ныл: "В. А., пустите меня в летучку"...

А когда однажды, раздраженный этим вечным нытьем, я его резко оборвал, категорически объявив, что летучки он не увидит, то он расплакался, как маленький мальчик.

С Петей Капицей я расстался на фронте и с тех пор не видал его много лет. Встретились мы в Париже в 1930 году. Трудно было узнать в несколько тучном и полном самодовольства и апломба ученом, пользующемся мировой известностью, профессоре Капице, прежнего тщедушного мальчика Петю, горько рыдавшего от того, что я его не пустил в летучку...

Самому мне часто приходилось ездить в летучки, что было необходимо для поддержания постоянной связи между отдельными частями отряда. Эти поездки были мне всегда чрезвычайно приятны. От Жирардова до наших летучек было верст 8-10 по проселочной дороге, малопригодной для автомобильного сообщения. Поэтому я ездил туда верхом на рыжей казачьей лошади, купленной нами уже на фронте. Этот рыжий "казак", очевидно, побывал в сражениях, ибо на крупе его был шрам от попавшей в него пули. Это не мешало его резвости и очень приятному ходу. Дорога шла большей частью лесом, покрывавшим весь участок нашего фронта. Была весна, и лес был полон благоуханиями и щебетанием птиц. Иногда, сокращая свой путь лесными тропинками, я спугивал притаившегося под кустом красного фазана или серого зайца, шарахавшегося в сторону от поступи моего "казака". Все казалось так мирно кругом, и если бы не встречались на моем пути беспорядочно порубленные солдатами деревья и глубокие воронки от разорвавшихся шестидюймовых снарядов, можно было бы совсем забыть о войне, ибо постоянно раздававшихся пушечных выстрелов я уже привык не слышать. Избы маленьких деревушек, там и сям раскинутых по небольшим полянам среди леса, были наполовину разрушены снарядами или разобраны солдатами для окопных сооружений, но в уцелевших избах продолжали жить местные крестьяне. Если деревня подвергалась обстрелу, крестьяне переселялись в вырытые в земле помещения, но сохраняли зато свое имущество, ибо солдаты никогда не разрушали изб, хозяева которых оставались в деревнях. Но достаточно было

крестьянину, не вынесшему жизни под неприятельскими снарядами, бежать со своей семьей в тыл, как изба его сейчас же подвергалась полному разграблению и от нее оставалась лишь уныло торчащая печь; да и из нее кирпичи постепенно растаскивались. Такова была этика войны и ее неписаные законы.

Крестьяне приспособились к этим законам и до последней возможности старались оставаться в своих деревнях. И странно было видеть среди сплошных развалин отдельные уцелевшие избы, вокруг которых бегали куры, ходили свиньи с поросятами и играли маленькие дети. Странно было также видеть в версте или двух от вражеских окопов, рядом с нашими спрятанными на опушке леса батареями, где то там то сям рвались немецкие снаряды, крестьянина, ровным шагом идущего за плугом или разбрасывающего привычным жестом семена по вспаханному полю. А в пяти-шести верстах от передовых позиций, т.е. в местах, куда лишь изредка попадали немецкие снаряды и где кое-когда швыряли бомбы вражеские аэропланы, жизнь протекала уже в совершенно мирной обстановке. Эти места находились некоторое время в руках немцев, осенью 1914 года чуть не взявших Варшаву. Население знало по опыту, что немецкая оккупация имеет свои темные стороны, что немецкие, как и русские, войска совершают отдельные акты насилий, но сплошных "ужасов", о которых писалось в газетах, не творят.* Оно старалось приспособить свою жизнь к военной обстановке лишь постольку, поскольку это вызывалось необходимостью. Все городки, деревни и помещичьи усадьбы были переполнены солдатами, но солдаты в своей массе были еще дисциплинированны и грабежи были редки, а начальство расплачивалось аккуратно за реквизированные продукты. Оттого жизнь под не смолкавшие днем и ночью пушечные выстрелы и под пролетающими аэропланами протекала в общем спокойно. Такую жизнь мне приходилось часто наблюдать во время моих поездок на автомобиле по разным делам вдоль линии фронта. Там, как в мирное время, в крупных поселках происходили базары, куда бабы несли кошелки с яйцами и маслом, а мужики в белых польских свитах вели свиней, таща их за веревку, привязанную к ноге. А в воскресение в элегантных экипажах ехали в церковь помещики, обгоняя идущие туда же пестрые группы по-праздничному наряженных мужиков и баб. Костюмы польских женщин чрезвычайно ярки. При этом каждая местность имеет свой излюбленный цвет. И в воскресный день польские дороги были расцвечены, как букетами цветов, красными, синими, малиновыми или желтыми пятнами. Я долго не мог привыкнуть к этой причудливой комбинации обычной обывательской жизни с ужасами войны, но в конце концов для

---

* Императорская Германия, несмотря на свою агрессивность, была во много раз гуманнее Германии национал-социалистической.

меня стало ясно, что степень опасности, грозящей мирным жителям на театре военных действий, значительно меньше, чем та, которая им грозила бы, если бы они бежали с насиженных мест и превратились в голодную, бесприютную толпу беженцев. Большинство населения это понимало и упорно оставалось жить в районе военных действий. Толпы беженцев, запрудившие впоследствии дороги, ведущие с фронта, и растекавшиеся оттуда по России, разнося с собой эпидемические болезни и революционные настроения, созданы были искусственно глупыми мерами военных властей. В период моего пребывания на фронте выселяли из района военных действий не всех жителей, как это делалось впоследствии, а только одних евреев...

Верховное командование понимало опасность настроения, охватившего армию после тяжелых поражений. Нужно было во что бы то ни стало найти виновных. И они были найдены: виноваты евреи, которые, живя на фронте, занимаются шпионством. И вот последовал приказ очистить полосу фронта от еврейского населения. Армия в своей массе поверила навету на евреев и сочувствовала приказу, который стал приводиться в исполнение, как раз когда наш отряд появился на фронте. Конечно, офицеры, занимавшиеся контрразведочной частью, знали неосновательность огульного обвинения в шпионстве целой национальности, но молчали. Я как-то спросил одного коменданта корпуса, ведавшего корпусной контрразведкой, — правда ли, что большинство шпионов — евреи. Он мне ответил, что, конечно, среди шпионов попадаются евреи, но, по его наблюдениям, шпионов-поляков гораздо больше.

Между тем приказ об еврейском выселении применялся неукоснительно. А это означало, что мелкие польские городки и местечки лишались большей части своего населения, занимавшегося главным образом ремеслами и торговлей, а местная экономическая жизнь, уже сильно подорванная войной, разрушалась окончательно.

Во время своих разъездов по фронту я часто встречал группы этих несчастных бесприютных людей, направлявшихся неизвестно куда и зачем. Одни шли пешком, другие сидели на возах, нагруженных всякой старой, наскоро захваченной рухлядью, из ворохов которой высовывались испуганные курчавые головки грязных ребятишек или торчали бороды древних стариков. Лица у всех были хмурые, многие женщины и некоторые мужчины плакали...

Прожив на фронте полгода, я самой войны, т.е. сражений, так и не видал. Больших сражений за это время на нашем фронте вообще не было, а те, которые происходили, не были видны тем, кто в них не участвовал, так как местность, в которой был расположен наш отряд, плоская и лесистая, и лесная завеса скрывала от меня не только передвижения войск, но даже линии наших и немецких окопов. Ни разу мне не пришлось подвергнуться и настоящей опасности. Правда, над Жирардовом, где мы жили, почти каждое

утро пролетал немецкий аэроплан и сбрасывал ровно восемь бомб. Но большинство их не причиняло вреда. Только три раза эта воздушная бомбардировка сопровождалась человеческими жертвами. Возле одной из наших летучек довольно часто разрывались неприятельские снаряды, но мне лично не приходилось видеть разрыва ближе, чем на сотню саженей. Приходилось ездить по делу в полковые штабы, обыкновенно помещавшиеся в землянках поблизости от окопов, и я попадал в полосу пулеметного и ружейного обстрела. Тут я слышал слабый свист пуль уже на излете и звуки, похожие на постукивание бесчисленных дятлов, производимые пулями, вонзающимися в деревья.

Все это вначале вызывало если не страх, то какое-то волнующее тревожное чувство, но очень скоро перестало действовать на нервную систему. Во-первых, создалась привычка, а во-вторых, понимание, что опасность быть убитым или раненным такими случайными снарядами или пулями лишь немногим больше, чем опасность погибнуть в автомобильной катастрофе в тылу. Лишь один раз за все время моего пребывания на войне я испытал чувство действительного страха. Это было, когда однажды поздно вечером я ехал на автомобиле и попал под луч германского прожектора, который некоторое время следил за мной. Я хорошо понимал, что не подвергаюсь никакой опасности: не стали бы немцы тратить снаряды на одиноко едущий автомобиль, но самое ощущение как бы схвативших меня световых щупалец невидимого мне чудовища было невероятно жутко и заставляло учащенно биться мое сердце.

Если я скоро привык к "опасностям" или, точнее говоря, к тому, что непривычным людям могло казаться опасным, то не меньше привык и к виду человеческих страданий. Помню, как в начале моего пребывания на фронте я заехал в летучку Земского Союза. Целой компанией мы пили чай в избе, которая служила одновременно жилищем для персонала, перевязочной и операционной. Мы весело болтали о том о сем, когда санитары внесли на носилках раненого солдата. Врач положил его на операционный стол и сейчас же приступил к операции. Солдат кричал и плакал от боли, а компания, сидевшая за чайным столом, продолжала болтать и смеяться, совершенно не обращая внимания на крики несчастного. Мне же было невыразимо тяжко видеть это равнодушие моих случайных знакомых к чужим страданиям. А через короткое время я сам привык ко всему... Люди, чувствительные к чужим страданиям, не могли бы пережить ни войны, ни революции, если бы не обладали свойством накладывать бессознательным усилием воли какую-то внутреннюю сурдинку на свою нервную чувствительность. Большинство людей этим свойством обладают, и только поэтому они могут бодро жить и бодро работать среди окружающего их моря человеческих страданий. К сожалению, далеко не все умеют

впоследствии вернуть себе временно утраченную чувствительность и сердца их черствеют на всю дальнейшую жизнь. Но война дает иногда такие картины ужасов, которые трудно перенести даже привычным людям. К такой категории военных эпизодов относятся газовые атаки. Одной из газовых атак и мне пришлось быть свидетелем в мае 1915 года.

Заканчивая свои воспоминания о пребывании на фронте, я хочу поместить здесь два ранее написанных мною очерка о моих военных впечатлениях, из которых один, "Страшное и святое", был напечатан в "Последних Новостях", а второй, "Два еврея", нигде еще напечатан не был.

Страшное и святое

Медвеницкая Божья Матерь

Около полугода польская деревня Медвеницы с ее старинным католическим костелом находилась в линии огня. Иногда ее занимали немцы, но русские производили контратаки и снова в ней водворялись. Мирные жители давно ее покинули, халупы их были сравнены с землей, а на месте костела, среди груды камней и битой черепицы, торчали лишь остатки стен. Под костелом, в его подземных склепах, одно время поселились артиллеристы с ближайшей батареи. Прочные своды, засыпанные сверху грудой камней, спасали их от неприятельского огня, а доски от гробов, которые они вынимали из каменных гробниц, служили им для разведения огня. И, насколько это может быть на войне, им было там тепло и уютно.

Мне пришлось проезжать через Медвеницы весной 1915 года, после того, как немцы орудийным огнем принудили выселиться оттуда и этих случайных жителей подземелья. Хотя всего в версте от Медвениц находились немецкие окопы и желтая "колбаса" с немецким наблюдателем зловеще торчала в синем небе, как мне казалось, над самой моей головой, но наступившее боевое затишье позволяло мне свободно разгуливать по пустынному месту, бывшему еще недавно большой польской деревней. Сопровождавший меня офицер предложил мне осмотреть подземелье костела, в котором он бывал, когда там еще жили солдаты. Шагая через камни и мусор, мы подошли к старой заржавленной железной двери. Она была полуоткрыта. И невольное чувство жути охватило меня, когда в лицо из полумрака пахнуло затхлой сыростью и когда по полуразрушенным ступеням я спустился в это потревоженное войной царство мирной смерти.

Подземелье состояло из нескольких сводчатых помещений, по бокам которых стояли рядами каменные гробницы. Внутри гробниц и снаружи валялись человеческие кости.

– Смотрите сюда, – сказал мне мой спутник, – покойники!

Я подошел к двум гробницам со снятыми верхними плитами и не поверил глазам своим...

Когда вы читаете исторические книги или смотрите на старинные портреты, вы, конечно, сознаете, что были когда-то такие-то и такие-то события, что жили, думали, любили, воевали между собой такие-то люди. Но вы не в состоянии ощутить всей реальности этих событий и существования этих некогда живших людей. И вдруг здесь, в Медвеницком подземелье, у открытых гробниц, мне почудилось, что я живу несколько сот лет тому назад. В одной из них лежал мужчина в черном бархатном костюме с красной шелковой лентой через плечо. Ноги его были обуты в большие сафьяновые сапоги с отворотами и с длинными шпорами, какие носили дворяне XVI и XVII века. Мне вспомнился посол польский Гарабурда, говорящий царю Иоанну в трилогии Алексея Толстого: "Посла, пан царь, в мешок зашить не можно"...

Но в изголовьи, на истлевшей подушке, упираясь в труху отчасти еще сохранившихся кружев пышного воротника, череп умершего рыцаря щерился на меня своей мертвой улыбкой, и это подлинное свидетельство смерти сразу вернуло меня из охватившего меня ощущения сказки к реальной жизни. В соседней гробнице покоилась молодая жена рыцаря. Да, она была молода, ибо рядом с ее оголенным черепом лежала толстая коса белокурых волос. Одежда ее хуже сохранилась, чем одежда мужа, но все же можно было понять, что хоронили ее в белом шелковом платье, в белых туфельках и в шелковых чулках, плотно обтягивавших ее ноги, или точнее говоря, нечто, сохранившее еще форму ног.

Непонятно, почему среди множества гробниц именно эти две были пощажены тлением. Вероятно и солдаты, выламывавшие доски из других гробниц и выбрасывавшие из них кости, которые были разбросаны по всему полу подземелья, почему-то не решились нарушить покоя этих двух супругов, бывших владельцев Медвениц, а, может быть, и строителей разрушенного костела. Несколько веков пролежав под каменными плитами, они вдруг в хаосе военного разрушения показались из могил как будто для того, чтобы напомнить нам, что здесь, где война смела вековое воспоминание о жизни и работе человека, все-таки была когда-то жизнь, и жизнь красивая.

Выйдя из подземелья, мы стали продолжать поиски уцелевших следов былой жизни старого костела, по остаткам стен которого с трудом можно было восстановить его прежние очертания. Перескакивая с камня на камень, мы внезапно наткнулись на кучу книг в чудесных кожаных переплетах. Очевидно, здесь была

библиотека... А вот обломки деревянной резьбы, украшавшей внутренность костела...

Попадаем в груды кровельной черепицы. Здесь был, видимо, внутренний дворик. Он весь засыпан черепицей и камнями разрушенных стен. Кое-где попадаются осколки снарядов. Много их сюда попадало. И вдруг снова точно сказка: среди камней, черепицы и всякого мусора, на обшарпанном снарядами каменном пьедестале стоит белая статуя Божьей Матери, вся залитая лучами весеннего яркого солнца. Сотни снарядов рвались вокруг нее, сокрушая стены и крышу костела, а она стоит невредимая, с застывшей на лице грустной улыбкой и с опущенными вниз, простертыми вперед руками. Точно, показывая на окружающее ее разрушение, она говорила нам: "Посмотрите, что эти безумцы сделали из храма моего"...

Вскоре после моего посещения Медвениц русские войска отступили. Жители Медвениц вернулись на свои пепелища и из всего, что знали и любили, нашли там только одиноко стоящую во дворе костела статую Мадонны. Она благословила их на новую жизнь. И снова прикрыли они могильными плитами потревоженных войной старых владельцев Медвениц – рыцаря в сапогах с отворотами и его молодую жену с белокурой косой.

После атаки

В наш лазарет только что привезли раненых в штыковом бою на реке Равке.

Я подошел к одному из них – широкогрудому и широкоскулому молодому парню, что-то рассказывающему своим соседям.

– Как вскочил я в ихний окоп, гляжу – прямо передо мной немец огромаднейший, толстеющий... и на меня идет. Глазища выкатил, страшенный такой... Ну, думаю, конец мне. А уйти некуда. Повернешься – все равно приколет, либо пристрелит. Что ж тут, братцы, делать... Зажмурился я, голову опустил, да на него со штыком. А сам точно в ознобе... Уж как это вышло – не знаю, оттого ли, что пузо у него большое, только я раньше его достал. Всадил в него штык, а он как заорет... Орет это он, морда страшная стала, а я у него в пузе штыком верчу... Потеха... Тут меня самого кто-то прикладом... а дальше и не помню ничего.

Раненый широко улыбался, скаля белые зубы и весело поблескивая карими глазами. Видно было, что 12 верст мучительной езды на двуколке не могли усыпить в нем зверя, разъяренного ужасами штыкового боя.

Он еще долго что-то возбужденно рассказывал, но я уже не слушал его, обратив внимание на другую сцену.

В палату только что внесли немецкого солдата и укладывали его на койку. Это был худой бледнолицый мальчик лет восемнадцати. Закрыв лицо руками, он жалобно стонал и плакал, всхлипывая как ребенок.

— Не плачь, камрад, — утешал его сосед. — Бог даст, поправишься. Что же, что немец, у нас и немца вылечат. Домой поедешь после войны-то. Понял?

Столько нежности и ласки было в этих непонятных для юного немца словах, что он вдруг затих и светло-голубыми глазами с благодарностью посмотрел на серого солдата.

Он был именно серый, неопределенный, одно из лиц, бесконечно знакомых всем, кто бывал в северной русской деревне, но отдельно не запоминаемых. Только глаза светились ласково и так же певуче-ласково звучал тоненький голосок. Вдруг он посмотрел на меня задумчиво и, указывая глазами на немца, сказал:

— Ведь мой он, немец-то.

— Почему твой? — спросил я удивленно.

— Мой, значит. Я же его заколол-то. Он тоже помнит. А вот теперь рядом лежим. Жаль, не нашей веры мальчонка-то. Вместе бы поминали.

Задумался солдатик и прибавил:

— Вот она, служба-то какая. Как в бою был — ничего не понимал, озверел словно. А вот как вытащили нас с немцем из кучи покойников, — мы с ним рядышком там и лежали, — как увидел его, да услышал, что плачет, словно дите малое, так такая жалось взяла, что сам бы завыл...

Юноша-немец внимательно следил за рассказом соседа, точно понимал непонятные русские слова. А, впрочем, понимал... Понимал так же, как и я, теми духовными струнами, для которых слова излишни.

Оба они были тяжело ранены в грудь штыковыми ударами. Но их причудливое братство крови длилось недолго. Серый солдат скоро умер, а немецкий юноша стал поправляться и его отправили в тыл. Вероятно, теперь он живет на родине в кругу своей семьи. Но вспоминает ли о нежном сером солдатике, который чуть не сделался его невольным убийцей?

Газы

После кровавых зимних боев 1915 года на фронте реки Равки наступило длительное затишье. Немцы постреливали из орудий, но больше так себе, как бы из приличия, чтобы противная сторона знала, что великая война еще продолжается. Наша разведка сообщала, что они перебросили свои войска в Галицию и на Западный

фронт, оставив против нас лишь небольшой заслон. В Жирардово, где в огромных корпусах жирардовской мануфактуры были расположены разные лазареты, почти перестали привозить раненых.

Вдруг, в середине мая, совершенно неожиданно, немцы произвели газовую атаку. Это было первое применение ядовитых газов на русском фронте. Хотя всем было известно, что на французском фронте немцы пользовались ядовитыми газами, но в русской армии не только не было заготовлено противогазовых масок, но даже не дано было инструкций воинским частям о том, как вести себя при газовых атаках, чтобы предохранить себя от отравления. Даже врачи не были осведомлены о химическом составе газов, а потому не знали, как лечить отравленных солдат.

И вот в тихую и теплую майскую ночь, когда с немецкой стороны дул слабый южный ветерок, страшные желтые газы поползли на русские окопы. Наши солдаты стали задыхаться. Но вместо того, чтобы приложить ко рту и к носу мокрые тряпки и стараться по возможности меньше дышать, пережидая, пока пронесется газовая волна, они бросились опрометью бежать. А чем быстрее бежали, тем больше вдыхали ядовитый газ и гибли от него, как отравленные мухи.

Мне передавали, что в течение одного часа в эту страшную ночь было отравлено около 30 тысяч человек.

К утру в Жирардово со всей линии окопов потянулись длинные обозы с отравленными, и здание жирардовской мануфактуры стало быстро ими заполняться.

Все койки нашего лазарета были моментально заняты. А в дверях появлялись все новые и новые носилки. Я послал купить соломы, а пока несчастных отравленных складывали рядами на цементный пол.

К виду и страданиям раненых я уже присмотрелся и... привык. Но то, что происходило во всех корпусах огромного здания жирардовской мануфактуры, было настолько ужасно, что самые притупленные нервы у людей, привыкших к ужасам войны, едва выдерживали. Огромные мастерские нескольких пятиэтажных корпусов были сплошь устланы лежащими людьми. Лежали везде – в центральных и боковых проходах, между машинами, под машинами... И вся эта человеческая масса корчилась в рвотных судорогах, кричала, стонала, хрипела. Многие не могли ни лежать, ни сидеть, а стояли на четвереньках, с хрипом вдыхая воздух остатками разъеденных газами легких. Мертвых не успевали выносить, окоченевшие трупы со скрюченными руками и с раскрытыми ртами и глазами валялись среди живых...

Когда к вечеру нагрузка лазаретов закончилась, когда вынесли мертвецов, а живых разместили на постланной на пол соломе, я заметил около выходных дверей группу легко отравленных, которые сидели кучкой и с наслаждением пили чай из жестяных

кружек, тихо беседуя между собой. Сидели они в полутьме и лиц их не было видно.

Я прислушался.

— Вот сволочи, — говорил какой-то голос, — что придумали — людей травить!

— А вот погоди-тка, наши, чай, тоже газы придумают. Будем и мы их как крыс морить, сволочь такую.

Кто-то еще поддакнул и скверно выругался, фантазируя на тему о том, как немцы будут задыхаться от наших газов.

И вдруг из самого темного угла послышался слабый голос:

— Нет, братцы, не дело это, мы ж православные...

Больше он ничего не сказал, но все говорившие как-то сразу притихли... Почувствовали святое... А из глубины назойливо звучал жуткий хор криков, стонов и хрипов умирающих.

Два еврея

В числе санитаров нашего отряда было два еврея. Отмечаю их национальность потому, что оба эти незаурядные человека интересны не только как люди, но и как два полярных типа представителей еврейского народа, положительные и отрицательные черты которого нам ближе и понятнее, чем национальные особенности других народов, с которыми мы менее свыклись и сжились.

Трудно представить себе двух людей внешне и внутренне менее схожих, чем были эти два еврея — Брейдо и Сливкин.

Брейдо — черный как смоль, с курчавыми, почти негрского типа, волосами и такой же курчавой девственной бородой, не знавшей бритвы. Его толстые, красные, чувственные губы совершенно не гармонировали с кротким выражением темных задумчивых глаз, близоруко смотревших через очки. Но гармония его лица сразу восстанавливалась, когда его мясистые губы растягивались в добрую и нежную улыбку.

Одевался Брейдо небрежно и вообще имел грязноватый вид плохо умывающегося человека, чему способствовал смугло-матовый цвет его кожи. Был он сыном петербургского ремесленника, родился в Петербурге и говорил по-русски без малейшего акцента. Тем не менее, взглянув на его наружность, никто не усомнился бы в том, что он еврей. Имя он тоже носил еврейское, в отличие от большинства евреев, живших вне черты оседлости, которые заменяли свои неблагозвучные еврейские имена русскими. Звали его Хаим.

Сливкин — блондин с рыжинкой. Гладко выбритый, гладко причесанный, с холеным, довольно красивым, но слегка женоподобным

лицом оперного тенора. Носил немецкое имя – Альберт и вообще в нужных случаях склонен был скрывать свое еврейское происхождение. Это было ему не трудно, так как наружность у него была интернациональная, а говорил он по-русски вполне правильно, хотя какая-то полууловимая сдобность в произнесении "и" выдавала в нем еврея.

В Петербурге Сливкин работал в студенческой санитарной организации, занимавшейся перевозкой раненых с вокзалов в лазареты, и явился ко мне для переговоров, когда я обратился к ней с просьбой рекомендовать для моего отряда опытных санитаров. Пришел он в штатском платье и вообще солидной внешностью (на вид ему было лет под тридцать) резко выделялся среди своих товарищей, юных студентов.

По его словам, он учился перед войной в Льежском университете, не попав в России в процентную норму.

Впоследствии, когда я ближе познакомился со Сливкиным, мне стало ясно, что он никогда не был студентом ни русского, ни заграничного университета, да и из России едва ли когда-нибудь выезжал. Тогда, однако, у меня не было никаких оснований ему не верить.

Первое появление Брейдо в Петроградском областном комитете Союза городов, где я формировал свой отряд, мне очень памятно.

Пришел он ко мне с двумя своими друзьями – русскими толстовцами. Все трое откровенно заявили мне, что пришли потому, что близится момент их призыва на военную службу, между тем как их убеждения не позволяют им принимать участия в войне. Вот они и просят меня зачислить их санитарами в отряд, чтобы освободить их от призыва.

Достаточно было взглянуть на этих трех людей, чтобы поверить в их искренность, что действительно не страх, а веления морали заставляют их уклониться от исполнения своего гражданского долга.

Но более подробный разговор с ними поставил меня в довольно затруднительное положение: оказалось, что в своих убеждениях они ригористичны до такой степени, что даже уход за ранеными считают для себя занятием неприемлемым, ибо раненых, как мне объяснил Брейдо, вылечивают для того, чтобы снова отправить на фронт, а следовательно уход за ранеными является косвенным содействием войне.

Я уже хотел было отказать этим странным людям, желавшим поступить в санитары под условием не иметь дела с ранеными, но своей наивной искренностью и твердостью убеждений они мне так понравились, что в конце концов я решил, что в большом отряде найдется для них и другая работа. Поэтому предложил Брейдо и одному из его друзей работать в тыловом складе, а третьему, оказавшемуся техником, поручил заведование починочной мастерской.

В это время Сливкин уже был мною назначен заведующим будущим тыловым складом, а Брейдо стал его помощником.

Сливкин проявлял огромную активность и распорядительность, с утра до вечера работая в пакгаузе Рождественской части, который городская Дума отвела в наше распоряжение, и наводя порядок в хаосе наскоро закупавшихся предметов оборудования. Работа так и кипела в его руках. Наконец отряд был готов к выступлению. Но железная дорога, заваленная военными грузами, не давала нам вагонов. Так прошло недели две. Персонал нервничал от вынужденного безделья, а деньги на его содержание и прокорм обозных лошадей расходовались непроизводительно. И вдруг, благодаря счастливой случайности и изобретательности ничем не смущавшегося Сливкина, мы двинулись в путь. Произошло это следующим образом: однажды, приехав в Рождественскую часть, я узнал, что только что был там "санитарный диктатор" принц Ольденбургский, объявивший, что отводит ряд зданий во дворе и в том числе наш пакгауз под склады своих лазаретов. На робкое возражение одного из служащих, что пакгауз этот занят нашим отрядом, принц ответил, что никакого такого отряда не знает и приказывает очистить помещение в 24 часа.

Я знал, что никто не посмеет ослушаться распоряжения всемогущего принца Ольденбургского и что никакое заступничество городской управы не поможет. Приходилось срочно перевозить куда-то наше громоздкое имущество и еще оттягивать и так уже затянувшееся время отъезда. Прямо отчаяние овладевало.

Я пошел в пакгауз к Сливкину посоветоваться о том, как быть.

– Не волнуйтесь, В. А., – сказал он мне своим всегда уверенным тоном, – я постараюсь убедить начальника движения, чтобы он завтра же дал нам поезд.

– Но как вы его убедите?

– А вот увидите.

Сливкин подошел к телефону, дал мне вторую трубку, и я с недоумением услышал следующий разговор:

– Служба движения? Кто у телефона?

– Начальник движения.

– Я говорю по распоряжению принца Ольденбургского. Его высочество распорядился отвести под склад одного из петроградских лазаретов тот пакгауз, в котором помещается имущество Петроградского передового отряда. Отряд этот поэтому должен быть немедленно отправлен на фронт. Потрудитесь к завтрашнему дню приготовить вагоны для погрузки лошадей и прочего имущества отряда. Количество вагонов на дороге известно.

После некоторой паузы послышался ответ. По его интонации мне казалось, что говорящий пожимает плечами и сдерживает свое раздражение.

– Хорошо, передайте его высочеству, что все будет исполнено.

Через день мы погрузили наше имущество в вагоны, а еще через день выехали на фронт.

И в пути Сливкин был совершенно незаменимым человеком. Одевшись в фантастическую полувоенную форму, в великолепной, залихватски сдвинутой набекрень папахе, с огромной шашкой и револьвером в кобуре, он на каждой остановке выскакивал на платформу и, бряцая большущими шпорами, зычным голосом отдавал начальникам станций от моего имени распоряжения, чтобы поезд не задерживали. Моя титулованная фамилия, которую тогда носили некоторые близкие ко двору лица, особенно важно звучала в устах Сливкина, и я старался не выходить из вагона, чтобы своим скромным видом не разрушить мифа, созданного им вокруг моего имени. Этот миф действовал на начальников станций, и мы, обгоняя другие поезда, в сутки с небольшим доехали до Варшавы.

В шутку я называл Сливкина Котом в сапогах при мне – маркизе Карабасе.

В Варшаве, битком набитой всевозможными тыловыми учреждениями, очень было трудно найти помещение для нашего склада. Тут и моя фамилия помочь не могла. Но Сливкин опять нас выручил: помчался в еврейский квартал, и отличное помещение оказалось к нашим услугам.

Покинув Сливкина и его двух помощников в Варшаве, мы двинулись в район военных действий. Через месяц на участке нашего фронта начались большие бои под Волей Шидловской, и развернутый нами лазарет в Жирардове был переполнен ранеными. Пришлось выписать из склада дополнительное оборудование, которое привез из Варшавы Брейдо. Когда он вошел в лазарет, помещавшийся в одном из корпусов жирардовской мануфактуры, увидел раненых, не только лежавших на кроватях, но и валявшихся в грязных шинелях на полу сплошными рядами так, что ступить было некуда, когда услышал их стоны, то сразу забыл пуризм своих антивоенных убеждений, надел белый халат и стал помогать изнемогавшим от работы сестрам и санитарам.

Вечером, сконфуженно улыбаясь своей доброй улыбкой, Брейдо сказал мне:

– Знаете, В. А., я не могу больше работать на складе, вижу, что здесь я нужнее.

– А как же с вашими убеждениями? – невольно пошутил я.

– Не до убеждений,– серьезно ответил он.– Разве можно думать об отвлеченных принципах, когда видишь это море страданий.

Так и остался Хаим Брейдо в Жирардове. Бог наградил его прекрасным здоровьем и, поддерживаемый своим сильным духом, он мог работать без устали круглые сутки. И столько любви, столько жалости к страдающим людям вносил он в свою работу! Лучшие сестры не умели так ловко и споро перевязать раненого, как сразу

он научился это делать. И для каждого он находил слова бодрости и утешения. Ночью, когда весь персонал, кроме дежурных, уходил на отдых, он оставался в лазарете, прислушиваясь к стонам раненых и предупреждая их желания. Одного покроет одеялом, другому поправит подушку и т.д. А то, в свободную минуту, присядет к кому-нибудь из них на кровать и начнет ему что-либо занимательное рассказывать, или сам слушает рассказы о далекой деревне. Раненые в нем души не чаяли. "Вот так жид, – говорили, – лучше его и хрестьянина не сыщешь".

И Брейдо стал душой лазарета и любимцем всего персонала. Старший врач поручал ему самые ответственные перевязки и в конце концов, минуя опытных сестер и даже фельдшеров, приглашал его себе в помощь при сложных операциях.

Но вот закончился период боев. Раненые, заполнявшие лазарет, были отправлены в тыл, и для всего персонала нашего отряда наступил период безделья. В сменявшихся периодах огромного физического и нравственного напряжения с одной стороны и полного безделья – с другой, при неизбежной тесноте отрядовой жизни, лучше всего познаются люди. Бывают милейшие и добрейшие с виду люди, но непригодные ни для какой работы. И наоборот, люди, способные к проявлению огромного нравственного подъема и даже геройства во время работы, вне ее становятся распущенными, капризными или мелочными и совершенно несносными в общежитии. Естественно, что при вынужденном безделье начинаются сплетни и ссоры.

Не избежал этой участи и наш отряд, персонал которого разделился на враждующие лагеря. Брейдо, человек исключительно высокого морального облика, остался, конечно, вне всего этого. Его открытое и бесхитростное отношение к людям, при полном отсутствии заискивания и подхалимства, исключало всякую возможность вражды к нему и недоброжелательства. Сохраняя со всеми лучшие отношения в эти трудные минуты отрядовой жизни, он стал миротворцем во всех возникавших из-за мелочей конфликтах. А кроме того, оказался чрезвычайно интересным собеседником в длинные зимние вечера, которые мы все вместе проводили в столовой отряда. Он превосходно знал Библию, которую основательно изучил, и, будучи страстным еврейским националистом, одновременно был горячим поклонником Льва Толстого и его общечеловеческого учения. Верил, что его народ пронес Правду Божию через века гонений и что эта Правда в конце концов восторжествует над злом и неправдой цивилизованного мира.

Длительное затишье на фронте побудило нас изменить деятельность нашего отряда, приспособив ее к потребностям отдыхающей армии. Свернули лазарет и стали устраивать для солдат бани, прачечные, починочные мастерские, чайные и проч. Наиболее посещаемая

из наших чайных находилась в городе Мценове, куда приходили на отдых войска после окопного сидения.

Мне очень хотелось дать эту чайную в заведование Брейдо, но и тут я наткнулся на его принципиальный ригоризм.

— Нет, уж в чайной я работать не могу,— возражал он мне.— Ведь солдат из Мценова снова погонят на фронт... Когда я перевязываю раненых в лазарете, я все-таки надеюсь, что ко времени их выздоровления окончится эта ужасная бойня и что я, помогая людям, не оказываю помощи войне. Поить же чаем здоровых солдат, которых через несколько дней отправят в окопы, — совсем другое дело...

Переубеждать Брейдо было бесполезно, но, с другой стороны, я знал, что, энергичный и деятельный, он больше всех других тяготится праздной жизнью и что работать в чайной ему хочется в такой же степени, как его прародительнице Еве хотелось вкусить запретного плода. И я стал действовать, как змий искуситель: предложил ему однажды поехать со мной посмотреть, как работают в чайной две сестры нашего отряда.

Приехав на место и увидав, с каким трудом эти сестры справляются с работой, он стал им помогать, а затем сконфуженно заявил мне, что охотно останется еще на несколько дней.

И в чайной закипела работа. Она сделалась своеобразным солдатским клубом, где измученные окопной жизнью солдаты отдыхали душой: могли играть в шашки, непринужденно болтать друг с другом за чашкой чая, читать газеты или слушать, как их читают грамотеи. Но что больше всего привлекало солдат к нашей чайной — это почтовая бумага, перья и чернила. В свободные от чаепития часы Брейдо и сестры садились за писание писем неграмотным солдатам. Целые вороха этих писем ежедневно сдавались на почту, минуя полковую цензуру, в которой залеживались неделями. Быстрота общения с родными и близкими особенно ценилась солдатами.

И тогда, когда военные корреспонденты в пышных фразах воспевали геройский дух русской армии, противопоставляя его унынию тыла, мы в отряде из сотен и тысяч солдатских бесхитростных писем узнавали, что все это лишь словесная мишура, что солдаты устали от войны и жаждут мира, мира немедленного, на любых условиях, только бы вырваться из окопного ада и вернуться в свои деревни, к своему хозяйству, к своим семьям...

Как-то раз, приехав в Мценов, я по расстроенным лицам Брейдо и сестер сразу заметил, что произошло что-то нехорошее. Оказалось, что незадолго до моего приезда мимо сидевшего у чайной Брейдо проходил какой-то офицер. Чрезвычайно близорукий Брейдо его не заметил. Офицер остановился:

— Не видишь разве, жидовская морда, что офицер идет? Встать!

Брейдо побледнел как полотно, но встал, подошел к офицеру и, стараясь сохранить спокойствие, сдержанно ответил ему, что он во-первых близорук, а во-вторых не военный.

– Чего ж ты шляешься здесь, жидам на фронте не место! Разве не знаешь, что отсюда уж давно всю жидовню погнали.

Брейдо, снова сделав над собой усилие, тихим, но твердым голосом попросил офицера не оскорблять его и его народ.

– Молчать! – закричал офицер и со всего размаха ударил Брейдо по лицу.

Подчиняясь своим твердым убеждениям толстовца, запрещавшим ему отвечать насилием на насилие, Брейдо стерпел нанесенное ему оскорбление. А потом, еще бледный от пережитого душевного потрясения, говорил мне:

– Не я первый, не я последний. Жизнь каждого еврея в России проходит среди постоянных унижений и оскорблений. Тяжко это, В. А. А все-таки я не желаю евреям равноправия. Гонения поддерживали в еврейском народе силу духа и вечное искание Божьей правды, ставшие нашими национальными чертами. Я люблю свой народ таким, как он есть, и верю, что его назначение не в завоевании материальных благ, а в духовном излучении и воздействии на другие народы. Дайте нам равноправие, и в соблазнах мира евреи утратят качества избранного народа, как это уже произошло в других культурных странах Европы.

Пока Брейдо говорил, щеки его покрылись румянцем, а в глазах зажегся огонь фанатизма. От только что пережитого им тяжкого оскорбления не осталось и следа.

Я не мог не преклониться перед моральной силой этого человека и не стал ему возражать, хотя, не будучи евреем и не веря в духовную миссию еврейского народа, предпочитал для него чечевичную похлебку равноправия мнимому праву первородства, покоящемуся на его бесправии и рабстве...

Во время революции я Брейдо не встречал и не знаю, как он ее принял. Знаю только, что этот поборник Божьей правды с темпераментом пророка неоднократно сидел в большевистских тюрьмах, да и теперь, если жив, едва ли находится на свободе.

Пока "святой Хаим", как мы его называли, завоевывал сердца всего персонала нашего отряда и стал для нас незаменимым человеком на фронте, его антипод, Сливкин, сделался столь же незаменимым в тылу. Заведуя нашим складом в Варшаве и вообще снабжением отряда всеми предметами питания и оборудования, он с необыкновенной аккуратностью и быстротой исполнял все возлагавшиеся на него поручения. Несмотря на оскуднение торговли в прифронтовой полосе и на хаотическое состояние транспорта по железным дорогам, Сливкин обладал совершенно чудодейственной способностью дешево приобретать для отряда самые редкие предметы и доставлять нам все грузы вне очереди. В то время как

другие санитарные отряды часто страдали от перебоев в снабжении, у нас все нужное было в изобилии. Ловкий и обходительный Сливкин сумел в короткое время завести дружеские связи с мелкими коммерсантами варшавского гетто, которые правдами и неправдами добывали ему всевозможные товары. А любовь железнодорожных служащих он заслужил, поднося им бутылки спирта – жидкости, запрещенной в продаже, но в изобилии имевшейся на нашем складе. И вот, закусывая с одними, выпивая с другими, добродушно трепля по плечу третьих, обмениваясь услугами с четвертыми, а если было нужно – действуя авторитетом моего княжеского титула, банально-патриотическими речами или своим воинственным видом и бряцанием шпор, мой "Кот в сапогах" стал много могущественнее своего "маркиза Карабаса".

Но... чем больше я присматривался к кипучей деятельности незаменимого Сливкина, тем больше начинал сомневаться в том, что его всемогущество объяснялось исключительно теми сравнительно невинными методами обхождения с людьми, которые я только что перечислил и из которых единственно криминальным было спиртовое мздодательство, ставшее на фронте "бытовым явлением".

Прежде всего на тревожные мысли наводил меня образ жизни Сливкина в Варшаве, совершенно не соответствовавший скромному жалованию, которое он от меня получал. Ясно было, что он имеет какие-то побочные источники довольно больших доходов. Особенно неуютно я чувствовал себя, когда, приезжая невзначай к нему на склад, я заставал его в обществе каких-то неопрятного вида людей, таинственно с ним шептавшихся. При моем появлении сразу прекращался таинственный разговор и темные личности прощались с ним и уходили. Чтобы проверить мои подозрения, я произвел внезапную ревизию склада, но все имущество оказалось в целости и в полном порядке. Подозрения так и остались подозрениями. Очень возможно, что Сливкин пускал в оборот довольно крупные авансы, которые получал (в этом его уличить было трудно), но некоторые обстоятельства в его дальнейшей судьбе невольно наводят меня на мысли и о других вероятных источниках его средств.

Как бы то ни было, уволить его я не мог за отсутствием реального повода, однако облегченно вздохнул, когда все варшавские склады отрядов Союза городов, а в том числе и наш склад с чудодеем Сливкиным, перешли в ведение вновь назначенного особо-уполномоченного Н.В. Дмитриева. Само собой разумеется, что я не счел себя вправе поделиться с ним своими подозрениями, ни на каких фактах не основанными.

Образцовый порядок на складе, безукоризненная отчетность, а также энергия и деловитость Сливкина произвели очень благоприятное впечатление на особо-уполномоченного, который вскоре поставил его во главе центрального склада и назначил помощником уполномоченного по снабжению передовых отрядов Союза городов.

Н.В. Дмитриев, опытный администратор и деловой человек, конечно, тоже скоро почувствовал что-то неблаговидное в сливкиных делах, но и он не мог уловить ничего явно предосудительного в работе своего всегда бодрого, веселого, дельного и исполнительного служащего, с которым поневоле сохранял добрые отношения. Однако, как и я в свое время, он очень обрадовался, когда Сливкин был приглашен Земским Союзом на более видную и ответственную должность.

Вернувшись с фронта в Петербург, я около полутора лет не получал известий о Сливкине. Но вот однажды он внезапно заехал ко мне на службу и, радостно пожимая мою руку, обдал меня запахом дорогих духов. К добродушной развязности и самоуверенности "Кота в сапогах" присоединилась некоторая важность осанки и манер. Оно и понятно: ведь из самозванного студента Льежского университета и санитара, таскавшего раненых с петербургских вокзалов в лазареты, он превратился в уполномоченного Всероссийского Земского Союза, о чем свидетельствовали присвоенные им себе "по должности" бригадирские погоны, перед которыми нижние чины становились во фронт. Но сделал он не служебную карьеру. На фронте он познакомился с молодой женщиной-врачом из состоятельной еврейской семьи и на ней женился. Вероятно, она не обратила бы на него внимания, если бы он был простым полуинтеллигентным, хотя умным и бойким, санитаром, но уполномоченный с бригадирскими погонами чем не пара для девицы с высшим образованием!..

На улицу мы вышли со Сливкиным вместе.

– Разрешите подвезти вас, – предложил он мне, важно и повелительно мотнув головой лихачу, который ждал его у подъезда. И мы покатили по улицам Петербурга, приятно покачиваясь на резиновых шинах. Прощаясь, он сказал мне, добродушно улыбаясь:

– А я вам в подарок привез пуд сахара. Знаю, как здесь с этим трудно, а у нас на фронте сахара – сколько угодно. Хотел сам завезти вашей супруге, но, извиняюсь, не поспею, пришлю с посыльным.

Я отлично понимал незаконное происхождение сахара и довольно нелюбезно отказался от подарка.

– Да нет, отчего же, мне ведь это не трудно, – пожимая мне руку и важно рассаживаясь на своем лихаче, возразил Сливкин.

Я видел, что он не понимал моего отказа от сахара, который дарил мне от души, в благодарность за свою блестящую карьеру.

Через два дня посыльный все-таки принес на мою квартиру два больших пакета сахара. Жена, которую я предупредил, хотела вернуть сахар обратно, но оказалось, что посыльный получил его на вокзале от "генерала", уехавшего на фронт.

Так и пришлось нам пить чай с краденым сахаром...

Вскоре произошла революция, забросившая меня в Крым. Там я как-то встретился с одной из сестер нашего отряда. Стали вспоминать время, вместе проведенное на войне.

— Не знаете ли, куда девался Сливкин? — спросил я ее.

— Представьте, я его видела в Москве, в театре. Сидел он, важно развалившись, в ложе народных комиссаров. Очевидно занимает у них высокий пост.

А вот что рассказывал мне о нем Н.В. Дмитриев, у которого Сливкин некогда служил в Варшаве.

В начале 1918 года Дмитриев жил в Петербурге, со дня на день ожидая ареста. По возможности дома не ночевал и все старался изобрести способ выбраться на юг, за пределы тогдашней Советской республики. Вдруг на улице встречает Сливкина.

— А, Николай Всеволодович, рад вас видеть, как поживаете?

В те времена знакомые в России еще с доверием относились друг к другу и Н.В. Дмитриев рассказал Сливкину о своем трудном положении.

— Ну, я постараюсь вам помочь, а пока перебирайтесь ко мне, у меня безопасно.

И Сливкин повел своего бывшего начальника к себе на квартиру. Квартира оказалась просторной и комфортабельной, и супруги Сливкины вели в ней среди голодавшего Петербурга широкий образ жизни. Все это показалось Н. В. странным и подозрительным. Но особенно не по себе стало ему за роскошным обедом с винами и закусками, который Сливкин давал своим друзьям. Разливая вино в стаканы, он незаметно шепнул Н. В. на ухо: "Будьте осторожны в своих разговорах". Дмитриев сразу понял, что, скрываясь от большевиков, он неожиданно для себя оказался в их власти...

Но Сливкин не выдал человека, которому был многим обязан. Несколько дней укрывал его, а затем помог выбраться из Петербурга. В этом еврее более чем сомнительной нравственности все же сказалась хорошая национальная черта — верность в личных привязанностях и стремление платить добром за добро. Меня он отблагодарил пудом краденого сахара, а Дмитриева — спасением его жизни.

За время моей эмигрантской жизни мне несколько раз приходилось встречать в газетах упоминание о Сливкине как о партийном коммунисте. Занимал он не слишком видные, но все же ответственные должности. Одно время служил дипломатическим курьером и постоянно путешествовал между Москвой и Берлином. От лица, познакомившегося со Сливкиным в Берлине, я знаю, что его дипломатические вализы на обратном пути в Россию заполнялись всевозможными контрабандными товарами. Этот солидный побочный доход давал ему, конечно, возможность широко жить в свое удовольствие. Слышал я еще, что он развелся со своей прежней женой и женился на одной балерине с мировым именем. А несколько

лет тому назад в газетах промелькнуло известие об аресте Сливкина.

Кончилась ли на этом карьера этого ловкого человека – мне неизвестно. Во всяком случае, причины, приведшие в большевистскую тюрьму двух евреев – санитаров моего отряда, некогда вместе работавших в его варшавском складе, были не менее различны, чем побуждения, руководившие ими, когда я с ними отправлялся на фронт.

* *
*

Мы с женой пробыли на фронте более полугода, до июля 1915 года. Остались бы и дольше, если бы уполномоченные Союза городов получали вознаграждение, которое было впоследствии установлено. В начале войны мы работали бесплатно, и бюджет моей огромной семьи пришел от этого в полное расстройство. Волей-неволей приходилось возвращаться к своим петербургским заработкам.

Я уезжал из Жирардова, когда наша галицийская армия, лишенная необходимого вооружения, уже скатилась с Карпат и спешно отступала к русским границам, неся огромные потери. Войска нашего Западного фронта, чтобы не оказаться обойденными неприятелем, тоже должны были попятиться, оставив немцам Варшаву.

Жирардово готовилось к эвакуации. На фабриках отвинчивались и обламывались все медные ручки, краны, гайки и т.п., увозились раненые, грузились вагоны всем, что можно было вывезти в спешном порядке.

Настроение армии было подавленное. Все, от генералов до нижних чинов, говорили о предательстве. Всюду и везде видели немецких шпионов. Помню, как в каком-то штабе меня уверяли, что немцы приспособили к разведочному делу собак и что эти собаки-шпионы рыщут между нашими войсками. А о предательстве верхов и в особенности военного министра Сухомлинова уже говорили совершенно открыто. Шпиономания, охватившая армию, имела, конечно, много оснований. Если шпионство собак можно отнести за счет расстроенного воображения, то не подлежало сомнению, что немецкие шпионы кишмя кишели как на верхах, где распутинщина была благоприятной средой для их темных дел, так и в армии, где наша контрразведка была очень плохо организована.

Я провел полгода на фронте, часто ездил в штабы армий, корпусов, дивизий и полков. И за все это время у меня ни разу никто

не потребовал предъявления документов, удостоверяющих мою личность. Караульные посты вытягивались перед моими полковничьими погонами, а когда приходилось спрашивать о том, где находится такой-то штаб или где расположена такая-то часть, – добродушно сообщали мне нужные сведения. Штабные офицеры тоже никогда не пытались проверить мою личность, разговаривали при мне о расположении частей, иногда вместе со мной рассматривали карты, на которых были обозначены все наши батареи, штабы и пр. Только перед самым отступлением нашего фронта, на больших дорогах, ведущих из Жирардова в сторону передовых позиций, были поставлены заставы и отдан был приказ требовать документы от всех проезжающих, невзирая на чины. Чтобы не задерживаться на таких заставах, я просто их объезжал. Вероятно так поступали и другие, в том числе и немецкие шпионы. Я не знаю порядков, существовавших в союзных и враждебных армиях, но думаю, что нигде не было такой добродушной халатности, как в русской.

Накануне отъезда из Жирардова я сдал свой отряд новому уполномоченному Д. Д. Посполитаки и, освободившись от ответственности, заснул так крепко, что звук разорвавшейся у нас во дворе аэропланной бомбы меня не разбудил.

Последний раз проезжая на автомобиле нашего отряда по знакомой дороге между Жирардовым и Варшавой, мы с женой видели спешную работу войск, копавших окопы и устанавливавших проволочные заграждения для арьергардных боев, долженствовавших прикрывать отступление.

Два дня мы провели в Варшаве. Она имела свой обычный веселый и спокойный вид. От ее жителей скрывали, что она будет сдана немцам без боя, но мы, видевшие на фронте подготовку к эвакуации, в этом не сомневались и с грустью покидали этот жизнерадостный город, представляя себе, как через несколько дней по его главным улицам будут с напыщенной важностью гулять напомаженные офицеры германского генерального штаба...

Возвращение в Петербург, в привычную семейную обстановку было мне приятно. Только в тылу мы с женой почувствовали, как мы нервно устали от шестимесячного пребывания на фронте. А мы все-таки жили там в полной почти безопасности, да и не видали настоящего лика войны. Что же должны были испытывать миллионы людей, живших в окопах, в постоянном соприкосновении со страданиями и смертью!

Глава 24

ПОЛТОРА ГОДА ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ (1915–1917)

Развал власти и растущее недовольство. Разговоры о неизбежности революции. Слухи о готовящемся дворцовом перевороте. ЦК кадетской партии отказывается от безусловной поддержки правительства. Доклад Милюкова об образовании прогрессивного блока как о последнем средстве предотвращения революции. Темные слухи о предательстве императрицы. Беседа М. В. Челнокова с морским министром Григоровичем. Бурное заседание Думы в начале ноября 1916 года и речь Милюкова — "глупость или измена". Общество теряет последние надежды на благополучный конец войны. Городские попечительства о бедных. Помощь семьям запасных. Графиня С. В. Панина. Петроградский областной комитет Союза городов. Моя жизнь и работа перед революцией.

В Петербурге я сразу попал в напряженную политическую атмосферу. Начинался период полного распада государственной власти и исключительного влияния Распутина и разных темных дельцов — Манасевича-Мануйлова, кн. Андроникова и др. на ход государственных дел.

В настоящее время многие ушибленные революцией люди вычеркнули из своей памяти эти жуткие полтора года, когда, во время войны, на глазах у всей России, судьба ее оказалась в руках проходимцев и, вероятно, предателей.

Острое чувство патриотизма, охватившее в начале войны все почти русское культурное общество, еще больше усилилось после военных поражений, но становилось очевидным, что основные причины их коренятся прежде всего в дезорганизации власти. Между тем борьба с властью во время войны не сулила ли еще худшего?

Получался заколдованный круг, из которого не видно было выхода.

Мне приходилось принимать участие в целом ряде заседаний ЦК кадетской партии и в различных других собраниях общественных деятелей, умеренных и левых, в Петербурге и в Москве, на которых обсуждался этот роковой вопрос. Все понимали, что власть, находящаяся в руках слабовольного царя, всецело подпавшего под влияние

истерической жены и пьяного развратника Распутина, ведет Россию к гибели. Со всех сторон приходили сведения о нараставших в армии и в народе революционных настроениях. Никто не сомневался, что если все будет идти так, как шло до сих пор, то стихийную революцию предотвратить будет невозможно.

Вожди социалистических партий и другие левые политические деятели, не исключая и части левых кадетов, готовы были революцию приветствовать, с горячностью доказывая, что она неизбежно вызовет подъем патриотического настроения в армии, а следовательно будет способствовать победоносному окончанию войны. Однако большинство участников совещаний, на которых мне приходилось присутствовать, высказывалось против такой точки зрения. Уже тогда они ясно понимали, что революция во время войны не может не привести к анархии и к разгрому России.

Я лично тоже придерживался последней точки зрения и хорошо помню, как на одном из собраний в Москве поспорил на эту тему с А.Ф. Керенским.

Гораздо больше было сторонников дворцового переворота. Само собой разумеется, что вопрос о дворцовом перевороте не мог быть темой даже закрытых собраний, но в происходивших на них прениях осторожно касались и этого способа спасения России от полного военного разгрома и от стихийной революции. Мысль о дворцовом перевороте была наиболее популярна в умеренных и правых кругах.

Конечно, участвовать в дворцовом перевороте могли лишь лица, имевшие связи при дворе и в армии, организация же его требовала от его участников сугубой конспирации. Поэтому никто из посторонних лиц не имел возможности знать, насколько он осуществим. Все же о том, что заговор существует, многие подозревали и по секрету сообщали друг другу имена заговорщиков, в числе которых постоянно назывался А.И. Гучков (теперь мы знаем, что не без основания).

Однако серьезные политические деятели, хотя бы и сочувственно относившиеся к мысли о дворцовом перевороте, не могли, не участвуя в его подготовке, вводить его в свои политические расчеты. Заговор мог удаться и не удаться, а пока прежняя власть продолжала существовать, нужно было действовать, считаясь с ее существованием.

В начале войны думские оппозиционные партии, кроме социалистических, отказались от резких выступлений против правительства, надеясь, что и оно будет поддерживать внутренний мир, необходимый для борьбы с внешним врагом, работая совместно с общественными организациями. Но, как только Земский Союз и Союз городов приступили к работе по помощи раненым, как только возник военно-промышленный комитет и стал организовывать производство для снабжения армии боевыми

средствами, правительство уже насторожилось и стало чинить всяческие препятствия работе общества на пользу армии. Если тем не менее дело общественных организаций продолжало расти и развиваться, то только благодаря тому, что сама армия ими дорожила, а верховный главнокомандующий, Николай Николаевич, им покровительствовал.

Осенью 1915 года Николай Николаевич был смещен и во главе армии стал сам Николай II. Это обстоятельство ставило под угрозу общественную помощь армии, разгром которой на Карпатах и в Галиции с ясностью показал, что правительство без помощи общества вести войну не в состоянии.

Независимо от этого, с переездом государя в ставку, на армию распространялось влияние императрицы и подозрительных людей, ее окружавших.

И настал момент, когда борьба с правительством, хотя бы перед лицом наступавшего врага, становилась общественным долгом, несмотря на очевидную ее опасность. Вопрос сводился лишь к тому, в какой форме ее вести.

Не знаю, кому принадлежала мысль об образовании в Думе и в Государственном Совете прогрессивного блока. По-видимому инициатором был П. Н. Милюков. По крайней мере в ЦК кадетской партии он первый поднял об этом вопрос.

Доводы его в пользу образования прогрессивного блока были весьма убедительны и сводились приблизительно к следующему: разложение власти все больше и больше дает себя чувствовать. Наряду с министрами управляют страной Распутин и делающие с его протекцией карьеру проходимцы. Есть несомненные признаки, что германский генеральный штаб имеет среди них своих агентов-осведомителей. До сих пор мы в наших публичных выступлениях щадили правительство, понимая, что внутренняя политическая борьба может повредить безопасности нашей армии. Однако дольше молчать нельзя. Власть сама разлагает армию и подготовляет революцию. В таких трагических обстоятельствах на представительных учреждениях лежит обязанность сделать последнее усилие, чтобы добиться замены существующего правительства правительством общественного доверия.

Парламентская оппозиция, составляющая меньшинство в обеих палатах, действующая изолированно, не имеет никаких шансов на успех в этом деле. Наши бессильные оппозиционные речи могут лишь еще больше обострить революционные настроения в стране и привести к революционному взрыву и военной катастрофе. Единственно возможная для нас тактика заключается в образовании в Думе и в Государственном Совете блока с их умеренно-правым большинством.

Только такое сплочение большинства законодательных учреждений может своим авторитетом заставить Николая II пойти на

уступки и призвать к власти честное правительство, пользующееся доверием народа.

Само собой разумеется, что, вступая в блок с правым большинством, мы должны выработать компромиссную программу наших общих требований. Уступки должны быть сделаны с обеих сторон, но нам, в частности, придется временно отказаться от нашего программного требования ответственного министерства, выдвинув приемлемый для наших будущих союзников справа лозунг "правительство общественного доверия".

Только таким путем мы можем достигнуть цели обновления правительства, которое, совместно со всеми живыми силами страны, имеет еще шансы спасти Россию от военной и государственной катастрофы. Если мы этой цели не достигнем, то с чистой совестью скажем себе, что сделали все от нас зависящее для ее осуществления. Это единственный путь борьбы за власть, который доступен в сложной обстановке, созданной войною.

Предложение Милюкова не было, конечно, неожиданностью для членов ЦК, ибо ему предшествовали частные беседы, как среди его членов, так и между лидерами парламентских групп. Большинство Милюкову было заранее обеспечено. Тем не менее его предложение встретило горячие возражения со стороны наиболее левых членов партии, как в ЦК, так и в парламентской фракции, которые, когда прогрессивный блок был уже составлен и обсуждалась его программа, систематически возражали против каждого ее пункта.

Я лично на этот раз совершенно разошелся во взглядах со своими обычными левыми единомышленниками, целиком разделяя точку зрения Милюкова на прогрессивный блок как на последнюю попытку мирного разрешения конфликта между всем населением России и властью. Однако я менее оптимистически смотрел на исход борьбы законодательных учреждений с Николаем II, чем многие из моих коллег по ЦК, ибо то, что на парламентском языке называлось борьбой с "правительством", в действительности было борьбой с самим царем, а постановления Думы и Государственного Совета были плохим оружием против явлений психопатологического порядка.

В таких условиях прогрессивный блок из средства, предотвращающего революцию, становился одним из факторов, ей содействовавших. Но мне казалось, что если революция уже неизбежна, то лучше, чтобы она имела точку приложения сил в организованном народном представительстве, а не пришла бы в виде неорганизованного бунта, "бессмысленного и беспощадного".

Думаю, что и Милюкову были не чужды эти простые мысли, хотя, как ответственный политик, он их никогда не высказывал даже на партийных заседаниях.

Дальнейшие события показали, что я, при всем своем пессимизме, все-таки оказался слишком большим оптимистом.

Благодаря участию в прогрессивном блоке, правое крыло которого находилось в постоянном контакте с придворными и правительственными кругами, а также благодаря участию депутатов кадетской партии в высших коллегиальных учреждениях, наш центральный комитет был хорошо осведомлен обо всем, что происходило в тылу и на фронте и что, вследствие цензурных стеснений, не всегда становилось достоянием печати.

С головокружительной быстротой перед нами проходил весь калейдоскоп текущих событий этого страшного времени: судорожная смена министров по указанию Распутина; арест и освобождение Сухомлинова, дело Манасевича-Мануйлова, дело Ржевского; попытки председателя Думы Родзянко и других лиц раскрыть государю глаза на пагубное вмешательство в государственные дела его жены и Распутина; тревога в русских и союзнических общественных кругах по случаю назначения министром иностранных дел и премьером Штюрмера, известного своей нечестностью и немецкими симпатиями; назначение министром юстиции Добровольского – человека с сомнительной репутацией, а министром внутренних дел – сумасшедшего Протопопова; спазматические созывы и роспуски Государственной Думы; убийство Распутина и слухи о готовящемся дворцовом перевороте с участием великих князей; наконец, последний предреволюционный период, когда судорожные действия власти производили впечатление ее полного безумия... И все это на фоне постоянных поражений на фронте и глухого брожения в армии...

Теперь имеется много опубликованных воспоминаний и документов, посвященных этим событиям, но люди, не пережившие их в сознательном возрасте, не могут представить себе остроту чувства боли и страха за свою родину, которое мы тогда испытывали. Только ужасы революции могли затуманить воспоминания многих моих современников об этом жутком времени.

Тогда ощущение, что Россия управляется в лучшем случае сумасшедшими, а в худшем – предателями, было всеобщим. Фабула о том, что императрица-немка предает Россию, была очень распространена в народе, а следовательно и в армии, но эти страшные подозрения не были чужды даже самым верхним кругам петербургского общества.

Неосновательность их теперь вполне доказана, но тогда, в той нервной обстановке, целый ряд сомнительных фактов претворялся в общественном мнении в прямые улики.

Один из таких фактов мне рассказал уже за границей М.В.Челноков после опубликования переписки Николая II с его женой.

Рассказ Челнокова я записал и за приблизительную точность его ручаюсь. Вот его содержание:

Челноков был председателем морской подкомиссии совещания по государственной обороне и по своей должности находился в

постоянных сношениях с морским министром Григоровичем. Однажды, зайдя в кабинет Григоровича, Челноков застал его в страшном волнении. Григорович ходил взад и вперед по кабинету и, видимо, плохо слушал то, что Челноков ему говорил. Вдруг он остановился перед Челноковым и сказал ему:

— Михаил Васильевич, меня мучает одна вещь, о которой я ни с кем не говорил. Но я ощущаю потребность с кем-либо поделиться моей тревогой. Обещайте мне, что все, что я вам расскажу, останется между нами.

Челноков обещал.

— Так вот, — продолжал Григорович, — в качестве морского министра я регулярно сообщаю государю все секретные донесения морского штаба. Это в порядке вещей, так как государь не только глава государства, но и верховный главнокомандующий. Вдруг недавно я получаю от государя распоряжение пересылать императрице копии этих секретных донесений. Меня это крайне изумило. Какое, в самом деле, императрица имеет отношение к военным секретам и зачем их ей сообщать? Тем не менее, как верноподданный, я не мог не исполнить распоряжения своего государя и стал регулярно посылать копии секретных донесений императрице.

И, представьте себе, с этого времени я стал замечать, что наши секреты становятся известны немцам. Это совпадение мучило меня и я решил проверить свои подозрения. На этих днях, нарушая свой верноподданнический долг, я послал императрице ложное донесение о том, что наша эскадра в такое-то время выйдет из Финского залива и направится с определенными целями по такому-то пути. Одновременно я отправил по этому пути разведочный миноносец. И вот вчера командир миноносца мне доносит, что как раз в указанном месте он увидел сильную немецкую эскадру... Ну, как это объяснить, что об этом думать?!

Челноков, конечно, не мог придумать никаких объяснений, кроме одного, которое не решился высказать и которое, очевидно, мучило и адмирала Григоровича.

Он выполнил свое обещание и никому не сообщил тогда о своем разговоре с Григоровичем, но сам, даже уже в эмиграции, таил в себе страшные подозрения, неосновательность которых понял лишь прочтя письма императрицы к мужу. Но в них он нашел и объяснение загадочному факту: в одном из писем императрица благодарит мужа за то, что он распорядился посылать ей копии секретных донесений морского штаба, а в другом, по поводу какой-то военной тайны, заверяет его, что "даже нашему Другу" ее не сообщила. Это "даже" указывает, что в других случаях она не скрывала от него военных тайн.

Возможно, что сам Распутин и не был предателем, но был окружен темными людьми, из которых наверное некоторые были

немецкими шпионами. Достаточно вспомнить, что личным его секретарем был Симонович, который, попав в эмиграцию, открыл в Париже игорный дом, а затем судился за сбыт фальшивых кредитных билетов.

Если теперь все это находит себе более или менее понятное объяснение, то тогда даже морской министр Григорович находился во власти темных подозрений по отношению к императрице. Трудно представить себе больший развал государственной власти.

Факт, мною здесь сообщенный, не был никому известен, кроме Григоровича и Челнокова, но были другие, более мелкие факты и сплетни, верные и неверные, передававшиеся из уст в уста и служившие косвенными уликами против этой несчастной больной женщины.

О том, что Николай II и его приближенные ведут Россию к неминуемой гибели, уже не было разногласий между правыми и левыми, между солдатами и офицерами, между простонародьем и интеллигенцией, между послами союзных держав и русскими великими князьями.

Это единодушное отношение к власти особенно ярко проявилось в заседании Думы в начале ноября 1916 года, на котором я присутствовал. Это было то знаменитое заседание, на котором Милюков, приводя целый ряд фактов из деятельности властей на фронте и в тылу, заканчивал изложение каждого из них риторическим вопросом: "Что это — глупость или измена?" Эти слова били как молотом по голове, ибо они формулировали как раз то страшное, что всех мучило.

При каждом повторении этой фразы точно электрический ток проходил по нервам всех присутствовавших. Правые и левые депутаты, журналисты, публика, все аплодировали, вскакивали со своих мест, шумели, что-то кричали, заглушая слова Милюкова. И долго после его речи точно буря бушевала в Таврическом дворце.

После Милюкова говорили другие ораторы; очень резкую речь произнес Пуришкевич. Им аплодировали, но той бури, которую вызвала речь Милюкова, не повторилось. Наши нервы были слишком утомлены.

Как теперь это ни кажется странным, я возвращался с этого заседания Думы с чувством одержанной победы. Беспощадные слова, сказанные открыто, перед всей Россией, воспринимались, как смертоносное оружие, вонзенное в самое сердце врага. Казалось, что вскрыт страшный гнойник и наступит какой-то поворот в политике власти. В самом деле, что должна была сделать всякая, хоть сколько-нибудь разумная власть после речей Милюкова, Пуришкевича и других ораторов, с которыми солидаризировалась вся Дума? Одно из двух: или уступить и составить новое правительство "общественного доверия", которого добивалась Дума, или распустить

Думу, арестовать ее ораторов, конфисковать все газеты с отчетами о думском заседании. Но Николай II не сделал ни того, ни другого. Дума продолжала заседать, Милюков не был арестован, но и Распутин сохранил свое влияние, пока Пуришкевич и Юсупов его не убили. Только Штюрмер не мог уже более показываться в Таврическом дворце и вскоре вышел в отставку. А речи думских ораторов, напечатанные во всех газетах, свободно распространялись в тылу и на фронте, поддерживая и еще больше воспламеняя революционные настроения...

Весь период времени после моего возвращения с фронта и до государственного переворота соединяется в моей памяти с ощущением все растущей тревоги, порой доходившей до отчаяния и усугублявшейся сознанием какой-то фатальности приближавшейся грозы, предотвратить которую было уже нельзя.

В возможность побед на фронте уже никто не верил. Одна надежда оставалась на союзников, но и оттуда, с Западного фронта, ничего, могущего поднять бодрость нашего настроения, не сообщалось. Там война приняла затяжной характер. В газетах пестрели названия все одних и тех же мест сражения – городков, деревень, рек и речек. Особенно часто переходил из рук в руки какой-то "домик паромщика". От этого домика, конечно, после первого сражения даже развалин не осталось, но он долго помещался в заголовках газетных столбцов, наводя на читателей уныние безнадежности.

Правда, знающие люди утверждали, что, благодаря помощи общественных организаций, обороноспособность нашей армии увеличивается изо дня в день и что весной 1917 года мы сможем начать победоносное наступление. Так оно и было на самом деле. Но и эти сведения не могли поднять духа русских людей, привыкших уже за время войны, что все их надежды неизменно рушились.

Мы еще считали своим долгом говорить какие-то бодрые слова, ибо отдали войне слишком много душевных сил, чтобы отказаться от столь пошло звучавшего теперь лозунга – "война до победного конца", но это было уже с нашей стороны лицемерием. Даже самым близким людям мало кто решался выдать свои сомнения относительно исхода войны, но ни прежней веры, ни патриотической энергии в обществе уже не чувствовалось.

Как и другие принципиальные сторонники "войны до победного конца", я посвящал значительную часть своих досугов связанной с войной работе. Вернувшись с фронта, я опять стал ходить на службу в министерство путей сообщения, но все экономические обследования проектировавшихся железных дорог были из-за войны отложены, а потому работы на службе у меня не было никакой. Для очистки совести мы с моим начальником, инженером Никольским, придумывали себе разные занятия, но большую часть времени проводили в праздности. Однако ежедневное посещение службы

было обязательно, а служба была в это время единственным источником моих средств. Зато вечера и праздничные дни я посвящал общественным делам, посещая заседания и собрания парламентской фракции. Но большую часть свободного времени отдавал работе в 19-м городском попечительстве о бедных Петербургской стороны.

До войны столичные попечительства были исключительно благотворительными учреждениями, существовавшими отчасти на средства частных лиц, отчасти на субсидии от города. В Москве, где широкая благотворительность была издавна в традициях ее богатого купечества и где городская Дума проявляла больше заботливости о населении, городские попечительства о бедных были живыми общественными учреждениями. В Петербурге же до войны большинство их влачило жалкое существование. Работали в них преимущественно живущие на пенсии отставные чиновники и скучающие от безделья дамы. Деятельность же их заключалась главным образом в раздавании грошовых пособий вдовам и сиротам.

С начала войны правительство стало отпускать городам огромные средства на выдачу денежных пособий семьям призванных на войну запасных нижних чинов, по нормам, установленным законом, а столичные Думы передали это дело городским попечительствам. Прежнему составу попечительств такая работа была не под силу, но, благодаря тому, что в широких слоях петербургского общества считалось обязательным проявлять свое содействие войне, состав бесплатных работников попечительств увеличился во много раз.

В 19-м попечительстве на Петербургской стороне, где я работал и где меня избрали товарищем председателя, было чрезвычайно людно. Принимали участие в работе самые разнообразные люди – чиновники, лица свободных профессий, купцы и приказчики, студенты и курсистки. А работа была сложная. Приходилось документально устанавливать право тех или иных семей на пособие и следить за изменением состава этих семей. Кроме того, нужно было производить обследования имущественного положения более нуждающихся для выдачи им дополнительного пособия деньгами, одеждой и обувью, помещением детей в приюты и т. д.

Вначале выдавались пособия только законным семьям запасных, но затем городская Дума распространила право получения пособия и на семьи незаконные. И к нам хлынула масса новых клиенток, так называемых "гражданских жен". Появлялись женщины с детьми и без детей, женщины в платочках и шляпках, убогие и нарядные, некоторые, судя по внешнему виду и манерам, профессиональные проститутки. Обычно на вопрос о том, что им нужно, такие просительницы отвечали: "Я гражданская". Это звучало лучше, чем "незаконная". Но как было установить наличность бывшего сожительства солдата с называющей себя его "гражданской" женой? Практика

привела нас к тому, что мы стали требовать удостоверения их бывших сожителей, заверенные полковым начальством, но вначале удовлетворяли просьбы явных самозванок. Бывали даже случаи появления у нас законной и двух "гражданских" жен одного и того же солдата, и все требовали пособия, следуемого "по закону". Все такие казусы разбирались на заседаниях правления попечительства, члены которого, распределив между собой дежурства, руководили работой многочисленных добровольцев. Каждый из нас имел на попечении, кроме того, несколько наиболее нуждавшихся семей, которые мы навещали на их квартирах и хорошо знали все их нужды.

Дело постепенно разрасталось и усложнялось. Явилась потребность в общем руководстве. Если не ошибаюсь, по инициативе графини С.В. Паниной было созвано собрание представителей попечительств, на котором было решено создать объединяющий орган в виде Совета попечительств для координации их работы и руководства ею. Председательницей Совета была избрана С.В. Панина, вносившая в нашу работу неиссякаемую энергию и инициативу.

С графиней Паниной я до этой поры был мало знаком, лишь изредка встречаясь с ней на разных общественных заседаниях культурно-просветительного характера, но в 1915 году на совместной работе мы хорошо узнали друг друга, и с тех пор в течение более двадцати лет мы с ней, хотя редко видимся, живя в разных городах и даже государствах, поддерживаем дружеские отношения.

Не могу не сказать здесь несколько слов об этой замечательной русской женщине.

Наследница огромного состояния, С.В. Панина рано вышла замуж, но брак ее был крайне неудачен. Она разошлась с мужем и вернула себе после развода девичью фамилию. С тех пор она всецело отдалась общественной деятельности.

К молодой, богатой и доброй женщине стало обращаться за благотворительной помощью множество просителей. Но, не желая распылять свои средства на индивидуальную помощь людям, на общественные дела денег она не жалела и принимала активное участие в создаваемых ею учреждениях. Больше всего посвящала она времени Народному Дому в Петербурге, оборудованному и содержавшемуся на ее средства. Графиня Панина обладала настоящим организаторским талантом. Каждое дело спорилось в ее руках.

Даже в эмиграции, оказавшись без всяких средств, она умела находить деньги для своих общественных начинаний и до сих пор стоит во главе одного из них – студенческого Очага в Праге.*

---

* Это я писал в 1937 году. Когда немцы завладели Чехословакией, Паниной пришлось покинуть эту страну и переселиться в Соединенные Штаты Америки, где она опять впряглась в общественную работу в Комитете помощи русским эмигрантам под председательством А.Л. Толстой.

Когда началась война, С. В. приняла участие в работе Нарвского попечительства, в районе которого находился ее Народный Дом. И сразу это попечительство сделалось одним из самых активных, а его председательница вскоре оказалась во главе всей работы по оказанию помощи семьям запасных.

С С.В.Паниной мне пришлось работать также в петроградском городском комитете Союза городов по оказанию помощи беженцам с фронта. В Петербурге действовали две организации Союза городов: петроградские областной и городской комитеты. В качестве бывшего уполномоченного Союза городов на фронте я сделался членом обеих организаций.

Областной комитет, председателем которого был Михаил Михайлович Федоров, занимался формированием санитарных и питательных отрядов, отправлявшихся на фронт, ведал ими и получал от них отчеты. Затем, когда в тыл хлынула волна беженцев, устраивал для них питательные пункты и амбулатории на узловых станциях северо-западной России и организовывал медико-санитарный надзор в беженских поездах. И главным образом благодаря его энергии создались те полезные учреждения, которые я выше перечислил.

В эмиграции М.М.Федоров организовал комитет помощи учащейся молодежи, и только благодаря его неиссякающей энергии и упорству в добывании средств сотни русских юношей, обреченных судьбой влачить жалкое существование за границей, закончили свое образование и выбились в люди.

Городской комитет Союза городов, председателем которого был сенатор С.В.Иванов, заведовал петербургскими его учреждениями, главным образом лазаретами.

Летом 1916 года, как я уже писал, с фронта двинулась вглубь России волна беженцев. Большинство из них уходило с насиженных мест не добровольно, а выселялось насильно военными властями. Эта бессмысленная и жестокая мера имела роковые последствия: толпы беженцев, двигавшиеся по всем дорогам, идущим с фронта, затрудняли движение военных обозов, занимали множество товарных вагонов, нужных для отправки военных грузов, являлись очагами всевозможных эпидемических болезней, разносившихся ими по всей России, и, наконец, заполняли тыловые города, в которых уже без них чувствовался недостаток в продовольствии. Словом, беженство сделалось настоящим бедствием не только для самих беженцев, но и для всей России.

Само собой разумеется, что общественные организации – Земский и Городской Союзы – первые приняли на себя инициативу в борьбе с этим бедствием. Что касается правительства, то оно запоздало и приступило к образованию собственной организации, когда дело было уже налажено союзами. Эта правительственная организация, под названием "Северо-помощь", безуспешно пыталась

монополизировать все дело помощи беженцам в своих руках, внося излишние трения в трудное и сложное дело.

Мне пришлось в качестве председателя Петроградского комитета Союза городов принять участие в съезде Союза в Москве, посвященном вопросу о беженцах. В докладах уполномоченных, прибывших с фронта, изображалась ужасная картина бедствий этих несчастных людей. Съезд наметил организацию помощи беженцам на путях их следования и на местах водворения, причем петроградский городской комитет взял на себя оказание помощи поселившимся в Петербурге.

Вернувшись из Москвы, я был избран комитетом уполномоченным по помощи беженцам в Петербурге и с тех пор, до самой революции, каждое утро, с разрешения моего служебного начальства, посвящал этой работе. Дела было много. В открытое нами беженское бюро ежедневно приходили толпы новых беженцев, просачивавшихся в Петербург, несмотря на старания властей направлять их в провинциальные города. Мы их регистрировали, выдавали им книжки на право получения пособия и распределяли по городским попечительствам, которые за ними следили, выдавали пособия, устраивали на работу, помещали детей в приюты и т.д.

При мне, как уполномоченном, состоял совет, собиравшийся раз в неделю и обсуждавший вопросы принципиального и организационного характера. Непременным членом совета была графиня Панина, через которую, как председательницу центрального органа городских попечительств, поддерживалась с ними постоянная связь.

Хотя мне приходилось руководить главным образом канцелярской частью работы, но она давала мне большое удовлетворение, так как я чувствовал, что участвую в большом деле, прекрасно налаженном и организованном. Нечего и говорить, что все участники этого дела работали дружно, и я не помню случая, чтобы между нами возникали какие-либо недоразумения.

Последние полгода перед революцией я приходил домой только обедать. Вставал в половине восьмого утра, с 9-ти до 12-ти проводил в беженском бюро, потом до 5-ти часов на службе, а по вечерам – либо заседания, либо работа в попечительстве.

Сплошная занятость разнообразными делами, требовавшими к себе внимания, отвлекала меня от безнадежно тревожных мыслей о надвигавшейся катастрофе. Подавленность настроения усиливалась каждый раз, когда мне приходилось бывать на заседаниях центрального комитета кадетской партии. Там я получал самую свежую информацию о том, что творится в "сумасшедшем доме" правителей России. И никто не находил выхода из положения, со дня на день становившегося все более и более грозным...

Так мы дожили до государственного переворота 27 февраля (12 марта) 1917 года.

Глава 25

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Распоряжение министра земледелия Риттиха об ограничении выпечки хлеба. Продовольственный бунт и попытки его усмирения. Заседание Государственной Думы 25 февраля. На Невском 26 февраля. Завтрак у Демьянова с Керенским. Стрельба на Марсовом поле. Керенский опасается, что его арестуют. Мое пешее путешествие в Думу 27 февраля. Смена впечатлений на улицах Петербурга. В центре восстания. Государственная Дума в нерешительности. В Думе распоряжаются случайные люди. Появление Исполнительного комитета Совета рабочих депутатов. Образование Комитета Государственной Думы. На бестолковом заседании Военно-промышленного комитета. Возвращение домой после первого дня революции.

Вспыхнувшая в конце февраля 1917 года революция не была неожиданностью. Она казалась неизбежной. Но никто не представлял себе – как именно она произойдет и что послужит поводом для нее. Да и теперь многие забыли то, что дало толчок к революционному взрыву в Петербурге, и я считаю нелишним напомнить об обстоятельствах, предшествовавших петербургскому продовольственному и военному бунту.

Крупные исторические события всегда имеют глубокие причины, но именно поэтому часто возникают по совершенно случайным и малозначительным поводам. Так было и в России в 1917 году.

Революция началась с бунта продовольственных "хвостов", а этот бунт вспыхнул потому, что министр земледелия Риттих, заведовавший продовольствием Петербурга, испугавшись уменьшения подвоза хлеба в столицу, отдал распоряжение отпускать пекарям муку в ограниченном размере, по расчету 1 фунт печеного хлеба в день на человека. Ввиду сокращения хлебных запасов эта мера была вполне разумной, но лишь при одновременном введении системы хлебных карточек. Это обстоятельство, однако, Риттих упустил из виду. И вот у булочных образовались хлебные хвосты, в которых всякий старался забирать себе возможно больше хлеба. Когда же очередь доходила до середины хвоста, весь запас хлеба оказывался исчерпанным. В привилегированное положение попали более зажиточные слои населения, имевшие прислугу или незанятых

членов семьи, которые могли спозаранку дежурить в хвостах. А семьи рабочих, в особенности же семьи взятых на войну солдат, жены которых работали на фабриках, не имели возможности тратить много времени на стояние в хвостах и оказывались лишенными хлеба.

Несколько дней нарастало недовольство обделенных, ропот в хвостах усиливался, и наконец начались бесчинства: женщины и дети, стоявшие в хвостах, стали громить булочные и пекарни, а затем толпы их с криками: "хлеба, хлеба!" — пошли по улицам Петербурга. Женский бунт был поддержан заводскими рабочими, объявившими забастовку. Уличные толпы увеличились. Они мешали движению, задерживая трамваи и опрокидывая их. Тогда забастовали и рабочие трамвайных парков. Весь этот свободный люд бродил по улицам без дела и в озлобленном настроении. Стали устраиваться летучие митинги, на которых революционеры, главным образом большевики, выступали с речами. В толпе появились красные флаги и плакаты с лозунгами — "долой войну" и "долой самодержавие". Наконец произошло несколько стычек толпы с полицией, не пускавшей манифестантов на Невский.

В Петербурге создалось очень тревожное настроение, в особенности среди депутатов Государственной Думы, хорошо понимавших причину возникновения продовольственных бунтов. Но никому еще не приходило в голову, что началась революция, ожидавшаяся всеми, одними со страхом, другими — с надеждой.

В субботу 25 февраля я был вызван повесткой на заседание ЦК, назначенное перед заседанием Думы в Таврическом дворце. На нем было принято решение срочно потребовать от правительства передачи всего продовольствия Петербурга городскому самоуправлению.

Потом я присутствовал на заседании Думы, где депутаты разных партий резко осуждали правительство, вызвавшее своими необдуманными мерами продовольственные беспорядки и усмиряющее их стрельбой. От лица правительства выступил бледный и взволнованный Риттих, признавший свою ошибку и изъявивший готовность изменить продовольственную организацию, привлекши к продовольственному делу городскую Думу.

Теперь, вспоминая все это, я допускаю мысль, что если бы Риттих своевременно ввел карточную систему хлебных выдач, то не было бы в Петербурге продовольственного бунта, а следовательно не произошло бы и государственного переворота 27 февраля. Революция отсрочилась бы. А там, через месяц началось бы наступление союзных армий, имевших все шансы на победу. Ибо теперь мы знаем, что немцы в это время дошли до крайнего истощения, а русская армия, благодаря энергичной деятельности общественных организаций, обладала уже большим запасом боевых материалов, нехватавших в начале войны. Победа же над немцами могла

предотвратить революцию. Конечно, при господствовавшем тогда в народных массах раздражении против власти мог бы явиться и другой повод для революционного взрыва, но мог бы и не явиться... И тогда вся дальнейшая история России сложилась бы иначе.

В воскресенье, 26 февраля, я был приглашен завтракать к присяжному поверенному А.А. Демьянову, жившему на Бассейной улице. Я жил от него очень далеко – на Александровском проспекте Петербургской стороны, но из-за забастовки трамваев пошел к нему пешком, благо погода стояла прекрасная.

Дойдя до Михайловской площади, я увидел скопление народа на Невском и пошел посмотреть на то, что там происходило. На Невском я оказался в густой толпе, запрудившей тротуары. Это были зрители, смотревшие на шедшую посреди улицы манифестацию. Манифестация была довольно жидкая. Преобладали в ней женщины из продовольственных хвостов и подростки. Но над ней развевалось несколько красных флагов.

Перед зданием городской Думы манифестантов встретил казачий разъезд, старавшийся оттеснить их в боковые улицы. Однако этот маневр казакам не удался. Тогда, по команде офицера, казаки отъехали на некоторое расстояние, выстроились и полным карьером понеслись на толпу. Все вольные и невольные зрители этой сцены замерли в жутком ожидании...

И вдруг – веселое "ура"... Казаки неслись карьером между расступавшейся толпой, весело помахивая в воздухе нагайками, из которых ни одна не опустилась.

Несколько раз повторялся тот же маневр с теми же результатами: казаки мчались через толпу с веселыми, улыбающимися лицами, а толпа расступалась и кричала "ура". Наконец казаков отозвали, а манифестация продолжалась.

Глядя на эту необыкновенную сцену, я, конечно, понимал огромное значение явного неповиновения войсковой части своему начальству, но все же был далек от мысли, что это и есть революция.

Придя к Демьянову, я застал у него двух-трех знакомых, среди которых находился А.Ф. Керенский. Моему рассказу о том, что я видел на Невском, никто не придал особого значения. Все были уверены, что начавшийся в Петербурге бунт будет жестоко подавлен. Говорили о том, что накануне полиция стреляла в толпу, что были убитые и раненые и что прольется еще много крови на улицах Петербурга. Настроение у всех было мрачное.

После завтрака я пошел домой вместе с Керенским, которому тоже нужно было идти на Петербургскую сторону. Мы продолжали беседовать о волновавших нас событиях, учитывая их лишь как печальный симптом общего развала русской жизни во время войны.

Когда мы проходили по Марсову полю, за нами раздались выстрелы. Это войска очищали Невский от манифестантов и преследовали их по боковым улицам. Мимо нас бежали бледные люди, крича: "Бегите, стреляют!"...

Так вот она, кровь, о которой мы говорили...

Троицкий мост был оцеплен солдатами, которые не пропускали прохожих с Петербургской стороны. Керенский остановился в нерешительности:

– Уж не знаю, переходить ли Неву, – сказал он мрачно. – Зайдешь туда, а назад не пустят. Между тем завтра мне необходимо быть в Думе.

– Что вы, Александр Федорович, – возразил я, – предъявите депутатскую карточку, и пропустят.

– Депутатская карточка может не помочь мне, а повредить. Ведь мой арест за последнюю речь принципиально решен. Вопрос лишь в том, как его практически осуществить при моей депутатской неприкосновенности. Если сегодня распустят Думу – завтра, вероятно, меня арестуют... А впрочем, черт с ними, рискну пойти...

Пройдя Троицкий мост, мы расстались... Это был наш последний разговор при старом режиме. На следующий день мы встретились в Думе среди бушевавшей революции...

26-го февраля Керенский был уверен в том, что не сегодня-завтра его арестуют, а 27-го февраля он принимал в Таврическом дворце арестованных министров и сановников царского правительства...

В понедельник, 27-го февраля, я вышел из дома в 8 часов утра. Ввиду забастовки трамваев, мне предстояла большая прогулка с Петербургской стороны на Садовую, где помещался беженский отдел Союза городов.

Был чудный ясный морозный день. Выпавший накануне снег покрывал улицы и ослепительно блестел на солнце. Отсутствие трамвайного шума и звонков создавало тишину, которая, вместе с ярким солнцем и белым снегом, успокоительно действовала на нервы, сильно взвинченные событиями предшествующих дней.

Придя на службу, я занялся обычным делом, торопясь его закончить, чтобы к 2-м часам поспеть на ответственное заседание думской фракции к.-д., на котором непременно хотел быть.

Вдруг, в 11 часов, телефонный звонок: муж одной из служащих сообщал ей, что Дума распущена и что против его окон взбунтовавшийся Волынский полк вышел из казарм и выстраивается на улице.

Получив эти ошеломляющие вести, я, не рассуждая, отправился пешком через весь город в Таврический дворец.

Садовая имела самый обычный вид: магазины открыты, на рынке толпа покупателей, разносчики с лотками перекрикивают друг друга... Все как всегда. Прислушиваюсь к разговорам прохожих:

говорят о своих домашних делах, шутят, смеются... В этой мирной серой толпе охватившее меня волнение стало проходить, и уже более спокойным шагом я дошел до Невского проспекта.

Но тут сразу же попал в совсем иную обстановку: Невский был пустынен. Редкие прохожие имели тревожный вид, поминутно оглядываясь в сторону Литейной, на углу которой, возле ресторана Палкина, стоял кавалерийский эскадрон.

На Литейной молоденький офицер на красивой гнедой лошади подъезжал к каждому дому и повелительно отдавал дворникам распоряжение: "Затворяй ворота, затворяй ворота!" Какие-то люди метались по тротуарам, стуча в подъезды и умоляя их впустить...

Я ускорил шаги и вскоре оказался среди расставленных пулеметов, на углу Бассейной и Литейной. Они были направлены на Баскову улицу, в глубине которой был виден строй восставших солдат, стоявших перед своими казармами.

Пройдя за пулеметы, я перешел географическую черту, отделявшую город, живший еще в старом режиме, от города, охваченного революцией. После мирной Садовой, тревожно-пустынных Невского и Литейной, на Бассейной я очутился среди возбужденной толпы идущих во всех направлениях людей. То там то сям толпа останавливается и сбивается в кучу. Кто-то влезает на тумбу и произносит речь. Толпа слушает, кричит "ура" и дальше двигается неизвестно зачем, пока еще какой-нибудь оратор не задержит ее потока. Вот несется автомобиль с двумя военными. Выстрел... "Эх, промахнулся зря", – раздается чей-то голос вослед бешено уносящемуся автомобилю...

Прохожу мимо квартиры Милюкова и решаю зайти туда узнать о событиях. А.С. Милюкова отворяет дверь и говорит: "Идите скорее в Думу, она вероятно уже объявила себя Учредительным собранием". Скатываюсь с лестницы и уже почти бегом несусь к Таврическому дворцу.

Вокруг Думы еще не видно скопления народа. Главные ворота заперты. Вхожу в боковую дверь и направляюсь в Екатерининский зал... После уличных митингов, криков толпы и выстрелов здесь кажется необыкновенно тихо. Депутаты с испуганными лицами ходят группами по залу и тихо разговаривают. Подхожу к первому встретившемуся мне знакомому октябристу:

– Что у вас происходит?

Он рассеянно здоровается, уныло машет рукой и сообщает, что идет совещание лидеров, но что решений пока никаких не принято.

Понемногу кулуары Думы заполняются представителями петербургской радикальной и социалистической интеллигенции. Все почти между собой знакомы и сообщают друг другу свежие новости о восстании, к которому присоединяются все новые и новые полки и которое постепенно захватывает все части города.

Все возбуждены, у всех потребность как-то действовать... Но нет никакого руководящего центра. Там, на улицах, бушующие толпы народа и восставшие солдаты без всякого руководства, а здесь — бродящие, как тени, депутаты и их бесконечно совещающиеся лидеры... Революция никем не возглавляется...

Боже, когда же они кончат совещаться!..

Чуть кто-нибудь из думских лидеров покажется в зале, мы все набрасываемся на него: "Ну что, решили что-нибудь? Образовали правительство?" Лидер лавирует среди нас, отвечает уклончиво на вопросы и исчезает за захлопнувшеюся дверью. А мы снова ждем, ждем в тревоге, почти переходящей в отчаяние.

Между тем к зданию Таврического дворца начинают подходить толпы народа, а среди них вооруженные винтовками солдаты и рабочие. Сначала толпа шумит за решеткой, на улице, а затем каким-то образом проникает во двор Думы. Поминутно кто-нибудь оттуда вбегает и вызывает социалистических депутатов — то Скобелева, то Чхеидзе, то Керенского. Они выходят во двор и что-то говорят. Толпа кричит "ура" и на время успокаивается, но затем снова начинает напирать. И снова речи... А власти все нет и нет. Совещаются!..

Я хорошо понимаю, как трудно было Думе, в большинстве своем состоявшей из умеренных и правых депутатов, принять решение об образовании революционной власти. Мы все, собравшиеся в кулуарах Думы, и тогда это понимали. Но от этого понимания становилось еще тревожнее на душе. Ибо кто же, если не Дума, мог взять власть в свои руки и возглавить революцию, с каждой минутой все более и более охватывавшую народные массы и превращавшуюся в хаос анархии, грозящей страшным потоком разлиться по России, которая должна защищать себя от напора внешнего врага.

Инстинктивную потребность власти чувствовали и восставшие солдаты и рабочие, все в большем и большем числе запружавшие двор Таврического дворца. Но терпение толпы начинало иссякать. Все чаще и чаще для ее успокоения выходили социалистические депутаты, призывавшие ее к спокойствию охрипшими голосами.

Наконец, эти уговоры перестали действовать. Люди из толпы постепенно начали проникать в самое здание Думы. Так как распоряжаться в Думе было некому, то мы, случайные люди и отдельные депутаты, принимаемся наводить порядок.

Во дворе раздаются выстрелы, и в Думу кто-то вносит раненого офицера из охраны Таврического дворца... Вот врывается в Думу взвод вооруженных солдат с пьяным унтер-офицером во главе. "Приказано занять телефоны", — повелительно провозглашает он. Кто-то пытается отговорить его, уверяя, что Дума с народом, но он свирепо вращает глазами и грозит револьвером. В Думе телефонов много, и кому-то приходит в голову, чтобы отделаться от свирепого

воина, отдать в его распоряжение три телефона. Он успокаивается, ставит возле них караулы и велит никого к ним не допускать. И в течение всего остального дня у этих телефонов сменялись караулы, неведомо кем и зачем поставленные, что не мешало нам беспрепятственно пользоваться остальными думскими телефонами.

А вот я вижу, как несколько вооруженных винтовками рабочих вводят двух молоденьких прапорщиков. Прапорщики бледны, смотрят дико и испуганно, переводя глаза со своих конвойных на нас. Мы, очевидно, кажемся им страшными и всевластными главарями восстания. "Вот арестовали на водокачке и привели", – говорит мне молодой рабочий. Быстро соображаю, что нужно делать для спасения этих юношей. "Хорошо, – говорю авторитетным тоном, – мы их задерживаем, ступайте". Рабочие с видом исполненного долга удаляются.

– Вы голодны? – спрашиваю прапорщиков.

– Да, очень голодны, с утра ничего не ели, – отвечают чуть слышно, но по их глазам вижу, что начинают успокаиваться. Ведем их в буфет и кормим, а они не могут скрыть своего восторга от тепла и еды, а главное – от того, что спаслись от смертельной опасности.

Улица все больше и больше заполняет Думу. Все мы кого-то принимаем, кого-то для видимости арестуем, кого-то убеждаем уйти, утихомириваем...

В этот момент все возрастающей анархии, в каком-то коридоре, ко мне подходят три неизвестных мне человека:

– Укажите нам, пожалуйста, комнату, которую можно было бы занять.

– А кто вы?

– Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов.

Эти слова не имели еще для меня того смысла, который приобрели через несколько дней. Я даже обрадовался, что наконец из происходящей анархии выкристаллизовалось что-то организованное. Я ответил, что не состою депутатом и не могу распоряжаться отводом комнат, но постараюсь посодействовать им.

Как раз в эту минуту мимо нас проходил товарищ председателя Думы, А.И.Коновалов.

– Александр Иванович, – обратился я к нему, – вот Совет рабочих депутатов просит отвести ему комнату для заседаний.

Коновалов, только что вышедший из совещания думских лидеров и, очевидно, всецело поглощенный мыслями о том, что там происходило, рассеянно взглянул на нас и быстро ответил:

– Идите в комнату бюджетной комиссии, она свободна.

Здесь, в Париже, я напомнил Коновалову об этом эпизоде. Он его забыл. Видимо тогда, среди бурных событий первого дня революции, он не придал ему значения...

Через два часа образовался Временный комитет Государственной Думы, а через два дня – Временное правительство. Но первенство

власти принадлежало Совету. Прежде чем Временный комитет Думы назначил своих комиссаров в правительственные учреждения, Исполнительный комитет Совета уже распоряжался, его знали, ему до некоторой степени подчинялись. И несомненно, что два часа, в течение которых Исполнительный комитет Совета был единственной властью, распоряжавшейся в Петербурге, оказали известное влияние на дальнейший ход революционных событий.

В городе восстание продолжало развиваться. Все новые полки переходили на сторону революции, а рабочие вооружались винтовками, брошенными солдатами. Эти вооруженные люди носились без толку по городу на грузовиках, производили обыски и аресты, часто сопровождавшиеся грабежами.

Еще до образования Совета рабочих депутатов случайные добровольцы из интеллигенции, находившиеся в Таврическом дворце, пытались внести какой-то порядок в этот хаос. Брали солдат и пристраивали их к делу по своему усмотрению: занимали учреждения, расставляли караулы для охраны зданий, складов и т.д. Большинство этих добровольцев были социалистами. Это обстоятельство облегчило Совету рабочих депутатов задачу возглавления революции, ибо добровольцы, случайно оказавшиеся во главе отдельных учреждений (например, большинства петербургских полицейских участков), признали над собою его власть, а не власть запоздавшего Комитета Думы, занятого составлением Временного правительства.

Встретив в Таврическом дворце А.В.Тыркову, я разговорился с ней на тему о том, что необходимо организовать питание солдат, с утра ничего не евших. Ей пришла мысль привлечь к этому делу городские попечительства, в которых мы с ней работали. Я одобрил ее план, и мы сейчас же принялись за его осуществление.

Вышли во двор, подошли к первому попавшемуся автомобилю под красным флагом и объяснили облеплявшим его солдатам наши намерения. Автомобиль был сейчас же предоставлен в наше распоряжение. Но осуществить нашего намерения нам не удалось.

На углу Литейного проспекта путь нам преградили солдаты: "Дальше ехать нельзя, стреляют". Действительно, с Литейной слышался треск ружейных выстрелов и воркотня пулеметов.

Сошли с автомобиля и, обойдя опасное место, все-таки пробрались на Литейную и зашли в помещение военно-промышленного комитета, чтобы оттуда снестись с попечительствами по телефону.

В комитете было множество народа. Как и в Думе – все знакомые лица левой петербургской интеллигенции. Шли совещания об организации порядка в городе. Оказалось между прочим, что питание солдат уже кем-то налажено. Поэтому я остался в комитете и принял участие в его заседаниях.

Попал я туда часов в семь вечера и пробыл до 12 часов ночи. Но тут память, в которой во всех подробностях сохранились

вышеописанные события, мне окончательно изменяет: совершенно не понимаю, зачем я просидел пять часов в военно-промышленном комитете. Знаю, что почти все время "заседал". Заседания были бестолковые. Смутно помню, что там о чем-то горячо спорили и принимали какие-то резолюции. Нас поминутно прерывали телефонные звонки. Это из Думы сообщали о ходе событий, — об аресте Щегловитова, Горемыкина и других сановников, о том, какие вести приходят из ставки, из Царского Села и пр. ... В первом часу ночи я вышел на улицу и собирался идти домой пешком.

— Хотите, подвезу, мне тоже на Петербургскую сторону, — предложил мне выходивший со мной М.С. Маргулиес.

Мы уселись в автомобиль Союза городов, уже успевший украситься красным флагом, и, с трудом отбившись от кучки солдат, собиравшихся им завладеть, понеслись по Симеоновской улице к Инженерному замку. — "Стой, вороти обратно!" — нас остановил какой-то патруль и объяснил, что на цирке Чинизелли стоят пулеметы и кто-то из них палит по всем прохожим и проезжим. Повернули обратно и направились по Литейной к Александровскому мосту, мимо пылавшего Окружного суда. Он горел спокойно и величественно. Вокруг не было обычного пожарного шума и суеты. Горит, мол, так и надо...

На Каменноостровском я вышел из автомобиля и пошел пешком. На улицах ни души. Шаги раздаются особенно гулко.

Размышляя обо всем пережитом в этот день, подхожу к своему подъезду, и вдруг — "трах, трах, трах" — раздаются выстрелы и пули поют над моим ухом. Оглядываюсь, — никого не видно, тишина полная... Потом вдруг опять выстрел и опять свистит пуля. Я успел укрыться в подъезде. Стрелявший несомненно целился в меня. Кому это было нужно и зачем?.. Впрочем, в этот день все действовали хаотично, без определенного плана. Но ряд стихийно-хаотических действий создал перелом в истории России, перелом, называемый февральской революцией. На следующий день открылась новая страница русской истории.

Глава 26

В ПЕРИОД ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
(февраль-октябрь 1917)

В Комитете Петербургской стороны. А. В. Пешехонов в роли полицейского пристава. Вопрос о монархической преемственности на завтраке у Винавера. Таврический дворец в первые дни революции. Стеклов-Нахамкес оказался моим знакомым. Прием в Думе депутаций от петербургских полков. Н. Д. Соколов, защищающий "приказ № 1". При исполнении обязанностей секретаря ЦК кадетской партии. Беженцы свергают меня с поста председателя беженского отдела Союза городов. Количественный рост политических партий ("мартовские" эсеры и кадеты). Моя командировка в Крым и впечатления от нее. Отставка Милюкова. Интриги Некрасова. Демонстрации против Милюкова и его мужество. Уличная манифестация против партии Народной Свободы. Прения в ЦК об участии во Временном правительстве. Совесть Шингарева против логики Милюкова. Переговоры с князем Львовым об участии к.-д. партии в коалиционном правительстве. Кн. Львов между двух огней. Затруднения коалиционного правительства. Знаменательный эпизод с дачей Дурново. Ленин на балконе дачи Кшесинской. Заседание ЦК кадетской партии в ночь на 3 июля. Большевистское восстание 3 июля и его ликвидация. О чем заботился Луначарский, сидя в тюрьме. Второй кризис Временного правительства. Моя кратковременная служба в министерстве земледелия. Новая петербургская городская Дума. Вопрос о диктатуре Корнилова на заседании ЦК кадетской партии в Москве. Встреча в Москве перводумцев. Московское совещание и А. Ф. Керенский. Моя вторая поездка в Крым. Изменение политической атмосферы в Петербурге после ликвидации корниловского восстания. Газета "Свободный Народ" под моим редакторством. Прения в городской Думе о смертной казни. Предпарламент. Речь Троцкого. Большевики подготовляют восстание и выходят из Предпарламента.

Приступая к составлению этой и следующей главы, я должен сделать некоторую оговорку: писал я их через 20 лет после революции и многое было уже мною позабыто. Да и запоминать то, что происходило перед моими глазами, было тогда трудно. Ведь мы

прожили 1917 год в сплошном нервном напряжении, когда дни мелькали, как минуты, а волнующие события целыми горами нагромождались друг на друга. И понятно, что, не имея в руках документов, я лишен возможности вести последовательное изложение. Вероятно, в отдельных случаях я погрешил и против хронологии. Все же, описывая отдельные эпизоды и сцены, лучше сохранившиеся в моей памяти, я старался держаться в рамках их последовательности во времени.

Если бы меня спросили, что я делал в первые дни после государственного переворота, я бы затруднился на это ответить. По месту своего жительства я состоял в каком-то Комитете Петербургской стороны. Мы были очень заняты. Чем? — В общих чертах на этот вопрос отвечу: наведением элементарного порядка. Состав комитета был пестрый и случайный. Принимали в него всякого, кто ощущал своим долгом гражданина поддержать в городе, лишившемся законного управления, хоть сколько-нибудь нормальное течение жизни. Должен констатировать, что и тут, в мелкой черновой работе, представители городской буржуазии мало принимали участия. Работала главным образом социалистическая интеллигенция.

Как полагается, мы много заседали и обсуждали, но не наши решения создавали нам работу, а сама взбаламученная жизнь. Так, помню, что к нам привели большую группу выпущенных из тюрьмы политических арестантов. Их нужно было накормить и одеть. И вот мне пришлось носиться по городу на автомобиле под красным флагом, гарантировавшим его от захвата солдатами, добывая белье и одежду на складах Союза городов.

Неизвестные люди приводили к нам жуликов, пойманных на месте преступления, а мы отправляли их в комиссариат Петербургской стороны, во главе которого исполняющим обязанности полицейского пристава оказался литератор А. В. Пешехонов. Он был целый день завален работой. Нацепив на свой пиджак огромный красный бант, суетился, отдавал какие-то распоряжения, а ночью ездил с докладами в Совет рабочих депутатов.

Почти ежедневно я бывал на заседаниях нашего партийного ЦК. Большинство моих товарищей по ЦК, как и я сам, далеко не были в восторге от происшедшей во время войны революции. Приходилось ее принимать как совершившийся факт, но хорошего мы от нее не ждали, а потому с первого же дня стали в известном смысле "контрреволюционерами", всячески стараясь препятствовать "углублению революции", как тогда выражались более лево настроенные люди. К тому же мы принадлежали к поколению, уже пережившему одну революцию, а с нею вместе и свои революционные иллюзии.

Хорошо помню заседание центрального комитета за завтраком у Винавера, на второй день революции. Обсуждался вопрос о том, следует ли стремиться к сохранению монархического образа правления.

Милюков решительно высказался за монархию. Его поддержало несколько правых кадетов. Одним из самых убежденных монархистов был академик С.Ф. Ольденбург, который тогда, конечно, не мог представить себе, что через несколько лет будет прославлять советскую власть. Большинство, однако, склонялось к мнению, что монархия фактически уже не существует и что бороться за ее восстановление и нежелательно, и бесцельно. Это, хотя и не проголосованное, мнение большинства ЦК не помешало Милюкову через три дня горячо убеждать великого князя Михаила Александровича вступить на освобожденный его братом престол.

Хотя я принадлежал к числу республиканцев, но теперь считаю, что Милюков был прав и что у законного царя еще были, хотя и весьма слабые, шансы справиться с "углублением революции".

Каждый день я урывал время от своих неопределенных занятий в Комитете Петербургской стороны для путешествия в Таврический дворец, где бок о бок заседали Комитет Государственной Думы и Совет рабочих депутатов, который, введя в свой состав представителей от солдат, стал называться Советом рабочих и солдатских депутатов.

Таврический дворец имел плачевный вид: паркетные полы скользки от нанесенных на сапогах снега и грязи, в одной из зал для чего-то сложены мешки не то с мукой, не то с чем-то другим. По залам и коридорам ходят всевозможные люди – солдаты, рабочие, интеллигенты, одни возбужденно разговаривают и спорят, другие куда-то спешат с важным деловым видом. Среди этого разнообразного люда печально выглядят фигуры недавних хозяев Таврического дворца – депутатов, без всякой цели слоняющихся взад и вперед, робко прислушиваясь к разговорам толпы. Изредка пробежит мимо бледный от бессонных ночей член Комитета Государственной Думы, мелькнет монументальная фигура Родзянко, или Керенский с землисто-бескровным лицом промчится властным шагом, отдавая резким голосом какие-то распоряжения.

А в бывшем кабинете председателя Думы – арестный дом. Там под охраной вооруженных солдат сидят арестованные сановники старого режима. Солдаты довольно свободно пропускают туда публику, которая с любопытством рассматривает этих несчастных, недавно еще всесильных людей...

Как-то я шел по Екатерининскому залу с кем-то из знакомых. Нам встретился секретарь областного комитета Союза городов и любезно со мной раскланялся.

– Откуда вы знаете Нахамкеса? – удивился мой спутник.

Я давно был знаком с благообразным и корректным господином, часто встречая его в Союзе городов и мирно беседуя с ним на всевозможные темы. Фамилии его я не знал, но своим внешним видом и манерами он больше походил на умеренного и аккуратного чиновника, чем на своих собратий из третьего элемента. И вдруг

обнаружилось, что это прославившийся в начале революции большевистский демагог Нахамкес-Стеклов, писавший в газетах грубые пораженческие статьи...

На второй день революции в Думу стали являться депутации от всех полков петербургского гарнизона. При мне пришла депутация от гвардейского флотского экипажа, во главе которой, с красным бантом на груди, находился впоследствии провозгласивший себя императором всея Руси великий князь Кирилл Владимирович.

Сильное впечатление на меня произвел прием депутации от Преображенского полка. К ней вышел Родзянко, сказавший своим громовым, но охрипшим от бесчисленных речей голосом несколько общих фраз о том, что солдаты теперь свободные граждане и что свобода налагает обязанности перед родиной, которую все граждане должны защищать до последней капли крови и т.д.

Речь Родзянко была покрыта громовым "ура" преображенцев. Но как только Родзянко ушел, перед выстроенной шеренгой преображенцев влез на стул какой-то тщедушный еврей и, отрекомендовавшись меньшевиком, стал произносить длинную и малопонятную солдатам речь о значении революции для победы пролетариата в его классовой борьбе с буржуазией. Солдаты добродушно улыбались ему, как и Родзянке, а когда он кончил, наградили и его громким "ура".

Меньшевика на том же стуле сменил другой еврей, лохматый и страстный, по-видимому, большевик, начавший свою речь словами: "Не слушайте разных Родзянок, этих толстосумов, призывающих вас проливать свою кровь за их интересы". Говорил он с еврейским акцентом, но простым и понятным языком, призывая своих слушателей покончить с войной и расправиться со своими внутренними врагами, "помещиками и буржуазией".

По лицам солдат, еще не привыкших к революционным речам, было видно, что этот оратор-демагог пришелся им по сердцу, и когда он, весь потный и красный от революционного пыла, соскочил со стула, то раздалось "ура", гораздо более восторженное, чем после речей Родзянко и тщедушного меньшевика.

Из первых дней революции мне вспоминается чувство, близкое к отчаянию, охватившее меня, когда я прочел в газетах "Приказ № 1", совершенно разрушавший дисциплину в армии. В этот день я встретил в Таврическом дворце своего старого знакомого еще по университетским кружкам, Н.Д. Соколова. Зная, что он состоит членом Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, я с раздражением напал на него:

– Какой дурак составил этот приказ!

– Почему дурак? – с обидой в голосе ответил он. – Я напротив считаю этот документ прекрасным, поддерживающим в войсках революционную дисциплину.

Я еще не знал, что одним из составителей рокового приказа был мой собеседник, которого я невольно обозвал дураком.

Вскоре после образования Временного правительства, вернувшись домой после какого-то ночного заседания, я проспал больше обыкновенного и был разбужен в 8 часов утра телефонным звонком.

– Алло?

– У телефона Демьянов, товарищ министра юстиции... Владимир Андреевич, хотите быть сенатором? А.Ф.Керенский решил пополнить Сенат свежими людьми и поручил мне сделать вам это предложение.

Стоя в ночной рубашке возле телефона, я совершенно опешил от такого неожиданного предложения и удивленно переспросил:

– Сенатором?

– Ну да, сенатором, что же тут удивительного?

– Бог с вами, Александр Алексеевич, какой же я сенатор? Я даже не имею юридического образования.

Демьянов продолжал настаивать, сообщив мне, что я буду назначен сенатором 2-го департамента, ведающего крестьянскими делами, и что я, как земский статистик, должен хорошо знать крестьянскую жизнь. Я же возражал ему, что хотя и знаю крестьянскую жизнь и хозяйство, но никогда не занимался вопросами крестьянского права, служащими предметом обсуждения 2-го департамента Сената.

В конце концов я категорически заявил, что ни под каким видом в сенаторы не пойду.

Мой телефонный собеседник был, видимо, крайне озадачен моим отказом и спросил меня:

– Ну, а кого бы вы нам посоветовали назначить во 2-ой департамент Сената?

Тут уже я был озадачен: никогда на эту тему не размышлял. Однако бросил случайно мне пришедшую в голову мысль:

– В вопросах крестьянского права гораздо компетентнее нас, земских статистиков, провинциальные присяжные поверенные, которым постоянно приходится вести крестьянские дела.

– А кого бы вы могли рекомендовать?

– Например, Ф.В.Татаринова, который долго был орловским земцем, а затем сделался провинциальным адвокатом.

На этом кончился наш разговор с Демьяновым, а через несколько дней я прочел в газетах о назначении Татаринова сенатором.

Я не упомянул бы об этом незначительном эпизоде, если бы он не был характерен для легкости, с какой производились революционной властью назначения на высшие государственные посты. Я далек от мысли осуждать за это министров Временного правительства. Конечно, оно не могло оставить органы власти в руках, ему враждебных. В частности, Сенат, высший орган административной и судебной юстиции, в течение двух царствований комплектовавшийся почти исключительно реакционерами, несомненно подлежал пополнению новыми людьми. Но откуда их взять?

Депутаты и общественные деятели, неожиданно оказавшиеся у власти, не готовились заранее к той роли, которую им пришлось играть. И они естественно стали искать новых людей среди своих добрых знакомых, к которым они относились с доверием. Если при старом режиме карьеру делали люди, далеко не всегда пригодные для ответственных постов, то революция в этом отношении не внесла ничего нового. Только у карьеристов старого режима, благодаря существовавшим иерархическим правилам, все же был некоторый служебный стаж, а для революционной карьеры и этого стажа не требовалось.

Так бывало при всех революциях. Возможно даже, что наше революционное правительство отличалось наименьшим легкомыслием в своих назначениях.

Что касается Ф.В. Татаринова, получившего сенаторское звание по моей протекции, то оно ему весьма пригодилось, когда, во время гражданской войны, он служил небольшим чиновником в деникинском управлении. Ибо сенаторы, независимо от занимаемых ими должностей, получали повышенные оклады...

Весной 1917 года тяжко заболел секретарь ЦК кадетской партии, А.А. Корнилов, и я был избран на его место.

В это тревожное время должность секретаря ЦК кадетской партии была крайне ответственной, ибо наш ЦК представлял собой единственную организованную общественную силу, противостоявшую всему, как снежный ком возраставшему, социалистическому сектору русской общественности, который имел объединявший его центр в Совете рабочих и солдатских депутатов.

Хотя у меня был помощник, молодой Г.В. Вернадский (ныне профессор русской истории в одном из северо-американских университетов), составлявший протоколы заседаний и заведовавший канцелярией, но и лично у меня было много работы, так как деятельность ЦК разрасталась чрезвычайно. Помимо постоянных заседаний, на которых обсуждались важнейшие вопросы внутренней и внешней политики, комитет занимался изданием популярных политических брошюр, а его члены выступали на митингах в Петербурге и ездили для пропаганды в провинцию.

Партийная работа стала поглощать почти все мое время. К тому же комитет Петербургской стороны, в котором я работал в первые дни революции, прекратил свое существование, а на своей службе в министерстве путей сообщения, где все дела остановились, я показывался редко. Продолжал работать по-прежнему лишь в беженском отделе Союза городов, но и то недолго: наши клиенты, несчастные, забитые белорусские беженцы, под влиянием революции "самоопределились". Выбрали из своей среды комитет и потребовали передачи им всего дела помощи. Некоторое время я сопротивлялся. Созывая членов этого комитета, доказывая им нелепость организации, в которой пособие распределяют люди, сами его получающие. Но

мои клиенты ни на какие уговоры не шли, недвусмысленно обвиняя меня, что я потому не хочу им уступить, что кладу себе в карман ассигнуемые им деньги. Беженцы жаловались на меня в Совет рабочих и солдатских депутатов, который предложил какое-то компромиссное решение. Однако создалась такая невыносимая атмосфера и такой хаос в налаженном ранее деле, что я вынужден был сложить с себя свои полномочия. Таким образом, на время я целиком отдался партийной работе.

Кадетская партия была единственной из несоциалистических партий, сохранившая свою организацию после государственного переворота. Понятно, что ряды ее стали расти почти так же быстро, как росли ряды партий социалистических за счет элементов, им совершенно чуждых идеологически. Называться социалистом прежде было опасно, а теперь стало выгодно. И множество людей, ничего общего не имевших ранее с социализмом, теперь выбирали себе социалистические ярлыки. В ряды социалистов стали перебегать и некоторые кадеты. Не все, однако, решались сделать слишком резкое политическое сальто-мортале на крайнюю левую. Но к их услугам были более умеренные социалистические партии, как партия народных социалистов, или вновь образованная Плехановым партия "Единство". В этих партиях можно было, не изменяя своего отношения к самому важному вопросу о войне, приобрести весьма удобный для того времени социалистический ярлык и приобщиться к победоносному социалистическому блоку.

В свою очередь и кадетская партия заполнялась чуждыми ей по духу людьми из более правых политических группировок и из беспартийных служащих государственных учреждений. И, принимая в лоно партии новых "мартовских кадетов", как их называли, мне приходилось иногда выслушивать от них далеко не "кадетские" мнения.

Уже в первый месяц революции стало ясно, что развал всей внутренней жизни России, начавшийся в последний год старого режима, пошел еще быстрее. Достаточно было взглянуть на улицы Петербурга, чтобы в этом убедиться: дворники перестали очищать их от снега. По тротуарам, во время гололедицы, было трудно ходить, посередине даже центральных улиц образовались снежные сугробы, а во время оттепелей этот грязный, смешанный с навозом снег превращался в зловонную кашу шоколадного цвета. Всюду валялись бумажки, папиросные коробки и шелуха от подсолнечных семечек, в массе потреблявшихся праздными солдатами, которые целыми днями шатались по улицам. Они толкались на тротуарах и заполняли трамваи, путешествуя в них бесплатно. Поэтому трамваи набивались до отказа, внутри вагонов, на площадках и даже на ступеньках, на которых люди висели гроздьями.

Рабочие захватывали заводы и производство на них сокращалось изо дня в день.

Двоевластие, установившееся с первых дней образования Временного правительства, оказавшегося в плену у Советов рабочих и солдатских депутатов, и постоянно происходившие между ними трения — способствовали усилению анархии.

Плохо было и с продовольствием. Хлебная монополия, установленная правительством, не дала ожидавшихся результатов. Получились перебои в снабжении как армии, так и тыла.

В конце марта министр земледелия Шингарев обратился ко мне и к моему товарищу по первой Думе С.С.Крыму с просьбой съездить в Таврическую губернию, некогда избравшую нас своими депутатами, чтобы выяснить причины, почему эта хлебородная местность не поставляет нужного количества хлеба, и, если возможно, побудить местных деятелей к более энергичной работе. Мы, конечно, дали свое согласие.

В это время поезда выходили из Петербурга переполненные сверх меры, и без особой протекции невозможно было достать себе не только спального места, но даже устроиться в сидячем положении, не прибегая к физической силе. Поэтому Шингарев поручил своей канцелярии задержать для нас двухместное купе.

Когда нас известили, что билеты куплены, мы зашли в министерство к Шингареву за получением последних инструкций. Застали его в обширном министерском кабинете просматривающим какие-то бумаги за письменным столом. А в середине комнаты, вокруг другого стола, тоже заваленного бумагами, сидело пять посторонних людей с папиросами в зубах, в числе которых я узнал огромную фигуру статистика Громана, меньшевика, впоследствии попавшего в советскую тюрьму в качестве "вредителя". Тогда он был подлинным вредителем, состоя председателем продовольственного отдела Совета рабочих и солдатских депутатов, и был приставлен к Шингареву во главе особой контрольной комиссии, следить за его действиями и распоряжениями.

Эти пять человек дебатировали какой-то вопрос, и мощный голос Громана назойливо резонировал в обширном кабинете.

Мне стало глубоко жаль несчастного Шингарева, вынужденного работать в такой обстановке. Он морщился от табачного дыма и от шума, мешавшего ему с нами разговаривать.

Получив от Шингарева инструкции, мы пошли в канцелярию за получением билетов. Старорежимный чиновник вручил их нам, говоря с подобострастной улыбочкой:

— Нелегко было получить для вас эти билеты. Пришлось выставить великую княгиню Марию Павловну.

— То есть как выставить? — удивленно спросил я.

— Купе было заказано для нее. Но ведь она так себе едет, а вы — по важным государственным делам, вот мы и отняли у нее купе.

Чиновник, разговаривая в таком развязном тоне о великой княгине, очевидно хотел сделать нам удовольствие, и очень удивился, что

эффект получился обратный: мы вернули ему билеты и заявили, что не намерены их насильно отбирать у кого бы то ни было. Чиновник сконфузился и совсем в другом тоне стал объяснять нам, что Мария Павловна уже записалась на другой поезд, и если мы не поедем, то билеты все равно пропадут. Нам не оставалось другого выхода, как взять билеты и ехать. В тот же вечер мы уехали в Крым.

От этой поездки у нас остались в общем благоприятные впечатления. Революция пришла в провинцию не на штыках взбунтовавшихся солдат, как в Петербурге, а как подарок свыше. И население крымских и материковых городов Таврической губернии еще находилось в упоении от столь легко доставшейся свободы.

В Севастополе шли революционные митинги, но командующий черноморским флотом, адмирал Колчак, еще поддерживал в войсках элементарную дисциплину. После грязного Петербурга, переполненного разнузданными солдатами, Севастополь нам показался необыкновенно чистым и опрятным. Матросы и солдаты, встречавшиеся на улицах, имели подтянутый молодцеватый вид и охотно отдавали честь офицерам, сохранявшим еще погоны, сорванные с офицерских плеч в Петербурге. В Симферополе было хуже: много бестолочи в отношениях между комиссаром Временного правительства и местным Советом, но все-таки какой-то порядок поддерживался. А Совет, состоявший из умеренных социалистов, нас принимал как почетных гостей и изъявил свою полную готовность сотрудничать с Временным правительством. Очевидно газеты не давали полного представления о существовавшем в Петербурге двоевластии и о враждебных отношениях между правительством и советами, проявлявшихся в ежедневной мелочной борьбе, которой мы были свидетелями.

С такими же настроениями мы встретились во всех уездных городах, в которых побывали. Где-то, на одной из узловых станций, нас посетила депутация от заводских и железнодорожных рабочих, приветствовавшая "эмиссаров Временного правительства". Не знаю, откуда они узнали о нашем приезде. Очевидно, даже среди местных рабочих Временное правительство еще пользовалось популярностью.

Словом, происходивший в центре развал еще не успел докатиться до далекой провинции. И невольно думалось, что здоровая почвенная провинциальная жизнь сможет остановить гангренозный процесс, начавшийся в Петербурге... Но это была лишь кратковременная иллюзия.

Приехав в Петербург, я поделился своей иллюзией со съездом кадетской партии, на котором вообще голоса провинциалов вносили оптимизм в мрачные настроения петербуржцев.

Я приехал как раз перед первым кризисом правительства, вызванного отставкой Милюкова и Гучкова, после которой наступили тревожные майские дни.

Как известно, Временное правительство устранило Милюкова от должности министра иностранных дел весьма неделикатным образом, в его отсутствие, воспользовавшись служебной поездкой его и Шингарева в ставку главнокомандующего. Вернувшись оттуда, Милюков узнал, что он смещен и что ему предлагают пост министра народного просвещения. Само собой разумеется, что от такой комбинации он отказался, ибо не мог оставаться в правительстве, осудившем его иностранную политику в такой момент, когда от нее, как ему казалось, могли зависеть дальнейшие судьбы России. К тому же не одна внешняя политика была причиной его отставки. Как сильный и властный человек, он занял во Временном правительстве вместе с А.И. Гучковым наиболее непримиримую позицию в борьбе с Советом, систематически вмешивавшимся во внутреннюю и внешнюю политику, а потому был для советских лидеров наиболее одиозным из всех министров.

По-видимому решение отделаться от Милюкова было уже заранее принято руководителями Совета в соглашении с группой министров, находившихся под влиянием левых общественных кругов. Иначе я не могу себе объяснить следующего маленького эпизода: дней за десять перед отставкой Милюкова я получил приглашение на завтрак от министра путей сообщения Некрасова. За завтраком я застал человек десять своих товарищей по центральному комитету – Винавера, Волкова, Герасимова и др., считавшихся "левыми кадетами". Некрасов стал нам жаловаться на непримиримую позицию, занятую Милюковым в вопросе о проливах, чрезвычайно осложнявшую отношения правительства с Советом рабочих и солдатских депутатов.

Хотя некоторые из нас не сочувствовали неуступчивости Милюкова в этом в данный момент не актуальном вопросе, но все считали его одного способным справиться со всеми трудностями иностранной политики и ценили его участие в правительстве.

Мы сразу поняли, что Некрасов нащупывает почву, желая создать внутри партии раскол и вызвать сочувствие начавшейся против Милюкова интриге. Поэтому, не сговорившись между собой, мы уклонились от откровенных разговоров на затронутую Некрасовым тему, и его маневр таким образом не удался. Но смысл этого завтрака был для меня ясен и отставка Милюкова, вскоре последовавшая, не была неожиданной.

Для того, чтобы его отставка явилась как бы результатом народных требований, в Петербурге была организована демонстрация. Толпы народа, главным образом солдат, явились на площадь перед Мариинским дворцом, где заседало Временное правительство, с криками: "Долой Милюкова!" и "Мир без аннексий и контрибуций!"

В этот день я шел через Неву, направляясь на Английскую набережную, где помещался клуб партии Народной Свободы и находилась канцелярия ЦК. Перейдя Троицкий мост, я увидел

Милюкова, едущего по набережной в автомобиле. Автомобиль медленно двигался среди возбужденной толпы солдат, грозивших Милюкову кулаками и что-то ему кричавших. Автомобиль вынужден был остановиться, а Милюков, встав с сиденья и скрестив руки на груди, стал говорить солдатам речь. Его спокойствие по-видимому подействовало на толпу, которая затихла и дала возможность автомобилю проехать.

Эта сцена внушила мне навсегда огромное уважение к мужеству Милюкова.

Изгнание лидера нашей партии из Временного правительства вызвало большое негодование в широких партийных кругах. Кому-то пришла мысль устроить сочувственную Милюкову уличную манифестацию, которая должна была показать, что не весь петербургский "народ" состоит из противников Милюкова и его твердой политики.

Сбор манифестантов был назначен возле помещения кадетского клуба, откуда мы и двинулись группой в 200-300 человек через весь Петербург, по Литейной, Невскому и Морской, к Мариинскому дворцу. Над нами развевались трехцветные флаги и плакаты с надписями: "Война до победного конца!", "Да здравствует Милюков!" и др.

На пути шествия манифестация разрасталась и на Мариинской площади достигла, вероятно, десятка тысяч человек. Там, с автомобилей, лучшие ораторы партии – Родичев, Винавер и др. – произносили соответствующие речи.

Ленин тогда только что появился в Петербурге и не успел еще довести настроения петербургских рабочих и солдат до степени революционного каления, а потому манифестация "буржуев" закончилась благополучно, без кровопролития.

Непосредственно после отставки Милюкова происходило хорошо запомнившееся мне заседание нашего центрального комитета. Обсуждался вопрос о том, должны ли представители кадетской партии принять участие в намечавшемся коалиционном правительстве, или всем кадетским министрам следует подать в отставку.

Милюков категорически высказался за отставку и за предоставление социалистам образовать социалистическое правительство. Он говорил, что "революция сошла с рельс", что события развиваются стихийно и их поступательный ход мы уже не в силах удержать. Революционный процесс, от нас не зависящий, должен дойти до своего завершения. Мы делаем тщетные усилия остановить этот процесс, но только его замедляем. Нужно ли это? Он думает, что не нужно. Чем скорее революция себя исчерпает, тем лучше для России, ибо в тем менее искалеченном виде она выйдет из революции. Все эти соображения приводят его к выводу, что нам не следует больше себя связывать с революцией, а нужно подготовлять силы для борьбы с ней, и не внутри возглавляющей ее власти, а вне ее.

Начались горячие прения. Я вышел в соседнюю комнату и увидал там Шингарева, который, сжимая голову руками, нервно ходил из угла в угол.

— Нет, это невозможно, — обратился он ко мне, — в такую страшную для России минуту разве мы вправе отказаться от ответственности и отойти в сторону, умыв руки! Не знаю, поддержит ли центральный комитет Милюкова, но моя совесть мне мешает следовать за ним...

Теперь, после всего, что произошло, я думаю, что холодный ум Милюкова указывал более правильный путь, чем совесть Шингарева, но тогда я всем своим существом был на стороне последнего. И не я один, а подавляющее большинство ЦК. При голосовании этого вопроса Милюков в первый раз на моей памяти остался в меньшинстве.

Когда принципиальный вопрос об участии в правительстве был решен, приступили к выработке условий этого участия. Я уже не помню точно — каких именно. Главное состояло, конечно, в требовании полной независимости правительства от Совета рабочих и солдатских депутатов. Документ, в котором формулировались наши требования, составленный Кокошкиным и одобренный ЦК, было поручено М.М. Винаверу и мне сейчас же вручить председателю Совета министров, князю Львову.

Было часов около семи вечера, когда мы с Винавером на его автомобиле поехали с этой миссией в министерство внутренних дел, где находился князь Львов. Мостовые, не ремонтировавшиеся этой весной, были сплошь в ухабах, и наш автомобиль так бросало из стороны в сторону, что на каком-то толчке я вышиб плечом оконное стекло.

В швейцарской министерства нас обдало крепким духом махорки. Человек двадцать караульных солдат сидели там, развалившись в небрежных позах на стульях и на ступеньках лестницы. Они курили и громко разговаривали. Никем не опрошенные, мы поднялись по лестнице и вошли в приемную.

Странно было видеть после махорочного дыма в швейцарской эту приемную, в которой все сохранилось от старого режима, кроме царских портретов. Атласная голубая мебель стояла по-видимому на тех же местах, как было при Столыпине и при Плеве.

Мы просили доложить о нас кн. Львову случайно проходившего лакея. Через пять минут Львов появился из соседней комнаты, из которой были слышны возбужденные голоса и неслись на нас облака табачного дыма.

Я не видал кн. Львова с начала революции и был поражен его осунувшимся лицом и каким-то устало-пришибленным видом.

— Ну, сядем здесь в уголке, — сказал он нам своим ласковым голосом, усаживая нас на диван и садясь рядом. — С чем же вы приехали? Решили участвовать в правительстве?

Винавер ответил, что ЦК решил этот вопрос в положительном смысле, но при известных условиях, и вынул из кармана привезенный нами документ. Князь Львов уныло развел руками:

— Опять какие-то условия. Господи, и зачем вам это нужно! Ну, читайте...

Винавер стал читать, но Львов его плохо слушал, а прислушивался к голосам, доносившимся из соседней комнаты. Там, по-видимому, шел горячий спор.

Не успел Винавер дочитать документа, как из этой комнаты выбежало несколько растрепанных людей в косоворотках:

— Георгий Евгеньевич, куда же вы ушли? Ваше присутствие необходимо.

Львов с усилием поднялся с дивана:

— Подождите минуточку, я сейчас, — сказал он извиняющимся тоном и нехотя поплелся в шумную комнату.

Мы остались ждать, и ждали долго.

Вдруг на лестнице послышалось бряцание шпор и в приемную один за другим стали входить генералы в парадных мундирах, увешанных орденами.

Оказалось, что это командующие армиями, вызванные в Петербург Керенским, только что занявшим пост военного министра и пригласившим их на торжественный обед в министерство внутренних дел.

Когда генералы оказались в сборе, из двери, противоположной той, за которой скрылся князь Львов, вышел Керенский в черной курточке полувоенного покроя. Вид у него был властный и воинственный. Генералы подтянулись перед своим начальством и, рекомендуясь Керенскому, поочередно подходили к нему и любезно щелкали шпорами.

— Очень рад, — важно отчеканивал Керенский, пожимая руки генералов, и постепенно все они проходили в соседнюю комнату, где был сервирован обед.

Наконец вернулся князь Львов и в полном бессилии опустился рядом со мной на диван. Дослушав чтение документа, он с тоской посмотрел на нас и, мягко пожимая наши руки на прощание, пробормотал:

— Все условия и условия... Ведь не вы одни ставите условия. Вот там, в соседней комнате, советская депутация тоже ставит условия, и притом противоположные вашим. Что прикажете делать, как все это примирить! Нужно быть поуступчивее...

С тяжким чувством уезжал я из министерства. Все, что я видел там, поражало своей нелепостью: распущенные солдаты с цигарками в зубах, и генералы в орденах, любезно пожимающие руку Керенскому, которого большинство из них ненавидело. Тут же, рядом с генералами, шумно спорящие эсеры, меньшевики и большевики, а в центре этого хаоса — беспомощная, безвластная

фигура главы правительства, который готов всем и во всем уступать...

Не прав ли был Милюков, сказав, что "революция сошла с рельс"?!

С образованием коалиционного правительства кончился, по крайней мере внешне, период двоевластия. Но это не послужило к укреплению власти. В стране росла анархия, внутри правительства шли раздоры, началась дифференциация и внутри Советов, где усиливалась большевистская оппозиция, влиятельная среди петербургских рабочих и солдат петербургского гарнизона. Большевики открыто вооружали рабочих, создавая из них кадры "красной гвардии".

Центром красной гвардии была Выборгская сторона, где большевики были хозяевами положения. Под покровительством красной гвардии находилась и сорганизовавшаяся там группа бандитов, именовавших себя анархистами. Бандиты завладели частной дачей Дурново и оттуда устраивали грабительские набеги на богатые квартиры. О даче Дурново тогда много писали в газетах. Уничтожить этот разбойничий притон было необходимо, но для этого требовалась воинская сила. Между тем правительство без санкции Совета не могло прибегнуть к содействию войск. Совет вначале решительно воспротивился "пролитию крови", но после долгих переговоров наконец предоставил правительству действовать.

Действия принял на себя министр юстиции Переверзев, предписав прокурору судебной палаты Каринскому арестовать засевших на даче Дурново "анархистов".

Дальнейшее изложение этого эпизода я пишу со слов Каринского, под свежим впечатлением рассказавшего мне все его перипетии. Не думаю, чтобы в его рассказе было много преувеличений.

Вызванный по телефону Переверзевым, он явился в Совет министров для обсуждения метода действий. Князь Львов очень скептически отнесся к затеянному делу. Он уныло говорил Каринскому:

– Как же вы сможете действовать, когда солдаты не будут вас слушаться?

Вызвали командующего войсками Петербургского округа, генерала Половцева, который, подтверждая слова Львова, заявил, что петербургский гарнизон настолько развращен, что отвечать за успех предприятия невозможно. В крайнем случае можно надеяться на повиновение двух рот Преображенского полка и на казачьи части. Но если в защиту анархистов выступят красногвардейцы, то он вообще затрудняется сказать, что из этого произойдет.

– Вот видите, – говорил кн. Львов, ничего у вас не выйдет...

Переверзев и Каринский все же решили действовать при помощи указанных Половцевым преображенцев и казаков. А чтобы избежать столкновения с красногвардейцами, предприняли экспедицию на Выборгскую сторону ночью.

Предварительно Каринский просил министра почт и телеграфов Церетели установить надзор за телефоном дачи Дурново, но Церетели ему ответил, что не считает себя вправе нарушать тайну телефонных сношений русских граждан.

Ночью Переверзев, Каринский и генерал Половцев приехали на место действий. Анархисты очевидно спали, так как дача была темна. Вокруг нее стояли две роты преображенцев и казачья сотня. Половцев приказал преображенцам занять дачу. Те двинулись вперед и стали взламывать запертые двери. Шум разбудил анархистов, которые, увидав, что их атакуют, произвели несколько выстрелов в окна. Этого было достаточно, чтобы преображенцы обратились в бегство. Казаки оказались храбрее и, по команде своего начальства, вступили в бой с анархистами. В пять минут дача была занята. Несколько анархистов было убито, в том числе и их главарь, оказавшийся уголовным преступником. При освидетельствовании трупа на его спине увидели татуировку абсолютно непристойного характера. Эта татуировка имела большое значение, так как, узнав о таком конфузном обстоятельстве, Исполнительный комитет Совета потушил в своей среде взрыв негодования по поводу "кровавых мер" правительства.

Этот маленький эпизод, характерный для иллюстрации слабости и дезорганизации революционной власти, произошел тогда, когда Ленин уже действовал в Петербурге.

Мне часто приходилось проходить мимо захваченного большевиками особняка Кшесинской, с балкона которого он ежедневно произносил перед огромной толпой демагогические речи против Временного правительства и "министров-капиталистов". Этот термин, изобретенный Лениным для обозначения не социалистических министров, действовал на воображение масс, которые представляли их себе толстосумами, обогащающимися за счет России. Бедный Шингарев, с трудом содержавший на скудные средства огромную семью, вскоре поплатился жизнью за то, что стал известен среди большевистских низов как один из этих коварных "министров-капиталистов".

Проходя мимо дома Кшесинской, я издали видел маленькую, знакомую мне фигурку Ленина, выкрикивавшего с балкона хриплым голосом слова ненависти и злобы, которых, впрочем, расслышать не мог, не решаясь со своим "буржуазным" видом войти в гущу облеплявшей балкон толпы рабочих и солдат с заломленными на затылок бескозырками, неистово ревевших "ура" на призывы своего нового кумира. Жутко становилось от одного вида этой толпы, которая вот-вот должна была перейти от криков к действиям. И действия вскоре начались.

Вечером 2-го июля было назначено заседание ЦК нашей партии в помещении кадетского клуба, на Английской набережной. Часов около восьми начали собираться члены ЦК. В ожидании приезда

Милюкова мы стояли группами и разговаривали. Вдруг кто-то сказал:

— Посмотрите в окно, что происходит!

Из окон, выходящих на набережную, был виден Александровский мост, по которому с Выборгской стороны шла густая толпа вооруженных солдат и красногвардейцев, вливаясь на Литейный проспект.

Всем стало ясно, что началось восстание, к которому уже несколько дней призывал Ленин своих слушателей с балкона особняка Кшесинской. Мы сейчас же предупредили об этом по телефону Милюкова, которому, чтобы попасть из своего дома на заседание, нужно было пересечь Литейную, запруженную повстанцами. Для него это было бы слишком опасно, так как многие его знали в лицо, а его имя, как "врага народа", ежедневно трепалось в большевистских газетах.

Однако нам, как главному штабу "контрреволюции", необходимо было собраться немедленно для обсуждения положения. Решили поэтому перенести заседание на частную квартиру Шайковичей, находившуюся по ту сторону Литейной, на Захарьевской улице.

Когда я пробирался туда через толпу восставших солдат, расположившихся бивуаком на Литейной, я был поражен их мирным настроением. Составив ружья в козлы, они сидели кучками на мостовой перед разложенными кострами, на которых варили себе чай, и весело болтали. Очевидно были вполне уверены в победе без сопротивления.

Заседание ЦК было малочисленнее обычного. Не все решились приехать.

Не успел Милюков открыть его, как мы услышали шум грузовика, остановившегося против нашего подъезда. Кто-то взглянул в окно и сообщил нам тревожное известие, что на грузовике сидят вооруженные красноармейцы, очевидно приехавшие нас арестовать.

Среди присутствовавших произошло естественное смятение. Особенно всех тревожила участь Милюкова. Хозяйка квартиры, М.А. Шайкович, сообщила, что один из жильцов дома предлагает укрыть Милюкова у себя, проведя его по черной лестнице. Стали наскоро обсуждать, как осуществить этот план.

Сам Милюков, все это время сидевший молча на своем месте, вдруг позвонил в председательский колокольчик:

— Господа, прекратите эти ненужные разговоры, — сказал он спокойным голосом, — я все равно никуда не намерен уходить. Если автомобиль приехал за мной, то скрываться поздно. Между тем нам предстоит разрешить целый ряд неотложных вопросов. Поэтому приглашаю вас возобновить заседание. Слово предоставляется такому-то.

Хладнокровие Милюкова подействовало на всех отрезвляюще. Мы снова сели вокруг стола и заседание продолжалось. Я заметил лишь, что нас стало меньше на 2-3 человека...

Дезертирство их было, однако, напрасно: красноармейцы, очевидно, искали не нас, а кого-то другого, и мы благополучно заседали часов до 3-х ночи.

Милюкова все-таки не пустили домой, несмотря на его возражения, и он вместе с Винавером прожил несколько дней на Захарьевской в предоставленной им квартире. Предосторожность оказалась излишней. Винавер, подчиняясь уговорам родных и друзей, добросовестно отсидел в своем "месте", а Милюков продолжал свободно ходить и ездить по городу, возвращаясь только на ночь на свою конспиративную квартиру.

С описанного здесь заседания я возвращался ночью домой, на Петербургскую сторону, пешком, через весь город, вместе с Д. И. Шаховским и С. Ф. Ольденбургом. Все было тихо. Только на Литейной, на тротуарах, сплошными рядами спали солдаты, осторожно шагая через которых, мы с трудом выбрались на набережную Невы.

Как известно, восстание большевиков 3-го июля было легко ликвидировано, и притом почти без кровопролития. Узнав, что казачьи части выразили готовность защищать Временное правительство, солдаты петербургских полков, вышедшие из казарм не только с плакатами — "Вся власть Советам" и "Долой министров-капиталистов", но и с заряженными винтовками, вернулись в казармы, как стадо баранов. Мне рассказывали, что на Невском безоружные люди останавливали грузовики с вооруженными солдатами, которые без сопротивления отдавали им свое оружие. Особенно отличился в этот день товарищ председателя городского комитета нашей партии, В. И. Штейнингер, впоследствии расстрелянный большевиками. Человек смелый, решительный и обладавший большой физической силой, он ходил по улицам и с успехом разоружал бунтовщиков.

Казавшееся грозным, восстание закончилось мирно из-за нежелания развращенных революцией петербургских солдат рисковать своей жизнью.

Ленин скрылся, а некоторые из видных большевиков, в том числе — Троцкий и Луначарский, попали в тюрьму.

О чем думал Троцкий, сидя в тюрьме, — я не знаю. Но совершенно случайно узнал один мелкий, но характерный факт, на основании которого можно судить о тюремных мыслях и настроениях Луначарского. Факт этот я записал со слов жены моего приятеля В. А. Могилевского.

Могилевские, как и Луначарский, были перед революцией эмигрантами. Они жили в Лозанне и вели друг с другом близкое знакомство. Когда произошла революция, Луначарский вместе с

Лениным отправился в Россию через Германию в "запломбированном вагоне", а Могилевский избрал более сложный, но более достойный путь — через Англию. Перед отъездом Луначарский говорил своему приятелю, что в свободной России он решил отказаться от всякой политической деятельности и посвятить свои силы работе исключительно культурной. Поэтому Могилевский, приехав в Россию, был крайне удивлен, узнав, что в Петербурге он стал активным большевиком.

Жена Луначарского с маленьким восьмилетним сыном продолжала жить в Лозанне, ожидая вызова от мужа.

Своего сына Луначарские, конечно, воспитывали вне религии и не крестили его, когда он появился на свет.

Вдруг в июле месяце от Луначарского приходит телеграмма, в которой он просит жену срочно окрестить сына. Жена его была поражена и смущена столь странным распоряжением мужа, но просьбу его исполнила. Е. А. Могилевская, бывшая крестной матерью мальчика, мне рассказывала, как трудно ей было убедить старорежимного русского священника совершить обряд крещения над сыном известного атеиста и большевика...

О мотивах, побудивших Луначарского срочно окрестить своего сына после неудачного большевистского восстания, можно лишь догадываться...

Независимо от происходивших политических событий, в это время несколько изменилось мое служебное положение: назначенный на должность управляющего отделом сельской экономии и сельскохозяйственной статистики мой приятель, Л.К. Чермак, предложил мне быть его помощником. Так как моя должность в министерстве путей сообщения все больше и больше превращалась в синекуру, я охотно дал Чермаку согласие, тем более, что предстоящая работа вполне соответствовала моему статистическому стажу.

И вот через 21 год я снова оказался служащим того учреждения, в котором когда-то началась и быстро прервалась моя бюрократическая карьера.

Придя на новую службу, я, к своему удивлению, встретился с теми же чиновниками, с которыми служил 21 год назад. За это время я прожил такую сложную и разнообразную жизнь, а они все сидели на своих насиженных местах. Те, кто был причисленным к отделу, стал младшим редактором, кто был младшим редактором — стал старшим. Только и всего. Все поседели, постарели и со скукой в душе тянули служебную лямку.

Теперь из младшего по службе и подчиненного им я вдруг оказался их начальством. В этом положении мне вначале было как-то не по себе, но они приняли меня очень радушно и все оказались моими товарищами по партии.

Мое поступление на службу в министерство земледелия совпало с усилением крестьянских волнений и разгромов помещичьих усадеб

в разных местностях России. Сведения о крестьянском движении сосредотачивались в нашем министерстве, и мы с Чермаком решили составить их картограмму.

Занявшись этим делом, я обратил внимание на обратную зависимость, существовавшую между крестьянскими волнениями и распространением хуторских и отрубных крестьянских хозяйств. Другими словами, в местностях, где столыпинская реформа до революции шла успешно, крестьяне меньше всего проявляли склонности к захвату и дележу помещичьих земель, и обратно. Я заинтересовался замеченной мною зависимостью, свидетельствовавшей о том, что, если бы революция опоздала на несколько лет, она приняла бы совсем иные формы. Но революционные события помешали мне закончить мою работу.

Если не ошибаюсь, в июле происходили выборы в городские Думы по системе пропорционального представительства, в которых участвовало все население от двадцатилетнего возраста, включая и солдат.

Представители нашей партии во всех комиссиях, подготовлявших реформу местного самоуправления, и во Временном правительстве горячо возражали против участия в выборах солдат, которые в местах концентрации войск оказывали решающее влияние на их исход; настаивали также на введении ценза оседлости, но Совет рабочих и солдатских депутатов в этом вопросе был непримирим. В результате получился нелепейший избирательный закон и местные самоуправления заполнились пришлыми людьми, чуждыми местных интересов.

На муниципальных выборах местные интересы были забыты. Шла борьба политическая. А так как большинство населения городов состояло из пришлых рабочих и солдат, принадлежавших к крестьянскому сословию и мечтавших безвозмездно завладеть помещичьими землями, то партия социалистов-революционеров с лозунгом — "Вся земля трудящимся" оказалась победительницей. В московской городской Думе и в большинстве провинциальных муниципалитетов эсеры получили абсолютное большинство голосов. В петербургской же Думе они завоевали немного менее половины мест. Около четверти мест досталось большевикам, немного более четверти кадетам. Маленькая партия народных социалистов провела 4-5 человек, а меньшевики, руководившие в это время Советом рабочих и солдатских депутатов, были совершенно разгромлены: им удалось провести в Думу лишь четырех своих представителей.

Кадеты ввели в Думу своих главных лидеров — Милюкова, Винавера, Шингарева и Набокова. Так как первые два редко посещали заседания, а Набоков был малосведущ в вопросах самоуправления, то руководящая роль досталась Шингареву, уже выбывшему в это время из состава Временного правительства.

Большевики тоже, памятуя о крупной роли Парижской коммуны во французской революции, позаботились украшением столичной Думы своими видными людьми: в гласные Думы попали Зиновьев, Коллонтай, Луначарский и Мануильский. Зиновьев и Коллонтай показывались редко, а лидерствовали Луначарский и Мануильский.

Несмотря на образовавшуюся в социалистическом блоке после восстания 3 июля трещину, все же первоначально этот блок еще действовал в новой городской Думе. Так, хотя наша партия по численности занимала после эсеров второе место, в президиум нас не пустили, и он был составлен по сговору эсеров с большевиками из одних социалистов: председателем Думы был избран меньшевик Исаев. Для меня так и осталось загадкой, почему Исаев был социал-демократом и почему социалистический сектор Думы именно его посадил на председательское кресло. Это был рядовой петербургский адвокат, мало кому известный, человек порядочный, но недалекий, вероятно имевший слабое представление о Карле Марксе и его учении. Главное его достоинство составляла представительная наружность и корректность в обращении. Нужно ему отдать справедливость, что председательствовал он беспристрастно и, проникшись важностью своего поста, умел охранять достоинство Думы.

Товарищами председателя были избраны: из эсеров – молодой присяжный поверенный с жуткой фамилией – Труп и рабочий большевик среднего возраста, с бородкой клинышком. Он никогда не председательствовал, а молча сидел рядом с Исаевым. Мне кажется, что это был будущий президент СССР Калинин. Впрочем, незнакомый с биографией "всероссийского старосты", утверждать это не могу.

Попав в состав гласных городской Думы, я должен был немало времени уделять присутствию в ее заседаниях. Заседания неимоверно удлинялись партийными декларациями: всякий возникший вопрос предварительно обсуждался в отдельных фракциях, для чего делались постоянные перерывы общих заседаний. Часто бывало, что фракционные заседания длились часами, а затем каждая из фракций выступала со своими декларациями, после которых начинались уже прения. Фракционные совещания особенно долго затягивались у эсеров, ввиду существовавших разногласий между тремя наметившимися у них течениями. Во время их совещаний остальные гласные бродили по думским залам без всякого дела.

Мне приходилось участвовать и в деловой работе Думы, так как я попал в члены оценочной комиссии. Но работы в ней было мало. Из членов комиссии на ее заседания почти никто не являлся, и мы вдвоем-втроем быстро разрешали текущие дела.

Избранный в городские головы Шрейдер был старым эсеровским партийцем. Человек весьма недалекий, бездарный и узкий

доктринер, он был совершенно беспомощен в сложном городском хозяйстве, вести которое было особенно трудно в условиях войны и революции. На заседаниях Думы он произносил бессодержательные патетические речи, неизменно подчеркивая свою социалистическую избранность и презрение к нам, "представителям буржуазии". Любил щеголять такими выражениями, как "моя социалистическая совесть мне не позволяет", или "социалистическая мораль требует от нас" и т.п., причем до самого большевистского переворота называл большевиков "товарищами" и признавал за ними эту "социалистическую совесть".

С первых же дней своего существования городская Дума сделалась какой-то дополнительной ареной политической борьбы, игнорируя никого почти не интересовавшие вопросы изо дня в день разрушавшегося городского хозяйства, которыми ведала городская управа под руководством совершенного непригодного городского головы.

Между тем Временное правительство, составленное с большим трудом после большевистского восстания 3-го июля, несколько укрепило свою власть. Произошло это главным образом потому, что меньшевики и эсеры, руководившие Советом рабочих и солдатских депутатов, поняли наконец необходимость сильной правительственной власти и стали значительно меньше вмешиваться в государственные дела. Но укрепление власти чувствовалось главным образом в Петербурге. В провинции и в армии революция продолжала "углубляться" и усиливалась большевистская пропаганда, внося повсюду разложение и анархию.

Окрепшее в столице правительство чувствовало потребность найти опору в организованном мнении всей страны, и с этой целью созвало в начале августа так называемое Московское совещание, на которое были приглашены представители всех организованных общественных сил: главного командования, солдатских комитетов, центральных комитетов всех партий, члены всех четырех Государственных Дум, представители Советов рабочих и солдатских депутатов, местных самоуправлений, кооперативов, организаций промышленников и т.д. Всех участников Совещания было, вероятно, около 2000. По крайней мере московский Большой театр, в котором оно происходило, был переполнен.

С особым волнением ждали выступления на Совещании главнокомандующего, генерала Корнилова, который, как было известно, требовал в это время от правительства восстановления смертной казни на фронте за особо тяжкие преступления.

Я приехал в Москву за несколько дней до открытия Московского совещания. Съехались и другие члены ЦК нашей партии, чтобы в полном составе комитета обсудить предварительно всю совокупность сложного политического положения.

Я теперь забыл почти все, что мы тогда обсуждали. Это вполне понятно, принимая во внимание наше возбужденное состояние. Понятно также, что в моей памяти запечатлелись лишь те две темы, в обсуждении которых я лично принимал участие.

Первая из этих двух тем, которую затронул Милюков в своем докладе, касалась самого ответственного в тот момент вопроса о взаимных отношениях между Временным правительством, Советом рабочих и солдатских депутатов и верховным главнокомандующим.

Милюков говорил в крайне осторожной форме. Смысл его речи заключался в том, что назревает конфликт между командованием армии и правительством, опирающимся на Совет. Нам, следовательно, нужно уяснить себе нашу позицию в этом конфликте: должны ли мы стремиться к его смягчению, или наоборот, должны принять участие в борьбе, став на сторону одной из борющихся сил. Сам Милюков недвусмысленно давал понять, что в той фазе, в которую вступила революция, Временное правительство обречено, и что спасти Россию от анархии может лишь военная диктатура.

Насколько помню, Милюков представлял себе первую стадию этой диктатуры в виде дуумвирата Керенского и Корнилова, предполагая, что под влиянием организованного Корниловым военного давления Керенский вынужден будет уступить и покончить с Советом рабочих и солдатских депутатов. Он допускал в худшем случае отказ Керенского от подобной комбинации и образование новой власти без его участия.

От речи Милюкова у меня создалось впечатление, что он уже вел тайные переговоры с Корниловым и обещал ему поддержку. Поэтому, когда впоследствии, на суде, Корнилов заявил, что видные общественные деятели обещали поддержать его выступление и изменили ему, я был убежден, что он намекал на Милюкова, да и теперь далеко не уверен в противном.

В том положении, в каком тогда находилась Россия, для большинства моих единомышленников уже не существовало принципиального вопроса о режиме. Мы готовы были приветствовать всякий режим, который мог бы ее спасти от распада, разложения и завоевания неприятелем. Поэтому перспектива военной диктатуры, которой сочувствовал Милюков, не пугала большинство членов ЦК. Насколько помню, споры возникли главным образом о том, может ли удаться государственный переворот и не поведет ли попытка его совершить к еще худшей анархии.

По крайней мере я лично возражал Милюкову именно с этой точки зрения, указывая, что Временное правительство хотя еще находится в зависимости от Совета, но постепенно от него эмансипируется, укрепляя свою власть. На этом пути мы должны всячески его поддерживать. Между тем процесс разложения армии продолжается, и при таких условиях попытка переворота при ее

содействии имеет мало шансов на успех. В случае же неуспеха мы можем оказаться в худшем положении, чем теперь.

Очень решительно против участия партии в перевороте высказался П.П.Юренев, бывший тогда министром путей сообщения. Он говорил, что нельзя одновременно участвовать в правительстве и его свергать. Вообще ни он, ни другие министры кадетской партии не желают оказаться в положении предателей. Если бы партия вступила на путь заговора, они сочли бы своим долгом немедленно подать в отставку.

Вопрос, поднятый Милюковым, не голосовался, да и не мог голосоваться, так как не было внесено никакого конкретного предложения. У меня, однако, составилось впечатление, что большинство моих товарищей по ЦК разделяло мнение Милюкова. Ему пока этого было достаточно.

Президиум ЦК принял участие в торжественной встрече генерала Корнилова, когда он приехал в Москву, а Милюков вел с ним с глазу на глаз продолжительную беседу. П.П.Юренев, приехавший к Корнилову с официальным визитом от правительства, входя в вагон главнокомандующего, неожиданно встретил выходящего из него Милюкова. Милюков же о своей беседе с Корниловым нам в ЦК не докладывал.

Из других вопросов, обсуждавшихся на этом заседании ЦК в Москве, мне запомнился еще один — о предстоящем выступлении на Московском совещании представителей всех Государственных Дум.

Политические страсти настолько разделяли тогда русское общество, что объединенное выступление депутатов какой-либо из четырех Дум казалось невозможным. Поэтому предполагалось, что представители думских кадетских фракций будут говорить лишь от лица этих фракций.

Я предложил сделать попытку составления общей декларации от всех перводумцев. Меня поддержал Набоков. Милюков возражал. Такая декларация не соответствовала намечавшейся им политической позиции союза с генералом Корниловым и полного разрыва с правыми социалистическими группами. Однако, он так был уверен в неисполнимости нашего плана, что не счел нужным ему препятствовать.

— Ну что же, попробуйте, — сказал он, — я заранее знаю, что у вас ничего не выйдет.

Получив от Милюкова и других членов ЦК разрешение действовать, мы с Набоковым сейчас же отправились в общежитие, отведенное для членов первой Думы, и созвали туда на совещание всех перводумцев. На собрании присутствовали члены всех бывших в Думе фракций, кроме Польского Коло.

Оказалось, что добиться соглашения было даже легче, чем мы предполагали. За 12 лет, протекших со времени роспуска первой

Думы, левые ее депутаты значительно поправели. Все были резко настроены против большевиков, все стояли за продолжение войны в согласии с союзниками и за укрепление власти Временного правительства. Даже неистовый когда-то социал-демократ, екатеринославский рабочий Михайличенко, рыжие кудри которого покрыла белая сетка седины, радостно пожимал мне руку и выражал сочувствие общему выступлению с умиротворяющей декларацией.

Неожиданную оппозицию мы встретили лишь со стороны эстонского депутата Тенисона, бывшего правого кадета. Теперь он требовал от нас признания независимости Эстонии и вызвал этим единодушное негодование всех остальных присутствовавших на собрании перводумцев. Негодование наше, впрочем, смягчалось несколько насмешливым отношением к утопическому требованию Тенисона, ибо тогда мысль о возможности самостоятельного эстонского государства представлялась нам еще чистейшей фантазией.

В результате составленный Набоковым проект декларации от первой Думы, с небольшими поправками, был принят единогласно против одного Тенисона. Все присутствовавшие приветствовали этот результат громкими аплодисментами. Все были удовлетворены тем, что в грозную для России минуту, среди хаоса разраставшейся политической и классовой ненависти, мы, перводумцы, все же сумели выразить объединявшие нас мысли и чувства. И когда на следующий день, в первом заседании Московского совещания, Набоков прочел красиво составленную им декларацию первой Думы, вероятно, не я один, но и другие мои товарищи по первому народному представительству ощутили влажность своих глаз...

Из отдельных эпизодов Московского совещания наиболее ярко запомнились мне два: появление генерала Корнилова и вступительная речь Керенского.

Корнилов вошел твердой военной походкой на сцену Большого театра, где вокруг покрытого зеленой скатертью стола сидели все министры, и занял место среди них. При его появлении все сидевшие в правой части театрального зала – представители промышленных организаций, члены ЦК кадетской партии, большая часть кооператоров и представителей местных самоуправлений – поднялись со своих мест, желая этим выразить свою преданность армии, защищающей Россию. Но вся левая часть зала, в которой находились главным образом представители Советов и солдатских комитетов, осталась сидеть.

Трудно передать охватившее нас негодование, доходившее почти до бешенства, при виде этих людей в солдатских гимнастерках, сидевших в нарочито небрежных позах, некоторые – в фуражках и с папиросами в зубах. Ведь для нас Корнилов был только представителем армии, а для них – главнокомандующим,

при появлении которого, согласно воинской дисциплине, они обязаны были встать. Их вызывающее поведение наглядно свидетельствовало о полном разложении армии, и видеть это было совершенно нестерпимо.

С нашей стороны раздались негодующие крики: "Встать, встать... встать!.. мерзавцы!.." А в ответ – хохот, гикание и еще более грубые слова. Страсти разгорались, и казалось – вот-вот начнется всеобщая свалка. Но выступивший с приветственной речью Керенский положил конец этому бурному происшествию.

Но, Боже, что это была за речь! До сих пор не могу забыть острого чувства стыда за его бездарные потуги явить перед нами силу своей власти, которые мы должны были поддерживать нашими аплодисментами. Коробил прежде всего внешний декорум, которым он себя окружил: за его креслом стояли навытяжку в застывших позах два молодых офицера – нечто вроде рынд, окружавших в старину троны русских самодержцев. Совершенно непонятно, зачем ему понадобилась столь безвкусная декорация! Лицу своему он придал суровое и грозное выражение, а речи – резкость и властность, когда говорил, обращаясь то к правым, то к левым, что он не допустит никаких посягательств на власть Временного правительства и сумеет быть беспощадным в случае необходимости.

Речь Керенского была напыщенна и искусственна до последних пределов, и невольно казалось, что перед нами стоит не глава правительства, а какой-то провинциальный актер, плохо играющий свою роль. От грозных слов его никому не было страшно, а было бы смешно, если бы была охота смеяться. Конечно, было не до смеха...

Из других многочисленных речей мне запомнилась блестящая речь Маклакова, который, возражая Керенскому, переделал одну из его звонких фраз. Керенский сказал: "Для нас нет родины без свободы и нет свободы без родины". Маклаков из синтеза Керенского сделал антитезу: "Для нас, – говорил он, указывая на правую часть зала, – нет свободы без родины, а для вас (указывая налево) нет родины без свободы". И он убеждал всех ставить родину выше свободы.

Теперь, через много лет, я понимаю всю условность этих крылатых формул, которые приходится применять в зависимости от обстоятельств. Тогда, когда мы находились в России, вглубь которой продвигались немецкие войска, а русская армия разлагалась от гипертрофии свободы, примат родины над свободой был совершенно очевиден, и Маклаков был прав, утверждая, что "для нас нет свободы без родины". Но ни он, ни Керенский и вообще никто из присутствовавших на Московском совещании не мог себе представить, что настанет время, когда обратная формула – "для нас нет родины без свободы" – станет для Маклакова, Керенского и всех вообще русских эмигрантов не столько даже эффектным лозунгом, сколько непререкаемым фактом...

Из речей, произнесенных на Московском совещании, наибольшее на всех впечатление произвела речь Шульгина. Своим патриотическим чувством он сумел заразить даже всю враждебную ему часть аудитории. Говорил он медленно, слабым голосом, но в то время, как речи других ораторов прерывались то справа, то слева, речь Шульгина точно всех заворожила. В зале стало совершенно тихо и каждое слово его было отчетливо слышно на всех местах огромного театра. Даже большевики не могли освободиться от гипноза шульгинского красноречия.

Я не дождался конца Московского совещания и не присутствовал при заключительной речи Керенского, кончившейся, как мне передавали, чем-то вроде истерики.

Хочу сказать здесь несколько слов об этом человеке, так внезапно занявшем видное место в русской истории, ставшем кратковременно народным кумиром, а затем, сойдя с исторической сцены, подвергавшемся беспощадной и несправедливой травле справа и слева, будучи ненавидим одними и презираем другими.

С Керенским я познакомился лет за шесть до революции 1917 года, встречая его не только на общественных собраниях, но и в частных домах. Близости с ним у меня не было, но все же наши встречи дали мне возможность составить о нем суждение еще раньше, чем он стал известен всему миру.

Лет на 10 моложе меня, он все-таки принадлежал более или менее к моему поколению русской интеллигенции и был довольно типичным представителем определенной, знакомой мне, среды.

Человек очень неглупый, способный, и если не прямо талантливый, то наделенный большой талантливостью. Керенский вместе с тем был от природы легок и поверхностен. Поверхностен был и в своем образовании, и в чувствах, и в политических увлечениях.

Не знаю, когда он вошел в партию с.-р. Вероятно, уже будучи депутатом. По крайней мере его имя не встречалось среди деятелей революции 1905 года наряду с его партийными товарищами, его сверстниками – Авксентьевым, Фондаминским и др. Думаю, что это объясняется именно поверхностностью его политических увлечений. Ибо только сила и глубина увлечения делали из молодых людей того времени активных революционеров. К тому же едва ли он был способен на большой риск, связанный с революционной борьбой доконституционного периода. Да и по натуре Керенский не был таким борцом, который готов идти в бой за свои идеи против господствующих течений. Он мог плыть только по течению, поощряемый сочувствием толпы. Все это, конечно, не мешало ему быть честным, порядочным и отзывчивым человеком.

До своего избрания в Думу Керенский был малоизвестным петербургским адвокатом. Родись он десятью годами раньше – так бы и остался, вероятно, в тени. Общественные деятели в то время выдвигались не столько словом, сколько упорной культурной

работой и политической борьбой, с ней связанной. А он с его истерическим темпераментом едва ли был способен к систематической работе.

Дума облегчила политические карьеры людям, обладавшим даром произносить яркие речи. Керенский этим даром обладал и сразу выдвинулся в первые ряды думских ораторов. В его речах было слишком много шума и треска, истерических выкриков, а отчасти бьющего на эффект искусственного позерства. Депутаты к ним скоро привыкли и на них они перестали действовать. Но за пределами Думы резкость этих речей по отношению к правительству создавала ему широкую популярность. Будь Керенский членом кадетской партии, он не мог бы занять в ней влиятельного положения наравне с более блестящими умом, талантом и образованием ее руководителями, но в возглавляемой им трудовой группе, чрезвычайно серой по своему составу, он был головой выше своих фракционных товарищей. А между тем трудовая группа, несмотря на свою малочисленность в 3-ей и 4-ой Думах, считалась представительницей интересов многомиллионного крестьянства.

Благодаря всем этим обстоятельствам, Керенский, хотя человек и незаурядный, стал более крупной политической фигурой, чем заслуживал по своим личным качествам. Не вполне заслуженная слава способствует развитию в человеке неумеренной самоуверенности и чрезмерного честолюбия. Так было и с Керенским.

В течение нескольких лет депутатства он привык себя считать вождем и народным трибуном, воспринял соответствующий пафос речей и вполне вошел в свою роль, ибо, одаренный природой артистической натурой, легко перевоплощался в те роли, которые ему приходилось играть в жизни. Но не всякая роль по плечу даже самому талантливому актеру.

В первые дни революции он еще продолжал играть привычную ему роль, и популярность его выросла неимоверно. Он лучше своих коллег по Временному правительству ощущал революционные настроения населения, лучше них находил подобающий тон и подходящие выражения в своих речах, которые воодушевляли слушателей. А так как в это время он находился не только в революционном, но и в патриотическом подъеме чувств, то представлялся именно тем провиденциальным человеком революционно-патриотического синтеза, который мог спасти Россию и удержать ее на краю разверзавшейся перед ней пропасти. И в него поверили и левые единомышленники, и более правые политические противники. Сам он тоже уверовал в себя.

Можно ли его за это винить, винить за то, что, благодаря стечению целого ряда обстоятельств, именно он, Керенский, оказался в положении "спасителя отечества"? Ведь конкурента у него не было. Он один мог на такую роль претендовать. Но эта роль была связана с властью, к которой он никогда не готовился и к которой

относился со свойственной ему легкостью. Да и роль была не по нем: поклонение толпы действовало на его честолюбие, а импульсивный, истерический темперамент помогал ему порой проявлять большую энергию, но он не обладал ни сильной волей, ни властностью, необходимыми для главы революционного правительства. И когда, как на Московском совещании, он хотел изобразить из себя властного и сурового правителя, он производил впечатление лишь дурного провинциального актера.

Получив во время революции некоторый опыт в управлении страной, Керенский добросовестно пытался создать более твердую власть, но не мог угнаться за темпами революции, а уступить власть другому, например, генералу Корнилову, мешало честолюбие, да не только одно честолюбие, а и созданная обстоятельствами переоценка собственной личности.

Я старался по возможности объективно дать образ Керенского, как я его себе представляю. Меньше всего я склонен его осуждать. Нельзя осуждать человека за то, что он не был титаном, могущим остановить стихию революции, нельзя осуждать его и за то, что, не обладая достаточными силами, взялся за эту титаническую работу. Он не мог за нее не взяться, даже должен был взяться, так как в то время никто другой не мог его заменить. Конечно, он много совершил ошибок, вытекавших из неправильной оценки событий, а отчасти из свойственных ему человеческих слабостей.

В свое время, в период разгара политических страстей, я отдал дань раздражению против него и вражде, но всегда считал его в сущности хорошим человеком и честным русским гражданином. А те мысли, которые он высказывает в эмиграции, свидетельствуют о том, что он понял ошибки прошлого, хотя самолюбие не всегда позволяет ему их признать в отдельных конкретных случаях.

В начале революции я заходил иногда в семью моей покойной сестры и встречался там со своими правыми родственниками, которые раньше не только социалистов, но и кадетов считали чуть ли не предателями отечества. Хорошо помню, с каким они уважением отзывались о Керенском, внезапно превратившемся в их глазах из "предателя" в патриота. Особенно им импонировало корректное его отношение к Николаю II и его семье. И они тогда смотрели на него как на "спасителя отечества", возлагая на него все свои надежды. Но, когда Керенский этих надежд не оправдал, – он опять в их глазах стал изменником и предателем, "хуже Ленина". А затем эти же правые круги, получив влияние в эмиграции, создали из Керенского какое-то стилизованное чучело, весьма мало на него похожее, и обдали его целыми ушатами клеветы.

Из Москвы я поехал на короткое время в Крым навестить свою семью, проводившую там лето.

После страстей, бушевавших на Московском совещании, и разговоров о перевороте, я ехал в Крым с тяжелыми предчувствиями

о будущем, и был, как и при первой своей поездке туда, поражен мирными и оптимистическими настроениями местных общественных деятелей, плохо осведомленных о сложной политической обстановке, создавшейся в столицах. В Симферополе я побывал в местном Исполнительном комитете Совета рабочих и солдатских депутатов, в котором заседало много моих старых знакомых по дореволюционным временам. Большевиков в нем не было. Преобладали умеренные социалисты, относившиеся даже отрицательно к политике центрального Совета. Керенский был по-прежнему героем дня и предметом горячего поклонения.

В севастопольском флоте уже началось разложение и падение дисциплины, но большевистская пропаганда еще не пользовалась большим успехом. Словом, в провинции "углубление революции" шло значительно медленнее, чем в столицах.

Весть о корниловском восстании меня застала в Крыму. Никто там не понимал – в чем дело, но сочувствия Корнилову я не наблюдал даже среди местных правых кадетов, руководимых доктором Пасмаником.

В Петербург я вернулся в конце августа и сразу заметил значительную перемену к худшему в политической атмосфере.

Большевики, помогавшие Керенскому справиться с Корниловым, снова подняли голову и открыто вели проповедь государственного переворота; Троцкий, Каменев и другие видные большевики, попавшие в тюрьму после восстания 3-го июля, снова были на свободе и выступали на митингах.

Наш ЦК усиливал свою противобольшевистскую деятельность, хотя, конечно, не мог успешно конкурировать с большевиками ни в действовавших на массы демагогических лозунгах, ни в количестве разъездных агитаторов, брошюр и газет. Для этого требовались десятки миллионов, имевшиеся у большевиков и недостававшие нам. До сих пор нет прямых улик, устанавливающих финансирование большевиков германским правительством, но не подлежит сомнению, что другого источника колоссальных средств, затраченных ими на свою агитацию, не существовало.

Наша же партия до августа месяца не имела даже своего ежедневного печатного органа, если не считать "Речи", связанной с партией редакторством Милюкова. В августе наконец ЦК изыскал средства для издания партийной популярной газеты.

Начинать издание новой газеты, так сказать, на пустом месте, без готовых кадров читателей, было нецелесообразно. Поэтому решили приобрести одну из старых газет. Таковая нашлась: это была совершенно зачахшая после революции ультра-правая газета "Свет", издававшаяся Комаровым. В столицах она была мало распространена, но в провинции имела много читателей. ЦК приобрел эту газету со всеми подписчиками и предложил мне ее редактировать. И вот к моим многочисленным обязанностям прибавилась еще одна.

С этого времени и до большевистского переворота у меня буквально не было ни одной минуты свободного времени. Правда, у меня был помощник по редакции, опытный газетный техник, но тем не менее я должен был каждое утро сидеть в редакции, чтобы писать очередную передовицу, принимать сотрудников и редактировать их статьи, а через день, чередуясь со своим помощником, выпускать газету по ночам.

Редакция помещалась в Чернышевском переулке, и, возвращаясь к себе домой на Петербургскую сторону в 3-4 часа утра, мне приходилось делать большой конец по пустым улицам Петербурга. Запомнилось мне, что извозчикам я платил по 15-20 рублей (они говорили – "пятиалтынный" и "двугривенный"), что показывает, как уже тогда была низка покупательная способность рубля.

Во время этих ночных поездок я испытывал странное ощущение душевного отдыха. Как-то не верилось, что этот мирно спящий огромный город кипит революционными страстями и что, проснувшись на следующий день, я опять буду жить в тревоге и волнениях...

Газета наша, названная "Свободный Народ", в Петербурге шла плохо, так как интеллигенция читала "Речь" и "День", а симпатии простонародья уже были прочно завоеваны левыми демагогами. Но в провинции она распространялась. У нее сохранились не только старые подписчики, но появились и новые. Кроме того, мы бесплатно рассылали ее в войска, стоявшие на фронте.

Все остающееся у меня время от моих редакторских обязанностей я распределял между ЦК, министерством земледелия и городской Думой. Должен сознаться, что, при такой перегрузке работой, больше всего страдала моя казенная служба, которой я уже не мог заниматься добросовестно.

Из впечатлений, сохранившихся в моей памяти о заседаниях городской Думы в этот период времени, лучше всего помню прения об отмене смертной казни на фронте. Вопрос этот подняли большевики. Они предложили Думе потребовать от правительства отменить эту меру, принятую им по настоянию генерала Корнилова после насилий, погромов и грабежей, совершенных войсками при отступлении из Галиции. Между тем правительство не могло отказаться от нее, ибо страх перед смертной казнью все же сдерживал до некоторой степени кровавые бесчинства на фронте. Это хорошо понимали не только кадеты, но и эсеры, решившие голосовать против предложения большевиков.

Однако говорить в защиту смертной казни было трудно. Эсеры угрюмо молчали, и пришлось выступать кадетам – Набокову и Шингареву. Оба они всю свою жизнь говорили и писали против смертной казни, а вот теперь, в "свободной" России, им приходилось ее защищать...

Видно было, как они страшно волнуются и пересиливают себя, но в этот момент сознание гражданского долга заставило их произвести

насилие над своей совестью. Особенно волновался Шингарев, который был бледен как полотно, когда взошел на трибуну. Чувствовалось, что каждое слово в защиту ненавистной ему смертной казни точно подкашивает его силы. Большевики неистовствовали, прерывая речи кадетских ораторов шумом, гиканьем и руганью. После Шингарева слово взял большевик Мануильский. Говорил он страстно против крови и насилий. Думал ли он тогда, что, придя к власти, большевики зальют всю Россию кровью своих жертв? Таких потоков крови он, вероятно, не мог себе представить, но будущая кровь уже почувствовалась в его речи, когда, с ненавистью указывая на сидевшего против него Шингарева, он сказал, что может придти время, когда сам Шингарев на себе узнает, что такое смертная казнь, которую он хочет применить к другим... Фраза эта была произнесена тоном, не допускавшим толкований: голова Шингарева ставилась под удар революции... А среди громких рукоплесканий Мануильскому со скамей большевиков, среди ругательств и угроз, направлявшихся против нас, я отчетливо услышал несколько раз повторенные слова: "Смерть Шингареву!"

С тяжелым чувством кадетско-эсеровское большинство Думы отвергло протест против смертной казни. Мне вспомнилась первая Дума и слова ее законопроекта: "Смертная казнь отменяется навсегда"...

Если не ошибаюсь, в начале сентября было учреждено новое временное государственное учреждение, официально названное "Государственным совещанием", а в просторечии именовавшееся "Предпарламентом". Соображения, вызвавшие его к жизни, были следующие.

Комиссия, вырабатывавшая закон о выборах в Учредительное собрание, тонула в бесконечном множестве поправок, вносившихся представителями социалистических партий, и из-за этого выборы задерживались. Между тем правительство после корниловского восстания чувствовало себя непрочным. Большевики заметно усиливались, и было ясно, что на предстоявших перевыборах петербургского Совета они сделаются в нем, а затем и во всероссийском Совете, господами положения. При таких обстоятельствах в правительстве возникла мысль противопоставить Советам до созыва запоздавшего Учредительного собрания какой-либо суррогат народного представительства. Этот суррогат и был создан в виде "Предпарламента".

Состав его более или менее соответствовал составу Московского совещания: членами его состояли представители Советов, центральных комитетов политических партий, местных самоуправлений, кооперативов и пр. По своим функциям он являлся временным законосовещательным учреждением при Временном правительстве. Но главное его значение видели в том, что он давал возможность правительству и его сторонникам публично высказывать свои взгляды.

ЦК нашей партии очень скептически относился к этому неуклюжему учреждению. Для нас было ясно, что никакая новая говорильня не может укрепить власть в такой момент, когда не общественное мнение, а одна только физическая сила приобретала решающее значение. Однако мы не отказались от участия в Предпарламенте и послали в него своих представителей. В их числе оказался и я. Эту новую обязанность я уже не мог совместить со всеми прежними, а потому ушел со службы в министерстве земледелия.

Заседания Предпарламента происходили почти ежедневно, но о них почти никаких следов в моей памяти не осталось. Говорили речи Керенский, военный министр Верховский и другие министры, им отвечали представители всяких групп и партий. Работали над законодательными предположениями какие-то комиссии, в которых и я принимал участие, а общие собрания постоянно прерывались фракционными совещаниями, вырабатывавшими длинные резолюции и декларации. От всего этого у меня сохранилось впечатление сумбура и бестолковщины в атмосфере все возраставшей тревоги.

На одном из заседаний Предпарламента, недели за две до большевистского переворота, мне пришлось единственный раз в жизни видеть и слышать Троцкого.

Тогда большевики только что одержали победу на выборах в петербургский Совет и получили в нем абсолютное большинство голосов. Близкие к осуществлению своего лозунга — "Вся власть Советам", и приступив к организации восстания, они окончательно порвали с поддерживавшим Временное правительство социалистическим фронтом. Свой переход от оппозиции к революции они ознаменовали демонстративным отказом от участия в Предпарламенте. С соответствующим заявлением и выступил от своей партии Троцкий. Эта единственная речь Троцкого, которую я слышал, оставила во мне неизгладимое впечатление своей наглостью.

Теперь мы все привыкли к систематической лжи в политических речах и документах. Беззастенчиво лгут коммунисты и их близнецы-антиподы — фашисты всех оттенков, и постепенно ложь становится вообще привычным орудием всякой политической борьбы.

В дореволюционной России и в первый период революции лгали гораздо меньше. До революции центром лжи была крайне правая печать, после революции — большевистская пресса. Однако лгать устно люди еще стеснялись. Конечно, думские и митинговые ораторы не всегда оперировали верными фактами, но в большинстве случаев они сами все-таки были уверены в своей правоте.

Мне пришлось в своей жизни слышать многих ораторов, от большевиков до крайних правых включительно; их речи вызывали во мне самые различные чувства, но только один из них, Мар-

ков 2-ой, внушал мне какое-то особое ощущение гадливости и почти физической тошноты от сознательной наглой лжи, которую он с чувством, толком и расстановкой заставлял выслушивать своих слушателей. Ибо устная публичная ложь отличается от печатной своей специфической наглостью.

И вот, слушая в Предпарламенте речь Троцкого, я ощутил то же чувство тошноты, какое испытывал от думских речей Маркова 2-го. Троцкий обвинял правительство в измене, в том, что будто армия отступила от Риги по соглашению с немцами, дабы их пропустить в Петербург для расправы с Советами. Ту же версию текущих военных событий развивал Ленин в созданной на немецкие деньги "Правде", но он пускал эту демагогическую ложь перед анонимной аудиторией. Троцкий же ту же ложь произносил устно, зная, что никто из его слушателей, не исключая и его партийных товарищей, не принимает ее за правду. И было совершенно нестерпимо видеть его самодовольное лицо и слушать его наглую речь, предназначенную для одурачения народных масс через наши головы.

Само собой разумеется, что большая часть членов Предпарламента не могла спокойно вынести такого над собой издевательства, шум и негодующие крики заглушали его слова, но он все же договорил свою речь до конца, чтобы она могла попасть в стенографический отчет и в газеты.

После речи Троцкого большевистская фракция ушла из Предпарламента и больше в него не возвращалась.

Начались тягучие и полные тревоги октябрьские дни. Все знали, что большевики организуют восстание. Они действовали открыто, не скрывая своих намерений. И хотя Керенский авторитетно заявил, что правительство подавит всякую попытку восстания, но ему никто не верил, ибо мы хорошо знали, что войска петербургского гарнизона защищать правительство не будут. А военный министр Верховский у нас на глазах вел двойную игру.

Глава 27

В ОМУТЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(25 октября – 15 декабря 1917)

Поездка в Псков кандидатов в Учредительное собрание. 25 октября в Предпарламенте. Конец моей газетной работы. Заседания городской Думы во время осады Зимнего дворца и ночное путешествие гласных по Невскому. Образование Комитета спасения родины и революции. Положение в нем трех кадетских "белых ворон". "Викжель". Тайные переговоры бюро Комитета с военными. Моя поездка в Крым. Успехи революции в Крыму. Рост преступности и самосуды. Татарский национализм. Земско-городской съезд и татарский Курултай. Возвращение в Петербург. Восстание юнкеров. Комитет спасения родины и революции в подполье. Городская Дума получает первое предостережение. Члены ЦК кадетской партии объявлены вне закона. Военная организация ЦК. Герасимов и Пепеляев. На службе связи между ЦК кадетской партии и фракцией с.-р. Учредительного собрания. По улицам большевистского Петербурга в санях департамента полиции. Арест К.К. Черносвитова. Уличная манифестация городской Думы. Разгон городской Думы и ее переход на нелегальное положение. В комиссии по составлению адреса Учредительному собранию. Мой последний разговор с Шингаревым в ночь его ареста. Последние две недели в Петербурге.

Незадолго до большевистского переворота 25 октября началась избирательная кампания в Учредительное собрание. ЦК нашей партии выставил мою кандидатуру в нескольких губерниях. Но в большинстве из них моя кандидатура была чисто формальной, ибо выборы производились по спискам и настоящими кандидатами можно было считать лишь тех, кто возглавлял списки, мое же имя фигурировало лишь для полноты списков, в их середине или в конце. Настоящим кандидатом я был только по Псковской губернии, где мы с членом ЦК В.А. Степановым возглавляли кадетский список. Было совершенно ясно, что симпатии населения не на нашей стороне и что даже первые наши кандидаты почти не имеют шансов быть избранными. Все же мы со Степановым, в качестве первых партийных кандидатов по Псковской губернии, должны были хоть раз показать себя избирателям. Поэтому 23 октября

мы поехали во Псков, где должны были выступить на избирательном митинге.

Во Псков мы приехали рано утром и день провели в обществе членов местного партийного комитета. Они очень волновались, устраивая митинг, за его благополучный исход, т.к. город Псков, в котором были расквартированы тыловые части Западного фронта, был переполнен солдатами, утратившими всякую дисциплину и находившимися под влиянием большевиков.

Действительно, когда мы пришли в помещение летнего театра, отведенного под митинг, то едва могли протискаться сквозь густую толпу, на три четверти состоявшую из солдат. Митинг все-таки сошел благополучно в том смысле, что нас не избили. Но говорить приходилось перед заведомо враждебной аудиторией. Наши речи прерывались криками, руганью, а порой – сплошным ревом озлобленной толпы, в котором тонули аплодисменты наших немногочисленных единомышленников. Для такого неудачного митинга не стоило предпринимать поездку во Псков.

Отправляясь из дома в эту неудачную поездку, я обратил внимание на труп лошади, валявшийся посреди улицы против подъезда. В это время часто приходилось видеть на улицах Петербурга дохлых извозчичьих лошадей: корма были дороги, лошадей кормили плохо, а мостовые были сплошь в выбоинах и ухабах, и понятно, что голодные лошади не выдерживали тяжелой работы и подыхали на улицах во множестве. Поэтому я не удивился довольно обычной картине революционного Петербурга.

Но, вернувшись из Пскова через два дня, 25-го октября, я увидал, что дохлая лошадь продолжает лежать на том же месте, а несколько голодных собак грызут ее, вытягивая из нее кишки. Это даже для революционного Петербурга было зрелищем необычным.

– Чистое безобразие, – говорил мне встретивший меня швейцар, – вот уже три дня лошадь валяется и никто ее не прибирает. Просили управу убрать, но никто внимания не обращает. Может быть вы попросите?

Он знал, что я состою гласным Думы, и надеялся на мою протекцию.

Я позвонил по телефону в санитарный отдел управы. Долго никто не отзывался. Наконец я услышал голос:

– У телефона санитарный врач, доктор Аснес. Что угодно?

Я объяснил, в чем было дело.

– Ах, знаете, – услышал я в ответ, – нам не до дохлых лошадей. Сегодня увидим на улицах трупы людей...

Доктор повесил трубку, но мне не трудно было понять его загадочную фразу: очевидно, ожидавшееся большевистское восстание уже началось.

К десяти часам утра я, как всегда, отправился в Мариинский дворец на заседание Предпарламента и там узнал, что мое предположение правильно, что все окраины Петербурга в руках восставших солдат и рабочих и что Керенский уехал на фронт, чтобы привести оттуда верные правительству части войск.

Члены Предпарламента делали вид, что продолжают заниматься текущими делами: заседали какие-то комиссии, фракции собирались на совещания. Но на этих заседаниях и совещаниях всех волновал только один вопрос: что происходит на улицах Петербурга.

Трещали телефоны и сообщали нам, что петербургские полки один за другим присоединяются к восстанию, что казаки объявили "нейтралитет" и что верными правительству остались только юнкера и женский батальон. Наконец пришло известие о том, что крейсер "Аврора" под красным флагом вошел в Неву.

Заседавшие в Предпарламенте видные представители всех партий и многочисленных общественных организаций, многие из которых еще накануне чувствовали себя "вождями", сразу оказались в беспомощном положении, уныло бродя по залам Мариинского дворца и не зная, что предпринять.

Около часа дня во дворец вошла небольшая группа матросов для переговоров с президиумом Предпарламента. Когда они удалились, раздался звонок, призывающий нас на заседание, и мы заняли свои места. Расположился на председательском возвышении и наш президиум – председатель Авксентьев, товарищ председателя Набоков и другие.

Авксентьев, старавшийся казаться спокойным, объявил нам, что депутация от матросов потребовала, чтобы Предпарламент немедленно разошелся, в противном случае матросы разгонят нас силой. На размышление нам дано полчаса времени, в течение которого мы должны принять то или иное решение.

Ввиду краткости данного нам срока на этот раз обошлись без обычных фракционных совещаний и все ораторы говорили не от имени фракций, а от себя лично. Вопрос был несложен: все понимали, что мы уже побеждены и что дело идет не о борьбе, а о сохранении собственного достоинства, т. е. подчиниться ли насилию добровольно или не добровольно.

Некоторые ораторы высказались за то, некоторые за другое. Особенно горячился старый Чайковский, призывавший нас во имя собственного достоинства не подчиняться насилию добровольно. Я лично был всецело на его стороне. При голосовании, когда я поднялся со своего места, голосуя за предложение Чайковского, я увидел, что почти вся левая часть зала, где помещались меньшевики и эсеры, сидит на своих местах, а из правых (кадеты, народные социалисты, кооператоры и др.) встало около половины. В результате около двух третей голосов было подано за то, чтобы разойтись немедленно.

Все гурьбой направились в прихожую и, надев пальто, спешили выйти из Мариинского дворца. Зрелище было унизительное... При выходе вооруженные матросы отбирали у нас билеты членов Предпарламента.

Когда я предъявил им свой билет, молодой матрос, с сомнением повертев его в руках, загородил мне путь ружьем и, сказав – "товарищ, вы арестованы", – указал мне на место между наружной и внутренней дверью. Не понимая, в чем дело, я смотрел на проходивших мимо меня знакомых и незнакомых членов Предпарламента, старавшихся, как мне казалось, меня не замечать. Только двое – В.И. Чарнолусский и Я.И. Душечкин – заинтересовались моей судьбой и стали рядом, ожидая, чем кончится дело.

Наконец последним покинул тонущий корабль его капитан, Н.Д. Авксентьев.

– Почему вы не уходите? – спросил он меня удивленно.

Я ответил, что арестован.

– Товарищи, – обратился Авксентьев к матросам, – за что вы его арестовали?

– Так что князь, – ответил арестовавший меня матрос.

Тут Авксентьев проявил необыкновенную находчивость:

– Товарищи, посмотрите на него, разве он похож на князя?

Этот в сущности бессмысленный аргумент сразу подействовал на матросов. Они внимательно посмотрели на мою старую шляпу и потертое пальто.

– Ну хорошо, товарищ, идите с Богом, – сказал юный матрос добродушно, и мы с Чарнолусским и Душечкиным пошли утолять наш голод в подвальный ресторанчик на Невском проспекте.

Все последующие события этого рокового для России дня я помню с исключительной отчетливостью.

Из ресторана, часа в 4 дня, я поехал в свою редакцию. Составив номер и написав передовицу с призывом к борьбе с большевиками, уже под вечер я отправился на экстренно созванное заседание городской Думы. Я был осведомлен, что большевики уже заняли редакции больших газет, и не сомневался, что и наша редакция не избежит общей участи. Так оно и случилось: на следующий день в ней уже распоряжались большевики.

Я ехал на извозчике по опустевшим улицам Петербурга. Моросил мелкий дождь, небо было темно. Вдруг оно осветилось точно молнией и раздался пушечный выстрел. Это "Аврора" открыла огонь по Зимнему дворцу, где под защитой юнкеров отсиживались министры Временного правительства...

В городской Думе заседание еще не начиналось. Гласные, кроме большевиков, занимавшихся в это время более важными делами, были почти все налицо. Много было и посторонней публики, пришедшей в Думу, чтобы там узнать о событиях. Все беспорядочно суетились и шумно разговаривали, передавая друг

другу тревожные слухи и с замиранием сердца прислушиваясь к буханью выстрелов "Авроры". Среди нас появился только что прибывший из Москвы министр Временного правительства С.Н. Прокопович. Он тщетно пытался проникнуть в осажденный большевиками Зимний дворец, где отсиживались остальные министры. Его туда не пустили. Теперь он, взволнованный и бледный, поминутно подходил к телефону, звонил в Зимний дворец и получал оттуда, от министра внутренних дел Кишкина, сведения о ходе осады.

Эти сведения были неутешительны. Шансы продержаться до прибытия Керенского с фронта со свежими войсками были минимальные... Началось заседание Думы. Городской голова Шрейдер в свойственном ему приподнятом тоне заявил, что Дума, как организованное представительство петербургской демократии, обязана принять все меры для спасения революции и возглавляющего ее Временного правительства. За отсутствием большевиков никто не возражал.

Но какие же меры могла принять Дума, когда участь правительства зависела от пушек и пулеметов?

Наступила тяжелая пауза... Вдруг попросил слова один из эсеров, кажется – Анский. Истерическим фальцетом он призывал нас стать на защиту правительства. Наша обязанность, говорил он, сделать все для его спасения и если нужно – умереть. Мы безоружны, но у нас остался авторитет народного избрания. Если вся Дума в полном составе направится к Зимнему дворцу, ей может быть еще удастся прекратить кровопролитие. Если же не удастся, то – "готовы ли мы умереть"?

– Да, да! – раздались возбужденные голоса с эсеровских скамей.

Предложение Анского поддержала графиня Панина. Она не говорила, подобно ему, никаких патетических слов (это для нее было органически невозможно), но все же согласилась с ним, что идти к Зимнему дворцу мы должны, ибо ничего другого сделать для спасения правительства не можем.

В это время кто-то сообщил нам, что Прокопович, известивший министров о вопросе, обсуждавшемся Думой, получил от Кишкина ответ: "Если хотите что-нибудь сделать, действуйте скорее, а то будет поздно".

Прения были сейчас же прерваны, и Дума, в страшном возбуждении подавляющим большинством голосов решила идти к Зимнему дворцу.

Задним числом мне трудно представить, как мы могли принять столь нелепое решение. Объяснить это возможно только тем, что в эту страшную минуту нами руководили только нервные рефлексы.

М. Алданов, описывая этот исторический эпизод в заграничной русской прессе, рассказал, будто Дума голосовала вопрос – умереть или не умереть за Временное правительство, и постановила – умереть.

Я, однако, утверждаю, что, при всей нелепости нашего решения, такого пошлого постановления мы не сделали. Забыть этого я не мог бы.

Было решено, что в своем ночном "походе" Дума должна соблюдать строгую дисциплину, а для этого надлежало избрать вожаков, которым все остальные гласные должны были беспрекословно подчиняться. Конечно, при партийных нравах, одного вожака было выбрать немыслимо. И решили избрать двух, от двух самых многочисленных партий – эсеров и кадетов.

Разошлись по фракциям. Все нервничали и спешили, так что отнеслись к выборам механически. В нашей фракции кто-то назвал имя Н.В.Дмитриева, и сейчас же все согласились. Вероятно, также наспех был избран и вожак от эсеров – Горский.

Худший выбор трудно себе представить: энергичный общественный деятель по народному образованию и видный гласный старой, дореволюционной Думы, Николай Всеволодович Дмитриев в числе ряда своих общественных добродетелей не обладал одной, самой необходимой для предназначавшейся ему роли: личной храбростью и решительностью. Этими же качествами не отличался и "мартовский эсер" Горский, которого я хорошо знал, т.к. он был санитаром моего отряда на фронте и моим секретарем. Секретарские обязанности он исполнял неплохо, но потому-то и стал секретарем, что, в отличие от своих товарищей-студентов, рвавшихся на передовые позиции, предпочитал тыловые занятия.

Когда, выбравши этих неудачных вождей, мы собрались в Николаевском зале городской Думы, чтобы отправиться в злополучный поход, мы застали там только что прибывших в Думу лидеров еще не переизбранного всероссийского Совета рабочих и солдатских депутатов – Гоца, Либера и Дана (тогда противники Совета соединяли эти три фамилии в одну – Гоцлибердан, что звучало вроде "белиберда").

Либер вскочил на стол и с истерикой в голосе стал заклинать нас отменить наше опасное решение и не приносить бессмысленных жертв.

По существу он был, конечно, прав, ибо решение наше если и не было слишком опасно, то во всяком случае было бессмысленно.

Гласные ему возражали. Помнится, что и я возражал, заявив, что Дума не может изменить своего решения, не потеряв уважения к самой себе.

И вот мы выступили...

Была ненастная петербургская осенняя ночь. На пустынном Невском электрические фонари потушены. Мы шли в тумане, шагая по мокрой мостовой, под уныло моросившим дождем. Впереди – два "вождя", а за ними, рядами, все остальные. Я вел под руку О.К.Нечаеву, которая задыхалась от скорой ходьбы, но находилась в приподнято-экзальтированном настроении.

Шли молча, сосредоточенно, изредка перекидываясь с соседями короткими фразами. Было тихо, но кое-когда с Дворцовой площади доносились до нас сухие звуки ружейных выстрелов. Так прошли, никем не задержанные, до Мойки.

За Мойкой перед нами вырисовалось в тумане несколько человеческих фигур.

– Стой! Кто идет?

Наши вожаки вступили в переговоры с остановившим нас патрулем. Переговоры были недолгие. Вожаки вернулись к нам сконфуженные и скомандовали: "Назад, в Думу!"

Согласно заранее принятому решению о беспрекословном подчинении вожакам, мы поплелись обратно по мокрой мостовой...

До сих пор, вспоминая об этом историческом эпизоде, я испытываю чувство неловкости и стыда от того, что на фоне трагических событий мы разыграли такой пошлый фарс...

Вернувшись в Думу, мы продолжали сноситься с осажденными в Зимнем дворце министрами по телефону. Кишкин держал нас в курсе осады дворца до самого последнего момента. Последняя фраза его была приблизительно такая: "Все кончено. Слышу в коридоре звук приближающихся шагов... Входят..."

Хотя мы все понимали, что в течение ночи большевики займут Зимний дворец, но от этой фразы Кишкина защемило сердце. Я отчетливо представил себе несчастных министров, моих знакомых, сгрудившихся в одной из комнат дворца и ожидающих прихода своих палачей. В том, что ворвавшиеся в Зимний дворец солдаты их всех переколят, у нас не было сомнений...

Оказалось, однако, что руководившие осадой дворца большевики были милостивее, чем мы думали, и отправили их под надежным конвоем через разъяренную солдатскую толпу в Петропавловскую крепость. По ним стреляли, но они остались живы и невредимы.

Несмотря на подавленность нашего настроения от всего пережитого нами в эту ночь, мы должны были взять себя в руки, понимая огромную ответственность, возлагавшуюся событиями на петербургскую городскую Думу в момент происшедшего в столице государственного переворота.

Снова началось заседание Думы, обсуждавшей уже не меры защиты правительства, а способы борьбы с захватившими власть большевиками.

Быстро было принято решение образовать из гласных Думы, с участием представителей Исполнительного комитета всероссийского Совета рабочих и солдатских депутатов, полномочный орган, который должен был временно взять на себя правительственную власть и руководить борьбой с большевистскими узурпаторами. В этот орган сейчас же были избраны представители всех думских фракций, за исключением большевиков, а собравшийся в соседнем зале Исполнительный комитет Совета тоже избрал в него своих представителей.

От кадетской фракции Думы были избраны В.Д. Набоков, графиня С.В. Панина и я.

Часа в 4 утра в одной из комнат канцелярии городской управы собралось первое заседание этого наскоро составленного "правительства". Председательствовал Н.В. Чайковский.

Первым вопросом был вопрос о нашем наименовании. Кто-то предложил назваться "Комитетом спасения революции". Такое название в момент, когда нужно было спасать Россию от торжествующей революции, звучало уж очень фальшиво. Однако, зная пиетет большинства к обязательной революционной фразеологии, я понимал, что протестовать против этого названия бесполезно, а потому предложил лишь поправку, – назвать себя "Комитетом спасения родины и революции".

Меньшевики заявили решительный протест. Их интернационализм не допускал употребления таких патриотических слов, как "родина". Все же меня поддержали плехановцы и народные социалисты. Социалисты-революционеры колебались: авксентьевцы и керенковцы мне сочувствовали, а "черновцы" поддерживали меньшевиков.

После горячих прений "родина" как-никак восторжествовала и поместилась перед "революцией".

Помнится, что на этом же заседании было решено войти в сношения с оставшимися на свободе товарищами министров и через них добиться подчинения себе всего штата чиновников центральных петербургских учреждений.

В 6 часов утра, после бессонной ночи, мы вышли с Н.В. Чайковским на Невский. Ночное ненастье сменилось ясным, слегка морозным утром. Воздух был чист и прозрачен, а после облаков табачного дыма, окутывавшего нас на заседании, казался особенно живительным. Чайковский завел меня на свою квартиру. Конечно, обсуждали события. Этот удивительный старик, соединявший в своей душе старческую мудрость с детской наивностью, был, как всегда, оптимистически настроен, верил во вновь учрежденный Комитет, верил в Керенского, который не сегодня-завтра приведет с фронта войска и освободит нас от большевиков... Я завидовал его бодрости и оптимизму. Несмотря на то, что был на 20 лет моложе его, я не чувствовал ни бодрости, ни веры...

Напившись чаю, мы прилегли отдохнуть часика на два. Чайковский сразу заснул, а я со своими мрачными мыслями бессонно ворочался на его клеенчатом диване...

Так началась наша жизнь под властью большевиков.

Избранный председателем Комитета спасения родины и революции, Н.Д. Авксентьев отвел под наши заседания помещение в училище Правоведения. Это привилегированное учебное заведение подлежало упразднению, а помещение его было отдано в распоряжение Комитета крестьянских депутатов, председателем которого состоял тот же Авксентьев.

Наш Комитет собирался ежедневно на заседания. Сидели мы на ученических партах, а перед нами, на кафедре учителя, восседал наш председатель.

На первом заседании рядом со мной на парту сел известный лидер меньшевиков Дан (Гурвич). Я был с ним знаком много лет тому назад, еще до революции 1905 года, когда сам принадлежал к с.-д. партии. С тех пор мы не встречались до революции 1917 года. Мы оба были членами Предпарламента, но его роль в Совете рабочих и солдатских депутатов казалась мне настолько отвратительной, что я не хотел возобновлять с ним старого знакомства и делал вид, что его не узнаю. Но оказавшись его соседом по парте, я уже не мог уклониться от рукопожатия, тем более, что не имел для этого оснований, кроме вражды чисто политического характера.

— Здравствуйте, — сказал я ему, — вы меня узнаете?

— Конечно, узнаю, — ответил Дан, сухо пожимая мне руку. — Последний раз мы виделись в Орле, в 1902 году, когда я приезжал к вам из-за границы с поручениями от Ленина.

Это действительно так и было: по фальшивому паспорту доктора Бомерта Гурвич, он же Дан, приехал тогда в Россию и в Орле два дня прожил на моей квартире. Тогда мы с ним и с Лениным принадлежали к одной партии, а теперь мы встретились как враги, но вступившие в союз против нашего общего врага — Ленина...

В Комитете спасения родины и революции участвовало человек 15, из которых только трое — Набоков, Панина и я — не принадлежали к социалистическим партиям. Чувствовали мы себя как белые вороны. С нами все были изысканно любезны, но все же нам было не по себе. Все друг друга называли "товарищами", а обращаясь к нам, говорили — "господин", "гражданин" или "член Комитета такой-то".

На первом заседании, на котором вырабатывалась редакция обращения Комитета к населению, мы с Набоковым попытались принять участие в прениях, но все вносившиеся нами поправки отвергались большинством всех против наших трех голосов. Помню, как мы возражали против модного тогда выражения — "революционная законность", доказывая, что такое сочетание слов является такой же бессмыслицей, как "анархическая власть" или "мирная война".

Это — только случайно запомнившаяся мне мелочь. Были у нас и гораздо более серьезные разногласия. Но с нашими мнениями не считались.

От моего пребывания в Комитете спасения родины и революции у меня остались самые тягостные воспоминания. Значительная часть времени на его заседаниях уходила на споры между меньшевиками-интернационалистами, с одной стороны, и другими социалистами, решительными противниками большевиков — с другой.

Посредничество между большевиками и другими социалистами взял на себя Всероссийский Исполнительный комитет железнодорожных служащих и рабочих, сокращенно именовавшийся — "Викжель", представителями которого были меньшевики Мартов и Мартынов.

Это неблагозвучное слово как-то сразу стало нарицательным. Появился даже глагол — "викжелять", легко привившийся благодаря своему созвучию со словом "вилять".

Мартов и Мартынов, конечно, не входили в состав Комитета спасения, но, благодаря своему давнему знакомству со многими из его членов, допускались на его заседания с правом совещательного голоса, которым невероятно злоупотребляли: произносили длиннейшие речи и викжеляли, викжеляли без конца...

Я не сомневаюсь, что эти марксистские талмудисты искренне не понимали своей жалкой роли. Между тем для меня не подлежит сомнению, что большевики пользовались Викжелем для внесения смуты в ряды своих врагов и, пока Комитет спасения родины, избранный для организации борьбы с большевиками, тонул в бесконечных словопрениях о том, следует ли с ними бороться, укрепляли свою власть.

Когда я поневоле слушал речи Мартова, я испытывал чувство острой ненависти к нему, ко всей его невзрачной фигуре и к его монотонному хриплому голосу, надорванному на революционных митингах. Хотелось схватить его за горло и задушить...

Самое допущение Мартова и Мартынова в заседания Комитета было величайшей нелепостью, и хотя я нисколько не подозреваю их в сознательном предательстве, но, находясь в постоянных сношениях с большевиками, они могли непроизвольно выдать наши тайны.

Между тем в Комитете не только велись словопрения с Викжелем; были у него и дела, которые нужно было скрывать от большевиков.

Прежде всего Комитет через являвшихся на его заседания товарищей министров, а затем и освобожденных из тюрьмы "министров-социалистов" организовывал саботаж новой власти, пользуясь чиновниками всех ведомств.

Через несколько дней после переворота большевики освободили из тюрьмы всех министров-социалистов, оставив там лишь "буржуазных" министров. Вероятно, этот акт был связан с планами Викжеля о создании объединенного социалистического правительства, планами, находившими сочувствие и у некоторых большевиков.

Согласие министров-социалистов выйти из тюрьмы, покинув там своих товарищей, которым грозила смерть (им постоянно приходилось слышать угрозы от карауливших их разнузданных солдат Петропавловской крепости), произвело тогда в широких кругах петербургского общества, не исключая и многих социалис-

тов, отвратительное впечатление. Но все же чиновники продолжали им подчиняться.

Идея саботажа возникла сама собой и встречала большое сочувствие среди чиновничества. Так, на следующий день после образования Комитета спасения родины и революции, во время заседания Думы, ко мне подошел неизвестный мне человек и, отрекомендовавшись представителем служащих Государственного банка, заявил, что они хотели бы вступить в связь с Комитетом, чтобы договориться о выдаче денег с текущих счетов разных ведомств не иначе, как по чекам и ордерам, подписанным уполномоченным Комитета.

Большевики, еще не привыкшие управлять, оказались благодаря саботажу чиновников как бы без приводных ремней к управлению Россией, и это очень затрудняло их положение. Чиновники подчинялись им только под прямыми угрозами, стараясь во всех прочих случаях не исполнять их распоряжений и работая в подчинении властям Временного правительства, а через них — Комитету спасения.

Но Комитет занимался и более рискованным делом, с первых же дней взявшись за организацию восстания против большевиков.

Самая техника восстания была законспирирована: ею ведало бюро Комитета. Но о том, что восстание организуется, знали все члены его и его "гости", так как об этом постоянно говорилось на его заседаниях. Знали об этом, конечно, и большевики.

Положение трех членов Комитета от кадетской партии, в связи с подготовлявшимся восстанием, было крайне тяжело. Никого из нас не выбрали в бюро и мы не были в курсе того, что там происходило. Мы видели только какого-то полковника Полковникова и других офицеров, при появлении которых наши заседания прерывались, а они удалялись в соседнюю комнату и там о чем-то шептались с Авксентьевым и другими членами бюро.

По-видимому близкое участие в организации восстания принимал мой бывший товарищ по партии, присяжный поверенный Виленкин. Отправившись на войну вольноопределяющимся лейб-гусарского полка, он вскоре был награжден Георгием и произведен в офицеры. Во время революции, чтобы, как он говорил, не потерять влияния на солдат, он ушел из партии, к которой принадлежал более десяти лет, и вступил в партию народных социалистов. Благодаря своей умелости и ораторским дарованиям, он успешно вел патриотическую пропаганду на фронте и, если не ошибаюсь, состоял членом Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. Виленкин тоже часто приходил к нам с Полковниковым и вел конспиративные разговоры с нашим президиумом.

Через несколько месяцев он был расстрелян.

Все это происходило на наших глазах, и мы становились таким образом участниками заговора, в котором фактического участия

не принимали, не имея даже среди заговорщиков ни одного человека, которому могли бы доверять в таком серьезном деле. А между тем ответственность за кровь и за удачу или неудачу восстания падала и на нас.

Мы должны были ежедневно выслушивать невыносимые "викжельные" речи и споры социалистов между собой, а к делу активного сопротивления большевикам нас не подпускали.

Я несколько раз подымал вопрос на заседаниях нашего ЦК об уходе из Комитета спасения, но мои коллеги настаивали на нашем пребывании там с осведомительными целями, т.к. в это время у нас начинались связи с Доном, где подготовлялись силы для военного сопротивления большевикам, и центральному комитету нужно было быть осведомленным и о других очагах такого же сопротивления.

Чувствуя свою полную бесполезность в Комитете спасения, я решил съездить на несколько дней в Крым, на свидание со своей семьей, благо у меня сохранился бесплатный железнодорожный билет от дореволюционных времен, когда я служил в министерстве путей сообщения. Кстати, и нашему ЦК было важно ознакомиться с положением на юге России.

В Крыму, как и в прежние свои поездки, я застал революцию отставшей на несколько месяцев от Петербурга. Там только что прошли выборы в демократические земства и готовились к выборам в Учредительное собрание.

Власть в Таврической губернии (тогда Крым еще не отделился от северной Таврии) была еще формально в руках комиссара Временного правительства, Н.Н.Богданова, но только формально. В действительности каждый город и каждая деревня управлялись своими комитетами, точнее говоря – совсем не управлялись, а жили остатками прежнего привычного порядка.

Симферополь принял внешний вид Петербурга первых месяцев революции: улицы были сорны и грязны, с утра до ночи по ним слонялись без дела полупьяные солдаты, нецензурно ругаясь и лузгая семечки. Преступность росла не по дням, а по часам, а неопытные милиционеры, заменившие прежних полицейских, не способны были с ней бороться. Население поневоле стало прибегать к самосудам.

Приехав на южный берег, я встретил на шоссе, в соседней деревне Биюк-Ламбад, толпу татар, которая вела связанного человека с ожерельем яблок вокруг шеи и с приклеенным на спине плакатом на татарском языке. Оказалось, что это вор, неоднократно попадавшийся в краже фруктов у соседей. Общество и приговорило его к такому позорному наказанию.

Что касается вооруженных грабителей, то их просто уничтожали, если удавалось их поймать. Один из таких грабителей, татарин Гафар, отбывший каторгу за убийство, только что вернулся из

Сибири и снова появился в наших местах. Само собой разумеется, что дома он оказался в обстановке, весьма благоприятствующей его грабительской профессии, за которую сейчас же и принялся. Систематически занимаясь грабежами, он ушел из деревни и скрывался в лесу. Татары выследили его убежище на смежной с нашим имением горе и устроили облаву, которую я наблюдал с балкона своей дачи. Поймать его, однако, не удалось. А через месяц он совершил еще одно страшное преступление: напал на нашу соседку, жену профессора К., гулявшую возле своей дачи, изнасиловал ее и задушил. В конце концов его самого пристрелил кто-то из его односельчан, случайно встретив его на дороге.

Если ослабление власти имело последствием рост уголовной преступности, то захватов помещичьих земель почти не происходило, а аграрных беспорядков с разгромами и поджогами усадеб – совсем не было. А в это время в средней России большая часть помещичьих усадеб была уже уничтожена.

Большевики только в Севастополе были почти господами положения, в других же городах преобладающее влияние еще имели более умеренные социалисты.

Когда центральная власть в Петербурге была захвачена большевиками, все были уверены, что они долго не продержатся и не успеют распространить свое господство на всю Россию. Поэтому в антибольшевистских кругах Симферополя естественно возникла мысль о создании временной местной власти.

Вопрос этот оказался, однако, нелегко разрешимым ввиду развившегося в Крыму во время революции татарского национального движения.

После революции 1905 г., с появлением русско-татарских земских школ, наиболее способные мальчики стали просачиваться в гимназии и университеты. Из них начали создаваться кадры руководителей татарского национального движения. Во время мировой войны, с момента, когда к врагам России присоединилась Турция, в татарской душе произошел конфликт между привычным мирным верноподданничеством России и столь же привычным пафосом по отношению к Турции. Помню, как один старый, почтенный татарин в разговоре со мной сказал: "Ничего, скоро мир будет, теперь наши победу держал". Это было как раз во время отступления наших армий. Но оказалось, что "наши" – это турки, разгромившие союзников в Дарданеллах.

Революция еще поддала жару татарскому национализму. Молодая татарская демократическая интеллигенция, крайне неопытная и легкомысленная, повела резкую агитацию против Временного правительства, решившего продолжать войну, и, в частности, против кадетов и их лидера Милюкова, сторонника завоевания Константинополя и проливов. Автономия Крыма с гегемонией татар стала ее лозунгом. Первым шагом в этом

направлении было решение созвать татарский национальный парламент "Курултай".

Так как татары составляли лишь четверть населения Крыма, то это решение возбуждало тревогу среди всех других национальностей, не желавших отделения Крыма от России. И вот среди земских деятелей возникла мысль созвать в Симферополе съезд представителей всех земств и городов Таврической губернии для сформирования местной временной власти, в противовес Курултаю.

Зайдя в губернскую земскую управу, я как раз попал на ее заседание и принял участие в составлении воззвания к населению. В этом заседании, при моей поддержке, принцип демократизма одержал верх над самозванством революционной демократии, но впоследствии, под решительным напором местных советов, управе пришлось отступить с демократической позиции на демагогическую.

Пробыв несколько дней в Крыму, я вернулся в Петербург. Знаю, однако, что земско-городское собрание избрало постоянный исполнительный орган, именовавшийся Советом народных представителей, а Курултай – свое национальное правительство под названием Директории, во главе которого стал молодой студент лозаннского университета Джафер Сеитаметов. Эти две параллельные власти я и застал в Крыму, когда переселился туда в декабре 1917 года.

В Петербурге, во время моего отсутствия, Комитет спасения родины и революции сделал неудачную попытку свергнуть большевиков. Упоминавшийся мной выше полковник Полковников поднял восстание воспитанников юнкерских училищ. Однако другие части войск, которые якобы обещали поддержать юнкеров, их не поддержали...

Вообще все восстание оказалось легкомысленной затеей, если не большевистской провокацией (последняя версия была тогда очень распространена в Петербурге), и стоило жизни нескольким десяткам самоотверженных юношей.

После восстания большевики заняли отрядом войск училище Правоведения, и Комитету приходилось теперь заседать конспиративно в верхнем этаже здания городской Думы.

Само собой разумеется, что большевики уже не могли серьезно относиться к плану включения в состав правительства социалистов, организовавших против них восстание. Но тем не менее Викжель продолжал вести свою линию, настаивая на общесоциалистическом компромиссе. И эта набившая мне оскомину тема продолжала обсуждаться на заседаниях Комитета спасения.

Одно из них мне особенно запомнилось. Собрались мы поздно вечером, и споры между различными социалистическими течениями продолжались часов до трех ночи. В. Д. Набоков, проведший несколько дней под арестом в Смольном, в это время уже уехал из Петербурга, а С. В. Панина почему-то не пришла.

Когда все точки зрения были высказаны, председатель Авксентьев предложил окончательно обсудить вопрос по фракциям.

Социалистические фракции разошлись по разным комнатам, а я, представляя собой в единственном числе кадетскую фракцию, остался один.

Время шло, фракции заседали... Под доносившийся до меня шум спорящих голосов мне страшно захотелось спать. Я протянул ноги на соседний стул и забылся.

Проснулся я от ощущения тишины. Было 6 часов утра. Прислушался – все тихо. Тогда я вошел в комнату эсеров. Стулья там стояли в беспорядке, воздух пропитан табачным дымом, весь пол засыпан окурками. А на столе, ровно дыша, животом вверх и раскинув руки, спал наш председатель Авксентьев. Очевидно, уставший от ночных словопрений, не в силах был уйти домой... Я не счел нужным его будить. Мне уже было совершенно безразлично – что постановит Комитет спасения родины и революции: я себя в нем чувствовал лишним, да и самое его существование стало лишним. С этого времени я в нем перестал бывать.

В заседаниях городской Думы я продолжал участвовать. Не помню, что на них обсуждалось. Вероятно, мы принимали всякие резолюции протеста. Управа была совершенно замучена переговорами с городскими рабочими, предъявлявшими самые несуразные требования. Много работы было и у образованного Думой комитета, названного, кажется, Комитетом общественной безопасности. Главное дело его заключалось в переговорах с большевиками об освобождении разных арестованных людей, число которых изо дня в день возрастало.

По окончании одного из думских заседаний, когда гласные стали спускаться по широкой думской лестнице на Невский проспект, они обратили внимание на то, что лестница оцеплена вооруженными солдатами, которые, однако, никого из выходивших не задерживали.

Сразу явилась мысль, что солдаты получили приказ арестовать кого-то определенного из гласных. О том – кого именно, у нас не возникало сомнений: конечно Шингарева – бывшего "министра-капиталиста", лидера нашей думской фракции, резко выступавшего, как на думских заседаниях, так и на митингах, против большевиков.

Увидав Шингарева, спокойно спускавшегося с лестницы, мы с оказавшимся среди думской публики А.А. Борманом схватили его за руки и потащили через думские помещения к другому выходу – на Перинную линию, а затем повели в противоположную от Невского сторону. Шли молча. Говорить было не о чем...

Дойдя до Гороховой, Шингарев остановился.

– Ну, спасибо, прощайте, – сказал он, – поеду теперь домой.

Борман стал его уговаривать переночевать у него, доказывая, что на квартире Шингарева может оказаться засада. Я тоже поддерживал Бормана.

Шингарев посмотрел на нас грустно своими серыми лучистыми глазами и, помолчав немного, тихо сказал:

— Зачем? От своей судьбы не уйдешь... Если они решили меня захватить, то не все ли равно — сегодня, завтра или послезавтра...

Он подозвал извозчика и уехал.

На этот раз его еще не арестовали, и на время, остававшееся до выборов в Учредительное собрание, он отправился в провинцию агитировать против большевиков.

В Петербурге мы тоже продолжали вести агитацию. Теперь с недоумением вспоминаю о нашем бесстрашии, проистекавшем от того, что мы просто не представляли себе грозившей каждому опасности. Впрочем, первое предостережение получили: вышел декрет, объявлявший членов ЦК партии Народной Свободы "вне закона".

Слова эти объяснены не были, но как будто смысл их был тот, что всякому желающему предоставлялось не то нас бить, не то — убить, а во всяком случае — арестовать. Приходилось принимать меры предосторожности: некоторые из членов ЦК (Милюков, Винавер, Набоков) уехали из Петербурга, другие переселились к укрывавшим их знакомым. Я тоже одно время старался не ночевать дома, но затем, увидав, что никто за мной не приходит, вернулся к себе.

Во всем остальном мы вели себя так, как будто бы этого декрета не было: ежедневно мы собирались на заседания ЦК для взаимной информации и распределения работы. Конечно, в прежнем партийном помещении заседать было невозможно, но на частных квартирах мы собирались откровенно, не принимая никаких мер предосторожности. А по вечерам выступали на митингах в разных частях города. Даже мне, никогда не любившему говорить публично и весьма плохому оратору, пришлось принять участие в митинговой агитации. То, что нас не арестовывали, объясняется тем, что большевистский центр был завален непривычной работой по налаживанию аппарата управления, а в частности, полицейский сыск был еще не организован (Чека возникла значительно позже) и не существовало систематической слежки за политическими врагами. Арестов производилось много, но они были случайны и делались, так сказать, в порядке анархии: являлись к вам какие-то вооруженные до зубов люди, обыскивали и обворовывали квартиру, а затем вас увозили в Смольный, где заседало большевистское правительство, или в одну из тюрем.

Если наш ЦК продолжал вести открытую борьбу с большевиками, то пришлось ему заняться и непривычной конспиративной работой по организации вооруженного сопротивления. Эта работа была поручена двум членам ЦК — П.В. Герасимову и Пепеляеву, долго работавшим на фронте во главе санитарных организаций и имевшим связи среди военных.

Я к этому делу не имел непосредственного отношения, но знаю, что они составляли в Петербурге кадры офицеров, готовых в нужный момент поднять восстание, а также находились в сношениях с Доном, где восстание уже готово было вспыхнуть.

Они, конечно, гораздо больше всех нас подвергались риску, но вели свое дело настолько осторожно, что не были арестованы даже тогда, когда из других членов ЦК многие уже сидели в тюрьмах. П.В. Герасимов был расстрелян большевиками под чужой фамилией только в 1919 году, а В.Н. Пепеляев перебрался в Сибирь, занял в правительстве адмирала Колчака пост министра внутренних дел и погиб после разгрома сибирской Белой армии.

С Герасимовым я был хорошо знаком, с Пепеляевым – меньше, но об обоих этих благородных и самоотверженных людях храню самые теплые воспоминания.

В начале ноября происходили выборы в Учредительное собрание. Из членов нашей партии прошло человек 10-11, исключительно от Петербурга и Москвы, а может быть и еще от одного-двух крупных городов. Крестьяне подавали свои голоса главным образом за эсеров, а рабочие и солдаты – преимущественно за большевиков. Все остальные социалистические партии, не исключая и меньшевиков, руководивших в начале революции Советом рабочих и солдатских депутатов, собрали даже меньше голосов, чем кадеты.

Хотя выборы еще не везде были закончены, но будущий состав Учредительного собрания уже вполне определился: большевики, даже вместе с левыми эсерами, не могли рассчитывать на абсолютное большинство голосов, которым располагали главные течения эсеровской партии – центральное и правое, тогда еще не расколовшиеся.

Члены Учредительного собрания эсеровской партии стали съезжаться в Петербург заблаговременно. Что касается депутатов нашей партии, то, как объявленные "вне закона", они вынуждены были скрываться до открытия собрания, частью в Петербурге, частью в Москве и в провинции.

Так как нашему ЦК было необходимо до открытия Учредительного собрания быть в курсе планов господствовавшей в нем антибольшевистской партии с.-р. и, по возможности, действовать с ней совместно, оказывая влияние на ее решения, то он счел нужным установить с ней постоянные сношения. Роль посредника была возложена на меня. Мои товарищи в шутку называли меня кадетским послом при эсеровской державе.

На Болотной улице, где помещалось бюро членов Учредительного собрания от партии с.-р., я был принят чрезвычайно любезно. Я участвовал в ряде заседаний бюро с правом совещательного голоса, вел переговоры с отдельными его членами о предстоявшей тактике, видел многих приезжавших из провинции депутатов-интел-

лигентов и крестьян, от которых узнавал о провинциальных настроениях, а затем докладывал обо всем, что видел и слышал, на заседаниях нашего ЦК.

Социалисты-революционеры были по-видимому очень смущены тем, что от кадетов прошло так мало депутатов. Они надеялись занять в Учредительном собрании центральное место между многочисленными кадетами и большевиками. Их лидеры хорошо понимали, что осуществить интегральный социализм, который они проповедовали, невозможно, а чтобы отказаться от его осуществления, им нужно было иметь справа сильную оппозицию буржуазных партий. И вот, неожиданно они получили в Учредительном собрании абсолютное большинство голосов, а потому вся ответственность за неисполненные обещания ложилась на них. Кроме того, их смущало, что среди их лидеров не было ни одного человека, сколько-нибудь компетентного в иностранной политике. В этой области они нуждались в руководстве кадетов. Правда, в Учредительное собрание был избран Милюков, но им нужно было заранее выработать направление своей иностранной политики, а потому они старались через меня выяснить взгляды нашего ЦК на вопросы, касающиеся договоров России с ее союзниками. Должен сознаться, что в этих вопросах я был совершенно некомпетентен, но добросовестно исполнял свои обязанности посредника.

В общем у меня составилось впечатление о господствовавшей в руководящих эсеровских кругах растерянности. Да и действительно, положение их, как решающей партии Учредительного собрания, на которую ложилась вся тяжесть борьбы с захватившими власть большевиками, было отчаянное.

Квартира на Болотной улице имела вид растревоженного муравейника. Беспрерывно там шла невероятная толчея от приходивших и уходивших людей – столичных членов партии, приезжих депутатов и просто сочувствующих. Все встревоженные и озабоченные, сообщающие друг другу сенсационные слухи и новости.

Но на этом фоне всеобщей тревоги, которой и я поддавался, случались и комические эпизоды.

Вспоминается мне моя встреча в помещении эсеровского бюро с моим старым знакомым С.А. Балавинским.

Балавинский был московским присяжным поверенным и тверским земцем. Познакомился я с ним еще в университете, а затем в течение многих лет мы встречались в разных общественных комбинациях.

Это был человек неглупый, очень остроумный собеседник, но чрезвычайно легковесный и легкомысленный. Добрый малый, любивший покутить и поухаживать за красивыми дамами, он был типичным представителем размашистой дворянской Москвы. Любил вести с левыми приятелями за бутылкой хорошего вина

революционные разговоры, а в обществе людей "своего круга" был не прочь слегка позубоскалить насчет своих левых друзей. Далекий от каких бы то ни было социалистических идей, он все же поддавался революционной моде, оказывая разные конспиративные услуги эсерам, которые его считали "своим".

Таких попутчиков у них между двумя революциями было много, и все они после переворота 1917 года вошли в состав партии с.-р. Балавинский был, конечно, в приятельских отношениях со многими общественными и политическими деятелями, оказавшимися у власти после революции, и благодаря этим связям был назначен на пост директора департамента полиции.

Трудно было найти менее подходящего человека для такой должности. Тем не менее он благополучно стоял во главе полицейского дела вплоть до большевистского переворота.

Вот этого-то Балавинского я как-то встретил у эсеров на Болотной улице. Выходя вместе со мной из подъезда, он предложил меня подвезти.

— Подавай! — повелительно крикнул он, как в доброе старое время.

К великому моему удивлению, к подъезду подъехали сани старомодного вида с потертой медвежьей полостью. Старый кучер предупредительно открыл перед нами полость, и мы медленно поехали по коричневой снежной каше, покрывавшей улицы революционного Петербурга.

— Что это за странный выезд у вас? — спросил я Балавинского.

— А это департаментская кляча меня все еще возит, — невозмутимо ответил он. — Большевики забыли у меня ее отобрать. Вот я и катаюсь.

Таким образом оказалось, что в дни массовых арестов мы с Балавинским, оба подлежащие аресту, открыто ехали по Петербургу на той же лошади и с тем же кучером, которые еще недавно возили директоров департамента полиции старого режима...

Перед днем, назначенным для открытия Учредительного собрания, стали съезжаться в Петербург и члены его, принадлежавшие к кадетской партии. Первыми прибыли Н.И. Астров и П.И. Новгородцев. Им нужно было иметь для этого много мужества: если мы, менее заметные члены ЦК, пока еще сравнительно безопасно ходили по Петербургу, то их легко могли выследить при выходе из здания Таврического дворца и арестовать.

К тому же и до нас стали понемногу добираться. Арестовали В.А. Степанова, которого, впрочем, скоро удалось освободить при помощи подложного приказа и отправить на Дон. Арестовали и К.К. Черносвитова. Этот скромный человек, депутат всех четырех Дум, дельный юрист и партийный работник, совершенно не обладал ораторским талантом, но в это время ему часто

приходилось выступать на митингах. Как раз дня за три до его ареста мы с ним вместе говорили речи на одном из них.

Очевидно, за ним установили слежку, но он этого не заметил. Поэтому устроил одно из заседаний центрального комитета на своей квартире на Шпалерной улице.

В назначенное время я шел к нему на это заседание, шел задумавшись и не глядя на встречных прохожих. Из задумчивости меня вывела шедшая навстречу группа солдат, которой пришлось уступить дорогу. Я оглянулся и увидел среди них маленькую фигурку Черносвитова. Он посмотрел на меня долгим взглядом, желая, видимо, предупредить, чтобы я случайно его не признал... Это было мое последнее с ним свидание: просидев в тюрьме около года, он был расстрелян.

Увидав арестованного Черносвитова, я забежал к жившей неподалеку графине Паниной, и мы сейчас же с ней и с находившимися у нее знакомыми организовали дежурство на углах улиц, перекрещивающихся со Шпалерной, чтобы останавливать всех шедших к Черносвитову членов ЦК. Эта предосторожность оказалась нелишней, т.к. на квартире Черносвитова была оставлена засада. По счастью, мои часы шли вперед и мы успели спасти от неминуемого ареста всех остальных членов ЦК. Если бы часы отставали, мы все разделили бы с Черносвитовым его участь.

Весь Петербург с нетерпением ждал открытия Учредительного собрания. Наконец этот день настал. По этому случаю городская Дума решила в полном составе двинуться к Таврическому дворцу приветствовать народных избранников.

В условленный час гласные, собравшись в помещении Думы, вышли на Невский проспект и направились пешком к Таврическому дворцу. Понемногу мы обросли густой толпой народа, которая с пением "Марсельезы" двигалась по улицам.

Русская революция не выработала своего революционного гимна.

Конкурировали между собой два иностранных — "Марсельеза" и "Интернационал". "Марсельезу" пели преимущественно патриотически настроенные революционеры, а "Интернационал" — с.-д.-интернационалисты и в частности большевики.

И вот эти два чужестранных гимна наполнили своими звуками улицы Петербурга. Ибо в уличной толпе у нас были и сторонники, и противники. Последние, стоя шеренгами на панелях, старались заглушить нашу "Марсельезу" пением "Интернационала".

Среди этой ужасающей какофонии с панелей раздавались по нашему адресу недвусмысленные угрозы, тем более опасные, что мы были безоружны, а многие из наших врагов — солдаты и красногвардейцы — были вооружены. Однако они все-таки не решились на нас напасть, так как наша все возраставшая толпа

значительно превышала их численностью. И "Марсельеза" в этот день одержала решительную победу над "Интернационалом".

Через два месяца по такой же безоружной толпе большевики открыли огонь. Они уже чувствовали себя крепче...

Мы благополучно дошли до Таврического дворца, но там нам сообщили, что, за неприбытием многих депутатов Учредительного собрания, первое его заседание отсрочено на несколько дней.

После этой демонстрации большевики, довольно долго терпевшие оппозицию городской Думы, решили и с ней покончить. Дня через два, когда гласные собрались в Думу на очередное заседание, в нее вошел взвод матросов гвардейского флотского экипажа.

Заседание еще не открывалось, и гласные стояли группами в соседнем с залом заседаний помещении.

Огромные гвардейцы (в гвардейский флотский экипаж отбирались самые рослые солдаты из очередных призывов), войдя в зал, явно сконфузились от непривычной им обстановки. Несколько человек отделилось от взвода и, осторожно, на цыпочках пробираясь по скользкому паркету, стали осведомляться – кто из нас председатель. А затем со стесняющимся видом объявили подошедшим к ним председателю Думы и городскому голове, что присланы сюда, чтобы прекратить заседание Думы.

Им ответили какой-то пышной фразой, что Дума избрана народом и что никто не имеет права нарушать ее полномочий.

Между тем матросы расположили караулы возле входных дверей в зал заседаний, но случайно один вход оставили свободным. В него-то мы и направились всей гурьбой и уселись на свои места.

Председатель открыл заседание и официально уведомил Думу о предъявленном ему ультиматуме. Начались прения, но речь первого же оратора была прервана появлением рослого гвардейца. Он на цыпочках подошел к председателю и стал ему что-то шептать на ухо.

Очевидно, председателю удалось с ним договориться, так как великан ушел так же деликатно, как вошел.

Казалось, что весь инцидент благополучно закончился. Стоящий на трибуне гласный уже хотел продолжать свою речь, как вдруг в зал ворвалась банда вооруженных матросов, судя по форме, не принадлежавших к гвардейскому экипажу. Многие из них были сильно выпивши. Предводитель этой банды, маленький корявый матросик в заломленной на затылок фуражке и с большим револьвером в руке (мне потом передавали, что это был тот самый матрос Железняк, который разогнал впоследствии Учредительное собрание) выступил вперед и во все горло заорал: "Вон отсюда, а то мы перестреляем вас, как куропаток!"

В подтверждение своей угрозы он прицеливался в гласных из своего револьвера. Другие матросы тоже что-то кричали пьяными голосами.

Бледный председатель, звоня в колокольчик и с трудом перекрикивая матросов, объявил, что городская Дума, подчиняясь насилию, прерывает свое заседание.

Мы разошлись по домам, а на другой день узнали, что Дума распущена декретом большевистской власти и что в ее помещения никого больше не впускают.

Дума, однако, решила не подчиняться роспуску незаконной власти. Она считала необходимым поддерживать свое существование, как единственное, избранное петербургским населением, учреждение, которое могло бы взять в столице власть в свои руки в случае крушения большевистской власти. А в том, что она должна сокрушиться, никто не сомневался.

И вот, пользуясь еще полной дезорганизацией полицейской службы у большевиков, Дума, перейдя на нелегальное положение, продолжала собираться в частных помещениях. Так продолжалось дней десять.

Приближался второй срок отложенного созыва Учредительного собрания. Нелегальная Дума на этот раз уже не могла организовать демонстративного шествия по городу, но все же считала необходимым довести до сведения "хозяина Земли Русской" о своем существовании.

Решено было составить приветственный адрес от народного представительства Петербурга всероссийскому народному представительству. В комиссию по выработке текста адреса были избраны представители трех фракций.

В составленный мною текст два представителя социалистических партий внесли ряд поправок, по поводу которых мы долго спорили, а потому наша работа затянулась далеко за полночь.

Благодаря этому я не смог попасть на происходившее в этот вечер заседание ЦК нашей партии в доме С.В. Паниной, с участием съехавшихся в Петербург членов Учредительного собрания.

Из них приехали не все. Риск был слишком велик, да и нецелесообразен. Что, в самом деле, могли сделать 10 кадетов в тысячном собрании! А появление их в Петербурге, не говоря уже о выступлениях с трибуны собрания, грозило им арестом, а может быть и смертью. По этим соображениям Милюков и Набоков остались в Крыму, а Винавер скрывался в Москве. Но несколько человек все-таки не сочли возможным уклониться от своих обязанностей народных представителей. В Петербурге оставался Родичев, из Москвы приехали Астров, Новгородцев, кн. Павел Долгоруков, Кокошкин, вернулся из поездки по провинции и Шингарев.

Из заседания нелегальной Думы, во втором часу ночи, я все-таки решил поехать к графине Паниной в надежде застать еще конец заседания центрального комитета.

В передней я встретил уходящих Павла Дм. Долгорукова и Астрова, от которых узнал, что заседание кончилось и что все

разошлись, кроме Шингарева и Кокошкина, оставшихся ночевать на квартире Паниной. Все-таки я зашел на минутку повидаться с ними.

В столовой я застал хозяйку дома с Шингаревым. Кокошкин же, плохо себя чувствовавший, уже лег спать.

Заметно посвежевший от поездки по провинции Шингарев был в возбужденном состоянии от только что происходившего у него спора с Родичевым.

— Ведь вот, — говорил он мне взволнованно, — как легко люди готовы отказаться от основных своих политических требований под влиянием испытанных неудач. Знаете, о чем мы спорили? — Родичев доказывал, что всеобщее избирательное право для России непригодно, т.е. непригодно то, за что мы боролись с 1905 года. И не один Родичев такого мнения, его поддерживали и другие... Удивительно, как люди не понимают, что всеобщее избирательное право ни при чем в неудачных результатах выборов. Ведь Россия сейчас представляет из себя огромный сумасшедший дом, и какую бы избирательную систему ни применять в сумасшедшем доме — ничего кроме чепухи не может получиться. Нужно изжить массовое помешательство. А от своих демократических убеждений я из-за происходящей чепухи отказываться не намерен.

Говорил Шингарев с большим волнением, и видно было, что неожиданные для него настроения его старых партийных товарищей его глубоко огорчили.

Было более двух часов ночи, когда, простившись с Шингаревым, я вышел из особняка Паниной. Я не знал, что это был последний мой разговор с ним... Через час после моего ухода появились там вооруженные люди и увезли Шингарева с Кокошкиным в Петропавловскую крепость, а через полтора месяца они оба были зверски убиты.

Вместе с Шингаревым и Кокошкиным арестовали и графиню Панину, а на следующий день — зашедшего к ней Долгорукова. Вскоре они были освобождены, причем Панину судили "народным судом" и оправдали.

После этого события я еще больше месяца провел в Петербурге. Большевистская власть укреплялась, государственные служащие постепенно прекращали свой саботаж, и становилось очевидным, что уже нет возможности свергнуть большевиков путем внутреннего переворота. Нельзя было больше выступать против них на митингах, Учредительное собрание было снова отложено. Городская Дума перестала собираться. Где-то еще заседал Комитет спасения родины и революции, но я уже давно его не посещал.

Наш ЦК продолжал собираться, но в сущности и ему нечего было делать. А слежка за нами увеличивалась. Аресты членов кадетской партии участились. Раз даже весь ЦК чуть было не попал в ловушку. Большевики узнали место нашего очередного собрания, но

ошиблись временем, прийдя нас арестовать часом раньше. Это нас спасло, т. к. всех нас успели предупредить.

Постепенно сознание ненужности пребывания в Петербурге, и притом подвергаясь постоянной опасности ареста, становилось у членов ЦК всеобщим, и многие стали уезжать, главным образом на Дон, где вокруг генералов Каледина и Корнилова сгруппировались разные общественные деятели, подготовляя вооруженную борьбу с большевиками извне. Стал и я подумывать о поездке на Дон. Но предварительно я хотел заехать в Крым повидаться со своей семьей. Представлял я себе также возможность, что и в Крыму смогу найти приложение своим силам.

Не имея, таким образом, определенного плана своей будущей деятельности, точно не зная даже места, где она будет протекать, я стал собираться в путь и 15-го декабря, получив по протекции место на полу в коридоре международного спального вагона, выехал из Петербурга, не представляя себе, что никогда больше не увижу этого города, в котором родился и провел большую часть своей жизни.

Глава 28

В КРЫМУ ДО ПРИХОДА НЕМЕЦКИХ ВОЙСК (декабрь–апрель 1917–1918)

Путешествие в Крым. Митингующие солдаты. Солидарность вагонного купе в борьбе с внешней опасностью. За границей большевистской анархии. Двоевластие и безвластие в Крыму: "Совет народных представителей" и "Курултай". Раздражение русского населения против татар. В своей семье на южном берегу Крыма. Севастопольское восстание. Моя поездка в Симферополь. Переворот в Симферополе. Бегство на южный берег. Налетчики. На южном берегу под властью большевиков. Наше начальство. Мы живем тайной продажей вина. В караулах. Отрезанные от мира.

В Москве пришлось неожиданно остановиться, ибо около Белгорода, где шли бои между большевиками и украинцами, рельсы были разобраны и поезда дальше Курска не шли. Через неделю, по возобновлении прямого сообщения, я поехал дальше.

Вскочив на "царской площадке" на тормоз вагона второго класса и пропустив мимо себя на Курском вокзале толпу солдат, высыпавших из битком набитого вагона, я благополучно пробрался в купе и занял место на верхней полке.

Вагон стал быстро наполняться, и, когда мы тронулись дальше, в нашем четырехместном купе оказалось 16 человек, а коридор, уборная, тормоза – все было плотно занято прижатыми друг к другу людьми, преимущественно солдатами-дезертирами с Северного и Западного фронтов.

Люди эти ехали уже несколько суток, беря приступом поезда и проводя бессонные ночи на тормозах и на крышах вагонов. Но они не чувствовали усталости, заглушавшейся хмелем революции, который владел всем их существом. И здесь, притиснутые друг к другу, в самых неудобных положениях, они кричали, спорили, говорили бессвязные речи, полные непонятных им слов, в которые они вливали Бог весть какое понятное им содержание.

Двое суток шел поезд до Лозовой, и двое суток, день и ночь, в коридоре происходил митинг, где трактовалось о социализме, о мире "без аннексий и контрибуций", о братстве всех народов, о кознях буржуазии, которая вся подлежит уничтожению, и т. д. Только

на больших станциях, где часть моих митингующих товарищей по вагону выбрасывалась из окон, а на смену им лезла в двери, окна и на крыши осаждавшая поезд толпа таких же серых шинелей, митинг прерывался и вдохновенные мечты о всеобщем братстве и равенстве сменялись междоусобной бранью, где каждый отстаивал привилегию хотя бы висеть на буфере, а вычурные иностранные слова заменялись отборной матерной руганью. Пускались в ход кулаки, а порой и приклады...

За время революции мне приходилось часто бывать в толпе на всяких митингах и демонстрациях, но нигде я не ощущал революции в ее корнях и основах с такой ясностью, как в этом битком набитом вагоне. Ведь такой же, как этот вагон, была вся Россия, лишившаяся авторитета старых форм государственности и обезумевшая от наплыва новых, вкривь и вкось усвоенных идей.

Народ впал в безумие со всеми сопутствующими явлениями – манией величия, манией преследования и прочими навязчивыми идеями... Если бы врач-психиатр исследовал затиснутого в уборную молодого солдата, высовывавшего оттуда голову в коридор и в течение суток горланившего осипшим голосом бессвязные речи, полные непонятных ему слов, и призывавшего своих товарищей во имя этих непонятных слов к насилиям и крови, он несомненно признал бы его душевнобольным.

Десятки тысяч таких одержимых народных проповедников-революционеров ораторствовали по всей России, а миллионы их слушали с увлечением и благоговением, как слушала оратора из уборной толпа стиснутых в коридоре серых шинелей, отвечающая ему одобрительными репликами, и иногда – шумными аплодисментами и криками.

Двое суток, от Москвы до Лозовой, днем и ночью продолжался митинг в нашем коридоре, и ни сон, ни усталость не могли парализовать нервного возбуждения толпы.

В нашем купе, когда мы тронулись из Москвы, тоже начался митинг. Главным оратором выступал молодой фельдшер, партийный большевик, ехавший на юг России с агитационными целями. Случайно в купе оказалось несколько "контрреволюционеров": кроме меня, ехал какой-то инженерный генерал с отстегнутыми погонами, поляк-рабочий, враждебно относившийся к большевикам, инженер южных заводов, называвший себя меньшевиком, и богатый еврей в дорогой шубе, самого буржуазного вида. Мы все резко возражали коммунисту, находившему лишь слабую поддержку со стороны остальных жителей нашего купе – солдат, которые, впрочем, добравшись до мягких сидений, сами размякли и подремывали.

Первую ночь напролет мы проспорили, но под утро почувствовали усталось и замолкли. А кроме того, приходилось заботиться о двух вещах, одинаково важных как для большевиков, так и для их противников, волей-неволей оказавшихся товарищами по несчастью,

стиснутыми в грязном, душном, пропитанном махорочным дымом купе: нужно было, во-первых, наладить самооборону, а во-вторых, питание. Как ни тесно было в нашем купе, мы все-таки были в привилегированном положении по сравнению с толпой, стоявшей в коридоре, и внушали зависть, периодами переходившую в жгучую ненависть. Ненависть к нам принимала острые формы на каждой большой станции, когда снаружи приливала новая толпа. Давление толпы, начинавшееся с тормозов, переходило вглубь вагона, и вот, сдавленные до последних пределов коридорные стояльцы начинали с отчаянием колотить в нашу дверь и требовать, чтобы мы их впустили. Дверь трещала, и иногда казалось, что вот-вот подастся и ввалившаяся к нам толпа начнет расправляться с нами вне зависимости от наших политических убеждений. Ибо мы все, как "привилегированные", были для нее ненавистными "паршивыми буржуями", которых ломившиеся к нам люди грозили выбросить в окно.

Общая опасность заставила нас забыть о наших политических распрях. Прежде всего мы решили крепко стоять друг за друга и обороняться в случае попытки произвести над кем-нибудь из нас насилие, а затем вступили в переговоры с внешним врагом о заключении мира: не открывая двери, мы заявили, что нас 16 человек, что больше народа поместить в купе невозможно, но что мы обещаем эту норму емкости поддерживать всю дорогу, впуская в купе взамен выходящих на промежуточных станциях такое же количество коридорных стояльцев. Переговоры через дверь вел по преимуществу наш большевик, обладавший зычным голосом, в котором звучали авторитетно-начальственные нотки.

Первый обмен пассажирами прошел с некоторыми осложнениями, т.к. наружные старались превысить нашу норму. Но с помощью "припущенников", ставших на нашу сторону, нам все-таки в кулачном бою удалось отстоять силу изданного нами закона и вовремя захлопнуть дверь. Потом дело пошло глаже, т.к. кандидаты в наше купе поняли, что, при частой смене публики, они сами заинтересованы в отстаивании нормы. Благодаря этому вторые сутки мы могли уже ехать с открытой дверью, в уверенности, что изданный нашей республикой закон будет неукоснительно соблюдаться.

Добывание пищи тоже было задачей довольно сложной, ибо человек, вышедший из вагона на станцию, имел мало шансов вернуться. Прежде всего, по молчаливому соглашению и без малейшего протеста с чьей-либо стороны, было решено, что все имевшиеся у нас запасы пищи поступают в общее пользование всех жителей купе. Но запасов этих оказалось недостаточно, и на больших станциях приходилось совершать экспедиции за провизией. Единственный путь – через окно. И тут, в области эквилибристики, наш большевик обнаружил наибольшие способности. Чаще других он отправлялся в экспедиции и возвращался

с хлебом, колбасой и другими продуктами. А мы должны были следить, чтобы в окно к нам не влез какой-либо враг, и отбивать всякие в этом направлении попытки.

Так, среди окружавшего нас хаоса анархии, в нашем купе создавались формы здоровой государственности...

На вторые сутки вечером мы прибыли на Лозовую. Лозовая была последней станцией, находившейся тогда под большевистской властью, или, точнее говоря, в сфере большевистской анархии. Между Лозовой и Синельниковым проходила зона военных действий, где шли вялые бои между большевиками и украинцами, а дальше начиналась свободная от большевиков Украина.

На Лозовой наш поезд был окружен вооруженными красногвардейцами, пытавшимися произвести в нем обыск. Но для этого им нужно было протискаться в вагоны.

— А ну, товарищи, пропустите-ка!

— Куда ж вас пустить? Видите, плюнуть некуда.

— Да пусти же, черт, велено вагон обыскать.

— Не пускайте их, товарищи. Выйдешь из вагона — потом не влезть. А будет ли еще другой поезд! Вот и сиди на Лозовой, дожидайся...

— Да нужно же обыск у буржуев произвести, приказано.

— Никаких у нас буржуев нет, пролетариат по домам едет.

— Ну, видно, с вами, сволочи, добром не сговориться. Полезай прочь!

И рыжий усатый красногвардеец схватил первого стоявшего на ступеньках вагона солдата за шиворот. Но солдаты не сдавались.

— Ах ты, иродово племя, тоже в начальство лезет. Сказано — не пустим. А силой захотите войти — у нас тоже винтовки с фронта едут.

Этот довод подействовал на красногвардейцев и они нас оставили в покое. Поезд тронулся дальше.

Нас предупреждали, что на перегоне между Лозовой и Синельниковым поезда часто подвергаются обстрелу, но мы ехали там ночью, а по ночам обе воюющие стороны не любили обременять себя военными действиями. Так благополучно доехали до Синельникова.

В Синельникове вагон значительно разгрузился. Покинул нас и наш спутник большевик, превратившийся за двое суток пути из свирепого агитатора в добродушного и услужливого человека, которому на прощанье мы горячо пожимали руку.

Публика, севшая в Синельникове, сильно отличалась от той азартно митингующей солдатской молодежи, которая ехала с нами из Москвы. Тут ехали массивные степные землевладельцы, еврейские коммерсанты, преимущественно же солидные хохлы, солдаты старших возрастов, легально возвращающиеся домой с Румынского фронта, тогда еще окончательно не разложившегося.

Вагон затих. Шли мирные беседы между соседями о делах житейских.

Рядом со мной барышня-телеграфистка из Синельникова болтала с молодым кавалером по-украински, произнося украинские слова с явно кацапским акцентом. Мой визави, солдат с щетинистыми усами, добродушно слушал эту болтовню и лукаво мне подмигивал: ишь, мол, как ломается.

Заговорил с ним о политике, о большевиках. Он только рукой махнул: "Озорство одно", — и не поддержал разговора.

И чем дальше мы двигались на юг, тем обычнее становилась обстановка: тихие станции, монотонные звонки, сменяющиеся пассажиры, занятые своими мелкими делами обывательской жизни. Прямо не верилось, что все пережитое на севере не сон, а подлинная действительность.

Но это было спокойствие деревень и маленьких городков юга России. В крупных центрах с рабочим и солдатским населением безумие уже владело массами и все было готово для взрыва.

В Симферополе я пробыл всего один день, но сразу погрузился во всю гущу местной политической жизни.

На вопрос о том, кто в это время управлял Таврической губернией и в частности Крымом — трудно было бы дать короткий и ясный ответ. Отвечать приходится описательно.

Все старые губернские учреждения: суд, казенная и контрольная палаты, губернский комиссар, заменивший губернатора, и пр. — были на своих местах, и все заведенные при старом режиме колесики бюрократической машины продолжали вертеться. Машина расхлябалась, но все-таки работала. Высшая государственная власть в губернии номинально принадлежала "Совету народных представителей" — органу, избранному земско-городским съездом из представителей демократических земских и городских самоуправлений, с добавлением, по требованию "революционной демократии", представителей от Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, от национальных организаций и от социалистической партии. Совет состоял приблизительно из 30-40 человек и возглавлялся председателем, очень милым, искренним и порядочным человеком, присяжным поверенным К.К.Ворошиловым.

Однако ни на законодательство, ни на управление у него не было времени, ибо время уходило на бесконечные заседания, на которых велись бестолковые споры между представителями партий. А если принять во внимание, что заседания происходили публично, в разгоряченной атмосфере политических страстей, то легко можно представить характер деловой работы "Совета народных представителей".

Курултай, т.е. татарский парламент, был тоже чем-то вроде митинга, но исполнительный орган его — татарская "Директория" — до известной степени был не только национальной властью,

распоряжениям которой подчинялись татары, но отчасти и общекрымской. Дело в том, что Директория все-таки располагала военной силой: в ее распоряжении был Крымский конный полк, вернувшийся с фронта в значительной степени сохранившим дисциплину, а кроме того, Директория сформировала из солдат-мусульман разных частей особый мусульманский пехотный полк.

Так как все остальные воинские части, находившиеся в Крыму, к этому времени утратили совершенно всякую дисциплину и просто состояли из тунеядцев, живших в казармах на казенном иждивении, то постепенно поддержание внешнего порядка переходило в руки татарской Директории. Татары Конного полка разъезжали по улицам Симферополя и наводили порядок своим воинственным видом, а иногда и нагайками. Конечно, не обходилось и без поборов с населения.

Эту власть, в общем весьма добродушную, население все-таки воспринимало как своего рода татарское иго, оскорбительное для национального чувства. И на этой почве в Крыму между русским и татарским населением впервые возникла национальная вражда, оказавшая несомненное влияние на дальнейший ход событий. Большевики ее использовали в своей агитации, натравливая темные массы на враждебных коммунизму татар.

Севастополь в это время был уже фактически в руках большевиков, хотя "формального" переворота там еще не произошло. Его ожидали с часа на час.

В Сочельник я приехал на южный берег, в имение моего тестя В.К. Винберга, около деревни Биюк-Ламбат, где жила моя семья, с тем, чтобы провести там праздники, а дальше – что Бог даст.

Симферопольские впечатления не давали мне больших надежд на возможность благополучного выхода из положения. Пережив большевистский переворот в Петербурге, я ясно видел, что и Крыму его не избежать. Но на южном берегу мягко светило декабрьское солнце, а кругом было столько веселой, жизнерадостной молодежи, что невольно исчезали мрачные мысли, и казалось, что, вопреки логике надвигавшихся событий, "все образуется".

9-го января мы услышали со стороны Ялты пушечные выстрелы и вскоре узнали от биюк-ламбатских татар, что в Севастополе объявлена советская власть и что пришедший из Севастополя миноносец бомбардирует Ялту.

Для меня было очевидно, что через несколько дней большевики завладеют всем Крымом, а потому я поспешил съездить в Симферополь для устройства кое-каких денежных дел.

Когда я поднялся в Биюк-Ламбат, чтобы сесть в почтовый экипаж, то застал там большое оживление: по шоссе бродили группы вооруженных татар, шумели, жестикулировали... Самые мирные мои знакомые татары имели необыкновенно воинственный вид, нацепив на себя крест-накрест ленты с патронами. "Наши татары

большевик не пустят, – одобрительно говорили они, – Ялта войска пошел, Бахчисарай война кончал, все хорошо будет".

По дороге в Симферополь мне встретилось несколько автомобилей с офицерами, ехавшими отбивать Ялту от большевиков.

12-го января вечером я приехал в Симферополь и сейчас же пошел в здание губернского правления, где происходили заседания Совета народных представителей. Зал заседаний был битком набит публикой, больше – партийной. Шли горячие прения на тему о том, следует ли оказывать вооруженное сопротивление севастопольским матросам, вышедшим походным порядком на Бахчисарай в Симферополь. Меньшевики-интернационалисты заклинали более правое большинство Совета не проливать братской крови и послать в Бахчисарай делегацию для мирных переговоров. Представители большинства им горячо возражали. Публика, среди которой было много рабочих-большевиков, волновалась и шумела.

Но вот явились два татарина, представители Директории, и сообщили, что их глава, Джафер Сеитаметов, отправил войска в Бахчисарай и что завтра должно произойти решительное сражение, в исходе которого они не сомневаются: Джафер вполне уверен, что через несколько дней Севастополь будет в руках татарских войск, которые легко справятся с большевистскими бандами, лишенными всякой дисциплины.

Митинг-заседание продолжался до глубокой ночи, оппозиционеры говорили нескончаемые речи, но большинство, подбодренное самоуверенными заявлениями татар, было настроено непреклонно. И война была объявлена.

На следующее утро весь Симферополь напряженно ждал вестей с поля сражения, но вестей не поступало. Днем я зашел в губернский комиссариат справиться о положении, но и там ничего не знали. Выйдя на улицу, я неожиданно был поражен встревоженным видом людей, бежавших в разных направлениях. Что случилось? – Никто мне толком не мог объяснить. Одни говорили, что крымский Конный полк отступил и вернулся из Бахчисарая, другие уверяли, что матросы уже заняли симферопольский вокзал...

Гимназисты и гимназистки бежали из гимназий, чиновники – со службы, магазины закрывались ставнями...

Наведя официальные справки, я узнал, что ничего особенного не произошло: на вокзале была ссора между каким-то офицером и солдатом, закончившаяся несколькими выстрелами, никому не причинившими вреда. Эти выстрелы и произвели то паническое смятение, которого я был свидетелем. Однако паника, возникшая без всякого повода, сама явилась поводом для выступления местных большевиков, которые, воспользовавшись общим смятением, завладели оружием в цейхгаузе, а затем, придя в казарму татарского пехотного полка, его обезоружили.

В пять часов дня большевики без единого выстрела захватили весь город до здания штаба крымских войск включительно, несмотря на грозно расставленные вокруг него пулеметы. Сам штаб с Джафером Сеитаметовым во главе скрылся неизвестно куда.

Невеселый вечер провели мы с помощником комиссара Временного правительства П.С. Бобровским и с председателем Совета народных представителей К.К. Ворошиловым. Оба они обдумывали план бегства. Я же обеспечил себе место на извозчике, ехавшем в Алушту на следующее утро.

Рано утром я вышел из дома, в котором ночевал. В соседний дом с площадной руганью стучалась группа вооруженных людей. Впоследствии я узнал, что там жил какой-то офицер, который был ими расстрелян в присутствии семьи...

Постоялый двор, где ждал меня извозчик, был полон всякого люда, шумно обсуждавшего события. Где-то слышались ружейные выстрелы и пулеметная трескотня. Иногда выстрелы приближались, и тогда во двор вбегали испуганные люди, прятались по углам, залезали под экипажи...

Вдруг за воротами раздалось громкое "ура". Я вышел посмотреть, в чем дело. Огромная толпа мужчин, женщин и детей запружала улицу. Лица были восторженные, и "ура" перекатывалось с одного конца улицы на другой.

Но вот толпа расступилась, крики стали еще громче, и я увидел медленно двигавшуюся по улице вереницу блиндированных и простых автомобилей под красными флагами. На автомобилях стояли увешанные патронными лентами и с целым арсеналом револьверов за поясами матросы и, стреляя в воздух, что-то кричали приветствовавшей их толпе. "Наши едут", — радостно произнес кто-то возле меня. Для бушевавшей на улице толпы это были "наши", т. е. прежде всего люди, так сказать, черной кости, представители подлинной народной власти, как она себе ее представляла, а во-вторых — "наши", русские, освободители от "татарского ига".

— Ну, теперь ехать пора, — сказал извозчик, усаживаясь на козлы, — если еще полчаса простоим — не выпустят.

И, выехав из двора, он повез нас окольными путями, по узким, кривым улицам татарской части города.

Со мной ехало еще три пассажира: старая торговка из Алушты, молодая девица неопределенного вида в платочке и солдат без погон с обмотанной красным кумачом кокардой на фуражке. Он бинтовал себе палец, из которого сочилась кровь.

При выезде из города нас остановил патруль вооруженных рабочих. Еще издали увидев их, девица в платочке развязно посылала им воздушные поцелуи, восклицая: "Ура, товарищи, наша взяла, да здравствуют большевики!" Девица была миловидная, и "товарищи", слегка пошутив с ней, пошарили в экипаже, спросили, нет ли оружия, и добродушно сказали извозчику: "Айда".

Девица опять закричала "ура", товарищи ей ответили, и мы благополучно, побрякивая бубенчиками, выехали в степь.

Никогда прежде я не испытывал такого почти физического наслаждения свободой, как в это ясное январское утро, обвеваемый легким ветерком свободной степи, фиолетовыми холмами сливавшейся с предгорьями Чатырдага. Я знал, что доживаю последние часы своей свободы, что завтра или послезавтра я стану рабом, хуже — затравленным зверем. И потому особенно жадно вдыхал я свежий живительный воздух и любовался столь знакомыми мне картинами жизнерадостной крымской природы.

На извозчике шел, конечно, разговор о большевиках. Девица в платочке лопотала что-то восторженное, торговка из Алушты степенно ей поддакивала, выражая радость, что "теперь они приберут к рукам эту татарву проклятую, зазнались больно". Красноармеец смотрел на нас равнодушно и, старательно перебинтовывая свой палец, молчал. Я один оппонировал двум моим собеседницам, тщетно доказывая старухе, что она принадлежит к той самой буржуазии, которую собираются уничтожить большевики. А она в уверенности, что я шучу, добродушно смеялась и возражала: "Ну, какие же мы буржуи".

На перевале мы остановились закусить в одном из придорожных трактирчиков. Я угостил своих дорожных товарищей вином, а взамен услышал от них неожиданные для меня признания, благо большевики остались далеко позади нас: красноармеец оказался гурзуфским татарином, солдатом крымского Конного полка, только что раненным в палец в сражении с большевиками и обмотавшим в защитный красный кумач свою кокарду, а девица в платочке ехала в Ялту к брату-офицеру, которому везла для переодевания штатское платье. "Вы не смотрите на меня, что я в платочке, — говорила она, — дома у меня всякие шляпки есть, а это я так, чтобы пропустили товарищи, платком подвязалась, на всякий случай".

При спуске в Алушту одна лишь старая торговка продолжала упорствовать в своем большевизме. Она имела попутчиками трех контрреволюционеров.

Во второй половине дня я был уже на южном берегу, в своей семье, и мы стали ждать событий. Долго ждать не пришлось...

"Ишь, буржуи проклятые, куда забрались", — говорил рослый парень в солдатской шинели своим трем товарищам, с которыми он только что поднялся к нам по отчаянно крутой тропинке с берега моря.

Я встретил эту группу на следующий день по приезде, на дорожке нашего сада. И сейчас же четыре дула винтовок направились на меня.

— Мы должны у вас обыск произвести, показывайте, что у вас есть.

— Покажите мандат.

Молодой безусый солдатик полез за обшлаг шинели и протянул мне документ, оказавшийся отпускным билетом со штемпелем солдатского комитета.

— Какой же это мандат? Это отпускной билет.

Солдатик сконфузился, но более решительный товарищ его перебил:

— Какие тебе еще мандаты, сказано — веди нас в дом и показывай, какое оружие есть, или еще что.

Направленные на меня винтовки были, конечно, убедительнее всяких мандатов, о которых я завел речь больше "для куражу", и я повел солдат в наш дом.

Войдя в него, они внезапно присмирели. Подействовала ли на них скромная обстановка вместо буржуазной роскоши, которую они ожидали увидеть, или сконфузило большое количество женщин и детей, но только они проявили к нам высшую меру деликатности: ходили на цыпочках своих тяжелых сапог и все приговаривали: "Не сумлевайтесь, ведь мы не разбойники какие". Даже комодов и шкафов не отворили, а, забрав стоявший в углу старый дробовик, любезно простились с нами и пошли дальше.

С удивлением я узнал, что эти самые четыре солдата, добравшись до имения Карасан Раевских, взломали винный погреб, перепились и забрали много ценного имущества.

На следующий день я встретил одного из них в Биюк-Ламбате, вдрызг пьяного, катящим на линейке. На нем висела какая-то старинная сабля, а из-за пояса торчали пистолеты "времен очаковских и покоренья Крыма". Он узнал меня, блаженно осклабился и отдал честь по-военному.

Так началось...

А затем потекли дни и недели бесконечно однообразные.

На южном берегу мы жили не семьей, а целым кланом. Население его, в зависимости от обстоятельств, увеличивалось и уменьшалось, колеблясь в пределах от 20 до 35 человек. Кроме моей личной семьи, состоявшей из 10 человек, в наш "клан" входили: мой тесть, еще совсем бодрый старик 78-ми лет, его дети и внуки (вместе с моими детьми младшее поколение линии тестя состояло из 16 человек), подруги и товарищи этих внуков, случайно застрявшие у нас знакомые и родственники и два скрывавшихся от большевиков офицера. Представлены были все возрасты, от 7-ми до 78-ми лет, но преобладали подростки и зеленая молодежь, облегчавшая нашу жизнь своим беззаботным весельем.

Все мы много работали физически на виноградниках и в огороде, в свободное время старшие учили младших, а по вечерам читали вслух при свете масляной лампадки, ибо ни керосина, ни свечей достать было нельзя.

Скоро стал ощущаться и недостаток продовольствия, да и запастись продуктами на нашу ораву было трудно. Пришлось

нормировать пищу. Поэтому за общими обедами были установлены дежурства старшей молодежи. На обязанности дежурных, называвшихся "мажордомами", лежало равномерное распределение хлеба и другой пищи между едоками.

Большое оживление в нашу жизнь вносил издававшийся нами журнал "Саяни" (название имения моего тестя), в котором сотрудничало большинство жителей нашего клана (взрослые и дети). В нем помещались рассказы, стихотворения, статьи, посвященные событиям нашей жизни, рисунки карандашом и в красках и т.д.

Объективно жизнь была не из легких, но все-таки жили бодро и даже весело, в особенности молодежь. Взрослых эта мирная жизнь, конечно, не могла отвлечь от тревожных мыслей.

Вначале мы ожидали обысков, арестов, расстрелов. В Севастополе шли массовые расстрелы, в Ялте офицерам привязывали тяжести к ногам и сбрасывали в море, некоторых после расстрела, а других — живыми. Когда, после прихода немцев, водолазы принялись вытаскивать трупы из воды, они оказались на дне моря среди стоявших во весь рост, уже разлагавшихся мертвецов. В Евпатории подвергали убиваемых страшным пыткам, которыми распоряжались две женщины-садистки. В Симферополе тюрьма была переполнена, и ежедневно заключенных расстреливали "пачками". И вокруг нас по дачам рыскали севастопольские матросы, грабили, а кое-где и убивали.

На нас, однако, не было нашествий, и когда мы поняли причину нашего привилегированного положения, то перестали беспокоиться за свою участь. А причина была самая простая: севастопольские матросы, производившие налеты на имения и дома "буржуев", считали ниже своего достоинства ходить пешком. Они иначе не передвигались, как на автомобилях, а в крайнем случае — на извозчиках. А дорога к нам была совершенно недоступна для автомобилей и малодоступна для рессорных экипажей. В конце концов все дачи, расположенные вдоль шоссе и других удобных дорог, были разгромлены, а лежащие в стороне сохранились.

К нам изредка только заглядывали по делам винного подвала верховые милицейские. Это были преимущественно местные жители, которые нас знали и относились к нам в общем доброжелательно.

Чаще других приезжали трое: один — молодой черноглазый солдатик Миша, очень гордый тем, что гарцевал на породистой офицерской лошади (говорили, что хозяина этой лошади он пристрелил собственными руками). Он обыкновенно садился на скамейку перед нашим домом, балагурил с детьми, мурлыкал песенки и кормил свою лошадь сахаром. Сахар тогда был предметом роскоши, и Мише нравилось, что вот мы, буржуи, пьем чай без сахара, а его, Мишиной, лошади "без сахару совсем нельзя — приучена".

Другой милиционер — местный рабочий, немолодой, со щетинистыми усами, вступал с нами в разговоры и извиняющимся тоном

говорил: "Вы же меня знаете, я сват Якова, что в соседнем имении, давно тут на южном берегу по имениям служу. Так вы не сумлевайтесь, ничего худого не допустим. А что в красную милицию пошел, так ведь где-нибудь служить нужно. Служба как служба".

Третий — поляк с неприятно бегающими глазами, по-видимому из прежних полицейских урядников. Этот старался выслужиться, собирал о нас справки у рабочего соседнего имения Сергея, с которым постоянно о чем-то шушукался, и однажды арестовал моего племянника-юнкера, решив, что он скрывающийся офицер. История эта, впрочем, кончилась для нас благополучно.

Красные милиционеры опечатали винный подвал моего тестя, предварительно выкатив из него бочку для собственного употребления, и наш многочисленный клан лишился благодаря этому единственного источника доходов, ибо сбережения наши от прежних заработков скоро иссякли. Чтобы существовать, мы через проделанную в потолке подвала дыру выкрадывали собственное вино и его продавали. Вероятно, я очень бы обиделся на человека, который предсказал бы мне, что я когда-нибудь буду заниматься тайной продажей вина...

Впрочем, вскоре наши биюк-ламбатские татары образовали свой "ревком", и мы перешли в их ведение. Ревком состоял из наших добрых знакомых, решительных врагов большевиков. Они отпускали нам из подвала вино и скрывали от высших властей наши "беззакония".

Так как всюду кругом происходили грабежи, то татарский Ревком организовал самооборону, получив от большевиков потребное количество винтовок. Три винтовки были переданы нам, и каждую ночь мужское население нашего клана посменно несло караульную службу.

Я любил бродить в карауле с винтовкой за плечом в тихие весенние ночи, слушать спокойное дыхание моря и глядеть на уходящую в бесконечную даль серебряную лунную дорожку. Темные кипарисы мудро качали вершинами, и под их охраной винтовка за моим плечом казалась такой ненужной... Чувство мира и безопасности, навеваемое величественно-мирной природой, было настолько сильно, что оно совершенно заглушало тревожное знание того, что происходило кругом. Невозможно было понять, что в эту тихую лунную ночь где-то здесь поблизости кого-то насилуют и грабят, кого-то с пьяной руганью ведут на расстрел... Понять все это — значило отказаться от жизни. А мы жили, и прожили четыре месяца под большевиками, присутствия которых, благодаря нашему татарскому деревенскому начальству, почти не чувствовали.

Окрестные имения были национализированы, наше же "трудовое хозяйство", в котором мы обходились без наемных рабочих, если

не считать старой кухарки, горничной и дворника, оставили в нашем распоряжении.

Самым тяжелым в нашей жизни была полная оторванность от остального мира. Пойти или поехать в Ялту и в Симферополь мы не могли, т.к. для этого нужны были пропуски, дававшиеся лишь привилегированным, газет же не получали, а если попадал в наши руки номер местных газет, то в нем мы находили лишь бесконечное количество "приказов", безграмотно-напыщенные статьи да сведения, которым не верили. (Из приказов мне запомнился один, разрешавший ездить по железным дорогам исключительно партийным коммунистам и "товарищам-рабочим", командированным делегатами на съезды профсоюзов). Питались мы исключительно слухами от редких прохожих или из биюк-ламбатских кофеен. Слухи эти относились главным образом к разным кровавым событиям.

Так вот и жили... И казалось, что нет конца нашему робинзоновскому существованию.

Глава 29

ПОД НЕМЕЦКО-ТАТАРСКОЙ ВЛАСТЬЮ
(апрель–ноябрь 1918)

Татарское восстание. Бегство большевиков и расправа с татарами. Приход немцев. Греческий погром. Совещание кадетов с татарскими лидерами. Таврическое губернское земское собрание избирает меня председателем управы. Печальное состояние земского хозяйства. Вопрос об образовании местной власти на совещании крымских гласных. Назначенный немцами премьер генерал Сулькевич и его правительство. Роспуск земских собраний и городских Дум. Крымский муниципальный деятель В. А. Иванов. Борьба правительства Сулькевича с вывесками и заголовками. Таврическое губернское земство на территории двух враждебных "государств". Мои поездки в Киев для переговоров с гетманским правительством. Кадетский съезд в Киеве и "германская ориентация" Милюкова. Украинские впечатления. Разговор с Игорем Кистяковским. Я участвую в краже на законном основании. Борьба собрания крымских гласных с правительством Сулькевича. Переговоры с немцами. Разложение немецких войск после революции в Германии. Переговоры с начальником штаба оккупационного корпуса о допущении в Крым Добровольческой армии.

В апреле месяце до нас стали доходить слухи о том, что на Крымском полуострове появились немецкие войска. Слухи эти казались совершенно невероятными. Зачем немцам забираться в Крым? Правда, когда-то Севастополь был взят нашими нынешними союзниками, но они прибыли на судах. Но как немцы, которым нужны большие силы на Западном фронте, могли бы решиться на экспедицию в Крым сухопутьем за тысячу верст?

И я разубеждал татар, которые с таинственным видом и с довольным блеском в глазах сообщали: "Наши говорят — герман скоро Крым придет. Тогда хороший порядок будет". И по секрету добавляли, что как только придут немцы, они, татары, расправятся с большевиками. Передавали, что в Биюк-Ламбате составлен "черный список" местных большевиков, подлежащих уничтожению, и что на первом месте в нем помещен рабочий соседнего с нами имения Сергей. Этот Сергей делал у большевиков карьеру доносами (я уже

упоминал о его доносе на моего племянника), за что пользовался всеми доходами имения, в котором прежде служил рабочим.

Однажды рано утром пришел к нам знакомый татарин с винтовкой за плечом и радостно объявил: "У нас переворот". А через несколько часов был обнаружен труп Сергея с двумя огнестрельными ранами в голову и в грудь. Он лежал на дорожке нашего сада, где, пользуясь своей большевистской неприкосновенностью, ежедневно пас своих коров.

Когда я осматривал труп, подъехал верховой татарин в военной форме и, показывая нагайкой на мертвеца, спросил меня: "Кто его убил?" Озадаченный таким вопросом, я ответил, что не знаю. "Никто не убил, сам себя стрелял", – сказал татарин и, хлестнув нагайкой лошадь, поскакал дальше.

Я пошел сообщить жене Сергея о смерти ее мужа. Обдумывая, как мне сказать ей об этом, я постучал к ней в дверь. Никто не ответил. А когда я сам распахнул дверь, то увидел ее и ее сестру, девочку 17-ти лет, лежащих на полу в огромной луже крови. На одной из них сидела кошка и, поджимая под себя лапки, чтобы не запачкаться, с наслаждением лакала кровь языком...

Вероятно, исполнители приговора "черного списка" пришли к Сергею, когда он погнал коров в наш сад, и убили его жену и свояченицу, чтобы не было свидетельниц их прихода.

В Биюк-Ламбате, куда я направился, чтобы сообщить о случившемся и пригласить понятых для составления описи вещей убитых, я увидал ту же картину, что и четыре месяца тому назад: по шоссе взад и вперед бродили вооруженные татары, несколько всадников с винтовками гарцевали на реквизированных по случаю "революции" почтовых лошадях. На горе, у заворота шоссе в Ялту, виднелись дозорные при пулеметах. А в кофейне заседал "комитет", распоряжавшийся военными действиями.

Незадолго до моего прихода в Биюк-Ламбате был задержан автомобиль с тремя большевистскими комиссарами, которые тут же были отведены в кусты и расстреляны. В комитете разбирали отобранные у них документы и подсчитывали толстые пачки найденных у них денег. На одном юном комиссаре нашли не отправленное письмо приблизительно такого содержания: "Дорогой папаша. Я скоро собираюсь оставить службу и приехать к вам. Теперь у меня есть деньги и можем с вами начать торговлю".

Сведения, почерпнутые мною в Биюк-Ламбате, были весьма сенсационного характера: татары утверждали, что Симферополь занят немецкими и украинскими войсками, что в Алуште уже видели двух украинских офицеров, а в Биюк-Ламбат ожидается эскадрон крымского Конного полка, наскоро составленный из скрывавшихся в горных деревнях солдат и офицеров, который направляется в Ялту навстречу бегущим оттуда большевикам.

Зная легкость, с которой татары верят всяким сенсационным слухам, я отнесся к этим рассказам скептически. Вместе с тем мне был совершенно непонятен смысл происходившего на моих глазах татарского восстания. Ведь если немцы действительно в Симферополе, то завтра они будут на южном берегу и займут весь Крым без сопротивления. Зачем же в таком случае, думалось мне, татарам устраивать восстание накануне?

Впоследствии, познакомившись с политикой немцев в Крыму, я понял, что это восстание было инспирировано немецким штабом. Немцам, стремившимся создать из Крыма самостоятельное мусульманское государство, находящееся в сфере их влияния, нужно было, чтобы татарское население проявило активность и якобы само освободило себя от "русского" ига. Из победоносного восстания естественно возникло бы национальное татарское правительство, и немцы делали бы вид, что лишь поддерживают власть, выдвинутую самим народом. Вероятно эти соображения заставляли их выжидать в Симферополе результатов татарского восстания.

Увы, немцы слишком понадеялись на отвагу татарских повстанцев, не зная, что среди многих привлекательных качеств этого милого народа храбрость и решительность занимают самое скромное место. И немецкая политика имела своим последствием лишь много напрасно пролитой крови.

В этот вечер мы принимали у себя двух оборванных и голодных офицеров, спустившихся из горных деревень с тем, чтобы на следующее утро присоединиться к прибывшему уже в Биюк-Ламбат татарскому отряду и двинуться вместе с ним на освобождение Ялты. Они с уверенностью утверждали, что немцы в Симферополе, а когда я у них спросил, не чувствуют ли они себя плохо в качестве авангарда немецких войск, – даже не поняли моего вопроса...

Утром действительно конный татарский отряд под командой полковника Муфти-Заде выступил из Биюк-Ламбата в Ялту, а днем, встреченный на пути пулеметным огнем, в беспорядке и панике пронесся обратно.

Между тем большевистские полчища двигались по шоссе из Севастополя и Ялты на Феодосию и Керчь, надеясь пройти туда до прихода немцев из Симферополя. По дороге происходили жестокие расправы с восставшими татарами. В Гурзуфе и в Кизилташе татар расстреливали и топили в море. Несколько татарских домов на шоссе было разгромлено и подожжено.

По слухам, убийства и поджоги были главным образом делом рук местных греков, примкнувших к большевикам. Трудно сказать, так ли это было или эти слухи были лишь порождены старой национальной враждой между татарами и греками, возникшей на экономической почве. Как бы то ни было, но пролитая татарская кровь требовала отмщения, и через несколько дней настало

время мести, мести национальной, самой страшной и бессмысленно жестокой.

Наступили для нас жуткие дни.

Узнав о приближении большевистских полчищ, творящих насилия над жителями, все население Биюк-Ламбата, включая стариков, женщин и детей, бежало в горы. Наш дворник забрал свою семью и вещи и ушел в Алушту, заявив нам, что боится с нами оставаться. Пришел объятый паникой соседний землевладелец, убеждая нас с ним и его семьей скрыться в горах.

Я послал двух сыновей в Алушту узнать, не пришли ли немецкие войска. Оказалось, что не только не пришли, но нет даже уверенности, что они в Симферополе.

При таких обстоятельствах бежать в горы нашему "клану" с маленькими детьми, на неопределенное время, с риском вернуться под давлением голода через несколько дней и попасть в руки большевиков, которые сочли бы наше бегство за признак контрреволюционности, – было еще опаснее, чем оставаться дома. И мы остались. Остались и стали ждать – что будет...

Вот мимо нас на всех парах прошел миноносец под красным флагом. Мы видели, как он стал против Алушты и обстрелял ее, а затем повернул обратно и по дороге обстреливал прибрежные дачи. Перед нами он тоже остановился. Я вывел всех наших жителей из дома и поместил в овраг. Старая кухарка не могла дойти до оврага, упала на дорогу и бессмысленно голосила. Другая прислуга, молодая девушка, считавшая себя большевичкой и всегда с азартом спорившая с нами на политические темы, схватила скатерть и, крича – "товарищи, товарищи", – стала махать ею грозному миноносцу. Несмотря на ее мирные сигналы, товарищи открыли пушечный и пулеметный огонь. Из пушки стреляли через наши головы по деревне, а нас посыпали пулеметными пулями, которые достигали до нас уже на излете, слабо шлепая по листве деревьев.

Когда миноносец ушел, я пошел в Биюк-Ламбат узнать о положении вещей и раздобыть хлеба.

Всегда оживленное шоссе было пусто, все кофейни и лавки были закрыты, пекарни – тоже. Биюк-Ламбат вымер...

На возвратном пути я встретил какого-то парня с винтовкой.

– Куда вы, товарищ, – обратился он ко мне, – идем на сходку! Вся татарва в горы драпанула, теперь мы здесь хозяева и все дела решать будем.

Продолжая на ходу звать меня на сходку, он исчез за поворотом дороги.

Для этого парня я был "свой", русский, а врагами были "они", немцы и восставшие против русских татары. Так причудливо разжигавшаяся большевиками социальная ненависть, под влиянием событий местной жизни, заглушалась стихийной ненавистью

национальной, против которой проповедь Интернационала была бессильна. Тогда я наблюдал этот психологический процесс в маленькой крымской лаборатории и не представлял себе, что он является прообразом того, что через 15 лет будет в большом масштабе происходить во всей Европе.

Два дня шли над нами по шоссе большевистские полчища. Днем и ночью щелкали ружья и трещали пулеметы. Иногда казалось, что стреляют совсем близко, в саду, возле дома... Две ночи мы спали не раздеваясь, выходили в дозоры, готовые каждую минуту, забрав спящих детей, попрятаться в балках и оврагах.

Я до сих пор не понимаю, почему шла такая стрельба. Вероятно, панически бежавшие большевистские войска, боясь засады, открывали пальбу против мнимых врагов, мерещившихся им за всяким изгибом дороги.

Наконец, на третий день все стихло.

Было ясное солнечное пасхальное утро, когда к нам спустился из Биюк-Ламбата татарин и просил меня помочь объясниться с немцами, только что вступившими в Биюк-Ламбат.

Итак, невероятное оказалось действительностью: немцы в Крыму! Сложные чувства и мысли волновали меня, когда я в качестве переводчика подымался по крутой тропинке в деревню. Немцы, с которыми мы воевали в течение трех лет, наши враги, завоеватели России, пришли сюда нашими освободителями. В этом факте было что-то бесконечно унизительное для национального чувства и национального достоинства. Немцы — наши спасители! Ведь если бы они еще промедлили несколько дней, большевики беспощадно расправились бы с татарами.

В этой бойне едва ли уцелели бы и мы. Нас бы расстреляли не столько как "буржуев", сколько как друзей восставших татар и как "изменников России". И мы были бы убиты "своими", теми, против кого воюют наши враги – немцы. А теперь мы облегченно вздыхаем оттого, что "наши" ушли, а пришли враги.

Все это было бессмысленно и противоречиво... Но я сознавал, что ощущение гражданской скорби и национального позора не могут во мне заглушить чисто физического шкурного чувства радости от миновавшей меня и близких мне людей смертельной опасности!

Биюк-Ламбат был снова прежний. Татары вернулись с гор, толпились на улице и счастливыми улыбающимися глазами смотрели на мерно проходящие немецкие войска. Войска шли, как на параде. Чистые, прочно обутые и одетые солдаты, каких давно уже не приходилось видеть, блестевшие на солнце пушки, обозные фуры, запряженные рослыми, сильными лошадьми. Во всем чувствовалась сила, власть и порядок, которые несли к нам, измученным анархией, наши завоеватели.

Начальник отряда стоял на плоской крыше татарского дома и смотрел в подзорную трубу на несколько проходивших у горизонта

пароходов.Это, очевидно, были транспорты, перевозившие последние войска, эвакуировавшиеся из Севастополя.

Увидев меня, он подошел и как-то особенно сочувственно пожал мне руку. "Schönes Land, nicht?" (хороший край, не правда ли?), – весело сказал он и стал расспрашивать о том, давно ли здесь были "русские" войска. Однако, прислушавшись к моему акценту, он удивленно посмотрел на меня и спросил: "Разве вы не немец?"

Вероятно, посылая за переводчиком в имение моего тестя, имевшего по-немецки звучащую фамилию, он был уверен найти во мне соплеменника.

Я с особым удовольствием ответил, что я русский.

Любезность немца сразу как рукой сняло. Он грубо повернул мне спину и стал продолжать свои наблюдения в подзорную трубу.

Вечером мы смотрели на зарева вспыхнувших по всему южному берегу пожаров: татары мстили грекам за кровь своих братьев. Немало греков было убито в этот вечер, а усадьбы их – разграблены и сожжены.

На следующий день, вызванный по телефону, я поехал в Ялту на заседание местного комитета нашей партии. По дороге я обгонял повозки со всяким домашним скарбом, поверх которого громоздились женщины и дети. Мужчины с мрачными лицами шли группами по шоссе. Это были греки, выкуренные пожарами из своих домов и бежавшие в Ялту под прикрытие немецких войск от татарской мести.

В Ялте, направляясь на заседание нашего комитета, я проходил мимо большой толпы народа, окружавшей оцепленное немецкими солдатами здание виллы "Елена", где происходил военно-полевой суд над захваченными большевиками. Толпа была хмурая и злая. Рыдала какая-то женщина, беспомощно теребя свои волосы...

В заседании принимало участие человек десять местных кадетов и трое членов ЦК – Петрункевич, Набоков и я. Обсуждался вопрос о сложном положении, в котором мы оказались, имея врагами, с одной стороны, большевиков, а с другой – немцев, освободивших нас от них.

Во время заседания внезапно явился к нам глава татарской Директории Джафер Сеитаметов в сопровождении члена Курултая Аблаева. Они сообщили нам, что немцы созвали Курултай и предложили Джаферу организовать государственную власть в Крыму. Приехали они, чтобы предложить нам принять участие в образовании крымского правительства.

На недоуменный вопрос одного из присутствовавших – почему татарские лидеры, так враждебно относившиеся к кадетам все последнее время, вдруг изменили свое отношение, Джафер ответил, стараясь при этом придать глубокомыслие глазам и дипломатическую тонкость улыбке: "Когда нужно было разрушать – мы были с эсерами, а когда надо созидать – мы с кадетами".

Дальше мы выяснили, что немцы предполагают образовать из Крыма самостоятельное государство с правительством, ответственным перед татарским Курултаем.

Мы хорошо понимали, что имеем дело с несерьезными, легкомысленными молодыми людьми, но сложность положения не позволяла нам просто прервать с ними переговоры. Поэтому наш председатель Петрункевич ответил им, что мы обсудим их предложение и дадим свой ответ вечером. Решили сойтись за ужином в гостинице "Франция".

Между собой у нас споров не было. Мы все считали для себя недопустимым отказываться от ответственности в такую трудную минуту. Несмотря на единодушно враждебное отношение к немцам (дело происходило еще до киевского съезда к.-д., после которого, под влиянием Милюкова, некоторые из видных представителей партии в Крыму, как Д.С. Пасманик и Н.Н. Богданов, стали определенными сторонниками "германской ориентации", и даже осторожный Набоков высказывал сомнение в правильности старой антантофильской тактики), мы понимали значение гражданской власти даже в оккупированной иностранными войсками области и находили невозможным, отказавшись от участия в правительстве, отдать целиком всю власть в руки татарских националистов. Однако предлагавшиеся нам условия были совершенно неприемлемы. Не могли же мы принимать участие в правительстве, ответственном перед парламентом национального меньшинства (татары, как я уже говорил выше, составляли всего четверть крымского населения). Русские члены правительства должны были иметь опору в авторитетном народном представительстве, чтобы парализовать влияние Курултая. В конце концов мы решили ответить, что согласились бы принять участие в управлении Крымом вместе с татарами, лишь получив полномочия от совещания губернских гласных пяти крымских уездов, которые должны были съехаться на губернское земское собрание. С таким ответом мы и пошли вечером на условленный ужин в гостинице "Франция".

Мы предполагали скромно поужинать в складчину и были крайне удивлены, найдя там роскошно сервированный стол с закусками, водками и винами. Неприятно было принимать это роскошное угощение от группы молодых татар, скромное имущественное положение которых было нам известно, но большинству из нас пришлось бы заложить жен и детей, чтобы оплатить такой ужин. Смирились и поужинали не то за счет вакуфных сумм (капиталы, принадлежавшие татарскому духовному управлению), не то за счет немцев или турецкого султана... Намазывая хлеб зернистой икрой, я старался не думать о том, на какие деньги она куплена...

В числе питий подан был великолепный французский коньяк, какого ни за какие деньги нельзя было достать в Ялте, и Набоков поинтересовался, где можно приобрести такой коньяк для его

больной жены. На следующий день какой-то татарин принес его жене бутылку. Долго после этого мы дразнили Набокова, что он подкуплен турецким султаном.

Выслушав наш ответ, татары согласились убедить немецкое командование повременить с образованием правительства несколько дней до губернского земского собрания.

Через два-три дня мы снова собрались на даче М.М. Винавера под Алуштой, где выработали окончательные условия, которые должны быть поставлены немцам при образовании местной власти. Они заключались в следующем:

Крым не является самостоятельным государством. Это лишь часть России, временно оторванная от центра и занятая немецкими войсками. Формируемое правительство должно считать себя властью лишь до свержения большевиков и образования нового всероссийского правительства. Все заботы власти должны быть направлены на создание порядка и внутреннего благоустройства края. Будучи временной властью в области, оккупированной иностранными войсками, правительство должно отказаться от формирования собственной армии и от дипломатических сношений с иностранными государствами. Во главе правительства должно быть поставлено лицо по взаимному соглашению, но только не Джафер Сеитаметов, не внушавший нам никакого доверия.

С таким заготовленным решением мы с Набоковым, Пасмаником, С.С. Крымом и В.В. Келлером (последние двое были губернскими гласными) отправились в Симферополь на губернское земское собрание.

Это было первое демократическое губернское земское собрание, выбранное по закону Временного правительства. Состав его был совершенно обновленным.

Все, как повелось с революции, были расписаны по партиям. Преобладали эсеры, каковыми числились и все крестьяне, а затем человек по пятнадцати меньшевиков и кадетов. Четырехмесячный большевистский гнет несколько сгладил партийную вражду, но не искоренил еще навыков, усвоенных собраниями во время революции. Поэтому все собрание шло с постоянными перерывами, устраивавшимися для совещания партийных комитетов. На этих совещаниях в сущности решались все важнейшие дела партийными людьми, большинство которых не состояло гласными, а гласные в это время слонялись по зданию управы, ожидая mot d'ordre – как голосовать.

В дореволюционное время мы, левые гласные, протестовали против системы частных совещаний в общественных самоуправлениях, совещаний, иногда превращавших публичные заседания в простой механизм голосований. Однако до такой степени пренебрежения к публичности и к правам большинства гласных цензовое земство никогда не доходило. Правда, тогда политические

вопросы, решенные на частных совещаниях, проходили совсем молчком, а теперь каждая партия выставляла оратора, говорившего соответствующую речь, которая заканчивалась длинной тягучей резолюцией, но все гласные знали, что решение принято заранее, и даже не пытались делать свои замечания и вносить какие-либо поправки.

Это собрание было особенно ответственным: во-первых, предстояли выборы первого состава управы нового демократического земства, а во-вторых – гласным крымских уездов нужно было обсудить вопрос о формировании крымской власти.

У господствующей партии социалистов-революционеров не было кандидатов на пост председателя управы, у меньшевиков – тоже. И вот всплыла моя кандидатура... Я ее не считал удачной: лишенный избирательных прав за подписание Выборгского воззвания, я уже 10 лет стоял в стороне от земских дел. Да и тогда, когда был земцем, я больше ведал "не хозяйственными" отраслями земской работы – страховым делом, статистикой, народным образованием и др. И мне представлялось, что становиться во главе всего земского дела при таких трудных и сложных обстоятельствах было бы с моей стороны недобросовестно. Кроме того, тревожила перспектива нести ответственность перед собранием – если не прямо политически враждебным, то во всяком случае относящимся ко мне с подозрением, как к кадету.

Я стал решительно отказываться. Но дни собрания проходили, а кандидатов в председатели все никак не могли найти. На мне свет клином сошелся. Наконец, под единодушным натиском единомышленников и политических врагов, я дал согласие и был избран.

Несмотря на то, что я предвидел в своей будущей деятельности множество терний, я все же не мог себе представить всю тяжесть ответственности, которую взвалил на свои плечи, согласившись подвергнуться баллотировке...

Во время сессии земского собрания происходили совещания крымских гласных по вопросу об организации крымского правительства. Принципиально было решено принять участие в нем и выработанные нами на даче Винавера условия были одобрены. Нам, кадетам, уже ведшим переговоры с татарскими лидерами в Ялте, было поручено их продолжать.

Настукав на машинке наши условия, мы с Набоковым и Пасмаником повезли их к Джаферу Сеитаметову.

Уже осведомленный о том, что было на земском собрании, молодой человек принял нас довольно кисло (еще бы – одним из условий было устранение его кандидатуры на пост премьер-министра, на который он был выдвинут Курултаем!). Он сказал нам, что главнокомандующий немецкими войсками, генерал Кош, непременно настаивает, чтобы в крымском правительстве были министры иностранных дел и военный. На должности последнего генерал Кош желал бы видеть генерала Сулькевича.

Тут в первый раз я услышал фамилию этого несчастного добродушного авантюриста, стоявшего полгода во главе крымского правительства, вынырнувшего затем в правительстве Азербайджанской республики и в конце концов погибшего у "стенки".

После такого заявления нам оставалось только прервать переговоры. А на следующий день на улицах были расклеены объявления о том, что генерал Сулькевич взял на себя формирование крымского правительства "с согласия германского командования". Очевидно немцы поняли, что Курултай не представляет силы, с которой стоило бы считаться, а вручать власть легкомысленным его представителям нецелесообразно. Поэтому они и выдвинули на пост премьера командира татарской дивизии генерала Сулькевича. Он был мусульманином по вероисповеданию и татарином по происхождению (из литовских татар), и это придавало правительству национальный характер, но одновременно он был генералом царской службы, не зараженным революционными веяниями, а потому они рассчитывали, что он сумеет сохранить спокойствие и порядок. Наконец, он прежде всего дорожил своим материальным благополучием и внешним почетом, ради чего был готов беспрекословно исполнять их волю.

Когда забота о формировании местной власти с меня была снята, я приступил к исполнению своих обязанностей председателя управы. Положение мое было не из легких: все земское хозяйство было расшатано до основания. На ответственности управы тысяча душевнобольных в психиатрической лечебнице и более двух тысяч подкидышей, из которых двести в приюте, а остальные — на воспитании в крестьянских семьях. Не уплати их воспитателям причитающегося им вознаграждения — они принесут детей в приют, где и поместить их негде, и кормить нечем. Обильные запасы белья и продуктов в психиатрической лечебнице и в приюте разворованы за время большевиков и продолжают разворовываться совершенно развращенным низшим персоналом. Часть больных разгуливает в голом виде...

Большевики поровняли оклады всех служащих, и сторожа получают такое же жалованье, как врачи и другие специалисты. Необходимо уволить воров, которых очень много, и понизить жалованье низшему персоналу, обременяющее земский бюджет. Персонал бунтует, бастует... В приюте для подкидышей происходит нечто неописуемое: им завладели великовозрастные хулиганы из бывших его воспитанников, или называющих себя таковыми. Они образовали "комитет" и управляют приютом по своему усмотрению. Приводят публичных женщин, устраивают по ночам пьяные оргии, развращают живущих в приюте детей и т.д. Пришлось выдворить хулиганов полицейскими мерами и поставить при входе в приют городовых, отбивавших их попытки снова туда проникнуть.

Не раз, подавленный всей этой анархией, я жалел о том, что согласился занять свою должность. А затем, чтобы снова завести земскую машину и поддерживать движение ее колес, необходимы прежде всего деньги. А их-то как раз и нет. Большевики, бежав из Крыма, оставили земскую кассу пустой. Ожидать новых поступлений от только что принятой собранием раскладки губернского сбора – нельзя раньше осени. А расходы, и огромные расходы, необходимо производить изо дня в день. Между тем, при неустойчивости политического положения, о частном кредите нечего и думать. Единственный выход – просить ассигнования средств у правительства. Но у какого? У меня, как это ни странно, их два: ведь таврическая губернская земская управа ведает хозяйством всей Таврической губернии, северные уезды которой отошли к Украине, а пять южных – это Крым. На Украине свое правительство, а в Крыму – свое.

Крымское правительство ближе, а потому на следующий же день после окончания губернского собрания я отправился к вновь поставленному "с согласия германского командования" премьеру крымского правительства вести переговоры о финансовом положении земства.

Генерал Сулькевич еще не переехал в прежний губернаторский дом, который он велел отремонтировать и обставить мебелью из ливадийского дворца, и жил на частной квартире. Встретил меня радушно, напоминая размашистыми манерами и непринужденной болтовней хлебосольного помещика доброго старого времени.

Он старался выказать передо мной свой либеральный образ мыслей, говорил о том, что намерен работать рука об руку с местной общественностью и т.д., вскользь упомянул, очевидно желая мне этим импонировать (хоть генерал, мол, а все-таки вращался в либеральном обществе), о своем близком знакомстве и родстве с профессором Туган-Барановским и выразил уверенность, что тот не откажется взять в его правительстве портфель министра народного просвещения. Затем говорил о своей любви к России и о том, что он не сепаратист, а взял на себя тяжелое бремя власти в Крыму только для того, чтобы водворить порядок в этой части нашего русского отечества.

Пока он рассыпался передо мной своим сочным, приятным генеральским баритоном, я смотрел на треугольник зеленого шелка (цвет пророка Магомета), нашитый на борт его русского военного мундира, на золотые жгуты, сменившие на его плечах генеральские погоны, и на лежавшую на столе фуражку, на которой знак полумесяца сместил русскую офицерскую кокарду.

Он уловил мой взгляд, немного запнулся, сконфуженно замигал, но, быстро оправившись, продолжал осыпать меня банальными либерально-патриотическими фразами.

Относительно главного дела, по которому я к нему пришел, он просил меня обратиться к нему через несколько дней, когда его правительство будет оформлено.

Действительно, через два-три дня мы уже имели полный состав правительства. Не найдя поддержки в русских общественных кругах, немцы обратились к своим соплеменникам, немцам-колонистам, прося их дать в правительство своих представителей. Несколько колонистов прибыло в Симферополь и выставило двух кандидатов: некоего Раппа (министр земледелия), рослого упитанного немца, ничем не замечательного, и В.С. Налбандова (министр народного просвещения), известного в Крыму земского деятеля. Налбандов был наполовину немец, наполовину армянин, но поддерживал связи с крымскими немцами, участвуя в их национальных организациях.

Татары получили в правительстве три места: кроме самого Сулькевича, ставшего во главе министерств военного и внутренних дел, Джафер Сеитаметов взял пост министра иностранных дел, и еще один литовский татарин (фамилии не помню) – пост министра юстиции. Русские были приглашены персонально: портфель министра финансов получил довольно известный банковский делец граф Татищев, и еще какой-то инженерный генерал взял портфель министра путей сообщения.

Все наши пути сообщения состояли из нескольких казенных шоссе, так как железные дороги находились в ведении харьковского округа путей сообщения, подчиненного украинскому правительству. И для управления этими шоссе создалось целое министерство!

Не могу не рассказать смешного анекдота о делах, которыми оно занималось.

Через несколько дней после образования крымского правительства я получил на бланке министерства путей сообщения за номером 2-м и 3-м и за подписью самого министра требование вернуть в бывший губернаторский дом ватерклозеты. Я был в полном недоумении как от самого содержания бумаги, так и от несоответствия содержания заголовку и подписи.

Оказалось, что во время большевиков, когда в губернаторском доме заседал Совет рабочих и солдатских депутатов, ватерклозеты были приведены в такое состояние, что власти решили совсем упразднить эти культурные учреждения. Ватерклозеты были вывинчены и свезены во двор больницы губернского земства, где и пролежали до той поры, когда генерал Сулькевич стал отделывать себе помещение. Очевидно, ремонт квартиры благодушного генерала был первым делом, которым занялось ведомство путей сообщения.

Национальный состав правительства и способ его образования должны были определить его будущую политику. Это было, во-первых, правительство татарско-немецкого блока, а во-вторых, правительство, послушное велениям германского штаба.

По правде сказать, немецко-татарский блок был в значительной степени фикцией, прикрывавшей неудачную попытку германского командования создать в обрусевшем Крыму нерусскую местную власть. Из татарских националистов вошел в правительство только один Джафер Сеитаметов, а крымские немцы совсем не были националистически настроены, наиболее же культурные из них, окончив русские гимназии и университеты, чувствовали себя гораздо более русскими, чем немцами.

Большинство министров вошли в крымское правительство по мотивам, ничего общего со стремлением к крымскому сепаратизму не имеющим. Одними руководили мотивы карьерного характера, другие смотрели на свою службу, как на временный заработок, третьи – как на источник обогащения, четвертые, наиболее принципиальные (например, Налбандов), были "немецкой ориентации", т.е. надеялись при помощи немецких штыков водворить в Крыму порядок и спокойствие.

В общем я бы сказал, что правительство генерала Сулькевича было не столько с русской точки зрения антинациональным, сколько анациональным. Однако оно находилось в полной зависимости от германского командования и должно было беспрекословно исполнять его волю. А воля эта, по директивам из Берлина, была направлена на расчленение России.

Совершенно понятно, что такое правительство было сразу встречено враждебно всей русской частью крымского общества; обострившееся же в разгоревшейся тогда борьбе "за единую Россию" патриотическое чувство иногда побуждало нас видеть сепаратистские тенденции даже там, где их не было.

Не помню, была ли провозглашена в каком-нибудь государственном акте государственная независимость Крыма. Кажется, что нет. Не было, однако, и обратного заявления. Между тем в целом ряде мелких актов и действий отделение Крыма от России подчеркивалось на каждом шагу и оскорбляло русское национальное чувство.

Такое пыжение по существу русских людей, сидевших в правительстве, в угоду немцам сделать вид, что они управляют самостоятельным государством, было противно, но по временам принимало комические формы.

Так, например, слова "таврический" и "губернский" сделались нелегальными. Началось перекрашивание вывесок всех учреждений, носивших эти названия. Теперь они стали именоваться "крымскими" и "краевыми". Цензору было предписано вычеркивать криминальные слова "таврический" и "губернский" из газетных гранок. В газетах стали появляться заметки в таком роде: "В ...... появился ящур на скоте. .... ветеринар выехал в северную часть ...... для организации борьбы" и т.п.

Когда я в первый раз получил конверт, присланный Сулькевичем в "Крымскую Краевую Управу", то, не распечатав, вернул его

обратно, как присланный не по адресу. Позволив себе раз эту мальчишескую выходку, в дальнейшем я не счел возможным из-за такого пустяка прерывать сношений с местной властью, и мы вели официальную переписку примерно следующим образом: "Крымское Краевое Правительство имеет честь уведомить Краевую Земскую Управу и т.д.", а в ответ — "получив уведомление Краевого Правительства, Губернская Земская Управа имеет честь довести до его сведения и т.д.".

Когда я зашел к своему бывшему коллеге по земской работе, а ныне министру, В.С. Налбандову, с просьбой, чтобы правительство открыло земству кредит на его текущие нужды, я получил от него ответ, что он не может поддержать моего ходатайства, так как управа стоит на общегубернской точке зрения, неприемлемой для краевого правительства. "Откажитесь от северных уездов, признайте себя краевым учреждением, и мы вас будем широко субсидировать". Я ответил, что для меня и моих коллег сохранение целостности Таврической губернии, как части России, является вопросом принципиальным и ни на какие уступки мы не пойдем. И между нами завязался горячий спор о том, что лучше: Крым самостоятельный, но пользующийся под охраной немцев всеми благами порядка, или Крым русский, но рискующий пережить все ужасы большевизма.

Под конец я ему заявил: "Ну, хорошо, не давайте нам денег, но не забывайте, что целый ряд учреждений губернского земства находится в вашей столице Симферополе и что вам придется волей-неволей отвечать за судьбу голодающих приютских детей и душевнобольных". Этот аргумент подействовал, и потребный мне кредит был отпущен.

В.С. Налбандов был несомненно самым умным, дельным и культурным из министров правительства Сулькевича, а потому, хотя занимал пост министра народного просвещения, сразу сделался руководителем его внутренней политики. Я бы не назвал ее прямо реакционной.

Начали с восстановления всех законов Временного правительства, кроме землеустроительных (земельные комитеты были упразднены). Правда, введена была предварительная цензура (даже две, т.к. немцы имели своего военного цензора), но, если не считать мелких глупостей вроде вычеркивания отдельных слов и выражений, цензура эта мало стесняла свободу мысли, и газеты, до социал-демократических включительно, не испытывали особого гнета. Потом, во времена деникинского и врангелевского управления Крымом, печать была стеснена гораздо больше. Ни к каким особым репрессиям и к террору правительство не прибегало.

Но в области земского и городского самоуправлений сейчас же началась ломка. Демократические самоуправления со своим социалистическим большинством были предметом ненависти

Налбандова, старого цензового гласного и лидера местных аграриев. Поэтому одним из первых актов краевого правительства был роспуск земских собраний и городских Дум. Были восстановлены старые цензовые Думы в дореволюционном составе, а для земских собраний был выработан новый избирательный закон с куриальной системой выборов.

Получив указ об упразднении губернского земского собрания, я послал правительству бумагу курьезного содержания, составляя которую чувствовал себя в роли запорожца на картине Репина, строчащего грамоту турецкому султану. В этой бумаге управа доводила до сведения правительства, что даже если считать его законной властью в Крыму, то все же оно не вправе распускать и реформировать ему не подвластное губернское земство. Губернское земство, распространяющее свою компетенцию на территории Крыма и части Украины, может быть распущено или упразднено лишь на основании договора между двумя государствами – Украиной и Крымом. Поэтому управа отказывается исполнить незаконное распоряжение краевого правительства.

"Турецкий султан" не ответил на эту грамоту "запорожцев", и управа продолжала беспрепятственно созывать губернские земские собрания и совещания крымских гласных, которые через полгода произвели "революцию" и свергли правительство генерала Сулькевича.

Уездные земства и городские Думы не могли занять такой "надгосударственной" позиции и сдались без сопротивления.

Правительство призвало в Думы старых цензовых гласных и назначило новые выборы в земства по выработанному Налбандовым закону. И началась невероятная неразбериха. В разных городах цензовые "мертвецы" различно отнеслись к своему воскрешению: в некоторых городах они зажили прежней жизнью, в других же, в том числе – в Симферополе, мертвецы прибыли на заседание Думы в очень небольшом числе и, заявив, что не считают себя представителями населения, разошлись по домам.

В таких городах, оказавшихся без Дум, вышедшие в отставку управы оставляли для управления делами из своего состава так сказать "блюстителей" городского хозяйства до лучших времен.

В Симферополе таким "блюстителем" оставили Василия Александровича Иванова. Не могу не помянуть добрым словом этого выдающегося муниципального деятеля.

В.А. Иванов около двадцати лет бессменно состоял то членом городской управы, то городским головой. Всегда спокойный и уравновешенный, этот удивительно красивый человек с тонкими чертами лица и черной окладистой бородой, напоминавший апостола Павла с византийской иконы, деликатно-холодный в обращении с людьми, замкнутый и одинокий, имел в жизни одну сильную привязанность: муниципальное дело. Он изучил это дело основательно

и любил свой Симферополь, благоустройству которого отдал большую половину жизни, какой-то особой нежной любовью.

В.А.Иванов и симферопольское городское управление стали синонимами в глазах местных жителей.

Я помню В.А.Иванова на его посту еще в период революции 1905 года, помню, как после происшедшего в городе еврейского погрома, когда городская управа и гласные попрятались по домам, В. А. дни и ночи проводил в управе, работая не покладая рук, помогая добровольцам из местных жителей организовывать противопогромную оборону, собирать о погроме свидетельские показания и пр.

Политиком он не был и занимался политикой только тогда, когда она сама вторгалась в излюбленную им область самоуправления.

Но по какому бы закону ни проходили выборы, каково бы ни было большинство Думы, его непременно выбирали в управу.

Мне вспоминается мое путешествие с ним в Ростов в период управления Крымом правительством Добровольческой армии. Туда мы ехали по Азовскому морю и останавливались в целом ряде городов — Бердянске, Мариуполе, Таганроге. Во всех этих городах В. А. ходил осматривать рынки и другие городские учреждения, знакомясь с постановкой дела, и как ребенок радовался тому, что в Симферополе все гораздо лучше. Эта поездка была для него роковой. Возвращались мы в теплушке, холодной и нетопленой, резкий осенний ветер свистел в щели. В. А. простудился и вскоре умер от воспаления легких.

Я уверен, что, не умри он в 1919 году, он не был бы среди эмигрантов, а сумел бы и под большевиками сохранить связь с делом всей своей жизни и продолжал бы в каком-либо качестве заведовать хозяйством Симферополя, если бы его случайно не расстреляли.

Так городские управы получились двоякого характера: частью это были остатки "демократических" управ, частью — вновь избранные "цензовые". То же получилось и с уездными земствами.

Вспоминая об этой земско-городской чехарде, которую устраивала почти каждая сменявшая друг друга в Крыму власть, диву даешься — зачем это было нужно.

Я не стану отрицать, что на первых порах демократические самоуправления не сумели взяться за работу. Заседания земских собраний и городских Дум превращались в партийные турниры, а бюджеты вздувались чрезмерно. Это была дань неопытности и революционности новых деятелей самоуправлений. Но я был свидетелем того, как "облетали цветы" партийных выступлений, как ослабевало влияние политических партий, как гласные, случайно надевшие на себя партийные ярлыки, обретали собственную индивидуальность, собственные мнения и собственную волю, как новые земские деятели усваивали практические навыки, опытность и осторожность в работе. И если дело продолжало разрушаться, то

не по их вине, а потому, что разрушалась вся хозяйственная жизнь страны.

В таких условиях постоянные смены руководителей земского и городского дела, безо всякой нужды подогревая злобу и раздражение, вносили еще большую путаницу и разложение в гибнущее от общих условий дело.

А сколько сил и внимания отнимала как у правительства, так и у нас, деятелей демократических самоуправлений, эта бессмысленная внутренняя борьба перед фронтом наших общих врагов!

Но то, что до некоторой степени прощалось потом правительствам Деникина и Врангеля, в которых население видело последний оплот против большевиков, то не прощалось правительству генерала Сулькевича.

Все, кроме татар, принявших всерьез его лубочно-национальный фасад, относились к нему враждебно, одни за реакционность, другие за германофильство и сепаратизм, третьи за особые дефекты, связанные с личностью Сулькевича. Говорили о неимоверно развившемся взяточничестве, с негодованием отмечали безнаказанное процветание во всех городах Крыма игорных притонов, а "знающие" люди по секрету сообщали знакомым, что владельцы этих притонов связаны какими-то таинственными нитями с главой правительства. Возможно, что эти слухи были недостаточно проверены, но они содействовали непопулярности правительства.

Однако, вспоминая теперь, как жилось в это время обывателям в Крыму, я должен признаться, что жилось сносно, лучше, чем в предыдущие и последующие периоды революции и гражданской войны. Тут дело, конечно, не в самом правительстве, а в той вооруженной силе, на которую оно опиралось. Сила эта была враждебная, но все же она обеспечивала элементарный порядок и внутренний мир.

Правда, немцы реквизировали в Крыму и вывозили из него все, что могли, от муки до железного лома включительно, руководствуясь мудростью Осипа из "Ревизора", что "и веревочка пригодится", но и грабеж происходил с соблюдением порядка.

И под властью железной немецкой руки жизнь, взбудораженная революцией, начинала приходить в норму: население принялось за работу и стало платить налоги, торговля налаживалась, цены росли умеренно.

Но, приведя нас "к одному знаменателю", немцы сами понемногу начали разлагаться. Стали брать взятки, утрачивали свою железную дисциплину и, вступив весной в Крым чуть-чуть не церемониальным маршем, уходили из него осенью "лузгая семечки"...

Вскоре после возникновения "Крымского государства" гетманское украинское правительство заявило, что не признает самостоятельности Крыма, считая его неотъемлемой частью Украины. Когда же крымское правительство отказалось передать

свою власть гетману, Украина объявила Крыму войну, войну не настоящую, ибо оба "государства" были заняты немецкими войсками, а войну экономическую. Был запрещен товарообмен с Крымом, а по железным, шоссейным и грунтовым дорогам были установлены пограничные таможенные посты. Правда, эти меры не прекратили товарообмена и лишь повлияли на вздорожание целого ряда продуктов, в цене которых учитывались взятки украинским таможенным чиновникам и стражникам.

Остается загадкой – какую цель преследовали немцы, допуская эту игрушечную войну между ими самими созданными игрушечными правительствами? Мне известно, что штаб генерала Коша, командовавшего немецкими войсками в Крыму, делал вид, что в этой распре Крыма с Украиной он всячески готов поддерживать Крым, а с другой стороны, в Киеве я слышал, что политика гетмана по отношению к Крыму тоже инспирируется германским штабом.

Наблюдая немецкую политику на месте, я пришел по этому поводу к следующим предположениям.

Когда австро-германские войска захватили юг России, то немцы приступили к осуществлению заранее намеченного ими плана расчленения ее на отдельные самостоятельные государства. С этой целью они стремились использовать расцветшие во время революции у разных народностей России сепаратистские стремления. Отсюда их помощь Украине в борьбе с большевиками, отказ от занятия Москвы и Петербурга и содействие в проведении русско-украинской границы. Отсюда же стремление создать в Крыму национальную татарскую власть. По-видимому вначале предполагалось отдать Крым под протекторат Турции, но затем, ознакомившись с богатствами полуострова, немцы отказались от этой мысли, решив и после победоносной войны сохранить в Крыму, отделенном от России территориально ими же созданной Украиной, свое немецкое влияние.

Таков, как мне кажется, был строй мыслей наших завоевателей, когда они еще рассчитывали на победоносное окончание войны. Но когда, несмотря на выход из войны России, немцы убедились, что кроить карту Европы по своему усмотрению им не удастся и что в лучшем случае война окончится невыгодным для них миром, они стали помышлять о будущих прочных союзах на Востоке.

Маленький Крым перестал привлекать их внимание. Казачьи области и Украина были для них более интересны. К этому времени относится их заигрывание с генералом Красновым и стремление создать украинско-донской союз, а также внезапная перемена политики в Крыму с отказом от поддержки правительства Сулькевича. Об этом периоде я буду говорить ниже, а пока вернусь к началу крымско-украинской "войны".

Ничего не подозревая о планах украинского правительства по отношению к Крыму, а исключительно в целях изыскания средств для поддержания земского хозяйства, в середине июля 1918 года я

отправился в Киев. Получив ссуду от крымского правительства, я надеялся, что и другое мое правительство – украинское – тоже не откажет мне в отпуске некоторых средств. Это была первая моя поездка по железной дороге со времени прихода немцев.

На станции "Симферопиль"* я сел в купе второго класса и помчался в скором поезде на север. Тот простой факт, что я сижу в чистом вагоне, не заплеванном и не прокуренном махоркой, что занимаю плацкартное место, что проходят по коридору чисто одетые, вежливые кондукторы и проводники, что поезд идет по расписанию, без опоздания, все это, прежде привычное и знакомое, теперь мне казалось каким-то чудом.

Прошло всего два месяца со времени немецкой оккупации, а внешняя сторона жизни уже наладилась совершенно. Незаметно было никаких следов недавней анархии.

Было глубоко оскорбительно для национального чувства видеть на станциях прямые фигуры немецких солдат и офицеров, сознавая при этом, что восстановлением культуры и порядка мы обязаны им, что уйди они завтра – и мы снова погрузимся в бездну дикости и анархии. И я не мог примириться с мыслью об унизительном возрождении России на острие немецкого штыка. Нет, тысячу раз лучше снова пережить весь ужас анархии или коммунистической государственности, чем так покорно расписаться в своем национальном бессилии!

С таким строем мыслей и чувств я приехал в Киев и попал на конференцию кадетской партии, созванной Милюковым для обсуждения вопроса о "немецкой ориентации".

Перед конференцией я зашел к Милюкову, которого уже больше года не видал, чтобы уяснить себе его новую точку зрения, столь не соответствовавшую всем моим мыслям и чувствам. От него я услышал приблизительно следующие объяснения.

Прежде всего, он был уверен если не в полной победе немцев, то во всяком случае в затяжке войны, которая должна послужить к выгоде Германии, получившей возможность продовольствовать свою армию за счет захваченной ею Украины. Сопротивляться немцам Россия не в силах. Между тем, с востока России угрожает Япония, которая под видом ее союзника занимает своими войсками Восточную Сибирь. Итак, на западе нам наши союзники помочь не могут, а на востоке они же готовы отхватить часть русской территории. При таких обстоятельствах дальнейшая ориентация русского антибольшевистского фронта на союзников представляет

---

* Как я упоминал выше, железные дороги в Крыму находились в ведении украинского министра путей сообщения, а потому все станции были переименованы по-украински. Но какими правилами грамматики руководствовались украинцы, изменяя греческое слово "Симферополь" и превращая его в "Симферопиль", – едва ли им самим было известно.

опасность для России: немцы уже отделили Украину и Крым, а затем последует отторжение Японией дальневосточной территории.

Между тем, он считает, что и положение немцев в их борьбе с союзниками, при большевиках в тылу, не так уж прочно и что убедить их в необходимости переменить свою политику по отношению к России возможно. Им самим выгоднее иметь в тылу не большевиков и слабую Украину, а восстановленную с их помощью, следовательно, дружественную им Россию. Поэтому он надеется убедить немцев занять Москву и Петербург, что для них никакой трудности не представляет, и помочь образованию всероссийской национальной власти, которая с их помощью остановит и продвижение японцев на Дальнем Востоке.

Схеме Милюкова нельзя было отказать в логичности. Ошибочность ее заключалась в отправном пункте: в неправильной расценке борющихся сил. Милюков не представлял себе, что немецкая армия, так стройно марширующая по киевским улицам, уже дошла до последней степени истощения и что скоро она капитулирует перед союзниками. Германский штаб лучше знал положение, и ему было не до мудрых советов Милюкова.

Что касается меня, то вскрыть ошибку Милюкова я не мог, не имея ясного представления о состоянии борющихся сил (наши сведения на эту тему мы черпали исключительно из газет, подвергавшихся немецкой цензуре). Я мог лишь высказать сомнение в правильности оценки положения, не больше. Но мое патриотическое чувство не мирилось с его планом немецкой оккупации не только окраин, но и центра России.

— Неужели вы думаете, — возражал я ему, — что возможно создать прочную русскую государственность на силе вражеских штыков? Народ нам этого не простит.

Милюков холодно пожал плечами:

— Народ? Бывают исторические моменты, когда с волей народа не приходится считаться.

Я, конечно, не ручаюсь за точность передаваемой фразы, но смысл ее был именно таков.

Чрезвычайно характерно для Милюкова, что через пять лет после этого разговора, заняв в эмиграции позицию ярого противника какой бы то ни было интервенции, он на страницах своего органа "Последние Новости" называл чуть что не предателями людей, рассуждавших так, как он тогда рассуждал. Он никогда не изменял своим политическим идеалам, но прикрывал напускной принципиальностью беспринципность собственной тактики.

Большинство принимавших участие в партийной конференции состояло из местных членов партии, связавших себя с правительством гетмана Скоропадского, в котором было несколько кадетских министров. Поэтому большинство голосов было Милюкову обеспечено. Поддерживали его и члены ЦК Демидов и Волков, которые

с тех пор беспрекословно следуют за ним во всех его политических зигзагах.

Крымские кадеты были представлены на конференции только двумя лицами: Н.Н. Богдановым и мной. Нам обоим министр внутренних дел Лизогуб назначил аудиенцию как раз в то время, когда на конференции должен был голосоваться вопрос об "ориентации". Я подошел к Богданову и сказал ему: "Вы за Милюкова, а я против. Поэтому мы свободно можем уйти с собрания, не повлияв на исход голосования".

И два противника покатили на извозчике в украинское министерство "внутренних справ".

Я просил Лизогуба о ссуде таврическому земству, обслуживающему часть губернии, находящейся на территории Украины, но получил отказ. Лизогуб заявил мне, что до окончательного урегулирования отношений между Крымом и Украиной правительство не может выдавать ни ссуд, ни пособий таврическому земству.

Зная, как немцы посадили крымское правительство и как они же инсценировали помпу избрания Скоропадского, я отлично понимал, что, если они действительно хотят присоединения Крыма к Украине, им стоит только низложить генерала Сулькевича совершенно так же, как они его поставили у власти. Зачем же вся эта нелепая таможенная война, вредная и Крыму, и Украине?!

Этот вопрос я, конечно, задавал украинским министрам, с которыми встречался в Киеве, и получал от них в ответ маловразумительные объяснения, будто немцы сочувствуют присоединению Крыма к Украине, но не хотят вмешиваться во взаимоотношения этих государств.

Вся эта чепуха помешала мне, однако, получить для земства необходимые средства, и я вернулся в Крым, как говорится, не солоно хлебавши.

Киев произвел на меня самое удручающее впечатление. На всем отпечаток пошлости и обмана, и все какое-то не настоящее, лубочное. В министерских канцеляриях картина полной реставрации: вымуштрованные швейцары, важные курьеры, чиновники, записывающие посетителей, которые шепотом беседуют в приемной в ожидании очереди. Все, как в доброе старое время... Но вдруг – дверь широко отворяется и, минуя всех, вне очереди, развязно гремя шпорами, проходит прямо в кабинет министра какой-нибудь юный немецкий офицер. И сразу чувствуешь, что вся эта сановная обстановка не что иное, как наскоро намалеванный лубок, а настоящая действительность в стуке каблуков и в звоне шпор немецкого офицера... Фальшь и ложь на каждом шагу: все стараются надуть друг друга, русские украинцев, украинцы русских, либералы реакционеров и обратно. Министры откровенно говорят в частных беседах, что Украина для них только путь к воссозданию новой свободной России, а вместе с тем подписывают бумаги, написанные

на мало им понятном языке, коверкая свои имена на украинский лад (т.к. украинцы Николаев называют Миколами, то все служащие в правительственных учреждениях Николаи должны были букву "Н" в своих подписях заменить буквою "М"). А в департаментах со странно звучащими для русского уха названиями – "самовредования" (самоуправления), "огульных справ" (общих дел) и др. – сидят "знакомые все лица" старых петербургских чиновников, всякими правдами и неправдами добывших украинские паспорта и вырвавшихся из большевистского застенка на простор украинской государственности. Каждый день через пограничную Оршу в битком набитых вагонах пробирались петербургские сановники всех рангов и занимали соответствующие места в министерствах гостеприимного гетмана Скоропадского.

И пока министры-кадеты говорили либеральные слова, а мой знакомый земский статистик Черненков разрабатывал в департаменте "земельных справ" радикальнейший проект земельной реформы, в это время "повитовые старосты" (начальники уездов), назначенные из прежних землевладельцев, вместе с реставрированной полицией – исправниками, становыми, урядниками – восстанавливали помещичьи хозяйства, а в случае сопротивления крестьян производили экзекуции и порки при содействии австро-германских войск...

Через полтора месяца мне снова пришлось по земским делам побывать в Киеве. За это время в составе гетманского правительства произошли кое-какие перемены, и пост министра внутренних дел занимал уже не старый земец Лизогуб, а известный московский адвокат И.А. Кистяковский. Политика украинского правительства стала откровенно реакционной. Если первое время реакция имела преимущественно стихийный характер и проявлялась главным образом в провинции, вопреки намерениям правительства, тщетно писавшего местным властям сдерживающие циркуляры, то теперь реакционный курс был уже признан наверху. Кистяковский, как передавали, хвастливо называл себя последователем Плеве, а отряды немецких и австрийских войск то и дело ходили на усмирение деревенских бунтов, предавая огню и разрушению восставшие села и деревни.

Вместе с тем определеннее становилась и национальная политика гетманского правительства, которое все решительнее укреплялось в украинском национализме, стараясь этим искупить свою реакционность в глазах украинской национальной демократии.

Война с Крымом велась энергичнее, чем прежде. Украинское правительство придумывало все новые и новые меры для экономической его изоляции. В частности, на интересах таврического губернского земства тяжело отражалось запрещение казначействам северных уездов Таврии оплачивать ассигновки губернской управы. А как раз в это время туда стали притекать

земские налоги и накопились значительные суммы, принадлежащие губернскому земству.

Я пошел к Кистяковскому, чтобы выяснить еще раз вопрос о взаимоотношениях моего странного междугосударственного учреждения с украинским правительством.

И вот между мной и Кистяковским произошел курьезный разговор, которого, к сожалению, я тогда не записал и должен передавать по памяти.

Кистяковский сидел, небрежно развалившись в кресле, перед своим письменным столом и говорил со мной свысока, надменным тоном, в котором, однако, было больше адвокатской развязной хлесткости, чем министерской солидности. Он стал упрекать меня в том, что Крым не желает капитулировать перед Украиной: "Я знаю, что вы там с вашим третьим элементом все мутите. Перейдите на нашу сторону, поддержите нас, и тогда мы дадим вам средства для украинской пропаганды и спасем ваши учреждения от гибели".

В первый раз в моей жизни меня так цинично хотели купить.

Стараясь сохранить спокойствие, я ответил, что украинской агитацией заниматься не имею желания, но считаю, что всякое порядочное правительство обязано спасти от гибели земские учреждения, хотя бы во главе их стояли люди, не разделяющие его политических мнений. Что же касается спора между крымским и украинским правительствами, то я отношусь к нему равнодушно, ибо считаю их учреждениями временными, которые исчезнут с появлением всероссийской власти. Однако мне, как русскому гражданину, эта никому ненужная борьба между двумя частями России, борьба, от которой страдает население, представляется величайшей нелепостью.

Кистяковский счел необходимым поддержать престиж украинской государственности и тем же небрежно-развязным тоном ответил, что я напрасно смотрю на украинское государство как на временное образование. Пропадет ли Россия или нет – ему неизвестно, но он вполне уверен, что Украина будет существовать как самостоятельное государство. "А Крым будет присоединен к Украине, – закончил он свою речь, – хотите вы того или не хотите. Если вы не сдадитесь миром, то мы вас завоюем, если же вы и тогда будете сопротивляться, то мы вас повесим".

На "милую шутку" украинского Плеве мне оставалось только ответить в том же шуточном тоне: "Я все-таки не сомневаюсь, что дни вашей Украины сочтены, а кто кого повесит – мы еще посмотрим". Таким милым обменом мнений закончился разговор министра с председателем управы.

Мы оба ошиблись: через два года оба мы, никем не повешенные, оказались в эмиграции, а Крым и Украина, не слившись до сих пор, входят в состав СССР, сохраняя весьма призрачное автономное устройство.

Подчиненные министра оказались сговорчивее. В департаменте "самовредования" согласились на такой компромисс: губернская управа должна избрать одного из своих членов заведующим делами уездов, лежащих на территории Украины, а украинское правительство распорядится, чтобы казначейства оплачивали ассигновки за его подписью. Я был вполне удовлетворен таким чисто канцелярским выходом из сложного положения, и по моем возвращении в Симферополь член управы П.С. Бобровский был избран нами заведующим украинскими уездами.

Когда на пути в Крым я проезжал ночью станцию Синельниково, я обратил внимание на царившее там волнение. Станционные служащие, ожидающие поездов пассажиры и немецкие солдаты толпились на платформе и что-то горячо обсуждали. На мой вопрос – что случилось, мне ответили, что перед приходом нашего поезда в Синельниково вернулся отряд немецких войск, посланный на усмирение крестьянского восстания. Он был обращен повстанцами в бегство, оставив в их руках орудие и пулеметы. Тут впервые я услышал имя главы повстанцев – Махно, ставшее скоро общеизвестным.

Упоминая о крымско-украинских отношениях, не могу не рассказать курьезного эпизода об одной "экспроприации", в которой я участвовал.

Во время войны в Симферополе, как и в других губернских городах России, был учрежден земско-городской комитет по снабжению армии, "Земгор", как он для краткости назывался. В состав Земгора ex officio входили члены губернской земской управы, а ее председатель был и председателем Земгора.

Когда я вступил в должность председателя управы, у Земгора в разных уездах оставалось еще довольно много не ликвидированного имущества, преимущественно в виде обозных фур и разных заготовленных для них частей. Земгор постепенно ликвидировал это имущество через уполномоченных им лиц.

Получались довольно крупные суммы, которые хранились на счетах губернского земства в виде особого капитала, служившего нам фондом для позаимствований. Без позаимствований из земгорского капитала губернское земство в этот период совершенно не могло существовать. Большая часть ликвидируемого имущества Земгора находилась в Мелитопольском уезде, т.е. на территории Украины, и оттуда притекали в кассу губернского земства весьма значительные средства.

Долго украинское правительство не знало о существовании этого имущества. Когда же узнало, то решило им завладеть. В Мелитополь был командирован из Киева правительственный уполномоченный для принятия имущества и капиталов Земгора.

Получив об этом уведомление от своего уполномоченного, мы решили вывезти из Мелитополя хотя бы всю кассовую наличность

Земгора и поручили это дело члену управы Бобровскому, который успел прибыть в Мелитополь раньше киевского чиновника и получить деньги. Но предстояло еще перевезти захваченную сумму через крымско-украинскую границу, на которой багаж пассажиров подвергался тщательному осмотру, а деньги конфисковывались.

Бобровскому пришлось обмотать свое туловище, руки и ноги лентами керенок и в таком виде, с риском быть арестованным в качестве казнокрада, отправиться в путь.

С большой радостью встретили мы нашего товарища, благополучно вернувшегося из опасной экспедиции, и разматывали накрученные на него керенки. Ведь благодаря успешно совершенной им экспроприации украинской казны учреждения губернского земства могли просуществовать лишних недели две...

В начале сентября 1918 года происходило чрезвычайное губернское земское собрание, на котором гласные крымских уездов, выделившись в особое совещание, вынесли резолюцию с порицанием правительства Сулькевича, в которой заявили о своей готовности взять на себя формирование местной власти. Резолюция эта не была прямо адресована германскому командованию, с которым мы не хотели по своей инициативе вступать в переговоры, но, конечно, была составлена для него, ибо только немцы могли заменить одно правительство другим.

Вскоре после этого выступления земцев произошел эпизод, повлекший за собой частичные перемены в составе правительства и в еще большей степени обостривший вражду к нему общественных кругов Крыма. Эпизод этот заключался в следующем.

Министр финансов граф Татищев, поехавший в Берлин заключать заем для Крыма, встретил там неожиданные затруднения: немцы выражали ему неудовольствие на крымское правительство за то, что оно в тайне от них ведет переговоры с Турцией. Татищев добросовестно отрицал наличность таких переговоров, но ему были представлены доказательства и названо лицо, ездившее из Крыма в Константинополь и получившее аудиенцию у султана.

Оказалось, что министр иностранных дел Джафер Сеитаметов с благословения генерала Сулькевича, но втайне от других министров, послал в Константинополь одного из членов Курултая для каких-то секретных переговоров. В чем эти переговоры заключались и почему они встревожили немцев – я не знаю. Но самый факт, что глава правительства предпринимает серьезные политические действия без ведома своих коллег, побудил наиболее принципиального из них, Налбандова, немедленно подать в отставку. Его примеру последовал и граф Татищев, попавший в глупое положение в Берлине.

С уходом Налбандова, дававшего направление политике правительства, оно стало совершенно бесцветным, если не считать усилившегося национально-татарского привкуса, именно только

привкуса, т.к. немцы уже перестали культивировать татарский национализм, который стал чахнуть без их поддержки.

Мы решили использовать пошатнувшееся положение правительства, и губернская управа снова созвала съезд губернских гласных Крыма.

Съезду предшествовало партийное совещание комитета к.-д. на даче Винавера под Алуштой.

На этот раз было решено предложить съезду избрать главу намечаемого правительства, дабы немцы знали, кого выдвигают местные общественные учреждения в качестве заместителя Сулькевича. Долго нам не пришлось искать кандидата. Все признали наиболее подходящим Соломона Самойловича Крыма.

Он был старым местным общественным деятелем, известным широким кругам населения. Принадлежа к партии Народной Свободы, он никогда не занимал боевых позиций в ее борьбе с другими партиями, так как не обладал боевым темпераментом и всегда был склонен к компромиссу в политических разногласиях. Поэтому к нему с симпатией относились люди разных политических направлений. Как старый либеральный земец, он имел обширные связи в кругах социалистического третьего элемента, как крупный землевладелец и бывший член Государственного Совета – пользовался авторитетом в более правых кругах, наконец, мы надеялись на его популярность среди татар, которые его, как своего кандидата, избирали выборщиком во все Государственные Думы. В бытность свою членом Думы и Государственного Совета он постоянно поддерживал связи с татарами и горячо защищал их интересы. Заменяя татарское правительство русским, нам нужно было показать татарам, что мы не намерены вести политики, враждебной татарскому населению, и фигура С.С.Крыма во главе правительства, как нам казалось, давала достаточные гарантии в этом отношении.

Увы, мы недооценивали влияния на татарские массы националистических демагогов, делавших карьеру при правительстве Сулькевича. Когда образовалось новое правительство, они повели отчаянную агитацию против новой власти, и все прежние заслуги С.С.Крыма были забыты. Именно на нем, больше чем на ком-нибудь другом, сосредоточилась ненависть татар. Как раз то, что он свободно говорил по-татарски и считался в татарской среде более или менее своим человеком, теперь, в атмосфере разгоряченных национальных страстей, создало ему, крымскому патриоту и искреннему другу татар, облик "изменника". Психологически это было понятно, но было большой трагедией для С.С.Крыма, попавшего в такое положение. Тогда, однако, никому из нас не могло придти в голову, что именно он станет мишенью национальной травли, клеветы и инсинуаций.

Собрание губернских гласных состоялось в середине октября.

Предстояло, во-первых, определить политику будущего правительства в деле воссоздания России как целого, а во-вторых, установить нашу внутреннюю крымскую конституцию. По обоим вопросам сразу же обнаружились крупные разногласия между кадетской и социалистической частью собрания. В формуле, касавшейся определения отношения правительства к восстановлению России, социалисты требовали указания на республиканский ее образ правления, кадеты же возражали, считая такое указание предвосхищением воли Учредительного собрания.

Все единодушно признавали необходимость восстановления распущенных правительством Сулькевича городских Дум и земских собраний, но социалисты ставили на этом точку, мы же настаивали на немедленном проведении избирательной реформы с повышением возрастного ценза до 25 лет и с введением годового срока оседлости. Два дня шли у нас бурные споры.

В конце концов социалисты уступили нам в вопросе о республике и о самоуправлениях, мы же согласились на созыв Сейма, но лишь в случае прекращения германской оккупации, с одной стороны, и не совершившегося объединения России – с другой.

Первый пункт единогласно принятой резолюции гласил: "Правительство должно всеми мерами содействовать объединению распавшейся России и с этой целью искать сближения со всеми возникшими на русской земле государственными организациями, поставившими себе основной задачей воссоздание единой России с тем, чтобы вопрос об устройстве и формах правления объединенной России был окончательно решен всероссийским Учредительным собранием".

Какими представляются теперь наивными все эти формулы, тогда казавшиеся столь важными и существенными!

Выработав после долгих усилий объединившую всех программу, собрание избрало депутацию, которая отправилась к генералу Сулькевичу с тем, чтобы предложить ему немедленно передать власть собранию губернских гласных.

Сулькевич принял депутацию весьма сурово и отказался вступать с нею в переговоры. Тем не менее мы продолжали наши занятия и единогласно избрали главой крымского правительства С.С.Крыма, который сейчас же после избрания уехал на южный берег.

Вечером было назначено заключительное заседание для заслушания и подписания журнала.

Когда вечером я подходил к зданию губернской управы, я с удивлением увидел, что вход в него закрыт и оцеплен полицией. Все же меня, как хозяина здания, впустили в управу, и я застал там нескольких гласных, проникших через черный ход, не охранявшийся полицией.

Не успел я открыть заседания, как в мой кабинет робко просунулась голова полицейского офицера, который, сконфуженно

извиняясь, заявил, что он имеет распоряжение о недопущении нашего заседания. Гласные подняли шум и с негодованием обрушились на робкого офицера, внушавшего своим растерянным видом скорее сожаление, чем негодование.

В этот момент мне доложили, что в управу прибыл немецкий офицер и желает меня видеть.

Прервав заседание, я направился к двери в сопровождении робкого полицейского, который скороговоркой, вполголоса шептал мне: "Ах, ваше сиятельство, избавьте нас от этого Сулькевича проклятого, прямо тошно под ним!.."

Немецкий офицер передал мне приглашение начальника штаба немедленно к нему прибыть по срочному делу, и я сейчас же отправился в Европейскую гостиницу, где неизменно помещались все штабы войск, занимавших Симферополь.

За все мое пребывание в должности председателя управы это было мое первое официальное свидание с представителями германского командования.

В Европейской гостинице я сразу попал в особую немецкую атмосферу дисциплины и порядка, увеличивавшую ощущение зависимости от грубой военной силы, над нами властвовавшей. Всюду надписи и стрелки с указанием – где какое начальство находится, чистота удивительная, подтянутые писари с пачками бумаг беззвучно, на цыпочках шныряют по коридорам и по лестнице. А среди этой строго соблюдаемой тишины гулко раздаются твердые шаги с позвякиванием шпор офицера и его односложные повелительные распоряжения...

Меня ввели в приемную начальника штаба фон Энгеллина. Сам он был в отсутствии, и меня принимал его помощник, высокий блондин с большими, характерно-немецкими водянистыми глазами. Как только я вошел, появился еще какой-то немец в полувоенной форме, с лицом, похожим на Аракчеева. Этот неприятный человек, вероятно заведующий политической частью штаба, во все время нашего разговора не проронил ни одного слова, но упорно фиксировал меня тяжелым взглядом, отводя его лишь для внесения каких-то заметок в записную книжку.

– Я просил вас прибыть сюда, – начал полковник, – чтобы узнать, как у вас обстоят дела с формированием нового правительства. – Я ответил, что мы выбрали председателя Совета министров и сформируем правительство, как только немецкое командование устранит правительство Сулькевича.

– Во всяком случае имейте в виду, – заявил полковник, как-то особенно подчеркивая каждое свое слово, – что мы будем поддерживать всякое правительство, опирающееся на доверие широких слоев населения, sie verstehen mich? (вы меня понимаете?) – добавил он значительным тоном, подкрепленным таинственным взглядом водянистых глаз.

— За чем же дело стало? Уберите вашего Сулькевича.

— Мы этого не можем сделать, так как не мы его назначали. Припомните, что в декларации генерала Сулькевича было сказано, что он берет власть с согласия немецкого командования. Tolko s soglasia, nicht po nasnatcheniu, — произнес он по-русски.

— Тогда в чем же будет заключаться ваша поддержка новой власти? Ведь если вы не хотите сместить Сулькевича сами, то значит ожидаете, что мы его сместим насильственным путем. Ведь третьего выхода нет.

— Нет, насильственного переворота германское командование не допустит ни под каким видом.

— Тогда зачем же вы весь этот разговор со мной ведете? — сказал я уже несколько раздраженным тоном и поднялся, чтобы уходить.

Полковник тоже поднялся и, пожимая мне руку, опять отчеканил:

— Помните же, что мы будем поддерживать всякое правительство, опирающееся на доверие населения. — И опять: — Sie verstehen mich? — с таинственным видом заговорщика.

Я вернулся на заседание гласных в полном недоумении от этих странных переговоров, из которых понял лишь, что немцы уже не склонны поддерживать во что бы то ни стало созданное ими правительство.

На следующий день я пошел к Сулькевичу с тем, чтобы еще раз попытаться убедить его передать власть С.С.Крыму. Разговор в германском штабе давал мне основание рассчитывать, что немцы произвели на него некоторое давление. Сулькевич, с своей стороны, в это же время вызвал меня к себе по телефону.

Произошло недоразумение: уверенный, что я явился по его вызову, он меня принял по-начальнически и стал, что называется, "пушить" грозным генеральским баритоном. А я вынул из кармана постановление об избрании С.С.Крыма главой правительства и молча вручил его генералу.

Произошла немая сцена. Сулькевич очевидно не знал, продолжать ли разговор и в каком тоне его вести. Наконец, был избран дружелюбный тон:

— Не понимаю, зачем вам нужно другое правительство? Ведь тех же лиц, каких вы намечаете, я бы охотно пригласил в свой кабинет. А вы тут революцию какую-то затеяли!.. Ну, давайте попросту объяснимся. Что вы против меня имеете?

Обвинительных пунктов у меня было достаточно, но самым свежим из них были таинственные переговоры с Турцией. С этого я и начал.

— Ах, и до вас дошла эта сплетня, — перебил меня генерал. — Удивительно, как из-за пустяка у нас целые истории раздувают. А дело, ей Богу, самое пустяковое. Знаете, как это было: когда я стал во главе

крымского правительства, то, как мусульманин, получил приветствие от султана. Я решил, что и мне нужно ответить ему какой-нибудь любезностью. Как раз наступал день его рождения. А Сейтаметов мне говорит, что его знакомый татарин едет в Константинополь. Ну, знаете, я и решил с ним послать приветствие султану по случаю его рождения. Вот и все. А Налбандов и другие невесть что на меня наплели.

Я дал понять Сулькевичу, что не склонен верить наивному вздору, который от него выслушал, и еще раз в дружелюбном тоне посоветовал ему добровольно покинуть свой пост. При этом я сказал, что и немцы перестали его поддерживать.

– Ну нет, вы очень ошибаетесь, – возразил генерал, вновь оживляясь и переходя на прежний высокомерный тон, – германское командование всецело на моей стороне, и вот вам доказательство: вчера я послал полицию разогнать ваше собрание с ведома командования и при полном с его стороны одобрении моих действий.

В этом случае я видел, что Сулькевич говорит правду, и совершенно недоумевал – в чем же смысл двойной игры немцев?..

Итак, правительство Сулькевича еще осталось у власти.

Между тем во Франции началось крушение немецкого фронта. В Крыму об этом ничего не было известно, так как цензура германского штаба не пропускала соответствующих телеграмм. Нам, наоборот, казалось, что война затягивается и что мы еще надолго останемся под властью немцев.

И вдруг, совершенно неожиданно, кто-то привез из Киева весть о революции в Германии. Известие было радостное не только потому, что оно знаменовало конец войны, но и потому, что мы верили в помощь наших союзников в борьбе за восстановление в России нормальной государственной власти.

Однако ближайшие перспективы в связи с уходом немцев были тревожны: какая же власть останется в Крыму после их ухода и на какую силу эта власть будет опираться? Ясно было, что правительство генерала Сулькевича после ухода немецких войск падет немедленно. Нам придется формировать свое. Но ведь в его распоряжении не будет ни одного солдата. Мысль о формировании собственной территориальной армии, выдвигавшаяся частью социалистов, была явно утопична. А между тем события шли быстро...

Для всех, знакомых с положением на Украине, не могло быть сомнений, что там вспыхнет восстание. Трудно было отвечать и за спокойствие в крупных центрах Крыма, где большевики имели свои организации. Наконец, возможно было ожидать продвижения Красной армии через Украину. Все эти события не стали бы ждать, пока новое крымское правительство сформирует свою маленькую армию. Медлить было нельзя... Я созвал совещание губернской управы, на котором было принято решение обратиться от лица

таврического земства к генералу Деникину с просьбой занять своими войсками Крым немедленно после ухода немцев.

С соответственным постановлением, подписанным составом управы, был нами командирован в Екатеринодар мой предшественник по должности председателя управы, Н.Н. Богданов, участник первого кубанского похода и лично хорошо знакомый с Деникиным.

Вместе с тем казалось необходимым, чтобы до ухода немцев и до появления добровольческих войск в Крыму уже водворилась бы новая власть, власть "общественного доверия" (ставлю это выражение в кавычки, ибо большинство населения Крыма относилось довольно пассивно к нашим политическим комбинациям).

Снова было созвано совещание крымских гласных, которое решило уже прямо обратиться к немцам с просьбой устранить от власти правительство Сулькевича и дать возможность земству сформировать свое. Немцы уже были побеждены и скоро должны были покинуть Крым. Поэтому прямое обращение к ним не имело того одиозного для нашего национального самолюбия характера, какой имело бы раньше, когда они были торжествующими победителями.

Срочно вызванный в Киев в бюро проектировавшегося тогда съезда земств и городов юга России, я не участвовал в совещании крымских гласных.

Через несколько дней после моего возвращения в Симферополь ко мне явился немецкий офицер и просил меня дать знать С.С. Крыму, что начальник штаба желает его видеть. Очевидно, немцы поняли, что, оставив после себя правительство Сулькевича, они окажут ему плохую услугу.

Я ответил, что Крыма в городе нет, но что я могу его немедленно вызвать телеграммой. Однако я полагал бы, что главе правительства, избранному народным представительством, не совсем удобно являться по вызову в штаб германского командования, и если начальнику штаба нужно его видеть, то свидание лучше устроить на частной квартире. Мое предложение было передано начальнику штаба и не встретило возражений. Мы сговорились на следующий день вечером встретиться в квартире известного таврического землевладельца В.Э. Фальц-Фейна.

В условленный час мы с С.С.Крымом пришли туда, а через несколько минут появились и немцы – начальник штаба фон Энгеллин и его помощник, знакомый мне полковник с водянистыми глазами.

Несмотря на то, что немецкие войска в Симферополе уже совсем разложились, что заседал немецкий Совет солдатских депутатов, что в штабе, куда я заходил по делу, не было и намека на прежний порядок и те же солдаты, которые месяц тому назад ходили на цыпочках по коридору, теперь слонялись в расстегнутых мундирах, курили толстые сигары, нарочито стучали каблуками и громко разговаривали, несмотря на все это, наши собеседники имели чопорный и надменный вид.

Фон Энгеллин начал с заявления, что германское командование готово в любой момент сместить генерала Сулькевича и передать власть земско-городскому правительству, но он должен предупредить, что через полторы недели германские войска покидают Крым.

Мы ответили, что от формирования власти не отказываемся, но что для образования нового правительства необходимо одно условие: наличность воинской силы. Крым не может ни одной минуты оставаться без войск, а потому германское командование должно допустить приход в Крым Добровольческой армии еще ранее, чем уйдут из него немецкие войска.

– Es ist ausgeschlossen (это исключено), – важно и спокойно заявил фон Энгеллин.

– Но разве вы допускаете возможность сохранения порядка в Крыму при полном отсутствии военной силы?

– Это нас не касается.

– Однако вы не можете не понимать, что при таких условиях даже маленькая кучка вооруженных большевиков может произвести государственный переворот.

Энгеллин надменно пожал плечами.

– Après nous le déluge, – произнес он, самодовольно улыбаясь и длительно шипя французское "g" как немецкое "sch".

– Впрочем, если вы не уверены в своей безопасности, – добавил он с тонкой улыбкой, – то я не сомневаюсь, что главнокомандующий даст вам возможность уехать с германскими войсками.

Эти наглые слова вывели меня из себя, и я уже открыл рот, чтобы дать резкую реплику, но пока я придумывал соответствующую немецкую фразу, более дипломатичный С.С.Крым уже ответил:

– Мы не просим вас заботиться о нас лично, а имели вообще в виду население, которое вы увезти с собой не можете. А вы, надеюсь, знаете, что среди этого населения есть много немецких колонистов, которые будут первыми жертвами большевиков. Безразлична ли вам судьба ваших соплеменников?

Немец не ожидал такого ответа. Он на минуту задумался, а затем, вздохнув, как бы про себя пробормотал: "Ja, es ist wichtig" (да, это существенно).

– Хорошо, я доложу главнокомандующему о нашей беседе. Вопрос требует некоторого размышления.

На этом мы разошлись.

А через неделю пришла от Винавера из Екатеринодара телеграмма, что войска Добровольческой армии отправлены в Крым.

Глава 30

ЗЕМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЛОМОНА КРЫМА
(ноябрь 1918 – март 1919)

Образование правительства С.С.Крыма. Встреча союзного флота. Декларация генерала Деникина. Двоевластие. Борьба командования Добровольческой армии с правительством Крыма. Бесчинства офицеров контрразведки. Убийства добровольцами земских деятелей Мелитопольского уезда. Вопрос о крымском Сейме. Крымское правительство под обстрелом справа и слева. Земско-городской съезд юга России. Красная армия приближается к Крыму. Правительство просит помощи у союзников. Добровольческая армия не укрепила Крым, несмотря на крупные ассигнования крымского правительства. Конфликт между ген.Деникиным и правительством Крыма обостряется. Конец крымского правительства.

14-го ноября губернская земская управа получила уведомление от германского командования о том, что оно отстраняет генерала Сулькевича от должности и предоставляет губернскому земству образовать свое правительство. А 15-го ноября С.С.Крым уже принимал дела и приступил к формированию кабинета, состав которого был еще ранее намечен на межпартийных совещаниях во время собрания земских гласных.

Если по вопросу о крымской "конституции" между представителями политических течений велись долгие споры и пререкания, то сговор о личном составе правительства прошел неожиданно гладко и миролюбиво.

Социал-демократические меньшевики, убоявшись ответственности, совершенно отказались делегировать своих представителей в правительство, созданное при их непосредственном участии.

От социалистических партий в правительство вошли двое: эсер С.А.Никонов (народное просвещение) и "плехановец" П.С.Бобровский (министерство труда). Из партии к.-д., кроме самого С.С.Крыма, вошло трое: М.М.Винавер (внешние сношения), В.Д.Набоков (юстиция) и Н.Н.Богданов (министерство внутренних дел).

Эти шесть человек составляли коллегию, руководившую общей политикой правительства. Кроме них в его состав входили два чисто

деловых министра: А.А. Стевен (продовольствие и снабжение) и управляющий казенной палатой А.П. Барт (финансы).

Впоследствии оно включило в свой состав еще двух министров: военного – генерала Бучика и морского – адмирала Канина. Второй жил в Севастополе и, если не ошибаюсь, совсем не принимал участия в заседаниях Совета министров, первый же появлялся на них, всегда молчал, но не только не стремился поддержать престижа правительства, к которому принадлежал, но не скрывал в военных кругах, в которых вращался, своей к нему неприязни.

С.С. Крым пытался привлечь в свое правительство и представителей татарского населения, но лидеры татарских националистов сразу заняли резко враждебную позицию по отношению к новой власти, а более умеренные татары боялись, вступив в правительство С. Крыма, себя скомпрометировать перед своими демагогами.

Опасения наши, что с уходом немцев могут начаться беспорядки, не оправдались. Немцы уже в середине ноября вывели свои войска из всего Крыма, кроме Севастополя, общая же численность прибывших в разные города Крыма частей Добровольческой армии не превышала 300 человек. Однако спокойствие и порядок нигде не нарушались. Население подчинилось новой власти без всякого сопротивления.

Недели через две после образования нового правительства по радио пришло известие из Константинополя, что франко-английская эскадра вошла в Черное море и направляется в Севастополь. В то время мы были отрезаны от Западной Европы с одной стороны большевистским фронтом, а с другой – немецкой цензурой. Благодаря этому мы плохо разбирались в сложностях послевоенной политической обстановки и склонны были ее упрощать и схематизировать. Нам казалось, что логическая связь, существовавшая между победами германского оружия, расчленением России и торжеством большевиков, должна существовать и между явлениями обратного порядка и что победа союзников будет иметь последствием падение большевиков и объединение России.

И шедшая к нам эскадра представлялась нам в нашей убогой жизни знамением освобождения и возрождения нашей родины. Понятно, в каком подъеме настроения готовились мы встречать наших освободителей...

Из Симферополя навстречу союзной эскадре выехало три делегации. Одну составляло правительство в полном составе, вторую – представители Добровольческой армии, в третью входили избранные на только что происходившем губернском земском собрании двое гласных-крестьян и я.

Накануне прибытия эскадры, в специальном поезде, мы отправились в Севастополь. Оба вагона поезда были битком набиты, так как у каждой делегации были свои друзья, которым трудно было отказать в естественном желании присутствовать в Севастополе на

таком торжественном событии. Эти друзья так заполнили вагоны, что официальные делегаты едва в них поместились.

Из Севастополя по радио было послано на эскадру извещение о намерении делегаций посетить адмирала на флагманском судне и получился ответ с изъявлением согласия нас принять.

Запомнился мне отчаянный холод в нетопленой гостинице Кист, в которой были отведены номера для членов правительства и земской делегации. Зайдя к С.С.Крыму, я застал его бегающим в теплой вязаной фуфайке взад и вперед по холодному номеру и зубрящим французскую речь, которую он составил для произнесения на следующий день на флагманском броненосце.

В торжественном нашем настроении нам представлялась торжественная картина завтрашней встречи с нашими союзниками: вот мы подъезжаем к английскому дредноуту, всходим на палубу, где выстроены матросы; музыка играет Преображенский марш, заменивший в Добровольческой армии национальный гимн. Выходит адмирал, которому мы, представители власти, армии и населения, говорим приветственные речи; он отвечает торжественной речью, в которой обещает нам, оставшимся верными нашим союзникам, помочь в спасении нашей родины от ига немцев и большевиков... Потом – снова музыка, адмирал устраивает нам завтрак, за которым тосты следуют за тостами, а затем мы возвращаемся на берег, где городская Дума приготовила уже обед для делегации офицеров и матросов прибывшей эскадры...

В таком приблизительно виде нам представлялся ритуал следующего дня, когда мы, стуча зубами от холода, комбинировали высокопарные французские фразы в заготовляемых речах. А севастопольский городской голова Емельянов хлопотал по устройству изысканного обеда для наших давно жданных союзников.

На следующий день я встал рано. Погода стояла чудесная. Солнце грело, как весной, зеленовато-синее море ласково шумело легким прибоем у приморского бульвара, который с раннего утра заполнился густой толпой народа, с волнением ожидавшей прибытия эскадры. Я присоединился к этой толпе. Все напряженно смотрели в прозрачную синюю даль.

Вдруг толпа заволновалась, кто-то из стоявших на скамейках крикнул: "Вот они!" И действительно, на горизонте показалась полоска дыма, потом другая, третья...

Все ближе и ближе приближалась эскадра серых военных судов, среди которых резко выделялся белый, блестевший на солнце итальянский крейсер. Суда шли в кильватерной колонне. Дредноуты, крейсеры, миноносцы... Всего их было шестнадцать. Впереди большой дредноут под английским флагом, затем два французских дредноута, белый итальянец и дальше вереница мелких судов под английскими, французскими и греческими флагами. Шли

полным ходом, красиво заворачивали в севастопольские бухты и бросали якоря на заранее обозначенных местах.

Толпа кричала ура и махала шапками... Наконец совершилось то, чего мы ждали в течение четырех лет войны и двух лет распада России. Победа союзников – это наша победа, наше спасение!..

Я почти бегом отправился на Графскую пристань, где должны были сойтись делегаты, чтобы ехать на английский флагманский дредноут. У пристани дымили три катера: один для правительства, другой для депутации Добровольческой армии и третий для "представителей населения", т.е. для нас. В нашем катере уже разместилась депутация севастопольской Думы. Городской голова Емельянов, красивый старик в собольей шапке, едва прикрывавшей его густые белые кудри, и с массивной цепью на русской поддевке, был необыкновенно живописен. Такой "un vrai moujick russe" должен был произвести впечатление на союзников.

Наш катер осаждали журналисты и просто любопытные, желавшие пробраться на английский дредноут под видом представителей прессы. В конце концов вместо шести официальных делегатов поехало человек двадцать.

Все три катера подошли к дредноуту одновременно. С одного борта взошли на него наши министры, которых мы с этого момента потеряли из виду, а с другого – мы и добровольческая депутация.

Английский офицер, встретивший нас у трапа, любезно предложил подождать, пока он доложит адмиралу, и провел нас в какое-то крытое помещение на средней палубе, где не было ни стульев, ни скамеек. И мы стали ждать...

Ждали около получаса. Подошел немецкий катер, из которого вышел немецкий генерал, комендант Севастопольской крепости. Он прошел мимо нас искусственно твердой походкой, бледный, с опущенной головой, стараясь не встречаться с нашими злорадно смотревшими на него глазами.

И еще ждали часа полтора...

Приподнятое настроение стало постепенно нас покидать, сменяясь чувством обиды и раздражения. Нас положительно принимали не как представителей дружественного населения и союзной армии, а третировали, как каких-то частных просителей!..

Среди депутатов поднялся ропот.

– Да черт их возьми совсем, – наконец заявил кто-то, – не хотят нас принимать – и не надо. Вернемся в город. Дольше ждать прямо унизительно.

В это время к нам подошел английский лейтенант и сказал, что адмирал, которому сдает Севастопольскую крепость германский комендант, не может нас принять и просит подождать еще около часа.

Я ответил, что депутация ждать дольше не может и предпочитает приехать, когда адмирал освободится.

Мы уехали на берег, получив аудиенцию во второй половине дня, а правительственная и добровольческая депутации остались ждать.

Через два часа министры вернулись в Севастополь крайне смущенные приемом. Оказалось, что командующий эскадрой адмирал Кольсорп не только ничего не подозревал о существовании крымского правительства, но даже не знал – какая власть в Крыму, большевистская или антибольшевистская. Поэтому, любезно приняв крымских министров, он отказался вступать с ними в какие бы то ни было переговоры, не испросив предварительно инструкций от своего правительства.

Невольно напрашивалась параллель с немцами, которые вступили в Крым полгода тому назад в подробностях осведомленные о всех местных делах...

В назначенный час наша делегация снова поднялась на борт английского дредноута. На этот раз нас сразу записали и пригласили в адмиральскую каюту. Но не всех сразу, а сначала депутацию губернского земства, состоявшую из трех человек.

Я вошел в адмиральскую каюту в сопровождении двух гласных-крестьян, костюмы которых – поддевки и высокие сапоги – так не гармонировали с ее комфортабельным убранством.

Адмирал, маленький бритый человечек, с любопытством осмотрел моих спутников – "туземцев", как, вероятно, мысленно их называл, и, пожав нам руки, притянул меня к маленькому диванчику и усадил рядом с собой.

И вот так, сидя бочком рядом с адмиралом, очень плохо понимавшим по-французски, перед аудиторией, состоявшей из двух ничего не понимавших по-французски моих товарищей-гласных, я бормотал скороговоркой свою французскую речь, которую приготовил для произнесения в торжественной обстановке встречи наших "верных союзников".

Редко мне приходилось бывать в более глупом положении.

Насколько мог, я сокращал свою речь, торопился, путался, стремясь как можно скорее окончить эту нелепую, никому не нужную комедию. Адмирал тоже, видимо, не очень понимал, зачем все это происходит, и, когда я окончил речь, он на отчаянном французском языке выразил надежду, что скоро все будет в России хорошо.

В это время ввели депутацию севастопольской городской Думы в сопровождении подлинных и подложных журналистов. Городской голова раскрыл папку с адресом и стал читать его по-русски, а переводчик переводил на английский язык. Адмиралу стало легче, так как он все понимал и мог тоже отвечать бегло на своем языке. Но когда голова просил его "пожаловать на берег откушать русских хлеба-соли", он наотрез отказался, заявив, что на этот счет не имеет инструкций.

Впрочем, через несколько дней инструкции пришли, и к нам в Симферополь приехала делегация союзных моряков не слишком высоких рангов, которых крымское правительство и Добровольческая армия приветствовали банкетом. На этом банкете много было сказано хороших речей, покрывавшихся бурными аплодисментами французских и английских офицеров, еще больше было выпито водки и вина. Офицеры, пьяные и довольные, поехали дальше, в Мелитополь, где продолжали пить, слушая речи и тосты, и, вероятно, долго с удовольствием вспоминали об этой пьяной поездке и о русском гостеприимстве...

Крымскому правительству с первых же дней своего существования пришлось устанавливать свои отношения с командованием Добровольческой армии.

Отпуская войска для занятия Крыма, генерал Деникин прислал на имя председателя губернского земского собрания С.С. Крыма письмо, определяющее эти отношения. "В данное время, – писал Деникин, – Добровольческая армия ведет кровопролитное сражение в районе Ставрополя и не может выделить для Крыма серьезных сил. Но помочь от души желаем. Поэтому я сделал распоряжение: 1) Немедленно выслать небольшой отряд с орудием в Ялту; 2) другим отрядом занять Керчь; 3) в командование вооруженными силами вступить генералу Корвин-Круковскому, которому даны следующие инструкции: русская государственность, русская армия, подчинение мне, всемерное содействие крымскому правительству в борьбе с большевиками, полное невмешательство во внутренние дела Крыма и борьбу вокруг власти; 4) посланные части являются лишь кадром, который будет пополнен мобилизацией офицеров и солдат на территории Крыма; дело это поручено "начальнику крымского центра", генералу де Боде; в распоряжение его командируются соответственные помощники по делу формирования и снабжения. От души желаю Крыму мирной жизни, столь необходимой для творческой, созидательной работы".

Итак, как будто все благоприятствовало новому крымскому правительству. В состав его входили популярные общественные деятели, из которых некоторые пользовались всероссийской известностью. Оно опиралось на армию, глава которой категорически обещал ему, с одной стороны, полную поддержку, а с другой – невмешательство в управление. Наконец, оно было образовано общенародным демократическим представительством, при участии комитетов влиятельных буржуазных и социалистических партий.

Только татары проявляли враждебные к нему чувства, но мы надеялись, что эти чувства, искусственно подогреваемые кучкой татарских шовинистов, делавших карьеру на немецкой оккупации, сгладятся с уходом немцев.

Довольно скоро, однако, обнаружилось, что в самой конструкции власти далеко не все обстояло благополучно.

Эти пять месяцев в Крыму, от ухода немцев и до прихода большевиков, можно охарактеризовать как период двоевластия и борьбы двух властей – военной и гражданской.

Иначе и быть не могло, ибо только абстрактно можно представить себе одновременное существование на одной территории двух независимых друг от друга властей, и приходится только удивляться, как мы были наивны, уверовав в прочность изобретенной нами комбинации. Наивность эта в значительной степени объяснялась невольной идеализацией нами Добровольческой армии.

Нужно думать, что и Деникин искренне был уверен в том, что его представители в Крыму выполнят данное им обязательство не вмешиваться в дела гражданского управления.

Но уже через несколько дней после прихода отрядов Добровольческой армии в Крым начальник крымской дивизии, Корвин-Круковский, подал начальнику крымского центра, генералу де Боде, рапорт совершенно панического содержания, в котором доносил, что большевики массами притекают в Крым, "где по условиям существующего порядка им легче всего жить", что в Крым привозится большое количество оружия, что, "не говоря уже о немецких колонистах, которые все прекрасно вооружены и просили только инструкторов от немецких офицеров, весь подозрительный элемент края богато снабжен оружием, включительно до пулеметов", что "такому крайнему настроению масс способствует не только анархия, возглавляемая Петлюрой, охватившая Украину, и банды Махно, оперирующие в северной Таврии, но в значительной мере этому способствует и само крымское правительство, хотя и одушевленное высоким стремлением спасти Россию, но фактически не имеющее воли решиться на нужные меры из-за необходимости прислушиваться к мнению даже самых крайних элементов края", что "не только в тюрьмах, но и на свободе проживает масса лиц, за каждым из которых числится несколько убийств офицеров" и т. д. Ввиду всего этого Корвин-Круковский приходил к выводу, что необходимо немедленно объявить Крым на военном положении, передать железные дороги, телеграф и телефон в ведение командного состава армии и "дать власть командному составу Добрармии ареста большевиков, гуляющих на свободе, и передать армии всех большевиков, находящихся в тюрьмах, для суда, принятого в армии".

Факты, приведенные в этом паническом и не очень грамотном рапорте, были либо неверны, либо неправильно освещены. Немцы, только что ушедшие из Крыма, вели систематическую борьбу с большевиками, из которых наиболее активные либо сидели в тюрьмах, либо были казнены. Исключение было сделано только для одного Дыбенко (вероятно, за услуги, оказанные германским агентам в Кронштадте, во время революции), который был освобожден из севастопольской тюрьмы и выслан из Крыма. Немцы действительно вооружили немецких колонистов, но колонисты, как

показала дальнейшая история борьбы, были может быть единственной частью населения юга России, активно сопротивлявшейся большевикам. Ими были организованы партизанские отряды, оказывавшие существенную помощь Добровольческой армии. Что касается массового ввоза оружия в Крым, то этот факт едва ли имел место, ибо Крым был отделен от Советской России пространством всей Украины, где власть только что перешла к Петлюре, который продолжал войну с большевиками.

Получив от генерала де Боде копию этого рапорта, обнаруживавшего полное незнание Корвин-Круковским местных условий, С.С. Крым пошел к нему с разъяснениями, но в доказательство попустительства власти по отношению к большевикам ему был предъявлен список шестидесяти большевиков, разгуливающих на свободе. Первым в этом списке фигурировал известный в Крыму как лидер реакционеров в старом цензовом губернском земском собрании бывший земский начальник Сахновский. Его причастность к большевизму заключалась в том, что в его имении стоял отряд красноармейцев, которому он вынужден был давать продовольствие и фураж. Остальные "опасные большевики" были в том же роде. В списке стояли имена тридцати членов татарского Курултая, их можно было обвинить в сепаратизме, но отнюдь не в симпатиях к большевикам, которым они в свое время пытались оказать вооруженное сопротивление. Остальные же — самые разные люди, известные и неизвестные, — жертвы случайных доносов...

Когда через некоторое время чрезвычайная комиссия, образованная для борьбы с внутренними большевиками, рассмотрела этот список, она категорически установила, что в нем не было ни одного лица, хоть сколько-нибудь скомпрометированного своей связью с большевиками.

Между тем, если бы пожелание рапорта было осуществлено и было бы введено в Крыму военное положение, то все эти шестьдесят ни в чем неповинных людей оказались бы на виселице.

Копию своего рапорта Корвин-Круковский отправил генералу Деникину.

Можно себе представить, какое должно было произвести впечатление на Деникина и его окружение изображение картины крымской анархии в рапорте одного из ответственных представителей армии. Вопрос о введении военного положения в Крыму был поставлен на очередь и стал с этого времени поводом для бесконечных споров и пререканий между генералом Деникиным и крымским правительством. По этому вопросу было исписано много бумаги, он выдвигался при личном свидании с Деникиным министров, ездивших в Екатеринодар для его уяснения, и был предметом постоянных переговоров по прямому проводу. Этот прямой провод, у которого в Екатеринодаре, в качестве смягчающего удары буфера, неизменно стоял Н.И. Астров, играл большую роль в жизни

крымского правительства. Я часто бывал в министерской "коммуне", т.е. в бывшем губернаторском доме, где наши министры заседали и жили, и видел, как постоянно кто-нибудь из них направлялся говорить с Астровым по прямому проводу для улаживания ежедневно возникавших крупных и мелких конфликтов. При этом каждый разговор кончался указанием из Екатеринодара на намерение командования добиться введения в Крыму военного положения.

А конфликты возникали на каждом шагу и по всякому поводу.

Как это ни странно может с первого взгляда показаться, но вопрос о введении военного положения в Крыму, вызвавший столько пререканий между крымским правительством и командованием Добровольческой армии, имел совершенно академический характер. Ибо для всякого здраво рассуждающего человека было очевидно, что имея на миллионное население Крыма армию в 300-400 человек, можно объявить военное положение, но осуществить его нельзя. Этот аргумент выставлялся крымскими министрами и приезжавшему в Крым генералу Лукомскому, и самому генералу Деникину. Но о нем забывали и спор начинался сызнова.

Добровольческая армия еще не была в состоянии завести в Крыму свое управление. Поневоле приходилось считаться с существованием крымского правительства. И его "терпели"... Правительство тоже "терпело"... Действительно, ему нужно было обладать большим запасом терпения.

С.С. Крыму изо дня в день приходилось вести переговоры с начальником штаба Добровольческой армии, генералом Пархомовым, по поводу жалоб населения на бесчинства офицерства из контрразведок. Генерал Пархомов, к которому и мне неоднократно приходилось обращаться по подобным делам, был всегда любезен и предупредителен, обещал непременно расследовать дело и наказать виновных, но "виновные" продолжали безнаказанно безобразничать.

Корректный "нейтралитет" Пархомова, не удовлетворяя одну сторону, вызвал с другой — со стороны контрразведок — резкие нарекания. Из этих учреждений, являвшихся притонами не только для уголовных преступников, но и для большевистских агентов, был пущен слух о предательстве Пархомова. Такие "достоверные" сведения о начальнике штаба были очень распространены среди боевого офицерства и едва ли способствовали поднятию духа армии...

По части эксцессов особенно отличалась группа ялтинских контрразведчиков. Вначале они производили беззаконные обыски и аресты, а затем началась серия убийств с грабежами. На профессиональном жаргоне убийства назывались "выведением в расход".

Офицеры контрразведки арестовывали отдельных лиц, преимущественно евреев, простреленные тела которых находили потом где-нибудь в оврагах, в окрестностях Ялты.

Министр юстиции Набоков наряжал следствия, материалы их передавались военным властям, но убийцы оставались на свободе и продолжали убивать и насильничать.

Один из участников этих кровавых дел, офицер Вонсяцкий, попав в эмиграцию и, вероятно, нуждаясь в деньгах, продал свои воспоминания о них редакции "Последних Новостей", где они и были напечатаны за его подписью. Я читал их тогда с глубоким отвращением и возмущался тем, что газета их печатает. Теперь, вероятно, сам Вонсяцкий не очень доволен своей откровенностью, ибо, женившись на американской миллионерше, стал видной фигурой в эмиграции. Еще недавно я видел его портрет, напечатанный в одном из журналов дальневосточной эмиграции, где этот "уважаемый деятель" считается одним из главарей русских "националистов" германофильской ориентации.

Самым громким из возникших в Ялте "дел" было дело об убийстве известного московского фабриканта Гужона.

Мне до сих пор непонятно, чем этот политически умеренный и, кажется, скромный и порядочный человек возбудил ненависть своих убийц. Он был убит на своей даче, на глазах семьи, сидевшей с ним за чайным столом, внезапно появившимися людьми в масках. Следствием руководил известный судебный деятель Н.Н. Таганцев. Несмотря на целый ряд чинившихся ему препятствий, ему удалось наконец установить личности виновников убийства — офицеров Добровольческой армии. Однако дело это сознательно затягивалось, ибо Гужон был французским гражданином и обнаружение факта убийства его офицерами могло неблагоприятно повлиять на отношения французского правительства и Добровольческой армии.

Происходили эксцессы и в других городах Крыма. В Симферополе контрразведчики облюбовали один кафе-шантан на Дворянской улице, и каждую ночь там происходили пьяные скандалы, один из которых кончился убийством музыканта Грединара. Министр внутренних дел распорядился после происшедшего закрыть этот кабак. Но когда полиция явилась для приведения распоряжения в исполнение, то офицеры оказали ей вооруженное сопротивление...

Все эти так называемые "эксцессы", конечно, не одобрялись и не поощрялись свыше, но находили в Екатеринодаре своих истолкователей, которые объясняли их как вынужденную самозащиту офицеров против свободно разгуливающих, благодаря слабости правительства, большевиков и являлись лишним аргументом в пользу введения военного положения. При "дворе" Деникина говорили: "Если в Крыму будет введено военное положение, то офицерские самосуды прекратятся, ибо офицеры увидят, что власть охраняет тыл от большевиков".

Крымское правительство и мы, свидетели этой кровавой анархии, делали обратный вывод: мы полагали, что с введением военного

положения вся борьба с большевиками сосредоточится в руках контрразведки, которая ведь и является источником "эксцессов", а потому "эксцессы", теперь все же единичные, станут общим явлением.

Кто был прав в этом споре — видно из того, что в период крымского правительства передвижение по крымским дорогам было совершенно безопасно, а из большевистских выступлений можно отметить только два: неудавшуюся попытку всеобщей забастовки в Севастополе и тоже слабую и неудачную попытку произвести вооруженное восстание в Евпатории. А на следующий год, когда Крым находился в непосредственном управлении правительства генерала Деникина, с одной стороны, участились "эксцессы" контрразведок, а с другой — окрепли и большевистские силы: в Керчи, на самом почти фронте, вспыхнуло с трудом подавленное восстание, большевистская агитация усилилась во всех городах, а на всех дорогах происходили грабежи "зеленых".

Другим поводом к конфликту между Крымом и Екатеринодаром был вопрос о северных уездах Таврии.

Еще во время немецкой оккупации в Крым приезжал представитель Добровольческой армии полковник Дорофеев. В Крыму он находился в тайных сношениях с кадетами, а в северных уездах Таврии — с местными земцами, среди которых преобладали эсеры. Я помню, как один из мелитопольских эсеровских лидеров, член Учредительного собрания Алясов, приезжал тайно в Симферополь для переговоров с полковником Дорофеевым. Так же как и у нас, вопрос тогда шел о занятии войсками Добровольческой армии Бердянского, Мелитопольского и Днепровского уездов, насильно украинизировавшихся киевскими правительствами.

Однако, добровольцы заняли северную Таврию несколько позже, чем Крым.

В этот промежуток времени, после ухода немцев и падения гетмана Скоропадского, но до прихода добровольцев, города северной Таврии управлялись городскими Думами, а в уездах единственной властью оказались земские управы. Земская власть, не имея в своем распоряжении воинской силы, не могла справиться с начавшимся в деревнях анархическим движением. В Бердянском уезде оперировал батька Махно, а в северной части Мелитопольского уезда власть захватил местный учитель Опанасенко, называвший себя анархистом. Его отряды громили помещичьи усадьбы, грабили богатых крестьян и убивали всех местных жителей, принимавших участие в репрессиях гетманского правительства. Власть, или, точнее говоря, анархия Опанасенко распространялась в Мелитопольском уезде, и его вооруженные отряды появились возле Мелитополя. Дабы помешать вторжению его грабительских отрядов в Мелитополь, представителям земства и города пришлось вступить с ним в переговоры.

Как раз в этот момент добровольческий гвардейский корпус, оттеснив Махно из Бердянского уезда, занял Мелитополь. Жители, измученные режимом гетмана Скоропадского и напуганные наступившей анархией, искренне радовались появлению "настоящей" русской власти. В земских кругах, которые давно уже вели тайные переговоры с представителями добровольческого командования, с особой радостью относились к приходу добровольцев.

В Симферополе мы тоже радовались занятию северной Таврии добровольческими войсками. Мы жили чаяниями о "единой России", и в нашей местной борьбе символом этого единства было воссоединение разделенной между двумя "государствами" Таврической губернии. Поэтому, как только до нас дошла весть о вступлении в северную Таврию Добровольческой армии, губернская управа возбудила вопрос перед крымским правительством о присоединении ее к Крыму. Правительство ответило, что оно сможет войти по этому поводу в переговоры с Деникиным лишь в том случае, если инициатива будет исходить от органов местного самоуправления северной Таврии.

Я сейчас же телеграммой созвал совещание земских и городских гласных северных уездов в Мелитополе и сам отправился туда.

Среди собравшихся гласных, состоявших преимущественно из крестьян и сельских учителей, в числе которых были как великороссы, так и украинцы, мысль о восстановлении Таврической губернии под временной властью крымского правительства была встречена с единодушным сочувствием, и соответствующая резолюция была принята единогласно. Диссонансом звучали только речи двух-трех меньшевиков-интернационалистов, стремившихся провести в резолюции протест против гражданской войны. Но и они в конце концов присоединились к общему решению.

В последний вечер наших совещаний мы обратили внимание на отсутствие одного из наиболее активных его членов, уездного гласного и бывшего члена Учредительного собрания Алясова, а к концу заседания пришла его жена и сообщила, что он арестован добровольческой контрразведкой.

На следующее утро я пошел по этому поводу объясняться с командиром корпуса, но он мне сказал, что не в курсе дела и только обещал лично в нем разобраться. Впрочем, тон, которым разговаривал со мной корпусной командир, был холоден и официален, не предвещая ничего хорошего.

А через несколько дней, уже в Симферополе, я узнал, что арест Алясова был лишь началом целой серии арестов общественных деятелей в Мелитополе. Из числа арестованных секретарь управы Миркович, "плехановец", один из наиболее решительных противников большевиков, недавно едва спасшийся от грозившего ему расстрела, был убит на улице контрразведчиками "при попытке к бегству", а Алясов, человек, который, рискуя собой, вел во время

немецкого владычества тайные переговоры с командованием Добровольческой армии, исчез...

Долго несчастная жена Алясова добивалась от контрразведки сведений об исчезнувшем муже. Ей вначале отвечали, что его отправили в Екатеринодар, а затем, когда по наведенным справкам оказалось, что его там нет, сообщили, что он был выведен за пределы территории, занятой добровольцами, и там отпущен на свободу. Ну, словом, стало ясно, что "выведен в расход"...

Что касается остальных арестованных, то после длительных переговоров с генералом Пархомовым мне удалось настоять на том, чтобы их выслали в Симферополь. Это гарантировало их как от "попытки к бегству", так и от "освобождения за фронтом".

От генерала Пархомова я узнал, что против арестованных мелитопольцев было выдвинуто тяжкое обвинение в тайных сношениях с большевиками, основанное на материале телефонограмм, которыми, действительно, не тайно, а совершенно явно обменивались земская и городская управы с повстанцем Опанасенко, когда его отряды угрожали Мелитополю.

Таким образом, как раз активные люди, предпринимавшие, с одной стороны, шаги, чтобы добиться скорейшего прихода добровольцев, а с другой – чтобы спасти город от анархии, оказались преступниками. А оговорили их те, которые укрывались за их спинами в минуту опасности, а когда опасность прошла, стремились подладиться к новой власти. Эти люди, недавно еще украинские патриоты, теперь клялись в верности "единой России" и обвиняли в измене всех ненавистных им еще по мартовской революции кадетов и социалистов... Впоследствии, конечно, они же стали верноподданными коммунистической власти. Так было и в Мелитополе, так происходило и в других местах...

Генерал Деникин дал свое согласие на присоединение к Крыму северной Таврии, но под условием введения там военного положения. Крымское правительство не возражало, так как там приходилось бороться с вооруженными повстанцами, что было, конечно, невозможно без предоставления особых полномочий начальнику военных сил. Кроме того, Красная армия быстро приближалась к границам Таврической губернии. Однако, правительство сочло нужным назначить в северную Таврию гражданского генерал-губернатора, стремясь через него влиять на ограничение произвола военных властей с их упрощенными методами управления.

Распоряжение о назначении генерал-губернатора было воспринято военными, и не без основания, как акт недоверия. Деникин потребовал отмены этого распоряжения. И опять возник длительный конфликт между Екатеринодаром и Симферополем, опять полетели из Екатеринодара грозные телеграммы, резкие бумаги и опять крымские министры бегали ежедневно объясняться по прямому проводу.

Дело осложнилось тем, что Добровольческая армия, завладев деньгами, находившимися в бердянском и мелитопольском казначействах, решительно отказалась передать их крымскому правительству, вынуждая его этим расходовать на управление северными уездами Таврии средства, собираемые на Крымском полуострове. На это правительство, конечно, согласиться не могло. В результате объединение Таврической губернии оказалось чисто бумажным.

Серьезные трения между крымским правительством и Деникиным происходили также по вопросу о созыве крымского Сейма.

Принимая власть от собрания крымских земцев, правительство дало обязательство созвать местный парламент (Сейм), если до марта месяца не произойдет объединения России. Большинство членов правительства относилось отрицательно к мысли о созыве Сейма, но они не считали себя вправе нарушить свое обязательство: время шло, Россия не объединялась, и правительству, вопреки собственному желанию, пришлось выработать закон о Сейме и с запозданием на два месяца против обещанного срока назначить выборы.

Закон о Сейме был проведен через собрание земских и городских представителей, причем большие прения вызвала система выборов. Левое большинство собрания жило тогда под гипнозом формального демократизма, а потому вносило в избирательный закон "демократизующие" его поправки, сводившиеся главным образом к установлению идеальной арифметической справедливости. И действительно, была принята еще нигде невиданная, самая скрупулезная пропорциональная система выборов со сложнейшим подсчетом остатков неиспользованных голосов. Сейчас я уже не помню, в чем заключались ее особенности, но вспоминается мне, как мы с Набоковым прямо выбились из сил над редакцией внесенных собранием поправок, стараясь изложить в ясной форме крайне запутанную систему подсчета.

Когда известие о скором созыве Сейма дошло до Екатеринодара, оно вызвало там большое негодование и было воспринято как "сепаратизм", являвшийся чем-то вроде бреда преследования правительства генерала Деникина. Кубанская Рада, донской Круг, а теперь еще крымский Сейм. Не ясно ли, что и крымское правительство стремится отделить Крым от России!..

Никакие уверения С.С.Крыма и других министров в их полной лояльности по отношению к "единой России" не помогали. А тут еще министр внешних сношений Винавер самостоятельно обратился к командующему союзническим флотом с просьбой о высадке в Крыму десанта для защиты полуострова от вторжения уже приближавшихся к Перекопу большевистских войск...

В своей упорной повседневной борьбе с командованием Добровольческой армии за сохранение в Крыму сколько-нибудь сносного

правового строя, в борьбе, происходившей прикрыто, так как обстоятельства требовали хотя бы внешнего выявления единства противобольшевистского фронта, крымское правительство не находило необходимой поддержки ни в совершенно пассивных массах населения, ни в органах крымской общественности. Татары, как я упоминал выше, относились к правительству с явной враждебностью, особенно обострившейся, когда оно, содействуя Добровольческой армии, издало приказ о мобилизации. Мобилизация эта вообще не удалась. Из русского населения явились немногие, а из татар — почти никто.

Оказалось, что Курултай выпустил тайно призыв к населению не давать солдат в армию. Тогда по ордеру министра юстиции Набокова в здании Курултая был произведен обыск, в результате которого был дан приказ об аресте одного из лидеров татарских националистов — Чипчакчи. Дело мобилизации, впрочем, от этого не улучшилось, но отношение татар к власти стало еще враждебнее.

Но и русская социалистическая общественность, родившая из своих недр крымское правительство, скоро заняла в отношении его позицию "постольку-поскольку".

В редактировавшейся лидером местных с.-д. В.А. Могилевским севастопольской газете "Прибой" писались резкие статьи против гражданской войны вообще, а в частности против Добровольческой армии и поддерживавшего ее "буржуазного" крымского правительства, которому всякое лыко ставилось в строку. Социалисты, составляющие большинство в севастопольской и симферопольской Думах, проводили в них свои политические резолюции, совершенно не считаясь с тем, что Красная армия приближалась к Крыму.

Все это ослабляло положение правительства в его борьбе с военными властями за сохранение гражданских свобод и содействовало успехам большевистской пропаганды.

Для борьбы с ней правительству пришлось создать особый полномочный комитет в составе министров внутренних дел и юстиции и представителя командования Добровольческой армии, которому было предоставлено право производить аресты в административном порядке.

Этот акт был воспринят социалистическими кругами как нарушение данных правительством обязательств, и отношения их с правительством стали портиться все больше и больше.

Ежемесячно, согласно нашей "конституции", правительство созывало съезды представителей земств и городов Крыма, на которых давало отчет в своей административной и законодательной деятельности. Съезды эти, согласно той же конституции, не могли высказывать ни одобрения, ни неодобрения правительству, и мне, председательствовавшему на них, приходилось снимать с голосования все резолюции, имевшие характер осуждения его действий. Однако по прениям, иногда весьма горячим, было видно, что правительство

с каждым месяцем теряет поддержку избравшего его органа. Правда, заседания съездов, хотя и гласные, проходили при почти полном отсутствии публики (политика к этому времени набила оскомину населению), но все-таки отчеты о них печатались в газетах и производили известное действие.

Обычно до начала официального заседания устраивались в моем кабинете частные совещания, на которых министры откровенно говорили о положении дел и о своих взаимоотношениях с командованием армии. Министры указывали членам совещаний на сложность обстановки и просили публично не касаться целого ряда деликатных вопросов. Представители партии с.-р., имевшие своего члена в составе правительства, до известной степени входили в его положение, и выступления их лидера, присяжного поверенного Жирова, имели характер "оппозиции его величества". Что касается лидеров с.-д., то они не внимали никаким резонам, их выступления были крайне резки и ставили правительство иногда в очень трудное положение. Помню, как после одного резкого выступления В.А. Могилевского, в котором он обвинял Добровольческую армию в контрреволюционности и в целом ряде насилий, В.Д. Набоков раздраженно крикнул ему: "Что же вы хотите! Хотите убрать войска с фронта?" Могилевский ответил ему необдуманной фразой в таком роде: "Хотя бы и так. Мы хотим прекращения гражданской войны".

Эта фраза чуть не сделалась для Могилевского роковой. Несмотря на то, что потом, при большевиках, он и с ними вел борьбу в Севастополе, все же, по возвращении в Крым Добровольческой армии группа офицеров решила отомстить этому "большевику" за произнесенную им фразу.

Как влиятельного среди рабочих городского голову Севастополя, его не решились арестовать, а попытались "вывести в расход": несколько офицеров, под видом бандитов, устроили на него нападение на шоссе, по пути из Ялты в Симферополь. Однако выстрелами, направленными на него из засады, был убит не он, а случайный его сосед по автомобилю, балаклавский городской голова Грюнберг, тихий и скромный человек, не принимавший участия в политической борьбе...

Положение крымского правительства, каждый шаг которого вызывал на него нарекания то справа, то слева, вынужденного считаться и с бесчинствующими военными, и с социалистической оппозицией, было поистине трагично. Однако для мирных обывателей Крыма период его управления, так же как и период управления правительства Сулькевича, был сравнительно счастливым временем.

Не было, если не считать отдельных фактов насилий со стороны контрразведок и тылового офицерства, крупных нарушений порядка, не было впоследствии развившихся грабежей. В области экономической тоже было сравнительно благополучно. Правительство

не только справлялось со своим бюджетом, но имело возможность отпускать значительные средства в распоряжение Добровольческой армии на оборону Крыма, а также производить расходы по поддержанию Севастопольской крепости, ремонту военных судов и т.д.

Конечно, для этого приходилось усиливать налоговый пресс, изобретать новые налоги и повышать ставки старых. Однако, население платило, и платило исправно. Стесненность в денежных знаках побудила крымское правительство выпустить свои бумажные деньги, курс которых все время держался на уровне донских кредитных билетов и был значительно выше "украинок". Хлеб был сравнительно дешев и в других продуктах первой необходимости недостатка не чувствовалось.

Но крымское правительство не удержалось у власти, и Крым попал в руки большевиков...

В военных кругах вину за падение Крыма, конечно, возложили на местную власть, якобы "мирволившую большевикам". Крымских министров, в особенности еврея Винавера и караима Соломона Крыма, стали шельмовать на всех перекрестках. Однако после того, как Крым пережил еще две — деникинскую и врангелевскую — катастрофы, уже не может быть сомнения, что и в первой катастрофе крымское правительство было ни при чем. Не имея своих войск, оно не могло ее предотвратить, не могло и управлять так, как считало нужным. Но все-таки дало временный отдых измученному смутами населению.

Прежде чем перейти к изложению истории падения крымского правительства, я хочу сказать несколько слов об одном событии, хронологически предшествовавшем многим из изложенных здесь фактов. Я имею в виду происходивший в Симферополе съезд земств и городов юга России.

Как я упоминал выше, в начале ноября 1918 года, еще до возникновения в Крыму правительства С. Крыма, я был вызван в Киев для участия в совещании по устройству земско-городского съезда юга России. Потребность в созыве такого съезда несомненно существовала. На территории юга России в это время было несколько независимых друг от друга правительств, из которых каждое вело свою политику по отношению к местным самоуправлениям: крымское правительство генерала Сулькевича и украинское гетмана Скоропадского приступили к упразднению демократических самоуправлений, на Дону и на Кубани земские самоуправления еще не организовались, а городские действовали свободно, хотя и не были в большом почете у донского атамана генерала Краснова. Все это побуждало деятелей самоуправлений к объединению для отстаивания своих прав на существование.

Земские и городские финансы приходили все в большее и большее расстройство, и благодаря этому разрушалось их хозяйство. Правительственные субсидии давались туго и были весьма

недостаточны: являлась мысль о заключении внешнего займа под гарантией всех земств и городов юга России.

Наконец, в политической области перед съездом ставились тоже весьма ответственные задачи: на Украине, занятой в это время австро-германскими войсками, шли гонения на русский язык и русскую культуру. Кубанский федерализм, как нам (может быть не вполне правильно) представлялось, мало чем отличался от стремления к полной "самостийности". И вот земско-городской съезд, в состав которого входили избранные всеобщим голосованием представители "народов юга России", должен был громогласно засвидетельствовать, что народы эти стремятся вновь объединиться в составе единой России. В связи с этим возникал вопрос (я лично мало придавал ему значения) о создании на юге России некой центральной власти, которая возглавила бы собой объединение всех местных государственных образований.

Я знал, что съезд в огромном своем большинстве будет состоять из представителей социалистических течений, с которыми я значительно расходился в оценке происходивших событий, и знал заранее, что по целому ряду вопросов останусь в меньшинстве. Однако я придавал огромное значение основной патриотической его задаче – провозглашению от лица демократии, часть которой была проникнута тенденциями сепаратизма, принципа единства и нераздельности России. Это во-первых. А во-вторых, я надеялся, что публичное провозглашение этого принципа послужит мостом для примирения так называемой "революционной демократии" с Добровольческой армией, ведшей борьбу с большевиками во имя той же идеи.

Тогда мне еще не была известна многоликость того, что именовалось Добровольческой армией. Эта армия проливала свою кровь за объединение моей родины, и я с печалью наблюдал, что большинство враждебных большевикам социалистов в то же время отрицательно относится и к добровольческому движению, которое, как мне казалось, только и могло спасти Россию от распада и разложения. Ради этих основных задач будущего съезда я готов был идти на целый ряд компромиссов с его большинством.

Поэтому, несмотря на резкие возражения моих товарищей по партии, я принял участие в созванном в Киеве организационном заседании бюро съезда. Собрание, происходившее тайно от украинских властей, избрало временный комитет и поручило ему в ближайшее время созвать съезд. Хотя на одном из следующих заседаний этого комитета, происходившем без меня, все наличные члены его были арестованы украинской полицией, съезд все-таки удалось созвать в Симферополе в конце ноября, когда мы там только что свергли правительство генерала Сулькевича.

Съехалось более 70-ти членов съезда. Представлены были земства и города девяти губерний и областей юга России. По своей

партийной принадлежности члены съезда распределялись так: с.-р. – 29, с.-д. меньшевиков – 21, прочих социалистических партий и групп – 14, к.-д. – 6 и беспартийных – 5. Таким образом, социалисты были в подавляющем большинстве.

По персональному составу съезд оказался довольно серым. Из более ярких людей присутствовали: бывший городской голова В. В. Руднев, председатель харьковской городской Думы Я. Л. Рубинштейн, одесский городской голова М. В. Брайкович, член симферопольской городской управы А. Г. Галлоп и член ЦК партии с.-р. И. И. Фондаминский.

Члены съезда, большинство которых приехало с Украины, где они жили под гнетом гетманского режима, были поражены крымской свободой. Эту радость обрести в маленьком Крыму те элементы свободы и права, которых так недоставало на всем огромном пространстве России, выразил от лица съезда В.В. Руднев, отвечавший на наши приветствия. "Невольное изумление, – говорил он, – охватывает нас, когда мы видим, что здесь, в Крыму, посреди пылающего вокруг пожара гражданской войны, словно на каком-то счастливом острове (вернее – полуострове) Утопии, создан свободный строй силами демократии, гарантирующий права всех граждан..."

"Мы приветствуем, что крымская краевая власть, отвергнув пути насильственной диктатуры, выросла из органов народовластия, что, отстаивая полную самостоятельность и самодеятельность местной жизни, она объявляет крымский полуостров частью будущей единой России".

Руднев не подозревал тогда, сколько трагической меткости заключалось в его характеристике нашего крымского политического строя. Среди диких страстей, вызванных гражданской войной, это была действительно "утопия", которая быстро разрушалась от соприкосновения с действительностью... Но такой же утопией был и весь наш земско-городской съезд с его пожеланиями, решениями и резолюциями.

Слушая довольно сумбурные прения, происходившие на съезде, я невольно вспоминал земские съезды 1905 года. К их постановлениям прислушивалась вся политически сознательная Россия, они имели поддержку всей русской интеллигенции и были одним из крупных факторов первой революции.

Гласные земств и городов юга России собрались в 1918 году в совершенно другой обстановке. Съезд происходил тогда, когда активные силы в борьбе уже распределились. Боровшиеся силы имели своих вождей, к которым приливала стихия, стихия революции с одной стороны и стихия контрреволюции – с другой. И обе стихии владели своими вождями... Вожди революции, большевики, сумели, однако, удержаться на поверхности и покорить свою стихию, вожди контрреволюции в своей стихии захлебнулись...

Какое же значение в таких условиях мог иметь запоздалый съезд провинциальных общественных деятелей весьма случайного состава, опиравшийся не на какую-либо физическую силу, а лишь на лозунги февральской революции! Ведь избравшее нас в революционном чаду население просто забыло среди крови и огня о нашем существовании. Мы же делали вид, что говорим от его имени!

Хотя меня избрали председателем съезда, но, отвлеченный текущими земскими делами, я почти не принимал участия в его комиссиях, в которых с величайшей тщательностью, со взвешиванием каждого выражения, каждого слова, заготовлялись проекты резолюций, но все же старался не пропускать ответственных заседаний бюро съезда.

При подавляющем преобладании социалистов роль кадетов состояла не столько в выработке резолюций, сколько в стремлении исключить из них все, что с нашей точки зрения считалось абсолютно неприемлемым. Эти "цензорские" обязанности в бюро лежали на мне и на М.В. Брайковиче. Особенных трудностей мы не испытывали, ибо лидеры социалистов, с которыми нам приходилось иметь дело, были проникнуты искренним желанием достигнуть соглашения. Гораздо труднее было им протаскивать компромиссные решения нашего бюро через свои фракционные собрания.

С одной стороны, мы готовы были примириться с набившей нам оскомину, но ставшей привычной в левых кругах революционной фразеологией, с тем только, чтобы она не затемнила основных, важных для нас мыслей об единстве России, как цели, и о необходимости вооруженной борьбы с большевиками – как средстве.

Наиболее спорными вопросами было отношение съезда к разогнанному большевиками Учредительному собранию, к начавшемуся в это время петлюровскому восстанию и к Добровольческой армии. Эсеры хотели во что бы то ни стало, чтобы съезд признал авторитет старого Учредительного собрания до избрания нового. Мы этому противились и нашли поддержку в меньшевиках. В результате, резолюция констатировала, что по вопросу об Учредительном собрании на съезде не было достигнуто соглашения. За это эсеры провели приветствие уфимской Директории и выдвинули ее на первое место среди других местных государственных образований. Трудно было исключить из резолюций сочувственное отношение к петлюровскому восстанию. Большинство членов съезда, прибывших с Украины, с ненавистью относилось к гетманскому режиму и симпатизировало восставшим. Между тем, мы, кадеты, и некоторые социалистические лидеры съезда видели в успехах петлюровского восстания, с одной стороны, победу украинского национализма и сепаратизма, а с другой – опасались, что поднятой смутой воспользуются большевики. Наша попытка отнестись в резолюции с резким отрицанием к украинской революции все же не удалась, и в ней было лишь отмечено, что гражданская война на Украине "представляет

огромную опасность для всего юга России и может окончиться торжеством большевизма или усилением реакции".

Что касается Добровольческой армии, то в резолюции удалось соблюсти по отношению к ней дружелюбный тон, несмотря на то, что как раз во время съезда пришла из Юзовки телеграмма о расправах казаков с рабочими, вызвавшая среди его членов бурю негодования.

В общем, резолюция по общеполитическим вопросам вышла длинная и тягучая, характерная для "революционной демократии", с одной стороны, мистически веровавшей в слова и формулы, а с другой – боявшейся их неправильного истолкования. Эта "логомания", соединенная с "логофобией", содействовала длине и расплывчатости резолюций и лишала их действенной силы и огня.

Съезд определенно высказался против военной диктатуры и рекомендовал явно утопический для данного момента способ создания южнорусской Директории путем сговора на "государственном совещании представителей политических и общественных течений". Однако он был совершенно неправильно обвинен более правыми кругами во враждебном отношении к Деникину и руководимому им добровольческому движению.

Резолюция съезда сейчас лежит передо мной, и вот что я читаю в ней о Добровольческой армии: "Земско-городской съезд считает своим долгом засвидетельствовать заслуги Добровольческой армии в деле борьбы за воссоздание государственного единства и независимости России – лозунги, дорогие и земско-городской демократии. В мрачную эпоху конечного распада России, когда в стране торжествовала большевистская оккупация, Добровольческая армия с беззаветным мужеством, принося бесчисленные жертвы, боролась против тирании за возрождение России, отказываясь идти на соглашения или признавать господство императорской Германии".

Такая совершенно ясная и недвусмысленная оценка заслуг Добровольческой армии со стороны левого демократического съезда казалась мне тогда фактором большого значения и смысла, ибо давала надежду на смычку разобщенного внутренней борьбой антибольшевистского фронта. И ради этого я охотно подписывался в угоду эсерам и под приветствием далекой уфимской Директории, и под другими пышными и малообязывающими фразами.

Резолюция съезда не только высказала сочувствие борьбе Добровольческой армии, она была проникнута глубоким чувством патриотизма, преобладавшим над всеми "демократическими условностями". В этом отношении она свидетельствовала о происшедшем большом сдвиге в настроениях "революционной демократии" после октябрьского переворота. Этого не хотели видеть и не видели в екатеринодарском окружении Деникина, где одни с презрением, а другие с негодованием относились к симферопольскому съезду. Помню, как мне досталось за участие в принятии симферопольских

резолюций от лидерствовавшего на екатеринодарском кадетском съезде П. И. Новгородцева.

В Екатеринодаре в это время были загипнотизированы идеей военной диктатуры, и все, высказывавшиеся против нее, считались врагами добровольческого движения. Думаю теперь, как и тогда думал, что сторонники диктатуры были по существу правы.

Вооруженная борьба с большевиками была по плечу только общепризнанному диктатору, но именно общепризнанному, во-первых, а во-вторых – творящему демократическую политику. Военный диктатор должен был быть прежде всего народным диктатором, а путь к настоящей сильной диктатуре мог пойти через соглашение командного состава армии с демократическими слоями населения.

Земско-городской съезд сделал робкий и нерешительный шаг в этом направлении, но шаг уже запоздалый. Его нужно было сделать прежде, тогда, когда "революционная демократия" считала генералов Каледина и Корнилова опасными контрреволюционерами и всячески дискредитировала их имена в глазах народных масс.

Во времена симферопольского съезда дух Добровольческой армии уже сложился, и мысль заставить ее служить демократической власти, правильная по существу, была совершенно утопична в сложившейся обстановке. Белое движение, вероятно, уже не могло сойти с того пути, на который влекла его стихия контрреволюции. Приходилось либо поддерживать его таким, каким оно создалось, или, идя против него, этим помогать большевикам...

Съезд закончился избранием "Совета земств и городов юга России". Таким путем образовалась четвертая по счету политическая организация периода гражданской войны, которая обосновалась в Одессе, где совместно с "Государственным объединением", "Национальным центром" и "Союзом возрождения" в длинных словопрениях обсуждала проблему южнорусской власти и другие вопросы текущей жизни, вскоре разрешенные силой штыков Красной армии.

В феврале 1919 года большевики завладели Украиной, и северная Таврия стала ареной боев между Добровольческой армией и наступавшими регулярными войсками большевиков. К этому времени в Крым пришли новые подкрепления, и Крымская дивизия была развернута в Крымско-Азовскую армию. Армия эта по своим размерам едва ли превышала размер одного полка военного времени, но все-таки это были тысячи, а не сотни. Во главе армии был поставлен молодой генерал Боровский.

Это был корниловец героического периода борьбы первых добровольцев, имевший репутацию храброго солдата. Он обладал даром слова и на собрании, устроенном в его честь союзом "За Родину", произнес либеральную речь, в которой говорил о борьбе за свободу, желании дружно работать с общественностью и т. п. Речь была в общем довольно банальная, но, произнесенная человеком

в военном мундире, произвела впечатление и была покрыта аплодисментами.

Боровский сумел понравиться и крымскому правительству, отношения которого с командованием Добровольческой армии после прибытия его в Крым несколько улучшились. Вскоре, однако, обнаружилось, что надежды, связывавшиеся у нас с переменой командования, не оправдались. В сущности, все осталось по-старому, а генерал Боровский обнаружил в своей деятельности столько недостатков, что через небольшой промежуток времени был смещен с командных должностей.

В середине марта большевики заняли северную Таврию и подошли к Крымскому полуострову. Настроение в Крыму стало тревожным. Происходившее в Симферополе 18-го марта земско-городское совещание поинтересовалось узнать о положении Крыма от самого командующего армией. Генерал Боровский прибыл на заседание совещания и произвел на гласных чрезвычайно благоприятное впечатление. На все поставленные ему вопросы об угрожавшей Крыму опасности он четко и категорически заявил, что подступы к Крыму вполне удовлетворительно защищены и что всякая попытка Красной армии форсировать перекопские или сивашские укрепления безусловно будет отбита.

В это время крымское правительство, не полагаясь на слабые силы Добровольческой армии, вело переговоры с союзным командованием о высадке десанта иностранных войск. Союзники, уже вскоре после занятия Севастополя, высадили небольшие отряды английских и французских войск, наблюдавших за порядком в этом городе. Но на просьбу усилить десантные отряды французский верховный комиссар в Константинополе, адмирал Амет, ответил, что новый десант давно был бы в Крыму, если бы этому не воспротивился генерал Деникин.

Едва ли адмирал Амет позволил себе сказать неправду, и не верить ему не было оснований. Поэтому можно себе представить, какое ошеломляющее впечатление произвел ответ Амета на правительство. Чем руководствовался генерал Деникин, препятствуя высадке союзнических войск в Крыму? Возможно, конечно, что у него были соображения стратегического характера и что десант в Крыму как-то нарушал его стратегические планы. К сожалению, как будет видно из дальнейшего изложения, скорее приходится предположить, что им руководило просто раздражение против крымского правительства, нарушившего условия своих соглашений с Добровольческой армией. Непосредственное обращение к союзникам за помощью несомненно не входило в его компетенцию и являлось с его стороны вмешательством в военные дела. Но, с другой стороны, могло ли крымское правительство, ответственное за безопасность Крыма перед населением, поступить иначе, ясно отдавая себе отчет в том, что ничтожными силами Добровольческой армии Крым отстоять невозможно?

Если члены земско-городского совещания поверили голословному утверждению генерала Боровского о прочности крымских укреплений, то у более осведомленного правительства было достаточно оснований отнестись к ним с недоверием.

Чтобы противостоять значительно большим силам Красной армии, личная храбрость добровольческих полков была недостаточна. Конечно, штурмовать Крым, соединенный с материком лишь двумя мостами через Сиваш и узким Перекопским перешейком, представлялось задачей нелегкой, но для того, чтобы сделать ее невыполнимой, нужно было все-таки укрепить подступы к Крыму. Крымское правительство отпускало на укрепление Крыма Добровольческой армии крупные средства, и на вопрос о том, как идут фортификационные работы, министры всегда получали успокоительные заверения штаба. Но когда С.С. Крым однажды пожелал сам поехать на фронт, чтобы в этом убедиться, то ему ответили, что такая поездка недопустима, ибо она нарушила бы обязательство правительства не вмешиваться в военные дела.

Между тем, С.С. Крым получил с фронта достоверные сведения, что там никаких укреплений не имеется.

Наконец, перед лицом уже надвинувшейся опасности разгрома своей армии, генерал Боровский должен был сознаться, что Крым не укреплен, и потребовал ассигнования в его распоряжение крупных денежных средств на крепостные работы. Правительство ответило, что оно хочет само заняться возведением укреплений, ибо средства, которые оно до сих пор ассигновало, не шли по назначению, и поручило это дело инженеру Чаеву.

Конечно, о строптивости крымского правительства к генералу Деникину немедленно полетело донесение, и сейчас же от него пришла срочная телеграмма, которую привожу дословно: "Крымскому правительству, копия генералу Боровскому. В тяжелую минуту, когда Крыму грозило неизбежное порабощение большевиками, крымское правительство обратилось за помощью к Добровольческой армии. Помощь, в явный ущерб главному фронту, была оказана на условиях: "Русская государственность и единая русская армия". Крым был спасен. В течение нескольких месяцев армия проливала кровь, защищая Крым, и была в невыносимых условиях безудержного развития внутри края большевизма, поощряемого преступным попустительством крымского правительства. В то же время правительство это, изменив данному обещанию, повело, прикрываясь русским и добровольческим штыками, политику государственного и военного разъединения и позволило себе принять и допустить ряд военных мероприятий, которые явно направлены к ослаблению русской Добровольческой армии, а в последние дни – и вмешательство в дело обороны. Поэтому мною будет отдан приказ генералу Боровскому: 1) подавлять всякое военное вмешательство в военные распоряжения, откуда бы они ни

исходили, 2) приступить к эвакуации добровольческих войск из Крыма. Перед выполнением такой тяжелой и неизбежной меры я в последний раз предлагаю крымскому правительству отказаться от того гибельного пути, на который оно вошло, объявить военное положение и предоставить вытекающую из него власть командующему Крымско-Азовской армией. Ответ ожидаю не позже 18 часов 18 марта".

В этой телеграмме прорвалось давно накопившееся раздражение Деникина на крымское правительство, основанное на целом ряде недоразумений. Но, как бы оно ни было велико, нельзя не признать угрозу раскрытия фронта совершенно недостойной этого большого русского патриота, к которому до сих пор я отношусь с величайшим уважением и симпатией.

В самом деле, если бы он действительно был прав в том, что правительство приносит вред армии и творимому ею делу, он должен был, как диктатор, просто произвести в Крыму государственный переворот. Ставить же благосостояние и жизнь населения Крыма в зависимость от хорошего или дурного поведения крымского правительства — было почти преступно.

Едва ли Деникин один, ни с кем не посоветовавшись, решил послать вышеприведенную телеграмму, которая лишь свидетельствовала о мелочности и слабости власти, именовавшейся военной диктатурой.

Крымское правительство сделало надлежащий вывод из полученной телеграммы. Оно заявило генералу Боровскому, что готово отказаться от власти и передать всю полноту ее командующему Крымско-Азовской армией, как представителю генерала Деникина. Иначе поступить оно не могло: противиться ультиматуму оно не имело права перед населением, принять же ультиматум под угрозой раскрытия фронта было ниже его достоинства.

Боровский, однако, сам не очень был склонен взять на себя всю ответственность власти и, после переговоров с С.С. Крымом, послал Деникину срочную телеграмму следующего содержания: "Доношу, что по получении вашей телеграммы председатель Совета министров посетил меня. Результаты: Совет министров готов в каждую минуту выйти в отставку для пользы дела, приняв на себя инициативу перед населением, дабы не возбуждать его против Добрармии. Последние постановления (об укреплении Крыма) следует рассматривать как результат не вполне понятого заявления начальника штаба о необходимости принятия мер к подготовке эвакуации. Заявление создало представление о полной безнадежности положения. По заявлению председателя, Совет министров всегда готов отменить свои постановления, готов отказаться от власти, стоя твердо на платформе общей государственности и преследуя только цель воссоздания великой единой России. В настоящее время, по условиям местной обстановки, введение военного положения в краю считаю невозможным, ибо все мои силы выдвинуты к линии фронта, а без

этого таковая мера принесла бы вред, а не пользу, ибо произойдет покушение с негодными средствами и рассорит нас с союзниками. Выход: под моим председательством образуется комитет обороны, члены которого – председатель Совета министров, начальник штаба армии, министр внутренних дел, военный министр и главноуполномоченный от краевого правительства по снабжению армии для обороны, инженер Чаев, человек деятельный и весьма полезный для настоящего дела. Находя настоящие предположения наиболее соответствующими обстановке, убедительно прошу утвердить их и отменой своего последнего распоряжения дать удовлетворение правительству, выразившему полную готовность работать на пользу Добрармии, как единственной силы, могущей спасти родину. Жду срочного ответа. Генерал Боровский".

После этой телеграммы худой мир был восстановлен, а крымское правительство через своего уполномоченного по обороне продолжало работать по укреплению Крыма.

Между прочим, чрезвычайно характерно, что после нескольких месяцев борьбы с крымским правительством за введение военного положения командующий армией признал эту меру неосуществимой, назвав ее "покушением с негодными средствами"...

Инженер Чаев энергично вел работу, и в две недели сивашские укрепления в восточной части полуострова были готовы. Эти укрепления впоследствии оказали немало услуг армиям Деникина и Врангеля и ни разу не были взяты с боя.

Но приступить к укреплениям Перекопского перешейка Чаев уже не успел...

В конце марта по старому стилю махновская конница перешла вброд Сиваш около Перекопского перешейка и зашла в тыл передовым линиям добровольческих войск. Закипели бои у последних позиций, в которых принял участие десант греческих войск, понесший большие потери.

Последний день жизни крымского правительства ярко отпечатлелся в моей памяти.

Перед самым наступлением большевиков закончились заседания совещания земских и городских гласных, которому министры давали объяснения о своей работе. Боевым вопросом был вновь выработанный министром земледелия арендный законопроект.

В программу крымского правительства не входила широкая постановка аграрного вопроса, ибо начинать серьезную аграрную реформу в момент отступления Добровольческой армии было, конечно, невозможно. Однако было вполне разумно и целесообразно провести кое-какие радикальные меры в области арендных отношений.

Значительную часть земледельческого населения Крыма составляли безземельные арендаторы помещичьих земель. Арендные контракты заключались ими на срок, после которого владельцы

могли свободно согнать их с насиженных мест, или, под угрозой не возобновить контрактов, повысить арендную плату, преимущественно натуральную. Крымское правительство выработало законопроект, которым, во-первых, запрещалась натуральная аренда. Что касается аренды денежной, то размер ее был зафиксирован, что при падающем рубле было почти равносильно передаче земли арендаторам в безвозмездное пользование. Кроме того, законопроект устанавливал за арендатором, прожившим на аренде в течение шести лет, право бессрочной наследственной аренды.

Члены земско-городского совещания в принципе вполне одобрили законопроект, однако между ними оставались разногласия.

Не помню теперь уже всех доводов, приводившихся обеими сторонами в защиту своего мнения, но эти мелкие по существу разногласия почему-то побудили эсеров выступить с заявлением, что они не могут взять на себя ответственности за арендный закон.

Непосредственно после этого собрания начались бои у Перекопа. Когда стало известно, что большевики прорвали две передовые линии добровольцев, я пошел справиться о положении в бывший губернаторский дом, где жили наши министры.

В большом кабинете, в котором жил Набоков, я неожиданно застал трех лидеров местных эсеров и члена эсеровского ЦК М.В. Вишняка, почему-то оказавшегося в это время в Симферополе. Они явились с ультиматумом и заявили, что решили отозвать своего товарища Никонова из правительства, если арендный закон не будет изменен согласно их желанию.

Я подсел к Набокову, мрачно, в бессильной позе развалившемуся на диване. "Мы ждем известий о прорыве последних позиций, а они вот чем занимаются", – тихо сказал он мне с презрительной усмешкой на красивом лице.

С.С. Крым рассеянно ходил по комнате взад и вперед, не слушая того, что говорили эсеры. Никонов уныло сидел, облокотясь на стол, и тоже молчал. Один только Винавер поддерживал разговор, давал реплики, доказывал, убеждал... Он еще продолжал надеяться на помощь союзников, с которыми все время поддерживал отношения. Другие министры уже потеряли в них всякую веру...

Я вышел с С.С. Крымом в соседнюю комнату, и мы стали рассматривать разложенную на столе карту Крыма с крестиками на местах боев... Вдруг в передней послышались шаги и позвякивание шпор. Вошел адъютант начальника штаба и, обратившись к С.С. Крыму, заявил: "Начальник штаба просит передать вашему превосходительству, что наши войска отступили с последних позиций и командующий армией отдал приказ об оступлении армии из Крыма".

Офицер удалился.

Мы медленно, с понурыми головами, вернулись в комнату Набокова, где эсеры все еще с азартом доказывали необходимость понизить на один рубль арендную плату...

– Господа, – сказал Крым, – Добровольческая армия покидает Крым и послезавтра большевики будут в Симферополе.

Все поднялись со своих мест и некоторое время стояли молча... Потом стали тихо расходиться.

На душе было тяжко, но невольно вспомнилась последняя сцена из "Ревизора".

Глава 31

ОПЯТЬ ПОД БОЛЬШЕВИКАМИ
(март – июнь 1919)

Жизнь моей семьи на южном берегу Крыма. Мои старшие сыновья поступают в Добровольческую армию. Благодарность большевистского комиссара. Мирные большевики. Председательница Ревкома товарищ Лаура и председатель Совнаркома Ульянов (брат Ленина) содействуют смягчению режима. Меньшевики – Лейбман, Галлоп, Новицкий и Немченко занимают ответственные посты. Их характеристики и дальнейшая судьба. Татары приспособляются, но ненавидят большевиков. Конец второго периода большевистской власти. Мое возвращение в Симферополь.

Я видел паническое отступление Добровольческой армии из Крыма, знал, что добровольцы отступают также на Дону и на Кубани и думал, что пришел конец борьбе на юге России. Поэтому я не присоединился к двум потокам беженцев, хлынувших из Крыма на Кубань и за границу, и решил, вопреки советам друзей, отсидеться некоторое время на южном берегу Крыма, а затем, смотря по обстоятельствам, либо пробраться в Москву и как-то устраивать свою жизнь под советской властью, либо поехать к Колчаку, если борьба на сибирском фронте будет продолжаться.

Опять, как год тому назад, я выехал рано утром из Симферополя теми же обходными кривыми улицами татарской части города, чтобы миновать кордоны на этот раз не большевиков, а добровольцев, которые ловили извозчиков и, выбросив пассажиров, заставляли везти себя в Феодосию или Керчь.

И вот я опять на южном берегу, в той же обстановке, как год тому назад, с той только разницей, что тогда для местных большевиков я был просто "буржуй", а теперь – один из видных "контрреволюционеров". К тому же у большевиков имелся в руках документ, свидетельствовавший о моей контрреволюционности, в виде свежеотпечатанной статьи в газете "Таврический Голос" с призывом к населению о поддержке Белого движения.

Редактор "Таврического Голоса" был довольно талантливый публицист – доктор Пасманик, мой партийный товарищ. Мне несколько претили ухарско-правые настроения, которыми он

заразился во время гражданской войны и которыми была пропитана его газета. Тем не менее иногда я помещал статьи в этом партийном органе.

Перед концом крымского правительства, когда многие крымские жители стали осаждать отходящие пароходы и уезжать – кто в Новороссийск, кто за границу, Пасманик помещал в своей газете громовые статьи против этих трусливых граждан, сеющих неосновательную панику среди населения, и утверждал, что славная Добровольческая армия сумеет защитить Крым от "большевистских банд". Сам он, однако, сказав нам, что едет на несколько дней в Ялту, сел там на пароход и исчез.

Временное редакторство он передал члену кадетского ЦК, московскому адвокату М.Л.Мандельштаму, только что появившемуся в Крыму.

Мандельштам был в свое время крайним левым в партийном ЦК, но от революции очень поправел, а после, в эмиграции, опять стал леветь, в конце концов перейдя на службу к большевикам. Все это не свидетельствует об устойчивости его убеждений. Такие люди обыкновенно не отличаются храбростью.

За несколько дней до прихода в Крым Красной армии я сдал Мандельштаму свою статью для напечатания в "Таврическом Голосе", а он панически удрал, не потрудившись даже уничтожить имевшихся в редакции рукописей и набора очередного номера. Наборщики этим воспользовались и выпустили его в продажу в день вступления большевиков в Симферополь. Странно и несколько жутковато мне было читать в этом номере статью за полной моей подписью.

Однако большевики были настолько уверены в том, что и я бежал, что меня не разыскивали. Поэтому я свободно жил в имении моего тестя, стараясь лишь не показываться в населенных местах. Виделся я только со знакомыми татарами, но татары врожденные конспираторы и лишнего не болтали.

И снова три месяца "робинзоновского" житья... Опять вместо газет – слухи из биюк-ламбатских кофеен, наблюдения за движением судов в море и за гулом отдаленных пушечных выстрелов.

По слухам мы знали, что Добровольческая армия остановилась перед Керчью, на Акмонайском перешейке, т.е. верстах в семидесяти от наших мест, но гул тяжелых орудий английских дредноутов был отчетливо слышен. Иногда вдруг на несколько дней замолкали пушки, и тревожно становилось на душе: значит конец... И с напряжением мы смотрели в море, ища в нем разрешения мучавших нас сомнений: неужели увидим отходящую на запад эскадру!.. Но нет, там, в синей дали, шныряют в обе стороны лишь вестовые миноносцы, расстилая по небу длинные нити черного дыма... Значит – еще держатся наши...

Для меня была чужда психология части русских интеллигентных людей, заявлявших себя нейтральными по отношению к двум

боровшимся сторонам. В гражданской войне нельзя быть нейтральным. И я не сомневаюсь, что эти считавшие себя нейтральными люди подсознательно чувствовали "нашими" – одни добровольцев, а другие большевиков.

Что касается меня, то, несмотря на все пороки, а иногда и преступления добровольцев, я ни разу не помыслил себя их врагом. В этот же период времени я особенно остро ощущал их "нашими", ибо там, на Акмонае, сражались с большевиками мои старшие сыновья.

Нелегко было нам с женой отпускать на фронт двоих сыновей, из которых одному было 19, а другому 17 лет.

Конечно, ввиду их юности, мы не считали себя вправе поощрять их в стремлении поступить в Добровольческую армию, но не могли и отговаривать их. Ведь борьба шла, как нам представлялось, за самое существование России, и невозможно было из-за эгоистических родительских чувств бороться с их естественным желанием принять участие в борьбе за родину.

С двумя-тремя товарищами, они сдали выпускной экзамен в гимназии как раз перед приходом в Крым большевиков и уехали вместе с отступавшими добровольцами. Мы препоручили наших мальчиков артиллерийскому офицеру Ашуркову, скрывавшемуся у нас в первый период большевистской власти, и он определил их вольноопределяющимися на бронепоезд, на который сам был назначен.

Кроме моих сыновей, из числа членов нашего "клана" отправился на фронт и их двоюродный брат Яроцкий, еще в Петербурге сдавший экзамен на офицера. (Через полтора года он был тяжело ранен при отступлении армии Врангеля и умер).

Таким образом наше "трудовое хозяйство" по сравнению с первым периодом большевистской власти сильно пострадало из-за убыли мужской рабочей силы. Все же мы продолжали заниматься сельскохозяйственным трудом. Мы развили огородное хозяйство, что было особенно важно ввиду того, что продуктов стало значительно меньше и нашим "мажордомам" приходилось сокращать порции отпускавшегося каждому хлебного пайка.

Мои две старших дочери, поступившие на службу при крымском правительстве (одна служила в министерстве труда, а другая в университетской библиотеке), остались в Симферополе на службе у большевиков, что несколько облегчало наш бюджет. Их большевики не трогали.

Даже один из большевистских комиссаров (кажется, комиссар земледелия) однажды вызвал мою дочь к себе и конфиденциально сказал ей: "Я не знаю, где находится ваш отец, но если бы с ним что случилось – обратитесь ко мне. Я сделаю все возможное, чтобы ему помочь, так как многим ему обязан".

Когда дочь сообщила мне об этом разговоре и назвала фамилию комиссара, эта фамилия не смогла объяснить мне его внимательного

ко мне отношения. Впоследствии дело объяснилось: в 1906 году, когда я был редактором симферопольской газеты "Жизнь Крыма", у нас служил репортером скромный молодой еврей. Он стремился ехать учиться в Москву, но не мог жить без заработка и однажды обратился ко мне с просьбой дать ему рекомендацию в редакцию "Русских Ведомостей". Так как он внушал мне доверие, то я удовлетворил его просьбу, и при моем содействии он стал репортером московской газеты. Из репортеров он выбился потом во второстепенные журналисты, а после октябрьского переворота, в качестве партийного большевика, стал делать революционную карьеру. Я забыл фамилию этого человека, но до сих пор вспоминаю о нем с благодарностью за проявленные ко мне добрые чувства – вопреки готтентотской морали, свойственной большинству его партийных товарищей.

На этот раз большевики пришли в Крым уже в значительной степени организованной силой. Если год тому назад крымские жители страдали от кровавых подвигов севастопольских матросов и вообще от всех ужасов большевистской анархии, то теперь тяжесть большевистской власти заключалась скорее в обратном: в стремлении регламентировать жизнь в мельчайших ее проявлениях. В городах все помещения были переписаны, квартиры и комнаты вымерены и перенумерованы, а жителей разверстывали по нумерованным комнатам, как вещи по кладовым. Была, как и в других местах, введена трудовая повинность. На улицах устраивали облавы на прохожих, гнали случайно пойманных людей грузить поезда, отправляли на фронт копать окопы и т. п. Но убийств и расстрелов, из страха перед которыми столько народа бежало из Крыма, не было.

За все три месяца пребывания большевиков в Крыму было расстреляно лишь несколько человек в Ялте, и то уже перед самым уходом большевиков, в суете и панике.

Эта бескровность большевистского режима объяснялась главным образом тем, что между уходом добровольческих войск и вступлением Красной армии прошло два-три дня, в течение которых во всех городах Крыма образовались революционные комитеты из местных большевиков. Во главе областного симферопольского Ревкома оказалась убежденная большевичка, но добрая и хорошая женщина, "товарищ Лаура" (учительница местной гимназии по фамилии Багатурьянц), решительно противившаяся всякому пролитию крови.

Когда пришли войска с военкомом Дыбенко во главе, гражданская власть была уже организована и помешала кровавым расправам, на которых настаивал Дыбенко со своим военным окружением.

Товарищ Лаура находила поддержку и в избранном председателем Совнаркома докторе Ульянове.

Доктор Ульянов был санитарным врачом губернского земства в Феодосии. Он никогда не высказывал своих политических взглядов

и был известен как добродушный человек, пьяница и забулдыга. Но он был братом "самого" Ленина.

Сомневаюсь, чтобы Ленин был доволен этой внезапной политической карьерой своего брата. Но рабы не всегда понимают психологию своих господ, и не подлежит сомнению, что доктор Ульянов был избран нашим правителем исключительно для того, чтобы сделать брату его приятный сюрприз.

Ульянов сохранил свои качества и недостатки на посту председателя Совнаркома. Пьянствовал еще больше, чем прежде, властности никакой не проявлял, но, как добродушный человек, всегда заступался перед чрезвычайкой за всех, за кого его просили.

Другие члены Совнаркома, в число которых для местного колорита было включено несколько татар, были по преимуществу люди малограмотные, и, чтобы управлять Крымом, им пришлось искать интеллигентных сотрудников. Тут свои услуги предложили им лидеры местных меньшевиков. Из них только один Могилевский не захотел сотрудничать с большевиками, а продолжал редактировать оппозиционную им севастопольскую газету "Прибой", вскоре ими закрытую.

Меньшевики сделались фактическими руководителями нескольких ведомств: комиссариатом юстиции заведовал Лейбман, народного просвещения – П.И. Новицкий, финансов – А.Г. Галлоп, труда – Немченко.

Этих четырех меньшевиков я хорошо знал. Все они были гласными симферопольской городской Думы. Так как это были довольно типичные представители провинциальной "революционной демократии", то я, отвлекаясь от последовательного изложения событий, хочу дать их краткую характеристику и сообщить то, что знаю о их дальнейшей судьбе.

Лейбман был до революции хлестким провинциальным адвокатом вульгарного пошиба. Вероятно, таковым бы и остался, если бы революция не открыла перед ним другой карьеры. Заняв в большевистском правительстве ответственный пост, Лейбман не мог оставаться в Крыму после ухода Красной армии и уехал в Москву, где сейчас же вступил в коммунистическую партию. Там он сделал большую карьеру в промышленных трестах и обогащался в период НЭП'а. Дальнейшая его судьба мне неизвестна.

Совсем в другом роде был А.Г. Галлоп. Человек культурный и убежденный социал-демократ, с гимназической скамьи ушедший в революцию и побывавший в тюрьмах и ссылке. Напичканный социалистическими теориями, он в начале своей муниципальной деятельности наделал много глупостей, но, как человек умный и тактичный, признал авторитет опытного муниципального работника Иванова (о нем я выше упоминал) и стал бы прекрасным руководителем городского хозяйства, если бы приход большевиков не прервал его работу в городской Думе.

Галлоп был мягким и добрым человеком, а потому зверства большевиков его глубоко возмущали. Но социализм был для него не только руководящей целью, но как бы основой его общественных эмоций, а большевики, осуществлявшие социализм в России, все-таки воспринимались им как союзники, хотя и идущие к цели скверными путями. Те же, кто с ними воевал, были для него врагами, восстановителями реакции и ненавистного ему капитализма. И с того момента, как ему представилась возможность сотрудничать с большевиками в построении социализма, он отдал свои силы этой работе. Однако природная порядочность помешала ему войти в коммунистическую партию.

Попав в эмиграцию, я продолжал иногда получать сведения о Галлопе. Знал, что он перебрался в Москву и занимал видный пост в каких-то хозяйственных учреждениях, знал также, что во время страшного террора в Крыму в 1921 году ему, благодаря его связям, удалось спасти много человеческих жизней.

Но судьба меня еще раз свела с этим человеком, к которому, несмотря на разницу наших политических взглядов, я все же относился с личной симпатией. Оказавшись в 1922 году в Берлине, я узнал, что Галлоп служит там в торгпредстве, и зашел к нему на квартиру, чтобы получить от него сведения о членах моей семьи, остававшихся в России.

Он только что приехал из Москвы со своей женой, которую я тоже знал по Симферополю, где она сотрудничала в местной газете. В 1922 году в Москве жилось очень скудно даже большевистским сановникам, и жена Галлопа не могла скрыть своего восторга от того, что, благодаря большому жалованью мужа, могла вести в Берлине буржуазный образ жизни. Для нашего серьезного разговора мы назначили друг другу свидание в кафе. Там мы поговорили откровенно. Он сказал мне, что продолжает отрицательно относиться к большевистской кровавой диктатуре, но все-таки верит, что в России строится социализм, и что поэтому он продолжает и будет продолжать работать с большевиками. Со своей стороны, я высказался в том смысле, что хотя принципиально не возражаю против социалистических форм производства, но для меня свобода, человеческая личность и человеческая жизнь ценны сами по себе, и если эти высшие ценности попираются ради социалистического строительства, то я считал бы для себя морально недопустимым принимать в нем участие. Мы горячо поспорили, и когда, прощаясь, я пожал руку своему собеседнику, то сказал ему, что жму ее в последний раз и не могу с ним больше поддерживать дружеских отношений, так как наши разногласия не только политического, но и морального свойства.

Меня все-таки продолжала интересовать судьба этого "мирного большевика", упорно отказывавшегося вступить в коммунистическую партию, и я кое-когда получал о нем сведения: из Берлина

он вернулся в Москву и продолжал верой и правдой служить советской власти. В конце концов, однако, оказался "вредителем" и попал в тюрьму и ссылку.

Совершенно своеобразным революционером, но тоже типичным для своего времени, был П.И. Новицкий. Он был учителем словесности в симферопольской женской гимназии. Вероятно, в ранней юности принимал участие в революции 1905 года, а затем, как и многие его сверстники, разочаровавшись в политике, ударился в крайности господствовавшего среди революционных неудачников эстетизма и ницшеанства с сопутствовавшими им в эту эпоху позерством и фиглярством. Одевался изысканно, но носил длинные волосы, обрамлявшие его довольно красивое лицо, на руку нацепил массивный золотой браслет, в театре и в собраниях появлялся с веером, которым обмахивался с томным видом.

Говорят, что все-таки он был талантливым преподавателем и, понятно, предметом обожания своих учениц.

Человек он был неглупый, умел красиво говорить публично и, когда настала вторая революция, сделался одной из наиболее видных фигур в Симферополе и, наравне с Галлопом, лидером местных меньшевиков. Избранный председателем городской Думы, он умел толково и беспристрастно вести заседания.

Объединению Новицкого с большевиками содействовали обстоятельства его личной жизни. Перед приходом большевиков в Крым он бросил свою жену и сошелся с председательницей симферопольского Ревкома "товарищем Лаурой" Багатурьянц, о которой я упоминал выше.

Когда летом 1919 года большевики снова были вынуждены покинуть Крым, Новицкий со своей новой женой не успел уехать вслед за отступавшей Красной армией, и они некоторое время скрывались в Севастополе. В конце концов их нашла контрразведка и арестовала. Им, в особенности ей, грозило весьма серьезное возмездие за участие в большевистской власти. Она относилась к своей судьбе стоически, как подобает убежденной революционерке, а Новицкий, как мне передавали, вел себя в тюрьме, как истерическая женщина. О степени его жалкого состояния я сужу по письму, которое я от него получил из тюрьмы. В нем он обращался к моему "доброму сердцу", заклиная меня спасти его и его жену от грозившей им смерти, и давал мне торжественное обещание навсегда отказаться от политической деятельности, если я добьюсь его освобождения.

Меня очень покоробил весь слезливый тон его письма, а в особенности это странное обещание, как будто я без него отказался бы его спасать от смерти.

Само собой разумеется, что это возмутившее меня письмо не помешало мне предпринять за них хлопоты, которые увенчались успехом: Новицкий и Лаура были освобождены из тюрьмы под мое поручительство.

Через месяц Лаура предстала перед военно-полевым судом и ко всеобщему удивлению была оправдана. Несмотря на то, что ее председательство в Ревкоме было вполне доказано, на суд явилось столько добровольных свидетелей из разных слоев общества, не исключая офицеров, говоривших о ее доброте, отзывчивости и о том, как она их спасала из когтей Чека, что суровые судьи, привыкшие отправлять большевиков на виселицу, не смогли посягнуть на жизнь этой действительно благородной женщины, виновной лишь в фанатической преданности своим идеалам.

С этого момента мое поручительство отпадало, и Лауре вместе с Новицким удалось скрыться от нового ареста и расстрела – уже без суда. Больше я с ними не встречался...

В 1921 году моя жена и часть детей, остававшихся в России, были арестованы по обвинению в "шпионстве", за что им грозила смерть. Тогда кто-то из общих знакомых обратился к Новицкому, уже ставшему коммунистом, с просьбой спасти мою семью, но он отказался от какого-либо содействия...

Четвертым из управлявших Крымом под большевистской властью меньшевиков был Немченко. Это был еще совсем молодой человек и производил впечатление набравшегося марксистских идей полуинтеллигента. В качестве гласного городской Думы он выступал с речами, полными ненависти к нам, его политическим противникам. Оказавшись на службе у большевиков, он вскоре вошел в коммунистическую партию и исчез из Крыма вместе с Красной армией.

Вернулся Немченко уже после разгрома врангелевской армии в качестве одного из руководителей Чека. Вместе с Белой Куном и Савельевой он состоял в знаменитой "тройке", по распоряжению которой в Крыму было расстреляно от 30 до 40 тысяч человек. Эти чудовищные цифры мне подтвердил в Берлине в беседе со мной А.Г. Галлоп, скорее старавшийся преуменьшать, чем преувеличивать большевистские зверства.

Однако, как бы ни сложилась впоследствии судьба здесь мною охарактеризованных четырех меньшевиков, тогда, весной 1919 года, присутствуя с совещательным голосом в высшем органе местной крымской власти и имея мощную покровительницу в лице председательницы Ревкома Лауры Багатурьянц, они несомненно оказывали смягчающее влияние на установившийся в Крыму режим.

Штаб Дыбенко, вступивший в борьбу с более гуманным Ревкомом, продолжал вести ее и с Совнаркомом, возглавлявшимся братом Ленина и руководившимся группой меньшевиков. В конце концов Дыбенко получил разрешение организовать свою военную Чека, но она не успела развернуть свою кровавую деятельность, когда большевикам пришлось отступить из Крыма под натиском наступавших из Керчи добровольцев.

Обо всем, что творилось в это время в Крыму, я узнавал случайно, и многое узнал лишь впоследствии из рассказов знакомых.

Нас на южном берегу, как и в первый период большевизма, не трогали. Приезжали к нам какие-то комиссии опечатывать винный подвал и собирать статистические сведения, и только. Ни разу за три месяца мне не пришлось иметь дела ни с одним из представителей большевистской власти. Жили мы мирно, обрабатывая своим трудом виноградники, и только раскаты пушечных выстрелов говорили нам о возможности перемены в нашей судьбе...

В середине июня пошли всякие противоречивые слухи: то передавали о прорыве добровольцев и начавшемся бегстве большевиков, то обратно – о блестящих победах Красной армии. Еще за два дня до отступления большевиков из Крыма мы читали в газетах победные реляции. Но татары, имевшие связи через Феодосию с Керчью, задолго таинственно нам подмигивали и говорили, что "скоро перемена будет". Еще со времени власти первых большевиков, так жестоко с ними расправившихся, татары питали к ним затаенную ненависть, и хотя послушно исполняли их распоряжения, беспрекословно выбирали "революционные комитеты" и вообще внешне оказывали большевистской власти почет и уважение, но в потаенных пещерах на всякий случай прятали винтовки и патроны.

Большевики старались внести разложение в патриархальный строй татарской жизни, пытались проводить в ревкомы так называемую "бедноту", т.е. по преимуществу наиболее развращенную часть татарской молодежи, преступников и хулиганов, но это им плохо удавалось. Татарские "середняки" были чрезвычайно сплочены и выдвигали на ответственные посты своих лидеров, которые с присущим восточным людям дипломатическим талантом умели вкрадываться в доверие к подозрительному начальству.

Однажды, когда моя жена зашла по делу в биюк-ламбатский Ревком, председатель Ревкома отвел ее в сторону и шепотом сообщил ей: "Ну, слава Богу, наши идут. Феодосию заняли, сегодня Судак возьмут, завтра тут будут. Слава Богу!.."

На следующий день я в первый раз за три месяца пошел в Алушту и видел, как по пустым улицам неслись в направлении Симферополя тачанки с красноармейцами. А еще через день, сбрив себе на всякий случай бороду, я уже ехал в Симферополь, рассчитывая быть на своем посту в земской управе еще до прибытия добровольцев.

Еще накануне пустынное шоссе, по которому носились лишь одни казенные автомобили, на моих глазах оживало: со всех проселочных дорог к нему тянулись нагруженные всякими продуктами мажары, на деревенских улицах, как в праздник, толпился народ. Все были радостно возбуждены. После трехмесячного умирания Крым снова почувствовал биение жизни...

Глава 32

ПОД ВЛАСТЬЮ ГЕНЕРАЛА ДЕНИКИНА
(июль 1919 – март 1920)

Не диктатура, а военная анархия. Жертвы контрразведки. Преследование всех, служивших у большевиков. 2-ой Конный полк и его бесчинства. Контрразведка в родстве с чрезвычайкой. Законодательство и управление деникинского правительства. Отмена всех законов крымского правительства. Реформа самоуправления. Обновленная симферопольская городская Дума. Земства без земских собраний. Совещания председателей управ. Уездные начальники. Полиция в двойном подчинении у местной и центральной власти. Губернатор Татищев под влиянием крупных помещиков. Учреждение карательных отрядов на средства землевладельцев. Вице-губернатор Карпов в роли реставратора. Приезд генерала Деникина в Симферополь. Мобилизация в Крыму и ее неудача. Безденежье местных учреждений в связи с централизацией управления. Трагическое положение губернского земства. Мои поездки за деньгами в Екатеринодар и Ростов. Миллионы в чемодане. Ужасное состояние психиатрической больницы. Эпидемия сыпного тифа в Симферополе. Постепенное разрушение земского дела. Децентрализация власти и ее влияние на улучшение материального положения казенных и общественных учреждений. Моральный развал в войсках Добровольческой армии. Проект капитана Орлова об организации отборных частей войск. Восстание Орлова и его ликвидация. Генерал Слащев – главноначальствующий над Крымом. Мое знакомство со Слащевым. Заложники в поезде Слащева и их спасение. Слащев на заседании комитета, организованного эсерами. Конец Слащева. Мои впечатления о Деникине и его окружении. Н.И. Астров. Крушение Деникина: деникинское правительство в Севастополе. Военный заговор против него и его отставка. Моя поездка в Феодосию по вызову Деникина. Засада "зеленых" на пути в Феодосию. Отставка Деникина и избрание генерала Врангеля южнорусским диктатором.

Я прибыл в Симферополь одновременно с первым кавалерийским отрядом деникинской армии, вошедшим в город по феодосийскому шоссе. Начальник этого отряда объявил себя временным комендантом города и в течение первых двух-трех дней стал в нем высшей

военной и гражданской властью. У меня, как председателя управы, сразу появилось множество неотложных дел, о которых нужно было с ним переговорить, и я отправился в Европейскую гостиницу, ставшую с легкой руки немцев местом пребывания всех войсковых штабов, появлявшихся в Симферополе.

Помещение гостиницы, в которой еще два дня тому назад находился штаб Красной армии, было невероятно грязно. По пустым коридорам слонялись, гремя шпорами, сильно подвыпившие офицеры, из какого-то номера раздавались пьяные песни и крики. На просьбу доложить коменданту о моем приходе мне ответили, что он занят и чтобы я подождал.

Усевшись на подоконник, за отсутствием стульев, я стал наблюдать слонявшуюся мимо меня веселую компанию, среди которой находился длинноусый полковник в расстегнутом мундире. Из происходивших разговоров я понял, что это и есть "занятый" комендант, и попросил его уделить время для делового разговора. Полковник посмотрел на меня пьяными глазами, грубо сказал, что ему некогда, и повернулся ко мне спиной. Пришлось отложить деловые разговоры до появления настоящей власти.

Этот сам по себе незначительный эпизод сохранился в моей памяти потому, что грубый пьяный полковник представлялся мне впоследствии фигурой, символизирующей деникинский режим. Там, на верхах, сам Деникин, полный добрых намерений, пламенный патриот, храбрый воин и честнейший человек. Вокруг него – борьба сил реакционных и либеральных, Особое совещание, нерешительное, колеблющееся между правым и левым курсом политики, добросовестно разрабатывающее законы и уверенное, что оно создает государственность на юге России. Все это там, где-то далеко, в Екатеринодаре, Таганроге, Ростове. А население видит перед собой вот таких пьяных полковников, для которых никакие законы не писаны. И совершенно безразлично, одерживала ли в Особом совещании победу группа М.М. Федорова и Н.И. Астрова или их правые противники – полковникам на местах до этого не было дела. Они не признавали никаких властей, ни консервативных, ни либеральных, а, действуя по своему усмотрению, создавали атмосферу военной анархии. И весь период власти генерала Деникина в Крыму, от занятия Крыма его войсками, пришедшими с Акмоная, и до появления у власти генерала Врангеля, можно назвать периодом все усиливавшейся военной анархии, которую совершенно неправильно называли военной диктатурой.

Еще гражданские власти не были установлены в Крыму, когда контрразведка уже приступила к работе. И в первые же дни после прихода добровольческих войск я получил весьма яркое впечатление об ее работе.

В мой кабинет вошла сравнительно молодая женщина в сопровождении большого бородатого человека в форме лесничего.

Войдя, они тщательно затворили за собой дверь, и женщина робко и конфузливо, почти шепотом, просила меня выслушать ее, с тем, однако, что все, сказанное ею, останется между нами. Затем, сев в кресло и облокотясь на стол так, чтобы скрыть от меня выражение своего лица, она начала свой рассказ глухим, но каким-то искусственно спокойным голосом человека, перенесшего, но уже пережившего большую душевную драму.

Она — учительница в Старом Крыму, учительствует 15 лет. Никогда раньше не занималась политикой, а когда пришла революция — записалась в народно-социалистическую партию и раза два выступала на митингах. Большого касательства к политике она не имела и занималась своей школой, как при крымских правительствах, так и при большевиках. Будучи глубоко религиозным человеком, она не могла не относиться отрицательно к большевикам, о чем свидетельствовали удостоверения за подписями двух священников, которые она мне предъявила.

Но вот в Старый Крым вступают добровольческие войска и контрразведка с ротмистром X (фамилию его не помню) во главе. Начинается расправа с "большевиками"...

Кто-то донес на скромную учительницу, что она социалистка. Социалистка — значит большевичка. Ротмистр призвал ее к себе и велел двум солдатам в своем присутствии ее выпороть. Приказание было исполнено...

Рассказав мне все это, она на минуту замолкла и как бы застыла, закрыв лицо руками. Я посмотрел на ее мужа. Он сидел неподвижно, большой и неуклюжий, и крупные капли слез текли по его всклокоченной бороде.

— Так вот мы пришли просить вас, чтобы вы заступились.

Я ответил, что употреблю все меры, чтобы этот негодяй понес заслуженную кару.

— Нет, ради Бога, не делайте этого, — перебила она меня. — Я уже все это пережила, много молилась... и зла ему не желаю. Бог с ним... А только мы опасались, что дело может иметь последствия... Меня могут уволить. А вы сами понимаете, как теперь трудно жить нам с детьми на одно жалованье мужа. Да и на службе мужа это может отразиться.

Муж отер слезы и угрюмо смотрел в пол. Видимо, он понимал унизительность постановки вопроса, мучился этим, но ответственность за судьбу семьи вынуждала и его к смирению.

Я, конечно, обещал им всяческое содействие на случай, если бы их стали притеснять, а затем просил их все-таки дать мне разрешение довести до сведения военного начальства о действиях ротмистра X.

Вначале несчастная женщина об этом и слышать не хотела, но мои доводы о том, что, если замолчать дело, X и с другими будет проделывать то же, что с ней, и что я обещаю доложить об этом

лично самому Деникину, когда буду в Екатеринодаре, в конце концов вынудили ее согласие.

В Екатеринодаре я подал Деникину докладную записку о деятельности контрразведки, изложив в ней и этот тяжелый эпизод. Через два дня я у него спросил, дан ли ход делу ротмистра Х, и он сейчас же позвонил по телефону начальнику контрразведки. Получив ответ, он удовлетворенно улыбнулся и сказал: "Сидит".

– Вот видите, как у нас скоро дела делаются, – добавил он весело.

Не знаю, действительно ли Х был тогда арестован, или начальник контрразведки просто обманул Деникина. Во всяком случае вскоре по возвращении моем в Крым я уже слышал жалобы на действия этого ротмистра в мелитопольской контрразведке...

А вот еще случай, относящийся тоже к первым дням занятия Ялты добровольческими войсками.

Приходит ко мне знакомый и говорит: "Вас очень желает видеть С.Д. Ханис, но он вынужден скрываться. Живет он в таком-то доме, вход со двора. Спросите Ивана Ивановича, пароль такой-то. Не откажите, так как дело касается жизни человека".

Ханис был местным присяжным поверенным, но занимался больше коммерцией и спекуляциями, а при большевиках поступил к ним на службу по заведованию казенными имениями южного берега. Я знал его мало, и хотя был о нем не очень лестного мнения, но мне было известно, что он во всяком случае не коммунист. (Через три года он умер от сыпного тифа в одной из московских тюрем).

Я счел своим долгом пойти на тайное свидание с Ханисом, и вот что от него услышал.

В Ялте производились массовые аресты. В числе других арестовали и его. Вскоре после ареста в камеру, в которой он сидел, ночью явился морской офицер и, предъявив ордер морской контрразведки, предложил ему и еще какому-то польскому коммерсанту следовать за ним на допрос. Ханису показалось странным, что их вызвали на допрос ночью, но идти нужно было.

Они вышли из тюрьмы и пошли под конвоем четырех моряков по улицам Ялты по направлению к молу. Ханис спросил офицера, почему их ведут к молу.

– Мы вас повезем на миноносец и там допросим, – был ответ.

Ни у мола, ни в море никакого миноносца не было видно, и Ханис понял...

На молу остановились. Матросы подошли к Ханису, вынули у него из карманов бумажник, портмоне, золотые часы и, накинув на шею веревку с тяжелым камнем, сбросили в море.

К счастью, он оказался прекрасным пловцом и не растерялся. Просунув одну руку между горлом и веревкой, чтобы не быть удавленным тяжелым камнем, он с невероятными усилиями, под

водой, загребая свободной рукой, подплыл под деревянную обшивку мола, зацепился за балку и затих. Оттуда он слышал, как его товарищ по несчастью боролся со своими убийцами, а затем – всплеск, и все стало тихо...

Я не буду рассказывать о дальнейших приключениях этого живого мертвеца. В конце концов ему удалось пробраться в квартиру Елпатьевских, где его укрыли и тайно вывезли в Симферополь. Услыхав, что я еду в Екатеринодар, Ханис просил меня взять его с собой на автомобиле до Керчи. Автомобиля мне достать не удалось, но я обещал ему тоже довести о его деле до сведения генерала Деникина.

Это были первые впечатления при втором появлении Добровольческой армии в Крыму. Они свидетельствовали о том, что за несколько месяцев засевшие в ее контрразведках грабители и насильники стали еще распущеннее...

В качестве председателя губернской земской управы, я, с одной стороны, являлся как бы представителем местного населения, а с другой – постоянно находился в сношениях с администрацией, которая, благодаря моим личным связям с окружением Деникина, все-таки со мной считалась. Поэтому мой кабинет вскоре сделался местом, куда стекались жалобы пострадавших от всяких насилий больших и маленьких властей. Были дни, которые приходилось целиком посвящать подобным делам и ездить по разным инстанциям – к военному начальству, к губернатору, к начальнику контрразведки, к председателю военно-следственной комиссии и т. д.

Военно-следственные комиссии были учреждены с целью разгрузки военных судов от мелких дел и от дел совершенно дутых, в большом количестве фабриковавшихся контрразведками, которые были обязаны предварительно направлять их в комиссии. Менее значительные дела разрешались самими комиссиями в административном порядке, а более важные передавались военным судам.

Эти комиссии, в состав которых входили военные юристы и юристы гражданские, находившиеся в армии в качестве офицеров, все-таки вносили некоторый элемент законности в бесконечное море произвола, царившего при разбирательстве политических дел.

В Крыму председателем военно-следственной комиссии был очень порядочный человек (Городецкий, если не ошибаюсь), который всегда внимательно относился к моим ходатайствам и делал, что мог. Но у него была семья, и, как честный человек, он жил только на свое жалованье, которого, конечно, боялся лишиться. Часто, принимая меня в своем кабинете и тщательно затворив дверь, он жаловался мне на свое полное бессилие. Ему уже ставили на вид слишком большое число прекращенных дел, а каждое его вмешательство в дела контрразведки вызывало доносы, грозившие ему лишением места. И все-таки, благодаря его помощи, мне удалось спасти многих невинных людей.

Самое ужасное было то, что в то время простой факт службы в советском учреждении был достаточным основанием для привлечения человека к дознанию о его принадлежности к большевикам, а участие в "Совете", хотя бы в качестве беспартийного, прямо признавалось преступлением.

Так, например, мне пришлось хлопотать за одного учителя, который, по настоянию товарищей и с целью защищать их интересы, согласился на избрание в Совет, где все время был в оппозиции к большевистской власти.

Даже почтенный председатель следственной комиссии искренне недоумевал, как я могу хлопотать за явного большевика, который ведь был членом "Совета". Лишь после обстоятельной беседы со мной и выслушав рыдавшую молодую женщину – жену учителя, он понял, что следственная комиссия сделала ошибку, приговорив ее мужа к принудительным работам в Новороссийске.

Было отдано распоряжение об освобождении этого несчастного человека, и жена его, радостная и сияющая, поехала за ним в Новороссийск. Увы, он уже успел там умереть от сыпного тифа...

Полное нежелание руководителей политики южнорусского правительства войти в положение обывателей, голодом и холодом вынужденных служить большевикам и создавать с ними добрые отношения, было, несомненно, одной из многих причин катастрофы, постигшей Белое движение. Обыватели развращались, сводя друг с другом счеты доносами, полицейские и военно-полицейские органы тоже развращались легкой возможностью арестовать и повесить или, наоборот, освободить от наказания кого угодно, ибо утратился критерий того, что составляет государственное преступление. И местные жители, хорошо знавшие – кто большевик, а кто нет, наблюдали, как какие-нибудь злостные чекисты, просидев в контрразведке несколько дней, свободно разгуливали по улицам, а люди, ничего общего с большевиками не имевшие, месяцами сидели в тюрьмах, а случалось, что и подвергались смертной казни.

Когда приходилось о всех этих вещах сообщать в Екатеринодаре или в Ростове людям, имевшим власть или влияние в правительстве, то в ответ получался обыкновенно сочувственный вздох и какая-нибудь стереотипная фраза вроде: "лес рубят – щепки летят". И не понимали они, что щепками так завалили лес, что и рубить его стало невозможно.

Подозрительное отношение ко всякому обывателю, которое приносила с собой Добровольческая армия в занятые ею местности, неизбежно создавало в ней самой психологию не освободителя, а завоевателя и вызывало соответствующее отношение к ней со стороны населения.

Ужасно было также отношение к пленным красным офицерам. Всех их мытарили на допросах контрразведок.

Как-то в Джанкое, в ставке командующего корпусом, я видел толпу этих грязных, оборванных людей, больных, запуганных и униженных. Их привезли к заведующему политической частью Кирпичникову на допрос. Сердце сжималось при виде этих несчастных, дальнейшая судьба, а может быть и жизнь которых зависела от сцепления маленьких случайностей: от показания товарищей, доноса стороннего человека о том, что такой-то служил не за страх, а за совесть в Красной армии, и т.п.

В последний период своего управления деникинское правительство поняло ошибочность своей политики. Дана была амнистия красным офицерам, писались циркуляры, разъяснявшие, что служба в большевистских учреждениях не должна почитаться за преступление, и т.д. Но уже было слишком поздно. Создавшуюся психологию управляющих и управляемых изменить уже было нельзя...

Говоря о своих впечатлениях о Добровольческой армии, не могу не упомянуть еще о своей поездке в Мелитополь, только что освобожденный от большевиков.

Среди кавалерийских частей, сражавшихся на Акмонайском перешейке, был между прочим 2-ой Конный полк, в который входили эскадроны, состоявшие главным образом из кавказских горцев. Когда в тылу у добровольцев вооруженные большевики, скрывавшиеся в керченских каменоломнях, вошли в Керчь и подняли там восстание, этот полк его подавил потоками крови не только большевиков, но и случайных людей, казавшихся подозрительными. В таких случаях чрезмерные жестокости понятны и неизбежны. Однако, недаром именно этот полк был послан на подавление восстания: он был известен в армии своей исключительной жестокостью и грабежами. Когда Добровольческая армия проходила через Крым, преследуя большевиков, начальство направляло этот грабительский полк в обход крымских городов и расквартировало его по деревням северной Таврии.

И вот в Мелитополе я был свидетелем целого паломничества в земскую управу и к уездному начальнику с жалобами на бесчинства и грабежи этого полка. Приезжали ограбленные мельники, евреи-лавочники, выпоротые крестьяне... Жалобам не было конца.

На возвратном пути я заехал в Джанкой к командующему корпусом генералу Добровольскому и сообщил ему о том, что видел и слышал. "Все это мне известно, – ответил он. – Я уже просил, чтобы этот полк от меня убрали, и генерал Май-Маевский обещал".

Действительно, 2-ой Конный полк был вскоре переведен в другое место, где так же, как и в Мелитопольском уезде, пополнил армию батьки Махно не одной тысячью крестьян, преисполнившихся ненависти к "кадетам".

"Знаю, знаю все это, – говорил мне и генерал Деникин в Екатеринодаре, – но что я могу сделать!.. Весь русский народ сейчас

развращен и, развращенный, грабит, безобразничает. Мы боремся против этого, делаем все, что можем, но искоренить зло можно будет только после окончания гражданской войны"...

Я знаю, что среди войск генерала Деникина были части дисциплинированные, дезорганизовавшиеся лишь в последний период бегства армии в Новороссийск, знаю, что пока одни грабили – другие геройски умирали, а иногда и грабители храбро сражались. Но смерти героев происходили там, далеко, на полях сражений. Мимо жителей они проходили в моменты освобождения от большевиков и исчезали на фронте. А грабителей, вымогателей, взяточников, оскорбителей чести и достоинства человеческого, это отребье военного фронта и гангрену тыла, население видело повседневно. По ним обыватели судили о Добровольческой армии в целом. Поэтому и мне, изображающему жизнь не армии, а гражданского населения Крыма, невольно приходится останавливаться на этих отрицательных явлениях.

То же скажу и о южнорусской власти. Ведь благие намерения и цели высокопорядочных людей, какими были и сам Деникин, и большинство лиц, его окружавших, независимо от политических направлений, людей, бесконечно преданных родине и ее возрождению, были совершенно скрыты от рядовых обывателей. На местах мы видели у власти в лучшем случае чиновников-карьеристов, а в худшем – злобных реставраторов, мстительных и жестоких, сводящих счеты со всеми политическими противниками, а еще больше – просто людей, развращенных безвременьем, спекулянтов и мошенников, стремившихся использовать свою власть, чтобы поживиться за счет казны и населения.

И все-таки я скажу, что глубоко не правы те, кто, не пережив с нами крушения белого фронта и белого управления, а судя о Белом движении лишь на основании рассказов и газетных сообщений, приходят к выводу, что режим на юге России был не лучше большевистского.

На моих глазах все больше и больше разлагалась южнорусская государственность, и все мы страдали от ее длительной агонии. Но это была агония отходящей жизни, а большевистский режим периода военного коммунизма – это была смерть.

Всякая жизнь лучше смерти. И понятно, что мы всеми силами старались поддержать ужасную, агонизирующую жизнь. Только бы не умереть...

В частности, многие, признавая весь кровавый ужас работы чрезвычаек, утверждают, что белые контрразведки делали то же самое. Действительно, это были совершенно аналогичные учреждения, в которых часто подвизались даже одни и те же лица.

В памяти моей ярко сохранилась одна сцена, которой я был случайным свидетелем.

В приемную губернатора, где я находился по какому-то делу, вбежал молодой врач и прерывающимся от волнения голосом обратился к дежурному чиновнику:

– Мне нужно срочно видеть губернатора по важному делу.

– Подождите, – был сухой ответ, – губернатор примет вас, когда освободится.

Молодой человек пожал плечами и, махнув рукой, стал нервно ходить по комнате взад и вперед. По мере того, как шло время, волнение его возрастало. Очевидно, у него была потребность поскорее высказать кому-нибудь то, что у него на душе, и, подойдя ко мне, он стал почти истерическим тоном говорить:

– Поймите же, ведь это черт знает что, ужас, ужас какой-то... Я все время на фронте... да что я, я – врач... А другие бьются, погибают, дохнут от сыпного тифа, а за кого, за что?..

Видно было, что он почти не владеет собой. Губы его дрожали, на глазах были слезы...

– В чем же дело? – спросил я.

– Дело простое: захожу сейчас по делу в государственную стражу и вижу там в офицерской форме того человека, который полтора года тому назад во главе большевистской банды явился в наше тульское имение. Они взяли моего отца и расстреляли...

– За кого же мы сражаемся, – продолжал он, – для чего кровь проливаем!.. Неужели для того, чтобы и здесь наши убийцы делали карьеру, как у большевиков. Ведь этот (он назвал фамилию) большой пост занимает в полиции... Я не уеду отсюда, пока с ним не сосчитаюсь... Все расскажу губернатору, и если не добьюсь своего, то уж и не знаю... Пусть тогда меня вешают, что ли...

Я пошел к начальнику уголовно-политического розыска, передал ему рассказ военного врача, в правдивости которого у меня не было сомнений, и назвал фамилию полицейского офицера – убийцы его отца.

– Это дело, конечно, подлежит расследованию, – был спокойный ответ, – но наше занятие особое, и такие обвинения не всегда бывают основательны. Представьте себе, что этот офицер выполнял у большевиков те или иные функции по распоряжению из другого места. Ведь это возможно, не правда ли?

И он посмотрел на меня взглядом, выражавшим снисхождение к моей наивности.

Не знаю, было ли произведено расследование по поводу заявления военного врача, но только то лицо, на которое он указывал как на убийцу своего отца, я встречал после этого не раз в военной форме в Симферополе, Севастополе и Константинополе.

Где кончалась Чека и где начиналась контрразведка? Эти два учреждения были связаны между собой бесконечными нитями, и случаи перехода служащих из одного в другое были многочисленны.

Мне лично известны два таких случая в Крыму. А я ведь мало кого знал из служащих в этих учреждениях.

Да, между контрразведкой и Чека или ГПУ можно поставить знак равенства, приписав ко второй численный множитель – 1 000. Качественная разница этих учреждений выступает лишь тогда, когда их рассматриваешь как функциональные органы власти. Контрразведка старалась скрыть свои преступления, она их делала тайком. Если местные власти иногда закрывали глаза на то, что делалось в контрразведках, а иногда даже поощряли их беззакония, то считали своим долгом хотя бы делать вид, что принимают меры для смягчения их насилий, или просто отрицали самые факты.

Если центральная власть была бессильна в борьбе с палачами, садистами и вымогателями контрразведок, то она их не оправдывала. Чекисты же открыто и с полного одобрения местных и центральных властей делали свое кровавое дело.

В Добровольческой армии на моих глазах шло падение моральных устоев, но все-таки критерием поступков оставалась общечеловеческая мораль. Отступали от нее и руководители, и исполнители, но не отрицали ее и, нарушая, сознавали, что поступают дурно.

Большевики заменили общечеловеческую мораль классовой. И эта классовая мораль позволяла им зверствовать с гордо поднятой головой.

Это обстоятельство часто упускается из виду, когда ставят знак равенства между происходившим в России белым и красным террором. Только Гитлер, отвергнув общечеловеческую мораль, этот знак равенства поставил.

Но летом 1919 года, после относительно "мягкого" красного режима "товарища Лауры" и ленинского брата, белый террор оказался жесточе и разнузданнее. Это была простая местная случайность, но случайность, давшая благоприятную почву для большевистской пропаганды в Крыму.

Теперь скажу несколько слов о законодательстве и общих основах управления деникинского правительства.

Период двух краевых правительств в Крыму продолжался около года. Оба правительства не только управляли, но и законодательствовали. Особенно много законов было издано вторым правительством Соломона Крыма. Значительная часть их касалась введения новых налогов и увеличения ставок ранее существовавших, в целях создания, при неуклонно падавшем рубле, бюджетного равновесия. С уходом большевиков эти законы снова приобрели силу.

Казалось бы, что правительству Деникина надлежало ознакомиться с местными законами, отменить те, которые оно нашло бы неудовлетворительными, и сохранить нужные и полезные. В Екатеринодаре, однако, по некоторым вопросам господствовала

твердокаменная принципиальность, не считавшаяся совершенно с потребностями жизни. К таковым относилась идея "единой России". Везде и всюду видели злостный сепаратизм и измену этой идее.

Как я уже писал выше, борьба правительства С.Крыма с военной анархией получила в ставке Деникина тенденциозное освещение и создалась легенда о нашем стремлении отделить Крым от России. И вот, когда после занятия Крыма добровольческими частями правительство Деникина узнало, что там действуют какие-то особые законы крымского правительства, эти законы были отменены без рассмотрения единым росчерком пера.

Последствия получились совершенно неожиданные для деникинского правительства: доход от косвенных налогов сразу понизился в 20-30 раз, приток денег в казначейства значительно сократился, а затем начались иски к казне о неправильных взысканиях, которые суду приходилось удовлетворять. Сокращение денег в казначействах отражалось на несвоевременном получении жалований, что усиливало недовольство властью.

Другая навязчивая идея правительства Деникина — была боязнь социалистических самоуправлений. Поэтому одним из первых актов его в Крыму был роспуск городских Дум и земских собраний. Особым совещанием были выработаны новые положения о земских и городских учреждениях. Во главе этой законодательной работы стоял Н.И. Астров, которому удалось вполне сохранить демократический их характер.

В основу реформы были положены соответствующие законы Временного правительства. Принципиальные изменения их состояли главным образом в усилении правительственного контроля (хотя в гораздо меньшей степени, чем в старых земском и городском положениях) и в изъятии полиции из ведения самоуправлений.

В положении о земских учреждениях сохранились уездное и губернское земства со всеми их функциями. Что касается земства волостного, то оно было оставлено факультативно, в виде права уездных земств, в случае надобности, учреждать по своему усмотрению участковые и волостные земства.

С моей точки зрения, эта последняя реформа была весьма удачной. Факультативность волостных земств вытекала из реальных потребностей.

В городских самоуправлениях было сохранено всеобщее избирательное право, но с двухгодичным цензом оседлости и с мажоритарной системой выборов. С моей точки зрения, это тоже было улучшением закона Временного правительства.

Городское положение было проведено в жизнь, городские Думы были избраны и приступили к работе.

Благодаря введению ценза оседлости, они явились по своему составу довольно правильными выразителями настроений оседлого населения крымских городов.

Я принимал участие в составе симферопольской городской Думы. В Симферополе одержала победу наша группа "демократического объединения", в которую входили люди, довольно различные по своим политическим взглядам. Основная цель наша заключалась в том, чтобы, не отказываясь в исключительных случаях от политических выступлений, изгнать политику из повседневной думской работы, сделав ее исключительно деловой.

Нужно было раз навсегда покончить с укоренившимися в демократических думах партийными нравами, превращавшими каждый мелкий вопрос повседневной городской жизни в политические турниры, из-за которых страдала думская работа, важные доклады переносились с повестки на повестку, а городское хозяйство постепенно разрушалось.

Для того, чтобы искоренить эти пагубные нравы, по моей инициативе, мы отказались от каких-либо фракционных заседаний "демократического объединения". Выборы в думские комиссии производились персонально, вне соблюдения партийных пропорций.

Такая реорганизация думской работы вначале встречала резкую оппозицию со стороны меньшинства — с.-р. и с.-д.

В конце концов наша левая оппозиция смирилась, и Дума стала работать нормально и продуктивно, поддерживая пошатнувшийся престиж демократических самоуправлений. Даже в последующий период полного финансового кризиса и инфляции хозяйство города Симферополя как-то продолжало держаться и в бюджете правительственные субсидии занимали весьма скромное место.

Конечно, симферопольская Дума не могла оставаться глухой к ряду безобразных проявлений власти и не раз подымала свой голос в защиту населения и своих нарушенных прав. Это создавало ей в правительственных кругах репутацию "крамольной", и, ведя внутри борьбу с левой оппозицией, ей приходилось защищаться от нападений справа.

Занятый больше своими земскими делами, я не мог работать в городской Думе, посещая лишь ее заседания. Но с тем большей объективностью могу сказать, что она была в этот мрачный период всеобщего развала одним из немногих крымских учреждений, в которых с невероятными усилиями творилась созидательная работа и где до последней минуты не угасал дух здоровой русской общественности.

Итак, новое городское положение дало свои плоды. Совсем иная судьба постигла положение о земских учреждениях: в изданном со всеми полагающимися параграфами законе о земских учреждениях не хватало самого главного — положения о выборах, выработка которого была отложена на неопределенное время.

Этот мелкий факт из законодательства деникинского правительства чрезвычайно для него характерен. Оно понимало, что после революции земство не может не быть крестьянским, но относилось

подозрительно к крестьянскому населению, подозревая его в симпатиях к большевикам, и не решалось восстанавливать крестьянского земства. Оно боялось как раз тех, на которых должно было опираться в борьбе с большевиками, и таким отношением к крестьянству готовило себе гибель...

И вот земские собрания были распущены, а новые выборы назначены не были из-за отсутствия избирательного закона. Был издан временный закон, по которому земские управы получили права земских собраний, причем все их постановления финансового характера подлежали утверждению особой коллегией в составе губернатора, вице-губернатора, управляющего казенной палатой, председателя губернской управы и нескольких бывших земских гласных по назначению губернатора. Что касается председателей и членов земских управ, то они, тоже "временно", назначались губернатором, а председатель губернской управы – министром внутренних дел.

Ознакомившись с этим временным законом, я созвал совещание председателей управ, на котором было решено принять назначения только в том случае, если мы все будем назначены, в случае же, если кто-либо из выборного состава управ не будет назначен, – всем подать в отставку. О нашем решении было доведено до сведения губернатора, и все мы, независимо от партийной принадлежности, были оставлены на своих постах.

Это первое совещание председателей управ в Симферополе положило начало особой, не предусмотренной никакими законами и не связанной никаким регламентом организации, действовавшей в течение деникинского и врангелевского периодов управления Крымом. Периодические совещания представителей управ служили нам суррогатом упраздненных земских собраний. На них решались все важнейшие вопросы земской жизни, и хотя решения их нас формально не связывали, но по добровольному соглашению мы считали их для себя обязательными.

Впоследствии и городские головы образовали аналогичные совещания, которые по общим вопросам земской и городской жизни устраивались совместно с земскими.

В период управления Крымом генерала Врангеля совещания председателей управ и городских голов получили официальное признание. На этих совещаниях разрабатывались законопроекты, касавшиеся неотложных нужд самоуправлений, преимущественно финансового характера, несколько раз они отправляли делегатов для переговоров с генералом Врангелем, представители их приглашались в правительственные комиссии и т.д.

До сей поры я с теплым чувством вспоминаю наши совещания и дружную их работу, полную взаимного доверия, из которой исчезли все прежние партийные распри и разногласия. К сожалению, все наши усилия удержать земское дело от полной разрухи оказались тщетными.

Итак, земский аппарат, сведенный к управам по назначению, был значительно упрощен. Зато административный аппарат был чрезвычайно усложнен. Прежние губернские и уездные власти были восстановлены, но кроме того в уездах были учреждены особые должности уездных начальников, нечто вроде уездных губернаторов. Цель создания этих должностей заключалась в "приближении власти к населению". Едва ли она была достигнута, ибо уездные начальники назначались по большей части из людей пришлых, ничего общего с населением не имевших и незнакомых с его нуждами. Одно могу сказать, что содержание их обходилось очень дорого, принимая во внимание, что при каждом из них было по помощнику и сверх того два-три канцелярских чиновника. Что делали все эти чиновники в уездах, где хозяйственными делами ведали органы самоуправлений, а полицейскими – государственная стража, я бы затруднился сказать. Конечно, сколько начальства ни поставь в такое смутное время – ему всегда дело найдется, ибо всяких жалоб и обид не оберешься, но все-таки нормальные функции уездных начальников были довольно неясны.

Полиция, как я упоминал, была изъята из ведения самоуправлений и составила особый институт государственной стражи. Государственная стража составляла отдельное ведомство, подчиненное главному начальнику на правах товарища министра внутренних дел.

Неполное подчинение полиции местной административной власти ставило ее в привилегированное положение, наподобие прежних жандармских управлений, затрудняя борьбу с процветавшими во время гражданской войны полицейскими злоупотреблениями и снимая за них ответственность с высших губернских властей.

Мне не раз приходилось доводить до сведения губернатора о вопиющих злоупотреблениях государственной стражи, злоупотреблениях, переходивших в открытый грабеж, и получить в ответ лишь неуверенное обещание произвести расследование, а то и просто – бессильное пожимание плечами.

В Ялтинском уезде, например, стражники ловили пасущихся на горных пастбищах лошадей и присваивали их себе, отбивали овец у пастухов и т.д. На запрос губернатора о грабеже лошадей начальник уездной стражи прислал письменное объяснение, в котором утверждал, что лошади были "дикими" и никому не принадлежали...

Губернатором к нам был назначен бывший московский губернатор, мой родственник Н.А. Татищев, человек честный и порядочный, но совершенно непригодный для сложной и ответственной роли начальника губернии в такое смутное время. Принадлежа по своим симпатиям, воспитанию и родственным связям к наиболее реакционным кругам старого режима, он, как человек неглупый, понимал, что старые точки опоры в управлении не годятся. Но где искать новых?.. Привыкший к служебной дисциплине, он ждал

указаний из центра, а указания эти были противоречивы, так как и в центре не было устойчивого курса политики. Не уяснив себе требований, предъявлявшихся к нему свыше, губернатор стал все более и более подпадать под влияние привычного для прежних губернаторов окружения: с одной стороны – крупных землевладельцев, а с другой – полицейских властей.

Будучи в хороших отношениях с Татищевым, я видел, как в области политики они постепенно заменялись взаимным недоверием и подозрительностью.

Пленение губернатора местными землевладельцами с особой яркостью обнаружилось в формировании за счет последних карательного отряда для борьбы с сельскими большевиками. Душой этого отряда был известный своим буйным нравом помещик Шнейдер, состоявший под следствием по обвинению в убийстве соседнего крестьянина. Этот карательный отряд разъезжал по деревням и терроризировал население всяческими насилиями.

Если губернатор, скорее по привычке, чем по сознательному стремлению, подпал под влияние правых, то его помощник, вице-губернатор Карпов, совершенно открыто высказывал свои реставрационные взгляды и проводил их систематически во всех мелочах управления. Зная несколько психологию военных руководителей деникинской политики, я представляю себе, что в Екатеринодаре, при назначении крымских администраторов, придали к "бюрократу" Татищеву "общественного деятеля", бывшего бахмутского предводителя дворянства и земского гласного Карпова, чтобы показать доброжелательное отношение к "общественности". А между тем эти озлобленные, ничему не научившиеся "общественные деятели", жадно стремившиеся лишь вернуть себе блага старого режима, были во сто крат хуже более скромных, выдержанных и спокойных бюрократов.

Для характеристики Карпова, который был все-таки вторым в губернии лицом и часто исполнял обязанности губернатора, не могу не привести незначительного, но чрезвычайно типичного анекдота.

Когда Добровольческая армия вела победоносное наступление на Орел, генерал Деникин, очевидно для подъема настроения, решил объехать подвластные ему области. Заехал он и в Симферополь. Татищев устроил маленькое совещание для обсуждения ритуала встречи, на которое пригласил и меня. Обсуждался вопрос, в каком порядке разместить на вокзале встречающих Деникина лиц. Я высказал мнение, что порядок размещения не имеет значения, но так как известно, что городская управа намеревается поднести хлеб-соль, то полагаю, что акт поднесения хлеба-соли должен быть первым при встрече, а потому впереди должен стоять городской голова.

Карпов искренне возмутился моим предложением.

– Я нахожу, – заявил он, – что мы должны придерживаться старых традиций и встречать главнокомандующего в том же

порядке, как прежде встречали государя императора, т.е. впереди должны находиться сперва начальник губернии, затем предводитель дворянства, начальники ведомств, а потом уже представители самоуправлений. Само собой разумеется, что ввиду военного времени рядом с губернатором на первом месте должны поместиться представители армии.

У меня не было никакой охоты всерьез спорить о местничестве, но я не мог не подтрунить над важным местом, отведенным всеми давно забытому и лишенному прежних общественных функций предводителю дворянства, что крайне обидело Карпова и вызвало с его стороны несколько злобных слов по моему адресу. В конце концов схема Карпова была одобрена.

Утром, в день приезда Деникина, меня по всему городу искали полицейские и не могли найти. Когда я прибыл на вокзал, начальник государственной стражи объяснил мне причину этой полицейской тревоги. Оказалось, что ночью была получена от Деникина телеграмма, в которой он высказал желание выслушать доклады председателя управы и городского головы. Получив такую телеграмму, губернатор решил нарушить выработанный накануне ритуал и пригласить меня и городского голову стать вместе с ним во главе встречающих. Чтобы сообщить мне об этой "важной" перемене, меня все утро искали полицейские.

В Екатеринодаре и в Ростове от власть имущих и самого Деникина мне приходилось слышать сетования на отсутствие людей, пригодных для ответственных административных должностей. И действительно, в той среде, из которой черпались администраторы, в этом штабе "бывших людей", бывших губернаторов, правых и поправевших за революцию земских и дворянских деятелей, людей озлобленных и, благодаря озлобленности, прямолинейно и упрощенно относившихся к сложным явлениям смутного времени, – подходящих людей было очень мало. Не думаю, чтобы и среди "левых", к которым, впрочем, Деникин и не обращался, нашлись бы нужные для того времени администраторы. Но мне казалось, что искали администраторов не там, где их можно и должно было находить. Управляемым не столько были нужны политические принципы и политические тенденции управления, сколько близкое знакомство с местными условиями и понимание нужд и психологии городских и деревенских жителей. Таким пониманием обладали многие из высших служащих в провинциальных учреждениях – суде, казенной и контрольной палатах и др. Эти скромные люди оставались на месте, когда приходили большевики, терпя все лишения вместе с прочими жителями. Хорошо зная местную обстановку и настроения управляемых, они вместе с тем обладали в достаточной степени административными навыками и привычкой к служебной дисциплине, чего мы, так называемые общественные деятели, были лишены.

Мне по моей должности много приходилось иметь дела с такими провинциальными чиновниками, и должен сказать, что встречал среди них, независимо от их прежних политических взглядов, гораздо больше вдумчивости и понимания положения, чем среди присылавшихся из центра администраторов и уполномоченных различных ведомств. А такие уполномоченные присылались к нам в обильном количестве: были уполномоченные и по финансам, и по торговле, и по продовольствию... Все они зачем-то возглавляли местные ведомства, имевшие своих опытных начальников, и вносили лишь ненужную путаницу в без того уже разлагавшийся бюрократический аппарат. Впрочем, неудачные назначения местных властей были не главным злом деникинского режима. Главной его язвой была все-таки не гражданская власть, а военная анархия. Как ни была плоха наша гражданская администрация, она все-таки пыталась защитить нас от военной анархии, но была в борьбе с ней совершенно бессильна. Вероятно, столь же бессильной оказалась бы в таких условиях самая лучшая администрация.

Выше я упоминал о том, что представляли собой военные контрразведки. Но их темная и кровавая работа обрушивалась на относительно небольшое количество людей. Гораздо больше возмущала массового обывателя работа тыловых частей войск, связанная с реквизициями, подводною повинностью и т.п. На этой почве злоупотребления происходили у всех на глазах, и не было способа борьбы с ними.

Я принимал участие в комиссиях под председательством губернатора, определявших нормы и порядок реквизиции потребных для армии лошадей и скота. Но вся наша работа оставалась на бумаге, а по деревням разъезжали разные полковники и отбирали скот без всяких норм там, где было легче его отобрать и где владельцы не могли откупиться крупными взятками. А сколько злоупотреблений было с подводной повинностью! Сколько раз приходилось слышать жалобы на то, как кутящие тыловые офицеры катают на обывательских лошадях знакомых дам и девиц легкого поведения!..

И в этой атмосфере хаоса и разложения производились мобилизации. Добровольческая армия, ведя борьбу против ставшей регулярной Красной армии, не могла, конечно, оставаться "добровольческой" в буквальном смысле. Ей необходимо было пополняться путем мобилизаций. Но население систематически уклонялось от этих мобилизаций, как уклонялось и от мобилизаций, производившихся большевиками. Ибо смысл гражданской войны был большинству населения непонятен, а власть, как большевистская, так и деникинская, воспринималась им не как "своя" власть, а как власть завоевателей.

Ярко припоминается мне мой разговор с одним зажиточным крестьянином Мелитопольского уезда, бывшим выборщиком в первую Думу.

— Скажите откровенно, — спросил я его, — под какой властью из всех, которые вами управляли в последнее время, вам жилось легче?

— Знаете что, — ответил он, слегка подумав, — пожалуй, лучше всего крестьянам было при Махно. Что говорить, все грабят. Вот и Махно — налетит, ограбит, расстреляет двух-трех человек... Ну, известно, пока его отряд в деревне — страшно, того и гляди твой черед придет к стене становиться. Он нашего брата, самостоятельного крестьянина, не очень жалует... Вот и я у стенки побывал, видите, — он показал на свое исковерканное шрамом лицо и рот с выбитыми передними зубами, — расстреляли, только не до смерти, из-под убитых живым выполз... Зато, как уехали махновцы из деревни, двух-трех мужиков убили, взяли у тебя лошадь, хлеба, или еще какое добро, — тогда живи себе, как хочешь, своими порядками. Его власть и не чувствуешь... Ну, а коли большевики, гетманцы или кадеты — так они свои порядки заводят. А нынче знаете, какие у начальников порядки: грабеж один да насилие, мочи нет...

И не мудрено, что там, где можно было убежать к Махно или к другим "батькам", часть подлежавших мобилизации крестьян скрывалась и присоединялась к их повстанческим отрядам, а в Крыму, где не было популярных вождей-повстанцев, — просто бежали в горы и становились "зелеными".

Да и сама техника мобилизации была поставлена так, что вызывала ропот, а порой и дезертирство. В то время всякая одежда считалась драгоценностью, и люди являлись на мобилизацию в отрепьях, в расчете получить казенную одежду и обувь. А между тем, не хватало ни одежды, ни обуви, ни продовольствия. А так как часто и оружия было недостаточно, то случалось, что призывных держали без дела, разутых и раздетых, а иногда — голодных и в неотопленных помещениях.

Легко было подписывать приказы о мобилизации, но выполнять их в условиях общей разрухи и нечестности было очень трудно.

В городе Алешках, например, на этой почве произошел бунт мобилизованных, которые разбежались по деревням. Их потом ловили как дезертиров и подвергали наказаниям...

Борьба со все возраставшей разрухой и анархией была бы легче для местной власти с широкими полномочиями. Но правительство Деникина вначале придерживалось строго централистической системы управления. В Екатеринодар и Ростов от нас направлялись представления и ходатайства, решения же принимались там. А так как почтовые сношения были плохие, а правительственные канцелярии были завалены работой, то решения систематически запаздывали. В особенности плохо было с отпуском кредитов, для получения которых нужно было составлять подробные сметы и докладные записки. Это в то время, когда курс рубля летел

кувырком и когда отпущенный кредит в момент его получения уже не мог удовлетворить какую-нибудь половину или треть потребности, на которую он отпускался.

Постоянные задержки кредитов особенно тяжело отражались на земских учреждениях. По закону земские сметы и раскладки составлялись на год вперед, а между тем дороговизна, при падающем курсе рубля, так быстро возрастала, что, например, зимой 1919-1920 года минимальный месячный расход любого крымского земства уже превосходил весь введенный в раскладку его годовой бюджет. Понятно, что все земства при таких условиях поступили на полное содержание правительства.

При крымском правительстве нам было просто и легко добывать для губернского и уездных земств средства, а теперь приходилось представлять сметные предположения сначала в Екатеринодар, а потом в Ростов.

Письменные представления необходимо было подкреплять личной настойчивостью, и в течение второго полугодия 1919 года мне пришлось три раза ездить в Екатеринодар и в Ростов за деньгами, причем каждая поездка, со всеми хлопотами в центральных учреждениях, брала у меня около месяца. С "набитой сумой" в буквальном смысле, так как, не доверяя быстроте почтовых сношений, я возил миллионы бумажных денег в своем чемодане, возвращался я домой с тем, чтобы, расплатившись с долгами и уплатив жалованье служащим, снова составлять сметы и собираться в новое путешествие. А так как в центре мне никогда не давали денег столько, сколько я просил, а курс рубля не ожидал моего возвращения и падал неукоснительно, то земство хронически страдало от безденежья.

Одна из поездок в Ростов мне хорошо запомнилась. После целого ряда мытарств и переговоров в управлениях внутренних дел и финансов, где я отстаивал заведомо фиктивные сметы (фиктивными они были потому, что невозможно было вперед установить степень падения рубля), я наконец получил в казначействе несколько миллионов бумажных рублей, сложил их в чемодан и отправился на пароход, шедший из Ростова в Ялту.

Пароход был маленький и все каюты были уже заняты. Что мне было делать с моим "миллионным" чемоданом? Я рассудил, что поставить его рядом с собой на палубе опасно, а потому, приняв небрежный вид, обратился к каютным пассажирам с просьбой сунуть его под койку. Они, конечно, не могли догадаться, что в нем миллионы. Так драгоценный чемодан и доехал благополучно до Ялты.

При выезде из Ростова произошла неожиданная задержка: пароходная пристань там находилась позади железнодорожного моста, который нужно было разводить для пропуска парохода. Но время для нашего отбытия давно прошло, а пароход все стоял

на месте. Причина этой задержки объяснилась, когда перед всей пароходной публикой произошла такая сцена: наш капитан со своего мостика переговаривался через рупор со стоявшими на мосту рабочими.

— Сколько хо-чешь? — кричал капитан в рупор.

— Две-е-е-е, — отвечал в рупор же рабочий с моста.

— Мно-ого, даю пятьсо-от...

Долго они торговались, пока не состоялось соглашение на какой-то средней цифре. Тогда мост был разведен и пароход двинулся в путь.

Эта сцена произвела на меня тогда глубокое впечатление. Раньше я был свидетелем анархии, происходившей на периферии деникинского "царства", но не мог представить себе, что в Ростове, в центре южнорусской власти, она достигла таких размеров. И невольно думалось, что "диктаторская" власть, бессильная против актов грабежа, происходивших у нее на глазах, обречена на гибель.

Если в Ростове этот грабеж происходил в форме открытого вымогательства, то в Крыму в это время грабежи вооруженных "зеленых" шли на всех горных дорогах. Поэтому, вынужденный везти из Ялты земские миллионы в Симферополь через горы, я вынул их из чемодана и положил в старую картонку, насыпав поверх груду миндалей, в расчете, что грабители заинтересуются чемоданом и не обратят внимания на миндали. Впрочем, путешествие мое прошло благополучно.

Как я выше упоминал, огромные суммы тратило губернское земство на содержание психиатрической лечебницы и приюта для подкидышей. И вот я помню, как осенью 1919 года, вследствие недостаточности и запаздывания правительственных средств, перед управой встал такой вопрос: оба учреждения как следует содержать нельзя. Кого же морить — детей или сумасшедших? И мы сознательно предпочли пожертвовать сумасшедшими в пользу детей...

Конечно, ни в каких постановлениях это решение не было зафиксировано, но при распределении кредитов, спасая детей, мы губили больных психиатрической лечебницы.

До сих пор я с жутью вспоминаю этот дом страданий и бесконечную тяжесть моральной ответственности, которую я ощущал, посещая его по обязанности службы.

Не хватало денег на дрова, и температура в зимние месяцы обычно не достигала 8-9 градусов. Белье, одежда и обувь изнашивались, а прикупить не на что. Порции хлеба, сокращенные до 1 фунта на человека, да и то надзиратели недовешивали в свою пользу. Мясо и сало — предметы роскоши, дававшиеся раза два в неделю. Самыми ужасными были отделения для буйных. Прежде они ходили в белье из особо плотной не рвущейся ткани. Это белье было разворовано при большевиках, и нигде нельзя было его приобрести. Приходилось их одевать в белье из простой бязи, которое они рвали на куски.

Никаких средств не хватало на постоянное подновление бельевых запасов. В конце концов на каждого больного осталось по одной смене белья, и во время стирки многие ходили голыми, т.к. халатов всем не хватало.

На всю жизнь укором стоит передо мной такая картина: мы идем с главным врачом по коридору в пальто. Температура такая, что без пальто холодно. Отворяется изолятор... Там на коленях стоит молодая женщина, совершенно голая, и молится в бредовом исступлении, с выражением страдания в глазах... Невольно пришла в голову мысль, что она просила у Бога избавить ее от нас, ее мучителей.

А вот еще в палате для буйных: больные бегают из угла в угол, завернувшись в одеяла, чтобы согреться. На некоторых туфли, другие босые. На одной кровати копошится какой-то комок. Это три голых человека, забравшись под одеяло, греют друг друга теплотой своих тел...

Хочется забыть эти ужасные картины...

В городе в это время свирепствовала эпидемия сыпного тифа. Ежедневно тянулись к кладбищу похоронные процессии, образовывавшие заторы у кладбищенской ограды. Можно было на улицах встречать целые обозы с гробами, по нескольку на одной телеге, а то и просто телеги с трупами, прикрытыми брезентом, из-под которого торчали руки и ноги. Вначале невольно считали: пять, десять, пятнадцать, а потом и считать перестали...

Не мудрено, что эпидемия сыпного тифа проникла и в психиатрическую лечебницу, в которой и без того смертность была большая. Летом 1918 года, когда я вступил в должность председателя управы, в ней было более 1 000 больных. Осенью же 1920 года, перед эвакуацией Крыма, их оставалось всего 400. Правда, за эти два года прекратился приток больных из уездов северной Таврии, но так как выздоравливающих сумасшедших вообще сравнительно немного, то главную убыль больных нужно приписать усиленной смертности, благодаря ужасающим условиям их содержания.

Страшную разруху переживали и уездные земства. Больницы были без белья и лекарств, земские врачи, подолгу не получая жалованья, вынуждены были заниматься частной практикой, и земская медицина в деревнях постепенно заменялась частной. Школы плохо отапливались, плохо снабжались учебниками, учителя учили плохо, отдавая время посторонним заработкам, и число учеников стало из месяца в месяц сокращаться.

Параллельно с земскими стали возникать частные школы. В Крыму скопилось много голодной интеллигенции, бежавшей от большевиков и поселявшейся не только в городах, но и в деревнях. И вот более зажиточные крестьяне, видя, что в земских школах учение не идет, брали из них своих детей и отдавали в обучение за небольшую плату таким голодным вольным учителям,

среди которых попадались люди с высшим образованием. Частные школы стали успешно конкурировать с земскими.

Так постепенно, шаг за шагом, на моих глазах разрушалась налаженная в течение десятилетий земская жизнь...

Было бы неправильно приписывать разруху местной жизни исключительно несвоевременному отпуску кредитов, но он сильно ухудшал положение.

Когда, после успешного наступления Добровольческой армии, расширились границы южнорусской государственности, то были назначены главноначальствующие с исключительными полномочиями в Одесский, Киевский и Харьковский округа. В числе их полномочий было и право отпуска кредитов на местные учреждения. Крым был приписан к Одесскому округу. Благодаря этому, однако, наше положение еще ухудшилось, ибо сообщение с Одессой было не лучше, чем с Ростовом, а сношения с Ростовом приходилось вести через Одессу. Только когда главноначальствующий Одесским округом, генерал Шиллинг, бежал из Одессы в Крым, местные учреждения начали работать правильнее. Шиллингом было образовано совещание из начальников всех ведомств, которое распределяло находившиеся в его распоряжении кредиты. И сразу служащие стали аккуратнее получать жалованье, мы закупили дров для психиатрической больницы, улучшили питание больных и т.д.

Я много слышал отрицательных отзывов об управлении генерала Шиллинга Одессой. Его кратковременное управление Крымом тоже было не из славных, но для меня так был мучителен предшествующий период, что это короткое время, когда я снова просто и скоро начал получать нужные для дела средства, казалось мне счастливым.

И мне стало до очевидности ясно, какое значение в периоды государственной разрухи имеет приближение власти к населению. В такие периоды самая плохая, но местная власть лучше центральной, как всякий произвол лучше анархии.

Поздней осенью 1919 года Добровольческая армия отступала на всех фронтах, переживая период полного разложения. Северные уезды Таврии были уже под властью большевиков и их тогдашних союзников – махновцев. Генерал Слащев с небольшой армией защищал подступы к Крыму. Его войска проявляли невероятную стойкость, но дух разложения коснулся и их. Все чаще и чаще слышались жалобы на них от жителей Перекопского уезда. Казалось, что наступало начало конца. Все чувствовали, что только чудо может спасти южнорусскую государственность и ее армию от окончательной гибели. В сознании все больших и больших кругов населения возможность такого чуда связывалась с необходимостью перемены общей политики правительства и с перерождением духа армии.

Слухи ходили о подготовлявшемся в ставке Деникина государственном перевороте и ставили их в связь с высылкой генерала Врангеля в Севастополь. Сознание необходимости коренных реформ в армии

проникло и в ряды честного рядового офицерства, пережившего идеалистические порывы первых времен добровольческого движения.

С тех пор как армия стала укомплектовываться офицерами и солдатами по мобилизации, дух самых отборных полков значительно изменился. На командные должности, которые прежде давались офицерам своих полков за военные доблести и заслуги, стали назначаться офицеры других частей и даже вовсе не участвовавшие в гражданской войне, лишь в соответствии с прежде приобретенными чинами. Благодаря внедрению в офицерскую среду людей карьеры, в ней исчезла прежняя боевая спаянность, а появление в прежних добровольческих полках насильно мобилизованных нижних чинов нарушило спайку и среди солдат. Прежние товарищеские отношения, существовавшие между офицерами, исполнявшими обязанности рядовых, и нижними чинами, пока они служили добровольно, не могли сохраниться между добровольцами и мобилизованными тем более, что офицеры, служившие рядовыми, получали офицерское жалованье и были, следовательно, на привилегированном положении. Не знаю, были ли узаконены должности денщиков, но многие офицеры обзавелись денщиками с соизволения начальства.

Это внутреннее расслоение прежде сплоченных боевых частей сильно способствовало общей дезорганизации армии, не получавшей к тому же своевременно ни жалованья, ни обмундирования. Погоня за наживой и легким обогащением парализовали ее былой геройский дух.

В конце 1919 года я получил с фронта от своего сына письмо, полное горечи и разочарования. "Не думай, папа, – писал он, – что мы здесь когда-нибудь говорим о задачах и целях войны, о единой России и т. п. Мы здесь других слов, кроме "грабнул" или "спекульнул", не слышим"...

Вот в это время среди группы крымского офицерства возникла мысль о том, что спасение – лишь в возвращении к традициям старого добровольчества. Они полагали, что реорганизовать всю армию, затронутую гангреной разложения, уже невозможно, но решили исходатайствовать себе право приступить к формированию новых полков исключительно из добровольцев, принимая в эти полки офицеров и солдат со строгим выбором. Предполагалось, что эти отборные войска выступят на фронт лишь после того, как будут снабжены в достаточной степени всем необходимым, и послужат как бы скелетом в рыхлом теле деморализованной армии, ее ударными частями, своей доблестью, стойкостью и честностью показывая пример развращенным и вдохновляя слабых. Душою этой группы офицеров был капитан Орлов, бывший гимназист симферопольской гимназии, а затем участник мировой и гражданской войны, известный своей невероятной физической силой, храбростью и личной порядочностью.

Высшее начальство отнеслось сочувственно к мысли симферопольских офицеров, но почему-то во главе новых формирований был поставлен не капитан Орлов, а молодой флотский офицер герцог Лейхтенбергский. Мне неизвестно, был ли этот весьма легкомысленный, как мне его характеризовали, молодой человек выдвинут на этот ответственный пост офицерами, или был назначен свыше, но, насколько я понимаю, смысл его назначения заключался в том, чтобы его высоким происхождением поставить печать благонадежности на "революционную" с точки зрения известной части офицерства затею. Со своей стороны, Лейхтенбергский поручил Орлову приступить к формированию первого добровольческого полка в Симферополе.

Вскоре по поводу новой армейской организации стали ходить разные противоречивые слухи. С одной стороны, видимость ответственной роли, отведенной родственнику Романовых, породила слухи о готовящемся монархическом перевороте, с другой стороны, левый по преимуществу состав офицерства, группировавшегося вокруг капитана Орлова, вызывал подозрения, что готовится переворот эсеровский.

Насколько были верны слухи о подготовлявшемся монархическом перевороте – я не знаю. У меня имелись лишь некоторые наблюдения, указывавшие на то, что дым был не без огня. Что касается слухов об эсеровском перевороте, то для их возникновения были несомненные основания. Опять же, мне неизвестно, имел ли Орлов и его штаб непосредственные сношения с местным эсеровским комитетом, но однажды три офицера из штаба Орлова, называвшие себя эсерами, обратились через третьих лиц к губернской земской управе, выражая желание вступить с нами в переговоры по вопросу о поддержке со стороны общественных кругов готовящегося военного переворота. От переговоров управа уклонилась, но я пригласил к себе капитана Орлова и поставил ему ребром вопрос по поводу ходивших о нем слухов. Он самым решительным образом заявил о полной своей лояльности по отношению к командованию Добровольческой армии, хотя с большой резкостью отзывался о господствующих в ней порядках и нравах. На меня он произвел впечатление человека искреннего, но легкомысленного, ограниченного и самоуверенного.

Однако, не прошло месяца после моего разговора с Орловым, как уже военный переворот, о котором ходили слухи, оказался совершившимся фактом.

Если не ошибаюсь, это было в первых числах января 1920 года.

Утром, как всегда, я отправился в управу. Город был совершенно спокоен и на улицах не было никаких признаков происшедшего события. Только в управе я узнал, что ночью капитан Орлов произвел революцию, объявив себя начальником гарнизона всех симферопольских войск и комендантом города Симферополя. Весь

гарнизон, как один человек, подчинился восставшему капитану.

На углах улиц расклеивались объявления о перевороте с обращением к учреждениям продолжать обычные занятия, а к населению – с призывом соблюдать спокойствие. Объявления были подписаны капитаном Орловым и губернатором Татищевым. Комбинация двух подписей – легального губернатора и восставшего капитана – производила странное впечатление, особенно после того, как в городе стало известно, что губернатор находится под домашним арестом. Домашнему аресту был подвергнут также начальник симферопольского гарнизона и случайно находившийся в городе начальник штаба генерала Слащева.

Так поступили с военным и гражданским начальством честным. Начальство нечестное было посажено в тюрьму. Этой участи подверглись полицмейстер и начальник уголовно-политического розыска. Тут обнаружились такие дела нечестного начальства, что после подавления орловского бунта оно уже не могло вернуться к отправлению прежних обязанностей.

Узнав о случившемся, я отправился в штаб Орлова, в знакомую мне Европейскую гостиницу, чтобы уяснить себе положение. В штабе был полный порядок. По-видимому, военная дисциплина не пострадала от переворота. Все-таки сутолока была большая: поминутно являлись офицеры от различных частей за приказаниями, в приемной толпился всякий народ с жалобами, доносами, просьбами. Орлов, не привыкший еще к своему положению, принимал и выслушивал всех, самоуверенно отдавая военные приказания и беспомощно путаясь в гражданских делах.

Обстановка была неподходящая для серьезного разговора. Я все-таки успел ему высказать недоумение по поводу решимости произвести переворот в момент, когда большевики стояли у Перекопа и каждое замешательство в белых войсках грозило гибелью фронта. Он ответил, что не намерен идти против Слащева, но восстал для того, чтобы поставить ему ряд условий, которые тот вынужден будет принять. В результате произойдет не крушение фронта, а его укрепление. Далее он сообщил, что герцог Лейхтенбергский выехал для переговоров со Слащевым в Джанкой.

Все это было маловразумительно, и я так и не понял смысла и цели орловского восстания.

На вечер было созвано экстренное заседание городской Думы. Раньше, чем отправиться туда, я зашел к сидевшему под домашним арестом губернатору. Застал его и всю его семью в полном недоумении от происшедшего. Меня спрашивали – что я обо всем этом думаю, но я должен был сознаться, что сам ничего не понимаю.

При мне к губернатору пришел офицер, близкий приятель герцога Лейхтенбергского, и принес только что выпущенную Орловым прокламацию.

— Ничего не понимаю, — говорил он, — я все время считал, что организация, во главе которой стоял Лейхтенбергский, монархическая, и вдруг черт знает что вышло! Какая-то большевистская провокация!

И он показал нам воззвание, подписанное Орловым.

Воззвание было действительно составлено в самых демагогических тонах, а по содержанию мало отличалось от стереотипных большевистских прокламаций.

Тут я понял, что вокруг Орлова плелись, по-видимому, одновременно монархические и большевистские сети, но первые плелись по-детски, а вторые — планомерно и последовательно.

Взяв прокламацию, я пошел с ней к Орлову и показал ему. Он стал уверять, что это подложный документ, напечатанный в какой-нибудь тайной типографии, о чем он уже оповестил население в особом объявлении. По сконфуженному виду Орлова я, однако, не сомневался, что он врал...

В действительности, как мне передавали офицеры его штаба, Орлов подписал подсунутую ему прокламацию, не прочтя ее, и спохватился лишь тогда, когда она получила уже широкое распространение в городе.

Отсюда нетрудно было сделать вывод, что большевики уже свили себе в штабе Орлова прочное гнездо.

Вечером собралась городская Дума, взволнованная происшедшими событиями. Городской голова обратился по телефону к Орлову с просьбой прибыть на заседание Думы, но он прислал вместо себя какого-то юного офицерика, который на наши вопросы отвечал весьма путано и несвязно. Ничего не поняв из объяснений офицерика, Дума решила принять все меры к мирной ликвидации этого нелепого инцидента и избрала делегацию, поручив ей принять участие в посредничестве между Орловым и Слащевым. Ночью, после думского заседания, я в составе делегации отправился в штаб Орлова.

Застали его в большом возбуждении, вызванном тем, что Слащев предложил ему немедленно сдаться, грозя в противном случае применением силы. Орлов храбрился, говорил, что не сдастся ни под каким видом, и если Слащев применит силу, то он сам силой заставит Слащева принять его условия... На наше посредничество он все-таки согласился и обещал нам дать утром вагон для поездки в ставку Слащева.

Слащев, однако, действовал скорее и решительнее, чем предполагал Орлов. Он приказал проживавшему на покое в Севастополе генералу Май-Маевскому двинуться во главе небольшого эшелона войск на Симферополь, а сам с другим эшелоном стал грузиться в Джанкое.

Когда ночью Орлов узнал о приближении к Симферополю отряда Май-Маевского, он начал готовиться к бою. Но кавалерия,

получившая приказ выступить против "неприятеля", отказалась его исполнить. Ее примеру последовали и другие части войск. Словом, весь симферопольский гарнизон, накануне так единодушно примкнувший к восставшему Орлову, теперь столь же единодушно отказывался ему повиноваться. Ни о каком сопротивлении подходившим из Севастополя войскам не могло быть и речи.

Рано утром Орлов вызвал войска к своему штабу. Явились немногие. Он вышел из штаба в сопровождении группы приближенных офицеров, сел на лошадь и вывел присоединившихся к нему 200-300 человек по алуштинскому шоссе из Симферополя. Верстах в пятнадцати Орлов остановился в селе Саблах, очевидно, не зная, что ему дальше делать.

Тем временем в Симферополь прибыли генералы Слащев и Май-Маевский со своими эшелонами. Слащев сделал смотр накануне еще бунтовавшему симферопольскому гарнизону, а затем отправил небольшой отряд в Саблы, "чтобы захватить Орлова живым или мертвым".

Несколько дней подряд посылались такие отряды за "живым или мертвым" Орловым, и неизменно повторялась одна и та же история: отряды доходили до деревни Саблы, где встречали орловское войско, "готовое к бою". Но ни та, ни другая сторона боя не начинала. Вместо боя противники вступали в переговоры, ничем не кончавшиеся, после чего приходилось отзывать посланный против Орлова отряд и заменять его новым, с которым повторялась та же история. Никакими силами нельзя было принудить солдат, изнуренных гражданской войной, начать гражданскую войну в квадрате...

Наконец Слащев понял, что преследование Орлова бессмысленно и лишь вносит деморализацию в его войска. Он прекратил преследование и уехал на фронт. Орлов же, простояв несколько дней в Саблах, двинулся на южный берег и остановился со своим отрядом в Ялте. Грозное восстание закончилось и началась "Вампука"...

Но и "Вампуку" нужно же было как-то ликвидировать.

В это время приехал из взятой большевиками Одессы генерал Шиллинг, и ему удалось путем телефонных сношений убедить Орлова капитулировать. Орлов согласился, оставаясь командиром своего полка, немедленно выступить с ним на фронт в полное распоряжение генерала Слащева.

Все вздохнули свободно, когда эта глупая история была наконец ликвидирована.

Увы, эпилог ее все-таки был трагический и кровавый.

Примерно через месяц мы опять услышали о новом бунте капитана Орлова. Почему произошел этот бунт – мне в точности неизвестно. По официальной версии, опубликованной Слащевым, Орлов ослушался приказания вывести свой полк из резерва на указанную ему позицию. Объяснялось это "трусостью" Орлова, хотя его храбрость, доказанная во многих боях и отмеченная георгиевским

крестом, была всем хорошо известна. Вероятно, были какие-либо другие причины бунта. Но бунт действительно произошел, и в один прекрасный день Орлов увел с фронта свой полк и направился с ним в Симферополь. В погоню за ним были посланы войска. Под Симферополем отряд Орлова, после небольшого обстрела, сдался, самому же капитану с двумя-тремя приближенными офицерами удалось бежать.

Слащев жестоко расправился с попавшими к нему в плен офицерами орловского полка. Приговоренные к смерти военно-полевым судом, они были положены лицами вниз на платформе станции Джанкой и расстреляны в затылок. Трупы их, для острастки оставшихся в живых товарищей, несколько дней лежали рядами на платформе не убранными...

Среди расстрелянных был один мой знакомый, сын старого служащего губернской земской управы, Прейсайзин, георгиевский кавалер Великой войны. Он не участвовал в бунте, но за несколько дней до бунта, по собственной просьбе, был переведен в полк Орлова, своего гимназического товарища, и назначен казначеем полка. Орлов еще не сдал ему полковых сумм и захватил их с собой. Но приказ о назначении Прейсайзина казначеем состоялся и формальная ответственность легла на него. За это несчастный и был расстрелян. Впрочем, он был евреем, и это обстоятельство, конечно, играло роль в суровом приговоре...

Капитан Орлов скрылся. Как потом обнаружилось, он ушел в горы к "зеленым", которые вели партизанскую войну сначала с Добровольческой армией, а потом — с большевиками. Через год после завоевания Крыма большевики объявили зеленым амнистию, но когда зеленые спустились с гор и сдали оружие, все они были расстреляны. В числе расстрелянных находился и бывший капитан Орлов.

Повествуя о восстании Орлова, мне несколько раз приходилось упоминать о генерале Слащеве. Этот генерал-авантюрист, с которым мне несколько раз приходилось встречаться, был настолько характерной фигурой гражданской войны, что я не могу не уделить ему места в моих воспоминаниях.

За несколько лет до войны в лейб-гвардии Финляндский полк поступил молоденький румяный офицерик, тихий, скромный, старательный и исполнительный. Он редко участвовал в кутежах, водки не пил, а любил сладкое, принося с собой в офицерское собрание плитки шоколада. Товарищи добродушно над ним подтрунивали, называя красной девицей.

Так мне описывал своего бывшего товарища по полку, Слащева, будущего генерала гражданской войны, его однополчанин А.А. Лихошерстов.

Отправившись на войну со своим полком, Слащев приобрел репутацию хорошего храброго боевого офицера — и только.

О том, где был и что делал Слащев в начале революции, мне ничего не известно. Впервые я услыхал о нем, как о руководителе боев на Акмонайском перешейке (кажется, он командовал дивизией). Мне его характеризовали как одного из самых храбрых и выдающихся молодых генералов Добровольческой армии, пользовавшегося среди офицеров и солдат исключительной популярностью. Однако и тогда уже было известно о неумеренной склонности его к вину и, что еще хуже, – к кокаину.

Во время отступления деникинских войск в конце 1919 года Слащев со своими частями отступил с Украины в Крым и укрепился на перекопских и сивашских позициях. Первые месяцы 1920 года, до появления во главе южнорусской армии генерала Врангеля, Слащев с очень небольшими силами вел оборону Крыма, отражая все атаки значительно превосходившего его силами противника.

Мне приходилось слышать от военных, что в защите Крыма он проявил не только исключительную личную храбрость, но и недюжинный талант полководца.

Рассказывали такой эпизод из геройской защиты Крыма Слащевым: однажды большевики повели атаку большими силами и прорвали все три ряда перекопских укреплений. Добровольцы обратились в паническое бегство. Через какой-нибудь час времени Красная армия неминуемо хлынула бы в крымские степи, зайдя в тыл сивашских позиций, и Крым был бы занят большевиками.

Но вот генерал Слащев садится на коня и во главе своего конвоя врезывается в ряды наступающих большевиков... Среди них происходит замешательство, бегущие добровольцы останавливаются и идут в контратаку за своим вождем. Еще несколько минут – и большевики бегут, преследуемые добровольцами... Крым спасен... Совсем как в описании крестовых походов: "Готфрид Бульонский с несколькими верными рыцарями врезался в ряды сарацин" и т.д., и совсем не похоже на описание боев современной войны. Однако я слышал от фронтовых офицеров, что дело было именно так и что Крым был спасен буквально личной отвагой Слащева. За это дело Слащев получил от Врангеля право носить фамилию Слащев-Крымский.

Перехожу к своим личным впечатлениям о генерале Слащеве.

Как я выше упоминал, в конце 1919 года главноначальствующий Одесского округа генерал Шиллинг передал Слащеву свои права по управлению Крымом. Это совпало с особо тяжелым денежным кризисом в губернском земстве. Необходимо было экстренно добыть миллион рублей, иначе в земских учреждениях начался бы настоящий голод. Я знал, что возбуждать ходатайство о ссуде в нормальном порядке безнадежно, ибо в лучшем случае оно было бы удовлетворено месяца через полтора-два. А деньги нужны были немедленно.

— Знаете что, — предложил мне член управы, — пошлите телеграмму Слащеву. Он человек решительный и никаких правил для него не существует. Может быть от него и получим что-нибудь.

Положение было такое, что не приходилось думать о форме, и сейчас же была составлена и послана телеграмма Слащеву с просьбой об отпуске миллиона рублей. В тот же день пришел ответ, который я запомнил дословно: "Приказываю казначействам (во множественном числе) выдать губернской земской управе миллион рублей". С этой телеграммой я немедленно отправился к управляющему казенной палатой, у которого на столе лежала ее копия.

— Что поделаешь с этими генералами, — говорил он мне. — Все предъявляют требования, распоряжаются, приказывают в порядке, не предусмотренном никакими правилами и законами. Вот Слащев приказывает каким-то казначействам выдать вам миллион. А кредитов у него никаких, кроме военных, нет. С другой стороны, я не могу не исполнить распоряжения главноначальствующего...

— Ну и слава Богу, давайте скорее миллион.

— Да, я вам его дам, но из военных кредитов, а там пусть он сам выпутывается. В данном случае у меня хоть удовлетворение есть, что кредиты пойдут на нужное дело. Но ведь не в первый раз мне приходится исполнять подобные распоряжения, порождающие невероятный хаос в делах.

Я понимал справедливость сетования управляющего казенной палатой, но все-таки облегченно вздохнул, незаконно получив в свое распоряжение военный миллион.

Познакомился я со знаменитым Слащевым несколько позже, когда он приезжал в Симферополь ликвидировать восстание капитана Орлова.

Многие симферопольцы, лично знавшие злополучного капитана Орлова и относившиеся к нему с симпатией, очень были обеспокоены его участью, так как казалось несомненным, что Слащев расправится с ним, если он попадется ему в руки. Решено было составить депутацию для возбуждения ходатайства перед Слащевым о помиловании Орлова. В состав депутации вошел архиепископ Дмитрий, городской голова Усов и я.

Мы собрались в скромной маленькой гостиной архиерейского дома. В условленный час появился Слащев, поразивший меня своим внешним видом. Это был высокий молодой человек с бритым болезненным лицом, редеющими белобрысыми волосами и нервной улыбкой, открывавшей ряд не совсем чистых зубов. Он все время как-то странно дергался, сидя — постоянно менял положение, а стоя — развинченно вихлялся на поджарых ногах. Не знаю, было ли это последствием ранений или кокаина. Костюм его был удивительный — военный, но собственного изобретения: красные штаны, светло-голубая куртка гусарского покроя и белая бурка. Все

ярко и кричаще-безвкусно. В жестикуляции и интонациях речи чувствовались деланность и позерство.

Архиепископ Дмитрий, добрый, милый старик, стал в прочувствованных выражениях просить его пощадить молодую жизнь капитана Орлова. Слащев выслушал его речь молча, а затем встал и отчеканил:

— Владыка, просите меня за кого угодно, но не за этого изменника. Очень жалею, что вашу просьбу исполнить не могу... Орлов будет повешен.

Изменник Орлов не был повешен Слащевым, а через два года был расстрелян большевиками, которым "товарищ" Слащев в это время поехал служить верой и правдой... Кто бы мог тогда предсказать такие превратности в судьбе этих двух людей!

Чтобы описать мою вторую встречу с генералом Слащевым, я должен предварительно рассказать о некоторых событиях, ей предшествовавших.

С блестящими победами деникинской армии, докатившейся летом 1919 года до Орла и Брянска, курс политики южнорусского правительства все больше и больше уклонялся вправо, т.е. в том направлении, куда его влекли хозяева положения — генералы. "Оппозиция его величества" — "царя Антона", как называли Деникина в Ростове, уступала одну позицию за другой. Да и не было настроения к борьбе: всем казалось, что раз, несмотря на плохую политику, армия все-таки одерживает победы — что же, и слава Богу. Там, в Москве, займемся исправлением курса, а теперь все это неважно... И все, как чеховские сестры, только и говорили: "в Москву, в Москву"... Должен сознаться, что и я невольно поддался тогда такому настроению. До сих пор совестно вспомнить свою бравурную речь, сказанную на приеме генерала Деникина в Симферополе. "Моя речь, — говорил я, — будет немногословна: Деникин... Армия... Москва... Россия... ура!"

Но когда кубанские войска, а за ними вся армия покатились от Орла обратно на юг, правый крен политики стал быстро сменяться левым. Было составлено южное правительство из представителей донского, кубанского и терского казачества с привлечением в него левых кадетов и правых социалистов. Спешно был также разработан проект созыва представительного учреждения, которое должно было своим авторитетом подкрепить терявшую авторитет власть генерала Деникина. Уже в конце ноября, в Таганроге, Деникин говорил мне о подготовлявшемся созыве не то парламента, не то земского собора.

В январе таврический губернатор получил телеграмму с подробным изложением системы выборов в это учреждение. Телеграмма имела осведомительный характер, но губернатор понял ее как распоряжение о производстве выборов, которые и были назначены. Перед выборами происходили собрания выборщиков с обсуждением

политических вопросов. На губернском земском съезде, происходившем под моим председательством, я выступил с докладом о необходимости временного автономного устройства Крыма. Само собой разумеется, что, настаивая на автономных правах для Крыма, я имел в виду получить эти права свыше, сделав соответствующее представление генералу Деникину.

Мысль моя вызвала единодушное сочувствие всех собравшихся, но местные лидеры эсеров предложили, не дожидаясь разрешения сверху, объявить явочным порядком наличный съезд постоянным органом управления, включив в него представителей профессиональных союзов. Инициаторы этого предложения не могли как следует объяснить цель учреждения этого суррогата Совета рабочих депутатов. По-видимому, это была просто революционная отрыжка ничему не научившихся людей, не понимавших, что при полном равнодушии населения эта затея превратится в смешной фарс, если большевики, пользуясь близостью фронта, не сумеют ею воспользоваться.

Я, конечно, самым категорическим образом выступил против эсеровского предложения, но оно все-таки прошло большинством голосов. Оставшись в меньшинстве, я отказался быть избранным в южнорусский парламент от этого избирательного собрания, несмотря на просьбы моих политических противников.

На следующий день происходил съезд городских Дум, где мы с П.С. Бобровским снова выступили с докладом о временной крымской автономии. Здесь наши точки зрения были одобрены огромным большинством и мы оба были избраны депутатами парламента, в действительности существовавшего лишь в проекте.

Во время прений, происходивших в городской Думе, ко мне подошел какой-то офицер и сказал, что прислан за мной на автомобиле от генерала Слащева, который просит меня срочно прибыть к нему в поезд на станцию Симферополь.

Через пять минут я был доставлен туда и вошел в салон-вагон командующего военными силами Крыма.

– Подождите минутку, я сейчас доложу командующему, – любезно щелкнув шпорами, сказал мне молодой штабной офицер, пропуская меня в общее помещение салон-вагона. Там я увидел сидевшую на диване перед столом, заставленным недопитыми стаканами и с залитой красным вином скатертью, довольно миловидную, скромно одетую женщину. Это была всем известный слащевский казачок "Варенька", верная спутница его походов, на которой он впоследствии женился.

Я не успел с ней начать разговора, как меня уже попросили в купе к Слащеву. В этом купе прежде всего бросалась в глаза большая клетка с попугаем. Попугай, тоже походный спутник Слащева, имел по-видимому огромный аппетит. По крайней мере, не только все дно клетки было покрыто толстым слоем ореховой

скорлупы, но скорлупа была рассыпана по полу и сиденью всего купе и хрустела под ногами. Про этого попугая я уже слышал. Мне передавали о недоумении одного английского генерала, посетившего Слащева на фронте: Слащев все время разговаривал с ним, обсуждая стратегические вопросы, с попугаем на плече... По этому поводу генерал говорил своим русским знакомым: "Удивительные русские люди. У нас, в Англии, каждый англичанин имеет свои причуды, но он отдает причудам часы отдыха, а у вас генерал, командующий фронтом, во время разработки плана военных действий, играет с попугаем".

Слащев, весь какой-то грязный, помятый и немытый, привстал с дивана, поздоровался со мной и задвинул плотно дверь в коридор.

— Я прошу вас быть со мной совершенно откровенным, — начал он, когда мы уселись друг против друга на диванах, выметая из-под себя ореховую скорлупу. — Ваша откровенность не будет иметь никаких плохих последствий и все, сказанное вами, останется между нами.

Он говорил со мной тоном милостивого монарха, подбодряющего ошеломленного его величием подданного. Эта мысль невольно заставила меня улыбнуться.

— Что вы, Бог с вами, генерал, — ответил я добродушно, — я привык всегда откровенно высказывать свои мысли и никаких тайн из них делать не намерен.

Увидав перед собой вместо робкого подданного добродушного дядюшку, Слащев сразу перешел на более простой разговорный тон и спросил:

— Скажите, пожалуйста, что это за разговоры происходят у вас в Думе? В чем дело?

Я рассказал ему содержание моего доклада и стал объяснять причины, побудившие меня с ним выступить.

Слащев, старавшийся вначале слушать меня внимательно, под конец заскучал и видимо был рад, когда я кончил свою лекцию.

— Значит, это у вас не сепаратизм?

— Нет.

— Ну хорошо, я удовлетворен. А скажите, я слышал, что у вас решили какой-то совдеп устроить. Верно это?

Я рассказал о постановлении губернского избирательного съезда.

— Ну, как же вы считаете, нужно мне узаконить существование этого учреждения?

— Избави Бог.

— Значит, разогнать.

— И этого не нужно. Учреждение это мертворожденное и умрет собственной смертью. Если вы его будете разгонять, то только заведете у себя смуту в тылу, ненужную и вредную.

— Хорошо, будь по-вашему.

Слащев задумался и вдруг, весело подмигнув мне, спросил:

— А что бы вы сказали, если бы я приехал к вам на заседание этого совдепа?

— Что же, отлично, приезжайте, и вы убедитесь сами, что я вам дал хороший совет.

Затем мы условились, что я переговорю с членами комитета (кажется, это учреждение назвало себя комитетом), и если они не будут возражать против присутствия Слащева на ближайшем заседании, то извещу его телеграммой.

Прощались мы приятелями.

Провожая меня к выходу, он весело обратился ко мне:

— А знаете, я везу с собой шесть большевичков.

— Каких большевиков?

— А видите ли, в Севастополе сейчас неспокойно. Идет сильная агитация и подготовляется забастовка. Вы понимаете, что положение на фронте очень серьезно и малейшие волнения в тылу могут погубить все дело обороны Крыма. Вот я и решил арестовать главных севастопольских смутьянов, которых мне там указали. Теперь я их везу с собой на фронт.

— Зачем вы их везете?

Слащев засмеялся и, почуяв в моем вопросе тревогу, ответил:

— Вы думаете, что я их расстреляю? Вот и ошибаетесь. Я просто велю их вывести за линию наших позиций и там отпущу на все четыре стороны. Если они находят, что большевики лучше нас, пусть себе у них и живут, а нас освободят от своего присутствия.

Я понимал, что значило "вывести за линию позиций". Такие случаи уже бывали: людей действительно выводили за линию позиций, но там в догонку им пускались пули.

Понятно, что тревога моя от таких успокоений не рассеялась.

— Кто же эти шесть человек, которых вы везете?

Слащев мне назвал шесть имен, из которых два мне были хорошо известны. Это были лидеры местных меньшевиков: один — мой давнишний приятель В.А.Могилевский, бывший севастопольский городской голова, другой — член городской управы Пивоваров.

Стараясь не показать волнения, которое я испытал, узнав о страшной опасности, грозившей им, я спросил Слащева, видел ли он тех людей, которых он везет в своем поезде, и, получив отрицательный ответ, сказал:

— Позвольте вам дать совет. Пригласите к себе Могилевского и поговорите с ним. Я нисколько не сомневаюсь, что вы тогда поймете, в какое вас ввели заблуждение. Вы арестовали не большевиков, а меньшевиков. Я резко расхожусь с ними в своих политических взглядах, но могу вас уверить, что в данный момент, когда они в рабочей среде ведут борьбу с большевиками, они полезны для вашего дела — защиты Крыма. И вот вы, желая предотвратить забастовку в Севастополе, арестовали самых популярных среди

рабочих людей, активно против этой забастовки выступавших. Этот арест будет лишним козырем в руках большевиков, и забастовка вспыхнет неминуемо.

Мои доводы по-видимому подействовали на Слащева, но он сразу не хотел сдаться и, быстро найдя компромиссный выход, заявил мне своим решительным тоном:

– Хорошо, я соглашусь их условно освободить, но лишь в том случае, если получу от профессиональных союзов гарантию, что забастовки не будет. Если же она вспыхнет, то за нее в первую голову ответят эти шесть господ.

Застав еще заседание Думы, я рассказал о случившемся гласному Гаврилову, состоявшему председателем бюро профессиональных союзов Симферополя, и убедил его сейчас же ехать на вокзал и дать Слащеву требуемую гарантию. Гаврилов колебался, резонно доказывая мне, что, стоя во главе симферопольских союзов, не может ручаться за севастопольских рабочих. Однако я его убедил, что когда вопрос идет о человеческой жизни, нельзя колебаться и нужно подписать любое, хотя бы самое бессмысленное поручительство.

Так Гаврилов и поступил, и Слащев проследовал на фронт, отпустив предварительно всех шестерых арестантов.

Вскоре после моего свидания со Слащевым, бюро комитета, образовавшегося на губернском избирательном съезде, решило устроить первое пленарное заседание. Во все города Крыма были разосланы приглашения. Однако никто не приехал, так как у комитета не было средств на разъездные и суточные, а на свой счет приезжать никому не было охоты. Таким образом, в заседание явилось лишь человек 15 его симферопольских членов.

Я получил согласие бюро вызвать на заседание Слащева и послал ему телеграмму. В ответ получил извещение, что он прибудет, но требует, чтобы заседание не было публичным. Таким образом публику представлял я один.

Заседание в помещении городской управы только что началось, когда в зал вошел своей вихляющей походкой генерал Слащев в сопровождении губернатора и полицмейстера.

Слащев был сильно выпивши, но обратился к собранию с довольно связной и очень неглупой речью приблизительно следующего содержания: армия, которой он командует, не обычная дисциплинированная армия нормального времени. Это армия "революционная", легко возбудимая, способная при подъеме настроения на геройские поступки, но подверженная также унынию и панике. Для такой армии особенно важно спокойствие в тылу, ибо каждое волнение в тылу влияет на ее настроение. К собранию он обратился с просьбой повлиять на спокойствие тыла и тем помочь армии исполнить свой долг.

Произнеся эту речь, Слащев не очень уверенно сел на стул и, облокотясь на стол обоими локтями, почти лежа на нем, стал пускать густые клубы дыма из своей трубки.

Один из эсеровских лидеров, Штван, взял после Слащева слово и в очень тягучей и длинной речи, подбирая осторожные выражения, выставил целый ряд претензий по поводу поведения войск, действий администрации и т. д. Слащев же, лежа на столе, прерывал оратора короткими и резкими замечаниями.

Диалог этот производил чрезвычайно комичное впечатление. Казалось, что эсеровский оратор не революционер, говорящий с генерал-губернатором, а лидер умеренной партии парламента, речь которого прерывается резкими выкриками революционера Слащева.

— Не могу не указать, — говорил Штван, — что воинские части не всегда ведут себя как следует.

— Грабят, — кричит с места Слащев,— это я знаю и принимаю меры, сколько могу.

— Власть, опирающаяся на доверие населения...

— Ну, это пустяки, когда надо бить большевиков.

— Раздаются жалобы на злоупотребления администрации...

— Назовите их, и я с ними живо расправлюсь.

И все в таком роде. Эсеровский оратор, заранее подготовивший длинную парламентскую речь-запрос, совершенно был сбит с толку этими короткими и развязными репликами Слащева. Поминутно прерываемый то сочувственными ("верно", "правильно"), то протестующими ("вздор", "чепуха" и т. п.) замечаниями, он путался и мямлил. Совершенно было неожиданным отношение Слащева к той части речи Штвана, в которой он жаловался на насилия, творившиеся карательным отрядом, сформированным частными землевладельцами.

— Этому безобразию будет положен конец,— заявил Слащев,— я пошлю этот отряд на фронт.

— Но, ваше превосходительство, — скромно возразил губернатор, — отряд приносит огромную пользу и поддерживает порядок в тылу.

— Для этого у вас есть полиция, а отряд восстанавливает крестьян против помещиков. Это безобразие. На фронте он будет полезнее. А помещики, которых мои войска защищают от большевиков, пусть продолжают его содержать... Ну-с... — и он снова стал слушать речь Штвана.

Прощаясь со Слащевым, я у него спросил, признает ли он, что я был прав, когда советовал ему не разгонять этот совсем нестрашный комитет.

— Да, вы были правы. Если будет нужно, я всегда готов приехать на такое заседание.

Но это было первое и последнее заседание мертворожденного комитета.

Больше мне не приходилось встречаться со Слащевым, и я был крайне удивлен, когда в изданном им в Константинополе памфлете против генерала Врангеля я нашел между прочими обвинениями упрек Врангелю в том, что он оказывал внимание таким левым общественным деятелям, каким он считал меня.

Менее удивился я, узнав, что Слащев "сменил вехи" и уехал в СССР.

Слащев – жертва гражданской войны. Этого способного, талантливого и очень неглупого человека она превратила в беспардонного авантюриста. Позируя, подражая не то Суворову, не то Наполеону, он мечтал об известности и славе. Кокаин, которым он себя дурманил, поддерживал безумные мечты... И вдруг генералу Слащеву-Крымскому пришлось разводить индюшек в Константинополе на ссуду Земского союза!..

Если бы Крым еще продержался, Слащев, попавший у Врангеля в опалу, вероятно попытался бы, подобно капитану Орлову, поднять военное восстание и возглавить Белую армию. Намеки на образование какой-то "слащевской партии" я уже слышал в Крыму. За границей же его авантюризму и ненасытному честолюбию негде было развернуться. Предстояла долгая трудовая жизнь... А там, у большевиков, все-таки есть шансы выдвинуться, если не в Наполеоны, то в Суворовы. И Слащев отправился в Москву, готовый в случае необходимости проливать "белую" кровь в таком же количестве, в каком он проливал "красную"... Не все ли равно, какая кровь насытит честолюбие авантюриста! ......

Осенью 1922 года, поздно вечером, по улицам Москвы шел бывший меньшевик, бывший член севастопольской городской управы Пивоваров, вступивший в коммунистическую партию после занятия Крыма большевиками. Тот самый Пивоваров, которого Слащев когда-то вез с собой в поезде на фронт для "выведения в расход".

Вдруг кто-то остановил его: "Товарищ Пивоваров!"

Перед ним стоял красноармейский офицер.

– Товарищ Пивоваров, неужели вы меня не узнаете?

Вглядевшись в незнакомца, Пивоваров узнал в нем генерала Слащева.

– Пойдемте ко мне поболтаем, вспомним старое, – предложил Слащев. Пивоваров принял приглашение, и они мирно беседовали за самоваром. Кто старое помянет, тому глаз вон, как говорит русская пословица...

Пивоваров нашел Слащева очень милым и интересным собеседником и описал свою встречу с ним в письме к своему бывшему партийному товарищу, ставшему эмигрантом, В.А.Могилевскому, который мне это письмо показывал.

Конец Слащева известен. Большевики его к армии не подпустили, а поручили ему читать лекции в военной Академии. А через год он был убит выстрелом через окно...

Заканчивая главу о периоде деникинского управления Крымом, я хочу вернуться еще к моим поездкам в центры этого управления – в Екатеринодар и Ростов.

Живя и работая в Симферополе, я стоял довольно далеко от всего, что происходило в центрах, но во время своих поездок все-таки получал об этом некоторое впечатление.

Основное мое впечатление – впечатление какой-то затяжной, хронической бестолочи.

Как вначале маленький Екатеринодар, так потом большой Ростов были переполнены служащими центрального управления, военных тыловых учреждений и их семьями. Кроме того, при каждом продвижении фронта вперед или назад, туда притекала масса беженцев. Гостиницы и многие из частных квартир были реквизированы для разных правительственных учреждений, лазаретов и для жилья военных и гражданских чинов. Для меня, во время моих наездов, вопрос о месте ночлега всегда был весьма сложен. Помню, как однажды, приехав в Екатеринодар из Крыма на съезд кадетской партии, я с тремя своими коллегами значительную часть ночи провел в тщетных поисках ночлега, пока случайно мы не нашли знакомого, поместившего нас у себя на полу.

В Ростове я в конце концов получил пристанище в маленькой квартирке, постоянными жителями которой были Н.И. Астров, С.В. Панина и П.П. Юренев, а жителей временных, подобных мне, было великое множество. В четырех маленьких комнатах, на кроватях, на сдвинутых креслах, или просто на полу, ночевало по 6-12 человек. П.П. Юренев, регулярно уступавший свою кровать кому-нибудь из гостей, сам спал на полу, подстелив под себя свой старый полушубок, и утверждал, что полушубок много лучше кровати...

Единственная более обширная комната этой квартиры была отведена под общую столовую, где во время трапез собирались, кроме хозяев квартиры и временных ее гостей, еще сторонние столовщики – М.М. Федоров, И.П. Демидов, кн. Павел Дм. Долгоруков, М.В. Степанова и др. Все это были члены партии Народной Свободы, большинство которых входило в бюро "Национального центра". Летучие собрания бюро устраивались ежедневно после обеда.

На них мне приходилось выслушивать доклады Астрова и Федорова, состоявших членами Особого совещания и ближайшими советчиками Деникина, о положении фронта и тыла и о происходившей вокруг Деникина борьбе политических страстей и личных интересов.

К Н.И. Астрову я всегда относился с большой симпатией, а за границей наша взаимная симпатия перешла в прочную дружбу, продолжавшуюся до самой его смерти.

Н.И. Астров, как известно, был крупным московским общественным деятелем. В качестве лидера левой оппозиции московской

городской Думы, он был популярной фигурой в широких общественных кругах, и совершенно понятно, что именно он был избран московским городским головой после государственного переворота 1917 года, а также – что он был выдвинут на пост члена уфимской Директории от партии к.-д.

Это был человек очень сложного внутреннего облика, с мятущейся душой, раздвоенной противоречием между трезвостью ума и мистическими влечениями чувства.

Отличительная особенность Н. И. была – глубокая внутренняя правдивость и добросовестность. Всякое дело, за которое он брался, он изучал во всех деталях и, только изучив его, приступал к работе, упорно и упрямо проводя в ней свои мысли и взгляды.

Как общественный деятель, Н. И. был несомненно человеком крупного калибра, но все же в определенных границах. Основательно изучив городское дело, он был блестящим гласным московской Думы и незаменимым ее секретарем. Хорошо разбираясь в политических вопросах, убежденный и искренний, играл видную роль в кадетской партии и в ее ЦК. Мог бы быть выдающимся парламентарием, если бы попал в Государственную Думу. В качестве законодателя, он обнаружил большие способности и проявил много творчества в правительстве генерала Деникина, в Особом совещании, законодательная работа которого лежала главным образом на нем. Разработанное им городовое Положение можно считать образцовым. Но он не создан был для административных ролей. Его деятельность в качестве московского городского головы была слишком кратковременна, чтобы о ней судить. Но я думаю, что эта роль была не совсем по нем. Городское дело в столице настолько сложно и многообразно, что охватить его во всех деталях невозможно. Чтобы руководить им, городской голова должен знать его лишь в главных линиях, не углубляясь в подробности. На это, как мне кажется, Астров не был способен из-за своей преувеличенной добросовестности и полного отсутствия верхоглядства. Эти ценнейшие для человека качества и здесь могли бы сделаться его недостатками.

Точно так же, едва ли он был на месте в качестве советника Деникина во время гражданской войны, когда от руководителя политикой требуется уверенность в себе и интуитивная решительность. Этими свойствами Н. И. Астров обладал меньше всего. Когда нужно было действовать, он добросовестно сомневался и колебался...

М.М. Федоров, тоже человек благородный и честный, был в этом отношении противоположностью Астрова. Плохо разбиравшийся в политических вопросах, он отличался самоуверенностью и решительностью, упрощая и схематизируя сложные положения. Оба они вели борьбу со все усиливавшимися в окружении Деникина правыми влияниями, но вместе с тем оба, будучи во власти

обострившегося патриотического чувства, были загипнотизированы мечтой об "единой России", всецело поддерживали Деникина в его нетерпимости к автономистским течениям, а тем более — к появившемуся на Украине, в казачьих областях и в Закавказье сепаратизму.

Своей прямолинейной нетерпимостью Деникин превращал своих естественных союзников в борьбе с большевиками во внутренних и внешних врагов, с которыми вел совершенно ненужную в данный момент и вредную для главного своего дела борьбу.

Влияние Астрова и Федорова на политический курс южнорусской власти сильно ослаблялось тем, что прежде сплоченная кадетская партия, к которой они принадлежали, находилась в это время в состоянии разложения и не имела общепризнанного руководителя. Милюков утратил свой былой авторитет благодаря своей неудачной "немецкой ориентации" и уехал за границу. Председательствовавший в ЦК кадетской партии кн. Павел Дм. Долгоруков,* милейший и благороднейший "рыцарь без страха и упрека", никогда влиянием не пользовался. Не одаренный ясностью ума, он совершенно растерялся в хаотической обстановке гражданской войны. А члены кадетского ЦК оказались в Особом совещании, т.е. в высшем подчиненном Деникину и руководящем его внутренней политикой органе, в разных политических лагерях. В то время, как Федоров и Астров старались по возможности ограничить произвол военных властей, члены Особого совещания Степанов и Соколов всецело поддерживали реакционных генералов. При этом Соколов занимал чрезвычайно ответственный пост, стоя во главе ведомства пропаганды, так называемого "Освага", группируя вокруг себя целую армию алчных журналистов, составлявших бездарные брошюры в трафаретно-патриотических тонах и основывавших в ряде городов на казенные средства рептильные газеты, которые занимались травлей местных прогрессивных деятелей. Что касается В.А. Степанова, которого я хорошо знал по Петербургу как члена партии скорее

---

* Я редко встречал людей, так плохо владевших устным словом, как Павел Дм. Долгоруков. Среди членов ЦК кадетской партии, где он в течение последних лет избирался товарищем председателя, его в шутку называли "лидер ohne Worte". Он знал эту кличку, сам добродушно над собой подтрунивал, но считал все-таки своей обязанностью произносить свои длинные и путаные речи. Но зато он обладал силой морального влияния своей личности. В России он был одним из богатейших людей. Лишившись всего и попав в эмиграцию без гроша денег, он легко переносил свою нищету. О себе он меньше всего заботился и тяготился не тем, что иногда не хватало денег на обед и ночлег, а своей оторванностью от родины. Наконец не выдержал и под видом странника перешел русскую границу. Вероятно ставил себе наивную цель продолжать в России прерванную в Крыму борьбу с советской властью. Само собой разумеется, что этой цели не достиг, а, прожив в Харькове несколько месяцев, был обнаружен и расстрелян. Слышал я, что умирал он спокойно. На то и шел.

с левым, чем с правым уклоном, то его точно подменили. Он совершенно не допускал критики действий Добровольческой армии, и, если ему говорили о возмутительных насилиях, в ответ слышался злорадный смех и какая-нибудь лаконическая фраза в таком роде: "Так этим мерзавцам и нужно". Подобные метаморфозы происходили во время революции и гражданской войны со многими.

Деникин, человек военный, ранее чуждый всякой политики, рассчитывал, по-видимому, на руководство кадетской партии в делах внутреннего управления, той партии, которая после февральской революции одна вела борьбу против всего социалистического фронта. А вместо партии его окружали отдельные члены ее, дававшие ему диаметрально противоположные советы. А если принять во внимание, что в его окружение попали и значительно более правые и поправевшие от революции лица, что армия, разрастаясь, впитывала в свой командный состав военных старого закала, что среди всех этих влиятельных людей было немало помещиков, разоренных аграрным движением и стремившихся вернуть себе свои имения, то станет понятным трагическое положение южнорусского "диктатора", демократа по своим симпатиям и полного самых лучших намерений.

Понятно также, что, запутавшись в делах управления и получая со всех сторон жалобы на грабежи и насилия, которые он был не в силах прекратить, он возложил все свои надежды на военные победы и на овладение Москвой, после чего, как ему казалось, наступит желанный момент государственного творчества в обновленной России. А между тем борьба, которую он вел с местными "самостийниками", а главное – расправы с крестьянами и восстановление помещиков в их старых усадьбах местными властями, действовавшими от его имени, возбуждая к нему ненависть освобожденного от большевистского ига населения, подтачивали его военную мощь и подготовляли его крушение.

Одно из моих последних впечатлений о происходившем в Ростове политическом сумбуре относится к концу ноября 1919 года. В это время Добровольческая армия спешно отступала на всех фронтах, а большевики, заняв Харьков, победоносно двигались на юг.

Между тем в Ростове делали вид, что все обстоит благополучно. Даже продолжали назначать губернаторов в губернии, находившиеся под советской властью. А бежавший из Москвы проф. А. А. Мануйлов разрабатывал для будущей всероссийской власти земельный законопроект в соответствии со старой, дореволюционной программой кадетской партии. В этом законопроекте фигурировало "принудительное отчуждение частновладельческих земель по справедливой оценке", как будто оно уже не произошло захватным порядком.

Я попал на доклад Мануйлова в последний день моего пребывания в Ростове, с пароходным билетом в кармане, а потому не мог

принять участия в прениях. Но, слушая мерную речь Мануйлова с изложением разных подробностей его законопроекта, я испытывал чувство, что сижу в сумасшедшем доме.

В начале марта 1920 года армия Деникина, докатившись до Новороссийска, спешно эвакуировалась в Крым, ставший последним оплотом Белого движения.

Вместе с армией прибыло в Крым и деникинское правительство. Сам Деникин высадился в Феодосии, где расположилась ставка главнокомандующего. С Деникиным остался в Феодосии министр финансов М.В. Бернацкий, весь же остальной состав правительства с председателем Совета министров Н.М. Мельниковым во главе направился в Севастополь.

Нам в Крыму казалось непонятным, зачем появилось у нас это громоздкое правительство – плод компромисса генерала Деникина с представительствами уже занятых большевиками казачьих областей. А кроме того, зная, в какой атмосфере полной деморализации происходила эвакуация Новороссийска, мы были уверены, что занятие Крыма большевиками произойдет если не через несколько дней, то через две-три недели. Многие из крымских "буржуев" ликвидировали свои дела и спешно отправлялись за границу.

Поэтому я был крайне удивлен, получив от своего партийного товарища, министра внутренних дел В.Ф. Зеелера, телеграмму с вызовом в Севастополь по срочному делу. Какие, казалось, могли быть срочные дела у правительства, остановившегося в Севастополе на пути своей дальнейшей эвакуации за границу, с представителем местного земства, дни которого тоже были сочтены. Тем не менее, я все-таки поехал в Севастополь.

В Севастополе я присутствовал при высадке добровольческих частей, прославившихся своей доблестью и дисциплиной Корниловской, Марковской и Дроздовской дивизий. Они проходили по городу с музыкой, но лица офицеров и солдат были мрачны...

Когда мимо меня шел один из полков, я заметил группу штатских молодых людей, растерянно шагавших между солдатами. На мой вопрос – кто эти люди, мне ответили, что добровольцы хватают на улицах прохожих и отводят их в казармы для мобилизации. Приемы эти напоминали большевиков и ничего доброго не предвещали.

В.Ф. Зеелера я застал в гостинице Киста, где несколько номеров было реквизировано для министров. Он ошарашил меня предложением занять пост таврического губернатора.

Я ответил, что по свойствам своего характера считаю себя неподходящим для этого поста. Но, если бы мне было доказано, что нет более подходящих кандидатов, я бы принципиально не считал себя вправе отказаться по этой причине. Есть, однако, другая причина, побуждающая меня решительно отказаться от сделанного мне предложения: я считаю власть губернатора в условиях военной анархии, к которой успел присмотреться в последнее время, совер-

шенно призрачной, а следовательно и бесполезной. Зеелер признал убедительными мотивы моего отказа, но просил разрешения не считать его окончательным, так как надеется поставить гражданскую власть в другое положение.

Тут же, в гостинице Киста, я встретился с другими министрами, среди которых находился мой петербургский знакомый, маститый Н.В. Чайковский. Этот неизменный оптимист сохранял еще бодрость духа и надежду на успех дела, у большинства же его коллег вид был смущенный и унылый. Все-таки министр земледелия Агеев повел меня гулять по Приморскому бульвару и во время прогулки подробно излагал содержание своего земельного законопроекта. Я из любезности делал кое-какие возражения, которые мне казались столь же бесполезными, как и сам законопроект. Ведь все равно дело кончено...

Положение правительства, состоявшего в большинстве из честных и порядочных людей, но правительства с не налаженным административным аппаратом, чуждого населению и окруженного враждебной стихией деморализованной армии, было поистине трагичным. Это была даже не слабая власть, а просто никакая.

В Ростове и Екатеринодаре, опираясь на донской и кубанский казачьи Круги, имевшие некоторый авторитет в казачьих частях войск, оно еще обладало известной силой власти. Здесь же, в центре военных штабов, склонных объяснять неудачи Деникина его слишком либеральной политикой, левое правительство считалось чуть что не большевистским. Конфликт между ним и военными был неминуем, и он произошел сразу же, на моих глазах.

За несколько дней до высадки правительства в Севастополе, там в военном суде слушалось дело группы лиц, обвинявшихся в принадлежности к большевистской организации. Насколько помню, суд приговорил двух-трех из них к смерти, а из остальных часть была присуждена к тюремному заключению, а часть оправдана.

Этим приговором многие военные остались недовольны. Стали распространяться слухи, что оправданы большевики, а бесшабашный генерал Слащев распорядился арестовать всех, не присужденных к смертной казни, и доставить к нему в Джанкой для пересмотра дела в военно-полевом суде.

Само собой разумеется, что этот ни с чем несообразный поступок Слащева не мог не вызвать протеста со стороны прибывшего в Севастополь правительства. Председатель Совета министров Мельников связался прямым проводом со ставкой Слащева и потребовал немедленного освобождения от военно-полевого суда людей, только что оправданных военным судом. Слащев ответил какой-то грубостью. Обращение к высшей инстанции – к генералу Шиллингу, еще занимавшему пост главноначальствующего в Крыму, формально подчиненного правительству, тоже успеха не имело. Едва ли нужно упоминать, что все несчастные люди, преданные Слащевым военно-

полевому суду, были повешены. А из Ялты по этому случаю за подписью целого ряда "общественных деятелей" и бывших сановников полетела в ставку Слащева приветственная телеграмма...

В военных кругах эта история вызвала большое возбуждение. Военные одобряли действия Слащева и негодовали на правительство, вмешавшееся, по их мнению, не в свое дело. Стали ходить слухи о подготовлявшемся аресте правительства, и меня предупредили из весьма осведомленных кругов, что такой заговор уже составлен и что ареста можно ждать с часа на час. Об этом я сейчас же пошел предупредить министров в гостиницу Киста.

Всем министрам было вполне понятно их безнадежное положение, и только один Н.В. Чайковский доказывал, что власть должна бороться до конца, что нужно принять решительные меры, поставить вокруг гостиницы караул из преданных кадет Донского корпуса и т.п. Было, однако, совершенно ясно, что ни о каком сопротивлении не может быть речи и что правительство, бывшее запоздалым знаменем обновления политики генерала Деникина, обречено на бесславную и, если можно так выразиться, глупую гибель.

От такой участи избавил свое правительство сам генерал Деникин, передав по прямому проводу из Феодосии, что он увольняет всех министров в отставку...

Я считал, что со смертью правительства Мельникова закончились разговоры и о моей административной карьере. Но я ошибся.

Была Страстная неделя, и я мечтал о нескольких днях пасхального отдыха на южном берегу перед жутко надвигавшимися на нас событиями. Но не успел я вернуться из Севастополя в Симферополь, как получил извещение от недавно назначенного губернатора Перлика, что М.В. Бернацкий вызывает его и меня экстренно в Феодосию.

Достали автомобиль и покатили. Путь в это время между Симферополем и Феодосией считался опасным из-за постоянных нападений зеленых, но мы уже успели привыкнуть к средневековым условиям передвижения и это обстоятельство нас мало смущало. Автомобиль попался ужаснейший. Каждые полчаса что-то портилось в машине и приходилось подолгу чиниться. Поэтому, вместо того, чтобы приехать вечером в Феодосию, мы поздней ночью были лишь на полпути, добравшись до деревни Салы. Тут начинался крутой подъем, и наш автомобиль окончательно отказался ехать в гору. Пришлось искать ночлега в деревне, где, конечно, оказался отряд стражников, облегчивших своему начальству эту задачу.

Рано утром мы должны были ехать дальше. Но так как после деревни Салы начинались особо опасные места, где оперировали зеленые, то начальник стражи отправил вперед верховых стражников с пулеметом. Предосторожность оказалась нелишней, т.к. не успели стражники проехать первую версту, как мы услышали ружейную трескотню и воркотню пулемета. Очевидно, зеленые ожидали проезда

губернатора и устроили на него засаду. Если бы не автомобильная авария, мы еще ночью попались бы в руки зеленых. А теперь под обстрелом оказались стражники, из которых один был тяжело ранен...

После долгих мытарств с автомобилем, мы наконец добрались до Феодосии и сейчас же пошли к Бернацкому.

Он имел совершенно растерянный вид и вначале как будто сам недоумевал — что, собственно, нам от него нужно. На мой вопрос, зачем он нас вызвал, он как-то нерешительно ответил, что генерал Деникин хотел мне предложить пост министра внутренних дел в новом правительстве. Я сказал, что в трагический момент, переживаемый властью, которую я считал долгом поддерживать, я не счел бы себя вправе уклониться от ответственности и войти в правительство (по возможности, не министром внутренних дел), если бы мне указали какие-нибудь новые перспективы, если бы намечались какие-нибудь новые политические комбинации, которые бы давали хоть какой-либо шанс на возможность продолжения борьбы. Но я не вижу смысла вступать в правительство только с тем, чтобы через две недели эвакуироваться в Константинополь.

Бернацкий, конечно, мне никаких новых перспектив не открыл, а предложил отложить разговор до вечера, так как в ближайшие часы могут быть приняты такие решения, которые поставят вопрос о формировании власти в совсем другую плоскость.

Это был намек на принятое уже Деникиным решение отказаться от власти. Друзья еще надеялись его отговорить, но, видимо, мало рассчитывали на успех.

Действительно, пока я разговаривал с Бернацким, Деникин уже отдал распоряжение о созыве в Севастополе совета генералов для выбора ему заместителя...

На следующий день я вернулся в Симферополь с твердым намерением на этот раз непосредственно ехать на южный берег на пасхальное время. Так и сделал. Но когда я вышел в Биюк-Ламбате из почтового экипажа, меня позвали к телефону. Губернатор сообщил мне, что новый главнокомандующий, генерал Врангель, находится в Ялте и просит меня немедленно туда прибыть.

Не суждено мне было отдохнуть в своей семье на южном берегу!

Я сел в тот же экипаж, из которого только что вышел, и поехал дальше.

Несмотря на тревожное настроение, я не мог удержаться от юмористических мыслей: вот уже целую неделю я езжу по Крыму из одного города в другой, получая "лестные" предложения, и каждый шаг моей внезапной карьеры связан с крушением возвышающей меня власти. Неужели же и Врангель хочет мне предложить какой-нибудь высокий пост и я его похороню так же, как хоронил в Севастополе правительство Мельникова, а в Феодосии самого Деникина!

Но Врангель оказался предусмотрительнее и никакого предложения мне не сделал.

Глава 33

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ГЕНЕРАЛА ВРАНГЕЛЯ
(март – ноябрь 1920)

Агитация в Крыму в пользу барона Врангеля. Мое знакомство с Врангелем и разговор о новой политике южнорусской власти. В комиссии по выработке земельного закона. Докладная записка бывших сенаторов и правых общественных деятелей о желательном курсе политики. Записка представителей земств и городов. А.В.Кривошеин вступает в должность премьера. Мои впечатления о нем. Разбухание бюрократического аппарата. Мои поездки в Севастополь за кредитами для земства. Бахчисарайский оазис. Генерал Климович во главе полиции и мой разговор с ним. Эпизод с увольнением почетных мировых судей. Рептильная печать. Антисемитская агитация. Земские учреждения под подозрением у власти. Законопроект о земской реформе. Ставка на зажиточного мужика. Изменение политики и стратегии. Речь Врангеля о "хозяине". Попытка примирения с автономистами. Неудачный "союз" Махно и отряд атамана Володина. Повешенные на улицах Симферополя. Армия и тыл и их взаимодействие. Моя неудачная попытка спасти от виселицы трех татар. Объяснения с Врангелем по этому поводу. Взяточники и спекулянты. Речь Врангеля о неприступности Крыма. Мой последний разговор с Врангелем. Съезд представителей земств и городов. Неудачная поездка В.Л.Бурцева на этот съезд. Красная армия переходит Сиваш. От жителей Симферополя скрывают начавшуюся эвакуацию Севастополя. Я отказываюсь получить заграничный паспорт.

Еще до эвакуации Новороссийска, когда генерал Врангель жил в почетной ссылке в Севастополе, в Крыму стали о нем уже говорить как о единственном человеке, могущем спасти армию и Россию.

Особенно много надежд на генерала Врангеля возлагалось в правых кругах, видевших причину невзгод, постигших добровольческое движение, в тлетворном влиянии "кадетов", окружавших Деникина. И по мере того, как на фронте дела ухудшались, все ярче и ярче сиял ореол опального генерала. Наконец инициативная группа с епископом Вениамином во главе решила организовать общественное выступление в пользу провозглашения Врангеля

главнокомандующим. В Севастополь съехалось несколько человек, долженствовавших изображать представителей крымских "сословий" и национальностей. От русского духовенства там был епископ Вениамин, от татарского народа — назначенный губернатором и не признававшийся татарским населением муфтий (высшее духовное лицо), было несколько землевладельцев, кто-то от немцев-колонистов и т.д. Звали и меня в качестве представителя самоуправления.

О бароне Врангеле я знал как о выдающемся молодом генерале, победителе при Царицыне, известном своей решительностью и безусловной честностью (свойство, не часто встречавшееся во время гражданской войны), понимал я также, что имя Деникина настолько скомпрометировано в народе (слово "деникинец" произносилось крестьянами с ненавистью и презрением), что он долее не мог возглавлять противобольшевистское движение. Однако, я видел, что овладеть Врангелем собираются те же силы, которые, по моему глубокому убеждению, погубили Деникина. Кроме того, меня крайне возмущало, что генерал Врангель размножил и распространял в это время свое письмо к Деникину, полное личных выпадов против этого неудачного диктатора, но благородного человека и патриота. Все эти причины побудили меня решительно отказаться от поездки на севастопольский съезд.

Съезд состоялся, и, за подписью всех прибывших на него "нотаблей", была послана Деникину телеграмма, в которой говорилось что-то вроде того, что все народы Крыма желают видеть во главе армии генерала Врангеля.

Если память мне не изменяет, Врангелю пришлось после этого оставить Севастополь и переселиться в Константинополь, откуда он был уже вызван на генеральский съезд, избравший его заместителем Деникина.

Таким образом, я ехал в Ялту на свидание с Врангелем, будучи заранее несколько предубежден против него.

В Ялте я встретился с П.Б.Струве, который мне сообщил, что Врангель выразил желание посоветоваться по вопросам управления с местными людьми, в числе которых он указал меня. Почва для нашего разговора была подготовлена одним моим письмом к Струве, которое я ему послал в Ростов, но которое было получено им уже в Новороссийске, где он жил в одном вагоне с Врангелем.

Писал я ему, что считаю дело Добровольческой армии погибшим. Если есть слабая надежда его спасти, то лишь путем радикального изменения самых основ ее политики. Сущность ее должна заключаться в следующем:

1) Деникин, имя которого совершенно скомпрометировано в народных массах, должен уйти и заменить себя другим лицом.

2) Нужно во что бы то ни стало кончить ненавистную населению гражданскую войну и, при посредстве союзников, попытаться

заключить мир с большевиками, создав южнорусскую федерацию из казачьих областей, Крыма и хотя бы части Украины. Это государство должно стать как бы катушкой, на которую впоследствии намотается остальная Россия.

3) Первыми актами новой власти должно быть провозглашение широкой амнистии и укрепление находящихся в пользовании крестьян (собственных, захваченных и арендных) земель за ними.

Приблизительно такого же содержания письмо я послал Н.И. Астрову, но, кажется, оно до него не дошло.

Зная тогдашние настроения Струве, я думал, что он сочтет выдвинутую мною программу абсолютно неприемлемой, о чем и упомянул в своем письме. Теперь, встретив меня в Ялте, он сразу заговорил на эту тему:

— Напрасно вы считаете меня таким неповоротливым и твердокаменным, — сказал он мне. — По странной случайности, некоторые мысли, высказанные вами в письме, меня уже раньше занимали и мы о них разговаривали с генералом Врангелем. Завтра утром, когда мы будем у него, непременно коснитесь всех этих вопросов.

В дальнейших разговорах с П.Б. Струве я от него впервые услышал выдвигавшуюся им формулу о необходимости делать левую политику правыми руками, узнал от него также, что для делания такой политики Врангель предполагает поставить во главе гражданского управления А.В. Кривошеина. Я возражал ему, сказав, что скорее присоединился бы к обратной формуле — "делать правую политику левыми руками". Впрочем, по существу нужной для того времени политики у нас как будто не было больших разногласий. Только для "правых рук" она была левой, а для "левых рук" — правой.

На следующий день генерал Врангель принял нас в гостинице "Россия".

Высокая, стройная и гибкая фигура барона Врангеля, имевшего вид "джигита" в черной черкеске, его странное, удлиненное лицо с живыми, несколько волчьими глазами, произвели на меня сильное впечатление. Во всем — в манере говорить, в нервных повелительных жестах, во взгляде и голосе — чувствовался сильный, волевой и решительный человек, созданный быть вождем. Неприятно поражала лишь его непомерно длинная шея, без всякого утолщения переходившая в затылок и как будто кончавшаяся на макушке. Такие шеи с плоским затылком обычно представляются мне принадлежностью глупых людей, но умные, проницательные глаза совершенно не гармонировали с "глупой" шеей, которая придавала всему облику Врангеля лишь какой-то привкус легкомыслия.

У нас сразу же начался оживленный разговор.

Мне несколько раз приходилось бывать у его предшественника, генерала Деникина, и я невольно сравнивал этих двух южнорусских диктаторов.

Деникин очаровывал своим милым, добродушным лицом, простотой обращения и ласковой, слегка лукавой улыбкой. Чувствовалось, что с ним можно говорить откровенно о чем угодно и совершенно запросто. Однако, когда я бывал у него, всегда выходило так, что он куда-то торопился, смотрел на часы, и я видел, что разговор со мной его мало интересует. Инициатива разговора принадлежала мне, он же давал реплики, иногда возражал, но почти ничего не спрашивал.

Этот несомненно умный и одаренный человек был чрезвычайно прямолинеен в своих взглядах и суждениях. Раз усвоив их, он оставался им верен, хотя бы жизнь на каждом шагу давала ему разочарования. Конечно, он поддавался влиянию окружавших его людей, но лишь определенных лиц, которым безусловно доверял. Во впечатлениях же со стороны, из самой жизни, которую он склонен был упрощать и схематизировать, он мало нуждался. Мне казалось, что убедить, а тем более переубедить его в чем-либо было невозможно.

И с каждой аудиенции у Деникина я уходил с двойственным чувством: с одной стороны, на меня действовало обаяние его личности, а с другой – я чувствовал какую-то неудовлетворенность и им, и собой. Я всегда собирался многое рассказать ему, поделиться с ним мыслями о происходившем, а в конце концов лишь делал несколько комментариев к подаваемой ему докладной записке, или возбуждал два-три деловых вопроса. А дальше разговор прерывался, так как я видел, что настоящего внимания он мне не уделит.

Врангель не возбуждал к себе такого непосредственного доверия, как Деникин, но, в противоположность Деникину, он не в предвзятых идеях, а в самой жизни старался почерпнуть руководящие нити своей политики. Он жадно ловил впечатления на фронте и в тылу, и к каждому своему собеседнику, хотя бы он не разделял его взглядов, относился с живейшим интересом. В трудную и ответственную минуту, когда, по сделанному тогда же им признанию, у него на победу оставалось не больше одного шанса из ста, он подходил к власти без определенной программы, с верой в свою интуицию и в уменье делать практические выводы из опыта жизни. Он ставил себе определенную цель, а средства готов был выбирать любые...

Разговор наш длился часа два и касался самых разнообразных вопросов. Сам по себе разговор этот не имел особого значения, и если я на нем несколько подробно останавливаюсь, то только потому, что он дает материал для освещения некоторых дальнейших событий.

Заговорили мы прежде всего об общем положении. Всем нам, и Врангелю, оценивавшему свои шансы на успех, как один к ста, было ясно, что спасения в данный момент можно ждать не от бряцания оружием и что нужно сделать попытку каким-нибудь образом использовать посредничество союзников для заключения перемирия

с большевиками. При этом я высказал мысль, что Крым представляет из себя слишком маленькую катушку, на которую едва ли возможно "намотать" остальную Россию. Поэтому необходимо, чтобы союзники заставили большевиков очистить юго-восток России. Струве, более осведомленный о намерениях англичан, как раз в это время предлагавших свое посредничество, отнесся к моим пожеланиям скептически. Однако основная мысль, что нужно кончить войну, сохранив при этом южнорусскую государственность, и поставить "единую Россию" не в фундамент программы, как это было при Деникине, а сделать крышей медленно строящегося здания, разделялась всеми нами.

Какими наивными теперь, через много лет, кажутся мне все эти утопические планы!

Врангель с большим раздражением говорил о деникинской стратегии, о растяжении фронта и форсированном марше на Москву, так неудачно закончившемся:

— Это было совершенным безумием — идти на Москву с разлагающейся армией и дезорганизованным тылом. Моя тактика будет иная: даже при благоприятных условиях я не двинусь вперед, не приведя в полный порядок армию и тыл.

Я мало понимаю в военной тактике, но, руководствуясь простым здравым смыслом, думаю теперь, что если Врангель был прав в критике деникинской тактики, то лишь поскольку она была нецелесообразна в первый период гражданской войны. Наоборот, в конце гражданской войны, когда разбитая большевиками армия собралась на территории маленького Крыма, оборонительная тактика давала лишь небольшую отсрочку полного поражения. Если у Врангеля был шанс на победу, то только в том случае, если бы, воспользовавшись поражением Красной армии на польском фронте, он бросил бы Крым на произвол судьбы и двинулся бы со своими войсками на Москву. Этот случай он упустил, и большевики, заключив мир с Польшей, могли уже все свои силы направить против Врангеля, запертого в Крыму и лишенного возможности маневрировать.

Разговор перешел на грабежи, сделавшиеся в армии обычным явлением, на деятельность контрразведок и т.д. Врангель был вполне об этом осведомлен и заявил, что не остановится перед самыми серьезными мерами для искоренения этого зла...

— А таких разбойников, как генералы Покровский и Шкуро, я на пушечный выстрел не подпущу к своей армии, — добавил он.

Когда я заговорил об аграрном вопросе, Врангель прервал меня и, вытащив из бокового кармана какой-то манускрипт, заявил:

— Это дело решенное. Я в первую очередь займусь земельным вопросом. Вот тут у меня имеется проект земельной реформы.

И он сейчас же стал читать вынутый из кармана документ, оказавшийся кем-то составленной докладной запиской по аграрному

вопросу. К моему удивлению, записка эта предусматривала самое радикальное разрешение земельной проблемы с передачей всех земель в руки крестьян.

Тут я, давний сторонник коренной земельной реформы, оказался в курьезном положении и стал спорить с правым бароном Врангелем против нее. Я считал опасным во время гражданской войны производить коренную ломку земельных отношений, а нужно предоставить это дело будущей власти, после окончания гражданской войны. Врангель, однако, стоял на своем. Он решил немедленно приступить к реформе.

По вопросу о конструкции гражданской власти Врангель вполне соглашался с моим мнением, что пока южнорусское государство имеет столь ограниченную территорию, было бы нецелесообразно учреждать центральные ведомства с целым штатом чиновников и что достаточно организовать при главнокомандующем небольшое управление, объединяющее все ведомства, которые и без того имеют в Крыму своих непосредственных руководителей. Говорилось и о том, что нужно сократить дипломатические представительства в Европе, поглощавшие огромные средства, чуть ли не столько же, сколько стоило содержание всей армии и всего внутреннего управления.

Наконец, я поднял вопрос о земском самоуправлении, указав Врангелю на тяжелое положение земских управ, лишенных возможности созывать земские собрания.

По этому поводу я выслушал несколько возражений с указанием на социалистический состав собраний, но, поддержанный П. Б. Струве, получил обещание, что земские собрания будут созваны.

Высказал я также мысль о том, что было бы целесообразно учредить при главнокомандующем совещательный орган из представителей земств и городов. С одной стороны, это связало бы с командованием армией демократическую часть интеллигенции, а с другой – произвело бы благоприятное впечатление на союзников, показав им, что южнорусская власть резко меняет курс своей политики.

Врангель внимательно слушал мои доводы, но видно было, что в этом вопросе у него было больше всего сомнений, что он и не замедлил высказать. Я, со своей стороны, в тот же день написал и послал ему докладную записку с примерным планом организации земско-городского Совета.

В общем, от первого свидания с Врангелем у меня осталось самое лучшее впечатление. Мне казалось, что наконец у кормила южнорусской власти стал нужный для нее человек, человек, вышедший из правых кругов, но обладающий большим запасом оппортунизма, а отчасти и авантюризма – качествами, отрицательными для политика нормального времени, но необходимыми для вождя

во время гражданской войны. И я почти готов был признать справедливость мнения Струве, что можно проводить левую политику правыми руками...

На следующий день я собирался уехать из Ялты, но рано утром ко мне пришел Г.В.Глинка и сообщил, что главнокомандующий поручил ему составить немедленно комиссию для выработки основных положений земельной реформы с тем, чтобы таковые были ему представлены в трехдневный срок. Нескольких из членов этой комиссии, в том числе и меня, указал ему сам Врангель, предоставив ее пополнить другими лицами по своему усмотрению. Ввиду категорического требования Врангеля, чтобы работа шла в срочном порядке, Глинка решил назначить первое ее заседание на следующий день.

Таким образом генерал Врангель, с увлечением читавший мне радикальный проект земельной реформы, крайне спешил с проведением ее в жизнь. Но кто же были те люди, которым он поручил это важное дело?

Вот список членов комиссии, как он восстанавливается в моей памяти: 1) Г.В. Глинка, человек довольно известный своими консервативными взглядами с несколько славянофильским оттенком, товарищ министра земледелия царского времени. Оппортунист, готовый пойти довольно далеко в земельном радикализме, но через силу, вопреки своим взглядам и симпатиям. 2) Личный приятель Врангеля, генерал Левшин, председатель Союза землевладельцев на юге России, решительный противник земельной реформы. 3) Бывший таврический губернатор, недавно избранный председателем правой ялтинской городской Думы, граф Апраксин, тоже противник реформы. 4) Бывший министр правительства генерала Сулькевича В.С.Налбандов, сам крупный землевладелец и принципиальный сторонник крупного землевладения. 5) Ялтинский земец, "мартовский кадет" В.В.Келлер, тоже крупный землевладелец. 6) Товарищ министра земледелия царского правительства П.П. Зубовский, аккуратный и дельный чиновник, хорошо знакомый с прежним земельным законодательством, но уклонявшийся от высказывания собственного мнения. 7) Бывший уполномоченный по землеустройству в Таврической губернии Шлейфер. 8) Молодой экономист К.О. Зайцев. Возможно, что было еще два-три человека, но я их не помню.

Могло казаться, что такой состав комиссии был нарочно подобран Врангелем, чтобы погубить затеянное им же дело. Я, однако, совершенно уверен (и это подтвердилось в дальнейшем), что это было просто с его стороны легкомыслие, связанное с весьма упрощенным военным пониманием формулы о "левой политике правыми руками" в том смысле, что кому угодно и что угодно можно приказать – и будет исполнено.

Что касается меня, то, хотя я возражал Врангелю, находя, что лучше не приступать к реформе, а ограничиться временно охраной

крестьянского, хотя бы и захватного, землепользования и приостановлением арендных платежей, но находил, что если реформа решена, то она должна проводиться радикально.

Три дня с утра до вечера заседали мы в номере гостиницы "Россия", стараясь договориться об основах земельного законодательства. Но договориться не могли. Большинство комиссии решительно отвергало принцип принудительного отчуждения помещичьих земель и сводило всю "реформу" к содействию крестьянам в их покупке. В таком смысле и было препровождено Врангелю составленное Зубовским заключение, которое мы с К.О. Зайцевым отказались подписать, приложив к нему наши особые мнения.

Комиссия приняла целый ряд положений, ограничивавших право землевладения определенным максимумом, причем крупным землевладельцам предлагалось продать свои земельные излишки в трехлетний срок, после которого наступал момент принудительного отчуждения.

Мелкие подробности постановлений комиссии я забыл. Только помню, что Налбандову удалось ввести в него целый ряд поправок, направленных к тому, чтобы замедлить осуществление реформы и обезвредить ее для землевладельцев.

Намерения большинства были совершенно ясны: провозгласить реформу, но отложить на возможно долгий срок ее осуществление. Они надеялись, что если Врангелю удастся победить большевиков и восстановить силою штыков права землевладельцев, то вопрос о земельной реформе отпадет и все останется по-старому. Когда на голосование был поставлен вопрос о принудительном отчуждении, то за немедленность принудительного отчуждения голосовал я один.

Крестьяне молчали в комиссии. Один из них – волостной старшина – досидел до конца и, поддерживая меня в кулуарных разговорах, на заседаниях голосовал со своим начальством. Другие два уехали до решительных голосований. Один, кряжистый хозяйственный мужик, подошел ко мне после заседания комиссии, в котором был решен вопрос об ограничении права покупки земель, и сказал с негодованием: "Вишь ты, говорили, что хотят крестьянам земли прибавить, а тут выходит, что нашему брату больше двухсот десятин и купить нельзя будет. Это что же еще за порядки господа выдумывают. Ну их совсем!.." И он уехал домой в полном убеждении, что сидел в комиссии, поставившей себе задачей ограничить права крестьян в расширении их землевладения...

Комиссия разъехалась, выработав законопроект, все параграфы которого со ссылками на отмену и изменение действовавших ранее статей закона были тщательно проредактированы опытной рукой П.П. Зубовского и снабжены подробной мотивировкой, как это делалось в доброе старое время в канцеляриях Государственного Совета. К журналу комиссии я опять приложил свое особое мнение.

А председатель комиссии Глинка в интервью с представителями прессы заявил, что о широкой аграрной реформе не может быть и речи. "Речь идет об устройстве скорой и выгодной покупки арендаторами-землеробами необходимых им земельных участков". "Если бы, — говорил он далее, — явились вместо простого устройства арендаторов требования всеобщего раздела и безвозмездного отчуждения, то комиссии не стоило бы и созывать. Такого митингового вздора мы имеем и в печати, и в Советах достаточно".

Считая, что земельная реформа похоронена окончательно, я занялся текущими земскими делами, и когда через несколько дней получил телеграмму, приглашавшую меня прибыть в Севастополь на новое заседание земельной комиссии, то решил уже больше в ней участия не принимать.

Оказалось, однако, что на этот раз дело сдвинулось с мертвой точки. В Севастополе, при покровительстве Врангеля, образовался Крестьянский Союз, во главе которого стал некий Булатов, человек энергичный и по-видимому искренний и порядочный. В Союз вошло еще несколько бежавших из Украины зажиточных крестьян и оказавшийся в Крыму А.Ф. Аладьин, бывший лидер Трудовой группы в первой Государственной Думе. Я уже упоминал в соответствующем месте, как этот авантюрист хвастался передо мной своим влиянием на Врангеля, намекая при этом, что, став во главе крестьянского Союза, он заставит Врангеля плясать под свою дудку.

Вот этот довольно убогий крестьянский Союз подал Врангелю проект земельной реформы.

Мне передавали, что Врангель, получив законопроект нашей комиссии, пришел в большое раздражение, накинулся на Глинку за саботаж его предначертаний и велел ему созвать новую комиссию для составления законопроекта на основании предложений крестьянского Союза. Кто входил в эту комиссию — я не знаю, но, кажется, на этот раз обошлось без приглашения землевладельцев.

С помощью неутомимого Зубовского Г.В. Глинка в несколько дней составил новый законопроект, противоположный всему, что он проводил в предыдущих комиссиях, который был утвержден Врангелем, а затем земельная реформа скоро стала проводиться в жизнь.

Когда через несколько дней, приехав по делам в Севастополь, я зашел к Врангелю, он встретил меня с торжествующей улыбкой.

— Я прочел ваше особое мнение, — сказал он мне, — и могу поделиться с вами приятной для вас новостью: вчера я подписал земельный закон, который еще левее, чем то, что вы писали в особом мнении.

Считая меня очень левым, он, очевидно, думал, что для меня — чем левее, тем лучше.

Впрочем, особой левизны в законе и не было. Он был не слишком "правый" или "левый", а слишком сложен и приспособлен

для мирного времени, а не для периода гражданской войны. Тем не менее я придавал ему, как попытке, хотя и запоздавшей, изменить политику в земельном вопросе, большое значение. Я и до сих пор уверен, что если бы земельный закон, хотя бы в том виде, в каком он был издан Врангелем 25 мая 1920 года, был издан Деникиным 25 мая 1918 года, то результаты гражданской войны были бы совсем другие.

Я не стану останавливаться на подробностях закона, который, несмотря на форсированное проведение его в жизнь, все же остался лишь архивным документом. Скажу только, что, весьма радикально разрешая вопрос о принудительном отчуждении помещичьих земель, правительство Врангеля утешило помещиков, назначив высокую выкупную сумму в твердой валюте. (За выкуп каждой десятины крестьяне должны были платить сумму, равную пятикратной стоимости среднего урожая с десятины господствующего в данной местности хлеба. Так как рыночная стоимость земли в это время, благодаря неустойчивости землевладения, была очень низка, то "справедливая" оценка, некогда предполагавшаяся в земельном законопроекте партии Народной Свободы в интересах крестьян, здесь устанавливалась в интересах помещиков). Это послужило, конечно, средством агитации против Врангеля. Однако для крестьян было важно сознание, что у них не только не отнимают земли, а даже наделяют их помещичьими землями. Что касается будущего выкупа, то крестьяне надеялись, что когда-нибудь его с них сложат. Поэтому генерал Врангель несомненно приобрел популярность среди крестьянского населения.

Вскоре после избрания Врангеля главнокомандующим я созвал совещание председателей земских управ и городских голов, через которое провел составленную мной записку, касавшуюся финансового и правового положения самоуправлений. В первую очередь в ней указывалось на ненормальное положение земских управ, лишенных возможности созывать земские собрания. Мы настаивали на восстановлении нормального самоуправления.

Эта записка была вручена Врангелю нашей делегацией. Он принял нас чрезвычайно любезно и произвел самое лучшее впечатление на всю делегацию. Говорил, что рассчитывает на поддержку местных общественных кругов, с которыми готов работать совместно, и категорически обещал восстановить земские собрания.

Однако время шло, а соответственного распоряжения не появлялось.

В одну из своих поездок в Севастополь я зашел в управление внутренних дел и поинтересовался судьбой нашей записки. Мне конфиденциально ее показали. Против того места, где говорилось о созыве земских собраний, рукой Врангеля было написано: "Согласен". Но внизу, под запиской, сенатор Глинка написал довольно длинные рассуждения о том, какие политические опасности грозят

власти от восстановления социалистических земских собраний, что земское самоуправление должно быть в корне реформировано и что до такой реформы о созыве собраний не может быть и речи.

Эта карандашная приписка оказалась действительнее собственноручной резолюции диктатора, и земские собрания так и не были восстановлены.

До прибытия Кривошеина в Крым курс внутренней политики Врангеля еще не установился. Врангель составил временное управление из небольшого числа лиц. Под началом губернатора Перлика, назначенного еще Деникиным, были объединены ведомства внутренних дел, земледелия, торговли и путей сообщения, М.В. Бернацкий продолжал управлять финансами, Струве – иностранными делами, а во главе юстиции был поставлен Н.Н. Таганцев. Эти лица вместе с военным министром Вязмитиновым составляли при генерале Врангеле Совет вроде бывшего при Деникине Особого совещания. Но П.Б. Струве находился большую часть времени за границей, а из остальных членов Совета не было никого, кто бы импонировал Врангелю. По-видимому, этот пробел восполнялся закулисным влиянием отдельных лиц, главным образом Глинки. Сам Врангель, к которому мне часто приходилось обращаться по разным делам, по-прежнему всем интересовался, но, по горло занятый военными делами, в большинстве случаев уклонялся от решений по делам внутреннего управления, говоря: "Подождите немного, приедет Кривошеин, которому я доверил все внутренние дела. С ним обсудите все вопросы". И вот наконец Кривошеин приехал.

Хорошо помню свой первый разговор с ним.

– П.Б. Струве, – начал разговор Кривошеин, – указал мне на вас и на В.С. Налбандова как на двух представителей местной общественности, от которых я могу ожидать полезных советов в деле управления краем, и рекомендовал считаться с вашим мнением. Надеюсь, что вы не откажете мне в такой помощи.

– Видите ли, А. В., – ответил я, – я охотно готов служить вам тем или иным советом, но боюсь, что они окажутся диаметрально противоположными советам другого рекомендованного вам П. Б. советчика.

– Тем лучше, – сказал Кривошеин с легкой улыбкой на холодном, красивом лице, – от столкновения противоположных мнений рождается истина.

Через несколько дней после этого разговора Налбандов был назначен министром торговли и, как местный человек, несомненно оказывал влияние на политику Кривошеина, с моими же советами довольно мало считались.

Приезжая в Севастополь, я всегда заходил в "большой дворец", в котором поселился Кривошеин. Он принимал меня вне очереди, весьма любезно и внимательно меня выслушивая. Врангель тоже

просил меня всегда навещать его, когда я бываю в Севастополе, говоря, что очень ценит мое мнение. Но я понимал, что я им нужен лишь как "представитель общественности", по существу жалкой и бессильной, но выгодно украшающей диктатора перед союзниками.

По существу же я чувствовал, что между мной и ими – стена, что нам внутренне друг друга не понять, что мы люди разных психологий. Но я сознательно мирился со своей неблагодарной ролью, ибо шла война, а на войне, не поддерживая одной стороны, помогаешь другой.

Мне много приходилось слышать плохого об А.В.Кривошеине. Должен, однако, сказать, что, относясь отрицательно к его политике, я все же сохранил о нем впечатление как о человеке, искренне и горячо любящем свою родину. Несомненно также, что это был человек очень умный, лучше многих понимавший всю глубину происходивших в русской жизни изменений и ясно представлявший себе, что возврата к прошлому нет. Но он все-таки был плоть от плоти бюрократии старого режима. Головой он понимал, что нужны новые методы управления в смысле приближения власти к населению, упрощения административного аппарата, расширения прав самоуправлений и т.п., но долгая бюрократическая служба создала в нем известные привычки, навыки, а главное – связи с определенным кругом людей.

И Врангель, и Кривошеин обладали запасом здорового оппортунизма, необходимого в их положении, имели много жизненной интуиции, но в основах своей психологии первый все-таки оставался ротмистром Конногвардейского ее величества полка, а второй – тайным советником и министром большой самодержавной России.

Кривошеин на словах неоднократно высказывался против "большого" правительства для маленького Крыма, а между тем в Севастополе опять создались министерства с отделами, отделениями и пр. В Симферополе был губернатор, вице-губернатор, управляющий государственными имуществами, казенная и контрольная палаты, словом, полный бюрократический аппарат, некогда управлявший целой губернией. А теперь, чтобы управлять половиной губернии, все эти местные ведомства были возглавлены центральными министерствами в Севастополе, в которых количество чиновников было больше, чем в Симферополе. Работы у этих чиновников было немало, но большая ее часть заключалась в переписке с подчиненными им губернскими учреждениями. Это уродливое двухэтажное управление половиной губернии обходилось крайне дорого. Колоссальные средства продолжали тратиться и на заграничные дипломатические учреждения, в которых сохранялись прежние штаты служащих, получавших большие жалованья. Такие расходы ускоряли падение курса рубля. Кроме того, нужды центральных и заграничных учреждений удовлетворялись в первую

очередь, а учреждения местные, связанные с насущными нуждами населения, чахли, получая ничтожные ассигнования.

Периодически собирались в Симферополе съезды представителей земских управ и городских голов, на которых мы устанавливали наши потребности, а затем посылали делегатов в Севастополь для выпрашивания денег. Обыкновенно в такие поездки со мной отправлялся товарищ симферопольского городского головы Н.С. Арбузов.

Так как поезда ходили нерегулярно и были до отказа набиты пассажирами, то мы предпочитали ездить на лошадях, что выходило скорее и было удобнее. На севастопольском шоссе в это время происходили постоянные грабежи, но нам посчастливилось ни разу не быть ограбленными, хотя возвращались мы с миллионами казенных денег. От этих поездок у меня остались приятные и даже поэтические воспоминания.

Выезжали мы обыкновенно, чтобы ночевать в Бахчисарае. Странное и какое-то волшебное впечатление производил на меня этот удивительный город. Благодаря тому, что он расположен не на самом шоссе, а верстах в полутора, в расщелине скал, совершенно его закрывавших, он не подвергся разгрому и разрушению во время революции и гражданской войны.

По выбитому, грязному шоссе между Симферополем и Севастополем много раз проходили красные и белые войска, но, мало знакомые с местностью, они как-то всегда миновали спрятавшийся в скалах Бахчисарай. И он сохранился такой же тихий и мирный, как был до революции. И жизнь в нем текла так же, как десять, пятнадцать и сто лет тому назад. Те же ремесленники, работающие в открытых лавках на глазах у прохожих, мясники, режущие баранов, булочники, катающие тесто для бубликов, правда, продававшихся уже не за несколько копеек, а за несколько сот рублей...

И самый дворец, в котором мы ночевали, в полном порядке. Так же журчит фонтан под сенью пирамидальных тополей, тот же старый смотритель, который много лет подряд показывал туристам дворец бывших крымских ханов...

А утром, на заре, я просыпался от заунывного крика муэдзина, призывавшего правоверных к молитве с высоты соседнего минарета. И тихо, задумчиво шли мимо моего окна в мечеть солидные татары в белых и зеленых чалмах и в барашковых шапках.

Каждый раз я зачаровывался этой сказкой наяву, сказкой, которую, может быть, на всем протяжении огромной России мог рассказывать один только маленький Бахчисарай. И так хотелось продлить эту сказку, оторвавшись от страшной были нашего существования...

Рано утром, умывшись в холодной струе Бахчисарайского фонтана и напившись чаю с чудным липовым медом с пасеки

смотрителя, мы снова отправлялись в путь по кривым улицам Бахчисарая, мимо мирных лавок и базаров со всякой снедью, и снова выезжали на грязное шоссе, где на автомобилях, обгоняя нас и обдавая грязью, неслись спекулянты с жирными бритыми лицами, где какие-то военные люди в кожаных куртках, с револьверами за поясами требовали предъявления паспортов, а встречные пассажиры на извозчиках, ради безопасности ездивших целыми вереницами, со страхом передавали сведения об очередном грабеже "зеленых".

А дальше – Севастополь, битком набитый тыловыми военными, спекулянтами и чиновниками, хождение по канцеляриям и заседания в комиссиях по отпуску кредитов под председательством всемогущего Вовси.

Странная это была фигура: маленький бритый еврей с большим апломбом, говоривший всегда важным, авторитетным тоном.

Для меня было загадкой, как этот человек с такой странной фамилией, еврей по национальности, вероятно, бывший торговец или банковский делец, мог сделать на юге России чиновничью карьеру, проникнуть в среду петербургских бюрократов и занять довольно высокий пост, несмотря на антисемитские настроения, господствовавшие в правящих кругах.

Кто из деятелей южных самоуправлений не знал этого маленького Вовси, сидевшего у источника нашей жизни – кредитных бумажек. За глаза над ним подтрунивали, строя каламбуры по поводу его смешной фамилии (правые его сослуживцы острили, говоря, что он "Вовси не русский"), но невольно относились с уважением к его невероятной трудоспособности.

И вот сменялись диктаторы, а маленький Вовси оставался у своего дела. В Ростове он был грозой для всех представителей самоуправлений, приезжавших туда за кредитами, которые он немилосердно урезывал. В Севастополе, потому ли, что мы имели доступ по "двору" Врангеля, или по другой причине, он стал значительно щедрее.

Человек он по-видимому был честный, ибо, проведя два года возле казенного сундука, прибыл в Константинополь без всяких средств и на беженском пароходе перебрался в Югославию.

Но я отдалился от главной темы своего повествования. Возвращаюсь опять к Кривошеину и его внутренней политике.

Итак, вместо упрощения аппарата управления была создана громоздкая бюрократическая надстройка над прежними губернскими учреждениями. Так обстояло дело с конструкцией власти. Каково же было содержание управления Крымом?

Мне несколько раз приходилось слышать от Кривошеина правильные рассуждения о том, что для него не существует ни правых, ни левых, что враг его – только большевики и что против этого врага власть должна объединяться со всеми их противниками, от крайних

правых до социалистов включительно. А между тем во главе полиции он поставил старорежимного жандармского генерала Климовича, привыкшего к совсем другим методам управления.

Непосредственно после назначения Климовича я к нему зашел по следующему поводу.

В Севастополе был арестован по подозрению в большевизме мой приятель, редактор газеты "Южные Ведомости" А.П.Луриа. Это был человек необыкновенных душевных качеств, добрый, кроткий, незлобивый. Официально он принадлежал к партии народных социалистов, но, благодаря особенностям своей натуры, не мог уложиться в рамки какой-либо партии. К большевикам относился с ненавистью, если вообще мог кого-нибудь ненавидеть. Когда через несколько месяцев Крым был занят большевиками, он был одной из первых жертв их кровавого террора и, как мне передавали, умер геройской смертью, проявив стойкость христианского мученика.

А тут именно его обвиняли в большевизме, и только благодаря моему заступничеству перед Врангелем он был освобожден.

От Луриа я узнал следующие подробности его ареста: его допрашивал и вообще вел его дело бывший ротмистр X (фамилию его я забыл), деяния которого были разоблачены "Южными Ведомостями". Вероятно, это и было причиной ареста Луриа. А история этого ротмистра была типичной для периода гражданской войны: во времена Деникина он служил в контрразведке, но ему не повезло. Изобличенный в целом ряде вымогательств и насилий, до убийств включительно, он был предан военному суду и приговорен к каторжным работам. Однако, перебравшийся в это время из Одессы в Крым главноначальствующий генерал Шиллинг, благодаря заступничеству какой-то дамы, приговора не утвердил, а заменил каторгу разжалованием в рядовые. А рядовой X был принят на службу в полицию, где получал поручения вести политические дела.

Вот эту историю я и счел необходимым довести до сведения генерала Климовича, только что вызванного Кривошеиным из Сербии. Климович выслушал меня совершенно равнодушно и ответил, что примет необходимые меры, если мой рассказ подтвердится. Однако тут же добавил, что полиции приходится иногда пользоваться услугами людей с уголовным прошым, за которыми нужно лишь сугубо наблюдать.

Затем разговор наш перешел на более общие темы. Я указал Климовичу, что в деле полицейского розыска, кроме целого ряда прямых злоупотреблений, с которыми ему придется бороться, чрезвычайно вредную роль играет усвоенное полицейскими органами расширенное толкование понятия "большевизм" и что в большевизме сплошь да рядом обвиняют умеренных социалистов и даже вовсе не социалистов, а случайных людей, на основании доносов их недоброжелателей. Я привел целый ряд примеров. Вообще же

говорил Климовичу то, что раньше говорил Кривошеину и с чем последний вполне соглашался.

Климович уклонился от высказывания своего мнения, стал словоохотливо рассказывать мне о том, как сидел в тюрьме при Временном правительстве и какие унижения переносил. При большевиках было тоже скверно, но они все-таки его выпустили на свободу и даже дали возможность поступить на службу. Смысл его речи заключался в том, что все левые одним миром мазаны. Я почувствовал в ней столько злобы и мстительности, что для меня уже не могло быть сомнений насчет духа его полицейской работы.

И действительно, при Климовиче, как и до него, тюрьмы были переполнены преимущественно случайными людьми, что нисколько не мешало, а скорее помогало оставшимся на свободе большевикам вести свою пропаганду.

Когда я передавал Кривошеину свои впечатления о Климовиче, он холодно ответил мне: "Конечно, и у Климовича есть свои недостатки, но на таком посту должен находиться специалист своего дела".

Мне хорошо памятен один мелкий эпизод, характерный для власти, которая перед лицом серьезной большевистской опасности продолжала сводить мелкие счеты с социалистами других толков.

Осенью 1917 года симферопольская городская Дума избрала в числе почетных мировых судей трех умеренных социалистов. Хотя срок избрания их истекал через два месяца, тем не менее правительство Врангеля особым указом отрешило их от должностей. Дума, уже не имевшая социалистического большинства, единогласно заявила протест против столь произвольного акта.

— Помните ли вы, Александр Васильевич, сказку Щедрина о том, как медведь чижика съел? — спросил я по этому поводу Кривошеина.

— Помню, — ответил он, — а почему вы меня об этом спрашиваете?

— А вот подумайте: в Мелитопольском уезде идут кровавые бои с Красной армией, здесь, в тылу, зеленые засели в горах и дня не проходит без вооруженных нападений с их стороны, экономическое и финансовое положение ухудшается с каждым днем и т. д., а ваше правительство занимается репрессивными мерами против мирных мировых судей, и притом за два месяца до окончания их полномочий. Между тем, такие меры вносят раздражение в общественную среду, а большевикам доставляют удовольствие: "Мишка, мол, чижика съел".

Кривошеин улыбнулся и подергал щекой, что у него всегда предшествовало язвительной реплике.

— Может быть вы и правы, что этого не следовало делать, — сказал он, — но ведь автор этой меры ваш же либерал Н. Н. Таганцев...

Как-никак Врангель и Кривошеин старались производить хорошее впечатление на общественное мнение и дорожили поддержкой периодической печати. Однако выходило так, что не печать поддерживала правительство, а правительство поддерживало печать.

Правда, "Осваг", на содержание которого правительство Деникина тратило огромные средства, был ликвидирован, но многие из деятелей этого недоброй славы учреждения прибыли в Крым и стали добиваться казенного иждивения и субсидий. И хотя Осваг как учреждение не был восстановлен, но дух его ожил в многочисленных получавших казенную субсидию газетах. Они росли как грибы. Сколько их издавалось в Крыму в период Врангеля – точно не знаю, но наверное не меньше двадцати. (Газет пять или шесть в Севастополе, четыре – в Симферополе, две – в Евпатории, а там еще в Ялте, Феодосии, Керчи... Насколько знаю, совершенно без казенной субсидии, в форме денежных дотаций или льготного отпуска бумаги, обходились только две: "Южные Ведомости" в Симферополе, субсидировавшиеся кооперативами, и вскоре закрытый "Ялтинский Курьер"). Из остальных газет более или менее независимо себя держали: севастопольская – "Юг России", большая газета демократического направления, и издававшиеся в Симферополе "Известия Крестьянского Союза". Эти газеты страдали от цензуры, часто выходили с белыми полосами и хотя поддерживали правительство Врангеля в его борьбе с большевиками, но не подхалимствовали. Вся остальная печать имела определенный рептильный характер. Злоба, клевета и доносы, с одной стороны, и бахвальство и "шапками закидаем", с другой – были основными чертами этой ужасной прессы. А если говорить о направлении, то, за исключением "Таврического Голоса", допускавшего некоторый либерализм суждений, "Великой России", старавшейся сохранять умеренность, и вышеупомянутых более независимых газет, все это были листовки определенно правые, с монархическим уклоном.

Преобладание правых газет среди субсидировавшихся правительством, конечно, не было простой случайностью, ибо если правые руки еще могли бы творить левую практическую политику, то правые головы не могли говорить левые слова. Иногда даже самому Врангелю приходилось осаживать своих правых рептилий, если они уже слишком распоясывались.

В деле устной агитации происходило приблизительно то же. Правительство оплачивало услуги целого ряда агитаторов, выступавших на митингах в тылу и на солдатских собраниях на фронте. Среди них люди, поддерживавшие официальный лозунг правительства – объединение всех против общего врага, – составляли исключение. В большинстве случаев проповедь велась в определенно монархическом духе, со злобой и ненавистью ко всем иначе мыслящим.

Мой хороший знакомый, К.К. Ворошилов, глубоко преданный Белому движению и отдавший все силы своего ораторского дарования на дело агитации в пользу армии, говорил мне, что порой приходит в отчаяние, видя, как постепенно из пропагандистской работы вытесняются культурные и прогрессивные люди, заменяясь черносотенными демагогами. Демагогия агитаторов, конечно, направлялась в сторону наименьшего сопротивления, используя стихийно возраставший в армии и в широких слоях населения антисемитизм.

Особенно опасные формы приняла антисемитская агитация, когда она стала распространяться с церковного амвона.

В Симферополе появился известный московский священник Востоков, бежавший от большевиков на юг. Каждое воскресенье после службы он произносил горячие проповеди, призывавшие к борьбе с еврейством, закабалившим русский народ при посредстве большевиков. Речи его были сильны, талантливы и производили огромное впечатление. Народ валом валил в собор уже не на молитву, а только для того, чтобы слушать человеконенавистнические речи церковного пастыря. На третье воскресенье народ уже не вмещался в собор. Тогда Востоков вышел на паперть, откуда говорил перед огромной толпой. Толпа возбуждалась все больше и больше, в ней начались истерические взвизгивания женщин и послышались крики — "бей жидов".

Над Симферополем нависла серьезная опасность еврейского погрома.

Я экстренно поехал в Севастополь, где застал П.Б. Струве, и мы вместе с ним отправились к генералу Врангелю. Врангель обещал обуздать неистового протоиерея Востокова и сообщил нам, что уже беседовал на эту тему с главным вдохновителем церковного антисемитизма епископом Вениамином — об опасности антисемитской пропаганды в тылу армии, но, добавил он, "я ничего не могу поделать с этим Слащевым в юбке".

На следующий день он издал приказ, грозивший карами за возбуждение одной части населения против другой, а отцу Востокову было запрещено выступать со своими проповедями с паперти собора. Вероятно, Врангель еще раз сделал внушение и епископу Вениамину.*

Атмосфера после этого несколько прочистилась, опасность погрома миновала, но дух злобной реакции в субсидировавшейся

---

* Любопытно отметить, что это был тот самый епископ Вениамин, который, переменив на 180 градусов не то свои убеждения, не то свою тактику, возглавляет за границей вышедшую из подчинения митрополиту Евлогию православную церковь, признавшую советскую власть. Меткое выражение Врангеля — "Слащев в юбке" — в этом отношении оказалось пророческим.

правительством устной и печатной агитации не только не ослабевал, но все более усиливался. Этот дух развивался стихийно, как в самой армии, так и во всем окружении Врангеля, и нужно думать, что никто бы не усидел во главе управления, если бы вздумал серьезно с ним бороться. К тому же ведь и сам Врангель был выдвинут на свой пост реакционными кругами.

Кривошеин играл среди этих волн разыгравшейся реакции умеряющую роль, но невольно тоже держал руль своей внутренней политики в правом направлении. Мысли его, впрочем, были заняты не текущими делами внутренней политики, а основной перестройкой всего государственного строя на новой социальной базе, каковой должно было, по не раз высказанной им мне мысли, стать среднее и зажиточное консервативное крестьянство. Этому крестьянству, составлявшему подавляющее большинство во вновь учрежденных земельных комитетах, должны были перейти в собственность частновладельческие земли, и оно же должно было стать хозяином земских самоуправлений.

Я уже говорил о том, какие препятствия встретились на пути к восстановлению нормальных функций земских самоуправлений в Крыму. Демократические земства, давно уже утратившие свой революционный пыл, все же продолжали внушать страх и ненависть правящим кругам при Врангеле, как это было и при Деникине. И даже к исполнительным органам распущенных земских собраний, к земским управам, продолжали относиться подозрительно, несмотря на то, что состав их за два года уже значительно изменился. Служба в земствах, страдавших хроническим безденежьем, была в то время в материальном отношении очень тяжелой, и понятно, что многие из земцев покидали земскую службу и устраивались иначе. Благодаря тому, что социалисты легко находили себе хорошо оплачивавшиеся должности в кооперативных учреждениях, земские управы стали пополняться людьми беспартийными, частью из третьего элемента, частью из прежних цензовых гласных. За невозможностью производить выборы, пополнения происходили путем кооптации с последующим утверждением губернатора. На этой почве, впрочем, у нас с администрацией конфликтов не происходило. Но, повторяю, нас продолжали считать плотью от плоти "революционной демократии".

В центральных учреждениях всех ведомств, где меня всегда любезно принимали, я все-таки чувствовал подозрительное отношение к представляемому мною учреждению и стремление урезать земскую работу или дискредитировать ее руководителей. Скрытая борьба с земствами выражалась в различных формах: в попытках прекратить отпуск средств на определенные отрасли работы, чтобы отдать заведование ими в руки правительства, в назначении ревизий, в учреждении постоянного контроля за исполнением смет и т.д.

Помню, как управляющий контрольной палатой Гординский, старый и опытный чиновник весьма правых взглядов, возмущался возложенной на него обязанностью постоянного контроля за нашими расходами. Он хорошо понимал, что соблюдение сметных предложений при стремительно падавшей валюте совершенно невозможно и обещал мне смотреть сквозь пальцы на неизбежные перерасходы. Тем не менее в земские управы были назначены особые контрольные чиновники, подпись которых требовалась под расходными ордерами. Они очень мешали работе, а иногда вмешивались даже и по существу в земские дела. Добродушный Гординский помогал мне улаживать возникавшие на этой почве конфликты. Очень вероятно, что, удержись Врангель в Крыму еще несколько месяцев, многие из нас попали бы на скамью подсудимых за неправильное расходование казенных денег.

Я не стану перечислять отдельных случаев "подсиживания" земских учреждений, практиковавшегося некоторыми министрами Врангеля, в особенности Глинкой. Таких случаев было много, и много они мне испортили крови, но сейчас эти мелочи уже не представляют интереса.

До поры до времени нас все-таки терпели. Но судьба демократического земства была предрешена, так как Кривошеин поручил Глинке выработать новое положение о земских учреждениях.

Эта предполагавшаяся реформа была тесно связана с изданным уже земельным законом.

Среднее и зажиточное крестьянство, увеличившее свое землевладение после земельной реформы, должно было стать опорой государственной власти. А для этого нужно было его организовать, но организовать без участия разночинной интеллигенции, считавшейся главной виновницей всех постигших Россию несчастий, и под бдительным наблюдением начальства. Такова, насколько я понимаю, была программа Кривошеина, воплощавшаяся в проекте нового положения о земских учреждениях.

В основных чертах оно сводилось к следующему: волостное земство, упраздненное Деникиным, снова восстанавливалось, но уже не на основе всеобщего избирательного права, а на основе имущественного ценза, хотя и небольшого. При этом лица, не владевшие недвижимым имуществом, были лишены не только активного, но и пассивного избирательного права. Таким образом, вся сельская интеллигенция — учителя, врачи, фельдшеры и пр., равно как и молодое, более культурное поколение деревни (только "домохозяевам" давались избирательные права) лишались возможности участвовать в земских собраниях.

Волостным земствам формально было предоставлено весьма широкое право самоуправления и независимое от администрации положение. Но... на председателя волостной управы возлагались административные обязанности волостного старшины, в каковых

пределах он был подчинен уездному начальнику. Таким образом, фактически этот последний получал возможность оказывать давление на всю земскую работу волости.

Губернские земства по проекту упразднялись совершенно, взамен чего уездным земствам предоставлялось образовать союзы по отдельным отраслям земского хозяйства.

Таковы были в общих чертах те изменения, которые предполагалось ввести в конструкцию земского самоуправления.

В сущности, это было упразднением старого земства, земства, двигавшегося "цензовой" или "демократической" интеллигенцией, имевшего свои навыки и традиции. Создавалось новое, чисто крестьянское самоуправление с преобладающим влиянием волостных старшин, подчиненных администрации.

Два заседания, посвященные выработке нового земского положения, мне весьма памятны. Первое, для установления основных начал его, происходило под председательством Кривошеина. В его состав входили все министры и по два представителя от съезда председателей управ и от третьего земского элемента губернской земской управы.

Мы, представители местного земства, составляли сплоченное меньшинство, к которому иногда присоединялся бывший крымский земец В.С. Налбандов. Само собой разумеется, что все наши возражения против проекта, в корне изменяющего весь дух старого земства, не поколебали заранее принятого Кривошеиным решения. Прения, однако, носили довольно резкий характер. Даже всегда спокойный и выдержанный Кривошеин вносил много страстности в наши споры, а в своей заключительной речи вступил со мной в личную полемику, сказав дословно запомнившуюся мне фразу: "Не кажется ли вам знаменательным, господа, что против крестьянского волостного земства высказывается Рюрикович князь Оболенский, а за него горячо стоит худородный Кривошеин"...

В другой раз я был приглашен в комиссию, в которой рассматривался уже текст земского законопроекта. Председательствовал Г. В. Глинка, а среди членов помню министра внутренних дел Тверского, министров Н. Н. Таганцева, Н. В. Савича, В. С. Налбандова и юрисконсульта министерства внутренних дел Ненарокомова.

Тут тоже споры были горячие, но спорить против проекта приходилось мне одному, порой получая поддержку только от Налбандова, которого тоже беспокоила мысль о земстве, лишенном интеллигенции. Когда всеми голосами против моего было отвергнуто всеобщее избирательное право, мы с ним предложили параллельно с имущественным цензом ввести ценз образовательный. Когда и это не прошло, стали отстаивать для лиц с образовательным цензом хотя бы пассивное избирательное право. Все эти предложения были провалены. С другой стороны, Ненарокомов, страдавший "жидоманией", очень волновался из-за того, что в законопроекте остались

какие-то лазейки, через которые могли проникнуть в земство евреи. Его смущали допущенные к выборам "представители приходских обществ всех вероисповеданий" и "лица, имеющие торгово-промышленные заведения". Ему доказывали, что случайные евреи потонут в массе избирателей, что, наконец, большой беды не будет, если в какой-нибудь волости окажется один гласный еврей. Он долго не унимался и даже с одним евреем не мог примириться.

Закрывая заседание, Г.В. Глинка обратился к нам с такой речью: "Ну вот, господа, мы произвели скачок в неизвестность. Появятся новые земства, в которых будут заседать одни мужики, такие (он утер ладонью нос снизу вверх). А все-таки я верю, что такие (опять нос утерся ладонью) в конце концов спасут Россию".

"Знаете, Г. В., – сказал я ему с невольным раздражением, – если вы так в это верите, уступите "таким" и министерские посты"...

Во время эмиграции, в Париже, я довольно часто встречался с Г.В. Глинкой, и у нас установились добрые отношения. Вспоминали мы и о наших разногласиях в Крыму, которые на фоне происшедших за это время событий казались такими никчемными...

Прочтя мои очерки о врангелевском периоде гражданской войны в журнале "На чужой стороне", где я писал о нем то же, что и здесь, он добродушно сказал мне: "Очень у вас правдиво все изображено. Ну, и мне от вас досталось... Отчасти, пожалуй, за дело"...

Новое земское положение навсегда осталось лишь архивным документом, но тогда для меня создались весьма тяжелые условия работы в губернском земстве, приговоренном к смерти, ибо оно должно было погибнуть либо от руки большевиков, либо от руки правительства, которое я вынужден был поддерживать.

Из первого моего разговора с генералом Врангелем у меня создалось впечатление, что он решил круто изменить основные линии общей политики своего предшественника: вместо похода на Москву – укрепление южнорусской государственности, вместо борьбы со всякими "самостийниками" – попытка примирения с антибольшевистскими государственными образованиями на юге России на основе предоставления им самых широких автономных прав, наконец, вместо "борьбы до победного конца" – попытка при посредстве союзников заключить перемирие с большевиками.

11-го апреля, в интервью с сотрудниками местных газет, Врангель заявил: "Не триумфальным шествием на Москву можно освободить Россию, а созданием хотя бы на клочке русской земли такого порядка и таких условий жизни, которые потянули бы к себе все помыслы и силы стонущего под красным игом народа".

В это же время управляющий ведомством иностранных дел Струве делал еще более определенные заявления за границей о миролюбивом настроении южнорусского правительства. По отзывам

печати, эти заявления производили в союзных странах самое благоприятное впечатление и подымали престиж генерала Врангеля.

Вскоре, однако, Врангель внезапно и очень круто изменил принятый им курс внешней политики. Вскружили ли ему голову победы поляков над большевиками, поддался ли он влиянию своего военного окружения, или неудачны были его попытки переговоров с союзниками о посредничестве (ходили слухи, что англичане настаивали на капитуляции армии Врангеля, обещая при этом лишь выговорить личную неприкосновенность ее составу) – этого я не знаю. Помню только, как меня поразила резко воинственная речь, в которой он говорил о беспощадной вооруженной борьбе с "красной нечистью" с целью дать наконец России "хозяина". У меня нет под руками текста этой речи, но я помню, что в ней он самым решительным образом заявил, что отвергает всякие предложения о мирном посредничестве между ним и заклятыми врагами России – большевиками.

В Крыму мало кто знал о "новой тактике" генерала Врангеля, а потому его непримиримость никого не удивила. Сенсацией в ней было лишь упоминание о "хозяине". Правая печать с радостью подхватила это слово и выражала удовольствие по поводу того, что наконец вождь армии стал под монархическое знамя. В левой печати появились по тому же поводу тревожные статьи. В конце концов самому Врангелю пришлось вмешаться в возникшую газетную полемику и разъяснить, что под "хозяином" он разумел русский народ, который через своих подлинных представителей должен решить судьбы России. Однако для всех было очевидно, что экспансивный генерал, монархические симпатии которого были известны, просто необдуманно проговорился.

Меня лично вопрос о "хозяине" в речи Врангеля мало волновал. Гораздо серьезнее казался мне его категорический отказ от посредничества и решительный призыв к продолжению войны "до победного конца". Я понял, что "новой тактике", о которой шел у нас разговор в Ялте, пришел конец. И действительно, вскоре началось наступление армии в северной Таврии, и в Крыму уже не могло быть речи о перемирии.

Тем страннее казалось мне, что за границей Струве упорно продолжал делать заявления в прежнем духе. Так, в "Великой России" еще 22-го июля можно было прочесть о данном им иностранным журналистам интервью, в котором он выразил готовность начать с Англией переговоры о перемирии с большевиками, если не будет выдвинуто требование о предварительном отступлении Добровольческой армии за Перекоп. "Разграничение территории в пределах настоящего положения, – заявил он, – обеспечило бы южному правительству пространство, могущее жить своей жизнью и поддерживать себя экономически". К тому же времени относится и напечатанная в крымских газетах телеграмма о беседе

Струве с корреспондентом "Таймс", в которой он между прочим говорил о возможности "разграничения между советской и антибольшевистской Россией и одновременного существования двух режимов".

Так для меня и до сих пор осталось загадкой противоречие между непримиримо-воинственными речами Врангеля в Крыму и мирными заявлениями Струве за границей. Были ли миролюбивые речи Струве лишь дипломатическим прикрытием воинственной политики Врангеля, или наоборот – суть политики заключалась в заявлениях Струве, а непримиримые речи произносились Врангелем только для поддержания духа армии? Наконец, возможно, что просто Струве не удалось удержать слишком экспансивного Врангеля от недостаточно обдуманных выступлений. Как бы то ни было, но с конца июля и Струве во время своих заграничных поездок перестал упоминать о возможности каких-либо мирных соглашений с большевиками.

Гражданская война продолжалась, но уже без всяких политических перспектив. На взятие Москвы, конечно, уже более не рассчитывали, а пытались лишь держать военный фронт и биться с большевиками до тех пор, пока они сами как-то разложатся и рухнут.

Итак, из предположения создать конкурирующее с советским южнорусское государство, заключив перемирие с большевиками, ничего не вышло. Что касается изменения курса политики в отношении других южнорусских государственных образований – казачьих областей и Украины, то все шаги, предпринятые Врангелем в этом направлении, уже не имели реального значения по той простой причине, что как казачьи области, так и Украина в это время находились под властью большевиков.

Это обстоятельство не помешало Врангелю заключить с эвакуированными в Севастополь казачьими атаманами договор, в котором он торжественно обещал не нарушать автономных прав казачьих областей. По этому случаю я был приглашен на торжественный банкет с пышными речами, на котором присутствовали и представители союзнических военных миссий. Дружелюбные переговоры вел Врангель и с бежавшими от большевиков украинскими общественными деятелями, едва ли кем-либо уполномоченными для таких переговоров.

Довольно значительную реальную силу представляла вольница батьки Махно, ведшая в это время партизанскую войну с Красной армией. Врангель сделал попытку заключить союз и с Махно, послав к нему парламентеров.

Один из махновцев, Аршинов, в изданных им в Берлине мемуарах утверждает, что Махно решительно отказался вести переговоры с Врангелем и расстрелял приехавшего к нему врангелевского парламентера. Однако, я хорошо помню рассказ самого Врангеля

о том, как он получил от Махно записку такого содержания: "Большевики убили моего брата. Иду им мстить. Уже когда отомщу, приду к вам на подмогу".

Вероятно, махновский мемуарист рассказал правду о расстреле врангелевского парламентера. В таком случае нужно думать, что Врангель стал жертвой какой-либо мистификации или военной хитрости со стороны Махно. Но возможно, что Махно некоторое время колебался в выборе союзника и действительно обещал Врангелю поддержку, а затем помирился с большевиками и опять открыл военные действия против Врангеля. Во всяком случае Врангель настолько поверил, что имеет в Махно союзника, что велел выпустить из тюрем сидевших там махновцев во главе с атаманом Володиным, которому было даже поручено сформировать вооруженный отряд.

Володин нарядился в фантастический костюм, вроде запорожского, и завербовал в свой отряд отчаянных головорезов и уголовных преступников. Один знакомый татарин рассказывал мне с ужасом, что видел в отряде Володина, маршировавшем по улицам Симферополя, человека, который убил и ограбил его родных и отбывал за это наказание в тюрьме.

А командующий войсками тылового района и Керченского полуострова генерал Стогов напечатал в это время в крымских газетах воззвание к дезертирам, начинавшееся так: "Дезертиры, скрывающиеся в горах и лесах Крыма! Кто из вас не запятнал себя из корысти братской кровью – вернитесь!"... Призыв этот заканчивался патетически: "Так скорее же в ряды русской народной армии! С нею заодно и неутомимый Махно, и украинские атаманы. Мы ждем вас, чтобы плечо к плечу биться за поруганную Мать-Родину, за оскверненные храмы Божии, за распятую Русь!"...

Не знаю, много ли дезертиров вняло этому призыву, но атаман Володин повел свой отряд в Мелитопольский уезд, где воевал с его мирными жителями, грабил и насильничал. В конце концов он был повешен военными властями за целый ряд преступлений.

Так неудачно закончилась "новая тактика" генерала Врангеля во внешней политике, а в частности его "союз" с батькой Махно.

Не удалось ему наладить жизнь и внутри подвластной ему территории.

Когда, после эвакуации Новороссийска, маленький Крым стал единственной территорией южнорусского государства, фронт и тыл почти слились между собой и их взаимное влияние выразилось в постоянном соприкосновении жестокости фронта и разврата тыла.

Однажды утром дети, шедшие в школы и гимназии, увидели висевших на фонарях Симферополя мертвецов... Этого Симферополь еще не видывал за все время гражданской войны. Даже большевики творили свои кровавые дела без такого афиширования.

Оказалось, что генерал Кутепов распорядился таким способом терроризировать симферопольских большевиков.

Симферополь заволновался. Городская Дума вынесла резолюцию протеста, и городской голова Усов поехал к Кутепову настаивать на том, чтобы трупы повешенных немедленно были сняты с фонарей. Кутепов принял его очень недружелюбно, но ввиду того, что Дума послала свой протест и генералу Врангелю, мертвецы, целые сутки своим страшным видом агитировавшие против Добровольческой армии и ее вождей, были убраны.

С тыловыми нравами на фронте генерал Врангель повел решительную борьбу, и в первое время довольно успешно. Совершенно развратившаяся во время отступления от Орла к Новороссийску армия в короткий промежуток времени была дисциплинирована. Жалобы на грабежи и насилия, которые мне так часто приходилось слышать от населения прифронтовой полосы, почти прекратились. В нравах боевой части армии произошел какой-то чудесный перелом, который отразился и на переломе ее настроения. Возродилась вера в вождя и в возможность победы. У нас на глазах совершилось чудо, и престиж Врангеля не только среди войск, но и среди населения, возрастал не по дням, а по часам.

Почему же произошло это чудо? Почему армия под управлением Деникина разложилась, а Врангель сумел ее дисциплинировать? Одно случайное обстоятельство, конечно, облегчало дело Врангеля: я имею в виду вспыхнувшую между Советской Россией и Польшей войну, благодаря которой значительно уменьшилось давление Красной армии на Белую. Думаю все-таки, что не в этом можно видеть главную причину совершившегося "чуда". Одной из главных причин, как мне представляется, была земельная политика Врангеля.

Мало кто знал подробности земельного закона Врангеля, но еще до его издания в армии стало известно, что "Врангель решил дать землю крестьянам", тогда как Деникин ее "отнимал". Благодаря этому в армии создалось может быть даже преувеличенное представление о популярности Врангеля в народе. Армия перестала быть врагом населения, а становилась его защитником. И это давало ей новую бодрость и веру в свои силы, а Врангелю — подлинную диктаторскую над нею власть.

Деникин, опиравшийся только на штыки, вынужденно мирился со все возраставшими в армии грабежами и должен был смотреть сквозь пальцы на деяния своих знаменитых генералов — Шкуро, Покровского, Май-Маевского и др. Врангель же мог себе позволить роскошь решительной и жестокой расправы с военной анархией. Даже насилия контрразведок при Врангеле происходили реже, а в тех случаях, когда такие деяния обнаруживались, виновники подвергались суровым наказаниям. Так, например, начальник контрразведки корпуса генерала Слащева был повешен за истяза-

ния и вымогательства. Такие эпизоды, как убийство офицерами Гужона, при Врангеле уже не могли происходить.

Я этим не хочу сказать, что в области репрессий по отношению к населению при Врангеле все стало благополучно. Хотя террор стал менее случайным, он все же оставался чрезмерным. По-прежнему производились массовые аресты не только виновных, но и невиновных, по-прежнему над виновными и невиновными совершало расправу упрощенное военное правосудие...

Один эпизод со смертной казнью я хорошо помню.

Как-то ко мне пришла депутация от симферопольских татар с просьбой вступиться за трех их одноплеменников, приговоренных к смертной казни за принадлежность к большевистской организации. В числе приговоренных был молодой и талантливый татарский поэт. Мне сообщили, что городской голова уже выехал в Севастополь ходатайствовать перед Врангелем о помиловании осужденных и что необходимо поэтому добиться лишь отсрочки смертной казни, назначенной на сегодня в 9 часов вечера.

Я посмотрел на часы. Было шесть часов... Мы сели на извозчика и поехали разыскивать председателя военно-полевого суда, но его не оказалось дома. В семь часов мы снова были у него.

Большой, неуклюжий, широкоскулый и широкобородый полковник внимательно нас выслушал и сказал, что охотно исполнил бы нашу просьбу, если бы это от него зависело. К сожалению, приговор утвержден генералом Кутеповым и только он может отсрочить приведение его в исполнение. Поэтому с нашим ходатайством нам надлежит обратиться к генералу Кутепову.

Мы спешно поехали на телеграф, но там от нас потребовали предъявить разрешение начальника гарнизона. В половине восьмого мы получили разрешение на разговор по прямому проводу от начальника гарнизона генерала Кусенского и в восемь снова проникли на телеграф.

Телеграфист выстукивает Джанкой и просит к аппарату генерала Кутепова. Ответ: "Генерал Кутепов занят. Как только освободится, подойдет"... Мы садимся и ждем... Против меня висят стенные часы и мерно тикают. Я смотрю на них, вижу, как каждую минуту стрелка перескакивает и двигается вперед. И с каждым движением стрелки я чувствую какой-то жуткий холодок, подбирающийся к сердцу.

Стрелка показывает половину девятого. Мы не смотрим друг на друга, не разговариваем. Молчат потупившись и телеграфисты, знающие, о чем я буду говорить с Кутеповым... Мысленно представляю себе камеру симферопольской тюрьмы, в которой и я когда-то сидел, слышу шаги по коридору, стук в дверь... Пришли...

Стрелка часов показывает без пяти минут девять... Вот вывели трех неизвестных мне молодых людей на мощеный двор... Знают ли они, что я здесь стою у прямого провода, надеются ли еще жить,

или?.. Часы хрипят и готовятся бить девять... Вдруг застучал аппарат: "У аппарата генерал Кутепов". Я начинаю словами: "Может быть уже слишком поздно, но все-таки"... и, изложив дело, прошу отсрочить исполнение приговора на один день.

Телеграфист, как и я, торопится скорее отстукать мои слова... Пауза... Опять стучит аппарат, стучит долго, и тянется длинная лента, которую подхватывает телеграфист, считывая мне слово за словом... Но что это были за слова!.. Генерал Кутепов затеял со мной какую-то полемику. Рассказал мне, как однажды городской голова жаловался ему на бесчинства офицеров и настаивал на самых суровых мерах, до смертной казни включительно. Так относятся общественные деятели к офицерству. А когда приговаривают к смерти большевиков, то они просят о помиловании... И все в таком роде. Отведя душу в полемике, Кутепов закончил свою речь словами: "Приговора не отменяю".

На следующий день Кутепов, очевидно, весьма довольный своей язвительной полемикой, разослал в редакции газет текст нашего разговора по прямому проводу и распорядился его опубликовать. А еще через день Врангель вызвал меня телеграммой в Севастополь.

Против обыкновения, он принял меня более чем сухо и стал, не называя меня, говорить в повышенном тоне о крымских общественных деятелях, которые, вместо того, чтобы поддерживать армию, защищающую Крым, всячески стараются ее дискредитировать. "Имейте в виду, — закончил он свою речь, — что я дальше терпеть этого не намерен и не остановлюсь перед самыми суровыми мерами".

— Прежде чем говорить с вами по существу, — ответил я, — я бы хотел знать, что дает вам повод говорить со мной в таком тоне?

— Как что? А ваш разговор с Кутеповым.

— Я все-таки вас не понимаю. Да, я говорил с Кутеповым по прямому проводу, прося отсрочить смертную казнь на один день. Что же, вы в этой просьбе видите дискредитирование армии? Или вы вообще считаете недопустимым, чтобы кто бы то ни было возбуждал ходатайство о даровании жизни, хотя бы даже преступникам?

— Совсем дело не в ходатайстве, — с раздражением сказал Врангель, — а в том, что вы предали гласности ваш разговор с Кутеповым.

— В этом-то и заключается основное недоразумение между нами. Беседа моя с генералом Кутеповым оглашена не мною, а опубликована по его распоряжению.

Этого Врангель совершенно не ожидал. Оказалось, что "дискредитировал армию" не я, а генерал Кутепов.

Обладая хорошим свойством не бояться признания своих ошибок, он извинился передо мной в том, что был неправильно информирован, и быстро переменил тон с начальствующего на дружеский.

Настала моя очередь перейти в наступление, и я стал доказывать Врангелю, что он совершенно не понимает, что такое "общественность", о которой так часто говорит, и в чем может заключаться ее поддержка.

– Вы должны же понять, что общественность, лишенная свободы суждений, общественность, раболепствующая перед властью, теряет свою главную сущность, и если вы искренне желаете получить поддержку от местной общественности, то должны быть заранее готовы в отдельных случаях выслушивать критику ваших действий.

Разговор наш принял обычный характер. Врангель, как всегда, вскакивал, ходил по комнате, прерывал меня, спорил, но в его тоне уже не осталось той заносчивости, с которой он меня встретил. Расстались мы вполне дружелюбно.

"Диктатура, опирающаяся на общественность", "сильная власть в дружной работе с широкими кругами местного общества"!.. – об этом много говорилось во времена Деникина и во времена Врангеля. Но осуществить этих лозунгов ни тому, ни другому не удалось. Да едва ли они и осуществимы для военных диктаторов.

Но вот другая задача, как будто значительно более легкая для диктатора, только что сумевшего дисциплинировать фронт: бороться с злоупотреблениями тыла, с дезертирством с фронта офицеров, стремящихся устроиться в штабных, интендантских и других тыловых учреждениях, бороться с воровством, взяточничеством и спекуляциями этих тыловиков. Увы, с этой задачей Врангель не справился.

Вначале, со свойственной ему энергией, настойчивостью и властностью, он произвел большую чистку своих тыловых учреждений, но вскоре обнаружилось, что он делает поистине Сизифову работу. Тыловые офицеры, согнанные со своих насиженных мест, ехали на фронт, но скоро по протекции снова получали тыловые назначения. Одни тыловые учреждения расформировывались, но на их месте возникали новые. Образовывалось невероятное количество разных комиссий, в которых находили приют многочисленные полковники (почему-то этот чин был наиболее распространенным в тыловых учреждениях), которые, получая присвоенное им содержание легальным путем и ряд "безгрешных доходов" путями нелегальными, старались возможно дольше отсиживаться в безопасном месте. Мне передавали, что к моменту эвакуации на фронте было 35 000 солдат и офицеров, а в тылу находилось 160 000. Уже за границей один из боевых офицеров Корниловской дивизии рассказывал мне, что эта дивизия прибыла в Севастополь всего в составе 400 человек, а когда их погрузили на пароход для эвакуации, то их оказалось более 3 000.

Эти цифры мне всегда вспоминались, когда в первое время нашей эмиграции мне приходилось слышать утверждения, что

врангелевская армия сохранила свою боеспособность даже в изгнании.

Незадолго до эвакуации в Севастополе происходило совещание торгово-промышленных и финансовых деятелей, из которых многие были вызваны из-за границы. На этом совещании, на котором и мне пришлось присутствовать, видный инженер Кригер-Войновский сделал доклад о состоянии железнодорожного транспорта в Крыму на основании только что произведенного им обследования. В своем докладе, констатируя весьма печальное состояние транспорта, он между прочим указывал, что, несмотря на ничтожную длину рельсовой сети, обнаруживается большой недостаток в подвижном составе, ибо количество вагонов, обслуживающих тыловые учреждения армии, не меньше того количества, которое обслуживало тыловые учреждения всего русско-германского фронта во время войны.

И так было во всем. Отношение между тылом и фронтом было такое, какое бывает между предметами, на которые смотришь в бинокль с узкого и широкого концов.

Эта диспропорция тыла и безнадежная его развращенность особенно бросались в глаза в сутолоке севастопольских улиц, в шуме его ресторанов, в кричащих нарядах веселящихся дам и т.д.

Если в военной организации и в военных успехах Добровольческой армии за все время ее существования бывали колебания в ту или иную сторону, если во внутренней политике южнорусской власти происходили перемены к лучшему и к худшему, то в области тылового быта и тыловых нравов мы все время эволюционировали в одну сторону, в сторону усиления всякого рода бесчестной спекуляции, взяточничества и казнокрадства. Смена вождей и руководителей военных действий и гражданской политики нисколько на этом не отражалась. И если при Врангеле тыловой разврат был еще значительнее, чем при Деникине, то лишь потому, что Врангель был позже.

Причины растущего развращения нравов были многообразны. Пагубно влиял на нравы и режим произвола и насилия, присущий всякой гражданской войне, и замена лучших людей Белого движения, погибавших на фронте, худшими, и все больше развивавшаяся с ухудшением военного положения психология — "хоть день, да мой".

Но все эти причины покрывались одним объективным фактором — головокружительным падением бумажных денег и растущей изо дня в день дороговизной. Перегоняя дороговизну жизни, росли доходы купцов и ремесленников, повышавших цены на свои товары, более или менее в уровень с дороговизной подымались заработки рабочих, державших предпринимателей и правительство под постоянным страхом забастовок. Что касается жалованья офицеров, чиновников и служащих общественных учреждений, то

оно из месяца в месяц все больше отставало от неимоверно возраставшей стоимости предметов первой необходимости.

Оклад, который я получал по должности председателя губернской земской управы, был одним из высших окладов в Крыму. Даже врангелевские министры получали меньше. Но он все же был в два раза меньше заработка наборщика земской типографии, находившейся в моем заведовании. Моей семье, жившей на мое "огромное" жалованье, приходилось отказывать себе в самых основных потребностях жизни сколько-нибудь культурных людей: занимали мы маленькую квартирку на заднем дворе, о прислуге, конечно, не мечтали, вместо чая пили настой из собранных моими детьми горных трав, сахара и коровьего масла совсем не употребляли, мясо ели не чаще раза в неделю. Словом, жили так, чтобы только не голодать. Одежда и обувь изнашивались, и подновлять их не было никакой возможности, ибо стоимость пары ботинок почти равнялась месячному окладу моего содержания.

Так жили люди не воровавшие, не бравшие взяток, но получавшие высокие оклады. А как же жилось тем, кто получал в два, три и четыре раза меньше меня! Оставшиеся честными в буквальном смысле слова голодали. Но голод не поощряет человека держаться на стезе добродетели, и многие, кто когда-то был честным, начинали в лучшем случае заниматься сомнительной спекуляцией, а в худшем – воровать и брать взятки.

Если в Германии, стране традиционной честности, недостаток продуктов во время войны и падение валюты в послевоенное время произвели столь бросавшуюся всем иностранцам в глаза коррупцию нравов, то не приходится удивляться тому, что в России, где честность никогда не была национальной добродетелью, в тылу красных и белых войск периода гражданской войны бесчестность стала бытовым явлением.

Иногда приходилось наблюдать установление даже трогательных по своей примитивности обычаев гоголевских времен.

Однажды за мной заехал на земских лошадях председатель евпаторийской земской управы с тем, чтобы вместе ехать в Севастополь. Садясь в его экипаж, я заметил, что весь передок был плотно уложен какими-то мешками, кульками, кадушками и пр.

– Что это вы, торговать едете в Севастополь? – спросил я своего спутника.

– Нет, это чтобы мое ходатайство о кредитах для земства глаже прошло, – был ответ.

Тут я только понял, почему евпаторийское земство легче получало кредиты, чем другие. Ведь высшие чиновники, от которых эти кредиты зависели, не могли, так же, как и я, покупать на свое жалованье масла, яиц, а тем более – уток или кур для своих трапез. И вдруг такая благодать! Ну, как не похлопотать о кредитах!..

Самое крупное взяточничество процветало в управлении торговли и промышленности, в особенности после того, как руководитель этого ведомства В.С. Налбандов провел в правительстве при поддержке Кривошеина закон о монополии заграничного экспорта. Согласно этому закону, весь крымский экспорт регламентировался и ни один пуд хлеба не мог быть вывезен за границу без специального разрешения, связанного со взносом в казну известного количества иностранной валюты и с обязательством обратного ввоза в Крым товаров, необходимых для армии и населения. Закон имел целью, во-первых, поддерживать курс рубля сосредоточением в руках правительства иностранной валюты, а во-вторых – бороться с развившимся за последнее время явлением, когда экспортеры уезжали за границу и либо исчезали там вместе с вырученной валютой, либо возвращали в Крым, нуждавшийся в самом необходимом, предметы роскоши и т. п.

Однако введенная монополия, не дав ожидавшихся от нее благ, породила целое море злоупотреблений. Экспортные свидетельства добывались при помощи крупных взяток, и ничем не брезгавшие темные спекулянты на этом конкурсе бесчестности систематически одерживали верх над старыми солидными торговцами.

Если в гражданском ведомстве в центре злоупотреблений стояло ведомство торговли и промышленности, то в военном такое же положение занимали все учреждения, ведавшие реквизициями и поставками на армию. Эти учреждения и при старом режиме были известны своими злоупотреблениями, но то, что происходило в них во время гражданской войны в условиях усилившегося произвола и сократившегося контроля, было, конечно, неизмеримо хуже. И теперь в эмиграции живет немало бывших тыловых военных, руководившихся тогда принципом – "хоть день, да мой". Не день, а долгие годы в изгнании они живут за счет злоупотреблений, беззастенчиво совершавшихся ими во время гражданской войны. Впрочем, многие из них жили тогда так широко, что ничего не вывезли...

В этой атмосфере всеобщей коррупции земские и городские учреждения составляли отрадное исключение. Конечно, и в нашем общественном хозяйстве не обходилось без изъянов. Так, воровство низшего персонала больниц достигало невиданных прежде размеров. Невозможно было уследить за складами дров, белья и пр., таскали по мелочам, в "розницу", происходили и "оптовые" кражи со взломом. Но на верхах земского и городского хозяйства злоупотреблений почти не было.

Путем долгого отбора в дореволюционные времена земские и городские учреждения заполнялись "третьим элементом", поступавшим на общественную службу большей частью по мотивам идейного характера. Из этого "третьего элемента" революция выдвинула целый ряд более или менее ярких людей, по преимуществу деятелей

социалистических партий, до большевиков включительно. Но в массе своей работники земских и городских учреждений остались на своих местах. Отдав долг увлечению революцией в ее первом периоде, они продолжали свою культурную работу, не отходя от нее, ни под гнетом большевистской власти, ни под меняющимися режимами гражданской войны.

Земские и городские учреждения разрушались от хронического недостатка средств, но дух морального разложения не проник в среду их главных работников. В подавляющем большинстве, терпя большие материальные лишения, они честно исполняли свой долг...

Примерно за месяц до эвакуации Крыма Красная армия повела в северной Таврии энергичное наступление на войска генерала Врангеля и принудила их к отступлению на Крымский полуостров. Отступление по своей спешности носило все признаки катастрофы и сопровождалось большими потерями в людях, запасах и снаряжении.

Крымские обыватели встревожились. Люди более состоятельные уезжали за границу, остальные уныло ожидали развертывания дальнейших событий.

Как раз когда последние эшелоны врангелевских войск переходили через Перекопский перешеек и через Сивашский мост, в Севастополе собралось давно уже намечавшееся совещание торгово-промышленных и финансовых деятелей, как местных, так и прибывших из Парижа, Лондона и Константинополя. Среди них настроение тоже было тревожное.

Казалось, что совещание утрачивало всякий смысл. Никому не было охоты разговаривать о ненужных уже финансовых и экономических реформах, и каждый про себя думал лишь о том, как бы поспеть уехать до прихода большевиков.

Но на открытии съезда появился генерал Врангель и произнес успокоительную речь. В ней он не скрыл от нас тяжесть понесенных армией при отступлении потерь, но заявил, что отступление было неизбежно по стратегическим соображениям, так как нельзя было держать столь растянутую линию фронта против значительно более многочисленного противника. Но теперь, когда оно совершилось, Крыму уже не угрожает непосредственная опасность, ибо подступы к Крыму настолько укреплены, что взятие их было бы не под силу даже лучшим европейским войскам, а для Красной армии они совершенно неприступны.

На всех, слушавших эту речь, сказанную искренним и серьезным тоном, без всякого военного бахвальства, она произвела весьма успокаивающее впечатление. Торгово-промышленники занялись обсуждением очередных реформ, а встревоженные жители, среди которых распространилась весть о твердой речи генерала Врангеля, стали спокойно заниматься своими делами...

За четыре дня до подписания Врангелем указа об эвакуации, 24 октября старого стиля, в газетах появилась беседа с генералом

Слащевым, который, подобно Врангелю, заявил: "Укрепления Сиваша и Перекопа настолько прочны, что у красного командования ни живой силы, ни технических средств для преодоления не хватит. По вполне понятным причинам я не могу сообщить, что сделано за этот год по укреплению Крыма, но если в прошлом году горсть удерживала крымские позиции, то теперь, при наличии громадной армии, войска всей красной Совдепии не страшны Крыму. Замерзание Сиваша, которого, как я слышал, боится население, ни с какой стороны не может мешать обороне Крыма и лишь в крайнем случае вызовет увеличение численности войск за счет резервов. Но последние, как я уже говорил, настолько велики у нас, что армия сможет спокойно отдохнуть за зиму и набраться новых сил".

В этот же день, 24 октября вечером, я был у генерала Врангеля. Беседа наша коснулась, конечно, обороны Крыма. Я высказывал ему свои пессимистические соображения по этому поводу.

– Пусть Крым, как вы утверждаете, неприступен, – говорил я, – но выдержит ли армия длительную зимнюю его осаду? Ведь в северной Таврии погибли запасы провианта, а Крым прокормить своими запасами двухсоттысячную армию не сможет. Бездействующая армия, главная часть которой будет находиться в резерве, вообще с трудом может быть удержана от разложения, а ваша армия, уже пережившая раз дезорганизацию при эвакуации Новороссийска, да еще недостаточно снабженная продовольствием, опять перейдет к грабежам и насилиям. Все это, признаться, не настраивает меня на бодрые мысли, и я боюсь, как бы вам до весны не пришлось уступить Крым большевикам.

– Да, – ответил мне Врангель, – до сегодняшнего дня я тоже опасался, что армия может погибнуть не от отсутствия дисциплины, которая в ней прочно установилась, а от отсутствия продовольствия. Но вот только что я получил донесение от Шатилова, что, по произведенным им подсчетам, хлебных запасов, ввезенных в Крым отдельными частями войск, хватит по меньшей мере до марта месяца. При таких условиях защита Крыма до весны вполне обеспечена.

В это время в комнату вошел Кривошеин, мрачный и насупленный. Врангель сейчас же поделился с ним сообщенной мне только что новостью о хлебных запасах.

– Ну, слава Богу, слава Богу, – облегченно вздохнул Кривошеин, которого, видимо, это известие очень успокоило...

Этот разговор припомнился мне, когда я прочел в газетах сделанное Врангелем в Константинополе заявление, будто он никогда не рассчитывал на победу и на удержание Крыма и что вся цель его стратегии состояла в том, чтобы провести безболезненно эвакуацию армии из Крыма. И невольно возникал вопрос: когда же Врангель говорил правду, в Крыму или в Константинополе?

О том, что Врангель заранее на всякий случай подготовлял эвакуацию, мне было известно. Об этом он говорил мне еще весной

1920 года. Но столь же верно и то, что крымская катастрофа произошла для него неожиданно. Для меня не подлежит сомнению, что как Врангель, так и его генералы до самого последнего момента были действительно уверены, что Крым неприступен.

В самом деле, если можно допустить, что Врангель произнес свою речь на финансово-промышленном съезде лишь для прекращения начавшейся паники, то не мог же он играть комедию, когда в частной беседе сообщил Кривошеину, что Крым во всяком случае продержится до весны, и конечно, Кривошеин не притворно радовался этому сообщению.

До сих пор для меня остается загадкой поразительная неосведомленность командного состава армии о положении обороны Крыма. Ведь Красная армия легко и быстро обошла перекопские и сивашские "неприступные" укрепления, с которых были направлены в северные степи жерла дальнобойных морских орудий, и перешла вброд через Сиваш почти на том же месте, на котором перешла его по льду весной 1919 года. Неужели же за полтора года не могли укрепить берега Сиваша? На этот естественный вопрос профана я не мог получить удовлетворительного ответа от специалистов.

Теперь, бросая ретроспективный взгляд на проистекшие события, совершенно ясно, что Крым должен был в конце концов пасть, но это не снимает ответственности с командования за внезапную катастрофу в тот момент, когда оно считало Крым "неприступной крепостью". Эта внезапность падения Крыма стоила жизни не одной тысяче его жителей...

На следующий день после описанной мной беседы с Врангелем я вернулся в Симферополь, где на 26 октября был назначен съезд представителей городских самоуправлений Крыма. Съезд этот должен был оказать моральную поддержку генералу Врангелю, обратившись к иностранным государствам с заявлением, что в происходящей на юге России борьбе демократические самоуправления всецело стоят на его стороне и выражают надежду, что демократические государства Европы помогут Врангелю в защите последнего клочка русской земли от большевистской тирании.

Со мной вместе отправились на съезд представитель Союза городов кн. Петр Д. Долгоруков и только что прибывший из Парижа В.Л. Бурцев. Бурцева Врангель пригласил побывать вместе с ним на фронте, и по дороге он решил заехать на симферопольский съезд.

Съезд, хотя в очень небольшом составе, собрался в назначенный день 26 октября. Обсудив ряд хозяйственных вопросов, он 28-го октября выработал обращение к иностранным государствам и закончил свои занятия.

Утром 28-го октября ко мне явился ординарец Врангеля и просил срочно передать Бурцеву, что главнокомандующий уже проехал на фронт и просит его немедленно за ним последовать

в предоставленном в его распоряжение вагоне с паровозом. Бурцев сейчас же собрался и уехал, оставив свои вещи в Симферополе, куда собирался заехать на возвратном пути.

Во второй половине дня в Симферополе стали распространяться слухи о начавшейся в Севастополе эвакуации. Передавали, что поезд Врангеля, ездившего на фронт, уже проехал обратно, что министр торговли Налбандов срочно вызвал из Симферополя свою семью и т. д.

Ко мне приходили разные люди за сведениями, а я всех успокаивал, уверяя, что на фронте наверное все благополучно, ибо не мог же Врангель повезти Бурцева на фронт во время отступления армии. Я не подозревал, что Бурцев ехал в это время не на фронт, а в Севастополь, недоумевая, почему его везут в обратном направлении...

В Севастополе действительно началась эвакуация, в Симферополе же ничего не было точно известно. Ходили противоречивые слухи, то тревожные, то успокоительные. Что касается меня, то я продолжал скептически относиться к тревожным слухам, имея в своем распоряжении такой успокаивающий факт, как поездка Бурцева на фронт. К вечеру, однако, я сам стал сомневаться в своем оптимизме и отправился к губернатору за более точными сведениями.

Губернатора я не застал дома, и мне предложили подождать его возвращения в его кабинете. В зале, через который я проходил, заседала межведомственная комиссия под председательством управляющего казенной палатой А.П. Барта, обсуждая вопрос о снабжении Симферополя мукой.

"Ну вот, – подумал я, – разве они заседали бы и обсуждали так спокойно вопрос о продовольствии, если бы..."

С такой мыслью я отворил дверь в следующую проходную комнату, отделявшую зал заседаний от губернаторского кабинета. Там за столом сидел начальник канцелярии губернатора и заполнял лежавшие перед ним стопочкой заграничные паспорта. Перед столом, тихо перешептываясь между собой, стояло несколько судейских с прокурором во главе. Они поочередно брали паспорта и уходили.

– И вы за паспортом? – спросил меня начальник канцелярии.

– Нет, я только зашел узнать о положении дела.

– Вот видите какое положение: выдаем паспорта, а завтра в 11 часов утра отходит в Севастополь последний поезд с чинами гражданского ведомства, желающими эвакуироваться. Если желаете, я вам тотчас выдам паспорт, а затем получите пропуск.

Я уже давно для себя решил остаться в России в случае падения Крыма и, отказавшись от любезно предложенного мне паспорта, отправился домой.

Глава 34

ЭВАКУАЦИЯ

Последняя ночь в Симферополе. Ночные скитания по городу. К.К. Ворошилов и его странная судьба. На семейном совете решено, что я должен ехать за границу с двумя сыновьями и дочерью. Последнее свидание с А.П. Бартом и А. Я. Хаджи. На вокзале. В поезде. Пешее путешествие через тоннели. Мы опоздали. Французский офицер Пешков устраивает нас на броненосце "Вальдек Руссо". Отъезд из Симферополя. В море перед Ялтой и Феодосией. Я становлюсь эмигрантом.

Вечерний Симферополь имел обычный вид. Никаких признаков надвинувшейся беды. Очевидно, население, загипнотизированное уверениями о неприступности Крыма, не придавало особого значения тревожным слухам, к которым за последние годы уже успело привыкнуть. Они ведь так часто возникали и рассеивались... А кроме того, жизнь стала настолько невыносимой, что даже от людей весьма правых политических взглядов мне приходилось слышать фразу: "Ну и пусть придут большевики, все равно хуже не будет".

В этот вечер ярко освещенные кафе были, как всегда, заполнены военными и штатскими спекулянтами, выдыхая через отворявшиеся двери на морозную улицу веселые звуки оркестров и облака табачного дыма...

Поздно вечером мне дали знать, что началась эвакуация Симферополя и что Красная армия приближается к городу. Из осторожности я решил не ночевать дома и простился с семьей с тем, чтобы рано утром отправиться пешком на южный берег и там как-нибудь укрыться от преследования большевиков до более спокойного времени.

В несколько часов Симферополь преобразился: по улицам громыхали обозы. Дома, в которых жили офицеры, были освещены. Из подъездов и ворот выносили всякую кладь и грузили на подводы. В движениях и голосах военных, распоряжавшихся около подвод, чувствовалась столь заразительная в таких случаях тревога.

Я добрался до своего ночлега, но спать не пришлось, так как нужно было срочно предупредить нескольких знакомых, которым

в случае прихода большевиков грозила особая опасность. Одного из них, К.К. Ворошилова, я застал в постели с сорокаградусной температурой. Уезжать ему было невозможно. Решили поэтому рано утром перевезти его в больницу и зарегистрировать там под чужой фамилией.

О присяжном поверенном Ворошилове мне уже приходилось упоминать выше. Бывший социал-демократ, он во время войны вступил в организованную Плехановым партию "Единство", а во время гражданской войны бросил адвокатуру и, став пропагандистом "Освага", целиком отдался делу антибольшевистской пропаганды среди солдат Белой армии. Конечно, если бы большевики его обнаружили, он был бы одной из их первых жертв.

Как мне впоследствии удалось узнать, этого не случилось. Он благополучно скрывался в больнице, а когда поправился, был ночью перевезен в подвал своего дома, где и поселился. Чекисты его разыскивали, несколько раз производили обыск в его доме, водили на допросы его жену. В конце концов поверили ее уверениям, что он уехал за границу. Целый год Ворошилов скрывался в подвале, а когда в Симферополе закончился период острого террора, то загримированным отправился на вокзал и уехал в свой родной город Казань.

В те времена Чека была еще плохо организована, а потому деятельность Ворошилова в Крыму была казанским чекистам неизвестна. Это обстоятельство дало ему возможность проживать в Казани легально, под собственной фамилией. Между тем казанским большевикам он был известен в качестве активного члена с.-д. партии во времена революции 1905 года, когда он был студентом казанского университета. Его поэтому приняли с почетом и поднесли ему звание "героя революции 1905 года", давшее ему возможность получить хороший заработок и всякие продовольственные льготы.

Удивительные узоры рисует судьба на человеческой жизни!

Лет пять "герой революции" Ворошилов благополучно прожил в Казани и умер там естественной смертью. Нужно думать, что, проживи он еще два-три года, всеведущее ГПУ обнаружило бы его контрреволюционную деятельность и смерть его не была бы естественной...

Но возвращаюсь к своему повествованию.

В шестом часу утра, предупредив всех, кого мог, я в последний раз зашел в земскую управу и провел в ней около часа за уничтожением бумаг, могущих скомпрометировать тех или других лиц, а в том числе и меня самого. Все это я проделывал в полной уверенности, что остаюсь в Крыму. Для меня было совершенно ясно, что с занятием Крыма большевиками гражданская война прекратится и что несколько лет большевики будут править Россией (тогда не приходило в голову, что их власть может затянуться на десятки

лет). В возможность участвовать в борьбе с ними из-за границы я не верил, а оставаясь в России, все же надеялся, выждав некоторое время, снова вложиться в какое-нибудь общественное дело. Конечно, оставаться мне в России было рискованно, но за последние годы мы так привыкли к риску, что это обстоятельство меня не смущало. Наоборот, казалось унизительным бежать за границу, спасая собственную шкуру, когда только в России представлял себе возможность продолжения какой-либо общественной работы и борьбы.

Моему давно принятому решению остаться в России много способствовало и мое семейное положение: ехать с такой огромной семьей за границу было немыслимо, а оставлять часть семьи во власти большевиков было неуютно. Все эти мысли и чувства были давно мною выношены и переварены, а моя жена, с которой я советовался, вполне их разделяла. Намечен был заранее и план моего исчезновения из Симферополя. Я предполагал пройти 10 верст пешком до деревни, где жила с мужем бывшая нянюшка моих детей, оттуда на ее лошадях добраться до южного берега и, в зависимости от обстоятельств, укрыться либо в имении моего тестя, как я уже делал два раза, либо спрятаться в татарской деревне у своих друзей-татар.

Поэтому я так решительно отказался от заграничного паспорта, который мне предлагали губернские чиновники, поэтому уничтожал следы своих "контрреволюционных преступлений", роясь в ящиках своего управского стола.

И вдруг в какой-нибудь час времени все переменилось в моей судьбе. Случилось это так: задержавшись в управе до восьми часов утра, я решил, что могу еще себе позволить роскошь повидать своих и проститься с ними окончательно перед уходом из Симферополя.

По дороге домой я встретил двух своих друзей, которых ночью будил, — товарища председателя симферопольской городской Думы П.С. Бобровского и товарища городского головы Н.С. Арбузова. Я видел, как изменились их лица, когда я сказал им, что решил остаться. Они, наоборот, уже решили бежать за границу и рассчитывали на мои связи с Врангелем, зная, что без моей помощи им не удастся получить места на отходивших из Севастополя пароходах. Они были такими же "грешниками" перед большевиками, как и я (между прочим, наши подписи только что появились в газетах под воззванием к иностранным демократиям о помощи армии Врангеля), но возможности скрыться в Крыму, которую я имел благодаря дружбе с татарами, у них не было.

Мысль о том, что мое решение остаться может стоить жизни двум моим близким приятелям, больно меня кольнула, но все же я пришел домой с не изменившимся еще решением.

Но тут оказалось, что моя жена и две старших дочери, обсуждая в эту тревожную ночь создавшееся положение, решили убедить меня

уехать. Это решение они приняли не только из страха за мою жизнь, но и за жизнь двух моих сыновей, только что бежавших из большевистского плена и пять дней тому назад прибывших в Крым.

Они еще не числились ни в какой воинской части, а потому не могли попасть в общую эвакуацию, выбраться же из Крыма самостоятельно, без моей протекции, не имели никаких шансов. Между тем мой план остаться в Крыму был выработан мной до их появления и я как-то не успел в ночной сутолоке принять это обстоятельство во внимание. И только теперь, услышав этот довод от своих близких, я понял, что не имею права рисковать жизнью своих мальчиков и должен уезжать.

Эти несколько минут, в течение которых я решил покинуть Россию, вспоминаются мне, как самый трагический момент моей жизни. Я не принадлежу к числу людей, у которых "глаза на мокром месте", но тут я не выдержал и разрыдался...

Через несколько лет высланный из Советской России А.В.Пешехонов издал за границей очень бестактную брошюру под заглавием "Почему я не эмигрировал". В ней он в назидание нам, старым эмигрантам, развивал мысль о том, что человек, любящий свою родину, не должен ее покидать в тяжелые времена, ею переживаемые. Бестактность этой брошюры заключалась в самой постановке вопроса; как будто для нас, прочих эмигрантов, легче было эмигрировать, чем остаться в России. Ведь многим, главным образом офицерам, остаться в России – значило просто идти на верную смерть, а для других, как например для меня, выбор был мучительно труден. Проще и естественнее было остаться, но у многих были весьма серьезные причины для того, чтобы покинуть родину, своих родных и близких и обречь себя на жалкое существование в разных местах земного шара.

Немало моих соотечественников попало в эмиграцию и совершенно случайно, так сказать, по инерции.

Очень ярко изобразил мне роль случая в разделении русских людей на "советских" и "несоветских" граждан один мой старый знакомый инженер, приехавший в Париж в командировку из России:

– Жили мы, – рассказывал он, – с одним моим сослуживцем и приятелем в Петербурге, в одной комнате, и вместе переживали голодный 1918 год. Об эмиграции не помышляли, а занимались своей специальностью. Разница между нами заключалась только в том, что я был здоров, а он страдал расстройством пищеварения и не переносил постного масла. Между тем, при нашем скудном бюджете покупать коровье масло мы не могли. Маялся мой приятель, болел, тощал и наконец решил перебраться на юг, где в это время еще продовольствия было вволю. И мы расстались. Он пробрался в Киев, а я остался в Петербурге. А дальше все пошло

самотеком. Служа инженером у разных южных правительств, он попал в поток эмиграции, а я остался советским гражданином. Если бы он мог питаться льняным маслом, как я, а я нуждался бы в коровьем масле, то я бы был эмигрантом, а он советским гражданином. Не принципы, а пищеварение сыграло решающую роль в нашей судьбе и бросило нас в разные лагеря...

Итак, мой отъезд был решен окончательно. Со мной отправлялись два моих сына, служивших в Белой армии, и старшая дочь, работавшая в военных госпиталях в качестве сестры милосердия. Остальная семья оставалась в России. Брать всех с собой было рискованно не только из-за трудности содержать их за границей, а главным образом из-за опасности переезда из Симферополя в Севастополь: ведь большевики могли нас настичь на этом пути. В таком случае мы предполагали бежать через горы на южный берег Крыма, что было бы немыслимо, если бы с нами были дети. Приходилось торопиться. До назначенного отхода последнего поезда в Севастополь оставалось всего три часа, а нужно было еще закончить несколько срочных дел и получить пропуска в канцелярии губернатора.

Как в тумане провел я эти последние часы в Симферополе. Проходя мимо дома, в котором жил бывший министр финансов крымского правительства А.П. Барт, я завернул к нему узнать о точном времени отхода поезда.

— Неужели вы уезжаете? — спросил он меня.

— А вы?

— Я решил остаться, так как ехать некуда. Нужно смотреть прямо в глаза действительности: борьба кончилась и большевистская власть укрепилась надолго. Это тяжело, но что же делать, нужно как-то приспособляться. К тому же я почти уверен, что мне лично никакой опасности не угрожает. Ведь уже прошлый раз большевики в Крыму никого почти не казнили, а теперь, окончательно победив своих противников, они захотят показать себя милостивыми. Все это я обсудил и бесповоротно решил остаться в Симферополе.

Хотя я не был столь же уверен в благородстве большевиков, но вполне разделял отрицательное отношение моего собеседника к нам, покидавшим Россию, и не только не пытался возражать, но в душе позавидовал ему. Мы расстались...

А через месяц этот спокойный и столь уверенный в своей безопасности человек был расстрелян во дворе симферопольской тюрьмы...

Вероятно так же, как А.П. Барт, рассуждали многие из сорока тысяч человек, расстрелянных в Крыму вскоре после нашей эвакуации, ибо бескровный большевистский режим весны 1919 года многих ввел в заблуждение.

Зашел я также проститься к присяжному поверенному Абраму Яковлевичу Хаджи, с которым вместе мы в 1905 году образовывали

местный отдел партии Народной Свободы и с тех пор находились в самых близких, дружеских отношениях. Мы горячо обнялись и расцеловались. Я просил его не оставлять своими заботами мою семью, которую мне приходилось покидать. Он, конечно, обещал мне это от всего сердца. Однако своего обещания не смог выполнить: вскоре после нашего отъезда он вышел из своего дома на улицу и исчез навсегда. Его родные так и не узнали, где и кем он был убит...

Когда я с двумя сыновьями и дочерью пришел на вокзал, то застал там уже Бобровского и Арбузова. Мы с ними и еще с тремя нашими молодыми друзьями — Ю. А. Никольским, офицером П. О. Сомовым, вместе с моими сыновьями бежавшими из Одессы в Крым, и В. Н. Андрусовой составили тесную компанию, которая под моим водительством объединилась на все время эвакуации.

Из-за внезапности эвакуации, о которой в городе многие еще не были осведомлены, на вокзале оказалось не более сотни отъезжающих. Ехали главным образом чиновники высших рангов и судейские со своими семьями. Мы все были снабжены пропусками в Севастополь, на основании которых станционное начальство должно было указать нам приготовленный для нас вагон. Однако на вокзале никто не знал не только о существовании такого вагона, но даже и о том, отойдет ли еще поезд в Севастополь. Долго мы всей гурьбой бродили по путям в поисках обещанного вагона, ходили за справками от начальства станции к коменданту и обратно. Все было напрасно. Наконец, потеряв надежду добиться толка, покорились судьбе и стали ждать.

Наш поезд по предварительному расписанию должен был отойти в 11 часов утра, а вот уже стрелка станционных часов показывает три...

Перед нами на втором пути стоял санитарный поезд, битком набитый ранеными. Хотя паровоз к нему не был прицеплен, но мы все-таки решили за ним наблюдать, а когда заметили, что к нему прицепили два пустых вагона, то полезли в них и, несмотря на протесты служащих, заняли в них места.

И опять потекли часы...

К вечеру из города стала доноситься до нас ружейная и пулеметная стрельба, запахло гарью от начавшихся пожаров... По счастью, моя вторая дочь, Ирина, которую мы оставляли с матерью и младшими детьми, как главную добытчицу средств, поддерживала связь между нашим домом и вокзалом, пробираясь по улицам между толпами дезертиров, приступивших к грабежам, и от нее мы знали, что в нашей семье пока все благополучно.

Наступил вечер, а с ним пришла тревожная весть о занятии Красной армией последней перед Симферополем железнодорожной станции Сарабуз. В толпе, набившейся в наш вагон, началось волнение: когда же нас повезут? Опять ходили справляться к начальнику станции и к коменданту. Ничего не знают...

Поздно вечером стали приходить с фронта поезда. Два-три поезда с войсками, два-три бронепоезда... Приходили и мчались дальше, в Севастополь... В два часа ночи на всех парах подкатил к станции залитый электричеством поезд генерала Кутепова. Мои спутники облегченно вздохнули: начальство уж конечно распорядится двинуть и наш поезд. Действительно, с вокзала нам принесли весть, что генерал Кутепов распорядился раненых отправить в первую очередь и что следовательно мы сейчас двинемся в путь.

Увы, раздался свисток и тронулся поезд Кутепова, а мы по-прежнему стояли без паровоза... Опять прошел воинский поезд... Ночь кончилась, стало рассветать. Когда же наконец?..

Нам сообщили, что наша судьба зависит от происходящего в паровозном депо митинга, так как часть рабочих не хочет нам давать паровоза. Наконец, в шесть часов утра вопрос о паровозе был решен в нашу пользу.

Медленно, едва катя тяжелые колеса, потянулся длинный, нагруженный людьми и всяким скарбом поезд по пологому подъему. Поедет, остановится, дернет раз-другой, опять поедет... На восьмой версте он совсем остановился. Тщетно пыхтит и дергает паровоз. Колеса буксуют... Неужели же мы для того выехали из Симферополя, чтобы так глупо попасть в руки большевиков!

В окно видим, как по шоссе нас обгоняют военные обозы и кавалерия. Кто-то говорит: "Смотрите, кавалерия. Она всегда отступает последней. Значит..." Публика волнуется, и невольно заражаешься этим волнением...

— А знаете что, — говорит какой-то усевшийся среди нашей компании полковник, — попробуем подтолкнуть поезд, может быть сдвинем его общими усилиями.

Мысль эта сначала всем показалась совершенно дикой, но другого спасения нет. Нужно попробовать.

Выходим. Нашему примеру следуют другие пассажиры. Кто-то командует: "Вылезай из вагонов!.. А ну-ка, навались!.."

Из всех вагонов высыпали солдаты, санитары, беженцы. По команде начинаем пихать вагоны. Паровоз тоже поддает пару. "Навались ра-аз, поддай ра-аз"... И вдруг колеса сделали первый круг, затем второй, и поезд тихо, плавно двинулся в гору. С полверсты мы шли рядом с поездом, подпихивая его на более крутых местах. Наконец — перевал и остановка на станции Алма.

"Вылезай, кто в задних вагонах!" — крикнул сцепщик и принялся отцеплять от поезда наш вагон и следующие за ним, как раз те, в которых разместились "эвакуируемые из Симферополя чины гражданских ведомств". Протестовать было бесполезно, да и действительно — поезд был слишком большой и мы рисковали снова застрять на следующем перевале, если бы продолжали путь с тем же составом вагонов, с каким выехали из Симферополя. Пришлось размещаться в передних вагонах.

С трудом, но разместились, кто на тормозах, кто — на крышах. Я вскарабкался на крышу и попал в компанию отбившихся от своих частей солдат и казаков. Примостился рядом с каким-то флегматичным калмыком, его раскосой женой и парой калмычат, копошившихся среди подушек и прочего домашнего скарба.

Погода была чудесная. После морозов, доходивших до 15 градусов, в этот трагический день вдруг выглянуло яркое теплое солнце и нежно припекало нас, беглецов, на прокопченой и пыльной крыше вагона. Я присматривался к моим случайным спутникам, товарищам по несчастью, одному из величайших несчастий, которые могут постигнуть человека. Ведь все мы ехали в изгнание, если не вечное, то долгое...

Солдаты были веселы, шутили, балагурили, как дети радовались тоннелям, в которых, чтобы не оторвало голову, нам приходилось ложиться. Не заметно было у них ни тревоги, ни заботы о неизвестном будущем. С одним я разговорился.

— Слава Богу, покончили с войной, — сказал он весело.

— Ну, а дальше как же?

— А кто его знает. Врангель, видно, куда-нибудь доставит... И то, отдохнуть пора, навоевались досыта. Теперь уж баста...

И чем больше я всматривался в окружавших меня солдат, казаков и калмыков, тем яснее понимал их настроение. В нем не было ни отчаяния от понесенного поражения, ни злобы и негодования на вождей за безрезультатно пролитую кровь. Они просто радовались тому, что миновала страдная пора, что больше им не нужно мерзнуть на ночлегах, прикрываясь рваными шинелями, делать утомительные переходы, обматывая тряпьем сбитые и стертые ноги, и вечно рисковать жизнью, сражаясь то в рядах красных против белых, то обратно, идя в атаку против своих вчерашних товарищей. Ведь мобилизованные с обеих сторон крестьяне, не понимая смысла братоубийственной войны, легко сдавались в плен. А пленных сейчас же мобилизовали во враждебной армии и снова посылали на фронт. В последнее время армия Врангеля наполовину состояла из пленных красноармейцев.

Впрочем, сам Врангель пользовался среди них большой популярностью, и понесенное им поражение не умалило его престижа. И мои спутники спокойно ехали в неведомые им места, веря, что Врангель сумеет дать им заслуженный отдых после окончания войны.

На станции Бельбек нас нагнал какой-то поезд, битком набитый солдатами и офицерами. Соскочившая с него группа офицеров окружила начальника станции. Они были бледны и все, перебивая друг друга, что-то от него требовали.

— Да не могу я, — услышал я взволнованный голос начальника станции, — приказано вперед пустить санитарный.

— Не пустишь, — вдруг хрипло завопил какой-то длинноногий офицер в сдвинутой набекрень папахе, — а не хочешь ли поболтаться на перекладине!

Полковник с тормоза нашего поезда стал урезонивать офицеров, но те не унимались и начальнику станции пришлось уступить. Поезд с обезумевшими от паники людьми помчался дальше... Вслед за ними прошел последний бронепоезд. Теперь, как нам объяснили, нас отделял от наступающих большевиков только один поезд с саперами, взрывавшими пути. Понятно, что волнение ехавших в нашем поезде раненых и беженцев дошло до последних пределов.

Наконец и мы двинулись дальше.

Но тут новое осложнение: от Бельбека к Севастополю идет крутой спуск, а механический тормоз нашего поезда не действовал. Поэтому кондуктор, пробежав вдоль всего поезда, предложил людям, заполнявшим площадки вагонов, взяться за ручные тормоза и тормозить во всю мочь, как только начнется спуск. Так они и сделали. Но неопытные люди, стоявшие у тормозов, не обратили внимания на свисток паровоза, извещавший об окончании спуска, и в задних вагонах продолжали тормозить на начавшемся уже подъеме. Цепи не выдержали этого сопротивления и оторвавшиеся задние вагоны покатились обратно. Какая участь постигла находившихся в них пассажиров — я не знаю... По счастью, вся наша компания случайно разместилась на крышах и тормозах передних вагонов, и мы в 9 часов вечера добрались до последней перед Севастополем станции Инкерман, употребив пятнадцать часов на путешествие, длившееся в нормальное время немногим более часа.

Но и дальше судьба воздвигала на нашем пути препятствия, ставившие нас под власть случая. Оказалось, что обогнавший нас бронепоезд сошел с рельс и загородил дорогу. Что было делать? Пережидать или идти восемь верст пешком в Севастополь? Решили идти и зашагали с мешками и чемоданами по шпалам.

Люди менее нас решительные и раненые солдаты остались ждать.

Вероятно, никто из них в эмиграцию не попал...

Мы влились в целый поток войск, двигавшихся к Севастополю. Вперемежку — пехота, кавалерия, обозы... Версты полторы шли по тоннелю. Каким бесконечным казался этот тоннель, который мелькал так быстро, когда я проезжал его в поезде! Казалось, что мы не выберемся из абсолютной его темноты, среди которой, как поток, двигалась густая толпа. Ее не видно, а только слышен топот шагов, усталое дыхание, ругань оступившегося человека, или фырканье лошади... А иногда вдруг все останавливаются. Тогда неожиданно наступаешь на чей-то невидимый сапог, или внезапно стегает по лицу хвост невидимой лошади... В такие моменты неизвестно чем вызванных остановок невольная жуть охватывает

всю толпу... Нервно чиркаются зажигалки, освещая встревоженные лица соседей... И снова идем вперед.

Несмотря на внешний беспорядок и безначалие, паники все же не происходило. Начальство предусмотрительно распространило слух, будто Кутепов поставил на горах перед Севастополем артиллерию, которая будет нас защищать до окончания эвакуации, и хотя в действительности никакой артиллерии поставлено не было и большевики, если бы поспешили, могли бы без сопротивления захватить Севастополь, толпа была субъективно уверена в своей безопасности и возможность паники была предотвращена. А на всех перекрестках нашего пути стояли офицеры разных частей, перехватывавшие своих однополчан и направлявшие их к размещенным во всех бухтах севастопольского порта пароходам.

Когда говорят, что какая-либо военная эвакуация прошла в порядке, нужно это выражение понимать условно, ибо при всякой эвакуации, происходящей под натиском войск противника, всегда есть люди, или группы людей, впадающие в панику и вносящие беспорядок, есть отставшие и запоздавшие, есть, наконец, преступный элемент, пользующийся ослаблением власти и совершающий грабежи и насилия.

При эвакуации Севастополя все это, конечно, было. Но все же нельзя не удивляться относительной организованности и порядку, каких удалось достичь генералу Врангелю при эвакуации Севастополя. Не было ничего похожего на те безобразия, о которых рассказывали очевидцы новороссийской и одесской эвакуаций.

Во втором часу ночи мы наконец дошли до Севастополя. Улицы его были пусты и темны, и только пламя горевших военных складов освещало нам дорогу.

Предполагая, что пушки Кутепова охраняют нас на Мекензиевых горах и что эвакуация продолжится еще дня два, наша компания разбрелась в поисках ночлега: я со своими детьми и с В.Н. Андрусовой отправился к знакомым, а остальные пошли в севастопольскую городскую управу, где мы с Арбузовым всегда ночевали при наших поездках в Севастополь.

Усталые от утомительного путешествия и пережитых волнений, мы надеялись отдохнуть и выспаться, но полученные нами от знакомых сведения нас не на шутку встревожили: оказалось, что все подлежавшие эвакуации военные и штатские севастопольцы уже находятся на судах, сам же Врангель хотя еще в Севастополе, но уже переехал из своего дворца в гостиницу Киста у Графской пристани с тем, чтобы утром, последним, съехать на пароход. Такие вести не располагали ко сну. Мы решили не раздеваться, но к утру усталость все-таки взяла свое, и мы задремали.

В седьмом часу утра пришли к нам наши спутники из городской управы. Они провели ночь еще более тревожно: сторожа, знавшие Арбузова, их впустили в управу, но там они застали ночное заседание

неизвестных людей, ничего общего с городской Думой не имевших и поглядывавших на них весьма недружелюбно.

Из нескольких дошедших до них фраз они поняли, что управа захвачена большевиками и что им приходилось ночевать рядом с комнатой, в которой заседал Ревком. Соседство было не из приятных, и вот, чуть забрезжил свет, они выскочили через окно на улицу и прибежали к нам.

В восемь часов утра я пошел в гостиницу Киста добывать пропуски на какой-либо пароход.

На улицах было много народа. Но это была не привычная мне толпа военных, спекулянтов и нарядных дам. "Буржуи" попрятались в своих квартирах, и толпа стала значительно более серой.

Вот на углу стоит какой-то человек в картузе и поддевке. Вглядываюсь и узнаю одного из видных чиновников управления внутренних дел. Очевидно он решил остаться и на всякий случай перекрасился в защитный цвет. Мы встретились глазами, но, чтобы его не компрометировать, я прошел мимо, не поклонившись. Вот какие-то два оборванца бегут через улицу, держа наперевес винтовки... Невольно мелькает мысль: "поспеем ли?" ...

Вхожу в гостиницу Киста – единственное здание в Севастополе, еще охраняемое войсками генерала Врангеля, если не считать охраной жерла пушек, направленных на город с русских и иностранных судов. Навожу справки, как пройти к заведующему эвакуацией генералу Скалону.

– А вам зачем? – сухо спрашивает дежурный офицер.

– Хочу получить пропуск на какой-нибудь из отходящих пароходов.

– Эвакуация закончилась и генерал Скалон никого больше не принимает, – отчеканивает офицер и отворачивается.

Бледные люди мечутся по вестибюлю гостиницы.

– Как же это, – говорит взволнованно какой-то старик, – ведь мы только что прибыли с поездом из Симферополя. Зачем же нам давали пропуска сюда, если дальше ехать нельзя?..

Офицер молчит и старается придать своему лицу равнодушный вид...

Отправляюсь во второй этаж к генералу Врангелю и подхожу к его ординарцу, который еще несколько дней тому назад любезно щелкал шпорами, провожая меня из приемной в кабинет главнокомандующего.

Теперь он меня не узнает и холодно спрашивает:

– Вам кого угодно?

– Спросите генерала, не может ли он меня принять?

Ординарец уходит и через минуту возвращается.

– Главнокомандующий вас принять не может. Ваше дело можете передать через меня.

Я объясняю, что опоздал к эвакуации и прошу выдать мне девять пропусков на один из отходящих пароходов. На бумажке пишу наши фамилии.

Офицер снова исчезает с моей бумажкой, и на этот раз на довольно долгий срок. Минут через десять приходит с прежним сухим официальным видом:

– Главнокомандующий просил передать вам, что может дать пропуск только вам и вашей семье.

– Но мне нужны пропуски не только для моей семьи, со мной приехало восемь человек...

– Главнокомандующий разрешил выдать пропуск только для четверых. Если желаете, можете сейчас получить, а впрочем, как хотите.

Он смотрит на меня с легкой усмешкой, в которой я вижу вопрос: "Предаст или не предаст своих друзей?"

В первый момент я хотел отказаться от милостивой привилегии. Отказ в пропуске двум моим спутникам – Бобровскому и Арбузову – особенно меня возмутил. Врангель не мог не знать, что они два дня тому назад подписали резолюцию городского съезда с призывом к союзникам о поддержке его армии, а, следовательно, оставаясь в Крыму, рисковали жизнью. Мне было, однако, не до демонстраций. Я быстро сообразил, что, имея в руках пропуск на четверых, я легче смогу протащить на пароход всех своих спутников, чем без всякого пропуска, а потому, сдержав себя, сказал:

– Давайте пропуск на четверых...

На бумажке, которую я получил, нам разрешалось ехать на транспорте "Рион". Но когда я обратился к дежурному офицеру в вестибюле гостиницы с вопросом, где стоит "Рион", и показал ему пропуск, он удивленно ответил: "Да "Рион" ушел рано утром".

Совершенно ошеломленный этим известием, я вышел из гостиницы Киста, уже обдумывая план путешествия на южный берег через горы, как вдруг увидал идущего мне навстречу французского офицера.

Я несколько раз бывал во французской военной миссии, и у меня создались добрые отношения с несколькими французскими офицерами, но этого безрукого красивого брюнета я там не встречал. Тем не менее, назвав себя, я обратился к нему с вопросом, нельзя ли мне с моими спутниками поместиться на одном из французских военных судов.

К моему удивлению, француз ответил мне на чистейшем русском языке, ибо это был капитан Пешков, сын большевика Свердлова и приемный сын Горького, совершенно не разделявший политических взглядов двух своих отцов. Он обещал немедленно доложить мою просьбу адмиралу броненосца "Вальдек Руссо".

– Только не теряйте времени, – добавил он, – и поскорее соберите ваших спутников на Графской пристани. Мы скоро отходим.

Через час мы уже причаливали к борту "Вальдека Руссо", а еще через час он медленно и плавно стал выходить из севастопольской бухты.

Толпа беженцев, нашедшая приют на броненосце, стояла на палубе и смотрела на удаляющийся Севастополь. У всех были сосредоточенные лица, у многих на глазах были слезы...

По бухте шныряли лодки с запоздавшими беглецами. Подъезжая то к одному, то к другому отходящему пароходу, они молили взять их с собой. Но эвакуация закончилась и пароходы равнодушно проходили мимо... Наш броненосец подобрал нескольких из этих несчастных людей, которым в Севастополь уже возврата не было.

А там, видимо, началась неизбежная в таких случаях анархия, с которой боролась новая власть, наводя порядок: в туманной дали мы различали клубы дыма вспыхнувших в Севастополе пожаров и слышали доносившуюся до нас воркотню пулеметов...

Я думал, что простился с Россией, но оказалось, что два дня еще мы могли с палубы "Вальдека Руссо" смотреть на уже недоступные для нас русские берега, ибо наш броненосец вместе с крейсером "Корнилов", на котором находился генерал Врангель, заходил в другие крымские порты, прикрывая еще не окончившуюся их эвакуацию.

Несколько часов мы простояли в Ялте и наблюдали, как отходили от мола два последних, битком набитых солдатами и беженцами парохода и как на набережной начался грабеж магазинов.

Ночью отправились в Феодосию, но оказалось, что она уже занята большевиками. Незадолго до нашего прихода береговые батареи обстреляли один из французских миноносцев, и "Вальдек Руссо" собирался ответить на этот обстрел.

Я слышал, как раздалась команда, и видел, как огромные чудовища-пушки выставили свои жерла, направив их на Феодосию. Сердце сжималось при мысли, что я как бы становлюсь соучастником обстрела русского города иностранцами... Думаю, что эти несколько отвратительных минут ожидания стрельбы по родному городу психологически предопределили мое дальнейшее отношение к иностранной интервенции и к пораженческим течениям в русской эмиграции.

По счастью, наш адмирал понял бессмысленную жестокость бомбардировки мирного города, население которого было не виновато в обстреле французского миноносца. Был отдан контрприказ, огромные пушки медленно обернулись вокруг своей

оси, заняв свои обычные места, и "Вальдек Руссо", пустив клубы черного дыма, направился в открытое море...

Кончилась моя жизнь в России и начались долгие годы изгнания. Эти годы я не могу назвать жизнью. Двадцать лет, проведенных мною в эмиграции, я ощущаю не как "жизнь", а как "дожитие". Правда, в течение этого времени я принимал участие в разных общественных организациях, но скорее – по привычке, без прежней веры и энергии...

Прожив три месяца в Константинополе, я получил визу во Францию и сел на французский пароход, шедший в Марсель. Денег у меня было совсем мало, хватило только на билет четвертого класса. Приходилось, следовательно, провести пять суток на палубе. Погода стояла холодная и мокрая, а я как раз перед поездкой простудился. Поэтому на последние деньги купил у одного из кочегаров парохода право пользоваться его койкой.

В кочегарской каюте другие койки тоже были проданы и на них расположилось семейство армянских эмигрантов, ехавших в Южную Африку. Армяне были турецкие, лишь во время войны бежавшие в русское Закавказье, а потому по-русски почти не говорили.

Началась качка. Армяне страдали морской болезнью, и первый день мы не делали попыток общаться друг с другом. На второй день море успокоилось и мои армяне повеселели. Молодая армянка, лежавшая подо мной, на нижней койке, открыв корзину с сочными апельсинами, чистила их, делила на части и распределяла между членами своего семейства. Не забыла и меня. Отламывая долю апельсина, она протягивала мне ее черной от грязи рукой и, мило улыбаясь, произносила только одно слово: "папа". "Папа" (т.е. – я) тоже улыбался, благодарно кивая головой, и из вежливости ел.

С этого началось наше знакомство. Но разговаривать все же было трудно. Муж армянки долго смотрел на меня пристальным взглядом, очевидно припоминая какие-то русские слова. Наконец осклабился и спросил меня:

– Кого любишь? Ленин любишь?

Я, конечно, ответил, что не люблю Ленина.

Армянин немного подумал и, опять блеснув белыми зубами, спросил:

– Царица любишь?

Я опять ответил отрицательно.

На лице моего собеседника выразилось полное недоумение. Он представлял себе, что я могу быть только революционером или контрреволюционером, любить либо Ленина, либо "царицу". Кто же я такой? И он еще раз, растерянно разводя руками, спросил:

– Кого любишь?

Вдруг, молчавший до сих пор его брат в свою очередь просиял улыбкой и, вскочив с койки, радостно воскликнул:

– Знаем, знаем, Керенский любишь!

Лично к Керенскому я не относился враждебно, скорее даже с симпатией, но тогда мы еще находились во враждебных политических лагерях. Раздражение против Керенского и партии, к которой он принадлежал, было у меня особенно сильно непосредственно после неудачи гражданской войны, в которой лозунгом эсеров было: "Ни Ленин, ни Колчак". Поэтому я уже хотел ответить, что и Керенского не люблю, но, сообразив, что таким ответом совсем собью с толку своих собеседников, в лаконическом разговоре с которыми приходилось схематизировать свое отношение к разным политическим режимам, я сказал:

– Да, я люблю Керенского.

Армяне поняли, кто я такой, и добродушно закивали головами...

Мне тогда мой ответ показался смешным. А теперь я думаю, что, если бы я снова встретился со своими армянами, вопросник которых обогатился бы еще новыми именами, олицетворяющими существующие режимы, я, уже не задумываясь, ответил бы им столь же нелепо звучащей фразой: "Да, я люблю Керенского", что в их представлении означало, что я люблю свободу и демократию. Конечно, не формы демократии – не "Керенского", "четыреххвостку" и парламентаризм, а дух и смысл исконных идеалов человечества – Свободы, Справедливости и Любви. Эти идеалы, ныне отвергаемые идеологами тоталитарных режимов, я воспринял с раннего детства от своей матери в учении Христа. И, как бы не менялись впоследствии детали моих политических взглядов, остался им верен до конца дней.

СОДЕРЖАНИЕ